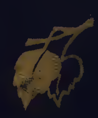
АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

ВЕЧНЫЙ ЗОВ



АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

РОМАН
В ДВУХ КНИГАХ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

Р 2
И20

И $\frac{4702010200-084}{068(02)-86}$ без объявл.

Детям Ирине и Сергею

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРОЛОГ


В один из июньских дней 1908 года в следственной камере при Томской жандармерии находились двое — сам следователь господин Лахновский, человек лет тридцати пяти, с жирным тупым носом, и старший надзиратель Косоротов, мужчина неопрятной наружности, с выпирающими челюстями.

Следователь, в нижней рубашке, за рабочим столом пил чай. Было жарко, его форменный китель болтался на спинке стула. Косоротов прислуживал, через руку у него висело полотенце, и вообще он походил на трактирного полового.

Лахновский поставил пустую чашку на поднос и сказал:

— Слышал я, братец, о твоем рапорте начальству. В Александровский централ просишься?

— Мечта, ваше благородие. С малых, юных лет.

— Мечта — это хорошо. Мечта у человека исполняться должна.

— И вы, ваше благородие, подсобить обещали, ежели отличусь.

— Да-да, я походатайствую. Жалко тебя отпускать, но за усердие и преданность надо поощрять.— Лахновский отодвинул поднос с чайной посудой.— Ну-с, давай опять с твоих новониколаевских земляков начнем... Как тебе удалось выследить их?

— А я, Арнольд Михалыч, стал быть, в иллюзион шел. А когда иду по улице — всегда смотрю: что, где, как? Гляжу — с переулка впереди меня вывернулись двое. И пошли, пошли, скоренько так. Что-то, думаю, не так... А тут один оглянулся. Меня и вдарило: Полипов Петька, земляк! А с ним кто же? Так и есть, Антошка Савельев! Обои в девятьсот пятом — девятьсот шестом годах еще в Новониколаевской тюрьме сидели, когда я там надзирателем служил. Что, думаю, в Томске им надо? Я свисток...

— Ладно, молодец. Веди по одному.

Лахновский накинул китель, закурил. Дымок от папиросы потек на улицу через открытую форточку зарешеченного окошка.

Минуты через полторы Косоротов втолкнул из коридора Антона Савельева. Антон был в помятом пиджаке, из-под фуражки свешивался белесый чуб. Светлые глаза глядели на следователя угрюмо и враждебно.

Лахновский, попыхивая папиросой, подошел, усмехнулся, кивнул на стол, где лежали две серые тощие папки:

— Я запросил из Новониколаевского жандармского отделения ваши с Полиповым личные дела. Ну-с, и теперь будете запираться?

* * *

Антону Савельеву около месяца назад исполнилось восемнадцать. И в этот день была свадьба, он женился на Лизе Захаровой, единственной дочери новониколаевского социалиста Никандра Захарова, погибшего в марте 1905 года при побеге из Александровского централа.

Родился и вырос Антон в деревушке Михайловке Шантарской волости, которая находилась верстах в полутораста от Новониколаевска. Его отец, Силантий Савельев, был, как говорили в Михайловке, «беднее поповой собаки». Что значило это выражение, Антон понять никогда не мог, потому что в Михайловке ни попа, ни церкви, а следовательно, «поповой собаки» не было.

Антон рос хулиганистым. Часто колотил меньших братьев — Федора и Ваньку, держал в жестоком страхе всех михайловских ребятишек. Каким бы вырос Антон — неизвестно, но весной 1904 года в Михайловку приехал из Новониколаевска младший брат Силантия, плотник Митрофан.

— Возьми-кось, Митрофан, Антошку хучь на время в город, а? — попросил его старший брат.— Можа, рукомеслу своему его обучишь. А то мы тут с маткой никак управы на него не найдем, спортится парнишка до края. С конокрадами вот, слышно, дружбу свел, в карты они его приучили играть.

В Новониколаевске Антону понравилось, но учиться плотницкому делу он не стал. Целыми днями болтался по улицам города, перезнакомился с городскими хулиганами, играл с ними в карты, наловчился обчищать карманы валявшихся у пивнушек мужиков, за что не раз бывал жестоко бит. Неожиданно все дела эти бросил, пристрастился ловить птиц в окрестных лесах, которых и стал продавать на рынке или менять на пряники сыну соседского лавочника Петьке Полипову. Сам Антон сладостей не любил — отдавал тонконогой Лизке, «дочке каторжника», как ее называли все вокруг.

Этой Лизке, худой, как скелет, с острыми коленками и длинными черными бровями девчонке, было лет четырнадцать. Она жила на той же улице, что и дядя Митрофан, мать ее, вечно кашляющая, видимо чахоточная, работала где-то на мыловаренном заводе. Антона Лизка заинтересовала именно тем, что была дочерью каторжника. «Интересно, за что ее отца в каторгу загнали? — думал Антон.— Зарезал, наверное, кого?»

Как-то он спросил об этом у сына дяди Митрофана — Григория. Высокий, жилистый, большеглазый, Григорий работал в паровозном депо кочегаром, от него пахло всегда дымом и сажей, но он был веселым человеком, часто брал с собой Антона на рыбалку и вообще относился к нему дружески, как к ровне.

— Правду человек захотел поискать — вот и упекли на каторгу,— сказал Григорий. Внимательно поглядел на Антона и добавил:— Он, отец ее, социалист.

— Что ж это такое — социалист?

— Революционер, значит.

— А что такое революционер?

Григорий рассмеялся, подмигнул почему-то Антону.

— Интересно? Значит, как-нибудь узнаешь. Всему свое время.

Вскоре Антон узнал, что и Григорий, и дядя Митрофан, и даже его жена Ульяна Федоровна тоже революционеры, хотя они это тщательно скрывали от него. А когда поняли, что Антону все известно, чуть не отправили его назад в Михайловку, к родителям. Особенно настаивала на этом тетя Ульяна. И его отправили бы, наверно, если бы не Григорий.

— Смотрю я на тебя, батя, и думаю: чего ты хочешь?! — схватился однажды Григорий со своим отцом. Взял со стола отобранную тетей Ульяной у Антона колоду карт, потряс ею в воздухе.— Ты хочешь, чтобы Антон и дальше шел по этой дорожке? А ведь чем дальше, тем оно глубже. Пойми, парень в таком возрасте, когда черт-те что хочется, небывалого чего-то! Так надо помочь ему!

Григорий, веселый, никогда не унывающий Григорий, который воспротивился отправлению Антона назад в Михайловку, в тот же день, буквально через полчаса, принимая на загородном полустанке от связного политическую литературу, был смертельно ранен жандармом, а вечером умер на руках Антона, сказав:

— Если пойдешь, Антон, правду искать, тебя ждут тюрьмы, каторги и, может быть, вот... такой конец... Пойдешь?

— Пойду.

— Не забоишься?

— Нет.

— И правильно...

— Я буду такой же, как ты!

— Я верю...

В тюрьме Антону впервые пришлось посидеть довольно скоро. И ему, и Лизе, и Петьке Полипову. Несмотря на то, что Петька был сыном довольно богатого лавочника.

С Петькой у Антона постепенно сложились дружеские отношения. Омрачало их дружбу только одно — оба незаметно как-то влюбились в Лизу. Чем покорила она Петьку, неизвестно, красивой Лизу назвать было нельзя. Красивыми были только ее глаза — зеленоватые, как речная вода, и вечно в них плескалось что-то беспокойное и живое. Антону же она понравилась своей отчаянной смелостью, хотя по ее виду заключить этого было нельзя. Нельзя-то нельзя, но тем не менее в свои четырнадцать-пятнадцать лет она не раз ездила в Томск, привозила оттуда запрещенную литературу и даже оружие.

Сама Лиза к Антону и Петру относилась всегда одинаково, и до самого последнего времени было неизвестно, кому она отдаст предпочтение. Шансы Полипова, как в душе считал Антон, были неизмеримо выше, особенно после выхода из тюрьмы. Всех их посадили в конце октября 1905 года — Антона, Лизу, Петьку, руководителя Новониколаевской организации РСДРП Ивана Михайловича Субботина, опытного революционера, совершившего за несколько месяцев до этого вместе с Лизиным отцом побег из Александровского централа. Друзья выправили Субботину документы на имя Кузьмы Чуркина, устроили на службу в Новониколаевске — посудомоем на тюремную кухню. Работая на кухне, Чуркин активно готовил побег политзаключенных. Во время октябрьской стачки, в тот день, когда железнодорожные рабочие, возглавленные после смерти Григория его отцом, Митрофаном Ивановичем, устроили небывалую политическую демонстрацию, тюрьму удалось разгромить. Но подоспевшие казачьи сотни и регулярные войска разогнали демонстрантов, а через несколько минут арестовали всех организаторов побега политзаключенных.

В этот день Чуркин-Субботин дал Антону и Петру Полипову настоящее боевое задание. Антон должен был с утра отправиться на глухой полустанок, получить там у старичка путейца сумку с патронами и к десяти утра доставить в условленное место в лесу за городом. Это был дополнительный боевой запас, который мог понадобиться. В случае надобности Петьке Полипову следовало эти патроны доставить в город, штурмовой группе. Полипов был гимназист, и ему легче было в своей гимназической форме пронести по улицам города патроны, не вызывая подозрений. Но Антон обиделся, что его не только не берут в штурмовую группу, но и патроны не доверяют нести в город. И поэтому прямо с полустанка он отправился к месту сбора этой группы.

Ух, как вскипел тогда Субботин, увидев такую недисциплинированность! А ведь патроны-то были нужны, Полипова Петьку он уже услал за ними в лес.

Следствие по делу организаторов демонстрации и налета на тюрьму велось долго, больше года. Арестованных содержали то порознь, в разных камерах, то всех вместе, подсаживая одновременно и провокаторов. Особенно досталось за это время Полипову. Его чаще других вызывали на допросы, частенько избивали, хотя истязание политических было запрещено. Для Полипова, видимо, делали исключение, надеясь, что изнеженный жизнью сын богатого лавочника не выдержит. Но он выдержал, он никого не выдал, сам Субботин сказал о нем:

— Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких.

Несмотря на скудные улики, им троим — Антону, Лизе, Петьке Полипову — дали по два года. Митрофану Ивановичу — два с половиной, Чуркину-Субботину же, как беглому политзаключенному,— восемь лет каторги. Но с этапа ему удалось бежать, он снова очутился в Новониколаевске, опять начал сколачивать разгромленную в 1905 году городскую организацию РСДРП.

По выходе из тюрьмы Антон устроился грузчиком на лесопилку. Лиза, как и прежде, относилась к Антону и Полипову одинаково. Мать Лизы, пока они сидели в тюрьме, умерла. Лиза с трудом поступила работать на ту же мыловарку. То Антон, то Петька часто встречали ее у мыловарки, провожали домой.И однажды, чтобы покончить с неопределенностью, Антон решился на откровенный разговор. Говорить ему было трудно, но Лиза и не дала говорить.

— Не надо! Не надо! — воскликнула она и зажала ему рот жесткой ладонью. Потом ткнулась горячей головой в плечо.

— А... а как же Петька? — задал он глупый вопрос.

— А что Петька?! Он хороший, наверно. Но... не знаю. Не лежит и никогда не лежало у меня к нему сердце. Он грамотный, а я... Ты ему сам скажи. Чтоб не встречал больше...

И Антон сказал. Петька выслушал все молча, круглые щеки его налились густой кровью, засинели, на правой щеке заходил тяжелый желвак, и правый же угол рта дернулся.

...Свадьбы, как таковой, у Антона с Лизой, можно сказать, и не было. В теплый майский вечер он увел Лизу за город, в лес, там они построили шалашик и провели в нем свою первую хмельную ночь. Антон был пьян от счастья, от запаха цветущей черемухи. Этот запах он почувствовал еще вечером, выходя из города. В теплом синеватом воздухе бесшумно носились ласточки, то взмывая стремительно вверх, то припадая к самой земле. И в голове неизвестно откуда явились сами собой и зазвенели четыре стихотворные строчки:

Над городом запах черемух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь,
И ласточки, ласточки — быстрые птицы —
Пронзают небесную синь...

Антон даже испугался. Никогда никаких сочинительских талантов он в себе не чувствовал и знал, что таковыми не обладает. И вот тебе на — сочинил! Строчки эти всю ночь звенели в голове, а к утру неожиданно сложился еще один куплет:

И ежели в сердце тоска застучится —
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь...

Антон вовсе обомлел.

Когда сквозь дыры в шалашике ударило солнце, Лиза заметила необычность поведения Антона, в ее глазах плеснулось беспокойство.

— Что с тобой?

— Ничего,— смутился Антон и поднялся, вышел на воздух.

Вышла и она. Лесная поляна была залита свежим солнечным светом и звоном птичьих голосов. В этом свете и в этом звоне, собирая ромашки, ходила по поляне Лиза, в белой кофточке, с распущенными волосами. Увидев Антона, она бросилась к нему, закружила его, выкрикивая:

— А я твоя жена! А я твоя жена!

Они упали в мягкую траву и опять принялись целоваться, будто им не хватило на это ночи.

Потом разожгли костер и стали кипятить чай. Глядя на огонь, Антон сказал:

— А знаешь, Лиза, я стих сложил... для тебя.

— Иди ты...— не поверила она.— Как сложил?

— Не знаю. Вот, слушай.

Он проговорил эти восемь строчек торопливо, краснея. Лиза слушала, глаза ее раскрывались все шире.

— Это ты... неужели сам?

— Сам.

— Для меня?

— Ага.

Лиза притихла, им обоим стало неловко будто. И вдруг она замурлыкала, укладывая только что услышанные слова в простенькую мелодию, и пропела их все, не пропустив ни одного.

— Антон! Антон! — вскричала она, кончив петь, прижалась к нему и, счастливая, заплакала.

Вскоре пришла тетя Ульяна, принесла корзинку с едой, несколько бутылок вина. На траве расстелили скатерть, разложили скромное угощение. По одному, по двое стали подходить гости: сперва молчаливый Петька Полипов, потом несколько рабочих из депо, с лесопилки, с мыловарки, из типографии — все члены подпольного городского комитета РСДРП. Последними появились дядя Митрофан и Субботин. Как положено, крикнули: «Горько!» Полипов сидел чуть в сторонке, сжимая в руках граненый стакан. Антон и Лиза, смущаясь, целовались. И все выпили, только Полипов не пил, все сидел, сжимая стакан. Потом резко вздернул руку, выплеснул в рот вино. Но на его поведение никто не обратил внимания, потому что Субботин чуть выпрямился и сказал:

— Товарищи, друзья мои, не будем терять времени. Заседание подпольного городского комитета РСДРП считаю открытым. Вопрос один — об организации нелегальной рабочей газеты...

* * *

— Ну-с, так как же, будете говорить? — повторил следователь Лахновский свой вопрос.

За спиной Антона, за закрытой дверью, затихли удаляющиеся шаги. Еще там, в Новониколаевской тюрьме, Антон научился по звуку отличать шаги Косоротова от шагов других надзирателей — тридцатилетний, он ходил тяжело и грузно, как старик, громко шаркая ногами.

— Вы бы поздоровались сперва,— сказал Антон.

— С какой целью прибыли в Томск?

— Я же говорил — я женился, приехал снять квартиру, чтобы провести в Томске медовый месяц. Полипов мой друг, он помогал мне в поисках квартиры.

— Вы приехали, чтобы восстановить преступные связи с томскими социалистами.

Антон пожал плечами.

Лахновский закурил новую папиросу.

— Советую говорить правду. Ваш так называемый друг Полипов во всем сознался.

— Давайте очную ставку, проверим. Ему не в чем сознаваться. За незаконный арест ответите. Я буду жаловаться.

— Жаловаться? — Следователь подошел вплотную. И вдруг обхватил Антона за шею, поднес к самому лицу папиросу, намереваясь ткнуть в глаз.— Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?

Антон отклонял голову, пока можно было, одновременно пытаясь вырваться. Но следователь был силен. Тогда Антон схватил Лахновского за руку, крутанул ее. Следователь выпустил шею Антона, присел от боли, застонал. Этот стон придал Антону еще больше ярости, он, не соображая, что делает, размахнулся и сильно ткнул кулаком в мясистый подбородок. Лахновский отлетел к столу, роняя с плеч китель.

— Косоротов! Стража-а! В карцер подлеца!

Жандармы уволокли Антона. Косоротов прыгал вокруг Лахновского:

— Ваше благородие, да как же? Примочечку, может?.. Из квасцов...

— Какие квасцы, болван?! Давай другого, Полипова этого...

В отличие от Савельева Полипов был подавлен и хмур. Он привалился устало к стене и стал тупо глядеть в зарешеченное окошко. Круглые щеки его одрябли, опали, веки припухли, было видно, что он плохо спал, а может быть, вообще не спал несколько ночей.

— Ну-с, здравствуйте.— Лахновский застегнул китель на все пуговицы, сел за стол.— Снова будем запираться? Садитесь. С какой целью прибыли в Томск?

— Я уже говорил...— вяло ответил Полипов, усаживаясь на стул.—Мой друг решил провести в Томске медовый месяц. Я приехал помочь ему подыскать квартиру.

— Придумали бы что-нибудь поумнее,— поморщился следователь.— Где это видано, чтобы простой рабочий имел понятие о медовом месяце, да еще отправлялся в свадебное путешествие?

Да, врали они неубедительно. После женитьбы Антона Полипов с ним почти не разговаривал, и в Томск они ехали будто виноватые в чем-то друг перед другом, потому и не договорились, как вести себя в случае провала. Только в последнюю минуту, когда раздался свисток Косоротова, Полипов крикнул Антону о медовом месяце и о квартире — первое, что пришло в голову. И вот теперь и он и Антон вынуждены были объяснять свое пребывание в Томске этой причиной, чтобы не запутаться окончательно.

Лахновский некоторое время внимательно смотрел на арестованного, усмехнулся.

— Слушайте, Полипов. Давайте говорить откровенно. Какого черта вас, сына уважаемого в нашем обществе человека, потащило к социалистам, бунтовщикам? Что вас там, среди этой грязной, неимущей толпы, привлекает?

Полипов молчал, все так же опустив голову. Лахновский встал.

— Ну хорошо, я понимаю: хмель молодости, романтика борьбы за так называемую справедливость. Чернышевского, наверное, начитались, Герцена, Плеханова... Но теперь вы вполне взрослый человек. Теперь вы можете рассуждать. Для чего вам эта справедливость, если у вашего отца, а стало быть, и у вас отнимут торговлю, дом, деньги?

Руки Полипова лежали на коленях, короткие пальцы чуть подрагивали. Лахновский заметил это.

— Вы уже бывали в наших руках, но отделались, как говорится, легким испугом. Из уважения к вашему отцу... и надеясь, что вы поймете, с вами были, как я заключил из вашего личного дела и рассказов бывшего служащего Новониколаевской тюрьмы Косоротова, не очень строги. Вы что же, снова хотите оказаться в тюрьме, опять испытать человеческое унижение, оставить в тюремной камере лучшие свои годы, а может быть, здоровье, жизнь? Вы будете заживо гнить, а там, за тюремными стенами, солнце, свет, вино, женщины. Да, и женщины, черт побери! А революция давно задушена, разгромлена! И пора бы понять—навсегда.

Лахновский остановился возле Полипова, опять закурил.

— Вы женаты?

— Нет,— коротко ответил Полипов.

— Невеста есть?

— Нет. Была, как я считал. Теперь нет.

— Изменила?

— Замуж вышла за другого! Если вы такой любопытный.

— За кого?

— За черта! За дьявола! — вскипел Полипов.— Ваше какое дело?

Лахновскому нельзя было отказать в наблюдательности, в умении понимать душевное состояние своих подследственных.

— Постойте, постойте,— раздумчиво произнес Лахновский.— А не за этого ли вашего друга она...

У Полипова дернулся уголок рта, он отвернулся.

— Тэ-экс... Значит, и любимую женщину они у вас отобрали? Примечательно-с! И вы — отдали? Отдали без борьбы, как самый последний... И не попытались ее вернуть, отвоевать?

— Перестаньте! — крикнул Полипов.

Лахновский не зря был на хорошем счету у начальства. Не давая опомниться Полипову, он обхватил его, как Антона, за шею, поднес горящую папиросу к самому носу, угрожая ткнуть в глаз, зарычал:

— Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?!

Полипов дернулся, закричал. Следователь выпустил его.

— Так вы не хотите попытаться вернуть... любимую женщину? — спросил Лахновский, разглядывая огонек своей папиросы.— Хотя бы с нашей помощью? Или уже разлюбили ее?

Стоя у стены, Полипов никак не мог унять дрожь.

— Что я... должен... для этого сделать? — Голос его рвался.

— Сказать, зачем вы приехали в Томск.

Полипов сунул кулаки в карманы, вынул, снова спрятал.

— Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?

Это он проговорил с хрипом, отворачиваясь. Даже на следователя ему глядеть было стыдно.

— Смотря по тому, с какой целью он приехал в Томск. Во всяком случае, лет на пять-семь упрячем надежно.

И вдруг Полипов, лихорадочно оглядывая почти пустой кабинет, застонал:

— Нет, нет! Я все наврал... Я все наврал!

Лахновский улыбнулся широко, открыто, почти по-дружески.

— Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?

Полипов обмяк, съежился.

— Вот именно,— сказал следователь утвердительно.— Я всегда уважал людей, умеющих взять себя в руки. Итак?

— При одном условии — я вне подозрения.— Полипов не глядел на следователя.— Иначе игра не стоит свеч.

— М-м... При одном условии и с нашей стороны. Мы сажаем вас на несколь месяцев в тюрьму. Необходимость этого, надеюсь, вы понимаете. Сажаем в камеру с политическими. Вы должны нас постоянно информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя местное охранное отделение о всех ее делах...

— Довольно! Кончайте...— Полипова всего колотило.

— Прошу вас, садитесь.— Лахновский пододвинул ему стул, сел сам, положил перед собой лист бумаги.— Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение? И конечно, с какой целью прибыли в Томск?

— Мы прибыли за недостающим оборудованием для подпольной типографии,— глухо начал Полипов.— Типография устроена под домом по адресу...

Когда Полипов, выложив все, замолчал, Лахновский еще некоторое время писал. Кончив, он поднял голову, поглядел на уныло сидевшего напротив Полипова. На секунду в глазах следователя мелькнуло брезгливое выражение и пропало.

— Знаете, о чем я подумал? — спросил он.— К чертовой матери эту охранку, рано или поздно вы провалитесь, если будете иметь дело с ней. Мы сделаем так: я дам вам адрес и шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России. Старайтесь, Полипов, и вы далеко пойдете...

* * *

В декабре 1912 года по самому мрачному, северному коридору Александровского централа с тяжелой связкой ключей на широком ремне, в сопровождении двух младших надзирателей, шел не торопясь Косоротов, заглядывая в глазок каждой камеры, проверял запоры. Вдруг он заметил, что у одного из его подчиненных плохо заправлена под ремень рубаха-форменка.

— Т-ты, лапоть! — нахмурился Косоротов.— Рохля деревенская! Брюхо вывалится!

— Виноват, ваше благородия! — вытянулся надзиратель, молодой парень лет двадцати.

— Гм... Хучь я и не достигнул до благородия пока...— помягчел Косоротов,— а чтоб при моем дежурстве — как огурец! — И, снова распаляясь, загремел на весь коридор: — Ты где службу несешь? В Александровской центральной каторжной тюрьме ты службу несешь! Ты кого надзираешь? Главных российских преступников-политиков ты надзираешь! Которые имели по нескольку побегов.

— Из новеньких он, ваше благородие,— вступился за молодого другой надзиратель, мужик по виду тоже деревенский, с поседевшими усами.— Исправится он.

— Присылают тут всяких...— несколько остыв, проворчал Косоротов.— Опосля смены зайдешь ко мне в дежурку. Как фамилия?

Фамилию молодой надзиратель сообщить не успел, потому что в конце коридора громыхнула железная дверь, зазвенели шпоры, застучали о пол кованые сапоги.

— Дежурный! — раздался зычный голос.— Принимай заключенного!

Косоротов рысью побежал в конец коридора.

Через несколько минут он вернулся, радостно суетясь вокруг обросшего густой бородой человека, закованного в кандалы:

— Да милый ты мо-ой! Привел-таки господь еще раз свидеться!

— Здравствуй, здравствуй, земляк,— говорил заключенный, тоже улыбаясь. Он шел по коридору не торопясь, устало, поддерживая тяжелые цепи, явно наслаждаясь душным и влажным тюремным теплом.

— Счас камерку тебе! Поменьше, подушнее,— все с той же радостью суетился Косоротов.— Как жил-то, землячок мой хороший?

— А ничего жил, чего там обижаться. Из киренской ссылки сбежал, из акатуйской каторги сбежал. Недавно с Зерентуйской тюрьмой познакомился. Не понравилась что-то, тоже пришлось сбежать.

— Намыкался-то, родимый...

— А ты, значит, достиг-таки своей мечты?

— Дак старался.

— Пофартило тебе в жизни. Ишь в каких хоромах начальствуешь. Не то что наша новониколаевская развалюха.

Заключенный был Антон Савельев. За эти годы он возмужал, раздался в плечах. Коротко остриженные волосы на голове только стали вроде еще белесее, да большой открытый лоб прорезали две неглубокие морщины.

Косоротов все смотрел и смотрел с улыбкой на Антона.

— Господи, да что же я стою, рохля! С дороги-то приморился. Давай сюда, родимый.— Косоротов отомкнул одну из камер.— Самая темненькая, самая сыренькая.

— Спасибо. Вот уж спасибо.

— Чего там, земляки все же.

— Извиняй за беспокойство, да я ненадолго.

— Сколь уж погостишь из милости. Прогонять не будем.

— А сколько будет дважды два?

— Так четыре вроде.

— Вот месяца через четыре, по весне, я и сбегу. Сейчас холодно, да и отдохнуть надо.

— Такой же все веселый ты человек, хе-хе! — совсем растаял Косоротов в улыбке. А потом начал суроветь: — Давай, давай, давай!

Втолкнув Антона в камеру, он замкнул ее, перекрестился истово, и опять мелькнуло на его лице что-то вроде улыбки.

— Ведь и нашего брата тюремщика не обделяет господь радостями...

Вдруг Антон изнутри сильно застучал в дверь. Косоротов открыл окошечко.

— Что тебе? Камерка не поглянулась?

— Что ты, камерка отличная. Совсем ведь радостью-то я забыл поделиться с тобой. У меня же сын родился. Сы-ын!!

* * *

Белочешский мятеж в Новониколаевске начался в ночь на 26 мая 1918 года.

В этот день член Томского губернского исполкома Совета депутатов Антон Савельев возвращался поездом из Москвы, со съезда комиссаров труда.

Губернским комиссаром Антона избрали несколько месяцев назад. Он уехал в Томск один, оставив пока Лизу с сыном Юркой в Новониколаевске. Еще по дороге в Москву он написал письмо, в котором сообщил, что устроился наконец в Томске с квартирой и на обратном пути заберет с собой Лизу с сыном. А выехав из Москвы, дал телеграмму, чтобы Лиза с вещами была на вокзале вечером 26 мая.

Получив письмо, Лиза, работавшая секретарем в уездном Совете, попросила освободить ее от службы и весь день с утра 26 мая укладывалась.

Станция Новониколаевск была забита эшелонами с пленными чехословаками, которые по разрешению Советского правительства возвращались к себе на родину через Владивосток. Из вокзала, хлопая дверьми, то и дело выбегали офицеры. Мокрый, не просохший еще после недавно прошедшего дождя красный флаг на крыше вокзала слабо трепетал, как крыло подбитой птицы. Когда стемнело, на привокзальной площади, тускло освещенной электрическими фонарями, появился хмурый, худосочный человек в кожанке, с тонким, как щепка, носом, в сопровождении дюжины вооруженных красногвардейцев.

Навстречу вывернулся патруль, и толстый чешский офицер, подбегая, закричал:

— Куда? Нельзя! Назад!

— Со специальным заданием,— вяло сказал человек в кожанке и подал чеху бумажку.

Чех долго читал, подсвечивая себе фонариком. Потом протянул несколько удивленно:

— О-о! Подпись господина Гришина-Алмазова! Но в вокзал нельзя, там совещание. Сигарету, господин Свиридов?

Свиридов от сигареты отказался.

Минуты три спустя на площади появился Полипов, тоже в кожанке, тоже мрачный, смятый какой-то.

— Ну? — спросил он, подойдя к Свиридову.

— Приказ чешским войскам отдан по всей магистрали,— глухо проговорил Свиридов.— В городе через полчаса будут захвачены почта, телеграф, пристань, уездный Совет, Чека, уком... Однако зачем вы здесь? Уходите.

Впервые Свиридова Полипов увидел в Новониколаевской тюрьме в 1906 году. В то время Свиридов был членом Томского комитета РСДРП, сплошь состоявшего из меньшевиков, и в камере яростно спорил с Субботиным на политические темы. А Митрофан Иванович Савельев, слушая эти споры, сказал однажды: «Знаешь что, Свиридов? Годиков через пять... а может быть, раньше даже, ты станешь платным осведомителем царской охранки».

С тех пор Полипов Свиридова не видел, но знал, что по выходе из тюрьмы он порвал с меньшевиками, примкнул к большевистскому крылу РСДРП, а после победы Советской власти оказался в Новониколаевске в качестве комиссара небольшого красногвардейского отряда.

— Что это низко так упали, Свиридов? — пошутил тогда Полипов.

— А вы, смотрю, высоко взлетели,— неприязненно ответил Свиридов. От него сильно пахло водкой.

После установления Советской власти в Новониколаевске Полипов состоял членом Ревтрибунала. Лахновский с самой Февральской революции вестей о себе не подавал, Полипов, разумеется, не разыскивал его, думал иногда с затаенной надеждой: может быть, погиб где в этой мясорубке? Хорошо бы... Но совсем недавно Свиридов встретил его случайно на улице, пригласил к себе домой. И там, выпроводив жену и дочь — девочку-подростка лет тринадцати — на кухню, без обиняков сказал, морщась и поглаживая живот:

— Советской власти осталось существовать не много, самое большее — с неделю. В Новониколаевске давно создано подпольное Временное сибирское правительство, оно собирает силы для решительного удара. Нам помогут чехословацкие войска. Я все откровенно вам говорю, потому что... В общем, говорю с вами по поручению Лахновского. Бывший следователь Лахновский мой хороший знакомый... к сожалению.

— Кто же вы? — изумился Полипов.

— Мы, конечно, попытаемся врасплох захватить кого надо,— вместо ответа проговорил Свиридов.— Но сразу всех арестовать вряд ли удастся. Поэтому... В общем — скрывайтесь сами, но особенно следите, где будут скрываться другие. Эти сведения, даже самые предположительные, будут для нас очень важны, как вы понимаете. Связь будете держать только со мной, как вы держали ее с Лахновским.

— Но где же... сам Арнольд Михайлович?

— Пока сидит в Томской тюрьме.

Итак, о нем, Полипове, не забыли, ему снова отводилась его роль.

...Последние группы чехословаков ушли с привокзальной площади. Мирно, даже как-то уютно светились невысокие окна вокзальчика. Ничто не предвещало, что буквально через несколько минут в городе начнется кровопролитие.

— Я спрашиваю, что вы болтаетесь тут? — зло спросил Свиридов Полипова.

— Лиза... Что будет с Лизой? Я вижу, вы ждете московского поезда, вы хотите арестовать Антона, о котором я вам сообщил... Но Лиза... Не трогайте ее, очень прошу...

— Нервы, товарищ Полипов,— усмехнулся Свиридов.— Вы все еще не оставили надежды? А пора бы.

Да, пора бы. Десять лет прошло со времени ее замужества, сын у Лизы уже большой. Со дня свадьбы едва ли год-полтора в общей сложности жила она с Антоном — остальное время он проводил в тюрьмах, побегах, снова в тюрьмах. Февральская революция освободила его из забайкальских каторжных рудников, а после Октября он уехал в Томск. И смешно Полипову было иногда, и горько: на что надеялся десять лет назад, когда решился на предательство? И все-таки до

сих пор не может оставить своей надежды. Сам давно понимает, что все это несбыточно, а не может. И до сих пор живет холостяком, неуютной, неприкаянной жизнью, один как перст в огромном и гулком отцовском доме. Где отец с матерью, живы ли они — Полипов не знал. После национализации городского банка, в котором отец держал, видимо, значительные ценности, он поскучнел, осунулся, согнулся. И в январе 1918 года, бросив дом и пустые лавки, исчез вместе с матерью из города, отправив по почте сыну письмо: «Будьте вы прокляты все... А ты, любезный сынок, в первую очередь...»

Полипов был рад даже, что отец поступил таким образом, вздохнул с облегчением. Рано или поздно ему пришлось бы что-то предпринимать в отношении родителей. А теперь, если переворот удастся, родители вернутся, узнают о нем всю правду, отец возьмет назад свое проклятье.

Свиридов нервно поглядывал на часы. Невдалеке раздался паровозный гудок, на стрелках застучали колеса подходящего поезда.

Из ближайшего переулка, из темноты, послышался детский голос:

Мы свободу свою добывали
Не мольбой, а штыком...

Полипов сразу узнал — это Юрка, сын Лизы. И через несколько секунд он появился сам — в чистой, отутюженной рубашке, с приглаженными лохмами волос, а следом Лиза и Ульяна Федоровна с узлами и чемоданами.

— Петр! —воскликнула Лиза. Глаза ее обеспокоенно поблескивали.— Спасибо, что пришел Антона встретить.

— Я тебя пришел проводить...

— Что происходит в городе? По улицам маршируют колонны чехословаков.

— Ничего особенного,— подал голос Свиридов.— Они пошли на помывку в баню.

Ульяна Федоровна опустила на землю тяжелый узел.

— Господи, и Митрофана чего-то нету... Ведь обещал подойти. Так и не вылазит из этой своей Чеки, пропади она пропадом.

Бывший плотник, Митрофан Иванович Савельев после Октября работал в Чека, дома почти не ночевал. Последние несколько дней он вообще в семье не появлялся, сегодня после обеда сообщил через посыльного, что придет на вокзал повидаться с племянником.

— Лизавета, чего стоим-то? — вновь схватилась за узлы Ульяна Федоровна. — Кажись, поезд уже пришел.

— В вокзал нельзя,— сказал Свиридов.— Антон сам сюда придет.

— Это как нельзя? — Ульяна Федоровна взглянула на Свиридова.— Ты кто таков?

Свиридов отвернулся. Полипов торопливо схватил Лизины руки.

— Что ж, до свидания... Что ж... желаю счастья.

Ладони Полипова были горячими, потными, мелко дрожали. Он дернул уголком рта и, не оглядываясь, быстро ушел в темноту.

Дальнейшее произошло в несколько минут. Сперва на перроне послышались галдеж, крики, какие-то команды на чужом языке. Потом через калитку повалили толпы пассажиров.

И вдруг где-то близко от вокзала, в городе, вспыхнула стрельба, но тотчас смолкла.

— Что это? Что зто?! — закричала, бледнея, Лиза.

— Ничего особенного,— ухмыльнулся Свиридов.— Наши люди расстреливают своих врагов.

— Каких врагов? Какие люди? И вы действительно кто такой? Я вас где-то видела, кажется.

Свиридов не ответил.

Антон появился неожиданно, вывернулся из толпы.

— Лиза! Сынок! — Он подхватил Юрку, поднял, прижал к себе. Потом обнял жену.— Лиза, Лиза! Что у вас тут происходит? Почему стреляют? Что здесь происходит?

— Ничего особенного,— ответил Свиридов, подходя к Антону.— Уничтожают Советскую власть.

— Вы, Свиридов? — Антон отступил на шаг.— Что вы сказали?

Свиридов еще медлил какие-то секунды и сказал вяло, как бы нехотя:

— Взять его. Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай.

* * *

Белочешская контрразведка зверствовала в городе вовсю. В лесу за речкой Каменкой день и ночь шли расстрелы.

После переворота прошло три недели. Полипов жил в подвале окраинного домика, принадлежавшего пожилому новониколаевскому извозчику и старому члену РСДРП Василию Степановичу Засухину, в город почти не выходил.

— Проворонили! Всю Советскую власть проворонили,— каждый вечер говорил Засухин, принося Полипову еду.— Считай, всю городскую парторганизацию вырубили.

— Не всю. Мы вот с тобой еще живы. Субботин, говоришь, на воле,— возражал Полипов.— Свяжи меня с Субботиным. Надо же что-то делать.

Засухин молчал, сидел на табурете, опустив голову, дымил табаком, отравляя и без того затхлый воздух подвала.

Субботин сам появился однажды в подвале — обросший за три недели, в растоптанных сапогах, в стареньком картузе, какие носили обычно городские извозчики.

— Жив? — спросил он, здороваясь.— И хорошо. Мало нас осталось. Мы ввели тебя, Петр, в члены подпольного горкома.

— Наконец-то! — вздохнул Полипов.— А то думал, так и прокисну здесь.

— Ну, киснуть теперь некогда. Надо собирать остатки наших сил, надо фактически начинать все заново. И мы начнем. Мы тысячу раз начнем все заново! А Свиридов-то каков?! Я никогда не верил, что он искренне порвал с меньшевизмом. В бытность Свиридова в Томске там провал следовал за провалом. Сколько наших хороших товарищей погибло! Теперь ясно, чьих рук дело. И вот логический финал — следователь в белочешском застенке теперь. Старается. Антона Савельева, имеем сведения, особенно зверски истязает. И жену его.

—Лизу? Живы они?— Полипов был бледен, голос его пересох.

— Пока живы, кажется. А Митрофан Иванович погиб...— Субботин встал.— На днях собраться надо всем, поговорить кое о чем.

— Когда и где?

— Нетерпеливый какой!

— Надоело сидеть в этой яме.

— Василий Степанович вот скажет, когда и где. Ну, рад я был повидать тебя, Петро.

...Через несколько дней, глубокой ночью, выбирая переулки поглуше, Полипов торопливо шел в сторону вокзала, где в крепком особняке с дубовыми ставнями жил Свиридов.

Открыла ему жена Свиридова, полная женщина с заплаканными глазами. Полипов рассчитывал увидеть возле дома какую-то охрану, но охраны не было, и дверь открыли сразу, без всяких предосторожностей, едва он сказал, кто ему нужен. Все это показалось Полипову странным.

Сам Свиридов лежал на кровати в брюках и нижней рубашке. Он был пьян, на столе стояли две бутылки, тарелка с огурцами.

— А-а, господин доносчик!— проговорил Свиридов.— Давно вас жду. Ну, какие новости?

И тон и слова — все было непонятно Полипову, они испугали его.

— Подпольный горком собирается завтра... В доме наборщика городской типографии Корнея Баулина, по адресу...

— Хорошо, хорошо. Я знаю этого наборщика. Не хотите водки?

— Послушайте, Свиридов! Что все это значит?

— А что?— Свиридов опустил ноги на пол, но с кровати не встал.

— Вы пьете, как... как последний пьянчужка! Живете без всякой охраны, будто в мирное время. И вообще...

— Вообще-то не надо бы пить. Гастрит у меня. Кишки будто ножницами стрижет...— И он потер живот.— А охрана есть.

— Послушайте,— еще раз сказал Полипов.— Я пришел по делу, а вы пьяны, невменяемы! Извините, я в таком случае пойду... Я ничего не понимаю.

— Кулепанов!

Распахнулась дверь, ведущая в соседнюю комнату, на пороге появился белогвардеец, за ним еще один.

— Возьмите этого... этого... Отвести в наше заведение! Отделайте его там хорошенько и бросьте в одиночку,— сказал Свиридов, не глядя на Полипова. Подошел к столу и налил из бутылки в стакан.

* * *

Полипов действительно ничего не понимал. Его привели в здание контрразведки, жестоко, в кровь, избили и бросили в тесную камеру.

А потом про него, кажется, забыли. Старый знакомец Косоротов, служивший теперь здесь, носил ему раз в день вонючую баланду, убирал парашу. Он был молчалив, как камень, за все время не промолвил ни слова.

Однажды Косоротов повел его по длинному коридору и втолкнул в кабинет Свиридова.

Синяки с лица Полипова еще не сошли, правая, рассеченная бровь была распухшей, закрывала глаз. Стоя у порога, Полипов левым глазом оглядел довольно просторную комнату. Стол, у стены какой-то шкаф. Возле шкафа была еще одна дверь, обитая толстым серым войлоком.

Сам Свиридов в офицерском френче, но без погон, стоял у окна и уныло смотрел сквозь толстые решетки во двор. Испитое лицо его было землистого цвета, дряблые щеки обвисли, сухие, обшелушившиеся губы подрагивали.

— Может, все-таки объясните, что значит вся эта история со мной?— мрачно спросил Полипов.

— Антона Савельева ко мне!— вместо ответа проговорил Свиридов.— И жену его приготовь. Потом — сына.

— Слушаюсь.— Косоротов пошел, но у порога остановился.— Я, ваше благородие, упредить хотел... Она, Лизка Савельева, третий день пищи не берет. И вроде бы заговариваться начала.

— Веди же их, черт!— заревел Свиридов.

Когда Косоротов ушел, Полипов сделал шаг к двери.

— Нет, увольте... Я прошу.

— Сесть!— крикнул Свиридов, показав на стул у стены.

Подошел к шкафу, достал стакан и бутылку. Когда наливал, руки его дрожали, стекло звякало о стекло. Выпив, шумно вздохнул.

— Как вы думаете, Полипов, зачем живет человек?— неожиданно спросил он.— В чем смысл его рождения, его смерти? А? И вообще — в чем правда, истина, а в чем ложь?

— Нашли время и место о таких вещах рассуждать?

— Почему же? Всегда и время и место... если есть потребность к этому.

— Не знал, что вы такой философ. Я же не обладаю такими достоинствами.

— Да, да... Вы просто провокатор.

— Я где нахожусь?!— Полипов рванулся, встал.— Вы лучше скажите: накрыли вы подпольный горком партии?

— Зачем?— Свиридов пожал плечами.— Накроем один — появится другой. Бесконечная, бесполезная работа...

— Не понимаю.— Полипов сел, его била дрожь.— Или я сошел с ума, или...

И замолк, потому что Косоротов ввел Антона.

Савельев похудел, глаза глубоко ввалились, кожа на щеках, на висках, на лбу была желтоватого цвета. Но следов истязаний видно не было. Чувствовалось только, что он смертельно устал.

Перешагнув через порог, Антон тревожно обшарил глазами кабинет.

— Здравствуй, Петр,— сказал он негромко.— И тебя выследили ищейки?

Сердце Полипова заледенело. Что, если Свиридов объяснит, каким образом его, Полипова, «выследили»? Но Свиридов только нервно усмехнулся одними губами.

Антон тяжело, как старик, подошел к столу и сел на стул, понюхал воздух.

— Опять пил, Свиридов?

В глазах у Свиридова блеснул лихорадочный огонек, стал разгораться.

— Не пойму я тебя, Свиридов,— продолжал Антон.— Вернее, кажется мне иногда — жжет тебя внутри какой-то огонь, остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой.

— Верно, угадал, хе-хе...— Смех Свиридова был сухой, деревянный.

— А потом подумаю: нет, какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до уровня скотины!

— И тут угадал, хе-хе...— И вдруг, зеленея, взорвался:— Угадал, да, да! Угадал!— И обхватил голову обеими руками, запустил пальцы в волосы, будто хотел вырвать их.— Только тебе от этого не легче. Не легче!

— Да, я знаю, ты расстреляешь нас всех — меня, Лизу... всю нашу семью,— проговорил Антон.— Юрку даже... ребенка не пожалеешь. Но ведь народ-то весь вам не перестрелять, не уничтожить, не подмять.

— Да?— И Свиридов усмехнулся.— Ты что, слепой, глухой? Не знаешь, не понимаешь, что происходит в России? Новониколаевск пал, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск наши. На Дальнем Востоке японцы, Забайкалье контролирует атаман Семенов, Южный Урал — атаман Дутов. В Поволжье добивают остатки красных отрядов. Все! Советской власти хватило на полгода. Была — и кончилась. И не будет больше.

— Э-э, нет, братец! Была, есть и вечно будет. В тех городах, которые ты перечислил, уже созданы, уже действуют подпольные партийные организации. Они поднимают народ, и скоро этот народ придавит вас к ногтю.

— Пока мы давим!

— Недолго вам осталось. Ведь от бессилия свирепствуете. Скоро, очень скоро народ спросит с вас за тысячи замученных, расстрелянных! За все сполна платить будете!

— Ну, поговорили умненько — и будет!— прервал его Свиридов.— Вопрос все тот же— кто мог войти в состав Томского подпольного горкома?

— Не знаю я, Свиридов. Я же был арестован тобой за несколько дней до занятия Томска белочехами. Кроме того, я возвращался из Москвы.

— Я понимаю, что наверняка ты не можешь знать. Но предположительно.

Полипов, лишний и забытый, сидел у стены, с недоумением наблюдая за допросом. Зачем Свиридову фамилии томских подпольщиков, когда своих, новониколаевских, он оставил в покое? Или он врет, Свиридов этот, Субботин и все остальные давно арестованы? И сейчас, после Антона, Свиридов начнет их вызывать по одному на очную ставку с ним, с Полиповым? Ну да, так, наверное, и будет! Вот зачем он, Полипов, доставлен сюда, в контрразведку. Непонятно только, почему именно таким способом, зачем его били тут.

И Полипов, мгновенно представив, что через несколько минут ему надо будет глядеть в глаза Субботину, облился холодным потом.

Однако события развернулись совсем по-другому.

— Значит, не будешь говорить?— переспросил Свиридов Антона.

— Я не предатель.

— Тебя-то мы все равно расстреляем. Пожалей хотя бы жену. Она на грани сумасшествия. Сына своего пожалей. Тетку свою... Ту сердечные припадки колотят, ты ее фактически погубил уже. Но жену и сына можешь спасти еще. Ну? Хотя бы предположительно?

Полипов видел, как лоб и щеки Антона покрылись крупной испариной.

— И предположительно я вам ничего не скажу.— Голос Антона осип, он громко глотнул слюну.— Пора бы это понять.

— Заговоришь, неправда... Косоротов!

И Косоротов втолкнул через порог Лизу. Антон и Полипов враз встали. Постояв, Полипов сел, а Антон продолжал стоять, держась за край стола.

Смотреть на Лизу было страшно. Растрепанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату.

— Сын... Где мой сын? Что вы с ним сделали?!— заголосила она, упала на колени, поползла к столу.

— Лиза! Лизонька!— Антон кинулся к жене, поднял ее, но Свиридов торопливо вышел из-за стола, отшвырнул от Антона жену.

— Юрка жив-здоров пока.— И повернулся к Антону:—Будешь говорить?

Антон вытер рукавом пот со лба.

— Мне нечего сказать... Нечего!

— Заговори-ишь! — И Свиридов рванул обитую войлоком дверь, прокричал туда:— Займитесь!

Все дальнейшее Полипов видел и воспринимал сквозь какой-то серый качающийся туман. Из комнаты, в которую вела обитая войлоком дверь, выбежали трое черных людей, схватили Лизу, поволокли. Антон бросился было вслед, но потом попятился назад, чуть не стоптал его, Полипова, и прижался к стенке спиной. И так стоял, крепко зажмурив глаза, царапая эту стену пальцами, обламывая ногти, слушая тяжкие стоны жены из соседней комнаты... Полипов поглядел на тот участок стены, которую царапал Антон. И увидел в том месте ободранную штукатурку, сквозь которую проступала в нескольких местах занозистая дрань. И он понял, что Антон не раз уже стоял вот так и царапал стену. И его замутило, в голове все поплыло.

Сколько времени все это продолжалось, Полипов не знал. Он очнулся от пронзительного голоса Лизы:

— Где мой сын? Вы его замучили? Вы его убили?!

Лизу, видимо, только что вытолкнули из-за войлочной двери, она ползла по полу, пытаясь встать. Голое плечо и ладони ее кровенились.

— Пока еще нет. Но замучаем, если будешь молчать!

Это Свиридов опять говорил Антону, который все так же стоял у стены, закрыв глаза.

— Покажите мне сына! Вы его убили... Покажите мне сына!— без конца повторяла и повторяла Лиза. Она поднялась наконец, но, никого не узнавая, крутилась на одном месте.

— Хорошо. Сейчас ты увидишь сына. Косоротов!

Косоротов так же молча, как Лизу, втолкнул из коридора в кабинет Юрку.

— Мама! Мамочка!

Лиза мгновенно узнала сына, цепко схватила его дрожащими руками, марая своей кровью его грязную рубашонку, и вместе с ним опустилась на пол — ноги ее не держали.

— Сынок! Сыночек, ты жив? Жив!

— Я жив, мама...— Он взял в ладошки ее лицо.— Какая ты стала, мама!

— Они били тебя? Они били тебя?

— Нет, меня не били. Только я есть хочу. Тут плохо кормят...— И мальчик увидел отца и Полипова.— Папка! Дядя Петя!

Он хотел было подбежать к отцу, но не мог вырваться из цепких рук матери.

— Какой папка? Его нету, он не приезжал еще из Томска,— торопливо заговорила Лиза.— А у меня телеграмма есть. Мы ведь поедем сейчас к нему в Москву. А ты поспи, поспи, сынок, перед дорогой. Усни и есть не будешь хотеть. А я песенку тебе спою, которую папа сочинил...

И она, прижимая к себе сына, запела тоскливо и жалобно, с трудом припоминая слова:

Над городом запах черемух... струится,
Давно отступила уж зимняя стынь...

— Ну, так будешь говорить?— резко спросил Свиридов, подойдя к Антону.— Или — прощайся с сыном.

Он подождал немного и, видя, что Савельев молчит, дернул бесцветными, сухими губами, сказал в третий раз:

— Вре-ешь, заговоришь!— И, оторвав мальчишку от матери, толкнул его за войлочную дверь.— Займитесь и этим щенком!

— Мама! Мама-а! —истошно закричал Юрка уже из-за двери.

Этот крик звоном отозвался в голове у Полипова. Чувствуя, как по груди и спине, между лопатками, обильными ручьями стекает холодный пот, он встал, хотел было куда-то идти.

— Сидеть!— рявкнул Свиридов.

Полипов сел и стал тупо, ничего уже не ощущая, глядеть на Лизу. А та, страшная, косматая, как-то странно ползала по полу, ощупывая каждую половицу.

Потом посидела в задумчивости несколько секунд и начала руками ловить воздух, потрескавшиеся губы ее что-то шептали. И Полипов различил еле слышимое:

— Юра... Юронька, сынок? Куда вы дели моего сына?!

Она, шатаясь, встала, ткнулась в стол, потом в стену. Прислушалась к чему-то, улыбнулась. Глаза ее, зеленоватые, бездонно глубокие глаза, которые так нравились Полипову, горели нездоровым, но красивым огнем...

Полипов отлично понимал, что там, за обитой войлоком дверью, происходит ужасное. Там, почти на глазах у беспомощного отца и обезумевшей матери, пытают ребенка. Но то ли он притерпелся ко всему, то ли просто внутри у него все одеревенело — он не испытывал того головокружения, от которого несколько минут назад почти потерял сознание, его только сильно тошнило, и он боялся, что его вырвет.

Антон не царапал теперь стену, глаза его были открыты, зубы крепко сжаты, так крепко, что отчетливо обрисовывались челюсти, делая его лицо некрасивым. И еще Полипову казалось, что зубы Антона с тихим треском крошатся.

А Лиза между тем все скользила по стене к обитой войлоком двери. И вдруг оттуда раздалось:

— Ма-ама-а! Мам...

— Хватит! Хвати-ит!— Свиридов рванул воротник. Потом схватил себя за горло, задыхаясь.— Увести всех! Всех Савельевых!

Свиридов подбежал к шкафу, достал бутылку.

Снова застучало стекло о стекло.

* * *

Выпив, Свиридов успокоился, сел опять за стол, нервно поворошил бумаги, нашел что-то нужное, минут десять писал, протыкая пером тонкие листы.

— Ужас... Ужас...— пробормотал Полипов, все еще обливаясь потом. Он сидел согнувшись, глядя в пол.— Все-таки объясните мне — почему я здесь? Зачем били меня? Зачем...

— А это не тебя, это меня били,— прервал его Свиридов.— Это я сам себя бил.

— Вы, кажется... Не Лиза, а вы сошли с ума.

— Верно,— согласился Свиридов.— Около того. Так как же, Полипов! Вот вы видели... На ваших глазах сошла с ума женщина, которую вы, как вы говорите, любите... Теперь, после этого, вы поняли... или хотя бы задумались — зачем рождается человек? Зачем живет? В чем смысл жизни? Где правда, истина, а где ложь?

Говоря это, Свиридов встал, скрестил на груди худые, жилистые руки. Глаза его были пустые, холодные.

— Мне только об этом и осталось думать...— В голове Полипова стучало: «В самом деле — сумасшедший».

Но, как бы опровергая это, Свиридов сказал:

— Жаль. Но когда-нибудь задумаетесь. Каждый человек об этом все равно задумывается — рано или поздно... Косоротов!

Полипов сжался. Что еще выкинет сейчас этот безумец Свиридов? Ах да, вызовет на допрос Субботина...

Но когда появился Косоротов, Свиридов спросил, глядя куда-то в угол комнаты:

— Как она, Савельева Елизавета?

— Совсем, должно, тронулась, вашблагородь. Связала в узелок какие-то тряпки, ходит по камере, у всех спрашивает, не опаздывает ли поезд. В Москву, грит, собралась, к мужу.

— Ага... А старуха Савельева?

— Стонет лежит, за сердце держится.

— Ага,— опять протянул Свиридов.— Вышвырни их вон, к чертовой матери. На сумасшедших чего пули тратить. И мальчишку выброси. Вот...— И Свиридов протянул несколько бумажек.— И на этого тут документ,— кивнул Свиридов на Полипова.— Тоже пускай идет, выпустишь.

Косоротов с удивлением глянул на Полипова. Однако, не привыкший обсуждать поступки начальства, произнес:

— Слушаюсь, вашблагородь.

Косоротов ушел, а Свиридов опустился на тот стул, на котором сидел недавно Антон Савельев, закрыл лицо ладонями.

— Я что же... действительно могу идти?— тихо спросил Полипов.

— Можете.

— Но как же я объясню... своим... каким образом я вышел отсюда?

— Мне какое дело? Объясняйте. Хотя это действительно вам будет трудно. Мой вам совет — сегодня же ночью убирайтесь из города подальше и там попытайтесь пристать к любой части Красной Армии. Так вы, может быть, спасете себя, а главное — новониколаевских подпольщиков. Я ведь действительно оставил ваш донос без внимания. А другой не оставит... Впрочем, можете открыто вступать и в белогвардейский отряд здесь, в городе. Дело ваше. Или езжайте в Томск, к Лахновскому, он давно вышел из тюрьмы...

— Да кто же вы, в конце-то концов?!— изумленно спросил Полипов, как когда-то на квартире у Свиридова.

— Я?— Свиридов отнял ладони от лица. Отвислые щеки его подрагивали.— Сейчас, пожалуй, уже никто. А в прошлом... в прошлом такой же подлец, как и ты...

— Я все-таки попросил бы...

— Оставь, пожалуйста, эмоции,— устало сказал Свиридов. — Я когда-то смалодушничал, как и ты. Здесь же, в этом городе, в Новониколаевской тюрьме. Ведь мы тогда вместе сидели. И ты помнишь, отец или, кажется, дядя этого Антона Савельева сказал мне: лет через пять ты станешь платным осведомителем царской охранки. А я стал раньше. Я, в прошлом меньшевик, по совету того же Лахновского примкнул открыто к большевикам. И я их выдавал, выдавал! В конце концов меня стали подозревать, относиться недоверчиво. Видимо, я где-то был не так осторожен и хитер, как ты... Меня разоблачили бы безусловно, но началась революция. В суматохе было уже не до меня, я перебрался из Томска в Новониколаевск и здесь...

— И здесь вы превратились в пьянчужку,— сказал Полипов.

— Нет, тут со мной случилось еще большее несчастье. Меня вдруг стали мучить вопросы — простые вопросы, которые вчера еще были мне абсолютно ясны: а что, собственно, происходит на земле, что случилось в жизни, куда она идет? И я, грамотный, культурный человек, интеллигент,— я когда-то преподавал в гимназии, я учил детей добру, человечности, справедливости,— кто же я, что я, зачем я на земле?

— Действительно,— сказал Полипов.

— Перестаньте!— Свиридов резко поднялся.— Мне вам всего не объяснить, а вам, кажется, не понять.

Он отошел к окну, опять крестом сложил руки на груди, сжимая ладонями плечи, будто ему было холодно, долго смотрел сквозь решетки на вечернее небо. И вдруг спросил:

— А вот Антон Савельев — он знает, кто он, что он, зачем он на земле? А? На его глазах жена с ума сходит, а он молчит. На его глазах сына терзают, а он молчит. Вы видели, он даже предположительно никого не назвал. Отвечайте! Как он мог? Откуда у него такие силы? Во имя чего?

Полипов не знал, что отвечать и надо ли отвечать.

— Или... или ему ясно, с самого начала ясно то, что мне стало вдруг неясно?— Свиридов потер виски длинными пальцами.— Что ж, его расстреляют. Его — чуть раньше, нас с тобой — чуть позже. Помнишь, как он сказал? «Народ придавит вас к ногтю».— Свиридов болезненно усмехнулся.— Как вшей, значит. А? Придавят?..

— Чего вы спрашиваете? Вы же только что доказывали Антону обратное.

— Ты болван, Полипов. Какой ты болван!— будто даже с сожалением произнес Свиридов.

— Вы что же, затем, чтобы сказать мне это... и вообще высказать свои... не знаю, как назвать... сомнения... и кинули меня в этот застенок, заставили смотреть на... Чтобы и у меня возникли такие же сомнения, такие же вопросы?

— За этим ли, за другим ли — мне уж и самому не понять.— Свиридов просунул руку сквозь решетку, сдернул оконный шпингалет, толкнул створки.— Захоте-

лось — и арестовал. Я мог бы расстрелять вас вот в этом кабинете, вот из этого нагана.— Он подошел к столу и действительно вытащил из ящика наган.

Полипов дернулся со стула, но полностью, во весь рост, разогнуться не мог, так и застыл, скрюченный, застыл от смертельного испуга — в лице Свиридова не было ни кровинки, глаза, опять пустые, холодные, безумные глаза Свиридова продавливали его насквозь.

— Да, я мог бы, но не знаю, будет ли это справедливо,— заговорил Свиридов тихо.— Я мог бы освободить и Антона Савельева, но тоже не знаю, будет ли это справедливо. Поэтому самое справедливое — пустить себе пулю в висок.

Полипов с ужасом глядел на Свиридова, на его пустые глаза, на белые, как бумага, щеки, на сухие, побелевшие на сгибах пальцы, сжимающие рукоятку нагана. И ему стало до пронзительности ясно, что Свиридов сейчас действительно застрелится.

— У меня есть дочь, Полипов. Вы ее видели, кажется. Ее Полиной звать, знаете?— зачем-то спросил Свиридов.

— Да. Мельком видел.

— Если вы останетесь живы, скажите ей... когда-нибудь, если выйдет случай, что отец ее запутался, что у него не было выхода. И вообще знайте... если потом станет ясно, что я шел против течения, утром пытался вернуть прошедшую ночь,— что ж, значит, все правильно. Если же... если окажется, что я боролся за правое дело,— вы меня простите, что не выдержал. Я старался, но нет больше сил. Постарайтесь понять, что сам перед собой я был честен. А ведь сам перед собой каждый должен быть честен. Впрочем, зачем я вам говорю все это?

«Действительно, зачем?»— подумал Полипов.

— А теперь уходите! Косоротов вас выпустит.

...С бьющимся сердцем, не веря в свое освобождение, боясь, что кто-то его увидит, Полипов вышел из окованных железом дверей здания контрразведки. Когда он шел вдоль высокого забора, поверх которого была натянута в несколько рядов колючая проволока, услышал выстрел, долетевший, как он догадался, из открытого окна кабинета Свиридова. Звук был тихий, не страшный — будто кто над ухом переломил сухой прутик...

Этой же ночью, воспользовавшись советом Свиридова, Полипов, никуда не заходя, ни с кем не повидавшись, исчез из города.

* * *

На расстрел Антона Савельева повели первой июльской ночью, темной и хмарной. Было, наверное, часа три, но летние ночи короткие, на востоке, в той стороне, куда его вели, плотные тучи, застилавшие небо, начали синевато промокать. Погромыхивал где-то далекий гром.

Справа от Антона шел пожилой, с редковатыми висячими усами конвоир; время от времени зло покрикивал на Антона:

— Давай, давай... пошибче шагай! И так припоздали, рассвет скоро. А-а, лихоманец!— И толкал его прикладом.

Четверть часа назад на тюремном дворе этот конвоир, застегивая ему наручники, шепнул:

— Перепилены они. Мимо извилистого оврага поведем — прыгай вниз, как зачну кашлять, там ждут...

Сердце Антона забилось: неужели и на сей раз удастся избежать смерти?

Вышли за город, пошли редковатым березнячком. Антон знал: березнячок скоро кончится, начнется довольно густой смешанный лес, а тут берет начало этот самый извилистый овраг, не очень глубокий, поросший всякой древесной мелочью. «Удастся ли? Кто там ждет? Субботин, наверное, кто же еще...»

Антон волновался так, как никогда не волновался, даже в самых отчаянных и безнадежных положениях во время своих многочисленных прошлых побегов.

Они давно шли по краю оврага, Антон прислушивался, не кашлянет ли усатый конвоир, но слышал только, как поет неподалеку первая, сонная еще, зорянка.

Как он ни ожидал условленного сигнала — услышал его неожиданно. Усатый конвоир, все так же идя сбоку, кашляя, чуть отвернулся. Антон ударил его плечом, отшвырнул, в два прыжка очутился на краю оврага, прыгнул вниз, пока-

тился по скользкому травянистому склону, чувствуя, что руки его свободны, только звенят на обоих запястьях нестрашные теперь железки. Наверху раздались крики конвойных и беспорядочная стрельба. Хотя сверху стреляли и наугад — на дне оврага совсем было темно,— Антон слышал, как вокруг глухо шлепают в сырую землю пули.

— Живо... сюда!— сказал кто-то сдавленно (по голосу Антон узнал наборщика городской типографии Корнея Баулина), дернул его в сторону, впихнул в какую-то земляную щель и сам лег рядом, тяжко дыша. А близко, совсем близко слышался уже топот ног, и усатый конвоир кричал:

— Туда он побег, лихоманец, туда! Вниз по оврагу. Вон он, вон он! Сто-ой, твою...

Опять наперебой затрещали выстрелы, топот ног и хруст веток под сапогами стали удаляться.

— Живо!— Баулин поднялся, побежал вверх по оврагу.

Антон при падении ушиб колено, но, к счастью, не очень. Прихрамывая, он побежал следом.

Саженей через пятьдесят они выбрались из оврага наверх. Там, в кустах, стояла извозчичья пролетка Засухина.

— Садись,— коротко сказал, подбирая вожжи, хозяин пролетки.— На, переодевайся да спиливай колечки с рук.— Засухин кинул ему трехгранный напильник, узел с одеждой, погнал пролетку по затравеневшей лесной дороге. Баулин нырнул в лес, будто его и не было.

Рассвет только-только занимался, зорянки свистели теперь наперебой. Пролетка катилась мягко, без стука.

К берегу речки Ини, протекавшей неподалеку от города, подъехали, когда совсем стало светло. Остановились в прибрежных тальниках. Откуда-то подбежал долговязый парень лет двадцати пяти, поздоровался.

— Это Данилка Кошкин, сынок Ивана-конвоира, который с усами-то,—сказал Засухин Антону.— Он тебя на лодке перевезет на другой берег, а там... Ну, он знает куда... Лучше тебе подале от города быть пока. Так Субботин сказал. Поклон тебе от него. Ну, айдате, пока совсем день не разгулялся.

— Один вопрос, Василий Степанович. Как там мои — Лиза, Юрка, тетка? Свиридов, следователь, застрелился, подлец, а перед этим выпустил все же их.

— Тетка, Антон, померла вскорости,— глухо проговорил Засухин.— Не выдержало сердце... А жена твоя Лизавета — ничего, слава богу. Оклемалась вроде. И сын здоров. Ты не беспокойся, за ними приглядывают наши люди. И про Свиридова слыхали. Про дядю твоего Митрофана знаем. Полипов где вот? Тоже сплошал где-то, в лапы того Свиридова, говорят, попал.

— Раз я видел его там... Только раз, во время допроса. Расстреляли, вероятно.

— Может, и так,— нахмурился Засухин.— Бывали ночи — по сотне людей они расходовали.

Сидя в лодке, Антон торопливо дышал полной грудью, оглядывал пустынную речку. Данило Кошкин молча бил веслами.

— Увидишь отца — скажи ему спасибо от меня,— сказал Антон, когда пристали к берегу.

Парень хмыкнул.

— Пулю бы ему — это бы как раз по справедливости стало.

— Это как же?— удивленно спросил Антон.

— А так... Думаешь, он за так согласился помочь нам? Черта с два! Деньги ему большие уплачены были. Жадный он до денег. Я думал — все равно обманет. Нет, все выполнил, что было договорено.

— Вот оно что!

— А ты как думал? Я с ним, с кровососом, давно разошелся.— Помолчал и добавил:— По идейным мировоззрениям.

* * *

Силантия Ивановича Савельева и его жену Устинью полковник Зубов распорядился повесить на главной улице Михайловки, в присутствии всех жителей деревни.

13 июля 1919 года, в воскресенье, после полудня, михайловских баб, стариков и ребятишек стали сгонять в середину деревушки, где стоял развесистый тополь. На могучей ветке дерева болтались две намыленные веревочные петли, к стволу была прислонена непокрашенная скамейка. Над деревней стоял шум, крики, детский плач. Но головорезы из отряда Кафтанова, бывшего михайловского лавочника и первого на всю округу богатея, объявившегося в деревне со своей бандой одновременно с белогвардейцами, безжалостно выгоняли всех из домов, теснили на место казни.

Верстах в пяти от Михайловки в просторном голубовато-белесом небе ослепительно горели под солнцем могучие гранитные утесы Звенигоры. За один из утесов зацепилось небольшое, первозданной чистоты облако, долго стояло там, чуть покачиваясь, будто наблюдая, что происходит в деревне. Потом, оставив редкие клочья на острых камнях, поплыло дальше, в сторону большого села Шантары, лежавшего неподалеку за Звенигорой, вдоль берега довольно широкой речки Громотухи.

Казнили старого Силантия за то, что он помог укрыться партизанскому отряду в неприступных каменных теснинах Звенигоры. Этот большой отряд, организованный бывшим председателем Шантарского волостного исполкома Совета Поликарпом Кружилиным еще год назад, гоняясь по лесам за возникшей во время белочешского переворота кулацкой бандой Михаила Лукича Кафтанова, фактически контролировал огромную таежную область в верховьях реки Громотухи, препятствуя сбору податей, недоимок за прошлые годы, мобилизации людей в колчаковскую армию. А нынче весной, скрываясь все в тех же громотухинских лесах, партизаны небольшими группами начали объявляться на пустынных железнодорожных перегонах южнее Шантары, портили железнодорожный путь, развинчивали и увозили прочь рельсы, самодельными минами взрывали небольшие мосты. В марте, апреле и мае железнодорожное сообщение между Новониколаевском и Барнаулом почти прекратилось. Тогда-то и был послан из Новониколаевска регулярный белогвардейский конно-пехотный полк под командованием полковника Зубова со специальным заданием — во что бы то ни стало уничтожить отряд Кружилина.

Разгрузившись на станции Шантара в начале июня, полк двинулся через Михайловку в тайгу, где к Зубову примкнул и Кафтанов со своей сотней головорезов. К концу месяца Зубову и Кафтанову удалось выгнать из тайги наполовину перебитый партизанский отряд, в котором оставалось все же около трехсот человек, но совершенно почти не было боеприпасов, оттеснить его к самой Михайловке, на голое степное место. Оторвавшись от преследователей на несколько часов, перейдя вброд обмелевшую Громотуху, протекавшую от Михайловки в трех верстах, Кружилин хотел увести отряд через деревню на восток, в сторону Огневских ключей. С юга и севера по пятам наступали Зубов и Кафтанов. На западе стеной стояла Звенигора, за ней, за Звенигорским перевалом,— Шантара, где, по сведениям вездесущего начальника партизанской разведки Якова Алейникова, был хотя и малочисленный, но хорошо вооруженный белогвардейский гарнизон. Оставался восток, эта дорога на Огневские ключи, но Кружилин не был уверен, что Зубов заранее не послал туда, в обход, часть своих войск, чтобы заткнуть и эту дыру.

— Яков, проверить надо Огневскую дорогу,— сказал Кружилин, спешиваясь посреди деревни, возле колодца. Достал ведро воды, начал жадно пить.

— Проверим,— ответил Алейников, невысокого роста парень, щупловатый, с тонкими губами. И, остановив пожилого партизана с рыжей бородкой, крикнул:— Ну-ка, живо Федора Савельева ко мне со всем эскадроном!— И тоже припал к ведру.

Кружилина и Алейникова обступили испуганные и любопытные жители деревни.

К колодцу, взбивая пыль, подскакало десятка два всадников. И тут в толпе послышались удивленные возгласы:

— Глядите-ка, Федор! Сынок-то Силантия!

— Батюшки, а рядом-то с ним, с Федькой, кто? На гнедой лошаденке, в кожанке-то? Баба ить, хоть и в штанах? Не Анна ли Кафтанова?

— Не ври. С чего дочке Кафтанова в партизанах быть!

— Да ить она! Ты глянь, ты глянь!

— Кирька?! Инютин?— закричала какая-то старушонка.— И ты в партизанах?

— Какой Кирька? Сынок старосты, что ли?

— Ну! Он!

— Господи Иисусе! Эк все перебулькалось! А староста одноногий в отряде Кафтанова в казначеях ходит, Акимка-мельник сказывал...

— Да это что за партизаны такие?

— И Ванька Савельев, грит еще Акимка, меньшой парень Силантия-то, у Кафтанова воюет...

— То-то и дело... Чудеса, одним словом...

Пока раздавались эти возгласы, Алейников вскочил на коня, махнул рукой, эскадрон, подняв облако пыли, вылетел из деревни. Но через час вернулся, потеряв двух человек убитыми.

— Прямо под пулеметный огонь врезались. На Журавлиных болотах,— коротко объяснил Яшка.— А преследовать нас не стали. Знают, сволочи, что никуда теперь нам не уйти.

Этого-то Кружилин и боялся. Журавлиные болота тянулись на много километров. Единственная дорога, пролегающая через топи, была перерезана. Отряд оказался в мешке.

Кружилин выслушал донесение Алейникова, сидя на лавке в тесной избенке Силантия Савельева, опустил голову и стал молча и жадно курить.

Федор, двадцатичетырехлетний парень, широкогрудый, сильный, со сросшимися бровями, под которыми сверкали темные, чуть угрюмые глаза, соскочив во дворе со взмыленного жеребца, по привычке бросил поводья Анне, вытер небольшие запыленные усы и тоже зашел в избу, гремя шашкой. За дощатым столом несколько партизан что-то хлебали из мисок. Устинья, старая, иссохшая и почерневшая, как прошлогодний лист, качнулась к нему:

— Феденька, сынок...— И заплакала.— А Ванюша-то как? Где? Не слыхал, живой он?

— Ну... живой, поди, коли со мной пока не встретился,— проговорил Федор глухо.— А встренется — мертвый будет.

И отстранил тихонько мать. Силантий, белый как лунь, сидел у дверей на скамеечке. Он только поглядел на сына, но ничего не сказал.

В избу зашел Панкрат Назаров, бывший председатель Михайловского Совета, а теперь заместитель Кружилина, мужик лет за сорок, уже наполовину седой, по-крестьянски угловатый и неповоротливый. Полгода назад он был тяжело ранен, пуля застряла где-то в груди. Недели две изо рта у него текла кровь, никто не думал, что он выживет. Но здоровья Назаров был отменного, кровотечение прекратилось, и он встал на ноги.

— Должно, ты ее, пулю-то, с кровью выплюнул,— решили партизаны.

— Нет, чую, там сидит, зараза,— сказал он как-то.— В легком, должно. Как запыхаюсь, так и чуется. Да нехай, весом потяжельше буду.

Человек спокойный, рассудительный и справедливый, за что михайловцы несколько раз выбирали его в деревенские старосты, Назаров и в отряде пользовался большим уважением. Кобура с маузером сильно оттягивала ремень, оружие не шло ему, казалось лишним, ненужным. Глядя на Назарова, никак нельзя было сказать, что он умеет обращаться с ним.

— Людей покормили,— сообщил он.— Патроны я подсчитал — слезы. Помирать, что ли?

Кружилин поднял лобастую голову, режущие глаза его скользнули по Назарову, по Федору, остановились на Силантии.

— Помирать — так не задешево. На открытом месте мы и получасового боя не выдержим. Веди людей к Звенигоре, укроемся в ущельях. Ступай.

Назаров вышел. Дохлебав из мисок, заспешили и остальные. Сквозь гнилые стены избенки слышно было, как ржали по всей деревне лошади, стучали повозки с ранеными, раздавались крики и команды.

— Так что же, Силантий Иванович?— вздохнув, спросил Кружилин, видимо, уже не первый раз.— Может, все же укажешь нам дорогу в Зеленую котловину? Кроме тебя, некому. Я просил двух-трех стариков — отказались. Боятся.

Старик пригладил редкие на остренькой макушке волосы, но промолчал. Устинья вытерла мокрые дряблые щеки и опять всхлипнула:

— Да ить, знамо дело, решат тогда они любого, белые-то... Как придут, так и решат.

— Ну, тогда всех нас порешат. Федьку, сына твоего, первого,— жестко сказал Кружилин.

— Цыть-ка, ты, старуха,— проговорил наконец Силантий негромко.— Не в том дело, что под смерть меня подведут — пожил я, слава богу,— а вот отыщу ли дорогу? В котловине этой почти полвека не бывал. Ну, может, господь поможет. Айдате.— И поднялся.— Бревен только подлиньше с пяток захватите, плашек с дюжину да гвоздей...

Зеленая котловина, о которой шла речь, находилась где-то среди каменных теснин Звенигоры. Это было нечто вроде высокогорного луга, поросшего буйными, никогда не мятыми травами, окруженного гладкими отвесными скалами, из-под которых во многих местах били холодные ключи. Туда вела единственная горная тропа, она вилась по каменным карнизам над бездонными пропастями, по ней можно было только пройти по одному да в крайнем случае провести в поводу лошадь.

Старики боялись, что ребятишки соблазнятся этой котловиной, пойдут и погибнут, дорогу туда держали в строгом секрете. Кружилин, выросший в Михайловке, в детстве несколько раз пытался найти начало этой таинственной горной тропы, но безрезультатно.

Расчет Кружилина был прост. В голых каменных ущельях белогвардейцы все равно их скоро перебьют. Если же удастся проникнуть в неприступную котловину, ведущую туда единственную узкую тропинку оставшимися боеприпасами можно держать долго, очень долго, а там...

Но что «там», Кружилин не мог знать и старался об этом не думать.

Солнце было еще довольно высоко, когда Кружилин, Алейников, Федор и Силантий Савельевы слезли с брички у подножия Звенигоры. Старик, кряхтя, огляделся, опираясь на костыль, тяжело дыша, полез вверх. Шагов через пятьсот остановился, огляделся.

— Ну, вот тут, кажись. По этой осыпи идите. Бревна и плахи с собой возьмите. Саженей через сорок осыпь кончится, как раз перед пропастью. Глыбкая она страсть, а неширокая, сажени в две. А за ней тропа и начинается. Бревнышки перекинете, плашек поперек настелете — перейдете легонько даже с лошадями. А там тропа до места вас доведет, ежели не порушилась за эти-то годы. А я обратно потрясусь, тяжко мне...— И тут только будто впервые увидел сына, обнял его.— Прощай, что ли, сынок, храни тебя господь.

— Может, с нами все же, Силантий Иванович?— предложил Кружилин.

— Нет, уж куда мне. А вы поспешайте.

И спустился к бричке, влез в нее, поехал в деревню, мимо подходивших и подъезжавших к Звенигоре партизан.

К исходу дня, побросав бесполезные теперь повозки, унося на руках раненых, уводя в поводу упиравшихся, всхрапывающих лошадей, остатки отряда Кружилина скрылись в горах.

Ух как рассвирепел полковник Зубов, тонкий, высокий человек с тугими, чисто выбритыми щеками, поняв, что Кружилин ушел от него! Нашелся кто-то из деревенских, доложил о старом Силантии. Зубов, страшный в гневе, поздно вечером прискакал в деревню, бросил поводья своему сыну Петьке, мальчишке лет десяти-двенадцати, все время находившемуся при отце вроде ординарца, заскочил в избу Савельева.

— Скотина! — Он дважды полоснул старика плетью. Крепкие щеки Зубова тряслись, как студень.— Взять его! Засечь насмерть! При всем народе!

— Помилуйте, батюшка! — повалилась в ноги ему Устинья.— Заставили его, как откажешься? Помилуйте! Ведь сын мой, Иван, у вас служит. Сын, Ванька... Ваше благородие?!

— Ма-алчать! — багровея, закричал Зубов.— Какой еще сын? Ты кто такая? И эту взять!

Сечь Силантия и Устинью все-таки не стали. Больше недели обоих продержали под арестом в крепкой кафтановской завозне. А потом Зубов распорядился их повесить.

* * *

Иван Савельев, младший сын Силантия, русоволосый, поджарый, как гончая собака, с длинными руками, за преданность Кафтанову был при нем коноводом, кучером, телохранителем. Он старательно и безропотно нес все обязанности, ибо Кафтанов давно, еще до восемнадцатого года, обещал отдать за него единственную свою дочь Анну.

Весной восемнадцатого года, когда началась вся эта кровавая карусель, Анна исчезла из деревни, оказалась вместе с Федором в партизанском отряде Кружилина.

— С-сучка! — коротко сказал бельмастый сын Кафтанова Зиновий, узнав об этом, и другой, здоровый глаз его страшно сверкнул.— И любовь у нее сучья. Как за кобелем, за братцем твоим Федькой все бегала. И сейчас...

Бегала, Иван это знал. Кафтанов тогда не единожды самолично сек дочь и таскал за волосы, пробуя отвадить ее от Федора, но это мало помогало. В те времена обещать-то обещал Кафтанов отдать за Ивана, своего работника, Анну, но — видел и понимал Иван — медлил, колебался. А когда Анна оказалась в партизанах, у Михаила Лукича аж дыбом поднялась борода, красные прожилки в глазах стали еще толще. И он сказал со страшным спокойствием:

— Служи, Иван. А ее, Аньку, достанем... Кину ее к твоим ногам. Хочешь — топчи ее до смерти, хочешь — милуй. Дело твое. Слово даю.

Год прошел с тех пор, но «достать» Анну, дочь свою, Кафтанов все никак не мог. Да и что получится, если достанет, если «кинет» Кафтанов дочь свою к его ногам? — невесело размышлял Иван все чаще. Пойманный как-то кружилинский партизан, которого, по приказу Кафтанова, Иван повел расстреливать, рассказал ему, что Анна наравне с мужиками служит в Федоровом эскадроне, в боях, даже в самом пекле держится всегда возле Федора, оберегая всячески его от пуль и шашек.

— А жить, как мужик с бабой, вроде не живут, нет, незаметно. Это и дивно всем,— говорил партизан.— А мне не диво. Анна — девка, каких и не бывает теперя, до свадьбы — режь — не позволит ничего такого.

Партизана того Иван расстреливать не стал, отпустил на свой страх и риск (Кафтанов, узнай об этом, самого Ивана бы расстрелял). Партизан, кривоногий мужичок из деревни Казанихи, обрадовался, сказал:

— Дык, можа, и ты айда к нам? К Кружилину-то?

— Куда-а... Запутался я, брат, до конца, как рябчик в силке. Федор, братец, самолично меня зарубит.

— Что Федор! У нас Кружилин Поликарп над всеми командир. Он мужик понимающий, душевный.

— Ты иди-ка, пока я в самом деле тебя не шлепнул! — вдруг, рассердясь, крикнул Иван.

И с того дня Иван все скучнел, чернел лицом, сделался вялым. Ночами его не брал сон, ворочаясь, он все думал: отчего же он запутался, кто в этом виноват? Сам ли он со своей любовью к Анне, Анна ли, отказавшая ему в своих чувствах, Кафтанов ли, обещавший отдать за него Анну, время ли, суматошное и кровавое, все перепутавшее?! Или все это, вместе взятое?

Ответить на это Иван себе не мог.

* * *

Узнав, что Зубов распорядился повесить отца и мать, Иван побледнел, закачался.

— Михаил Лукич?!

— Ну! — крикнул Кафтанов.— Что я могу? Надо ему было, старому черту, дорогу в эту котловину показывать? Как теперь партизан взять?

Партизан действительно было не взять. Узкий каменный карниз день и ночь охранял караул из нескольких человек. Как рассказывали, несколько партизан

лежали на крохотной площадке за сооруженным из камней бруствером, и, едва впереди показывался белогвардеец, кто-нибудь из партизан не спеша прицеливался и стрелял. Белогвардеец отваливался от каменной стены и, болтая руками, летел в пропасть. Только и всего.

— Тогда я сам... я сам пойду к полковнику, попрошу его.

— Давай,— усмехнулся Кафтанов.— Про Мишку Косоротова слыхал? Он тебя живо в его лапы отдаст.

Про какого-то Косоротова в отряде Кафтанова ходили страшные слухи. Видеть его никто не видел, но было известно, что в разведроте полка есть некий гражданский человек, мастер-палач, умеющий заставить говорить любого пленного. И толковали про такие подробности — действительные ли, выдуманные ли,— от которых в жилах стыла кровь.

Загнав партизан в Зеленую котловину, убедившись в невозможности их оттуда выбить, Зубов решил уморить их голодом. Он оставил у подножия Звенигоры батальон солдат, остальных отвел на отдых в Михайловку. Сам, взяв на всякий случай для охраны роту солдат и кавалерийский эскадрон, уехал на кафтановскую заимку, в Огневские ключи.

На этой заимке, верстах в двадцати от Михайловки, на берегу глубокого и светлого таежного озера, стоял большой, в несколько комнат, дом, рядом баня, три-четыре сарая, конюшня. Место было глухое, дикое, когда-то Кафтанов устраивал тут пьяные кутежи с женщинами. Теперь стояла здесь тишина, в конюшне только побрякивали удилами нерасседланные лошади да бесшумно сновали по затравеневшему двору полковничьи ординарцы. Сам полковник, хмурый, неразговорчивый, уже несколько дней подряд со своим малолетним сыном ловил с лодки рыбу.

Кафтанов, боясь, что его люди будут тревожить пьяными криками отдых полковника, тоже расквартировал их в Михайловке, с собой на заимку взял лишь Ивана да Зиновия.

Утром 13 июля, несмотря на зловещее предупреждение Кафтанова, Иван, чувствуя, как холодеет в животе, подошел к дверям самой большой комнаты, перевел дух, стукнул два раза и, дождавшись ответа, шагнул через порог.

Зубов с сыном завтракали. Полковник, не раз видевший до этого Ивана, удивленно поглядел на него, долго не мог понять, чего он хочет. А когда понял, начал багроветь.

— Вон как! Этот... этот — твой отец?

— Ваше высокоблагородие! — взмолился Иван.— Старик же... из ума выжил.

— Во-он! — закричал полковник, срывая с шеи салфетку, комкая ее.

Иван не помнил, как выскочил из дома, сел на лавку у стены, зажал руками пылающую голову.

И час спустя он сидел так же. Зубов, выйдя с удочками, крикнул:

— Савельев!

Иван встал.

— Что служишь верно — хвалю. Отец будет... будет наказан. А мать помилуем, не виновата... Я послал сказать.

И ушел с удочками на озеро. А Иван стоял и стоял столбом, и казалось, будет так стоять вечно.

* * *

Согнанные к тополю люди волновались, слышались невнятный ропот, женский плач. И вдруг все смолкло, толпа замерла в оцепенении — вели Силантия и Устинью.

Старик шел твердо, обиженно поджав губы, глядя прямо перед собой. Устинья плелась чуть сзади мужа, озиралась вокруг, будто не понимая, зачем собралась тут эта огромная толпа. Увидев болтающиеся на суку петли, она вскрикнула и осела в дорожную пыль. Два белогвардейца взяли ее под руки, поволокли под дерево.

В толпе людей недалеко от тополя стоял в рваном армяке Яков Алейников, поглаживая дрожащей рукой приклеенную бороду, угрюмо смотрел, как белогвар-

дейцы устанавливают под деревом скамейку. Больше трех суток подряд, ободрав в кровь руки и ноги, он лазил по скалам, окружавшим Зеленую котловину, соображая, нельзя ли где спуститься вниз. И нашел-таки более или менее пригодное для этого место. Сегодня ночью, под покровом темноты, связав несколько ременных вожжей, он спустился по отвесной скале почти с пятидесятисаженной высоты и к утру был в избе михайловского мужика Петрована Головлева, который и раньше оказывал партизанским разведчикам кое-какие услуги.

Когда стали сгонять на казнь, Головлев хотел спрятать Алейникова в подпол, но отчаянный Яшка сказал:

— А пойдем глянем, чтоб злее быть.

— А признают как?

— Ну, тебя не выдам, не бойся.

Неожиданно толпа раздалась, пропуская конника. Ординарец Зубова спешился, сказал что-то одному из белогвардейцев. Тот подошел к Устинье, сидевшей под деревом, поднял ее тычками и молча толкнул в толпу.

— Помилована, что ли? — проговорила женщина с ребенком возле Алейникова.

— Должно,— ответил другой голос.— Може, и Силантия...

Но Силантия тот же белогвардеец ставил на скамейку. Потом и сам встал на нее, накинул петлю на худую, морщинистую шею старика, соскочил на землю.

— Прощайся, что ли, с людьми, старик,— сказал он негромко.

— А? — переспросил Силантий.— Счас...— И задумался, опустив голову. Потом поднял ее и сказал:— Ну-к что... Вы Ваньше-то обскажите, как отец сгинул...

Толпа жадно выслушала эти слова и вдруг опять заволновалась, загудела. Будто испугавшись этого, белогвардеец толкнул ногой скамейку из-под старика.

— Силантий! — раздался обессиленный крик Устиньи.— Родимый!

И потонул в жутком стоне толпы.

* * *

Яков Алейников вернулся в Зеленую котловину через несколько дней на рассвете. Дежурившие на скале Федор и Данило Кошкин, тот самый сын новониколаевского тюремного конвоира, разошедшийся с отцом «по идейным мировоззрениям», втащили его наверх.

— Яковы бывают всякие, а таковский — один на свете,— сказал он довольно. Потом помрачнел.— Отца твоего повесили, Федор.

— Батьку?! — вскрикнул тот и, точно сваренный, сел на остывший за ночь гранит.

Утром Яков Алейников предложил дерзкий и отчаянный план:

— Выход из котловины сторожит всего-то жалкий конный полуэскадронишко. Сперва до батальона солдат внизу стояло. Потом сообразили: им нас не взять, но и нам никак не выйти отсюда. Разобрали наш мосток через расселину и все почти ушли в Михайловку. Под горой всего двенадцать человек оставили, я их поштучно пересчитал. По двое в карауле сидят, остальные дрыхнут. Кони их рядом, на луговинке, пасутся. Весь полк и банда Кафтанова в Михайловке. Сам Зубов с Кафтановым на заимке в Огневских ключах. В бане парятся да рыбку ловят. Правда, с ними там кавалеристов с эскадрон да рота солдат. А на дороге через Журавлиные болота сейчас всего лишь пулеметная застава стоит. Но эта застава что! Я ее со своими разведчиками на себя беру, без шуму ликвидируем. Короче, предлагаю: десятка два партизан спустить ночью со скалы на веревках. Этих двенадцать, да еще сонных, шашками изрубить — плевое дело. Выведем отряд — и на Огневские ключи! Поспеем на заимку к рассвету,— а должны поспеть, чего там! — опять же сонную зубовскую охрану играючи перерубим — и снова в тайгу. А там — ищи-свищи!

Возле шалаша Кружилина на примятой траве сидели пятеро: Алейников, сам Кружилин, его заместитель Панкрат Назаров, бывший наборщик одной из новониколаевских типографий Корней Баулин и бывший городской извозчик Василий Засухин. Баулин, Засухин и долговязый парень Данило Кошкин после организации побега Антона Савельева, спасаясь от лап белогвардейской контр-

разведки, вынуждены были, по совету Субботина, скрыться из города. Оказавшись в громотухинских лесах, они год еще назад пристали к кружилинскому отряду. Теперь Баулин, немногословный человек с изъеденными свинцом руками, был чем-то вроде начальника штаба. Засухин ведал продовольственными делами в отряде. Кошкин служил в эскадроне Федора.

Вставало где-то солнце, золотило каменные вершины. На дне котловины, усеянном шалашами и палатками, было холодно, как в глубоком колодце, при дыхании изо рта вырывался парок. Росы не было, однако со дна котловины поднимался туман, лизал отвесные скалы. Меж шалашей и палаток паслись лошади. Партизаны, просыпаясь, кое-где разводили костры из сырых веток.

Яков Алейников излагал свой план убежденно и весело, будто осуществить его было проще простого. Но все понимали: на словах гладко, а на деле может получиться совсем другое. И молчали пока, думая.

— Да-а,— протянул наконец всегда осторожный Корней Баулин.— Оно у тебя ловко все, Яков. И вышло бы ничего, кабы драться было чем. А вдруг кому удастся с полуэскадрона этого на коня все же да в Михайловку? Поднимет полк, а мы только с дыры этой каменной выползем. В лапшу нас искрошат.

— Риск,— согласился Яшка и пожал плечами, как бы удивляясь, что Баулин этого не понимает.

— Или заставу на Огневской дороге не удастся целиком снять,— подал голос Назаров.— Подадут сигнал на заимку, эскадрон прискачет, за ним— пешая рота, заткнут дорогу на топях. А с тылу и весь полк подоспеет. А? Тут не то что в лапшу — в кашу перемешают. Или сами в болоте и перетопнем.

— На войне всегда риск, говорю,— хмуро ответил Алейников.— Ну, предположим, с заимки и эскадрон и рота подоспеют. Сомнем с ходу. Сомнем! Им ведь тоже на узкой дороге не шибко развернуться. Десятка два гранат у нас еще осталось. Закидаем и прорвемся, хотя много людей потерять можем при таком повороте. Главное — с этого полуэскадрона, что под горой, никого не упустить, чтобы полк не подняли. Но в крайнем случае, что ж? Упустим хоть одного если, уберемся назад в котловину, только и всего. А пробовать надо. Надо!

Да, пробовать было надо, это понимали все. Раненые без лекарств умирали, девятерых уже похоронили, скудные харчи, захваченные из Михайловки, подходили к концу. Кружилин распорядился вчера забить на мясо двух лошадей. На жалких остатках муки, на лошадином мясе можно было продержаться ну еще две недели, ну пускай даже месяц. А потом что? Голодная смерть...

Около часа рядили так и сяк. Засухин высказал предположение — в течение нескольких ночей группами спуститься со скалы, как это сделал Алейников, по одному, по двое скрыться, рассосаться по окрестным лесам и деревушкам, а потом где-то в условленном месте собраться. Это предложение обсудили и отвергли: стоило кому-то из партизан попасться в лапы Зубова и не выдержать допроса (а люди в отряде всякие) — и конец отряду, этот единственный путь спасения будет отрезан, новое место сосредоточения будет известно... Да и раненых в отряде порядочно — как с ними?

Еще через час план Алейникова был обсужден на общем собрании отряда и принят.

* * *

К вечеру небо над котловиной закрылось, как крышкой, облаками — погода благоприятствовала партизанам. Под командой самого Алейникова еще засветло опустили вниз на веревках и вожжах ровно двадцать человек. Спустившись последним, Яков около часа вел людей по глухому ущелью, потом — сквозь какие-то заросли, и наконец они оказались у самого подножия Звенигоры.

Белогвардейский полуэскадрон, охранявший выход из Зеленой котловины, ликвидировали бесшумно, изрубив спящих людей шашками. Только двое, находившиеся непосредственно в карауле, по разу выстрелили из винтовок, но тут же были уложены Алейниковым. Одного он наискось рубанул шашкой, другого, кинувшегося бежать, достал пулей из маузера. Эти три выстрела хлопнули гулко, эхо пошло по горам.

А Поликарп Кружилин уже вел отряд по узкому карнизу из котловины.

При свете разложенного еще белогвардейскими караульными костерка партизаны стали торопливо восстанавливать разобранный мост через расселину, четверо бросились ловить стреноженных неподалеку лошадей.

— Ловко, а! Вот они, все двенадцать,— возбужденный еще схваткой, сказал Яков Кружилину, когда тот по первому уложенному бревну перескочил через расселину.— Ты давай поспешай с отрядом, а я пулеметную заставу на дороге сниму пока. Там их всего пятеро.

— Гляди, Яков,— сказал Кружилин тревожно.

— Ништо. Я выведал, как подобраться к ним. Веди людей смело.

И с десятью партизанами ускакал в темноту.

Все было пока тихо, фыркали только лошади, стучали копытами по наскоро сооруженному настилу через пропасть, суетились люди. Часть брошенных отрядом под горой повозок белогвардейцы угнали, часть изрубили на топливо для костров. Теперь партизаны отыскивали уцелевшие телеги и брички, впрягали в них лошадей. Кое-как погрузили раненых, растянувшись почти на полкилометра, двинулись в кромешную темноту.

На душе у Кружилина было тревожно — чем-то кончится их дерзкий план? Ведь они безоружны, беспомощны, стоит самому захудалому одиночному белогвардейцу, блукающему зачем-нибудь по степи, наткнуться на отряд, поскакать в Михайловку, поднять тревогу... В плане Алейникова это не предусмотрено, а ведь может случиться. И тогда...

Кружилин вздрагивал, кожу его обдирал мороз.

Отряд двигался в ночной тиши уже больше часа голой степью, потом начались перелески. Кружилин чуть успокоился — все-таки лес. Скоро и Журавлиные болота, а от Яшки ни слуху ни духу. Что там у него? Удалось ли ему снять пулеметную заставу?

Алейников появился из темноты неожиданно и бесшумно, будто лошадь его не ступала по земле, а летела по воздуху.

— Пор-рядок! — воскликнул он, и Кружилин облегченно вздохнул.— Сонные тетери! Вымокли только все мы, вплавь пришлось к ним подбираться. Во что бы переодеться мне?

— А пулемет ихний?

— Порядок, говорю. И коробок с лентами — десятка полтора!

Это было уже почти спасение. Теперь если даже и кинется за ними весь белогвардейский полк, на узкой дороге его можно держать долго, достаточно для того, чтобы отряд мог смять находившийся на заимке при Зубове эскадрон и пехотинцев и скрыться в таежных дебрях, начинавшихся сразу за Журавлиными болотами.

* * *

«Батьку повесили... Батьку!» — весь прошедший день звенело в голове у Федора. Он ушел в палатку, лег там и лежал до вечера не шевелясь. Анна трижды — утром, в обед и вечером — приносила ему жиденькую мучную похлебку, но он отталкивал миску, бросал сквозь зубы:

— Уйди.

Выбираясь по каменному карнизу из Зеленой котловины, Федор оступился, чуть не загремел в пропасть вместе с лошадью. Анна, шедшая сзади, пронзительно вскрикнула, а Федор спокойно сказал:

— Тихо. Рано мне еще погибать.

А про себя стал думать: «Да, рано... Только бы до Огневской заимки добраться! Ванька, может, там. Раз Кафтанов там, и Ванька должен при нем быть... Доберусь я до тебя, сволочуга!»

Потом эта мысль о брате Иване уже не покидала его.

Когда подошли к заимке, близился рассвет. При ясной погоде небо на востоке уже засинело бы, а сейчас, заложенное тучами, оно было черно и непроницаемо. Но ночь ли стояла, день ли светил бы — Федору это неважно было. Заимка — вот она, блестит недалеко за деревьями тусклый ночник в каком-то окошке. Уже вынули партизаны шашки, и Федор выдернул свою из ножен, расстегнул кобуру нагана. А Яков Алейников все говорит про какие-то сараи, где спят белогвардей-

цы, про какого-то Зубова, которого ни в коем случае нельзя упустить. Анна на своей низкорослой гнедой лошаденке, как всегда, рядом с ним, шепчет, как всегда, вполголоса: «Федя, берегись, ради бога, осторожней...» А для чего ему остерегаться, на черта этот полковник Зубов?! Только бы ему с братцем Ванькой встретиться! Где Кружилин или Назаров, чего не подают команды?

Кружилина или Назарова он так и не увидел, никакой команды не услышал. Неожиданно сбоку забил, распарывая тишину, пулемет, ухнул гранатный разрыв. Ночник в кафтановском доме мигнул и разгорелся еще ярче. «Впере-од!» — заорал визгливо Яшка, и Федор закричал таким же голосом своему эскадрону, бросая к заимке лошадь:

— За мно-ой!

А потом все слилось в тяжелый гул, свистящий огненный вихрь. Яростно, как порох, горела какая-то постройка. Федор метался по освещенному двору заимки, рубил словно специально наскакивающих на него полусонных, полураздетых белогвардейцев. Мелькали перед ним знакомые, искаженные боем лица Данилы Кошкина, Кирьяна Инютина и других бойцов его эскадрона, скакала следом в неизменной своей кожанке, с наганом в руке Анна. Она всегда, в любом бою, в любой рубке, находилась рядом вот так же с наганом в руке и раза два, кажется, спасала его от верной смерти.

Неожиданно Федор почувствовал: Анны рядом с ним нету. Он сдержал разгоряченную лошадь, оглянулся. И увидел: в полусотне шагов от него бился застреленный под Анной конь, сама Анна пыталась вынуть из стремени ногу. Данило Кошкин, спешившись, помогал ей, а из-за угла горевшей смоляным факелом конюшни, припав на колено, в Анну и Кошкина торопливо бил из винтовки белогвардеец. «Убьет ведь, убьет!» Федор выхватил из кобуры наган. Но выстрелить не успел — из-за конюшни, из клубов огня и дыма, вылетел Алейников, в отсветах пламени бесшумно, как всплеск молнии, блеснула его шашка, белогвардеец выронил винтовку, клюнул головой в землю и неспешно вытянулся, будто укладывался спать. А Яков дико закричал:

— Федор, за окнами глядеть! В доме Зубов с Кафтановым, не упустить!

И, спрыгнув с лошади, заскочил на крыльцо, ударил плечом в запертую дверь. Федор поднял лошадь на дыбы, через мгновение оказался на другой стороне дома. Окна были темными, лишь одно, под которым стояла врытая в землю скамейка, ярко горело, по белой занавеске метались какие-то тени. Федору показалось вдруг, что одна из фигур похожа на Ванькину. Только показалось, но этого было достаточно. Не думая об опасности, он прыгнул с коня на эту скамейку, плечом саданул окно, рванул и отбросил легкую занавеску...

И, стоя на подоконнике, слыша, как вокруг него со звоном осыпаются стекла, зарычал торжествующе: перед ним, приклеившись спиной к стене, стоял с маузером в руке Кафтанов, в углу — какой-то рослый худой человек с обнаженной шашкой, в наспех накинутом полковничьем кителе, к нему прижимался насмерть перепуганный мальчонка лет десяти-двенадцати, тоже в офицерской форме, сшитой по росту, только без погон, а у дверей — он, брат Ванька! Ванька тоже был вооружен, опустив руку с наганом, удивленно, ошалело глядел на брата, моргал большими круглыми глазами...

* * *

Почти весь сентябрь 1919 года в верховьях Громотухи барабанили дожди с ветром; рано пожелтевшие деревья обхлестало, а потом погода установилась, засветило холодное солнце, пронизывая обредевшие леса, с трудом обсушивая мокрую землю.

Шла в отлет птица. С утра до вечера небо со свистом чертили тонкие утиные ниточки, бесшумно и лениво махали крыльями стаи отяжелевших за лето гусей, и уже совсем грузно проплывали журавлиные косяки, тоскливо оглашая тайгу медноголосым криком.

Иван сидел на каком-то сундуке в душной маленькой комнатушке, слушал, опустив голову, эти крики, проникающие сюда даже сквозь двойные рамы, молчал. Молчала и Анна, сжавшись, как зверек, на кровати, подобрав под себя ноги. За окном комнатушки маячил караульный, то ходил взад и вперед, то садился на завалинку, курил, часто сплевывая на землю.

В бледном, болезненном лице Анны не было ничего живого, вместо серых глаз — холодные клочья перегоревшего пепла. Только черные зрачки еще не перегорели, еще пылали и больно жгли Ивана.

— Не гляди так, Анна,— попросил Иван, еще ниже опуская голову.

— А как на тебя глядеть? — иссохшие ее губы шевельнулись брезгливо.

Иван замотал головой, застонал:

– Размолола ты мою жизнь, проклятая! Раздавила, как помидор сапогом!

— Гляди — зайдешься и не отойдешь.

— Обвенчаемся, Ань! — умоляюще крикнул Иван, вставая.— Жить будем — ветру не дам пахнуть на тебя.

— Нет уж... Лучше в петлю пускай меня, как отца твоего.

— Анна!

— А ты посильнее попроси любви-то моей,— насмешливо сказала она.— Кто знает, может, выпросишь!

Такой разговор происходил уже не раз. Иван вышел из комнаты на улицу, сел у стены на жиденьком солнечном припеке. Крики улетавших журавлей были здесь явственнее, громче и оттого казались еще тоскливее.

Деревушка Зятькова Балка, в которой вот уже две недели стоял отряд Кафтанова, укрывшись здесь от партизан, лежала на косогоре, редкие, беспорядочно разбросанные домишки стояли криво, и было странно, как они держатся на крутом уклоне. Казалось: дунет пошибче ветер — и все домишки, будто пустые коробки, скатятся в эту самую Зятькову Балку — глубокий глинистый овраг, надвое разрезающий тайгу.

На косогоре, на самом гребне, показались четверо всадников. Это были сам Кафтанов, его бельмастый сын Зиновий, бывший михайловский староста Демьян Инютин и тот самый таинственный Косоротов, о котором рассказывали страшные легенды.

Вчера вечером какой-то мужичонка прискакал из соседней деревни Парфеново, сообщил, что туда нахлынули партизаны.

— Обкладывают опять, сволочи! — выругался Кафтанов и, никому не доверяя, самолично решил разведать ночью, сколько в Парфенове партизан, взяв с собой самых верных людей.

Иван тоже был в числе верных, но он оставил его при Анне, захваченной десять дней назад в плен бывшим тюремным надзирателем Косоротовым.

— Сторожем и женихом оставляю,— усмехнулся Кафтанов.— А к утру чтобы мужем стал.

Подскакав к дому, возле которого сидел Иван, Кафтанов глянул на него красными от бессонницы глазами:

— Ну? Зятем, что ли, назвать можно?

— Не соглашается она.

— Я ж позволил — силком бери ее, сучку...

— Не могу я так. Не могу,— мотнул головой Иван.

— С-сопля! — Свалявшаяся в клочья рыжая борода Кафтанова затряслась.— Ну, не обессудь. Я свое слово выполнил.

Кафтанов, Зиновий и Косоротов ушли в дом, Демьян Инютин ловко перекинул через коня пристегнутую к левому колену деревяшку, сполз на землю, ковыляя, переваливаясь, как утка, повел всех лошадей под навес. Проходя обратно, он сказал:

— Сумной ты давно, гляжу. Значит, коловерть в голове зачалась. Куда она тебя доколовертит, а? Вот об чем бы Михаилу Лукичу подумать.

И, подождав чего-то, прибавил:

— Только знай — у меня с Михайлой Косоротовым ты с глазу не соскочишь.

— Ты-ы! — взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку...

...Коловерть началась, другим ли каким словом можно было назвать то, что с ним происходило, но происходило, Иван Савельев это чувствовал, давно...

Впервые он сказал об этом вслух тому кружилинскому партизану, которого повел расстреливать, а потом отпустил. Партизан рысью убежал в лес, Иван для порядка, чтоб услыхал Кафтанов, выстрелил вверх, потом сидел на пеньке и долго думал: как же так оказалось, что плюгавенький мужичонка этот в партизанах, брат Федор там, у Кружилина Поликарпа, и Анна, и даже сын одноногого михай-

ловского старосты Демьяна Инютина Кирюшка?! Им-то двоим как раз надо быть у Кафтанова, а ему, Ивану, у Кружилина. А все перепуталось, все вышло наоборот... «И за что воюю-то здесь? Богачество Кафтанову отстоять помогаю. Что мне с того, если удастся отстоять, допустим? Опять в конюхи после к нему идти? Анна, что бы ни случилось, все равно с Федькой останется. Да и, по всему видать, не отстоять теперь свое богачество ни Кафтанову, ни кому другому, расколошматят скоро его отряд, перестреляют всех, погибель так и так мне. А за что?»

Вскоре прибыл для разгрома Кружилина зубовский полк, начались жестокие бои, бесконечные погони за ускользающими партизанами. Для дум у Ивана не оставалось как-то времени. А потом... потом и случилось то, от чего Иван до сих пор не может опомниться,— казнь отца и этот неожиданный, страшный налет на Огневскую заимку партизан, непонятно каким образом — по воздуху, что ли?! — выбравшихся из Зеленой котловины...

...Когда забил где-то пулемет, Иван, спавший на полу рядом с Кафтановым, мигом оказался на ногах, прибавил огня в привернутой лампе, хотя, может, ее надо было совсем потушить.

— Что? Кто?! — вскричал Кафтанов.

Из соседней комнаты в одних кальсонах выскочил Зубов, тоже закричал:

— Что? Что это такое?!

А там, за окном, уже вразнобой хлопали винтовочные выстрелы, слышались крики и тяжкий, глухой звон лошадиных копыт.

Больше никто ничего не говорил, все трое поняли, что произошло, начали лихорадочно хватать и натягивать одежду. Зубов скрылся в своей комнате, через минуту вытолкнул оттуда заспанного сынишку, выскочил сам в незастегнутом еще кителе.

— Как это случилось? — закричал он, будто кто-то мог, но не хотел ему этого объяснить.

И тут со звоном посыпались стекла, в черном проеме, как в раме, встал, сверкая глазами, брат Федор.

Иван давно выдернул наган, но при виде брата его рука сама собой опустилась. Стоявший у стены Кафтанов, наоборот, быстро вскинул руку, но Зубов судорожно вцепился в нее, закричал:

— С ума сошел! Не стрелять! Не стрелять! — и повернулся к Федору, спрыгнувшему уже в комнату: — Я сдаюсь. А это единственный сын мой, Петр.— И он чуть толкнул мальчишку к Федору.— Надеюсь, ребенка вы пощадите.

В эту секунду в черном проеме окна возникла новая фигура. «Анна!» — обожгло Ивана.

Спрыгнуть на пол Анна не успела. Хрипло прокричал рядом Кафтанов и не целясь выстрелил в дочь. Она бесшумно осела, повалилась на бок.

— Анна!

Это не он, Иван, закричал, и вообще никто не закричал. Это просто в голове у Ивана что-то загудело, нарастая, лопнуло, стало осыпаться со звоном, как только что осыпались оконные стекла.

И слух у Ивана пропал, сознание помутилось. Точно в каком-то полусне, не понимая уже, что происходит, он видел, как сбоку распахнулась дверь, влетел, сверкая глазами, невысокий парень в сбитой на затылок кожаной фуражке — Яков Алейников.

— А-а, полковник Зубов! — закричал он, наверное, громко, однако до Ивана донеслось это еле-еле, взмахнул шашкой.

Но Зубов отскочил, отбив одновременно удар. Шашка из рук Алейникова вылетела, дугой сверкнув в воздухе. Алейников прыгнул за противоположный конец стола, вырывая из кобуры наган. Но вытащить не успел, Зубов перегнулся через стол и достал Алейникова шашкой. Схватившись за лицо, Алейников упал навзничь.

Пока это все происходило, кто-то дернул Ивана, прохрипел в ухо: «За мной, живо!» Иван видел, что Кафтанов скользнул за дверь, но не побежал за ним. Почему не побежал — неизвестно, хотя Федор, кажется, стрелял в него. Ну да, стрелял, раз — в него, раз — в метавшегося по комнате Зубова. Пули липли в стену, совсем рядом, но Иван не шелохнулся. Наконец Федор попал, кажется, в Зубова, тот выгнулся горбом, оседая. Но не упал, а стал подниматься. Федор

хотел выстрелить еще раз, но боек нагана только щелкнул — кончился барабан. Тогда Федор прыгнул зверем к раненому Зубову, ударил шашкой. Тот рухнул рядом с Алейниковым. Пронзительно закричал прижавшийся в углу сынишка Зубова. Прокричал и замолк.

— Что ж не стреляешь, иуда? Стреляй...

Это, тяжко дыша, говорил Федор. К своему удивлению, Иван обнаружил, что целится прямо во взмокший лоб брата.

— Брат все же ты мне, не буду стрелять,— сказал Иван.

Иван говорил правду, он не выстрелил бы, кинься даже на него Федор со своей страшной шашкой. «Анна, Анна, Анна!» — будто стучали ему молотком по голове. И сквозь больной звон этих ударов пробивалась ясная, отчетливая мысль: коли нет больше Анны — зачем жить? Пускай зарубит. Это лучше даже, что не кто-нибудь, а Федор. Взмахнет шашкой — и все кончится. Все, все... И — хорошо... Но тем не менее целился зачем-то сам в брата. Зачем?

Федор меж тем, скользя спиной по стене, подвигался тихонько к тому углу, где стоял, сжавшись, сынишка Зубова. «Да, вот зачем...— вспомнил Иван.— Зарубит ведь мальчонку...» И крикнул:

— Мальчишку не трогай! Не виноват ни в чем ребенок.

— А-а, гад! — прохрипел Федор.— Сам гад и об гадючьих выползках заботишься?! Ты отца бы родного лучше пожалел! Вспомнил бы, как они его...

И рванулся к мальчишке. Иван бросился наперерез и в ту секунду, когда Федор со свистом опустил шашку, с разбегу толкнул Федора в плечо. От толчка Федор не удержался, упал, покатился по полу. Пронзительно, последним криком закричал мальчишка, прижимая к лицу ладони, сквозь которые текла кровь, корчился рядом с неподвижным отцом. И только тут Иван выстрелил, но не в Федора, а в висевшую на стене лампу. Однако темноты не наступило, потому что в проем окна, загибаясь с крыши, хлестало пламя. Запнувшись о застонавшего вдруг Алейникова («Жив, оказывается»,— отметил про себя Иван), он схватил мальчишку и выбежал из дома.

Во дворе было пусто и светло от полыхавшей конюшни. Пламя бешено плясало в черном небе, широкие лоскуты его отрывались и таяли, словно улетая в темную пучину. Вокруг заимки, где-то уже далеко в лесу, трещали выстрелы.

Пробегая по двору, Иван все дожидался Федоровой пули в спину, однако погони за ним не было. На берегу озера стояло несколько лодок с веслами, в одну из них Иван кинул Петьку Зубова. Оттолкнув лодку от берега, Иван сунул в карман оружие и, разбивая веслами плясавшие от пожарища на черной масленой воде огненные блики, торопливо погреб к другому берегу, в темноту...

— Ты-ы! — взревел Иван, вскочил, выдернул до половины шашку.

— Дурак,— спокойно ответил Инютин и ушел, глубоко протыкая землю деревянной ногой.

Иван снова сел. Дурак, это верно. Зачем той ночью не дал себя зарубить Федору. не сдался, в крайнем случае, в плен, зачем кинулся бежать, да еще не один, а с этим мальчишкой, сыном человека, приказавшего повесить его отца? На другом конце озера тоже стояла лодка. Иван сразу понял — это Кафтанов на ней переплыл. И точно, Кафтанов вышел из зарослей, обрадованно сказал:

— Ванька? Молодцом! Эко обмарались мы! Как же они, сволочуги, из каменной дыры выползли?

У Петьки Зубова была немного рассечена щека, он скулил, как щенок, Кафтанов разорвал свою рубаху, перевязал мальчишке лицо, сказал задумчиво:

— Совсем, голубок, сиротой остался. С трех годков, рассказывал полковник, без матери рос. Куда же его теперь? К Лушке, что ли, отправить? Пущай с Макаркой моим вместе живут. Друзьями, может, будут.

Младшего своего сына, шестилетнего Макара, Кафтанов укрывал где-то по заимкам в таежной глухомани, поручив его заботам разбитной и развратной михайловской бабенки Лукерьи Кашкаровой.

— Верно, отправлю-ка его к Лушке,— повторил Кафтанов.— А сейчас, Ваньша, айда в лес поглубже от греха. А то светает уж. Неужель весь полк и наших лю-

дей в Михайловке партизаны похлестали? Чем и как? Не должно быть. А все же нам надо обнюхаться. Береженого бог бережет.

— Анну-то, Анну зачем ты? — невольно вырвалось у Ивана.

— Ну! — сухо прикрикнул Кафтанов.— Переживешь. Ее, сучку, не пулей бы, на куски бы раздергать.— И пошел от берега.

Проливался сверху запоздалый рассвет. Иван глядел на маячившую впереди сутулую спину Кафтанова, и ему хотелось выдернуть из кармана наган и раз за разом высадить весь барабан в это широкое, ненавистное тело. Непонятно сейчас Ивану, почему не осмелился, такой был удобный момент. «Да и вообще, мало ли их было, таких моментов? — усмехнулся он кисло.— Дурак потому что, как сказал Инютин».

Тем утром, когда совсем рассвело, они вышли на таежную дорогу, свежеистоптанную копытами, сапогами, изрезанную колесами, и поняли, что здесь на восток, в заогневские леса, прошел отряд Кружилина.

Партизаны вернулись недели через две, отдохнувшие, хорошо вооруженные. Бывший зубовский полк, оставшийся без командира, к тому времени был отозван куда-то. Роли теперь переменились, теперь партизаны по пятам преследовали отряд Кафтанова, загоняя его все дальше в верховья Громотухи, пока он не оказался в этой самой Зятьковой Балке.

Иван все так же был при Кафтанове ординарцем и телохранителем. Он еще более покудел, глаза ввалились, стал угрюм, молчалив.

— Да не сохни ты! — сказал ему Кафтанов уже тут, в Зятьковой Балке.— Живучей кошки она, Анна твоя, оказалась.

— Как? — не понял Иван.

— А так, живая... Надо было мне еще разок-другой влепить ей. А раз живая — я от своего слова не отказываюсь. Поймаем ее.

— Как? — еще раз переспросил Иван.

— Мишка вон Косоротов поймает. Я ему приказ дал. Он уехал уж.

Михаил Косоротов, когда отозвали зубовский полк, остался в отряде Кафтанова.

— Куда уехал? — все еще никак не мог понять Иван.

— За Анной. Имеем сведения — очухалась она от моей пули, ездит сейчас по деревням, пимы да рукавицы для партизан собирает. Косоротов и прижучит ее где-нито.

И Косоротов «прижучил». Он вернулся через день после этого разговора, сбросил с седла связанную Анну, выдернул тряпку из ее рта.

— Получай,— сказал он Кафтанову.

— Анна? Анна!.— вскричал Иван, подбегая.

— А Кирюхи моего не было с ней? — спросил Демьян Инютин.— Его бы, свиненка, достать ишо мне. — И, потоптав землю деревяшкой, добавил непонятно: — А на этой я бы не Ивана... я бы сам на ней женился.

Анна, со спутанными волосами, посиневшая, полузадохнувшаяся, лежала в пыли. Иван хотел развязать ее, помочь встать. Но она сама поднялась на колени, вскинула голову, поглядела на Ивана таким взглядом, что он попятился. И вот...

* * *

Бой в Зятьковой Балке Кафтанов принимать не стал, увел своих людей за два десятка верст, в деревню Лунево. Ужиная в просторной избе, велел Демьяну Инютину привести к себе дочь из амбара, где ее держали теперь под замком.

— Значит, не хочешь за Ивана выйти? В последний раз задаю вопрос.

— Не надо,— сказал сидевший на лавке у окна Иван, болезненно скривив губы.— Не выпросишь ведь действительно. Отпусти ее, Михаил Лукич. Пускай...

— Что? Значит, отказываешься от нее?

— Я помер бы за нее. Да что... Она и крошки не отломит.

— Какой такой крошки еще? — рассердился Кафтанов.

— Я вообще. Не выпросишь, говорю. Отпусти ее. А я вдвойне тебе отслужу.

Кафтанов бросил деревянную ложку, упер взгляд в Ивана, долго своим взглядом давил его. Потом стал глядеть на дочь. Анна стояла у дверей, прислонившись к косяку. Она была в серой вязаной кофточке и черной измятой юбке, в мягких

сапогах, голенища плотно облегали полные икры. На плечи была накинута кожанка, на голове ситцевый платочек, из-под которого вываливались светлые пряди волос.

Высокая и стройная, она хороша была и в этом грубом наряде.

— Ничего, гладкая кобыла выросла,— усмехнулся Кафтанов.

Анна еще ни звука не промолвила и на эти слова никак не отозвалась.

— Ну а ежели отпущу, к партизанам опять уйдешь? — спросил отец.

— К ним, — подтвердила Анна, разжав наконец губы.

Кафтанов задышал тяжело, на потных висках вздулись вены.

— Я, Анна, всласть пожил, ты знаешь,— заговорил он неожиданно тихо.— И водку пил, и баб любил, и властью над людишками вволю попользовался. Воюю вот теперь, просто сказать, чтобы еще маленько такой жизнью пожить. Ну а ты за что? Цель-то в чем? Как ты там оказалась, у партизанишек этих? Из-за Федьки, что ли?

— И из-за него тоже.

— А еще из-за чего?

— Не знаю. Это не объяснить так легко, в двух словах.— Длинные брови ее нахмурились, потом, дрогнув, развернулись, как крылья, плотно обтянутая шерстяной кофточкой грудь начала быстро, толчками вздыматься.— Ты жил... Ты мать мою этой своей жизнью в петлю загнал! Чем хвалишься? Как скотина ты жил. А есть другая жизнь — человечья! Вот... потому я там, в партизанах, наверное, что... что нагляделась на твою жизнь. Видела я, как ты на Огневской заимке развратничал. А я хочу по-человечески жить. И ради этого такая... такая кроворубка идет. Люди хотят на земле человеческую жизнь установить. И установят...

— Ой ли? Гляди, не ошибись.

— Установят! А вас выметут с земли, как сор из избы, чтоб не воняли. Вон уж куда загнали вас...

— А и установят — тебя-то пустят ли в эту жизнь! Рано или поздно припомнят, чья ты дочь.

— Припомнят... всегда будут помнить, не чья я дочь, а каков я человек, достойна ли этой жизни. И пустят. А ты, Иван,— повернулась она вдруг к окошку, где тот сжигал самокрутку за самокруткой,— ты подумал бы об этом. Они отца твоего повесили. А недавно мать твоя... не перенесла такого горя она...

— Мать? Мать...— Иван вскочил и замер, не чувствуя, что окурок жжет ему пальцы.

— Замолчи-и! — Кафтанов трахнул о край стола тяжелой глиняной миской — будто звонко лопнуло дерево на морозе, под ноги Анны полетели черепки. Подскочил к ней, протянул к ее горлу волосатые руки.

— Михаил Лукич! — закричал Иван, звякнула выдернутая им шашка.

— Ты... что... это?! — раздельно, в три приема, выдавил Кафтанов.

— Да ведь дочь это твоя. Отпусти ее. Пусть идет куда хочет,— в третий раз сказал Иван, вытер взмокший лоб, бросил в угол шашку.

Кафтанов, грузно ступая, вернулся к столу, сел.

— Ну что ж, пускай идет... Пускай приведет сюда партизан.

— Мы снимемся отсюда, дальше уйдем. Кто нам мешает?

— Тоже верно рассудил...— Кафтанов говорил, а глаза его с толстыми кровяными прожилками ползали по дочери.— С Федькой-то живешь, что ли? — спросил бесстыдно.

— По своей мерке все меряешь.— Анна запахнула на груди кожанку.— Я не скотина какая-нибудь, как... чтоб без свадьбы.

— Как я? Ага. Было уже указано. А свадьба когда?

— А ты не беспокойся, мы тебя позовем,— насмешливо сказала Анна.

Кафтанов держался толстой, в желтых волосах рукой за край стола, будто собираясь отломить кусок тяжелой, залоснившейся до твердости камня доски и запустить обломком в дочь.

— Ладно... Эй, кто там, увести пока! А ты горяч, сразу за шашку,— сказал он Ивану, когда Анну увели.

— Ты ж хотел ее... Мне почудилось...

— Тебе не все равно, коль она...

— Не все равно,— сказал Иван, не поднимая головы.

— Слюнтяй ты в таком разе,— усмехнулся Кафтанов.— Ну, дело твое. А мне что — отпущу. С Федькой пущай живет, с другим ли каким жеребцом...

* * *

В течение ночи Иван не сомкнул глаз. «И мать... Тоже, считай, повесили ее»,— думал он, лежа неподвижно на конской вонючей попоне. Сердце давило, неприятная боль растекалась по всему телу.

В окна заструился серый утренний сумрак.

Скрипнула кровать, на которой спал Кафтанов.

— Спишь, Иван?— тихо проговорил он.— Пойду посты проверю.

И начал одеваться, стараясь не шуметь. Потом взял в руки сапоги, зашлепал к двери босыми ногами, вышел.

Ничего необычного в том, что Кафтанов собирается проверять ночные посты вокруг деревни, не было — в последнее время, где бы ни стояли, он всегда проверял их или сам, или поручал это сыну Зиновию. Но Ивана с новой силой окатили испуг и тревога.

Эта непонятная и безотчетная тревога возникла у него еще вечером, в тот момент, когда Кафтанов нехорошо ощупывал глазами дочь. И потом Кафтанов вел себя странно, не так, как обычно. Прежде чем лечь, он долго ходил по избе, о чем-то раздумывая. Временами широкий ноздрястый нос его раздувался, подрагивали заросшие волосами губы, глаза сатанели. Но он так ничего и не сказал, завалился на кровать и сразу захрапел.

А теперь вот этот тихий голос, осторожные сборы, чтобы не разбудить его... Иван вскочил, побежал к окну.

По всей деревне не было ни огонька. Виднелся в сером ползучем мраке угол амбара, в котором держали Анну. Возле амбара стоял запряженный ходок, маячили двое людей. Потом эти двое вывели из амбара Анну, усадили в ходок. Все это Иван не увидел даже, а догадался, сердце его заколотилось. «Куда они ее? Отпускают, что ли? А говорил — посты...»

Иван все глядел в окно, напрягая зрение. Один из людей (по фигуре — сам Кафтанов) тоже сел в ходок, тронул коня. Другой захромал к избе.

Иван кинулся к одежде, натянул брюки, начал торопливо вертеть портянки. Накинув суконную тужурку, метнулся к дверям.

— Куда?— раздался голос Демьяна Инютина.

— Пусти!— Иван хотел оттолкнуть одноногого, но тот ловко выставил вперед, как копье, свою деревяшку, ткнул в живот. От боли Иван скрючился, осел. А когда опомнился, Инютин стоял над ним с наганом.

— Далеко навострился-то, спрашиваю?

— Куда... куда он Анну повез?

— Отвезет, куда надо, скажет отцовское слово и отпустит. И мы сымемся отсюда через час. Ну-ка, руки назад! И ступай. Посидишь до его возврата, а там уж как сам знает. В амбар, говорю, ступай. Да не вздумай чего, а то в момент пригвоздю.

Иван покорно заложил руки за спину, пошел.

— На смерть... на смерть он ее повез.

— И это его дело, отцовское. Иди, иди!

Они уже были возле амбара. Иван шагнул за его порог. Но когда Инютин стал прикрывать тяжелые двери, Савельев прыгнул на него сверху кошкой, смял, вырвал наган, со всего размаху саданул в висок. Инютин охнул только, дернулся и затих.

Иван вскочил, постоял в растерянности. «Убил, что ли? Неужели убил?!»

Бывший михайловский староста не шевелился, не дышал. Тогда Иван перевалил труп в амбар, прикрыл двери, не замкнув даже болтавшийся на железных скобах замок, побежал к своему коню.

Из Лунева выходило несколько дорог. По какой поехал Кафтанов — неизвестно. Но на каждом выезде стояли секреты.

На первых двух постах Ивану сообщили, что ни Кафтанов, ни кто другой из деревни не выезжал. Лишь на третьем усталый от бессонницы парень сказал:

— Атаман-то? Проезжал куда-то с дочкой. Куда это он повез ее, Ванька?

Не отвечая, Иван поскакал вдоль лесной дороги, тонувшей в грязно-голубом утреннем свете.

Не настигнул бы в это утро Иван Кафтанова, никогда бы не увидел больше Анну и даже никогда не узнал бы, куда девалась она, каким образом исчезла с лица земли, если бы не его жеребец. Верст пять или шесть жеребец стлался по пыльной, разъезженной дороге, а потом, несмотря на то что Иван безжалостно хлестал его плетью, начал сбавлять ход и вдруг, вскинув голову, пронзительно заржал. Откуда-то чуть сзади и сбоку тотчас откликнулась кобыленка. «Кафтановская!»— мелькнуло у Ивана. И он повернул своего коня. Жеребец, будто понимая, что желания его и хозяина совпали, послушно рванулся назад, сиганул в сторону, через низкорослые кусты, вынес Савельева на полянку, всеми копытами заскользил, останавливаясь, по росной траве.

На краю поляны под развесистыми черными соснами стоял запряженный ходок, немного в стороне пластом лежала на земле Анна, белея оголенными ногами, а Кафтанов бежал от нее прочь, как-то боком, чуть пригибаясь, бренча ременными пряжками, вырывая на ходу из деревянной кобуры длинноствольный маузер.

Вся эта картина открылась Ивану за одну какую-то секунду, и еще менее чем за секунду он понял, что здесь произошло. И в то же мгновение голова его вспухла, будто была начинена порохом, сознание застлало чем-то едким и горячим.

В себя он пришел от слов Кафтанова:

— Молись, Ванька. Что увидел тут — с собой унесешь. Этого никому не надобно знать на земле...

Перед Иваном начало проступать сквозь светлеющую черноту красное, взмокшее лицо Кафтанова. Он стоял в трех шагах, левой рукой застегивая тужурку, а правой выставив на него черное, задымленное дуло маузера.

Когда он, Иван, соскочил с лошади, как оказался напротив Кафтанова — Иван не помнил.

— Ты... ты... Как ты мог?— выдавил он.

— Этого тебе не понять. А ей — известно. Что прискакал сюда — дурак. Жил бы...

Иван отчетливо понимал, что сейчас будет застрелен. В кобуре у него тоже было оружие, но Кафтанов не даст времени его выхватить, не позволит даже шевельнуться. И стоял неподвижно, свесив длинные руки, на одной из которых болталась короткая кавалерийская плеть.

Вот уж дрогнул, качнулся черный зрачок кафтановского маузера. «Сейчас, сейчас!»— молнией блеснуло у Ивана в голове. И, ни на что не надеясь, он стремительно взмахнул своей плетью, хлестнул Кафтанова по лицу, кинулся на него. Кафтанов выстрелил — будто кто оглоблей ударил Ивана по плечу. Не понимая, убит он или только ранен, не видя, что Кафтанов закрыл ладонью глаза, Иван опять взмахнул плетью, хлестнул на этот раз по руке с маузером. Оружие выпало. Иван бросился на Кафтанова, вцепился в его колючую, волосатую шею и, упав вместе с ним на землю, стал давить.

— Ванька... Иван!— прохрипел Кафтанов, болтая головой, царапая бородой его лицо.

Кафтанов был сильнее, он уперся в грудь истекающему кровью Ивану и легко отшвырнул. Но встать сам не успел. Иван схватил валявшийся на траве маузер, снова кинулся на приподнявшегося Кафтанова, с ходу опрокинул его на спину, изо всех сил вдавил дуло маузера ему в грудь, два раза прижал гашетку...

Выстрелов он не услышал. Он слышал лишь, как всхрапнули лошади, как они шарахнулись на другой конец поляны.

* * *

Солнце давно поднялось, нежарко сияло над лесом. Дул ветерок, тихонько подсушивая росные травы.

Лошади давно успокоились. Они стояли голова к голове, кафтановская кобыла терлась щекой о плоскую морду жеребца. Скоро тому надоели, видно, эти ласки, он отошел и начал щипать траву.

По развесистой сосне над ходком прыгала белка, осыпая вниз желтые, отмершие хвоинки.

Кафтанов мирно лежал в траве. Он будто заснул, раскинув в стороны руки. На краю поляны, куда не хватало еще солнце, все так же безмолвно, не шевелясь, лежала на спине Анна. Иван сидел подле нее, смотрел куда-то перед собой не мигая, пустыми глазами.

Из плотно закрытых глаз Анны текли и текли не переставая слезы. Левое плечо Ивана было окровавлено.

Если бы не эти слезы да не окровавленное плечо — ничто бы не говорило, что полчаса назад здесь разыгралась человеческая трагедия. Казалось, просто трое путников остановились тут для отдыха, двое уже спят, лежа на траве, а третий охраняет их покой.

Так прошло еще с полчаса. И вдруг Анна приподнялась и, страшная, растрепанная, закричала не своим голосом:

— Зачем помешал?! Он хотел застрелить меня потом... Зачем помешал?! Застрели сам теперь! Застрели меня, застрели меня!!

И упала, покатилась по траве, завыла по-звериному, колотясь растрепанной головой об землю. Иван ее не успокаивал, сидел все так же неподвижно. Только когда она, обессиленная, затихла, он сказал негромко:

— А все равно, Анна, жить надо. Об этом... никто никогда не узнает, Анна. А жить надо...

* * *

Вечером того же дня в Зятькову Балку, занятую партизанами, въехали дрожки. Их окружили вооруженные люди, кто-то крикнул:

— Анна! Глядите-ка, Анна ведь это пропавшая наша! Федор, Анна твоя объявилась!

Из избы, напротив которой остановились дрожки, вышли Кружилин, Алейников и Панкрат Назаров.

— Что здесь такое? Откуда ты, Анна? — спросил Кружилин, подходя. И, узнав Ивана, собрал складки на лбу.— Савельев?!

— Я...

— А-а, сам явился, бандюга кафтановская! — закричал Федор, протискиваясь через толпу.

Иван здоровой рукой сбросил зачем-то с дрожек на землю труп Кафтанова и сказал:

— Вот вам наш атаман... мертвый только. Вот сам я, делайте что хотите.— И сел на траву рядом с телом Кафтанова.— Пулю — так пулю в лоб. Только скорее давайте.

— Это у нас не задержится,— дернул свежим еще рубцом на щеке Яков Алейников.— Ну-ка, пойдем в избу. Разберемся — да к стеночке.

Иван встал и пошел, горбатясь. Анна, отрешенная и безучастная ко всему до этого, встрепенулась, оттолкнула подошедшего было к ней Федора.

— Не надо! Не надо! Вы и вправду разберитесь! Не надо...— закричала она истошно, черной птицей подлетая сбоку то к Кружилину, то к Алейникову, то к Назарову, которые уводили Ивана в избу.

Часть первая

БРАТЬЯ



Глянув на скрипучие жестяные ходики, Димка сорвался с кровати: стрелки показывали без десяти минут семь.

Село купалось в тумане.

Над сырыми крышами ближайших домов неясно маячили верхушки деревьев. А дальше все тонуло как в молоке, не было даже видно пожарной каланчи, что стояла на взгорке в конце улицы.

Димка, в трусах и майке, стоял, поеживаясь, в огороде, смотрел через скользкий, почерневший плетень то направо — в усадьбу Инютиных, то налево — во двор Кашкарихи. Однако ни Кольки Инютина, ни кашкарихинского Витьки не бы-

ло видно. «Дрыхнут, дьяволы,— зевнул Димка.— Нарыбалили седни...» И пошел умываться к Громотушке.

Щедро вымахавшие кукурузные стебли сыпали на плечи росой, как угольками, мокрая картофельная ботва обжигала ноги. Они занемели, покрылись жесткими пупырышками — точь-в-точь как у огурцов.

Подбежав к речушке, Димка сел на кладку и спустил ноги в теплую воду, на песчаное дно. Тотчас мелкие пескаришки начали щекотать пальцы, тыкаться в икры.

— От вы...— пошевелил пальцами Димка.

Пескаришки брызнули веером прочь, остановились в полуметре от Димкиных ног, подумали, пошептались вроде и осторожно, но все враз двинулись обратно.

Удивительная она, эта речка Громотушка. Светлая, как стеклышко, неширокая, в иных местах всего до полметра, с неглубокими, под навесом перепутанных ветвей омутками, эта речушка, почти ручей, берет начало где-то далеко за Шантарой, в Алтайских горах, виляя, течет через всю степь, до самого села. Степь голая, ни одного кустика, только вздымаются на ней местами лысые унылые холмы, а берега Громотушки, каждый метров на сорок в степь, буйно поросли всяким разнодеревьем и кустарником. Есть и осина, и береза, и калина, много черемухи, несметное количество смородинника. Но больше всего развесистых плакучих ив, которые в Шантаре называют ветлами. И все перевито хмелем, ползучей ежевикой, всякой повителью.

Заросли эти называют Громотушкины кусты. И хоть заросли неширокие, повернись в любую сторону — и сразу выйдешь на чистое место, на простор, в иных местах такая глухомань и жуть, что шантарских баб-ягодниц берет оторопь. Тогда они, рассыпая из ведерок ягоды, оставляя на цепких ветках лоскутья одежды, как ошалелые выскакивают в степь и жадно глотают там горьковатый полынный воздух, прижав ладонями груди.

Говорят, немало человеческих тайн хранят Громотушкины кусты. Ненароком, может, и приходят на ум иной ягоднице, забравшейся в самую чащобу, эти тайны. А может, чудится им вдруг останавливающий кровь, зловещий крик лохматого лешего, испокон веков живущего, по преданию, где-то возле самого большого на Громотушке омута, отчего он прозывается Лешачиным. Находились в Шантаре люди, которые утверждали, что не только слышали этот страшный крик, но и видели, как по утрам и на закате вспучивается страшный омут, кто-то черный и огромный ворочается в густой, застоявшейся воде, разгоняя во все стороны тяжелые волны.

Возле деревни Громотушкины кусты редеют. Осины да березки остаются позади, скоро покидает Громотушку и калинник. А речка все бежит и бежит вперед, через деревенские огороды, через неширокие улицы. Теперь ее сопровождают только ветлы, они по-прежнему низко, до самой земли, кланяются своей благодетельнице и повелительнице.

За деревней Громотушка выбегает на низкую луговину — здесь ее встречают непроходимые заросли осоки и камышей — и неслышно вливается в широкую, многоводную Громотуху.

В Громотухе полно всякой рыбы, а в Громотушке — только эти пескарики да в верховьях, по омуткам, хариусы. Могучая Громотуха зимой намертво замерзает — в иные годы лед бывает метра в полтора толщиной,— а Громотушка никогда еще не покрывалась хотя бы сантиметровой ледяной корочкой.

Не могут завалить ее никакие сугробы — снег тает в неглубоких громотушкиных водах, как в кипятке, не может сковать ее мороз, всю зиму Громотушка парит, парит, белые клубы плавают над Громотушкиными кустами, как над жарко натопленной баней, а сами деревья стоят отяжелевшие, в мохнатых, обильных куржаках. Тронь любую ветку — она с шорохом осыплется заледенелыми иголками, точно разденется наголо, но за три-четыре часа снова закуржавеет, размохнатится пуще прежнего.

Ничего не могут поделать с Громотушкой даже самые лютые холода, только гуще, тяжелее туман над ручьем, только обильнее куржак на деревьях — и все.

Димка поплескал в конопатое лицо, опять поглядел через плетень налево, потом направо. «Ну, дрыхнут...»

В это время в доме Лукерьи Кашкаровой скрипнула дверь, появилась сама Кашкариха, как звали ее все соседи, торопливо побежала в стайку.

Над Звенигорой, видимо, показался краешек солнца, потому что туман над деревней зарозовел, заискрился и сквозь него начали проглядывать очертания пожарной каланчи. И сразу же стало видно, как покрасневшие туманные лоскутья ползают между тополиными ветками, облизывая каждый сучок.

В Кашкарихиной стайке ошалело закудахтали куры. Потом оттуда вышла старуха. В одной руке у нее был кухонный ножик, в другой — только что зарубленная курица.

— Бабушка Лукерья...— сказал Димка, подходя к плетню.— Чо Витька там? Мы порыбалить сговорились...

— Кака рыбалка, кака рыбалка? — торопливо и как-то испуганно закричала Кашкариха.— Не пойдет седни Витька! Сорванцы, прости ты, господи...

И скрылась в сенях. Димка слышал, как загремела дверная задвижка. «От пошехонцы,— буркнул он про себя.— Днем на задвижке... Что это они вздумали?»

Сквозь ветви тополей, раздирая космы тумана, прорывались теперь бледно-желтые солнечные полосы. Полос было много — и широких, как плахи, и тоненьких, как струнки, меж них по-прежнему крутились, болтались туманные лохмотья, отчего казалось, что солнечные полосы покачиваются, деловито щупают землю.

Неподалеку на площади, возле большого деревянного дома на каменном фундаменте, в котором помещался райком партии, заговорило радио.

— Внимание, говорит Москва,— звучно сказал диктор на всю деревню.— С добрым утром, товарищи. Сегодня воскресенье, двадцать второе июня...

«А какое в Москве утро? В Москве еще три часа ночи. Еще только-только начинает зориться»,— подумал Димка.

Из репродуктора полилась песня, хорошая песня, которую Димка всегда любил слушать:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Димка слушал и, хотя в далекой отсюда Москве была еще ночь, представлял, как солнце раскрашивает кирпичные стены Кремля, который он видел только на картинках да в кино.

В огороде появился старший брат Семен, прищурился на солнце, с хрустом потянулся. Вдруг он опрокинулся, встал на руки и пошел к Громотушке. Минуя морковную грядку, он легко спружинил на руках, зубами вырвал морковку, еще небольшую и бледную, и так, в зубах, донес ее до ручья.

Это был обычный Семкин номер. Он занимался в кружке самбистов и умел еще и не такое. Димка, смертельно завидуя в душе старшему брату, равнодушно отвернулся.

Прежде чем умыться, Семен пополоскал морковку в ручье и с хрустом откусил сразу половину, подмигнул Димке:

— Ну, как?

— Чего? На руках-то? Подумаешь...

— Ишь ты, пшено... А ну-ка?

— Да запросто! — в запале выкрикнул Димка и попытался встать на руки. «Шмякнусь на спину, как пить дать...— пронеслось у него в голове.— Картошку помну... Мать задаст...»

Едва он так подумал, как откуда-то обрушился на него голос матери:

— Помни́, помни́ картошку мне! Ди-имка!

И плашмя, вытянувшись во весь рост, спиной шлепнулся в картофельную ботву.

Мать вскрикнула. Димка увидел ее испуганные глаза над своим лицом, вскочил.

— Ну?! Ну?..— дважды дернула его за руку мать. И повернулась к Семену: — Чему ты ребенка учишь? А ежели он руки али шею сломает?

Увидев, что мать отвернулась, Димка торопливо убежал с огорода.

* * *

За столом у Савельевых всегда царило молчание. Глава семьи Федор Силантьевич не терпел за едой разговоров.

Но сегодня священный порядок нарушал самый младший из Савельевых — десятилетний Андрейка. Хлебнув две-три ложки, он шмыгал носом и заводил одно и то же:

— Ма-ам... Я пойду с ними рыбалить?..

Жена Савельева, Анна Михайловна, молчит, будто не слышит умоляющего голоса сына.

— Да пустите вы его, не потеряем,— в конце концов сказал Семен.

Отец бросил ложку, сердито вытер черные, мокрые от лапши усы.

— Вот что, Семен, я скажу... В твои, считай, годы я уж эскадроном командовал, белякам головы рубил,— и он показал почему-то за спину, на стенку, где висел увеличенный со старой фотографии портрет его отца, Силантия Савельева.— А ты хоть и два года как тракторист, все в ребячьих пастухах состоишь.

Семен посмотрел на портрет деда. Отец очень походит на него — такой же большой лоб и сросшиеся брови, такие же усы над крупной нижней губой, нос прямой, с широкими ноздрями, густая, непокорная, рассыпающаяся во все стороны копна черных волос. Только вот подбородок у отца другой, чем у деда. У деда подбородок плоский с бороздкой посредине, у отца — крутой, крепкий, с выметом густой, тоже, наверное, железной крепости щетины.

— Так сейчас же, батя, не война... Вместо эскадрона у меня трактор...

Федор отвернулся к окну, закурил и ударил ладонью в створки. Прямо перед окном качалась зеленая и шершавая, в капельках утренней росы, голова собирающегося зацвести подсолнуха. Из центра его шляпки уже пробивались, как огненные струйки, несколько желтых лепесточков.

— Значит, на рыбалку?

— Воскресенье же, чего мне? А трактор свой я давно наладил,— проговорил Семен.

— И я давно свой комбайнишко наструнил. А товарищам не надо помочь? Или руки отвалятся?

— Пущай сами. Бензином я и без того надышался, хочу речной свежести глотнуть.

— Ма-ам, я пойду с ними рыбалить? — опять затянул Андрейка.

— Ну чисто желна! — в сердцах сказала мать.— Отправляйся...

Андрейка кубарем свалился с табуретки, кинулся из комнаты. За ним — Димка.

— А то приучили их жар-то чужими руками загребать.— И Семен тоже поднялся.

— Кого их?

— Ну, к примеру, этого главного лодыря Аникушку Елизарова. Или пьяницу Кирьяна Инютина, дружка твоего. Их давно надо из МТС выпереть, а вы все им помогаете. Ну и везите их на своих плечах. А у меня совести не хватает.— И вышел.

— Дурак ты, дурак! — вслед ему сказал отец.

— Федя! — воскликнула Анна.

— А ты — сыть! Сыть! — зло закричал Федор. Походил по комнате, сказал спокойнее: — Не понимает Семка чего-то... главного в нашей жизни. Вот что обидно. Ну, пошел я. Заверни чего в обед пожевать. До вечера с мастерской не выберусь.

Когда Федор ушел, Анна присела у окна, долго глядела на тот же собирающийся расцвести подсолнух. Ей вдруг почему-то показалось, что он никогда не расцветет, никогда не раскроет жаркое свое лицо навстречу солнцу. И фартуком вытерла бесшумно наплывшие слезы.

Она-то понимала, почему Федор недолюбливает старшего сына. Оба младших, Димка и Андрейка, были в отца — такие же чернявые, большелобые и бровастые. У них уже и поступь проглядывалась отцовская, особенно у Димки — крепкая, уверенная, чуть вразвалку, и черные, глубоко посаженные глаза были искристые до пронзительности, зацепистые, как у самого Федора. А старший, Семен, был в нее — русоволосый, белокожий, сероглазый.

— В погребе, что ли, мы его с тобой сделали? Не помнишь? — часто говорил ей Федор, когда Семка начал подрастать. Говорил — и криво усмехался в черный

колючий ус. И окатывало ее пронизывающим холодком: «Не верит... что его кровь... что он отец!»

Однажды она попыталась пристыдить мужа за его необоснованные подозрения. Федор слушал ее долго и внимательно. А когда понял, в чем, собственно, пытается убедить его жена, прихлопнул гулко по дощатому столу ладонью.

— Будет! Знаем... Не девицей тебя взял!

— Федор!

— Ну! — поднял голос Федор, бледнея.— Будет, сказано...

Он облокотился о стол, запустил пальцы обеих рук в густые черные волосы и сжал кулаки. Сидел так минуту-другую...

— Вот на чем, Анна, покончим...— сказал, поднимая на нее мутный, тяжелый взгляд.— Тебя, стерву, надо бы наискосок шашкой перерубить. А я тебя все же люблю. К тому же Димка вон народился. Этот — мой.

— А Семка чей? Федя?!

— На том покончим...— не слушая, загремел Федор.— Чтоб об этом больше молчок! Ни слова!! Ежели жить хочешь... в семье...

И жили они — другие и не скажут, что плохо. Федор был суров и малоразговорчив, а в праздник или день рождения обязательно какой-нито подарок сделает. По большей части пустяковый — бумажный платок или стеклянную брошку. Да в цене ли дело! И к Семке относился вроде ровно, ни в чем не выделяя от остальных детей. Но иногда, как вот сегодня, вроде бы ни из-за чего схватывался со старшим сыном. И еще ночами иногда находило на него что-то, он чуть не до света лежал холодный, не шевелясь, и Анна видела в полутьме сухой блеск его глаз. Она уже знала, что это значит. Наконец Федор молча и грубо тянул ее к себе, безжалостно, с остервенением, до синяков и кровоподтеков, мял ее небольшие груди, разламывал ее плечи. Она чувствовала, что он бессознательно мстит ей за Семку, что в нем просыпается что-то звериное.

— Федя! Федор!! — в страхе кричала она.

Это его будто отрезвляло, он затихал.

Анна не то чтобы не осуждала Федора — она понимала его муки. Семка — от него, от Федора. Она-то это знает. А его — не убедишь. И он имеет право не поверить...

Да, жили они — другие не скажут, что плохо. Но никто не скажет — любит ли Анна мужа. И сама она этого теперь не скажет. Когда-то любила ошалело, без памяти, залила когда-то она Федора своей любовью, как обвальный июльский ливень заливает землю. Уж текут потоки воды по земле, уже залиты низкие полевые луговины, и лишь торчат над кипящей от тугих дождевых струн водой только высокостебельчатые ромашки да упругий остролистник, уже помутнела от дождя широкая Громотуха — а ливень все идет, все хлещет по земле со звоном...

Но вот чуть потоньше стали дождевые струны и пореже. Вот словно кто махнул поперек ливня огромным решетом, разрезал струны на капли. И хоть они капают вниз обильно, но это все-таки уже капли. Сперва скапали вниз те, что покрупнее, потом долго сыпалась мелочь. И наконец дождь совсем прекратился. Лужи по канавам и оврагам скатились все в ту же ненасытную Громотуху, а в заросших травой низинах вода потихоньку просочилась под землю, оставив на дне маслено поблескивающий на солнце слой ила. Ил, быстро высохнув, берется корочкой. Через несколько часов корочка эта трескается, кучерявится, как береста, и рассыпается от жары в пыль. Ветерок раздувает эту пыль, ворошит белые, недавно дрожливо стоявшие под ливнем ромашки, длинные стебли остролистника и прочее разнотравье.

Вспоминался иногда Анне свой последний разговор с ее проклятым отцом. «Чем хвалишься? Как скотина ты жил...— кричала тогда она в его ненавистное бородатое лицо.— А есть другая жизнь — человечья!.. А я хочу по-человечески жить...» — «Тебя-то пустят ли в эту жизнь? — насмешливо спросил отец.— Рано или поздно припомнят, чья ты дочь».

Никто не припомнил, чья она дочь. Но жизни, о которой мечталось, которой хотелось, так и не получилось.

Сперва считала — виноват в этом ее отец-изверг. А потом начала подумывать: а только ли он?

* * *

Все улицы Шантары как бы стекают вниз, к Громотухе. Улицы разъезжены в пыль, а кривые переулки, по которым редко-редко проедет телега или грузовик, крепко затравенели, иные так поросли репьем и полынью, что через них едва можно было продраться.

И только главная сельская улица — шоссейка, как ее называют,— выложена булыжником, по бокам ее выкопаны канавы для стока вод, густо насажены тополя и проложены деревянные тротуары.

По этой-то шоссейке, пустынной в ранний воскресный час, шагали братья Савельевы и Колька Инютин по прозвищу Карька-Сокол — пятнадцатилетний долговязый подросток, похожий на вопросительный знак.

— А я сейчас через плетень гляжу — сестра тебе выговаривает,— сказал Семен.— Не пустит, думаю, на рыбалку парня.

— Не-е, Верка спросила только, куда мы идем удить. На громотухинскую протоку, говорю. «Мельницу»-то покажешь?

— Покажу, — промолвил Семен, думая о чем-то своем.

Выйдя за околицу, все четверо побрели начавшей рыжеть уже степью, миновали строй деревянных опор высоковольтной линии, крестовины которых были обрызганы птичьим пометом, и зеленой луговиной вышли к неширокой громотухинской протоке.

Здесь их и догнал запыхавшийся Витька Кашкаров, Димкин одногодок.

— Ты? — обрадованно выкрикнул Димка.— А твоя мать сказала, что не пойдешь!

— Мало ли что...— проговорил Витька, отводя в сторону невеселые глаза.

В чистом синем небе плавилось солнце, разгоняло остатки утреннего тумана, стекало на землю густыми обжигающими струями. Солнечные блики на воде резали глаза. У берега их почти не было, метрах в трех покачивались редковатые золотые блюдца, но чем дальше, тем их становилось все больше и больше, и где-то посреди протоки они сливались в сплошную сверкающую полосу.

Все торопливо наживили крючки, жадно уставились на поплавки. От напряжения у Андрейки на облупленном носу выступили бисеринки пота. Лишь Витька Кашкаров все возился с удилищем, привязывая леску. Потом, кажется, забыл о своей удочке, обо всем на свете,— уставившись в одну точку, он глядел куда-то вдаль, за протоку, на остров, где росшие на небольшом обрывчике развесистые ветлы бороздили упругими ветками тугие струи.

— Е-есть! — вдруг заорал Димка и выдернул из воды небольшого подъязка.

У Андрейки от зависти екнуло сердце, он начал часто махать удилищем.

— Ты не торопись, Андрюша,— сказал Семен и бросил взгляд на Витьку. Тот, сидя на камне, все глядел на остров.

Зачерпнув в ведерко воды, Димка кинул туда подъязка. Рыбина сильно забилась, разбрызгивая воду. Инютин воткнул свою удочку в песок, подошел, свесил над ведерком крючковатый нос и еще больше стал похожим на вопросительный знак.

— Ничего,— снисходительно сказал он.— А на той неделе я под Звенигору ходил удить. Только забросил — кы-ык он хапнет! Удилище — крык! — напополам. Он и потащил обломок на середину. Я прямо в одежде сиганул за им...

— Не ври,— сказал Семен.

— Что не ври! Окунище был — во! Так и уплыл, гад. Не догнал.

— Откуда ты знаешь, что окунь? — спросил Димка.

— А кто же?! — обиделся Колька.— Он, зебра полосатый. Боле некому.

Андрейкин поплавок вдруг косо скользнул в глубину. От неожиданности Андрейка сперва сел в мокрый песок, потом вскочил, дернул удилище. Леска со звоном разрезала воду, булькнув, выскочил поплавок, задрожал на туго натянутой волосяной струне. Андрейка, отступая, тянул удочку к себе, а какая-то сильная рыбина — Андрейка чувствовал, как она билась на крючке,— старалась уйти вглубь. Таловое сухое удилище гнулось, потрескивая, вот уж поплавок опять коснулся воды, пополз обратно в холодную глубь.

— Порвет! Леску порвет! — закричал Витька, встрепенувшись, сбрасывая свое забытье.— Припусти чуть! Ослободи, ослободи ему маленько ходу! — орал

он, не замечая, что вместо «освободи» говорит «ослободи».— Да уйдет жа, уйдет жа...

— Не лезь! — тоненько вскрикнул Андрейка.

— Пущай сам. Не мешай ему, Витя,— проговорил Семен, с улыбкой наблюдая за младшим братом.

Димка и Колька, побросав удочки, тоже прыгали вокруг Андрейки, давали советы. Но тот их не слушал. Закусив от волнения язык, он продолжал бороться с рыбиной. Наконец решил, видимо: будь что будет! — и из последних сил дернул удилищем. Чулукнул из воды поплавок, и, словно догоняя его, взметнулся вверх, сверкнув на солнце желто-зеленой радугой, огромный окунище и, сорвавшись в воздухе с крючка, шлепнулся на камни почти у самой воды. Андрейка вскрикнул, сорвался с места, грудью упал на свою добычу и облегченно, радостно засмеялся.

Потом все долго и завистливо рассматривали тупорылого горбача, по очереди держа в руках.

— Положьте в ведерко, уснет же,— будто бы потеряв всякий интерес к окуню, как можно равнодушнее бросал через плечо Андрейка, наживляя крючок.— Рыбы, что ли, не видали...

— Повезло тебе, братуха,— сказал Семен.— Такие громилы редко на червя берут.

— Подумаешь, громила,— промолвил Колька, опустив окуня в ведерко.— Вот я прошлогод на Громотушке... Мы с Веркой за смородиной ходили. Ну а леска всегда при мне. Дай, думаю, с пяток хариусов поймаю, да уху на обед сварганим. Верка — она любит жрать уху-то,— зачем-то пояснил он и продолжал: — А ягоды мы обирали в аккурат недалече от Лешачиного омута.

— Где, где? — оторвался от своего поплавка Семен.

— Что где? — заморгал Колька выгоревшими ресницами.— Возле Лешачиного омута. Там сморо-одины!! Прямо насыпью. Бабы-то ходить туда боятся... А Верка — она жадная на ягоду. «Пойдем, говорит, Колька...» Ну и пошли. Ты что, не веришь?

— Давай ври дальше,— бросил Димка, все еще заглядывая в ведерко, сравнивая своего подъязка с Андрейкиным окунем.

— Сам ты...— повернулся к Димке Николай и обиженно замолчал.

Минут пятнадцать в безмолвии махали удилищами, но клева больше не было. Андрейка, чтобы сделать подальше заброс, зашел даже по пояс в воду. Каждый раз, наживляя свежего червя, он долго и старательно плевал на него, полагая, что от этого наживка станет вкуснее. Но все было бесполезно.

Солнце поднялось уже высоко, зной съедал голубизну неба, оно становилось белесо-мутным. Жар волнами наплывал сверху, приглушая все звуки, кроме негромких всплесков волн, облизывающих горячие камни-голыши. На эти мокрые камни почему-то беспрерывно садились бабочки-капустницы и, пошевеливая белыми, в черных прожилках, крыльями, сидели до того мгновения, пока не накатывалась очередная волна.

— Так кого же ты поймал в Лешачином омуте? — спросил Семен.

— Никого я не поймал,— буркнул Николай все еще сердитым голосом. Но немного погодя начал рассказывать: — Подошел я, значит, к омуту — жутко. Вдруг, думаю, лешак из кустов высунется? Сердце стукатит, как молоток. Верка где-то рядом по кустам шебаршит. Ну, подошел я, гляжу...

— Ну?! — в нетерпении выкрикнул Димка.— Лешак?!

Витька, забыв про удочку, тоже повернул голову к Кольке. Но смотрел ему не в лицо, а куда-то мимо, на небольшое пухлое облачко, неожиданно появившееся на горизонте, смотрел пустым и безразличным взглядом. Один Андрейка, стоя в воде, сильно наклонившись вперед, чуть не опрокидываясь в реку, по-прежнему держал удилище в вытянутой онемевшей руке и не отрывал глаз от поплавка.

— Гляжу — пара здоровенных хариусов ходит поверху. Ну, думаю, счас... Неслышно, чтоб не спугнуть их, заразов, махнул удилком. Наживка еще не погрузилась в воду — ка-ак они кинутся на всплеск обои... Какой-то из них, значит, сглотнул крючок и попер вглыбь! И вдруг...

— Лешак в кустах захохотал! — крикнул Димка насмешливо.

— Я вам правду говорю, а вы...— мотнул коротко остриженной головой Ни-

колай.— Только хариус сиганул вглубь, ка-ак посреди омута поднимется водяной горб, как забурлит!.. Ну конечно, я испугался! По всему телу сыпучая дрожь окатила. А что?! Сами бы спробовали... А тут еще посередке омута во-от такой раздвоенный рыбий хвостище выметнулся.— И Колька чуть не во всю ширь раздвинул руки, показывая величину хвоста.— Да как хлестанет по воде — ажно брызги ливнем меня обсыпали. И тут же с такой силищей рвануло леску, что она только треньхнула...

— Оборвалась! — взвизгнул Андрейка, вышедший на берег, чтоб насадить на крючок нового червя.— А кто же это был, Коля? Щука?

— Не знаю,— вздохнул Колька.

— Щука, щука! — утвердительно проговорил Андрейка.— Батя как-то рассказывал, что в больших омутах на Громотушке живут и щуки.

— Может, и щука.

— Акула, наверное,— сказал, посмеиваясь, Димка.— Такие хвосты только у акул бывают.

— Разве ты поверишь! — обидчиво отвернулся Инютин.

В некотором смысле этот Колька был человеком необыкновенным. С ним всегда случались какие-нибудь приключения. То чья-нибудь собака оборвет ему штаны, то в школе, на уроке, вдруг ни с того ни с сего у него в кармане бабахнет самопал. разворотив до кости мясо на ноге.

А года три назад он поспорил с ребятишками, что надергает из хвоста свирепого райкомовского жеребца Карьки-Сокола волос на леску. Жеребец был диковинным — сам карий, почти вороной, а грива и длиннющий хвост ослепительно белые, словно поседевшие. «Потому что меринос»,— объяснял любопытствующим ребятишкам райкомовский конюх Евсей Галаншин, пускавший на ночь пастись жеребца за село. И, видя, что ребятишки не понимают мудреного слова, сердился: «Кыш отседова, воронье! Знаю ить, волосу хотите надергать. Он вам копытом-то дерганет по кумполу...» И, застегнув передние ноги коня прочными волосяными путами, удалялся, строгий и прямой как жердь.

Белый хвост Карьки-Сокола был мечтой. Но выдернуть из его хвоста хотя бы волосинку еще никому не удавалось. Он подпускал к себе только деда Евсея. Если приближался кто другой, жеребец вскидывал голову, скалил, как собака, длинные плоские зубы и угрожающе поворачивался задом.

Разрешать спор отправились поздно вечером, когда дед Евсей, по обыкновению, отвел жеребца на лужайку.

— Наблюдать с этого места,— сказал Николай, останавливаясь метрах в двухстах от жеребца.— Ближе не подходить.

— Почему? — полюбопытствовал Димка.

— Опасно,— небрежно кинул Колька.— Вдруг он рассвирепеет да кинется на вас? Растопчет, а я потом отвечай...

Это подействовало. Ребята остановились. Колька пошел к коню. Ребятишки наблюдали за ним затаив дыхание, бешено завидуя Колькиной смелости.

Жеребец, спокойно щипавший травку, при Колькином приближении вскинул голову, заржал. У ребятишек заекало от страха в животах. Но Колька, не останавливаясь, тихонько шел к коню, протянув руку. Еще через мгновение он стоял возле жеребца и спокойно гладил рукой плоскую щеку лошади. Ребята смотрели на такое чудо, разинув рты.

Никто из них не знал, что Колька целый месяц приваживал к себе жеребца.

Как-то, отгоняя утром корову в стадо, Колька заметил, что дед Евсей, прежде чем распутать и увести жеребца, скормил ему краюху ржаного хлеба. Карька съел хлеб и благодарно потерся щекой о заскорузлые от времени руки старика. Николай хмыкнул, сел на мокрую от росы траву и стал что-то соображать.

Вечером он пришел на лужайку с большим ломтем ржанухи. Едва старик, оставив спутанного жеребца, уковылял в деревню, Колька двинулся к лошади, протягивая на длинной палке ломоть хлеба.

Несколько вечеров Карька-Сокол шарахался от палки, скалил угрожающе желтые зубы и поворачивался задом. Но постепенно волнующий запах ржанухи, видимо, сделал свое дело, и однажды Карька осторожно взял с палки хлеб.

Через неделю жеребец брал хлеб уже из рук, а еще через неделю позволял себя гладить по шелковистой щеке.

Колька решил, что дело сделано и пришла пора удивить и поразить всех уличных огольцов.

Скормив, как всегда, краюху хлеба, тайно принесенную за пазухой, Колька с полминуты гладил Карьку-Сокола по щеке, потом похлопал по крутой и крепкой, как камень, шее, провел ладонью по лоснящемуся крупу. Жеребец вздрогнул, завернул голову, блеснув лиловым взглядом. «Чего ты, дурашка?!» — ласково проговорил Колька. Привычный голос, видно, успокоил, жеребец перестал дрожать, принялся щипать траву.

Колька, продолжая одной рукой оглаживать круп, другой осторожненько выбрал из хвоста прядку волос, намотал на кулак, стремительно отскочил назад и что есть силы дернул. Но то ли конский хвост был очень крепок, то ли от жадности Колька захватил слишком большую прядь, только выдернуть ее ему не удалось. Жеребец заплясал от боли, вспахивая копытами землю. Колька шарахнулся было прочь, но руку накрепко захлестнуло конским волосом. Жеребец взбрыкнул задними ногами, чудом не расколов парнишке голову. Колька отскочил в сторону, пытаясь выпутать из хвоста руку. И в это время Карька-Сокол, изогнувшись, хватанул его оскаленными зубами за бок...

Когда ребята подбежали к Инютину, тот лежал ничком, не шевелясь. С оголенного бока свешивался кровавый лоскут кожи почти в ладонь величиной.

Застонав, Николай открыл глаза, сел и поглядел на свой бок, из которого хлестала кровь. Снял порванную лошадиными зубами рубаху, разодрал ее на узкие полосы, прилепил на место свесившийся лоскут кожи и молча принялся себя перебинтовывать.

— Ладно, пойду в больницу,— сказал он, поднимаясь.

Бок ему залечили, только на всю жизнь обозначился на смуглом Колькином теле подковообразный белый рубец. Да навсегда прилипла к Инютину после этого звучная кличка Карька-Сокол.

Несмотря на то что с ним то и дело случались подобные происшествия, Колька слыл хвастуном и безудержным вралем. Может, потому, что, рассказывая о действительных своих приключениях, он всегда что-нибудь преувеличивал, приукрашивал, а то и привирал.

Рассказав о случае на Лешачином омуте, он отошел в сторонку, сел на горячие камни и нахохлился.

— Это разве рыбалка! — крикнул Андрейка, вышел из воды и швырнул на землю удочку.— Совсем клёву нету.

Семен, стоя спиной к реке, глядел в степь, на дорогу. По ней шел какой-то человек. Он миновал столбы высоковольтной линии и на развилке повернул влево, в сторону от реки, на Звенигорский перевал.

— Димка, глянь, что там за дядька шагает по дороге в Михайловку? — проговорил Семен.

— Обыкновенно... С котомкой, в сапогах. А в руках палка,— сказал обладавший ястребиными глазами Димка.

— А не дядя это Иван?

— Да откеля ему? Он же в тюрьме!

При этих словах Витька Кашкаров, опять давно сидевший в сторонке, вскочил, глянул на уходившего к перевалу человека. И, сев на прежнее место, снова принялся угрюмо разглядывать потрескавшиеся от цыпок ноги.

— Почудилось. Плечи у него такие же сутулые, как у дяди Ивана,— проговорил Семен.

Солнце тяжелыми струями все полосовало землю, словно занялось целью расплавить ее. Раскаленные прибрежные камни, которые время от времени окатывала ленивая и теплая речная волна, тотчас, на глазах, обсыхали. Бабочки-капустницы, еще полчаса назад мельтешившие под ногами, куда-то исчезли. Небо было по-прежнему пустынным, только на одном его краю, там, где за текучим маревом недавно вспух маленький ватный комочек, сейчас пузырился огромный столб больнично-белых облаков. Верхушка облачного столба была намного шире основания и, увенчанная громадной шапкой, от тяжести заломилась на правый бок, грозя рухнуть как раз на Шантару.

— Вот что, рыбачки-мужички,— сказал Семен, сбрасывая рубаху,— до вечера клёва ждать нечего. Давайте искупаемся, а потом сварим уху из Димкиного

подъязка и Андрейкиного окуня. Пока она варится, я покажу вам несколько приемов самбо. В том числе «мельницу».

Семен разделся, с полминуты постоял на горячих камнях под завистливыми взглядами ребят. Крепкое, с буграми мышц его тело отсвечивало на солнце медью. На широких, сильных плечах, сожженных солнцем почти до черноты, упрямо сидела чуть угловатая голова. И короткая шея, и широкие скулы, и крутой лоб — все было покрыто плотным загарным слоем, лишь густые белые волосы солнце не в силах было сжечь, и они пламенели, как флаг, белым непотухающим огнем.

Постояв у самой кромки воды, Семен чуть присел, резко выпрямился, взмахнув одновременно руками, и казалось, неведомая сила легко оторвала и стремительно кинула далеко от берега, в прохладную глубь реки, его тяжелое тело. Следом за ним попрыгали в воду и остальные. Лишь Витька так и не тронулся с места. Сидя на берегу под палящим солнцем, он молча разгребал в мокром песке ямку.

Несколько минут ребята плавали у берега, хохоча и дурачась, вздымая радуги водяных брызг. Первым вылез на берег Семен, не одеваясь, порылся в карманах брюк, закурил. С его остуженного водой тела скатывались прозрачные капли.

— Скажи-ка, Витя, что такое с тобой? Дома что-нибудь? — спросил он, присев возле парнишки.

— Отвяжись ты, — вяло сказал тот, встал и пошел прочь от берега.

Семен догнал его в несколько прыжков, загородил дорогу.

— Ну что, что?! — почти со злостью выкрикнул Витька, вскидывая давно не стриженную головенку.— Что тебе надо?

— Мне-то ничего. — Семен взял парнишку за плечо.— Я ничем не могу тебе помочь?

— Не можешь! Да, не можешь! — с отчаянием вскрикнул Витька, сбросил тяжелую Семенову руку и пошел дальше. Однако через несколько шагов обернулся.— К нам седни ночью этот ... Макар Кафтанов приехал, понял?

— Макар?! — воскликнул Семен и невольно поглядел вправо, на дорогу, по которой недавно в Михайловку прошагал человек с котомкой, издали похожий на дядю Ивана, уже несколько лет находившегося в заключении.

Витька понял этот взгляд, проговорил:

— Может, они вместе и приехали.

Семен хмуро молчал. Макар Кафтанов, его дядя по матери, был знаменитым вором, большим специалистом по ограблению магазинов. В свои двадцать восемь лет он уже имел шесть судимостей...

* * *

После завтрака Федор Савельев через хлев вышел на двор, крикнул зычно и властно:

— Кирья-ан!

Тотчас отмахнулись в инютинской избенке дощатые двери, на покосившееся крылечко с лохмотьями облезающей краски стрелой выскочил, что-то дожевывая, Кирьян Инютин.

— Позавтракал? Айда на станцию.

— Воскресенье же... Я поллитровку в погреб кинул, чтоб нахолодала.

— Какая поллитровка! На носу уборочная, а твой трактор еще в развале весь.

— Так... Чего же, раз надо, стало быть, значит, я разом, — тотчас согласился Кирьян.

Избенка Инютиных, сложенная из тонких и корявых бревешек, рядом с просторным домом Савельевых казалась особенно маленькой, ветхой и невзрачной. Таким же невзрачным и никудышным был узкоплечий и гололобый Кирьян Инютин по сравнению с глыбистым, медвежковатым Федором Савельевым.

Кирьян нырнул обратно в темный зев сенок. С огорода, неся что-то в фартуке, подошла к крыльцу жена Кирьяна — остроносая, с узкими глазами, из которых вечно бил шалый огонек, Анфиса. Крутогрудая и статная, она, несмотря на свои тридцать девять лет, все еще казалась девчонкой.

Она шла, не замечая Федора. Ее старенькая, ветхая юбчонка была высоко подоткнута, красные, нахолодавшие икры, вымоченные росной огородной зеленью, залеплены грязью.

— Здоровенько ночевали,— сказал Федор.

— Ой! — воскликнула женщина, торопливо одернув юбку.

Федор шагнул к плетню, разделявшему их усадьбы.

— Подойди-ка...

Анфиса качнулась, словно в нерешительности, подошла.

— Ну? — Глаза ее были опущены, припухшие, красноватые веки чуть подрагивали.

— Как стемнеет, буду ждать... в наших подсолнухах, а? — трогая ус, кивнул Федор на делянку подсолнухов, прилепившуюся на задах огорода.— Придешь?

Анфиса брызнула на Федора крутым, как кипяток, взглядом и молча принялась рассматривать молоденькие огурчики, лежавшие у нее в фартуке.

— Жалею я, что отдал тебя Кирьяну,— усмехнулся Федор.— Ишь, не стареешь будто. Износу тебе нету. А моя Анна...

— Чего теперь об этом...— вздохнула Анфиса.

— Так придешь?

— Ладно. Если Кирьян не проснется,— просто сказала Анфиса и, видя, что Кирьян вышел из дома, ткнула огурцом в широкую ладонь Федора.— Попробуй, с нашего огорода.

— Огородница ты знатная, на всю улицу,— произнес Федор.

— Это уж действительно,— хмуро подтвердил Кирьян.— Про всякую овощь еще слыхом не слыхать, а у нее уж на столе... Ну, пошла! — раздраженно прибавил он и подтолкнул жену к крыльцу.

Федор и Кирьян вышли на улицу и молча зашагали к МТС.

* * *

После колчаковщины Федора Савельева, по совету председателя волисполкома и бывшего командира партизанского отряда Поликарпа Кружилина, назначили начальником Шантарского почтового отделения, а Федор взял бывшего бойца своего эскадрона Кирьяна Инютина в завхозы. На почте они проработали без малого десять лет — до 1931 года. Сперва вроде все было хорошо, но с годами Кирьян стал попивать, наловчился потихоньку сплавлять на сторону кое-что из почтового хозяйства — то моток проволоки, то дюжину-другую сосновых телеграфных столбов, то конскую упряжь. Федор неоднократно мылил ему за это шею, тряс увесистым, заволосевшим на казанках кулаком перед крючковатым Кирьяновым носом.

— Да что ты, что ты, Федор,— моргал невинными глазами Инютин, вытирая ладонью проступавшие на залысинах крупные капли пота.— Да рази я, переворот мне в дыхало, осмелюсь что с государственной ценности... Не иначе конюхи, разъязви их, пропили. Я прижму их, паразитов, они у меня иголки больше не своруют...

Потом Кирьян ловко научился вскрывать посылки, вытаскивать оттуда разное барахло. Жалоб на работу почты было все больше. И вскоре Федору пришлось оставить работу.

— Бывший партизан! Лихой командир эскадрона! — гремел на него Кружилин, ставший к тому времени секретарем райкома партии.— Да какого эскадрона?! Лучшего в полку! Развалил почту, распустил людей... Меня подвел... Позор!

После этого Федор устроился на работу в недавно организованную районную контору «Заготскот» — приемщиком в Михайловское отделение.

В Михайловке первым, кого он встретил, был младший брат Иван — белобрысый, точно вылинявший от долгого сидения в темной яме, худой как палка, с тонкой и желтой кожей на скулах, сквозь которую, казалось, просвечивали кости.

— Ты?! — удивился Федор.— Как ты тут?!

Иван отвернулся, поглядел на угрюмые в вечерней наволоке глыбы Звенигоры. Под мышкой у него торчал кнут.

— Пастухом я работаю на отделении,— сказал он.

— Ну, это мы исправим живо,— усмехнулся Федор.— С бандитами я не разучился управляться. Откель же ты, контрик?

— Яшка Алейников разъяснит... коли потребуется,— сказал Иван и пошел.

Распахнутые полы его заскорузлого под дождями и степными ветрами брезентового дождевика цеплялись за жестяные стебли полынника.

Яков Алейников, бывший начальник разведки кружилинского партизанского отряда, после гражданской войны работал в ГПУ. Узнав, зачем пожаловал к нему Федор, Алейников потер косой рубец на левой щеке — след зубовской шашки, сказал:

— Брательника твоего еще в двадцать пятом выпустили из Барнаульского домзака. Он свое отсидел.

— Пять лет врагу Советской власти — что за мера?!

— Суду видней было. Нашли смягчающие вину обстоятельства. Потом он несколько лет работал в Барнауле — бондарил в какой-то мастерской, мыл в затоне керосиновые баржи. Там же и женился на буфетчице какого-то парохода. Сюда переехал с нашего ведома. В артель колхозники поостереглись его принять...

— И я не буду с ним работать. Понял?

— Я-то понял... Я бы всех подобных субъектов, которые об контрреволюцию замарались, к стенке — и весь вопрос. Для страховки и спокойствия в стране. Да Кружилин говорит — пусть работает, ничего... Цацкаемся. Они бы с нами не цацкались...— И, походив по кабинету, остановился у окна, глубоко зацепил Савельева холодным взглядом из-под сдвинутых лохматых бровей.— А что ты уж с такой злобой к нему? Брательник все же...

— А непонятно разве?

— Ну ладно,— усмехнулся Алейников.— Это дело ваше, родственное, так сказать.— И, опять потерев шрам на щеке, прибавил: — А ежели подойти с классово-пролетарской точки зрения, то я бы тебя просил, Федор, если что заметишь в нем... душок какой, мысли... не говоря уже о действиях...

— Ты?! —Федор хотел встряхнуть его за новые, глянцево блестевшие от солнечных лучей, бивших из окна, ремни, но не решился.— Шпионить я не буду. Это уж как хошь.

И ушел. Яков Алейников, чуть приподняв лохматую бровь, проводил его задумчивым взглядом.

Как ни кипел Федор, а пришлось ему жить в Михайловке рядом с ненавистным братом. В гости один к другому не ходили, друг с другом не разговаривали. Разве только Иван иногда, отогнав гурт нагулянного скота в Шантару, отдавая Федору сопроводительные документы, спрашивал:

— Все?

Федор, пошевеливая усом, долго рассматривал цифры и подписи на измятых, желтых листках и кидал, не удостаивая Ивана взглядом:

— Все.

Крепла, закручивалась тугим и тяжелым узлом давняя вражда между братьями, рождала догадки у михайловских колхозников, плодила бесконечные пересуды.

— Зудит рука у Федора на контру. Хлестанет, должно, когда-нито...

— Обои они кандыбышны... в смысле — одного поля ягода. Федор-то тоже кулацкую дочку в жены взял...

— А зря вы. Кафтанов зверь был, спытали его милости. А дочерь его, Анна эта, партизанила вместе с Федором...

— Партизанила... Блуд чесала об Федьку — это верно...

— Слух шел — не токмо об Федьку, но и об Ваньшу...

— Из одной чашки, хе-хе, братовья, должно, хлебали...

Слушая деревенские пересуды и шепотки, ловя на себе то откровенно насмешливые, то вопросительно-удивленные взгляды, Федор мертвел лицом.

— Слушай, уезжай ты отсюда к чертовой матери! — примерно через год не выдержал Федор.— Уходи от греха! Добром прошу.

— Чем я тебе сейчас-то мешаю? — шевельнул Иван усами.

— Усы мне твои не нравятся! — полоснул Федор брата откровенно ненавидящим взглядом.

Усы Иван отпустил недавно, такие же густые и жесткие, как у Федора, такой же подковкой. Разница была лишь в том, что у Федора они были черными как смоль, а у Ивана светло-русыми, под цвет бледно-серых, как застывшее в июле знойное небо, глаз.

— Усы как усы... Навроде твоих, только цвет другой.

Внутри у Федора что-то екнуло, как селезенка у лошади, он затряс брата, сграбастав за отвороты пиджачка:

— Смеешься, гад? Изгаляешься! Намеками до кишок пыряешь?! — И, не помня себя, рванул за отвороты вниз.

Треск отрываемых лоскутьев словно остудил Федора, он отступил на шаг, поглядел на зажатые в кулаках лохмотья.

— Сдурел ты окончательно,— спокойно произнес Иван.— Какие намеки еще...

В это время заскочила в пригон, где произошла стычка братьев, жена Ивана, Агата, маленькая, верткая женщина. Шла она мимо куда-то по своим делам и уже миновала было скотный загон, но ее остановили голоса мужчин.

— Ах ты паразит такой! Сволота, кикимор нечесаный! — с ходу обсыпала она Федора бранью, как горохом из ведра.— Со свету совсем Ивана сживаешь? Мужик и без того намыкался, а ты доказнить его хошь? Последние ремки на нем рвешь. Сам-то в суконной паре ходишь, а мы — в лохмотьях. Скидывай, мурло свиное, свой пиджак сейчас же...

Сверкая глазами, она прыгала вокруг кряжистого Федора, болтала вывалившимися из-под платка косами, трясла кулачонками, потом принялась сдергивать с него пиджак. Федор пятился от нее, отбивался, как от озверелой, с лаем наседающей собачонки. Женщина сорвала с него пиджак, свернула его в ком, зажала под мышкой, убежала.

— Не бойся, верну тебе одежку,— проговорил Иван, подобрав с земли оторванные полы своего пиджака.

Федоров пиджак он принес в дощатую каморку на следующий день, молча кинул на скрипучий стол.

— В продолжение вчерашнего прибавлю,— пряча почему-то глаза, произнес Федор.— Ежели замечу, что привечаешь разговором... али как Семку... и уж совсем не приведи господь, коли увижу тебя рядом с Анной... На людях ли, без людей ли — все равно... Не обессудь тогда.

— Ну как же,— произнес Иван,— ты не Кирюшка Инютин, знаю.

В два прыжка Федор оказался рядом с братом, едва сдерживаясь, чтобы опять не схватить его за плечи.

— Рви снова на мне одежу,— будто посоветовал Иван.— Видишь, Агата пришила оторванные полы. Ничего, еще пришьет.

— Нет, одежу рвать не буду! — прохрипел Федор, зажимая внутри себя этот хрип.— Я тебя, контру, просто прикокну, ежели ты... сплетни распускаешь!

— Убери руки, ну?! — ощетинился наконец Иван.— Они у тебя в волосьях.

Несколько секунд братья стояли друг против друга, молча кромсая один другого глазами.

Первым не выдержал Федор, отвернулся и пошел к столу.

— Сплетни... Вся деревня про вас с Анфиской судачит.

— Ну, гляди у меня, ходи, да не оступись,— вяло, будто без всякой злобы теперь, промолвил Федор.

...Кирьяна Инютина Федор перетянул в Михайловку вскоре после того, как только обосновался на новом месте, выговорив ему в районе место своего помощника, хотя, по совести, должность Федора была нехлопотливая — одному делать нечего. Жить Инютины стали в том же доме, что и Савельевы, в пустующей половине. Когда Инютины переезжали, Анна слушала, как они устраиваются за стенкой, гремят ведрами, посудой, и временами тихонько плакала.

— Н-ну, сыть! — покрикивал на нее Федор.— Чего еще!

Недели через две-три шалая михайловская бабенка Василиса Посконова, возвращаясь с колхозных полей, застала Федора и Анфису за деревней, в кустах, росших обочь дороги.

— И-и, бабоньки! — захлебываясь от нетерпения, шмыгала она в тот же вечер по деревне, из избы в избу.— Стыдобушка-то-о! Он ее, значит, усами щекотит в голые титьки, а она похохатывает... Я думаю: что за хохот тут? Девки, думаю, какие в кустах дурачутся... Сем-ка гляну... Раздвинула ветви-то — ба-атюшки!

Потом еще несколько раз видели Федора с Анфисой то в перелеске где-нибудь, то в поле, то на берегу Громотухи.

— Тьфу! — плевались деревенские бабы, перемывая Анфисины косточки.— И как глаза у ней от бесстыдства не полопаются! Ить детная же, Верке уж десять лет, скоро заневестится.

— Дак и меньшой, Колька, все соображает, поди.

— В мокрых пеленках ишо давить таких надо...

И чего не могли взять в толк михайловские мужики, так это поведения самого Кирьяна. Он отлично знал, что его жена путается с Федором, об этом ему не раз говорили в глаза. Находились даже добровольцы, изъявлявшие желание немедля отвести Инютина в лесную балку или степной буерак, чтоб на месте «пристегнуть голубчиков». Но Кирьян только чертил по воздуху крючковатым носом, сплевывал на испеченную зноем землю и говорил:

— Чтоб моя Анфиса?! Да ни в жисть! Она скорей шею сама себе перекусит, чем что бы там ни было...

Но люди знали — частенько Кирьян зверски напивался, уводил жену за деревню, в какое-нибудь глухое место, и там безжалостно и жестоко избивал, не оставляя на ее тугом белом теле живого места. Обычно до ночи Анфиса отлеживалась в кустах, а с темнотой тихонько, чтоб никто не видел, приползала в деревню.

Иван смотрел на такую жизнь брата молча, Анфисой больше не попрекал и жене строго-настрого запретил.

— Иначе сожрет меня Федька с потрохами.

— Да за что он взялся на тебя, живоглот такой?

— За то, видно, что у Кафтанова в банде служил. И за Анну. Будто от меня у ней Семка...— глухо проговорил Иван.— Я же рассказывал тебе обо всем... как оно было. У меня нет от тебя утаек.

— А может, нам уехать отсюда? А, Иванушка? — спросила Агата однажды после ужина.

Иван не отвечал долго. В углу, посапывая, возился трехлетний Володька, перебирал пустые, давно замусоленные катушки из-под ниток.

— Нет, не дело,— вздохнул наконец Иван.— Тут я родился. Тут батьку с маткой... колчаковцы сгубили. Старший брательник, Антон, правильно пишет: «Тут, в родной деревне, замазывай свои грехи. Пущай, говорит, их могилы вечно твою память скребут».

Антон, старший из братьев Савельевых, после гражданской жил в Харькове, работал заместителем начальника цеха на тракторном заводе. Все это Агата знала. Знала и о письме, о котором говорил муж. Оно было получено давно, еще в Барнауле. Благодаря ему они и оказались здесь, в Михайловке, хотя Агата уговаривала Ивана остаться в городе.

— Написать все вот Антону хочу, да не соберусь. Карточку надо бы попросить. А то прийдись встренуться — не узнаю ведь, пройду мимо. Я ж его последний раз в тыща девятьсот десятом, что ли, году видел. Он тогда то ли из Томской, то ли из Новониколаевской тюрьмы убежал. А следом за ним — жандармы. Ну, да и об этом обо всем я рассказывал тебе.

В тот вечер оба не спали долго. Лежали, смотрели в темноту.

— Вань... А ты не досель ее, Анну-то... любишь?

Неслышной волной тронуло Иваново тело, будто прокатился где-то внутри у него проглоченный вздох.

— Хватил я через нее, проклятую, лишенька... Всю жизнь ведь переломала мне. Кабы не она, разве я б оказался в банде Кафтанова? — И помолчав: — Хотя что ее винить?

Повернулся к жене, провел жесткой рукой по волосам, по лицу. И, ощутив мокрые от беззвучных слез щеки, сказал:

— Ну-ну... Если бы что этакое... разве бы я стал с тобой жить? Да и вообще — как бы я на земле, не встреть тебя? Куды бы я! Спи.

Он прижал к груди ее голову. Успокоенная, она заснула.

Помня предостережение Федора, Иван года два жил, будто отгородившись невидимой стеной от его семейства, от Кирьяна Инютина, от Анфисы. Если где встречал кого ненароком, проходил мимо, даже не взглянув. И на него никто не смотрел, только Анфиса полоснет иногда острым зрачком, но тут же прикроет глаза, будто устыдившись. Да один раз десятилетний Семен, ковырявший в пере-

леске какие-то сладкие корни, подошел к Ивану, который сидел под сосной, наблюдая за бродившим по угору стадом.

— Эй, дядька...— сказал Семен, сунув в карманы измазанные землей руки. — Люди будто говорят, что ты мой дядька.

— Это правда, я твой дядя,— ответил, помедлив, Иван.

— А что же ты тогда у беляков служил?

— Так вот... пришлось,— растерянно улыбнулся Иван.

— Эх, контра белопузая! — угрюмо бросил парнишка и ушел, не вынимая рук из карманов.

Но если эта стенка между братьями не таяла, то к михайловским жителям Иван потихоньку притирался. Все меньше и меньше ощущал он на себе косых, обжигающих любопытством и неприязнью взглядов, все чаще при встречах здоровались с ним мужики, а то и останавливались поболтать, угощали крупно крошенным, ядовитым на цвет и на вкус самосадом, который при затяжках свирепо трещал, брызгал искрами.

Видно, сказывалось тут и время, незаметно заставляющее людей привыкать ко всему, делал свое дело общительный характер Агаты. Живо перезнакомившись со всеми бабами, она частенько бегала на колхозные работы, то семенное зерно в амбарах помочь подсеять, то запоздалую полоску хлебов серпами сжать.

— За-ради чего ты хлобыстаешься пуще нас? — спрашивали иногда женщины.— Ведь не колхозница.

— Не убудет меня,— с улыбкой отвечала Агата.— Иван-то хоть коров пастушит, а я вовсе не разминаюсь.

Да и сам Иван время от времени помогал колхозу то сбрую починить, то сани наладить. Он умел отлично гнуть дуги и колесные ободья, делать бочки и кадушки. Председатель «Красного колоса» (так назывался михайловский колхоз) Панкрат Назаров то и дело обращался к Ивану с разными просьбами и ни разу не получал отказа.

И однажды в дождливый осенний вечер бывший заместитель командира партизанского отряда Панкрат Назаров завернул в халупку к Ивану.

— Погодка, язви ее...— Он смахнул сырость с бороды, вытащил кисет, присел у дверей. С дождевика его на некрашеный пол текла вода.— Насвинячу тут у вас.

— Ничего,— улыбнулась Агата.— Какая трудность подтереть! Раздевайся, чаю попьешь горячего.

— Не до чаев,— хмуро сказал Панкрат.— Солому с прошлогодних скирд перемолачиваем. Да что...

Шел голодный тридцать третий год, за неурожайным летом надвигалась долгая, зловещая зима.

— Вы-то как? Зиму протянете?

— Картошка есть, не помрем, может,— ответил Иван.

— Не помрем,— широко улыбнулась опять Агата, будто она твердо знала о какой-то приближающейся радости.

— Правда, с такой женой грех помирать,— сказал Панкрат. И вдруг спросил: — Слухай, Иван, в колхоз пойдешь?

Иван, строгавший в углу кадочные клепки, отложил рубанок, выпрямился. Агата птицей метнулась к мужу, будто ему угрожала какая опасность, повисла на плече.

— А примете? — спросил Иван.

— Сейчас многие с колхозу бегут,— вместо ответа проговорил председатель, растирая усталые глаза.— Грузят лохмотья на телегу и уезжают. В город подаются, на заработки. Думают, там слаще.

— На следующий год будет, будет урожай! — почти зло выкрикнула Агата.

— Должон, поди,— согласился Панкрат. И, помолчав, произнес: — Я вот думаю все — Михаила-то Лукича Кафтанова, Анниного отца, ты зачем тогда пристрелил? Так ить разумно не объяснил. Чтобы свое бандитство искупить?

— Нет, не потому.— Иван освободился тихонько от жены.

— А Яшка Алейников и тогда и сейчас говорит — потому. И брат твой Федор — тоже.

— А им откуда знать, потому или не потому?! Я им об том тоже никогда не докладывал. И на допросах никому не разъяснял. И разъяснять не буду.

— Что шумишь? — сказал Назаров, вставая.— Не будешь — дело твое. А живешь, вижу, без пакости в душе. И мужик ты нужный для хозяйства, руки золотые. Яшка Алейников говорит: «Не вздумайте в колхоз принимать, затаился он, сволочуга, сейчас хвост прижал, а урвет время — гвоздем вытянет да на горло скочит...»

— Вон что, — усмехнулся Иван тяжело и горько.— Застрял, значит, я, как телега в трясине за поскотиной.

— Была трясина, теперь нету, забутили недавно. Теперь — сухое место. — Назаров застегнул дождевик.— Оно и в жизни человеческой так бывает. Алейников этого в расчет не берет, видно... Ну, да хрен с ним. Обдумайте с Агатой все, а по весне примем вас в колхоз.

И приняли. Иван боялся, что на собрании начнут допытываться, отчего да как очутился в банде у Кафтанова, при каких обстоятельствах прикончил его. Тут может и об Демьяне Инютине, бывшем одноногом старосте, вопрос подняться: кто его-то в амбаре пришлепнул, как, за что? Об Инютине Иван вообще никогда никому не говорил, кроме Агаты,— ни партизанам тогда, ни на суде потом. Но никто ничего не спросил. Может, потому, что Панкрат Назаров, открывая собрание, напрямик сказал:

— Значит, так, Иван Силантьевич... Что ты в банде у Кафтанова был — знаем. За то отсидел, сколь Советской властью было отмерено. Но ежели какие прежние грехи утаил от суда...

— Али злодейства,— вставил мужичок Евсей Галаншин, живший тогда еще в Михайловке, и победно оглядел колхозников.

— Так вот, ты, Иван, лучше сейчас перед народом признайся. А то ежели всплывет что потом... сам понимаешь.

— Ничего я не утаивал,— сказал Иван.— Злодейств никаких не делал. Только портянки Кафтанову стирал да самогонку для него по углам шарил.

— А это не злодейство?! — закричала вдруг Лукерья Кашкарова, баба лет под пятьдесят, на лицо моложавая, все еще хранящая следы былой красоты.— У меня, паразит, четверть самогонки из избы выпер. До сих пор бутыль помню — на горлышке краешек сколотый... Ишо плеткой на меня замахнулся. И день помню: как раз на Аграфену-купальницу было в восемнадцатом году...

— Это было,— сказал невесело Иван.— Ты же уцепилась за эту несчастную бутылку, вроде как у тебя сердце вынимали. А Кафтанов, озверевший от пьянства, велел не только самогонку, а и тебя к нему приволочь.

При этих словах начавшийся было ропоток увял, настороженное любопытство разлилось по рядам колхозников.

— Ну? — не вытерпел кто-то на задней скамейке.

— Я сказал Кафтанову: «Лушка, видать, унюхала что про твои желания, в степь с вечера убегла».

— Эк ты! — вскочил Галаншин, замахал руками.— Вот энтой-то ложи и не прощает тебе Лушка!

— Лишил бабу радости...

— Доседни сожалеет...— заметался в тесной, накуренной конторе хохоток.

Лукерья повернула голову вправо, влево, налилась гневом:

— Жеребцы, язви вас! Нахальники... Об чем это я сожалею? Да я, как Иван сказал мне, что Кафтанов... на этакое зарится, при нем же, при Иване, собрала в узел рубашонки для перемены— да в лес. Иван не даст соврать. Скажи ты им, Иван Силантьич! Без перегляду с час бежала, пока сердце не зашлось.

— Это верно, побежала ты — на коне вряд ли бы угнаться,— сказал Иван, но его перебил Галаншин:

— А скажи, Иван, случаем, не на заимку по привычке она побежала, что в Огневских ключах?

— Кака заимка?! Каки ключи?! — вскочив, закричала Лукерья, но ее голос потонул в громовом хохоте.

В молодости Лукерья была девкой бойкой и на любовь щедрой. Видимо, поэтому, несмотря на красоту, замуж ее никто не брал, но ее щедростью пользовался

всякий. А михайловский богач Кафтанов, когда случались у него загулы, почти в открытую увозил Лушку на свою заимку, жил там с ней по неделям.

Знали также в деревне, что в двадцать восьмом году кто-то из деревенских доброхотов наградил Лукерью сыном. Почувствовав себя беременной, Кашкарова очень удивилась этому обстоятельству и, встречаясь с бабами, зло разглядывала свой полнеющий живот и у каждой женщины почему-то допытывалась:

— Кто же это, бабоньки, мне подсудобил? Узнать — я бы ему глазищи-то выдавила. Ну, погоди, пущай дите народится! По обличью отгадаю отца и брошу ему ребенка под порог.

Но когда родился Витька, Лукерья, сколько ни разглядывала мальчишку, так и не могла определить, на кого он похож.

...Народ смеялся до слез, до рези в глазах. Лукерья кричала, крутилась среди людей, пытаясь что-то объяснить, потом села и заплакала.

— Нахальники вы! — выкрикнула она.— Ишо скажете тут вслух, что я с кафтановским сынишкой, с Макаркой путаюсь! Знаю ить, по углам шепчетесь. Как язычищи-то от чирьев не полопаются!

Люди быстро примолкли. Всем до удивления странно было видеть плачущую Лукерью. И кроме того, очень уж дерзко и бесстыдно высыпала она перед всеми те сплетни и пересуды, которые гуляли про нее по деревне.

Имели ли под собой какую-то почву эти сплетни, сказать было трудно. Старшего сына Кафтанова, Зиновия, возглавившего после смерти отца его банду, вскоре изловил где-то Яков Алейников. По слухам, Зиновия отправили в Новониколаевск, по-теперешнему в Новосибирск, и там расстреляли. Но у Кафтанова был еще один сын — Макар. В девятнадцатом году мальчишке было лет шесть, Кафтанов прятал его где-то по таежным заимкам. И, поговаривали, не без помощи той же Лукерьи.

Где потом жил Макар, да и жив ли он вообще — было неизвестно. Но в тридцатом году летом приехал в Михайловку высокий, узкогрудый, чернявый, точно закопченная самоварная труба, парень, одетый чисто, по-городскому, в шляпе, с тросточкой. Он переночевал у Кашкаровой, а утром появился на улице, приковывая общее внимание диковинным своим видом.

— Кто же ты такая птица? — скорее других осмелился приблизиться к нему Евсей Галаншин.

— А Макар я. Макарка Кафтанов. Приехал вот на родину.

— Во-он что-о, милый! — протянул Евсей и поводил расплющенным носом.— А ежели тебя загребут? За родителя-то?

— Не-ет. Я ведь политикой не занимаюсь. Я уголовник.

— Кто-кто?! — заморгал Галаншин.

— Вор я.

— Ча... чаво? — вытянул тонкую шею Евсей и перестал моргать.

— Да ты не бойся, голуба,— усмехнулся Макар, хлопая Галаншина тросточкой по плечу.— Я только магазины граблю. Специальность у меня такая — магазины. Или, может, у тебя магазинчик есть?

Привлеченные необычным разговором, осмелев, вокруг Галаншина и Макара стали собираться мужики и бабы. Евсей хихикнул недоверчиво, обошел Макара кругом.

— Шутников и мы видывали. За мангазею-то тебя еще скореича в тюрьму упекут.

— Ну, испугали... Да и поймать еще надо... В общем, так — Лукерья Кашкарова мне мать родная. Куплю дом в Шантаре и перевезу ее туда. А пока чтоб и волос с ее головы не упал.

С тем Макар и отбыл. Через две недели пронесся слух, что в Шантаре действительно обворовали магазин и что это дело рук Макара Кафтанова. Лукерья ходила заплаканная, но ни на какие вопросы никому не отвечала.

Потом Макар еще появлялся в деревне раза два. Все теперь знали, что Кафтанов действительно уголовник, что он часто попадает за свои воровские дела в заключение, но долго не сидит, через полгода, в крайнем случае через год непостижимым образом освобождается.

Оба раза, пожив несколько дней у Лукерьи, он объявлял, что уезжает в Шантару покупать для нее дом, но сделать покупку не успевал, садился в тюрьму.

Сейчас, когда Ивана Савельева принимали в колхоз, Макара ожидали в четвертый раз, но он что-то задерживался.

Лукерья плакала, утробно всхлипывая, вытирая мокрое лицо пестрым платком. Все по-прежнему молчали. Наконец тот же Галаншин произнес:

— А что ж ты, Лушка, на языки народные в обиде? Ежели оно, как говорится, не то чтобы бревно в глазу, но и, сказать, не соломина...

Кто-то прыснул в углу смешком и зажался. Потек было, разливаясь, говорок, люди зашевелились. Но шум и говор придавил Панкрат Назаров, рыкнув на все помещение:

— Ну, будя! Разбалаганились. Об деле давайте. Ну, так что, есть какие, окромя Лукерьиных, возражения супротив Ивана?

Никаких возражений не было.

На второй или третий день после собрания влетел на легкой рессорной коляске в Михайловку Яков Алейников, осадил приплясывающего каурого жеребца возле колхозной конторы, бросил черные ремни вожжин как раз выходившему от председателя Ивану:

— Подержи!

И вбежал на крыльцо по расшатанным ступеням.

О чем Алейников говорил с Панкратом, неизвестно. Только вышли из конторы оба взъерошенные, как подравшиеся воробьи. Назаров не поглядел даже в сторону Ивана, пошел по своим делам. Алейников же, приняв вожжи, подергал рубцом на левой щеке:

— Интересненько приклеиваешься.

— Ничего я не приклеиваюсь.

— Ну! — взмахнул Алейников бровями.— Это позволь уж нам самим знать! — И, упав в коляску, укатил.

Вечером того же дня Иван встретил Панкрата у амбаров.

— Что он, Яшка? Насчет меня, должно?

— А хрен с им,— сказал Назаров.— Он насчет всякого обязан, его дело такое...

Эти слова успокоили Ивана и всполошенную наездом Алейникова Агату. Ночью она молчком взяла его руку и положила себе на живот. Иван не ощутил ничего, кроме мягкой теплоты ее тела, но обо всем догадался.

— Когда? — спросил Иван, погладил ее холодноватое плечо.

— К Октябрьским праздникам, должно, будет.

— Молодчина ты у меня. Вишь, радость, как и беда, тоже не ходит одна.

А в июне, когда начался сенокос, Ивана арестовали.

Был жаркий день, в небе звонили жаворонки. С утра колхозники начали косить луг недалеко от Громотухи. Намотавшись литовками, прилегли после обеда под кустами, дышали теплым, сладковатым духом вянущей травы. Иван глядел, как солнце выжимает влагу из скошенных валков, как дрожит над ними теплый воздух, и, улыбаясь незаметно, тихо и покойно думал об Агате, которая лежала рядом на спине, крепко скрестив расцарапанные прошлогодними дудками ноги, прикрыв лицо вылинявшим платком, думал о ребенке, которого носит она в себе. Ивану хотелось, чтобы зто была дочь.

На дороге, сползающей к лугу по угорью, гулко затарахтели дрожки. Иван только голову повернул на стук, а жена уже стояла почему-то на ногах, прикрыв ладошкой глаза, всматриваясь в дорогу. Потом испуганно притиснула руки под начинающие уже набухать груди.

— Ты чего, Агата? — поднялся Иван.

— Ой, не знаю... Заколотилось сердце отчего-то...

Дрожки подъехали, соскочил с них плотно запыленный — даже в мохнатые брови густо набилась пыль — Яков Алейников, а с ним пожилой милиционер.

— Здорово, колхознички. Бог в помощь,— сказал он повскакавшим людям и повернулся к Ивану:— Ну, поехали, значит. Как приклеился, так и отклеим.

Вскрикнула Агата, повернулась к Алейникову посеревшим лицом, загораживая мужа.

— Отойди, баба! — строго произнес Яков.

— В каталажку, что ль, Ивашку? — спросила испуганно Василиса Поскопова, та самая Василиса, которая впервые разнесла по деревне весть о непристой-

ных взаимоотношениях Федора Савельева и жены Инютина.— А за что, ежели спросить?

— И прям, товарищ-гражданин, разъяснил бы людям,— угрюмо поддержал ее пожилой, кряжистый колхозник Петрован Головлев, разгребая пальцами на обе стороны давно не стриженную бороду.

— Пос-сторонись! — кинул Алейников зычно. Но круг не разорвался. Люди молча и ожидающе поглядели на него.

— А действительно, что случилось? — проговорил, подойдя к Алейникову, двадцатитрехлетний сын председателя колхоза Максим Назаров, высокий, с таким же крепким и широким, как у отца, подбородком. Девятнадцати лет Максим ушел в армию, неделю назад приехал в отпуск к родителям, поблескивая рубиновыми лейтенантскими кубиками на петлицах гимнастерки. Нынче с утра он вместе со всеми махал литовкой и уморился, видать, после обеда сразу же заснул, уронив голову на копешку травы. Сейчас глаза его были припухшими, на щеке еще держались вмятины от травяных стеблей.

— Уголовное дело,— недовольно сказал Алейников.— А может, и политическое. Суд разберется.

— Да что такое Иван изделал? — тонким фальцетом враждебно крикнул Евсей Галаншин и оглядел колхозников, ища поддержки.

— Именно...

— Неуж людям нельзя обсказать...— посыпалось со всех сторон.

— А может... может, Иван все же утаил какие прежние грехи? — крикнул тот же Евсей Галаншин, никогда не отличавшийся постоянством.— А теперича всплыло? Панкрат предупреждал, помните?!

— Ладно, мужики,— вошел в круг Иван.— Братец Федор, должно, удружил мне. За тех двух жеребцов. Да разберутся же люди...

— Это какие такие жеребцы? — крутнулся Евсей к Алейникову.— Что по весне потерялись, что ли? Отделенческие?

— Они,— сказал Иван и вернулся к плачущей Агате.

Два отделенческих жеребца, на которых Федор разъезжал по своим заготовительным делам, потерялись дня через три или четыре после увольнения Ивана.

— Значит, колхозник теперь? — усмехнулся Федор, когда Иван принес заявление с просьбой освободить с работы.

— А тебе что, опять не нравится?

— Мне что? Приняли — колхозничай.

А потом и потерялись эти злосчастные лошади. Вечером Кирьян, как обычно, спутал их и пустил на ночь в луг (уход за этими жеребцами и был, пожалуй, единственной обязанностью Инютина). А утром взял уздечки и пошел ловить коней. Но их и след простыл.

— Та-ак-с...— сказал наутро Федор, встретив Ивана на улице.— Пока работал на отделении, пакостить не осмеливался, а теперь, значит, решился?

— На что я решился? — произнес Иван. И только после этого дошел до него зловещий смысл Федоровых слов.— Да ты... Ты что городишь?! Придумал бы поумнее что...

— Разберемся, милок,— бросил Федор и, покачивая широкой спиной, ушел.

И вот приехал Яков Алейников.

Иван долго и молча гладил вздрагивающую спину прильнувшей к нему Агаты.

— Будет, будет... Чего зря? Это ведь доказать надо. Прощай пока.— И сел в тележку.

Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.

— Постойте-ка...— И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.

В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнес несколько сот слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чем гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжелого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.

— Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? — спрашивали его иногда.

Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но, случалось, все же разжимал губы:

— Почто же? Нет.

— Так чего все молчишь-то?

— А об чем мне говорить?

И умолкал намертво снова на год, на два.

Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на бричку одной рукой, взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.

Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался по обыкновению, но один раз сказал:

— Они боятся. Какую ни попробуешь обнять — хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.

Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах.

Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошел вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.

— Так... И далеко тебя прокатить? — Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.

— До милиции,— сплюнул Молчанов на траву.

— Это можно. А в чем покаяться хочешь?

— В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Матерь прихворнула, ухи попросила,— не спеша проговорил Аркадий и умолк.

Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.

— Все? Выкидываешь тут фортели... Слазь к чертовой матери!

— Я иду, гляжу — Кирьян тех коней ловит. Инютин-то... Ночью, значит. Еще серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.

— Ну?! — раздраженно воскликнул Алейников.

— Иди ты... Что орешь? — обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.

— Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.

— Это ить чудо голимое — Аркашка Молчун беседывает! — закрутился Евсей Галаншин.— Ты давай, Аркашенька, закручивай свое ораторство... Так, поехал Кирьян. А куда?

— К Звенигоре поехал! — со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов.— Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пехом идет, уздечками в руках побрякивает.

— Куда же он коней отвел? — спросил Петрован Головлев.

— И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошел на пригорок, глянул — недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают...

Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чем рассказывает тяжелый на язык Аркадий.

Первым нарушил тишину Головлев Петрован:

— Постойте, мужики... Так оно что же получается?

— Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?

— Люди, люди! — врезалась сбоку в толпу Агата.— Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он могет на такое...

— Помолчи, Агата...

— А разобраться надо...

— Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?..

Поднялся шум, гвалт.

— Тих-хо-о!! — заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: — Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем...

Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи ее крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чем-то виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном...

Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришел под вечер, снял запыленную одежду, умылся и жадно начал хлебать окрошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку.

— Чего там с Иваном? — заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. — Разобрались?

— Разбираются.

И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.

Потом Молчанова еще несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился все сильнее и сильнее.

Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Федора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:

— Ништо, переворот ему в дыхало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.

И Федор после поездки был немногословен.

— Дал бог мне братца...— только и произнес он.

В конце августа тридцать пятого года Ивана осудили на шесть лет. Федор встретил это известие молчком, только усами нервно подергал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.

Колхозники не знали, что и думать.

— Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свел лошадей? — кинулись некоторые к Молчанову.— Разве б безвинного засудили?

— Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.

— А идите все вы к...— впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.

В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тер щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто ее лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.

— Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость,— сказал Панкрат, шумно вздыхая.— А с другого боку — зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.

Он еще выкурил одну папиросу и встал.

— А тебе так, баба, скажу: Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей серчать нечего. Отворотишься ежели от людей теперь — погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детьми — отдельно. А там и видно будет. Время — оно все разъяснит, до полной ясности...

Федор Савельев и Кирьян Инютин после этого еще немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.

После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Федору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходился, и теперь никто особой дружбы не завязывал.

Но Федор все явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Федор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.

Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза ее, в которых можно было когда-то утонуть, делались все мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но все еще хранившая девичью легкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие, горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утесы Звенигоры, каме-

нела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась ее грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.

Нередко в таком положении заставал ее Федор, но ничего не говорил. Только подергивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдергивала из головы костяную гребенку. Светло-русые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчесывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытье, принималась за домашность.

Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.

Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:

— Мама, а чего люди говорят... будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?

Федор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжелом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.

— Хватит! Каждый глазами напополам стригёт, будто и в самом деле я Ивана...

И тем же часом уехал в Шантару, через три дня вернулся с новым приемщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.

Через час нехитрые пожитки были уложены, Федор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семену:

— Трогай потихоньку.

Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.

— Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?

— В МТС пойду. На курсы. По машинной части.

— Эвон как. По машинной — это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет,— одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: — Это хорошо, что уезжаешь отсель.

— Вот как?!

Пробегавший мимо Евсей Галаншин полюбопытствовал с откровенным цинизмом:

— А как ты, Федор, без Кирьяна-то? Али все же к себе его выпишешь?

Внешне Федор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щеки.

— А это уж как мне удобнее,— усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.

Кирьян Инютин с семьей уехал из Михайловки через неделю. А еще через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие, что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Федор.

— Обои с тетрадочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают...— звонила она, захлебываясь от торопливости.

— А про Анфиску его что слыхала, нет? — любопытствовали бабенки.

— Да что...— виновато крутилась Василиса.— Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила...

Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Федора и Кирьяна.

* * *

21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.

Чумазый, задыхающийся на подъемах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощекие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запеченных в сметане грибов, жареных цыплят...

Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобожденные районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места,

но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:

— Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного...

— Работа найдется,— ответил секретарь.— Направляем тебя в распоряжение парторганов.

Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.

Вечер был теплый и тихий. Но из-за Сана все равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал — на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолеты все чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих поселках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок:

— Гроб с крышечкой скоро будет Советской власти, чтоб мне не дожить до вечера... Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке... А уж крышечку завинтим поплотнее...

Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.

— Кто это тут крышку Советской власти завинтить собирается? — спросил он, подходя к ребятам.

Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.

— А я, допустим,— усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.

— Кто такой? Как фамилия? — Отступать было поздно.

— Карточку показать или на слово поверишь? — И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец — эмблема бандеровцев.

Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.

— Что стоите? Бей гада! — заорал тот, выхватывая нож.

Антон поднял с земли обломок кирпича — больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки...

Раздумывая обо всем этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра — завод работал и по воскресеньям,— а сейчас хорошо бы побриться и поесть.

Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать еще не закрывшуюся парикмахерскую.

Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тер лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.

Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.

— Что за Саном делается, не слышно? — спросил Антон.

— Откуда же я знаю, что за Саном? — ответил парикмахер с отчетливой еврейской интонацией.— Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?

Но, кончив бритье, добавил:

— На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?

— Не знаю,— вздохнул Антон.

— Да, да...— вздохнул и парикмахер.— Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении...

Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» — микроскопические пирожные — и небольшие бутерброды — «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.

Улегшись на койку в своем номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома, Лиза? И приехал ли Юрий?» — почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.

Постепенно сон брал все-таки свое. Последнее, что он услышал,— за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал веселую львовскую песенку:

Во Львове идет капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья...

Проснулся он от страшного грохота.

Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отсветы огня — что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проем окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.

Надернув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» — подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребенок.

Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.

И только тут отчетливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»

На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» — сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь... Помочь...»

Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял — помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинались о брошенные чемоданы, о всякую рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот — все перемешивалось, превращаясь в сплошной неиссякаемый рев, еще больше усиливая панику.

Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая — куда же теперь ему идти? И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль: «А как там, во Львове? Приехал ли Юрка?»

Из какого-то проулка выкатился зеленый броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.

— Товарищи! Не создавайте паники! — разнеслось от площади.— Возможно, это просто провокация... На всякий случай — всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакопункт. Там вас ждут автомашины...

Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.

И тогда все услышали в небе надсадный прерывистый гул.

Над городом пузырились кроваво-черные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжелой, распухшей подушкой.

Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолеты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчетливо и зловеще чернели кресты...

* * *

Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскаленная зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.

Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на расшатанном, грохочущем «Ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:

— Алло, алло! Станция?.. Катя!.. Это ты, Катя?.. Что там Новосибирск?.. Не отвечает?.. А квартира секретаря обкома... Тоже молчит?.. Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.

Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.

— А-а, Яков Николаич! — промолвил он вдруг, взяв очередные листы.— Ты ко мне? Заходи.

— Зайду,— сказал Алейников, стоявший в дверях Вериной комнатки.— Сейчас зайду.

Кружилин, удивленно глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошелся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем еще не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперек этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.

Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:

— Да что за ребенок, язви его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо приедет...

Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.

Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины кусты подступали чуть не к избенке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.

Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по темным улицам и осталась ночевать.

Сквозь липкий, тяжелый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протерла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова — в тяжелой, длиннополой шинели, в фуражке, пристегнутой к подбородку глянцево-черным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.

Манькин отец — Ерофей Кузьмич — был ей неродной — трехлетней девчонкой взял ее из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоем, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.

Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.

— А за что? — спросил он.

— А там объясним, — вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом окурок на половице.— Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменил — так и не разыщем? Разыскали.

— Прощай, Маньша,— повернулся к приемной дочери Ерофей Кузьмич.— Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек — замуж иди. Ничего, изба есть...

Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.

...Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.

Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был огорожен со всех сторон плотным деревянным забором.

Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» — туго и больно колотилось в голове.

* * *

— Слушаю тебя,— сказал Кружилин, поднимая тяжелую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.

Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.

— Алло, Катя?.. Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? — опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона.— Ну, ты скажи, будто вымерли все...

— Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает,— промолвил Алейников.— Это мы все работаем, работаем...

Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.

— Ты по делу? — спросил он, не поднимая головы.

— А без дела и зайти нельзя? Друзья все же,— усмехнулся тот.

Тупое и тяжелое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.

— Друзья, говоришь?

Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.

Поликарп Матвеевич понимал необходимость и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло...

...После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарем. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.

— Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу,— не раз говорил Алейников.— Поликарп Матвеич, дозволь мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим... губошлепам из Чека его сроду не изловить.

Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.

В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека — человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своем месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого, лет тридцати пяти человека.

— Вот, как обещал... Стой прямо, стерва, перед Советской властью!

Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтанова.

После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навел в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.

— Ну, давай, Яша, помогай,— сказал он ему.— Время беспокойное настает, кулачье во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.

Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарем райкома партии.

Яков Алейников будто нюхом чуял, где и что замышляет кулачье, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.

— Трудненько, Яша? — иногда спрашивал Кружилин.— Одни брови да рубец на щеке и остались.

— Выдюжим,— отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы.— Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.

— Подозрительно,— соглашался Кружилин.— По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то...

— Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что — сообщу, посоветуюсь.

Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.

А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нем эта перемена. Попервоначалу Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устает да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся все реже и реже.

— Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? — сказал как-то Кружилин. — На курорт куда съездил бы.

— Наотдыхаемся... на том свете, ежели сейчас поводья отпустить,— мрачно ответил тот.

У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага Советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.

— Ты эти штучки брось-ка, Алейников,— потребовал Кружилин, узнав о таком методе.— Невиновных сажать — за это знаешь ли... Ты не царской охранкой командуешь...

Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потертом кожаном диване в одном из кабинетов, а днем с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т. д.

Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:

— Черт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.

— Скажем...— кивал головой оперуполномоченный.— Значит, и Федор Савельев был у вас в отряде?

— Да, был. Он командовал эскадроном. Лучший командир эскадрона был в полку.

— Так. А его брат Иван в прошлом году осужден за вредительство. Знаете?

— Да, знаю. Хотя — не верю...

— То есть как не верите? Советским чекистам не верите? — пытаясь изобразить строгость на своем безусом лице, спрашивал Тищенко.

— Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.

— Ну, а факты? Ведь было же следствие...

— Да, факты...— устало проговорил Кружилин.— Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был...

— Да, да, в банде Кафтанова...— повторил Тищенко, прошелся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог.— Тут ведь все очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Федор — лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.

— Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моем отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осужден, отсидел. Но в нем проснулся человек, он в последнее время...

— Давайте по порядку,— прервал Кружилина оперуполномоченный.— Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она... попросту шпионкой была в вашем отряде?

— Это исключено. Она порвала с отцом, с семьей. Она очень любила Федора Савельева, моего камандира эскадрона...

— И из-за любви пошла с красными? — улыбнулся Тищенко.

— Что же... Любовь — дело серьезное.

— Когда дело касается классовых идей, то любовь... Впрочем, хватит на сегодня,— сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги.— Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.

— То есть как — тут?.. Как — завтра?!

Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щелкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвертом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.

Придавив гнев и возмущение, Поликарп Матвеевич сел на диван и попытался хладнокровно сообразить: в какое же положение он попал и что, собственно, от него хотят? На арест не похоже, но и на свободу тоже. Да и за что его арестовывать? Дикость какая-то. Иван Савельев... Ну Иван... Нет, нет, не может Иван, не должен был... Тут какое-то недоразумение. А что, если... Ведь в самом деле, вели же следствие. Но Федор Савельев, Анна, жена его?.. Нет, нет, это исключено, чушь какая-то. А что, если не чушь? В последнее время раскрыта масса вредительских групп по всей стране. Что, если я... если меня вокруг пальца обводили все — и Федор, и Анна эта?.. Да нет же, нет, какая она шпионка?

Все перепуталось, все перемешалось в голове Кружилина. Слишком неожиданно все это обрушилось на него, слишком в неожиданном положении он оказался.

Ночь он провел без сна.

Утром явился с папкой под мышкой Тищенко.

— Я прошу... Я требую: сообщите обо всем секретарю крайкома партии! — почти закричал Кружилин.

— О чем? — спокойно переспросил безусый чекист.

— О том, что вы меня здесь держите!

— Доложим,— отозвался тот, сдувая с рукава гимнастерки соринку.— Если надо будет — доложим.

Он сказал это таким равнодушным, бесцветным голосом, что Поликарп Матвеевич взорвался яростью:

— То есть как — если будет надо?! Что вы за комедию устраиваете?!

— Вы не волнуйтесь, Поликарп Матвеевич. Если не виноваты, вам нечего волноваться.

— Да в чем, черт побери, вы меня обвиняете?!

— Собственно, ни в чем серьезном. Нам надо было уточнить кое-что об Иване Савельеве, о Федоре, о его жене Анне.

— Кроме того, что сказал, я ничего о них добавить не могу. Вам достаточно? Я могу быть свободен?

— Конечно, мы вас отпустим,— усмехнулся Тищенко.

— Вы меня еще не посадили, чтоб отпускать! И не посадите!

— Успокойтесь, Поликарп Матвеевич,— опять сказал Тищенко.— Хорошо, о братьях Савельевых поговорили. А сейчас...

— А сейчас я требую прекратить балаган! Немедленно! Ведите меня к вашему начальнику, в конце концов!

— Он, к сожалению, в командировке.

— Н-ну... ладно,— почти шепотом, в изнеможении, произнес Кружилин.— За всю эту комедию вы ответите.

— Хорошо, ответим.— Тищенко снова сдул какую-то пылинку с рукава новенькой, тщательно отглаженной гимнастерки.— А сейчас объясните мне, пожалуйста,— и в его голосе зазвучал, правда еще не очень натренированно, металлический оттенок,— объясните, почему, на каком основании вы органы внутренних дел называете царской охранкой?

Кружилин секунду-другую тупо смотрел на этого молодого человека в форме, который напоминал чистенького, новенького оловянного солдатика, только что вынутого из коробки.

— Слушай, сынок...— сказал он как-то печально.

— Не рано ли в папаши записываетесь?

— Мне сорок шесть, сорок седьмой пошел. Так вот, сынок... Ты еще и под стол-то пешком не мог ходить, а я уже в Австрии воевал. Меня газами чуть не задушили, потом, вплоть до двадцатого, я партизанил... Я в партии большевиков с тысяча девятьсот седьмого года.

— Я, я, я... удивительно вы скромный человек.

И тут Поликарп Матвеевич не выдержал. Побледнев, он трахнул кулаком по столу.

— Мальчишка! Да я вот этими руками, насколько хватало сил, дрался за Советскую власть. Поэтому позволь уж мне не скромничать. А ты хочешь мне своими гнилыми нитками пришить антисоветчину? Во враги этой власти записать? Не выйдет!

— Почему же? — Тищенко пожал плечами.— Если надо, может и получиться.

Сказал и поглядел на Кружилина: какой эффект произведет это словечко «надо»? Но, к его удивлению, Кружилин не спеша повернулся, пошел к дивану, покачивая плечами, сел, спокойно закурил.

— Это что же, таким вот способом вы и другим дела шьете?

— А вам не кажется, что это клевета на сталинских чекистов? За такую клевету можно о-очень долго рассчитываться.

— А знаете что?— промолвил Кружилин.— Подите-ка вы к черту.

— То есть как? — опешил Тищенко, привстал. И только потом, задыхаясь, прокричал: — Как вы... смеете?! Встать!

— А так и смею. Я больше не желаю с тобой разговаривать.— И отвернулся к стене.

Оперуполномоченный нервно сгреб со стола бумаги, вжикая новыми сапогами, вылетел из кабинета.

Остаток дня Поликарпа Матвеевича никто не беспокоил. Хорошо хоть, что в углу, на тумбочке, стоял графин с водой.

Никто не беспокоил его и на третий день, до обеда. А часа в два дверь распахнулась, вошел, почти вбежал, Яков Алейников.

— Поликарп Матвеевич! Ну, дельцы они тоже! Случайно узнаю в управлении, что они тут тебя... «Вы что, говорю, с ума сошли?! Как вы могли даже подумать что о Кружилине? А мы, говорю, секретаря райкома потеряли...» Поехали, я тоже домой.

— Неумно, Алейников,— тихо и раздельно проговорил Кружилин.

Яков умолк на полуслове, вскинул и опустил брови. По его туго обтянутым скулам прокатились и исчезли желваки, натянув кожу, кажется, еще сильнее, до предела.

— Поликарп Матвеевич,— произнес он глуховато, глядя немигающими глазами в глаза Кружилина,— мы преданных партии и Советской власти людей не трогаем. Мы их, наоборот, оберегаем. Инцидент с вами объясняется просто,— перешел он вдруг на официальное «вы».— Как-то здесь, в управлении, я шутя рассказал, как вы меня критиковали за мой метод работы... что, мол, я не царской охранкой командую... Они, понимаешь, запомнили эти слова.

— Не ври, Алейников! Я тебе не мальчишка!

— Поликарп Матвеевич!

— Что — Поликарп Матвеевич?! Ты творишь в районе беззаконие!

— Например? — сощурил глаза Алейников. На щеках у него проступили и начали расползаться белые пятна.

— А тот же Иван Савельев. Он не виновен. Например, колхозник из Михайловки Аркадий Молчанов. За что вы его-то посадили вслед за Савельевым?

Кружилин задыхался от ярости, сжимал и разжимал кулаки. Крупное его тело вздрагивало, он хотел унять эту дрожь и не мог.

— Дальше? — усмехнулся одними губами Алейников.

— А дальше — так не будет! Мы хотели на бюро райкома заслушать работу райНКВД, кое в чем разобраться... Тебя, видимо, рекомендовали бы снять с работы за нарушение социалистической законности. А ты меня решил для острастки сюда! Не выйдет, братец! Бюро состоится! Мы не позволим выйти... тебе из-под контроля партии...

Алейников молча постоял немного, прошел к тумбочке, налил стакан воды и выпил. Потом сказал спокойно:

— Есть, видимо, вещи, которых вы не понимаете, Поликарп Матвеевич. Никакого бюро не будет.

— Это почему же? По каким соображениям?

— По политическим. Вот вам пропуск на выход...

Не помня себя, Кружилин выбежал на улицу, крупно зашагал в крайком партии.

Секретарь крайкома Субботин, стареющий угловатый человек, щеки которого изрезали глубокие морщины, принял его не сразу, но зато выслушал весь рассказ Кружилина спокойно, внимательно, не перебивая. И только когда Поликарп Матвеевич умолк, проговорил:

— Да, мне звонили. Все это очень неприятно.

— Значит... Значит, я, Иван Михайлович, действительно чего-то не понимаю, как говорил Алейников?

— Так выходит.

— Но — чего? Чего?

— Чего? — невесело переспросил секретарь крайкома.— Многого. Политической обстановки. Пульса времени.

— Что? — Кружилин поднял глаза на секретаря крайкома, оглядел его, будто видел впервые.

Поликарп Матвеевич давно, кажется с ноября 1919 года, знал этого человека, одного из руководителей новониколаевских подпольщиков, потом комиссара одного из полков легендарной Пятой Красной армии. Ну да, с ноября, потому что именно в последних числах ноября 1919 года партизанский отряд Кружилина совместно с этим полком выбили белогвардейцев из Шантары. Потом полк ушел дальше, на Новониколаевск, а этот человек крепко тряхнул ему на прощанье руку и сказал: «Давай, Поликарп, устраивай тут Советскую власть. Ты пока отвоевался».

Затем он встретился с ним, кажется, года через два или три, на Барнаульской партийной конференции — в те годы Шантарская волость относилась к Барнаульскому уезду. «Ну вот, и я отвоевался,— сказал этот человек, узнав Кружилина, и опять крепко тряхнул ему руку.— Сейчас, видно, придется потрудиться в укоме партии. Поработаем вместе».

И они работали, часто встречаясь, до самого тридцатого года, когда Шантара отошла ко вновь организованному Западно-Сибирскому краю. На несколько лет Кружилин потерял из виду этого человека, но полтора года назад снова встретились в Западно-Сибирском крайкоме. «А-а, Поликарп Матвеевич! — воскликнул тот радостно и энергично потряс руку. — Видишь, гора с горой не сходится... Опять свела нас судьба! Ну, заходи, потолкуем, что и как у вас в Шантаре...»

Работать с Иваном Михайловичем было легко и приятно. Неизменно мягкий и приветливый, он никогда не горячился, не суетился. Все это как-то не гармонировало с его угловатой, немного нескладной внешностью, но все равно от него веяло покоряющей силой и правотой. Сперва Кружилин не мог разобраться, в чем тут дело, в чем такая покоряющая сила этого человека. А потом понял — в глазах, во взгляде. Разговаривая, Иван Михайлович всегда смотрел на собеседника серыми

глазами чуть грустновато, почти не мигая, и казалось, что его взгляд, проникая в душу, видит то, что другим никогда не разглядеть. И странно, что это не оскорбляло и не пугало собеседника,— во всяком случае, он, Кружилин, никогда не испытывал под взглядом секретаря крайкома таких чувств,— это просто лишало возможности что-то утаить, заставляло выкладывать все, и плохое и хорошее, что есть на душе. И заставляло выкладывать именно потому, что взгляд Ивана Михайловича странным, необъяснимым образом заставлял поверить — перед тобой человек, который все поймет, который не осудит за непонимание каких-то важных вещей, поможет понять то, чего еще не понимаешь.

Именно таким взглядом и смотрел сейчас Субботин на Кружилина.

В просторном, чистом кабинете с потертым ковром на полу долго стояла тишина. Только круглый медный маятник настенных часов лениво и отчетливо ронял на деревянный пол секунды да, колеблемая ветерком, шелестела на окне голубоватая занавеска.

— Но... если я не понимаю таких вещей...— проговорил Кружилин, почему-то мучительно прислушиваясь к стуку маятника,— то как же я дальше... могу работать секретарем райкома?

— Вот и я об этом думаю,— глухо проговорил Иван Михайлович. Кружилин вздрогнул, медленно поднял голову. Секретарь вздохнул, поднялся.— Ладно, Поликарп, езжай домой.

Из крайкома Кружилин вышел со звоном в голове, с каким-то необычным чувством — его, Кружилина, кто-то долго и старательно жевал, но глотать почему-то не стал, а, смятого и изжеванного, выплюнул в дорожную пыль.

На вокзале Кружилин подошел к ободранной стойке, выпил залпом стакан теплой водки и, не чувствуя ничего, кроме тошноты и отвращения, сел в поезд.

«Как же так? — думал он всю дорогу под стук колес.— Ну ладно, пусть не понимаю... Почему же он, Иван Михайлович, не объяснил мне, чего я не понимаю... Ведь он может объяснить...»

Вернувшись в район, Кружилин остервенело взялся за дела, день и ночь мотался по селам и деревням. В разгаре был сенокос. Поликарп Матвеевич иногда сбрасывал гимнастерку, брал вилы, становился возле стога и, обливаясь пóтом, целыми днями метал тяжелые, пахучие пласты.

Однажды он вот так же проработал весь день в михайловском колхозе. Стога ставили на лугу возле Громотухи. Вечером Кружилин выкупался в прохладной реке, сел на каменную, уже нахолодавшую плиту, стал слушать, как ворчит Громотуха на перекате. Сзади простучали дрожки, слышно было, как они остановились, как кто-то подошел.

— Ну что, Матвеич, наработался? — По голосу Кружилин узнал михайловского председателя Панкрата Назарова.

— В охотку оно хорошо ведь, Панкрат. Кровь разгоняет.

— Хорошо,— согласился его бывший заместитель по партизанскому отряду, присел рядом, загреб в кулак свой широкий подбородок.— Только охота порой пуще неволи бывает.

Кружилин покосился на Панкрата, торчащего в полусумраке каменной глыбой, но ничего не сказал.

— А ведь по этому броду мы тогда перебирались, как от Зубова-то убегали. Помнишь, поди?

— Как же, — откликнулся Кружилин.— По этому.

Потом долго молчали, думая каждый о своем.

— Ну, а что там про Ваньку Савельева слыхать?

— Не знаю. Что услышишь?

— Ну да, ну да,— дважды повторил Панкрат.— А ить невиновный все же он. За напраслину мыкается.— И, наверное, потому, что Кружилин никак не отозвался на эти слова, спросил: — Как же это? Что ж ты-то? Ведь секретарь...

Что было ответить Кружилину? Долго он молчал.

— Объяснить тебе — так и не поверишь... что и секретарь райкома порой бессилен что-либо сделать.

Шумела река, на западе мутнели последние клочки облаков, будто их, как комья снега, съедала, разливаясь по всему небу, черная вода. Ночь обещала быть глухой, непроницаемой и — почему-то казалось — бесконечно долгой.

— Да-а,— вздохнул Назаров, полез за кисетом.— Живешь подольше — узнаешь побольше. Это так... Брательник это его засадил, Федька. А вот— почто? Зачем? Ты-то как думаешь?

— Что же я, Панкрат? Не знаю,— признался Кружилин. И, уже думая не столько о Федоре Савельеве, сколько об Алейникове, прибавил: — Громотуха вот летом шумит, а зимой молчит. Это понятно. А что с людьми происходит, трудно порой разобраться. Видно, хорошо ты сказал: чтобы узнать побольше, надо пожить подольше.

Они вместе встали, дошли до Панкратова ходка.

— Ну, прощай, Панкрат... Пойду запрягать своего Карьку.

— Про Агату я хотел еще сказать... Бригадиром ее, думка есть, поставить.

— Бригадиром? Мужчин, что ли, нет в колхозе?

— Куда они делись? Да иная баба дюжины мужиков стоит.

Назаров ждал, что ответит Кружилин.

— Не надо ставить,— негромко уронил тот в темноту.

Председатель вздохнул.

— А ежели на молочную ферму ее?

— Не надо и на ферму. Ничего не надо, Панкрат, пока. Пусть так...

— Ну да... Видать, твоя правда, так оно пока лучше будет.

После происшествия в Новосибирске, после разговора с секретарем крайкома Кружилин все же не оставил намерения заслушать и обсудить на бюро работу райНКВД. Но в первые дни после всех этих передряг никак не мог собраться с мыслями. Поездки по району немного успокоили его. Вернувшись в Шантару, он дал работникам райкома указание готовить материалы на бюро.

На другой же день утром позвонил Алейников.

— Слушай, тут твои работники пришли. Требуют какие-то материалы.

— Это не мои работники, а сотрудники райкома партии.

— Так вот...— Алейников секунду-другую помедлил.— Никаких материалов я им не дам.

— В таком случае что же, будем разбирать на бюро райкома персональное дело коммуниста Алейникова.

Трубка опять помолчала несколько секунд. Поликарп Матвеевич слышал только, как редко и тяжело дышал на другом конце провода Алейников.

— А я, Поликарп Матвеевич, очень боюсь...— послышался наконец ровный, негромкий, какой-то страшный своей медлительностью и отчетливостью голос Алейникова.— Я очень боюсь, как бы не пришлось нам разбирать на бюро персональное дело другого коммуниста... коммуниста Кружилина. А этого мне очень бы не хотелось...— И Алейников положил трубку.

Поликарп Матвеевич в ярости заходил по кабинету. Чуть успокоившись, он позвонил Алейникову. Но бесстрастный женский голос ответил, что Яков Николаевич уехал по делам в район и вернется не скоро.

— А когда именно?

— Не знаю...

Кружилин принялся звонить в крайком. Но Ивана Михайловича не оказалось на месте. Не было его и на второй и на третий день. А на четвертый секретарь крайкома позвонил сам.

Поздоровавшись, Субботин вдруг начал расспрашивать о здоровье, о житье-бытье Кружилина, что сразу же насторожило Поликарпа Матвеевича.

— В чем дело, Иван Михайлович? Говорите сразу.

— А дело в следующем, Поликарп... У крайкома есть мнение перебросить тебя в Ойротию. Там слабоваты национальные кадры, помогать надо...

— Так... Понятно...— промолвил Кружилин.

— Что «понятно»? — голос секретаря крайкома посуровел.— Ты отбрось-ка задние мысли. Дело партийное.

— Куда же конкретно хотите меня? В какой аймак? Так, кажется, районы в Ойротии называются?

— Направишься в распоряжение Ойрот-Туринского обкома. Они там лучше решат, как тебя использовать...

...В Ойротской области Кружилин проработал до начала 1941 года на должности заместителя председателя райисполкома одного из самых глухих районов. Он

совершенно потерял из виду Ивана Михайловича и Алейникова, потому что Ойротия вошла в состав организованного в том году Алтайского края.

Поликарп Матвеевич уже смирился со своей участью, уже решил, что никогда не встретится больше ни с тем, ни с другим. Но в январе нынешнего года его вдруг вызвали в Барнаул и сообщили, что, по просьбе Новосибирского обкома партии, Алтайский крайком нашел возможным освободить его в ближайшее время от работы и направить в распоряжение Новосибирска.

«Это — Иван Михайлович!» — почему-то сразу же подумал Кружилин.

...А еще через полмесяца его опять избрали секретарем Шантарского райкома партии.

— Постой, а Алейников все там же работает ведь? — спросил Кружилин у Ивана Михайловича, перед тем как ехать на районную партконференцию.

— Все там же.

— Но ведь... насколько я понимаю, именно из-за Алейникова...

— Ну, время идет,— перебил Иван Михайлович. И было видно, что секретарь обкома не желает об этом разговаривать.— Я думаю, оба поумнели немного, теперь сработаетесь.

Поликарп Матвеевич и понимал и не понимал, о чем говорит секретарь обкома. Времени действительно прошло немало — трудного, лихого. Громкие судебные процессы над участниками троцкистско-бухаринского блока в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах заставили Кружилина на многое смотреть по-другому. В том числе и на то, что делал в районе Алейников. Что ж, видимо, враги Советской власти к концу второго десятка лет ее существования действительно по-настоящему подняли голову. Этому хочешь — верь, хочешь — не верь, а Киров был убит, один за другим пали от их рук Менжинский, Куйбышев, Горький, ходили слухи о покушении на Молотова, на самого Сталина. Нередко взлетали на воздух заводы, то и дело чекисты раскрывали заговоры, обезвреживали диверсионные группы. Что ж, видимо, были в чем-то виновны и Иван Савельев, и тот незаметный и тихий колхозник по фамилии Молчанов, которых арестовал Алейников? Может, действительно Савельев продал цыганам тех двух несчастных жеребцов, а Молчанов решил его выгородить? Одни убивают руководителей партии и государства, другие вредят Советской власти иным способом — кто как может. Но ведь и Панкрат Назаров и другие михайловские колхозники оправдывают Савельева, не верят в его вину. Значит, и они вредители?

Разобраться во всем этом до конца, докопаться до истины было невозможно. И от этого кругом шла голова.

Но самое непонятное, а потому самое страшное для Кружилина было даже не в этом. А в том, что Яков Алейников тогда, еще в середине тридцать шестого, не позволил райкому разобраться в работе районных чекистов, пресек первую же попытку райкома в этом направлении.

Эти мысли Поликарп Матвеевич носил в себе тяжким грузом, не с кем было посоветоваться, некому было их высказать.

После отъезда Кружилина в Ойротию первым секретарем Шантарского райкома партии стал бывший работник Новосибирского обкома, некто Полипов Петр Петрович — человек грузный, приземистый и молчаливый. Все в нем было какое-то широкое — широкие плечи, широкие скулы, широкий лоб. Даже нос был с широкими, как крылья, ноздрями. Кружилина он встретил внешне бесстрастно, только вскинул набрякшие веки, секунду-другую оглядывал его большими холодными глазами. «Пьет, что ли?» — мелькнуло у Кружилина.

И Яков Алейников встретил Кружилина молчаливо, сдержанно, не выказал ни радости, ни раздражения. Он очень изменился за эти несколько лет, сильно постарел, волосы, все так же гладко зачесанные назад, приметно поредели, на макушке явственно обозначалась будущая плешь. Поредели даже, кажется, его лохматые брови, косой рубец на щеке сделался каким-то багрово-синим. «Что за черт, и этот пьет, что ли?» — опять подумал Кружилин.

Да, изменился Яков Алейников, и вообще многое изменилось в районе. Все районные организации возглавляли новые, совершенно незнакомые люди. Кружилин знал, что некоторые из тех, с которыми он работал до отъезда в Ойротию, были арестованы. Арестован председатель райпотребсоюза Василий Засухин, бессменный начпрод в бывшем партизанском отряде. Когда отряд бывал в окружении, ког-

да казалось, всех ждет неминуемая голодная смерть, Засухин ухитрялся непостижимым образом доставать где-то продовольствие — то с полдюжины отощавших баранов пригонят или притащат на плечах его люди, то привезут несколько кулей муки. Арестован заведующий райфинотделом Данило Кошкин, которого в отряде звали в шутку Данило-громило. Обычно тихий, неприметный, в бою он преображался, глаза лихорадочно загорались, Данило бросался в самые опасные места. По этой причине он и получил свое прозвище. Арестован и председатель райисполкома Корней Баулин, бывший начальник штаба партизанского отряда. За что, какова их судьба — спрашивать было нельзя, да и бесполезно. И он, Кружилин, этого никогда не узнает, если Алейников, задумчиво и уныло как-то сидящий сейчас на подоконнике, сам не расскажет или хотя бы не намекнет об этом...

В кабинете стояла мертвая тишина. За окном, куда глядел Алейников, истекал жарой самый длинный день в году. Сваренные зноем листья молодых топольков, растущих в палисаднике, висели черными лоскутьями. Поверх топольков в мутном и душном небе громоздились тяжелые иссиня-белые комья облаков, грозя с грохотом обвалиться на землю.

— Гроза будет,— сказал Алейников.

— Яков Николаевич, мне надо подготовиться к выступлению на партактиве, — промолвил Кружилин. — Если у тебя нету ко мне срочных дел...

— Срочных...— усмехнулся Алейников.— У человека все дела срочные, поскольку жизнь отмерена ему от звонка до звонка.

Как-то необычно звучали эти слова в устах Алейникова.

— Сегодня Иван Савельев из тюрьмы вернулся,— вдруг сказал Алейников.— В эту минуту к дому, наверное, подходит.

— Ну... и что же?

— Ничего... Отсидел — пусть живет.— Помолчав, он медленно повернул голову к Кружилину: — Чего ж не упрекаешь — зазря, мол, сидел, напрасно страдал?

Кружилин, прищурив глаза, в упор смотрел на Алейникова.

— Ты, Яков, что? Опять провоцируешь?

Алейников вздрогнул почему-то, точно его ударили, слез с подоконника, сел на стул возле стола Кружилина.

— Я думал — не вспомнишь. Не надо, Поликарп. Сложно все...

— Что — все?

— А все. И то, что Корней Баулин, Кошкин, Засухин арестованы, а ты снова здесь, снова секретарем райкома...

Алейников говорил, закрыв лицо руками. А Кружилин все больше и больше изумлялся.

— Тогда, в тридцать шестом, если бы ты не уехал, я бы тебя... наверное... Этот секретарь обкома... или, по-тогдашнему, крайкома, тебя уберег, отправил в глухой далекий угол... А тут Ойротия к Барнаулу отошла! Да, он, этот Субботин, умница...

— Но... погоди-ка, Яков,— сказал Кружилин, отодвигая лежавшие перед ним бумаги в сторону.— Если так, давай по порядку, Яков...

— Не надо. Ничего не надо. Ни по порядку, никак,— мрачно произнес Алейников, вставая.

Вошла Вера с последними отпечатанными листками его выступления, положила их на стол.

— Я сегодня больше не понадоблюсь?

— Нет. Иди отдыхай.

— Как тебе с Полиповым работается? — вдруг спросил Алейников, когда девушка вышла. После приезда Кружилина Полипов был избран председателем райисполкома.

— Как работается? — пожал плечами Кружилин. — Трудно за три-четыре месяца какие-то выводы делать. Сперва показалось — он вроде обижается, что на советскую работу перевели. Но, кажется, он просто по природе молчалив.

— Ну да,— неопределенно уронил Алейников.— Ладно, я пойду.— И двинулся к двери. Но, толкнув ее, остановился, потер пальцами висок.— Я, собственно, что-то ведь хотел спросить у тебя... Да, насчет этой девушки... как ее?

— Вера Инютина?

— Да, да... Как она печатает? Хорошая машинистка?

— Хорошая.

— Не уступишь ее мне? Мне, понимаешь, хорошая машинистка нужна...

— Бери, что же, если подходит. Если она согласится.

— А впрочем, ладно. Найду где-нибудь другую,— сказал вдруг Алейников.— До свидания.

Алейников ушел, а Поликарп Матвеевич долго еще смотрел на дверь, пытаясь собрать свои мысли. С Алейниковым что-то вроде опять происходит. Но что?

Кружилин знал, что в личной жизни у Якова произошла трагедия — в тридцать шестом году погиб его сын. Купаясь в Громотухе, он вместе с другими ребятишками взобрался на паром. Когда паром был на середине реки, ребятишки с визгом попрыгали в воду и поплыли к берегу. Прыгнул и сын Алейникова, но мальчик даже не скрылся под водой, тело закачалось на поверхности тяжелым поплавком, густо окрасив воду кровью.

Весной, в большую воду, по Громотухе сплавляют много леса. Особенно смолистые, тяжелые, как камень, бревна нередко тонут. Однако течение все-таки волочит потихоньку вниз топляки; цепляясь за коряги и камни, они медленно ворочаются под водой. Нередко случается, что тяжелые бревна легко, как бумагу, пропарывают днища паромных карбузов.

Об такой топляк и ударился головой сын Алейникова.

А через полгода от Якова ушла почему-то жена. Кружилин знал ее плохо. Это была женщина высокая, красивая, гордая, но, кажется, добрая и умная. При редких встречах она всегда здоровалась первая, приветливо улыбалась, но проходила мимо торопливо, высоко вскинув маленькую головку с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Звали ее Галина Федосеевна, она была врач, работала в районной больнице. Там же работала и жена Кружилина. Она рассказывала, что Галина Федосеевна хороший врач, но в больнице ее не любили и боялись. Видимо, из-за мужа.

Яков привез ее из Новосибирска зимой тридцать четвертого или в начале тридцать пятого года. До Алейникова она была уже замужем, в Шантару приехала с восьмилетним мальчиком. И Яков, кажется, любил неродного сына. Своих детей у него не было...

Поликарп Матвеевич расхаживал по кабинету из угла в угол, ворошил седые волосы, раздумывая об Алейникове, о Субботине, который сегодня открылся вдруг ему в каком-то новом свете. Да, действительно, Иван Михайлович, кажется, спас его от ареста, отправив в глухой далекий район. Он, Кружилин, не щадя жизни, не думая о своей жизни, дрался за Советскую власть, потому что это народная власть. Потом он все силы и весь ум, какой у него был, отдавал тому, чтобы укрепить эту власть. Но оказалось, что его, даже его, вдруг от кого-то и зачем-то надо спасать, оберегать... Если так, если Субботин все понимал еще тогда, в 1936 году, почему он искренне и прямо, как коммунист коммунисту, не сказал, что же происходит в стране? Тогда неизбежно встал бы конкретный вопрос — почему коммуниста Кружилина надо спасать от коммуниста Алейникова? Ну что же, и встал бы, и на него должен был бы ответить, если мог (а кажется — мог!), секретарь крайкома партии. Должен был, обязан был — по занимаемой должности, по возрасту, по партийному стажу. Но не сказал, не ответил. Почему?

Долго еще Кружилин ходил по пустому кабинету. Он не заметил, как потемнело. Очнулся, когда над крышей оглушительно лопнул гром и мелкими осколками скатился куда-то в сторону Звенигоры.

«Мысли — мыслями, вопросы — вопросами, а кто все же из обкома к нам на актив приедет?» — подумал он и снова закрутил телефон.

— Алло, Катя? Ну что же, дочка, город?

Новосибирск по-прежнему молчал.

* * *

Выскочив из райкома, Вера Инютина глянула на заваленное тяжелыми облаками небо и быстро пошла за деревню, к громотухинской протоке.

Едва миновала опоры электропередачи — ударил первый раскат грома. Сзади, над Шантарой, уже моталось рваное пепельно-серое полотнище дождя. Сняв туфли, она побежала. Но стена дождя была все ближе. И вот первые редкие кап-

ли, как пули, тяжело и глухо ввинтились вокруг нее в дорожную пыль, дробью хлестанули по спине, по шее.

— Э-эй, рыбаки, где-е вы?! — закричала она, оглядывая пустынный берег Громотухи.

Из-под яра выскочил Семен, замахал руками. Ударила ослепительно молния, растеклась сотней изломанных ручейков по всему небу и потухла. Стало темно, и в этой темноте тихонько почему-то гугукнул гром, и тут же с шумом, с ревом обрушился ливень.

Семен что-то кричал, карабкаясь на яр. Он подбежал, грубо схватил ее, промокшую до нитки, толкнул вниз по скользкому уже обрыву, заволок под затравеневший земляной козырек.

— Под грозой, в голой степи?!

— Это верно, расколола бы молния головешку-то надребезги,— сказал Колька и хихикнул.

— Поболтай у меня! — прикрикнула Вера на брата, строго оглядела безмолвно стоявших у земляной стены Димку и Андрейку, обдернув платье, туго облепившее ноги, тоже стала к стенке, касаясь плечом Семена.

Река молочно пенилась под дождевыми струями.

Так они стояли долго. Вера чувствовала сквозь мокрое платье горячее тело Семена, голова у нее чуть кружилась.

Наконец дождь кончился. Димка, Андрей и Колька тотчас побежали к воде и замахали удилищами.

Продавив лучами рыхлые, обессилевшие комья облаков, расшвыряв их в стороны, показалось солнце. Громотуха снова засверкала и заискрилась. Речной галечник, быстро просыхая, дымился по всему берегу.

— Удочку тебе смастерить, что ли? — спросил Семен у Веры.— Леска у меня запасная есть.— И вдруг обнял ее, притянул к себе.

— Еще чего! Ребятишки-то вон...— сердито воскликнула она и пошла по берегу прочь, вверх по течению.

— Вера!

Она не откликнулась, ступила вдруг в воду и побрела через протоку на остров. Глубина в том месте была небольшая, вода доходила ей всего до пояса. Но она шла, почему-то высоко над головой подняв туфли.

Семен сел на теплые камни, закурил, посматривая на Веру. Она перебрела на остров, вышла на песчаную косу, сняла и выжала платье, развесила его на ветках кустарника и легла на песок. Смуглое, загорелое тело ее почти сливалось с рыжим песком, было незаметно.

Семен не мог понять, любит он Веру или нет. Они всю жизнь прожили рядом, на виду друг у друга, учились в одном классе. В детстве Семен часто поколачивал ее, потому что Верка всегда совала свой конопатый нос куда не нужно, всегда выведывала их мальчишечьи секреты. Побои она переносила молча, никогда не жаловалась. Это вызывало у Семена уважение к ней, ему было после драк всегда стыдно. Верка, видимо, чувствовала это, смело подходила, стараясь заглянуть в глаза, говорила:

— Ну что ты, не надо. Ты думаешь, я такая, да? А я — не такая.

А вот это Семену уже не нравилось. И то, что она понимает его состояние и что уверяет, будто она какая-то не такая. «Что у нее гордости, что ли, нету?»— думал он. И еще он думал, что она, наверное, хитрая.

Когда у Веры начали вспухать бугорки грудей, Семену было почему-то стыдно, он избегал встречаться с ее круглыми, как воробьиные яйца, глазами. И опять она все понимала. Поймав на себе его случайный взгляд, она, сама до ушей наливаясь краской, кричала:

— Чего глаза пялишь? Бесстыжий!

«Хитрая»,— решал Семен, хотя, как и прежде, не понимал, в чем ее хитрость, да и есть ли она в ней вообще.

Года через два Вера превратилась в хрупкую, красивую девушку. Ноги ее стали стройными, крепкими, тонкие, всегда бесцветные губы припухли, зарозовели, круглые глаза удлинились, словно прорезались в стороны, и уже не походили на воробьиные яйца. От всего ее прежнего облика остались только веснушки вокруг носа, но и их стало меньше.

— А знаешь, Верка, если бы веснушки совсем исчезли, мне было бы жалко,— однажды неожиданно для самого себя сказал Семен. Была весна, он и Вера оканчивали десятилетку, через три дня начинались экзамены. Весь их десятый класс решил устроить коллективный поход за Громотуху, в заливные луга, за цветами, чтобы украсить классы, где будут проходить экзамены.

— Чего? — обернулась Вера, набравшая уже большой букет. И лучисто улыбнулась.— Вот чудак...

Ее подбородок был измазан цветочной пыльцой.

Когда переправлялись на пароме в село, Семен стоял у перил, смотрел на мутную, еще не успевшую посветлеть воду и видел там, в этой воде, Верины лучистые глаза и ее подбородок, измазанный желтой пыльцой.

— Слушай, Сем,— услышал он ее шепот.— Давай удерем сегодня в кино?

— А экзамены? Готовиться надо же...

— Подумаешь... Сдадим,— все так же заговорщически прошептала девушка.

Семен еще никогда не ходил в кино с девчонками. В клуб он вошел как в пыточную камеру, ему казалось, что все с удивлением и осуждением смотрят на него.

— Вот чудак,— опять, как днем, сказала Вера, толкнула его незаметно кулаком в бок.— Да ты чего? Подумаешь...

Обратно они шли молча. За Шантарой где-то розовела еще узенькая полоска неба, но быстро таяла, гасла, как догорающая спичка. Над головой мигали, покачиваясь, белые крупные хлопья звезд.

Они дошли до дома и остановились под плетнем. Надо было прощаться, но Семен не знал, как это сделать.

— Я думала, ты умрешь в клубе со страха,— сказала Вера.

Это Семена разозлило.

— Я? Я? — Он схватил ее за плечо. Она сразу подалась, прижалась к нему. Чувствуя коленями ее мягкие ноги, он ткнулся губами в ее щеку.

«Вот и все... А дальше что?» — застучало у него в голове. Он стоял, не отпуская Веру, и она не собиралась освобождаться.

Он не раз слышал рассказы деревенских парней, как они смело и решительно обращаются с девками, и решил, что теперь, видимо, надо взять Веру за грудь. Он это и сделал, ощутив, как часто и сильно колотится под ладонью ее сердце.

— Ну-у, а это, Семушка, еще рано,— спокойно произнесла она, сняла его руку. И то, что она сказала это ровным, хозяйским каким-то голосом и что не откинула его руку, а просто взяла и сняла ее тихонько, обидело, оскорбило Семена, чем-то замарало вроде.— А ты не такой уж и стыдливый,— промолвила она, прислонясь к плетню.— Правда, когда темно.— И хохотнула.— Пойдем походим маленько?

Не дожидаясь согласия, взяла его за руку, потянула.

Неприятное чувство к Вере быстро прошло, ему снова захотелось обнять ее. Но он боялся спугнуть в себе состояние покоя и тихой радости, вдруг охвативших его. И ему казалось, что Вера испытывает то же самое.

— Что ты собираешься делать после школы-то? — спросила она.

— Не знаю. В армию ведь скоро. А пока отец советует в МТС податься. На курсы трактористов.

— А что? Неплохо. Тракторист в деревне — первый человек. А мне вот никто ничего не присоветует. Счетоводом, может, куда пойду. Или секретарем-машинисткой. А целоваться, Сема, вот так надо...— И она взяла Семена за голову, крепко поцеловала.

Семену опять стало неприятно, он почти оттолкнул ее.

— Сема, да ты что?!

— Ничего... Где так целоваться-то научилась?

— А, вон что! — В темноте глаза ее блеснули пронзительно и ярко. Потом уткнула голову ему в грудь.— Ах, Семушка, Семушка... Ну, я какая-то... Вижу все поглубже, чем ты. Но ты ничего такого не думай. Я — честная. Я берегу себя для кого-то. Вот для тебя, может. Ты... ты любишь, что ли, меня?

— Не знаю я...

— И я не знаю,— произнесла она.— Видишь, я ведь сама к тебе... на тебя повесилась. Это я все понимаю. Нехорошо, может. Но ты мне нравишься. А люблю ли — не знаю.

Такая откровенность Семену понравилась...

И вот они встречаются уже два года. От призыва в армию Семен получил отсрочку, потому что в Шантарской МТС не хватало механизаторов.

— Может, и вовсе не возьмут,— радовалась Вера.

Однажды (было это в прошлом году, в звездную августовскую ночь), когда они нацеловались до боли в губах, Вера вдруг вырвалась, отбежала и, присев на землю, заплакала.

— Не прикасайся ко мне! — закричала она, когда Семен подошел.

Успокоившись, сказала задумчиво:

— Знаешь, Сем... Я будто бы люблю тебя. А ты?

— И я вроде тоже... Тянет меня к тебе.

Она вскинула искрящиеся в жидком лунном свете глаза и опустила их.

— Ну, тянет — это еще не любовь. Твоего отца и мою мать тоже тянет...— Но умолкла на полуслове, испугавшись.

— Как — тянет? Куда — тянет?

— Никуда. Так я...— быстро проговорила она.— Ох, Семка ты, Семка! Пропаду я с тобой! — И побежала в степь.

В ту ночь они убрели далеко за Шантару, до рассвета лежали на забытой, почерневшей от дождей копне сена, смотрели, как чертят небо густо падающие звезды.

— Почему же ты пропадешь со мной? — спросил Семен.

— Ты, Сема, честный парень, не добиваешься, чего до свадьбы не положено,— заговорила Вера, помолчав.— Это хорошо, я с тобой без опаски. А с другой стороны, может, и плохо.

— Непонятно...

— Плохо, если вообще ты в жизни так будешь жить. Жизнь легкая тому, кто не раздумывая берет, что ему надо. Хватает цепко...

Заложив руки под голову, Семен глядел на блеклое ночное небо, усеянное в беспорядке звездами, думая о ее словах. Где-то с краю небо уже набухало синью, звезды там мигали торопливее и беспокойнее, а потом беззвучно гасли, тонули в этой сини.

— Вот мой отец — рохля. Ему и в жизни ничего не дается. Кроме пьянства. А твой отец не такой, не-ет, я вижу...

— Что ж ты видишь?

— А всё, всё... Он умный жить. Он развернется еще. А вот ты? — Вера склонилась над Семеном. И он ощутимо почувствовал, как ее глаза шарят по его лицу, как ее черные, невидимые в темноте зрачки неприятно оплетают лоб, щеки, губы словно паутиной.— А вот ты — такой же, как твой отец, а? Семушка, родимый, помоги же мне понять! То кажешься ты мне — такой, то чудится — нет, не такой... а больше на моего отца похожий...

Семен порывисто приподнялся, провел ладонью по лицу, точно оно и впрямь было облеплено паутиной.

— Фу-ты!.. Такой, не такой... Что с того? Тебе-то что?

— А как же, Сема?! Я — женщина, баба. Мне замуж за кого-то выходить. У девки до замужества — одно богатство. Отдать его надо не зря, не попусту, не кому попало. А то после-то кто меня возьмет? Кому объедки чужие нужны?

— Мразь ты, однако! — И он пошел.

— Семка, милый...— Она догнала его.— Ну, прости, ежели что я не так сказала. Я — открытая ведь. Сказала, а ты выбирай. Люба я тебе со всем, что у меня есть,— бери меня. Не прогадаешь. Пластом стелиться буду... Ноги твои мыть и воду пить. Я — такая...

— Отстань ты! — закричал он, стряхивая с плеч ее руки.

— А ты, чем так, ударь меня лучше! Ну, ударь!

— А что же ты думаешь?! Ты мужа выбираешь, как цыган лошадь,— по зубам!

И, размахнувшись, ударил ее по лицу.

Вера качнулась, но с места не тронулась, только чуть сгорбилась, всхлипнула. Стянула с головы платок, вытерла слезы. И лишь потом пошла прочь, больно резанув его невидимыми в темноте зрачками...

Семен решил, что покончил с Верой раз и навсегда. Однако через два-три дня его начали мучить угрызения совести. Если рвать с ней, то это надо было сделать не так грубо и бесчеловечно. Да и что она такое ему сказала? Каждая девушка хочет выбрать себе мужа не только поприглядней, но и позацепистей, что ли, в жизни. Не каждая лишь так вот прямо скажет об этом. А Верка сказала. Что ж тут плохого? И, кроме того, она красивая. Для других, может, и нет, но ему нравилось в ней все — острый взгляд длинноватых, чуть раскосых глаз, крапинки вокруг носа, припухшие жадные до поцелуев губы, гладкая, немножко скользкая, как шелк, ее кожа.

Но тут его послали убирать хлеба в михайловский колхоз. «Ну и все! — подумал он даже с облегчением.— Это конец».

Но это был не конец. Когда он, уже глубокой осенью, вернулся в Шантару и, вымывшись в бане, шел огородом к дому, от плетня, который разделял усадьбы Савельевых и Инютиных, качнулась в сумраке легкая тень.

— Семка, изверг ты... Ведь я извелась прямо вся. Семушка, милый...— Вера ткнулась лицом в его распахнутую, влажную еще после бани грудь.

От неожиданности Семен растерялся.

— Ударил я тогда тебя. Извини...

— Нашел что вспоминать! Покрепче надо было...— В глазах девушки подрагивали две звездочки. Семен отводил свой взгляд, остерегаясь встретиться с ее зацепистыми зрачками. Он теперь их боялся.— Сем, да ты чего? Ну, глянь на меня! Да люблю, люблю же я тебя!

— Я, Вера, много думал об нас с тобой...— Семен отстранился.— Ты брюхом хочешь жизнь прожить. А жить надо сердцем.

— Глупенький! Вот глупенький! — Она беззаботно и радостно засмеялась.— Жить надо, Сема, по-разному. И брюхом, и сердцем. Я не люблю таких, которые только — сердцем. И даже жалею их.

— Почему?

— На яички-болтуны они похожие. Сидит-сидит на них курица, а все зря. Так ничего из них и не вылупится.— Помолчала и добавила: — Вроде и не на земле живут. Бесполезные люди.

«Может быть, она и права...» — опять подумал Семен.

И все началось у них сначала...

После Нового года она уже прямо начала спрашивать, когда же они поженятся. Семен отшучивался, отвечал неопределенно. Вера двигала тонкими бровями, розовые крылышки ноздрей у нее недовольно раздувались.

Как-то холодным мартовским вечером Семен убирал скотину. Накидав корове и двум овечкам сена, он вышел во двор и залюбовался закатом. Раскаленное докрасна небо дымилось, а самый его край, который касался земли, уже подплавился, подплыл янтарной жижей. И туда, в жидкий янтарь, медленно опускалось огромное, кроваво-красное солнце и словно само плавилось, таяло, как кусок масла на горячей сковороде. Последними лучами солнце обливало еще землю, багрово отсвечивало в окнах инютинского дома. Пробиваясь сквозь ползущий со стороны ночи холодный туман, оно бледно окрашивало угрюмые скалы Звенигоры, трепетало на заснеженных холмах. И от этого казалось, что камни шевелятся, что вся огромная гора тяжело ворочается в зыбком вечернем тумане, укладываясь на ночь.

Семен стоял, опершись о вилы, смотрел на такое чудо и улыбался, не замечая, не сознавая, что улыбается.

В себя его привел скрип калитки. Вбежала Вера, ни слова не говоря, потащила на сеновал. Там со смехом опрокинула на спину, навалилась, принялась целовать холодными губами. Поцелуи ее были как укусы.

Семену было жалко, что она не дала досмотреть закат.

— Ненормальная ты.

— Ага, я — такая,— согласилась Вера и, прижимаясь плотнее к нему, зашептала в ухо просяще и тоскливо: — Семушка, ну когда же? Свадьба-то? А? Сем?

Семен вздохнул.

— Выбрала, значит, мужа? — И с неприятным чувством опять подумал, вспоминая, что ее поцелуи были похожи на укусы.

— Ага, выбрала.

— И жалеть не будешь?

— Никогда, никогда,— дважды мотнула она головой.

Семен подавил новый вздох, сел. Вера вдруг беззвучно заплакала.

— Чего ты еще?

— Будто я на смерть тебя волоку. На аркане,— с обидой сказала она.— А мне дома глаза стыдно показывать. Я слышала, как отец выговаривал на днях матери: «Что у них с Семкой-то? Гляди, притащит тебе сокровище в подоле...» Так что, Сема, надо или к берегу, или от берега, в разные стороны...

— Ну ладно,— помолчав, вымолвил Семен.— Сейчас какая свадьба может быть? Давай — осенью.

— Давай,— сказала Вера, по-детски вытерла кулаками глаза.— Так я и дома скажу. И ты своим скажи...

Поговорить об этом с родителями для Семена было не так просто. Собственно, мать сразу, с полуслова, поняла бы его. Да она, кажется, все знает, догадывается, хотя никогда ни одним жестом, ни одним словом не показывает этого. Другое дело — отец. Семен знал, что отец не любит его. И сам Семен не любил отца. Они всегда были друг для друга чужими. Почему — Семен понять не мог, да и никогда не пытался разобраться в этом. С тех пор как Семен помнит себя, отец был ему уже чужой. Не было случая, чтобы отец как-то приласкал Семена, сказал ему дружеское слово. Он всегда проходил мимо Семена как мимо пустого места. Семен принимал это как должное и платил отцу тем же.

Потом Семен узнал, почувствовал детским чутьем, что отец не любит и мать, не уважает ее. С тех пор пропасть между ними сделалась еще глубже, стала год от году шириться.

Однако не это было главным. Главное было в самой Вере. Семен знал, что она будет хорошей, преданной женой, но его пугала ее хладнокровная расчетливость, с которой она подходила к людям, к жизни, к самой любви.

Так до сих пор родителям он ничего не сказал.

И вот — до осени не так уже далеко, Вера давно перестала спрашивать, любит или не любит ее Семен, она просто ждет осени, и только Семен без конца задает себе этот вопрос. Чем ближе осень, тем чаще задает. А чем чаще задает, тем становится мрачнее и раздражительнее. И что странно — Вера по-прежнему нравится ему, нравится ее лицо, ее глаза, все ее тело. Но едва подумает о свадьбе — там, за этой чертой, ему ничего не видится, там черная, пугающая пустота. Как все это объяснить Вере? Да и надо ли объяснять? Все равно назад пути нету. Да он, кажется, и не хочет, чтобы был...

Камни после дождя давно высохли и перестали дымиться, накалились, солнце по-прежнему палило безжалостно и нестерпимо. Где-то за спиной сухо и монотонно трещали кузнечики.

— Ты что, Семен? — крикнул, подбегая, Колька, схватил ведерко.— Клёв-то здорове-енный!

— У меня просьба к тебе, Николай...— проговорил Семен.— Мне надо... в одно место тут сходить. Ты присматривай за Димкой и Андрейкой.

Колька мотнул крючковатым носом, ухмыльнулся.

— Понятно.— И вприпрыжку побежал по берегу.

Семен поднялся и пошел в другую сторону. Потом снял брюки, рубашку и побрел через протоку, к острову.

Едва он ступил в воду, Вера, неподвижно лежавшая на песчаной косе острова, вскочила, натянула платье и скрылась в кустах.

Перебравшись на остров, Семен долго бродил по зарослям, звал ее, но она не откликалась. Он уже начал сердиться, когда Вера кошкой бросилась на него из лопухов, со смехом повалила в траву, начала целовать. Семен легко подмял девушку под себя, увидел прямо перед собой, близко-близко, ее испуганные, диковатые глаза, в которых подрагивали желтые точки, и почувствовал, как по его жилам разливается огонь, а мысли, сознание — все заволакивается жарким, тяжелым туманом.

— Семка, не смей! Не смей...— услышал он, как из-под земли, Верин голос. Это его сразу отрезвило.

Он отпустил девушку, сел, полез за папиросой. Вера отползла в сторону, в

кустарники, обдернула платьишко на голых ногах. И все так же подрагивали оттуда, из полусумрака зарослей, желтые точки в ее напуганных глазах.

— Когда буду законная, тогда пожалуйста... Сколько хочешь,— проговорила она.

Семен усмехнулся.

— А может, Верка, не надо, а?

— Чего не надо? — Она тревожно приподняла голову.

— Ничего не надо... Свадьбы этой.

Вера вскочила, вытянулась.

— Как не надо? Не любишь, что ли? Не нравлюсь?

— Не в том дело...

— А в чем?

— Не знаю... Или хотя бы попозже, а? Не этой осенью?

Вера подошла, опустилась перед Семеном на колени, взяла сухими ладонями его голову.

— Ты что это, Семен? Не-ет, никак нельзя позже. Вот еще мне! Ну-ка, погляди в мои глаза! Слышишь, Сема? — И прижала его голову к своей груди.— Да как мы друг без друга жить будем?

И, как когда-то давно, Семен снова услышал — ее сердце бьется сильно и гулко, частыми-частыми толчками. «А может, и верно, нельзя нам друг без друга?» — подумал он.

* * *

А в это время на обочине проселочной дороги, которая поднималась на невысокий горбатый увал, а потом, огибая Звенигору, спускалась в синюю долину, где лежала деревня Михайловка, сидели двое — тот самый человек с котомкой, привлекший внимание Семена, и немолодая уже, лет под сорок, женщина, маленькая, высохшая, в старенькой, залатанной кофтенке, с длинными косами, вывалившимися из-под платка. Собственно, сидел только мужчина, а женщина, распластавшись, лежала на земле, уткнув лицо в его колени. Она плакала, спина ее вздрагивала, и мужчина осторожно гладил ее по острым лопаткам, по голове, брал в руки ее косы, подносил к своему лицу, словно хотел вытереть слезы. Но он не плакал, глубоко ввалившиеся его глаза были сухи, смотрели вокруг жадно, удивленно и чуть испуганно.

— Агата, земля сырая все же,— проговорил мужчина, не выпуская из рук ее кос.— Как же ты узнала, что я сегодня приду?

— Как? — Агата оторвала голову от колен мужа.— Сердце подсказало, Ванюшка.

— Дождь ведь. Гроза заходила.

— Что ж гроза... Шесть годов на дорогу эту глядела. А сегодня — заныло сердце.

— А я гляжу — бежишь. Ноги так и отнялись...

У Ивана действительно одеревенели ноги, палка выпала из рук, когда он увидел бегущую навстречу жену. Сзади его уже шумел, приближаясь, ливень, над головой с треском распарывалось аспидно-черное небо, обломки его с грохотом валились вниз, сотрясая землю. Но Иван Савельев ни на что не обращал внимания, ничего не видел, кроме этой женщины, бежавшей к нему сквозь тугой и пыльный ветряной вал, который катил перед собой ливень. На какой-то миг пыль скрыла ее от глаз, но потом она появилась, прорвалась сквозь ветер и, подбежав, обессиленная, молча упала Ивану на руки. И тотчас накрыл их ливень, больно хлестали тяжелые водяные струи, а они все стояли и стояли, безмолвно прижавшись друг к другу.

Так и простояли, пока дождь не кончился. Потом отошли на обочину и сели, по-прежнему не сказав друг другу ни слова.

Клочья грязноватых облаков уползали за горизонт, над Иваном и Агатой было теперь только чистое синее небо да там, выше неба, жарко горевший солнечный диск, обливающий их теплом и светом.

Оттуда, где было солнце, пролилась песня жаворонка. Она раздалась неожиданно и так же неожиданно умолкла. Потом раздалась снова. Иван поглядел на

небо и улыбнулся обветренными губами. Ему почудилось, что жаворонок — маленькая серая птичка — тянул вверх свою песню, как звенящую цепочку, в клювике, но вдруг выронил, тотчас нырнул вниз за песней-цепочкой, успел подхватить ее у самой земли и снова понес вверх.

Первому жаворонку откликнулся второй, третий. Скоро все небо, казалось, было заполнено, залито до краев их песнями, но Иван, сколько ни всматривался, не мог заметить ни одной птички. И он не знал уже — вверх, от земли, в это бездонное небо уносят они свои песни или, наоборот, спускают песни-цепочки с неба на землю. Да это было и неважно. Важно, что песни были слышны, что они заполняли своим звоном все вокруг.

— Жизнь-то, Агата, видишь, не кончилась,— тихо промолвил Иван.

— Я их, проклятых, терпеть не могу, этих жаворонков. В тот день, когда тебя Яшка Алейников увез, они все звонили...

Иван сдвинул белесые брови, на лбу его глубже обозначились морщины.

— А я их зимой и летом слышал. Проснусь ночью — холодно в бараке, за стеной вьюга воет. Прислушаюсь — нет, поют жаворонки. И теплее вроде, легче.

Агата удивленно поглядела на мужа круглыми, темными, как смородины, глазами.

— Как ты вынес все?

— Человек — он привычливый.

— А я сперва все письма от тебя ждала.

— Я был без права переписки... Ну, рассказывай, как вы тут?

— Да как? Володька и Дашутка ничего, здоровенькие...

— Значит... дочка у меня родилась? — хрипло произнес Иван, сухие губы его затряслись.

— Ваня, Ваня...

— А я все гадал — сын ли, дочь ли? И еще — живо ли дитё? И от этой неизвестности было тяжельше всего...

Агата гладила его жесткую, заскорузлую, скрюченную ладонь.

— Лопату, видать, частенько держал в руках-то?

— Да уж покидал землицы, всю собрать — со Звенигору холмик будет... Дочку Дашуткой, значит, назвала?

— Ага, Дарьей. Плохо?

— Нет, хорошо это — Даша. Ну, пойдем...

Над ними пели и пели жаворонки.

Когда взошли на увал, открылся вид на всю долину. На самом дне, разметавшись беспорядочно в разные стороны, поблескивая окнами и крышами, лежала Михайловка. Над домами бугрились тополя и березы, а посередине деревни стоял почему-то столб дыма, прямой и высокий.

Иван снял фуражку, долго с высоты смотрел на деревню, прижавшуюся одним боком к лесу. Ветерок шевелил его белые волосы.

— Мне все чудилось — не признáю деревни. Нет, признал. Все такая же. Тополя сильно подросли.

— Какой же ей быть? Из нового — ток построили, видишь деревянные навесы на северном краю? Да два скотных двора — эвон прямо за дымом. А боле ничего вроде. Да и зачем боле? Не надо. Ток и коровники добротные выстроили. Из лиственницы. Навек хватит. Панкрат — он хозяйственный.

— Как он, Панкрат?

— Постарел шибко. Тише стал, нелюдимей. И кашляет все.— И вдруг Агата всхлипнула.— Уж и не знаю, как бы я, если бы не Панкрат...

— Помог, значит?

— Да разве мне только? Всем, у кого худые домишки, перетрясти помог. С района приезжие часто ругали его: куды, дескать, колхозные деньги транжиришь? А он: разве себе беру? Шибко народ Панкрата уважает.

— А что за дым это с того дома, под железом?

— А пекарня это. Два года назад построили, забыла я сказать. А нынче мельницу водяную Панкрат ставит. А то, говорит, за помол много берут... Он, председатель наш, такой, у него копейка зря не выскользнет. А это пекарня. Для косарей хлеб печем... Эвон косари на лугу.

Километрах в трех от деревни, неподалеку от Громотухи, в широкой низовине, пестрели бабьи платки, поблескивали потные голые спины мужиков. Косцы шли рядами, дружно взмахивали косами.

Ивану захотелось вдруг, не заходя домой, спуститься по тропинке к лугу, низко поклониться людям: здравствуйте, мол, вот я и вернулся... А потом взять косу и косить, косить, молчком до самого вечера. А после, надышавшись вволю родимым луговым воздухом, поужинав, сесть к костерку и слушать, слушать, как кричат где-то коростели, ухают, просыпаясь в чащобе, совы, похохатывают парни и девки, обсуждая свои молодые дела. И за один вечер вычеркнуть из памяти эти долгие шесть лет, позабыть их навсегда, позабыть так, будто их никогда и не было...

Улицы деревни были тихи, пустынны, в обмятых лопухах бродили свиньи и телята. Когда Иван с Агатой шли по деревне, из некоторых окон выглядывали старухи, долго провожали их взглядами.

Домишко Ивана обветшал, покосился, дощатая крыша провалилась, густо пестрела разноцветными лишаями.

— А говорила — у кого худое жилье, председатель перетрясти помог.

— Да ты что?! — испуганно воскликнула Агата.— Его тогда с потрохами бы съели!

— Понятно,— вздохнул Иван.

Переступив порог, Иван увидел большеглазую девочку в длинном, до пят, платьишке. Она возилась в углу с тряпичной куклой, пытаясь накормить ее изрезанной на тонкие пластики морковкой. Увидев незнакомого, заросшего щетиной человека, испуганно взмахнула ресничками, отступила к стене, пряча за спину самодельную куклу.

— Доченька...— шагнул к ней отец.

Девочка испуганно заплакала, кинулась к матери, уцепилась за ее юбку.

— Дашенька, это же тятька твой. Отец это, глупенькая...— гладила Агата по спутанным волосенкам дочь, не в силах унять слезы.

— Так... Ну, а сын где? Володька...

— Воду косарям возит. А пополудни в пекарню за хлебом приедет... Я пришлю его. Я, как сенокос начался, в пекарне ведь стряпаюсь.

Через час, побрившись, умывшись, переодевшись, Иван сидел за столом, ощущая, как непривычно кружится от одной-единственной рюмки водки голова. Агата рассказывала новости — кто умер, кто на ком женился. Некоторые события были трех-, четырех-, пятилетней давности, но для Ивана все было ново.

— А Кашкариху-то помнишь? Лушку Кашкарову? Все-таки перевез ее Макарка Кафтанов в Шантару. Купил дом и перевез, а сам опять в тюрьму. Рядом с твоим братом живет теперь Лушка...

Иван слушал, глядел на дочь, подперев щеки обеими ладонями. Девочка все еще не могла понять, что этот незнакомый худой человек — ее отец, сидела на другом конце стола, поглядывала на него, как зверек, сосала липкие конфетки.

Скрипнула дверь. Иван медленно встал. Панкрат Назаров, постаревший, забородатевший, в синей, подпоясанной шелковым шнурком рубахе, как-то вовсе не походил на председателя колхоза, скорее на какого-нибудь плотника или бондаря. Он снял плоскую фуражку, с которой посыпались опилки, повесил на гвоздь.

— С мельницы я. Глядел, как ладят... К осени пустим.— Прошел к столу, долго, не мигая, в упор, смотрел на Ивана зеленоватыми, в густой ряби морщин глазами.— Ну, приехал?

— Вернулся,— ответил Иван.

— Что ж, здрааствуй.

— Здравствуй.

Назаров говорил как бы нехотя, через силу. От этого Ивану стало неприютно.

— Да ты садись, садись, Панкрат! — засуетилась Агата, подставила председателю тарелку, положила вилку с деревянной ручкой.— Вот, закусите, выпейте.

— Это можно,— проговорил Назаров, усаживаясь,— Ну, с возвращением!

Они выпили из мутных граненых рюмок. Панкрат закашлялся, кашлял, отвернувшись, долго, до слез в глазах. Агата подала ему полотенце, он вытер слезившиеся глаза.

— Пить тебе нельзя,— сказал Иван.

— Не надо,— согласился Панкрат.— Легкое гноиться зачало. Пуля там колчаковская, язви ее, долго ничего лежала, а потом зашевелилась. Доктора говорят — вырезать надо, легкое отнять. И Максимка, сын-то мой,— помнишь, нет его? — тоже пишет в письмах: делай, мол, операцию, медицина нынче силу взяла... Да страшно...

— А все равно надо,— промолвил Иван.— Как он, Максим твой?

— Ничего, служит под Львовом-городом. Нынче в капитанский чин возведен. Ты, Агата, ступай в пекарню, там хлеб бабенки засадили, как бы не подожгли. А мы потолкуем,— сказал Назаров.

Агата ушла, увела с собой дочку, но толковать председатель не начинал, сидел и смотрел на Ивана из-под насупленных бровей. И казался он Ивану незнакомым, неприветливым, подозрительным.

— Ты вот что скажи, Иван Силантьич,— медленно произнес Назаров, не отрывая от лица Савельева колючего взгляда.— Никому не говори, а мне скажи. С чем приехал? С обидой на жизню, со злостью в душе?

Иван ответил не сразу.

— Не знаю, Панкрат. На жизнь мне радоваться пока нечего. А злобы вроде нет. Стосковался я. По земле, по родным запахам.

В зеленых глазах Панкрата дрогнули светлые точки.

— Про Федора, брата, что думаешь? Про Кирьяна Инютина?

— Это-то и закавыка. За что они меня посадили? — Иван помолчал.— Ну, это ладно. А вот на кого точно зла не держу — это сейчас твердо могу сказать... На Якова Алейникова.

— Гм...— Панкрат от неожиданности покашлял, недоверчиво прищурился.— Ну, так, ну, так... Объясняй тогда уж почему.

— Попробую, если получится... В лагерях я всякого насмотрелся. Может, кое-что мне оттуда виднее было, чем вам отсюда. Кого только не было там. Всякие большие и малые люди, военных много. Это что, все — вредители, враги народа?

— Эвон!.. А ты — зла не держу на Яшку... Так тем боле ответ с него!

— А ты вот послушай. Настоящих врагов Советской власти, конечно, много в лагерях. Вот я тебе о трех таких настоящих расскажу, с которыми довелось сидеть. Первый — Ерофей Кузьмич Огородников...

— Постой! Это не тот старик сапожник с нашего райпромкомбината? Я как-то сапоги у него справлял...

— Сапожник... Ты в банде у Кафтанова не служил, такого человека, по фамилии Косоротов, не знаешь. До революции он в надзирателях по тюрьмам состоял, потом у известного тебе колчаковского полковника Зубова в палачах. Говорят, редко-редко кто умирал у Косоротова, не развязав языка. Да я-то его хорошо знаю. Это уж много после он в Огородникова Ерофея Кузьмича перекрасился, в бобыля-сапожника, девчонку-сироту какую-то удочерил.

Панкрат от удивления хлопал глазами.

— А двое других — сын того полковника Зубова и наш... Макар Кафтанов.

— Макарка?! И с ним сидел?! Но погоди, он же вор-магазинник, по уголовной статье всегда судится.

— Да, судится по уголовной. Считает, видно: так мстить людям за то, что революция сковырнула их, Кафтановых, вроде и безопаснее. И Петька Зубов вроде бы вор. Когда посадят в тюрьму, им намного легче, чем мне, например, было... Погоди, ты слыхал ли когда про сына полковника Зубова?

— Что-то слыхал, будто при том полковнике сынишка был. И еще слыхал от кого-то, что ты, когда мы на Огневскую заимку тогда напали, сумел скрыться в суматохе с этим парнишкой. От Федора будто.

— Верно... Или от Алейникова с Анной — они раненые на полу валялись, могли видеть. Кафтанов потом мальчонку Зубова в тайгу отвез куда-то, Лукерья Кашкарова их вырастила с Макаром...

— Вона! — воскликнул Назаров.— Не зря, значит, Макар ей дом купил?

— Ты что, неужели куришь?

Панкрат скручивал папиросу.

— Нет, нельзя мне,— вздохнул Назаров, бросил самокрутку в кисет.— Так вот заверну, поверчу в пальцах, и вроде легче, будто покурил.

— Тянет, значит?

— Мочи нет. Все во сне вижу, как курю.

— А я отвык. Там табаку не было, и отвык. Ты это брось, не носи кисет-то. А то и не выдержишь когда-нибудь.

— И то — боюсь,— согласился Панкрат.— Да я спичек не ношу... Ну, так и что ты хотел сказать этим всем?

— А то и хотел. Вроде бы они и простые уголовники, да ишо чем-то пахнут. А чем — разберись! Не так-то просто. Но как бы там ни было, замели их, чтоб не воняли. И в данном разе не ошиблись, положим. Ну, а я для Якова Алейникова чем-то на этих трех похожий. Может, и было у него сомнение — я ли, не я тех лошадей украл? Но на всякий случай подгреб меня к той же куче. Потеря небольшая, не убудет...

Савельев прошелся по комнате, остановился у окна и, задумчиво глядя на улицу, промолвил:

— И думал я еще не раз: поставь меня на место Якова, как бы я поступил? Не знаю, не знаю...

— Э-з, нет, Иван,— после некоторого молчания качнул Назаров несогласно головой.— Ведерко воды из речки взять можно, не убудет. И два, и сотню... А ежели отводную канаву прорыть да другую, десятую? И помелеет речка, а то и совсем разберут ее. Не-ет, по живому рубить кому позволено! Яшка, раз поставлен на это дело, разбираться должен.

Иван нервно усмехнулся.

— Должен... Должен бог всех в своей вере держать, а оно, вишь, безбожники из людей вырастают. Хотя все вроде молятся... Где уж Алейникову или кому другому на его месте всякий раз до тонкости разобраться, когда сами люди меж собой иногда распутаться не могут? Опять же, к примеру, нас возьми...

— Взял. И что?

— Ну, соображай. Я и Макар Кафтанов вроде родственники, поскольку родная Макарова сестра, Анна, замужем за моим родным братом Федором. С другой стороны, мы — лютые враги, поскольку я застрелил Макаркиного отца... Он, Макар, знает это. Увидел меня в лагере, подошел, улыбнулся. «Здравствуй, родимый. Батю-то вспоминаешь моего?» У меня мороз по коже, чую, что за улыбочка, к чему она. А сказать ничего не могу. «Ну, помолись тогда да послезавтрева с утра одевайся в чистое,— выдохнул мне в ухо Макар.— Сам одевайся, а то покойников тут не обряжают. Только не думай, что за батю одного. Я выше кровной мести. Кишочки тебе выпустим, исходя в основном из теории Карла Маркса и товарища Ленина насчет борьбы классов...» Подумал, что я не понял, добавил: «За то, что к красным перекинулся, гад». И, посвистывая, отошел. Вот так, срок назначил. И я знаю, жить мне осталось сегодняшний да завтрашний день. Это уж точно. В лагере — там ведь свои законы. Что мне делать?

— Н-да...— покачал головой Панкрат.

— А делать было что,— продолжал Савельев, глядя куда-то в одну точку.— Мог я, попросту говоря, выкупить свою жизнь Федькиной головой.

Панкрат Назаров вопросительно вскинул спутанные, проволочные брови.

— Дело простое,— сказал Иван.— У Петьки Зубова тоже задача в жизни — найти и приколоть того человека, который его отца зарубил, Федора, значит...

— Во-он как?! — удивленно воскликнул Назаров.

— Да... «В лицо,— говорил мне Зубов,— до сих пор убийцу моего отца помню. Усики его черные помню. Помню, как он оскалил зубы и на меня шашкой замахнулся...— Федор же тогда чуть и мальчишку не срубил в гневе...— А дальше, говорит, ничего не помню». Ну, а я ничего из того утра не забыл. Стоило мне сказать, кто отца его зарубил, Зубов бы али Косоротов этот самому Кафтанову головенку отвернули бы, если б он тронул меня. К тому же как-никак жизнью мне Петька Зубов обязанный. А что мне было не сказать? За что сижу, кто меня посадил? Он, Федька, братец мой... Жалеть мне его из какого резону? Да и сам Макар Кафтанов, может, отменил бы свой приговор. Анне он тоже не простил, что она за Федьку вышла, что в партизанах была. Рано или поздно придушу, говорит, сучку краснозадую.

— И что ж, не сказал? — осторожно спросил Панкрат. Он опять скручивал папиросу.

— Так вот и не сказал,— вздохнул Иван.— А теперь думай: я осужденный как враг народа, Макар по уголовной статье сидит, но этот уголовный тоже враг, и он хочет меня, врага, уничтожить, «исходя из теории насчет борьбы классов». Как нас Яшке Алейникову распутать, если мы сами не можем распутаться?

Долго молчал председатель, мял толстыми, негнущимися пальцами самокрутку, крошил ее обратно в кисет.

— Да, жизнь...— промолвил он наконец задумчиво.— Ну, а все ж таки тоже любопытственно мне, не осуди уж... Про Федора не сказал, то как же в живых остался?

— В карцер сел,— спокойно ответил Иван.

— Как в карцер?

— На другой же день не пошел на работу. Не пойду, говорю, и все. Старосту барака выматерил. Ну, меня живо в карцер на двадцать суток, в одиночку. А потом... Под счастливой все же я звездой родился. Пока сидел, Косоротов, Зубов и Макар побег совершили. Видно, случай подвернулся. Косоротова овчарки заели, а Макару с Зубовым удалось уйти. Из карцера я вышел, с полгода пугливо озирался: ежели Макар оставил кому свой приговор, все равно пристукнут. Нет, пронесло...

Председатель колхоза слушал, чуть склонив голову, пощипывал бороду.

— Н-нет, паря,— произнес он со вздохом, отвечая каким-то своим мыслям,— все ж таки я при своем остаюсь, не оправдываю Якова. Не должен в одну кучу он все сгребать. Не должен потому, что власть ему от народа большая дадена. Узлы всякие распутывать должен, добираться именно до истины — кто в самом деле молится, кто для вида рукой махает. А то что же получается? Как по старинной пословице: должен поп ночью с попадьей лежать, а он монашку за алтарем тискает... С тобой-то ладно — накуролесил в жизни. А вот хотя бы этих троих за что — Баулина, Засухина Василия, Кошкина? Знаешь, что их тоже...

— Говорила счас Агата.

— Я же воевал с ими и после хорошо знал. Душевные люди, хотя не шибко грамотные. Да и все-то мы... Приедешь в район — со всякой болячкой к им, как к родным, идешь. Одно слово — своя власть, понимающая... Или вот нашего Аркашку Молчанова в пример возьми. Уж этот-то на глазах вырос, когда спать ложился или когда в сортир садился — все на виду. А тоже враг, вишь ты, оказался. Доселе сидит. Это как?

— Про тех троих не знаю. А Молчанов — по глупости,— сказал Иван.

— По чьей? — нахмурился Назаров.

— По своей,— ответил Савельев спокойно.— Когда меня крутили с этими лошадьми, Аркашку все допрашивали, стращали: зачем-де врешь, что Инютин цыганам лошадей свел, сколько, мол, Иван Савельев тебе за эту ложь дал, за сколько продался?

— Откудова ж ты знал?

— При районной КПЗ я сидел, в камере предварительного заключения то есть. А в этой камере все известно. Черт его знает, как туда все слухи да известия доходят, а только доходят, все там обсуждается на сто рядов.Ну вот... Аркашка молчал-молчал да и брякнул: вы, ежели поставлены на это, так разбирайтесь по справедливости, а нечего заставлять невинных оговаривать... Ну, и прорвало его. Такие-сякие вы, дескать. Ты-то, Панкрат, знаешь, прорвет Аркашку раз в год — и вывалит он что надо и что не надо, все до кучи. Наговорил, в общем, лишнего вгорячах...

Панкрат Назаров выслушал все со вниманием. Когда Иван замолчал, опять отрицательно махнул головой:

— С ним — пущай оно так. Только оно как-то не так... А?

Панкрат неотрывно смотрел на Савельева, ждал ответа.

— Ты все спрашиваешь,— сказал Иван с легкой грустью.— А я что тебе могу объяснить? Не того ума человек. Кружится жизнь, как сметана в маслобойке. Потом из сметаны масло получается.

— Как это понять?

— Ты думаешь, тот же Яшка Алейников не хочет добра, справедливости? — вместо ответа проговорил Иван.

— Ну?

— За что же он воевал тогда? Жизни не жалел, под пули лез? А жизнь-то, поди, тоже у него одна? И как всякому дорогая ему?

— Ну? — еще раз спросил Назаров.

— Туго справедливость людям поддается, вот что. Достигается трудно.

Панкрат еще посидел неподвижно, встал, тяжело разгибаясь, с удивлением увидел в кулаке кисет, сунул его в карман, усмехнулся.

— Чудно́ получилось... Я пришел пощупать: как ты, не озлился на людей ли? Вроде бы вразумить тебя пришел, поучить чему-то. А вышло наоборот как-то. Яшку вон оправдываешь.

— Зачем? Я его не оправдываю. Я сказал — зла на него не держу.

Распахнулась дверь, через порог шагнул парнишка лет тринадцати, невысокий, белявый, как Иван, с такими же серыми глазами, крутым лбом. Он был бос, в выгоревших, порыжелых, запыленных штанах, которые торчали на ногах трубами, в черной, мятой рубахе с расстегнутым воротом. В руках у него был кнут.

Перешагнув через порог, парнишка прижался к стене, испуганно и недоуменно переводя глаза со своего отца на председателя колхоза и обратно. На лбу у него выступили бисеринки пота. Савельев медленно качнулся к сыну:

— Вот ты как вырос... Володенька... Здравствуй, сынок!

Володька молча уткнулся лицом в отцовское плечо...

* * *

От прошедшей грозы не осталось и следа, земля жадно всосала дождевые лужи, лишь обмытые от пыли дома, деревья, травы выглядели посвежее, чем утром.

В Михайловке по-прежнему было пустынно и глухо. Под стенами домов лежали распаренные, с раскрытыми клювами куры, деревенские собаки забивались в тень и, обессиленно вывалив длинные розовые языки, часто и тяжело дышали.

Над Михайловкой, над Шантарой, над всей округой и, казалось, над всей землей лежала эта мертвая тишина, а в чистом небе яростно полыхало солнце. И никак нельзя было представить, что где-то в этот час нет ни тишины, ни чистого неба, ни солнца, что вся земля и небо завалены грохотом, воем, дымом, человеческим плачем, что уже несколько часов по земле идет война.

...Антон Савельев брел по Дрогобычскому шоссе. В руках у него болтался смятый пиджак, он часто вытирал им грязное, потное лицо. Солнце ныряло в жирных клубах дыма, но в редкие минуты оно выкатывалось на чистую поляну неба, и тогда Антон соображал, что время далеко за полдень.

В те редкие минуты, когда небо очищалось от дыма, Антон видел, как немецкие бомбардировщики стаями плывут и плывут на восток. Они летели теперь высоко, направляясь, видимо, в глубокий тыл, монотонно, как мухи, жужжали.

Где-то по сторонам шоссе глухо бухали зенитки, Антон видел белые ватные гроздья разрывов. Но зенитки почему-то не доставали до самолетов, не причиняли им никакого вреда. «А истребители? Где же наши истребители?!» — с нетерпением, с яростью думал Антон.

— «Ястребок»! Наш, глядите! И-16! И-16! Счас даст! Счас даст! — услышал он вдруг.

В небе сквозь дымные полотнища пронесся небольшой самолетик со звездами на крыльях. Движение на шоссе остановилось, задрав головы, люди смотрели вверх. «Ястребок», взвыв, отчаянно кинулся в самую гущу немецких самолетов. Но тут же задохнулся, распустил за собой длинный хвост из кроваво-черного дыма и, косо прочертив небо, рухнул на землю недалеко от шоссе. Там, где он упал, глухо лопнуло что-то, земля чуть дрогнула. Люди, бросив повозки, побежали сквозь лес к упавшему самолету. А Савельев вдруг круто повернулся и зашагал назад, к Перемышлю.

Он брел по обочине. Навстречу ему, по левой стороне шоссе, шли и шли подводы и грузовики с узлами, чемоданами и просто кучей набросанного тряпья. На этом тряпье, на узлах сидели дети, женщины, старики. Мужчины шли пешком, катили перед собой ручные тележки с теми же узлами и чемоданами, многие тащили эти чемоданы в руках. Дети плакали, напуганные необычным столпотворением, просили есть, женщины обезумевшими глазами смотрели на все происходящее, крепко прижимали к себе детей, шоферы грузовиков яростно жали клаксоны,

что-то кричали, высунувшись из кабин, прося, очевидно, передних двигаться быстрее. И все это тонуло в вое и грохоте металла, в густой пыли, в чадном бензиновом угаре, потому что по правой стороне шоссе, в сторону Перемышля, шли танки, бронетранспортеры, зеленые грузовики с красноармейцами, с ящиками, с мотками колючей проволоки.

Шоссе с правой стороны было давно изуродовано, в лапшу изрезано гусеницами, но танки, бронетранспортеры и грузовики не сбавляли скорости, из-под колес и гусениц летели камни и щебенка, засыпая беженцев.

Антону страшно хотелось пить. Но попросить у кого-то воды в этой суматохе было невозможно, да и была ли она, вода, у кого-нибудь? До Перемышля далеко, да и что там, в Перемышле? Может, уже немцы? И не пить он туда идет. А зачем?

Антон остановился, огляделся. Шоссе заворачивало чуть влево, на повороте военные машины, чтобы не подавить людей, сбавляли скорость. Не раздумывая, Савельев сошел с обочины, пробился сквозь людской поток, на ходу ухватился за борт какого-то грузовика.

— К-куда? — закричал сидящий в кузове молодой красноармеец и схватился за винтовку.— Пошел отсюда! Тут груз.

— Ты спокойно, сынок,— сказал Савельев.— Мне туда надо. В Перемышль.

— Слазь, сказано! Мы не в Перемышль, в другое место.

Лицо у красноармейца было круглое, чернявое, курносый нос торчал пуговкой. Несмотря на то что боец изо всех сил старался изобразить суровость, это у него получалось плохо.

Грузовик прибавил ходу, понесся, подпираемый сзади тупым рылом бронетранспортера.

— Куда же я ? Под гусеницы? Сдашь меня своему командиру, как приедем. Да опусти винтовку, не съем я твой груз.

— Прыгай! Застрелю! — хрипло крикнул красноармеец.

— А-а, стреляй,— сказал Антон и отвернулся.

Грузовик подбрасывало на рытвинах, выбитых за полдня колесами, на камнях, вывернутых из полотна непрочного шоссе железными гусеницами. Антон толокся на каких-то ящиках. «Хорошо еще, что фашисты дорогу не бомбят»,— мелькнуло у него, и он содрогнулся, представив, что могло бы произойти, начни немцы бомбить шоссе.

Грузовик с каждой минутой приближался к утонувшему в дымах Перемышлю, и с каждой минутой все явственнее, все отчетливее слышалась орудийная канонада.

Вдруг грузовик свернул на проселок, помчался по хлюпкой, поросшей кустарником низине. Во многих местах кустарник был поломан, измят, как белые кости, белели ободранные стволы молоденьких деревьев. Савельев догадался, что здесь прошли танки, много танков.

— Куда мы едем?

— Молчи, гад! — вскинул винтовку боец.

— Я тебе не гад! — крикнул Савельев.

— А я откуда знаю? Сиди теперь!

Перед грузовиком, немного сбоку, вздыбилась неожиданно земля, комья забарабанили по крыше кабины, по ящикам. Перед тем как раздался взрыв, Антон увидел блеснувшую слева неширокую ленту реки и понял: этот участок дороги был хорошо виден из-за Сана. Справа, спереди и сзади еще трижды ухнуло. Грузовик, взревев, полетел вперед еще быстрее. Савельев схватился за тяжелый ящик обеими руками, обнял его.

Неожиданно машина въехала в лес, и грохот сразу прекратился. Савельев стряхнул с себя землю и произнес:

— Уф... Пристреляли, выходит, дорогу они...

— А ты как думал... Я тут третий раз сегодня проезжаю,— помягче сказал красноармеец.

Наконец грузовик остановился. Из-за деревьев выскочил молодой капитан-пехотинец, несколько красноармейцев.

— Кружилин! Доставил? Молодец! — прокричал капитан и повернулся к бойцам: — В пять минут разгрузить!

— У меня тут, товарищ капитан, посторонний,— сказал Кружилин, спрыгивая на землю.— Не сходя с машины, в плен кого-то взял. Заскочил на ходу в машину — в Перемышль, говорит, надо.

Капитан подошел к Антону, строго блеснул из-под фуражки с лакированным козырьком глазами.

— Кто такой? Фамилия?

— Я Савельев...

— Живее, живее разгружайте! — крикнул капитан бойцам.— Савельев? Ну, пойдемте.

На опушке был вырыт глубокий окоп, из которого торчали рожки стереотрубы. Капитан нырнул в окоп, Савельев — за ним.

В окопе седоватый, с желтой плешиной человек со знаками различия полкового комиссара, выгнув горбом спину, кричал в телефонную трубку:

— Танки? Где обещанные танки?.. Что, не будет?.. Тогда нас сомнут — немцы наводят через Сан новую понтонную переправу... Почему молчит Некрасов?.. Пушки, говорю, почему молчат?.. Как нет снарядов? Тогда нас сомнут... Я без паники, я без паники. В полку осталось не больше двухсот человек... Держимся почти сутки. Какие патроны? Какие гранаты? Ничего нет...

— Кружилин доставил машину гранат и патронов, товарищ полковой комиссар,— сказал капитан.

— Да, пришел грузовик... Пехоту мы отобьем. Но если немцы переправят танки? Они обязательно переправят танки... Что?.. Есть, удержаться. Слушаюсь. Слушаюсь...— Полковой комиссар выпрямился и как-то по-домашнему, тихо и грустно, сказал, будто речь шла о каком-то пустяковом одолжении: — Ну что вы, Григорий Трофимович, мы, конечно, будем держаться... Да, да, спасибо... Да, да, до встречи.

Потом он долго и внимательно рассматривал документы Савельева — паспорт, партийный билет. Савельев рассказывал ему, как он очутился в Перемышле, почему-то с подробностями — как рухнула гостиница, в которой кричала женщина, как падал с неба советский истребитель.

— И мне стало стыдно,— закончил Савельев.— Почему я должен бежать? Я еще могу стрелять. Я не разучился...

— Да, да,— грустно подтвердил полковой комиссар, возвращая документы.— Вы извините, утром немцы сбросили в наши тылы большой парашютный десант в красноармейской форме и гражданской одежде...

Полковой комиссар говорил, потирая седые виски, на которых бились тугие жилки, думая о чем-то другом, неизмеримо далеком от Савельева, от тех слов, которые только что произнес. Капитан глядел в стереотрубу.

— Они уже заканчивают переправу, товарищ полковой комиссар!

— И все же, Антон Силантьевич, вам лучше бы уйти,— сказал полковой комиссар, подходя к стереотрубе.— Через четверть часа будет, вероятно, поздно.

— Я останусь... если можно.

Полковой комиссар ничего не успел ответить, потому что где-то за Саном глухо выстрелило орудие и тотчас за окопом, метрах в двадцати, стеной поднялась земля. Не успела земляная стена опасть, как за нею взметнулась, поднялась бесшумно новая, шире и выше прежней. И казалось, с вершины этой стены падают вниз сучья деревьев, какие-то жерди, скатилось что-то круглое, похожее на колесо автомашины. «Неужели снаряд угодил туда, на поляну, прямо в машину Кружилина? — с ужасом подумал Савельев.— А успели ее разгрузить или нет? Успели или нет?»

Полковой комиссар что-то кричал капитану, куда-то указывал, но из-за грохота слов было не разобрать. Потом они, забыв про Савельева, побежали по окопу. Антон постоял, не зная, что делать. Взгляд его упал на прислоненную к стенке окопа винтовку без штыка, он схватил ее и побежал вслед за ними.

Через несколько метров окоп стал мельче, потом раздвоился и вдруг — кончился. Савельев оказался на склоне голого холма, внизу перед глазами у него блестел Сан, и он увидел ту переправу, о которой по телефону говорил полковой комиссар. На нашем берегу, у самой воды, догорало несколько немецких танков, подбитых, видимо, давно, зато с противоположной стороны реки, по переправе, ползли и ползли не торопясь десятки вражеских машин.

В Савельева откуда-то стреляли, он чувствовал, как горячие вихри обжигают ему шею, лицо, видел, как вокруг, взбивая пыль, колотятся в землю пули, но растерянно крутился, не зная, что делать, побежал куда-то, инстинктивно заворачивая в сторону леса. Пули щелкали и щелкали вокруг. «Если добегу до леса, останусь, наверное, жив»,— подумал он спокойно и, неожиданно провалившись ногой в пустоту, упал.

— Вот чудо-юдо заморское,— услышал он над ухом.— Ты откуда, дядя, взялся тут? Не с неба упал?

Антон понял, что находится опять в окопе, на дне его сидели на корточках несколько красноармейцев.

Окоп был небольшой, метров тридцать в длину, но хорошо замаскированный, поэтому, подбегая, Антон его не заметил.

— Я этого чудака привез, товарищ младший сержант,— раздался знакомый голос.— Еще подумал: не десантник ли фашистский?

— Кружилин! Машину-то... успели разгрузить?

— Почти,— мрачно ответил Кружилин.

Бойцов было человек восемь. В дальнем конце окопа лежали трое, прикрытые шинелями.

— Откуда в меня стреляли? — спросил Антон, потирая ушибленный бок.

— А вон на берегу немцы в песок зарылись. Мы их с утра держим.— Младший сержант зачем-то потрогал металлические треугольники на петлицах.

— Танки, братцы! — раздался испуганный вскрик.

— Тихо! — Младший сержант встал на колени, выглянул из окопа.— Ну, танки. Не видел ты их, что ли, сегодня? Сейчас их накроет некрасовская батарея.

«Не накроет уж, видно»,—с грустью подумал Савельев.

Все бойцы, встав на корточки, молча и угрюмо глядели через бруствер, как с понтонной переправы один за другим сползают темно-зеленые танки с черно-белыми крестами и, разворачиваясь, с ревом устремляются влево и вправо. Танк вправо, танк влево, танк вправо, танк влево...

— Обойдут нас,— негромко сказал Кружилин.

— Как же вы позволили переправу им навести? — спросил Савельев.

И как бы в ответ засвистели над головой пули, потом донесся треск автоматных очередей. Этот свист и треск слился в один протяжный вой, красноармейцы прижались на дно окопа, и только двое все продолжали глядеть туда, откуда стреляли немцы. Потом медленно, как бы нехотя, сползли по стенкам окопа вниз.

— А-а, черт, говорил же— без нужды не высовываться! — выругался младший сержант.— Оттащите их к тем троим.— И сверкнул белками глаз на Савельева.— Попробуй не позволь тут...

Небо густо застилали поднимающиеся где-то далеко клубы дыма. Антон догадался, это горит Перемышль. «А как же Львов? Бомбили немцы Львов или нет? И успел ли приехать Юрий?» — тревожно мелькнуло в сознании.

Неожиданно прекратились взрывы за спиной, перестали свистеть вверху пули. Младший сержант положил на бруствер винтовку и по-крестьянски поплевал на руки.

— Приготовиться!

Снизу, от реки, веером шли танки, четыре из них ползли прямо на окопчик. За танками густо бежали немцы, в касках, маленькие какие-то, коротконогие.

— Ого-онь! — закричал младший сержант.

Беспорядочный треск винтовок слился с отрывистым ревом немецких автоматов, воем танковых моторов и потонул в нем. Савельев дернул затвор, прицелился в темно-грязную фигуру бегущего немца и выстрелил. Немец сделал еще несколько шагов, споткнулся и, взмахнув руками, упал... Савельев удивился этому. «Ты гляди-ка... И правда, не разучился еще...»

Потом он стрелял и стрелял, пока затвор не клацнул вхолостую. Обернулся, поискал взглядом, у кого бы спросить патронов. Глаза его встретились с потухающими глазами младшего сержанта.

— У меня... в подсумке возьми, дядя...— прошептал парень, съезжая по стене окопа вниз. На его губах при каждом слове вспухали и лопались кровавые пузыри.

— Сержант!.. Слышь, сынок?! — затряс его Антон, но парень закрыл глаза. Голова его тяжело откинулась в сторону.

Антон приподнялся. Танки были совсем близко. Оставив пехоту позади метрах в трехстах, они лезли на холм. По всему холму трещали выстрелы. Таких окопчиков, в каком находился Антон, на холме было, оказывается, много.

— Танки пропустить! Отрезать пехоту от танков! — крикнул знакомый капитан, спрыгивая в окоп.— А-а, это вы, Савельев... Не ушли? Прохоров! Сержант где?

— Вот,— сказал Кружилин, кивнув на труп.

Капитан наклонился над убитым.

— Это был лучший боец в моем батальоне,— сказал он грустно.— А мой батальон — лучший в полку.— Помолчал и прибавил: — Первый и третий батальоны уже смяты, уничтожены. Многие красноармейцы не выдержали, дрогнули... А мои не побегут. Вы видели, чтобы мои бойцы... хоть один... побежал бы?

— Нет.

Над головой раздался железный лязг, через окоп, обдавая людей вонью и копотью, обваливая на них землю, перевалился танк. Капитан упал на труп бойца, словно хотел своим телом прикрыть его от гусениц.

— И не увидите,— сказал он, отряхиваясь от земли. И зачем-то спросил: — Может, ты, Кружилин, испугаешься и побежишь?

— Я не побегу, товарищ капитан,— хмуро сказал боец.

— Вот... А вообще-то... немцы слева и справа прорвались далеко вперед. Гранаты — к бою!

Савельев выглянул из окопчика и метрах в пятидесяти увидел немцев. Так близко он их видел впервые. В грязно-серых расстегнутых блузах, с засученными рукавами, в рыжих касках, они беспорядочной толпой бежали прямо на окоп.

— Грана-атами-и...— протяжно крикнул капитан над ухом.

У Савельева гранат не было, он, вдавив в магазин патроны, прицелился в широкоплечего немца. Целился и думал, что немец, вероятно, тоже видит его, вот и автомат вскинул в его сторону... Выстрелить Антон не успел, перед немцем брызнул земляной сноп. Савельев еще видел, как, переломившись назад и вбок, падал этот немец, а потом все закрыла стена гранатных разрывов.

— Отставить! — раздался голос капитана.

Выстрелы смолкли, дым и пыль впереди медленно рассеивались. Перед окопом на земле беспорядочно валялись немцы, но было видно, что это не трупы.

— Лупи, лупи их, ребята-а! — совсем не по-командирски закричал капитан. Голос его разнесся по всему холму.— Не давать им подняться! Бить прицельно!

По всему холму опять загремели винтовочные выстрелы. Немцы стали отползать.

...Усеяв склоны холма трупами, фашисты отползли почти к самому берегу реки, на свои старые позиции. Установилась тишина.

Капитан вытер правой рукой грязный лоб, огляделся.

— Все у нас живы?

— Почти,— откликнулся Кружилин и начал стаскивать в дальний угол окопа трупы бойцов.

В живых осталось, не считая капитана, Кружилина и его, Савельева, три человека. Левая рука капитана висела плетью, на плече расползлось большое темное пятно.

— Так,— сказал он и, сжав бескровные губы, сел на дно окопа, прислонился головой к стене.

Кружилин сказал:

— Вы ранены, товарищ капитан, давайте перевяжу.

Капитан молчал.

— Сейчас они опять полезут,— проговорил Савельев.

— Подождут маленько,— усмехнулся капитан.— Зачем рисковать? Вот, послушайте,— кивнул он на стенку окопа.

Савельев прижал ухо к стене и уловил, что земля чуть подрагивает.

— Где-то далеко танки, кажется, идут.

— Нет, они уже близко. Они уже подходят к переправе.

Савельев приподнялся над окопчиками и увидел, что на той стороне Сана к понтонной переправе подходит новая колонна танков.

— Ну, а где же наши пушки? — простонал Кружилин, тоже глянувший в сторону реки.— Товарищ капитан, почему молчат наши пушки?

— Разве я артиллерией командую, Кружилин? — строго спросил капитан. Боец опустил голову.

Потом все молчали, слушали, как гудят на той стороне Сана танки.

— Слушай, капитан,— проговорил наконец Савельев.— Надо что-то делать...

— Ну что? — равнодушно спросил капитан.— Отступать?

— Может быть...

— Так...— усмехнулся капитан. — А приказ был?

— Но ведь зазря люди гибнут, бессмысленно.

— Не знаю.

— Что не знаете?

— Бессмысленно или нет. Это командование дивизии знает.

Капитан застонал от боли в плече, закрыл глаза. Савельеву стало жалко этого человека, и в то же время он с неприязнью подумал о нем: «Солдафон, наверное, тупоголовый. Приказа об отступлении нет...»

Савельев заговорил об отступлении не из боязни за свою жизнь, о себе он сейчас вообще не думает. Просто обстановка, в которой они очутились, заставляла его думать трезво и рассуждать логически.

— Савельев, я вот что хотел спросить,— раздался вдруг голос капитана. — Иван Савельев, что жил в Сибири, в деревне Михайловке, это не ваш брат?

Антон удивленно, всем телом, обернулся к капитану. Но тот сидел по-прежнему с закрытыми глазами. Грязный лоб его покрылся крупными каплями пота.

— Верно... брат. Младший...

— Вот видите.— Капитан открыл глаза.— А я вас сразу узнал... Такой же белобрысый Иван-то. А в Шантаре другой ваш брат живет, Федор. Тот чернявый.

— Верно... Да вы кто такой?

— А я — Назаров. Максим Панкратьевич Назаров. Из Михайловки я родом. Там, в Михайловке, отец мой, председатель тамошнего колхоза. Год назад я в отпуск к нему ездил... А служим вот вместе с земляком, с Кружилиным Василием.

— Постой, постой, это какой Кружилин? — Савельев нахмурился, потер лоб.— Кружилин, Кружилин? Фамилию вроде слышал... Нет, не помню. В Шантаре я, считай, мальцом последний раз был. Кажется, в девятьсот десятом году еще... Неужели я похож на Ваньку?

— Похож,— подтвердил Назаров.— Он, Иван, что же, не вернулся еще из тюрьмы?

— Не знаю,— сказал Савельев.— Что в тюрьме Иван, знаю. А вот за что? У старшего брата несколько раз спрашивал — не отвечает даже на письма. А жена Ивана — ей я тоже писал — одно твердит: невиновен Иван...

Давно уже был слышен шум моторов и лязг гусениц. Капитан шевельнулся, привстал, глянул через бруствер.

— Ползут. Еще жарче сейчас будет. Вы, Савельев, сейчас еще можете уйти... А мы не имеем права. Вы ведь, кажется, ехали с Кружилиным по Дрогобычскому шоссе, видели, что там делается? Наша задача — задержать немцев как можно дольше, чтобы дать людям возможность отойти от Перемышля подальше. В этом — весь смысл. Другого нет. Там женщины и дети...

У Савельева перехватило в горле. Он глотнул тугой ком слюны.

— Я понял... Я останусь. Куда мне идти...

— Дело ваше,— холодно сказал Назаров.— Кружилин, ты тут за старшего будешь. Танки, как и в первый раз, пропустить, отрезать пехоту... Если что, я на батальонном КП...

И выскочил из окопа, не обращая внимания на свист автоматных очередей, побежал вдоль холма, придерживая здоровой рукой фуражку...

По команде Кружилина бойцы приготовили гранаты.

— А ты, батя, умеешь? — спросил Кружилин, протягивая гранату и Антону.

— Приходилось. Только больше самодельными.

— Дело простое: вот так выдерни чеку — и швыряй!

Но воспользоваться гранатами на этот раз не пришлось. Танки заползли на

холм и с остервенелым ревом принялись сновать взад и вперед по его плоской макушке, крутиться на месте, распахивая неглубокие окопчики, размалывая в них людей. Огромная лязгающая махина, закрывая дымное небо, приближалась и к окопу, в котором был Савельев.

— Ложи-ись! — почти беззвучно закричал Кружилин, широко раскрыв рот.

Где-то сбоку раздавались взрывы, беспорядочная винтовочная трескотня. Антон обернулся и увидел — между двумя соседними траншеями ворочается черная железная махина, а красноармейцы из окопов швыряют и швыряют в нее ручные гранаты, бьют из винтовок, целясь, видимо, в смотровые щели. Но танк был неуязвим, гранаты отскакивали от брони и рвались вокруг.

— Да ложись же! — рявкнул Кружилин в самое ухо, дернул его за пиджак.

Антон повалился и, падая уже, увидел, что танк выбросил султан кроваво-черного дыма и тут же вспыхнул костром. «Ага, ага!..» — злорадно почти вслух выкрикнул Савельев. Еще он увидел на миг светлую ленту Сана, и немцев, которые беспорядочными кучками взбирались на холм, и плоское, грязное днище танка над головой. Оно пялилось куда-то вверх, потом упало на окоп тяжелой многотонной крышкой. «Ну, сейчас мы вас встретим...» — подумал Савельев о немцах, сжимая гранату. Он упал неудачно, подвернув под себя руку. Граната больно давила в ребро. «Ничего, сейчас, сейчас...» — стиснул он зубы, пересиливая боль. Но сверху, на спину ему, обвалилась земля, засыпала с головой. Сразу стало нечем дышать, совсем нечем... Перед глазами в черной непроницаемой мгле вспухли оранжево-зеленые круги и со звоном лопнули, брызнули во все стороны белыми-белыми искрами...

* * *

Антон очнулся оттого, что кто-то пытался вывернуть ему руку. Он застонал.

— Ага, живой... Тихо только! Тихо,— услышал он сквозь звон в голове и почувствовал, как сваливается с него тяжесть.— Вылезайте...

Василий Кружилин наполовину откопал Савельева, взял его за плечи, кое-как вытащил из-под земли. Антон сел, тяжело и жадно стал вдыхать теплый ночной воздух, пропитанный запахом пороха, бензина и горелой краски.

— Это ты, сынок? А еще есть живые?

Боец не ответил. Он сидел в двух шагах, рассматривал немецкий автомат, пытаясь вставить в него рожок.

На противоположной стороне Сана горели костры, мелькали между деревьев огоньки. У Савельева сильно болел бок, он засунул под рубаху грязные пальцы, пощупал ребра, пытаясь определить, целые ли они. Но определить не мог.

— А-а, черт, темно! — с досадой сказал Кружилин.— Как он, дьявол, вставляется?

Было тихо, совсем не верилось, что недавно здесь кипел бой. Неподалеку в полутьме чернела бесформенная глыба — наверно, тот танк, который все же удалось подбить гранатами. В небе, видимо, все еще стлались дымы, потому что там то вспыхивали, то исчезали россыпи звезд. А может, ветер гонял клочья облаков — понять было нельзя.

Боль в боку поутихла, притупилась, и Антон подумал, что ребра его все же целые, наверно.

— Что ж теперь делать нам, сынок? Надо ведь что-то делать.

— А что нам, холостым! — усмехнулся Кружилин. —Сейчас в Перемышль зайдем, тяпнем в забегаловке грамм по полтораста для лихости да к бабам завалимся. Шикарная у меня деваха есть в Перемышле... А у ней подруга — ух! И все просила меня товарища привести, познакомить. Вы как, папаша, насчет женсостава-то? В силе еще?

Кружилин пошловато хохотнул, но странно — этот хохоток и слова парня не рассердили Антона, не обидели, а заставили улыбнуться. Антон подумал, что Кружилин совсем не пошляк, просто в нем не перебродила еще молодая кровь и он любит жизнь. И очень хорошо, что он, Кружилин, пережил сегодняшний день, остался цел в этой мясорубке и вообще теперь останется живой. Через неделю, через две в крайнем случае, немцев отбросят обратно за Сан, Кружилин снова будет ходить в Перемышль, к своей «шикарной девахе», а на этом холме поставят памятник

погибшим в сегодняшнем бою. Простой деревянный обелиск, наверное, со звездой наверху. Надо будет потом специально приехать сюда, поглядеть на памятник.

Василий все возился с автоматом, щелкнул какой-то пружиной.

— Ага, вон какая музыка,— сказал он удовлетворенно и встал. — Ну, пошли, папаша. Винтовку вот возьмите.

Кружилин был тоже оборванный, один рукав гимнастерки обгорел, а на щеке засохли полосы крови. Все это Антон разглядел, когда на минуту вывалилась из-за дыма (все-таки это были дымы) луна и облила искореженную землю бледно-молочным светом.

— Ты ранен, сынок? — спросил Савельев.

— Пустяки. Гусеницей скребануло. На пяток сантиметров бы правее — и мокрое место вместо головы. А так кожу только царапнуло да клок волос выдрало. Я — счастливый.

Боец пошел впереди, шел быстро, уверенно,— наверное, он знал, куда идти.

— Лелька так и говорит: «Счастливый ты, Вась». Я спрашиваю: «Почему?» — «А потому что, говорит, я люблю тебя...» — Кружилин обернулся, подождал, пока подойдет Савельев, и сообщил строго: — А вообще-то мы пожениться договорились. Вот отслужу действительную — мне три месяца осталось — и сразу увезу ее в Шантару. В армию-то я из Ойротии уходил, там отец мой работал. А сейчас его опять в Шантару перевели. Приеду — и сразу свáдьбу. А, здорово?

— Куда мы идем?

— Да, счастливый я,— продолжал Василий, усмехаясь.— Что тут было! Танки перепахали окопы, ушли, как только ихняя пехота вскарабкалась на высоту. Забегали, загалдели, стрельбу подняли. Добивали тех, кто еще живой. Я лежу, приваленный землей, одна голова наружи. Почему они меня не пристрелили? Потому, наверное, что морда вся в крови, думали, мертвый. А некоторых с земли повыдергивали, согнали в кучу. Кто мог идти, угнали куда-то, остальных очередями прошили. Все мне видно. Потом все ушли. Я мог бы засветло уползти, да через понтонный мост все шли и шли колонны ихних войск, автомобили, тягачи с пушками. Заметили меня с моста бы...

Он говорил и говорил не останавливаясь. Савельеву теперь неприятен был его голос. Радуется, что в счастливой рубашке родился, ишь расписывает как все радостно. И он невольно замедлил шаг. Кружилин через полминуты опять остановился. И когда Савельев подошел, парень вдруг качнулся, окровавленной головой уткнулся ему в грудь.

— Ты что, Кружилин?! Вася?!

— Я все видел, все видел...— не отрывая головы, сквозь рыдания проговорил Василий.— У танков гусеницы в крови, броня чуть не до башни кровью обрызгана... А за некоторыми кишки волочились... как мокрые веревки. Как же это, а? Как это случилось? Зачем, а?!

Парень рыдал, по-детски всхлипывая. Савельев, изумленный, ничего не мог сказать, только гладил красноармейца по плечам, по грязным, в засохшей крови, волосам.

— Ничего... ничего, сынок... Все будет хорошо.— Подумал и прибавил: — А ты, конечно, женись на этой Лельке. Обязательно, слышишь?

Василий молча оторвался от его груди, сгорбившись, быстро пошел к темной стене леса, почти побежал. Савельев тоже заторопился, боясь отстать, потерять его в темноте.

Он догнал бойца на опушке. Парень сидел на корточках перед каким-то человеком, лежавшим навзничь. Савельев нагнулся и узнал капитана Назарова.

— Вот...— ткнул кулаком Василий в сторону Савельева.— Папаша этот, что в машину ко мне заскочил. А больше никого...

— Ты, Кружилин, хорошо проверил? — Назаров тяжело, с хрипом, дышал, глаза его, кажется, были закрыты.

— Я весь бугор излазил, каждый труп в руках подержал. Нету больше живых.

— Хорошо, Кружилин. Молодец ты, Вася. Спасибо тебе... Только зря ты со мной возишься...

— Что вы, товарищ капитан! Вы еще на свадьбе у меня... обязательно должны...

— Пить... что-нибудь есть?

— Нету воды, товарищ капитан. Хотя, постойте. Там немец с фляжкой лежал...

Кружилин исчез в темноте. Назаров дышал все так же шумно и тяжело. Савельев сидел рядом, сжимая между колен винтовку. Никаких мыслей в голове почему-то не было. И радости оттого, что жив, что Кружилин раскопал и вытащил его, тоже не было.

— Вы, Савельев, как, целы? — спросил Назаров.

— Сам не пойму... В голове все шумит. А так...

— Если выберетесь, скажите моему отцу, напишите, что... В общем — сами знаете. Сами все видели, что мы могли, что не могли... А Кружилин зря меня сюда выволок. Ноги у меня перебиты. Обе. И плечо. И грудь.

Вывернулся из темноты Кружилин, присел возле капитана, начал поить из фляжки. Потом сказал:

— Надо в лес нам. Поглубже. А там видно будет. Должны же где-то быть наши. Слышите, товарищ капитан!

— Я слышу, Кружилин. Вы идите. Оставьте меня здесь. Это — мое приказание. Ясно?

— Куда яснее,— усмехнулся Василий.

Было, видимо, за полночь, в воздухе посвежело, потянул ветерок, относя куда-то за Сан запах сгоревшего тола, бензиновую вонь. Верхушки деревьев угрюмо шумели.

И этот же ветерок донес гул далекой канонады. Савельев почувствовал, что бледнеет, что в сердце начал проникать неприятный озноб. Кружилин стоял рядом, как столб, не шелохнувшись, даже капитан стал тише дышать — все прислушивались к этому далекому, неясному гулу.

— Это что же, а? Это куда же они прорвались, а? На сколько же километров?..— растерянно произнес Кружилин. Он говорил как раз о том, о чем думал, бледнея, Савельев.

— Это за Днестром... Это, наверное, наш аэродром они бомбят,— негромко произнес Назаров.— Под Дрогобычем есть аэродром... Не могли они... так далеко прорваться...

Даже Савельев понимал, что Назаров говорит это для успокоения, что это не бомбы рвутся, это артиллерийская канонада.

— Ну ладно,— решительно встал Василий и протянул автомат Савельеву.— Пошли, а то скоро рассвет.

— Я приказываю тебе, Кружилин... не трогать меня! Идите...

Не обращая внимания на слова, на стоны Назарова, боец приподнял его с земли, посадил. Потом присел сам, ловко взвалил капитана на плечи, выпрямился, постоял, будто пробуя тяжесть, и, пошатываясь, двинулся в лес.

...До самого рассвета они шли по лесным тропинкам, стараясь держаться в сторону Львова, по очереди несли тяжелое, обмякшее тело капитана. Сперва Назаров все стонал, потом перестал, не подавал признаков жизни. Шли молча, только один раз Савельев спросил, принимая на свои плечи Назарова:

— Он живой ли?

— Теплый пока,— ответил Василий, часто дыша широко открытым ртом.

У Антона под тяжестью тела подламывались ноги, сперва он думал, что не сумеет сделать и шага, упадет и уронит раненого, но, к своему удивлению, шел и шел вперед. Иногда запинался о кочки, ноги путались в траве. Но он шел, боясь упасть и зная, что не упадет.

Было по-прежнему темно и тихо, и было непонятно, куда и зачем они идут и был ли вчерашний кошмарный день или все это привиделось в тяжелом сне, в каком-то бреду. Антону казалось, прольется рассвет — и все встанет на свои места, он вернется в Перемышль, с утра сходит в парикмахерскую, и тот старый парикмахер ладонью намылит ему щеки и, что-нибудь рассказывая, начнет стремительно махать перед глазами бритвой. Потом пойдет на кирпичный завод и будет ругаться с директором. Затем позвонит домой, во Львов, поговорит с приехавшим сыном, сообщит жене, что задерживается еще на несколько дней, потому что директор кирпичного завода никак не хочет давать ему кирпичи. «А почему, я думаю, не хочет?

Может быть, он сразу распорядится об отгрузке... И тогда сегодня же вечером я сяду на львовский поезд...»

К действительности его вернул тревожный вскрик Кружилина:

— Назад! Немцы же... Немцы!

Оказывается, они вышли к какой-то дороге. Наступал рассвет, небо над головой серело, и в серый сумрак уползала куда-то эта дорога.

— Где немцы? — Савельев не видел никаких немцев. Туман над дорогой пронизывали дрожащие желтые полосы. Но что это такое, Антон сообразить не мог.

Василий толкнул его в бок, почти повалил в густой кустарник, росший на обочине. И только тогда Савельев услышал быстро приближающийся автомобильный рев.

В кустарнике они пролежали около часу. А немецкие машины все шли и шли, обдавая их пылью и бензиновым перегаром.

Серая муть растекалась по земле, рассасывалась, где-то вставало солнце, багрово окрашивая редкие теперь клочья не то дыма, не то грязных облаков. Кустарник, в котором лежали беглецы, только ночью казался густым, а на самом деле он с дороги просматривался, видимо, насквозь. Во всяком случае, Савельев отчетливо видел сквозь заросли каждую автомашину, солдат, сидящих в кузовах ровными рядами, шоферов... «Сейчас они нас увидят... Станет еще посветлее — и увидят»,— равнодушно думал Савельев. Василий думал, наверно, о том же, потому что, подрагивая рассеченной бровью, хрипло сказал дважды, подтягивая к себе автомат:

— Даром не достанемся... Даром не достанемся...

К счастью, колонна прошла, с автомашин их не заметили. Но они не знали, что с противоположной стороны дороги за ними давно и хладнокровно наблюдало несколько пар глаз, что их давно держали на прицеле.

В плен их взяли быстро, бесшумно и до удивления просто.

Когда прошла последняя автомашина, они еще минуты три полежали в кустарнике. Потом Василий сказал:

— Я говорил, что я счастливый... Вы, папаша, со мной не пропадете. Устали?

— Тяжелый он,— вместо ответа сказал Савельев.

Василий приложился ухом к груди капитана, послушал.

— Живой, кажись... Ну, моя очередь. Держите автомат.

Василий привстал, огляделся. Перекинул через плечо бесчувственное тело Назарова и побежал через дорогу.

Они вышли на крохотную полянку, и здесь Савельева кто-то сшиб страшным ударом в голову. Он все-таки вскочил, сквозь кровавую пелену увидел чье-то улыбающееся, круглое и чужое лицо. И еще увидел, как беспомощно крутится на поляне Кружилин с телом капитана на плечах, а вокруг, наслаждаясь беспомощностью русского бойца, стоят и гогочут несколько немцев. Все это промелькнуло перед глазами Савельева в одну секунду. Он повернулся, увидел, как немец с жирным лицом поднимает с земли его винтовку и автомат, которые Антон, падая, выронил, кинулся было к нему, надеясь вырвать винтовку, но другой немец подскочил сбоку и ударил в плечо чем-то тупым и тяжелым. Савельев откатился на самый край поляны, но опять вскочил... Прямо в глаза ему смотрел черный зрачок автомата.

* * *

Так и не дозвонившись до Новосибирска, Поликарп Матвеевич вышел из райкома. Евсей Галаншин, конюх, скреб метлой перед крыльцом, сгребая мокрые окурки, сбитые дождем листья.

— Дождик-то славный пролился,— сказал Кружилин.— Хорошо для пшенички.

— Дождь парной — хлеба́ волной. Это уж так,— подтвердил старик.— Да корявый Емеля и есть не умеет. Ему кашу в рот кладут, а она вываливается.

— Это почему?

— А сам корявый — и рот дырявый,— ответил старик, сел на ступеньку крыльца, полез за табаком.— У нас в районе каждую осень половина хлебушка на токах горит, в землю копытами втолочивается... Робят люди, робят, а потом полурожая гробят.— И сделал неожиданный поворот: — Вот и ты, гляжу, какой день

все с бумагами возишься. Верка на машине этой трещотистой стучит, а ты все носом ее бумажки ковыряешь. Я вижу. Я хожу вокруг райкома, в окна подглядываю, ну, мне и все видно, кто чем занимается.

Кружилин улыбнулся:

— Это какая же связь между потерями на уборке и моими бумагами?

— А самая такая... До тебя тут Полипов все так же бумаги всякие грозные составлял: быстрее сейте, быстрее косите! Перевозил я этих бумаг в колхозы многие пуды! Ну, люди все бегом, бегом, лишь бы в эти бумажные сроки уложиться. А когда с полным ведром бежишь, не хочешь, да половину расплескаешь. И ты вроде этим же манером хочешь к уборочной подступать. А? Чтоб быстрее всех в области отстрадовать? Полипов у нас завсегда первый был.

— Нет, Евсей Фомич, я не такие бумаги составлял... Убирать хлеба будем по-крестьянски, чтоб без потерь.

— Ну, это поглядим еще,— усмехнулся старик.

Шагая к дому, Кружилин думал о Полипове. Район при нем действительно вышел на первое место в области. И, дав в обкоме согласие вернуться на прежнюю работу, Поликарп Матвеевич полагал, что Полипова ожидает повышение по службе. И это, размышлял Кружилин, справедливо и естественно — Полипов, как видно из его личного дела, коммунист с дореволюционным стажем, неоднократно сидел в царских тюрьмах. Вместе с нынешним секретарем обкома партии Субботиным устанавливал Советскую власть в Новониколаевске. Во время белочешского мятежа опять попал в руки белогвардейской контрразведки, но из тюрьмы бежал, служил затем комиссаром в одной из частей Красной Армии. После гражданской войны работал в новосибирских партийных органах, вплоть до избрания первым секретарем Шантарского райкома партии. И очень удивился, когда Полипова оставили в Шантаре на должности предрика. Полипов был, кажется, обижен. И Кружилин если не сочувствовал Полипову, то, по крайней мере, понимал его состояние. И было ему как-то неловко перед Полиповым, словно по собственной прихоти взял да сместил его с поста первого секретаря, освободив для себя место. Однажды Кружилин хотел даже откровенно поговорить с ним об этом, но Полипов резко сказал, как отрезал:

— Не надо. Я понимаю, что ты ни при чем. Не маленький.

Вторично Кружилин удивился, когда стал знакомиться с хозяйствами бывшего своего района: колхозы, что называется, нищенствовали. Неделимые фонды давно не пополнялись, коровники, телятники, конюшни повсюду разваливались, на трудодни людям выдавали мало...

За последние два-три года сельское хозяйство страны круто пошло в гору, трудодень становился все обильнее. И веселее становились люди, разговорчивее, открытее. Зазвенел громче по деревням смех, чаще заплескалось веселье. В магазинах не стало хватать ситца, велосипедов, а главное — патефонов. Здесь, в Шантаре, все было наоборот. Колхозники встречали его если не хмуро, то молча, настороженно, в разговоры почти не вступали. В магазинах было достаточно и велосипедов и патефонов.

«Вот тебе и передовой район!» — все более мрачнел Кружилин.

Однажды он заночевал в Михайловке, поделился этими мыслями с Назаровым. Председатель колхоза слушал, что-то мычал, но было непонятно, соглашается он с Кружилиным или нет.

— Да что ты, Панкрат, мычишь, как телок? — резко спросил Кружилин.— Может, я чего-то недопонимаю или вовсе не прав, ты прямо и скажи.

— Ишь ты, прямо... Прямо дикие утки вон летают. Так это птица глупая.

— Постой, Панкрат... Да ты, никак, хитрить научился?

Назаров неуклюже полез из-за стола, чуть не опрокинув стакан с недопитым чаем. Раскачивая руками, прошел через всю комнату, снял со стены полушубок, натянул его.

— А заяц вон тоже, может, глупый,— проговорил он, отыскивая шапку.— А следы петляет. Жизнь, стало быть, учит его. Потому что на земле живет, а не в пустом небе летает...

Кружилин наблюдал за ним, прищурив от изумления глаза.

— Изменился ты, Панкрат, за это время...

— Дык двадцать четвертый год Советской власти идет. Пора и меняться.

Голос старого председателя был глух, печален, слышалась в нем откровенная горечь.

— Так...— промолвил Кружилин и тоже поднялся из-за стола.— Не потому ли у тебя и колхоз напротив других покрепче, что петлять научился?

— Нет, никудышный колхозишко... Люди живут, может, посправнее, это так... Ежели по твоим приметам судить, по патефонам, то... у нас их ничего, покупают.

Последние слова он прибавил с чуть заметной усмешкой, повернулся навстречу Кружилину, и они стали грудь в грудь, смотря в глаза друг другу.

— Зачем ты так со мной, Панкрат?

— А я откуда знаю — прежний ты али нет? Может, надломила тебя жизнь и ты на Полипова стал похожий?

Потом в глазах Назарова что-то дрогнуло, он опустился на голбчик, стал глядеть куда-то в угол.

— Пуганая ворона, знаешь, куста боится. Прощай меня, Матвеич.

— Мне ведь работать с этим Полиповым. Что это за человек? — прямо спросил Кружилин.

Назаров еще помолчал, вздохнул.

— А дьявол ли в нем разберется. Но, по моему разумению, вредный, однако, для жизни человек.

— Чем же?

— Чем, чем?! Я откудова знаю чем! — вспыхнул было Назаров, но тут же, будто устыдясь, продолжал тише: — Ты гляди — в округе живут колхозы ничего вроде. А в нашем районе будто мор страшный прошел. Как Полипов стал секретарем райкома, так и начался этот мор.

— Значит, ты считаешь, все дело в Полипове?

— Рыба с головы гниет...

— Ну, а все же, вы-то чего тут? Ты вот, другие председатели?

— А чего мы? Нас приучили, как солдат, к командам. Сегодня просо сей, завтра — ячмень. Ваш райкомовский конюх дед Евсей, бывало, привезет бумагу — немедля начать сеять,— а на дворе дождь со снегом, а то и буран хлещет.

— И что же вы?

Назаров пожал плечами:

— Бывало, что и сеяли, в стылую землю семена зарывали. Зато район всегда первым по области посевную заканчивал. А хлебозаготовки? Выполним весь план, Полипов добавочный спускает. Излишки, дескать, есть, сдавайте Родине излишки. Ну, по хлебосдаче мы тоже всегда первыми. Передовой район! А хозяйство что? Оно хиреет. На трудодни фига остается. Ну, терпишь-терпишь, да иногда и... сотню-другую пудиков пшенички скроешь. На душе муторно, будто украл хлеб-то... Или рассвирепеешь — да бумагу ему, рапорт: все честь по чести, сев закончили. А кой хрен закончили, когда пашни еще каша кашей, ноги по колено вязнут. Да..., А потом ночами сердце все исщемит, все ворочаешься. Все слушаешь, не стучат ли дрожки... Якова Алейникова.

— Во-он как!

— А ты думал — как?

«Да, Полипов, Полипов...» Кружилин эти полгода все присматривался к нему. Вроде бы человек как человек. Ведет, правда, себя замкнуто, но обязанности новые выполняет если не хорошо, то добросовестно.

Кружилин жил в том же одноэтажном бревенчатом доме, что и до отъезда в Ойротию. Только сейчас дом был обнесен высоким глухим забором, выкрашенным в зеленый цвет.

— Зачем ты забором отгородился? — спросил Кружилин у жившего в этом доме Полипова в первый же день приезда. У крыльца стояла полуторка, дед Евсей, райкомовская сторожиха и сам Полипов бегали по перемерзшим ступенькам, носили из дома и бросали в кузов матрацы, стулья, связки книг.

— Это не я. Это Алейников приказал огородить,— бросая в кузов валики от дивана, сказал Полипов.— А зачем — его уж дело. Ему виднее.

Стоял морозный день, нетронутый, немятый снег больно искрился. Полипов был в одном свитере, в шапке, от него шел пар.

Грузился он торопливо, как-то демонстративно-показательно.

— Зря ты это, Петр Петрович,— сказал Кружилин.

— Чего зря?

— Переезд затеял. Мы с женой поселимся в доме, где жил бывший предрика. Или еще где. Сын у меня в армии служит, много ли места нам с женой надо?

Полипов вытер ладонью широкий вспотевший лоб, попробовал улыбнуться.

— Нет уж... Закон порядка требует. Я в этом деле педант, хотя это, может быть, и смешно...

Машина уехала, а дом стоял пустой, неприглядный, будто разграбленный. Кружилин закрыл ворота, вошел в дом, походил по пустым комнатам. На пыльных полах валялись бумажки, окурки. «Забор вокруг дома надо будет сломать»,— подумал он.

— Устраиваешься? — услышал голос Алейникова.

Яков в добротном кожаном пальто с меховым воротником, но в потертых собачьих унтах стоял у дверей и улыбался.

— Слушай, зачем ты дом-то обгородил глухой стеной? — спросил Поликарп Матвеевич.

— Я? Это Полипов приказал обгородить. Ну, устраивайся, устраивайся.— Он оглядел зачем-то запоры на дверях.— Впрочем, ремонтик сперва надо бы сделать. Ты маленько еще потерпи в гостинице.— И он подошел к телефону, крутнул два раза ручку.— Катенька, райкомхоз мне... Ага, Малыгина! Малыгин?.. Да, я... Слушай, квартиру секретаря райкома надо привести в порядок. Срок — два дня.

Тот, кого Алейников назвал Малыгиным, видимо, что-то говорил.

Яков слушал, покусывая нижнюю тонкую губу.

— Ты мне не заливай, я говорю — два дня, и точка. Все.— Он повесил трубку.— Черти, вечно у них отговорки. Ты извини, что я, так сказать, вмешался. А то они тебе за две недели не отремонтируют.

— Прикажи уж заодно этот чертов забор снести.

— Забор? Зимой-то?! — улыбнулся опять Алейников.

— Да, верно... Ладно, подождем до весны.

Алейников согнал улыбку.

— От какой ты... Поставили — пусть стоит. Не по собственной прихоти, должно быть, его поставили. Не понимаешь, что ли?

«Эх, Яша, Яша! — вздохнул Кружилин, когда Алейников ушел.— Боюсь, опять мы с тобой не сработаемся».

Поликарп Матвеевич еще, наверное, с полчаса бесцельно бродил по пустому дому, долго стоял в маленькой комнатушке, в которой когда-то жил сын Василий. Вот здесь, у стены, стояла его кровать, здесь — столик, где он готовил уроки. Тут была полка, уставленная игрушечными танками. Васька, кажется, с первого класса забредил танками, лепил их из хлебного мякиша, вырезал из картона, выпиливал из досок. А потом забросил танки, увлекся авиацией, день и ночь строгал реечки, планочки, мастерил из них крылья и фюзеляжи планеров, самолетов, обклеивал папиросной бумагой. Это было уже там, в Ойротии... Но к десятому классу остыл и к авиации; к чему лежала у него душа — он и сам уже не знал. Он так и сказал:

— Не знаю, батя, на что свою жизнь истратить. Хочется на что-то необычное. А вот неясно пока, в голове какой-то розовый туман качается. Знаешь, скоро мне на действительную. Отслужу, а там видно будет. За время службы, может, продует мозги.

С тем и ушел в Красную Армию.

А здесь, в этой комнате, был кабинет. Поликарп Матвеевич вспомнил, что любил работать здесь по утрам. Окнами дом выходил на площадь, посреди которой стоял простенький памятник павшим борцам за Советскую власть — темно-красный, как застывшая кровь, деревянный обелиск. Здесь, в этой братской могиле были похоронены многие бойцы его партизанского отряда. Зимой, каждое утро, когда вставало солнце, если окно в комнате не было замерзшим, тень от пятиконечной звезды, которой был увенчан памятник, падала прямо на его рабочий стол. Вокруг памятника был разбит небольшой скверик. Летом, от зари до зари, он тонул в разноголосом птичьем гомоне.

Летом солнце вставало из-за горизонта много восточнее, поэтому тень от звезды на стол не падала. Но зато, стоило лишь распахнуть окно, этот птичий перезвон сразу, обвалом, врывался в комнату вместе со свежим воздухом, заполнял ее всю, до отказа. Пели птицы, под утренним ветерком чуть волновались тополя и клены, каждым листочком отражали яростное солнце, текли по небу над памятником легкие и свежие утренние облака, и казалось, что это вовсе не облака плывут над землей, а сама земля несется куда-то в неведомые дали, оставляя облака позади. Теперь за окном торчали унылые, почерневшие от летних дождей доски забора, поверх досок — верхушки деревьев, а поверх деревьев, правда, виднелась выпиленная из куска толстой плахи звезда. Она была в инее, под зимними лучами солнца горела, сверкала. Но сам памятник был отгорожен глухой стеной.

«Ну, нет! — чувствуя тупую боль в сердце, взорвался Кружилин.— Летом к чертовой матери этот забор!» И, круто повернувшись, вышел из дома.

Во двор въезжала подвода, груженная облитыми известью бочками, ящиками, банками с краской, за санями валила толпа людей в грязных ватниках. Впереди, как предводитель, шел представительный мужчина лет тридцати в желтом полушубке. Он подбежал к Кружилину, выдернул руку из меховой рукавицы, сунув ее, как копье, Поликарпу Матвеевичу:

— Вы — Кружилин, новый секретарь райкома? Будем знакомы. Я — Малыгин.— И обернулся к толпе: — Давай, давай, ребята, время в обрез, чтоб как из пушки у меня послезавтра к вечеру.— И опять крутнулся к Кружилину: — Вы, Поликарп Матвеевич, будьте спокойны, сделаем, успеем. У меня народ — жохи!

— Что значит жохи? Пройдохи, что ли?

— Не-ет, в смысле золотые ребята, умельцы. Это у меня словечко такое. Давай выгружай, завтра с утра еще поднаряжу к вам людей, со всех объектов поснимаю.

Малыгин суетливо бегал вокруг саней, распоряжался. Кружилин с неприязнью поглядел на него: «Сам-то ты жох, однако, первостатейный».

— Вы, смотрю, исполнительный,— сказал он вслух.

— А как же?! — В глазах у Малыгина плеснулось удивление.— Служба. Какие колера вам поставить?

— Ни с каких объектов людей снимать не надо.

— П-понятно...— растерянно уронил Малыгин.— Только непонятно насчет сроков.

— К концу следующей недели приведете дом в порядок — и хорошо. А цвет полов и стен мне безразличен.— И пошел со двора.

— П-понятно...— Кружилин чувствовал, как Малыгин недоуменно смотрит в спину, соображая, кому же подчиняться — ему или Алейникову.

Подчинился заведующий райкомхозом все-таки Алейникову.

...Все это Поликарп Матвеевич вспомнил, пока шел по затравевшей дорожке от калитки к крыльцу. Все быстро промелькнуло в памяти, и осталась, зацепившись за что-то, одна-единственная мысль: «Забор... Надо все же снести этот чертов забор! Сейчас же позвоню Малыгину — пусть завтра начинает ломать...»

— Скорее, скорее...— Это выскочила на крыльцо жена.

— Что такое, Тося?

— Из обкома звонят. Иван Михайлович...

Кружилин вбежал в комнату, подошел к телефону.

— Иван Михайлович?.. Здравствуй. Наконец-то... Я к вам весь день сегодня звонил. Кто из вас на актив к нам приедет?

— Боюсь, что никто...— Голос Ивана Михайловича был далек и глух.

— Что такое? Случилось что-нибудь? Иван Михайлович, ты слышишь?

— Я слышу, кричать не надо. Члены бюро у тебя на месте?

— Сегодня отдыхают. Завтра по колхозам с утра разъезжаемся — кое-где у нас с сенокосом заминки. Да что случилось?

— В четыре часа дня ожидается важное правительственное сообщение... Слушайте.

— Что? Умер кто-нибудь? Или... или...— И вдруг Кружилин почувствовал, как затяжелела в руке телефонная трубка, скользнула в запотевшей ладони. Чтобы не выронить ее, он так сжал кулак, что пальцы на сгибах побелели. Теряя голос, прохрипел: — Неужели, Иван Михайлович...

— Ничего не могу сейчас сказать. Слушайте радио. Если надо будет, звоните. Весь обком сейчас уже на месте… Советую тебе к четырем собрать всех членов бюро. Вместе послушайте. Ну а там — по обстановке. До свидания…

В трубке щелкнуло, но Кружилин не вешал ее, не отнимал даже от уха, так и стоял, окаменев, глядел через окно на верхушки деревьев, видневшиеся поверх забора, на звезду обелиска, плавающую поверх деревьев. Неожиданно в трубке кто-то всхлипнул:

— Поликарп Матвеич… Это война, война…

— Что? Кто это? — вздрогнул Кружилин.

— Это я, Катя, телефонистка…

— Ты откуда знаешь?

— Мне звонила подруга… телефонистка из Москвы. Они там, на телефонной станции, с утра знают. Война это… Как же это? — И опять донеслись рыдания.

— Ну, спокойно. Ты слышишь, спокойно, я говорю! — повысил голос Кружилин.— И чтобы у меня молчок! Поняла?

— Я поняла, я поняла, Поликарп Матвеевич,— жалобно сказала телефонистка.

— Ну и молодчина. А теперь, Катя, совсем успокойся. И обзвони всех членов бюро райкома. Всех разыщи и скажи, что я вызываю их к четырем часам в райком на срочное совещание.

— Ладно,— сказала телефонистка почти уже окрепшим голосом.

Подошла тихонько, медленно жена, полное, уже чуточку дряблое лицо было встревожено.

— Что? Что такое? — шепотом спросила она.

— Не знаю, Тося…— продолжая глядеть в окно, сказал Кружилин.— Кажется… война.

Глаза у Анастасии Леонтьевны стали раскрываться все шире и шире. Она тихо охнула, качнулась, метнув руку к сердцу, привалилась к мужу.

— А Васенька-то?! Как же теперь наш Васенька?!

— Ну-ну! — поглаживая теплое плечо жены, проговорил Кружилин, чувствуя, как холодком пощипывает сердце. Пощипало и отпустило…

* * *

Точно так же сердце начало пощипывать полтора часа спустя, когда из черного круглого репродуктора, установленного в его кабинете в углу на тумбочке, раздался глуховатый, будто чуть надломленный голос Молотова:

«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление…»

Но едва Молотов сказал несколько слов, холодок из сердца вдруг исчез, тело стало легким, невесомым, а в голове светло и ясно, будто он ночью испытывал какие-то кошмары, а проснувшись, понял, что это был всего-навсего сон…

А Молотов между тем говорил:

«…Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас…»

Поликарп Матвеевич слушал неторопливые, спокойные слова, падавшие из репродуктора в тишину, оглядывал собравшихся в кабинете людей и думал: «Война… Сколько же она продлится? Неделю? Месяц? От силы — месяц. Хасан, Халхин-Гол, финская даром не прошли, чему-то научили нас. Теперь ясно, что нас прощупывали, испытывали. Это мне ясно стало только сейчас, а Сталину, правительству ясно было давно. И конечно, не сидели сложа руки, подготовили Красную Армию, страну… Да, от силы — месяц».

Голова у Поликарпа Матвеевича стала чуть кружиться. Он почувствовал, как пьянит его знакомый диковатый хмель молодости, и улыбнулся. Впереди была работа, более трудная и напряженная, чем до сих пор.

Когда голос Молотова умолк, из репродуктора полились военные марши. Кружилин оглядел членов бюро. Все были хмуро-сосредоточенны, избегали смотреть друг на друга, будто каждый был в чем-то виновен пе-

ред другими. Полипов грузно сидел в мягком кресле сбоку секретарского стола, то барабанил пальцами по обтянутому кожей подлокотнику, то вытирал беспрерывно потевший лоб. Напротив него сидел майор Григорьев, военком, человек лет пятидесяти, давно седой, воевавший на Хасане и в финских болотах. Он, видно, до ломоты сжимал зубы, потому что на его чисто выбритых щеках вспухли крепкие желваки. Он смотрел куда-то вниз, между ног, солнечные лучи, падавшие через окно, играли в его седине, на его рубиновых шпалах.

Алейников не был членом бюро. Кружилин, давая согласие вернуться в Шантару, специально оговорил в обкоме партии, чтобы не включать его в состав нового бюро райкома. Но он тоже был в кабинете — Поликарп Матвеевич сам позвонил ему и попросил зайти. Сейчас он, как утром, стоял у окна и молча смотрел на дорогу.

Не вставая, Кружилин протянул руку к выключателю. Тишина тотчас оглушила.

— Ну что же, товарищи...— проговорил Поликарп Матвеевич раздумчиво и умолк. И вдруг усмехнулся.— Сегодня я с нашим конюхом-старичком беседовал. Об дождике сегодняшнем говорили, об урожае. «Дождик-то хороший прошел,— сказал старик,— хлеба волной поднимутся. Да корявый Емеля и есть не умеет».— «Как, спрашиваю, так?» — «А так, отвечает, сам тот Емеля корявый, а рот дырявый. Кашу ему в рот кладут, а она вываливается».

Полипов вскинул тяжелый взгляд, повел толстыми плечами. И другие поглядели на секретаря райкома с недоумением.

Кружилин встал и, не замечая, что голос его звучит чуть торжественно, сказал:

— Сегодняшний отдых придется нам прервать. Давайте проведем бюро райкома... первое военное бюро. Сами понимаете, что с этого часа, с этой минуты каждого из нас ждут новые неотложные дела и заботы, вызванные новой обстановкой. И главная наша забота сейчас — урожай. Давайте еще раз сейчас уточним наши планы уборочной. Мы должны провести страду и четко и быстро, это само собой. А главное — убрать все до зерна. Потери хлеба при уборке, кажется, очень больной вопрос в нашем районе... Садитесь, товарищи, поближе. И ты, Яков Николаевич, останься...

Кружилин умолк. Он стоял и слушал, как люди гремят стульями, смотрел, как они рассаживаются за длинным столом, сквозь гул и скрип стульев вдруг явственно прорвался, ударил в уши тревожно-режущий вскрик жены: «А Васенька-то? Как же теперь наш Васенька?!»

* * *

На усадьбе Шантарской МТС по случаю воскресного дня было тихо и безлюдно.

Тракторы Аникея Елизарова и Кирьяна Инютина стояли рядом. Моторы у обеих машин разворочены, Инютин и Елизаров грязными по локоть руками копались в их внутренностях. Инютин работал хмуро и молчаливо, Аникей Елизаров, крупноносый, лет около тридцати, с ярко-красными, будто чахоточными, щеками, то и дело негромко, но зло матерился.

— Куда эту прокладку ставишь? Не видишь — совсем сгорела,— часто одергивал Елизарова Федор Савельев.— А этот болт выброси, вся резьба сносилась. Чего вылупил бараньи глаза? Ступай новый нарежь... А ты, Кирьян, ровно все мозги пропил. Кто же так учил тебя болты шплинтовать? На первом же заезде шплинт вылетит... Ну, работнички, в дышло вам...

Федор отталкивал то одного, то другого, показывал, как надо делать. Руки его тоже по локоть были в мазуте.

Когда ударил ливень, все убежали в мастерскую. Там Федор растянулся на верстаке, Елизаров сел на банку из-под солидола и стал курить, Инютин стоял у грязного окна и сквозь замасленные стекла глядел на дождь.

— Ты что, Инютин, кислый, как недельное молоко? — спросил Елизаров.— Или переживаешь, что с утра трезвый? Когда ты, Кирьяша, пить-то бросишь?

— Ты лучше сам бы перестал в бутылку заглядывать,— не оборачиваясь, проговорил Кирьян.

— Это оно так, мне надо бросать, мне вредно,— согласился Елизаров.— Да

главное не водка. Эта бензиновая вонь здоровье мое съедает. Сам себя гроблю на этой работе. Уходить надо.— Елизаров послушал, как шумит дождь за стеной, поморгал красивыми глазами, в длинных, как у девушки, ресницах.— И уйду вскорости. Что меня тут держит? Конечно, тут заработки. Тебе, дядя Федя, понятное дело, такую семью кормить надо... А мне? Семьи у меня, окромя жены Нинухи, никакой нету... И еще для тебя слава, гляжу, не лишняя. А мне...

— Не болтай! — резко проговорил Савельев.

— Не нравится? — спросил Елизаров.— А за-ради чего ты прошлой весной на собрании пообещался на поводок нас с Кирьяном взять, стахановцев полей из нас сделать? И вот уже полтора года с нами бьешься?

— И сделаю! Я вас на Доску почета через год-другой вывешу.

— Ничего ты из нас не сделаешь. И ты это сам распрекрасно знаешь. А вот директор МТС поверил. В прошлом годе сразу же новый комбайн тебе дал. Поля для уборки отвел самые ровные, самые урожайные. Деньжонок-то да пшенички ты больше всех в МТС огреб. А нынче опять на самые тучные поля нацелился в «Красном колосе». У Назарова нынче самый урожай, говорят... Вглубь все видим, не слепые...

Федор свесил с верстака ноги. Сросшиеся брови его дрогнули, изломились, но тут же выпрямились.

— Ишь ты, наблюдательный какой! То-то гляжу, ко всем приглядываешься, принюхиваешься.

Елизаров испуганно уставился на Федора красивыми глазами.

— Всяк свою выгоду про себя знает,— усмехнулся Федор.— А то здоровье... Тебя бревном не перешибешь.

— Городишь что-то,— крутнул носом Елизаров, замолчал.

Когда кончился дождь, все трое до четырех часов работали молча, не переговариваясь.

— Шабаш,— сказал наконец Федор и стал отмывать руки в ведерке с бензином.

По территории МТС мелькнула девчонка в платочке, что-то крикнула на ходу, взмахнув обеими руками, умчалась к конторе.

Там маячили уже какие-то люди.

— Что за переполох? — проговорил Федор, обтирая руки грязной ветошью.— А ну-ка, узнаем.

Когда подошли к конторе, возле раскрытого окна директорского кабинета толпилось человек двенадцать. В кабинете тоже мелькали люди, на подоконник был выставлен радиорепродуктор. Чей-то неторопливый, глуховатый голос говорил, что германские войска во многих местах перешли сегодня утром чью-то границу, бомбили какие-то города. Какие — Савельев не мог понять, потому что в кабинете навзрыд заголосила женщина, заглушая голос из репродуктора.

— Что тут? Кто это говорит? — спросил Савельев.

— Тише! Молотов говорит.

— А что произошло?

— Что? Война началась!

Женщину в кабинете успокоили или увели куда-то. В установившейся тишине четко печатались слова:

«Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан нашим войскам приказ — отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей Родины...»

Федор слушал нахмурившись, дергал толстыми, заскорузлыми, пахнущими бензином пальцами черные усы. Елизаров беспрерывно крутил лохматой головой на длинной шее, растерянно хлопал ресницами. Он, единственный из всех, не стоял на месте, подбегал к окну то с одного, то с другого краю. А Кирьян Инютин сел поодаль от всех на землю, на обмытую ливнем траву, опустил голову и застыл недвижимый. Так он и сидел, пока в чистом, давно сухом и горячем воздухе не полились военные марши.

* * *

Иван и не заметил, как ушел Панкрат,— все стоял, прижимая горячую голову сына к груди. Володька был давно не стрижен, его густые волосы, жесткие и пыльные, пахли ветром, полынной степью. В груди у Ивана что-то сдавило, он

стоял и стоял, ожидая, когда боль стихнет. Наконец оторвался от сына, полез в котомку, достал банку консервов.

— Что это? — спросил Володька.

— Гостинец тебе.

Мальчишка повертел банку, не зная, что с ней делать.

— Это консервы. Не ел, что ли, никогда?

— Не,— тряхнул головой Володька.

Иван вскрыл банку, поставил на стол. Мальчишка попробовал сперва с опаской, потом начал уминать за обе щеки. Иван сидел напротив, смотрел на сына, в груди опять больно застонало, он отвернулся к окну. Возле дома в бурьянах бродил белолобый теленок.

— Это наш! — живо сказал Володька.— Дядя Панкрат нам подарил.

— Как подарил?

— Ну как? Отелилась у него корова, и он подарил. «Вырастите, говорит, корова будет».— И, помолчав, спросил вдруг: — А ты больше не враг народа?

Медленно-медленно Иван повернул голову к сыну.

— Это кто же тебе сказал... что я враг народа?

— Да кто? Пацаны все дразнили меня.

— Вон как,— тихо произнес Иван.

— Ага... Когда я маме сказал, что ребятишки дразнятся, она сказала: «А ты не верь...» А сама плакала ночами, я слышал... И дядя Панкрат тоже говорил, чтоб я не верил...

Иван опять долго глядел в окно.

— Они тебе правильно сказали — и мамка, и дядя Панкрат.

— Да я и сам знаю, что никакой ты не враг,— негромко проговорил Володька.— Какой же ты враг? Только...

— Ну, что?

— Непонятно только: почему ты в тюрьме-то сидел?

Иван опять прижал к себе его голову, стал гладить по спутанным волосам.

— А ты думаешь, сынок, мне понятно? Ну, ничего. Подрастешь — сам все поймешь...

— Как же я пойму, если тебе самому непонятно? — помедлив, спросил Володька.

Иван Савельев отошел от сына, присел на скрипнувшую под ним деревянную кровать. И ответил тринадцатилетнему сыну, как взрослому:

— Видишь, в чем тут дело, однако... Жизнюха-то наша, сынок, так закрутилась, что, барахтаясь в ней, и не разберешься, что к чему. А ты подрастешь, и как бы со стороны тебе все ясно и понятно будет.

Володька, наморщив лоб, пытался вникнуть в слова отца, сероватые глаза его стали не по-детски задумчивы.

— Ой! — сорвался он с места, схватил кнут.— Я сижу, а косари хлеб ждут. Даст мне выволочку дядя Панкрат!

Володька убежал, а Иван походил по комнате, разулся и прилег на кровать. Было непривычно вот так лежать одному, в тишине, на мягкой, чистой постели. И эта тишина, и высокая деревянная кровать с синими подушками из настоящего пера, большая, недавно выбеленная печь, чистенькое окошко, в которое вламывались потоки солнца,— все казалось нереальным, неправдоподобным. Непонятно было, как он, Иван, очутился в такой обстановке, не верилось, что он сколько угодно может лежать на этой постели, наслаждаться тишиной, чистотой, покоем.

«Ива-ан! Ваня-а!..» — хлестанул вдруг в уши истошный крик жены. Иван, оказывается, задремал. Судорожно вздрогнув, он приподнялся, сел на кровати. «Почудилось, что ли?»

Иван потряс головой, чтобы сбросить наваждение. Но оно продолжалось, потому что дверь в избу распахнулась, влетела Агата, страшная, разлохмаченная.

— Ива-ан! Ванюшка-а! — упала она ему в колени и тяжело забилась.

— Погоди, Агата... Что такое? Чего ты?! — не на шутку испугался Иван.

— Война, Иван! Война-а...

Агата подняла лицо, вместо глаз ее были черные, мутные ямы, по розовевшим недавно щекам, сейчас пепельно-серым, дряблым, вмиг износившимся, текли из черных ям слезы...

* * *

Семен и Вера возвращались в село степью. Был уже поздний вечер, солнце садилось. Сбоку текла Громотуха. Назвеневшись за день, она текла безмолвно, лениво, заходящее солнце окрашивало ее в медно-золотой цвет.

Колька Инютин, Димка и Андрей ушли домой раньше.

Время от времени девушка останавливалась и говорила:

— Сема, еще разок.

Семен целовал ее. Вера оплетала его шею горячими руками, плотно прижималась, точно прилипала, всем телом.

— Ненасытная ты.

— Ага, жадная я,— соглашалась Вера.— Губы болят, а мне все хочется... Ох и любить я тебя буду, Семушка! Все парни завидовать будут.

Возле села, на берегу реки, толклись несколько парней и девчонок. Какой-то человек в белой рубашке с засученными по локоть рукавами сидел на плоском камне, тренькал на гитаре.

— Там вроде Манька Огородникова... Погоди, я сейчас... Я ей платье заказывала.

Вера побежала к берегу, о чем-то стала говорить с Огородниковой — круглолицей, полноватой, с непомерно большими грудями, которых, как Семен замечал, она стеснялась сама.

Обождав Веру минуты три, Семен нехотя приблизился к берегу. Человек с гитарой запел надрывно-стонущим голосом:

...Я подрастал, я становился краше,
Любить девчонок стал и начал выпивать.
«Ты будешь вор такой, как твой папаша», —
Твердила мне, роняя слезы, мать...

«Кафтанов! Макар!» — сразу догадался Семен и хотел уйти. Но Макар обернулся, сузил свои прокопченные глаза.

— А-а, племянничек! Ну здравствуй.

Семен промолчал.

— Не хочешь знаться? — скривил губы Макар.— Ну, я не в обиде.

Ветерок играл тонкой шелковой рубашкой Макара, на жилистой руке его поблескивали часы. Хромовые, с квадратными носками сапожки «джимми» были перемазаны глиной. «Вырядился. И сапог не жалеет»,— мелькнуло у Семена. Какая-то огненно-рыжая незнакомая девица подошла к Макару, откровенно и бесстыдно повисла у него на плече, что-то шепнула.

— Отвались,— брезгливо повел плечом Макар.

На руке у рыжей Семен заметил такие же часы, как у Макара. «Ворованные»,— подумал он.

— А я, Сема, помню — сперва такой вот ты был, потом такой, такой...— Макар показал, какой был Семен.— А сейчас смотри ты, вырос.

— Верка, пошли,— сказал Семен.

Макар снова тронул гитарные струны:

Семнадцать лет тогда мне, братцы, было...

Но вдруг резко оборвал песню.

— Заходи как-нибудь, Сема. Об жизни поговорим.

— Об какой? — усмехнулся Семен.— Об тюремной? Что-то она меня не интересует.

— О-о! — протянул Кафтанов, черные глаза его сузились.— Мать видела твоя, что я приехал?

— А мне почем знать?

— Ну, ну... Привет ей передай,— с улыбкой промолвил Макар и отвернулся.

К селу Вера и Семен подходили молча. От реки доносилась бесконечная тюремная песня Макара:

Шли дни за днями, за месяцами годы...
Все то сбылось, что предсказала мать...

— Тьфу! — сплюнул в дорожную пыль Семен.

— Конечно,— сказала Вера задумчиво.— А часы у него хорошие. И этой рыжей — заметил? — подарил.

— Позавидовала! — зло сказал Семен и зашагал быстрее.

Солнце уже село, переулки, по которым шли Семен с Верой, были безлюдны. Но это не удивило ни Семена, ни Веру. Вечерами, особенно по воскресеньям, оживленной бывает только главная улица Шантары.

Но когда они вышли на «шоссейку», и там никого не было. Под тополями тихо, пусто, сумрачно. Сперва Семен, раздраженный встречей с Макаром, не обратил внимания на это обстоятельство. Потом остановился.

— Что за черт,— пробормотал он.— Тебе ничего не кажется?

— А что? — Вера тоже очнулась от задумчивости.

— Будто вымерло все.

— Действительно.— Девушка пошевелила тонкими бровями.— Хотя вроде где-то голоса.

Они быстро зашагали вдоль улицы. Возле двухэтажного, из красного кирпича, здания военкомата толпились люди. Какой-то старичонка сидел на нижних ступеньках высокого деревянного крыльца с перилами, сосал трубку и говорил:

— Оно конешно, сейчас медикаменты всякие. А што ёд ваш этот, так это — тьфу, понадежней средства есть. Земля вот с порохом — куды вашему ёду.

— Болтаешь ты, папаша,— сказал какой-то парень.

— Что болтаешь, что болтаешь? — вскочил старик, задрал рубашонку, оголив синий бок.— Вот, гля. Дыра была — кулак влезет. Это, значит, году в пятнадцатом было. И шли мы в штыковую, помню. Не успел я пробежать саженей восемь — кы-ык хватанет меня за этот бок. Снарядным осколком, соображаю, полоснуло. Глянул — бок аж дымится. Упал, конешно. Тут сестра милосердия меня на загорбок и потащила с бою... И уж как этим ёдом вашим ни мазали! А рана все гноится. Ну, думаю, насквозь меня прогноят доктора, самому надо лечить. Раздобыл пороху, колупнул в больничном саду горсть земли. Развел это водицей...

— Кипяченой? — полюбопытствовал тот же парень.

— Балбес! — рассердился старик.— Надсмешник, право слово. А бок — вот он, гляди, гляди,— старик опять вскочил, задрал рубаху.— Замазал, бинтом потуже затянул, и дён через семь только синий рубец остался. А то кипяченой...— И старик сел на прежнее место, сердито нахохлился.

— Щипало хоть? — сдерживая смех, спросил пожилой мужчина.

Но старик, видно, не заметил иронии, ответил серьезно:

— Не без того, конешно...— И повернулся к парню: — А ты, балабол, надсмешки-то строй, а не забывай рецепту: горсть земли, полгорсти пороху на полкружки воды. На войну-то тебя, может, завтра же заберут...

— Слушайте... Об чем это вы? Какая война? — спросил Семен.

— Как какая? Ты откуда, друг, свалился?

Вскрикнула вдруг Вера, вцепилась Семену в плечо острыми пальцами, порывисто задышала.

— Да постой ты,— недовольно сказал Семен, попытался даже сбросить ее руки.— Объясните...

Но из сумрака выскочил Колька Инютин, потащил Семена от крыльца, сбивчиво и возбужденно говоря:

— С немцами война-то, Сем... Пока мы рыбалили, немцы войну открыли. Я уж дома был. Матка плачет, отец из угла в угол ходит молчком. Твой батя — я видел через плетень — тоже хмурый, сердитый... Это что же, а!

— Сема, Сема! — Вера опять повисла на плече.— Тебя возьмут же теперь...

— Так...— сказал Семен.— Погоди, Верка. Не реви раньше времени.

— Действительно... Дура она у нас,— шмыгнул Колька носом.

— Ладно, пошли домой...

Когда Семен зашел в дом, отец, как утром, сидел у открытого настежь окна, курил, пуская дым на улицу, в темноту. Мать, молчаливая и тихая, стараясь не греметь посудой, собирала ужинать. Димка и Андрейка забились в угол, испуганно сверкали оттуда глазенками. Ведерко с уловом, забытое, ненужное сейчас, стояло на скамейке возле двери.

— В самом деле, что ли... война? — спросил Семен.

— Давайте ужинать,— вместо ответа проговорил отец и выбросил окурок через окно.

За едой никто не проронил ни слова. Поужинав, Семен вышел во двор, поглядел на ярко горевшие в чистом небе звезды. «Как же она там идет, война, ночью-то?» — пришла вдруг глупая мысль. Семен знал, что эта мысль глупая, но никаких других почему-то не приходило.

Качнулся, затрещав, плетень, Семен поморщился: «Верка». Ему сейчас не хотелось ее видеть и вообще никого не хотелось видеть. Но это был опять Николай Инютин.

— Слушай, Сем, смогу я военкоматчиков обмануть, а? — спросил, подойдя, Колька.

— Каких еще военкоматчиков?

— А что? Я рослый. Скажу, с двадцать третьего года.

— Пошел бы ты! — зло вымолвил Семен, сел на скамеечку, врытую у стены, стал смотреть в темноту.

— А метрики, скажу, потерял. Очень просто... Три года всего надбавлю, как они проверят? А, Сем?

Семен молчал, думал о чем-то. Колькиного голоса он будто не слышал. Затем встал и ушел в дом.

* * *

Когда стемнело, Аникей Елизаров, зыркая по сторонам, подошел к длинному бревенчатому зданию, обсаженному кленами, вильнул к крыльцу, над которым тускло горела лампочка. За дверью был длинный узкий проход, в конце которого, за барьерчиком, сидел в фуражке с красным околышем дежурный.

— Меня тут начальство вызывало,— сказал он.— Елизаров я.

— Яков Николаевич, что ли?

— Ага...

От дежурного вправо и влево тянулся широкий, как улица, коридорище с обитыми черной клеенкой дверями. Только одна дверь, в самом конце коридора, была обита красной кожей. Елизаров подошел к ней, дернул на себя.

Алейников сидел за большим столом, что-то писал. Елизаров тихонько кашлянул в пахнущий керосином кулак.

— Ну, что у тебя? — мрачно взглянул на него Алейников.

— Я позвонил, чтоб вы приняли меня... по личному делу.

На стене висели тяжелые, старинные, черного дерева часы с медными узорчатыми стрелками. Круглый язык маятника лениво качался за толстым, тоже разрисованным узорами, стеклом. Алейников долго глядел на этот маятник, точно ждал, когда он остановится.

— Как в МТС известие о войне встретили? — спросил он.

— Как? Так как-то — не поймешь пока... Оглушило всех...

— Что люди говорят?

— Да пока ничего такого... Я бы услыхал, я прислушивался. Никто ничего такого...

Алейников поморщился.

— Так что у тебя за дело? Я занят.

— Я, Яков Николаич, недолго... С просьбой. Поскольку война, а каждый человек должен, где полезнее Родине... На войну меня, должно, все равно не возьмут, чахотка, должно, у меня. А в эмтээсе, на тракторе, тяжело...

— Ну? — Алейников давно чувствовал к этому человеку отвращение.

— Вот я и надумал в милицию податься. Силенка мало-мало есть еще. Ну, и, конечно, что там вас интересует...

— Так что ж ты ко мне? — раздраженно проговорил Алейников.— К начальнику милиции и ступай. Если есть нужда у него, может, и примет тебя.

— Да вы бы замолвили словечко перед ним...

Алейников вдруг почувствовал какое-то удушье, спазмы в горле. Чтобы избавиться от этого человека, поспешно сказал:

— Хорошо, поговорю... А теперь ступай. Иди, иди...

* * *

Манька Огородникова Макара знала еще девчонкой. Появляясь в Шантаре, он нередко заходил к ним ночами, они с отцом всегда пили водку и о чем-то тихо разговаривали.

— Зачем, тять, ты пускаешь его? Да еще водку с ним пьешь? — спросила как-то Манька.— Ведь он же, говорят, вор.

— Цыть! — рассердился отец. И без того всегда суровый, глянул так, что у нее по спине рассыпались холодные мурашки. Однако тут же смягчился: — Он, правда, вор, но душа-то у него человечья. Я вот и толковал ему, чтоб он бросил это свое ремесло да за ум взялся. Мало ли добрых дел на земле... Я вот сапоги шью. Уменье не шибко мудреное, а людям радостно.

— А с чего он воровать-то взялся?

— Кто его знает, Манюша... Зла и подлости на земле много еще, несправедливостей всяких. Вот за что-то Макар и озлился, видно, на людей... Тебе этого сейчас, пожалуй, не уразуметь. В молодости все человеку хорошим кажется. А подрастешь — поймешь...

Отец был прав, кажется, в одном — несправедливостей на земле действительно много. Она убедилась в этом, когда арестовали отца. Манька не испугалась даже — она была этим событием опустошена, раздавлена. Почему, за что?

Люди этого тоже не могли объяснить ей. Они как-то странно повели себя, люди. Одни глядели на нее с жалостью, другие с удивлением, любопытством, третьи со страхом и неприязнью. И все откровенно сторонились. За какую-то неделю Манька оказалась будто в пустоте.

«Прощай, Маньша...— сказал ей отец в ту памятную ночь.— Ты уж подросла, ничего. Подвернется хороший человек — замуж иди. Ничего, изба есть...»

Изба, хотя и крохотная, действительно была, и Манька была взрослой — через месяц ей исполнялось семнадцать, и той весной, буквально за день до ареста отца, она окончила десятилетку. Но какое там замуж, когда даже Ленька Гвоздев, одноклассник, на выпускном вечере, когда под гром аплодисментов выдавали свидетельства об окончании школы, демонстративно отвернулся от нее со словами:

— Долго же твой папаша, гад, таился. И от тебя контрой пахнет. Замараться боюсь.

Леонид Гвоздев, чернобровый, с пухлыми губами, был старше Маньки года на четыре. Учился он плохо, был самым известным в школе второгодником. Но это его нисколько не угнетало, он всегда был весел и доволен собой, а если, случалось, учителя стыдили его за леность, за халатное отношение к учебе, говорил, поигрывая радужными, как у лошади, глазами:

— Дмитрий Иванович Менделеев тоже в школе плохо учился. А периодическую систему элементов составил. И я что-нибудь составлю.

Гвоздев пользовался большим вниманием у девчонок, но в ту весну выбрал почему-то ее, Маньку. В отношениях с девчонками он, видно, имел большой опыт и в первый же раз, провожая ее вечером из школы, прижал к стене какого-то дома, больно поцеловал и бесстыдно полез под кофточку.

— Ленька! Лень... Я закричу! — задохнулась Манька.

— Дура,— сказал ей Ленька, отпустил.— Да я же хотел убедиться, честная ли ты.

— На других убеждайся.

— На других я жениться не собираюсь.

— Врешь ты, врешь!

— Нет, я не вру. Ну, пойдем, ладно.

Потом он провожал ее часто. Вместе они готовились к экзаменам. Манька уже не вырывалась, когда он обнимал ее, не отбрасывала его руку, когда он расстегивал кофточку. Она только вспыхивала до корней волос, прятала пылающее лицо и шептала:

— Леня, Ленечка... Не надо. Стыд-то какой!

— Беда с вами, с честными...— вздыхал он.— Ладно, окончим школу — поженимся. Нынче-то уж закончу. Только... в армию меня заберут. На действительную. И так отсрочки давали, давали... Ты как, честно меня будешь ждать?

— Ленечка! Да я... да я сама к себе не прикоснусь. А не то что...

И вот на выпускном вечере словно пол провалился под Манькой, когда Ленька отвернулся от нее. Она едва расслышала, как со сцены, где стоял стол, накрытый красной скатертью, назвали ее фамилию. Ей не хлопали, как другим, дирек-

тор школы молча сунул ей в руки бумажку. Не помня себя, она выскочила из школы, кинулась вдоль темной улицы. Из того вечера в памяти остались лишь мохнатые, черные тени деревьев, которые маячили по сторонам, стараясь загородить ей дорогу ветвями. Да еще звезды, которые болтались над головой, перекатывались, как горошины в корыте. Прибежав домой, закрылась на все замки, бросилась грудью на кровать и так пролежала всю ночь. Утром она сказала себе: «Нет, отец не враг. Тут ошибка какая-то. Ленька подлец, мелкий человечишка оказался. Ну и пусть...»

Целый год она, пришибленная, жила тихо и скрытно, как мышь, проедая отцовскую одежду, а затем поступила на работу в пошивочную мастерскую, научилась кроить и шить женские платья. Она скопила денег и купила себе старенькую машину «Зингер». Но частных заказов никогда не брала, остерегалась, шила только на себя да иногда, по старой дружбе, соглашалась сшить платье-другое для Веры Инютиной. И, в общем, жизнью своей была теперь довольна.

Сегодня Манька до обеда возилась по домашности, иногда садилась у открытого окна, вспоминала равнодушно о вчерашней встрече с Гвоздевым.

— Ну, замуж не вышла еще? — сверкнул он на нее радужным глазом. Он недавно вернулся с действительной, стал, кажется, еще стройнее и красивее, работал шофером на нефтебазе.

— Тебя все дожидаюсь,— сказала она и прошла мимо.

Маньке захотелось искупаться. Она замкнула избу, пошла на Громотуху.

Проходя мимо дома Кашкарихи, увидела Макара. Он, в тщательно отглаженных брюках навыпуск, в ярко начищенных хромовых сапогах, в белой рубашке, с гитарой в руках, выходил из калитки.

— Ой! — воскликнула Манька и попятилась.

Макар колупнул ее черным глазом, присвистнул:

— Фью-ю! Выросла ты... Да не пяться, я смирный! Ну а ты меня помнишь?

— Вы Макар Кафтанов.

— Верно,— усмехнулся он.

Девушка стояла, не зная, что ей делать, что говорить.

— А вы... откуда?

Сказала — и смутилась. Откуда? Ясно, откуда!

— Из санатория, деточка,— усмехнулся Макар.— Отец тебе привет передавал.

— Он живой?.. Ой, что это я! Вы его давно видели?

— Живой-здоровый,— все усмехаясь, ответил Макар.— Что ему сделается?

Макар все глядел и глядел на Маньку, на ее полные, голые до локтей руки, на ее большие и тяжелые, как арбузы, груди. Она смутилась еще больше, чувствуя, как жаром цветет лицо.

— Расскажите, как он...— пролепетала она.

— Некогда, голуба. Потом как-нибудь.

И пошел вдоль улицы, свернул в переулок. Манька постояла и тихонько зашагала к Громотухе.

Стесняясь своей полноты, она купалась всегда в одиночестве, где-нибудь подальше за селом. Выкупавшись, долго, до самого вечера, лежала на горячих камнях, подставляя солнцу то спину, то живот, думала об отце, глядела, как светлая речная волна моет гальки. Когда солнце покатилось вниз, пошла домой.

Возле села на берегу опять увидела Макара. Несколько парней и девушек, окружив Кафтанова, молча слушали, как он бренчит на гитаре. Тут же был и Гвоздев.

— Классные песни... За душу берут,— говорил он Кафтанову.— А ну, еще раз про этого ревизора чужих квартир.— И, увидев Огородникову, подбежал, схватил ее за руку.— Хо! Привет с поклоном! Давай в нашу компанию.

— Не лезь! Не прикасайся!

Все поглядели на Огородникову. Поглядел и Макар.

— Ну-ка, Гвоздь, отвались,— тихо сказал он.

Гвоздев удивленно заморгал, глядя то на Кафтанова, то на Огородникову. Протянул: «О-о!» — и отступил.

Откуда-то из степи подошли Верка с Семеном. Вера попросила как можно скорее дошить ей платье, заказанное неделю назад. Манька обещала.

Когда Вера с Семеном ушли, Огородникова еще постояла минут десять, послушала Макаровы песни и тихонько пошла вслед за ними.

В Шантаре она услышала о войне. Это ее не испугало, не удивило. Она только подумала, что Леньку Гвоздева тоже возьмут на войну и могут там убить. «Ну и хорошо... Так ему и надо...» — с ожесточением размышляла она. Рука в том месте, за которое ее схватил Гвоздев, горела, будто обожженная.

Придя домой, она переоделась в легкий халатик, раскрыла настежь окно, легла на кровать, до вечера смотрела в потолок, смутно думая о войне. Почему-то представлялось, что Ленька Гвоздев лежит на земле окровавленный, протягивает руки к санитаркам — точь-в-точь каких она видела недавно в кино,— а те проходят мимо, не обращают на него внимания. И правильно, думала она, пусть подыхает. Потом она представила себя на месте одной из санитарок. Вот она подошла к Леньке. Никто не подходит, а она подошла, перевязала, потащила в лощину, где стоят палатки с красными крестами. И когда притащила, Ленька сказал ей: «Спасибо. Ты меня спасла. Теперь я обязательно на тебе женюсь...» А она ответила ему с презрительной улыбкой: «Ты меня обрадовал... Я тебя спасла, но знай, что все равно нет для меня человека противнее, чем ты...» Гвоздев на это криво усмехнулся, несмотря на свои раны, встал, схватил ее, как сегодня на берегу, за руку, швырнул на пол. Потом подбежал, навалился тяжелым телом, задышал в лицо тяжелым водочным перегаром. Она хотела вырваться, но не могла, хотела закричать, но крик ее захлебнулся...

Потом девушка уже не соображала, что с ней происходит и где — во сне или наяву. Кто-то действительно мял ее, зажимал горячей ладонью рот, вдавливая ее голову в подушку, жадно шарил рукой по ее голому телу.

— Ленька! Пусти... Не смей! Лень...— сдавленно крикнула она.

— Какой тебе Ленька, дура! — раздался голос, от которого, как в горячем жару, зашлось и будто лопнуло сердце, а в закрытых глазах что-то вспыхнуло и потухло...

Очнулась она от удушливого табачного запаха. В комнатушке было темно. В полосе лунного света, падавшего из окна, торчала взлохмаченная голова Макара Кафтанова. Он, сидя на краешке кровати, курил, и, когда делал затяжки, от папиросного огня меденел, будто тоже раскалялся, кончик его тупого, с широкими ноздрями носа.

Все тело ее было разбито, раздавлено, где-то внутри, там, где сердце, саднило, стонало и, кажется, сочилось, истекало чем-то горячим.

— Что ж ты, голуба, окно-то на ночь открытым оставляешь? — спросил Макар, почесывая под рубашкой грудь.

Манька все глядела, как раскаляется и тухнет кончик его носа, потом медленно повернула голову к стене и, сотрясая кровать, тяжело зарыдала.

— Значит, Марья, дело обстоит так,— не обращая внимания на ее слезы, глухо, не торопясь, точно вгоняя каждое слово, как гвоздь во что-то твердое, неподатливое, начал говорить Макар.— Отца твоего в живых нету. Заели его собаки во время побега из тюрьмы. Но ты не жалей, он был не сапожником вовсе. Фамилия его не Огородников, Михаилом Косоротовым его звали. В не так далекие времена он, голуба, в белой армии хорошо служил, по допросной части большим мастером был. Потом... Ну, и потом немало хороших дел совершил. Всего тебе знать не обязательно. Но вот судьба, как говорится, индейка... Теперь я о тебе заботиться буду. Про нужду забудешь. От тебя требуются две вещи: спать со мной иногда и — второе — молчать. Чтоб ни одна душа про это мое логово не знала. Иначе глаза выну и заместо бус на шею тебе подвешу...

Смысл Макаровых слов до Огородниковой почти не доходил. Ей было безразлично все — и кто ее отец, и кто такой сам Макар, и что он сейчас с ней сделал.

Она уже не рыдала, она лежала и спокойно думала: там, в сенях, лежит новая бельевая веревка. Она купила ее недавно, веревка прочная, она не порвется, выдержит тяжесть ее тела...

* * *

Спокойная, тихая, теплая плыла над Шантарой первая военная ночь.

Известие о войне каждый встретил по-своему — кто хмуро и молчаливо, кто растерянно, кто испуганно. Многие женщины сразу ударились в плач, заголоси-

ли протяжно и пронзительно, будто вот сейчас, сию минуту их мужей и сыновей уже увозили на войну.

Когда прошел первый шок и вернулась способность думать и рассуждать, пошли разговоры. Говорили обо всем. В самом ли деле это настоящая война или немцы просто устроили провокацию; если настоящая — будет ли мобилизация или с немцами справятся части регулярной армии; если будет, какие возраста призовут в первую очередь; если возьмут много возрастов, как быть с уборочной? Говорили о прошлых войнах, вспоминали прошлые бои и павших в этих боях и вернувшихся калеками. Знатоки сравнивали качества и выносливость солдат германских, финских, японских...

Говорили-говорили обо всем, а на лицах написан был один и тот же вопрос: толкуй не толкуй, рассуждай не рассуждай, а как же оно теперь все будет?

Дни в июне самые длинные, в десять только-только садится солнце, в одиннадцать еще светло. В июне огней в домах почти не зажигают. Но в эту ночь по всей Шантаре цвели желтовато-бледные окна и не гасли долго, почти до самой зари.

Наконец большое село притихло, погрузилось в темноту. Облитые этой теменью, молчаливо стояли деревья, как черные неподвижные облака, спустившиеся до земли.

В этот вечер никаких разговоров не было только в доме Федора Савельева. Дети улеглись в своей комнате без обычного шума и возни. Анна приготовила постель себе и мужу, тоже молча легла. Федор, не раздеваясь, ходил по комнате.

— Братец, что ли, твой, Макар, говорят, снова объявился?

Анна лежала недвижимо, глядела куда-то в пустоту, не отвечала, не моргала даже.

— Ладно, спи. Я пойду папиросу выкурю на воздухе.

— Господи! — отбрасывая одеяло, вскрикнула вдруг Анна.— Да хоть бы тебя на войну забрали! Да хоть бы тебя убили там!

Некоторое время они в упор глядели друг на друга. Одна бровь у Федора мелко подрагивала, другая удивленно приподнималась и опускалась.

Серые глаза Анны блестели от электрического света, как стеклянные, в груди что-то рвалось.

— Вот как! Вот уж неожиданно призналась...

— Врешь! Врешь! Врешь! — трижды выкрикнула Анна хрипло.— Сам себе врешь...

Она упала лицом в подушки, начала всхлипывать по-детски. Федор криво и кисло усмехнулся, вышел.

Как вчера, как позавчера, как испокон веков, на небе ярко горели звезды. То ли выше звезд, то ли ниже — не поймешь — струился, пересекая Шантару, Млечный Путь, утекая в неведомое.

Лежа в подсолнухах на подостланном пиджаке, слушая, как тихонечко булькает, струится меж своих невысоких травянистых берегов Громотуха, Федор с усмешкой думал, что, конечно, он врал самому себе, ничего неожиданного для него в словах Анны не было. «И вообще — разойтись, что ли, с ней, с Анной?»

Думал он об этом легко, спокойно, будто о пустяке. «Перед детьми, конечно, неудобно, перед Андрюшкой с Димкой. Семен — тот не в счет. А как Андрюха с Димкой? Война вот тут еще...»

Федор поморщился, хотя известие о начавшейся сегодня войне его особенно не тревожило. Он считал, что никакой войны, собственно, не будет, не сегодня-завтра ворвавшимся через границу немецким частям надают по шеям, перемолотят, угонят обратно за кордон.

Ну, в крайнем случае, все будет продолжаться не дольше, чем с Финляндией...

От Громотухи тянуло свежестью. «Еще простудишься тут,— мысленно проворчал он.— Чего там Анфиска копается?»

При мысли об Анфисе Федор улыбнулся. Вот стерва баба, вот на ком надо было жениться! С годами она не стареет вовсе, только наливается сладостью, как арбуз. И ненасытная — где там Анне, даже в лучшие годы! Бывало, выдохнется Федор до дна, высосет она весь жар, все силы, покачивает и тошнит Федора от ощущения пустоты во всем теле, а ей все мало. Зверски бил ее Кирьян, особенно там, в Михайловке. А ей хоть бы что, ни разу, ни одним словом не пожаловалась

Федору. Сам Федор как-то полюбопытствовал: «Как же ты переносишь такие побои? Ведь он, когда напьется,— зверь...» — «Так вот и переношу. Куда денешься?» — просто, без обиды, ответила Анфиса. «Плачешь хоть?» — задал глупый вопрос Федор. «Больно иногда бывает...— проговорила и вздохнула.— Зубы сцеплю и молчу. Молчу и думаю: из-за тебя, из-за тебя, Федя...»

Поразился тогда Федор, спросил: «Да это что же у тебя за любовь такая ко мне?» — «Не знаю. Такая — и все».

Все струилась, все булькала Громотуха...

«Ишь ты, хоть бы на войну меня забрали да убило там,— с обидой подумал Федор о словах жены.— Да, разойтись, на Анфисе жениться. Уйдет, немедля уйдет она от Кирьяна. Стоит только сказать...»

С огорода Инютиных донесся шорох, хруст ломаемых картофельных стеблей. Кто-то подошел к плетню, чуть тронул его.

— Федор... Федя! — тихонько произнесла Анфиса.

— Здесь я. Перелазь давай,— проговорил Федор.

Плетень качнулся, затрещал. В это время от крылечка Инютиных раздался голос Кирьяна:

— Эй, кто там?

Анфиса тотчас спрыгнула с плетня на свою сторону огорода.

— Я это...— отозвалась она.

— Чего ты там?

— Ноги горят, днем крапивой обожгла,— ответила женщина равнодушно.— В Громотушке остудить маленько хочу. А то никак не уснуть. Ты-то чего встал?

«Ишь ты актерка,— думал Федор об Анфисе.— И про крапиву в момент придумала. Хитрющее же ваше чертово племя!»

— Ну, студи. Я подожду, покурю тут.

Анфиса несколько минут плескалась в ручье. Потом Федор слышал, как она, уходя к дому, шуршала длинной юбкой по огородной ботве. Донесся скрип затворяемой двери, звякнула задвижка.

«Догадался Кирьян или нет? — подумал Федор, поднимаясь.— Догадался, должно, еще утром. Вон как утром зыкнул на нее».

* * *

Плескаясь в ручье, Анфиса со страхом думала: сейчас муж затолкнет ее в сараюшку, дико, в кровь, изобьет, как бывало не раз...

Но в сараюшку он ее не повел. И вообще ничего не сказал. Не проронив ни слова, он зашел в комнату, лег на кровать, подвинулся к стене, освобождая место Анфисе.

«Не знает, не догадался»,— облегченно подумала Анфиса, прижалась к теплому плечу мужа, задремала. Потом прохватилась, чуть приподняла голову. Кирьян все еще не спал, в темноте поблескивали его глаза.

— Чего ты? Спи,— сказала Анфиса.

— Там, в подсолнухах-то, Федор, что ли, тебя ждал? — вдруг спросил он.

— Кирьян! — протестующе воскликнула она, привстала.

— Ну-ну, я ведь знаю — он.

Анфиса на секунду-другую застыла в оцепенении. Потом, упав на подушку, зарыдала:

— Ну — он! Ну — он! Бей давай! Тащи в сараюшку. Чтоб люди не слыхали, я кричать не буду.

— Тихо, детей разбудишь...

В голосе мужа было что-то необычное, пугающе спокойное. Анфиса замолкла, перестала вздрагивать.

— За что ж ты его любишь так... по-собачьи? Вот об чем я всегда думаю.

Это слово «по-собачьи» возмутило ее, все в ней запротестовало, всколыхнулось, каждая клеточка тела загорелась ненавистью к человеку, с которым она прожила, считай, жизнь. Она вскочила теперь на колени. Ей хотелось какими-то необыкновенными словами убить его, задушить, раздавить. Но таких слов не было.

— Ну и люблю... Люблю! Всю жизнь — люблю!

Ее слова не произвели на Кирьяна никакого действия.

В соседней крохотной комнатушке ворочалась на скрипучей кровати Вера, было слышно, как посапывал во сне Колька.

— Это ты только по-человечески умеешь любить,— в бессильной ярости проговорила Анфиса.

— Я — по-человечески,— спокойно подтвердил он.

Анфиса в изумлении уставилась на мужа, пытаясь разглядеть в темноте выражение его лица, но ничего не увидела, кроме прежнего холодного поблескивания его глаз.

Она легла, долго размышляла, что означают его слова: «Я — по-человечески»? Смеется, что ли, он над ней?

— Люблю — и все. А за что — какое твое дело? — с откровенной местью в голосе произнесла она.— Тебе этого не понять никогда.

— Да ты и сама этого не знаешь.

— А может, я и не хочу знать?! — чувствуя, что где-то муж прав, зло и упрямо заговорила Анфиса.— А может, есть у людей такое... которое нельзя словами объяснить, невозможно?!

— Замолчи ты! — Кирьян схватил ее за плечо, встряхнул. Потом минуты полторы тяжело, взволнованно дышал.— Не объяснишь иногда, верно,— заговорил он, успокоившись.— А объяснять рано или поздно надо все равно. Ежели не людям, так самому себе хотя бы...

Анфиса поняла — эти слова муж говорит уже не ей. И, пораженная чем-то таким, чего раньше не было ни в словах, ни в голосе мужа, удивлялась все более. А Кирьян продолжал все так же непонятно, думая о чем-то своем:

— Об одном я жалею — что Ивана, брата его, помог Федору посадить. Меня бы садить надо: я ведь тех двух коней к цыганам свел.

— Как ты?! А не сам Ванька? — Анфиса опять приподнялась.— Постой... Это тогда, выходит, правду Аркашка Молчун болтал?

— Правду,— вздохнул Инютин.— И не уразумею я до сих дней: как это Федор сумел уговорить меня? Отца-то, говорит, твоего он, Ванька, шлепнул тогда... Еще и в те поры, говорит, хоть Иван и умолчал о твоем отце, я догадывался, чьих рук это дело, а недавно Ванька, мол, сам вгорячах проговорился... И брызнула мне ядовитая моча в мозги. А что мне отец-то, что?!

Анфиса долго с недоумением перебирала в голове слова мужа, пытаясь их понять.

— Врешь! Вре-ошь! — закричала она вдруг.

— Зачем мне? — И тем же голосом, спокойным, негромким, продолжал: — А что водку трескал я без меры, это от глупости. Что бил тебя зверски, за это прощения прошу. Хоть и меня понять не грешно было бы тебе... Ты с Федькой тешишься, а у меня от пыток сердце заходится. Ну, зверел, конечно, не выдерживал, волок тебя от людских глаз куда подальше. Но ты не поймешь, да и не надо, ни к чему теперь. Прости, говорю, только...

— Господи! Да ты что, умирать собрался?! — в страхе выкрикнула Анфиса, совсем ничего не понимая.

— Зачем? Не-ет,— раздумчиво сказал он.— Войну сегодня объявили — это хорошо. На войну я уйду. Мужики толкуют — недолго, должно, война эта протянется. А я так думаю — навряд ли! Считай, вся эта шляпошная Европа под немцем. Сила у него. Завтра я пойду в военкомат. Не старик я, сорок годов всего. Возьмут...

— Что ты выдумал? Ты подумай! Надо будет — сами возьмут, согласия не спросят. А ты загодя голову в пекло хочешь сунуть...

— Это еще не все! — перебив жену, повысил теперь голос Кирьян.—Ежели в пекле этом не сгорю, домой все равно не вернусь, ты это знай...

— Кирьян!

— Сыть! Замолчи! И слушай... Ничего, дети уже взрослые. Верка на ногах, не сегодня-завтра замуж выскочит. Через год-два и Колька мужиком станет. Ну, а об тебе у меня забота маленькая.

— Да что ты выдумал? Что выдумал?! — ошеломленная, шептала Анфиса.

— Все. Спать давай. Поздно уже. — И Кирьян отвернулся к стене.

Анфиса долго сидела на кровати в темноте, пытаясь осмыслить и разобраться во всем, что наговорил ей муж, но сделать этого не могла.

Часть вторая

СМОЛОДУ ПРОРЕХА, К СТАРОСТИ — ДЫРА



ентябрь был тихий, теплый и, на счастье, без дождей.

Из-за Звенигоры поднималось солнце, играло на мокрых от росы, тяжелых листьях деревьев, медленно разгоняло ночную свежесть.

Верхушки берез, уже подпаленные утренниками, поредели, на тополях зацвели, затрепетали под ветром желтые лоскутья.

Поликарп Матвеевич, хмурый, невыспавшийся, принял вожжи из рук деда Евсея, тяжело кинул свое огрузшее тело в плетеный коробок.

— На завод, что ли? Али на желдорогу? — спросил Евсей.

— Туда и туда... И еще в двадцать мест.

— Кнут не оставляй в коробке. Жиганут немедля.

Из репродуктора, установленного на площади, доносился усталый голос диктора:

«В течение последних дней под Киевом идут ожесточенные бои. Фашистско-немецкие войска, не считаясь с огромными потерями людьми и вооружением, бросают в бой все новые и новые части. На одном из участков Киевской обороны противнику удалось прорвать наши укрепления и выйти к окраине города...»

Кружилин не торопясь ехал по усыпанной первыми желтыми листьями улице, голос диктора замирал где-то сзади.

«Немцы рвутся к Москве,— думал невесело Кружилин,— несколько дней назад плотным вражеским кольцом окружен Ленинград. Давно пали Минск, Львов. И вот — Киев... Подо Львовом, в Перемышле, служил Васька. С первого дня войны от него ни слуху ни духу.., Где он, жив ли?»

Сердце защемило. Поликарп Матвеевич поморщился, тронул вожжи. Карька-Сокол рванул, но через полминуты пошел шагом.

«Около месяца назад намечался вроде под Смоленском могучий удар,— продолжали сами собой виться мысли Кружилина.— В газетах было много обнадеживающих прогнозов и утверждений, что положено начало разгрому немецко-фашистских захватчиков, что основная военная сила Германии измотана и перемолота в оборонительных боях, что скоро начнется сокрушительное наступление советских войск. Люди ждали решительных перемен на фронте. День и ночь не выключались репродукторы. И действительно, в конце августа Красная Армия двинулась вперед, закипели бои севернее и южнее Смоленска. В начале сентября был освобожден город Ельня. Но скоро наступление Красной Армии остановилось, заглохло...»

Сытый, выхоленный мерин легко тащил коляску по улицам Шантары. Кружилин вспомнил, как два с половиной месяца назад, когда стало известно о мобилизации сразу четырнадцати возрастов, с 1905 по 1918 год, эти улицы огласились пьяными песнями и женским плачем. Голосили и пели чуть ли не в каждом доме. А потом весь этот вой и плач в одно утро уполз по широкому шоссе за село, на вокзал, и там стоял до обеда, пока не отправили эшелон с мобилизованными.

Людское горе до вечера волнами каталось по селу, но с наступлением темноты стало будто захлебываться, затихать. И огромное село забылось, как больной, в тревожном, беспокойном полусне.

Следующее утро наступило какое-то необычное. Пустынные улицы, молчаливые дома, притихшие деревья. Все словно осиротело, все, казалось, источало обиду, какой-то немой вопрос и укор: что же, мол, это такое происходит, как же это допустили? Кружилин чувствовал себя так, будто в той беде, которая постигла и людей и село, был виновен непосредственно он.

Непривычные, неожиданные заботы сваливались теперь на него одна за другой.

Недели через три после мобилизации в Шантару прибыли один за другим два эшелона эвакуированного населения из прифронтовой полосы. Прибыли — и село превратилось в цыганский табор. На станции, на главной районной площади, на многих улицах стояли брезентовые палатки, ночами возле них горели костры. По улицам с утра до ночи шли и ехали люди с узлами, с чемоданами, просто хо-

дили толпами без всяких вещей, грязные, в истрепанной за многонедельные мытарства одежде.

Обеспечить жильем всю эту огромную массу голодных, измученных женщин, детей, стариков казалось делом неразрешимым. Райком партии и райисполком превратились на много дней в конторы по изысканию жилой площади. По нескольку раз в день кабинет Кружилина брали, что называется, штурмом. Беженцы требовали хоть какое-то жилье, толпы местных женщин доказывали, что не могут взять на подселение больше ни одного человека. Нередко в кабинете разрастались плач, перебранка.

Но постепенно людей кое-как распределили по домам, часть эвакуированных отправили на жительство в села и деревни района, в колхозы и совхозы.

Большинство покорилось судьбе безропотно и молчаливо — лишь бы крыша над головой да какая-нибудь работа,— но бывали случаи, когда в колхозы люди ехать не хотели.

Однажды в кабинет ворвалась средних лет женщина в дорогом, но измызганном платье, порванном на плече и неумело зашитом черными нитками. Женщина когда-то была, видимо, пышной, цветущей, но за дорогу исхудала, кожа на шее и подбородке висела складками, дряблые щеки цвели нездоровым румянцем.

— Я не могу в колхоз, я там не вынесу, не выживу! — закричала она, упала в кресло.

Бывший в кабинете Полипов молча налил ей стакан воды.

— Я — меломанка. Вы понимаете, я больна, я — меломанка неизлечимая. Я не могу без музыки, я не выживу...

Все это было, вероятно, смешно, но Кружилин и Полипов смотрели на женщину с жалостью.

— Успокойтесь сначала,— сказал ей Кружилин, тронув за плечо. Женщина вздрогнула, как от удара, отшатнулась.— Что ж делать, у нас в Шантаре тоже ведь нет симфонического оркестра. Мы сами только по радио слушаем музыку. И там есть радио.

То ли ее успокоило сообщение о радио, то ли наконец-то поняв и осознав обстановку, в которой оказалась, женщина ни слова больше не сказала, встала и ушла.

А как-то, робко постучав, порог перешагнул сухонький, костлявый старичонка.

— Я, собственно... Извините, пожалуйста... Меня направляют в колхоз, так сказать... А я, простите, узнал, что там даже начальной школы нету...

В одной руке старичок держал клеенчатую хозяйственную сумочку, в другой — толстую палку с серебряным набалдашником. И эта дорогая палка никак не подходила, не гармонировала со всем обликом старика. Он был одет в рваный, толстого сукна, прожженный с одного бока пиджак, подвязанный обыкновенной веревочкой, так как на пиджаке не было ни одной пуговицы, в истрепанные брюки, которые висели на его ногах трубами, на голове у него было жалкое подобие шляпы с обвислыми краями. Он был, кажется, полуслеп, потому что говорил, повернувшись совсем не в тот угол, где стоял Кружилин.

— А вы что же, учитель? — спросил Поликарп Матвеевич.

— Да, в некотором роде...— Старик повернулся на голос. И добавил робко, будто боялся, что ему не поверят: — Я, видите ли, доктор физико-математических наук.

Кружилин уже насмотрелся на всяких людей, но докторов наук среди беженцев встречать еще не приходилось.

У Поликарпа Матвеевича больно, кажется до отказа, сжалось сердце — все бо́льшие и бо́льшие глубины народного бедствия открывались ему.

Он усадил доктора наук в кресло напротив себя, долго тер подбородок, соображая, что делать.

— Вы один? С вами никого нет из родных?

— Что?.. Ах да, Маша... Это было где-то там еще, за Волгой... Наш поезд бомбили. Я ее долго искал, но нашел только вот...— И старик приподнял клеенчатую сумочку. Потом поставил на пол, вынул из кармана смятый платок. Он не плакал, только долго сморкался и мелко тряс спутанной редкой бородкой, челюсть его дрожала.

Кружилин стал звонить в область, в только что организованный отдел по эвакуации населения.

— Я, вероятно, причиняю вам беспокойство,— виновато заговорил старик.— В сущности, мне все равно, это даже любопытно — колхоз. Но чем же я там могу быть полезен? Всю жизнь я учил молодежь...

Через неделю из области приехали представители какого-то института, увезли старика ученого.

Кружилин забыл про вожжи, дремал под глухой и мерный стук копыт. Воспоминания об этом докторе наук, о женщине-меломанке, о железнодорожном составе из красных теплушек, в котором уезжали мобилизованные на фронт, облепленных женщинами и детьми,— все возникало и таяло в уставшем мозгу, как дым, расползаясь на какие-то куски и клочья. И на их месте неизменно возникали три длинных ряда разнокалиберных матерчатых палаток.

Нет, это были не те палатки, которые стояли когда-то на железнодорожной станции, на районной площади возле памятника. Это были другие... Они появились недавно, всего две недели назад, выстроились в три ряда на окраине Шантары, возле дощатых, крытых толем промкомбинатовских построек. В этих палатках жили рабочие эвакуированного завода сельскохозяйственных машин.

Этот завод свалился как снег на голову.

К концу августа кое-как распихали по домам, устроили под крыши основную массу беженцев. Кружилин облегченно вздохнул, рассчитывая вплотную теперь заняться хлебоуборкой. Но первого сентября уже поздно ночью в райкоме раздался звонок.

— Не спишь? — спросил Субботин.— Тогда здравствуй.

— Здравствуй, Иван Михайлович. Какой уж тут сон...

— Трудненько?

— Кошмар какой-то,— откровенно сказал Кружилин.— Да вроде кончается, слава богу.

— Да, да...— монотонно и вроде безучастно откликнулся на другом конце провода секретарь обкома.— Но... боюсь, что кошмар для тебя только начинается.

— Да вы что?! Мы больше не можем принять ни одного человека! Нет ни жилья, ни работы... У нас же не город.

— Вот с работой теперь у тебя легко будет. В Шантару направляется машиностроительный завод.

— Завод? При чем тут завод? Какой завод? — непонимающе произнес в трубку Кружилин.

— Сельскохозяйственного профиля.

— Ты шутишь, что ли?

— К сожалению, не шучу, Поликарп Матвеевич...

И тут только Кружилин понял, что секретарь обкома действительно не шутит, и невольно опустил руку с телефонной трубкой.

— Но почему завод к нам? Целый завод? — спросил наконец.

— Близ Шантары проходит высоковольтная линия. Так что ясно, почему к вам.

— Нет, это невозможно. Мы не сможем... Не справимся...

— Что ж, тогда звони в Москву, в Совет по эвакуации — Швернику или Косыгину. Это их решение,— отчетливо и жестко произнес Субботин. И добавил: — Я понимаю тебя, Поликарп Матвеевич. Но что же делать, война... Полмесяца назад правительством утвержден военно-хозяйственный план на четвертый квартал. В плане предусмотрено, что первого ноября этот завод должен дать продукцию.

— Но это же всего два месяца! А завода еще нет.

— Первые эшелоны с оборудованием и рабочими прибудут через два дня. Завтра к вам приедет главный инженер завода. Вместе с ним подумайте, где выбрать площадку, как и где разместить оборудование...

— Да где, как мы можем размещать оборудование? — все еще не сдавался Кружилин, хотя и понимал, что упорство его выглядит если не глупым, то по крайней мере ненужным, бесполезным. Была необходимость, вызванная войной, и эта необходимость ни с чем не считалась, ничего не признавала, перед ней отступило все, даже невозможность.— Ведь нужны... нужны цехи... производственные площади, одним словом. У нас что есть? Ничего нету... Куда будем селить людей?

— Вот вместе с главным инженером завода все обдумайте, все решите.— Голос Субботина опять налился твердостью.— Через неделю представьте в обком партии соображения с указанием точных сроков монтажа и пуска предприятия. Все, Поликарп Матвеевич, все, дорогой, давай не будем больше обсуждать этот вопрос,— прибавил он, чувствуя, что Кружилин опять хочет возразить.— Ну и нечего тебя, конечно, предупреждать, что за эти сроки, за восстановление завода, так же как и за уборочную и за все прочие дела, отвечает прежде всего райком партии. А проще сказать — ты, Поликарп Матвеевич.

Главный инженер завода оказался маленьким, толстеньким, неунывающим человечком.

— Иван Иванович Хохлов,— отрекомендовался он, войдя в кабинет Кружилина на другой день, бесцеремонно кинул на его стол портфель. Потом смутился, покраснел под взглядом Кружилина, портфель со стола убрал.— Извините.., Ну-с, в обкоме партии мне сказали, что вы в курсе. Завод у нас небольшой, полторы тысячи рабочих. Выпускаем веялки, сеялки и прочие необходимые мирному человечеству вещи. Демонтировать и грузиться пришлось под бомбежкой, но погрузить сумели все, до последнего станка. Ну-с, время терять нельзя, где будем размещать заводское оборудование, куда селить людей?

— Не знаю,— сказал с усмешкой Кружилин.

— То есть как не знаете?! Как не знаете? — Хохлов вскинул на секретаря райкома круглые глазки.

— А вот так — не знаю. Мы только что приняли два эшелона эвакуированных, для рабочих завода жилья нет ни одного метра... Полторы тысячи да семьи — сколько всего людей?

— Всего около пяти тысяч.

Кружилин только усмехнулся.

— Чему же вы смеетесь? Чему смеетесь? Да, около пяти тысяч человек... О трудностях с жильем на новом месте мы предполагали... Первое время люди могут жить в палатках. Несколько сот палаток у нас есть.

— У нас тут не Африка. В сентябре — заморозки, в октябре — дождь со снегом. Во второй половине октября бывают морозы под тридцать градусов.

Хохлов даже перестал моргать.

— Что? Под тридцать? Не может быть...— Но тут же схватил свой портфель, засуетился.— Ну, хорошо, хорошо... Сейчас надо начинать с главного — выбрать заводскую площадку, осмотреть имеющиеся помещения. Мне говорили в области, у вас есть промышленный комбинат. Некоторые его помещения можно использовать под заводские цехи.

— Что ж, поехали смотреть на помещения нашего промышленного комбината,— тяжело вздохнул Кружилин.

Через полчаса Хохлов молча ходил по низким, барачного типа строениям промкомбината — столярной и слесарной мастерской, покусывая полные розовые губы, постукивал зачем-то согнутым пальцем в дощатые стены. Так же молча обследовал единственную кирпичную постройку — промкомбинатовский склад, вышел оттуда, поглядел на ясное сентябрьское небо, в котором летела паутина, на деревянные опоры высоковольтной линии, которые, огибая село, уходили за горизонт, кивнул на крытое дерном овощехранилище:

— А там что?

— Картошку там райторг хранит, бочки с капустой.

— Посмотрим...

Выйдя из овощехранилища, Хохлов спросил:

— Это все?

— Почему же... Вон рядом со складом еще барачок. Там клюквенный морс делаем.

— Да-а...— протянул Хохлов. И, еще раз обойдя унылую территорию промкомбината, сел на какой-то пустой ящик, вынул из портфеля лист бумаги, начал чертить в нем квадраты.

— Вот здесь удобнее всего для подстанции, здесь ее и поставим. Здесь будем строить главный механический корпус, здесь — кузнечный цех. Столярная мастерская столярной и останется... Впрочем, вы знаете, что Савельева уже с дороги правительственной телеграммой вызвали в Москву?

— Какого Савельева?

— Нашего нового директора завода. С августа у нас новый директор, прибыл к нам вместе с приказом об эвакуации.

— Ну и что?

— Я думаю, не вернется ли он с распоряжением об изменении, так сказать, профиля нашего завода...— Хохлов поцарапал кончиком карандаша подбородок.— Слухи об этом были еще во время демонтажа. Война, кое-какие вещи нужнее сейчас сельхозмашин...

Кружилин только плечами пожал.

— Ну да, ну да... Посмотрим, посмотрим,— быстро проговорил Хохлов.— Значит, так, Поликарп Матвеевич, вот эту площадочку, гектаров в сорок, надо первым делом обгородить... Чем? Досок мы, надо полагать, найдем.

— У нас есть небольшой лесозаводик. Но такого количества досок...

— Да, да... И, кроме того, это трудоемкая работа, займет много времени. А послезавтра прибудут первые эшелоны. Выход единственный — обнести пока территорию будущего завода колючей проволокой... Хотя и это нереально. Где взять колючую проволоку? Придется обыкновенной, гладкой. Найдется такая?

— Какое-то количество найдем, видимо. Сколько ее надо?

— Многовато, многовато...— качал круглой головой Хохлов. Высчитывая, сколько надо проволоки, он быстро покрывал листок цифрами. Потом оторвался от бумаги, оглядел неприглядные промкомбинатовские постройки, голую степь за ними и вдруг улыбнулся.— Ну-с, дорогой Поликарп Матвеевич, через недельку-другую эту окраину вашего села будет не узнать...

* * *

И вот действительно окраину теперь не узнать. Огромный квадрат земли, обнесенный высокими столбами, на которые в несколько рядов натянута проволока, был изрыт, перекопан, обезображен. Всюду, как громадные черные волны, вздымались горы земли. Промкомбинатовские постройки оказались в самом углу, словно они были прибиты туда этими волнами, и, ненужные теперь, забытые, выглядели еще более жалкими среди гор развороченной земли.

В разных углах квадрата натужно гудели экскаваторы, вычерпывая землю из котлованов; между земляных холмов там и сям грудами были навалены кирпичи, штабеля досок и круглого леса, металлических двутавровых балок, валялись мотки проволоки. И всюду люди, люди, люди — с лопатами, с ломами, с кирками. Со станции беспрерывно подъезжали грузовики, с грохотом подкатывали тракторы, волоча за собой тяжело груженные тележки. И тракторы, грузовики вывозили беспрерывно поступающий на завод кирпич, лес, цемент, железо, станки. Сперва все это, кроме станков, сгружали внутри огороженного квадрата. Потом там стало тесно, и строительными материалами завалили всю прилегающую к площадке будущего завода территорию.

Станки и прочие заводские механизмы сгружали в специально отведенном месте, настлав прямо на землю деревянные плахи.

— Да, несчастные,— вздохнул Хохлов, когда прибыли первые машины с оборудованием, погладил грязный, холодный металл станины фрезерного станка.— Тоже намыкались, как люди. Под крышу теперь бы их.

— Они железные, не простудятся,— устало и равнодушно сказал небритый человек.

— Каждый станок закрывать брезентом! Каждый! Ты слышишь, Федотов? Лично ты будешь отвечать за это.

— А где я брезента столько наберусь? Вы дайте мне брезент — я вам не то что станки — всю площадку накрою.

— У меня без разговоров! Накрывать — и точка! Где хочешь бери...

Кружилин вспомнил этот короткий эпизод, подъезжая к стройке, с теплотой подумал о Хохлове, об этом Федотове, которого он потом никогда больше не встречал.

Подъехав, он увидел, что все станки, составленные аккуратными рядами, тщательно укрыты брезентом. И снова подумал о Федотове: «Молодец мужик!..»

Поликарп Матвеевич остановил мерина, кинул ему клок сена, опустил чересседельник.

— Эй, гражданин! — услышал он голос и увидел человека в телогрейке, опоясанного широким ремнем. На ремне болталась револьверная кобура.— Нельзя тут останавливаться. Не видишь — заводское имущество. Отъезжай.

Когда решили сгружать здесь станки и механизмы, хотели и этот участок огородить проволочным забором. Но потом рассудили, что проще поставить охрану.

— Я секретарь райкома партии Кружилин. Где Хохлов?

— А-а,— протянул человек в телогрейке.— А бес его знает. Он тут везде.

И, видя, что Кружилин пошел, кинулся за ним:

— Извиняйте, товарищ секретарь, спросить хотел... Как же зимовать-то нам? — и кивнул на три длинных ряда палаток.— Ночами уж холодновато. Детишки кашлять зачали.

— Зимовать? — Кружилин остановился.— Перезимуем. С завтрашнего дня жилье строить начнем.

— Как строить? — опешил охранник.— Чего мы успеем настроить, когда через месяц зима ляжет?

— Успеем,— тяжело усмехнулся Кружилин.

Да, жилье, жилье... Голова пухла от дум: как быть с жильем? Семей пятьсот заводских, выбрав самых многодетных, еще с горем пополам расселили, отправив кое-кого из ранее прибывших беженцев в колхозы. Но тысяча семей — свыше трех тысяч человек — со дня приезда жили в палатках.

Конечно, можно было административной властью еще многих эвакуированных переселить в колхозы и совхозы. Но этому воспротивился Хохлов.

— А завод?! Разве мы его восстановим силами одних наших рабочих к ноябрю? С нас же тогда головы снимут.— И тряс листками с подсчетами.— Вот одной земли надо вынуть тысячи и тысячи кубометров.

И тут же напирал:

— Расселяйте людей! Не поверю, что в таком большом селе нельзя еще расселить три тысячи человек. Я сам, сам пойду по домам, я проверю...

И ходил однажды ночью вместе с представителями милиции, райисполкома, проверял. Наутро в райком зашел мрачный.

— Да,— буркнул он на немой вопрос Кружилина,— все дома забиты, на полу люди вповалку спят. Какая-то бабка ухватом нас вытолкала. «Свезите, говорит, лучше уж живой меня на кладбище, мое место на печи освободится...» Но все равно рабочих расселять надо! — помолчав, заключил он.

— Пустим завод — жильем займемся. Будем строить что побыстрее — бараки. А сейчас ни леса, ни времени, ни людей на это дело — ничего нет.

Но расселять людей было некуда.

Кружилин прошел мимо палаток. Кое-где дымились еще костерки, на которых утром готовили завтрак. Меж палаток бегали ребятишки, громко перекликались, хохотали. Поликарп Матвеевич понял, что они играют в прятки. Прятаться было где.

Хохлова он нашел возле будущей подстанции. Вчера тут заканчивали рыть котлован, а за ночь уложили фундамент и начали класть стены. Они возвышались уже на полметра от земли.

Хохлов, перемазанный в глине, обросший, но по-прежнему живой и веселый, наседал на мужчину в забрызганном раствором комбинезоне:

— Ты мне сегодня в полночь что обещал, а? Я тебя спрашиваю! Сколько обещал к утру кубометров кладки сделать? А сколько сделали? Или кирпича не было? Раствора?

— Все было...

— Все было! Я лично следил, чтоб было! Так что же вы это, а?

— Измотались люди. На ходу засыпают.

— На ходу! Ты мне это брось — на ходу! — И вдруг сбавил тон, заговорил как-то жалобно и просяще: — Ты, Петрович, уж не подведи меня, а? Через неделю коробку подстанции надо выложить. Слышь, Петрович? Сегодня вот директор приезжает. Ну что я ему скажу? Как в глаза мы ему глядеть будем?

— Да мы что, мы понимаем,— простуженно говорил Петрович.— Мы, я думаю, сделаем.

— Сделай, сделай, дорогой. Мы никак не можем не сделать. Понимаешь, не можем... А-а, Поликарп Матвеевич! — увидел он Кружилина.— Доброе утро. Спалось, не спалось? Э-э, по глазам вижу — заседали всю ночь.

У Хохлова глаза были красные, воспаленные.

— Сам-то ты спал?

— Ну, как барсук... Пойдем вон туда, за штабель кирпичей. Покурим, что ли, в затишке.

Они присели за кирпичной стенкой. Перед их глазами была почти вся стройка. Солнце уже жидковатыми, разбавленными лучами обливало груды развороченной земли, отсвечивало в стеклах крутящихся кабин экскаваторов, холодными молниями поблескивало на отполированных лопатах землекопов. Землекопы состояли в основном из женщин. Молодые, пожилые, совсем старые — все махали лопатами, расчищая площадки для будущих заводских корпусов. Некоторые корпуса уже обозначились приподнявшимися на метр-полтора от земли желто-красными коробками. Женщины возили на тачках, подтаскивали на носилках кирпич, песок, цемент, известь, женщины же разводили в деревянных ящиках раствор, накладывали тяжелую, словно свинец, вязкую массу в окорята, носили каменщикам. Всюду женщины, женщины выполняли изнуряющую работу.

«А сколько такой работы придется выполнять женщинам, если война продлится еще год? — тяжело и больно ворочались мысли в голове у Кружилина.— А если — два года? Ведь, кроме них, некому. Война идет третий месяц, а мужчин в районе убавилось на три четверти, если не больше. По брони оставлено немного специалистов сельского хозяйства, механизаторов, да и то, видимо, ненадолго. Значит, все сельское хозяйство ляжет... чего там ляжет, уже легло на женские плечи...»

— Ну как, а? — раздался голос Хохлова.— Идет ведь дело-то, скоро задымит, задышит наш заводик! А ты, Матвеич, говорил!

— Да, говорил,— невесело откликнулся Кружилин.— Если бы завод не передали Наркомату боеприпасов, не знаю, как бы мы... Вспомни: проволоки даже не было, чтобы огородить территорию. А цемент, а кирпич, а лес? Вы ничего ведь, кроме станков да пары экскаваторов, с собой не привезли...

Сбоку раздался храп, Кружилин обернулся. Хохлов, прислонившись к кирпичной стене, чуть запрокинув голову, выставив обметанный щетиной кадык, спал.

* * *

Поликарп Матвеевич в молчании докурил папиросу, вспоминая недавние суматошные дни...

«Боюсь, что кошмар для тебя только начинается»,— сказал тогда Субботин. И он начался, этот кошмар, по сравнению с которым расселение эвакуированных казалось теперь делом легким и пустяковым. Райком партии обязал все колхозы, все предприятия немедленно выявить имеющиеся стройматериалы, вплоть до последнего гвоздя, не говоря уже о кирпиче или цементе, и свезти в район для восстанавливаемого завода. Но собрали таким способом едва ли тысячную часть требуемого. А из обкома партии ежедневно звонили: как идут дела, когда представите график пуска предприятия?

— Какой график?! Не можем мы пока представить никакого графика! — прокричал однажды в трубку вконец измотанный Поликарп Матвеевич. Прокричал и потом подумал: «А, будь, что будет...» — Не можем, не пустим завод к ноябрю... Да, да, котлованы копаем, мобилизовано все трудоспособное население райцентра. А фундаменты из чего класть? Дайте нам стройматериалы, тогда требуйте... Песок, щебень?.. Да, возим с берега Громотухи. А цемент, кирпич? Они на берегу не валяются... Что? Вы не можете дать из фондов области даже килограмма цемента? Так зачем же... кто же завод к нам направил?.. Совет по эвакуации? Туда звонить? Звонили... Говорят: обращайтесь в Наркомат среднего машиностроения. Звонили и туда — говорят: в область обращайтесь. А вы снова в Совет по эвакуации отправляете...

Собственно, график восстановления и пуска завода уже был. Его составил Хохлов. Но Кружилин, взглянув на график, на объемы работ и сроки их выполнения, ужаснулся.

— Это ты, Иван Иванович, серьезно?

— Как требуется по срокам,— ответил тот.

— Все ваши инженеры, парторги цехов... принимали участие в составлении графика?

— Не все... Секретарь партбюро завода Савчук знает.

— А ну-ка, давай их всех сегодня в райком...

Вечером в кабинете Кружилина было тесно. Поликарп Матвеевич оглядел хмурых незнакомых людей. Из всех он знал только Хохлова да Савчука — крупного человека с хрящеватым носом и крутым подбородком. С ним он познакомился на станции, когда прибыл первый эшелон с рабочими и оборудованием завода.

— Вот что, товарищи...— начал Поликарп Матвеевич.— Я — Кружилин, секретарь райкома партии. Это — Петр Петрович Полипов, председатель райисполкома. Это — члены бюро райкома. В процессе работы мы друг с другом перезнакомимся поближе. А сейчас давайте о главном. Нам нужно представить в область график восстановления и пуска завода. График составлен, вы с ним знакомы. Запечатать его в конверт и отправить — легче легкого. Что скажете? Отправлять? Успеем мы к первому ноября пустить завод?

Люди молчали.

Встал Савчук, заговорил тугим, с хрипотцой голосом:

— Я не понимаю, зачем вы об этом у нас спрашиваете. Срок пуска завода обсуждению не подлежит. График составлен с учетом этого срока. Теперь требуется что? В неограниченном количестве стройматериалы плюс двадцать тысяч рабочих ежедневно, в две смены. А сколько работает? По семь тысяч в смену. А стройматериалов — ноль. Вот вы, товарищ Кружилин, и объясните нам, когда будут стройматериалы, достаточное количество рабочих... Далее — с жильем как? Приближается зима. Люди в палатках мерзнут, есть больные. Обеспечение их питанием поставлено плохо. Уже проходит первая декада сентября, а дети наши еще не учатся. Пойдут ли они нынче в школы?

Что мог объяснить Кружилин? Ничего. Сроки восстановления завода срывались с самого начала. Единственная районная больница переполнена. Школы не могли принять и половины детей, оказавшихся вдруг в Шантаре... Все правильно. Но что он-то мог поделать? Он пытался что-то организовать, обеспечить, устроить. Все районные организации, все службы, которые были в Шантаре, сейчас только и занимались заводом. Одного лишь Полипова он освободил от хлопот по устройству беженцев, а потом — от заводских дел. «Твоя сейчас одна забота — уборочная,— сказал он ему.— Держи меня в курсе, потом я подключусь...» Да, все занимались заводом, но ничего не получалось. Значит, он оказался не на месте, мелькала не раз горькая мысль, оказался ни на что не способен. Другой бы что-то сделал, что-то обеспечил. Вот Савчук его отхлестал... Правильно отхлестал, не надо было собирать это глупое совещание. Не надо... А что — надо? Что?

Кружилин не помнил, как он отпустил людей, сидел, сжимая ладонями дергающиеся виски. В кабинете никого, кроме Полипова, не было. Председатель райисполкома стоял у окна и смотрел, как за стеклами качаются ветки кленов.

— Что же размышлять тут, Поликарп Матвеевич? График составлен, надо его отослать,— сказал он.

— Как? — поднял тяжелую голову Кружилин.— Он же, этот график, потолочный.

— А они что там, не знают, что он потолочный?

— А потом — как отвечать? После первого ноября?

— Ну, потом...— усмехнулся Полипов.— Мало ли что потом может случиться... Во всяком случае, позже объясниться будет легче, чем сейчас...

— Легче? — нахмурился Кружилин.

— Конечно,— пожал тот широкими плечами.— Прошедшие трудности всегда легче объяснить, обрисовать во всем объеме... с полной объективностью. Сейчас никто тебя не поймет, что завод к ноябрю нельзя пустить. Потом увидят, поймут, что нельзя было успеть. Да и...

— Что? — отрывисто бросил Поликарп Матвеевич.

— Да и особенно-то некогда будет вникать в прошлое... Новые задачи к тому времени стоять будут, еще более сложные. Тут — психология, как говорится.

— Так...— усмехнулся Кружилин.— Психология? Умен ты, вижу.— Встал, тяжко ступая, пошел из кабинета.— Только, Петр Петрович, завод-то мы к ноябрю пустить должны.

— Ты же сам сегодня утром, разговаривая с обкомом, кричал в трубку, доказывал, что не успеть к этому сроку.

— Мало ли чего я кричал и доказывал.

— Но ведь его действительно нельзя... невозможно...

— Невозможно, а обязаны.

— Да как?

— Не знаю.

Не знал этого Кружилин и еще несколько дней. Чтобы не отвечать на телефонные звонки из области, дни и ночи пропадал на стройке. Полипова за это время видел раза два или три. Тот ничего не говорил, не спрашивал, только сосредоточенно хмурился... «А ведь радуется...» — каждый раз думал Кружилин. И чувствовал, как рождается в нем неприязнь к этому человеку.

Измотанный, опустошенный, вконец обессиленный, он как-то ночью позвонил в Новосибирск, на квартиру Субботина.

— Здравствуй, Иван Михайлович,— сказал он и замолчал, не зная, что говорить. Секретарь обкома терпеливо ждал.— Ты извини, что я так поздно... Я и не по делу даже... Так вот просто.

— Ну, это ты, Поликарп, врешь.

— Вру,— покорно согласился Кружилин.— Но звоню не официально, не как секретарю обкома. Можно? Понимаешь, больше не с кем так поговорить... Попростому, по-человечески...

— Значит, выдыхаешься?

— То ли слово? Выдохнуться можно, когда что-то сделаешь, сколько-то пути одолеешь. А я... как белка в колесе — кручу изо всех сил, а оно на месте. Что делать-то, а?

— Да...— промолвил, помолчав, Субботин.— Не телефонный это разговор-то, Поликарп... Если я скажу тебе, что мы тут все тоже... как белки в колесах? Поверишь? Тоже крутим, а оно все почти ни с места. Около трех десятков в область прибыло уже различных предприятий. И такие, как ваше, и помельче, и покрупнее. На подходе еще около дюжины... А сколько будет после этой дюжины? Радио-то слушаешь?

— Так что же это получается?

Кружилин проговорил и понял, что его вопрос звучит неуместно и наивно. Что получается? Как будто сам не понимает. Немцы наступают стремительно и неудержимо. Красная Армия сдает город за городом. Все что можно правительство эвакуирует. И все на восток, на восток, на восток. Куда ж еще?!

— То есть что происходит — понятно. Но когда же это кончится?

— Кончится, Поликарп Матвеевич,— негромко сказал Субботин.— Остановим немца. Остановим — и погоним назад.

Они оба помолчали.

— Так что же мне все-таки с заводом-то делать, а?

— Если б мне кто-нибудь ответил на такой же вопрос,— устало проговорил Субботин.

— Понятно... Значит, Полипов правильно мне советует?

— А что он тебе советует?

— Выслать в обком наш липовый график восстановления и пуска завода.

— Что ж...— чуть помедлил Субботин.— Он не так глуп, этот Полипов.

— Да, видимо... поумнее меня.

— Ты себе цену не набавляй,— донесся рассерженный голос.— Я не сказал «поумнее». Я сказал «не так глуп».

— Значит, высылать?

— А что тебе остается делать? — И опять, чуть-чуть помедлив, прибавил, как бы объясняя, почему Кружилин должен представить хотя бы липовый график: — А то у нас тут и так уже... ходят разговорчики, что ты там растерялся, ничего не можешь обеспечить.

— Что ж, так оно и есть.— Трубка давно нагрелась, жгла ему ухо.— Не могу.

— А кто сейчас, в такой обстановке, может? — Вопрос прозвучал так резко, что Кружилин вздрогнул.

— Ты что говоришь-то?! Ты подумай, что ты мне говоришь!

— Да, я говорю не то, может быть...— смягчился Субботин.— Завтра я тебе этого не скажу. Но сегодня ты же хотел по-человечески... Так вот, по-человечески я тебе скажу: трудности на нас свалились небывалые. Перед тобой, передо мной, перед всеми каждый день встают задачи, многие из которых, если смотреть правде в глаза, почти или вовсе невыполнимы в данных условиях и в данные сроки.— И вдруг заговорил еще мягче, с какой-то до предела обнаженной простотой и сердечностью: — Но, дорогой мой Поликарп Матвеевич! Если мы сами себя убедим в своей беспомощности, в растерянности, в неспособности взять верх, что же тогда-то получится? Ты подумай.

— Да... Да, да,— трижды вымолвил Кружилин.

— Держись, Поликарп Матвеевич,— все тем же тоном сказал Субботин.— Остановим фашистские банды — всем нам будет полегче... А с твоим заводом, я думаю, скоро все прояснится...

— Что прояснится? Как прояснится? — Кружилин поплотнее припал к трубке.

— Звонил из Москвы Савельев, директор вашего завода... Кажется, завод передают какому-то военному ведомству. Тогда и стройматериалы и люди — все в первую очередь для вас...

— Погоди, погоди... Ведь завод сельхозмашины делал.

— Все, Поликарп,— сухо прервал Субботин.— Об этом — не по телефону. И так говорим о чем не положено... Кстати, а ты знаешь, что директор завода Савельев — ваш, шантарский?

— Как наш? — не понял Кружилин.

— Ну, так. Где-то там, в ваших краях, родился.

— Постой, постой... Это какой же Савельев? У нас тут один Савельев проживает — Федор, комбайнером работает. У него есть два брата. Младший — Иван... он тоже сейчас здесь. А старший из братьев... как же его звать? Не то Андрей, не то... Слушай, не Антоном его звать? Не Антон Силантьевич?

— Да, Антон Силантьевич. Очень хороший человек, мы с ним в новониколаевском подполье еще работали.

— Вот так та-ак...— И вдруг неожиданно для себя Кружилин сказал: — С Полиповым ты, кажется, тоже в подполье работал...

— Да, и с ним. Много всем нам пришлось тогда выхлебать... А что у тебя с ним?

— Не он, случайно, информирует обком, что я тут растерялся... ничего не могу? — прямо спросил Кружилин.

— Это...— Субботин кашлянул,— это на каком же основании такие выводы... или предположения делаешь?

— Обижен он, что с секретарства его сняли.

— Ну, ты, брат... слишком поспешные, может быть... и несерьезные умозаключения строишь,— проговорил Субботин и тут же начал прощаться, заканчивая разговор. Однако некоторые паузы в голосе секретаря обкома, поспешный вопрос: «А что у тебя с ним?», эти слова в конце — «может быть» — позволили Кружилину понять, что Субботин, кажется, не опровергает его умозаключений.

В ту ночь Кружилин почти не спал, все ворочался, думая о заводе, о Полипове, до мельчайших подробностей припоминая, анализируя весь разговор с Субботиным. А перед утром раздался вдруг резкий телефонный звонок.

— Говорит Савельев... Алло, вы слышите меня? Вы секретарь райкома?

— Наконец-то! Да, я секретарь... Где же вы там запропастились? Я тут ума не приложу, что делать с вашим заводом. Вы откуда звоните?

— Из Москвы.

— Из Москвы...— повторил Кружилин, прислушиваясь, как звучит это слово.— Из Москвы... Как она там, Москва?

— Нормально. Темновато только. Вся Москва затемнена, нигде ни огонька.

— Бомбят?

— Читаете, конечно, в газетах, как жарко в небе над Москвой? Но бывает, что и прорываются фашистские самолеты. Извините, Поликарп Матвеевич, что поднял вас... Мы-то еще не спим, в Москве всего полночь. Сейчас только состоялось правительственное решение по нашему заводу.

— Да, я знаю, что должно было состояться... Я говорил сегодня ночью с обкомом.

— Ну тем более. Как все-таки там завод?

— Плохо... Оборудование вывезли со станции, отвели площадку, чистим ее, роем котлованы под здания. Мобилизовали все трудоспособное население, женщин в основном, подростков даже. Из всех предприятий и организаций, кого можно было, перекинули на стройку. Но людей не хватает. У нас была, как и везде, мобилизация.

— Да, это понятно.

— А строить цехи не из чего. Люди живут в палатках еще, селить некуда.

— Понятно,— опять сказал Савельев.— Люди еще будут прибывать.

— Да вы что? Вы что?!

Савельев, будто не расслышал этого возгласа, продолжал:

— Нам передали часть оборудования и рабочих еще с одного завода. Оборонного. Все это где-то в пути. Начальникам эшелонов даны телеграммы, куда следовать. Одновременно решился вопрос со стройматериалами. Через три-четыре дня к вам начнут поступать кирпич, цемент и прочее. Задача главная в том, чтобы не задерживать вагоны, немедленно разгружать. Хохлов там где?.. Савчук?.. Передайте им — пусть часть людей снимают со стройплощадки, снимают сколько надо и разгружают. И конечно, все вывозить. Несколько десятков автомашин тоже прибудут. Но вы там мобилизуйте весь свой транспорт, какой можно. До последней подводы.

— Понятно,— невесело сказал Кружилин.

— А я еще задержусь несколько дней здесь, потом в Новосибирске буду пробивать эти стройматериалы.

— А людей... сколько еще людей прибудет?

— Тысячи полторы еще... Поживут пока в палатках, до ноября. Там придумаем что-нибудь...— И почти без перехода продолжал: — Ну а как там мой брат Федор поживает? Я ведь, знаете, из Шантары родом.

— Знаю. Федор что же... Живет. Сейчас в михайловском колхозе хлеб убирает.

— Да, он комбайнер, кажется... А про другого моего брата что слышно? Про Ивана. Не знаете его?

— Почему же... И Иван здесь, в Михайловке.

— Там?! — быстро переспросил Антон.— Он... он вернулся, значит?

— Да. Как раз двадцать второго июня, в день начала войны.

— Так, так...— протяжно сказал Савельев.— Ну что ж, встретимся, значит. Давненько я их не видел, три десятка лет. Интересно поглядеть, какие у меня братья... Ну, все, Поликарп Матвеевич. До встречи.

Кружилин поглядел на часы — маленькая стрелка только-только переползала цифру «четыре». За окнами стояла темень, небо черное, лишь в одном месте, за селом, где при свете прожекторов всю ночь работали люди, небо было серо-белесым, там стояло жиденькое зарево. Оно стояло там каждую ночь, с вечера до утра, и гасло на рассвете. Скорее не гасло, а, наоборот, разгоралось каждое утро все сильнее и сильнее, разгоняло ночную темноту, все ярче и ярче расцвечивая все небо. Потом вставало солнце.

В ту ночь Кружилин больше не ложился. Транспорт? Что ж, транспорт будет, думал он, расхаживая по комнате. Временно придется снять с уборки какое-то количество автомашин, даже тракторов. А все, что можно, вывозить на лошадях. Лошадей в районе много. Телеги, повозки... Прямо с утра надо собрать всех руководителей районных организаций, всех председателей колхозов, всем вместе, сообща с работниками завода, представить себе во всех деталях задачу и подумать, как ее выполнить.

Цель была далека и по-прежнему труднодостижима. Но теперь появились какие-то возможности для ее достижения. Все остальное будет зависеть от людей, от того, как их организовать. А это уж другое дело, за это могут и должны спрашивать с районного комитета партии, с него лично.

Кружилин прошел на кухню, поплескал в лицо холодной водой, вернулся в кабинет, подвинул лист чистой бумаги и стал составлять телефонограмму всем председателям колхозов, руководителям всех районных организаций...

* * *

Припомнив все это, Кружилин вздохнул.

Солнце грело не жарко, но еще грело, под кирпичной стенкой было тепло, даже чуть припекало, и у спящего Хохлова на лбу выступили, как роса, капельки пота.

Кругом гремело, урчало, раздавались крики и ругань. Проходившие и пробегавшие мимо люди бросали на Кружилина и Хохлова сердитые взгляды: чего, дескать, два таких лба блаженствуют тут, в затишке?

Голова Хохлова чуть свалилась набок, обнажив похудевшую, заросшую грязной щетиной шею. Эта шея вызывала у Поликарпа Матвеевича жалость и сострадание.

Кружилину давно надо было ехать, но он не решался будить Хохлова, достал новую папиросу, чиркнул спичкой. Хохлова не могли пробудить рев тракторов и экскаваторов, крики людей — ко всему он давно привык,— но от шипения загорающейся спички вздрогнул, открыл испуганные глаза, протянул облегченно:

— А-а...

— Поспал маленько?

— Да вот...— виновато улыбнулся Хохлов.— Мне все чудится — бомбы-зажигалки шипят. Они так же шипят, как спички, только громче.— Он дрожащей рукой вытер пот со лба.— И еще — детский крик.

— Крик?

— Ага. У меня ведь... еще там, дома, дочь сгорела, погибла. Семь лет ей было. Я не рассказывал...

Хохлов действительно не рассказывал, есть ли у него семья, где она, что с ней. Кружилин почему-то думал, что он одинок.

— Нынче в школу бы пошла,— продолжал Хохлов, глядя на носки грязных своих сапог.— А погибла — страшно вспомнить... Воздушный налет был, ночью... Мы выбежали из дома во двор. Девочка споткнулась и упала. И тут посыпались эти зажигалки. Одна из них прямо возле нее закрутилась на асфальте... платьишко сразу вспыхнуло. Она еще вскочила, закричала... И тут же рухнула, покатилась... И прямо к той же бомбе, в расплавленный асфальт... Все это — в одну секунду, на глазах жены. Жена тоже чуть не бросилась на эту зажигалку, еле сумел оттащить.

Хохлов проговорил это и замолчал, по-прежнему разглядывая носки сапог. Но он ничего не видел, вероятно. Глаза его были тусклые, холодные, застывшие, в них ничего не отражалось.

— Да, я понимаю,— негромко сказал Кружилин.

— Не-ет,— мотнул головой Хохлов,— этого, не пережив, понять нельзя. Невозможно.

— А жена твоя... семья здесь сейчас?

— Где же еще... Там,— кивнул он в сторону палаток.— Жена и дочь. Старшая. Последняя. Жена, думал, не выживет. Ничего, отходит. Молчалива только стала. Как немая. Но, я думаю, разговорится. Горе горем, а жить ведь надо. На работу стала выходить, это хорошо. Она плановик-экономист, а сейчас раствор делает для подстанции.

Кружилин вспомнил, как впервые увидел этого человека. В кабинет он вошел бодро, бесцеремонно кинул на стол портфель, заговорил о делах каким-то легким, неунывающим тоном. А в это время где-то в эшелоне, под присмотром, видимо, дочери, ехала обезумевшая от горя жена. Каким же запасом жизнелюбия и душевной стойкости обладает этот человек?

Они еще посидели минуты две-три в молчании.

— Так вот, Иван Иванович, я, собственно, насчет палаток этих... В ноябре начнутся холода. Сегодня ночью мы на бюро решили...

— Да, да, я знаю — землянки... Савчук мне говорил. Чего ж вы меня на бюро не пригласили?

— Мы-то приглашали...

— Да, верно, кажется, приглашали,— потер Хохлов заросший подбородок.— Черт, все крутится, мешается в голове. С вечера я даже помнил. А ночью трансформаторы устанавливали, я должен был сам проследить... Землянки, землянки...

— Иного выхода у нас нет. И Савельев тоже так считает. Зимой жилье будем помаленьку строить.

— Он в Новосибирске все еще? Мне бы тоже с ним обговорить кой-чего надо. Я все-таки инженер по сельхозмашинам. А теперь даже и неизвестно, что мы выпускать будем.

— Артиллерийские снаряды. Чего тут неизвестного?

— Снаряды! Но я не знаю, как снаряды делать! Я этого не умею. Сейчас надо уже думать над монтажом цехов, над установкой оборудования. А я не знаю, что, куда, как! И никто не знает. Никаких специалистов с оборонного завода не прибыло.

— Кажется, сегодня приезжают вместе с Савельевым.

— Да? Наконец-то! А землянки...— Хохлов вытащил истрепанную тетрадку.— Вы на бюро вон об этой огромной котловине, кажется, говорили. Я ее обследовал утром. И кое-что набросал тут. А что это за котловина?

— Не знаю. Когда я был маленький, старики говорили, что здесь был огромный пруд, который по деревянным трубам наполнялся из Громотушки — из ручья, что по деревне бежит. Потом трубы сгнили, пруд высох.

— Ну и отлично, что высох. Края котловины довольно круты, но это и хорошо. Экскаватором мы выберем по краям котловины грунт... Вот, смотрите...

В тетради Хохлова была нарисована эта продолговатая котловина с квадратными ячейками по краям. Рисунок походил на ожерелье и был по-своему красив.

— Дюжина ковшей — и землянка, собственно, готова. Остается накрыть ее сверху чем-то. Лесу для этого, я думаю, найдем. Входы в землянки отсюда, снизу. Неудобно, но что поделаешь. А талые воды не затопляют котловину?

— Нет. На дне чуть водичка держится, пока почва не оттает.

— Отлично. Даже красиво будет: вокруг озера — роскошные особняки...— Хохлов перевернул страничку.— А вот подсчеты кое-какие. За полмесяца пятью экскаваторами землянок нароем достаточно. Ну а людей, конечно, на устройство этих землянок понадобится... Ну, тут проще — человек по пятьсот будем каждый день сюда направлять. Главное — накрыть их и входные двери теплые сделать. Внутренность каждый уж по своему вкусу оборудует. Но общий принцип их устройства, мне кажется, должен быть такой...

Хохлов снова перевернул страницу, и Кружилин увидел нарисованный карандашом план землянки.

— Вход, как видите, снизу, со дна котловины,— пояснял Хохлов.— Дверь, по бокам — небольшие окна. Здесь сразу кухня, столовая — все. А дальше — перегородка, за ней — спальня. Спальня темная, освещается только электричеством. Но зато теплая, в тепле люди спать будут. Печь вот здесь, на обе половины. А?

«Кухня, столовая, спальня» — все это в устах Хохлова звучало убедительно и серьезно, будто он показывал планировку не примитивной землянки, а настоящего жилого дома.

— А может, на две, на три семьи одну землянку делать, а? — продолжал меж тем Хохлов.— Тут надо подумать, что скорее, что в данной обстановке экономнее даже не в смысле материала, а времени. Вот я планы и таких землянок набросал...

— Когда ты это успел все, Иван Иванович? — с тихой грустью спросил Кружилин.

— Ну, это не сложно, это между делом.— Хохлов захлопнул тетрадь.— Сложнее другое. Автолавку вот ночью украли.

— Да, мне звонил начальник милиции. Ищут.

С автолавок в палаточном городке рабочим завода продавали продукты, одежду, обувь. Вообще, все товары, какие оказывались в Шантаре, в первую очередь направлялись сюда. На днях в райпотребсоюз поступила большая партия ситца, шерстяных тканей и рабочих сапог. Председатель райпотребсоюза распорядился нагрузить две автолавки и отправить в городок.

Машины с товарами и прибыли под вечер, часа полтора торговали. С наступлением темноты лавки опломбировали и, как всегда, сдали сторожу. В городке была с самого начала учреждена своя охрана, за небольшую дополнительную плату сторож согласился присматривать и за автолавками: чтобы не делать частых бесполезных перегонов, их на ночь оставляли в городке.

Сегодня утром и сторож, и одна из автолавок с тканями и сапогами исчезли. Это обнаружил милиционер Елизаров, который на рассвете решил проверить, все ли спокойно в палаточном городке.

Сторожа, едва живого, оглушенного чем-то по голове, нашли за одной из палаток. Когда старика растолкали, он пощупал разбитую в кровь голову и заголосил:

— Провались она, эта охрана, и ваши деньги! Освобождайте немедля с должности... Ох, головушка расколотая!

— Кто автолавку угнал, какие люди? Не заметил? — допытывался Елизаров.

— Ничего не знаю. Мальчонку ищите лет десяти-двенадцати...

— Какой мальчишка? Какой он из себя?

— Откудова я знаю какой?! — закричал старик.— Темно было, откудова разглядеть? Шебаршит, говорит, чтой-то в машине. Я и приладился ухом к ейной... к машинной стене. Меня сзаду и дербалызнули...

—... Найдут, я думаю, эту автолавку. Куда они ее денут, не иголка,— помолчав, сказал Кружилин, достал часы на ремешке.— Значит, насчет землянок решено... Ого! Ну, я на станцию. Ты не поедешь встречать Савельева?

— Надо бы, да вот трансформаторы меня волнуют... Там, на станции, Савчук, он встретит...

* * *

Станция была расположена от Шантары километрах в трех. Железнодорожная линия прошла в таком отдалении потому, что возле Шантары каждую весну широко разливалась Громотуха, затопляя левобережье в иные весны километра на полтора, на два. Строители побоялись, видимо, что, если проложить дорогу ближе к селу, полыми водами может размыть железнодорожную насыпь.

Кружилин придерживал рвавшегося жеребца. Шоссе было за эти два-три месяца разбито, раздавлено грузовиками, разворочено колесами и гусеницами тракторов. Колдобины и рытвины Полипов приказал Малыгину засыпать гравием и дресвой, и расторопный Малыгин со своими «жохами» держал шоссе в порядке. Недавно Малыгин был мобилизован на фронт. Кружилину и Полипову было не до дороги, и она снова оказалась в плачевном состоянии. «Надо, крайне надо до дождей ее как-то подремонтировать. Иначе в слякоть раскиснет вовсе... Ну, да теперь и у Савельева тоже об этом пусть голова поболит...»

Навстречу беспрерывно шли грузовики, ползли тракторы, волоча за собой тяжелые прицепы с заводским имуществом.

Один из тракторов, поравнявшись, вдруг остановился, из кабины выпрыгнул молодой парень и замахал руками, подбегая. Поликарп Матвеевич натянул вожжи.

— Что тебе?

— Познакомиться хотел,— сказал парень.— Вы ведь секретарь райкома Кружилин...

Серые глаза парня глядели спокойно, только холодно и недоверчиво, из-под кепки свисали перепутанные космы волос.

— Кружилин, верно. А ты-то кто?

— Я Савельев Семен.

— А-а, сын Федора Савельева, значит? Вон ты какой вырос, Семен.— Кружилин снова оглядел парня с любопытством.

— Вырос. Жениться даже хочу.

— На свадьбу, значит, приглашаешь?

— Нет, я насчет брони, которую мне выдали.

Под бровями у Кружилина шевельнулись темные зрачки.

— Понятно. А ты на фронт хочешь?

— А что я, хуже других?У меня была отсрочка от призыва и на действительную, поскольку в МТС трактористов не хватало. Ну, я даже рад был. А сейчас...

Семен сдернул кепку, ладонью сгреб назад волосы, снова притиснул их кепкой.

— Я, Семен, тоже на фронт хотел бы. Да вот тоже не берут.

— Вы — другое дело. Вам и тут дел хватит.

— Тебе, что ли, не хватает?

— Да какое это дело? — Семен кивнул на свой трактор.— Ну конечно, я понимаю... И хлеб надо убирать, и завод строить. Я уже третью неделю заводские грузы вожу. Но ведь девчонку любую поучить два месяца — и она так же рычагами будет двигать.

— Так ведь учить еще надо. А завод ждать будет?

— Ясно...— мрачно уронил Семен.— Значит, не поможете?

— Будет нужда — и без моей помощи призовут.

— Значит, сейчас — нету нужды?

— Пока, выходит, здесь ты нужнее.

Семен постоял молча, глядя куда-то мимо Кружилина, в пустую, еще не тоскливую, но уже начинающую грустнеть степь, сплюнул под колеса и пошел к трактору. Запрыгнув в кабину, дал такой газ, что машина, взревев, затряслась, и Кружилин, ощутив, как задрожала земля, улыбнулся чему-то.

Станционные пути были плотно забиты пыльными железнодорожными составами. Возле путей в беспорядке грудились тракторы, грузовики, пароконные брички, бычьи упряжки. Груженные заводским имуществом машины и подводы тяжело выползали на шоссе, навстречу им почти вереницей шли порожние. Грохот тракторных и автомобильных моторов, рев паровозных гудков, лязг железа, ржанье лошадей, людская ругань и крики — все смешалось в один надсадный, нескончаемый гул.

Но как ни плотно стояли составы, сквозь них протиснулся еще один. Закопченный паровоз подтащил к самому перрону десятка три платформ, груженных станками, тесом, кирпичом, какими-то ящиками. Из единственного в этом составе крытого товарного вагона соскочил мужчина в дождевике, с кожаной фуражкой в руке.

Кружилин сразу узнал его: такой же, как у Федора Савельева, открытый большой лоб и такие же сросшиеся брови. Только усов не было да волосы не черные, а пепельно-серые.

— Здравствуй, Антон Силантьевич.

— Поликарп Матвеевич Кружилин?

— Я.

Антон Савельев не сразу протянул ему руку, секунду-другую помедлил, в упор разглядывая. А потом не сразу отпустил его ладонь.

— Вот мы и прибыли, значит. Это — инженеры нашего завода. Знакомьтесь, товарищи...

Из вагона вышли еще человек пятнадцать, люди все пожилые, солидные. Поликарп Матвеевич пожимал всем по очереди руки, вслушивался в голоса, а сам думал-прикидывал: где же раздобыть жилье для этих специалистов, с семьями они приехали или без семей?

— Ну, посмотрим, что здесь и как,— проговорил Савельев, оглядывая станцию.— С разгрузкой как?

— Делаем все, что можем.

Из-под состава вынырнул Савчук. Парторг уже недели полторы безвылазно торчал на станции, руководя разгрузкой. Он был в замасленной телогрейке и походил сейчас на шофера или тракториста.

— Наконец-то! — воскликнул он, пожал руку Савельеву и всем остальным.— Ну, с чего начинать докладывать?

— Зачем тратить время? Пройдемтесь, товарищи, по станции — сами все увидим. На это — десять минут...— И повернулся к Кружилину: — А вечерком хотел бы поговорить с тобой. Сейчас, вижу, в дальний путь собрался,— кивнул он на кнут, который Кружилин держал в руке.

— Да, уборка. Надо хоть посмотреть, что на полях делается.

— Понятно.

— Насчет ночлега — в райисполкоме что-то организуют. А потом что-нибудь придумаем с жильем. Вы с семьями?

— Едут где-то пока... Значит, до вечера.

...Подремывая под стук лошадиных копыт, Поликарп Матвеевич думал о Савельеве. Проницательный, сразу увидел, что на поля собрался. И что сразу как-то на «ты» начали говорить, тоже хорошо. Проще...

За коробком вздымался хвост белой, как березовый дым, пыли. Пыль высоко

не поднималась, но и не оседала, долго плавала над дорогой, постепенно истаивая, как утренний туман.

По обеим сторонам стояла высокой стеной рожь, клонилась к земле тяжелыми, перезревшими колосьями. Неубранная рожь в сентябре? Этого никогда не бывало. А сейчас стоит, осыпается. Не дай бог ветерок ударит покрепче — всю вымолотит.

Над степью сыто, не спеша кружились два или три коршуна, выбирая, видимо, самых разжиревших перепелов. Солнце разошлось, светило по-летнему добросовестно, щедро.

* * *

На ток колхоза «Красный колос» Поликарп Матвеевич завернул к концу дня. Длинные тени от хлебных скирд лизали землю. Этих скирд вокруг тока было много, штук двенадцать.

По току в беспорядке сновали брички. На кругу молотили лошадьми пшеницу. Покрикивали, понукая усталых лошадей, люди, стучали веялки. Десятка полтора запряженных подвод стояло чуть в сторонке. Брички были нагружены мешками с зерном.

За длинным столом под навесом сидел председатель колхоза Панкрат Назаров. Выставив костлявые плечи, он склонился над чашкой. На другом конце стола полнощекая женщина кисточкой старательно выводила на куске красного ситца буквы.

— А-а,— вместо приветствия протянул Назаров недружелюбно.— Глафира, подай еще лапшички. Садись поужинай.

Женщина бросила кисточку в стакан с разбавленным мелом, принесла глиняную чашку с лапшой, деревянную, обкусанную ложку и большой кусок хлеба. И снова взялась за кисточку.

— Она у нас и повар, и агитатор, и писарь тут. Все вместе,— сказал Панкрат.

Поликарп Матвеевич проголодался за день, начал есть, размышляя, что за те годы, пока он жил в Ойротии, Панкрат Назаров сильно сдал, постарел. Он вроде и не похудел, а как-то высох, почернел и покоробился, как долго лежавшая на солнце сосновая плаха.

Панкрат выхлебал свою чашку, заскреб дно коркой хлеба.

— Ну вот, и мыть не надобно. Эй, Петрован!

Подошел бородатый старичок со спокойно-задумчивыми голубыми глазами, поздоровался. Кружилин помнил этого колхозника. Борода его, широкая, как лопата, давно закуржавела, только глаза были по-молодому ясные и чистые.

— Кончайте,— сказал ему Панкрат.— Запрягай и этих всех. Домолотим цепами.— И повернулся к Кружилину: — Хлебный обоз на элеватор отправляем.

Кружилин и без того понял, что готовится хлебный обоз.

— На ночь-то глядя,— буркнула Глафира.— Кони вон как притомились.

— Цыц, баба! — прикрикнул председатель.— Вся в мать, язви тебя! Василису-то Посконову помнишь? Такая есть у нас пронырливая старуха, все сплетни наперед других узнает.

— Что тебе моя мать далась?

— Во-во, вся в нее. Дочь — она всегда точь-в-точь. Володька!

— Ну, вот он я,— подошел мальчишка в залатанной рубахе, босой, запыленный, с вилами в руках.

— Вилы прислони к скирде — и марш в деревню. А то завтрева на уроках дремать будешь. Петрован, запрягайте, чего там мнетесь? На обратном пути коней в логу покормите. Да не грузите больше пятнадцати пудов на бричку. А завтра с утра всех коней на скирдовку пшеницы пустить.

Все это председатель говорил, не сходя с места. Он сидел теперь только спиной к столу, широко расставив ноги в заскорузлых сапогах.

Глафира кончила писать, взяла тряпку, развернула ее перед председателем и Кружилиным. Мокрыми неровными буквами на тряпке было написано: «Хлеб — фронту».

— Ладно, что ли?

— Сойдет. Все одно ночью ничего не видно. Приладьте на головную бричку,— сказал Панкрат не глядя.

Глафира ушла.

— Поздновато ты начал хлеб нынче сдавать, Панкрат Григорьевич,— сказал Кружилин.— Первый обоз это, кажется?

Панкрат долго ничего не отвечал, сидел и смотрел, как запрягают лошадей, как грузят новые брички.

— Поспешишь — людей насмешишь.

Председатель был не в духе, он был недоволен, что приехал секретарь райкома.

Просматривая в райкоме сводки хлебосдачи, Кружилин удивлялся, что в графе против колхоза «Красный колос» неизменно стоит прочерк. Полипов несколько раз докладывал: Назаров не сдает хлеб государству. «Злостно, злостно не сдает... А время, надо же понимать, не мирное сейчас...» — бросил он зловеще в последний раз. Кружилин не имел возможности вырваться в колхоз сам, звонил по телефону. Назаров выслушивал Кружилина спокойно, обещал начать хлебосдачу. И не начинал.

Груженые брички, поскрипывая, отъезжали от хлебных буртов, уступая место порожним. Женщины ведрами и плицами проворно насыпали мешки.

Наконец все подводы были нагружены. Петрован Головлев опять подошел к председателю, но тот только махнул рукой:

— С богом.

Старик, не проронив ни слова, повернул назад. И тотчас заскрипели брички, обоз тронулся.

— А не маловато по пятнадцать пудов на бричку? — спросил Кружилин, когда обоз отъехал.

— Кони приставшие. А завтра скирдовать будем.

— Значит, завтра хлеб не повезешь сдавать?

— Почему? К ночи отправим еще один обоз.

— Еще двадцать подвод по пятнадцать пудов. Всего с сегодняшним шестьсот пудов. Это около сотни центнеров. На календаре вторая половина сентября. Не маловато?

— Сколь можем.

— Мудришь ты, Панкрат, вижу...

Сидевший все время неподвижно, Назаров вскочил.

— Слушай! — И взмахнул обеими руками.— Слушай, я сейчас ругаться буду. По-зверски. А тут народ. Потому пойдем-ка отселя... Ты куда сейчас, в Шантару?

— Туда надо подвигаться.

— Вот и поедем. Мне по пути — я на ток второй бригады. По дороге и поругаемся. В степи одинокой.

Но в «степи одинокой» Назаров ругаться не стал. Едва отъехали от тока, он, остывший уже, спокойно сказал:

— Ежели я мудрю, то по вашим же указаниям.

— Это как понять?

— Просто все понимается... Райкомовское было постановление, чтоб без потерь убрать? Было. В первый же день войны. А я что делаю? Вон, скирды видел необмолоченные на току? Там — вся рожь наша. А в других колхозах? На корню еще половина. А ежели непогодь? То-то и оно. А у нас не обсыплется. Тут пшеница пошла подходить. Косим, скирдуем, насколько сил хватает. Комбайнов эмтээсовских у нас всего два. Что с ними успеешь? Дале — мужиков, самых работящих, на войну повзяли. Коней райисполком половину на этот завод мобилизовал, что эвакуированный. За остальных боюсь,— может статься, для войны заберут. А?

— Может статься.

— Ну вот... Да как же мне делать-то? А хлеб потерять — ты меня как, ладонью по макушке погладишь али кулаком по затылку? Потому и крутимся. Вон, гляди...

В стороне, метрах в четырехстах, десятка три женщин в разноцветных платках и кофтах жали серпами пшеницу и вязали ее в снопы. Заходящее солнце раз-

лилось по жнивью, золотило его, и тугие снопы лежали тоже как золотые слитки.

— Видишь, всяко приловчаемся. Сожнем, составим в суслоны, заскирдуем потом. После обмолотим потихоньку. А хлебосдача будет. Куда мы от хлебосдачи?

— Так-то оно так...

— А что не так?

Но Кружилин на этот вопрос не ответил.

С полкилометра проехали молча. Карька-Сокол, умаявшийся за день, теперь не рвался из оглобель. Панкрат еще раз оглянулся на жниц, проговорил:

— Вот сколь знаю эту Агату Савельеву — не нахвалюсь.

— Она, что ли, там?

— Она. Собрала старушонок — и айда. Эвон сколь за день выпластали. Подмога.— Помедлил и добавил: — Повезло хоть в этом Ивану. Одно слово — звень-баба.

— Что значит — звень?

— Люди — они как церковные колокола. Иной вроде и отлит чисто, на солнышке янтарем горит, по виду так и красивше нету. А ударь — с дребезгом звон, со ржавчиной, вроде в чугунку ударили. А бывает — и на вид неказистый, зеленью изъеден. А тронь — и запоет, вроде бы заря по чистому небу расплывается. Это и есть звень-колокол.

Назаров, пошевеливая спутанными бровями, в которые туго набилась степная пыль, сурово смотрел, как спускалось за острый каменный гребень Звенигоры большое желтое солнце. Край солнечного диска уже расплющился о гранит, подплавился, растекаясь по макушке утеса красно-багровыми ручьями.

Из черных ущелий Звенигоры густыми клубами поднимался вечерний туман. Чудилось, что это не туман вовсе, что это огненные солнечные ручьи стекают в сырые ущелья, а оттуда вспучиваются раскаленные пары...

— А сам Иван как сейчас? — спросил Кружилин.

— Как? Обыкновенно,— ответил Назаров, не отрывая глаз от освещенных вершин Звенигоры.— Пастушит. Хотел его на строительство мельницы поставить. А он — хочу, говорит, один в степи побыть, травяным воздухом подышать, березовый шум послушать. Я, старый пень, сам-то не догадался...

— А Федор как здесь работает?

— Что Федор? В работе он зверь. В сутки разве два-три часа спит.

— Да, да. Полипов хвалил его.

Панкрат Назаров усмехнулся, загреб жесткими пальцами давно не бритый подбородок, ничего не сказал.

— Встречались братья? — спросил Кружилин.

— Нет вроде. Не слыхал. Да им, кажись, обоим это без надобности.

— А сегодня их старший брат приехал, Антон.

— Антон? — Назаров вскинул поблекшие глаза.— Ты скажи! Не помню я его, стерся он весь в памяти. Припоминается только — белявый такой парнишка, бегал все по двору у Савельевых. Лет за десять-двенадцать до революции старый Силантий в Новониколаевск к брату, кажись, его отправил. А годика три спустя Антон этот, слышно было, по царским тюрьмам пошел. И однажды — это хорошо помню, году в девятьсот десятом было — нагрянули в Михайловку жандармы с Новониколаевска, сбежавшего из тюрьмы Антона этого искали... Откуда же он, зачем к нам?

— Директором эвакуированного завода его назначили.

— Ты скажи! — опять удивился Панкрат.

Как ни щедро днем светило солнце, перед закатом быстро посвежело. Вечерний холодок накатывался волнами.

Карька вытащил плетеный коробок на пригорок, и отсюда стали видны распластавшиеся по земле изломанные зубья теней от каменистых вершин Звенигоры. Тени быстро ползли по жнивью, по нескошенным хлебам, съедая пространство, черные зубья вытягивались, заострялись. Затененное пространство как-то скрадывалось, и казалось, что не тени от каменных круч ползут по земле, а сама могучая Звенигора сдвинулась с места и неудержимо приближается.

— Останови-ка,— попросил Панкрат.— Мне тут рядом...

Председатель колхоза вылез из коробка, поджидая, не скажет ли чего еще ему секретарь райкома. Но тот молча курил.

— Начинай, что ли, ругать по-настоящему. Как Полипов сегодня утром. Был он тут у нас. Как вихрь налетел со скандалом. Хлеба-то мы и вправду ничего не сдали пока.

— Я так ругать не буду. И все же, Панкрат Григорьевич, надо маленько нажать на хлебосдачу.

— Н-да... Давят, значит, из области на тебя?

— Интересуются,— неопределенно сказал Кружилин.

Председатель долго тер закаменевшей ладонью о плетеный бок коробка, точно ладонь у него чесалась.

— Ладно, поднажмем. Дорого оно только выйдет, это нажатие. Ну, да, может, бог милостив. Только что за-ради тебя и поднажму, Поликарп. И то — временно. А вообще-то хлеба сдадим государству ныне хорошо. Урожай славный у нас вышел, видишь...— И старый председатель неуклюже повел вокруг рукой, вздохнул.— Эх, кабы все это рожь была!

Это был старый и больной для всей округи вопрос. В этих местах рожь испокон веков давала урожай в три-четыре раза больше, чем пшеница. До революции местные кулаки сеяли только рожь. Тот же Кафтанов со своих трехсот десятин собирал столько хлеба, что не знал, куда девать его. В иные годы урожаи были настолько обильны, что десятки кафтановских скирд стояли необмолоченными и год и два. Имея постоянно в запасе неограниченное количество хлеба, Кафтанов не увеличивал запашный клин — за глаза было и старых пашен.

После революции и в первые годы коллективизации здесь тоже сеяли почти одну рожь. Но потом вышестоящие организации стали все активнее вмешиваться в размещение зерновых культур. Под их нажимом Кружилину пришлось еще до отъезда в Ойротию несколько потеснить рожь. А сейчас, после возвращения в Шантару, он ужаснулся: посевов ржи во всем районе едва ли наберется тысячи полторы гектаров.

Острые клинья теней уже ползли на пригорок, где стояли Кружилин с Назаровым. Панкрат все тер ладонью о коробок.

— Так как же, Матвеич, посеем на будущий год ржицы-то поболе? — проговорил он тихо.— Ты по весне обещал...

— До будущего года далеко. Там поглядим.

Сперва у Назарова дрогнули спутанные, пропыленные брови, потом скривились обветренные, сухие губы.

— Мы все глядим. Мы все по одной плашке ходим, все оступиться боимся,— заговорил он желчно.— А нам между тем дышать не дают. Сколько мы на этой пшенице теряем, а?

Панкрат Назаров выбрасывал слова тяжело, словно бревна на землю кидал, топтался на пыльной дороге грузно и неуклюже.

— Что ты так меня отчитываешь? — невольно повысил голос Кружилин.— Я, что ли, во всем виноват?

— А кто же?! — выкрикнул старый председатель и уже по-недоброму сверкнул глазами.— Полипов, что ли, один? Да Яшка Алейников? И ты тоже. «До будущего года далеко. Там поглядим». Ишь как ты робко!

— У меня тут права маленькие.

— У меня еще меньше! А вот, к примеру, взял да принял тогда Ивана Савельева в колхоз. Попрыгал-попрыгал Яшка Алейников вокруг меня, да с тем и уехал. А я тем самым, может, человеческому стержню в Иване надломиться не дал, выдюжить помог. А ты вот мне не помогаешь.

Последние слова хлестанули Кружилина больно, чуть не до крови, потому что были несправедливыми, обидными.

— Не помогаю? Ну, во-первых, я тут и года еще не живу...— Кружилин волновался и чувствовал, что говорит не то.— Во-вторых, знаешь ли ты, как нас с тобой скрутят, если мы посевные площади пшеницы заменим рожью?

— Может, и скрутят! — выкрикнул председатель.— Но ежели еще бы двое-трое таких нашлись — уже труднее скрутить. Да еще где-то, да еще... Одним словом, как граф Лев Толстой говаривал...

— Кто, кто? — удивился Кружилин.

— Граф Лев Николаевич Толстой. Ты не гляди на меня так, я грамоты небольшой, книги его толстые, до конца мне их сроду не осилить. Но беру иногда в руки. Там в одной книге у него совсем умные слова напечатаны: ежели, говорит, плохие люди объединяются между собой, то и хорошим надо, в этом вся сила и залог. Ну, и так далее. А поскольку хороших людей все ж таки больше... Да не гляди, говорю, эдак на меня.

— А кого ты, Панкрат Григорьевич, к хорошим людям относишь?

— Ну, тебя вот не к шибко плохим.

— Спасибо и на этом. А работников нашего и областного земельных отделов, которые пшеницу сеять заставляют вместо ржи?

— А ты сам-то как об них думаешь? — вместо ответа спросил Назаров.

— Сам? А сам я думаю так, что они совсем не враги Советской власти и тоже ей добра хотят.

Назаров опустил голову, покашливая.

— Не знаю,— наконец проговорил он.— Не знаю. Иван Савельев тоже толковал мне, что и Яшка Алейников, мол, все делает для добра, для Советской власти. Ну, мол, ошибается... Теперь ты вот. Может, ваша и правда. Но когда их, ошибок таких,— сплошь, как волосьев в бороде, а?

— Это плохо, Панкрат. Но что делать? Я тоже много, ох сколько много размышлял об ошибках наших, о всяких несправедливостях: откуда они, почему?

— И до чего же доразмышлялся?

— А вот до чего... Прав я или нет — не знаю, но вот до чего... Власть мы взяли не так давно. Еще на плечах мозоли от винтовочных ремней, можно сказать, не сошли, хотя сейчас снова заставили винтовки носить. Новую жизнь строим ощупью. Пробуем так, пробуем эдак — и глядим, что получается. А разглядишь, поймешь иногда не сразу, не через год, не через два. Люди у власти, у всякой власти — и у большой, и у малой — стоят, понятно, разные. Есть умные, есть поглупее, есть просто глупые. И не сразу увидишь иных, что они глупые. Сколько они до того зла наделают? Но делают неумышленно, сами-то они думают, что добро творят. Что их, стрелять за ошибки? Хотя, конечно, есть и самые настоящие враги народа, враги нашего дела.

— Это понимаем... Куда они делись? Вон Макарка Кафтанов, к примеру. Из тюрьмы, слышно, пришел недавно.

— Ну, это вор просто. Уголовник. Сегодня автолавку с заводской стройплощадки угнали. Его, должно быть, рук дело. Проверяем.

— Иван Савельев говорит — никакой он не вор. То есть вор, но особый. За отца мстит. За все отнятое богатство.

— Да? — прихмурился Кружилин.— Возможно и это. Видишь, как все сложно, запутанно. Или вот нас с тобой взять. Ты меня не к шибко плохим людям относишь. Признаться тебе — я и сам себя сильно плохим не считаю. Но и сильно хорошим тоже. Я что-то делаю в районе, и мне кажется — хорошо делаю, правильно. А может статься, пройдет год-другой — и жизнь покажет: не так уж хорошо и правильно.

Кружилин говорил тихо, не спеша, будто размышлял с собой наедине. Назаров слушал насупившись, и по выражению его лица нельзя было понять, соглашается он с Кружилиным или нет.

— Так что с ошибками — вот так. Вот до этого я и доразмышлялся... Со временем их будет все меньше, потому что научимся хозяйствовать как положено.

— Много можно бы и сейчас не делать. С пшеницей этой, например,— упрямо сказал Назаров.— Тут и слепому видно...

— Видно? Да в иные годы и пшеница ведь хорошо родит у нас.

— Это бывает. Раз годов в пять, в шесть.

— А память об этом урожае держится долго. Вот и кажется людям — лучше сеять пшеницу. Потому что каждый знает — пшеничный хлеб вкуснее. Так что видишь — опять из хороших побуждений заставляют ее сеять. Ну а теперь и скажи — где хорошие люди, где плохие?

Назаров молчал.

— Значит, советы Льва Толстого, как ты их понял, выполнить не так-то просто. А сказать яснее — нельзя их выполнить ни по твоей, ни по моей воле. Жизнь их только выполнит. Время.

Острые клинья теней все ползли и ползли на пригорок. Солнце уже почти скрылось за Звенигорой, из-за каменистой вершины виднелся теперь лишь его краешек величиною с обыкновенный арбузный ломоть.

— Ладно, ты езжай,— сказал Назаров.— Разговоры можно вести и так и здак. И доказать что хошь можно. На то слова и существуют. А я так тебе скажу, Поликарп: нынче я рожью половину пшеничных площадей уже засеял.

— Как?! — поднял на него тяжелый взгляд Кружилин.

— А вот так. Или ты попрыгаешь вокруг меня, как Яшка Алейников тогда, да уедешь ни с чем, или голову сымешь — мне все одно. А колхоз на будущий год с богатым хлебом будет. Война — она как бы не затянулась, чую... Народу лихо придется. Ржануха не пшеничная булка, а все одно хлеб.

— Да когда ж ты успел?! — выдохнул Кружилин.

— Успел. Пока еще вы лошадок наших не мобилизовали на завод.

— Та-ак. Ну, а... Полипов знает?

— Много будет знать — ночами спать не станет. Пущай лучше здоровье бережет. А тебе должен объявить, как партийной власти.

— Ну и... Ну и что я теперь должен делать?

— А это уж твое дело...— Помолчал и добавил: — Самое лучшее — ничего. Я тебе ничего не говорил, ты ничего не знаешь.

— Значит, на обман толкаешь?

Назаров пожал плечами, на которых болтался пропыленный пиджачишко, и, ни слова больше не сказав, пошел с пригорка. Потом замедлил шаги. Не спеша вернулся, проговорил:

— Я что все время хотел спросить тебя — об Ваське твоем слуха не имеешь?

— Нет, ничего не знаю.

— Ну да. Ведь они, должно, в самое пекло попали с Максей моим в Перемышле этом. Подвезло им.

— Последнее письмо от Василия было весной еще...

— Ну да...— опять повторил Назаров.— Я-то ничего. Старуха моя извелась. Днем молчит, а ночами, слышу, воет, как щенок, сквозь зубы... Каждую газету требует ей носить. Молча поищет сына в наградных списках, а ночью воет...

И Панкрат, не попрощавшись, пошел. Шел сгорбившись, тяжело шаркал ногами.

* * *

Со станции Антон Савельев, новый главный инженер Нечаев и другие специалисты приехали на попутном грузовике. Всю дорогу они молча толклись в кузове, и только когда машина остановилась у ворот стройплощадки, Савельев сказал:

— Начнутся дожди — и это шоссе зарежет нас.

Федор Федорович Нечаев, длинный тощий человек с мелкими чертами лица, с рыжей бородкой под Дзержинского, с первого взгляда производил неприятное впечатление. Хотя Савельеву очень хвалили Нечаева, при первой встрече в Москве Антон Силантьевич был разочарован его видом и сразу же внутренне насторожился против этого малоразговорчивого человека. Но внешность часто бывает обманчива, и через неделю от этой настороженности не осталось и следа. Нечаев без суеты и ругани за несколько дней, что называется, выбил в Наркомате боеприпасов для завода столько сырья и стройматериалов, что Савельев только ахнул. Бывший чекист, работавший, как оказалось, с самим Дзержинским, Нечаев обладал такой же ясностью ума и железной непреклонностью, как его бывший легендарный начальник.

Сейчас Нечаев не спеша оглядел территорию будущего завода, на которой ничего, кроме куч развороченной земли да кое-где поднимающихся кирпичных стен, не было, и холодно сказал:

— Мое дело — как можно быстрее наладить оборудование и начать выпуск продукции. Ваше дело — обеспечить для этого все необходимое, в том числе и дорогу.

— На шоссе будут постоянно работать грейдер и грузовик. Гравием или щебенкой будем беспрерывно засыпать выбоины. Главное — продержать дорогу до морозов. А будущей весной зальем гудроном. Сейчас эту работу не осилить.

Подбежал, подкатился маленький раскрасневшийся Иван Иванович Хохлов, долго тряс всем руки. Потом тихонько отошел в сторону, как-то съежился, сде-

лался еще круглее. Он достал платок, отвернулся и долго вытирал пыльную, мокрую шею. Первым понял его состояние Савельев, тронул за плечи.

— Мы еще будем делать с вами комбайны да сеялки.

— Да, да, конечно. После войны потребуется столько машин.

С полчаса все ходили толпой между земляных курганов, штабелей кирпича, теса, бревен. Землекопы, каменщики, шоферы — все с любопытством разглядывали эту живописную группу людей. Одеты они были по-разному — кто в пальто, кто в телогрейку, двое или трое — в дорогих, измятых, перепачканных грязью и масляными пятнами плащах.

— Разбивку цехов делал я,— говорил Иван Иванович, катившийся впереди, как тяжелый закопченный арбуз.— Конечно, исходя из профиля нашего завода. Здесь я предполагал механический цех, вот здесь — кузнечный... А это — литейный. Теперь же я не знаю... Но, как говорится, вам теперь и карты в руки... — то и дело обращался он к Нечаеву.

Нечаев во время обхода территории не проронил ни слова. Он, сжав тонкие губы, угрюмо сверкал из-под козырька мохнатой кепки бело-синими белками глаз да время от времени крепко тер подбородок. Молчал Савельев, молчали и остальные.

— А это, как видите, подстанция,— сказал Хохлов, подводя всю группу к кирпичной коробке.— Подстанция нужна в первую очередь, поэтому решили устанавливать все оборудование, не дожидаясь конца кладки помещения.

Впервые за все время Нечаев поднял на Хохлова потеплевшие глаза.

В «заводоуправлении» — огромном, без перегородок, деревянном сарае — было пусто, только какой-то старик, замотанный шарфом, копался в бумагах. Вокруг его стола на полу, на верстаках лежали кипы бумаг — и россыпью, и в зашнурованных книгах. Дальше, вдоль стены, стояло еще несколько столов, тоже заваленных бумагами.

— Тут у нас все — и бухгалтерия, и партком, и завком, и... словом, вся канцелярия,— сказал Хохлов.— Сейчас люди ушли позавтракать.

— Все ясно.— Савельев сел за один из пустых столов.— Рассаживайтесь, товарищи.

Люди расселись, кто на стулья, кто на кипы бумаг.

— Итак, мы прибыли на место, все увидели своими глазами,— продолжал Савельев.— Основное оборудование поступило, сырье есть и продолжает поступать. Задача у нас до удивления простая — через две недели дать фронту первую тысячу снарядов...

Хохлов вздернул голову, подался вперед, словно от толчка, стремительно вскочил и взмахнул руками. Все обратили на него внимание, повернулись к нему. Но он молчал.

— Что, Иван Иванович? — спросил Савельев.

— Э-э... простите... Как вы сказали? Через сколько, простите, времени... эту первую тысячу...

— Через две недели, Иван Иванович,— спокойно произнес Савельев.— Федор Федорович, прошу высказать свои соображения.

Нечаев встал, снял кепку. Под кепкой оказались жиденькие русые волосы, сквозь которые просвечивала розовая, как у ребенка, кожа.

— Прежде всего хочу отдать должное местным властям, хотя никого из представителей этой власти здесь нет. Разгрузка оборудования идет хорошо. И вообще — я ожидал худшего... Я прошу, Антон Силантьевич, об этом особо довести до сведения не только обкома партии, но и Наркомата боеприпасов. Далее хочу отдать должное Ивану Ивановичу Хохлову и всем, с кем он работал, за удачно выбранную площадку для завода и вообще за все то, что он буквально за несколько дней тут сделал.

Иван Иванович не ожидал таких слов, опять стремительно подался вперед, но не встал, а только удивленно закрутил головой.

— Прошу и об этом довести до сведения партийных органов и Наркомата,— продолжал Нечаев.— Общую нашу задачу конкретизирую в нескольких словах. До вечера я с дирекцией и главным специалистом бывшего завода должен учесть потребность и наличие всего инженерно-технического состава и рабочих, исходя уже из профиля нашего предприятия. Завтра утром надо отдать приказ о назна-

чении начальников цехов, участков и так далее — то есть всего командного состава производства. С завтрашнего же утра начнем монтаж оборудования цехов и его наладку...

— Позвольте, позвольте...— вскочил Хохлов.— Начнем монтаж оборудования под открытым небом?

— Да, под открытым небом,— глядя на Хохлова, сказал Нечаев.— Некоторые площадки под будущие заводские корпуса придется только расширить. Конечно, было бы идеально, если бы вы, Иван Иванович, догадались их сразу делать больше. Но ведь вы не предполагали, что профиль завода изменится. Следовательно, здесь нет вашей вины. Подстанция, я полагаю, через несколько дней вступит в строй?

— Конечно, конечно...— растерянно уронил Хохлов.

— За подстанцию вам, Иван Иванович, особое спасибо. Это нас просто спасло. Будет энергия — через две недели дадим снаряды.

Нечаев сурово оглядел присутствующих, склонил голову набок, будто вспоминая, что еще нужно сказать. И вдруг улыбнулся застенчиво, пригладил ладонью свои жиденькие волосы.

— Вот и все, товарищи. До завтра все прибывшие свободны. Это время вам дается на устройство с жильем и так далее. А как и где — скажут в райисполкоме.

Антон Савельев, знавший уже около четырех недель этого сурового человека, впервые увидел его таким простым, улыбающимся, да еще по-детски наивно, застенчиво. Увидел — и, сам не зная чему, улыбнулся. И тоже впервые, вероятно, за последние три необыкновенных месяца.

* * *

Все эти три месяца Антон Савельев чувствовал к самому себе тошнотворное отвращение. Оно родилось в одно мгновение, когда там, на лесной полянке в окрестностях Перемышля, он увидел перед собой черный зрачок автомата, когда в груди, в животе у него разлилось, поползло по всему телу что-то знобкое, холодное, в голове шумно, со звоном застучала кровь, а руки стали подниматься кверху. «Что я делаю? Что я делаю?! Мерзавец, мерзавец, что ты делаешь? Ведь лучше смерть, чем такой позор!..» — метались, разламывая череп, мысли. А руки, тяжелые, зачугуневшие, чьи-то чужие, неподчиняющиеся руки, ползли и ползли вверх. Потом он скорее почувствовал, чем увидел, что немцы окружили его со всех сторон, кто-то ощупал, вывернул все карманы и больно ткнул чем-то острым, видимо дулом того же автомата, в спину, между лопаток.

— Комм, комм... Шнелль, шнелль! — чуждо раздалось над ухом, и их погнали куда-то по заброшенной лесной дороге.

Антон, спотыкаясь, брел, в голове стучало беспрерывно одно и то же: «Как глупо попались... как глупо попались...» Никаких других мыслей не было.

Впереди шел, сгибаясь под тяжестью тела капитана, Василий Кружилин. Позади, переговариваясь, громко и сыто гоготали немцы. Их было не то человека четыре, не то пять. Послышались звуки губной гармошки. Савельев оглянулся. Наигрывал тот самый немец с жирным лицом, который поднял с земли его винтовку и автомат Кружилина. Отобранное оружие он закинул за плечо, свой автомат болтался у него на шее. Остальные немцы держали оружие на изготовку.

— Комм, комм! — дважды пролаял ближайший из них, едва Савельев оглянулся, угрожающе повел автоматом. По выражению его лица Антон понял: еще секунда — и он полоснет очередью.

«И все равно бежать... Надо бежать. Немедленно! Дойду вон до той сосны — и в сторону...» — лихорадочно думал Антон. Но в это время споткнулся Кружилин, упал поперек дороги. Безжизненное тело капитана придавило бойца сверху, и было видно, как тяжело дышит под ним Кружилин.

— Штет ауф! Штет ауф! — заорали, подскочив, немцы, принялись пинать коваными сапогами обоих. Затем один из фашистов отступил на шаг и приподнял автомат.

— Не лезь! Не тронь, сволочь! — закричал Савельев, бросился к лежащему на Кружилине капитану, стал взваливать его себе на плечи.— А ты вставай, иначе пристрелят...

Кружилин поднялся. Грудь его ходила ходуном, по лицу грязными струями стекал пот.

На все это немцы смотрели, казалось, с любопытством, однако автоматов не опускали.

И опять шли по лесу, немец сзади все играл на губной гармошке. Сколько шли — неизвестно. Савельеву казалось — целую вечность.

Наконец завиднелась окраина какого-то села. Село горело, тонуло в облаках черного дыма. Савельев только это и заметил, потому что пот заливал ему глаза.

Пересохшим ртом он ловил воздух, но воздуха вокруг не было.

Потом он, согнувшись под неимоверной тяжестью обмякшего на нем тела, еще заметил, что его втолкнули прикладом в какие-то ворота, обтянутые колючей проволокой. От толчка он уже не мог удержаться, стал падать, но кто-то подхватил его, не дал упасть, снял с него невыносимый груз.

— Давай сюда его... Вот тут положите,— послышались незнакомые голоса, и Антон не мог сообразить, говорят это о капитане Назарове или о нем самом. Его провели куда-то, поддерживая под локоть. Он облегченно упал во что-то мягкое, видимо в траву, и закрыл глаза.

Лежал и слушал, как гудят поблизости грузовики, раздаются чужие отрывистые голоса и время от времени трещат автоматные очереди. И ничего страшного не было в звуках автоматных очередей — будто кто рвал над ухом пересохшую бумагу.

Когда открыл глаза, над ним качались два-три белоснежных облачка. А рядом с ними, поднимаясь с земли, уходил высоко в небо кривой столб черного дыма. Дым будто специально огибал эти облачка, чтобы не закоптить их первозданную чистоту.

Савельев приподнялся и увидел около сотни красноармейцев. Оборванные, обгорелые, они сидели и лежали на земле в самых разнообразных позах и молчали. Тишина стояла гнетущая. Люди словно боялись не только глянуть в глаза друг другу, но и пошевелиться.

Савельев огляделся. Всюду его взгляд наталкивался на колючую проволоку, в несколько рядов натянутую прямо на стволы деревьев, обступивших полянку. Там, где деревья стояли редко, были наскоро врыты столбы. Земля вокруг столбов была еще свежей, неутоптанной. За колючей проволокой, прижимая к животам автоматы, ходили взад и вперед немцы.

— Так... понятно,— промолвил неслышно Савельев, увидев распластавшееся рядом тело Назарова.

Пощупал его — тело было мягким и теплым. От этого прикосновения Назаров шевельнулся, обсохшие, распухшие губы его дрогнули. И Савельев скорее догадался, чем услышал: «Пить... Воды...»

— Есть у кого-нибудь вода? Товарищи, есть у кого-нибудь вода? — дважды спросил Савельев.

Красноармеец с замотанной кровавыми тряпками головой сказал:

— Нет ни у кого воды. Все отобрали...

Назаров будто услышал это, понял, успокоился. Он не стонал, только время от времени облизывал пересохшие губы.

«А Кружилин? Где же Василий?» — подумал Савельев и тут же увидел его. Кружилин сидел рядом, обхватив руками колени и воткнув в них голову. Савельев тронул его, Василий медленно повернул к нему почерневшее лицо. Кожа на скулах у него была натянута до того, что казалось, вот-вот лопнет. В глазах, глубоко ввалившихся, стоял застылый блеск.

— Это что же, как же? — почти не шевеля губами, проговорил Кружилин. — Лучше бы... там, на берегу Сана, под гусеницы...

Он не договорил, дернулся, упал плашмя на живот. Спина его затряслась.

Савельев дотронулся до его плеча, погладил, и Кружилин затих. Так он лежал до самого вечера.

Время от времени в лагерь вталкивали поодиночке и группами новых пленных. Дважды над головой тяжело проплывали немецкие бомбардировщики. Уже под вечер через сожженное село прошла колонна грузовиков. И все, больше за день ничего не произошло. Немцы с автоматами все так же не спеша ходили взад и вперед за колючей проволокой.

Кое-где метались в бреду, стонали раненые или избитые красноармейцы. На закате солнца какой-то боец поднялся, пополз к проволоке, повис на ней и закричал:

— Изверги! Фашисты немытые! Воды! Дайте воды!

Один из часовых молча подошел, сквозь проволоку ударил красноармейца шанцевой лопаткой. Боец с раскроенной головой так и остался висеть на проволоке. Об его же одежду немец старательно обтер лопатку, отошел.

Когда стало темнеть, Василий Кружилин поднялся, сел, отряхнул измазанную землей гимнастерку. Стылый и неживой блеск в его глазах исчез, в них плескались теперь отчаяние и тоска.

— Ну, не-ет...— тихо промолвил он. — Вы как знаете, а я... Вот стемнеет... Зубами перекушу проволоку и уползу.

Савельев на это ничего не сказал.

Когда темнота стала опускаться на землю, показалась вереница грузовиков. Они со всех сторон подползли к лагерю и почти уперлись в проволоку горящими фарами. Стало светло как днем. На один из грузовиков влез немец и на ломаном русском языке прокричал:

— Я предупреждайт — всем лежать! Всем лежать! Кто сидит, ходит, ползет, делает малейший движений к проволока — мы беспощадно файер, то есть огонь, без предупреждений стреляйт. Ложись, ложись, русский свинья...

И дважды или трижды выстрелил в тех, кто сидел поближе к грузовику.

По лагерю раздался было ропот, но где-то сбоку хлестануло несколько автоматов, и люди попáдали, прижались к земле.

— Вот так, сынок,— проговорил Савельев с грустью, лежа на животе.— Не вздумай к проволоке ползти, сам погибнешь и других погубишь.

Ночь была теплая, тихая. Эту тишину нарушали только стоны раненых. Все время горели за проволокой автомобильные фары, пронизывая насквозь тугими электрическими снопами лагерь. В свете фар маячили часовые.

Ночь прошла без единого выстрела. Савельев даже задремал. Прохватился он от какого-то шороха, протянул руку в ту сторону, где лежал Кружилин. И сердце екнуло — Кружилина не было.

— Василий! — тревожно прошептал он, и в ту же секунду вспыхнул, словно взорвался в ночной тиши автоматный треск. С дальнего от Савельева края колыхнулась волна человеческих тел, с ревом покатилась в противоположный угол. В одну секунду весь лагерь оказался на ногах, вскочил невольно и Савельев. Человеческие крики и стрельба смешались в один страшный, невообразимый гул, люди кидались из угла в угол, падали, сраженные свинцом, их топтали живые.

— Ложись, ложись! Всех перестреляют! — не слыша своего голоса, закричал Савельев, загораживая от обезумевших людей Назарова, схватил кого-то за плечи, бросил на землю. Потом схватил второго, третьего. И это будто образумило людей, все быстро попáдали на траву. И стрельба сразу прекратилась. Только по всему лагерю слышался громкий теперь стон раненых.

И опять равнодушно горели автомобильные фары. Когда рассвело, фары потухли, грузовики расползлись.

Деревня, возле которой был разбит этот временный лагерь для военнопленных, догорела еще вечером. Поднявшееся солнце, как всегда чистое, обновленное за ночь, осветило груды тлевших еще кое-где углей, закопченные печные трубы.

Утро наступило, но люди за колючей проволокой, ошеломленные случившимся на рассвете, все еще лежали на сырой земле не шевелясь. Потом все же зашевелились, привстал один, другой, заметался приглушенный говорок...

Откуда-то молча подошел Василий Кружилин, молча лег на спину и стал смотреть в синее утреннее небо. Он не слышал, казалось, стонов лежащего рядом капитана Назарова, не видел и того неба, в которое смотрел не мигая. Лицо его было землисто-серым, похудевшим, скулы еще больше заострились.

— Ты не ранен? — спросил Савельев.

— Нет, я-то живой,— помедлив, отозвался Василий.— А Лелька, где теперь Лелька?

И его ввалившиеся глаза вдруг повлажнели, быстро наполнились слезами. Он не вытер их, даже не моргнул.

— Максим Панкратьевич? Ты слышишь меня? — склонился над телом капитана Савельев.

— Не слышит. Ему хорошо, он ничего не слышит, — не меняя позы, проговорил Кружилин.— А я все равно убегу.

— Замолчи! — зло сказал Савельев.— Бежать с умом надо. Сколько вот людей погубил...

Василий рывком перевернулся на живот, затрясся, как вчера, стал биться лбом в мягкую землю. И Савельев, как вчера, положил руку ему на плечо.

Антон Силантьевич вторые сутки ничего не ел, но есть не хотелось. Хотелось пить. Тот красноармеец, который вчера вечером просил воды, по-прежнему висел на колючей проволоке.

Прошел еще час, а может быть, два или три — Савельев потерял ощущение времени. Со стороны сожженной деревни подкатил длинный, черный, как жук, лимузин с круто выгнутыми передними крыльями, за ним — грузовик с солдатами. Часовые заметались. Из машины вышел длинный и тонкий немецкий офицер, туго перехваченный посередине ремнем. Ремень перерезал, казалось, его надвое, отчего он был похож на торчком стоящего муравья.

Солдаты, попрыгавшие с грузовика, вбежали в лагерь, пинками начали поднимать людей. Не понимая, что от них хотят, пленные шарахались от солдат, спотыкаясь об убитых и раненых.

Офицер, тоже зайдя в лагерь, что-то крикнул — солдаты замерли, как изваяния.

— Господа! Я не люблю суматохи. Построиться в четыре шеренги. Быстренько! — сказал офицер на чистейшем русском языке.

Пленные стали строиться полукругом вдоль проволоки. Кружилин и Савельев подхватили под руки Назарова.

— Мертвых оставить на месте,— приказал немец.

— Он не мертвый, он ранен,— сказал Савельев.

— О-о... Позвольте, а вы кто такой? Почему в гражданской одежде?

— Потому-что я не военнослужащий.

— О-о...— опять протянул офицер. Он был молод, лет тридцати, и, как успел разглядеть Савельев, конопатый. В лице его не было ничего угрожающего, розовые губы приветливо улыбались.— Хорошо, мы разберемся. Станьте в шеренгу.

Пока пленные строились, солдаты выволакивали умерших за ночь и убитых на рассвете красноармейцев и бросали, как дрова, в грузовик.

Пленные, поддерживая раненых, стояли полукругом в несколько шеренг, ожидая своей участи. Немецкие солдаты тоже выстроились редкой шеренгой напротив, готовые в одну минуту всех перекосить из автоматов. «Неужели конец? — тоскливо подумал Савельев.— Как глупо кончается иногда человеческая жизнь. И — дешево...»

Но расстреливать их не стали. Офицер, пока грузили мертвых, спокойно курил сигарету. Потом щелчком отбросил окурок.

— Евреи и цыгане — шаг вперед.

Бойцы стояли неподвижно, молча. Стояли минуту, две. Офицер снял фуражку, осмотрел ее внутренность, обтер платком.

Два бойца нехотя шагнули вперед.

— Что, больше нет ни цыган, ни евреев? — Он не спеша, внимательно оглядывая каждого, прошелся вдоль пленных. Ткнул пальцем в одного, в другого, в третьего... Два рослых солдата, сопровождавших офицера, выдергивали их из рядов и толкали к двум первым.

Потом офицер вернулся на старое место, махнул рукой. Несколько солдат вытолкали отобранных за колючую проволоку, повели к машине. И вдруг прямо на ходу ударили по ним из автоматов.

Шеренги пленных колыхнулись невольно.

— Спокойно, господа,— поднял руку офицер.— Это все, расстреливать остальных не будем. Коммунисты и офицеры Красной Армии — шаг вперед.

Опять все стояли не шевелясь. Грузовик с трупами, фыркнув, уехал.

Там, на лесной поляне, когда Савельева и Кружилина взяли в плен, а потом, обыскивая, вывернули карманы, Антон Силантьевич увидел в руках у немца по-

чему-то только один свой паспорт. Партбилета не было. «А куда же он делся?» — подумал Савельев. Он хорошо помнил: когда под Перемышлем полковой комиссар, посмотрев, вернул ему документы, он положил и паспорт и партийный билет во внутренний карман пиджака. И вот теперь паспорт цел, а партбилета нет...

И только сегодня ночью он обнаружил его. То ли во время позавчерашнего боя, то ли позже, когда он нес на своих плечах Назарова, карман лопнул по шву, и партбилет провалился за подкладку пиджака. «Надо же! — радостно подумал Савельев. — Бывают же, оказывается, счастливые случайности...»

Он вынул партбилет из жесткой картонной обложки, которую купил во Львове дня за два до поездки в Перемышль, подумал, снял грязный сапог, вывернул голенище, зубами надорвал кислый, пахнущий потом поднаряд и засунул под него партбилет. Царапнул горсть земли, развел ее слюнями и помазал этой грязью надрыв на коже, чтобы он не казался таким свежим.

Захоронка была невесть какой. Савельев это понимал, но лучше ничего придумать не мог.

— Так что же, нет среди вас ни коммунистов, ни офицеров? — проговорил перетянутый ремнями немец.— Но я не слепой, офицеров, по крайней мере, вижу.— И вдруг, выхватив пистолет, заорал фальцетом, по-петушиному: — Шаг вперед, свиньи!

Человек восемь-двенадцать вышли вперед.

— Ну-с, а этот ваш раненый? — подошел офицер к Савельеву с Кружилиным.— Капитан Красной Армии, кажется? — И вдруг вырвал висевшего у них на руках Назарова. Капитан мешком упал к ногам немца. Немец внимательно поглядел на него, носком сапога пошевелил голову Назарова, приподнял пистолет.

— Стойте! — закричал Кружилин, рванулся к капитану, присел, почти подлез под него, поднял на своих плечах бесчувственное тело и встал рядом с командирами.

Офицер наблюдал за всем этим, помахивая бесцветными и жесткими ресничками-коротышками. Усмехнулся, сунул пистолет в кобуру.

— О-о, зер гут!.. Очень похвально!

Немцы окружили командиров, стали выталкивать за ворота. Пленные глядели им вслед затаив дыхание. Всем казалось, что сейчас, выведя за ворота, по ним ударят из автоматов.

Но за воротами группу командиров плотнее окружили со всех сторон автоматчики и повели в сторону сгоревшей деревни.

— Я сказал, господа, что больше расстреливать не будем,— проговорил офицер. — Их повели в пересыльный лагерь для военнопленных советских офицеров. Вас отправят сегодня в другой. Там вас покормят, дадут воды... если вы, конечно, выдадите всех коммунистов. Я предполагаю, что среди вас коммунистов очень много. Но выяснять это сейчас здесь мы, к сожалению, не имеем времени. Ауфвидерзеен, до свидания, господа...

И, покачивая из стороны в сторону маленькой головкой в высокой фуражке, вышел за ворота, сел в лимузин. Машина бесшумно тронулась с места.

Шеренги пленных, качнувшись, сломались, люди хлынули на другой конец лагеря, откуда лучше были видны развалины деревни. Казалось, они порвут сейчас проволочное ограждение, повалят столбы. Но воздух рассекли автоматные очереди, под ногами у Савельева, который бежал впереди всех, брызнула взрытая пулями земля. Остановившись, люди смотрели на командиров Красной Армии, которых уводили все дальше и дальше.

— Все равно расстреляют. Отведут подальше и искрошат! Эх! — выдавил кто-то хрипло и в изнеможении опустился на землю.

Савельев смотрел на угоняемых командиров до тех пор, пока они были видны, различая среди них Кружилина с телом Назарова на плечах. Прежде чем скрыться за обгоревшими остатками какого-то здания, Василий оглянулся на лагерь. Савельев увидел, что ближайший немец-конвоир замахнулся на Кружилина прикладом, может быть, даже ударил. Кружилин вроде присел или споткнулся, но не упал, быстро пошел вперед и скрылся из глаз...

* * *

— ...Вот и все. Больше я Василия не видел,— закончил свой невеселый рассказ Савельев, сидя напротив секретаря райкома, сжимая в руке остывший стакан с чаем.— Я понимаю, какую весть привез вам. Но я не мог не сказать... потому что... потому что лучше все сразу сказать.

Анастасия Леонтьевна, жена Кружилина, тоже сидела за столом, прямая, высокая, словно закостеневшая. Во время всего рассказа она не проронила ни слова, только все больше бледнела и бледнела.

Когда Савельев умолк, она медленно встала. И вдруг, тихо всхлипнув, повалилась на руки мужа.

— Тася, Тася... Ну что же...— беспомощно говорил Кружилин, уводя жену в другую комнату. Голова у Анастасии Леонтьевны тяжело свесилась набок, ноги ее не слушались.— Ты же у меня сильная. А Вася еще жив, жив, ведь мы же не знаем... Он убежит... Или его освободят...

Кружилин увел жену. Савельев минут десять сидел в одиночестве, смотрел на ярко горевшие звезды за окном. Рассказав все, без утайки, понимая состояние Кружилина и его жены, он все-таки чувствовал облегчение, что рассказал обо всем.

Кружилин вышел из спальни, тихонько притворил дверь.

— Ничего, ничего...— зачем-то сказал он.— Я ей валерьянки дал.

Шаркая ногами, подошел к окну, долго смотрел в темень.

— Спасибо, Антон Силантьевич,— произнес он еле слышно.— Останется, нет ли в живых — я теперь знаю... знаю, что он... что, в общем, не напрасно я его вырастил. Не подлецом.

— Да,он молодец, Василий,— сказал Савельев.

— Ну а ты... как ты вырвался?

— Нас к вечеру погнали куда-то. По дороге нас освободили. Остатки той части, в которой служил Василий, выходили из окружения. И наткнулись на нашу колонну. Случай, в общем.

— Да, случай... Возможно, и на Василия... на них какая-нибудь часть наткнулась? А? — В голосе Кружилина была надежда, детская, беспомощная и несбыточная. Но она требовала поддержки.

— Да, возможно,— сказал Савельев.— Война ведь. А на войне все возможно.

Звезды в окне мигали тихо, бесшумно, успокаивающе. Равномерно тикали часы на стене в желтом деревянном футляре. И, кроме этих звуков, во всем доме ничего не было слышно.

* * *

Семен, как обычно, встал рано, перешагнул через спавших на полу Димку с Андрейкой и пошел на Громотушку умываться.

На кухне мать уже топила печь, стараясь не греметь посудой, готовила завтрак. Дверь в бывшую спальню родителей была плотно закрыта: там жила теперь большая семья из эвакуированных — старик со старухой, моложавая, лет под сорок пять, женщина с четырьмя детьми. Старшей дочери было лет тринадцать-четырнадцать, звали ее Ганка, а младший еще сосал грудь.

Все это разноголосое и разнокалиберное семейство мать сама привела однажды вечером в дом, распахнула дверь в свою спальню и сказала:

— Располагайтесь тут. Кровать только у нас одна.

Костлявая, высохшая старуха в грязном мужском пиджаке уронила на пол узел, присела на стул и заплакала.

— Спасибо тебе, добрая душа.

— Ну, что вы, мама... Не надо плакать, слезы нынче едкие да соленые,— сказала женщина и повернулась к хозяйке дома: — До смерти будем помнить доброту вашу. А сами где станете жить? У вас, смотрю, всего две комнаты да кухня.

— Муж до снегов в колхозе будет, а я с детьми в той комнате... А там видно станет. У нас кладовка большая, теплая. Только печь поставить.

— Так, может, мы в кладовке?

— Живите тут,— сказала мать.

Беженцы пугливо зашли в комнату, бестолково топтались на чистом крашеном полу. Старшая из дочерей поглядела в одно окно, в другое, обернулась, полоснула Семена черными, как уголья, глазами и сказала:

— А меня зовут Ганка. Мы русские, только жили под Винницей, на Украине. А яблоки у вас здесь не растут?

— Не растут,— ответил Семен и вышел на улицу.

Потом женщина, которую звали Марья Фирсовна, стала работать на строительстве эвакуированного завода. Семен иногда видел, как она бросала из котлована землю лопатой или месила раствор. Ганка в сентябре пошла в школу, кажется, в один класс с Димкой. Но в общем-то Семен видел всех редко. Домой он возвращался поздно, когда все спали, уходил рано.

Мать возилась у печки молча. С тех пор как началась война, она стала еще более замкнутой, угрюмой.

— Мама, что с тобой? Ты какая-то... Болит, может, что? — спросил он однажды.

— Ничего не болит,— ответила мать недружелюбно.

Как-то утром, когда Семен, по обыкновению, пошел умываться на Громотушку, он увидел мать у плетня. По другую сторону плетня стоял Макар Кафтанов.

— А ты меня, Макарка, не пугай, не боюсь я,— грустно и ровно говорила мать.— Мне, может, до того все опостылело, что с радостью смерть приняла бы... Может быть, я тебя даже попрошу об этом...

— Это как понять? — озадаченно проговорил Макар.

— А никак тебе не понять. Голова у тебя гнилая потому что. Вор ты несчастный. Как тебе самого-то себя не стыдно?

— Интересные речи! Был вор, а теперь, может... освобожден законно.

— Давай садись уж скорей назад. А то, вижу, тоска в глазах...— И, увидев Семена, отошла от плетня.

Семен ничего не понял из их разговора, но какая-то неясная тревога за мать возросла еще больше.

Однажды посреди недели, вечером, приехал с поля отец. Громко топая, пошел через кухню, отмахнул дверь в спальню, увидел там чужих людей, постоял секунду-другую.

— Так.— И стал в кухне сбрасывать пыльную одежду.— Поставили, значит, и к нам?

— Поставили, значит,— бесстрастно ответила мать.

— А Кирьяну Анфиска сказывала, будто ты сама их привела.

— Привела, значит,— тем же тоном проговорила мать.

— Понятно. Ну, топи баню. Грязный я.

После бани отец молча выпил на кухне несколько стаканов чаю, встал.

— Ну, я обсох. Тесно у вас. Поехал я. На элеваторе поищу попутку. А этих... жильцов... в кладовку переселите. Семка, ты глины подвези, печь в кладовке сбейте.

И вышел, тяжело топая в сенцах. Семен спросил у матери:

— Как насчет кладовки-то? Глины на печь я подвезу...

— Вези, тесно им семерым в одной комнате,— ответила хмуро мать.

Семен помедлил, проговорил осторожно:

— А все-таки, мама, что-то тебя гложет. Может, я помогу чем?

— Иди-ка ты со своими словами! — зло бросила мать. Но тут же подошла, прижала его голову к своей груди, стала гладить по волосам, как маленького.— Прости меня, Семушка. Что меня гложет? Война же, могут взять тебя...

— Если б взяли! Бронь вот надели.

— Ты что болтаешь? Плохо разве, что хоть пока дома?

— А в глаза как людям смотреть? Этой же Марье Фирсовне?

Мать вздохнула и ничего не сказала.

Хорошая она все же, мама.

...Над Звенигорой только-только засинел край неба. Заморозков еще не было, но картофельная ботва давно поникла, изжухла, лежала на земле, в полумраке ее не было видно. Подсолнухи за баней стояли темной высокой стеной и тихо шуршали, точно шептались, хотя ветра не чувствовалось.

Вода была в Громотушке свежей, даже студеной. Семен поплескался вволю, вытерся, на привычном месте нащупал двухпудовую гирю, побаловался с ней. Постелил на траву полотенце, сел и закурил.

— Здорово, Семка! — рявкнуло над ухом.

— Чего орешь, ненормальный?

— А ничего...— И Колька Инютин стал плескаться в воде.

— Ты, гляжу, бесшумно научился через плетень сигать?

— Тренировка. Помидоры вон у соседей всегда раньше всех спеют. А у тех дыньки. Желтые, пахучие, хошь, сейчас приволоку? Может, не оборвали еще...

— Я тебе принесу! Чего не спишь?

— Верка копошится, как чесоточная. А я чуткий. Дай пару раз дернуть, а? Я не в себя, так просто...

— На...

Колька потянулся за папиросой, но Семен влепил ему по мокрому лбу звонкий щелчок.

— Ты... чего?

— Еще хочешь разок затянуться? Курильщик выискался! Губы обрежу.

— Ну и ладно...— обиженно проговорил Колька, сел, засопел.— А ты дурак. Верку-то провороняшь.

— Это почему?

— Потому... Яков Алейников, этот, что со шрамом, из энкаведе-то, свататься недавно к ней приходил.

— Что-о?!

— Вот тебе и что! — со злорадством протянул Колька. И помолчав, начал со смешками рассказывать: — Это просто кино было. Сперва немое. Пришел он и сел молчком возле стола. Мать побледнела, глядит на него во все глаза, ажно мигать забыла. Верка почему-то зачала рот то открывать, то закрывать, прижалась в угол, точно ее кто щекотать собрался. А этот Алейников трет и трет свой синий шрам. И молчит, значит... Смехота. Ну а потом звуковое началось. Алейников говорит: «Вы извините... Я, собственно, и потому что — насчет Веры...» И-их, Верка вскрикнула, точно ее и впрямь щекотнуло... А Алейников: «Я, говорит, человек не молодой, конечно, но давно наблюдаю за вашей дочерью...» Это он матери моей. И вот пришел, говорит, поскольку Вера нравится мне. Ухаживать и все прочее, как оно делается, я, говорит, не в тех летах, и неудобно, дескать, потому решил прийти сразу и все обсказать... А вы, говорит, подумайте, я не тороплю с ответом... Гляжу, а у Верки уши краснеют, как соседские помидоры, и щеки раздуваются, распухают на виду. Потом ка-ак она порскнет в свою комнату! Вот, понял?

— Ну... а дальше? — глухо выдавил Семен.

— А дальше — не знаю. Мать меня вытурила из избы,— с сожалением произнес Колька. И с прежним злорадством добавил: — С тех пор Верка и закопошилась ночами-то. Понял?

Папироса жгла Семену пальцы, но он не замечал этого. Сидел и слушал, как журчит Громотушка. А мыслей никаких в голове почему-то не было. Он не мог понять — хорошо или плохо, что к Вере посватался Алейников, рад он или обижен чем-то?

— А не врешь ты?

— Чего мне... Слушай, а как ты насчет фронта? На военкома-то Григорьева пожаловался секретарю? Ты же хотел.

— Отстань.

— Чего — отстань? Я тоже пожалуюсь. Он меня тоже из военкомата, паразит, ни с чем выпроводил.

О том, как его «выпроваживали ни с чем» из военкомата, Колька рассказывал часто. Было это через неделю после проводов мобилизованных на фронт. Колька с утра пришел в военкомат, потолкался в коридоре среди людей и сунул крючковатый нос за обитую зеленой клеенкой дверь. В комнате за столом сидел человек с глубоко изрытым оспой лицом, с двумя шпалами на петлицах, вокруг стола толпились еще несколько военных.

— Здрасте,— сказал Колька, пошаркал пальцем под носом.— Я вот пришел. Кто тут военком Григорьев-то?

— Ну, я, допустим,— сказал человек с двумя шпалами на петлицах.

— Инютин Николай моя фамилия. Я насчет отправки на фронт. Добровольно. Когда эшелон будет, узнать. И еще в кавалерию, если можно, записать меня.

— Ясно. Молодец ты, Инютин Николай. Сколько тебе лет?

— Мне-то? Восемна... девятнадцать вот-вот будет. Я рослый.

— Это мы видим. А где живешь?

Колька сказал.

Григорьев встал, подошел к нему, положил руку на плечо.

— В общем, ты, Николай, хороший парень. Врешь вот только здорово, это плохо. А до фронта тебе еще подрасти годика три-четыре надо. Давай договоримся так — ты получше в школе учись, а я об тебе помнить буду. Договорились?

— Это что же, значит, не берете? — сообразил Колька.

— Значит, не берем пока. Не детское дело война-то, товарищ Инютин Николай.

— Какой я ребенок вам?

— Ладно, ладно, договорились ведь. Ступай домой.— И Григорьев легонько подтолкнул Николая к двери.

— Я жаловаться буду, понятно! — пятясь, выкрикивал он.— Я Климу Ворошилову жалобу напишу. Или самому Сталину... Или в райком пожалуюсь.

Последние слова он выкрикивал, стоя уже в коридоре, перед плотно закрытой дверью. С досадой плюнув на затоптанный пол, побрел домой.

В первое время после этого Колькиному негодованию не было границ.

— Вот ведь паразит какой, недаром корявый. Оспа — она таких злыдней и метит! Года четыре, говорит, подрасти надо. Англомерат проклятый! — кипятился он перед Димкой и Андрейкой.

— А что это такое — англомерат? — спрашивал Андрейка.

— Англомерат-то? Ну, это вообще...— презрительно махал рукой Инютин.— А он даже еще хуже.

Димка слушал разглагольствования Кольки обычно молча, наклонял большую голову книзу, будто искал что на земле. Только раза два или три он обрывал товарища:

— Заткнись ты. Кавалерист выискался! Придет время — и без спросу заберут.— И почему-то добавлял всегда: — А то забыл, как райкомовский жеребец тебя звезданул?

Андрейка же дотошно выспрашивал, блестя глазенками:

— Значит, не поверил, что тебе девятнадцать?

— Не поверил.

— Не детское дело, говорит?

— Говорит.

— Через четыре года, сказал? Так и сказал? — И, колупая в носу, отходил в сторону, о чем-то думал.

А однажды он промолвил:

— Дурак ты, Колька. Григорьева этого спрашиваться... Разве он поймет! Ночью прицепился к любому поезду — и айда...

— Ч-чего? Как это так?

— А так... Поездов сколь от нашей станции отходит — ужас! Я бегал, глядел. Какой-нибудь и до фронта дойдет.

Эти Андрейкины слова услышал подошедший Семен, молча взял братишку за ухо.

— Ну-ка, ну-ка, что за разговоры?! Какой поезд? Какой фронт?

Андрейка завизжал, заподпрыгивал от боли.

— Я тебе, пшено такое, покажу фронт! Вот ремень еще сниму...— И, отпустив Андрейкино ухо, повернулся к Инютину: — А ты брось эти разговорчики! Чтоб я не слышал больше!

Дни шли, Колька все реже вспоминал о том, как Григорьев выпроводил его из военкомата. Но сегодня в нем, видимо, колыхнулась прежняя обида.

Серая, холодная утренняя муть потихоньку светлела, из ее вязкой глубины начали проступать темные пятна тополиных верхушек. Было пусто как-то в эти минуты в душе у Семена, тоскливо и неприютно.

Внезапно тишину разорвал надсадный женский голос:

— Мака-ар! Сыно-ок!

Семен приподнял голову. Николай, путаясь в поникшей картофельной ботве, побежал в сторону Кашкарихиного дома.

— Макара уводят! — пропищал он, когда Семен тоже подошел к огородному плетню.— Все, амба снова Макару! Я так и знал...

Через плетень Семен увидел возле Кашкарихиного дома неясные фигуры, различил только Аникея Елизарова, который недавно уволился из МТС и поступил вдруг в милиционеры. Елизаров был в шинели, в фуражке и, кажется, с наганом в руке.

— Не лапай, ты! — хрипло крикнул Макар.— Не толкай! Я и так в железках...

— Не орать у меня! — пригрозил Елизаров.— Иди, иди!

— За что, сволочи?! Ответите...

— Иди! За автолавку. Нашел я ее, милок, в Громотушкиных кустах... Жаль, что обчистить успели.

— А я при чем? Я не мог автолавку украсть. Я машину водить даже не умею.

— Там расскажешь при чем. И куда товар дели. Ступай.

И фигуры двинулись, исчезли за углом.

— С автолавкой-то они ловко... Знаешь, они как? — быстро заговорил Инютин.— Макар Витьку заставил. «Иди, говорит, к сторожу, скажи, что в машине шебаршит что-то». Витька не хотел, а Макар ему в рыло. «Ступай» — говорит... А сами за машиной притаились.

— Кто — сами?

— Не знаю. Витька говорит, Макар и незнакомый еще какой-то парень. Ну, сторож подошел к машине, а они его ка-ак по голове! Макар сторожа за палатку поволок, а тот, другой, отомкнул дверцу, залез в кабину и погнал машину. У них, у гадов, все машинные ключи есть.

— Постой, а ты откуда все знаешь?

— Дык Витька рассказал. Когда Макар поволок сторожа, Витька побежал в темноту. Весь день в Громотушкиных кустах дрожал, как заяц. А вчера вечером ко мне пришел. «Дай, говорит, пожрать».— «А дома, спрашиваю, что?» — «Макара, говорит, боюсь». Ну, слово за слово, я выпытал. Витька и сейчас у меня спит. Мать на заводе в ночную смену сегодня — она ведь тоже по трудповинности работает,— мы одни с Веркой дома да Витька...

— А Верка знает про все это?

— Не-е... Зачем ей говорить? Баба, выдаст еще Витьку... Ты сам-то, гляди, не проговорись. Макара забрали — это правильно. А Витька — он не виноват, он подневольно шел...

Завтракал Семен молча.

— Макара сейчас арестовали,— сказал он.

Мать промолчала.

— Автолавку, говорят, они с кем-то угнали.

Мать и теперь ничего не ответила.

Семен позавтракал и вышел из дому. Опять ему предстояло весь день возить со станции кирпич, железо, какие-то станки.

Шагая по пустынной еще улице по направлению не к заводу, а к милиции, он в переулке столкнулся с Елизаровым.

— О-о, Семка! Здорово, милок! — воскликнул Елизаров, протянул руку. Но Семен будто не заметил этого. — Понятно. Брезгаешь, что я в милицию подался.

— Нет, не поэтому.

— Ну да, знаем... От войны, мол, Аникуша убегает... А я, между прочим, жизнью ежедневно рискую. Сейчас вот одного бандита брали...

— Макара, что ли? Я видел.

— Ага, родственника твоего,— угрожающе произнес Елизаров.— А у него, у гада, наган под подушкой. Еле вывернул.

— Про наган-то врешь. Не такой Макар дурак, чтобы попусту наган под подушкой держать. Из тюрьмы он вышел законно...

— Он — всегда законно. А ты, никак, защищаешь его?

— Нет... Просто говорю, что ты врешь про наган.

— Ну, это неважно. Главное — застукал я его, кажись. Теперь вынюхать бы, куда товар из автолавки припрятал...

— Нюхай. У брата его, у Витьки, поспрашивай. Может, тот что знает.

— Без тебя соображаем. Должно быть, он и есть тот мальчонка, про которого сторож трендил... Да скрылся куда-то, суразенок. Ну, я его выловлю!

Семен повернул к заводу.

* * *

Через две недели после приезда Антона Савельева котлованы под главные заводские корпуса были вырыты, площадки будущих цехов забетонировали, установили на них станки. И Савельев, и Нечаев, и Хохлов, и Савчук, и все другие специалисты эти две недели безвылазно день и ночь находились на территории завода, руководя установкой и наладкой оборудования. Они, обросшие, грязные, похудевшие, носились из конца в конец, что-то приказывали, объясняли, показывали. Шум тракторов, свистки подъемных кранов, скрип лебедок, натужный рев и сигналы грузовиков день и ночь стояли над Шантарой, и казалось, этот хаос никогда не кончится, в нем нет и никогда не будет организующего, разумного начала.

Но вот на одной площадке заухали, сотрясая землю, паровые кузнечные молоты, на другой загудели протяжно станки, засыпали искрами, на третьей зашипели сварочные агрегаты. И эти благородные звуки притушили, стали утихомиривать разноголосый гул. И тогда начали расти кирпичные стены заводских цехов.

Но росли они медленно, потому что поступление кирпича на завод вдруг прекратилось. В область и Наркомат полетели телеграммы, оттуда ответили, что кирпич для завода в скором времени опять начнет поступать. А пока люди работали под открытым небом.

В конце сентября ударили крепкие утренние заморозки, а потом погода все чаще стала портиться. По небу шли низкие облака, сеяли противным мелким дождем. Иногда дождь припускал не хуже, чем в июле, поднимался пронизывающий, холодный ветер. Но станки все так же гудели и сыпали искрами, все так же склонялись над ними промокшие до нитки люди, окоченевшими руками вынимая из зажимов горячие, только что обточенные головки снарядов. Мокрый металл дымился, люди грели об него руки.

Полным ходом шло и строительство землянок для рабочих. Там беспрерывно махали ковшами экскаваторы, визжали пилы, стучали топоры.

Поликарп Матвеевич Кружилин теперь редко заглядывал на завод. Он редко заглядывал и домой, пропадал в колхозах, хотя чувствовал, что сейчас, как никогда раньше, он должен быть побольше возле жены. Но обстоятельства были сильнее этой необходимости. Урожай в районе был хороший, но косовица затянулась, наступившая непогодь обхлестала хлеба, намолоты резко упали. И обозначилась реально грозная перспектива — район мог не выполнить плана хлебозаготовок.

В начале октября Кружилин созвал бюро, на котором рассмотрели вопросы уборки и хлебосдачи. Но сколько ни говорили, сколько ни подсчитывали — для выполнения плана зерна не хватало. Кружилин помрачнел еще больше.

После бюро Полипов, тоже невеселый, сказал:

— Ну вот, сегодня первую партию снарядов отгружают. А ты, помнишь, чуть не наломал дров с графиком пуска завода. Хорошо, что послушался тогда меня. Видишь, как все вышло... неожиданно.

— Да, но какой ценой?

— Что ж, война...— Полипов помолчал и, глядя в темный проем окна, проговорил: — А ведь с Антоном Савельевым мы знакомы. Более того — друзья детства... Потом одни и те же тюрьмы прошли.

— Я слышал.

— От кого? — живо спросил Полипов.— От Субботина, наверное?

— От него. Ну и что же, встречался ты с Савельевым?

— Как же... На квартиру его определил. С семьей. Жена и сын. Сын у него взрослый, лет около тридцати. Токарь. А жена больная, помешанная немного.

— Как помешанная?

— Ну, не то чтобы совсем. А в общем, тихая, меланхоличная какая-то. В восемнадцатом году ее в белогвардейской разведке пытали.

Полипоа опять потер щеки.

— Да, годы... Все они стирают. Встретились с ним, а гоаорить, оба чувстауем, не о чем. Так, поудиалялись немного, что постарели, изменились. А жена его вроде и вовсе не узнала меня. Посмотрела, как сквозь пустое место...

— Ты и жену его знал?

— Как же,— криао усмехнулся Полипоа.— Мы все росли а Ноаониколаевске, на одной улице жили...— И астал.— Так не забудь — на той неделе исполком. Вопросов много накопилось.

— Не забуду... Да, а что это за вопрос такой в повестке дня у тебя стоит: «О председателе колхоза «Красный колос» тов. Назароae»?

— Обратил? И это — прогресс.

— Что за тон?

Полипов пожал широкими плоскими плечами, будто не понимая, к чему этот жесткий вопрос.

— А то, что Назаров самовольно засеял почти все пашни рожью —на это ты обратил внимание?

Несколько мгновений они глядели друг на друга а упор.

— И хлеба государству меньше всех в районе пока сдал тот же Назароа. Это при таком-то положении с хлебозаготоаками. И аообще — сколько с ним валандаться, самоупраавство терпеть? Кончать пора, освобождать от работы.

— Хорошо, освободим,— аздохнуа, сказал Кружилин вялым голосом, устало опустил глаза. Но вдруг снова полоснул председателя райисполкома откроаенно неприязненным взглядом.— А хлеб за него ты будешь сеять? Колхозом ты будешь руководить? Давай принимай колхоз!

Кружилин бросил на стол карандаш. Карандаш покатился, упал, Кружилин поднял его и опять шаырнул па бумаги.

— Так-с. Все, кажется, проясняется. Значит, убрать меня хочешь потихоньку из района? Что же, благодарю за откровенность.— Губы Полипоаа стали похожи на подкову. —Если партии будет нужно, на любую работу пойду. В том числе и в колхоз. И рукоаодить хозяйством буду не хуже Назарова.

— Не хуже? В год, в полтора угробил бы ты колхоз,— спокойнее сказал Кружилин.

— Вот как! Значит, и для колхоза не гожусь. Куда же меня определишь?

— Никуда. Работай пока, где работаешь.

— Что значит — пока?

— Видишь ли, нас с тобой никто сейчас не поймет, если мы конфликтоаать начнем...

— Почему «нас»? Скажи — меня! — Полипов боднул воздух круглой тяжелой головой, правый угол рта у него задергался, он прикрыл его ладонью.— А а общем — еще раз спасибо за откроаенность. Когда знаешь карты противника, выиграть асегда легче. Видишь, я тоже откроаенен.

— Петр Петрович, я не игрок,— сдерживая себя, проговорил Кружилин.— Потому и карт своих не скрыааю... Назарову я разрешил засеять рожью полоаину посевных площадей.

Полипов поднял желтые брови, широкий лоб его покрылся длинными мелкими складками.

— И ты думаешь, в области это одобрят?

— Нынче, возможно, и нет. А будущая осень покажет...Разрешил в опытном, что ли, порядке. Хотя опытничать вроде и нечего. Достаточно обратить аимание на простые цифры — сколько рожь нынче дала с гектара и сколько пшеница...

— Неужели ты не понимаешь, что рожь — это не пшеница?

— А ты не понимаешь, что рожь — это тоже хлеб? И что лучше иметь пять булок ржаных, чем одну пшеничную? Особенно сейчас, когда идет война. В общем, давай-ка снимай с повестки исполкома вопрос о Назарове. Хлеба он нынче даст больше других. Жатву заканчивает уже, хлеб у него а скирдах. А другим-то колхозам, из которых ты каждый день нещадно выжимал госпоставки, еще косить да косить. А что теперь косить — солому? Вот и подумай, сколько по таоей аине хлеба потеряли.

— По моей, значит? Это ты ловко. Я мотался по району...

— И по моей. Завод заводом, а надо было уборочную и мне не выпускать из своих рук. Ошибку допустил.

И вдруг Полипов взорвался:

— Так-с! Я виноват в первую очередь, ты — во вторую! Очень логично! Очень справедливо! Да ты не понимаешь, что ли? Если бы до сих пор не сдавали хлеб... если бы район, все колхозы сдавали его такими темпами, как твой Назаров... нас бы давно с тобой в грязь измесили... Мы бы партбилеты, возможно, выложили. И между прочим — сперва ты, а потом уж я! В мирное время нам не спустили бы, а сейчас...

— Ничего,— произнес Кружилин,— черт не выдаст — свинья не съест.

— А? — остановился Полипов, повел вокруг подрагивающими глазами.— Как ты сказал? В каком, собственно, смысле?

— В народном. Пословица такая в народе есть.

Полипов подошел к столу, плюхнулся в кресло.

— Пословиц — их много... Ах, Кружилин, Кружилин... Хочешь еще на откровенность?

— Давай.

— Не годишься ты в партработники.

Кружилин лишь вопросительно взглянул на Полипова.

— Непонятно? Я уже объяснял тебе насчет хлебосдачи. Конечно, при такой практике, при таких установках теряем немало хлеба. Но я, что ли, эти установки спускаю?

— Значит, неверные установки.

— А это тоже вопрос — верные или неверные. Советской власти два десятка лет с небольшим, колхозам по двенадцать, пятнадцать. На сознательность людей рановато надеяться. Приотпустить вожжи с хлебосдачей — уплыть он может, хлебушек, в бездонные сусеки колхозников, а государственные пустые будут.

— Не верим, значит, мы людям?

— А что же? Тот же твой Назаров, пользовался слухом, тайные посевы делал, а урожай с них по колхозникам делил... Хитер только, не мог я его поймать. Но всегда знал — плачет по нем тюрьма... Н-да... Значит, выход какой? И хлебосдачу с первого дня жатвы вести усиленно, и косить вовремя. В темпе все, в комплексе — до ветров, до дождей заканчивать жатву.

— А ежели не успеваем? Физических сил не хватает?

— Должны успевать. Из этого исходят установки. Значит, они правильные.

— Да, теоретик ты, вижу.

— Без этого нельзя,— серьезно сказал Полипов.— А ты не теоретик, к сожалению. Все от мужицкого духа идешь. Он подвести может. Или вот эта твоя пословица? К чему она? Слова — они всякий смысл имеют. И вложить можно всякий. А ты, слышал я, от слов своих пострадал уже однажды...

Кружилин с сожалением поглядел на председателя райисполкома. Тот чувствовал этот взгляд, но не пошевелился даже, сидел, уперев глаза в свои широкие, тупые колени.

— Ты что же, пугаешь меня?

— Не-ет, что ты... То время прошло, кажется. Я же спросил — хочешь на откровенность? Советую просто.— Полипов откинулся в кресле.— А вообще — ты ведь тоже игрок. Но играешь так — интуитивно.

— Это мне тоже интересно. Объясни.

— Не надо, говоришь, с Назаровым кончать? Конечно, сейчас ты сможешь и защитить, вероятно, его. Позиции у тебя сейчас в области окрепли — завод продукцию дал. Непостижимо, но снаряды делает. Хотя это заслуга Савельева, особенно Нечаева. В общем, тебя в области поддержат, видимо... Но этот Назаров икнется тебе в будущем,— прибавил он.

— Каким образом?

— Давай размышлять. Вопрос о нем я в повестке исполкома, допустим, оставлю. Насчет ржи резонанс в области хороший будет. А я и дальше заострю: кто он таков по духу, этот Назаров? С тайными посевами — ладно, слушки одни. Но он всяких подозрительных в социальном смысле людей поддерживает. Ивана Савельева, например, бывшего белобандита, в колхоз принял. Потом его посадили

за вредительство. А Назаров семью его всячески оберегает, благоустраивает. Н-да... И такого человека ты защищаешь вот...

Полипов говорил теперь неторопливо, раздумчиво, спокойно. И Кружилин слушал его спокойно, внимательно. Полипов сидел боком к Кружилину, смотрел куда-то в угол. Ухо его, небольшое, чуть оттопыренное, пошевелилось. Кружилин впервые заметил эту особенность.

— Слушай, Петр Петрович, страшный ты человек, кажется,— вдруг сказал он. И только когда произнес эти слова, понял их смысл, подумал, что, вероятно, не надо было этого говорить.

Уши Полипова замерли. Он медленно повернул к Кружилину широкие плечи, и Кружилин увидел, что по лицу его идут судороги, которые он пытается унять насильственной улыбкой.

— Ну что ты... Не страшней других,— вымолвил он.

— Не понимаю я тебя.

— Да, многим из нас друг друга понять нелегко. Мы объединены общей идеей, строим новое общество. Общество это представляем себе более или менее одинаково, но боремся за него...— Полипов, так и не уняв судорог на лице, чуть пригнулся,— но боремся за него, я бы не сказал — разными методами, но по-разному понимая сущность тех людей, с которыми работаем.

— Туманно очень,— усмехнулся Кружилин.

— Ну, Назарова вот того же по-разному понимаем.— Лицо его наконец стало спокойным.— А кто из нас прав...

Громко хлопнула входная дверь, кто-то заскрипел в коридоре половицами.

— Мне ясно одно, Петр Петрович,— проговорил Кружилин, глядя прямо в глаза Полипову,— сейчас, по крайней мере, стало ясно, что работать нам вместе будет трудно. Может быть, невозможно станет со временем.

Полипов опять собрал морщинки на лбу.

— Почему? Мы впервые поговорили друг с другом откровенно, в какой-то мере выяснили... что-то друг в друге. В чем-то не сходимся? Разве это беда? Жизнь, говорю, покажет, кто из нас прав. А ссориться сейчас — сам говоришь — никто не поймет.

— Да ведь ты и собираешься о Назарове спорить! А этот спор, прямо говорю, нешуточный, он серьезный будет...

Распахнулась дверь, вошел Савельев.

— Можно? Здравствуйте... Не помешал? Вижу — огонек... — Савельев шумно подошел к столу, пожал обоим руки.— Что у тебя, Петро, руки такие потные? Ну-с, начали, друзья мои! Сейчас лично подержал в ладонях полуторатысячный снарядик. Нечаев упаковкой занимается, чуть не каждый снаряд сам в ящик кладет. На утро перед отправкой снарядов митинг назначили... Телеграммы еще нет?

— Нет еще.

— Хорошо бы к утру-то поспели, а?! — И повернулся к Полипову: — Ну, Петро! Забывать уже стал ведь я тебя... Да что там, забыл совсем, лет с десяток не вспоминал. И вдруг — встреча! И поговорить вот даже некогда. За квартиру спасибо. По-царски устроились. Неудобно перед рабочими-то.

— Ничего, директор все же.

— Где ты-то живал, работал?

— Ну, где? После того как из белогвардейского застенка удалось бежать — не забыл, должно, Свиридова? — служил в Красной Армии до тридцатого почти года. А потом все время в Новосибирске. Потом вот сюда перевели. И все, собственно. Спокойная жизнь,— усмехнулся Полипов.

— Поговорить бы как-то. Вспомнить кое-чего!

— Как Елизавета Никандровна?

— Ничего. Здоровьем, конечно, хвалиться не приходится...

Опять хлопнула дверь. Все повернули головы на звук.

— Телеграмма, может? — сказал Савельев.

Минуту-другую в коридоре было тихо, потом раздались торопливые шаги. Все встали, понимая, что это действительно телеграмма.

Дежурная по райкому, молоденькая женщина, заведующая сектором учета, вбежала взволнованная и раскрасневшаяся.

— Вот, Поликарп Матвеевич... Поздравительные! Одна из Москвы, правительственная. Другая из области.

Кружилин развернул одну из телеграмм:

— «Секретарю Шантарского райкома партии Кружилину, председателю райисполкома Полипову, директору завода Савельеву, главному инженеру Нечаеву...» — начал он читать почему-то с адресатов.

— Ну, я пошел,— встал вдруг Полипов.— Поздравляю, Антон, от всей души... На митинге завтра встретимся.— И повернулся к Кружилину: — Значит, вопрос о Назарове с повестки исполкома исключить?

— Я тебе все сказал,— промолвил Кружилин.

Полипов вышел, плотно прикрыв дверь.

Когда телеграммы были прочитаны, Савельев и Кружилин поглядели друг на друга молча.

— Ну вот, Поликарп...— устало вымолвил Савельев. Слова были вялыми, бесцветными.— А все же не верится.

Савельев был давно не брит, на месте глаз глубокие черные ямки, лицо осунувшееся, бледное.

— Сколько ты спал за две-то недели?

— Да, да, сейчас пойду, высплюсь. И побриться надо. Это позор — в таком виде...

Он встряхнулся, оторвал руки от стола. С трудом встал, начал ходить по кабинету. И Кружилин понял — Савельев боится заснуть.

— Ты, конечно, слышал — наши оставили сегодня Орел,— проговорил тихо Антон, подходя к висевшей на стене карте, утыканной флажками. Вся западная часть советской территории была исчерчена беспорядочными синими полосами — бывшими линиями фронтов. Сейчас самая крайняя к востоку линия шла, начинаясь от самого Ленинграда, вниз, огибая Москву, Орел, Курск и Харьков, к Днепропетровску, а затем, чуть западнее, к Перекопскому перешейку. Где-то далеко во вражеском тылу была очерченная красным кружком Одесса. Там, в этом кружке, уже около восьми недель истекали кровью тысячи и тысячи людей, военных и гражданских, отстаивая город от врага.

Одесса была обречена, это понимал в стране каждый человек, понимал и Савельев, смотрящий сейчас на карту. Об этом он сейчас и думал, хмуря лоб, и, закрыв глаза, мысленно попытался представить, что там происходит. Ему это оказалось нетрудным. Сразу будто воочию возникло багровое небо над горящим городом, потом — разваливающееся, оседающее в клубах пыли здание,— пронзительный женский крик и плач ребенка.

То ли от этого крика, то ли от запаха пожарищ, который он почувствовал вдруг ясно и отчетливо, Савельева качнуло. Чтобы не упасть, он схватился за стенку.

— Антон?! — услышал он голос Кружилина и увидел его рядом с собой.

— Ничего, ничего... А карта у тебя неточная все же. Линия фронта уже не соответствует...— И он переставил флажок чуть восточнее города Орла.

— Да... Она каждое утро не соответствует,— с горечью произнес Кружилин. Он, стоя рядом с Савельевым, долго и молча глядел на карту.

— Вот все хочу спросить у тебя, Антон... Как же получилось, что немцы так легко смяли все наши оборонительные укрепления, будто их и не было на наших новых границах? С западными областями Украины и Белоруссии воссоединились осенью тридцать девятого. Пользовался слухом, что вдоль новых рубежей построены за это время сильные укрепления. А немцы — как нож сквозь масло. Как же так? Ты жил в тех краях...

— Я-то жил. Но я ведь не военный... А Петро где? Ушел? Вот лавочник! Он, знаешь, из лавочников, отец его в Новониколаевске довольно солидную торговлю вел.

Кружилин понял, что Савельев хочет переменить тему разговора, отошел к столу.

— Я знаю. Он об этом и в автобиографии пишет. Сам я тоже, можно сказать, из лавочников — в юности приказчиком служил.— И, помедлив, проговорил: — Как-нибудь рассказал бы, каков из себя Полипов в те годы был.

— Ну, каков? Сперва обыкновенный парнишка-гимназист... Затем увлекся

революционной работой, стал настоящим большевиком. После — аресты, тюрьмы... В дружбе — верный. Мы с ним только в одном врагами были — в любви.

— Да? — шевельнулся Кружилин.

Савельев поглядел на секретаря райкома, что-то в глазах того не понравилось Антону.

— Ага. Мы любили одну и ту же девчонку — Лизу, теперешнюю мою жену... Да ты, собственно, почему об этом спрашиваешь?

— Значит, решающим успехом у нее ты все же пользовался? — как бы не расслышал Кружилин последнего вопроса.

— Так уж вышло как-то. Я хулиганистый в детстве был. Да и в юности тоже. Может, это и решило, а? Девчонок это, знаешь, на первых порах привлекает. Жил я тогда в Новониколаевске, в семье брата моего отца, Митрофана Ивановича. Он с девятьсот второго года уже подпольщиком был, кажется, чуть ли не первым организатором социал-демократической ячейки. И сын его, Григорий, тоже подпольщиком был. И Лиза тоже. Меня в свои дела они, конечно, не посвящали. А я — переживал. Ух как я переживал! И все, помню, думал: как же им доказать, что я не такой дурак и шалопай, каким они меня считают?

Савельев говорил, а глаза его закрывались.

— Поди-ка ты, Антон, поспи лучше,— сказал Кружилин.

— Да, да... Потом я как-нибудь расскажу и о Полипове, и о своем житье-бытье, если интересно...

* * *

Известие о появлении в Шантаре старшего брата Федор Савельев воспринял внешне бесстрастно. Он только вскинул на сообщившего эту новость Панкрата Назарова тяжелые от усталости глаза да пошевелил сросшимися бровями.

Утрами, когда на востоке кровенилась холодная заря, он без слов сдергивал с Кирьяна Инютина засаленное, прожженное во многих местах одеялишко, молча они шли к агрегату, минуты три копались — Инютин во внутренностях трактора, Федор в комбайновом моторе,— на четвертой Савельев давал свисток, и начинали работать.

Вечерами, когда падала роса, Федор давал три коротких свистка. Это означало конец работы, но не рабочего дня. Около часа они еще возились каждый у своей машины, очищали от пыли, шприцевали всякие узлы. Насчет техухода Федор был строг. Потом шли на полевой стан — Федор впереди, Кирьян метрах в пяти — десяти за ним. И все молчком, молчком.

Недели через полторы, когда целый день, будто с трудом процеживаясь сквозь набухшие лоскутья облаков, сеял мелкий, противный дождь, Кирьян Инютин сказал, глядя в тусклое окошко вагончика на унылые, взявшиеся хлюпью поля:

— Ежели и перестанет к вечеру, до послезавтра не выдерет мокрядь. Может, пока в Шантару съездим?

— Об жене, что ли, затосковал? — В хрипучем голосе Савельева была издевка.

Никогда не вставлявший Федору слова поперек, Инютин тут, чувствуя, как плеснулась в голову кровь, проговорил:

— Так и ты, может... тоже.

Скрипнули нары, Федор сел. Не оборачиваясь от окошка, Кирьян чувствовал на себе ошпаривающий взгляд Савельева. Руки у него загудели. Понимая, что еще какое-то одно насмешливое или двусмысленное слово Федора — и он, Кирьян, не выдержит, ринется на бывшего своего друга, вцепится намертво в его заросшую черной щетиной, грязную шею. Инютин изо всей силы держался за косячок, вдавив ногти в сырое, холодное дерево. И чтобы осадить Федора, не дать ему сказать этого слова, проговорил:

— С брательником повидался бы.

— Никуда она не убежит теперь, эта свиданка.

И опять скрипнули нары. Инютин понял — Федор лег.

...Ивану Савельеву о приезде старшего брата в Шантару сообщил не кто-нибудь, а Яков Алейников. Яков ехал куда-то на дрожках — точь-в-точь на таких, какие в тот далекий памятный день увезли Ивана с сенокоса, может быть, даже на тех же самых. Иван стоял на пологом увале, по которому разбрелись коровы.

— Ну, подойди,— сказал Алейников, останавливаясь.

Иван был в дождевике, в сапогах. Приминая ими высохшую траву, он спустился с увальчика. Перекинутый через плечо длинный кнут волочился сзади, как змея, шипел по траве.

Разговор у них был не очень долгий, говорили короткими, отрывистыми фразами. Если бы кто подслушал посторонний, мало бы что понял из их разговора.

— Здравствуй,— сказал Алейников.

— Здравствуй,— ответил Иван.

— Узнал, стало быть?

— Я не забывал. Во сне часто снишься.

— Обижаешься, понятно, на меня,— сказал Алейников таким тоном, будто речь и в самом деле шла о пустяке, о какой-то незначительной обиде. И даже вздохнул сожалеюще.

Иван помедлил, оглядел табун:

— Да нет...

Алейников вскинул на Ивана из-под лохматых бровей острый взгляд и тотчас прикрыл глаза тонкими веками. Потом стал глядеть в сторону.

— Ну, ладно... Пастушишь, значит?

— Одному просто охота побыть. С самим собой.

— Понятно.

Алейников хотел тронуть коня, но Иван спросил:

— А ты не боишься; что возьму вот да зажилю пару коров? Вон сколько их...

— Нет,— сказал сухо Алейников.

— И за то спасибо. Ну, а... Аркашка Молчанов где?

Алейников будто недоуменно пожал плечами.

— Где? Сидит...

— А за что?

Алейников долго смотрел на осеннее небо, по которому бесшумно текли низкие облака. Он так и не ответил на вопрос. Назвав почему-то Ивана по имени и отчеству, спросил:

— В военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?

— Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут — что ж, приду.

— Ладно, я поехал... Да, брат твой, Антон, просил тебе при случае поклон передать...

— Кто? Кто?! — Иван шагнул к дрожкам.

— Антон, говорю. Не знаешь разве, что он директором эвакуированного к нам завода назначен? На днях приехал...

— Антон?!

— Ну да, Антон Савельев.

— Вот за эту весть спасибо!

— При случае, говорит, пусть завернет повидаться.

Алейников уехал, а Иван долго еще стоял на прежнем месте...

— Знаешь ли, кто директором Шантарского завода назначен? — сказал он вечером жене.— Антон, брательник!

Агата мотнула косами, оборачиваясь, в лице ее плеснулся не то испуг, не то изумление,— она, видно, никак не могла сообразить в первую секунду, хорошо это или плохо, грозит это чем-то ее Ивану или нет.

— Да... как же теперь-то? Надо ж вам повидаться!

— Само собой. Отпрошусь на днях у Панкрата.

Через несколько дней Иван действительно поехал утром в Шантару, но Антона дома не застал. Его жена, Елизавета Никандровна, высохшая женщина, молчаливо, с какой-то опаской обшарила Ивана бледно-зелеными, точно вылинявшими, глазами, но сказала приветливо:

— Заходите. Антон позавтракать должен приехать часов в десять.

Сын Антона, Юрий, парень с виду лет двадцати, хотя на самом деле ему шел двадцать восьмой, поджарый, стремительный, с такими же, как у матери, глазами, воскликнул:

— Хо! И вправду дядя! И паспорта не надо — точь-в-точь отец! Батя на станцию умотался, мы с тобой пока чаи погоняем. Я на работу пойду, а ты подождешь его.

Юрий только что умылся, расхаживал по комнатушке в трусах и майке, вытирая на ходу лицо и мокрые плечи.

Елизавета Никандровна, разливая чай, расспрашивала о жене, о детях. Юрий часто перебивал мать, расписывал подробно, как он жил в Харькове, потом — как он в первый день войны приехал во Львов.

— А сейчас вкалываем на заводе под открытым небом. Нечаев, главный инженер, говорит: «Ничего, ребятки, потерпите, до зимы построим цехи». Но вряд ли построят. Сейчас ничего, а как холода начнутся, не представляю, как мы будем. Мы, токари, знаем, что такое холодный металл. Руки прилипают.

В общем, жена Антона Ивану понравилась, а сын — не очень. От беспорядочной трескотни Юрия, от того, что он бесцеремонно как-то сразу начал называть его на «ты», остался неприятный осадок.

Выпив несколько чашек, Юрий сорвался с места.

— Ну, будь здоров, дядя... Пошел вкалывать.

И непонятно как-то прозвучало это «дядя» — то ли по-родственному, то ли с оттенком иронии.

Зазвонил телефон. Елизавета Никандровна взяла трубку, долго слушала кого-то, а потом проговорила:

— Хорошо, Антон, ты не волнуйся, поезжай. Только вот... брат твой, Иван, к тебе пришел...

Волнуясь, Иван взял трубку. Но разговор вышел путаный, непонятный. Голос в трубке был чужой, незнакомый. Не то в трубке, не то в ушах у Ивана шумело, и он понял только, что Антон срочно, прямо со станции, уезжает в Новосибирск, а вернется через неделю.

— Ничего, ничего, я еще раз отпрошусь у нашего председателя...— прокричал в трубку Иван.

— И с женой, с женой приезжай, пожалуйста,— услышал он сквозь шум и треск.

— Ладно, ладно...

Но вторично съездить в Шантару удалось не скоро. Этим же вечером к загону подошел председатель, подождал, пока Иван водворил туда последнюю корову, и спросил:

— Надышался степным воздухом? Завтрева Володька твой пасти будет.

— А школа как же?

— День — Володька, день — другой парнишка, день — третий...

Иван присел на колодину возле забора, ожидая дальнейших слов председателя.

— Всех, кого можно, кинул я на обмолот и хлебосдачу. Хлебушка-то нынче много посдавать придется подчистую... Ни в жисть бы я больше плана не стал сдавать, кабы Кружилин не попросил район выручить... Да не война кабы... Так что на картошке зиму жить будем, не упустить бы ее. Сейчас пока вёдро, а задождит — намучаемся смертельно с ней. В общем — за картошку ты в ответе. Даю тебе бригаду с десяток женщин. Ну, и те же ребятишки подмогнут. Я договорюсь со школой, чтобы мальцов по двадцать давали по очереди в день. Учиться им тоже ведь надо,— вздохнув, добавил председатель.

Картошки было много, копали ее почти до середины октября, ведрами и корзинами ссыпали в бурты, прикрывали соломой, ветками, брезентом. Свозить в картофелехранилище было не на чем — все лошади заняты на обмолоте и хлебосдаче.

— Поморозим, гляди,— говорил то и дело Иван председателю, когда тот заворачивал на картофельное поле.

Назаров оглядывал бурты, перемазанных грязью женщин и ребятишек, хрипло кашлял и говорил:

— Все могёт быть.

С тех пор как Назаров узнал что-то, от Кружилина кажется, о своем сыне, лицо у Панкрата становилось все чернее, землистее, он будто высыхал на виду. Заношенный, старый брезентовый плащ обвисал на нем все больше. Однажды, закашлявшись, Назаров сплюнул, и Иван увидел в мокроте красные прожилки. Старый председатель быстро затер плевок ногой.

— Ты бы лишний-то раз и не ездил, где можно обойтись,— сказал Иван.— Поберегся бы. А то не ровен час...

— Все могёт быть,— так же хрипло и равнодушно проговорил Назаров.

За все это время Иван даже заикнуться не посмел о новой поездке в райцентр. Он знал, что где-то на полях колхоза косит хлеба своим комбайном Федор. Но он ни разу не видел брата, не стремился к встрече с ним. Когда пастушил, видел иногда вдалеке комбайн, различал на мостике маячившую фигуру брата. И каждый раз отгонял стадо подальше в сторону.

Наконец Назаров выделил для перевозки картофеля шесть бричек. С бричками приехал сам, крикнул Ивану, спрыгивая на землю:

— Ну вот, давайте! Может, бог еще потерпит маленько, не раскваснт погодку.

Бог терпел, видимо, из последних сил. В небе угрожающе качались грязные, холодные тучи, тяжело набрякшие водой пополам со снегом. Жестко похлестывал ледяной ветер, кидал на изрытое картофельное поле из ближайшего перелеска горсти сухих березовых листьев, засыпал ими лунки.

— Хлеба-то все скосили? — спросил Иван.

— Все считай... Осталось маленько, Федор, брательник твой, сожнет за неделю.

— Как он тут? — впервые после возвращения заговорил о нем Иван.

— А ничего,— усмехнулся Панкрат.— Робит старательно.

Женщины и ребятишки живо нагружали брички-бестарки, усталые лошади стояли, опустив плоскощекие морды.

— Достается нынче животинам,— сказал Панкрат и продолжал: — Вчерась на оставшуюся полосу направил мужиков с косами да баб с серпами. Смахнем, думаю, поживее остатки. А Федор — с матерками. «Не лезьте, говорит, сам скошу». Все жадничает, чтоб поболе заработать. Куда человек жадничает? Ну, думаю, черт с тобой, коси. Хлеба с той полосы так и так *шиш* возьмем, все ветром выхлестало, нечего людей маять. А Федору, конечно, легче пустой хлеб убирать. Он со скошенных гектаров получает.

Ветер шуршал картофельной ботвой, негромко хлопал полами заскорузлого назаровского дождевика.

— На тракторе-то у него кто? Все Кирьян Инютин? — спросил Савельев.

— Он. Молчком всю осень работают. Надутые, как сычи. Того и гляди, вцепятся друг в дружку — аж перья посыпятся.

— С чего они так?

— А дьявол их разберет.

Брички были нагружены, Иван хотел их отправить, но председатель сказал:

— Ты езжай сам с ними в деревню. Там Агата баню топит. Отмоешь грязь — и в Шантару ступайте с ней. Старший брат твой, Антон, звонил, приглашал седни ввечеру. Там грузовик на элеватор к ночи пойдет, уедете с ним. А я тут сам... Завтрева вернешься.

— Ну что ж, ладно...

— Ага, ступай, съезди... Соберетесь все вместе, поговорите,— кашляя, добавил Панкрат.— Федора он тоже звал.

— Федора?

— Ну и что ж? Съест он тебя, что ли, там? Ступай. Поглядите друг на дружку.— И, видя, что Иван колеблется, добавил построже, даже прикрикнул: — Ступай, ступай!

* * *

— Так вот ты какой стал, Ваньша! — тиская Ивана, говорил Антон, отстраняя немного от себя, смотрел ему в глаза и снова прижимал к груди.— А это, значит, Агата, жена твоя? Такой я примерно и представлял Иванову жинку... Раздевайтесь же. Лиза, помоги им раздеться.

В маленькой кухоньке четверым было тесно. Электрическая лампочка без абажура заливала помещение ярким светом, и в этом свете Агата чувствовала себя так, будто, выкупавшись, вышла голая из воды, а вокруг народ.

— Да, время, время-то, Иван, что делает! — грустновато проговорил Антон, глядя на брата.— А мне все помнишься ты белобрысым мальчонкой. Когда ж я тебя последний раз видел?

— А когда в Михайловке, потом в Звенигоре от жандармов прятался.

— Да, да, когда ж это было? Постой... Года через четыре, кажется, после девятьсот пятого? Ну да, в девятьсот шестом я в тюрьме сидел. В девятьсот девятом опять сел...

— В девятьсот десятом это было...

— Да, в десятом. Тридцать один год назад.

Агата глядела на братьев, что-то сжимало ей тихонько сердце, глаза пощипывало, электрическая лампочка расплывалась белым пятном, в голове ворошилась тревожная мысль: «А Федор? Счас и с Федором ведь Иван встретится...»

Еще там, в Михайловке, отглаживая рубашку Ивану, Агата, наверное, в десятый раз проговорила:

— Мне-то, может, остаться, а, Вань? Чего мне там.

— Ничего, поедем...

И тогда она, глядя за окно, сказала, раздувая побелевшие ноздри:

— Ты еще не знаешь меня. Я могу там Федору, если он что скажет про тебя... прямо глотку ему зубами перекусить.

— Да ты что? — испуганно наклонился к ее лицу Иван.

Агата вздрогнула и пришла в себя.

— Ладно, поедем... сдержусь, может.

— Как вас по отчеству-то, Агата? — услышала она голос жены Антона. Елизавета Никандровна стояла рядом, чуть улыбалась.

— Да никак... просто Агата...

— Ну и хорошо. А меня просто Лиза... Очень хорошо, что мы наконец встретились. Идемте! — Она настежь распахнула двустворчатые двери в комнату.— Там друзья Антона. Федор тоже должен подойти.

Услышав, что Федора нет пока, Агата почувствовала облегчение, смело шагнула за порог в просторную комнату.

Посредине комнаты стоял накрытый стол, у стены, на диване, сидели двое незнакомых ей людей, а третий, знакомый — секретарь райкома партии Кружилин — ходил по комнате и что-то рассказывал. При появлении их он замолчал, несколько мгновений глядел в упор на ее Ивана, потом улыбнулся и протянул ему руку.

— Здравствуй, Иван Силантьевич,— сказал он просто.

Поздоровались и те двое, поднявшись с дивана. Длинный худой человек назвал себя Нечаевым, а круглый, невысокого роста толстячок — Иваном Ивановичем Хохловым. Оба, и Нечаев и Хохлов, с любопытством глядели на Ивана. «Знают, знают, что в тюрьме сидел! — кольнуло ей сердце.— Господи, еще начнут расспрашивать, за что да как...» И она бессознательно качнулась к мужу, будто могла заслонить его от их вопросов.

Но ни Хохлов, ни Нечаев ничего не спросили.

— Что же, к столу, пожалуй,— сказал Антон, расставляя поудобнее стулья.

— Антон, Федора еще нет с женой,— подала голос Елизавета Никандровна.

— Время военное, терять его нечего. Опоздавшим нальем штрафную, только и всего...

— Вижу — не шибко вроде мы желанные гости тут,— прогудел из кухни голос. Там, у порога, в расстегнутом ватнике, держа в руках мерлушковую шапку, стоял, пошевеливая сросшимися бровями, Федор, за ним высокая женщина в темно-синем пальто. Из-за разговора и грохота отодвигаемых стульев никто не услышал, как они вошли с улицы.

Антон секунды две-три в упор смотрел через распахнутую дверь на среднего своего брата. Федор тоже глядел на Антона не мигая, чужим, выжидающим взглядом.

— Федор? — проговорил Антон вопросительно, будто еще сомневался в этом, и шагнул в кухню.

Братья обнялись. Елизавета Никандровна кинулась раздевать Анну.

Через минуту Антон, подводя Федора к столу, говорил чуть возбужденно, без упрека:

— Что ж это ты, братец, так себя ведешь? Я уж больше месяца как приехал, а ты и носа в Шантару не показываешь. Иван приезжал, хоть и не застал меня...

— Работа. Страда,— приглушенно ответил Федор.— Да и тебе, поди, не до меня.

Войдя в комнату, Федор крепко пожал руку Кружилину, запросто проговорил: «Здравствуй, Поликарп», потом Хохлову и Нечаеву. Этих он сперва тщательно обшаривал глазами из-под черных сросшихся бровей и уж потом протягивал широкую и крепкую, как дерево, ладонь.

— Ну и рука, знаете, у вас! — с улыбкой проговорил Нечаев.— Подкову, случайно, не разгибаете?

— Можем,— коротко ответил Федор, огляделся, словно поискал, нет ли кого в комнате, с кем надо еще поздороваться. Хмурый взгляд его скользнул по Ивану, как по пустому месту. Антон заметил, как вспухли желваки на худых щеках Ивана, как дрогнули брови у Агаты, как Поликарп Кружилин, посасывая папиросу, задумчиво поглядывал на братьев по очереди. Только Нечаев с Хохловым ничего странного в поведении Федора не заметили, полагая, что Федор с Иваном виделись сегодня не один раз и здороваться здесь не обязательно.

Анна, войдя, тихо поздоровалась со всеми, никого в отдельности и не различая. Потом медленно повернула голову к Ивану. Стояла, глядела на него, сплетая и расплетая дрожащие пальцы.

— Здравствуй, Анна...— проговорила Агата.— Вот у меня Ваня, видишь, приехал...

— Это хорошо... Наконец-то! Здравствуй, Иван.— И Анна шагнула к нему, протянула сразу обе руки.

Антону показалось, что Федор сейчас ринется к жене, схватит ее за шиворот, за волосы и отбросит от Ивана,— так мутно и нехорошо полыхнули спрятанные глубоко за бровями Федоровы глаза,— и поэтому он поспешно заговорил:

— Садитесь, садитесь же! Иван, ты сюда, рядышком со мной. И ты, Федор, рядышком. Поскольку ты старше Ивана, садись по правую мою руку...

— Действительно, попьянствуем, что ли! — воскликнул Хохлов, потер руки, первым сел за стол и начал разливать в рюмки.— А то я уж забыл, как она и пахнет-то. По всем правилам — первый тост хозяину дома.

— Что ж,— поднял рюмку Антон,—выпить хочется, друзья, за многое. Прежде всего — за победу, за то, чтобы скорее выгнать с нашей земли фашистскую нечисть. Эх, друзья мои, вы все-таки не представляете, что это за зверье, фашисты! А я немного представляю, потому что маленько испытал на собственной шкуре, что оно такое... Ну, и за то, что мы, братья, собрались наконец все вместе. Не было бы счастья, как говорится, да несчастье помогло. Рад я, что мы все вместе. За все это...

Все выпили. А Федор почему-то держал рюмку в руке, смотрел, как подрагивает холодная бесцветная жидкость.

— Оно, я думаю, недолго мы вместе-то будем,— сказал он.

Слова эти никому не показались странными: шла война, каждый мог завтра-послезавтра оказаться совсем в другом месте, далеко от Шантары. Но он, чуть помедлив, обвел всех глазами, добавил:

— Да и не очень-то жалко...

— Федор! — невольно воскликнула Анна.

Федор вяло отмахнулся от жены и одним глотком выпил рюмку, точно выплеснул ее содержимое куда-то за плечо.

За столом установилась тишина. Перестали даже звякать вилки и ножи. Напротив Антона сидел Кружилин, и Антон увидел, как он опять, чуть прищурившись, оглядывает Савельевых всех по очереди.

— Да что же вы? Закусывайте, пожалуйста,— приподнялась Елизавета Никандровна.— Антон, наливай-ка еще по одной.

— Ну что ж,— произнес Антон, берясь за бутылку.— Памятуя пословицу: пьяный проспится, а дурак — никогда...

— Нет, нет мне уж будет,— запротестовал Иван Иванович Хохлов.— Я питух известный.

Он действительно пошел огнем от одной рюмки, беспрерывно вытирал мокрый лоб, часто моргал добрыми, моментально посоловевшими глазами.

— Ничего, еще одну осилишь,— проговорил Кружилин.— А теперь я хочу тост сказать.— И взял рюмку.— Удивительная штука жизнь. Иногда ее понимаешь. Иногда — нет.

— Ты-то обязан всегда понимать. По должности,— сказал Федор.

— Я? Что же я, особой метой от рожденья, что ли, помечен? Такой же человек, как все. Как Антон, как Иван, как ты, Федор,— подчеркнул он.— И бывает, к сожалению, не так уж редко, что человек, не понимая сути и смысла этой жизни, наделает черт-те что, наломает таких дров, так расшибет свою душу, что живет весь в синяках и кровоточащих ранах.

Кружилин говорил медленно, отчетливо выговаривая слова. И по мере того как говорил, Иван, принимая все на свой счет, медленно опускал голову. Рука его, лежавшая на столе, дрогнула. Иван быстро убрал под стол руку, положил на свои колени и почувствовал, как потные и горячие пальцы сидевшей рядом жены легли на его ладонь. Пальцы Агаты тоже дрожали мелкой дрожью.

Федор же сперва слушал Кружилина с какой-то снисходительной улыбкой. Потом улыбка эта стала бесшумно ломаться, мокрый ус его дрогнул, глаза налились железным холодком.

— Но человек, к счастью, наделен разумом,— продолжал Кружилин, глядя в упор на Федора.— Потому он и называется человеком. И рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный и извечный зов к жизни, извечное стремление найти среди людей свое, человеческое место. И я думаю, что с этого момента человек, каких бы ошибок он ни наделал, становится уже гражданином, а потом станет и бойцом за справедливость, за человеческое достоинство и за человеческую радость. Вот и выпьем, друзья, за этот вечный и благородный зов, за то, чтоб каждый ощущал его в себе постоянно.

Иван почувствовал, как Агата успокаивающе поглаживает его руку. Федор опять медлил выпить, сжимал огромной ладонью хрупкую рюмку, думал о чем-то. Но про него все забыли будто, разговор пошел о разном.

— Спасибо, Елизавета Никандровна, за угощение. Рад бы посидеть еще, да на завод пора, сейчас ночная смена заступает,— неожиданно проговорил Нечаев и встал, чуть не задев головой электрическую лампочку.

Елизавета Никандровна вышла на кухню его проводить.

Там Нечаев оделся, что-то сказал хозяйке, нагнулся и поцеловал ей руку. Федор, сидевший лицом к дверям, смотрел на это строго и осуждающе.

— Ну а если человек не начнет задумываться над смыслом этим? — спросил он вдруг, глядя теперь на Кружилина.— Над сутью бытия и своей жизни? Живет и живет себе, как ему живется. Тогда как?

— Тогда? — Кружилин ответил не сразу. За столом установилась тишина, долгая, гнетущая. И Федор чувствовал: не только он — все ждут, что скажет теперь секретарь райкома.— А тогда — по пословице: смолоду прореха, к старости — дыра.

— Так,— будто удовлетворенно промолвил Федор. И теперь сам потянулся за бутылкой.

— Федя...— произнесла Анна.

— Ну! — двинул он плечом, налил себе и выпил, ни на кого не обращая внимания.

Анна неловко улыбнулась Кружилину и отвела глаза. Мочки ее ушей горели, как вишенки.

Часа полтора назад Федор, заявившийся с поля грязный и заросший, с порога еще, не поздоровавшись, распорядился:

— Бриться и мыться. Живее...

Побрился он молча и только, фыркая под умывальником, спросил:

— Ты готова, что ли? Должно быть, и тебе было персональное приглашение к Антону-то?

— Ты бы, Федя, хоть поздоровался со мной.

— А зачем? Ты ждешь не дождешься, чтобы меня на войну взяли. Это раз. Да чтоб убили меня там — это два. Чужие мы с тобой, выходит.

— И чужие здороваются при встрече.

Федор надевал чистую рубашку перед зеркалом, долго возился с пуговками.

— Возьмут ли на войну да убьют ли там — это еще всяко может быть. А вот что разойдемся рано или поздно с тобой — это, должно быть, точно... Раз того желаешь.

— Да ведь ты сам... Сам ты...

— Ну, цыть! Сам-то я с усам, а у тебя еще не выросли...— И вдруг круто переменил тему: — Как передал мне председатель Назаров, что Антон, дескать, приглашает, я плюнуть хотел сперва на приглашение...

— Почему на всех плюешь-то? Это понять бы... Брат же родной! С детства не виделись...

— Этот, контра тюремная, там тоже будет,— не обращая внимания на ее слова, продолжал он.— Ну, потом, думаю, ладно, поеду... Погляжу на братьев, посижу с контриком за одним столом хоть раз. Не замараюсь, может... Одевайся.

— Не пойду я...

— Еще чего! Живо! Жена покамест. Скандалить, что ли, зачнем? Люди же в той комнате чужие.

Ненавидя себя за что-то — за безволие, может, за нерешительность и за эту вот подчиненность,— она полезла в сундук за новым платьем.

— Только, ради бога, ничего такого там не затевай...

— Не бойся ты за своего Ивана.

С тем они и подошли к квартире Антона.

...Федор поглядывал временами на пылающие уши жены, на молчаливого Ивана, но больше не произносил ни слова. Сидел и равнодушно слушал, как Антон, Кружилин и Хохлов разговаривали о делах завода, о том, как идет строительство землянок, о том, что надо ехать им вместе, видимо, в область и выколачивать побольше леса и пиломатериалов для строительства домов. Елизавета Никандровна то и дело наклонялась к Анне, к Агате, пододвигала им кушанья. Время от времени Федор подливал себе в рюмку, но хмель его не брал.

Наконец Кружилин поглядел на часы:

— Ого! — И сразу поднялся.— Как ты сказал, Антон, пьяный проспится, дурак — никогда... Хоть и не причисляем себя к последним, а времени, чтоб проспаться, все же порядочно надо...

Поднялись Хохлов и Антон, все шумно пошли на кухню. Иван и Федор тоже было шевельнулись, но Антон сказал:

— А вы посидите еще, ведь о многом поговорить охота...

Федор на это лишь усмехнулся и стал царапать вилкой по скатерти.

Проводив гостей, Антон сел на место Кружилина, приветливо улыбаясь, оглядывал Федора, Ивана, Агату, Анну. Улыбался и молчал.

— Что ж время-то терять на улыбки? — шевельнул влажным усом Федор.— Поликарп Кружилин провел воспитательную работу насчет меня, теперь ты начинай.

— Черт, ну просто не верится, что мы вместе вдруг все собрались,— сказал Антон.— Лиза, ты веришь? Будто в сказке. Вот Ванька сидит, вот Федька... Так и стояли они у меня в памяти: Ванька тоненький, быстрый как живчик, вечно с обжаренным в лохмотья носом. А Федька степенный такой парнишка, рассудительный, красивый больно. Девки, наверное, сильно бегали за ним, а, Анна?

Анна, невесело улыбаясь, молчала. Елизавета Никандровна убрала лишние тарелки и рюмки.

— Да, о многом говорить нам, не переговорить...— вздохнул Антон, берясь за бутылку.— Ну, да в одном селе теперь живем, встречаться будем частенько. А сейчас вот эту рюмку хотелось бы выпить за самого младшего из нас, за Ваньку. Правильно сказал Кружилин — жизнь удивительная штуковина, не всякий и не сразу самую соль иногда схватит. Вот и поломала она Ваньку, с хрустом, видать, побросала из стороны в сторону, покатала, как на громотухинском шивере водяная струя камни катает... Да теперь, я думаю, все будет хорошо. Вот тут Федор говорил что-то насчет должности. Если человек по должности своей человек, то обязательно рано или поздно все будет хорошо... За тебя, Иван.

— Спасибо тебе, Антон,— хрипловато произнес Иван.

— А я за этого контрика пить не буду,— отрезал Федор.

Агата, побледнев, вся вытянулась, схватила Ивана за плечо. Анна же в третий раз за вечер вскрикнула:

— Федя?!

— Чего — Федя да Федя?! — загремел он во весь голос, поворачиваясь к жене.— Трогать любезного сердцу твоему Ивана я не трону, не бойся! Придет вре-

мя — сама Советская власть еще куда-нибудь его законопатит. И будем надежду иметь, что уж тогда-то, уж в третий-то раз — навсегда! А пить за него — увольте уж. И того через край, что за одним столом сижу...

Анна качнулась от мужа, вскочила, опрокинув стул.

— Аня... Анна! — Елизавета Никандровна заспешила следом за Анной на кухню.

Там Анна, плача, лихорадочно обматывала платок вокруг головы и, почти отталкивая от себя жену Антона, выкрикивала с ненавистью:

— Нет! Нет! Нет!

Антон стоя молча смотрел через всю комнату на все это. Иван тоже было встал, потом сел, лишь Федор никак не реагировал на происходящее.

Когда Анна выбежала из дома, Елизавета Никандровна потерла виски пальцами, будто что-то вспоминая.

— Да, чаю... Я сейчас.

— Агата, помоги, пожалуйста, ей,— попросил Антон.

Агата встала и ушла, прикрыв за собой двери.

— Встреча наша, прямо надо сказать, очень славной вышла,— сказал Антон, усмехнувшись.

— А ты чего хотел? — заговорил Федор. — Чтоб я целоваться с Ванькой полез? Об моем отношении к нему ты знал, надо полагать. А не знал — так знай теперь.

— А почему оно такое отношение у тебя?

— Ишь ты! Я, дорогой братец, за Советскую власть кровь проливал, жизни не жалел...

— И я вроде не жалел...

— Ты... Ну, ты далеко от наших краев... не жалел ее. А я — тут. И Ванька тут бандитствовал. Отца с маткой тут, в Михайловке... А Ванька, несмотря на это, служил у них. Я что, могу это ему простить? Ты прощаешь вроде. Поликарп Кружилин тоже. Ишь тосты какие умные начали говорить — человек должен стержень жизни понять, тогда, мол, станет человеком. Все — для Ванькиного оправдания. Ну, оправдывайте! Дело ваше! А он понял, думаете?

— А может быть, не только для Ивана, но и для тебя этот тост произносился? — спросил негромко Антон.— Для того, чтобы и ты стержень тот попытался найти?

— И для меня, как же... Все понимаем, не дураки. Только я его не терял...

— А может, все же потерял? Шел-шел да и обронил где-то?

— Ну, знаешь! — Федор резко встал, из-под насупленных бровей оглядел Антона, потом Ивана.— А-а, в общем, чего попусту воду лить? — И пошел на кухню.

Антон ничего не сказал, не задержал его. Через минуту хлопнула входная дверь.

— А ты-то, Иван, что молчишь весь вечер? — спросил Антон.

— Так я что же? Обвиняет меня Федор правильно, оправдываться мне нечего. Как жизнь моя сложилась, ты знаешь. Письма два-три я посылал тебе, вроде Агата вот еще писала. Да и от других понаслышался...

— А я хочу от тебя самого. Давай рассказывай обо всем... О себе, о Федоре — все в подробностях. Понять я хочу вас обоих.

— О себе-то я могу. А об Федоре как мне? Я его и сам не пойму...

— Как уж понимаешь. Потом я тебе все о своей жизни поведаю...

...В эту ночь братья говорили до самого утра.

* * *

Выйдя из квартиры Антона Савельева, Федор постоял возле крылечка. Черная, тугая темнота осенней ночи придавила Шантару к земле. Эту темноту прокалывали кое-где желтоватые пятнышки светящихся окон.

Час или полтора назад, когда они с Анной шли к дому брата, небо сплошь было заложено грязно-серыми, тяжелыми облаками. Но тогда облака шли высоко, а сейчас — Федор чувствовал это — опустились до самой земли, обдавая ее холо-

дом. «Неужели снег ляжет? — подумал он, вспомнив о нескошенном массивчике пшеницы.— Уйдет под снег — будет разговоров на всю зиму: пьянствовал, мол, вместо того чтоб косить и косить, до самых белых мух».

И крупно зашагал прочь.

Дул ветер, качал оголенные деревья, жесткие ветви тоскливо поскрипывали. Казалось, что тяжелые тучи бороздят своими днищами по верхним прутьям, едва-едва не ломая их.

Ничего, кроме неприязни к старшему брату Антону, а тем более к Ивану, Федор не чувствовал. «И Анна, ишь ты: «Почему ты на всех плюешь-то? Это понять бы...» На всех, а сама Ваньку прежде всего в мыслях имела... И что он ей, заморыш тюремный? Сколько годов прошло, а она все об нем... Или зто правда, что люди перед Христом за его страдания стелются?.. И Поликарп с Антоном учить вздумали!»

Улица была темна — ни огонька в окнах, ни звездочки над головой. Его собственный дом тоже был погружен во мрак. «Ишь, не ждет...— со злорадством подумал об Анне.— А бывало — до света ждала...» И он почувствовал, как снова пухнет голова от раздражения.

Зайдя во двор, Федор заметил, что у Инютиных светится одно окошко. Оно до половины было закрыто занавеской, по занавеске мелькала тень. «Анфиса или Верка?»

Федор вдруг почувствовал в себе какую-то пустоту и тоску. Неприятно затомило, засосало в груди. Федор сел на лавочку возле стены и, прижимаясь к ней спиной, с удивлением слушал, как постанывает сердце, как тупо давит что-то на него. Этого он никогда не ощущал, такого с ним никогда не бывало. И потому испуганно подумал:«Это еще что такое? Может, болезнь какая?»

В окне Инютиных опять качнулась тень, вытянулась — Анфиса или Верка снимала платье. Мелькнули поверх занавески оголенные руки, и окно потухло. «Она, Анфиска»,— узнал наконец Федор. Кровь у него чуть заволновалась, неприятные стонущие боли в сердце сразу исчезли. Он зачем-то представил, как Анфиса, засыпая, чмокает по-детски губами. Она всегда ими чмокает во сне. Потом вспомнил, как всегда дрожат под его руками ее острые, горячие плечи, как вздрагивает худая спина и гулко колотится что-то в ее груди, заставляя сильнее биться в ответ его, Федорово, сердце. И Анфиса в такие минуты сжигает его черным пламенем глаз, жадным и ненасытным. Даже в темноте он всегда будто различает этот испепеляющий черный огонь, чувствует его...

А вот с Анной, собственной женой,— с той всегда иначе. Когда-то, давно-давно, она была похожа на Анфису, она так же вспыхивала и сгорала. Но она никогда не вызывала у Федора такого же ответного желания. Наверное, потому, что Федор не верил ей. С самого начала не верил, с самой первой ночи после женитьбы, когда он узнал, что она, оказывается, порченая. Это его как кипятком окатило, он сел у окна и, куря самокрутку за самокруткой, вспоминал, как год назад привез ее откуда-то Иван в Зятькову Балку вместе с трупом ее отца. Наконец хрипло спросил:

— Кто ж... распробовал тебя? Ванька?

— Нет, нет! Феденька, любимый! Не-ет!

— А кто?

— Я не виновата, Федя... Я не могу сказать... Но я — честная! Тысячу раз убедишься, что я честная! Я заслужу твое прощение, я стелькой буду для тебя, удавить дам себя за один твой волосок! Я так люблю тебя — ты еще не знаешь. Только не спрашивай, забудь, а, Феденька?

Она ползала в тот вечер у его ног, плакала, исходила слезами, но так и не сказала, кто виноват в ее позоре. И потом никогда не захотела сказать. Федор не мог ничего забыть, не мог простить. Мало-помалу Анна остывала, делалась молчаливее, замыкалась. Она быстро постарела, Анна, как-то не телом, а душой. И ночами становилась все холодней и все бесчувственней. Она никогда не отталкивала Федора, но женское свое дело исполняла без желания, по обязанности и — Федор чувствовал — со все большей долей брезгливости. Сейчас вот он стал ей совсем чужой.

Федор поплотнее прижался спиной к бревенчатой стене, вздохнул. И в ушах у него вдруг зазвенели слова Кружилина: «Бывает... что человек, не понимая сути и смысла жизни, наделает черт-те что, наломает таких дров, так расшибет свою

душу, что живет весь в синяках и кровоточащих ранах...» И только сейчас эти слова по-настоящему возмутили его. «Это... это я-то не понимаю сути и смысла жизни, наломал дров?! — с яростью подумал он.— Я, я, который партизанил, не щадя жизни, не боясь смерти! А после зтого работал как положено, на плохом счету никогда не был...» Сколь существует МТС, столь и он, Федор Савельев, лучший в ней комбайнер! Уж он-то, Кружилин, все зто знает! Так какое право имеет так говорить?! Особенно зто... зто: «Смолоду прореха, к старости — дыра...» Какая, в чем прореха была? Где сейчас дыра? Какая дыра?!

Эти мысли, больно колотясь в мозгу, заслоняли все — и Антона, и Ивана, и Анну, заслонили, как бы стирая, и его, Федора, поступки и отношение к этим людям, будто ничего предосудительного по отношению к ним или к кому бы то ни было он не делал. И он чувствовал себя глубоко и несправедливо обиженным словами Кружилина, всем этим вечером, всеми этими людьми — Кружилиным, Антоном, Иваном. Даже собственной женой.

«Чужой я им всем, чужой», — думал он.

* * *

Федор рос мальчишкой тихим, пугливым, неповоротливым. Старший из сыновей вечного михайловского недоимщика Силантия Савельева, Антон, парнишка бесшабашный, непослушный и хулиганистый, откровенно презирал Федьку, часто поколачивал и вообще вроде и не считал за брата. И уж никогда не упускал случая поиздеваться — то спящему Федьке лицо разрисует угольком под черта, то сунет в ботинок сухой, ощетинившийся острыми, закостеневшими иголками шарик семян белены, то во время купанья в Громотухе намочит и туго-натуго завяжет обе штанины Федькиных брючишек.

Когда Федька прибегал в слезах к матери, Устинья Савельева, женщина маленькая, с плоской, иссохшей грудью и большими, раздавленными вечной работой руками, хватала прут, скалку или сковородник.

— Ах, он, разъязви его напоперек! Чтоб его, неслуха, кикимор задавил на рассвете! — И бежала разыскивать Антона.

Если Антон в такие минуты попадался ей под руку, Устинья не жалея хлестала старшего сына. От ударов он не уворачивался, только пытался поймать прут или сковородник да говорил:

— Он же, тюха-матюха, на ходу спит. У него же мухи во рту плодятся. Тележного скрипу — и того боится... Вырастет с него мешок с г...

— Ироды! Навязались на меня, чтоб вас в один день посередке скрутило! — чуть не плача, выкрикивала мать, потихоньку остывая.— Сам-то в кого вырастешь? Тебе в школу надо было ишо хоть с год походить, когда ишо дыхали мы мало-мало, а ты баклуши взялся бить. Извел, совсем извел мальчонку. Ты ведь на пять годов старше его... Вот погоди, отправим тебя в город-то Миколаевск — почешешься! Тамока не у батьки с маткой за пазухой. Там дядька Митрофан тебя обтешет. Али головешку свою пустую сломишь там, али за ум возьмешься, балбес проклятый...

Однажды осенью, когда березы были облиты уже желтым пламенем, Антон сказал Федьке:

— Хошь, тюха-матюха, фокус покажу? В Змеиное ущелье слазаю и живьем вернусь.

— Ври поболе! — презрительно усмехнулся Федор.— Гадюки-то там...

— А ну, пойдем...— И потащил младшего брата к Звенигоре.

Ущелье, про которое говорил Антон, было самым глухим и зловещим местом на Звенигоре. Это скорее было не ущелье, а небольшой и неглубокий распадок, густо заросший черемухой, боярышником, калинником, малиной, дикими яблоньками. Он начинался у южного подножия Звенигоры и тянулся в глубь каменных теснин, чуть повышаясь, километра на полтора.

Этот распадок и называли Змеиным ущельем, потому что там действительно в несметном количестве водились гадюки. Чем их привлекало зто место — неизвестно. То ли зарослями малины и прочей ягоды, то ли сыростью — где-то в верховьях бил ключ, и, стекая вниз, он сочился между камней и высоченными, в рост человека, травами до самой Громотухи, которая с юга огибала Звенигору. Змеи целыми

клубками висели на деревьях, свившись кольцами, грелись в солнечные дни на камнях. Но солнечных дней здесь было мало, потому что по дну распадка, облизывая камни и деревья, вечно ползали густые и едкие туманы.

Весной ущелье полыхало, как радуга. Там зацветали и черемуха, и яблони, меж камней, где посуше, пробивались поздние белые и фиолетовые подснежники, на открытых влажных полянках сплошными, ослепляющими пятнами горели лютики — точно кто разбросал по распадку золотые пластины. Но больше всего было змеиных кореньев — красно-розовых, бесстыдно ярких цветов с большими раздвоенными лепестками. Они цвели недолго, но буйно, усыпая потом камни, травы, мокрое дно распадка опавшими лепестками. Говорили еще, что именно запах этих цветов привлекает в ущелье змей со всей горы, что они жрут эти опавшие лепестки, именно опавшие, потому что к этому времени и накапливается якобы в побледневших цветочных лоскутьях тот самый смертельный яд, которым страшны эти твари.

В Змеином ущелье царила вечная тишина. Птицы сюда никогда не залетали, ветер и тот редко-редко продувал сырую каменную дыру.

Осенью, когда змеи расползались по норам и каменным расселинам, уходили в спячку, в ущелье было совершенно безопасно. Люди это понимали, наверное, но уж настолько место было зловещее, что редко-редко кто осмеливался заглянуть туда на часок, обобрать куст боярышника или наломать пук калины. Но дальше, чем саженей на полсотни, заходить вглубь все ра́вно не решались. Кроме того, ягоды, собранные в Змеином ущелье, считались не то чтобы ядовитыми — погаными, что ли.

Одним из первых, кто обнаружил и убедился, что осенью ущелье безопасно, был, пожалуй, Антон. Он года три или четыре подряд приносил оттуда целые ведра крупной, сладкой ягоды — боярки, полные мешки пламенной калины или пронзительно кислых яблок-дичков.

— Откуда? — удивлялась Устинья.— Где натокался-то?

— Там, в лесу,— неопределенно отмахивался Антон.

— Не с ущелья ли Змеиного? — подозрительно спрашивал отец.— Гляди — погань там одна растет.

— Да ты чо, батя?! — обижался Антон.— Не понимаю разве, что там поганое место!

Из яблок-дичков варили вкусный квас, из боярки и калины пекли пироги, ели, хвалили.

— Ну разве погань это? — говорил Антон.— Вкуснота одна.

...Когда братья подошли к Звенигоре, Федька остался внизу, на берегу Громотухи, а Антон зашагал в распадок.

— Дак ты постоишь где-нибудь близко, за кустом,— и обратно,— сообразил Федька.

— А ты гляди — я во-он с той скалы, которая как огурец торчит, тебе свистну и помахаю.

Скала, на которую показал Антон, была далеко, в самой глубине ущелья. Действительно, вскоре Федька услышал свист и увидел Антона на скале.

Все это очень удивило и поразило Федьку.

— А ты, Антон, как это?! — озадаченно спрашивал он по дороге домой.— Не боишься змей-то как?

— А они сами меня боятся.

— Почему?

— Потому что я не тюха-матюха.

— Все обзываешься,— обиделся Федька.

Несколько дней он ходил молчаливый, что-то обдумывая. Потом вдруг сказал:

— Знаешь что? Я тоже не побоюсь... в ущелье-то.

— Скажи другому кому! Полные штаны накладешь!

— Я? Я?! — гневно крикнул Федька.— Гад ты такой! Еще надсмехаешься... Пойдем тогда!

И они опять пошли к Звенигоре. Но теперь, к удивлению Антона, Федька смело шагнул в ущелье. Шел и шел не оборачиваясь, перепрыгивая через камни, продираясь сквозь кусты, хлюпая сапогами по раскисшему дну. Только голову чуть втянул в плечи. И дошел до самой скалы, с которой в тот раз свистел Антон.

— Вот...— сказал он, останавливаясь. Лоб его был горячий и мокрый.— А то тюха да матюха я, тюха да матюха...— И мальчишка всхлипнул.

— Я больше не буду, Федь... Молодец ты.

Но Федька вдруг сел на обломок скалы и разрыдался. Видимо, удерживаемый страх, пересиленный упрямством, теперь выходил слезами.

— Вот еще мне! — нахмурился Антон.— Перестань! Кому сказано! Сыть... И я тебе еще что-то покажу.

— А что? — поднял мокрое от слез лицо Федька.

— А вот сейчас... Иди сюда, за мной...

Вершина скалы была круглой и острой, а основание — квадратной формы, с уступами. Прямо из-под камней густо росла жимолость, обсыпанная небольшими красными плодами. Все в округе называли их волчьими ягодами. Они были горькими и ядовитыми.

В одном месте среди жимолости рос старый и крупный куст боярышника с иголками длиною в палец. Антон нырнул под него, прыгнул на уступ, а потом на следующий.

— Давай сюда. Только об иголки не наколись.

Федька забрался вслед за Антоном на три-четыре уступа, оказался под нависшей козырьком каменной глыбой. Теперь уступы, как ступеньки, пошли вниз, а с боков сужались каменные стены. Но вдруг они расступились, и Федька оказался в черной пустоте. Под ногами был все тот же камень, но Федька, услышав, что екнуло сердце, остановился. Ему почудилось, что сделай он еще шаг — и загремит, как в колодец, в бездонную черноту.

— Кто-то заше-ол в мою-у кварте-еру-у...— услышал он жуткий и протяжный голос, и опять у него зашлось в груди. Хотелось кинуться назад, на воздух, к свету. Но громадным усилием воли и упрямства он удержался.

— Ты, Антоха, не пугай меня, понятно? — хрипло сказал он.— Где ты?

Мигнул рядом огонек — Антон чиркнул спичкой,— и Федька увидел просторную пещеру, темный и мрачный каменный мешок.

...Потом, выйдя из пещеры, они лежали на замшелой плите, грелись под слабеньким уже солнцем.

— Как ты ее нашел, эту пещеру-то? — спросил Федька.— Снизу ее совсем не видать.

— Так, лазил-лазил да нашел. Здоровенная?

— Жутко в ней.

— А ты скажи мне — змей-то боялся, когда сюда шел?

— Ага...— помедлив, ответил Федька.— Сильно боялся. Снизу-то ничего, думаю, я в сапогах. А ну как с куста какая сорвется? Да за шиворот прямо...

— И все-таки шел?

— А как же... Чтоб ты не смеялся, паразит такой... Пущай, думаю, лучше укусит...

Антон засмеялся и сказал, как недавно:

— Молодец, Федьша... Так и надо в жизни — ничего не бояться. А теперь я тебе секрет открою: нету сейчас тут змей.

— Как нету? Куда они подевались?!

— Они в этом ущелье рано в спячку ложатся. Раньше, чем в лесу.

— Интересно,— протянул Федька.— И никто в деревне не знает?

— Знают, наверное. Да все равно боятся сюда ходить по привычке. Такое место...

— Интересно...— еще раз вымолвил Федька.— Н-ну, я как-нибудь попытаю тут Ваньку с Кирькой... Пущай только подрастут у меня. Я их огорошу... как ты меня.

— Только запомни, Федор,— серьезно сказал Антон,—пока березы сплошь не пожелтеют, чтоб сюда носа не совать. Смерть это сразу. Обязательно покусают гадюки. Ты понял?

— Не глупый. Пока березы не пожелтеют...

— Вот-вот... А сейчас пойдем, я покажу, как змеи на зиму засыпают. Тут они в такие клубки свиваются — двое мужиков, однако, не поднимут. Айда, вырежем только по палке...

А через неделю после этого и приехал в Михайловку тот дядька Митрофан, о котором часто говорила мать. Обнявшись с родителями, он сурово поглядел на Федьку, на четырехлетнего Ваньку и высыпал им на колени по куче пряников и даже конфет в бумажках — точь-в-точь какие часто сосала неряшливая и сопливая дочка деревенского лавочника Кафтанова Анька, вызывая всеобщую зависть. Ей тоже было, как и Ваньке, года четыре. Как-то она дала одну конфетку Федьке, и он долго помнил ее вкус. Потом Федька часто умышленно попадался на глаза девчонке, смотрел, глотая слюни, как она сосала свои конфеты. Но Анька не замечала этих взглядов.

Перебирая неожиданно привалившее богатство, пересыпая конфеты из ладони в ладонь, Федор думал о дочке лавочника: «И пусть не дает теперь, у меня у самого их вон сколько... Я сам ей сегодня целую горсть высыплю — на, мол, ешь, не такой жадный, как ты...»

Дядя Митрофан пожил в Михайловке несколько дней и уехал, увез с собой четырнадцатилетнего Антона, взамен оставив две или три ловко сколоченные табуретки. Федька не жалел об отъезде старшего брата. Когда сильная рыжая лошадь потащила из деревни телегу, на которой сидел испуганный немного Антон и глядел на отца, на мать и на него, Федьку, будто просил у него прощения за все те злые штучки, которые устраивал над ним, Федор проговорил, правда без злости:

— Так ему и надо, гаду белобрысому.

— Цыть ты, щенок! — прикрикнул отец.— Без тя тошно.

Отца Федька побаивался. Длинный, с костлявыми локтями, с вечно запутанной седой бороденкой, отец всегда был хмур, сердит. Он редко бывал дома, месяцами пропадал на пашнях того же Анькиного отца.

Когда телега скрылась за околицей, отец и мать ушли в дом, а Ванька, до половины засунув палец в ноздрю, спросил:

— Рази он гад, Антоха-то? А, Федь?

— А ты как думал? Кто мне штаны всегда мокрым узлом завязывал? И все другое?

— А-а...— И, подумав, Ванька заключил: — Не-е, он хороший.

К тому времени, как уехали дядя с Антоном, пряников у Федьки уже не было, да и конфет осталось с дюжину. Он их пересчитал, подумал и решил: «Ладно, Аньке дам штуки три — и будет с нее». На следующий день: «Три-то жирно ей будет. Одной хватит». А еще на следующий: «А что ей давать? И без того обожралась, вон их сколько в ихней лавке. Пузо-то вечно тугое от конфеток. Отчего же еще может быть таким тугим?» И положил последнюю конфетку в рот.

Антон уехал — и будто в воду канул, не было о нем ни слуху ни духу долго, лет шесть. Только один раз за это время, года, кажется, через два после его отъезда, Федор и услышал имя старшего брата. Дело было так. Однажды вечером мать сказала Федору:

— Темняется уж, где Ванька запропастился? Сбегай к Инютиным, к имя он, должно, ушел. У Кирюшки-то отец с войны пришел, по пьянке прижулькнут ишо ребятенка.

О том, что где-то не то идет, не то уже кончилась война с каким-то японцем, Федор слышал от взрослых. И что на войну взяли отца Кирюшки, Демьяна, он тоже знал. Но что дядька Демьян вернулся с войны, еще не слыхал, потому что весь день, с утра, пропадал на Громотухе. Была ранняя весна 1906 года, день стоял ветреный, Федор на рыбалке продрог, но, ни слова не говоря, поплелся на другой конец деревни, где стояла избушка Инютиных с двумя тусклыми окошками.

У Инютиных действительно пьянствовали. Избушка была набита битком, низкий потолок облизывали языки табачного дыма. Сам Демьян, распаренный, косматый, сидел у края стола, рядом с ним стояли костыли. Войдя, Федька с удивлением и страхом уставился на единственную ногу Демьяна — вместо другой торчал обрубок.

— ...Так что — воевали! — пьяно рассказывал о чем-то Демьян, размахивая руками.— Он, японец, хитрый. Опять же шимозы эти у него... Ну, и мы, конечно, не дураки.— Он наклонился к Силантию (тут только Федька заметил своего отца) и, понизив голос, почти шепотом, проговорил: — Сказать по секрету, этих, соцалистов, среди солдат много.

— Соцалистов? — переспросил Силантий, тоже пьяненький, потный.

— Ага... И пропаганды всякие пущают. Дескать, не воюйте сильно, пусть царь-батюшка поражение потерпит...

Демьян замолк, обвел всех построжевшим взглядом.

— Ну и слушают, которые подурее. А я — не-ет. У меня вот он, крест! За храбрость даденый.— И выпятил грудь, на которой под неярким светом керосиновой лампешки тускло блеснул желтоватый Георгиевский крест.

Ванька с сыном одноногого Демьяна Кирюшкой сидели у порога, макали в блюдце с медом куски хлеба. Кирюшка был одних примерно лет с Иваном, измазанные медом щеки его блестели, быстрые глазенки тоже поблескивали радостно и возбужденно.

— Ага, крест это... настоящий,— пролепетал он и затеребил Федора за рукав: — Ты хошь если меду, бери вон корку. Тятька мед-то принес...

Федор тотчас взял кусок, ткнул в блюдце.

— А кто они такие, Демьян, соцалисты-то эти? — спросил Силантий.

— А навроде твоего брательника Митрофана.

— Че... Чего-о?! — Глаза Силантия стали круглыми.

— А ты не знал? Не знал?! — враждебно закричал Демьян, взмахнул рукой, задел свои костыли. Они с грохотом упали на грязный, затоптанный пол. Демьян хотел их поднять, нагнулся. Но потом передумал будто; выпрямился, положил руки на стол и заплакал навзрыд, горько и обиженно.

— Ты че, Демьян? Демьян...— дотронулся до него Силантий.

— Не знал?! — опять закричал громко Демьян, рывком поднимая голову.— Про братца своего? Про сына Антошку?

— Да ей-богу... Письмов нету.

— Письмов? Ну, я тебе без письмов расскажу. Я в Новониколаевском лазарете год, почитай, лежал, все эту ногу мне отрезали да залечивали. Прошлогод осенью они, соцалисты николаевские, и зачали народ баламутить. Митрофан этот, брательник твой. И сынишка твой Антон заодно с имя.

— Антошка?! — воскликнул Силантий.

— Ишь, гады, чего зачали! Мы там под шимозы клались, за Расею, за царя-кормильца жизнев не жалели! Вот нога-то — где она? Куды я теперь без ноги-то?! А они там ишь чего! Наперекор власти начали народ подымать...

— Не болтай ты, чего не знаешь! — подал голос с другого края стола деревенский староста Панкрат Назаров, мужичок лет около тридцати, высокорослый, грудастый, с курчавой бородкой и крепкой шеей, тоже засыпанной кольцами волос.

— То есть как я не знаю?

— А так... Нам неведомо, что это за соцалисты такие, с чем их едят,— сказал Назаров.— Я только знаю, что Митрофан мужик порядочный. Мастеровой.

— Порядочный? А за что же тогда их в тюрьму засадили? — пьяно выкрикивал Демьян.— И Митрофана, и Антоху, сына твоего,— крутнул он мокрое лицо в сторону Силантия.

— И Антоху? — переспросил упавшим голосом Силантий.— Постой, постой, за что парнишку-то в тюрьму? Как это могёт быть, чтоб парнишку?

Но тут Силантий увидел сыновей, нахмурился.

— А вы чего тут? Ну-ка, домой!

Придя домой, Федор бухнул с порога захлебнувшимся голосом:

— Мам, Антона-то... в тюрьму посадили!

Мать так и задохнулась возле печки, где возилась с чугунами.

— Как?.. За что? Ты чего, страмец, мелешь?!

— Не знаю...— испуганно вымолвил Федька, только теперь действительно испугавшись.

...Отец вернулся от Инютиных поздно, долго ходил по комнатушке, о чем-то раздумывая, теребя всклокоченную бороду.

— Чего, чего там с Антошкой-то? — несколько раз спрашивала мать.— Ты почто молчишь-то? Господи...

— Чего, чего... А я знаю — чего? В тюрьму, грит Инютин...

Лежа под рваным тулупишком, Федор представлял себе эту самую тюрьму в виде огромной завозни лавочника Кафтанова, сложенной из толстых почерневших бревен, с окованной железом дверью. Разница была лишь та, что на дверях висело побольше замков да еще стоял тюремщик с плетью.

Федор немного послушал, как шептались отец с матерью, хотя слова разобрать было невозможно. Мать временами всхлипывала, подвывала.

— Ну, ты — сыть! — беззлобно говорил вслух отец, вздыхал и ворочался. Деревянная кровать под ним тяжко скрипела.

Потом Федор уснул. Спал он в ту ночь, как всегда, крепко, без сновидений...

* * *

«Чужой я им всем. Чужой...— наверное, в десятый раз подумал Федор, глядя на темные окна Инютиных.— Для Анфиски только и не чужой...»

Федор подумал опять, что Анна вот постарела, а Анфису время и не касается будто. И десять, и двадцать лет назад она была такой же молодой и свежей. Она была всегда очень удобной для него. И сейчас, если Федор стукнет тихонько в окно, чуткая Анфиса тотчас проснется, послушно пойдет с ним куда угодно и потом, уткнув красивое лицо в его волосатую грудь, будет спокойно и безмятежно спать, сладко почмокивая во сне влажными губами. Чудно и непонятно иногда: чья она все-таки жена — его, Федора, или Кирьяна? И еще непонятно: как она ухитрилась двух своих детей родить именно от Кирьяна?

— А может, мой это ребенок? — дважды спрашивал у нее Федор, когда родилась Верка, а потом Колька.

— Не-ет, этого никак мне нельзя. Он, Кирьян, мой муж, его и детей я должна родить,— дважды ответила Анфиса.

И действительно, чем больше подрастали ее дети, тем отчетливее проступали у обоих черты Кирьяна.

Край неба стал светлеть, начали обрисовываться во мраке крыши домов. А Федор все сидел и сидел у стены своего дома, сам не зная, не понимая, зачем и почему он просидел здесь всю ночь.

«Сейчас Анна встанет, корову надо доить»,— равнодушно подумал Федор, прислушиваясь, не донесется ли какой звук из дома. И в самом деле, услышал, как скрипнула дверь.

Анна вышла во двор минуты через три и пошла с ведром через огород к Громотушке. Она сразу же, едва вышла, увидела Федора на скамейке у стены, но ничего не сказала, только глянула на него и пошла к ручью. Федор скорее догадался, чем увидел, что лицо у нее заплаканное.

Когда она возвращалась, Федор вымолвил:

— Подойди.

Анна поставила ведро с водой на землю, пошла было к скамейке, но остановилась шагах в пяти.

— А ты сядь рядом.

Анна помедлила, но потом села, немигающими глазами смотрела на темные окна Инютиных.

— Ты, однако, думаешь, что я у Анфиски ночевал?

Анна ничего не ответила.

— Нет, я тут вот всю ночь просидел. Я к Анфиске теперь или никогда не пойду, или уйду насовсем. Вот так, значит, только. Как решу, так и будет.

— Ну, и как решишь-то?

В тихом голосе Анны почудилась Федору насмешка.

— Не знаю,— раздраженно сказал он.

Осеннее утро занималось медленно, с большим трудом. Солнце было еще где-то далеко, за краем земли, его лучи не касались ее, да и не коснутся, видимо, сегодня, потому что земля наглухо закрыта толстым слоем грязных облаков.

— Вот так, Анна,— сказал Федор и поднялся.— А сейчас в поле я поехал.

Ни слова больше не прибавив, он вышел на улицу. Калитка жалобно скрипнула за ним. Этот скрип резанул Анну по сердцу, губы дрогнули, и она почувствовала, как по щекам, обжигая их, покатились тяжелые слезы.

— Ох, долюшка ты женская, горькая...— услышала она голос своей квартирантки Марьи Фирсовны.

Та подошла и села на скамеечку. Анна, не в силах сдержаться, тяжко всхлипнула и повалилась к ней на плечо. Платок сполз с ее головы.

— Ну, ну,— погладила ее Марья Фирсовна по теплым волосам.— Я вот гляжу — изводишься ты без меры. Всю ночь проплакала, я слышала... Тяжко тебе?

— Так тяжко, так тяжко, если бы кто знал! — сквозь слезы проговорила Анна.— Вот зачем только нарождается человек? На муки, да?

— Вишь тут какое дело-то,— задумчиво произнесла Марья Фирсовна.— Не было бы муки, не было бы и счастья. Не понимали бы тогда его...

— Да где оно, счастье? Али хотя бы простая радость? Какова она на вкус-то?

— Ну, это уж ты врешь, девонька,— сурово произнесла Марья Фирсовна.— Было оно у тебя когда-то в жизни. У каждого человека бывает. Не может не бывать, хотя бы маленько.

Анна поднялась, поправила платок, вздохнула.

— Не знаю. Может, было. Только совсем-совсем маленько. И давно. Так давно и так маленько, что будто и не было. Забылось уже все.

— Где же забылось, раз страдаешь об нем? Не забылось.

Прошла ночь — мертвая, глухая. Еще час назад казалось, что ночь никогда не кончится, что вот так и будет вечной чернотой лежать на земле, придавив этой нескончаемой теменью все звуки, всю жизнь. Но вот просочился рассвет, пока еще бледноватый и скучный,— и быстро начали вспыхивать окна в домах, задымились трубы.

Мигнув, осветилось окошко и у Инютиных. И опять, как несколько часов назад, мелькнула за стеклом тень, четко обозначилась женская фигура.

— Он что, Федор твой, полюбовницу завел? — откровенно спросила Марья Фирсовна. Анна вздрогнула.— Я все вижу ведь. Не маленькая.

— Она всю жизнь у него. Вон,— кивнула Анна на мелькавшую в окне тень.

— И что она, лучше тебя?

— Не знаю. Что ты пытку устраиваешь? — почти с ненавистью крикнула Анна.

— Ну, как не знаешь! Думала, поди, об этом,— будто не слыша голоса Анны, не понимая ее состояния, сказала Марья Фирсовна.— Все мы ведь думаем об этом. Я вот до сих пор помню, влюбилась еще девчонкой в одного. Так влюбилась, дура, света белого не вижу. Так и не поняла толком, когда и как он из меня бабу сделал. А потом и бросил, за другой начал ухлестывать. Господи, сколько я слез пролила! Перед зеркалом часами голая стояла, все сравнивала себя с той. Подгляжу, когда она купается, потом сравниваю,— нет, думаю, и ноги у меня стройней, и груди покрепше, и лицо помиловиднее. И опять реветь от обиды. Вот так.

И странно — чем дольше говорила Марья Фирсовна, тем больше успокаивалась Анна. Подкупала, что ли, эта предельная женская откровенность?

— Не знаю я, Марья Фирсовна,— вздохнула Анна.— Когда-то я была, однако, лучше Анфиски. Красивше, это точно. И телом крепче. Сейчас-то, конечно... Высохла я. Он высушил.

— Значит, никудышный он человечишка,— произнесла Марья Фирсовна задумчиво.

— Тебе откуда знать — кудышный или никудышный? — с неожиданной обидой за Федора произнесла Анна.

— Я знаю: никудышный,— еще раз подтвердила Марья Фирсовна убежденно. И, помолчав, продолжала:— Люди-то — они ведь разные бывают. Вот я после того замуж вышла. Так, без любви, лишь бы грех прикрыть. Ну, отвели свадьбу, спать легли. Сама думаю: ежели попрекнет меня, в окошко выпрыгну в одной нижней рубашонке, убегу, а погонится — зубами буду отбиваться. А что догонять станет, знала, любил он меня. Ну а он, знаешь, лежит и смотрит в потолок. Лежит и смотрит. И я лежу ни живая ни мертвая. Я-то, дура, чего угодно ожидала, только не такой пытки. Потом он вздохнул и говорит: «Обидно мне, конечно, Маришка. Но то все до меня было, и не я тебе судья. А при мне случится — я судить буду». И все. И с тех пор ни слова об этом. Второй десяток живем — и ни слова.

Марья Фирсовна замолчала.

— Ну а ты? — осторожно спросила Анна.

— А я что? Я — счастливая. Я никогда, даже в мыслях, не изменяла моему Герасиму. И режь вот меня сейчас — ничего такого не позволю. А почему? Что

доселе тот его вздох помню? Помню, конечно. Но главная стать в другом. Хороший он человек. Мне тогда лучше ножик в сердце, чем в его глаза глянуть.

— Полюбила, значит, ты его? — осторожно спросила Анна.

— Ага, полюбила. Не сразу как-то, он ведь у меня невидный из себя, низкорослый, но зато без остатка полюбила.

Марья Фирсовна поправила юбку на коленях, вздохнула.

— Где он только сейчас, мой Герасим? С первого дня воюет. Прямо через полдня после начала войны его и забрали. А нас потом вот сюда эвакуировали, он и не знает, где мы... Ну, да живой останется — разыщем друг друга. А сгинет где — не знаю, как я... Не переживу я тогда, исчахну, должно.

Марья Фирсовна говорила негромко, голос ее подрагивал. И было в этом голосе столько искренности и тоски, что Анна верила — исчахнет эта женщина, если не вернется с войны ее Герасим.

— Хорошая, должно быть, ты, Марья...

Марья Фирсовна поглядела на Анну пристально. И Анна впервые как-то заметила, что глаза у нее добрые, теплые, светится в их глубине таинственный и зовущий куда-то огонек. И поняла, за что полюбил и любит до сих пор ее «невидный из себя» Герасим.

— Да что ты, какая я хорошая,— смутилась Марья Фирсовна.— Просто — баба. Вот Герасим у меня хороший, говорю. Ну, а об том, первом, и думать забыла.

Было уже совсем светло, по улице шли люди, с удивлением поглядывая на двух немолодых уже женщин, сидящих за оградкой на скамеечке возле стены. Анна, задумавшись, смотрела куда-то в одну точку.

— Тебе, Марья, в одном повезло: тот, первый, сразу объявился, что он никудышный. Ты молодая была, бездетная. А я вот как? И вообще... к чему ты все это мне рассказала? Растравить захотела?!

Последние слова Анна выкрикнула вдруг враждебно, лицо ее зло задергалось, сделалось некрасивым.

— Ну, ну...— успокаивающе произнесла Марья Фирсовна.— Не надо так... Что толку-то? Я рассказала вот, а ты прости. Я и сама не знаю зачем... Но и так жить тебе — что толку? Вот, опять слезы. Как их много у нас, у баб! Вытри.

Анна послушно вытерла пальцами красные щеки.

— Что же мне, в самом деле, расходиться с ним?

— Кто тебе может посоветовать? Сама думай, Аннушка, как лучше. Сегодня, слышала, всю ночь Семен ворочался, не спал. Видел, какая ты с гостей прибежала, вот и не спал. Те, младшие, Андрей с Димкой, еще ничего не понимают, а этот мужик уж, все примечает. Тоже ведь думать надо, каково и детям, во что вырастут, глядя на такую вашу жизнь. И опять же — каково им будет, если разойдетесь? Тут все надо обдумать на сто рядов, прежде чем решиться, когда детям больше пользы будет. Мать на то и мать, чтоб о детях прежде всего заботиться.

— Да на себя-то мне уж теперь и наплевать.

— Совсем-то плевать тоже погодить надо. Еще не старуха, еще и счастье может отыскать тебя. Родить еще можешь.

Анна медленно подняла глаза, долго и внимательно глядела на Марью Фирсовну, хотела сказать: «Не понимаю я тебя, Марья. Чего ж ты все-таки мне советуешь?» Но спросила о другом:

— Неужели ... может отыскать?

— Жизнь — она неожиданная.

— Нет, не отыщет...

— Ну, зачем так зазря говорить? Хороших людей тоже много на земле.

— Не-ет,— мотнула головой Анна.— Может, и много, да только не найдут они меня. И... не имею, видно, права я на это.

— Это почто же?

— Жизнь моя перепутанная. Вся изломанная. Я ведь дочь кулака... А брат мой родной — вор, бандит настоящий, всю жизнь по тюрьмам провел. Недавно тут объявился... Слышала ведь, поди, разговоры про Макара Кафтанова, которого милиция недавно забрала?

Марья Фирсовна приподняла голову. В глазах ее, окаймленных неглубокими морщинками, дрогнул, встрепенулся тот самый таинственный огонек и опять стал гореть ровно.

— Моя девичья-то фамилия Кафтанова. Но я партизанила в гражданскую войну вместе с Федором... А потом... потом...

Снова из воспаленных глаз Анны хлынули слезы. Она прислонилась к плечу Марьи Фирсовны и, чувствуя, что та не отстраняется, испытывая благодарность к ней, бессвязно заговорила сквозь рыдания:

— Если бы ты знала, как мне было слушать твой рассказ об Герасиме! И у меня, может, был такой же, как твой Герасим... Был, да мимо прошел... Потому что сама его оттолкнула. А он тоже прощал, что меня бабой до поры сделали. Не Федор сделал... другой. Об нем... об этом я никому не могу сказать, никому. Господи, почему я не удавилась тогда?! Никакой бы муки сейчас не испытывала.

— Тихо, тихо, Анна... Чего ты, ей-богу! Люди вон глядят, пойдем отсюда,— вставая, проговорила Марья Фирсовна.— Не можешь — и не надо рассказывать. У человека бывает такое, что должно с ним в могилу уйти. Это бывает... Ну, вставай.

Анна тяжело поднялась, концом платка вытерла глаза и губы.

— Прости меня, Марья, расквасилась я,— сказала она неожиданно сухим и спокойным голосом.— Мне жить тяжко не от Федора только. А от всего. И что я дочь кулака, и что брат у меня такой...— Она взяла ведро с водой, пошла, но у дверей остановилась и проговорила: — А об этом, который мне прощал все, который на Герасима твоего похож, я могу тебе сказать. Иван это, его, Федора, брат...

— Иван?! Этот, что из тюрьмы пришел?! — изумленно воскликнула Марья Фирсовна.

— Он, — подтвердила Анна, смахивая со щек последние слезинки.— Только ты не думай, что он на брата моего Макара похож. Он на Герасима твоего похож. Да только поздно это поняла я. Оттого-то, может, и судьба у него такая горемычная.

* * *

До полевого стана Федор добрался, наверное, часам к двенадцати дня, потому что на элеваторе долго не было попутных машин. Голодный и оттого еще более сердитый, он издали оглядел неподвижно и тоскливо стоявший посреди пустынного поля свой комбайн, черневший возле него трактор Кирьяна Инютина и ударом ноги распахнул дверь полевого вагончика.

— Дрыхнете?! — загремел он, входя, со злости пнул какое-то ведерко, запутавшееся в ногах.— А ну, вставайте, мигом чтоб! Кирьян, где ты? И пожрать чего мне, живо!

И тут только заметил, что нары, на которых спали обычно Кирьян и копнильщики, пусты.

— Эт-то еще что за номер? Эй, кто тут есть?

Из-за занавески вышла заспанная и растрепанная Тонька-повариха, не по годам располневшая деваха, которую звали все Тонька-нетронька, потому что она, равнодушная к сальным шуточкам мужиков, не обращавшая внимания на их недвусмысленные намеки, скалкой провожала всякого, кто шутки ли ради или питая какие-то надежды совался к ней за занавеску.

— Чего орешь? — спросила она.— Вон там хлеб, молоко. Кусок сала возьми. Горячего не варила — не для кого.

— Как не для кого? Где Кирьян? Возле трактора, что ли?

— В Шантару уехал. Домой, стало быть. Вчера еще ночью, вслед почти за тобой,— лениво сообщила Тонька.

— Как в Шантару? Как домой?

— А так. Плюнул да уехал.

— Как это плюнул? — выходя из себя, закричал Федор.

— Как, как... «Не хочу, говорит, больше ни одной минуты с Федькой вместях работать». Обматерился и уехал. Как только глотки вам, матерщинникам, не заложит...

И, зевнув, пошла к себе за занавеску. Уже оттуда она продолжала, укладываясь на скрипучий топчан:

— Еще Кирьян сказал: пусть, грит, Федька себе тракториста другого в МТС просит. Ну и копнильщики ушли — в бане, грят, хоть помыться. А я одна тут с волками. Как чуют вроде, паразиты, что одна тут ночь была, без мужиков, к самому вагону подходили. Ступай к Назарову и скажи, что, ежели к ночи мужики не приедут, я тоже уйду вечером в деревню. Боязно мне одной тут.

Не дослушав повариху, забыв про свой голод, Федор выскочил из вагончика и крупно зашагал в Михайловку.

Там он с ходу насел на председателя, увидев его возле амбара:

— Это что за фокусы происходят?! Ты, председатель, куда смотришь? Что это Кирьян тут мне выкидывает?

— А я откуда знаю, что Кирьян тебе выкидывает? — негромко произнес Назаров, остужая пыл Савельева.— Чего на меня расшумелся? Вы с Кирьяном не мне, а эмтээсовскому начальству подчиняетесь.

Федор только сейчас подумал, что Назаров тут действительно ни при чем, чуть поостыл.

Возле амбара толпились несколько мужиков и баб с литовками и граблями. Подъехала бричка. Старик кладовщик вынес из амбара полмешка муки, две огромные свежеиспеченные булки, все это уложил в бричку.

— Езжайте,— сказал Назаров.— Мимо картошки поедете — наберете сколь надо. Да бурт не забудьте обратно прикрыть. Мясо у Тоньки на сегодня есть, а завтра скажу, чтоб еще подвезли...

— Это что же,— сообразил наконец Федор,—ту полосу косить?

— А ждать прикажешь, покуда вы фокусы с Кирюшкой перестанете делать? Чтоб под снег пшеница ушла?

— Так я же с твоего согласия уехал. Да и то на ночь.

— А Кирьян без моего. И на день. А небо, гляди, совсем затяжелело.

Федор плюнул и побежал к конторе. Там он, громко сопя и отдуваясь, яростно закрутил телефонную ручку.

— Але, станция?.. МТС мне! Директора, живо...

Как на грех, ни директора, ни главного инженера на месте не было. Другие работники ничего вразумительного по поводу Инютина сказать не могли. Они только сообщили, что в МТС Инютин не появлялся.

Пулей вылетев из конторы, Федор в бессильной ярости завертелся у крыльца. Окажись Инютин чудом тут сейчас, долго пришлось бы ему прикладывать потом к разным местам примочки.

Выматерившись, Федор побежал за деревню, на ближайший ток. Там ему сказали, что несколько подвод с хлебом ушло на элеватор час назад, посоветовали заглянуть во вторую бригаду — с ихнего тока повезут зерно в Шантару. Но бежать во вторую бригаду — только время терять. Застонав, Федор бросился к большаку. Около часу он шагал по пустынной дороге в сторону райцентра. И только возле Звенигоры его нагнала какая-то случайная подвода.

До Шантары Савельев добрался, когда неожиданно проглянувшее солнце опускалось за горизонт. Федору и тут не повезло — молчаливый старик подводчик свернул к крайнему домишку и натянул вожжи. А усадьба МТС была на другом конце деревни.

Солнце между тем уже село, улицы заволакивал синеватый вечерний мрак.

«Куда же идти — в МТС, в райком, райисполком? — лихорадочно думал Федор, шагая по проулку.— Там уж,наверное, все разошлись. Да и что там скажут? Нет, надо сперва к самому Кирьяну забежать, спросить, чего он, сопля тягучая, выкинул такое... То-то последние недели все надутый был, как индюк, все соображал будто чего... Ишь, сообразил...»

Кое-где уже светились желтовато огоньки, когда Федор, минуя свой дом, заскочил в инютинскую усадьбу. Он прыгнул на крыльцо, протопал по темным сенцам и рванул двери.

Кирьян Инютин сидел за пустым столом. Он был в нательной рубашке, в чистых, выходных штанах, но босиком. В руке он вертел деревянную ложку, чертил ею по голым доскам крашеного стола. Анфиса стояла у печки, сложив руки под грудью. Черные красивые глаза ее были задумчивы, на бледном лице разлита прежде несвойственная ей серьезность, даже тревога. Видимо, они говорили о чем-то

очень важном для них обоих, говорили давно и еще разговаривали бы долго, если бы не помешал Федор.

Все это Савельев схватил глазом и понял умом в одну секунду. Еще он заметил в ту же секунду, что его появление испугало Анфису: она чуть отшатнулась к стене, быстро поглядела направо и налево, будто выбирая, куда ей метнуться, исчезнуть. Но исчезнуть было невозможно, брови ее переломились, щеки побледнели. А сам Кирьян только перестал чертить ложкой по столу.

— Та-ак...— выдохнул Федор, стоя в дверях, шумно дыша.

Инютин бросил на стол ложку.

— Рано ты, Федор, пришел-то. Ведь я еще спать не лег.

— Кирьян?! — воскликнула Анфиса умоляюще и рухнула на колени перед мужем, уткнув голову ему в колени. Плакала она или нет, было не слышно, но, видимо, плакала, потому что плечи и спина ее колыхались. Длинные волосы Анфисы рассыпались, закрыли голые ноги Кирьяна. Он положил руку на плечо жены, чуть погладил ее.

— Будет. Встань. Не надо.

Все это — и поведение Анфисы, и жесты Кирьяна, и его слова, и нежность в голосе — было необычным и даже пугало Федора.

Анфиса поднялась, стала прибирать волосы, чуть отвернувшись и от Федора и от мужа.

— Ты что делаешь, а? — хрипло заговорил Федор.— Ты почему это... трактор оставил?! А ежели снег завтра? Ты не понимаешь, что ли, что война... военное время? Объясняй.

— Долгое вышло бы объяснение мне с тобой,— сказал не торопясь Кирьян,— да и не суметь мне. Слов не найти. А теперь — уходи отсюдова.

— Работать со мной не хочешь — не надо. Поищи другого комбайнера, с ним, может, больше заработаешь. Но два-три дня мог бы потерпеть. А там, на другое лето, и ищи. А за самовольный уход с работы спросим!

— Спросишь? А может, у тебя спросило затупилось?

— Постой, постой...— Федор поводил в воздухе усами.— Мне бы догадаться сразу, что ты в военкомат опять лыжи наладил... Ну, сняли с тебя броню? В добровольцы записали?

— Хотели, да бумаги не нашлось. Покудова погодить велели.

Федор насмешливо вздернул губой.

— Доброволец — смехота одна... Ну а пока бумаги ищут, дожинать нам ту полоску надо. На заре стукну тебе в окошко, чтоб готов был. К утру на стане надо быть. А счас прикорну пойду, со вчерашнего вечера не спамши.

— К утру-то еще много может чего произойти,— как-то загадочно и туманно ответил Кирьян и, тоже усмехнувшись, прибавил:— Стучи, если хочешь. Сейчас, говорю, рано пришел, а на заре будет в самый раз. Анфиса тебе откроет.

И, видя, что Анфиса поспешно обернулась, хотела что-то сказать, прихлопнул ладонью по столу:

— Ну!

Федор пытался сообразить, о чем говорит Кирьян, но не мог.

В избу, толкнув Савельева плечом, влетела Вера.

— Нету на вокзале его, все закоулки обшарили. Успел, должно, с каким-нибудь поездом уехать,— быстро проговорила она, разматывая платок. Потом прижала ладони к разгоревшимся на свежем воздухе щекам и замолчала.

— Что за переполох такой? — уже взявшись за дверную скобку, спросил из любопытства Федор.— Кто куда уехал?

— Да вы не знаете, что ли? — всплеснула руками Вера.— Андрейка же ваш на фронт убежал!

— Кто? — Федор даже шагнул к Вере.— Чего мелешь? Как убежал?

И, не дожидаясь ответа, ринулся за дверь.

* * *

Некоторое время в избе Инютиных стояла тишина. Потом Анфиса загремела заслонкой, стала собирать на стол.

Ужинали тоже молча.

— Колька где? — спросил у Веры отец.
— Там еще, на станции, шарится. И Димка ихний, и Семен. Может, говорят, притаился все же где. Там ведь заводских грузов горы навалены.
Еще через некоторое время Кирьян опять спросил у дочери:
— Так ты что, окончательно, что ли, за Алейникова этого замуж решилась?
Вера пролила на стол суп из ложки, но больше ничем не выдала своего состояния.
— Там видно будет,— глядя в тарелку, ответила она.
Анфиса поглядела на дочь, но ничего не сказала.
— А Семка Савельев? Побоку, что ли?
— Ты чудной, право... Я сказала — там видно будет.
— Значит, ничего не решено у вас с Яковом?
— А что может быть решено? Он в райком только заходит да молчком глядит на меня.
— Врешь. Мать говорила, провожает он тебя часто с работы.
— Где часто? Раза два всего и было. Идет — молчит, доведет до крылечка — молчит. На прощанье промямлит: «До свидания» — и скорей прочь.
— Ну а Семка знает?
— Колька ему изложил все.
— И что он?
— А ничего. Молчит. А с глазу на глаз с ним давно не виделись. Он все с утра до ночи грузы на завод со станции возит...
— Так...— Кирьян положил ложку, отодвинул тарелку.— Не знаю я, Верка, что с тебя получилось. То ли стерва первостатейная выросла, то ли еще чего похлеще.
— Сколько уж раз я от тебя это слышала,— усмехнулась Вера.— Надоело. Ничего пока с меня не выросло.
И, выйдя из-за стола, накинула пальтишко, ушла куда-то.
После ужина Анфиса молча принялась убирать со стола. Кирьян курил у дверей на голбчике. После встал, надел сапоги, верхнюю рубашку, пиджак, старую тужурку. Он собирался будто на работу. Только штаны на нем были выходные, нерабочие.
— Подай сидор,— сказал он Анфисе.
Она вытащила из-под кровати небольшой вещевой мешок. Но не подала его, уронила на пол, а сама упала на грудь мужу.
— Кирьян! Одумайся! Все хорошо у нас будет. По-другому...
— Не верю,— глухо сказал он.
— Будет, будет... Кирьян! — Запрокинув мокрое лицо, Анфиса умоляюще глядела ему в лицо.
— Да и не в этом дело... Не могу я просто больше вообще... Не хватает мне чего-то в самом себе. А чего — не знаю. Вот и поищу. А ты живи как хочешь. Дети большие, я говорил... После войны, останусь живой, приеду сюда поглядеть. На тебя и вообще... Ну, тогда все видно будет... А тебе все прощаю.
— Ты подумай, что делаешь-то? На войну убёгом, как мальчишка какой, как Андрейка?! Ну, тот малый, несмышленыш. А ведь нас-то засмеют! И тебя засмеют. Слыхано ли, чтобы пожилой мужик на войну убегал? — торопливо и сбивчиво говорила Анфиса.
— Ничего, пущай смеются.
— Да ведь счас, слыхала я, так просто не проедешь по желдороге-то? Тебя ведь с первой станции воротят...
— Поглядим еще... Я не тут, не у нас, садиться буду. Дойду до полустанка, а там прицеплюсь на товарняк... Али еще как... Андрейка подпортил мне, сейчас везде за поездами следить будут. Поглядим, в общем.
— Кирьян! Родимый! Да и так взяли бы тебя...
— Будет, сказано,— уже раздраженно произнес Кирьян, отстраняя от себя жену.— Мне ни верности, ничего от тебя не надо теперь, кроме одного... Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю не говори, где я и куда я. Вот об этом и прошу только... А чтоб не думали тут, что скрылся от войны, что сбежал, я напишу тебе потом оттуда, ежели доберусь... Чтоб, значит, не причиняли вам тут никаких притеснений. Ну, все!

Кирьян поднял вещевой мешок, ступил к двери. Анфиса все громче кричала, подвывая, все крепче цеплялась за мужа. Он пытался оторвать от себя жену, оттолкнуть, но не мог. Так, почти волоча ее за собой, он вышел в сенцы. И только там ему удалось на мгновение оттолкнуть ее. Он быстро выскочил па низкое крылечко, захлопнул за собой двери и накинул щеколду на крючок.

— Кирья-ан! — донеслось из-за дверей. Анфиса пыталась их открыть, дергала на себя.

«Верка придет со свиданий своих и откроет... Или Колька скорей воротится...» — подумал Кирьян и шагнул с крыльца.

* * *

Федор, кажется, в два прыжка достиг своего дома, отмахнул дверь.

— Ну?

Анна в рабочих сапогах и грязной фуфайке крутилась по комнате, будто помешанная. Следом за ней ходила Ганка с кружкой в руках и повторяла:

— Тетя Аня, тетя Анечка! Выпейте и лягте. Найдется он, куда он убежит? Тетя Аня...

Анна остановилась, глянула на мужа пустыми глазами. Потом медленно стала подымать руки к лицу и одновременно оседать на пол. Она упала бы, если бы Федор не подхватил ее. Он посадил жену на кровать.

— Выпейте, тетя Аня,— опять поднесла ей кружку Ганка.

Анна теперь взяла у нее кружку и выпила.

— Как это случилось? — спросил Федор.

Как случилось — этого никто не знал. Утром, как обычно, Андрейка взял свой старый, потрепанный ранец и пошел в школу. Анна с недавнего времени работала на заводе по трудовой повинности. В час дня она пришла домой пообедать и накормить ребятишек. Ни Андрейки, ни Димки дома не было. Димка учился в седьмом классе, приходил из школы иногда поздно, но Андрейка должен был уже вернуться... «Что это он сегодня?» — подумала Анна и стала собирать на стол, уверенная, что вот-вот появятся оба. Еще подождав, вышла из дома глянуть вдоль улицы — не идут ли сыновья? И точно, в конце улицы бежал вроде Димка. «А где же другой постреленок?»

Тут она заметила, что из-под крыльца торчит угол какой-то книжки. Анна нагнулась, вытащила. Это была Андрейкина арифметика. Анна пошарила под крыльцом, вытащила еще несколько учебников и тетрадей младшего сына. «Это еще что такое?!» — млея от нехорошего предчувствия, подумала она, вертя в руках книжки и тетрадки. До нее донесся голос подбегающего Димки:

— Мама, мама! Андрейка... Вот,— и протянул бумажку.

— Что? Что случилось?

Андрейкиными каракулями в бумажке было нацарапано:

«Дим, скажи Кольке, что он дурак. Зачем ходить в военкомат-то? Пусть сделает, как я. А что я на фронт поехал — мамке скажи, чтоб не волновалась. Но только дня через три. Я надеюсь, что ты не сразу, ладно? Твой брат Андрей».

— Да что это, что такое? — все еще не понимая, вымолвила Анна.

— Что? На войну убежал, паразит такой! Побоялся только, что надеяться нечего, седни же скажу,— сунул бумажку в физику. А физика у нас последний урок. Сообразил. Я учительнице сказал, а она: «Беги, говорит, скорей, скажи дома...»

И тут только до Анны дошел весь смысл Андрейкиной записки.

— Ах он змей пустоголовый! — бледнея, закричала она.— Пропадет, с голоду сдохнет... Что же делать-то, Димушка? На станцию, однако, надо,— может, он еще там болтается. А Семен, Семен-то знает?

— Навряд... Откуда ему?

— Димушка, сынок! Ты беги на станцию, там и Семку где-нибудь встретишь, скажешь... А я — в милицию... Стой, стой! — крикнула она, видя, что Димка метнулся вдоль улицы.— Голодный же, хлеба хоть возьми...

Димка заскочил в дом, схватил со стола несколько ломтей и стрелой полетел на станцию.

В милиции Анне не дали сказать и слова:

— Знаем. Из школы звонили. Приняли меры. Поставили в известность линейный отдел милиции. Не волнуйтесь, найдем. Живой ведь человек...

Из милиции Анна тоже побежала на станцию.

Остаток дня Анна, Семен, Димка, а также взявшиеся откуда-то Колька и Вера Инютины да еще долгоногая Ганка обшаривали все закоулки вокзала, проверяли все вагоны отходящих составов, ходили между грудами кирпичей, штабелями леса... Но все было бесполезно, Андрейки нигде не было.

— Пропал, пропал мальчонка! — сама не своя, шептала Анна.— Прижулькнут где-нибудь... или под колеса попадет.

— Ты, мама, иди-ка домой,— сказал Семен, когда начало темнеть.— Никуда он не денется, найдется. Ганка, Вера, отведите ее домой.

Но идти она согласилась, когда совсем стемнело.

— А вы еще с Димкой поищите... Может, он тут все же где притаился,— сказала она Семену.

— Конечно, мы еще поищем, мама...

Все это Федору сбивчиво рассказали Анна и Ганка. Он выслушал стоя, не раздеваясь, Анна во время рассказа плакала, сидя на кровати.

— Будет слезы лить,— проговорил Федор, сбрасывая тужурку.— Дай чего пожрать, со вчерашнего гостеванья крохи во рту не было. Раз ищут — найдут. Не иголка он, в самом деле. Сейчас сам сбегаю в милицию, узнаю, как там они его ищут...

И, ожидая, пока жена даст ему поесть, поставил локти на стол, уронил в ладони тяжелую голову.

Поужинав, он в самом деле пошел в милицию. Вернулся и молча начал раздеваться, стаскивать сапоги. Прошлепав босыми ногами по крашеному полу кухни, где спала теперь Анна, лег на кровать, лицом к стене.

— Чего там? — не вытерпела Анна.— Неизвестно что про Андрейку?

— Неизвестно пока. Спи давай.

Через минуту повернулся на спину, проговорил:

— Аникей Елизаров сказал, что братца твоего Макарку вскорости судить будут. Он это автолавку-то... жиганул, академик. Да и кому боле? Он да Гвоздев Ленька какой-то. Что за Гвоздев — не припомню. Да еще Витька им Кашкаров помогал. Специалист, и мальчишку подбил. Приварят теперь Макару, не мирное время...

Федор зевнул и умолк. Через полминуты он задышал глубоко и ровно.

Анна с ненавистью глядела на мужа. Ей казалось, что рот его все еще растянут в зевке, что зияет на его лице широкая черная яма...

* * *

Летом 1910 года, в жаркий июньский день, Силантий Савельев приехал с кафтановской заимки, швырнул в угол кнут и сел к столу, зажав голову руками.

— Пресвятая Мария, заступница...— перекрестилась Устинья.

— Где Федька?

— Огородишко поливает. Да ты че?

— А то, что ее, жизнь-то нашу, да в громотухинскую пролубку! Федьку требует Михаил Лукич в смотрители заимки-то...

— Охтиньки-и! — И Устинья плюхнулась на лавку.— Ить испохабят мальчонку... Пятнадцать годков всего...

— Ну! То ли испохабят, то ли с голоду подыхать... Выбирать из двух нам только...

Последние годы завязывали Савельевых все туже и туже. Началось все с возвращения в деревню Демьяна Инютина. Несколько дней он погулял, потом надвое разрезал осиновый сутунок, каждый обрезок покачал в руках, пробуя на вес, один отбросил, а другой стесал на конус, в верхнем конце сделал широкий паз, приладил сыромятные ремни с застежками.

— Вот и нога готова,— сказал он тому же Силантию, завернувшему как-то на огонек.— Осина — она ничего, легкая. А может, еще какое дерево легче есть, а?

— Кто его знает? Я не пробовал, нужды не было.

— У тебя нужда-то в тюрьме сидит,— скривив шелушившиеся от долгой пьянки губы, сказал Демьян.

— Да что ты, ей-богу? Парнишка по глупости, может...

Странные бывают превращения с людьми. Был Демьян до войны человеком робким, забитым, голь перекатная, как и Силантий. Вместе они в юности по девкам бегали, вместе ломали спину на кафтановских пашнях. Но пришел с войны георгиевским кавалером — и будто подменили человека. Как-то враз, с первого же дня, повел он себя так, будто выше стал на голову Силантия, выше других.

Впрочем, ни Силантий, никто другой еще не знали, не предполагали, какие дремавшие в нем силы и желания пробудило обладание Георгиевским крестом, какие планы строил этот человек, лежа в госпитале, на жесткой больничной койке.

— Господи, помоги ногу только сохранить! — хрипел он, мучаясь от боли.— Ведь кавалер я теперь, один на всю нашу деревню. Как же я без ноги?

Когда ногу все же отрезали до колена, он, выплакавшись с досады, обозленный на весь мир, твердил мысленно:

«Ну, погодите... погодите... погодите...»

Что означало это «погодите» — он тогда и сам не знал. Но чувствовал: в обиду теперь ни людям, ни жизни себя не даст.

Выстрогав деревяшку, Демьян на другой день протер суконкой свой крест, надел новую рубаху и заявился в дом к Кафтанову.

— А-а, кавалер...— протянул Кафтанов, красный, распаренный, дуя на блюдце.— Садись почаевничай с нами. Уважь...

Демьян кинул картузишко в угол, перекрестился на образа. Жена Кафтанова, желтая, исхудалая, редковолосая, налила ему чашку. «Ишь, все такая же тощая,— подумал Демьян.— Али болезнь ее какая грызет?»

Он выпил одну чашку и отодвинул ее, давая понять, что пришел не чаевничать, а по важному делу.

Кафтанов был мужчина крупный, раскормленный, с ноздреватыми щеками. Большой нос в частых розовых прожилках, и глаза в таких же прожилках, в густой окладистой бороде просвечивала седина.

Вытерев полотенцем мокрые губы, он насмешливо спросил:

— Так что ж, кавалер, насчет работы?

— Оно так, Михаил Лукич. Насчет службы.

— Какой ты работник с одной-то ногой? — Кафтанов поцарапал волосатую грудь.

— Оно так, Михаил Лукич. Работать мне несподручно теперь, а служить можно.

Жена Кафтанова перекрестилась и тихонько, как мышь, выскользнула за дверь.

— Ладно, Демьян. Поскольку кавалер ты, дам тебе легкую службу. Будешь на заимке у меня в Огневских ключах жить. Я, помнишь ведь, человек гулливый, бабенок люблю туда возить.

— Как же, как же... Распашный ты человек, Михайло Лукич. Известно.

— Ну вот... Будешь там жить, заимку в порядке содержать, самогонку курить. Чтоб, когда мне вожжа под хвост попадет, все там наготове было. Жеребцов пару там я держу на всякий случай — ходить за имя будешь. В общем, навроде, значит, смотрителя ставлю тебя...

И Кафтанов раскатисто захохотал, в глазах его с красными прожилками выступили слезы. Отсмеявшись, добавил:

— Самый ты удобный для этого человек. Когда перепьюсь, сударушки мои на тебя не обзарятся, должно быть...

Демьян, однако, хранил серьезность, даже неодобрительно поглядел на Кафтанова.

— Что обижаешь кавалера, бог тебе простит, Михайло Лукич. А с какого боку я удобней тебе, это ты еще и сам не знаешь.

В словах и голосе бывшего батрака было что-то необычное. Кафтанов, прищурив глаз, посверлил Инютина.

— Ну-ка, поясни.
— Выгода твоя в том, чтоб главным смотрителем меня поставить над всем твоим хозяйством.
Это было так неожиданно, что Кафтанов оторопел.
— Окроме торговли, конечно,— добавил Демьян.— Торговыми делами ты уж сам занимайся.
— Ты чего, дурак, мелешь? Как так главным?
— А навроде приказчика али управляющего. На манер как у богатых господ.
— Да у тебя мозгов-то хватит ли?
— Ничего... Дело крестьянское.
— Кхе-кхе... Гм...— Кафтанов обошел кругом Демьяна, разглядывая его так, будто впервые увидел такое чудо.— Так... Ну а воровать сильно будешь?
— Не без этого, если без утайки сказать,— глядя Кафтанову прямо в глаза, отрезал Демьян.— Дурак без выгоды живет. А я — человек. Да только на копейку сворую, на червонец прибыли принесу.
Кафтанов глядел и глядел на Демьяна во все глаза.
— Интересный ты, однако, с войны пришел. Да ведь сын у меня, Зиновий, есть, семнадцать годов уж ему. Его и хочу этим... главным управляющим ставить.
— Молодо — зелено, Михаил Лукич, говорится. Торговлей вот и пусть покуда занимается. Там ему делов хватит. А я — остальным. А ты, как и следоват, над всем вожжи держать будешь да кнутом помахивать...
И тут Демьян упал на колени, схватил руку Кафтанова.
— Верой и правдой служить буду, Михайло Лукич... Крестом своим клянусь — вернее пса буду. Увидишь и поймешь всю выгоду, ей-богу! Скоро увидишь, совсем скоро, ежели все в мои руки отдашь. У меня ништо не выскользнет. А не поглянусь тебе али разор принесу какой — пинка под зад да за ворота. Кто тебе помешает? Михайло Лукич...
На другой день Инютин распоряжался на конюшне Кафтанова, каких лошадей отряжать на пахоту, каких — за товаром в город для кафтановских лавок. Через неделю появился на пашне, прошелся из конца в конец огромного поля, глубоко увязая деревяшкой в рыхлой земле. Там, где деревяшка лезла неглубоко, останавливался, кричал:
— Эй, кто пахал? — И когда подходил какой-нибудь заветренный мужичонка, говорил, не глядя в глаза: — За ночь, значитца, перепашешь как положено. За износку хозяйского плуга и лишнюю надсадку лошадей осенью вычтем, как водится.
Говорил он тихо, спокойно, не сердясь, и никто как-то не принимал всерьез его слов.
Но в июне, когда начался сенокос, Демьян так же спокойно говорил многим михайловским мужикам:
— Я б тебя взял, Гришуха, у тебя по лавкам-то сидят не то пятеро, не то семеро. Да ить помню — с хитрецой ты пахал весной, меленько. Глаз да глаз за тобой надобен. А я поспевать не могу везде, одна нога-то у меня. Ты уж поищи где в другом месте работы, за Громотуху сплавай, в соседнюю деревню, может, там наймешься. За пахоту, понятно, осенью разочтемся. А ты, Федот, вроде работящий, да спать по утрам горазд. На пасху-то, помнишь, до обеда спал почти. А землица сохла... Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, возьму последний раз...
Без крика и ругани, как-то незаметно Демьян установил свои порядки найма. Кому отказывал в работе, те плевались и уходили пытать счастья в другие деревни. А кто работал у Кафтанова, по-прежнему не чуяли над собой особой беды. Мало ли об чем поскрипит Демьян, чем постращает... Побурчит да забудет.
Но осенью, при расчетах, все обалдели: каждому приходилось за работу чуть ли не вдвое меньше, чем в прежние годы.
Поднялся ропот и шум. Мужики потребовали самого Кафтанова.
— Ну, молчать! — коротко сказал тот.— Демьян нанимал вас — с ним и рассчитывайтесь...
— Вот так, мужички,— усмехнулся Инютин в отпущенную за лето рыжеватую, лисью бородку.— Кто это из вас тут особые говоруны? Память-то, якорь ее, не забыть бы...

Когда закончился год, Демьян пришел к Кафтанову, вынул мятые бумажки из кармана.

— Так вот, Михайло Лукич, я тут подбил бабки приблизительно. Ржи при тех же пашнях, овсов, ячменей да гречишки мы собрали в общей сложности тыщ на десять пудов поболе прошлогодних твоих урожаев. Сенца заготовили славно, если хочешь, можно коров двадцать-тридцать подкупить. Ну, маслица сбили, медку накачали чуток побольше. В рублях подсчитать — ты уж сам. Но мне сдается — тысчонок на двадцать я тебе лишней прибыли принес. Вот, решай, прогадал ты, нет ли на мне. Ежели нет — может, вознагражденья прибавишь.

— Ну, жйла ты, Демьян, не ожидал,— сказал Кафтанов.— Гляди, как бы мужики тебя не пристукнули твоей же деревяшкой.

Года полтора Демьян Инютин жил в той же кособокой избушке, что и до ухода на войну. А осенью 1907 года нанял бродячих плотников, и они за месяц поставили ему аккуратненький домишко в три комнатки.

— Разве тебе такие хоромы поднять бы теперь? — как-то с улыбочкой стриганул его староста Панкрат Назаров.

— А куда нам больше? Я, да баба, да Кирьяшка — и вся семья. На топливо зря тратиться. Зима-то долгая.

— Теперь тебе токмо и прибавлять семью.

— Да нет уж. Родилку-то пора попу на кадилку отдавать. Это вам, жеребцам молодым...

— Не скажи. Ты тоже деревяшкой-то своей, как жеребец копытом, землю пашешь.

— Чего? — мотнул бороденкой Демьян, пытаясь поймать смысл в последних словах Назарова.

В первое лето Инютин не притеснял Силантия Савельева. Может, потому, что не было случая придраться. Силантий всякую работу делал на совесть. Демьян не раз проверял глубину его вспашки, придирчиво ходил вокруг свершенных Силантием стогов, не раз в самое неудачное время объявлялся на гумне, по плечо втыкал руку в ворох провеянного им хлеба, вытаскивал горсть ржи, проверял на сорность, деревяшкой разворачивал кучи половы, любопытствуя, нет ли там зернышек. И, сопя, отходил. Силантий работал еще старательней, чуя, что малейший промах ему дорого обойдется. И точно...

Зимой, вывозя с дальних покосов сено, Силантий замешкался раз до темноты. Спеша, он не поберегся на дорожном раскате, воз накренился и опрокинулся. Хрустнула оглобля, заржала, падая в снег, лошадь.

Пока Силантий освобождал коня, вырубал и прилаживал временную оглоблю, стало совсем темно. В темноте он принялся перевьючивать воз. Подул вдруг ветер, клочья сена понесло в поле. Выбиваясь из сил, он пытался как-то сложить воз. Но вилы с пластами сена выворачивало из рук. А тут еще повалил снег, ветер усилился, кругом засвистело, заревело. В две-три минуты бешеные порывы ветра разлохматили, раздергали остатки сена, уволокли его прочь, в сугробы, в темноту, до последней былинки.

Делать было нечего, Силантий, продрогший до костей, бросил в пустые сани бастрык, веревку, вилы, поехал в деревню, чистосердечно все рассказал Демьяну.

— Работнички, чтоб вас...— грязно выругался Демьян.— Против порядка смутьянить — на это вы горазды... Ступай.

На другое утро, когда Силантий пришел на кафтановскую конюшню, Демьян поднял на него круглые, начавшие уже заплывать жиром глаза.

— Ступай, ступай... Я ить сказал вчерась.

— Да ты что это, Демьян? Ну, случилось... Поимей сердце.

— Ежели я буду иметь его, Михаил Лукич пó миру пойдет.

— Далеко ему до сумы-то... Как нам до бога...

— Во-он ты еще как?! Пошел, сказано!

Красных дней и во всей-то жизни Силантия не было, а с этих пор и вообще наступили одни черные. Правда, время от времени Демьян давал какую-нибудь работу и ему, Силантию, и Федору, когда тот стал подрастать. Но что бы и как бы старательно они теперь ни делали, Демьяну все казалось не так, он вечно на них покрикивал, заставлял переделывать, платил разве-разве половину.

— Да что это он за кровосос такой? — не раз глухо говорил Федор, ноздри его от обиды подрагивали.— Я ему, попомни, воткну вилы в бок.

— Одумайся, что мелешь?! — зеленел и без того позеленевший Силантий.— А потом на каторгу за прохиндея этого?

Неизвестно, каким путем — то ли сам подслушал, то ли кто другой да потом угодливо донес Демьяну,— только Инютин узнал об этих словах. Он не рассердился, лишь сказал с ухмылочкой:

— Во-во... Едино семя — едино племя. Ишь волчонок! Ну, ты-то еще воткнешь ли, нет ли, а я, считай, уже изделал это.

И вообще перестал давать Савельевым работу.

Демьян знал, что делал. Работы, кроме как у Кафтанова, в деревне не было. Силантий пробовал ходить на заработки в Шантару, по другим деревням. Иногда и удавалось кое-что подработать. Федька ловил на Громотухе рыбу, зимой ставил петли на зайцев. Этим и жили кое-как, но концы с концами свести было невозможно. Все Савельевы обносились, в избе, кроме стола, табуреток да нескольких чугунков, ничего не было.

Нынешней весной, перед самым половодьем, Силантий возвращался домой из соседней деревни, неся в кармане рваного зипунишка заработанную трешницу. Он торопился, чтобы до ледолома поспеть в Михайловку. Когда перешел Громотуху, его нагнала запряженная парой крытая кошева с колокольцами. Он посторонился, давая дорогу, но кошева остановилась.

— Постой. Ты, Силантий, откуда? — услышал он голос самого Кафтанова.

— С Гусевки я... Работал тама месяц.

— Погоди. А пошто не у меня?

Кафтанов был пьяненький, веселый, глаза поблескивали, крупный нос багровел, как стылый помидор. В глубине кошевы угадывалась женщина, завернутая в тулуп.

— Я давно у тебя не роблю уж, Михайла Лукич. Демьян не дозволяет...

— Как так? Да ведь ты самый работник... А ну, садись!

Силантий взобрался на козлы.

— А правь на Огневские ключи! Не жалеть жеребцов!

На ключи так на ключи, Силантию было все равно. Он уже понял, что Кафтанов загулял.

На лесной заимке стоял крепкий сосновый дом в четыре комнаты, конюшня, баня и еще кое-какие службы. Баня стояла на берегу озера, в котором водились огромные щуки. Летом Кафтанов любил, напарившись, нырять в это озеро и подолгу плавать в нем.

Когда приехали, из дома на звук колокольцев выскочил молодой парень, бывший приказчик кафтановской лавки в Шантаре Поликарп Кружилин, схватил лошадей под уздцы. Савельев знал, что этот коренастый парень с буйными черными вихрами, с режущим взглядом всю зиму, с осени, живет на заимке в должности «смотрителя». Силантий не раз заходил в шантарскую лавку, встречаясь с глазами приказчика, думал: «Хлюст. Такие-то обсчитают — и глазом не моргнут». За что хозяин разжаловал его в «смотрители», Силантий не знал. Да и кто поймет крутой и сумасбродный нрав Кафтанова? И потом — то ли разжаловал, то ли пожаловал, тоже было не понять. Говорили, что молодой приказчик лихо пляшет, и Кафтанов, напившись, заставлял якобы его плясать до упаду перед своими сударушками.

Кафтанов выпрыгнул из кошевы. Следом вылезла и женщина, тоже вроде пьяная, по виду цыганка, сбросила тулуп, сверкнула узкими глазами. Кружилин кинулся к ней, намереваясь отвести в дом.

— Прочь! — рявкнул Кафтанов, сам повел ее к крыльцу. Потом вышел из дома, бросил Кружилину его полушубок и шапку.—В Михайловке сдашь коней Демьяну, а сам в Шантару, на прежнее место. Поплясал — и будет.— И закрутил волосатым кулаком перед носом Поликарпа.— А то, гляжу, к бабам моим сильно прилабуниваться стал, зараза, как только я переберу. Совести у вас, кобелей, нету. Твое счастье, что ни разу не поймал! А то камень бы к шее да в пруд...

Кружилин надел полушубок, молча сел в кошеву и уехал.

— Вот так,— удовлетворенно произнес Кафтанов.— Ты-то, Силантий, откобелил, должно, уж, а? Будешь теперь заместо Поликашки тут. Ну, тащи самогон-

ки. Вон в курилке возьми, помидоров из погребушки достань... Что рот раззявил, живцом у меня!.. Да баню растапливай, мыться с цыганкой этой будем...

Так Силантий стал жить на Огневской заимке.

Сперва старику муторно было глядеть на пьяные оргии хозяина и его гостей. Иногда Кафтанов привозил откуда-то на заимку по нескольку мужиков и баб, они по неделям беспробудно пили, жрали, орали песни, плясали, все вместе мылись в бане, выгоняя хмель, а потом с разбегу с визгом, с гоготом ныряли, прыгали в озеро. И мужики и бабы бесстыдно шлялись по дому, по заимке полуголые.

— Собачник... Прости ты, господи, истинный собачник...— шептал иногда Силантий, присев где-нибудь отдохнуть.

Перед началом гульбища на заимку всегда приезжал Демьян Инютин, привозил всякие копчености, соленое сало, конфеты, иногда ящик-другой никогда не виданных Силантием, диковинных бутылок с вином. Он почти ничего не говорил Силантию, лишь кисло усмехался в лисью свою бородку, как бы говоря: ладно, мол, живи уж пока, раз хозяин того желает.

Так и шла жизнь до сегодняшнего дня...

Федор, за последние годы вытянувшийся чуть не с отца, пришел с огорода весь мокрый. Старые холщовые штаны были засучены выше колен, ноги грязные. Густые, давно не стриженные волосы космами падали на лоб.

— Чего тут такое? — спросил он начавшим ломаться голосом. В плечах он был еще узок, лопатки сильно выпирали из-под рубахи, длинные руки болтались чуть не до колен, но ладони уже широкие, сильные, мужские, над верхней губой пробивался первый пушок, грудь начинала бугриться.

— Умывайся. На заимку Огневскую поедешь...

— А зачем?

— Зачем, зачем! Заместо меня вроде Кафтанов ставит.

Глазенки Федора загорелись, но тут же он потушил их. Он не раз бывал на заимке (правда, в отсутствие Кафтанова и его гостей), знал, какую работу исполняет отец.

— Не сам Кафтанов, а Лушка это Федьку-то облюбопытствовала, — невесело проговорил Силантий, когда Федор пошел умываться.— Ходит по заимке, трясет грудищами, сучка ненасытная... Третий день Кафтанов пьет с ней.

— Испохабят парнишку, господи! Испохабят,— все ныла Устинья.— Не дам я его, не дам!

— Не дашь... Учили плеткой, поучат и дубиной. Куда ты денешься...

Когда Федор умылся и оделся, Силантий посадил его в пролетку, сказал, вручая вожжи:

— Лушка там с хозяином, упаси бог тебя касаться ее. Помни: свернет тебе Кафтанов голову и под мышку положит, если что... Будет приставать Лушка — бей ее по мордасам. Это Кафтанов тебе зачтет даже.

— Чо это она ко мне будет? — краснея, сказал Федор.

Женщин Федор еще не знал, но, как и для всякого деревенского подростка, для него давно не было в этой области человеческих отношений никаких секретов.

— Гляди, гляди, сынок! Я не зря говорю. А гнев кафтановский ты знаешь.

Федор уехал, одолеваемый страхом и любопытством.

На заимку он приехал засветло, зашел в дом. Кафтанов, сдвинув тарелки на середину стола, лежал на нем грудью и головой. Лукерья Кашкарова в застегнутой наглухо кофточке, в длинной измятой юбке тормошила его то с одного, то с другого бока:

— Михаил Лукич, поспать тебе надо... Михаил Лукич...

— Вот приехал я...— сказал Федор.

Лукерья не обратила даже внимания на него. Ей было на вид лет двадцать пять — тридцать. Гибкая, как змея, полногрудая и широкозадая («Тонка, да усадиста»,— говорил про нее сам Кафтанов), она двигалась по комнате легко и неслышно, на ногах держалась твердо, но Федор видел, что она тоже сильно пьяна.

— А-а! — протянул Кафтанов, услышав голос Федора, поднял голову.— Подойди...

Федор подошел, Кафтанов взял его сильной рукой за подбородок, мутными глазами долго смотрел в лицо.

— Ничего. Соплив пока и не возгрив. Н-но ежели ты, песья харя... И ежели ты! — повернулся он к Лушке.— Свяжу обоих — и в озеро!

— Да ты что, Михаил Лукич! Мне морда этого Силантия до тошноты опротивела. И глазами все режет, режет, будто... Отяжелел ты, айда, поспи маленько.

— Да, я пойду, пойду...

Лукерья увела Кафтанова в боковую комнату. Федор слышал, как она укладывала его на кровать, снимала сапоги, бросала их на пол. Он вышел из дома.

Убрав лошадь, Федор побродил по двору, не зная, что делать. Вернулся в дом, глянул на дверь, за которой скрылась Лушка с Кафтановым. Оттуда доносился храп.

Стараясь не греметь, он привел в порядок стол и комнату. Все еще было светло, и Федор решил порыбачить. «Может, завтра как раз ухи-то и спросят»,— подумал он.

Федор знал, где у отца стояли удочки, лежали морды, корчажки и прочая рыболовная снасть. Тут же он нашел в банке и червей, накопанных отцом, видно, вчера или даже сегодня.

До самой темноты Федор сидел в камышах, потаскивая карасей. А перед глазами безотвязно стояла почему-то Лушка с ее туго выпирающими под кофтой грудями, с широким задом, с растрепанными волосами. Федор краснел, пытался отогнать видение, думать о чем-нибудь другом. Но она лезла и лезла ему в глаза...

Спать он лег в отцовской комнатушке, закинув дверь на толстый кованый крючок. Уснуть долго не мог, ворочался. Забылся, наверное, под утро.

Прохватился он от осторожного стука в дверь. Сердце бешено заколотилось.

— Кто? — осевшим голосом спросил Федор.

— Вставай,— послышался Лушкин голос.— Хозяин зовет.

— А-а, счас,— помедлив, ответил он. Подумал: «И что ему не дрыхнется, паразиту...»

Только-только, видно, зарилось, в окно было видно, что поверх верхушек деревьев чуть засинел краешек неба. Федор толкнул створки окна, услышал призывный голос одинокой пичуги. Грудь ему изнутри царапнул утренний холодный воздух. Он натянул сапоги и откинул крючок. Откинул — и попятился: за дверьми, как привидение, белела она, Лукерья...

«Привидение» шагнуло в комнату, закрыло двери на крючок, вытянув в стороны руки, двинулось к нему. Федор прилип к стене, в коленках у него больно заныло.

Лушка подошла вплотную, взяла обеими руками его голову и принялась жадно целовать в щеки, в подбородок, пытаясь отыскать губы. От нее несло самогонным перегаром и еще чем-то сладковато-приторным. Федор вертел головой, уворачиваясь от мокрых горячих губ.

— Пошла... Пошла ты!..— хрипел он не своим голосом.

— А ты молочный еще... Непробованный, видать,— хохотнула Лушка, прижала его щекой к голой груди.

Впервые почувствовав живое женское тело, Федор охмелел, в голове егоззвенело. Не помня себя, он рванулся...

Очнулся он где-то в лесу, в густых кустах, долго и тупо соображал — его собственное сердце это стучит или он все еще слышит под щекой звон в Лушкиной груди?

По небу расплывалась ярко-малиновая заря, наперебой свистели птицы. Где-то рядом слышались шаги по траве.

— Федька... Федька...— тихо звала Лушка.— Чего испугался-то, дурачок? Вот дурачок!

Федор еще плотнее прижался к земле. Шаги, удаляясь, затихли. «А ведь не отвори я окошко раньше, не сбежать бы мне от нее, ведьмы,— думал Федор.— Никак не сбежать...»

В кустах он пролежал долго. Взошло уже солнце, а он все лежал, пока не заныла от холода грудь.

Наконец встал, поплелся к заимке. Кафтанов, черный, опухший, сидел за столом, глодал кусок копченого мяса. Перед ним стояла бутылка, стакан. Лукерья сидела рядом, кутаясь в платок.

— Ты где это, сопля тебе в глотку, пропадаешь?! — сверкнул глазами Кафтанов.— Что у тебя коленки-то в зелени? По траве, что ль, ползал? Чего молчишь?

— А что она лезет ко мне? — сказал вдруг Федор, мотнув головой на Лукерью.

Кашкарова быстро взглянула на Федора умоляющими глазами.

— Постой,— Кафтанов бросил на стол недоглоданную кость.— Как это лезет?

— Обыкновенно... «Иди, говорит, Михаил Лукич зовет...» Я двери открыл, а она... Когда чуть зариться начало...

— Что врешь-то, поганец такой?! — взвизгнула Лукерья.

— Замолчь! — придавил Кафтанов, как камнем, ее возглас.— И что она?

Федор совсем растерялся. Он вспомнил предостережение отца, ему жалко почему-то стало и Лушку. Он испугался и за себя — неизвестно ведь, как может понять все это Кафтанов и что предпринять! «Поганец я, это верно,— мелькнуло у него.— Выдал бабу... Сказать бы: рыбалил с утра — карасишки-то есть... Но вывернуться теперь как? Себе только хуже сделаешь...»

— Глотку заложило?! — рявкнул Кафтанов.— Отвечай!

Подстегнутый этим возгласом, Федор сказал:

— Ничего я не вру. Кто к титькам-то прижимал меня?

— Бесстыдник! Врешь, врешь! Врет он, Михаил Лукич...

Кафтанов никак не реагировал на Лушкины слова. Он налил из бутылки полный стакан, выпил, обтер рукавом губы.

— Подай-ка, Федор, плетку. Вон на стенке висит...

— Михаил Лукич! — закричала Лукерья, сползла со стула, обхватила ноги Кафтанова.

Федор снял тяжелую, четырехгранную плеть, подал Кафтанову. Тот встал, отбросил Лушку пинком на середину комнаты и одновременно вытянул ее плетью. От первого же удара туго обтягивающая ее кофта лопнула, и Федор увидел, как на гладкой Лушкиной спине вспух красный рубец. Охнув, женщина поползла на четвереньках к стене, вскочила...

Загораживая лицо от ударов, Лукерья металась по комнате, а Кафтанов хлестал и хлестал ее, выкрикивая:

— С-сука мокрозадая! На молосольное потянуло?! Убью-у!..

Плеть свистела, Кафтанов тяжко хрипел, Лукерья только взвизгивала и никак не могла найти двери. Федор, боясь, что и его достанет плеть, зажался в угол. Наконец Лукерья ударилась спиной в двери, вывалилась в темный коридор, оттуда на крыльцо, кубарем скатилась на землю, быстро поднялась и, придерживая на груди лохмотья кофточки, кинулась по дороге, ведущей в Михайловку.

Потом Кафтанов и Федор сидели за столом, мирно беседовали. Кафтанов допивал свою бутылку и расспрашивал подробности Лушкиного ночного посещения. Сначала Федор стеснялся, а затем как-то осмелел и рассказал все, вплоть до того, как Лушка шарилась по кустам и звала его.

— Так...— удовлетворенно произнес Кафтанов и принялся грузно ходить по комнате.

Федор со страхом наблюдал за ним. Но ничего угрожающего в выражении лица хозяина не было. Наоборот, он усмехнулся в бороду лениво и добродушно.

— Бабье племя — оно, парень, пакостливое. Самое что ни на есть лисье племя. А каждая лиса даже во сне кур видит...

Кафтанов нагнулся, поднял валявшуюся на полу плетку. Федор, гремя табуреткой, метнулся в дальний угол.

Постукивая в ладонь черенком плетки, Кафтанов с любопытством глядел на Федора влажными, в красных прожилках, глазами.

— А вырастешь ты, должно быть, хорошей сволочью,— сказал Кафтанов.— И чем-то, должно быть, этим самым, ты мне глянешься пока. Ну, там посмотрим. А покуда — живи здесь с батькой. Я счас его обратно пришлю. Одному тебе жутко тут будет, да еще и заимку спалишь. Запрягай жеребца, чего зажался!..

До осени Федор жил вместе с отцом на Огневской заимке. Житье было легкое, привольное. Вдвоем они поставили пару стогов сена для лошадей, а больше, собственно, делать было нечего. Федор рыбачил в озере, собирал ягоды, копался на огороде, который был при заимке, лазил с хозяйским ружьем по прибрежным камышам, скрадывая уток. Ружье он взял в руки впервые, но быстро освоился с ним, научился срезать уток даже на лету.

— Ишь ты! — восхищенно качал головой отец, когда Федор приносил иногда до дюжины селезней и крякух.— Ловок!

— Это что! — отмахивался Федор.— На медведя бы сходить. А, бать? В малинник, что за согрой, похаживает косолапый, я приметил. Дай мне пару медвединых патронов с жаканами-то!

— Я те покажу ведмедя! — строго говорил отец.— Сдурел? Он тя живо порешит,— и прятал патроны подальше.

Когда наезжал Кафтанов со своим, как говорил отец, «собачником», на заимке дым стоял коромыслом. Над лесом, над озером с темна до темна висели разгульные песни, крики, говор, смех, женский визг.

В первый приезд Силантий попытался как-то оградить сына от всей этой грязи. Едва застучали по корневищам лесной дороги колеса, послышались пьяные голоса, Силантий схватил дробовик, сунул его сыну.

— Ступай, ступай на дальние озерки. Тута, возле заимки, не стреляй, спужаешь сударушек его...

— Да что ты, батя?.. Может, помочь тебе чего?

— Отправляйся, говорю, чтоб тебя!..

Но через минуту Силантий понял, что его уловки бесполезны. Ввалившись в дом, Кафтанов потребовал:

— Федька? Где ты?

— Нету его. В лесу с утра шатается где-то...

— Как нету? Был чтоба! За что деньги плачу?

— Михаил Лукич, ослобонил бы парня от этого...— взмолился Силантий.

— С-сыть у меня! Освобождать — так обоих сразу... как Демьян мне в ухи советует. Хошь, что ли? С голоду ить подохнешь. Вина, самогону! Жратву из тарантаса тащи в дом! Пока держу, живите тут... Появится Федька — ко мне сразу...

Федор пришел из леса на закате солнца.

— Иди уж, — вздохнул Силантий, не глядя на сына.— Разов шесть тебя хозяин спрашивал. Чем ты ему глянулся?

В доме, несмотря на распахнутые окна, было чадно. Какие-то бородатые мужики, потные, пьяные женщины вперемежку сидели за столом, заунывно тянули песню.

— А-а, явился?! Тихо! — крикнул Кафтанов.— Федька это, сын моего Силантия. Ха-роший будет человек. Садись рядом с хозяином, пей, гуляй...

Кафтанов был пьян, гости еще пьянее. Кажется, они не поняли, кто такой Федор, приняли его за родственника Кафтанова, полезли обниматься. Федор уворачивался от колючих, бородатых лиц, отталкивал от себя воняющих пóтом женщин. Кафтанов глядел на это, кажется, с удовольствием.

— Ну, будет, будет! — крикнул он наконец.— Кыш, бабы, замусолили совсем. У-у, к-кобылы! А он парень порядочный. Он на вас тьфу! За это я ему в другой раз развеселую деваху привезу. Для него только... Али Лушку Кашкарову, а? Хошь? Я ее, суку, заставлю ноги твои вымыть и воду выпить. Ну, хошь, говори!

— Не хочу,— испуганно проговорил Федор.

— И правильно! — захохотал Кафтанов.— И хорошо. Рано тебе еще. Н-но гляди на нас и привыкай. Соображай так же. А захочешь — скажи, я тебе мигом... Я кого полюбил, все для того сделаю! В сыновья тебя, если хошь, определю. Заслужишь если... А сейчас выпей рюмочку и ступай, баню с отцом топите. Одну только выпей, для другой подрасти надо. И помни, что я сказал... Жизнь могу открыть тебе.

Федор раза два в жизни пробовал самогонку, она ему не понравилась, оба раза в висках у него долго и больно стучало, а потом тошнило. Несмотря на это, он не мог ослушаться Кафтанова, выпил.

Самогонка оказала на него обычное действие. Таская воду в банный котел, он чувствовал, что его вот-вот вырвет. Но и не рвало и тошнота не проходила.

— Как они ее жрут только! — пожаловался он отцу.

— Ты голову помочи али — того лучше — искупайся.

Федор искупался, и ему действительно стало полегче.

— Что самогонку не принимает душа, это хорошо, Федюша. А вот что это Кафтанов тебе там молол? Я случаем зашел, вполуха слышал...

— Так ежели слыхал, чего говорить?

— Охо-хо, сынок... Слова как мед, да с чем их едят? В сыновья... Нужон ты ему, как дырка в голове...

Они присели на берегу озера. Колупая прутиком песок, Федор спросил:

— А что, батя, ежели и вправду?.. С его-то помощью да и вправду можно как-нибудь за жизнь зацепиться?

Он говорил раздумчиво, не торопясь. Впервые отец уловил в его словах что-то не детское, не ребячье и поразился:

— Федьша?! Да неужель вырос ты?! Господи...

Полчаса назад солнце скатилось за лес, небо наливалось прохладными сумерками. Над Федором и Силантием, попискивая, вились комары, в озере изредка играла рыба. То в одном, то в другом конце его слышался плеск, потом долго и медленно по черной водяной глади расплывались круги, таяли у берегов.

Из дома неслись пьяные крики гостей Кафтанова и глохли в сгущающемся мраке.

— Вот чего, сынок, скажу тебе,— после долгого молчания произнес Силантий.— Остерегайся ты его слов, как самогонки этой. А то говорят люди: обрадовался крохе, да ковригу потерял.

— Дак я что? — двинул плечом Федор.— Я тоже соображаю: с чего это он так сразу ласково ко мне? Непонятно. Но опять же слова «заслужишь если»... Это он, может, и со смыслом. А послужить чего мне? Послужу, руки не отвалятся. Там поглядим... Дочка вон у него растет...

— Чего, чего? — еще более изумился Силантий.

— А что? — повернул к нему Федор голову, поглядел в отцовские глаза прямо и открыто.

— Да ты, страмец такой, об чем?

— Не бывало, что ли, когда богатые невесты за бедняков шли?

— Экой ты открываешься! — почти со страхом произнес Силантий.— А не шибко ли далеко глядишь? Да и Анютка его ребенок еще, десятый год ей всего.

— А мне куда торопиться? Я подожду.— И Федор встал.

И опять показалось Силантию, что рядом стоит не пятнадцатилетний его сын, а какой-то другой, взрослый, рассудительный и незнакомый мужик.

— Да когда это тебе все... в головушку-то ударило? Когда все сварилось там?

— Не знаю, батя...— откровенно сознался Федор.— То ли когда он Лушку стегал, а мы потом сидели за столом да говорили. А может, сегодня. Ведь сказал же он зачем-то: в сыновья, заслужишь если, определю. По пьянству такое не говорится.

— Господи! Господи!..— только и простонал Силантий.

Кафтанов погулял да уехал со своими гостями, жизнь на заимке пошла своим чередом. Но в отношениях отца и сына что-то изменилось, стало строже, сдержаннее. Разговаривать они стали меньше, больше молчали. Федор ходил по заимке задумчивый, будто вспоминал что постоянно, иногда отплывал на лодке в глубь озера, но забывал про удочки, ложился на корме и, подсунув руки под голову, долго, часами, глядел в пустое небо. Силантий наблюдал за сыном, вздыхал. Но никаких разговоров, подобных тому, что возле бани, не заводил.

Опасения, что жизнь на заимке «испохабит» Федора, вроде были напрасными. Как и в первый раз, Федор выпивал иногда с хозяином рюмочку, не больше. К «сударушкам» Кафтанова интереса тоже не проявлял. Когда та или иная перепившаяся бабенка шутя ли, всерьез ли привязывалась к Федору, он не стесняясь хлестал ее по щекам и говорил:

— П-пошла, стерва... Завязать бы ноги тебе мертвым узлом.

Это, видно, нравилось Кафтанову.

— Вот чего, сударушки мои... Кто совратит Федьку моего — сотенную в зубы! Старайтесь! — похохатывал он.

Однажды в числе других мужиков и женщин он привез на заимку и Лушку Кашкарову.

— Вот, Федьша,— он хлопнул Лукерью по крутой спине,— все печенки она мне изъела: свози да свози к Федьке.

— Что говоришь-то, Михаил Лукич? — взмолилась та.

— Перечь у меня! — зыкнул Кафтанов и отвернулся, будто забыл о ней.

В тот раз Кафтанов гулял дня три, и все это время пьяная Лукерья, как тень, ходила за Федькой, сторожила каждый его шаг, норовила обнять при каждом удобном случае.

— П-пошла, стерва,— говорил свое обычное Федор, отбиваясь под свист и гогот кафтановских гостей.

На второй день, под вечер, выбрав время, она шепнула ему трезвым и, как показалось Федору, жалким голосом:

— Пожалей меня, Федор... Они балаган устраивают, не понимаешь, что ли? Не могу я Мишку ослушаться...

— Все равно уйди! Не лезь! — отрезал Федор.

На ночь он ушел в лес, ночевал в стогу сена.

На третий день он стал ходить по заимке с плетью, той самой, которой Кафтанов отстегал когда-то Лукерью.

— А-а, не получаетца, паскудная твоя р-рыла?! — пьяно и злорадно гремел Кафтанов, крутя распухшей, разлохмаченной головой.— Талантов не хватает?! Н-ну, гляди у меня, последний день сроку...

В этот «последний» день, как обычно, надо было топить баню. Сунув плетку в сапог, Федор натаскал в огромный казан воды, присел отдохнуть возле стенки, на припеке. Силантий, растопив баню, приткнулся рядом.

— Уходи, Федор, в лес от греха,— сказал старик.— Возьми ружье да уходи... Ведь он, Кафтанов, гляди, и в баню тебя с кобылой этой загонит. Им что, потеряли обличье-то людское...

— Они потеряли, а я нашел... Я с первой минуты понял, что не Лушка, а сам Кафтанов со мной играется. Но я его переиграю.

— Как это?

— Так... Отойди-ка, батя... Вон Лушка вышла, меня вызревает. Отойди.

Старик, кряхтя, поднялся, поплелся в конюшню.

— Федя... Федя...— немедленно метнулась к бане Лукерья.

— Прочь! — толкнул он ее в грудь, ушел за дом.

— Федя... Пожалей...— Женщина догнала его.

В окнах мелькнули лица кафтановских гостей. Заметив это, Федор схватил Лукерью за волосы, бросил на землю. Сверкая оголенными ногами, она покатилась по траве. Федор выхватил из-за голенища плеть и принялся остервенело хлестать ее по этим голым ногам, по спине, по голове. Из дома пьяно заулюлюкали, закричали, засвистели. Лукерья хотела встать, но снова упала, сжалась, укрывая голову, и только вздрагивала под его ударами...

Опомнился Федор, когда его самого кто-то схватил за шиворот, сильно встряхнул.

— А ежели изувечишь бабу?! — чуть не царапая его бородой, рявкнул Кафтанов.—Глаз выстегнешь, тогда что?!

— Ничего, одноглазая походит! — крикнул Федор и, разгоряченный, рванулся из кафтановских рук. Но вырваться не мог.

— Ишь ты волчонок! — вдруг рассмеялся Кафтанов, отпустил Федора, пнул все еще валяющуюся на траве Лукерью.— Пошла. И ты пойдем. По рюмке еще проглотим — да в баньку.

— И пить не буду. Не могу.

— Ну и ладно,— покорно согласился Кафтанов.— Так посидишь рядом. А потом в баню пойдешь со мной. В первый жар. Люблю я в первый жар ходить.

Часа два спустя Федор, зевая, как рыба, выброшенная на берег, лежал на прохладном и скользком банном полу, а Кафтанов парился на полке́, остервенело хлестал себя веником.

— Федька-а! — то и дело кричал он сверху, невидимый в густых клубах обжигающего пара.— Еще плесни ковшичек...

Федор вставал, и сразу будто кипятком ошпаривало ему уши, нос, щеки, всю голову. Он торопливо черпал из жбанчика специально приготовленный отцом для этой цели квас, плескал на раскаленные камни и плашмя падал на пол.

«Как он не сварится там?» — задыхаясь, думал о Кафтанове.

Напарившись, Кафтанов выбегал наружу, с разбегу бултыхался в озеро, плавал в холодной воде, как тяжелое бревно, снова забегал в баню, натягивал кожаные рукавицы и шапку, опять лез на полок...

Одеваясь в предбаннике, он сказал:

— Вот и хмель весь долой. Первое средство. Завтра с утра за дела примемся. А как же! Наше дело такое — пей, да дело разумей. Сомлел?

— Жарко...

— Поликашка Кружилин — тот крепкий на банный жар. Любил я с ним париться. Знатно он меня веничком обхаживал. Жалко и прогонять было отсюда, да в глазах его резь какая-то появляться начала. Думаешь, из-за баб я его прогнал отсюда? Бабы — это тьфу, их что навозу, мне не жалко, пущай бы любой пользовался. Для того и богом они сделаны. А вот резь в глазах — не люблю. Так ничего-ничего, да иной раз как глянет — будто надвое перережет, сволочуга. «Об чем, говорю, подумал сейчас, сказывай?!» — «Так»,— говорит... Да, может, и правду так. А — непонятно. А я не люблю, когда непонятно. Приказчик он хороший, честный. Но ежели резь эта не потухнет в глазах — не погляжу, не пожалею. А у тебя вот рези этой нету. Может, потом появится? А?

— Я... не знаю. Какая такая резь? — спросил Федор, а сам подумал: «Насчет баб-то врет... Ловко поймать хочет».

— Какая... Ну ладно, там поглядим... Дай-ка еще кваску глотнуть.

Натянув исподние штаны, Кафтанов долго растирал рушником потную, волосатую грудь.

— Я, Федьша, тебе так скажу, уже не по пьянке, а на трезвую голову,— вдруг заговорил он.— Что усыновлю тебя, этому не верь. У меня свой сын есть, Зиновий. Он всему дому голова будет после меня. Сейчас к торговым делам его приучиваю. Сюда не вожу — не к чему, рано еще, сам свихнется, когда пора придет. Но человека из тебя сделать могу, ежели верой и правдой служить будешь. Ежели преданный будешь, как собачонка. Верные люди и мне нужны, Федя. Такие, как Демьян Инютин. Демьяна-то мне бог послал. Да таких людей он редко посылает, поэтому мне самому их делать приходится. Тому же Демьяну замену исподволь готовить надо. Думал, из Кружилина Поликашки чего сделать можно. Нет, резь эта в глазах у него засверкала. К тебе вот приглядываюсь теперь. Понял?

— Я что? Я, Михаил Лукич, стараюсь.— Сердце у Федора замирало.

— В общем, Федор, я тебе все в открытую объяснил. Ты еще молодой, но думай с самого начала жизни об своей судьбе. Все от тебя самого зависит. Батька твой честный мужик, работящий. В тебе то же самое должно быть заложено. Батьке не повезло в жизни, не смог он за хвост поймать. А тебе этот хвост в руки кладу. А я не каждому положу...

И, уже полностью одевшись, сказал с усмешкой:

— А с Лушкой зря ты этак. Ты, видать, и вправду еще мальчонок. Спать-то не пробовал с бабой?

— Не...— покраснел Федор.

— А я в бане оглядел тебя — ничего, все в аккурате уж, как положено. Справишься не хуже всякого...

— Не буду я этого, Михаил Лукич.

— Ну-ну! Врешь, придет пора...

— Не знаю... Только неохота пакоститься.

— Убудет, что ли, от тебя?

— Я не знаю. А только думаю вот иногда: и я ведь женюсь на ком-то, должно быть. Охота, чтоб все ей досталось...

— Ну-у?! — опять протянул Кафтанов.— Все любопытней ты для меня, парень, становишься. Когда в тот раз Лушку ты продал, это мне понятно было. Казалось...

— Почто это я продал ее?

— А как же? Святая-то простота редко бывает, сошла на нет. Каждый выгоду свою ищет... С выгодой ты и продал ее, казалось мне.

Федор только пожал плечами, вроде не понимая, о чем говорит Кафтанов. И сказал:

— Дык, а что не надо мне говорить про то было? Она же с твоей постели убежала-то. Это ведь я тебя, Михаил Лукич, обманул бы...

Кафтанов долго глядел на Федьку прищуренными глазами. Федор лица не отвернул, помаргивал просто и открыто.

— Н-да,— сказал наконец Кафтанов.— Хорошо, если бы так-то... Ох как хорошо. Только в голую честность-то не верю я. Жизнь меня научила не верить. Мне почудилось: молод-то ты молод, а яйца в стену уже учишься забивать...

И Кафтанов встал с лавочки, пошел из предбанника.

— Ладно, Федька... Я хоть бабник да пьяница, но глаз у меня на людей наметанный. Поглядим-поглядим — и живехонько раскусим, что ты за суть-человек...

* * *

Что за «суть-человек» вырастает из среднего сына, частенько думал теперь и Силантий. После того дня, когда Федор отхлестал плетью Лушку, а потом помылся в бане с самим Кафтановым, сын стал вовсе неразговорчивым. Иногда он, сидя за столом, долго размешивал в чашке варево, и чувствовал Силантий, что мысли сына где-то далеко.

— Какие еще новые планы в себе родишь? — спрашивал Силантий.

— А так,— отмахивался Федор.

Подступала осень, закровенились в лесу коряжистые осины, сожженные наконец летним жаром, стали сохнуть и желтеть верхушки берез. Погода стояла еще теплая, ветров не было, но чувствовалось — недалеко то время, когда подуют и ветры, посыплют дожди, устелют пожухлую траву мокрыми и тяжелыми листьями. Но пока сникшие и поредевшие лесные травы были чистыми, только все чаще и чаще попадались Федору березки и осины, под которыми аккуратными кружками были насыпаны сухие листочки. Это значит — недавно прыгнула на желтую ветку белка, тряхнула ее, и несколько десятков листьев тихо зашуршали вниз, редковато устелив кусочек земли.

На кафтановских пашнях началась страда, может, потому хозяин перестал наезжать в Огневские ключи.

— Долго постится Михаил Лукич,— несколько раз вырывалось у Федора.

Раз и два Силантий смолчал, а потом спросил:

— Никак, заскучал по «собачнику» этому?

— Мне-то что? — пожал плечами Федор. А через минуту вдруг добавил: — «Собачник» не «собачник», а живет хозяин весело. Всласть живет.

— Так...— протянул Силантий.— Завидуешь?

— Иди ты... Скажет тоже,— огрызнулся сын обиженно.

«Скажет тоже... Чего мне завидовать-то?» — раздраженно и упрямо думал потом несколько дней Федор, не признаваясь себе, а может быть, не понимая, что действительно шевельнулась в нем зависть к веселой и разгульной жизни хозяина, засочилась где-то внутри, размывая какие-то самые мягкие, податливые места. Так, наверное, жиденький вешний ручеек течет по травянистой канавке и находит вдруг место, где трава выбита, почва помягче, начинает по крупицам вымывать оттуда землю, уносить прочь. Скатятся вешние воды — глядишь, и на этом месте небольшой, сантиметров в десять-двенадцать, обрывчик, из стены которого торчат бурые, черные, белые травяные корешки. Он безобиден и не страшен пока, этот обрывчик, можно его и переехать и перешагнуть, даже не заметив. Но дождевые воды, скатываясь по той же ложбинке, продолжают незаметно вымывать землю под обрывчиком, к осени ямка становится вдвое, а если случаются частые и сильные ливни, то и втрое, вчетверо глубже. Зимой засыплет эту ямку снег, заровняет ее вровень с краями, укроет сверху метровым белым слоем. Следующей весной на неделю раньше осядет в этом месте снег, оголит стылый обрывчик, по обледенелой пока стенке заструится вытекающая из-под снежного покрова водичка. Но солнце все щедрее греет обрывчик, быстро съедает ледяную корку. И вот уже, урча и булькая, тугой тяжелой струей льются вниз с полуметровой высоты талые воды, вымывая теперь землю внизу не крупицами, а целыми горстями... На третий год с полутораметрового обрыва льется, красиво брызгая радужными на солнце искрами, настоящий водопад, на четвертый низвергается с шумом и грохотом целая речка, унося с собой комья земли, коренья трав, небольшие деревца... А еще через несколько лет придет на это место человек — и ахнет: ровное, сверкающее под солнцем изумрудной зеленью поле перерезает теперь надвое черный, глубокий, безобразный овраг. И этот овраг все растет да растет, как гноящаяся рана, и поле будто стонет от этой раны, но заживить ее не может...

Не понимая, что в нем шевельнулась зависть к кафтановской жизни, Федор с нетерпением ждал, когда хозяин заявится на заимку. «С одной бабой приедет али снова кучу привезет? — думал почему-то он, волнуясь, чувствуя, как больно стучит в груди сердце.— А может, снова Лушку притащит?»

Если бы Кафтанов снова привез Лушку и она опять начала приставать, Федор отхлестал бы ее опять так же плетью. Это он знал твердо. И все-таки, помимо своей воли, он вспоминал, как она тогда, в первый раз, стучалась к нему в дверь, как шла к нему в темной комнате, раскинув руки, как жадно прижала его лицо к голой груди... В голове от этих воспоминаний мутилось, закипала в жилах кровь. «Зараза, привязалась...» До боли сжимал он зубы, шел к озеру, нырял в него поглубже, пытаясь достать самые холодные, поддонные струи.

Ночами ему опять снилась эта Лушка и все другие кафтановские «сударушки». Полураздетые, пьяные, сидели они за столом, валялись по комнатам, гурьбой шли в баню, с визгом и хохотом прыгали в озеро, сверкая обнаженными телами...

— Черт...— вскакивал Федор на кровати, прижимая локтем колотящееся сердце.

— Чего ты?! — приставал отец.

— Так... Чудится всякое...

И вдруг жизнь повернулась совсем в другую сторону.

Однажды ночью Федор, по обыкновению, долго не мог заснуть. Неожиданно показалось, что в окно кто-то стукнул. Он вскочил на кровати, затих. Опять царапнул кто-то в стекло, и качнулась во мраке за окошком неясная тень.

— Бать! — крикнул Федор, хватая ружье.

— Что? Кто? — вскочил старик.

— За окном кто-то... Не то медведь... А кони не храпят.

— Какой тогда ведмедь? Опять чудится черт-те что.

Федор встал, осторожно подошел к окну. И увидел метрах в тридцати, под деревом, человеческую тень.

— Бать, ей-богу, кто-то есть... Вон под сосной маячит... Ну-ка, я счас спытаю его, кто таков.

— Куда ты?! Может, варнак какой, с каторги беглый... Вернись! — закричал Силантий, но Федор с ружьем выскочил в сенцы, стараясь не греметь, открыл дверь, спрыгнул с крыльца и, крадучись вдоль стены, двинулся за угол.

К сосне он подошел неслышно, поднял ружье.

— Эй ты...— вскрикнул Федор. И, видя, что человек качнулся, добавил угрожающе: — Стой, не шевелись! У меня ведь жакан, разворочу башку-то. Кто таков, что надо?!

— А ты кто? Федор, что ли? — спросил человек тихо.

— Ну, Федька... Да ты кто?

— Опусти ружье... Пристрелишь еще родного брата.

— Чего-о? Какого брата? — удивился Федор.

— Вы тут одни с батькой, что ли?

— Мы-то одни,— совсем ничего не соображая, промолвил Федор.

Так после многолетнего отсутствия вдруг объявился старший сын Силантия Савельева — Антон.

— Господи, Антошка?! Да как же это ты, откудова?! — причитал несколько минут спустя Силантий, торопливо зажигая лампу, суетясь вокруг стола.— Вот уж нежданный гость... Что это у тебя с рукой-то?

Правая рука Антона была замотана грязными тряпками и привязана платком к шее.

— На сучок наткнулся в лесу.

— Да ночью-то почто? Крадучись-то?

— Видишь, батя... Днем-то мне пока не очень как-то сподручно... Я в Михайловке был, мать сказала, что здесь вы...

— Господи, да ты, никак, с тюрьмы беглый?! — догадался Силантий.— Демьян-то Инютин правду, выходит, говорил...

— Правду, выходит,— улыбнулся Антон и повернулся к Федору: — А ты, братуха, ловко ко мне подкрался. Я, грешным делом, подумывал: как мой там братец, не тюхой ли матюхой все растет? Ошибся вроде.

— Твоя наука,— буркнул Федор.

— Ты гляди-ка, батя, вырос ведь! Мужик, с какого боку ни гляди. И Ванька тоже растет. Когда я уезжал, он пешком под стол ходил, а сейчас... Идет время.

— Показывай руку-то.

— Рука, батя, у меня плохая. На тебя надежда, подлечишь, может,— сказал Антон, разматывая тряпки.— Ну-ка, Федя, тащи воды.

— На сучо-ок?! — ахнул Силантий, глянув на синюю, распухшую руку сына.— С ружья, что ли?

— Не с рогатки. Нет ли тут у вас йоду. Лекарство такое.

— Откудова тут лекарствам быть? Да ничего, мы травками как-нибудь.

Антон был чужим, незнакомым. Крепкий, рослый, лоб стал еще выпуклее, густые белесые волосы чуть вились, серые глаза глядели пронизывающе. Щеки и подбородок заросли курчавой и тоже белесой щетинкой.

Одет он был не по-тюремному — в старый, но крепкий еще пиджак, брезентовые брюки и засаленный картуз с крохотным жестким козырьком.

— Батя-то угадал: может, грит, варнак какой, беглый каторжник,— сказал Федор, поливая Антону на простреленную руку.

— Во-первых, до каторги я пока еще не дошел. Вот поймают сейчас — тогда другое дело. А потом — на каторгах всякого люду полно, Федор. Есть и варнаки, есть и порядочные.

— Ты порядочный, значит, будешь? Если поймают-то?

— Да уж не варнак, —подмигнул Антон, завязывая руку.

— Сынок, сынок, да ты поешь теперь, поешь,—суетясь по-прежнему, ставил Силантий на стол чашки, резал торопливо хлеб.— Может, рюмочку выпьешь?

— Можно и рюмочку, батя,— согласился Антон.— Мне мать рассказывала о назначении этой заимки. Кафтанов, кажется, где-то по округе колесит, сегодня-то уж не заявится сюда?

— Не должно. И потом — за день, за два Инютин всегда провизию доставляет. Он, Инютин, еще в шестом году сказывал, что тебя посадили... Ты, что ж, доселя и сидел?

— Зачем? И на свободе бывал иногда. В общем, батя, мне надо пожить тут у вас незаметно, пока рука не заживет. Нельзя мне никуда с такой рукой.

— Живи, сынок, живи... Хоть год у нас тут можно скрытничаться. А завтра я травок пользительных в лесу поищу. От гноя хорошие травки есть у нас. Токмо вот не воронить, когда хозяин с гостями объявляться будут. Да они сдалека еще визжат-гигикают.

— А Демьян-то Инютин? — сказал Федор.— Тот неслышно подъезжает всегда.

— То верно, он как лиса... Ну, придумаем что-нибудь. Ты ешь, сынок. Покудова тепло, в конюшне, на сеновале спать будешь. Ежели что — сразу на землю и в лес. Конюшня у нас задом прямо в лес упирается.

— Вот это мне подходит, батя.

Утром отец, еще до солнца придя из лесу, сказал Федору:

— Ты, сынок, взял бы ружье да посидел в скрадке. Там, где дорога к Журавлиным болотам подходит. Ежели поедет кто, стрельнешь, будто по утям. А я баню истоплю, травку вот заварю. Помыться надо Антошке, то да се...

— Ладно.

До вечера Федор сидел в кустах, поглядывая на дорогу, раздумывал об Антоне. Его приезд откровенно пугал Федора. Во-первых, хотя и не каторжник, но беглый, размышлял он. Во-вторых, как это не варнак, коли в тюрьме сидел? Разве порядочных людей сажают? А в-третьих, что будет, если Антона поймают здесь? Кафтанов-то чего тогда? Ведь он в первую голову спросит: «Ты что ж, Федор, про брата мне смолчал?»

Когда он в сумерках вернулся на заимку, Антон, вымывшийся в бане, посвежевший и отдохнувший, встретил его весело:

— А-а, сторож! Спасибо, братуха... Знатно я вымылся. Руку вот хорошо пропарил. Только, я думаю, каждый день пустую дорогу стеречь муторно. Мы тут будем уши поострее держать.

— Я не знаю, как лучше. Мне-то все равно.

Поговорив о том о сем, Антон ушел спать на сеновал. Федор спросил у отца:

— Он кто, Антошка, все ж таки? Вор или жулик какой?

— Ты чего мелешь?! — сильно рассердился отец.

— Так непонятно, за что его в тюрьме держали.

— Непонятно? А мне, думаешь, понятно?! — все с той же злостью прогово-

рил отец. И, покряхтев на своей кровати, еще проговорил: — Политический, он говорит, я.

— Каков таков — политический?

— Откудова мне знать? Против векового сплотаторства, говорит, боремся мы.

— Это опять что — сплотаторство?

— Что, что... «Вот, говорит, Кафтанов ваш и есть сплотатор. Соки с вас вытягивает, платит за работу грош, а рубли себе в карман кладет. Потому и развратничает тут с жиру, на заимке».

«Ага, значит, беспременно спросит с меня Кафтанов, почему молчал про Антона»,— подумал тревожно Федор.

— Ну, нам-то ничего тут, на заимке его, живется. Сплотатор он там али кто...

— Балбес ты ишо,— опять рассердился отец.

Недели полторы или две они прожили спокойно. Ни Демьян Инютин, ни сам Кафтанов не появлялись. Антон был весел, разговорчив, но Федор видел, что старший брат каждую секунду настороже. Бо́льшую часть суток он валялся на сеновале, в дом заходил редко, только поесть. Садился всегда так, чтобы в окно видна была дорога, убегающая от заимки в лес, в Михайловку.

Рука его заживала плохо. Отец варил какие-то травы в большом чугуне, заставлял по локоть совать туда больную руку.

— Кость у тебя задетая, видно. Кость, главное, прогреть до нутра. Ничего, вы́ходим.

Однажды заморосил дождик, хмарный, угрюмый, вечер подкатил как-то неожиданно, скорее, чем обычно. Силантий, Антон и Федор сели ужинать.

— Пойду-ка я в свое логово,— проговорил Антон, поглядев в окно. И, положив ложку, встал.

— Посиди еще,— сказал Силантий.— Какого черта в такую погоду принесет!

— В такую-то погоду их, всяких чертей, и носит. Сумрачно, дождик шумит. Видно плохо, слышно и того хуже...

Будто в воду глядел Антон. Едва-едва разве успел он забраться на сеновал, как отворилась дверь и вошел Демьян Инютин.

— Што рот до ушей разинули обои? — спросил он, окатив Силантия и Федора обдирающим взглядом.

— Дык... как это подъехал, что мы и не учуяли?

— Оглохли, значит,— буркнул Демьян, поскрипывая деревяшкой, разделся, прошел к столу.— Продрог я, дайте чаю.

Силантий налил ему в кружку заваренного смородинным листом кипятку и, подавая, обомлел: на столе лежали возле опростанной чашки с кашей три грязные ложки, и Демьян не мигая глядел на эти ложки.

Схватив тряпку, будто обтереть стол, Силантий смахнул все ложки в чашку, сунул эту чашку на шесток, бросил в нее и тряпку. «Что, если саданет ему — почто три ложки-то?» — колотилось у него в мозгу.

Демьяну, видно, ничего не садануло. Склонившись над кружкой, вытягивая жилистые губы, он громко тянул кипяток.

— Поди возьми там, в тарантасе, провизию,— кивнул Демьян Федьке.— Бутылки с вином не побей. Самогонка есть?

— Куда она делась! Ведер пять еще стоит,— проговорил Силантий облегченно.— Когда ждать?

— Откуль я знаю? Мне велено копченостей да вина хорошего доставить. Воняет чем-то у вас. Пахнет чем, говорю?

— Да это... Снадобье седни варил... Суставы ломит. К непогоде, думаю. Оно так и есть, захмарило.

— Развели вонищи... Чтоб проветрил дом к завтрему. В курильне нельзя сварить, что ли? Там такая же печка.

— Не буду боле. Проветрим...

Ни слова не добавив, Демьян уехал. Силантий проводил его, еще раз облегченно вздохнул: «Пронесло, слава те, господи...»

— Пронесло,— сказал Силантий и Антону, когда тот, выждав часа полтора, спустился с сеновала.— Как я эту проклятую ложку забыл убрать?

Антон дотошно выспросил все подробности: как сидел Демьян, куда смотрел, что говорил.

— Да, ей-богу, ничего он не допер... Ни один волосок у него не дрогнул.

— Может, так, а может, и здак,— сказал вдруг Федор.— Он, Демьян, как змей хитрющий. Я бы, Антоха, смылся на твоем месте куда поглуше.

— Цыть ты! Куда он с такой лялькой?

— Правду Федьша говорит,— раздумчиво произнес Антон.

— Да куда ты? Как ты с порченой рукой-то?

— Хорошо бы еще помочить ее в твоем вареве. Гноиться перестала, синюшность отходит. Да, может, так теперь, без полива, заживет.

— Может, заживет, а может, обратно гнить начнет,— прежним тоном проговорил Федор.— Потому надо тебе залечь где поглуше и чтоб неподалеку. Чтоб, значит, могли мы незаметно доставлять еду с питьем да варево для руки. Сейчас тепло пока, недели две полежать можно...

— Ишь ты,— усмехнулся Антон, потрепал всклокоченную голову брата. И опять стал задумчивым.— Это бы, конечно, самое хорошее дело, чтобы вылечить ее, проклятую, совсем. А есть такое место?

— Лес большой,— неуверенно проговорил Силантий.— Хотя, конечно, не шибко тут таежно да глухоманно... Мужичишки везде лазают. Особенно бабенки, язви их, за калиной.

— Есть, я думаю, одно место,— сказал Федор.— Кроме чертей рогатых, там ни одной живой души сроду не бывает.

— Где это? — спросил Антон.

— Где? А пещера-то в Змеином ущелье? На Звенигоре. Забыл, что ли? Верхи туда и обратно — до свету обернемся.

— Чего чудишь, чего чудишь? — замотал бороденкой Силантий.— Там этих гадюков на каждом кусту.

— Какие сейчас гадюки, бать? Они давно в норы позалезали, в спячку пошли. Я в лесу третьего дня целый клубок из-под старого пня выковырнул,— будто веревки мерзлые, чуть-чуть разве шевелятся. А на горе еще холоднее. Антону тулуп дадим, одеяло... На неделе раз-другой я буду к нему ездить...

Посудив, порядив так и этак, пришли к одному: лучшего укрытия не найти. Силантий оседлал обоих жеребцов, сунул в мешок несколько ломтей копченого мяса, немного муки, картошки, две булки хлеба, чугунок. Разлил в пустые бутылки, благо бутылок было много, настой из трав. В старый дождевик завернул тулуп, одеяло, подушку.

— С богом, сынок,— сказал он Антону.— Ночью будешь кипятить отвар да греть руку. Днем мотри не разжигай огня — дым увидят. Ты, Федьша, сразу назад, да не гони коней, не запаляй, до свету все равно успеешь вернуться. Не дай бог утром Кафтанов с «собачником» своим заявится да увидит потных лошадей... С богом...

Федор проводил Антона к Звенигоре, к самому ущелью, в густых зарослях, за камнями, привязал лошадей и помог дотащить до пещеры тюк с одеждой. На заимку он вернулся еще затемно. Дождик то переставал, то снова начинал нахлестывать. Федор промок и замерз.

— Слава тебе, господи,— перекрестился Силантий.— Ложись, спи. Только бы черт утром никого не принес.

Ни утром, ни к вечеру на заимку никто не приехал. А утром следующего дня Силантий закричал с улицы:

— Федор! Сынок, выдь-ка...

Федор вышел из дома. Отец, согнувшись, ходил под окнами.

— Потерял чего?

— Нет, нашел вроде. Гляди-ка...

На влажной, не просохшей еще после дождика земле виднелись отпечатки чьих-то следов.

— Ну и что? — пожал плечами Федор.— Я вроде вчерась тут проходил.

— Дурак! У тебя сапоги-то кованые? То-то... А тут, гля, подковка... А это что? Будто кто кол в землю втыкал... Инютина это деревяшка...

Федор почувствовал, как ползет холодный страх по животу.

— Так что ж... Может быть, он позавчерась и прошел тут...

— Позавчерась дождик шел всю ночь, замыло бы. А это свежие, сегодняшние следы. Гля, и тут... Вон, за конюшню повели. И вон, по двору.

Силантий долго ходил по заимке, угрюмо осматривая землю.

— Следят они, сынок,—сказал он, когда вернулись в дом.— Всю ночь выслеживали.

— Кто?

— Не знаю. Но Инютин с имя. Так-таки заметил, прохиндей, что три ложки на столе лежали. Господи, как это надоумил ты Антошку спровадить?! Успели-то как еще?!

До вечера Силантий молчал. И Федор молчал, раздраженно подумывал об Антоне: «Приперся, каторжник... Выпутывайся теперь... А ежели поймают его?»

Ночью они почти не спали, прислушивались, всматривались в темные окна. Но все вроде было спокойно.

Перед рассветом Силантий прошептал тревожно:

— Гля, гля, Федька!.. Очнись ты...

Федор прохватился от дремы, приподнялся на постели.

— Гляди вон в среднее окошко... Не подходи к окну, отсюдова гляди...

За окном стояла темень, и ничего, кроме черноты, не было видно. Потом вдруг пыхнул огонек — неясная какая-то искорка — и погас. Немного погодя опять засветилось... Было ясно — кто-то курил, стоя за деревом.

— А кто? — зашептал Силантий.— Демьян не курит.

У Федора защемило тоскливо сердце. Теперь не от страха даже, а от чего-то непонятного. Если бы не Антон, думал он, скоро, а может быть, даже вот сейчас, этой ночью, весь дом полыхал окнами, гремели бы песни, пьяные голоса, хохот, валялись бы по комнатам, шатались по двору пьяные, растрепанные, полураздетые женщины...

До рассвета отец и сын пролежали в темноте с открытыми глазами, ожидая чего-то. Но ничего не случилось.

Утром Федор сказал отцу:

— Третий день, батя, он там один... Скоро жратва кончится у него. Что делать?

Не успел Силантий ответить, как знакомо застукотали колеса по корневищам.

— Едет, кажись, хозяин со своими...— метнулся к окну Федор.

Кафтанов действительно приехал, но один, без всегдашней компании, и непривычно трезвый. Силантий с Федором выскочили во двор, Федор схватил лошадь под уздцы, а старик хотел принять вожжи. Кафтанов бросил их ему в лицо, соскочил с пролетки и вдруг что есть силы вытянул Силантия плетью.

— Каторжников привечаешь тут, пес вонючий?! Демьян? Инютин?! Где вы, сыщики?

От удара отец пошатнулся, упал на четвереньки.

Откуда-то из-за деревьев выбежал городской жандарм, кургузый, похожий на сову человечек в синей шинели, в фуражке, следом за ним еще двое. У всех болтались, путались между ног шашки. За ними, подпрыгивая на деревяшке, бежал Инютин.

— Ну, сыщики, что ж вы?! Двое суток следили! Ты, господин унтер Дорофеев, чего молчишь?

— Так что, Михаил Лукич, ничего такого не заметили в их поведении,— ответил человек, похожий на сову.— Не знаем, что и думать. А по всем приметам, здесь где-то укрывается беглый Антон Савельев. В здешних местах.

— Тут он, тут, на заимке был, сломать бы мне последнюю ногу! — воскликнул Инютин.— Ранетый же он, а этот хрыч травяной настой варил. От ревматизма, дескать. А запах в избе кровяной был. Я знаю, научился различать, как ранетые люди, у которых раны гноятся, пахнут.

— Да чо городишь-то, Демьян? Одумайся! — прокричал Силантий.— Какой запах, какой ранетый? Побойся бога...

— Ты, каторжный родитель! — налетел на Силантия Инютин, грозя стоптать своей деревяшкой.— А почто три ложки на столе лежали? Кто это третий потчевался у вас? Кто на сеновале-то прятался? Ложка почти горячая еще! Успели, сволочи, укрыть его! Куда, сказывай! — взвизгнул он, замахнувшись костылем.

— Потише ты,— вяло промолвил Кафтанов.— Ежели тут скрывается, узнаем. Ежели раненый, куда он убежит? Распрягайте жеребца, покормите. Ты, Федор,

что там прижался? Тащи чего пожрать. И самогонки по кружке для молодцов сыщиков. Ишь продрогли, ночи-то уж холодные. Растапливай печь, Силантий, живо! — И пошел в дом. За ним, гремя коваными сапогами по крыльцу, двинулись остальные.

...Через полчаса все немного захмелели. На крючковатом носу Дорофеева висели крупные капли пота.

— Из Томской тюрьмы он, Савельев, убежал,— рассказывал Дорофеев.— Нам в Николаевск сообщили: у вас, дескать, объявиться могёт. И объявился. Но улизнул, сволота. Верткий он. В одном месте совсем прижучили его — опять сквозь пальцы проскочил. С перебитой рукой, а уполз. Потом с ваших Шантаров сообщили — тута объявился. Мы — сюда. Пошарили в деревне — нету. Можа, думаем, в Михайловку подался, к родителям. Тоже вроде не заметно. А тут Демьян-то сообчил насчет подозрений. Да вот...

— Дурьи вы башки,— ухмыльнулся в бороду Кафтанов.— А у Инютина — у того и вовсе петушиная. Он давно Силантия с г... съесть хочет, вот и чудится ему. Да разве мне не сообщил бы Федьша, кабы его братец-каторжник тут объявился? Какой ему интерес его скрывать? А где интерес — это Федор, чую я, с малолетства понимать начинает. Парень он молоток. Большой человек с него вырастет, ежели подмочь на первых порах, на ноги поставить. А кто поставить может? А, Федьша?

— Кто же, окромя тебя, Михаил Лукич,— сказал Федор, подавая на стол еще две бутылки самогону.

— Правильно. Садись-ка, парень, рядом. Отныне вообще твое место рядом со мной. По левую руку. По правую-то Зиновий у меня, понятно, сын родной... Вот подрастешь с годок-полтора еще — с Зиновием подружу тебя, хочу, чтобы друзья вы были.

Федор сел за стол рядом с Кафтановым.

— А этих сыщиков ты прощай, дурачье ведь. Неужто ты бы не сказал мне, коли непутевый брат твой тут объявился?

Силантий, ставивший в печь чугунок с водой, громыхнул ухватом, невольно глянул на сына. Но Федор даже не заметил отцовского взгляда.

— Сказал бы. Чего мне...— промолвил Федор.

— Ну, тогда и говори,— тем же тоном, мирно и дружески, произнес Кафтанов.

— Да чего ты... об чем? — испуганно начал было Федор.

— Не крути глазами-то! — закричал вдруг Кафтанов и сразу схватил огромными ручищами Федора за горло.— Мудрец-молодец, кого перехитрить хочешь?! Соплей еще не накопил, чтоб громко высморкаться, а туда же... Говори, где твой брат-каторжник?!

— Федька! Федор! — умоляюще вскрикнул сбоку отец.

Но не голос отца, не его насмерть испуганные глаза вдруг злостью и гневом что-то вскипятили внутри Федора. Он вообще не понял в эту секунду, что с ним произошло, дернулся, пытаясь освободить шею из мертвой хватки потных кафтановских рук, закричал пронзительно:

— Убери лапы, гад такой!!

— Что-о! — удивился Кафтанов.

Федоровы слова и голос были, видимо, настолько неожиданны, что Кафтанов чуть ослабил пальцы. Почувствовав это, Федор дернулся еще раз. Жесткие ногти Кафтанова до крови разодрали кожу на шее, но Федор вырвался все-таки, в два прыжка отскочил к дверям.

— Поросятник! — еще раз вгорячах выкрикнул Федор. Потер шею и поглядел на закровеневшую ладонь.— Еще лапается...

Кафтанов свирепо нагнул голову, громко засопел, сдернул со стены плеть. Федор сиганул с крыльца, метнулся стрелой за конюшню, оттуда — в лес.

* * *

До самой темноты он пролежал в глухом таежном овраге на ворохе сухих, опавших листьев, раздумывая: что же произошло? Он понимал, что с Кафтановым все покончено. «Житье-то на заимке было благодать...— метались у него в голове обрывки мыслей.— А там бы, дальше-то, и вовсе... Все могло быть... Анна под-

росла бы... А теперь что? Антона этого черт принес... Не могли его не в руку, а в другое место...» Федор аж зубами скрипел от обиды.

Неожиданно он почувствовал голод. «Куда мне теперь? На заимку? А ежели Кафтанов там? В деревню? А ежели они, жандармы эти да Инютин, ждут дома? К Антону, может? А что у него? Сам все съел, зубами сейчас щелкает. И потом — ежели на след наведу? Черт их знает, возьмут да подследят за мной. Нет, нельзя к Антону. Тогда-то уж точно будет известно, что знал я про Антона. А так еще обойдется, может. Батька, тот режь — не скажет... Уберется Антон, и забудут все про это. Кто его видел-то у нас? Никто... Да нет, теперь уж не обойдется. Как же я не сдержался-то, да еще гадом, поросятником обозвал Кафтанова?! Не до смерти же он задавил бы меня...» Федор был ненавистен самому себе.

Еще полежав, он решил идти в деревню.

Над головой в просвете между деревьями мигали холодные, тусклые звезды. Временами налетал ветер-шатун, трепал вершины мохнатых сосен и голых уже почти берез. Лес жутко и угрюмо шумел. Но Федора не пугали эти звуки, не боялся он и встречи в темном лесу с ночным зверем. Он просто не думал об этом, потому что думал все время о другом: «Как же, как же я не сдержался? Обошлось бы, обошлось...»

К Михайловке Федор подошел почти перед рассветом, пробрался задами на свой огород, долго лежал под ветхим плетнем, прислушиваясь. Над деревней стояла мертвая тишина, казалось, что за несколько месяцев, пока он здесь не был, деревня обезлюдела, от неведомой болезни вымерли и люди, и собаки, и вся скотина, всякая живность...

Но нет, петухи, оказывается, не вымерли. Где-то далеко, на другом конце деревни, заставив Федора вздрогнуть, кукарекнул один, ему откликнулся другой, третий... Петушиный звон стоял над деревней минут пять и так же неожиданно оборвался, как и возник.

Когда начало светать, скрипнула дверь в сенцах. Федор узнал этот звук и еще плотнее прижался к земле, намереваясь в случае чего вскочить с земли, перемахнуть через плетень, а там по чужим задворкам снова в лес. Кто-то неслышно вышел во двор, двинулся в дровяник. Вглядевшись сквозь серую муть, Федор узнал мать, бесшумно поднялся.

— Мама...

— Господи?! Кто это?

— Я это...

— Феденька... Сынок! — Мать подбежала к нему, жесткими пальцами начала ощупывать его голову.— А батьку-то... увезли вчерась днем! Эти, жандармы... В Шантару увезли. А где Антошка-то? Что с ним? Рука у него поджила аль нет?

— Тише, мама... Значит, никого тут нету?

— А кому быть здеся? Я да Ванька... Наревелся он вчера, как батьку повезли. Демьян Инютин лучшую бричку запряг, не пожалел... Вся деревня взбаламутилась, чуть не до Звенигоры толпой, сказывают, рестанта провожали. Что теперя будет, Феденька? Антон ушел, что ли, с заимки? Болтают — не нашли его там жандармы эти.

— Ушел... На Звенигоре он, в пещерку мы его с батей спрятали. Голодный, однако, другой день сидит.

— Да как же? Голодом-то? Феденька...

— Тише ты! — прикрикнул Федор на мать.— Я тоже не сытый. Дай чего пожевать. Жандармы уехали, значит?

— Ага, вместе всех Инютин и отвез. Обратно пустую бричку пригнал.

— А сам Кафтанов в деревне?

— Не видно вроде. Бог его знает.

Сидя за столом, Федор чувствовал, как сами собой закрываются от усталости глаза. Есть вроде уже и не хотелось. Пожевав хлеба, он отодвинул чашку с мятой картошкой.

— Глаза слипаются, мам... Я, почитай, две ночи не спал.

— Может, сынок, пересилишь себя да Антошке снесешь чего поесть? — несмело спросила Устинья.

— Не помрет до вечера.

— А может, уйти ему куда от греха подальше? Спрятаться получше? Ты бы обсказал ему все...

— Лучше не спрячешься. Он ведь в Змеином ущелье сидит.

— Батюшки! Сдурели вы с батькой! — побледнела Устинья.— Да ить змеи гремучие заедят...

— Ничо не заедят, мам,— послышалось вдруг из темного угла. Там под рваным тряпьем спал десятилетний Ванька.— Мы туда прошлогод ходили осенью, Федька вон водил. Страху-то я натерпелся! А зря... Спят они осенью, змеюки-то...

— Как ходили? — обомлела Устинья.— Куда ходили?

— В ущелье это.— Ванька сел на своей постели, зевнул, стал протирать кулаками глаза.— Больша-ая, мам, ямина там, мешок такой каменный. Федька показывал...

— Ах ты паразит такой! — рассердился Федор.— Я для этого водил, чтоб ты рассказывал, да?!

— Чего ты? Я только говорю, что не обкусают Антона... И тебе, однако, там надо схорониться. Мне Кирька Инютин вчерась сказывал: «Тятьку твоего рестовали, и Федьку, говорит, вашего зарестуют, ежели поймают».

— Погодь-ка.— Федор подошел к братишке, сел на корточки перед ним.— Еще что он тебе говорил?

— Еще чо? «Еще, говорит, пытать вас с тятькой зачнут, чтобы признались, где Антошка затаился. Скипятят, говорит, чугунку воды да ноги-руки ваши будут туда совать...»

— Замолчи! — Устинья затрясла маленькой головой.— Чего ты слушаешь болтунов всяких? Где это видано, чтобы людей... живьем-то в кипяток?

— Мне что? Он говорил — я слухал. Эта Анфиска толстомясая, которая рядом с Инютиными-то живет, ка-ак ударится в рев. От страха. А я не плакал, потому что не поверил. Только потом уже, когда тятьку повезли, жутко стало... А вдруг да правду в чугунку? А, Федька?

— Врет он...

— Ага, и Анфиска после сказала, что врет. Это когда уж тятьку повезли. «Ты, говорит, не хнычь, брешет все Кирька, токо, если Федька объявится, не сказывай Кирьке...»

— Это почто же? — нахмурился Федор.

— А Кирьке отец последить велел, не появишься ли ты в деревне. Он, соплюха такой, вчерась весь день возле нашей избы крутился. И у меня сколь разов спрашивал, не приехал ли ты с заимки.

— А ты... а ты что?

— Дак тебя не было... Нету, говорю.

— А если бы приехал? Что бы ты? Сказал?

— Со всех ног побежал бы доносить... Еще разулся бы, чтоб легче бежать.— Голосишко его дрожал и рвался от какой-то мальчишеской ненависти.— Он, конопатый гад, фабричными ботинками хвастается. Отец ему нынче купил в Шантаре. Черные, как деготь, с узором на носках, а подошвы желтые...— Ванька помолчал, подумал о чем-то и продолжал:— Носки с узорами, а ровно железные. На той неделе мы в похоронки играли. Мы вместе с Анфиской и схоронились за амбаром. Еще Анна Кафтанова с нами. Он нашел нас да ка-ак пнул меня под зад ботинком своим... «Не хоронись, говорит, вместе с Анфиской». Зараза такая... А к Антону, когда еду понесешь, возьми меня, а? Али давай я один схожу, снесу ему. Я ить знаю, где та пещера... А ты поспи...

— Я те пойду! — строго произнес Федор, поднимаясь с корточек.— Еще не все гадюки заснули-то... И заикнись у меня кому, что я дома...

— Я что, дурак? — обиженно сказал мальчишка.

...До вечера Федор проспал на чердаке. Когда открыл глаза, то первое, что увидел,— тоненький пучок света. Он пробивался сквозь дырку в крыше и перечеркивал наискось, снизу вверх, темное пространство чердака. В этом лучике густо плясали пылинки.

«Вечер уже»,— понял Федор. Он не раз видел этот лучик и знал, что утром он перечеркивал чердак сверху вниз, в полдень тянулся прямо от одного края дощатой крыши до другого, а к вечеру полз вверх.

Было душно, пахло пылью и сухими березовыми вениками, которые связками висели под самой крышей.

Федор прислушался — в избе стояла тишина. Только на улице, рядом с избой, кричали ребятишки. «В бабки играют,— определил Федор, различив голос младшего брата.— Опять Ваньке под зад ботинком даст Инютин этот, сволочь, ежели проиграет. Ишь как орет...»

В голову ему плеснулась злость. «Распинался, паршивец такой... Я те отверну за Ваньку нос вместе с головой! Запищишь!» Одновременно с этим Федор вспомнил, как душил его вчера утром Кафтанов своими ручищами. «Гад-поросятник! — больно застучало у него в висках, гнев и обида захлестнули Федора.— Все бы вам под зад нас да за горло... Привыкли, сволочи... Вон, шею не повернуть, всю покорябал когтями. Еще бы маленько — до хрящей продрал. Ну, погоди, погоди, я тебя тоже как-нибудь за горло-то ухвачу...»

Федор пощупал шею. Раскорябанные места присохли, но во время сна короста в каком-то месте, видимо, оторвалась, и, едва Федор коснулся шеи пальцами, кожу сильно защипало. Это еще больше распалило его. «Ишь, обезьяна волосатая, изуродовал как! Нет, погоди, и я тебя ухвачу аа жирную шею, не так еще раскровеню... А то — где Антон! Найдете вы его, как же... Разевайте рот пошире, чтоб мимо не пролетело...»

Искорка гнева, вспыхнув по случайности (не услышь он ребячьих голосов, может, и не вспыхнула бы), разгоралась в целый пожар. Федор не помнил уже, что совсем недавно завидовал разгульной жизни Кафтанова, что где-то внутри копошились, неясно волнуя, различные жизненные планы, что он готов был служить Кафтанову, который обещал сделать из него человека...

Сейчас все это застилали обида и гнев. Он и не подозревал в себе до настоящей минуты таких чувств. «К Антону быстрей надо,— думал он.— Сказать, чтобы уходил с пещеры... Как же это я? Надо бы с утра прямо, не сдох бы, еще не поспавши... Чугунка не чугунка, а ежели и вправду батю в такие шоры возьмут, что проговорится? Вот тогда-то обрадуется Кафтанов, раззявит волосатый рот, ежели поймают Антона. Ну, нет, выкусишь у меня...»

Федор слез с чердака. Услышав шаги в сенях, Устинья выскочила из избы.

— Ты? Я думала, господи... На задвижку я сейчас...

— Тихо, мама... Ваньку зачем на улицу пустила?

— Так Инютина Демьяна разов пять парнишка торкался — айда да айда в бабки играть. «Чо, грит, седни сидишь, как домосед?» А сам зырк да зырк по избе. Я грю: «Иди, Ванюшка, поиграй», а то еще, думаю, подумает... Да ничего, он, Ванька, смышленый, не скажет...

— Что ж, ладно,— сказал Федор.— Собери чего там для Антона. Я сейчас к нему...

— Федюшка?!

— Ничего, я задами, а там по кустам, по балкам...

...Через несколько минут Федор, прижимая к боку узелок с булкой хлеба и куском сала, проскользнул через огород, махнул за плетень, в заросли дикого конопляника, полежал там и по пустынным переулкам побежал за деревню.

Все вроде было хорошо, никто его не заметил. За деревней, по травянистому овражку, он дошел почти до Громотухи и зашагал по-над берегом к Звенигоре, уминая на ходу мягкую краюху и время от времени оглядываясь.

Раза два или три он замечал сзади и сбоку от себя одинокие фигуры каких-то людей. Но они были далеко, в полуверсте, если не больше, и Федор не волновался. Мало ли какие люди бродят по степи...

Заволновался он, когда, подходя уже к Звенигоре, почти к самому ущелью, оглянулся и увидел сзади верхового. «Инютин Демьян!» — обожгло его. Человека на коне закрывала тень, отбрасываемая скалой, лица всадника было не различить. Но глаза у Федора были зоркие, и деревяшку вместо ноги он все-таки разглядел.

Федор растерялся и побежал. Ему надо бы уж идти да идти мимо ущелья и мимо Звенигоры, а там придумал бы что-нибудь — куда шел и зачем,— но он побежал, выдав себя этим с головой. Инютин гикнул и скоро догнал его, чуть не стоптав, как раз у входа в ущелье. Загородив дорогу конем, он сполз на землю, высморкался.

— Суразенок паршивый,— сказал он совсем миролюбиво, опростав обе широкие ноздри.— Я ить знал, что ты еще ночью домой приполоз. Матка-то твоя, как мышь, возле дома шныряла, а на лице все написано. Антиресно было только, совсем каторжник ваш с этих мест убрался али припрятали где его. Ежели совсем, ловить нам его бесполезно, ежели нет — беспременно жрать ему понесешь.— Инютин вырвал из рук Федьки узел и стал разматывать.

Сзади подбежал, запыхавшись, унтер-офицер Дорофеев. С него ручьями лил пот, он сдернул фуражку — мокрые волосы его аж дымились.

— Что вам надо? — опомнился наконец Федор, крутнулся на дороге.

— Не балуй-ка, парень,— сказал Дорофеев и расстегнул кобуру.— Догоню все равно из этой штуки.

— Да что привязались-то? Я в Шантару, про батьку узнать...

— Уф! — опустился Дорофеев на каменный обломок возле дороги.— Замытарил ты нас, Инютин, со своей слежкой. А беглый, поди, уж за сто верст отсюда...

— Тута он, милый, в горе где-то сидит,— сказал Инютин, обнюхивая кусок застарелого сала.— Ежели б в тайге схоронили где-то, этот сопляк туда бы потянулся. А он — в эту сторону. А тут, кроме Звенигоры, где спрячешься?

Жандармы тоже присели на землю, выставив обтянутые синим сукном тупые коленки. Все были смятые и грязные, видно, что все давно не спали. Федор даже злорадно усмехнулся.

— Что там у него? Сало, что ли? — спросил один из жандармов.— Ваш благородь, разрешите перекусить.

— Ешьте.

Инютин кинул жандармам булку, потом сало. Один из них вытащил шашку, положил сало на булку и начал резать его на тонкие пласты. Резал умело,— видимо, это ему было привычно.

Несколько минут жандармы, тихонько чавкая, жевали, Инютин с Дорофеевым молчали.

— Ну, так что мы выследили-то, Инютин? — спросил Дорофеев.— Не пойму я что-то. Тот старый пень ничего нам не сказал, и этот выкормыш, по глазам вижу, ничего не скажет.

— Этот скажет,— усмехнулся в лисью бородку Инютин. Было в этой усмешке, в ледяном блеске его мокроватых глаз что-то до того зловещее, что Федор почувствовал, как тоскливо заныло в груди.— Он скажет, если жить охота. А неохота — прирубим потихоньку шашками да в ущелье вон Змеиное кинем. Искать там никто не будет. Дай-ка мне шашку-то, я сперва чуть пощекочу его,— протянул он руку к жандарму, который резал сало, повернулся к Федору:— Что ты с лица-то сошел, дурачок? Ты не бойся. Настругаем с тебя ломтиков, как с того куска сала, и все. Больше ничего делать не будем.

«И настругает... Настругает!» — с ужасом стучало в Федькиной голове. Он все пятился от Инютина к нависшей над дорогой скале, а Инютин, не торопясь, припадая на деревяшку, не улыбаясь больше, держа перед собой шашку, как копье, шел к нему.

Федор уперся спиной в каменную стену и почти одновременно почувствовал на своей груди острый, горячий кончик шашки. Первой и единственной мыслью было — отшвырнуть прочь это длинное стальное жало от груди или выхватить шашку да рубануть самого Инютина по злобно сверкающим глазам. И руки Федора сами собой сделали какое-то движение.

— Не копошись! — ударил в уши хриплый голос Инютина.— Пальцы-то обрежешь, просыпятся, как стручки, на землю... Говори, где он, политик ваш вонючий, куда спрятали?

И руки Федора опали, как плети. Он чуял, что кончик шашки прорезал ему рубаху, прорезал, видно, и кожу, достал до ребер, потому что по груди, по животу пробежала обжигающая струйка.

«Хоть бы вывернулся кто по дороге из-за скалы, подвода какая-нибудь, чтоб увидели, что они со мной делают...»— замелькало в голове у Федора, и ему даже почудилось, что где-то недалеко стучат тележные колеса, он глянул в сторону на дорогу... Но звук тележных колес пропал, на дороге никого не было, кроме Дорофеева и двух жандармов. Они сидели на прежних местах, жандармы, не об-

ращая внимания на Федора с Инютиным, лениво дожевывали сало, один из них вытирал руки о полы шинели. А дальше, за жандармами с Дорофеевым, была Громотуха. Противоположный берег освещен солнцем, вода у того берега будто сплошь засыпана подсолнуховым цветом...

Все это запечатлелось в мозгу Федора мгновенно, за одну секунду. И еще мелькнула почему-то Лушка Кашкарова, даже не сама Лушка, а вспухли вдруг перед глазами ее голые груди, он услышал их запах, и почудился ему тихий, зовущий голос: «Федька... Федька... Чего испугался-то, дурачок?» Потом Лушка исчезла, замелькали перед глазами голые женщины, которые выскакивали из бани и, хохоча, прыгали в озеро, зазвенел в ушах другой голос, хриплый, глуховато-густой: «Но человека сделать из тебя могу, ежели верой и правдой служить будешь... Демьяну замену готовить надо... К тебе вот приглядываюсь...»

— Да что ты шашку-то книзу острием держишь? — вдруг перекрыл этот хриплый голос крик Дорофеева.— Ты ее плашмя поверни, она и пойдет между ребер, как в масло...

И Федор почувствовал, как горячее железо, раздирая кожу на груди, начало буравить между ребер.

— Последний раз спрашиваю: где Антон затаился? — пробарабанило в уши.

И он, Федор, сказал бы, не выдержал и наверное бы сказал, где прячется Антон. Но в это время рядом раздалось:

— Вот он я... Не трожьте мальчишку, сволочи.

Федор облегченно рухнул на землю. Он слышал какие-то возгласы, крики, топот ног и бряканье железа. И когда приподнял голову, увидел Антона, закопченного костерным дымом, похудевшего. Он стоял перед ним, держа руки за спиной.

— Я не виноват, братка,— поднялся с земли Федор.— Я не виноват... Я тебе хлеба понес, а они — следом... Они выследили... Но я ничего им не сказал, ты же слышал...

— Я все видел, все слышал. Спасибо тебе,— произнес Антон хмуро и невесело.— Ничего, Федор. Что ж теперь... И отцу за все спасибо скажи...

— Давай, давай! — ткнул Антона в плечо Дорофеев.— Темняется уже, поспешать надо.

От толчка Антон сделал несколько шагов назад, чуть не упал. Когда он повернулся спиной к Федору, тот увидел, что Антон не просто держит руки за спиной, они в запястьях схвачены железными обручами, соединенными стальной цепью. «Вон что! В кандалы одели! Вон они какие, кандалы-то...» — испуганно заколотилось у него сердце, будто это ему самому надели наручники.

— Что вы делаете?! У него ведь рука болит... Рука...— И Федор бросился к Антону, будто в его власти было снять с брата эти железяки.

— Заткнись ты! — двинул его плечом один из жандармов.— Сделал свое дело — и помолчи...

Федор отлетел в сторону, запнулся об торчавший из земли какой-то корень, упал на бок, сильно ударился головой об дорогу и потерял сознание.

* * *

Для всех в доме, кроме, может быть, Семена, поступок Андрейки был полной неожиданностью. Никто не замечал каких-либо его приготовлений к побегу на фронт. И когда испуганный Димка прибежал из школы и сунул матери Андрейкину записку, Анна долго не могла взять в толк ее содержания. А когда до нее стал доходить смысл Андрейкиных каракулей, она подняла бровь, потом другую, уронила сразу отяжелевшие руки и, бледнея, закричала:

— Ах он змей пустоголовый!..

Кинувшийся на станцию Димка столкнулся на улице с Колькой Инютиным. Тот шел из школы. Грязные, потрепанные учебники были засунуты под брючный ремень, в руках он держал какую-то фанерную коробку.

— Во крыса! — потряс он коробкой перед Димкой.— Хвостище полметра, ровно змея. На рогатку и две лощеных тетради выменял. Завтра на уроке немецкого выпущу. Вчерась немка неуд закатила мне, зараза. Я говорю: не буду фашистский язык учить, а она... Ну, повизжит она у меня!

— А у нас Андрейка на фронт убежал! — крикнул Димка.

— Чего-о? — Николай прочертил в воздухе крючковатым носом.— А ты куда?

— А на станцию, Андрейку ловить... Может, не успел еще убежать.

— Погоди, я с тобой! Крысу только отнесу.

Прибежав домой, Колька сунул коробку с крысой в потайное место в сенцах, заскочил в дом, бросил на стол учебники, сообщил потрясающую новость сестре и кинулся догонять Димку. Вера помедлила чуть, надела косынку и тоже побежала на вокзал.

Семена Димка с Николаем встретили на выезде со станции, замахали руками, требуя остановить трактор. Почуяв неладное, Семен выскочил из машины. Поняв, в чем дело, он даже присел на гусеницы трактора.

— Понятно... Мне бы, дураку, голову-то отвернуть. Ведь он, шпингалет, при мне говорил недавно о поездах... Как же это мы не заметили его сборов? Вы-то как не заметили?

— Уследишь за ним, держи карман... Он знаешь какой хитрющий,— почти враз сказали ребята.

Оставив трактор на дороге, Семен тоже побежал к вокзалу.

Но спешили они туда уже напрасно. К этому времени Андрейка был далеко. Лежа на платформе между какими-то деревянными ящиками, он слушал звонкий стук колес, смотрел на вечереющее небо и размышлял, скоро ли будет Новосибирск.

Вся сложность была в том, что Андрейка не знал, куда пойдет этот состав из Новосибирска — в сторону фронта или дальше на восток. Спрашивать у кого-то в Шантаре поостерегся. Но что не минует этого города, знал наверняка и поэтому не особенно волновался. Ему бы только добраться до Новосибирска, а там уж он найдет именно тот состав, который отправится в сторону фронта. На этот счет у него был не раз продуманный и поэтому абсолютно верный, как он считал, план. Только не проспать бы этот чертов Новосибирск!

На ногах у него были добротные, почти новые сапоги, на голове — теплая шапка, на плечах — суконная тужурка. Под головой лежал вещевой мешок, в котором находились три с половиной булки хлеба, кусок сала, несколько морковок, две луковицы, соль в тряпочке, спичечный коробок, ложка, кружка и котелок, с которым он не раз ходил на рыбалку. И еще были кое-какие мелочи, необходимые в дороге. Собирался Андрейка долго и основательно, оделся тепло, понимая, что путь предстоит дальний, ночами уже холодно, может быть, даже зима застанет его в дороге. Но все-таки больше полутора недель на дорогу не клал, а там, когда он явится в какую-нибудь воинскую часть, ему выдадут обмундирование и все прочее, что положено бойцу Красной Армии.

План его состоял из трех частей. Часть первая — добраться из Шантары до Новосибирска. Часть вторая — добраться из Новосибирска до Москвы. Выполнить эти две части — плевое дело. Что касается третьей — добраться из Москвы до фронта,— тут дело обстояло несколько посложнее. Фронт, как писали газеты и говорили по радио, проходит недалеко от Москвы. Но ходят ли туда, на фронт, поезда — вот в чем вопрос.

Впрочем, и об этом он особенно не тревожился. Раз фронт не так далеко от Москвы, он, Андрейка, в крайнем случае, дойдет до него из Москвы пешком.

Таким образом, все было просто, ясно, легко осуществимо. Карька-Сокол, дурак горбоносый, в военкомат ходил. А что они там, в военкомате, понимают? А он вот запросто вскочил на платформу — и поехал. И доедет! Разинет рот-то Колька, когда узнает! Ничего, пущай завидует, соображает. А сообразив, сделает, как он.

Жалко Андрейке лишь мать немного. Отец, понятное дело, заворочает от гнева глазами, запыхтит, как паровоз, закричит. Да пусть кричит, не угонится теперь. А мама... Она расстроится, заплачет... Зато когда он после войны вернется с фронта в красноармейской форме, обветренный, пропахший пороховым дымом... да, может, еще с настоящей шашкой, как у Чапаева?! А что, запросто могут дать ему именную шашку, если он отличится в боях, если подвиг какой совершит. Да еще бы орден... Что ж, и орден могут дать. Вот бы все глаза на него выпучили, когда он придет с шашкой на боку, в папахе и при ордене! У Димки от

зависти черные скулы пойдут пятнами, у Карьки-Сокола зашевелится горбатый нос и глазищи задымятся, Семен от удивления захлопает глазами. А мать от радости и гордости за него, Андрейку, будет улыбаться, улыбаться, чуть смущаясь, из глаз ее будут и будут литься светлые лучики. А отец? А Верка, Колькина сестра?! А эта долговязая Ганка, что живет у них?! А ребята в классе!

Небо все темнело, колеса все стучали, и Андрейка, глядя на проступающие в вышине звезды, начал думать, что может ведь случиться и так: вечером отец... или нет, лучше Семен, придет с работы, откроет газету и ахнет — в газете сфотографирован он, Андрейка! Он пока еще без шашки, но в красноармейской форме, а рядом с ним Михаил Иванович Калинин. В одной руке Калинин держит коробочку с тем самым орденом, а другой жмет ему руку и улыбается. И сам Сталин стоит рядом и тоже улыбается и смотрит на него, Андрейку... «Отец! Мама! — заполошно вскричит Семен.— Да вы глядите, глядите!» Да, очень, очень будет жалко, что он, Андрейка, не увидит в этот момент выражения лица ни Семена, ни отца, ни матери...

Убаюканный равномерным стуком колес и этими сладкими мыслями, Андрейка прикрыл глаза и, улыбаясь, заснул. Спал он спокойно и безмятежно и во сне тоже улыбался.

Проснулся от пронзительного визга паровозных гудков, протер кулаками глаза. Колеса под ним не стучали, поезд стоял. Андрейка на коленях подполз к краю платформы и, чуть свесившись через деревянный борт, глянул вправо, влево, но в полутьме разглядел только длинную вереницу товарных вагонов. Он кинулся к другому краю платформы и снова увидел такие же вагоны. Тогда он вскарабкался на невысокий ящик, встал во весь рост. Всюду вагоны, вагоны, целое море вагонов, тускло освещаемых кое-где торчащими на высоких столбах прожекторами. Во многих местах густо дымили паровозы, белый дым был хорошо виден в жидком электрическом свете, он столбами уходил в низкое черное небо, точно подпирая его, и потому черная, беззвездная темнота не могла упасть на землю.

Справа, за паровозными дымами, за морем горбатых вагонных крыш, виднелось огромное, длинное, в два или три этажа, здание, залитое ярким светом таких же прожекторов. Андрейка своими зоркими глазами различил там составы из пассажирских вагонов, понял, что это вокзал. «Новосибирск!» — решил он, схватил вещевой мешок и спрыгнул на землю.

Высматривая тормозные площадки, он перебирался через составы, нырял под вагоны. Понимая, что каждый состав может в любую минуту тронуться, он проползал под вагонами стремительно, ушибая колени и голову, волоча по земле мешок.

Между двух каких-то составов он встретил женщину с фонарем в замасленных стеганых брюках и телогрейке. В другой руке у нее был молоток на длинной рукоятке. Она освещала фонарем вагонные колеса, а молотком простукивала их.

— Тетенька, это Новосибирск? — спросил у нее Андрейка, чтобы уже точно удостовериться, куда он приехал.

— Новосибирск. А ты чего тут шаришься? — строго спросила она, осветила его фонарем, за желтым стеклом которого торчал свечной огарок.— Уголь с вагонов воруешь?

— Нет... Я только что приехал.

— Из эвакуированных, что ли?

— Ага,— кивнул Андрейка.

— Ну и ступай на перрон, там ваши выгружаются. Нечего тут шариться, ишь шустрый какой!

И она пошла дальше, простукивая колеса.

— Тетенька, а в какой стороне Москва, вы не скажете?

— Чего, чего? — удивленно спросила женщина.— А зачем тебе?

— Надо мне...

— Постой-ка, паренек хороший,— произнесла она и двинулась к нему.

Он быстро нырнул под состав, под другой, под третий, прыгнул на какую-то платформу с лесом, лег плашмя вдоль торцевого борта, затаился, прислушиваясь. «Надо же, чуть не нарвался! Конечно, около Москвы — фронт, сразу догадалась. Нет, спрашивать больше ничего ни у кого нельзя».

Немного полежав, он понял, что никакой погони за ним нет, успокоился и стал думать. Что ж, первая часть его плана выполнена блестяще, надо приступать ко второй.

Почувствовав голод, развязал мешок, отломил краюху хлеба, вынул морковку и начал есть. Хлеб и морковка пахли почему-то керосином. Он не сразу догадался, что это пахнет не хлеб и не морковка, что он запачкал в мазуте руки, когда лазил под вагонами.

На платформе было хорошо и уютно. С одной стороны невысокий деревянный борт, окованный толстыми железными полосами, с другой — толстые бревна. Торцы третьего ряда бревен на полметра выступали над двумя нижними, образуя нишу. Андрейка залез в эту нишу, растянулся, примеряя ее. Да, хорошо бы здесь ехать до самой Москвы, под себя можно положить сена — вон соседняя платформа с тюками прессованного сена, он бы надергал немного. И на остановках черта с два кто заметит его под бревнами. Только вопрос — куда следует этот состав? В Москву или совсем в противоположную сторону?

Из ниши вылезать не хотелось. Андрейка лежал тихо и размышлял. На этой платформе лес, на соседней — тюки с сеном, а дальше бензиновые цистерны. Куда сейчас могут везти лес, сено и бензин? Конечно, на фронт. Лес — для блиндажей, сено для кавалерийских лошадей, бензин — для самолетов.

Так-то так, а вдруг все-таки состав следует в противоположную сторону? Нет, сначала надо узнать, в какой стороне Москва.

Узнать это согласно его плану было проще простого: надо пойти на перрон и посмотреть, в какую сторону отходят пассажирские поезда, на стенках которых прибиты таблички: «Владивосток — Москва», или «Иркутск — Москва», или «Новосибирск — Москва». А потом следовало высмотреть любой товарняк, двинувшийся в ту же сторону, и, пока он не набрал скорости, прицепиться на него.

Андрейка с сожалением вылез из своей ниши. Наступал рассвет, черное небо над головой светлело, паровозные дымы стали будто выше. Он спрыгнул на землю и, перебираясь через составы, направился к вокзалу.

Когда уже почти вышел на пассажирскую платформу, мимо прогрохотал поезд. Паровоз появился неожиданно, словно вырос из-под земли, сипло и свирепо загудел. Этот рев застал Андрейку посреди путей и словно пригвоздил к месту. Паровоз быстро приближался, стремительно увеличиваясь в размерах. Андрейка видел его черный плоский круглый лоб, красную, похожую на свирепый оскал решетку над передними колесами-бегунками, короткую, конусом книзу, трубу, из которой моталась грива черного дыма. Он все видел, он понимал, что паровоз сейчас сомнет и раздавит его, как муху, но с места двинуться не мог, ноги его словно прикипели.

Как и когда Андрейка успел отскочить в сторону, он не помнил. Почувствовал только, что его обдало ветром и жаром, да увидел, как чумазый машинист, блеснув глазами, погрозил сверху, из своей будки, черным кулаком.

Андрейка проводил взглядом машиниста и виновато опустил голову, слушая, как часто колотится от испуга сердце. Поезд все грохотал и грохотал мимо — состав был длинный.

Но едва приподнял голову, тотчас забыл и про машиниста и про свой испуг. Танки! Танки! На открытых платформах пролетающего мимо поезда стояли танки! А танки — это не лес и не бензин, в тыл их не повезут. Конечно же, этот состав идет в сторону Москвы, на фронт! Вот, оказывается, как еще можно узнать, в какой стороне фронт! А он, болван, в своем плане этого не предусмотрел, он надеялся это узнать с помощью табличек на пассажирских поездах. Вот дурак, вот дурак!

Андрейка крутнулся от радости, заспешил назад, снова перелезая через тормозные площадки, ныряя под вагоны. «Отыскать, отыскать ту платформу с лесом...— мелькало у него в голове.— Состав приметный — лес, бензиновые цистерны, тюки прессованного сена. Если состав тронется в противоположную сторону, чем этот, с танками, сразу соскочу и сяду на другой какой-нибудь. А если в ту же, это будет удача из удач. Там, под бревнами, тепло и тихо. И от дождя мало-мальски укрытие... Только где он, тот состав? Неужели ушел? Неужели ушел?»

Железнодорожный состав, в котором была так полюбившаяся Андрейке плат-

форма с лесом, стоял на месте. Андрейка отыскал его, когда совсем рассвело, забился в свою нишу, вытянувшись во весь рост, и блаженно улыбнулся. «Ну вот...»

Состав стоял еще долго,— может, час, может, два. Андрейка лежал терпеливо. Наконец послышался глухой металлический лязг, эти звуки все нарастали, приближались, платформа, на которой устроился Андрейка, дрогнула, тронулась с места. Металлический грохот, затихая, уплыл в хвост состава. Редко и тихо пока начали стучать на стыках рельсов колеса.

Андрейка выполз из своего укрытия, глянул вправо, влево. И засмеялся облегченно: состав двинулся именно в ту сторону, куда прогрохотал эшелон с танками.

Через несколько минут состав миновал выходные стрелки и начал набирать скорость. Мелькнули последние станционные постройки, проплыла мимо какая-то церковь, все быстрее потекли назад маленькие деревянные, почерневшие от дождей домишки. И вдруг совсем неожиданно состав загремел по огромному железнодорожному мосту.

Такого большого моста и такой широкой реки Андрейка еще не видел. Это не то что Громотуха, раз в пять, наверное, пошире. Вон и пароходы по ней ходят.

Андрейка смотрел сквозь мелькавшие фермы на большой белый пароход, за которым тянулся пенящийся след, на тяжелые, свинцовые волны, которые расходятся от бортов в разные стороны, и вдруг почувствовал, что хочет пить. «Эх, черт, как же я? — угрюмо подумал он.— Надо было там, в Новосибирске, набрать воды. Ну ничего, где-нибудь поезд остановится же, и наберу».

Скоро остались позади и мост, и река с пароходом, и город, поезд шел теперь степью. Вдалеке мелькали деревушки, но Андрейке глядеть на них надоело, он встал и осторожно перебрался на платформу с тюками прессованного сена. Тюки были сложены пирамидой, каждый тюк крепко прошит толстой проволокой. Он попробовал надергать из тюков сена, но это ему не удалось. Рискуя сорваться, он облазил всю платформу, надеясь найти где-нибудь распустившийся тюк. Но не нашел, вернулся назад. «Ладно, и без подстилки доеду. Подумаешь...»

А пить между тем хотелось все сильнее. Во рту сохло, язык сделался шершавым. Вагонные колеса стучали и стучали не переставая, нагоняя дремоту. Но и спать Андрейка не мог. Едва закрывал глаза, чудился ему тот белый пароход, рассекавший тупым носом тяжелые волны неизвестной реки, и пить хотелось еще сильнее.

А состав, как назло, часто пересекал небольшие речки и речушки. Они хоть были и небольшие, но из них могли напиться, думал Андрейка, и сто, и двести, и тысяча человек. Ах, если бы поезд взял да остановился по какой-нибудь причине возле одной из речушек!

Но возле речек состав не останавливался. Он вообще не останавливался долго, может быть, несколько часов. Солнце, во всяком случае, поднялось высоко, оно освещало унылые, пустынные поля, колхозные пашни, хлеб с которых был давно убран, а низкая стерня измята и вытоптана скотом.

Когда Андрейке стало совсем невмоготу, когда во рту, в горле от жажды перегорело начисто, поезд начал заметно сбавлять скорость, колеса застучали реже. Андрейка перегнулся через борт платформы. Однако то, что увидел впереди, его не очень обрадовало: впереди торчал входной семафор, за семафором виднелся одинокий дощатый барак. Разъезд, что ли, какой? «Если б станция, была бы водогрейка,— невесело размышлял он.— Подошел бы и набрал полный котелок воды. А тут что? Конечно, раз тут живут люди, есть у них и вода. Но зайти в барак и попросить — опасно. Кто, спросят, такой, почему на товарняке едешь, куда? И — влипнешь. Да еще и остановится ли состав?»

Состав еще больше замедлил ход и остановился. Платформа, на которой пристроился Андрейка, очутилась как раз напротив барака. А рядом с бараком... Андрейка даже закрыл глаза и замотал головой, пытаясь сбросить наваждение... Рядом с бараком, метрах, может, в двадцати от него, торчал из-под земли колодезный сруб, и какая-то женщина, нет, девчонка вроде, доставала из колодца деревянной бадьей воду, переливала ее в стоящие на земле ведра.

Попросить... попросить котелок воды?! Или — не надо, опасно ведь! Или попросить, может, ничего, не догадается, куда он едет? — замелькало у него в голове. Нет, нет, опасно. Девчонка, может, ничего и не спросит, а скажет о нем

взрослым. Те или сейчас же снимут его с поезда, или по телефону (а в бараке наверняка телефон есть!) позвонят на ближайшую станцию: подозрительный, мол, человек на товарняке едет, проверьте...

Но перед глазами сверкала, переливалась искрами струя холодной, хрустальной воды, льющаяся из тяжелой деревянной бадьи в оцинкованные ведра. Андрейка почувствовал во рту вкус этой воды, и у него в горле прошла какая-то судорога. Он глянул вперед — выходной семафор был еще закрыт. И его руки сами собой развязали мешок, выдернули оттуда котелок. Сбросив с плеч тужурку, он спрыгнул на землю, закричал:

— Э-эй! Погоди...

Девчонка у колодца обернулась.

— Слушай... скорее, скорее! — прокричал он, подбегая к ней.— Дай скорее воды! Дай мне воды...

И, не обращая внимания на испуганно попятившуюся девчонку в рваном пиджаке, подпоясанном стареньким широким армейским ремнем, зачерпнул котелком из стоящего на земле ведра, обливаясь, начал жадно, крупными глотками пить.

Вода была холодная, ледяная. После двух-трех глотков у него заломило зубы, на глазах выступили слезы.

— Ты... кто такой? — спросила девчонка.

— Так, человек я,— ответил он, прижимая ладонью щеку, пытаясь унять ломоту в зубах. И снова принялся пить.

Девчонка все смотрела на него широко открытыми глазами.

— Ты на этом товарняке зайцем едешь?

— Еду... Только не зайцем, а лисицей.

Девочка прыснула в кулачок. И Андрейка вдруг попросил:

— Ты не говори никому, что я еду. Ладно?

— Ладно,— пообещала девчонка.— Набери с собой полный котелок, если надо. Только в ведро не лезь больше, давай я налью.

Она стала наливать воду из ведра, но в это время свистнул паровоз, и состав тронулся.

— Ой, отстанешь! — пискнула девчонка.

Расплескивая воду, Андрейка побежал к составу. Он бежал, а платформа с лесом, на которой лежал его мешок с продуктами, все удалялась и удалялась. «Отстал! Отстал! — колотилось в голове.— А там, в мешке, хлеб и сало... Там тужурка... Как я теперь? Как я теперь?»

Испуг и растерянность сковывали ноги, они сделались тяжелыми, он едва отрывал их от земли. Рельсы лежали на невысокой насыпи, бежать было неудобно. «Отстал! Отстал...»

А мимо проплывали цистерны, крытые вагоны, снова цистерны. Состав шел все быстрее. Поняв, что свою платформу ему не догнать, он отшвырнул котелок с остатками воды и, рискуя попасть под колеса, попробовал прицепиться к любому вагону. Но попытка его окончилась плачевно, он сорвался, упал, скатился вниз по насыпи, до крови ободрав колено. Однако, не чувствуя боли, вскочил.

Мимо проплывал последний вагон.

— Руку, сынок, давай, руку! — услышал он чей-то голос и увидел склонившегося с тормозной площадки последнего вагона усатого человека. Стоя на нижней ступеньке, он держался одной рукой за железный поручень, а другую протягивал ему.

Андрейка хотел ухватиться за протянутую руку, но его ладонь только скользнула по рукаву пиджака, и последний вагон стал отдаляться — вот на полметра, вот на метр, на полтора...

— Дяденька... дяденька! — в отчаянии крикнул Андрейка.

— А ты поднажми, поднажми, сынок! — закричал усатый.— Один рывок... Сделай последний рывок!

Андрейка и сам понимал, что, если не сделать сейчас последнего, решающего рывка,— прощай и тужурка, и мешок с продуктами, а без еды ему уж и вовсе до фронта не доехать. И он сделал...

— Держи-и!

Он почувствовал, как что-то ударило его по лицу. Он не видел, что его уда-

рило, но мгновенно догадался, что человек бросил ему веревку или ремень, и так же мгновенно ухватился за спасительный конец, ухватился удачно и так крепко, что никакая сила в мире не заставила бы его теперь разжать руки.

Усатый заволок его на тормозную площадку. Все еще сжимая в побелевших кулаках конец ремня, Андрейка увидел, что сбоку мелькают кустарники, услышал, как стучат под ним колеса. Только тогда понял, что все-таки не отстал от поезда, и облегченно рассмеялся.

— А ловко я тебя, словно рыбину из пруда выволок,— сказал усатый, опускаясь на корточки. И подмигнул: — А ты молодец, крепко ухватился. Ей-богу, молодец.

— Спасибо вам, а то я бы отстал,— сказал Андрейка и встал, пошатываясь. В груди у него ныло, словно по ней долго колотили палками, и жгло. Снова хотелось пить.— А там, на платформе с лесом, у меня мешок с хлебом и тужурка.

— Да я, понимаешь, тоже боялся, что ты отстанешь. Я же тебе крикнул, когда ты к колодцу побежал: «Скорей, парень!» Разве ты не слышал?

— Не-ет,— мотнул головой Андрейка, с удивлением разглядывая необыкновенного человека.— А вы кто?

— Да я кондуктор. Вот сопровождаю составы туда-сюда... Ничего, все обошлось. А мешок и тужурка никуда не денутся. Скоро будет станция, возьмешь свои вещи. Ты как хочешь дальше ехать — на той платформе или здесь, со мной? Давай со мной, а то скучно мне одному.

— Не знаю.— Андрейка поглядывал теперь на усатого с опаской, пытаясь оценить: в какое же положение он попал? Хоть этот человек с виду и добрый, ремень догадался ему бросить,— а что, если возьмет да и сдаст его на ближайшей станции в милицию?

Пока вроде о таком намерении кондуктора ничего не говорило. Он стоял опершись локтями на барьер тормозной площадки, грыз семечки, а шелуху сплевывал на змеившиеся из-под вагона рельсы. А может, он и хороший человек, размышлял далее Андрейка. Есть же такие добрые люди, которые понимают ребят, помогают им всегда и во всем. Может быть, и этот поймет и поможет ему добраться до фронта. Однако на всякий случай распространяться о том, куда он, Андрейка, едет, не следует. Да и вообще неплохо бы от него улизнуть для верности. Только мешок с хлебом и тужурку как выручить?

Кончив грызть семечки, кондуктор снял со стенки вагона дождевик, расстелил его на полу, уселся, поставил себе на колени железный сундучок, принялся выкладывать из него помидоры, вареные яйца, хлеб.

— Присаживайся, Василий Иванович, закусим, чтоб веселее было ехать.

— Я не Василий Иванович, я Андрейка Савельев.

— А-а... Ну ладно. А меня зовут Николай Петрович... Андрей Савельев? Постой, постой! — Кондуктор, намеревавшийся разрезать краюху хлеба, забыл про краюху и нож, удивленно посмотрел на Андрейку.— Ты не Зинаиды Ивановны Савельевой сынок? Которая у нас в Новосибирске на вокзале кассиршей работает?

— Нет,— мотнул головой Андрейка.

— Как же нет?! — сделал вдруг строгие глаза кондуктор.— Да ведь это ты... ну, точно. Чего же ты отпираешься? Ты же ко мне в огород нынче летом залез, все помидоры потоптал!

— Да вы что, Николай Петрович? Какой огород? Какие помидоры? Я вовсе не в Новосибирске живу, а в Шантаре. Село есть такое, Шантара называется...

— А-а...— опять протянул кондуктор, глаза его сделались добрыми.— Ну, извини, обознался. А Шантару я знаю, сколько раз поезда сопровождал туда. Речка там у вас еще... как ее? Красивая такая...

— Громотуха.

— Точно. А когда подъезжаешь, гору вашу издалека видно.

— Видно,— согласился Андрейка.— Гора у нас тоже красивая и зовется хорошо — Звенигора.

— Верно, хорошо. Отчего она так называется? Звенит, что ли?

— Не знаю. А вот когда долго-долго смотришь на нее, особенно если день тихий и солнечный, то и чудится, будто звенит потихоньку.

— Ну, теперь я верю, что ты из Шантары,— сказал Николай Петрович.— Вот же надо, как обознался... Ты извини.

— Ничего,—великодушно ответил Андрейка.

— Давай ешь, Андрей, не стесняйся.

— Попить бы сперва.

— А вот фляжка. Пей на здоровье.

Колеса стучали наперебой, торопливо и весело, по бокам мелькали давно осыпавшиеся березовые рощицы. Андрейка, напившись, за обе щеки уплетал сперва помидоры, потом принялся за яйца. А на душе было все-таки неспокойно, тревожно. Его не покидало смутное ощущение, что сейчас, в разговоре с кондуктором, он сделал какую-то крупную промашку. Но какую — понять пока не мог.

Когда поели, Николай Петрович убрал остатки хлеба и помидоров в свой сундучок, закурил и сказал:

— Да, любил я в вашу Шантару ездить. Дорога туда красивая — леса, холмы, распадки. А тут что, степь голая да эти унылые березовые рощи. А ты куда едешь-то, на фронт?

Андрейка ожидал этого вопроса и готовился к нему. И все-таки, когда услышал его, растерялся.

— Я-то? Да вы что?.. Нет, я так... в гости к бабушке. Она у меня тут недалеко живет. Я скоро сойду.

— На какой станции?

— А вот... как будет первая крупная станция, так и сойду.

Николай Петрович рассмеялся, нахлобучил ему шапку на глаза.

— Чего вы?

— А врешь здорово. Я же вижу — на фронт. Зря таишься. Но это дело твое, можешь сойти где хочешь. А только если на фронт, с этого поезда сходить не советую. Он как раз прямо на фронт и едет.

— Прямо? Я так и решил! — воскликнул Андрейка почти восторженно.— Потому что куда, думаю, бензин сейчас могут везти? На фронт только...— И осекся, поняв, что теперь-то уж выдал себя с головой.

— Правильно думал, молодец. Ты вообще, гляжу, геройский парень, я люблю таких. Я-то лично сопровождаю этот поезд только до станции Чулымской. А дальше другой кондуктор поедет. Он мой хороший знакомый. Я попрошу, чтобы он разрешил тебе на этой же площадке и дальше ехать. Потом мой знакомый попросит следующего кондуктора, а тот — еще следующего... Так и довезут они тебя до самого фронта. Попросить?

Андрейка не знал, что отвечать. Сказать «попросите» — означало, думал он, откровенно сознаться, куда он едет. Он молчал.

— Ну, гляди. Здесь, на площадке, все-таки не так дует, и крыша над головой. А на платформе, если дождик пойдет, тебя промочит сразу. Кроме того, любой милиционер может с поезда снять. А здесь, с кондуктором, тепло и безопасно.

Андрейка вздохнул. Конечно, преимущества езды на тормозной площадке были очевидны. Но, с другой стороны, есть и опасность. А что, если какой-нибудь из кондукторов окажется не таким добрым и душевным человеком, как Николай Петрович, возьмет да и сдаст его первому попавшемуся милиционеру?

Он еще раз вздохнул, поглядел на Николая Петровича. Тот, сидя на дождевике, возился с фонарями, протирал стекла куском ветоши. Потом отставил фонари к стенке, поднял дождевик, отряхнул, повесил на вбитый в стенку гвоздь, облокотился о низкий барьерчик тормозной площадки и опять начал грызть семечки.

— А ты хочешь? — протянул он Андрейке полную горсть.

Андрейка встал рядом с ним, тоже принялся за семечки.

Николай Петрович больше ничего не расспрашивал, ответа на свое предложение не требовал. И это Андрейке нравилось. И правильно, размышлял он, настоящий мужчина не должен сто раз повторять одно и то же. Высказался однажды — и довольно. Теперь его, Андрейкино, дело — думать, размышлять и принимать решение. Но какое же решение принять?

— Ладно,— пугаясь все-таки этого слова, произнес Андрейка.— Поговорите со своим знакомым кондуктором, я согласен.

— Это разумно,— кивнул Николай Петрович.— Молодец.

На первой же остановке они вместе сбегали к платформе, взяли Андрейкин мешок и тужурку, вернулись на тормозную площадку. Потом еще много раз поезд останавливался на полустанках и небольших станциях, забитых товарняками. Андрейка не таясь спрыгивал на землю, ходил возле вагона, разминал ноги. Пробегавшие мимо железнодорожники не обращали на него никакого внимания. «Хорошо!» — радовался Андрейка. И снова их состав мчался вперед, одну за другой оставляя позади станции, полустанки, деревушки. Андрейка несколько раз принимался рассказывать Николаю Петровичу о Шантаре, о Звенигоре, о Громотухе, все время почему-то сворачивая на рыбалку:

— А окуни в Громотухе — ну прямо звери. Ка-ак клюнет — ровно по удилищу кто палкой долбанет. Приезжайте на Громотуху, как я вернусь после войны, порыбачим. А, приедете?

— Конечно, Андрейка. Теперь мы друзья с тобой.

Иногда Андрейка умолкал, долго смотрел на мелькающие по сторонам перелески.

— А эти ваши друзья-кондуктора не подведут? Можно на них надеяться? — спрашивал он.

— Как на меня.

— Это вы точно говорите?

— Да иначе разве решился бы я сказать им о тебе? Не беспокойся, Андрей, все будет хорошо.

— Ладно... Я верю вам.

Во второй половине дня, ближе к вечеру, впереди показался небольшой городишко. Еще несколько минут — и поплыли мимо невзрачные низенькие деревянные дома, дощатые бараки. И дома, и бараки с торчащими кое-где перед ними голыми деревьями, и другие довольно унылого вида строения — все было черным от паровозного дыма и копоти.

— Это Чулымская?

— Она,— кивнул Николай Петрович.

Чулымская, как и другие станции, была сплошь забита эшелонами. Их состав врезался в это густое месиво железнодорожных вагонов. И было странным и удивительным, как это паровоз, тащивший их состав, сумел найти здесь свободный путь и протиснуться сквозь плотные шпалеры товарняков.

— Ну вот и приехали. Поезд тут долго стоять будет. Пойдем в кондукторский резерв, там я и познакомлю тебя со сменщиком.

Андрейка перекинул мешок через плечо. Они выбрались на людный перрон. Тут ожидали, видно, пассажирский поезд, потому что мужики и бабы кучками сидели на узлах и чемоданах, толкались перед низким, одноэтажным вокзальчиком, толпами ходили взад и вперед.

Николай Петрович провел Андрейку через темный грязный коридор вокзала, толкнул какую-то дверь. Она оказалась заперта, но в замочной скважине торчал ключ.

— Интересно, куда же она ушла? — проговорил Николай Петрович и в нерешительности остановился.

— Кто она?

— Да кондуктор, сменщик мой.

— Кондуктор же не она, а он.

— Ну что ты... У нас и женщины кондукторами работают.

Голос у Николая Петровича был какой-то не такой, как всегда, с едва различимыми виноватыми нотками. Этот голос, известие о том, что кондуктор — сменщик Николая Петровича — оказался женщиной, даже эта обшарпанная дверь, в которой торчал ключ,— все это насторожило Андрейку. «Интересно...» — мысленно произнес он, но больше ни о чем подумать не успел, потому что Николай Петрович решительно повернул ключ в двери, распахнул ее и легонько подтолкнул Андрейку в спину.

Комната, куда они вошли, была относительно большой и светлой. В углу стоял письменный стол, на нем какие-то бумаги. Вдоль стены — длинная, вышарканная диван-скамейка и несколько стульев. Каждая вещь в отдельности ничего опасного в себе не таила, но только до тех пор, пока он не увидел, что единствен-

ное окошко в комнате забрано проволочной решеткой, а на стене плакат: розовощекий милиционер стоит где-то посреди шумной городской улицы, а мимо него проходит колонна пионеров. Андрейка сразу обо всем догадался, побледнел, рывком повернулся к Николаю Петровичу. Губы его обиженно дергались.

— Не могу я, понимаешь, Андрейка, иначе,— пряча глаза, произнес Николай Петрович.— Ты уж понимай как-нибудь меня.

— Я же верил вам! Я же вери-ил! — выкрикнул Андрейка.

— А порыбачить после войны я к тебе приеду...

— Какой же вы... ты... какой ты предатель!

От этих слов кондуктор попятился, смотря на Андрейку грустными глазами, спиной отворил двери. Андрейка бросился вперед, намереваясь выбежать из комнаты вместе с этим ненавистным теперь человеком, но стукнулся только в захлопнувшуюся перед самым носом дверь, заколотил в нее, зацарапал ногтями:

— Предатель! Предатель! Предатель...— и сполз по двери на пол, подвывая, как щенок. Шапка слетела с головы и откатилась на середину комнаты.

Через некоторое время замок в двери щелкнул, кто-то взял его под мышки, поднял с пола, усадил на вытертый диван и погладил даже по голове. Андрейка понял, что это милиционер, сердито ударил по чужой руке, ткнулся лбом в холодную стенку и опять зарыдал.

Милиционер, зашедший в комнату, не говорил ни слова. Андрейка не смотрел на него, не хотел смотреть. По звукам и шорохам определил — милиционер сел за стол, начал перелистывать бумаги. «Ну и пусть листает себе, а я вот так и буду сидеть, я даже умру лучше, чем гляну на него...» — думал и думал он упрямо, перестав всхлипывать. Но вдруг за спиной глухо и протяжно заревел паровоз. Может, это пассажирский поезд пришел, а может, тронулся дальше тот состав... Андрейка невольно встрепенулся и увидел — за столом сидит не милиционер, а милиционерша. Лет ей было, наверно, чуть побольше, чем Верке Инютиной, глаза совсем девчоночьи, смешливые и любопытные. Но, заметив, что Андрейка смотрит на нее, она часто-часто заморгала, вздохнула и участливо спросила:

— Обидно, да?

— Иди ты...— презрительно ответил Андрейка.

— Ты что же так, Андрюша, грубо со старшими говоришь?

— Никакой я не Андрюша.

— Как же ты не Андрюша? Именно Андрюша Савельев, живешь в селе Шантара, за Новосибирском. Ох, далеко тебя обратно везти!

«Разболтал, гад такой, и это разболтал! — с ненавистью думал о кондукторе Андрейка.— А мне еще глаза его добрыми показались и усы симпатичными. Самые противные усы, висят сосульками, а глаза хитрющие и лживые... Постыдился, гад такой, даже в лицо мне поглядеть. Да, наверно, притворялся, что стыдно. Откуда у него, у такого, стыд-то может взяться?..»

* * *

Через два дня Андрейка снова оказался в Шантаре.

Та девушка-милиционер, пошуршав еще немного бумагами, повела его ужинать в какую-то столовую. Есть Андрейка отказался решительно. Тогда она отвела его в тюрьму. Ну, не совсем в тюрьму, в такую же примерно комнату, как на вокзале. Но стола там не было, во всю стену тянулись широкие деревянные нары, и на окнах были не проволочные, а настоящие железные решетки. И кроме того, за дверью всю ночь ходил, покашливая, дежурный милиционер.

Утром явилась та же девушка, крепко держа за руку, повела его на перрон. Потом он оказался в полутемной теплушке, где на полу, застланном толстым слоем соломы, сидели и лежали человек пятнадцать таких же ребят, как и он, и даже одна девчонка с жиденькими, замызганными косичками, а с ними костлявый, неповоротливый и неразговорчивый милиционер. Теплушка была прицеплена к хвосту пассажирского поезда. Андрейка забился в самый темный угол и долго и беззвучно плакал.

Все ребята и эта девчонка были из Новосибирска. Едва поезд там остановился, теплушку окружили мамы, папы и бабушки. Они закричали, загалдели, заголо-

сили. Костлявый милиционер принялся выкрикивать фамилии, давал родителям сперва расписаться в какой-то бумажке и только после этого по одному выпускал своих пассажиров, бурча под нос:

— Распустили до безобразия свою детву, а нам мыкаться с ними, вылавливать по всей дороге! Пошибче теперя глядите за ними...

От Новосибирска до Шантары ехали в пассажирском вагоне. Андрейка сидел, прижатый милиционером к самой стенке, и тоскливо смотрел в окно. Милиционер всю дорогу дремал, прикрыв глаза, немного посапывал. Но стоило Андрейке шевельнуться, он тотчас прерывал сопение, открывал глаза и противно, как лягушка, дергал отвислым подбородком.

Выйдя из вагона в Шантаре, Андрейка сразу же попал в объятия матери.

— Сыночек, сыночек...— плача, говорила мать, целовала в щеки, в лоб и прижимала его голову к своей мягкой груди.— Да как же ты это? Ведь я чуть с ума не сошла...

— Распустили детву...— бурчал свое милиционер, протягивая матери бумажку.— Распишитесь в получении...

Дома мать сразу же потащила Андрейку в заранее истопленную баню. Потом посадила в кухне за стол и, как дорогого гостя, стала поить чаем со сливками, поставила перед ним целую тарелку конфет в красивых бумажных обертках.

Он еще не допил чашку, когда вернулся с работы отец.

— Ему не конфет, ему ремня потолще досыта вложить бы,— сердито сказал он, стаскивая возле порога грязные сапоги и с грохотом бросая их на пол. И, больше не прибавив ни слова, ушел в баню.

Потом открылась дверь, и вошел Семен, тоже вернувшийся с работы.

— А-а, прибыл, беглец?! Как же теперь Красная Армия без тебя обойдется?

Слова Семена расстроили Андрейку больше, чем отцовская угроза. Потому что в них была насмешка. Он вспыхнул моментально, отодвинул от себя и чашку и тарелку с конфетами.

— Смеешься, да? — крикнул он, сверкая глазенками.

— Андрюшенька! Семен...— всполошилась мать.— Не надо так, Семен... Ты ешь, сынок...

— Ты усы отрасти — и как раз будешь на кондуктора походить!

— На какого еще кондуктора? — переспросил Семен.— Значит, тебя какой-то кондуктор, что ли, с поезда снял?

— А это уж не твое дело,— буркнул Андрейка. Подумал и добавил: — Еще, гад такой, на рыбалку, говорит, к вам приеду. Пусть приедет, я его встречу... А вы чего уставились?

При последних словах он повернулся к только что прибежавшим из школы Димке и Ганке. Они действительно уставились на Андрейку — смотрели на него удивленно, во все глаза.

Андрейка смерил их насмешливым взглядом и, чувствуя все-таки себя немножко героем, вышел на улицу.

Через полчаса он сидел на крыльце Инютиных и рассказывал Кольке, Ганке, Димке и подошедшему позже других Витьке Кашкарову все, что с ним произошло. Позавчера, вчера да и сегодня еще он думал, что никогда и никому не будет рассказывать о подробностях своего побега, закончившегося так постыдно. А несколько минут назад, увидев, что Ганка, глядя на него, от изумления раскрыла даже рот, подумал: а чего ему, собственно, стыдиться? Разве его вина, что до фронта доехать не удалось?

Ганка и теперь слушала, поблескивая в полутьме белыми полосками зубов, широко распахнув бездонные свои глазищи. Она порывисто дышала и в некоторых местах приглушенно, как мышь, попискивала. Когда она пищала, Димка шевелил густыми бровями, медленно поворачивал к ней голову, хмурился. Она торопливо махала ресницами, будто молчаливо извинялась за свой писк. Николай Инютин то глядел на рассказчика недоверчиво, то, опустив глаза, задумчиво чесал свой горбатый нос. Лишь Витька Кашкаров сидел, по своему обыкновению, неподвижно, в одной и той же позе. Казалось, он не слушал Андрейку, а думал какую-то свою нескончаемую думу, давно решал и все никак не мог решить какой-то трудный вопрос. Он всегда был молчаливый и угрюмый, этот Витька, но в последнее время, после истории с автолавкой, за которую его долго держали в милиции, а потом,

после суда над Макаром, все же выпустили, и совсем превратился в камень. Теперь и вовсе никто не мог вытянуть из него хотя бы слово.

Было уже совсем темно, небо погасло, захлопнулось над землей, как крышка гигантского сундука. Только на западе, куда каждый вечер скатывалось солнце, виднелась узкая и длинная кроваво-красная щелка, которая, впрочем, быстро укорачивалась и меркла. Над землей гулял и не сильный вроде, но упругий, холодный, пронизывающий до костей ветер. Казалось, он со свистом врывался на землю сквозь эту кроваво раскаленную щелочку, растекался потом над полями, над просторами земли. Врывался он горячий, как пар, но, мчась до Шантары, терял все свое тепло, становился тяжелым и холодным, как вода в зимней Громотухе.

Когда Андрейка закончил рассказ, все помолчали. Ганка прижала ладонями пылающие щеки, не то нажженные ветром, не то горевшие от волнения, спросила:

— И тебе не страшно было? Одному-то ночью на платформе?

— Чего там бояться? Не в лесу же.

— И все равно жутко, наверное... Нет, я бы не смогла.

— А он врет все,— неожиданно сказал Димка.

— Что все? — повернулась к нему девчушка.

— А что не страшно было.

Ганка помолчала, похлопала в темноте ресницами.

— Пусть даже и страшно маленько,— согласилась она.— Из вас никто не решился на такое. А он...

— Дурак потому что,— грубо отрезал Димка.— А ты его слушаешь... Рот даже раскрыла.

— Ты, ты...— Ганка вскочила. И резко повернулась, побежала со двора.

— Ганка, ты что? Гань...— Димка поднялся, потоптался.— Ну, дура. Чего она?

— Вот я скажу ей, что ты дурой ее назвал,— проговорил Николай Инютин с явной насмешкой.

— Ты?! — подскочил к нему Димка.— Как по горбатому-то носу съезжу!

— А ты достань сперва,— поднялся Колька, вытянувшись во весь рост.— Подрасти еще надо.

Димка попятился от Инютина. И хотя Николай тут же сел, Димка, что-то бормоча неразборчивое, все пятился, потом махнул рукой и убежал со двора. Инютин сплюнул в сторону.

— Вот и ступай догоняй ее.

— А зачем ему догонять? — непонимающе спросил Андрейка.

— Да ты не знаешь, что ли? — уставился на него Инютин.— Димку же в школе все зовут Ганкиным пастухом.

— Нет,— мотнул головой Андрейка и тут же наивно спросил: — А почему его так зовут?

— Эх ты, простота...— рассмеялся Инютин.— Груди-то у нее, видал, поди, растут уже.

— Ну, так что?

— Малявка ты... Потому и поймал тебя на удочку этот кондуктор.

И тут неожиданно встал Витька Кашкаров, постоял, качаясь под ветром, подул на озябшие, видно, ладони, засунул их в рукава обшарпанного пальтишка, сказал со злостью:

— Этот кондуктор, видать, такой же стерва, как ты!

— Ч-чего-о?! — опять стал угрожающе подниматься Колька.

— Кто Семке разболтал, что я у тебя ночую?! А тот милиционеру этому, Елизарову. Сволочь ты. А я думал, что ты друг, доверился тебе.

— Ах ты барахло...— засопел сердито Инютин и двинулся к Витьке.— Целую машину народного добра-то свистнули с Макаркой, а теперь...

— Не лезь! — звонко закричал Витька, выдергивая ладони из рукавов.

Инютин и вправду остановился. Витька не спеша повернулся и, опустив голову, пошел со двора. Шел медленно, будто опять принявшись за свою нескончаемую думу.

Оставшись вдвоем, Андрейка и Николай посидели молча.

— Нет, ты видал, какое он барахло, Витька-то? — спросил Инютин все еще негодующе.— Если уж на то пошло, Семка ваш сволочь, а не я... Я же Семке по-

дружески, по секрету сказал про Витьку. Откуда я знал, что он сразу к Елизарову побежит? Я по-честному, можно сказать, доверился...

Андрейка вздохнул и проговорил:

— Я понял теперь, что людям нельзя доверяться ни по-честному, ни по секрету. Ведь если бы я не сказал кондуктору, кто я такой, как зовут, где живу, а главное — куда еду, и потом, в милиции, не сказал,— что бы они со мной, куда меня? А, как думаешь?

— Не знаю,— промолвил Колька.— В детдом бы отправили, как беспризорника. А то и в тюрьму.

— Да-а, может, и отправили бы куда...— Потом принялся рассуждать, как взрослый: — В тюрьму-то по какому праву? Я же не вор и не бандит. А из детдома улизнул бы... Но лучше не попадаться. Лучше не доверяться никому из людей. Не-ет, я теперь ученый.

— Ты что, опять хочешь сбежать?

Андрейка вздрогнул от такого вопроса. Он поднялся с крыльца, постоял в задумчивости. И сказал, стараясь придать своему голосу побольше убедительности:

— Нет, больше не побегу... Думаешь, это мед — по составам прятаться? С одного раза я сытый.

Андрейка говорил так, зная в душе, что снова сбежит из дома. Он только не знал, когда это случится. Наступила зима, и это тревожило его. Зима не лето, в один час околеешь на открытой платформе или в холодном вагоне. Но и ждать лета не с руки, к лету война может закончиться. Однако об этих пока неясных и смутных мыслях и планах на будущее и Кольке и кому бы то ни было другому знать вовсе ни к чему. Слава богу, у него, Андрейки, есть на этот счет уже горький опыт.

* * *

Во второй половине дня 22 октября Кружилин, Полипов и Антон Савельев стояли на перроне и ждали поезда из Новосибирска, с которым ехал секретарь обкома партии Субботин. Зачем он приезжал — по делам района или только завода,— было неизвестно. Обычно о своих приездах он звонил в райком. На этот раз звонка не было, пришла только телеграмма.

Шел дождь вперемешку со снегом, снег на асфальте таял медленно, отчего весь перрон был в крупных снежных пупырышках. Мокрые рельсы уныло блестели, станционные постройки влево от перрона тонули, расплывались в серой холодной пелене. Людей на перроне не было, только изредка пробегал какой-нибудь железнодорожный рабочий с длинногорлой масленкой или кондуктор с потухшим фонарем.

С дождевиков Кружилина, Полипова и Савельева капало, они ежились под ветром, отворачивались от мокрого снега.

На здании вокзала, прямо перед входом, был прикреплен радиодинамик. Над пустынным перроном разносился привычно угрюмый голос диктора, читавшего утреннюю сводку Информбюро. Как и вчера, как и позавчера, как много-много дней и недель подряд, в сводке не было ничего хорошего. Хрипловатым, будто простуженным голосом диктор сообщил, что «в течение ночи на 22 октября продолжались бои на всем фронте. Особенно напряженные бои шли на можайском, малоярославском и калининском направлениях...».

Враг упрямо и неудержимо рвался к Москве. Кружилин мысленно представил себе висевшую у него в кабинете карту: «Можайск, Малоярославец, Боровск, Калуга... По прямой километров, наверное, сто — сто двадцать, не больше. Но Можайск и Малоярославец пали семь дней назад, 16 октября, немцы взяли Боровск, а Калугу еще раньше — 12 октября. Где же теперь немцы? Позавчера в Москве объявлено осадное положение. Что будет с Москвой?»

Кружилин посмотрел на Савельева и Полипова. Они тоже молча и хмуро вслушивались в голос диктора. Савельев, прижмурив уставшие глаза, смотрел куда-то в сторону, где стоял входной семафор. Его верхушка обычно торчала над крышей железнодорожного пакгауза, но сейчас не только семафора, но и самой крыши не было видно. Полипов же, надвинув капюшон дождевика на самые глаза, опустил голову книзу. Щеки его от холода посинели, кругловато вздулись.

Да, Москва... Сейчас все думали только о ней. И Кружилин думал, в сотый, а может быть, и в тысячный раз, пытаясь осмыслить и понять: как же это произошло, как получилось, что фашистские войска стоят под самыми ее стенами?

Дождь все лил и лил, глухо барабанил по жесткому капюшону толстого брезентового плаща. «Да, все туже сжимается обруч вокруг Москвы,— раздумывал Кружилин, ходя по перрону, глядя, как брызжет из-под сапог водянистая снежная жижа.— Впрочем, пока не обруч, а подкова. В обруче — Ленинград. Он еще в начале сентября был окружен, как Одесса. Неужели этот город, где родилась, где началась революция, ждет судьба Одессы? — Кружилин вздрогнул, но тут же отогнал эти мысли.— Нет, не может этого быть, нельзя допустить. Тогда Москве совсем будет плохо. Единственный крупный город, прикрывающий Москву с северо-запада, Калинин, взят немцами больше недели назад, на юго-западе бои идут под Тулой. Если падет Тула, падет Ленинград, немцы с двух сторон начнут обходить Москву. С севера попрут на Ярославль, с юга — на Горький, Иваново. И если их не остановят, тогда подкова превратится в обруч, тогда кольцо замкнется, тогда...»

Заревел паровозный гудок, и Кружилин опять вздрогнул. «Тьфу ты, стратег...» — обругал он себя и стал смотреть, как из тяжелого тумана криво и бесшумно выползает грязно-зеленый железнодорожный состав.

Выйдя из вагона, Субботин, гладко выбритый, в черном демисезонном пальто и кожаной фуражке, по очереди, не очень дружелюбно оглядел встречающих.

— Что это все явились? Дел больше нет ни у кого?

— Мне вроде по этикету положено,— улыбнулся Кружилин.

Но Субботин на эту улыбку никак не отозвался.

— А ты? — повернулся он к Полипову.

— Долг вежливости, считайте.— Полипов пожевал обиженно губами.— Разве возбраняется?

— Ну, а ты, Антон? Тоже считать долгом?

— Я просто обязан. Ты же, Иван Михайлович, по нашему ведомству... эвакуированными предприятиями занимаешься.

— Ага... Ну, идем. Покажи мне свой завод.

Они шли по перрону — Субботин впереди, остальные на два шага сзади. Субботин шагал крупно и твердо, но спина его сутулилась, морщинистая тонкая шея с трудом, казалось, держит голову. И Кружилин подумал, что Субботин ведь уже старик, ему, кажется, не то шестидесятый, не то шестьдесят первый. Глядя в его чистые сероватые глаза, на розовые, всегда тщательно выбритые, без морщин, щеки, на узкие, будто мальчишеские, плечи, об этом как-то не думалось, даже совершенно поседевшие за последнее время волосы и брови его странным образом не старили. Но сутулившаяся при ходьбе спина и эта тонкая, старческая шея выдавали возраст.

В машине он молчал, сердито насупившись. Молчал и потом, когда ходил по территории завода, между огромных земляных курганов, недостроенных, окруженных лесами корпусов, наваленных повсюду безобразными кучами строительных материалов — кирпича, леса, проволоки, листового железа. Он, ничего не спрашивая, ходил из конца в конец огромной развороченной площадки, за ним, увязая в грязи, двигались толпой Савельев, Кружилин, Полипов и встретивший их у ворот главный инженер Нечаев.

На заводской площадке и примыкавшей к ней территории царил на первый взгляд невообразимый хаос: подъезжали и отъезжали грузовики, махали ковшами экскаваторы, рывшие какие-то ямы, всюду сновали люди — озябшие, перемокшие, кто в дождевиках, кто с мешками на головах. Люди кричали, ругались, что-то требовали, машины натужно гудели, еле вытаскивая из засасывающей грязи кузова, буксовали...

И странным казалось, что только каменщики, маячившие на стенах корпусов, не кричали, не ругались, не суетились. Не обращая внимания на суматоху внизу, на лливший сверху изнуряющий, холодный, вперемешку со снегом дождь, они молча и сердито делали свое дело, время от времени бросая отрывисто вниз:

— Кирпичей!

— Раствору! Дрыхнете там...

Обойдя площадку, Субботин так же молча зашел в один из недостроенных корпусов.

Стены его были уже возведены, положены поперечные балки для устройства перекрытия. Сверху сыпались искры электросварки, а внизу, у гудящих станков, не обращая внимания на дождь, на эти сыпавшиеся сверху искры, работали перемокшие люди. Проходы между четырьмя рядами станков были застланы мокрыми досками. По каждому проходу женщины катали четырехколесные тележки, собирая в кузовки готовые головки артиллерийских снарядов, отвозили их через широкий проем в торцевой стене корпуса в длинный дощатый сарай, закрытый толем.

Субботин стоял в цехе минут пять, глядел на рабочих у станков, на женщин, катавших тележки, как-то скорбно опустив уголки плотно сжатых губ. И вдруг, повернувшись к Полипову, задал странный вопрос:

— А каким хлебом вы кормите их, всех этих рабочих? Ржаным или пшеничным?

— Не понимаю...— ответил тот. Веки его вздрагивали.

Субботин усмехнулся, потуже надвинул кожаную фуражку.

— Я припоминаю, Петр Петрович, у тебя, когда ты волновался, губы дергались. А теперь, гляжу, и веки начинают трястись.

— При чем тут мои веки и губы? — сказал Полипов, теперь сухо, подчеркнуто сдержанно.

— Ну-с, покажите мне еще ваш знаменитый «Копай-город»...

Огромная котловина, вокруг которой шло строительство землянок, была окружена, как ожерельем, горами мокрой, осклизлой земли. Экскаваторов тут не было, потому что рытье землянок давно закончили, многие из них заселены, остальные обшивались досками, перекрывались сверху деревянными брусьями и засыпались грунтом. Под длинным дощатым навесом было устроено что-то вроде временной столярки. Там визжала циркулярная пила, с полсотни пожилых мужчин и стариков строгали доски, сколачивали оконные и дверные коробки.

Субботин прошелся под навесом, поглядел на горы земли, на торчавшие прямо из-под земли печные трубы, многие из которых дымились. Скользя по мокрому откосу, рискуя съехать вниз, в котловину, он пошел к одной из землянок, махнув своим спутникам, чтобы они дожидались его под навесом.

Землянка была просторная, с двумя отделениями, но темная. В первой половине этой земляной норы стояла небольшая печь. У плиты копошилась какая-то старуха с растрепанными волосами, мешала поварешкой в кастрюле. По стенам землянки тянулись широкие нары, на них валялось тряпье. На нарах с правой стороны спали рядом мужчина и молодая женщина. Пахло кислым борщом, но сквозь этот резкий запах пробивался глохнущий уже аромат сосновых досок.

Субботин поздоровался. Старуха поглядела на него и ничего не сказала.

— Тяжко, значит, мамаша? — спросил Субботин и, сняв фуражку, присел на табурет.

— Да уж чего хорошего... Вон, видишь, молодожены-то как спят! — кивнула старуха на нары. — Умаялись, сердешные, с ночной смены обои, промокли до костей. Дочка это моя... А тут еще кроме нас две семьи живут. Вот и думай — тяжко ли, вольготно ли... А ты кто такой?

— Я из Новосибирска. Секретарь обкома.

— А-а...— равнодушно протянула старуха.

Потом она оставила свою кастрюлю, села напротив Субботина на другой табурет, вытерла сухие жилистые руки фартуком.

— Глядишь, значит, как народ мыкается?

— Гляжу...

— Помочь, видно, хошь людям-то?

— Чем же помочь могу?

— Да уж тем хотя бы, что ходишь вот, смотришь,— помолчав, ответила старуха. И у Субботина защипало сердце от чего-то.— Посмотришь на это все — как же душа-то не обольется? Ежели и было в ней что худого, все обчистится, смоется. Ежели человеческая душа-то. Значит, шибче людей-то после любить будешь...

Встала и принялась за свою кастрюлю. Субботин вышел из землянки.

Кружилин, Савельев, Нечаев и Полипов ждали его под навесом.

— Что ж, картина ясная,— сказал он.— Больных много?

— К удивлению, не так уж и много,— ответил Савельев.— Простуда в основном.

— Где лечите?

— В районной поликлинике. А вон засыпной барак. Это заводская больница. Можно зайти посмотреть.

— А рядом что за строения возводятся?

— Жилые бараки. В каждом по сорок комнат. Заложили пока двенадцать зданий. После Ноябрьских праздников заложим еще десятка четыре. Лес на подходе. Ну, а там с жильем — по мере поступления стройматериала. Людей для строительства найдем. Рабочих в землянках больше одной зимы держать нельзя.

— Да, нельзя.— Секретарь обкома поднял тяжелый взгляд на Полипова.— Там, в землянке, любопытная старуха живет. Как-нибудь загляни-ка, поговори с ней. Тебе полезно будет.

Полипов выслушал это, пожал непонимающе плечами.

— Как Лиза твоя, Антон? — спросил Субботин.— Очень, очень хочу ее увидеть...

— Ничего, держится. Заходи, увидитесь... Кстати, и переночевать у нас можно.

— Да, я обязательпо зайду. Что ж, товарищи, спасибо, что показали завод... Можете быть свободными. А мы с Поликарпом Матвеевичем по району проедем.

Кружилин с удивлением взглянул на Субботина. Но тот, прощаясь, пожимал руки Савельеву, Нечаеву, Полипову.

Когда остались вдвоем, Кружилин спросил:

— Это ты серьезно по району хочешь? На машине не проехать.

— Серьезно. Хоть бы в колхоз «Красный колос». Кажется, именно этот колхоз нынче больше других сдал хлеба государству? Дождевик какой-нибудь найдется для меня?

* * *

Карька-Сокол, гулко шлепая копытами по жидкой грязи, перемешанной со снегом, легко вынес коробок на окраину села. Застоявшийся жеребец шел рысью, с колес летели ошметки грязи. Но постепенно сбавлял ход и наконец потащился шагом, широко раздувая лоснящиеся бока.

«Зачем же все-таки приехал в район Субботин? — пытался догадаться Кружилин.— Завод оглядел мельком, в подробности не вникая. Зачем ему в колхоз, именно в «Красный колос»? Неужели в связи с самовольством Назарова?» Он, Кружилин, невольно подумал об этом, когда Субботин задал Полипову действительно на первый взгляд странный, неуместный, глуповатый даже вопрос: каким хлебом кормят рабочих — ржаным или пшеничным? Но, во-первых, Субботин с начала войны занимается делами эвакуированных предприятий. Во-вторых, Кружилин *не* докладывал никому в области, что Назаров засеял половину пашни рожью, а Полипов снял все-таки вопрос о Назарове с повестки исполкома.

Дождь со снегом все шел и шел, промозглый, нескончаемый. И вдруг повалил густыми, лохматыми перьями только снег. Снег сыпался сверху тяжело и торопливо, плотной шторой занавесив со всех сторон и без того тусклое пространство. Через несколько минут мокрые поля, грязная дорога — все было залеплено, укрыто им, точно с неба упала гигантская простыня. Клочья этой простыни висели на придорожных кустарниках, на дымящемся крупе жеребца...

— Ложится матушка-зима,— проговорил Кружилин.— Слышишь, как холодает?

— Наверное,— отозвался Субботин. И, как бы догадавшись о мыслях Кружилина, добавил: — Ты не удивляйся, что я в колхоз еду. С пятнадцатого октября я снова сельским хозяйством занимаюсь.

— Ну что ж, и хорошо. Я очень рад,— сказал Кружилин. А про себя подумал: «Насчет Назарова».

— Но, зная положение дел в области с размещением эвакуированных предприятий, я тебе вот что скажу... В землянках людей, конечно, нельзя долго держать. Вы двенадцать бараков строите по сорок комнат, ждете еще много леса. Только вряд ли дождетесь.

— Почему? — спросил Кружилин.

— А ты как думаешь? — сдержанно проговорил Субботин.

— Понятно...

— Да, эвакуация продолжается,— мягко заговорил Субботин.— Прибывающие на новые места заводы, фабрики надо пускать в ход. А ваш завод что же — уже действует, уже дает продукцию.

Снег то переставал, и тогда открывались побелевшие просторы, виднелись по сторонам заснеженные холмы, то снова начинал сыпаться гуще прежнего.

В воздухе все холодало. Карька затащил ходок на вершину увала и пошел вниз веселее. Справа осталась Звенигора, невидимая сейчас за сплошной качающейся серой стеной падающего снега.

Свежий снег, видимо, волновал жеребца, он мотал головой и фыркал, старался временами перейти даже на рысь. Но Кружилин каждый раз легонько сдерживал его.

Колеса оставляли на дороге черные рваные колеи. Впрочем, снег тут же забеливал их, засыпал.

Впереди послышались неясные, приглушенные сперва голоса, свист, какие-то выкрики. Все это приближалось, ползло навстречу, потом взлетел, покрывая разноголосый шум, чей-то голос:

— Н-но, соколики-и!.. Веселей, веселей! Подмогай, подмогай шибче — только на увал вытянуть! Н-но-о!..

Голос был мальчишеский, звонкий, он легко прокалывал снежную коловерть и звенел под капюшоном Кружилина, как под колоколом. Сквозь снежную карусель показалась бричка, за ней, как в тумане, замаячила другая, еще дальше зачернелась третья...

Навстречу Кружилину и Субботину карабкался на увал целый обоз. Измазанные снегом лошаденки, припадая на передние ноги, с трудом тащили груженые, прикрытые брезентом брички. Клейкая грязь со снегом наматывалась на колеса, лошади выбивались из сил, каждую бричку подталкивали двое-трое ребятишек-подростков. Кто в чем — в сапогах, в ботинках, в шапках, в фуражках, тоже густо облепленные мокрым снегом, они орали, свистели, размахивали бичами.

— Хлеб, что ли, везут? — спросил Субботин.

— Кажется.

— Откуда?

— Из «Красного колоса». Ихние лошади... Только кто это выдумал — одних ребятишек пустить в такую погоду?! — Кружилин натянул вожжи, соскочил с ходка.— Сто-ой!

Обоз продолжал двигаться.

— Стой, говорю...

— Что ты кричишь? — спросил подошедший от ближайшей брички мальчишка лет двенадцати-тринадцати, с бичом, в старой, не по росту, тужурке.— А-а... Сто-ой, ребята-а...

Обоз остановился. Со всех концов начали подходить такие же ребятишки, окружили толпой.

— Ты знаешь меня? — спросил Кружилин.

— Видал, как же... Мы хлеб на элеватор везем.

— Вижу. Кто старший?

— Я.

— А ты-то кто? Чей будешь?

— Савельев я. Володька. А что?

— Взрослые есть с вами?

Расталкивая ребятишек, к ходку протиснулся щупленький бородатый старичок в зипуне, в мокрой шапчонке, вытянув шею пытался разглядеть Кружилина.

— Что за начальство тута? А-а, райкомовское...

— Здравствуй, Петрован Никифорович. А я думал — одних ребят послали.

— Дык Панкрат с греха с имя сбился,— ткнул Петрован Головлев кулаком куда-то в сторону.— Куды, грит, в такую погоду хлеб везти? Оно, правда, как выехали, снегу-то не было еще...

— У нас обязательство такое — к двадцать второму октября сдать пионерский хлебный обоз для Красной Армии,— сказал Володька.— Это наш класс,— кивнул он на ребятишек.— Мы серпами целую полосу выжали, в снопы связали. И обмолотили сами, провеяли... Сегодня — со школы отпросились, последний срок потому что...

— Дык я и говорю — председатель наш с греха сбился,— опять заговорил Головлев.— Потом рукой махнул: поезжай, грит, с имя, Петрован...

— Понятно... Прежде чем назад ехать, обсушитесь в элеваторной дежурке.

— Само собой...

— Назаров где? В Михайловке?

— Не, он на второй бригаде. Там скырду вчерась молотить разчали, а тут ночью дождь полил. Ну, бабенки растерялись. Чуть не угробили скырду-то, не промочили. Ладно Панкрат прискакал как очумелый, заставил соломой сверху завалить скырду. Сам стоял под дождем, вершил... Зверем рыкал на всех сверху-то. Потом этот обоз отправил да спать лег. Можа, проснулся уж.

Пока старик выкладывал все это, обоз тронулся, загикали, закричали ребятишки.

— Вы прямо туда и айдате, на вторую бригаду...

— Туда и поедем,— сказал Субботин и закрыл глаза, будто задремал. До самого конца пути он не проронил ни слова.

Вторая бригада колхоза «Красный колос» — несколько деревянных строений, почерневших от времени, прилепившихся на самой кромке леса: два жилых дома — для полеводов и животноводов, стряпка, амбар, хозяйственный сарай, пригон для скота и огромная теплая рига. На запад расстилалась степь, пахотные земли, которые ограничивались Громотухой и Звенигорой. Дальше, за горой и речкой, были земли другого колхоза, который назывался «Красный партизан». На восток шли леса с озерами и болотами. Лес испокон веков называли тайгой, хотя километров на пятнадцать вокруг, кроме березы, осины да редких небольших сосенок, ничего не было. Настоящая тайга начиналась дальше, к востоку, за Журавлиными болотами, за Огневскими ключами. Земли за озером, на берегу которого когда-то была заимка Кафтанова, отходили третьему колхозу.

Пригон для скота — большой, огороженный жердями квадрат земли — был заснежен и пуст: скот держали тут только летом. Но вокруг риги суетились люди. От черного широкого зева ее ворот до открытых дверей амбара были настланы плахи. По этим плахам женщины беспрерывно катили тачки, в каждой тачке лежало по мешку с зерном.

Когда Кружилин с Субботиным подъезжали к бригаде, снег прекратился — сразу посветлело, горизонты распахнулись. Земля, еще сегодня утром черная, унылая, обессилевшая, от края до края помолодела и обновилась. Укрытая первым, ослепительной белизны снегом, она будто вздохнула облегченно и, как человек, наработавшийся за день и добравшийся наконец до постели, затихла... Боясь шевельнуться, боясь нарушить этот первый, еще не крепкий, но самый сладкий и пленительный сон земли, безмолвно стояли деревья с отяжелевшими, заснеженными ветками. Безмолвно плавали где-то между серых облаков побелевшие утесы Звенигоры. Утесы то виднелись сквозь клочья туч, то исчезали, и казалось, каменные великаны кланяются земле, свершившей то, что положено свершать ей от сотворения мира каждый год,— весной, проснувшись, зацвесть, все лето зреть и наливаться силами, а осенью радостно и щедро рожать и, обессилев, ложиться под снег и копить всю зиму новые жизненные соки.

Панкрат Назаров действительно спал на деревянном расшатанном топчане, прикрывшись тулупом. В доме топилась печь, возле которой грузная деваха мыла в тазу картошку. Увидев вошедших, она молча подошла к топчану, вытирая об фартук на ходу руки.

— Вставай, дядя Панкрат. К тебе приехали...

Председатель колхоза поднялся, спустил с топчана голые жилистые ноги, закашлялся. Глянув в окошко, он перестал кашлять, по его измятому лицу скользнуло что-то вроде улыбки.

— Зима-матушка, слава тебе, господи...— И только после этого поднял глаза на вошедших.— А-а, вон кого бог послал... Милости просим! Тонька, приставь чайку нам...

— Пейте, вон полная чугунка кипятку.— Девушка легко выволокла ухватом из печки двухведерный чугунище, поставила на стол три жестяные кружки, синюю чашку с медом.— Пейте, а я в стряпку пойду, баб кормить.

— Ступай, ступай,— махнул ей Назаров. И пояснил Кружилину с Субботиным: — Семена вчерась заставил бабенок молотить. А тут дождь хлынул. Едва не

угробили семенную скирду-то, язви их...— И, видимо подумав, что приезжим непонятно, как они чуть не угробили семенную скирду, добавил: — Потому что бабье несмышленое — визгу много, а толку мало.

— Мы знаем,— сказал Кружилин.— Петрована Головлева на увале встретили с ребятишками.

— А-а...— мотнул жиденькой бороденкой Назаров.— Так вот и живем.

И принялся обматывать ногу портянкой.

Тонька-повариха перелила кипяток в ведро, оставив немного в чугунке, взяла таз с вымытой картошкой и пошла. Субботин открыл ей дверь. Девушка взглянула на него с неловким изумлением и даже покраснела.

Потом Назаров, Кружилин и Субботин молча пили чай, макая ломтями свежего пшеничного хлеба в чашку с медом.

Окончив чаепитие, Назаров подождал, пока допьют из своих кружек гости. И сказал, опять поглядев в окно:

— Хорошо зима легла. Не на сухую землю. Ну, так с чем пожаловали? Какой мне бок подставлять?

— Ты уже приготовился подставлять?

— От начальства чего хорошего дожидаться? — усмехнулся Назаров.

— Недолюбливаешь, выходит, начальство? — спросил Субботин.

— Дык смотря какое.

— А какое бы ни было, чего тебе бояться? Хлеба нынче больше всех сдал и продолжаешь сдавать.

— Это-то так...— Старый председатель вздохнул и поцарапал в бороде.— А все-таки ласковые слова начальства слушай, а спину, говорят, береги.

— Значит, чуешь за собой должок? — Субботин поймал взгляд Назарова и с полминуты не отпускал его. Да председатель и не пытался отвести глаза, глядел на секретаря обкома спокойно и укоризненно, пытаясь в свою очередь пронять Субботина насквозь, безмолвно осудить за что-то.

— На семена-то пшеницу засыпаешь или рожь? — спросил Субботин.

«Вот тебе и снял вопрос о Назарове! — зло подумал Кружилин о Полипове.— Ах подлец, подлец...»

— А ты чего в кулак дуешься? — повернулся к нему Субботин.

— О подлости человеческой думаю. Полипов ведь нажаловался в обком? Лучше бы он в открытую, чем так, из подворотни...

— Никто в обком не жаловался, Кружилин,— произнес Субботин.— Так что же ты, Панкрат Григорьевич, молчишь? Рожь или пшеницу на семена засыпаешь?

— А чего на глупые вопросы отвечать...

— Что-о?

— Зачем мне рожь засыпать, коль мы уже ее посеяли? Пшеницу засыпаем. Пшеницы тоже будем сеять маленько.

Субботин как-то беспомощно опустил голову.

— Действительно... Пустеет голова, что ли? Старость не радость.

— Устал ты просто, Иван Михайлович,— сказал Кружилин.

— Да, да,— кивнул благодарно Кружилину Субботин.— В голове все еще станки, машины, лес, тес, цемент. И составы... Представь — целые железнодорожные составы с людьми, с техникой. Знаете, что на станции в городе творится? А в обкоме, в облисполкоме? Люди требуют их обеспечить жильем, питанием, разместить оборудование. Бюро заседает сутками, решая все эти вопросы, люди, дожидаясь своей очереди, прямо там, в коридорах, и спят. Иногда ищешь-ищешь среди спящих тел, чья очередь подошла на бюро... Из всего этого еще мешанина в голове...

Потом секретарь обкома долго молчал, очень долго. Молчали и Кружилин с Назаровым.

— Ну, так... И все же, Панкрат Григорьевич, ты крепко подумал, прежде чем решиться с этой рожью? Ведь недаром говорится: начиная дело, рассуди о конце...

— Так говорится,— кивнул председатель.— Но еще и эдак: не бей в чужие ворота пятой — не ударят в твои целою ногой.

Субботин не сразу добрался к смыслу этой присказки, думая, наклонил голову, прищурил глаза.

— Нынче-то мы и то за счет ржи хлеба много государству сдали, хотя ее и посеяно было с воробьиный нос,— помог ему председатель.— А ежели бы поболе...

— А ты, Поликарп, что скажешь?

— Да то же, что и Назаров. Если б не его колхоз, не выполнил бы район план хлебопоставок.

— Так...— вздохнул еще раз Субботин.— И что же я с вами делать теперь буду?

...Возвращались в райцентр уже затемно. Отдохнувший жеребец легко затащил ходок на увал, колеса звонко постукивали по мерзлой кочковатой дороге.

— Эти ребятишки еще не вернулись с элеватора? — спросил вдруг Субботин.

— Вроде нет еще.

Субботин устало дремал, откинувшись на спинку плетеного коробка. Казалось, он, закрыв глаза, все еще сравнивает в уме цифры, которые называл ему недавно Назаров. Беседовали они часа полтора, председатель не спеша говорил о каждом поле, характеризовал его в двух-трех словах.

— Это вот, что промеж овражка и березовой гривы тянется, гектаров тут будет полтораста.— Охрипший председатель тыкал кривым пальцем в двойной тетрадный лист, на котором он живенько набросал план колхозных угодий.— Нынче тут пшеницу сеяли. Ну, собрали ничего по нонешнему году, а главное — вовремя. Федор Савельев убирал, у того и зерна не просыплется. Человек дерьмо, а на работу золото, чего скажешь. А все ж таки рожь завсегда дает на этом поле на шесть-семь центнеров больше. Это годами проверено. Вот считай, ежели на пуды, значит, пять-шесть тысяч пудов недобрали. Теперь поле, что клином в излучину Громотухи вдается...

Субботин слушал не перебивая, записывал цифры в блокнот. Долго считал что-то, покусывая карандаш.

— Что ж, по твоим расчетам, на будущий год вы соберете ржи в два раза больше, чем если бы пшеницей засеяли?

— Как бог даст. Выйдет год — соберем.

— А ежели неудачный будет год?

— На все божья воля. Но меньше не получится все равно. Так и так — риску нету. А с пшеничкой есть. Так зачем рисковать? Дорискуемся...

Доводы Назарова были просты и убедительны.

— Ну а ты чего молчишь, молчун? — сердито спрашивал Субботин у Кружилина.

— Объясняет же Панкрат... Разве не понятно? Лучше мне не объяснить.

Потом Субботин ходил по бригаде, оглядел ригу, молотилку, обошел вокруг скирды, которую чуть не промочило дождем. Женщины уже снова разворачивали ее, собираясь молотить, сбрасывали сверху прихваченные морозцем соломенные пласты.

— Живо у меня, бабы, со скирдой этой разделаться, при фонарях всю ночь работать чтоба,— бросил им на ходу председатель, подошел к трактористу, возившемуся у трактора.— Приводной ремень опять, гляди, порви мне, раззява! Последний вчера привез, больше нету. А то из языка твоего ремень выкрою, все равно поганый.

Какая-то бабенка прыснула и зажала рот, нырнула за молотилку.

— Матерщинник он голимый,— пояснил председатель Субботину.— Ну спасу нет, как лается, даже мужики краснеют.

— А ежели опять дождь начнется? — спросил Субботин, глянув на небо, по которому ползли еще клочья облаков.

— Не, из-за Громотухи холодом тянет. Развёдреет, значит. Окончательно зимушка легла.

И вот сейчас действительно небо начало очищаться, в темных разводьях над головой замигали первые, редковатые пока, но зато самые крупные звезды.

— Ну, и что же все-таки делать будешь с нами теперь, Иван Михайлович? — спросил Кружилин.

— Делать? — открыл глаза Субботин, встрепенулся.— Ты вот что скажи: сам-то что будешь делать с рабочими своего завода? В землянках больше одной зимы держать их нельзя, лесу, на который вы надеялись, не дадут. Об этом я сообщил тебе несколько часов назад. Время подумать было. Или не думал?

— Думал,— ответил Кружилин, хотя и не сразу.— Организуем несколько бригад, отправим в тайгу, за белки, лес валить. Это — единственный выход. Но заготовить необходимое количество леса для жилья — не такое простое дело. А главное — как его оттуда вывозить? Можно только весной по Громотухе сплавить. Затем готовить из него пиломатериал... Вот и ты подумай: чего и сколько можно за будущее лето сделать? Значит, какую-то часть рабочих еще зиму придется в землянках держать.

— А нельзя прямо в тайге пиломатериал готовить?

— Можно, конечно. И будем, наверное. Да сколько напилишь вручную? А может быть, какое-то количество пиломатериалов все же даст нам область или Москва?

— Москва...— тихо проговорил Субботин. Но еще до того, как замолк голос секретаря обкома, Кружилин понял, что о Москве он сказал по мирной привычке, сказал потому, что сердце и разум не могли примириться и не принимали того обстоятельства, что Москва висит на волоске, что сейчас она ничем не может помочь.

Впереди, в темноте, сперва глухо и невнятно, застучали колеса по мерзлой дороге, потом послышались ребячьи голоса.

— Ребята с элеватора возвращаются! — сразу встрепенулся Субботин.

Скоро мимо ходка потянулись первые подводы. Некоторые шли пустыми, без людей, зато на других бричках было полно ребятишек. Они переговаривались, визжали и хохотали, возились в бричках, пытаясь, видимо, согреться, потому что в воздухе, по мере того как звезденело, подмораживало все сильнее.

— Э-эй, старшо-ой! — крикнул Субботин.

Смех и голоса на бричках смолкли.

Субботин кричал, сойдя на землю, стоя лицом к голове обоза, который не останавливался. А Володька Савельев неслышно подошел сзади, по-мужицки сунул бич в голенище.

— Вот он я... Чего вам?

— Здравствуй еще раз... э-э... Володя. Так, кажется? — Субботин протянул ему руку.

— Так,— подтвердил паренек, помедлил, но руку все же подал.

— А я — Субботин Иван Михайлович, секретарь обкома партии. Вот мы и познакомились. Сдали хлеб?

— Сдали.

— Хорошо там подсушились, на элеваторе?

— Подсушились. Потому и припоздали малость. Да ничего, доедем, дорога нам тут знакомая.

Володька говорил не спеша и рассудительно, как взрослый.

— А дед ваш где?

— Вон в последней бричке лежит. Захмелился маленько.

— Как захмелился?

— Обыкновенно. Встретил на элеваторе каких-то знакомых, чекушку выпил... Ничего, я его брезентом укрыл, а сверху соломой — не замерзнет. Так-то он дед хороший...

Мимо проехала последняя бричка.

— Ну, так что вам? Я побегу, а то далеко обоз догонять.

— Мне — ничего. Просто хотел познакомиться с тобой. Молодец ты... Учишься как?

— Ничего учусь. Бывают и неуды...

— Как же так? И часто?

— Бывают,— вздохнул мальчишка.

— Ну, это никуда не годится.

— Что уж тут хорошего...— опять с сожалением проговорил парнишка.

— Ладно, беги...

Володька кинулся догонять заднюю бричку, Субботин глядел вслед, пока он не пропал в темноте.

— Хороший мальчишка,— задумчиво проговорил Субботин, взобравшись на ходок.— Чем-то он мне еще днем понравился.

— Это, между прочим, сын Ивана Савельева, младшего из братьев Савельевых, который недавно из заключения пришел. Я тебе как-то рассказывал.

— Да? — с любопытством спросил Субботин.— Это который? Да, да, вспоминаю. Этот, младший из Савельевых, что в белогвардейском отряде, кажется, служил?

— В кулацкой банде. Потом к нам перешел.

— Да, да... Видишь, как интересно,— будто про себя проговорил Субботин.— И как он, Иван, сейчас?

— Нормально вроде. Живет, работает.

— А Федор?

— Слышал же от Назарова: «Человек дерьмо, а на работу золото». Ничего я к этому прибавить не могу.

— Не разобрался, значит?

— Нелегко это, в чужой душе разобраться.

— Да, трудно. В человеческих судьбах, отношениях все переплетено самым причудливым образом...— Субботин помолчал.— Что в народе о войне говорят?

Кружилин повернул голову к Субботину:

— Что говорят... Тяжко людям. Но народ перелома в войне ждет. Ждет и верит.

Секретарь обкома помедлил и заговорил спокойно, негромко, будто рассуждая сам с собой:

— Вот ведь удивительно, если вдуматься. Немцы захватили огромные, самые богатые и могущественные в индустриальном отношении области страны, враг стремительно и неудержимо двигается вперед, подходит к самым стенам Москвы,— а народ ждет перелома в войне и знает, что перелом скоро наступит. Люди действительно испытывают сейчас неимовернейшие тяготы, лишения, в таком положении немудрено и духом упасть, потерять всякую веру, а люди — уверены в победе. А почему? Почему?! — И, помедлив, будто сожалея о своем возгласе, продолжал: — Да потому, что он, народ, понимает: сейчас страна пока одним Уралом фактически воюет —много ли у нас за Уралом промышленности? Но это — пока...

Колеса ходка гулко постукивали по мерзлой дороге, и звук этот, наверное, далеко разносился по заснеженным пустынным полям.

— Фашистские властители мыслили правильно. Имеют они подавляющее превосходство в военном отношении? Имеют. Есть возможность стремительно захватить главный индустриально-промышленный комплекс России, оставив ее таким образом безоружной и беспомощной? Есть. Правильно, но примитивно. Они не могли предположить, что мы сумеем справиться с эвакуацией сотен и сотен заводов, сумеем быстро восстановить предприятия на новом месте. Дело это невиданное, неслыханное в истории земли и народов! А мы — сумели. Мы еще во всей полноте, возможно, не в состоянии оценить значение этого обстоятельства, этого беспримерного народного подвига. А оно, это значение, в том, что мы уже выиграли войну! Сохранив наши заводы и фабрики, мы выиграли войну! Потом, после победы, мы будем с удивлением размышлять: да как же это мы сумели? Как?!

Небо звезденело все больше и гуще, оно будто бралось изморозью и оттуда, сверху, тяжко и могуче дышало на землю опаляющим холодом.

— Не знаю, Поликарп, каким образом ответят на это наши историки, социологи, экономисты и прочие ученые. Я же себе отвечаю так... Может быть первая линия обороны, вторая, а я говорю — есть еще и третья, самая главная, которую никакой враг не одолеет. Она проходит не по нашим границам, она проходит, говоря языком немножко красивым и торжественным, через твою и мою душу. Через хрупкое еще сердчишко этого мальчонки...— Субботин кивнул назад, куда ушел колхозный обоз.— И через старое, изношенное, уже работающее с перебоями сердце Панкрата Назарова. И через миллионы и миллионы других... И об этом, я знаю, писатели будут писать книги, поэты будут слагать поэмы и песни...

Кружилин слушал и поражался простоте мышления и ясности слов секретаря обкома партии и одновременно глубине и сложности тех вещей, о которых он говорит.

— С Полиповым-то как живете?

Субботин спросил неожиданно, его вопрос прозвучал резко и неприятно.

— Как? — Кружилин пожал плечами.— До открытых стычек не доходим,

но разговаривали, случалось, откровенно. А сейчас вот еду и думаю — буду ставить вопрос, чтоб его убрали из района. О Назарове-то он вам накляузничал. А ведь мы договорились с ним...

— Слушай, сойди-ка ты с ходка да остуди снегом голову.

— А что, не он? — И Кружилин натянул вожжи, будто в самом деле хотел спрыгнуть на дорогу.

— Ну, допустим. А дальше что?

— А дальше — я уже говорил! Или он пусть в районе остается, или я... Я и без того хотел проситься у обкома на фронт. В конце концов, есть решение ЦК о направлении на фронт коммунистов в качестве политбойцов. Винтовку в руках держать еще могу... А не пошлете — сбегу. Как Кирьян Инютин, сбегу.

— Давай, давай! Мы в обкоме партии, когда ты сообщил про побег на фронт этого Кирьяна, посмеялись. Мальчишки часто бегают, это известно. Но чтобы сорокалетний мужик — это впервые случилось. Еще интереснее будет, когда пятидесятилетний побежит. К тому же — секретарь райкома.

— Да, смешно, конечно...

— Вот именно. А с Полиповым... Никто тебя не поймет, не поддержит, если драку с ним затеешь.

Кружилин усмехнулся вслух.

— Ты говоришь, как Полипов, слово в слово. Он тоже пугает меня: не поймут, не поддержат.

— Что ж, я, кажется, обращал твое внимание на тот факт, что Полипов не так глуп. И о Назарове сообщил он не по-глупому, не в форме доноса. Он просто написал, что председатель колхоза «Красный колос», ни с кем не посоветовавшись, самовольно засеял рожью почти все посевные площади. Секретарь райкома партии Кружилин, также ни с кем не посоветовавшись, единолично поддержал его, заявляя, что разрешил это сделать одному колхозу в опытном порядке. А он, Полипов, как коммунист и председатель райисполкома, не уверен, можно ли заниматься опытничеством в такое тяжелое для страны время, он считает неправильным такие единоличные действия секретаря райкома. И поскольку он сомневается во всем этом, то просит разъяснений у обкома... Как видишь, он будто бы и себя под удар ставит — я, мол, растерялся и по скудоумности сообразить ничего не могу... Но в области-то помнят, что при Полипове Шантарский район больше всех сдавал государству хлеба, помнят и то, что я, Субботин, настоял на смене секретаря райкома. Потому что я знаю, до какого состояния довел Полипов колхозы, знаю... вернее, начинаю, кажется, понимать, что это вообще за человек. Вот меня и прислали: езжай, разбирайся со своим ставленником. Я и приехал.

— И разобрался?

— Нет еще. Разобраться можно будет только будущей осенью. Точнее, убедить всех, что рожь сеять выгоднее. Если, конечно, еще бог даст, как говорит тот же Назаров.

— Ну а если не даст? — спросил Кружилин.

— Он что, самовольно все рожью засеял?

— В общем-то самовольно. Но, признаться тебе, я и сам подумывал переводить район постепенно обратно на рожь. А тут война, все завертелось... Назаров же рассудил — нечего ждать. И он прав, Иван Михайлович...

— Прав... Допустим, и я знаю, что прав. И в обкоме, и всюду я поддержу тебя с Назаровым. Это мне удастся, потому что... потому что мнение о тебе в обкоме сейчас неплохое. С уборкой район справился, завод пущен. Все пойдет на одни весы. Но если на будущее лето «бог не даст», прямо говорю — плохи будут наши с тобой дела. И мои, и твои, и Назарова,— подчеркнул Субботин.— Хороши они будут лишь у Полипова. Понимаешь ли теперь, с каким дальним расчетом он действует?

— Значит, спасение от Полипова нам только боженька принесет? — насмешливо спросил Кружилин.

Субботин долго не отвечал, и Кружилину показалось, что тот и забыл про его вопрос.

— Есть, Поликарп Матвеевич, старая, как мир, пословица: друзья познаются в беде. Если внимательно поглядеть — сейчас многое можно увидеть. Война очень ясно покажет нам, яснее, чем когда бы то ни было: кто настоящий друг Советской

власти и, значит, предан ей искренне, до конца, кто равнодушен к ней, а кто и... враг ее.

— Ты даже так вопрос ставишь?! — со сдерживаемым удивлением произнес Кружилин.

— Даже так,— сухо, почти враждебно, подтвердил Субботин.— Конечно, я не имею конкретно кого-то в виду. Тем более Полипова. Я рассуждаю отвлеченно. И сейчас по-разному поведут себя люди. У кого есть в душе червоточинка — война может превратить ее в целый гнойник. А может случиться и наоборот, может быть, война и затянет эту червоточину, зарубцуется она, если в человеке больше все-таки человеческого. Максим Горький, кажется, сказал: в жизни человек все-таки свою человеческую роль выполняет.

Субботин умолк. В степи стояла тишина, которую нарушал только стук копыт да колес ходка по мерзлой дороге. Звезды давно обсыпали небо от горизонта до горизонта, над Звенигорой поднялась луна, облила голубоватым светом заснеженные утесы.

— Как же понимать эти твои слова... по отношению все-таки к Полипову?

Кружилин проговорил это и понял, что вопрос не понравился Субботину, секретарь обкома недовольно пошевелил плечом. Вместо ответа Субботин спросил вдруг:

— О сыне так и нет никаких вестей?

— Нет,— глухо уронил Кружилин.

Больше они до самого села не разговаривали.

* * *

Еще днем, вернувшись на завод после осмотра землянок, Антон позвонил жене:

— Кланяется тебе дядя Ваня. Обещал вечером зайти.

— Ой! — по-девичьи испуганно ахнула в трубку Елизавета Никандровна.— А чем же мы угощать его будем? Ты возьми там что-нибудь в заводской столовой

— Ладно, возьму чего-нибудь,— улыбнулся Антон.

И вот стол накрыт, время уже двенадцатый час ночи, а Субботина все нет. Измаявшаяся за день с уборкой квартиры и приготовлением ужина Елизавета Никандровна прилегла на кровать. Антон шагал из конца в конец комнаты, поглядывал на часы. Но думал он не о Субботине, а о сыне. Юрию через пятьдесят минут, ровно в двенадцать, заступать в третью суточную смену, а он где-то болтается в селе. Жена сказала, что Юрий ушел еще с вечера в клуб, на танцы. Антон про себя нахмурился. Только что он проходил мимо клуба — здание погружено в темноту. Значит, ни танцев, ни кино сегодня нет или давно кончились.

Спецовка Юрия — замасленный ватник, такие же замасленные старенькие брюки, приготовленные матерью, лежали в кухне на табуретке.

Сын беспокоил и тревожил его все больше и больше. Когда она началась, эта тревога,— там, в Харькове еще, или во Львове, в суматошные последние дни июня? Или чуть позже, когда уже приехали сюда, в Шантару? Да и есть ли основания для такой тревоги? Разобраться в этом Антон до конца еще не мог, как и вообще не мог пока во всей полноте осмыслить то, что с ним самим произошло. Поездка в Перемышль в тот спокойный субботний июньский день, ужасное утро 22 июня, дорога на Дрогобыч, переполненная беженцами, бой на берегу Сана, капитан Максим Назаров с перебитыми ногами, круглолицый и чернявый солдат Василий Кружилин... Зрачок автомата, подрагивающий прямо на уровне его, Антона Савельева, глаз, ночь в лагере и горячие глаза грузовиков... Длинный и тощий немецкий офицер, туго перетянутый ремнем в талии, похожий на стоящего торчком муравья, расстрелы пленных... И последнее — уходящий за обгорелые остатки какого-то здания Василий Кружилин с обмякшим телом Назарова на плечах.

Все это походило на неправду, на привидевшийся кошмар, который не исчезал. Часто, стоило Антону отвлечься немного от дел, как сами собой, сцена за сценой, возникали перед глазами ужасные события тех дней...

Расхаживая по комнате возле накрытого стола, Антон чувствовал, как пощипывает сердце холодком. Елизавета Никандровна лежала на кровати, прикрыв глаза,— видимо, задремала.

Антон глянул на часы — полдвенадцатого. А Юрки нет. Где же он, вертопрах?

Этим словом — «вертопрах» — он назвал сына впервые, кажется, там, во Львове, куда он добрался, вконец обессиленный, числа 26 или 27 июня, утром. Он шел по улицам, поражаясь, какие перемены произошли с этим красивым, пестро-оживленным городом всего за несколько дней. Когда он уезжал утром 21 июня, островерхие кровли домов тонули в розовато-пахучей дымке, пьянящий аромат был разлит по всем кривым средневековым переулкам, чисто подметенным на рассвете дворниками. Сейчас улицы замусорены, пахло ядовитой гарью, местах в тридцати, а может, в пятидесяти поднимались в небо черные дымные столбы и там, перемешиваясь, серой простыней закрывали все небо.

Где-то за этим плотным серым полотном слышался знакомый надсадный гул самолетов, в стороне вокзала раздавались глухие взрывы. «Бомбят вокзал»,— понял Антон, и у него екнуло сердце — недалеко от вокзала была его квартира.

Обычно людные с самого утра, улицы были сейчас пустынны, только по центральным магистралям нескончаемым потоком шли и ехали беженцы, не обращая внимания на какую-то стрельбу, время от времени раздававшуюся в переулках и почему-то на крышах домов. Людские потоки устремились с запада на восток, огибая вокзальную часть города.

— Почему стреляют? Кто стреляет? — несколько раз спрашивал Антон. Но никто ничего не мог объяснить.

Антон миновал самый шикарный львовский ресторан «Жорж», зеркальные окна которого были выбиты, а осколки стекол хрустели под ногами. Утопавшая в зелени Академическая улица была тоже запружена беженцами. По левой стороне сквозь толпу пробивались грузовые и легковые автомобили, доверху набитые разным домашним барахлом крестьянские фуры. А по правой стремительно проносились к западной окраине города танки и мотоциклетные подразделения. Рискуя попасть под гусеницы, Антон пересек улицу и побежал к обкому партии.

В коридорах валялись кипы бумаг, беспрерывно хлопали двери, из кабинета в кабинет бегали сотрудники, не обращая никакого внимания на заросшего грязью, небритого Антона в замызганном пиджаке и в сапогах, от которых осталось одно название. Антон прошел в кабинет секретаря, махнув рукой изумленной, вскинувшей крашеные ресницы девушке, выбрасывавшей из шкафа бумаги.

Секретарь обкома стоял спиной к двери, кричал в телефонную трубку, отказывал кому-то в каких-то машинах. Потом обернулся, увидел Савельева.

— А-а, наконец-то...— сказал он, моргая красными от бессонницы глазами. На столе, прямо на бумагах, стояла тарелка с остатками котлеты, два стакана с недопитым чаем.— Выбрался, значит? Жив? — И начал что-то искать в бумагах.

— Почти...— ответил Савельев, упав на чистое, обтянутое зеленым сукном кресло.— Как же это? Как?

— Так вот,— грустновато сказал секретарь.— Немцы в тридцати-двадцати километрах, вокзал беспрерывно бомбят, движение поездов практически прекратилось. Станционные пути пытаемся починить под бомбежкой, но...

— Немцы еще в тридцати километрах. А стреляют почему в городе?

— Каждую ночь фашисты сбрасывают с самолетов диверсионные группы. Вылавливаем, насколько возможно. Но трудно это. Они одеты в гражданскую одежду. И свои, бандеровцы, зверствуют. Практически — бои идут уже в городе.

— Практически — город уже пал,— не то спросил, не то констатировал сам для себя Савельев.

— Да, положение критическое,— проговорил секретарь обкома, разыскав наконец нужную бумажку.— Это обрушилось как снег на голову. Вчера еще немцы были километрах в сорока. Где они будут завтра — никто не может сказать. На окраинах роем окопы...

— Да, я видел...

— Мобилизовали, кого только смогли, в основном молодежь. Хотя на день, хотя на несколько часов задержать фашистов — и то великое дело. Главное сейчас — спасти людей, ни о чем другом не может быть речи. Но стихия бегства овладела людьми, и управлять этим потоком тоже почти невозможно. Единственное, что мы могли сделать,— поставили на перекрестках регулировщиков, которые указывают дорогу беженцам... А вам срочно в Москву нужно. Вот.— И секретарь обкома протянул телеграмму.

— Зачем мне в Москву?

— Не знаю. Вызывает Наркомат среднего машиностроения. Связь с Москвой пока действует, оттуда по поводу вас звонили уже дважды. Быстро приводите себя в порядок, через час я пришлю за вами обкомовскую эмку. Никаким другим транспортом из города, к сожалению, не выбраться. Доедете до Тернополя там, кажется, вокзал еще не разбомбили. Все. Через час машина будет у вашего дома...

— Цел ли еще дом-то? — сказал Антон и потянулся к телефону.

— Цел, и все домочадцы невредимы. Я только что звонил, справлялся, не вернулись ли вы. Не теряйте времени. Кстати, и жену захватите с собой, иначе она из города не выберется...

Чем ближе подбегал Антон к своему дому, тем чаще попадались разрушенные здания. Стены одних были напрочь разворочены бомбами, и на месте трех-, четырехэтажных домов лежала просто груда кирпичей и обломков, у других были разбиты или угол, или часть стены, или снесена черепичная крыша. Из многих окон хлестало пламя, клубами валил густой дым. Несколько дней назад все эти дома стояли чистенькими и веселыми, и теперь не верилось, что это те же самые улицы, тот же самый город.

А на вокзале все ухало, там хлопали зенитки. Стреляли, видимо, наугад, потому что из-за сплошного дыма, застилавшего небо над вокзалом, самолетов было не видно. А фашисты бомбили вокзал наугад, с непостижимым упорством высыпая бомбы в самое месиво огня и дыма, щадя сам город, который был обречен, из которого они не хотели больше выпустить ни одного эшелона.

В два-три прыжка Антон преодолевал лестничные марши, взбежал на третий этаж, рванул на себя дверь.

— Анто-он! — метнулась к нему жена, припала к груди, зарыдала.— Жив... Жив!

— Лиза... Успокойся. Ради бога, успокойся.

В комнатах было все перевернуто, разбросано. На кроватях, на столе стояли раскрытые чемоданы. Юрий в майке и тапочках ходил по ворохам одежды, выбирал самое лучшее и запихивал в чемоданы.

— Ну, ну, я жив, Лиза...— Антон тихонько отстранил жену, подошел к сыну, на ходу сбрасывая грязный, изорванный пиджак.— Приехал? Здравствуй. Ты что это делаешь?

— Что я делаю? — спросил Юрий, не прерывая своего занятия.— Тебе же дают машину, чтобы из города выехать... Надо взять хотя бы самое необходимое.

— Откуда ты знаешь про машину?! — с ненавистью закричал Антон, хотя и сам еще не понимал причины этой ненависти к сыну.

— Антон, Антоша! — опять метнулась к нему жена.— Ты зачем так? Из обкома партии уже второй день звонят, все о тебе спрашивают. Тебя ведь в Москву вызывают... Господи, что я передумала за эти ночи! Юра говорит: «Давай, мамочка, собираться на всякий случай». Немцы-то, немцы где? Говорят, под самым городом? Неужели...

— Погоди, Лиза.— Антон отстранил жену, подошел к сыну.— А ты в военкомате был? — И он вырвал из рук сына рубашку, которую тот намеревался положить в чемодан.— Ты был в военкомате, спрашиваю?

Юрий неопределенно пожал плечами.

— Я, собственно, не здешний. А потом — мама...

— Фашисты в двадцати километрах от города! Люди окопы роют... Ты — военнообязанный...

— Хорошо,— негромко произнес Юрий, натягивая рубашку.— Хорошо, только не кричи. Я пойду сейчас в военкомат...

— Нет, нет! — воскликнула жена, подбежала к сыну, загородила его своим телом от Антона, будто от врага. Глаза ее горели нездоровым пламенем.

— Лиза! Ты потом сама себя будешь проклинать за эту слабость...

— Все равно... Я не могу. Он — единственное, что у меня осталось в жизни, Антон! Или мы все втроем уедем в Москву, или ты один поедешь.

— Мы вдвоем поедем! Понимаешь, вдвоем. А он должен...

—Не-ет! — бледнея, закричала Елизавета Никандровна, прижала к себе

сына. Но тут же ее худенькое тело конвульсивно дернулось, она застонала, начала сползать по груди сына на пол.

— Мама! Мамочка...— подхватил ее Юрий.

— Лиза! Лиза...— растерялся Антон, хотя и знал, что надо делать в таких случаях.

— Да скорее же, папа!

Юрий взял мать на руки, шагнул к дивану, ногой сбросил стоявший там чемодан. Уложив мать, он выхватил из рук отца пузырек, капнул несколько капелек в рюмку с водой, тоже поданную отцом, влил ей в рот. Антон стоял рядом, бессильно опустив руки, с жалостью глядел на покрытое испариной, все еще бледное лицо жены.

Через некоторое время веки Елизаветы Никандровны дрогнули, она открыла глаза, заговорила с трудом:

— Юронька, сынок... Мы вместе поедем. Слышишь, Антон... Я знаю, понимаю... что это нехорошо. Но я не могу... Если я потеряю его, я не проживу ни одного дня... Ты пойми, Антон...

Грудь ее часто вздымалась и опускалась, настолько часто, что казалось, Елизавета Никандровна не дышит, а беспрерывно вздрагивает.

— Хорошо, хорошо,— торопливо сказал он.— Только успокойся.

Со стороны вокзала по-прежнему доносились взрывы, от которых подрагивал дом, звякала посуда в шкафу. Временами там завывала сирена и, как ни странно, доносились паровозные гудки.

Постояв немного возле жены, Антон пошел в ванную побриться и умыться. На душе было мерзко и гадко. Все протестовало против того, чтобы, воспользовавшись предоставленной возможностью, увезти отсюда сына. Но выбора не было, потому что жена действительно не пережила бы этого.

Жену он не осуждал, понимая истоки и причины ее беспредельной и, если сказать откровенно, слепой и животной любви к сыну. В том далеком, страшном для их семьи восемнадцатом году белогвардейский следователь Свиридов не пожалел и шестилетнего Юрку. И не от пыток, которые Лиза сама перенесла, а оттого, что при ней терзали ее ребенка, помутился у нее разум.

Что ж, Антон все это понимал. Но кто поймет его, Антона, если он увезет из пылающего города своего сына — давно уже не парня даже, а рослого, здорового мужчину, который, по всем законам человеческой совести, должен, обязан защищать этот город от наседавшего врага?

Но даже рассуждать на эту тему не оставалось времени — сейчас должна подъехать машина, может быть, стоит уже у подъезда.

Наскоро оскоблив щеки и шею, Антон вышел из ванной.

— Ладно, собирайся... Много барахла не бери, самое необходимое только... А вообще скажу тебе, Юрий: вырос ты в какого-то... вертопраха.

Это слово он слышал давно, еще там, в Новониколаевске, в юности. Так часто называла его самого тетка Ульяна, когда отчитывала за хулиганские выходки. И оно сейчас само собой пришло на память.

Юрий пожал плечами:

— Смотря с какой стороны оценивать человека. Сам я считаю себя неплохим токарем.

— Перестань губы кривить! — прикрикнул Антон.— А там, в Москве, видно будет... Во всяком случае, в первый же день в военкомат явишься...

Но в Москве, куда они добрались с большим трудом, пережив неисчислимое количество бомбежек и обстрелов с самолетов, он только и успел позвонить из Наркомата в ведомственную гостиницу, сообщить название завода сельхозмашин, который ему поручили эвакуировать, да крикнуть Юрию в трубку:

— Куда завод будет эвакуирован — на Волгу или дальше,— пока неизвестно. Внизу ждет машина, которая отвезет меня на аэродром, я вылетаю на место. Ты слышишь, Юрка?

— Да, слышу, слышу...

— До получения известий от меня живите в гостинице. Я попросил в Наркомате, чтобы вас не тревожили пока. Мать береги. Понял?

— Все ясно, папа.

— Ну а там видно будет,— прибавил он, как перед отъездом из Львова.

Через две недели он появился опять в Москве, потом улетел. И уже из Сибири позвонил в Москву, сообщил, куда им ехать.

Здесь, в Шантаре, Юрий действительно сразу же пошел в военкомат, ни слова не сказав об этом ни отцу, ни матери. В тот же день вечером Антону позвонил военком Григорьев:

— Ваш сын, Антон Силантьевич, токарь высшего разряда?

— Да. Ну и что же?

— Разве такие специалисты не нужны на вашем заводе? У нас есть приказ — бронировать таких. Но он не работает еще на заводе.

Антон глянул на жену, которая тяжело перенесла дорогу и сейчас еле переставляла ноги по комнате, вздохнул и, поколебавшись, произнес:

— С завтрашнего дня будет работать...

Чувствовал Антон себя так, будто сделал мерзость.

* * *

Он еще раз посмотрел на часы — без двадцати двенадцать. И в эту секунду распахнулась дверь, вбежал Юрий — грудь нараспашку, кепка держится на голове чудом. Лицо припухлое и измятое.

— Мам! — закричал он с порога, еще не прикрыв дверь.— Опаздываю! Где спецовка?

Елизавета Никандровна прохватилась от его крика.

— Ба-атюшки! Да опоздал ведь! Как же теперь? Ведь поужинать надо.

— Ничего... Ты заверни мне с собой чего-нибудь...— И он начал плескаться у рукомойника.

Антон вышел на кухню, с полминуты молча глядел на сына.

— Где был?

— Так... На танцы ходил,— ответил Юрий, вытираясь.

— Врешь! Вре-ошь!! — воскликнул Антон, багровея.

— Да ты чего, Антон? — испуганно спросила Елизавета Никандровна.

— Погоди, Лиза... Зачем же ты врешь, Юрка? Когда научился? Ты же спал где-то, по морде видно!

Юрий аккуратно повесил полотенце на гвоздь возле умывальника.

— Ну, хорошо, вру,— сказал он спокойно.— И действительно... спал. У товарища, допустим.

— Не допускаю! — снова взорвался Антон.— Ты... ты у женщины какой-то спал, мерзавец!

— Антон...

— Что — Антон? Погоди, сказал...

— Действительно, погоди, мама...— Юрий подошел вплотную к отцу, сдвинул брови, хищно, как рысь, сверкнул зелеными глазами. Антон, глядя в эти глаза, ужаснулся. Но тут же их хищный блеск пропал, растаял, перед ним стоял прежний Юрий, покорный и безобидный. И Антон невольно подумал: не померещился ли ему сейчас тот, другой, никогда не виданный раньше Юрий? — Из-за чего шум, папа? — спросил он, виновато улыбнувшись.— Ну, допустим, я... был у женщины. И что же? Я — взрослый.

— Пошляк! Ах ты пошляк! — Антон весь дрожал, уголки рта у него задергались, как у Полипова.

— Ладно, папа... Некогда выяснять отношения. Ой, десять минут осталось!

И он, схватив приготовленный матерью сверток, пулей вылетел из кухни.

Антон, тяжело опустившись на стул, зажал руками голову. Елизавета Никандровна неслышно подошла к мужу, дотронулась до плеча.

— Зачем ты так с ним? Он действительно вырос...

— Он вырос! Но в кого он вырос?! Неужели ты не видишь — он врет, изворачивается... Захотел женщину — жениться надо! Так порядочные люди поступают. А он... Неужели не понимаешь — гниль у него в башке завелась.— Антон вскочил, заходил по комнате.— Так что из него выросло? И что еще вырастет?

Елизавета Никандровна всхлипнула.

— Я понимаю, Антон. И я знаю — я виновата, моя чрезмерная материнская любовь... Умом, рассудком я все понимаю... Но я не могу без него. Он — единственный мой ребенок, первый и последний. Если бы я могла иметь еще детей,

этого бы не случилось, наверное. Они так били меня там, в застенке, палками по животу... Ты пойми меня...— И она тяжело зарыдала.

— Хорошо, хорошо... Не надо, успокойся.

Он не был тряпкой, Антон, не был человеком слабовольным. Но перед женой, перед ее слезами, он, как всегда, становился беспомощен. Объяснялось ли это любовью — Антон любил свою Лизу до сих пор, как мальчишка, до самозабвения,— или тем, что он ни на минуту не забывал, какие мучения она пережила в восемнадцатом году? Она потеряла тогда здоровье, и теперь малейшее волнение укладывало ее в постель, и он старался ее не волновать, всегда уступал... Или это объяснялось тем и другим вместе?

Но чем бы это ни объяснялось и как бы ни объяснялось, Антон понимал, что это не достоинство его, что, рассуждая объективно, и он виновен, что сын вырос таким. Сперва он где-то что-то, может, и проглядел, потом, заметив в характере сына изъяны, начал уступать жене, а теперь уже поздно что-то сделать, да, видимо, и невозможно: вон как хищно блеснули у сына глаза...

— Здравствуйте! Принимайте гостя! — раздалось от порога.

Ни Антон, ни Лиза не услышали, как зашел Субботин. Но, увидев плачущую Елизавету Никандровну, он смешался:

— Извините, я вроде не вовремя.

— Дядя Ваня... Дядя Ваня!..— воскликнула Елизавета Никандровна, как когда-то давно-давно, на лесной опушке, когда вот этот же человек, тогда молодой, полный сил и жизни, заговорил с ней о ее отце, погибшем во время побега из Александровского централа. Подбежала и так же, как тогда, ткнулась ему в грудь.

— Ну-ка, ну-ка, Лизонька... Дай я погляжу на тебя, какая ты стала? — весело проговорил он и, чуть отстранив от себя, заглянул в глаза.— Красавица! Ты, Лиза, такая же красавица, как и в юности.

— Ах, дядя Ваня... товарищ Чуркин... Я так рада. Сколько лет прошло!

— И я рад, Лиза. Вот видишь, и увиделись. Судьба. А чего это плакала? Антон обидел? Он, известно, изверг...

— Нет, Антон у меня хороший,— сказала Елизавета Никандровна.— Это мы так...— И она смешалась.— Да что это мы стоим? Раздевайтесь — и к столу. И вообще, мы вас сегодня никуда-никуда не отпустим. Раздевай же его, Антон.— И Елизавета Никандровна побежала в комнату.

Иван Михайлович снял пальто, причесал редковатые волосы.

— А все-таки что за слезы у вас тут, прости за нескромный вопрос?

— Сын, понимаешь, беспокоит меня все больше. Вот поговорили о нем сейчас.

— Вот как... Да, дети подчас — сложный вопрос.

— Сложный,— вздохнул Антон.— Мой руки. Как съездилось в колхоз?

— В общем — хорошо. Интересный человек председатель тамошний,— проговорил Субботин, гремя рукомойником.— Партизан маленько. Взял да и засеял рожью почти все посевные площади. Ну, да партизаном в наше время иногда и полезно быть — скорее добьешься чего-нибудь.

— Долго у нас еще будешь? На завод когда ждать? — подавая полотенце, спросил Савельев.

— Побуду. И на завод еще зайду. Но я сейчас снова по сельскому хозяйству.

— Вон как. Значит, не непосредственное мое начальство теперь?

— Выходит. Жалеешь?

— Радуюсь. Без всякой опаски водку можно с тобой пить теперь.

— А то опасался?

— Да побаивался.

Смеясь, они прошли из кухни в комнату.

* * *

Полипов, закончив рабочий день, по старой, выработавшейся годами привычке проверил, не осталось ли каких бумаг на столе, заглядывать в которые посторонним не следовало, заперты ли ящики стола и стоявший в углу кабинета несгораемый шкаф. Потом взял портфель, намереваясь пойти домой, но вместо этого сел в мягкое кресло для посетителей, прикрыл глаза и задумался.

Думал он в последние дни все о том же — о Субботине. Секретарь обкома уже неделю живет в Шантаре, разъезжает с Кружилиным по колхозам, но в ис-

полком ни разу не зашел, о письме, которое он, Полипов, написал в обком, ничего не говорит. Полипов тоже ничего не спрашивает. При редких встречах Субботин равнодушно здоровается. Он, Полипов, кивает головой, отвечает на приветствие, и они расходятся каждый в свою сторону.

Но приехал-то Субботин по поводу его письма, это уж Полипов знает. Что он готовит ему, какой сюрприз? Созовет бюро райкома и объявит, что жалоба Полипова на секретаря райкома необъективна? Но это не жалоба, не такой дурак он, Полипов, чтобы писать жалобы. Это просто письмо коммуниста в вышестоящий партийный орган с просьбой разъяснить непонятное. Да, не вовремя снова бросили Субботина на сельские дела. Прежний секретарь по сельскому хозяйству разъяснил бы, что такое самовольство, не ему, Полипову, а Кружилину. Так разъяснил, что долго бы у того чесались определенные места. А потом этот козырь долго лежал бы в кармане у Полипова. Но кто же знал, что все так получится?

И вообще — везет этому Кружилину. Осенью совсем было запурхался с заводом, уборка хлебов шла медленно и вяло. И он, Полипов (здесь Полипов внутренне усмехнулся, сохраняя на лице хмурую задумчивость; он умел это делать — смеяться про себя, одним сознанием), не особенно форсировал косовицу, сквозь пальцы смотрел на то, что почти во всех хозяйствах жатва идет вдвое медленнее, чем могла бы идти при более четкой организации и строгом контроле. Он носился из колхоза в колхоз, поднимая шум только вокруг обмолота и хлебосдачи, требуя бросать сюда все силы, тягло, транспортные средства.

— Скоро начнутся ветры, непогода, зерно повыхлещет,— сказала однажды ему Полина Сергеевна, жена, глядя в районную газетку, где печатались уборочные сводки.— И окажется Кружилин в интересном положении. Хоть локти искусай, а сдавать государству нечего будет... А если еще и под снег на корню уйдет немного...

— Замолчи! — прикрикнул, багровея, Полипов, понимая, что она, как всегда, поняла его тайные расчеты.— Ты что говоришь, в чем ты меня... Выдумываешь черт-те что!

Конечно, это было бы идеально, если бы завод еще месяц-полтора не дал продукции, а уборка в районе завалилась. Спрос всегда с главного хозяина, и Кружилин вылетел бы из райкома, как пробка из бутылки, очистив место для него, Полипова. Но тут приехали Савельев и этот, тощий, как библейская корова, Нечаев — и завод через две недели начал выпускать снаряды. В результате — приветственные телеграммы из области и из Наркомата боеприпасов. Теперь Кружилин сам взялся за уборку. Он, наоборот, сквозь пальцы смотрел на хлебосдачу, требуя косить, косить, косить хлеба, метать скошенное в скирды. Хлебосдача резко упала, из области шли грозные звонки и телеграммы. Кружилин на них почти не обращал внимания, а он, Полипов, обращал — и все более мрачнел. (Здесь Полипов снова усмехнулся, но на этот раз в открытую, его широкое лицо скривилось, будто он хватил чего-то кислого). Да, он, Полипов, мрачнел, потому что понимал, настанет день — и придет из области поздравление за выполненный план хлебопоставок, а все грозные телеграммы превратятся в пустые бумажки. К тому же и природа будто была в союзе с Кружилиным — долго стояли сухие солнечные дни.

Так все оно и произошло. В итоге — ни одна из пружин, сжимаемых им, Полиповым, под Кружилиным, не сработала, они потихоньку выпрямились, даже не покачнув его в кресле. Что же оставалось ему, Полипову? Только Назаров, о самовольном поступке которого он узнал слишком поздно. Ах, если бы к тому же завод еще не выпускал снаряды, а район не выполнил плана хлебосдачи! Но тем не менее после некоторых раздумий Полипов написал свое письмо, памятуя: то, что написано пером, не вырубишь топором. Он писал его ночью, вот в этом же кабинете, за этим столом, философски размышляя, что жизнь быстротечна и изменчива, а обстоятельства могут живо сложиться так, что и это письмо вспомнится, будет к месту и, может быть, сыграет свою роль когда-нибудь...

В дверь стукнули. Полипов вздрогнул.

— Да. Кто там?

В кабинет вошел Субботин.

— Размышляешь? Здравствуй. Уезжаю я сейчас, попрощаться зашел.— Он снял фуражку, но раздеваться не стал.

— И на том спасибо,— усмехнулся Полипов.— Я думал — не зайдешь.

— Почему же? Я обязан поговорить с тобой, поскольку ты просишь в своем письме разъяснений насчет Назарова и Кружилина.

Полипов приподнял желтые брови:

— Что ж, разъясни.

Субботин сел в другое кресло, напротив Полипова. Их разделял узенький столик, приставленный к массивному столу хозяина кабинета. Субботин положил руки на вытертое зеленое сукно, крепко сцепил сухие пальцы.

— Слушай, Петро. Скажи мне откровенно: зачем ты написал это письмо? — тихо проговорил Субботин.

— Странный вопрос...

— Да, может быть, если бы я задавал его кому-нибудь другому, но мы с тобой в Новониколаевске одни и те же опасности делили, в одних тюрьмах сидели. Скажи мне, как старшему товарищу.

— Ты сам прекрасно понимаешь — почему. Я — коммунист, Иван Михайлович. Товарищ Сталин и наша партия учат нас принципиальности. А здесь налицо вопиющее самовольство...

— Я просил — откровенно, как товарищу,— поморщился Субботин.

— Я разве не откровенно говорю?

Было часов восемь или девять вечера, на улице давно стояла густая темень. В кабинете ярко горели две большие лампочки под дешевыми стеклянными абажурами. За окнами, освещенные падающим из окна светом, виднелись голые, чуть заснеженные, молодые еще топольки и клены. Летом, одетые листвой, они весело помахивали в окна, но сейчас было неприятно оттого, что из черной темноты к самым стеклам тянутся сухие, закостеневшие на холоде, голые ветви.

— Значит, разговора у нас не получится, Полипов,— сухо сказал Субботин и встал.— А жаль...

— Конечно, трудно мне говорить с тобой, поскольку, так сказать, твоими стараниями я был освобожден... а точнее — отстранен от партийной работы,— с откровенной обидой проговорил Полипов. Уголки его широкого рта отвисли, будто он собирался заплакать. Но не заплакал, а продолжал тем же тоном: — Сначала из города сюда переведен, как в ссылку. Потом из райкома вышвырнули. А дальше — уж и не знаю, куда меня еще... Кружилин как-то заикался — на колхоз. Все логично.

Субботин слушал молча, глядел на Полипова с сожалением, болью и с явно скользившей во взгляде неприязнью.

— В ссылку вышвырнули?.. Ах, Полипов, Полипов... Вот я и хотел поговорить с тобой, как старший товарищ, как человек с человеком, хотел понять тебя наконец и, может быть, помочь... чтобы тебя, как ты выражаешься, не вышвыривали и дальше, чтобы ты не скатился окончательно в пропасть.

— О-о! — желтые брови Полипова поползли вверх.— Вон как даже... вопрос-то стоит?!

— Ну а как же ты думал?! — с явно прорвавшейся болью вымолвил Субботин, шагнул к Полипову, сделал движение, будто хотел взять его за плечи, но передумал.— Там, в Новосибирске, ты превратился в партийного чинушу, в бюрократа самой жесткой пробы. Я думал, здесь, в районе, живая практическая работа тебя подлечит, жизнь продует тебе мозги. А ты...

— А что же я?! — Полипов тоже поднялся, заходил по кабинету.— Что же я, ударил в грязь лицом, да?! Тогда что называется не ударить в грязь лицом? Район при мне вышел в передовые по всем показателям: по хлебу, по мясу, по шерсти...

— Погоди же,— попросил Субботин.

— Нет, не погожу! — крикнул Полипов яростно, будто стоял перед ним не секретарь обкома, а председатель или бригадир какого-нибудь колхоза, с которыми он привык разговаривать таким вот образом.— Не погожу, потому что есть мнения, а есть объективные факты. Кто раньше всех и больше всех давал в области хлеба? Полипов. А молока, мяса? Полипов! Чей район на областной доске Почета? Полипова...

Субботин глядел на него с изумлением, потом это изумление сменилось прежней жалостью. Секретарь обкома сел на прежнее место. Полипов враз умолк.

— Прости...— пробормотал он и тоже сел.

Минуты полторы или две они сидели так молча, даже не шевелясь.

— Ну что же, Петр Петрович...— проговорил наконец Субботин тяжело. Теперь мне совсем ясен смысл твоего письма в обком. Где-то я еще сомневался, верил... или хотел верить в твою искренность... в заблуждения, может быть, в непонимание чего-то.

— Я понимаю одно — самовольные действия, как, например, назаровские, к добру не приведут.

— Ты вот, работая тут, самовольно не действовал. Все по параграфам, все по директивам. И довел район до нищенства. До критической точки. За это тебя и сняли, потому что нельзя больше было терпеть, все твои заступники в области не только увидели вывеску твоего, как ты говоришь, района, но и разглядели, что там, за этой вывеской. И ты это в общем-то понимаешь.

— Ну, зачем уж так — до нищенства, до точки?! Недостатки у меня, как и у каждого секретаря райкома, были в районе. Ты их возвел в степень, там, в обкоме, все представил в специальном освещении. Я не маленький, знаю, как это делается. Но я знаю и другое — все течет, все изменяется...

— Это как понять? — спросил Субботин негромко.

— А так... Такими, как я, коммунистами с дореволюционным стажем партия не бросается...

— Не гордись прошлыми заслугами,— попросил Субботин.— Гордись настоящими. А их у тебя нет.

— Ты считаешь — нет, я считаю — есть. Ты их только мусором завалил. Но ничего, подождем.

— Постой, постой... Чего, собственно, ты ждать собираешься? — И Субботин вытянул даже худую шею, будто ответ Полипова мог пролететь мимо его ушей.

— Все течет, говорю... Война к тому же... Может быть, тебя переведут куда-нибудь из Новосибирска, может быть, я попрошусь в другую область. Ну а на крайний случай...— Полипов помедлил секунду, поглядел в глаза Субботина и как-то с усмешечкой спросил: — Сколько тебе лет-то?

Субботин только шевельнул морщинами на лбу.

— В крайнем случае подождем, когда ты на пенсию уйдешь.

Опять стояла несколько минут тишина в пустом, гулком кабинете, за окном которого уныло торчали из темноты голые ветки деревьев.

— Да-а... Все, выходит, ты учитываешь, все рассчитываешь намного вперед.

— Рассчитываю,— с циничной обнаженностью сказал Полипов.

— Я всяко о тебе думал... Но, признаться, в истинном свете увидел тебя только сегодня. Что же с тобой произошло, Полипов? — грустновато, скорее сам у себя, спросил Субботин.

— И каков же я в этом свете?

— Сразу и не объяснишь. Интриган, завистник, карьерист — это, пожалуй, не то, это слишком мелко для тебя, бледно характеризует. Не знаю, не знаю...— Субботин устало потер морщинистые щеки.— Но что вот партийности в тебе нисколько не осталось, так это точно...

— Ну, это, знаешь ли...— рассыпал нервный смешок Полипов.— Тебе, конечно, никто не волен запретить какие угодно выводы и домыслы. Но ты их оставь, пожалуйста, при себе.

— А может быть, этой нашей партийности в тебе никогда и не было? — не обращая внимания на слова и смешок Полипова, раздумчиво добавил Субботин.— И еще: может быть... возможно, и сейчас даже в истинном... в самом истинном свете я тебя все-таки не вижу еще? А?

Полипов как-то странно откинул назад большую, широкую голову, приоткрыл рот, и угол этого открытого рта начал дергаться, толстые щеки — бледнеть.

— Да ты...— хрипло выдавил он, задохнулся, мотнул головой, вскочил. И закричал, срываясь на визг: — Да ты... ты как смеешь?! Я спрашиваю — какое ты имеешь право?!

Субботин поднялся с трудом, выпрямился. И проговорил спокойно, глядя не в глаза Полипову, а на его обиженно дрожащие щеки:

— А Кружилина мы тебе съесть не дадим. В скором времени мы пригласим его, Кружилина, на бюро обкома, обсудим итоги уборочной, положение дел

на заводе и в районе. За что-то будем хвалить, за что-то ругать, что-то посоветуем. Но, как ты сам понимаешь, больше будем хвалить... А насчет Назарова... Я думаю, обком согласится с моим мнением, что Кружилин, как руководитель района, имел право в интересах дела разрешить одному колхозу в опытном порядке на половине площадей посеять рожь. До свидания.

И Субботин вышел не оборачиваясь...

Домой Полипов явился взбешенный, как тигр, и напуганный, как заяц, за которым весь день гонялся охотник. Жена долго не открывала, и он, стоя на крыльце, что есть силы колотил носком сапога в дверь.

— Дрыхнешь, что ли?! — бросил он ей со злостью, когда она откинула засов.— Сидишь под замками, как принцесса!

— В селе всякой шпаны полно было и до войны. А сейчас-то...

— Да кому ты нужна, старая развалина?

И громко затопал по крашеному полу коридорчика, освещенного тусклой лампочкой.

* * *

После приезда Кружилина Полипов, демонстративно освободив райкомовскую квартиру, стал жить в этом небольшом, в две комнаты, аккуратном домике, стоявшем сразу за бревенчатым зданием исполкома.

Детей у Полиповых не было (то ли по вине мужа, то ли по ее собственной — Полина Сергеевна этого понять не могла, а к врачам обращаться стеснялась), и единственной ее заботой и обязанностью было убирать квартиру и готовить пищу. Делать это она умела и любила, но кухонные и квартирные дела отнимали времени немного, и она зимой целыми днями бесцельно ходила по пустым комнатам, валялась на диванах с книжками или журналами в руках, а летом занималась разведением цветов. И тот, райкомовский, дом и этот, райисполкомовский, всегда утопали в многочисленных пестрых и пышных клумбах.

Когда-то Полина Сергеевна была женщиной стройной, даже хрупкой, несмотря на полные бедра и немного сутуловатую спину. Но от многолетней праздной жизни, несмотря еще на сравнительно молодые годы — она была на пятнадцать лет моложе мужа,— располнела, расползлась. Бедра стали еще толще, на них трещали все юбки, груди обмякли и болтались под халатом тяжелыми кусками ползучего теста, когда-то тугой и упругий живот тоже обвис, под челюстью образовался второй подбородок.

Ей было двадцать пять лет, когда она вышла замуж, вернее — женила на себе Полипова.

Осенним вечером 1930 года в квартире Полипова раздался телефонный звонок.

— Извините, пожалуйста. С вами говорит Свиридова. Я хотела бы зайти к вам...

— Какая Свиридова? По какому делу?

— Хотела к вам на работу прийти, но не осмелилась. У меня неделю назад умерла мать. Я осталась совсем одна.

— Ничего не понимаю. Чем же я могу вам помочь?

— Я не за помощью,— вздохнула женщина в трубку.— Я хотела об отце поговорить... Ведь вы знали моего отца...

— П-простите,— чуть заикнувшись, произнес Полипов,— я не знал никакого Свиридова.

— Вы вместе с ним в Новониколаевской тюрьме сидели. Вы забыли, вероятно, столько лет прошло...

Долго молчал Полипов, сжимая трубку так, что побелели пальцы.

— Алло... Что же вы молчите? — спросила неведомая женщина или девушка.

— Да, да...— дважды вздрогнул Полипов, как под ударами.—Кажется, что-то припоминаю. Сергей Свиридов, как же... Да, мы сидели с ним в одной камере бывшей Новониколаевской тюрьмы. Это было, кажется, в девятьсот шестом году. Так что же вы хотите?

— Я сказала — увидеться с вами.

— Да, да... Ну что же, заходите... как-нибудь.

— Если позволите, я сейчас...— И, не дожидаясь ответа, повесила трубку.

Год назад Полипов демобилизовался из армии, после некоторых колебаний

приехал в родной город, в котором не был одиннадцать лет, стал работать заведующим отделом обкома партии. Он был еще не женат, жил в небольшой двухкомнатной квартире, из окон которой была видна Обь и железнодорожный мост через реку. Отойдя от телефона, он надел фартук, немного прибрал квартиру, вытер пыль с подоконников, сгреб со стола грязную посуду.

Он еще не домыл тарелки, когда в дверь осторожно постучали. Открыв, он увидел довольно миловидную женщину в простеньком, наглухо застегнутом до самой шеи жакете. У нее были красивые, ярко-коричневые глаза, густые, соломенного цвета волосы, зачесанные назад и собранные на затылке в тяжелый жгут, который чуть оттягивал назад голову.

— Это я,— сказала она застенчиво.

— Проходите.

Она села на кожаный диванчик, плотно сдвинув колени, и тотчас по щекам ее покатились слезы. Она вынула из большой черной сумки платочек, прижала его к красивым глазам. Плечи ее затряслись, колени сильно оголились, чуть не наполовину открыв толстые ляжки. Полипов глядел на эти ляжки и тревожно думал: откуда эта девица знает, что он сидел в тюрьме с ее отцом? Хотя, конечно, Свиридов мог сказать ее матери или ей самой об этом, когда он в восемнадцатом году несколько раз заходил к ним на квартиру. Помнит ли она, что он заходил? Что она знает о его отношениях с ее отцом? И вообще — что ей нужно от него?

— Успокойтесь,— сказал он машинально.— Простите... как вас звать?

— Полина, — жалобно сказала она.— Вы извините, что я... Я знаю, что отец... был сначала революционером, был с вами, потом... изменил своим идеалам, оказался в лагере врагов революции... Я отца не оправдываю. Но мне жаль его. И я подумала: может, вы знаете о нем какие-то подробности. Мать говорила мне, что он потом застрелился. Почему он застрелился?

— Откуда же это знать мне, девочка?

— Да, конечно...— Она встала. Красивые глаза ее начали вдруг туманиться, сделались беспомощно-глупыми. Неожиданно она схватила его руку, крепко сжала в своих горячих ладонях, и он почувствовал, как дрожат ее пальцы.

«Что за черт, да уж не пришла ли она... совратить меня?!» — мелькнуло у Полипова. Сделать это ей было нетрудно, он, Полипов, давно не видел женщин, в квартире они одни, а от нее исходил застилающий сознание запах ее тела и каких-то крепких, дешевеньких духов. И он не удержался бы, наверное, если бы голову не разламывало от мысли: помнит или нет Свиридова, что он заходил к ее отцу, когда тот был уже следователем в белочешской контрразведке? Помнит или нет?

Он резко вырвал руку. И сразу глуповато-беспомощное выражение в ее глазах исчезло, в них появился живой блеск, затрепетал презрительно-насмешливый огонек, еще больше напугав Полипова.

— Извините,— сказала она.— Я пойду. Немного растрепалась, можно мне чуточку причесаться?

Насмешливое выражение ее глаз потухло, зато в уголках губ мелькнуло что-то хищное, острый носик дернулся. Но тут же и это все пропало, растворилось в простенько-застенчивой, даже стыдливой улыбке. Эти превращения происходили так быстро, что Полипов не знал, что и думать.

— Пожалуйста. Вот ванная комната, если хотите, можете умыться.— И ушел на кухню.

Из кухни он слышал, как она ходила по комнате, заглянула в спальню — скрипнула отворяемая туда дверь. Потом зажурчала вода в ванной, и снова его необычная гостья ходила по комнате. Затем скрипнула еще раз дверь в спальню, и все затихло. «Она или нахалка, или...» Сердце его испуганно стучало. Но выглянуть из кухни, проверить, что делает его гостья, не решался.

Наконец все же выглянул. В комнате никого, дверь в спальню чуть приоткрыта, электричество там не горело.

— Послушай, девочка,— проговорил он, чувствуя, как перехватывает горло,— это уже немножко нахально и непристойно. Я не разрешал тебе туда. Там не очень прибрано.

Но из спальни не доносилось ни звука.

— Полина Сергеевна?

Ни звука, ни шороха. «Что за черт? А может, она ушла?» Полипов глянул в коридорчик — там никого не было. С колотящимся сердцем он толкнул дверь спальни и переступил низенький порожек. Тотчас на него пахнуло знакомым запахом духов, тяжелые руки обвили его шею.

— Позвольте... Позвольте...— сдавленно крикнул он, отталкивая прильнувшее к нему горячее женское тело.

— Петр Петрович... Петя...— Она пыталась жадно поймать его губы.— И нахально, и непристойно... Но я не могла больше. Я люблю... Как только ты сюда приехал, как увидела... Но я не знала, как... А сегодня решилась. Я решилась...

— Перестаньте же! — выкрикнул он, вертя головой. Его колотило.

И, словно испугавшись, она отпрянула к противоположной стене, потом, взмахнув руками, снова ринулась к нему, толкнула на кровать.

— Да ты мужчина или нет?!

Он упал на спину, лицо ему засыпали пахучие женские волосы...

Потом они долго лежали молча, как бы соображая, что же произошло. Разговора начать не могли ни тот, ни другая.

— Значит, ты меня... любишь? — Полипов стыдился своего голоса.

— Я же сказала,— спокойно ответила она.

— Но если любят, не так все это происходит... Ведь пошло и гадко.

— Зато надежно,— промолвила она с откровенной насмешкой.— Видишь, никуда ты не делся.

Полипов рывком привстал на кровати.

— И часто ты вот так... совращаешь?

— Не-ет,— протянула она, словно успокаивая его.

Полипов немножко полежал и поинтересовался:

— Но почему именно меня?

— А за кого же мне еще замуж идти, как... не за друга моего отца? — спросила она будто даже удивленно.

— Ты... ты замуж за меня собралась?! — закричал он, опять приподнимаясь. — И какой я ему друг?

«Влип... вот это влип! — больно стучало у него под черепом.— Ведь думал же еще — не надо, не надо в Новосибирск после армии ехать...»

— Но почему именно меня ты в мужья выбрала?!

— Жить как-то надо,— раздумчиво заговорила она.— Я одна осталась, мать в самом деле умерла. Работать я не могу... Я не пыталась даже устроиться куда-то, все эти годы мы жили с мамой, как мышки в норе, забытые всеми. И все боялись: а вдруг кто обратит на нас внимание — что за Свиридовы такие? В общем, оставил нам отец наследство... А теперь, значит, мать умерла, а я Полипова буду. Вздохну наконец спокойно.

— А меня, меня спросила ты? Я-то согласен ли еще? — яростно прохрипел он.

Но эта ярость нисколько не тревожила ее, она лежала по-прежнему на спине, разметав по подушке волосы, не спеша продолжала:

— А почему я тебя выбрала? Удачливый ты и ловкий. Далеко пойдешь, наверно. Отец мой давно в земле лежит, зарыли его неизвестно где, как собаку какую-нибудь. А ты увернулся, в начальниках даже ходишь. А ведь ты вместе с отцом большевиков-то предавал...

Полипов дернулся всем телом, опять, в третий раз, приподнялся рывком, сел.

— Ты-ы?! — вращая глазами, закричал он что было силы, не слыша, не понимая, что голоса у него уже нет, что из горла вырывается уже не хрип, а свистящий шепот.— Кого... предавал?! Каких большевиков? Ты что выдумала?! Что сочинила?!

Она не торопясь выпростала из-под одеяла голую руку, сквозь рубашку больно вдавила ему в плечо острые ногти и властно прижала его рядом с собой к подушке.

— Лежи ты... Выбрала я тебя не сама, ума не хватило бы на это. Мне бывший мамин любовник это посоветовал.

— Какой... какой еще любовник?!

— Лахновский Арнольд Михайлович, бывший следователь томской жандармерии. Не забыл? Этот еще ловчее тебя, совсем в большие люди вышел. В Москве он сейчас живет. Еще что спросишь?

Полипов больше ничего не спрашивал. Ему не хватало воздуха, он, открыв высохший рот, дышал часто и тяжело, как загнанная лошадь, широкий лоб его взмок, покрылся крупными каплями пота...

* * *

Пройдя в свою комнату, служившую домашним кабинетом, Полипов швырнул на стол портфель, плюхнулся, не раздеваясь, на диван. Диван под ним жалобно скрипнул, и этот скрип был, наверное, тем последним ковшом воды, выплеснутым на раскаленную банную каменку, после которого в бане можно замертво упасть, задохнувшись сухим, сжигающим внутренности паром. А тут еще жена сунулась следом за ним в кабинет.

— П-пошла ты! — заревел он, вскочил, схватил ее за мягкие плечи, толкнул из кабинета. Подбежал к окну, заклеенному уже на зиму, рванул одну створку, другую...

Холодный воздух немного остудил Полипова. Минут десять постояв у окна, прикрыл створки и снова прилег.

Он пролежал недвижимо, может, полчаса, может, час, глядя в потолок. Иногда закрывал глаза, будто засыпая. На плоском широком лбу его время от времени собирались морщины, потом разглаживались...

— Петя, ужинать будешь? — послышалось из-за двери.

Он не откликнулся.

Полина Сергеевна приоткрыла дверь, тихонько вошла. Подобрав полы шелкового халата, она присела на диван, положила ладонь на его горячий лоб.

— Что случилось? С Кружилиным опять поцапались?

— Нет... Поговорили с Субботиным. На полную катушку поговорили. Откровенно...

— Да ты что?! — У Полины Сергеевны тревожно дрогнули выщипанные брови.

— Этот разговор должен был когда-нибудь состояться. Не понимаешь, что ли?

— Понимаю. Но все-таки... Начальству, даже если оно к тебе хорошо относится, душу открывать — это, знаешь ли... А тем более Субботину.

— Он ее и так знает,— скривился Полипов.

Полина Сергеевна скользнула глазами по жирному, измятому лицу мужа, по его коротконогому телу, и в уголках ее крупных, ярко-розовых губ зазмеилось что-то брезгливое. Она испугалась этого, быстро прикрыла рот ладонью.

— В общем, Полина моя дорогая, дела мои — хужé надо, да некуда. Кружилина теперь голой рукой не возьмешь. А меня Субботин, кажется, обложил, как волка в чащобе, красными флажками.

— Я говорила, Петя, надо бы с этим Кружилиным как-то иначе, незаметно, через того же Якова Алейникова.— Полина Сергеевна рассматривала свои аккуратно подстриженные ногти.— Сумел же тех горластых мужиков прижать, которые тебе мешали,— Баулина, Кошкина, Засухина. Тем более у Кружилина с Алейниковым какая-то драчка раньше была...

— Учи меня! — крикнул Полипов, сбросил ноги с дивана.— Баулин, Кошкин, Засухин... Те были врагами народа!

Полина Сергеевна усмехнулась, хотела что-то возразить.

— Замолчи! — опередил ее Полипов.

Она тотчас в знак согласия кивнула головой. Полипов словно удовлетворился этим, облегченно вздохнул.

— Глупая ты, Полина,— сказал он глуховато, не поднимая на нее глаз.— Баулин, Кошкин, Засухин... Может быть, они были не так уж и виноваты. Но такое было время...

— И сейчас, Лахновский пишет, не очень другое.

— Ну, понимаете много со своим Лахновским! Другое не другое, а не то... А главное — Алейников не тот. Слова человеческого не скажет, чуть что — ощетинивается, как...

— Он, говорят, с райкомовской машинисткой путается?

— Тебе какое дело, с кем он путается?

— Мне-то, собственно, дела большого нет. Просто любопытно, как женщине. А тебе...

— Что мне? Не хватало еще мне, мужчине, всякими сплетнями заниматься, совать нос куда не следует!

— Совать не надо. А знать все — нелишне. Это такие дела, которые далеко могут завести. Если он жениться хочет на ней, это одно. Но он, по-моему, не разведен со старой женой. К тому же у этой машинистки какой-то парень, говорят, был или есть. Тут может такой дым пойти, что Алейникову самостоятельно, без чьей-то помощи, не выпрыгнуть из огня. И тому, кто поможет,— будет обязан, при случае добром отплатит. У этого человека много сил и возможностей в руках.

— Так. И случай этот — Кружилин? — Полипов сузил глаза, резал ими жену больно и беспощадно.

— Я рассуждаю вообще, отвлеченно,— сказала Полина Сергеевна.

Полипов угрожающе протянул руки к жене, будто хотел схватить за горло. Но взял не за горло, а за плечи, сильно тряхнул, так, что из ее густых соломенных волос, сколотых узлом на макушке, выпали шпильки.

— Слушай, Полина,— рвущимся голосом заговорил он, не отпуская ее плеч,— вы со своим Лахновским за кого меня считаете? Все еще за подлеца, за мерзкого человека?!

— Петя! Петя! — не на шутку испугалась она, вырвалась, отскочила.— Что я тебе обидного сказала?

— Что сказала? — переспросил он и тоже поднялся. Она попятилась от него, прижалась спиной к стене. Он опять цепко взял ее за плечи и снова сильно встряхнул. Она стукнулась о стену затылком.— Ты чему это меня учишь, а? И когда вы со своим Лахновским, с этим троцкистом недорезанным, перестанете учить меня?

— Петенька! — Она быстро-быстро заморгала ресницами, и глаза ее наполнились влагой. Схватив его руки, она прижала их к своему пылающему лицу, орошая слезами, принялась их жадно и торопливо целовать.

Полина Сергеевна плакала щедро и горько, по-настоящему. Она могла в любое время выдавить из себя какое угодно количество слез.

— Мы с тобой живем уже второй десяток, Полина, а ты все обращаешься со мной как... толкаешь меня на такие поступки, будто я... будто я враг Советской власти. А я врагом ей никогда не был. Да, в молодости я смалодушничал, было это... Испугался за свою жизнь. Но, вырвавшись из лап этого твоего Лахновского, я не стал предавать товарищей по партии. Я ни одного не предал...

Он говорил эту ложь тяжело и медленно, часто останавливаясь, с трудом подыскивая слова, понимая, что жена отлично знает, что он лжет.

Полина же Сергеевна, стоя теперь возле темного окошка, медленно заплетала волосы, задумчиво смотрела в черноту за стеклами, ничего там не видя, не различая. Она слушала мужа, иногда тихонько кивала головой, делая вид, что верит всему, понимая, что муж отлично знает, что она только делает такой вид, а на самом деле не верит ни одному его слову.

— Я что же, Полина, я человек непростой, сложный, видимо,— продолжал между тем Полипов несколько стыдливо, испытывая какую-то странную потребность говорить, говорить что угодно, лишь бы не останавливаться.— Да, я, конечно, имел недостатки в юности. И сейчас... Что же, я честолюбив. Ты знаешь, мне очень неприятно было, когда меня из области сюда, в район, перевели. Еще более обидело, что меня из райкома выставили. За что? Ты-то знаешь, как я работал, не жалея здоровья. И район передовой был по всем показателям. И вдруг — пожалуйте на второй план. Разве справедливо? Разве не обидно?

— Милый! — Полина Сергеевна торопливо подошла к мужу.

— Я человек непосредственный и, конечно, не могу скрыть, как другие, этой своей обиды, она заметна всем,— продолжал он.— И неприязни к Кружилину скрыть не могу, хотя и сознаю, что он-то менее всего виноват... в моих несчастьях... Ты понимаешь меня, Полинушка?

— Понимаю, понимаю,— закивала она.

— И к тому же, когда я вижу, что Кружилин делает ошибки, я не могу их не замечать,— уже как ни в чем не бывало, своим всегдашним голосом, заговорил он.— Вот с этим Назаровым, например. И молчать, покрывать его ошибки не могу. Какими бы недостатками я ни обладал — партийная принципиальность во

мне живет. Я воспитан в таком духе с самой юности, когда только-только начинал революционную работу. Воспитан тем же Субботиным. А он называет теперь меня интриганом, завистником. Как немного нужно в наше время, чтобы перевернуть факты, придать им совершенно другую окраску и оболгать человека! Но... запомни, Полина, я... я и впредь не поступлюсь своей принципиальностью, но... но никогда не опущусь до того, чтобы мстить Кружилину мерзкими способами, на которые ты намекаешь. Ты... или твой Лахновский! Слышишь? — сжал он ее плечи.— Понимаешь?

— Конечно,— сказала она, преданно глядя в глаза.

Она сказала «конечно», хотя могла бы сказать совершенно иное. Она могла бы сказать, например, что он, Полипов, и сам большой мастер переворачивать факты и придавать им любую окраску, что он сам может, не дрогнув, оболгать любого человека, если ему это выгодно, а тем более — необходимо, что он давно опустился до самых низких способов мести, когда в тридцать седьмом и в тридцать восьмом годах, последовав совету именно Лахновского, с помощью Якова Алейникова убрал с пути, уничтожил Баулина, Кошкина, Засухина, и что, не дрогнув, так же поступит с Кружилиным, если для этого будет хоть малейшая возможность.

И еще многое-многое могла бы она сказать ему, и он знал, что она может это сказать, но не скажет, ибо так и ей и ему было удобнее.

Все в их жизни — и отношения, и чувства, и слова — было ложью, и оба они понимали это. Сейчас Полипов не верил ей точно так же, как в тот далекий теперь уже вечер, когда она бросилась на него в спальне с бессвязными словами о любви. И она знала, что он ее не любит, никогда не любил и никогда не женился бы на ней, если бы она не женила его на себе таким способом. Но они оба сделали вид, что верят в искренность чувств, слов и поступков друг друга, потому что эта ложь была, очевидно, той формой их отношений, той оболочкой, в которой только и возможно было их существование. Под этой скорлупой они приспособились дышать, двигаться, говорить, смеяться — словом, приспособились жить. Расколись эта оболочка — оба онемели бы, задохнулись от хлынувшего на них свежего воздуха.

— Пойдем, Петя, ужинать,— сказала жена.

— Да, пойдем. Но Субботин-то, Субботин каков? П-подлец... «У тебя,— говорит,— партийности нисколько не осталось, а может быть, и не было ее никогда...»

Направившаяся было в кухню Полина Сергеевна резко остановилась. В ее широко открытых глазах плескался откровенный испуг.

— Ты понимаешь, какой мерзавец?! — В голосе его звенел неподдельный гнев.— Какие выводы делает?! И вообще — представляешь, какое мнение он обо мне будет... высказывать теперь в области?!

Поужинали они молча, не глядя друг на друга, чувствуя друг к другу обоюдную брезгливость, отчуждение. Это случалось каждый раз, когда приходилось разговаривать о таких вещах, как сегодня. В кровати Полипов долго лежал неподвижно, уткнув лицо в горячее плечо жены. Потом спросил неожиданно:

— Сколько же лет сейчас этому Лахновскому?

— Около семидесяти уже.

— Всех троцкистов передавили, а этот сумел в какую-то щель забиться... Когда он подохнет только!

Еще лежали некоторое время молча в темноте.

— Да-а, Кружилина теперь ни с какого боку не возьмешь,— вдруг проговорил Полипов, закладывая руки за голову.

— Как же теперь мы будем, Петя? Субботин тебя действительно обложил.

— Ничего, ничего, вырвусь...

— Да — как?

— Не знаю. Спи... Ничего сейчас не знаю. Вот лежу и думаю...

* * *

Утром Полипов поднялся, как обычно, рано, на улице было еще темным-темно. Окна залепило мокрым снегом — ночью была небольшая метель.

— Как же теперь мы, Петя? — разливая чай, опять спросила жена.

— Да, положение не из веселых, откровенно сказать,— накладывая в стакан с чаем варенье, проговорил Полипов. Он любил сладкое, варенья положил ложки четыре, потом еще два куска сахара.— Я хотел в другую область попытаться, но... не знаю. С такой аттестацией отправят, что долго чихать будешь. Не обойдешь, не объедешь этого Субботина. Надо сделать какой-то другой маневр.— Он отхлебнул раза два из стакана, помедлил.— На фронт я попрошусь.

В стакане у Полины Сергеевны звякнула ложечка.

— Не вижу я лучшего выхода, Полинушка,— проговорил Полипов.— Этим я все отрублю, сброшу с себя всякие... наклеенные на меня ярлыки. А после войны буду как... как чистенький листок бумаги...

— Немцы под самой Москвой. Как она еще закончится, война...

Полипов чуть не выронил стакан. Он успел подхватить его второй рукой, пролив на колени горячий чай, вскочил, с грохотом отбрасывая плетеный стул, крикнул, багровея:

— Не смей! Слышишь ты — не смей!

Широкая грудь его сильно и тяжело заходила, сжатые кулаки, которыми он упирался в стол, побелели, в глазах полыхнуло что-то незнакомое для Полины Сергеевны. Она видела его всякого, знала, когда он лгал для себя и для нее, и сейчас, глядя на его трясущиеся щеки, на метавшие молнии глаза, на взмокшую прядь волос, косо перечеркнувшую широкий лоб, никак не могла понять — искренняя эта его вспышка или, как всегда, показная. Если показная, то до какой же степени притворства может дойти этот человек и есть ли все-таки там, на дне его души, хоть немного чего-нибудь человеческого? А если искренняя, то, значит, она ошибалась всю жизнь, полагая, что насквозь видит и понимает этого человека, значит, он действительно сложнее, чем она думала...

— Петя?!

— Как ты... можешь?! Как ты могла сказать такое?! — бросал он тяжелые слова в ее красное, еще пухлое от сна лицо.— Даже подумать... даже подумать...

И вдруг умолк, будто удивившись своим словам, своему поведению. Он поднес кулаки к глазам, разжал их, подергивая губой, осмотрел зачем-то ладони. Затем руки его упали плетьми вдоль тела, и весь он свял, будто какая-то пружина, разжавшаяся у него внутри, снова сжалась. Сел на диван, достал платок и отер лоб и шею.

— Что с тобой, Петя? — тронула жена его за плечо.

— Не знаю. Отойди!

Полипов долго сидел, откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза.

— Вот что, Полина, я тебе скажу...— заговорил он таким голосом, будто каждое слово причиняло ему невыносимую боль.— Я действительно мерзкий человек, как сказал Субботин. Я карьерист, мелкий завистник, интриган. Я тебе сейчас скажу даже больше... Тех троих — Баулина, Засухина, Кошкина — я посадил... я расправился с ними не только потому, что они мешали мне. Я их боялся! Они однажды спросили у меня... Мы сидели вчетвером у меня в кабинете, и они спросили: «А скажи, Петр Петрович, каким образом тогда, в девятьсот восемнадцатом году, тебе удалось вырваться из белочешской контрразведки, из лап Свиридова? Каким образом ты сумел убежать, с чьей помощью?» Я не знаю: из любопытства они спрашивали или подозревали что? Но я испугался. И я решил... решил, чтобы они больше об этом у меня не спрашивали... не имели возможности спросить... Да, я подлец! Я живу какой-то ложной, неестественной жизнью. И ты это знаешь... Может быть, я таким и останусь до конца. Ты это знай... Знай! Знай!— выкрикнул он, будто пролаял, дважды дернулся на диване, словно хотел вскочить, но его что-то не пускало.— И вот я, человек... некрасивый внутренне и внешне... Думаешь, этого не знаю? Но я — русский, и мне ненавистна даже мысль, что русскую землю будут топтать чужеземцы... И, кроме того, я уверен: немцам, фашистской Германии, никогда не одолеть Россию. И — никому не одолеть. Заруби это себе на своем остром и хищном носу...

Полина Сергеевна отошла к столу, налила себе еще чашку, но пить не стала. Она поднесла фартучек к глазам, всхлипнула.

— Перестань сейчас же! — жестко проговорил он.

— Хорошо, хорошо...— поспешно кивнула: она почувствовала наконец, что муж сегодня в самом деле какой-то не такой, как всегда, что он взял сегодня над

ней верх и что сейчас с ним надо говорить откровенно и серьезно.— Хорошо, Петя... Но как же я одна останусь? Без тебя, без...Сбережений у нас больших нет.

— Проживешь как-нибудь... Работать станешь.

— На заводе? Землю копать, кирпичи носить? Что я еще могу?

— В библиотеке будешь работать, допустим. Я устрою тебя, если мне удастся на фронт уехать... Я думаю, удастся, тот же Субботин поможет. Это для всех нас выход. Единственный способ избавиться друг от друга...

Полипов встал, сходил в свой кабинет за портфелем, оделся. Полина Сергеевна проводила его до порога. Там, поправляя на его шее шарфик, она негромко спросила:

— Неужели ты на самом деле решился — на фронт?

— На самом... Это — необходимо.

Он взялся за скобку, но, прежде чем толкнуть дверь, проговорил, не глядя на жену, отрешенный какой-то:

— Ты знаешь, Полина, я сегодня почти всю ночь... о твоем отце думал. Он был прав, прав...

— Не понимаю... В чем он был прав?

Полипов вздрогнул, опомнился.

— Да, да, не понимаешь. И не надо...

Он ушел, а Полина Сергеевна с недоумением оглядела комнату — стол, стулья, диван. Ей казалось, что за столом, на диване, только что сидел совсем не ее муж, Петр Петрович Полипов, и за дверную скобку держался не он, и вышел из квартиры не он, а какой-то совсем неизвестный ей, чужой человек.

* * *

Над Шантарой стояла еще ночь. Лишь на востоке, над Звенигорой, небо было заметно разжижено, в центре этого светлеющего пятна бледнели, потухая, мелкие, как пыль, звездочки. Выйдя на крыльцо и глянув на темное небо, Полипов облегченно вздохнул, будто при утреннем свете он не мог бы найти дороги в исполком.

Но он заблудился, кажется, в темноте, потому что, сойдя с крыльца, не свернул, как обычно, за угол своего дома, к калитке, ведущей на исполкомовский двор, а по заснеженной дорожке вышел на улицу и, втянув голову в плечи, увязая в снегу, побрел вдоль нее.

Через несколько минут остановился напротив небольшого домика, в котором жил директор завода с семьей. Полипов не так давно сам вселил их сюда, помог даже внести перетянутый багажным ремнем узел с постелью и два чемодана — все имущество, которое Елизавета Никандровна с сыном привезли с собой.

Самого Савельева в тот день в Шантаре не было, он по делам завода находился в Новосибирске.

— Устраивайтесь,— сказал Полипов, опуская на пол тяжелый чемодан.— Я сделал для вас все, что мог. Антон будет доволен, ему тоже надоело в палатке жить. Кровати я в районной гостинице взял, потом, когда свои приобретете, эти придется вернуть.

— Спасибо,— не глядя на Полипова, ответила Елизавета Никандровна.— Напрасно вы с кроватями... Они нужны, наверное, там... Вы их заберите, мы обойдемся.

— Что ты, мама! — воскликнул Юрий.— Потерпит гостиница. Спасибо, Петр Петрович, тронуты заботой Советской власти,— повернулся к нему парень.— Надворные постройки есть? Пойду гляну, мы рассчитываем завести корову, свинью, дюжину овец, куриную ферму и пару выездных рысаков.

И он выбежал на улицу.

— Лиза...— шагнул к Савельевой Полипов.— Невероятно, но мы встретились...

— Невероятно,— сухо подтвердила она,чуть кивнув головой.— Я очень благодарна вам... за беспокойство. Извините. И — спасибо.

Он понял, что его присутствие тягостно, сказал с обидой:

— Признаться, я не на такую встречу рассчитывал...

— Я вообще ее не ожидала.

— Лиза! Наше детство и юность прошли рядом... Я думал, у нас есть что вспомнить.

— Извините, я очень устала за дорогу...

И все, больше она с ним не разговаривала. Да и встречались за все это время случайно, на улице, всего раза два или три. Она первая торопливо кивала ему, наклоняла голову и быстро проходила мимо.

Домик под двускатной железной крышей был без палисадника, низкое крыльцо выходило прямо на улицу. По обеим сторонам двери по окошку. Окна были прикрыты щелястыми ставнями, в эти щелки проливались струйки электрического света.

Полипов перешел на противоположную сторону улицы, разглядел под нависшими ветвями заснеженных деревьев скамеечку, сел и стал глядеть на закрытые окна дома Савельевых. Зачем он глядел на них, что его привело сюда? Да, он любил когда-то Лизу, любил, кажется, искренне и глубоко, но потом... Потом это чувство заглохло, как глохнет болото, которое с годами затягивает зеленой травянистой ряской. Годы, они, оказывается, свое делают.

Мучить воспоминания о Лизе начали его после женитьбы на Свиридовой. Думая иногда об отце жены, он тотчас начинал думать и о Лизе, она вставала перед глазами, истерзанная, измученная, с растрепанными волосами, вся в кровоподтеках, прикрывающая лохмотьями кофточки, тоже в кровоподтеках, груди — такая, какой он видел ее там, в белочешской контрразведке, где хозяйничал отец Полины. Она, Лиза, ползала по полу, ощупывая каждую плашку, ловила руками воздух и, задыхаясь, шептала: «Юра... Юронька, сынок?! Куда вы дели моего сына?!» Этот шепот ввинчивался ему в мозги, разворачивал их. Он совал голову под подушку, пытаясь избавиться от ее голоса. Жена иногда просыпалась, щупала в темноте его пылающий лоб.

— Опять не спишь? Что возишься, как кабан в луже?

— Я сейчас, сейчас... День выдался тяжелый, нервный...

— Валерьянки, может?

— Не надо. Я сплю.

Но постепенно эти воспоминания посещали его все реже, наконец оставили совсем...

И вот появился в Шантаре сперва Антон Савельев, потом и сама Лиза. Узнав, что приезжают Савельевы, он почувствовал, как ворохнулся в груди противный холодок. Но, ворохнувшись, тотчас растаял. Никто, абсолютно никто, кроме собственной жены да бывшего жандармского следователя, затем ярого троцкиста Лахновского, непонятно каким образом сумевшего избежать в свое время суда и расплаты, не знал о его прошлом. Но ни жены, ни тем более Лахновского он не опасался — тот сам боялся всего на свете. Во времена памятных процессов над троцкистами Лахновский, исчезнув из Москвы, затаился где-то в южном городишке. Иногда, правда, писал — не ему, Полипову, а его жене, не проставляя ни обратного адреса, ни фамилии. По прочтении писем жена немедленно их уничтожала. «Слушай, может, он не матери твоей любовником был, а твоим? — спросил однажды полушутя, полусерьезно Полипов.— Переписка у вас, гляжу, активная...» «Как тебе не стыдно! — вспыхнула Полина Сергеевна.— Это у них с мамой было, когда... мы еще в Томске жили. Я тогда еще ребенком была». Полипов хмыкнул и ничего больше не сказал. Про себя подумал, что в восемнадцатом году, когда он заходил к Свиридовым, Полине было уже лет тринадцать. И неизвестно, сколько после этого Лахновский жил еще в Сибири и где жил, пока не перебрался в Москву. Но в общем-то мать ли Полины состояла любовницей Лахновского, сама ли Полина стала ею, когда подросла,— ему было безразлично. Жену он не любит и никогда не любил. Но о женитьбе на ней не жалел. Жить все равно с кем-то надо, на лицо она не красавица, но этот недостаток полностью искупала молчаливостью, удобствами, которые, как женщина, принесла в его жизнь.

Если самого Савельева Полипов встретил в Шантаре более или менее спокойно, то приезда Лизы ждал с некоторым волнением. Ему казалось, один ее вид, одно ее присутствие будут постоянно напоминать ему, воскрешать в памяти ту зловещую сцену в белочешской контрразведке, и его жизнь превратится снова в ад. Но, против ожидания, все произошло наоборот. Подойдя к вагону и увидев ее усталые, в мелких, не глубоких еще морщинках глаза, обыкновенные женские глаза, взглянувшие на него с удивлением, любопытством, а затем с понятной растерянностью и беспомощностью принявшиеся разглядывать незнакомый малень-

кий вокзальчик, плохо заасфальтированный перрон, он подумал даже с каким-то сожалением: «Чего это я все представляю их обезумевшими, полными слез и боли? Обыкновенные глаза... И сын Юрка вон какой вымахал верзила. Двухпудовыми гирями, наверное, балуется... Нервы, нервы, товарищ Полипов, как сказал когда-то отец Полины!»

Правда, его потом чуточку настороэкило, что, когда она снова подняла на него глаза, мелькнувшее в первую секунду удивление сменилось холодной неприязнью, глаза подернулись тонюсенькой ледяной корочкой. Лицо стало деревянным. И потом, при редких случайных встречах, глаза были такие же, стеклянные, неживые. Но она и там, в Новониколаевске, особенно в последние предреволюционные годы, не очень жаловала его теплотой и вниманием, и тогда нет-нет да появлялась в ее глазах эта пленочка...

«Все это так,— вздохнул Полипов, сидя на припорошенной снегом лавке.— Но какого черта меня сегодня притащило сюда, зачем я тут сижу и глазею на эти окна, за которыми, наверное, ходит она?»

Думая об этом, он сам прислушивался к своим мыслям и удивлялся им. Полиповым владело спутанное, непонятное чувство. Казалось, что это не он сидит тут на лавочке и думает о жене Антона Савельева, а кто-то другой.

Под нависшими, заснеженными ветвями было темно, хотя рассвет уже проливался над Шантарой. В утреннем сумраке тонул дом с закрытыми ставнями и другие дома вдоль улицы, горевшие яркими желтыми квадратами. Но все они были от Полипова, казалось, далеко-далеко...

«Да какого черта? — подумал он, угрюмо усмехаясь, втягивая и без того короткую шею в поднятый меховой воротник пальто.— И вообще — что со мной, почему я за эту осень наделал черт его знает сколько глупостей? С этой хлебосдачей зачем я так? Кружилина хотел подсидеть... Жена даже заметила. Впрочем, она, стерва, все замечает... Назаров этот... Наконец, Субботин. Зачем я с ним, действительно, так откровенно? И с женой зачем? Особенно — о Баулине, Засухине, Кошкине? Она и без того обо всем догадывается, она и без того знает, что я карьерист, завистник — словом, подлец. Подлец?!»

Это слово, произнесенное мысленно, все равно свистнуло, как плеть, и больно обожгло. Когда же он, Полипов, стал подлецом? Ведь был же он в юности порядочным человеком, был! Тот же Субботин — Полипов помнит, помнит это! — сказал о нем: «Он настоящий парень, наш Петро. Побольше бы нам таких...» И он в душе гордился тем, что Субботин так сказал о нем, гордился собой.

Это было в конце 1906-го. Около года еще Полипов просидел в тюрьме, вышел зимой, на исходе 1907-го. Через несколько месяцев в Новониколаевске вновь появился бежавший с этапа Субботин. Полипов, Антон и Лиза, освободившиеся из тюрьмы почти одновременно, встретили Субботина в условленном месте, помогли незаметно добраться до города. А еще через месяц его, Полипова, по рукам и ногам оплел словами жандармский следователь Лахновский, смертельно напугал своей папиросой, грозя выжечь ею глаз.

И он стал подлецом...

...Полипов, лежа на диване, с недоумением обвел глазами голые стены кабинета, припоминая, когда же он ушел с той тихой улочки, на которой жил директор завода Антон Савельев. Видимо, недавно, потому что в кабинете было еще темновато, в углах неприятно чернело. Как шел от квартиры Савельевых до исполкома — этого он совершенно не помнил, будто его взяли и перенесли сюда сонного.

Полипов заложил руки под голову и подумал вдруг: нет, не в кабинете Лахновского он стал подлецом, а несколькими днями раньше. Да, раньше, раньше... Он, Полипов, тогда всю ночь пролежал в кустах, на сырой земле, слушая, как счастливо смеются она, Лиза, и он, Антон, слушая звуки поцелуев. А потом... Он знал, что происходило там, в маленьком лесном шалашике. Он лежал, в бессильной ярости царапая пальцами травянистую землю, затем, не в силах больше лежать, поднялся, подошел к этому шалашику, готовый разметать его на клочья. Что его остановило? Его что-то остановило тогда. Кажется, тихий и сладкий стон Лизы. Он знал, что это за стон, и, боясь самого себя, зажав пылающую голову, побежал прочь, зная, что утром здесь под видом свадьбы Антона и Лизы будет заседание подпольного городского комитета РСДРП, что он, Петр Полипов, утром

придет сюда одним из первых, потому что именно ему Субботин поручил обеспечить безопасность проведения заседания подпольного комитета, зная, что на следующий день он и Антон поедут в Томск за шрифтом и недостающим оборудованием для подпольной типографии. Вот когда он стал... А почему? Ради чего? За что он заплатил такую страшную цену? Прошли годы — и что ему Лиза? Вот она здесь, в Шантаре, рядом, вот он все утро сидел под ее окнами — и хоть бы что шевельнулось в его душе, заныла бы хоть какая-то струнка...

Полипов торопливо поднялся, сел. Ржавый скрип диванных пружин больно резанул по сердцу. Перекосив рот от этой не то воображаемой, не то действительной боли, Полипов, облокотясь на толстые колени, уронил в ладони голову, чувствуя, как горят щеки. И еще почувствовал, что он небрит, забыл побриться, а жена не напомнила, как обычно она это делала. Да, сейчас Лиза для него — ничто, а тогда, тогда?! Он любил ее, боже, как он любил! И не страх перед зловещей папиросой Лахновского склонил чашу весов в сторону предательства, а именно эта любовь. Он надеялся, что Лиза, устав ждать Антона... Глупо, глупо! Но это сейчас ему ясно, что он сделал непоправимую глупость, а тогда... Он не предполагал почему-то, не мог взять во внимание, что Лиза будет такой верной своему чувству к Антону, не предполагал, что Антон окажется великим мастером побегов из тюрем, превзойдя в этом даже Субботина. Едва Антон оказывался на свободе, Полипов выдавал его местонахождение. Через несколько месяцев Антон совершал новый побег — Полипов снова его выдавал... Так продолжалось вплоть до Февральской революции. В мае 1918 года Полипов выдал его в последний раз, сообщив Свиридову, что Антон Савельев в день выступления белочехов будет в Новониколаевске, проездом из Москвы в Томск. Лиза, получив телеграмму от мужа, засобиралась к отъезду. Полипов видел, что Лиза давно уже не жалует его прежней теплотой и искренностью, при встречах с ним замыкалась, становилась холодной, в глазах появлялась ледяная пленочка. И Полипов иногда подумывал с опаской: «Неужели она догадывается обо мне, о той роли, которую я играю в судьбе Антона?» И тут же отметал свои опасения: ни одна душа, кроме Лахновского, не знает об этом. Лишь ему, и то специальным шифром, на условленный адрес, пересылал Полипов сведения об Антоне, о новониколаевской подпольной организации. Только перед самым мятежом белочехов о его, Полипова, деятельности стало известно еще одному человеку — Свиридову. Теперь Полипов не исключал уже, что неясные предположения Лизы, если они у нее были, могут каким-то непредвиденным способом подтвердиться. Однако, несмотря на это, он за несколько часов до прибытия поезда, в котором ехал Антон, пошел домой к Лизе и, почти забыв о всяких предосторожностях, заговорил:

— Лиза! Не езди в Томск! Не езди...

— Что ты говоришь?! — Глаза ее вспыхнули испуганно, в них было великое недоумение.— Он же мой муж!

— Все равно, все равно...— Полипов терял всякий контроль над собой. — Здесь — я, а там тебя некому будет защищать...

— Петр, опомнись! — Лиза уронила в раскрытый чемодан какую-то тряпку.— Разве в Томске не Советская власть?

— Я к тому, что... Здесь я — член ревтрибунала, а там... чужой город... — пролепетал он, чувствуя, что сам выдает себя.

— Странные ты слова говоришь. И всегда как-то вел себя... Каждый раз, когда Антона сажали в тюрьму, ты уверял меня, что он не вернется больше,— задумчиво говорила она. — Уверял с таким видом, будто его судьба была тебе виднее, чем другим... Но он возвращался.

— Он убегал...

— Да, тюремные решетки задержать его не могли. Но каждый раз его местонахождение быстро становилось известным полиции и жандармерии, будто кто...

— А это я выдавал его,— с нервным смешком произнес Полипов, ужасаясь своих слов.

— Да, я невольно об этом думала не раз! — выкрикнула Лиза.

— Спасибо...

— А потом казнила себя за такие мысли... И вот — опять! Твои странные слова...

— Я для тебя всегда был странным. И все же умоляю: не езди в Томск! Не езди...

— Да в чем дело? Объясни же!

— Н-не могу! — прошептал он, в самом деле едва удерживаясь, чтобы не объяснить всего.— Не знаю... Время тревожное. Предчувствие у меня такое... Потому что люблю тебя! Не хочу терять.

Проговорив это, он поднял голову и замолк. Лиза глядела на него неживыми глазами, и лицо ее было как деревянное...

...Полипов резко оторвал свое тело от дивана, пружины опять скрипнули. «Да, да, и здесь, в Шантаре, в день приезда, выйдя из вагона, она поглядела на тебя точно такими же неживыми глазами, и лицо у нее было как деревянное», — будто кто-то посторонний сказал Полипову.

Он, постояв, снова сел и ответил этому «постороннему»: «Ну и черт с ней... Тогда она ничего не знала, а теперь и подавно... Была бы уверена в чем-то — уж наверняка давно бы с мужем поделилась. А этого не заметно, слава богу... А что она думает обо мне, Полипове, про себя — это мне безразлично... К тому же скоро я уеду на фронт... Обязательно уеду. И вновь пути наши разойдутся. И уж теперь-то, надо полагать, навсегда...»

Часть третья

ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ



ачавшаяся так неожиданно война странным образом повлияла на отношения Семена и Веры. Война будто проложила между ними незримую полосу отчуждения, преодолеть которую не могли, а может быть, не хотели ни он, ни она. Виделись они редко, говорить им как-то было не о чем. Чувствуя это, они старались побыстрее разойтись.

Однажды вечером Семен вышел из дома покурить перед сном.

— Сем...— окликнула его из-за плетня Вера.

— А-а... Здравствуй.— Он подошел к ней.

— Я давно стою тут, думаю — выйдешь, может. Сходим в кино, а? Мы давно с тобой никуда не ходили.

— Ну, пойдем,— без особого желания согласился Семен.

Они молча дошли до клуба. Молча посидели там, так же молча вернулись. Вера была тихой, задумчивой.

Прощаясь, она прильнула вдруг к нему, зашептала:

— Как же со свадьбой теперь, Семушка? Мы договорились: осенью — и вот осень... И — война. Тебя на войну могут взять. Ты даже добровольцем хочешь, я слышала... А?

— Ну, дальше? — проговорил он, чуть отстраняясь.

— А как же я, если поженимся? С ребенком могу остаться...

— Значит, не надо пока никакой свадьбы. Только и всего.

И он, чувствуя знакомую неприязнь к Вере, оттолкнул прилипшее к нему тело. И тогда она беззвучно заплакала.

— Я знаю, ты думаешь: вот, мол, какая она, и хочется и колется, — заговорила Вера вполголоса, вытирая платочком слезы.— Да, я боюсь... Боюсь остаться вдовой, не успев и замуж выйти. Пуля — она там никого не разбирает.

— Замолчи! — вскрикнул Семен.— Чего ты меня раньше времени хоронишь?

— Ты прости...— Она ткнула мокрое лицо ему в грудь.— Я баба, по-бабьи и рассуждаю... Но я люблю тебя, люблю...

Разговор в тот вечер получился у них длинный, путаный и тяжелый. Договорились, что свадьбу надо отложить до окончания войны. И когда договорились, облегченно вздохнули, будто оба сбросили с плеч какую-то тяжесть. Снова прилипнув к Семену, она говорила:

— А я, Сем, буду ждать, коли ты на фронт... Я соблюду себя. Хоть год, хоть десять лет ждать буду...

Этот вечер еще более увеличил полоску отчуждения между ними, превратил ее в трещину, которая начала расходиться все шире. Десять лет будет ждать? — думал он о Вере. Слова все это, потому что... потому что в их отношениях всегда не хватало чего-то главного, и непонятно сейчас было, зачем они когда-то целовались, договорились даже о свадьбе...

Потом Колька Инютин сообщил, что Алейников приходил свататься к Вере. Это событие даже и не встревожило Семена, удивило только. Как-то не верилось, чтобы Алейников, угрюмый и мрачный человек, вызывающий одним своим видом у всех, в том числе и у Семена, неприятный холодок в груди, был способен к кому-то посвататься, а тем более к Вере, которая была на тридцать лет моложе его. Во всяком случае, Семен не испытывал желания немедленно бежать к Вере и выяснять подробности необычного сватовства. «Ну, посмотрим»,— с любопытством сказал он самому себе.

Недели через три, торопясь на работу, Семен нагнал Веру. Она шла вдоль улицы медленно, разглядывала покрытые густым инеем стебли пожухлых бурьянов, торчащих под заборами и плетнями. Он поздоровался. Вера взмахнула ресницами, желтые точки в ее глазах дрогнули.

— Это... чего ты? — И, к изумлению, Семен различил в своем голосе легкую горечь и подозрение.

— Что?

— Испугалась будто.

— Не знаю. Неожиданно ты...

Улицы были еще безлюдными, солнце находилось пока далеко за горизонтом. Но воздух уже теплел, иней на деревьях и на крышах домов начал таять, с веток капало.

— Ты, Семка, совсем забыл меня,— проговорила Вера, поправляя на голове платок.— Хоть бы раз в полмесяца приглашал куда-нибудь... На танцы или в кино.

Семен чувствовал: говорит она просто так, потому что надо что-то сказать, а на самом деле рада, что он никуда не приглашает, не тревожит ее. И снова ощутил горечь и обиду.

— Не до танцев, — сказал он.— Измотаешься за день — руки-ноги гудят. Я ведь окончательно работаю теперь на заводе. И трактористом и грузчиком — все вместе.

— Как — окончательно? — заинтересованно спросила она.

— А так... Директор завода пришел в МТС, отобрал по списку трактористов, слесарей, механиков, которые помоложе. Нашего согласия даже и не спросили.

— Погоди... Но ведь тогда... Завод-то военный. Тебя же от войны навсегда могут забронировать. — Она остановилась.

— Это — уже. Но я все равно добровольцем буду проситься. Я два заявления в военкомат подавал, напишу и третье.

Она опустила глаза, пошла дальше.

Дед Евсей, как обычно, подметал возле райкомовского крыльца. Увидев Веру, прекратил работу.

— Поликарп-то Матвеич тебя уж дожидается, бумаги там какие-то у него шибко срочные,— сказал старик, видя, что Вера проходит мимо.

— Сейчас,— бросила она, не оборачиваясь.

Завернув за угол, Вера остановилась, взяла Семена за отвороты мятого пиджака, приподнялась на носках, поцеловала в щеку холодными губами.

— Хоть так встретились, и то хорошо.

— А может, и это ни к чему? — с усмешкой спросил Семен.— Колька говорил, к тебе Алейников сватается.

Тонкие брови ее взметнулись, в глазах опять досадливо шевельнулись желтые точечки.

— А-а, да ну его! Смехота одна с этим Алейниковым... Я расскажу тебе все сама об его сватовстве — нахохочешься...

Она произнесла это и осеклась, тоненькие дужки ее бровей мелко-мелко задрожали, лицо пошло красными пятнами. Она уронила руки и отступила на шаг.

Семен в первые секунды не понял, что с ней произошло. Он чувствовал только — из-за угла кто-то вышел и остановился за его спиной. Обернувшись, увидел Алейникова. Тот стоял и смотрел из-под низко надвинутого жесткого козырька фуражки то на Веру, то на Семена.

— Чего вам? — грубо спросил Семен.

— Да, собственно, ничего. Извините. Здравствуй, Вера.

Она пошевелила губами, но звука не получилось. Лицо ее полыхало теперь горячо и густо.

— Извините,— еще раз сказал Алейников и пошел.

— Смехота, говоришь? — Семен засунул кулаки в карманы.

— Семен! Сема...

— И верно — смехота.

И он круто повернулся, быстро зашагал не оборачиваясь, хотя слышал, что Вера бежит за ним.

— Сема, я все расскажу тебе, объясню...

— Все и так ясно!

Она отстала.

«Ясно! Ясно!» — колотились у него в голове обида и возмущение. Но когда он, остервенело дергая рычаги, вывел трактор с заводской территории и на третьей скорости погнал его на станцию, подумал вдруг: а что, собственно, ясно? Чего он взъерепенился так? Обиделся из-за чего? Разве Вера виновата, что Алейникову взбрело в голову посвататься к ней? Надо действительно поговорить с ней обо всем спокойно.

В тот же день, вечером, выйдя из дома, Семен крикнул болтавшемуся на улице Кольке:

— Ну-ка, позови сеструху, Николай Кирьянович!

— Хе, позови... Нету ее дома. Она с работы теперь всегда за полночь возвращается. Понял? — многозначительно спросил Колька.— Вот и кумекай.

Это «кумекай» обожгло его, хлестнуло как плетью. Так вот почему у Верки так испуганно взметнулись брови, когда подошел Алейников, вот почему забегали рыжие ее глаза! Она же... она попросту обманывает его, Семена! И свадьбу уговорила, убедила до окончания войны отложить! Она просто решила отделаться от него...

В эту минуту Семен забыл уже, что сам по неделям избегал с Верой всяких встреч, сам почувствовал облегчение, когда Вера сбивчиво и невнятно предложила отложить свадьбу. Гнев и обида захлестнули его. Чувствуя себя оскорбленным, он, не зная даже зачем, побежал к райкому партии.

Здание райкома было погружено в темноту, лишь на втором этаже горело окно Вериной комнатушки. Глядя на бледно-желтый квадрат, тяжело дыша, Семен привалился к дощатому забору, окружавшему дом секретаря райкома Кружилина, потом, скользя спиной по шершавым доскам, сел на холодную землю.

Постепенно дыхание его стало ровнее, и по мере того как успокаивался, таяли обида и возмущение. Лишь в груди, в самом сердце, тоскливо пощипывало, было грустно и было чего-то жаль, какой-то несбывшейся мечты или надежды. Когда впервые возникло у него чувство к Вере, он думал, что томившие и волновавшие его еще в школе неясные мечты и надежды начинают, кажется, сбываться. Были дни, недели, месяцы, когда он ходил ошалелый, а ночами, как наяву, видел перед собой таинственно смеющиеся Веркины глаза с желтыми точечками, ее сильно и часто вздымавшуюся грудь, сильные и красивые ноги, он видел ее всю — гибкую, красивую и недоступную.

Потом оказалось, что она очень даже доступна. Можно было погладить ее мягкие, в мелких кудряшках волосы, можно было поцеловать ее глаза. И это сперва тоже вызывало целую бурю светлых и радостных чувств. Но скоро он узнал, что так же запросто можно расстегнуть ее кофточку и ощупать ее голое тело, как цыган-барышник ощупывает на базаре лошадь. И она, Вера, стояла недвижимо, как лошадь, только вздрагивала да шептала еле слышно: «Сема... Сема... не надо». Шептала, а сама прижималась все сильней. Чего греха таить, Семену приятно было слышать ее дрожь и шепот. Все это кипятило кровь и застилало сознание. И только почувствовав, что разум у обоих кончается, она, собрав последние остатки воли, вырывалась. Но теперь, когда он целовал ее глаза или гладил волосы, прежних радостных и светлых чувств это не вызывало. А вскоре каждый раз, когда она

по своему обыкновению прижималась к нему, когда ее грудь начинала беспокойно, толчками, вздыматься, он начинал испытывать тупое, неприятное раздражение и, наконец, брезгливость.

Ошалелый он теперь по селу не ходил, ночами ему ничего не снилось. Внутри у него что-то рушилось, рассыпалось в прах, в пыль, и эта-то пыль, оседая, и пощипывала ему сердце. Правда, иногда он испытывал непреодолимое желание увидеть Веру, обнять, почувствовать под своими ладонями ее горячее тело. Но это было уже грубое желание, и он, Семен, понимал это.

Веру же все-таки он никак понять не мог. Он видел и знал, что, разрешая ему расстегивать кофточку, она скорее искусала бы его в кровь, вырвалась бы, оставив в его руках клочья одежды, чем позволила остальное. Значит, она была честная и порядочная. Но такие честность и порядочность казались ему странными и какими-то грязными, неестественными. И даже тогда, в тот памятный июньский день, когда они с Верой валялись на острове в лопухах и он думал: «А может, и верно, нельзя нам друг без друга?» — краем сознания он понимал все-таки, что он вполне может обойтись без нее и даже наверняка так и получится, потому что... потому что Верка — она как кружка теплой воды: напиться можно, а жажду не утолишь.

Сейчас, сидя в темноте под забором, Семен вспомнил это странное сравнение Веры с кружкой теплой воды. Вспомнил, усмехнулся и беззвучно выругал себя: «Зачем я сюда, дурень такой, приперся, мне что за дело до ее отношений с Алейниковым?» У него, Семена, с ней все кончено, это же ясно. Но вот интересно только, если с Алейниковым у нее что-то по-серьезному завязалось, почему тогда она обижается, что Семен редко встречается с ней? Зачем ей эти встречи? Или она не уверена, что Алейников — это серьезно, а потому не хочет пока и с ним, с Семеном, рвать?

Эта мысль показалась ему интересной. Верка же, а не кто-нибудь другой, сказала ему когда-то: «Жизнь легкая тому, кто не раздумывая берет, что ему надо. Хватает цепко...» Да, она, Верка, такая, кажется, именно это ему и не нравилось в ней всегда, именно эти и другие подобные рассуждения, наверно, и вытравили помаленьку, разрушили в душе те светлые и трепетные мечты и надежды, рожденные его первым чувством. И если... если это так, если Верка, боясь, что сорвется окунь, не выбрасывает пока в воду ранее пойманного чебака, тогда насколь же мерзкая и склизкая ее душонка? А он, болван, до сих пор не смог ее до конца раскусить! Да, надо узнать насколь. Но как? Выследить их с Алейниковым? Противно это, сыщиком быть. Но как узнать? У Кольки спросить? Ну, тот наговорит! Да и что можно знать наверняка с чужих слов?

Во мраке улицы замаячила фигура, послышались шаги. «Алейников!» — обожгло Семена. Он плотнее прижался спиной к забору. Но в следующее мгновение понял, что не Алейников. Шагающий по улице человек весело насвистывал, а Алейников, мелькнуло, свистеть не будет, серьезный слишком для этого...

Семен затаился под забором, надеясь, что прохожий не заметит его. А если заметит, то побыстрее пройдет мимо. Вечер был темный и глухой, а в селе, после того как прибыли эвакуированные, стало неспокойно.

Поравнявшись с Семеном, человек перестал насвистывать.

— Эй, ты,— сказал он негромко,— чего там жмешься? Или перебрал? А ну-ка, встань!

Семен узнал голос Юрия Савельева. «Смелый...» — подумал он. Понимая, что молчать глупо, встал.

С Юрием он познакомился через неделю или полторы после его приезда. Разгружая на заводской площадке привезенный со станции лес, Семен увидел возле трактора горбоносого парня со светлыми, как и у него самого, волосами.

— Ну-ка, мотай отсюда, а то сейчас бревна посыплются, пришибет! — крикнул Семен.

— А ты, говорят, Семен Савельев? — подошел еще ближе парень и уставился на него зелеными глазами.

— Ну и что? Мотай, говорю.

— А я тоже Савельев, Юрка. Мы же с тобой двоюродные братья. Директор-то завода мой папаха. Давай знакомиться.

Они тогда пожали друг другу руки, с любопытством оглядели один другого. Юрий опаздывал, потому что вот-вот должна была заступать его смена. На прощанье он кинул Семену, что рад был познакомиться, что как-нибудь они встретятся и поговорят, но встречи до сих пор не вышло. С того времени они виделись мельком раза два-три на той же разгрузочной площадке, и каждый раз Юрий опаздывал на работу, пробегал мимо сломя голову, махая Семену на бегу. «Суматоха какой-то, а не человек,— думал о нем Семен и почему-то заключил: — Такие живут долго, потому что умирать опаздывают».

Оторвавшись от забора, Семен двинулся к Юрию. Тот шевельнулся, стал поудобнее на всякий случай.

— Я это, Семен. Не бойся...

— Хо! — радостно воскликнул Юрий.— А ты что тут делаешь?

— Так, отдыхаю...

— А я думаю: что за тип забор секретаря райкома партии товарища Кружилина обтирает? Сперва думал: теленок, может, или собака. Нет, гляжу, человек.

— Ты, смотрю, не робкий.

Юрий был в сапогах, брюки заправлены чуть навыпуск, легкая тужурка расстегнута. От него попахивало одеколоном. Семену было странно, что Юрий наконец-то никуда не спешит, стоит и спокойно разговаривает.

— Куда же ты направился? — спросил Семен.

— Да так...— усмехнулся Юрий.— Ундина там одна проживает. Роскошная, черт побери. Особенно когда волосы распустит. Ух! — мотнул он даже головой, что-то, видно, вспомнив.— Прямо утонуть можно в этих волосах. Нырнуть, понимаешь, и задохнуться.

Он шагнул чуть в сторону, в полосу падающего из окна электрического света, глянул на часы.

— Заболтался я с тобой! — воскликнул он, заторопился.— А она, ведьма волосатая, точность любит. Слушай, а может, и ты со мной? У нее подруга есть.

— Нет, Юрка. Я тут тоже... жду, понимаешь...

— А-а, ну ясно... Я так и понял... Ладно, побежал. Как-нибудь надо бы встретиться, Семен, поболтать об жизни. Ты заходи как-нибудь к нам. Мы все будем рады — и я, и мать, и отец. Познакомиться надо же, в конце-то концов...

Последние слова он уже выкрикивал, оборачиваясь, на ходу. И побежал, наверстывая упущенное время, исчез в темноте. «Легко вроде живет мой братец»,— подумал Семен, однако без осуждения и без неприязни, как-то равнодушно.

Семен вернулся к забору, сел на старое место, раздумывая, что же делать — уйти или дождаться Веру? И пока раздумывал, окно на втором этаже погасло. На улице сразу стало еще темнее. «Так... так... так...— вдруг тревожно, с тупoватой болью, застучало в голове.— Интересно, одна Верка выйдет из райкома или с провожатым?»

Скрипнула входная райкомовская дверь, на высоком деревянном крыльце с перилами, которое находилось от Семена прямо через дорогу, кто-то в нерешительности топтался.

— Яков Николаевич? — вполголоса позвала Вера.

«Ага, ага...— еще сильнее застучало в голове у Семена.— Ну вот! Ну вот...»

Мимо райкомовского палисадника кто-то быстро прошагал, почти пробежал. И одновременно застучали вниз по ступенькам крыльца Верины каблучки.

— А я думала, вы уже ждете,— сказала она суховато.— После моего звонка полчаса прошло.

— Извини, Вера, — послышался голос Алейникова.— Когда ты позвонила, у меня одно срочное дело было. Но все-таки я успел его закончить. И вот... Видишь, я бежал, как мальчишка.

— Я уж не знала, что делать — идти домой или в райкоме ночевать. Идемте. Столько сегодня работы было...

И они, переговариваясь вполголоса, ушли.

Семен задумчиво глядел в ту сторону, где затихли голоса Веры и Алейникова. Странно — он чувствовал себя легко и свободно, так же легко, как в тот вечер, когда они договорились с Верой отложить свадьбу до окончания войны.

* * *

К Вере Семен не испытывал ни ненависти, ни презрения. Все чувства, которыми он когда-то был полон, заглохли, умерли, будто их выдуло и унесло, как выдувает ветерком из потухшего костра последние струйки дыма. Семен стал веселее и жизнерадостнее, часто, сидя в кабине трактора, что-нибудь мурлыкал под нос. Веру он иногда встречал по дороге с работы или на работу, видел иногда, выходя во двор, ее платок за плетнем, разгораживающим их усадьбы. Он махал ей рукой, весело говорил:

— Привет, привет, Верка...

И проходил мимо или скрывался в доме.

Сперва Вера улыбалась в ответ и тоже махала рукой, потом заметила, видимо, в поведении Семена что-то необычное, насторожилась, в ее продолговатых глазах появилась тревога.

— Семен... Сема? — пыталась она остановить его несколько раз.

— Некогда, Вера...— бросал он, не останавливаясь.

В тот день, когда Колька, ворвавшись с улицы в дом, сообщил, что Андрейка Савельев убежал на фронт, а Димка кинулся на станцию в надежде перехватить еще беглеца, Вера тоже заспешила на вокзал.

Ее появление на станции вызвало раздражение Семена.

— Что тебе? — почти грубо крикнул он.

— Ничего... Помочь хочу поискать...

— А-а, найдешь его теперь...

Они облазили станцию, обшарили вагоны всех составов вдоль и поперек, осмотрели разгрузочные площадки, заглядывая за каждый ящик, за каждый штабель кирпичей, бумажных мешков с цементом, теса. И, уставшие, присели отдохнуть в полупустом здании вокзальчика на почерневшую, до лоска заглаженную деревянную скамью.

— Шустрый малый оказался,— проговорил, журавлем расхаживающий тут же, по вокзальчику, милиционер Аникей Елизаров.— От тоже мне сопляк... Ничего, от милиции не уйдет.

И, сильно вытянув шею из просторного воротника гимнастерки, пошел на перрон.

Вера и Семен сидели на скамье рядом, Семен был хмур.

— Сем...— осторожно сказала Вера, стащила с головы косынку и завернула в нее ладони, чтобы не было видно, как дрожат пальцы.— Я знаю, ты злишься, что Алейников этот... Я-то при чем тут?

— Нашла время! — воскликнул Семен раздраженно.

— Да как мне его найти... более подходящее-то, коли ты все бегаешь от меня?

— Ладно, хватит! — резко проговорил Семен и встал, но Вера уцепилась за него, повисла на плече.— Да ты что! Люди же все-таки...

— Пускай люди... Я не отпущу тебя, Сема... Я расскажу, мне надо рассказать.

— Хорошо,— как-то тихо и зловеще произнес Семен.— Рассказывай. Давно обещала.

Они опять сели. Вера мяла и теребила в руках косынку, будто хотела разодрать ее на клочья.

— Ну... приходил к нам Алейников, сватался... Я-то разве виновата, Семушка? Он давно, оказывается, на меня... Сперва-то как было? Столкнемся где в райкоме — он аж обожгет меня глазищами из-под своих мохнатых бровей. Потом в мою комнатушку повадился. Зайдет и стоит молчком возле окошка. Меня всю обдирает: чего, думаю, надо? И вот — домой заявился. У меня сердце заледенело...

Вера говорила, глотая обрывки слов, на Семена не глядела. Щеки и уши ее горели пунцовым пламенем.

— Ну а дальше... как у вас? — спросил он, смотря на эти пылающие уши.

— Вот именно — как и что дальше? Сказать ему прямо в лицо — ты, мол, что, сдурел, ты же старик почти? Так сказать, да?

— Ну, хоть и так.

— Я боюсь, Сема...— И она вздохнула.— Ей-богу, боюсь. Ведь кто он, Алейников этот? Я помню, как он тогда из Михайловки твоего дядю Ивана увез, как

отца Маньки Огородниковой забирал... Я все помню. И когда... когда он провожает меня с работы, я иду ни живая ни мертвая.

— А-а, значит, встречаетесь все же?!

— Ага,— просто сказала Вера.— Он, случается, провожает меня, когда я допоздна на работе задержусь. Он будто чует, что я задерживаюсь. И ждет на улице. В райком-то стесняется заходить.

— Ждет... И о чем вы говорите, когда он тебя провожает?

— А ни о чем. Он молчит, и я молчу. Так и идем.

— Ну а... знает он, что мы с тобой... Про меня он знает?

— Знает... Я как-то сказала: «У меня парень есть, жениться мы собираемся».

— А он?

— А он молчит, Сема.

— Странный, однако, жених к тебе посватался,— насмешливо сказал Семен.

— Чудной он, это верно. Я же говорила тебе, смехота одна с его сватовством. Вот так и тянется эта тягомотина. А я будто в паутину какую попала.

— И как все-таки ты надеешься выпутаться из нее? — с любопытством спросил Семен.

— Да никак... Он сам скоро отстанет. Я чувствую, что ему все больше и больше неловко со мной. Да и какая я ему пара? Что он, не понимает? А ты сразу от меня в сторону... Да как ты мог подумать, что я на какого-то старика тебя променяю?

— Допустим, все это так,— помолчав, проговорил Семен.— Ну-ка, погляди мне в глаза...

Вера подняла голову. Краска с ее щек и ушей сошла. На Семена она поглядела ясным, чуть только удивленным взглядом.

— Значит, он чует, когда ты на работе задерживаешься? А может, ты нарочно и задерживаешься?

— Да ты что, Сема?!— Тонкие и длинные ее брови начали выгибаться.

— А может, ты сама ему и звонишь, чтобы он пришел... и проводил тебя?

— Сема, да ты что? — возмущенно воскликнула она, брови ее совсем сделались круглыми, но потом опали, губы обиженно дрогнули.

Семен хотел ей крикнуть, что она все врет, что отношения у нее с Алейниковым вовсе не такие, как она тут расписывает, хотел рассказать, как он недавно сидел у забора и слышал ее разговор с Алейниковым. Но, увидев ее удивленные глаза и брови, ее обиженные губы, вдруг решил, что ничего этого ей говорить не стоит, что это вызовет снова длинное и запутанное объяснение. И он сказал негромко и просто, сам удивляясь простоте и определенности своих слов:

— Я не люблю тебя, Вера.

Она хлопнула ресницами раз, другой. Брови ее снова начали выгибаться колесом, в глазах шевельнулись желтые точечки.

— Как?

— А так вот. И никогда не любил.

— Ты... ты что говоришь-то? — широко распахнула она глаза, в которых наконец заплескалась растерянность.

— Мне казалось, что я любил. А я — не любил. И ты не любишь.

Он поднялся. Вера отшатнулась на другой конец скамейки, будто ожидала, что Семен ударит ее. Руки со скомканной косынкой она крепко прижала к груди.

— И ты, Вера, никогда никого не сможешь полюбить. Ни меня, ни Алейникова, никого... Потому что тебе нечем любить.

— Как — нечем? Почему — нечем?!

— А вот почему — я не знаю. Не объяснить мне этого...

И он вышел на перрон, оставив ее на грязном вокзальном диванчике. Она сидела все в той же позе, крепко прижав руки к груди, широко раскрыв свои длинные, в желтых крапинках, растерянные глаза.

* * *

Яков Николаевич Алейников до смерти перепугал Кирьяна Инютина и его жену Анфису, когда нежданно-негаданно появился в их доме.

«Все!.. За отца, за отца спрос пришел наводить...» — похолодел Инютин.

Его отца, одноногого Демьяна, ушедшего в тайгу с бандой Михаила Кафтанова и состоявшего при нем казначеем, по рассказам пленных бандитов, кто-то убил однажды ночью ударом в висок не то молотком, не то обухом топора и забросил в сарай. Было это в глухой таежной деревушке Лунево. Кирьян эти рассказы слушал со смешанным чувством жалости и облегчения, вслух же сказал при всех: «Туда ему и дорога». Но с того времени, как посадили Ивана Савельева, начал всерьез побаиваться, что и с него могут учинить спрос за отца, долгие годы жил в страхе: а вдруг да и заявится Яков Алейников.

Об этом постоянном страхе знал Федор Савельев, не одобрял его, говорил нередко раздражительно, но с оттенком участия и покровительства:

— Да не дрожи ты... С меня же не учиняют спрос за Ваньку. Мы-то при чем, если у моего братца да у твоего отца головы были конскими кругляшами набиты? Что он, Алейников, не понимает? Был бы родитель твой жив, сам ответил бы за себя, как Ванька...

Кирьян соглашался с Федором, но все-таки ждал Якова. И вот он пришел...

— Здравствуйте. Я пришел просто так... то есть не просто так... Я хотел насчет Веры поговорить,— сказал Алейников, неловко сев на табурет.

Инютин, Анфиса да и сама Вера долго не могли понять, о чем, собственно, говорит Алейников, они слышали его слова, но смысла уловить были не в состоянии. Наконец Вера вскрикнула, будто кто сдавил ей горло, закрыла лицо руками, стрелой кинулась из кухоньки в комнату, с грохотом прикрыла за собой дощатые створки, прижалась к ним спиной. Голова ее пылала, по телу проходили судороги. В груди сильно стучало, каждый удар сердца больно отдавался в голове, расплывался тупым звоном.

Когда она почувствовала, что Алейников ушел (она не слышала этого, а именно почувствовала), и распахнула дверные створки, отец тер ладонью мокрый лоб, а мать в каком-то забытьи сидела на той табуретке, с которой только что встал Алейников. Щеки матери горели ярким, нездоровым румянцем, глаза были печальны и тоскливы. Ни слова не говоря, Вера кинулась к матери, упала ей на грудь и зарыдала...

— Да-а... Вот тебе, значит, и шило-мыло-купорос,— произнес Кирьян. И непонятно было, удивляется ли он неожиданному сватовству или тому, что видит мать и дочь обнявшимися.

В эту ночь Анфиса легла спать с дочерью. Вера молча подвинулась, освобождая ей место.

Собственно, до утра почти они и не спали, лежали тихо, смотрели в темноту. Время от времени каждая вздыхала.

— Ну и как же, доченька, теперь? — спросила наконец мать.

— Не знаю,— сказала Вера неожиданно ровным голосом.

Анфиса вздрогнула, будто ее по голому телу хлестнули струей холодной воды. А Вера продолжала говорить спокойно, не торопясь, словно обсуждала, какой фасон платья ей выкроить:

— Он ведь, Алейников, старый и... И вообще, я боюсь его. У меня, когда он в райком заходит, и то мурашки по коже. Что, думаю, все обдирает меня глазищами из-под своих бровей? А он нацеливался, выходит... А у меня ведь Семка, мама... Мы же насчет свадьбы договорились.

— А ты его любишь, Семена-то? — спросила мать злым, свистящим шепотом.

— Ну а как же? Ведь все промеж нас решено.

— Так что же тогда... рассуждаешь-то? И вздыхаешь... И вообще?

— Что я вздыхаю? Что вообще?

— Я и спрашиваю — что?

Вера шевельнулась, будто ей неудобно было лежать, приподнялась на локте.

— Не понимаю, об чем ты.

Анфиса только шумно глотнула воздух и надолго замолчала.

Взошла где-то поздняя луна, бледный ее свет пролился сквозь окно, тускловато заблестели никелированные шарики на спинке железной кровати, обещая каждую секунду погаснуть.

— Она разная бывает, любовь, дочка,— неожиданно заговорила мать. Голос

ее теперь удивил Веру. Он был печальный, сожалеющий о чем-то. И Вера подумала, что у матери сейчас, наверное, опять такие же тоскливые глаза, как вечером, когда она сидела на табуретке после ухода Алейникова.— Когда солнце заглядывает в окошко, эти шарики горят, аж больно глядеть. А сейчас, видишь, чуть поблескивают неживым, мертвым светом.

— Да к чему ты это?

— Я подумала — какая у тебя любовь к Семену? Настоящая или...

— Перестань! — вскрикнула Вера.— Я же не спрашиваю, какая у тебя любовь к отцу...

Анфиса опять судорожно глотнула воздух, грудь ее, как от толчка, взметнулась и опала.

— И к чьему отцу, моему или Семкиному,— безжалостно докончила Вера.

— Ты... дура! — Анфиса резко повернулась, нащупала лицо дочери и сухой, горячей ладонью прикрыла ей рот.

— А я что, не вижу! — со злостью откинула она руку матери.— Не маленькая...

Кровать начала подрагивать, и Вера поняла, что мать беззвучно плачет. Раздражение у Веры прошло, ей даже стало жалко мать.

— Не надо, мама... Извини меня, я не хотела...

Анфиса затихла, опять долго они лежали безмолвствуя.

— Я знаю, ты не маленькая, Вера, и ты все видишь...— измученным голосом начала Анфиса.— Но что ты знаешь о моей любви? Ничего... И никто не знает. Обо мне всегда говорили: «Потаскушка Анфиса». А я не такая. Что я сделаю, если... если не могу его, проклятого, из сердца вынуть? Мне и перед людьми и перед вами, детьми своими, стыдно. А не могу...

Она снова всхлипнула, и вдруг они будто поменялись местами: Анфиса стала дочерью Веры, а та ее матерью. Вера, успокаивая, ласково гладила мать по горячей голове, по голым теплым плечам.

— А он, паразит такой, пользуется этим,— продолжала Анфиса.— Потому и живем мы все втроем как неприкаянные— я, жена Федора Анна, Кирьян... Зачем живем, чего мучаемся — непонятно. Она, Анна, хорошая ведь женщина. И отец твой хороший. Ты даже не знаешь, Верка, какой он хороший... Федор-то и мизинца его не стоит.

— Не знаю, мам... Не замечала,— честно призналась Вера.— Мне все казалось — отец глупый и пьяница.

— Со мной не только поглупеть и спиться ему совсем впору... Я удивляюсь, как он с ума не сошел. Ведь он-то меня без памяти любит.

— Да ты что, мам! — Вера даже рассмеялась.— Вот уж не поверю!

— Любит, я-то знаю... Оттого и терпит мое... мое распутство. За терпение я ему лишь одно обещала — детей только, мол, от тебя буду рожать, не сомневайся. За остальное — не взыщи. А Федора не трогай. Тронешь его хоть пальцем — уйду от тебя. Он и не трогает. И с меня поначалу не взыскивал, скрипел зубами, а терпел. Потом бить начал. Напьется — и до полусмерти исколотит. Я терпела. Что ж, я понимала, каково ему...

Вера слушала, все больше изумляясь открывавшимся ей сложным глубинам человеческих отношений.

— Но как же это, мама, так? — спросила она полушепотом.— Когда же ты так полюбила? И почему? За что?

— Когда? Почему? За что? — печально переспросила Анфиса.— Разве это объяснишь? Все перепуталось, переплелось, сбилось в тугой комок — теперь ни расплести, ни размотать, ни расчесать. Да и не к чему это делать. Все было бы хорошо, если бы Федор на мне женился. А он — на Анне. А я не знаю, со зла ли, с отчаяния ли за Кирьяна вышла.

— А ты любила... отца, когда выходила-то? — спросила спокойно и раздумчиво Вера. И, почувствовав, что мать медлит, вдумываясь, видно, в ее вопрос, добавила: — Хоть маленько-то любила?

— Маленько, может, и любила. Но я еще не знала, что Федора так люблю. Или, может, думала, что оно пройдет, покровоточит сердце да зарубцуется, пеплом покроется. А оно заполыхало еще жарче. А то бы разве я вышла за Кирьяна? И вообще, за кого-то...

Они лежали обе на спине, разговаривали вполголоса, и обе смотрели на мерцающие в полутьме кроватные шарики. Они по-прежнему поблескивали тускло и неярко, а потом вдруг потухли быстренько, один за другим,— луна, видимо, уплыла в сторону, и ее бледные лучи не доставали теперь окошка.

— Я ни о чем таком не говорила, дочка, с тобой никогда,— продолжала Анфиса, когда шарики потухли.— А сейчас, гляжу, лежишь, вздыхаешь.

— Ну так что? Смешно все-таки — старик влюбился.

— Не ври, Вера! — построже сказала Анфиса.— Этот старик — Алейников! В районе-то страшнее его нет начальника. И я чую — завиляла твоя душонка от соблазна.

— Куда завиляла? Какого соблазна?! — почти с искренней обидой воскликнула Вера.— Что придумываешь?

— Я не придумываю, Верка,— вздохнула Анфиса.— Она у тебя вообще вроде вилюшками пошла.

— Интересно... Я не знаю, прямая она у меня выросла или вилюшками. А ты знаешь.

— А со стороны всегда виднее. В общем, гляди... Обзаришься — потом локти будешь кусать, ежели к Семену у тебя настоящая любовь.

— А она бывает, настоящая-то?

Анфиса, кажется, перестала даже дышать. А дочь продолжала насмешливо и безжалостно:

— И что такое — настоящая? Ты к Семкиному отцу бегаешь и думаешь, что у тебя настоящая... А оно все не так, все проще. Тебя тянет просто к мужику сильному, удачливому, зацепистому в жизни... С досады бегаешь, что вышла за размазню какого-то, а не за мужика. Чтоб отомстить ему...

— Верка! — Анфиса рывком села на кровати.

— Чего — Верка? — поднялась и Вера.— Зачем кричишь? Разбудишь всех.

Анфиса посидела безмолвно, тихо опустилась на подушку, до самого подбородка натянула одеяло.

— Вон ты, оказывается, какая выросла?! А мне-то, дуре, невдомек...

— Ну, так знай теперь,— сказала Вера спокойно.

Анфиса полежала не шевелясь минут десять-пятнадцать, откинула одеяло, спустила ноги с кровати.

— И как же теперь ты... с Семеном?

— Что с Семеном? Не облезет, ежели что... Но я сказала — не знаю еще. Погляжу.

Анфиса всхлипнула раз-другой.

— Опять...— насмешливо произнесла Вера.— Тебе-то что волноваться? Не тебе решать...

— Да как ты можешь... Как ты можешь? — Анфиса не договорила, захлебнулась в слезах, замолчала, но дочь поняла ее с полуслова.

— Так и могу... Потому что Семка, он... Я думала, он в отца... А он вроде в отца, да только в моего... Когда я поняла зто, подумала: свадьбу нашу отложить бы, что ли. Тем более что война. В общем — договорились отложить. Но все-таки до конца я с ним все обрывать не хочу... Не хотела пока. Да и сейчас — надо еще поглядеть поближе, что он такое, этот Алейников.

Анфиса ждала,когда дочь выговорится и замолчит, а потом встала и пошла в кухню, на свою кровать. Но у двери остановилась и произнесла чужим, незнакомым голосом:

— Глядеть гляди, а Семкину жизнь я тебе калечить не дам. Я объясню ему, какая у тебя душонка, чтоб он знал...

— Не смей! Ты... слышишь?! — воскликнула Вера, сорвалась с кровати, подбежала к матери, шлепая по полу голыми ногами, взяла ее крепко за плечи.— Не вмешивайся, понятно? Иначе... иначе...

— Что иначе?

— Не знаю... Но нехорошо будет... На всю жизнь врагами сделаемся. Ты ведь меня не знаешь еще, мама...

— Это правда, я тебя не знала еще,— сказала Анфиса и вышла.

* * *

На другой день после сватовства Вера весь день безвыходно просидела в своей рабочей комнатушке. Ей казалось почему-то, что все сотрудники райкома знают уже о необычном предложении Алейникова, поглядывают на нее с удивлением и любопытством. Когда ей приносили какую-нибудь работу, она брала ее молча, не поднимая глаз, а пальцы ее подрагивали.

И еще ей казалось, особенно под вечер, что каждую минуту может войти Алейников. И всякий раз, когда со скрипом отворялась дверь, она еще гуще наливалась краской, у нее багровела даже шея. И она не знала, не представляла, что она будет делать, как поведет себя, если действительно появится Яков.

Но он не появился в райкоме ни в тот день, ни в другой, ни на третий. Вера как-то успокоилась и уже чуточку обиженно подумывала: «Интересно...»

На пятый или шестой день, под вечер, он зашел. Вера сидела спиной к двери и, когда скрипнула дверь, даже не обернулась.

— Извините... Это я,— сказал Алейников и замолчал.

Вера вскочила из-за машинки, прижала ладони к груди. Потом отвернулась, села, склонилась снова над стареньким громоздким «Ундервудом». Ее свежие щеки полыхнули густым румянцем, маленькие уши тоже загорелись, краска стала заливать даже шею, обсыпанную пушистыми завитками волос.

— Я... я слушаю, Яков Николаевич...

— Я, собственно, хотел... А теперь мне надо поговорить с вами...— сбивчиво проговорил Алейников и замолчал.

Вера все держала руки под грудью, чувствовала, что сердце ее бьется уже тише, спокойнее. Она только сейчас обратила внимание, что Алейников, все время обращавшийся к ней на «ты», вдруг перешел на «вы». Подумав об этом, она чуть улыбнулась, но тут же испугалась этой своей улыбки, прикусила нижнюю губу.

— Ну, говорите.

— Я хотел бы не здесь. Сюда могут войти...

— А где же?

— Не знаю. Идите куда-нибудь. Куда хотите. Я пойду следом... Я очень, очень прошу.

Вера резко поднялась, резанув его изумленно-непонимающим взглядом, сдернула с вешалки пальтишко.

Потом они шли вдоль улицы на край села — Вера впереди, чуть опустив голову. Вечер спускался тихий, теплый, небо было серым, успокаивающим, без облаков, только на западе тянулись освещенные скрывавшимся уже солнцем две или три серебристо-розовые длинные полосы.

Миновав последние домишки, Вера вышла в степь, пошла между невысокими, облезшими за лето холмами, вышла к Громотушкиным кустам, остановилась возле зарослей, села на какой-то бугорок или кочку, прикрыв полами тоненького пальто ноги до самых щиколоток.

— Боже, стыд-то какой! — прошептала она, когда подошел Алейников, и закрыла лицо ладонями.— Мне казалось, из-за каждого плетня, из каждого окна на меня глядят.

— Да, это у нас не очень ловко получилось,— с горьковатым оттенком в голосе сказал Алейников.— Я как-то... не мог придумать лучшего способа пригласить вас на свидание.

— Что я делаю, дура? Зачем это я?..— И Вера подняла на Алейникова, как там, у порога, беспомощный взгляд.

— Вы что? — пожал плечами Алейников.— Я вот как очутился здесь, не пойму.

В голосе его опять была горечь. Он опустился рядом на землю и стал о чем-то думать. Вера поглядывала на него краешком глаз, покусывала нижнюю губу и теперь размышляла, как ей себя вести с ним, что отвечать. О чем он будет с ней говорить, она примерно знала.

— Напугали же вы нас, особенно мать с отцом, когда пришли тогда к нам,— сказала она.

Алейников поднял на нее тяжелый взгляд, долго и внимательно рассматривал девушку.

— Что вы так смотрите?
— Да, люди, к сожалению, боятся меня.
— А вам разве это неприятно? — усмехнулась она.

Под лохматыми бровями у Алейникова вспыхнул вопросительный огонек. Но он тотчас погас, чуть продолговатое лицо его сделалось угрюмым и холодным.

— Слушай, Вера,— он снова перешел на «ты», так ему было все-таки удобнее.— Я понимаю, как я жалок и смешон... в этом своем положении. Ты в дочери мне годишься. Тебе двадцать, а мне пятьдесят. Я знаю также, что меня не поймет никто, как не поняли твои родители. Отец твой вообще ни слова тогда не сказал, мать ответила, что не может ничего... и не хочет решать за дочь, что я должен у тебя спросить. И вот... я решился спросить...

Когда он говорил, в голосе его была дрожь, он волновался, как мальчишка, не знал, куда девать свои глаза и руки. Вера сидела притихшая. Поставив локоть правой руки на колено, она прикрывала ладошкой лицо и... чуть улыбалась. Она теперь не боялась Алейникова, она успокоилась и думала: пятьдесят — это, конечно, много. Но он еще ничего на вид, не очень страшный и моложавый. Без рубца на щеке был бы попригляднее, но и рубец не очень портит, придает даже какой-то колорит. Но вот интересно — сколько он проживет еще? Если лет десять, ей тогда будет тридцать. Это еще ничего, еще можно замуж выйти. А если двадцать, ей будет сорок лет. Это уже годы для женщины...

Думая так, Вера и сама понимала, что мысли ее мерзкие и гадкие, и от этого чувствовала не то смущение, не то легкое раздражение. «А-а...» — мысленно отмахивалась она, хмуря брови. Но от чего хочет избавиться — от этих мыслей или от раздражения, вызванного ими,— тоже отчетливо понять не могла.

— Да, я решился у тебя спросить...— снова заговорил Алейников, не глядя на девушку.— Хотя понимаю, что, скорее всего, ты скажешь «нет». Но все-таки я должен спросить, чтобы так или иначе выбраться из этого нелепейшего положения, в котором очутился...

Узкие и длинные полоски облаков над их головами потухли, и небо сразу стало ниже, воздух все гуще наливался холодной вечерней мглой. Когда Вера и Алейников подошли сюда, Громотушкины кусты стояли недвижимо, сейчас ветра тоже не было, но деревья лениво покачивали верхушками, шумели иссохшей за лето листвой и неприятно и тоскливо. Алейников слушал этот неясный шум и о чем-то думал.

— Я не могу ответить сейчас, Яков Николаевич, ни «да», ни «нет».

— Хорошо, хорошо,— сказал он, отступив.— Только одна просьба у меня... Встретимся тут, на этом же месте, через неделю, в это же время? Нет, нет, не для того, чтобы ты сказала окончательный ответ,— прибавил он, видя, что Вера шевельнулась.— Ну просто... чтобы вместе побыть. С ответом я не буду торопить... Скажешь сама, когда захочешь.

Пустынно и тихо было здесь, в степи, у кромки Громотушкиных кустов. Только деревья уныло шумели, будто жалуясь на темноту, на одиночество и на то, что кончилось лето, посохли листья, скоро облетят, обсыплются, наступит длинная зима с длинными темными ночами, лютым морозом, пронзительным метельным воем.

Вдруг к ней пришло совершенно неожиданное желание — пойти и поболтать с Манькой Огородниковой. Не о Семене и не об Алейникове тем более, а просто так... Давно, с самого лета, не видела Маньку, как она и что? И вспомнить, может быть, как они с Манькой лежали когда-то на печке, ни живые ни мертвые от страха, а по комнате расхаживал Алейников в длинной шинели, явившийся арестовать Манькиного отца. Карусели же пишет жизнь! Тогда она, глядя на Алейникова, чуть не задохнулась от страха, а сегодня тот же человек объяснился ей в любви, как беспомощный теленок.

Через несколько минут они вернулись в село, попрощались, пошли в разные стороны. Вера пробежала несколько глухих переулков, очутилась перед хилой, притаившейся во мраке избенкой. Дощатые ставни прикрыты, но сквозь большие щели льется неяркий свет от керосиновой лампы. Значит, Манька дома. Да и где ей быть в такую пору?

Вера забежала во двор, стукнула в ставень, перепоясанный толстым болтом.
— Маня, это я, Вера. В гости к тебе. Открой...

Сквозь широкую щелку она видела, что за стеклом по ситцевой занавеске мелькнула тень. К окну вроде кто-то подошел и остановился.

— Мань, ты чего? Ты слышишь меня?

Молчание. Только тень колыхнулась.

— Манька!

— Кто это? — послышался наконец голос Огородниковой.

— Да я же, Вера Инютина. Не узнаешь, что ли?

— Ну ладно... Сейчас я,— и тень с занавески исчезла.

Вера еще долго стояла у дверей на каменной плите, служившей крыльцом. В сенях послышались шаги, звякнул засов.

— Напугала-то,— сказала Огородникова, зевнув, запахивая пальтишко.— Что по ночам блукаешь?

Голос ее был вроде и незаспанный, недовольный только, но голова растрепана, из-под платка выбивалась прядь волос.

— Шла-шла да и зашла. Так, поболтать... А может, и переночую. Давно не виделись.

— Давно,— зевнула еще раз Манька.— Только нельзя ко мне.

— Почему?

— У меня уже есть ночевщик.

— Кто? — удивилась Вера, чуть даже отступила от дверей.— Да ты что? Или замуж вышла?

— Ночевщик, говорю. Сегодня — один, завтра другой, может, будет.

— Да как же ты так... Маня?

— А так...— усмехнулась она враждебно.— Это уж вам замуж выходить. А мне — так. Судьба такая... Когда у тебя свадьба-то с Семкой?

— Не знаю... Не скоро теперь, может... Война вон, какая свадьба. До окончания договорились...

— А-а...— равнодушно протянула Огородникова.— Ну ладно. Мне конца войны нечего ждать.

Она постояла еще молча.

— Ты извиняй меня уж... А заходи потом как-нибудь. Днем лучше...

И, не дождавшись ответа, захлопнула дверь.

«Вот так Манька! — удивлялась Вера, быстро шагая к дому.— Навстречу каждому парню краснела, а теперь... Да когда она свихнуться успела?!»

Дома, лежа в постели, она думала: что же ответить Алейникову через неделю? Согласна, мол? Нет, не годится так, сразу, себя тоже надо подать — не такая, мол, не очень-то и зарюсь, поглядеть еще надо, что да как, да смогу ли полюбить тебя. Но и тянуть особенно нельзя — они, старики, влюбчивы, да остывчивы.

С этим она и уснула.

* * *

Через неделю она сидела возле Громотушкиных кустов, почти на том же месте, смотрела, как меркнет небо, и думала, что ей надо поколебаться немного в нерешительности, поплакать, потом изобразить, что в ней начинает просыпаться настоящее чувство, и дать согласие.

В темноте замаячила фигура Алейникова. Вера вскрикнула негромко и побежала в глубь зарослей.

— Вера!

Она продралась сквозь кусты и всякую мелкую поросль почти до самой Громотушки, остановилась.

— Я думал, не придешь,— проговорил Алейников, останавливаясь за ее спиной.

— Я тоже до сегодняшнего вечера думала, что не приду,— почти шепотом сказала она.— А вот — пришла зачем-то...

Она вышла из зарослей, побрела, опустив голову, степью, вдоль кромки Громотушкиных кустов. Алейников, бесшумно ступая, двигался рядом. Пройдя метров пятьсот, она повернула назад. И он повернул молча.

Так они ходили взад и вперед, пока Вера не устала.

— Не знаю я, Яков Николаевич, ничего не могу понять,— сказала она, останавливаясь.— Зачем вот я опять здесь? И вообще, что происходит со мной?

— Я же сказал, Вера, что не тороплю тебя,— ответил он.— Я, если ты ничего ко мне не почувствуешь, не сможешь почувствовать... я тебя, в общем, пойму и в обиде не буду. Какое я имею право? И, хотя мне будет трудно, что же поделаешь? Я понимаю — без любви замуж не выходят. Какая это будет жизнь?

Вера слушала его сбивчивую речь, и сердце ее туповато поколачивалось, в грудь начал заползать неприятный холодок. Ее встревожило и испугало не то, что он требовал от нее любви. Ей показалось, что он сегодня чуточку не такой, каким был неделю назад, а тем более в тот вечер, когда приходил к ним домой, что произошла в нем какая-то трудно уловимая перемена. Почудилось ей за его сбивчивой речью, за его словами, легонькая, как паутинка, нотка сомнения: зачем все это, нужно ли зто? Что же с ним произошло в таком случае, думала Вера. Как ей вести себя, чтобы эта нотка сомнения, если она действительно появилась у него вдруг, исчезла? Нет уж, дудки, дорогой товарищ Алейников, раз клюнул, постараемся, чтобы не сорвался.

И она покачнулась, стала падать. Он подхватил ее за локоть, она уронила голову ему на плечо, зарыдала.

— Что ты... Не надо,— растерянно сказал он, держа ее за плечи. А она, по-прежнему рыдая, будто случайно ткнулась губами в его щеку. («Ага, только что побрился...»— мелькнуло у нее.) И начала лихорадочно целовать его в щеки, в губы, куда попало, оседая вниз, словно ее не держали ноги. А он вскрикивал: «Вера, Вера...» — и крепко встряхивал ее за плечи, не давая упасть. Она, будто из последних сил, напряглась, откинула назад голову со сбившимся платком, уперлась кулаками ему в грудь, оторвалась он него и, шатаясь, побежала в село.

— Вера...— еще раз крикнул он уже вслед.

Она не оглянулась.

Ночь она не спала, глядела в темноту, на бледно мерцающие кроватные шарики, пытаясь представить, что делает сейчас Алейников, что думает о ней.

Утром она не взяла в рот ни крошки хлеба, вечером отказалась от ужина. И во вторую ночь она ни на секунду не сомкнула глаз. Спать ей очень хотелось: чтобы не уснуть, она даже не ложилась, а сидела на кровати, открывала окошко и подолгу дышала прохладным ночным воздухом. Под утро стало совсем тяжело, глаза закрывались сами собой. И она, чтоб не тревожить мать и Кольку, вылезла через окно, пошла через все село на берег Громотухи, поплескала там в лицо ледяной водой, потом сидела на какой-то перевернутой лодке, глядя, как далекое еще солнце разгоняет темень над Звенигорой, как проступают все отчетливее зареченские холмы и дали, как в верховьях реки начинают розоветь утренние туманы.

Завтракать она и на этот раз отказалась, буркнув матери:

— Не хочу.

— Что с тобой, в самом-то деле?! — уже не на шутку встревожилась Анфиса.— Ты погляди, сама на себя не похожа.

— Ничего,— коротко ответила Вера, скрываясь в своей комнатушке.

Там глянула в зеркало и улыбнулась — она действительно не походила теперь сама на себя, осунулась за зти два дня, спала с лица, нос заострился, как после болезни, под провалившимися глазами были черные круги. «Очень даже хорошо!» — подумала она, к столу все же села, выпила стакан чаю с хлебом, надела туго облегающее платье и, не обращая внимания на встревоженную мать, пошла на работу.

За машинкой она почти спала. Кружилин, вызвавший ее после обеда в кабинет, попросил отпечатать какую-то сводку.

— Погоди, больна, что ли, ты?

— Да нет... Нет вроде.

— Ну, печатай. Это не срочно, если больная, ступай домой.

Она отпечатала с трудом половину сводки, потом резко схватила телефонную трубку и попросила Алейникова.

Вера часто обзванивала районных работников, собирая их к Кружилину на всякие совещания. Телефонистки шантарского коммутатора привыкли к зтому, соединяли ее всегда быстро и четко. Поэтому не успела она произнести фамилию, как в трубке послышалось:

— Алейников слушает... Слушаю, кто там?

— Это я...— слабеньким голосом произнесла Вера.

От неожиданности, видно, Алейников помолчал несколько секунд.

— Да, да... Я слушаю.

Теперь помолчала Вера, вздохнула.

— Случилось... что-нибудь? — неуверенно, остерегаясь, что телефонистки могут подслушать, проговорил Алейников.

— Не знаю... Может быть. Вы можете сегодня... сейчас... на том же месте?

— Сейчас? — в голосе его было удивление.— Почему сейчас?

— Не знаю... Сейчас — и все.

— Ну, хорошо...

Вера не очень была уверена, что он придет. Но он пришел. Он шел по степи, между выжженных летним зноем черных холмов, неуклюже и неловко, все время оглядываясь, будто боялся — не следит ли кто за ним. День выдался теплый и солнечный, Алейников был в сером костюме, в белой рубашке, воротничок которой он выпустил поверх пиджака. Издали казалось, что по степи идет парень лет двадцати пяти...

Вера ждала его, стоя под желтой березкой, с которой время от времени с тихим и сухим шуршанием сыпались листья. Увидев, что Алейников заметил ее, она скрылась в зарослях, пробежала на самый берег Громотушки и села на краю небольшого обрывчика, засыпанного сухими листьями, поджав под себя ноги.

Услышав за спиной его шаги, она только ниже опустила голову, будто не зная, куда спрятать лицо. И лишь когда шаги затихли, когда почувствовала, что он подошел и стоит рядом, не зная, что сказать, она медленно и трудно обернулась. И по изумлению в его глазах, по дрогнувшим тонким губам поняла, что двое суток не спала и не ела она не зря.

— Вера?! — тревожно проговорил он и сделал к ней невольное движение.

— Нет, нет...— птицей было рванулась она в сторону.— Вы... не подходите... Не надо. Сядьте вон там и сидите.

Алейников покорно сел, где она ему указала. А она легла на спину, заложила руки под голову и стала смотреть в блеклое, бесцветное небо, в котором ничего не было, кроме вылинявшей за лето пустоты.

— Что-нибудь случилось? — опять спросил он.

— Нет... Что могло случиться? — ответила она, с удовольствием и радостью думая, что уж сегодня-то отоспится.

Громотушка, неугомонный ручеек, тихонько лопотала что-то под обрывчиком, плескалась в глинистый берег слабенькой своей волной. Вера слушала этот еле различимый плеск и думала, что Алейников, наверное, обшаривает сейчас глазами ее торчащие под тесным платьем груди, ее красивые ноги, все ее молодое и гибкое тело, такое беззащитное, но и такое недоступное пока для него. И она чуть скосила глаза, чтобы убедиться в своих предположениях. Но оказалось, что Алейников вовсе не глядит на нее, он, сидя на ворохе сухих листьев, смотрит вниз, под обрывчик, и, задумавшись, слушает Громотушкин говорок. Это ее чуть раздосадовало, но не очень.

— Твой звонок меня застал... как-то врасплох. У меня в кабинете были люди,— проговорил он.

— Вы летали на самолете? — задумчиво спросила она.

— Случалось...

— А я не летала. Но вот сейчас гляжу в небо, и кажется, будто я лечу — над полями, над горами, над лесом... И голова кружится, кружится...

Она замолчала и решила молчать до тех пор, пока Алейников что-нибудь еще не скажет, не спросит. Она знала, понимала, чувствовала, что Алейников сейчас думает, размышляет: что же такое происходит с ней, с Верой, почему она похудела, почему черные круги у нее под глазами, почему она решилась позвонить, вызвать на свидание его днем? Неужели, мол, рождается у нее настоящее чувство? Что же, пусть думает, пусть убеждается... Как вот только поступить ей дальше, как поскорее закончить это свидание? Чертовски хочется спать, глаза слипаются. Скорей бы он сказал что-нибудь...

А Алейников, как на грех, молчал.

— Я тебя, Вера, прошу...— проговорил он наконец неуверенно.— Давай как-нибудь о встречах по-другому договариваться, не по телефону. И не днем. По-

нимаешь, я все-таки... в таком положении. А телефонистки на коммутаторе... Пойдут раньше времени всякие разговоры, сплетни...

Вера прекрасно все понимала, но сделала вид, что не понимает, что она находится в каком-то полусне, и, не отрываясь взглядом от пустого неба, проговорила:

— Телефонистки, сплетни... А мне какое дело?

И, поднявшись, тихо пошла прочь от Громотушки, в село, оставив Алейникова на берегу додумывать, почему она похудела за эти двое суток, зачем позвала его сегодня именно днем, не дожидаясь вечера, и что она хотела сказать этим: «А мне какое дело?..»

* * *

Потом они встречались часто, через день, в крайнем случае через два или три, каждый раз договариваясь о времени и месте следующего свидания. Вера, как ей казалось, хорошо играла свою роль, каждый вечер она была другой: то бесшабашно веселой, то грустновато-задумчивой, то почти до безрассудства чувственной, и тогда она почти беспрерывно целовала Алейникова, то холодно-каменной, неприступной, не позволяя в такие вечера даже прикасаться к себе.

Иногда Вера не выдерживала сроков, вызывала Алейникова по телефону.

— Не завтра, а сегодня... Там же... Не могу я,— говорила она торопливо и, не дожидаясь ответа, бросала трубку.

А нередко напрямик требовала:

— Проводите меня сегодня с работы. Я задержусь до полночи, наверное, боюсь одна идти.

Алейников еще раза два или три просил ее воздержаться от телефонных звонков, но она только смеялась в ответ и, взяв его за руки, принималась ребячливо прыгать, кружить его, напевать: «Трусишка зайка серенький...»

И он смирился с ее звонками.

После каждого свидания, лежа в постели, Вера тщательно анализировала поведение Алейникова, припоминала каждое его слово, взгляд, движение. Вначале шло вроде все хорошо. На свидания он приходил радостный, и, если Вера целовала его, он, смущаясь, как мальчишка, отвечал сперва неловко и будто неумело, но потом распалялся, и она, чувствуя, что в нем закипает кровь, вырывалась, отбегала, многозначительно и лукаво советовала успокоиться и остынуть. Если она грустила, была задумчивой, он обеспокоенно спрашивал, не случилось ли чего неприятного дома или на работе, пытался как-то развлечь ее, развеселить.

— Скажите, Яков Николаевич, зачем вот я вам? — спросила она однажды.— Почему вы... полюбили меня? За что?

— За что? Не знаю, Вера,— ответил он негромко.— Ты красивая...— Однако, помедлив немного, он продолжал как-то странно и непонятно: — Но дело, скорее всего, не в красоте. Ты молода, и я чувствую себя, когда бываю с тобой, тоже молодым. Будто мне лет двадцать, двадцать пять и будто не было тех многих лет и многих дел, которые... о которых... В общем, я чувствую себя легко и свободно, как тогда, в те, молодые, годы... А впереди жизнь — легкая и чистая, не такая, какую я прожил. Совсем-совсем другая...

— Не такая, другая... Ничего не понять.

— Да, и я ничего не могу объяснить более вразумительно.

— Разве у вас была неинтересная жизнь? Я знаю — вы партизанили вместе с Кружилиным, а потом врагов Советской власти выслеживали и ловили. И сейчас...

— Прошу тебя, не надо об этом. Никогда не надо — слышишь? — Он произнес эти слова торопливо, как-то глухо выкрикнув их.

И Вера испугалась его голоса и его слов.

Однако постепенно Алейников начал меняться. Нет, он по-прежнему приходил на свидания радостный и приветливый, но все чаще делался вдруг без причины задумчивым, замкнутым, все чаще Вера ловила на себе его изучающий какой-то взгляд. Он не волновался, не загорался уже, как прежде, когда она целовала его, отвечал вроде на ее ласки нехотя, губы его были вялыми, холодноватыми.

— Что это с вами? — тревожно спрашивала его теперь Вера.

— Так... Устал очень на работе сегодня,— отвечал он и пробовал улыбнуться.

Но она-то, Вера, отлично видела, что улыбка эта вымученная, что дело не в усталости, кажется. «Опоздала, упустила момент! Переиграла! — тревожно стучало у нее в голове.— Ну, не-ет, погоди...»

От ее прежней холодноватости и задумчивости не осталось и следа. На каждое свидание она прибегала теперь взволнованная и, не говоря ни слова, бросалась сначала ему на шею, целовала его куда попало — в губы, и в шрам на левой щеке, и в лохматые брови — и только потом, откинув голову, рассматривала его лицо несколько мгновений и пряталась у него на груди, глухо говоря:

— Наконец-то... Я еле вытерпела, еле дождалась...

— Я тоже очень рад, Вера.

Слова его были ровными, спокойными, и Вера, дыша ему в грудь, с досады кусала губы своими острыми зубами.

Однажды после таких слов она разрыдалась прямо у него на груди.

— Ну, этого не надо, Вера, не надо,— попросил он, поглаживая ее плечо.

— Ты тоже рад, рад?! — выкрикнула она, поднимая заплаканное лицо, впервые назвав его на «ты».— Неправда, неправда! Что ты гладишь меня по плечу, как... как отец дочку, как даже старик внучку... А-а, морщишься?! Да, как старик, старик!.. А я, глупая... Смотри, слушай, слушай...

Она схватила его руку, прижала к своей груди. Там, под тугой девичьей грудью, сильно, частыми и гулкими толчками билось сердце.

— Да, я знаю, Вера...— проговорил Алейников и чуть шевельнул пальцами, пытаясь высвободить руку. Она поняла его движение, отшвырнула его ладонь, еще сильнее зарыдала.

— Что ты знаешь? Ничего ты не знаешь! — И вдруг, опровергая сама же себя, закричала: — Ты знаешь, что закружил мне глупую голову, знаешь, что я влюбилась, как последняя дурочка... Ты знаешь, что я согласна, согласна... И — молчишь, не спрашиваешь больше моего согласия. Ты ждешь, чтобы я сама сказала, да? Ну вот, я говорю, я говорю...

В тот вечер они встретились на берегу Громотухи, недалеко от того места, где несколько месяцев назад Семен с ребятишками удил рыбу.

Когда она выкрикнула последние слова, Алейников подошел к самой воде, помочил руки, будто вымыл их после прикосновения к ее телу, сел на плоский камень.

— Иди ко мне.

Она подошла. Он поцеловал ее в голову. Она притихла, прижавшись к нему.

— Конечно, Вера, я все знаю, все вижу. Я счастлив, наверное, что ты... полюбила меня.

— Почему — наверное, почему — наверное? — не спросила, а простонала она.— Значит, ты... ты...

— Нет, я по-прежнему люблю тебя. Но я... как бы тебе это сказать, чтобы ты поняла? Я, кажется, только сейчас начал понимать, начал соображать во всей полноте... во всей ясности, в каком я положении очутился... А может быть, и не во всей еще полноте. Я должен маленько, еще маленько подумать, все это оценить, все понять до конца... Понимаешь?

— Так мы поженимся или нет? — спросила она напрямик. Губы ее дрогнули, получилось у нее это жалобно и обиженно. «Хорошо получилось»,— отметила она.

— Конечно, конечно, Вера,— поспешно сказал он. И из-за этой поспешности она заключила, что именно сейчас-то до их женитьбы неизмеримо дальше, чем в тот день, когда он пришел свататься.

С тоской и тупым бешенством глядела она на холодные лунные блики, сверкавшие на воде. Эти блики напоминали ей тускло блестевшие ночами никелированные шарики на спинке ее кровати.

— Прости меня, Вера. Я думаю, все будет хорошо.

— Ты думаешь!.. Ты прикидываешь! — взорвалась Вера, оттолкнув его от себя.— Ты... ты так себя ведешь со мной, будто я... будто ты корову выбираешь, а не жену!

— Да, да, я запутался. И тебя запутал.

— Ну что, ну что тут запутанного-то? — все еще плача, опустилась она перед

ним на корточки, мокрыми, виновато-преданными глазами смотрела на него снизу.— Ты же любишь меня? Ну, скажи...

— Да, люблю... к сожалению.

— И я люблю! Так в чем же дело? О чем сожалеть? Это я должна сожалеть, может быть. Потому что... потому что... ты — старше меня. Но какое кому до этого дело? Я-то — люблю... На меня все в райкоме уже смотрят знаешь как? Знают ведь уже все. А мне наплевать.

— Да, знают. У меня даже Кружилин спрашивал...

— У меня не спрашивают. Пытались — я им так отрезала! Прикусили языки. Ну, Яков Николаевич... Яков... Яша...— Он вздрогнул дважды при этих словах, привлек ее к себе.

— Я, видимо, действительно смешон, Вера. Сперва сватался, а теперь... Ты правильно меня стыдишь...

— Я не стыжу...

— Я поговорю с матерью. И поженимся. Я ведь с матерью живу. Она у меня старенькая-старенькая и добрая.

Он прижимал ее к груди, и она брезгливо думала: «Еще с бабушкой, если она у тебя живая, посоветуйся...»

Несмотря на то что он сказал: «И поженимся», Вера не обрадовалась, она боялась — это минутное. И опять подумала о Семене: «Надо время от времени видеться с ним хотя бы».

Но Семен вел теперь себя как-то совсем странно. Случайно сталкиваясь с ней, он только махал рукой да бросал на ходу: «Привет, привет, Верка...» Ей никак не удавалось остановить даже его, не то что поговорить. И поэтому, когда Колька принес потрясающую новость о побеге Андрейки, побежала на станцию...

Потом она долго сидела на грязном железнодорожном диване, слушая, как в ушах звенят и звенят Семеновы слова: «Я не люблю тебя, Вера... И ты не любишь... Ты... никогда никого не сможешь полюбить. Ни меня, ни Алейникова, никого...»

Звон этих слов был неприятен, было такое чувство, точно ее колотили по лбу чем-то тяжелым и холодным. Она растерялась, в глубине души понимая, что Семена потеряла, а приберет ли к рукам Алейникова, еще неизвестно.

Встала с дивана и уныло побрела домой.

На другое утро ее огорошила мать:

— Отец-то тоже на войну... убежал?

— Чего? — не поняла Вера.— Как это убежал?

— А как Андрейка...— И мать беззвучно заплакала, опустившись на не убранную еще кровать. А выплакавшись, сказала: — Только ты никому, слышишь, никому не говори. В МТС я сообщила, что он заболел. Он сам напишет вскорости кому надо, чтоб не подумали чего.

Известия об отце пришли недели через три.

Вечер был холодный, дул пронизывающий ветер. Алейников и Вера стояли под той же начисто облетевшей уже березкой, росшей у кромки Громотушкиных кустов, где состоялось их первое свидание. Вера прижималась спиной к жиденькому еще стволику, куталась в теплую шаль. Алейников был в толстом суконном пальто, в сапогах и в шапке. Он стоял рядом и молчал.

За эти три недели они увиделись первый раз. На все ее звонки и просьбы о свидании Алейников отговаривался делами, потом уехал в область, вчера ночью вернулся, и сегодня Вера позвонила и расплакалась:

— Как хотите, а нам надо поговорить. Окончательно.

— Хорошо,— вздохнул Алейников на другом конце провода.

Да, сегодня Вера решила поговорить окончательно, потому что положение становилось все более угрожающим — вот уже Алейников начал избегать ее.

В поредевших Громотушкиных кустах угрюмо шумел ветер. Голые ветви березки, под которой они стояли, мотались из стороны в сторону, тонкий стволик вздрагивал и тихонько скрипел.

— Холодно. Я прямо вся продрогла,— сказала Вера, расстегнула его пальто, спрятала исхлестанное ветром лицо у него на груди.

Алейников прикрыл ее полами от ветра, обнял за плечи, поцеловал в голову сквозь шаль и неожиданно спросил:

— А что с твоим отцом, Вера?

— С отцом? — Помня слова матери, она не знала, что ответить.— Он... он на фронт уехал.

— Я знаю. Странно он уехал как-то. По-детски. Сегодня директор МТС мне звонил... «Мы считали, что тракторист Инютин болеет, дома лежит, а он уже на фронте воюет».

— На фронте? Он уже на фронте?

— Да, письмо от него пришло.

— Надо матери сказать... Она эти две недели какая-то сама не своя. Как отец убежал, она все плачет.

— Почему он убежал?

— Не знаю,— со вздохом ответила Вера.— Он всегда был чужой для меня. Мать говорит — он хороший. А я — не знаю... У них с матерью жизнь какая-то... не как у других, непонятная.

— Не любят, что ли, друг друга?

— Не поймешь их. Мать у меня...— Вера хотела рассказать то немногое, что знала об отношениях родителей, но подумала, что это долго, сложно да и ни к чему.— В общем — не могу я ничего понять у них. Пойдем домой, что ли?

— Да, пошли. Противная погода.

До села они дошли, почти не разговаривая. Когда Вера свернула на ту улицу, где жил Алейников, он хотел вроде что-то сказать, однако она опередила его:

— Ладно, сегодня я провожу тебя, устал ты сегодня.

Остановились возле высокого штакетника, которым был обнесен кирпичный особнячок Алейникова.

— Может, в гости пригласите? — произнесла она, чувствуя, что набивается грубо и неумело.— А то меня насквозь продуло, хоть погреюсь.

— Конечно, я и сам подумал... Надо нам поговорить спокойно и обо всем. Проходи. Только мамаша спит уже, мы ее тревожить не будем.— Он загремел ключами.

Комната, куда ввел ее Алейников, была маленькой, тесной, ни ковров, ни люстры, как она себе почему-то представляла. Правда, на полу лежала ковровая дорожка, но старая, облезлая. Посредине стоял квадратный стол, застланный светло-голубой скатертью, у стены — другой, письменный, и клеенчатый диван, как две капли воды похожий на тот, что стоит в кабинете у Кружилина. Впритык к дивану — шкаф, обыкновенный, простенький шкаф — даже кустарной работы.

Войдя, Вера растерянно остановилась у порога, поглядела на свисавшую с потолка одинокую лампочку под стеклянным матовым абажурчиком, на стол, застланный дешевенькой и тоже не новой скатеркой, на эту вышарканную дорожку, на облезлый диван, на голые, чисто выбеленные стены — и в груди у нее что-то оборвалось, свернулось, съежилось и тупо заныло, а на глазах даже чуть не проступили слезы, она почувствовала себя ребенком, который долго ждал конфетку в яркой бумажке, и вот ему конфетку эту протянули, он жадно схватил ее и обомлел — в бумажке ничего не было.

— Раздевайся, Вера,— сказал Алейников.— Извини, у меня не очень уютно, наверно. Я-то привык.

Алейников расстегнул на ней пальто, она позволила снять его с себя вместе с шалью.

— Посиди, Вера. Я чайку приготовлю...

Он ушел на кухню, она села на диван, плотно сжав обтянутые шелковыми чулками колени, опять оглядела дешевенькую, неприглядную обстановку. Может, этот стол под скатертью хоть настоящий, полированный? Она встала, приподняла скатерть. Нет, стол был простенький, покрашенный желтоватой краской.

Покусав губы, Вера вышла на кухню. Алейников щипцами колол сахар в синюю стеклянную сахарницу. При ее появлении он улыбнулся, показал глазами на филенчатую дверь, сказал шепотом:

— Мама уснула наконец сегодня, она две ночи не спала, ее ревматизм замучил... Ты посиди там, я все сам сделаю.

Вера и не думала ему помогать. Она просто хотела взглянуть на кухню. Но ничего там радостного не увидела — обыкновенный промкомбинатовский кухонный столик, застланный клеенкой, в углу — громоздкий посудный шкаф из прос-

того дерева. За стеклами шкафа поблескивало несколько дешевеньких фужеров и чайных чашек. На подоконнике стояли какие-то банки, склянки, коробки.

Она вернулась в комнату, огляделась, ища двери в следующие комнаты. Но никаких дверей, кроме той, через которую они вошли, миновав темный коридорчик, не увидела, села опять на диван. Сердце ее гулко колотилось. «Дурак-то... боже, какой он дурак! — с тупой ненавистью думала она об Алейникове, о его лохматых бровях, о синем, сразу ставшем ей ненавистным шраме, который она когда-то целовала (вспомнив об этом, она поморщилась даже).— Жить этак... При таких-то возможностях...»

Она опять сорвалась с места, подбежала к шкафу, дернула дверцы. В шкафу висела шинель Алейникова, несколько гимнастерок и брюк, зимнее пальто, правда с хорошим меховым воротником. На верхней полке аккуратной стопочкой были сложены чистые, тщательно отглаженные рубашки. И все. «Ну, ничего, ничего!» — зловеще пообещала она кому-то.

Она прикрыла дверцы, еще, в который уже раз, оглядела более чем скромную обстановку. Теперь она заметила, что и занавески на двух окнах хотя и шелковые, но тоже старенькие, застиранные, и оконные рамы местами облупились, требовали покраски, и ножки гнутых стульев, стоявших вокруг стола, были обшарпанные, облезлые, и сиденья их залоснились... И, как пьяная, вернулась на диван. «Ничего, лишь бы все у нас получилось с тобой, а там...»

Вошел Алейников, поставил на стол две чашки с блюдцами и эту синюю дурацкую сахарницу.

— Сейчас и чай вскипит,— сказал он и, увидев Верины глаза, смутился, потер ладонью шрам.— Так вот и живу...

— Что ж, обыкновенно живешь,— как можно равнодушнее произнесла она. Пожала плечами.— Правда, я представляла немного все иначе...— И тут же, испугавшись этих слов, добавила: — Но какое это имеет значение?

— Когда... Я ведь был женат, ты знаешь... Когда жена ушла от меня, я отдал три комнаты одному нашему сотруднику. У него семья большая, а нам с матерью и этого хватает.

— Конечно, зачем вам больше,— согласно кивнула Вера.

— Дом мы перегородили капитальной стенкой и сделали еще один вход, с той стороны... Извини, кажется, чайник закипел.

Через несколько минут они сидели за столом. Вера помешивала ложечкой в своей чашке, глотала обжигающую жидкость, прислушиваясь к порывам ветра за окном.

— Вроде настоящая буря началась.

— Пустяки, я провожу тебя,— успокоил ее Алейников.

Она поморщилась не то от глуховатого скрипа деревьев за окном, не то от его слов и продолжала думать о своем. «Ничего, лишь бы получилось... И тот сотрудник с большой семьей выселится. Капитальную стенку эту разберем. И обстановка будет... И вообще узнают в Шантаре, что такое жена Якова Алейникова. Самого Алейникова! Все узнают, может быть, даже и Кружилин...»

Она думала, что рассуждает умно и зрело, как человек, знающий хорошо и жизнь и людей.

Алейников сидел, задумавшись, над нетронутой чашкой чая. Вера понимала, что надо приступать к решительному разговору, но не знала — как. И кроме того, она боялась этого разговора.

— А ты... бывшей жене, наверное, помогаешь? — спросила она, чувствуя, что не к месту этот вопрос.

— Нет,— ответил он, стряхивая задумчивость.— Я не знаю даже, где она сейчас. Она уехала, не сказала куда... И не написала ни одного письма. Да и не нужна ей помощь. Детей у нас не было — она не хотела. Но у меня есть кому помогать...

— Кому же? — спросила Вера, заботясь, чтоб голос ее прозвучал как можно теплее.

— У меня был брат, старший. Он умер шесть лет назад от чахотки... Еще на царской каторге схватил ее. У него осталось четверо детей, а мать у них сердечница, тоже еле-еле дышит, работать не может. Я перед смертью брата обещал ему позаботиться о его детях. И вот...

Алейников обвел глазами комнату, как бы объясняя Вере, почему он живет так скромно.

— Младшему сыну брата только восемь лет сейчас, старшей дочери шестнадцать. Учится сейчас в десятом классе. Они живут далеко, во Владивостоке. Я хотел их нынче к себе вызвать, чтобы вместе жить или хотя бы рядом. А тут...

— А тут в меня влюбился,— с неприятно заискивающей улыбкой произнесла она.— Но это... не помешало бы нам... надо вызвать.

— Нет... Я хотел сказать, а тут — война...— сухо сказал он. Потом секунду помолчал и, чуть откинувшись на стуле, вдруг произнес голосом вовсе чужим, незнакомым: — Вера...

Она вскочила из-за стола, чуть не опрокинув чашку.

— Погоди, Яков! Я сперва...— Голос ее перехватило, она не могла вытолкнуть больше из себя ни одного слова, в животе холодно заныло от страха. Сознанием она понимала, догадывалась: это конец!

— Не надо, Вера, тебе ничего говорить,— опустил виновато голову Яков.— Сказать должен... обязан я, как мне ни тяжело... Не могу я жениться, Вера...

Теперь она не только догадывалась, что между ней и Яковом все кончено, но и слышала его слова. «Конец! Конец!» — стреляло больно в голове. Но в ней протестовало все, не могло согласиться с этим.

— Яков, ты... Ты что сказал?!

— Я говорю — прости меня, Вера. И пойми... Мы не можем... Я не могу на тебе жениться...

Глаза ей застлал плотный туман, пронизываемый желтыми стрелами. Гнев, обида, невиданная злость вдруг начинили все ее существо порохом, а мысли, проносящиеся в голове, были как раскаленные уголья, из которых во все стороны хлещут синеватые струйки пламени. И стоило какому-то угольку подкатиться к пороху, как — она чувствовала это — произойдет страшный взрыв. Боясь его, она сделала два шага назад, упала на диван, отвернулась к стенке, скрючилась, будто от холода, и дала волю слезам. Она слышала, как подошел Алейников, сел на краешек дивана и положил руку на ее плечо, одновременно что-то сказал. Она резко вскинула голову, крикнула, теряя голос:

— Это окончательно?

— Окончательно. Я много думал. Это окончательно.

Вера закрыла лицо ладонями и застонала в бессильной ярости. Алейников поднялся и неуклюже принялся ходить вокруг стола, натыкаясь на стулья...

* * *

Он, Яков Алейников, прожил свои пятьдесят лет очень трудно. Когда-то жизнь начиналась легко и просто, мир делился на друзей и на врагов, как сутки делятся на день и ночь. Он, Алейников, ясно представлял себе, кто он такой на этой земле, что он должен делать и ради какой цели жить.

Постепенно все усложнялось, все как-то запутывалось в его жизни. Сутки так же делились на день и ночь, и цель была по-прежнему ясна, непонятно только было, почему многие бывшие друзья становились врагами.

Задумываться он начал после того, как зимой тридцать шестого года ушла от него жена, сказав на прощанье:

— Я ухожу не потому, что разлюбила... Может, и люблю. Но ты — страшный человек. Мне жутко с тобой в одной постели лежать, от тебя кровью пахнет...

Может, Галина и не ушла бы еще, по ее глазам он видел, что она колебалась, что решалась на такой шаг нелегко. Но он сказал в запальчивости:

— Если и пахнет кровью, то — вражеской. И я горжусь, что от меня такой запах идет...

— Значит, ты глуп и тупоголов, как...

Она не закончила фразу и ушла, заплакав, прихватив только небольшой чемоданчик с платьями. Больше он никогда ее не видел, но ее слова все время звучали в ушах. Сперва они раздражали его, доводили до белого каления, но потом он начал спокойно размышлять: почему же она бросила ему на прощанье именно эти слова? Неужели он действительно туп и глуп, неужели он сажает людей невиновных? Взять хотя бы Ивана Савельева. Он с чистой совестью арестовал этого

бывшего белобандита. Тогда, в девятнадцатом году, почуяв гибель, решил схитрить этот Иван, головой атамана банды выкупить свою жизнь — и, застрелив его, вызволив из плена дочь Кафтанова, Анну, явился к партизанам. И командир отряда Кружилин, и Анна, и многие другие поверили было в чистые намерения Ивана. Только он, Алейников, да родной брат Ивана Федор не верили. И оказались правы. Не разоружился Иван, не примирился в душе с новой властью — и вот эта история с двумя жеребцами... Все ясно же: хоть таким способом ущипну, мол, Советскую власть. Самым рьяным его защитником был михайловский колхозник Аркашка Молчанов. Защитник, а может, пособник. К тому же, сидя в КПЗ, начал Советскую власть грязью обливать. Что же, выпускать его на волю, давай, мол, и дальше защищай врагов народа, помогай им, поноси Советскую власть?

Когда же все доводы относительно виновности Ивана Савельева и Аркадия Молчанова показались ему шаткими, наивными, а потом и глупыми до предела, до бесконечности?

Как бы там ни было — с ним, Алейниковым, что-то произошло, и он, ужаснувшись, увидел себя словно в другом свете!

Это было очень странное и очень сложное чувство. Алейниковых словно стало два, один из них будто стоит где-то, освещенный сверху невидимым прожектором, а другой находится рядом, в темноте, смотрит на этого первого, освещенного со всех сторон, смотрит с удивлением, с отвращением, со страхом.

Алейников с каждым месяцем седел все больше, с головы посыпался волос, на темени стала просвечиваться кожа. Он становился все мрачнее и замкнутее, глаза его совсем провалились под лохматыми бровями, рубец от шашки полковника Зубова на левой щеке наливался мертвенной, могильной синевой, а в минуты раздражения и гнева вспухал и делался черным, что придавало и без того угрюмому его лицу зловещее выражение.

Все чаще приходили думы, что он, Алейников, в сущности, подлец и преступник, что придет время — и люди жестоко спросят с него за его деятельность. Такое время наступит. Наступит и принесет ему вечное облегчение. Но когда оно наступит? Сколько еще ждать? А не лучше ли это самое облегчение подарить самому себе сейчас, не дожидаясь того времени?

Это были мысли о самоубийстве.

Впервые они мелькнули у него в конце тридцать восьмого, после ареста председателя райпотребсоюза Василия Засухина и заведующего райфинотделом Данилы Ивановича Кошкина. Он забрал их одним заходом, как обычно, на рассвете, в самое глухое время.

Засухин, со времени гражданской погрузневший, заплывший жирком, вышел открыть дверь сам и, стоя в накинутом на нижнее белье полушубке, по очереди оглядел пятерых ночных пришельцев, как-то печально, осуждающе вроде, покачал головой.

Ночь была не очень морозная, светлая. Луна стояла высоко. Снег, нависший под застрехой, толстыми пластами лежавший на поленнице березовых дров, шапками торчавший на столбах невысокого заборчика, искрился под мягким и мирным лунным светом, отливая голубизной. И нижняя рубаха Засухина под разошедшимися полами черного полушубка, и смятые подштанники были голубоватыми. На плоских, дергавшихся щеках Засухина тоже лежал какой-то неживой, синевато-черный отсвет. «В сущности, он уже мертвец, и понимает это»,— подумал тогда Алейников, в голове его что-то замутилось. Чтобы не упасть, он уперся голой ладонью в заснеженную поленницу.

Засухин перестал качать головой, щеки его перестали дергаться, он шумно и облегченно вздохнул, как человек, окончивший тяжелую работу, и сказал:

— Я — сейчас, ты подожди, Яков, тут... Жена и детишки спят, не надо будить. Бельишка маленько, мыла можно взять?

— Бери,— сказал Алейников, чувствуя, что голова кружится еще сильнее, что он в самом деле может упасть.

Когда уходили со двора, сквозь закрытые ставни донесся протяжный и приглушенный женский вой, а потом и детский плач.

Данило Кошкин не встретил их на крыльце, как Засухин, дверь открыла жена Кошкина, со сна ничего не могла понять. А когда поняла, вскрикнула, схватилась за горло, точно хотела задушить сама себя, осела на колени. Потом вско-

чила, хотела захлопнуть двери, но Алейников вставил в притвор ногу в жестком валенке и, зайдя в сенцы, перешагнул через кинувшуюся ему с плачем в ноги женщину.

Когда Алейников вошел в комнату, Кошкин сидел у порога и натягивал сапоги, аккуратно обертывая ноги портянками. Из другой комнаты показалась взрослая уже дочь Кошкина, застыла в дверях, придерживая на груди расходившийся халатик. В глазах ее был ужас, крепко сжатые губы тряслись, будто во рту у нее билось что-то живое, по щекам текли слезы. Из-за девушки выглянул мальчишка лет пяти или шести. Закричал дико: «Тя-атька-а!» — и кинулся к отцу. Из сеней заползла жена Кошкина, все трое — жена, дочь и сын — повисли на нем со всех сторон, заплакали, застонали. Когда-то такие сцены не трогали сердца Алейникова, но сейчас он не мог этого перенести, качнулся и шагнул через порог, кивнув стоящим у дверей своим сотрудникам:

— Две минуты на сборы!

Во дворе зачерпнул горсть снега и стал жадно глотать его, обжигаясь.

— Простудишься, Яков,— неодобрительно сказал Засухин.

Алейников ничего не ответил. Он ничего не ответил и тогда, когда заведующий райфинотделом, поглядев, как дежурный камеры предварительного заключения расписывается в книге о приеме заключенных, спросил:

— А за что нас, Яков Николаевич?

За что? Если бы он, Алейников, мог ответить, за что?

Собственно, он мог бы ответить: тебя, Кошкин, за то, что в районе много числится недоимщиков, что райфинотдел не взыскивает как положено налоги и таким образом умышленно саботирует мероприятия Советской власти в области налоговой и финансовой политики. К тому же отец твой служил когда-то конвоиром при Новониколаевской тюрьме, водил на расстрел осужденных, а может быть, и принимал участие в расстрелах. А тебя, Засухин, за то, что колхозы плохо снабжаются различными необходимыми им товарами, что к тому же при твоем прямом и умышленном попустительстве отпетый уголовник Макар Кафтанов, сын того самого Михаила Лукича Кафтанова, с которым ты дрался когда-то насмерть, уже несколько раз обворовывает магазины потребительской кооперации.

Он мог бы так ответить, но не ответил, понимая всю вздорность этих обвинений, высосанных из пальца. Кто-кто, а Алейников знал, что Кошкин днюет и ночует в своем учреждении, пытаясь как-то наладить финансовую работу в районе, изобретает неимоверные, но всегда законные способы, чтобы наскрести лишних несколько тысяч и в порядке государственной ссуды выдать их тем колхозам, которым она позарез необходима; что Засухин как угорелый мотается по району, организуя в каждом селе кооперативные магазины, неделями, месяцами торчит в области, выбивая для этих магазинов скудные товарные фонды. И не Засухин виноват, что фонды мизерные и товаров не хватает, не он виноват в том, что магазины действительно иногда обворовывают, а один нынче летом даже сгорел от неосторожного обращения с огнем сторожа. Что же касается роста недоимок, тут дело еще сложнее. Недоимки стали расти после того, как в районе появился Полипов. Он в первый же год наполовину урезал трудодень, на следующий вообще приказал выдавать на трудодень граммы. Весь урожай Полипов выметал из колхозов подчистую, не оставляя фуража. Животноводство стало давать меньше доходов. Кривая хлебозаготовок при Полипове резко поползла вверх, а колхозники стали нищать, это сразу же отразилось на поступлении налогов, в районе стало все больше недоимщиков.

Другое дело, что Засухин и Кошкин, как раньше председатель райисполкома Баулин, не раз схватывались с Полиповым на пленумах и различных совещаниях по поводу методов его руководства, прямо заявляя, что при такой политике люди из колхозов могут побежать. Такие слова, особенно после состоявшегося недавно съезда колхозников, были смелыми и даже дерзкими, многих ошеломляли. Но чувствовалось — люди в общем-то согласны с Кошкиным и Засухиным, внутренне одобряют их речи. Полипов же, сидя в президиумах, слушал их высказывания, подергивая уголком рта, хмурился, наливался какой-то тяжестью.

— Видал? — спрашивал он после таких совещаний у Алейникова.— Последыши баулинские или кружилинские — не разберешь. Змеиное логово, что ли, тут, в Шантаре? За кои-то годы район впервые двинулся вперед, мало-мало начал

увеличивать производство зерна — и тотчас нашлись деятели, готовые запихать палки во все четыре колеса, замазать все успехи трудящегося крестьянства черной краской. Я думал, тут Баулин один такой был, а тут... И судьба Баулина не пошла им впрок.

Алейников понимал: Засухин и Кошкин мешают Полипову, болтаются у него под ногами. Запнуться об них он не боялся, но и терпеть инакомыслящих не мог и решил избавиться от них тем же способом, каким год назад избавился от Баулина. Поэтому те же речи, что и о Баулине, те же намеки. Все это Алейников понимал, но он был уже не тот Алейников, что год назад, слова секретаря райкома пропускал мимо ушей, а однажды сказал:

— Не понимаю тебя, Петр Петрович... В твоей власти ведь вырвать у них из рук эти палки.

— Да? Каким же способом? — поинтересовался Полипов.

— Очень простым — освободить их от работы...

Полипов насмешливо оглядел Алейникова.

— Удивляюсь тебе,— сказал он негромко, но со смыслом, который прозвучал не в словах, а в голосе, насмешливом и одновременно угрожающем.— От руководящей работы я их освободить могу. Но они и в другом месте, на любой другой работе, так же будут злопыхать, так же будут обливать грязью наши дела и нашу действительность. Тут хоть они на виду, а там... Не понимаешь, что ли? Нет уж, пусть голубчики до конца на виду раскрываются... Может, и на тебя тогда пахнет от них зловонным душком,— добавил он опять с той же многозначительностью.

Несмотря на эту многозначительность, Алейников никаких мер в отношении Засухина и Кошкина не предпринимал. Полипов тоже о них будто забыл наконец. Но однажды, через неделю или полторы после областной партконференции, из области приехал непосредственный начальник Алейникова, провел совещание с оперативными работниками отдела, а потом, оставшись наедине с Алейниковым, спросил:

— Что это за деятели у вас тут Засухин и Кошкин? На областной партконференции ваш секретарь райкома такие факты приводил об их деятельности, что мы за головы схватились. Это же умышленная дискредитация налоговой и кооперативной политики партии. Вы что же ушами хлопаете?

— Это хорошие и преданные партии люди,— попробовал возразить Алейников.— Я с ними партизанил...

— Ах, вот как? Старая дружба, значит? Судя по тем фактам, о которых говорил Полипов, они были... или делали вид, что преданные. В общем — разберитесь и примите меры.

Это был приказ, который следовало выполнять...

Арестовав Кошкина и Засухина, Алейников, придя домой, не раздеваясь бросился в постель, пролежал до рассвета, глядя в потолок. В ушах стоял вой, плач и стон, будто он, Алейников, все еще находился в доме Кошкина, слышался пронзительный крик пятилетнего мальчонки: «Тя-атька-а!» Он все это слышал, видел и с леденящей сердце ясностью думал, что еще раз он такого не выдержит и, чтобы прекратить этот вой и плач, выхватит из жесткой кобуры наган, ткнет холодным дулом себе в висок и выстрелит...

Придя утром на работу, он велел привести к нему в кабинет Засухина и Кошкина. И только после того, как отдал приказание, подумал: «А зачем?»

Арестованных привели в наручниках, за несколько часов оба они осунулись, похудели. Кошкин, презрительно сжав губы, смотрел на Алейникова так, будто хотел сказать: «Ну что, Яков, достукался?» Засухин же внимательно разглядывал свои руки, словно недоумевал, почему они оказались в железе.

Алейников приказал снять наручники.

— И за то спасибо,— сказал Кошкин, усмехаясь.— Ну, объясняй, в чем мы виноваты, какая такая наша вражеская деятельность? Диверсанты, может, мы, мост через Громотуху подорвать пытались, или тот магазин, который сгорел, лично я поджег?

— Это вы скажете сами, когда спросят,— с трудом проговорил Алейников.— Обвинение вам предъявят как положено. Я о другом хотел спросить... Вот вы оба... будто знали, что вас арестуют.

— Как же, знали. Мы самые горластые теперь в районе,— ответил Засухин.

— Так почему вы, если знали... такие горластые?

— Да как объяснить тебе? Судьба, видать, определена каждому своя: кому — песни петь, кому — за горло певцов душить, забивать пенье обратно в глотку. Так уж оно идет пока в жизни.

Алейников думал о засухинских словах, догадываясь об их страшном смысле, но понять этот смысл во всей его ужасающей глубине и конкретности все же не мог, а может быть, не хотел. Чувствуя, как горят ладони, он, чтобы остудить, унять этот огонь, прижимал их к холодному настольному стеклу.

— Не понимаешь ты, вижу,— усмехнулся Засухин.— Может, ты объяснишь ему попроще, Данило Иванович?

— Можно,— кивнул Кошкин, поглаживая запястья.— Мы, Яков Николаевич, в гражданскую не раз со смертью в обнимочку лежали. И пули над ухом свистели, и шашки перед глазами сверкали. Так близко сверкали, аж горячим ветерком обдавало. Ну, да все это ты и сам помнишь, поди. Мы и тогда за жизни свои шибко не опасались, потому что знали, на что идем, за что воюем, какая расплата может быть...— И вдруг Кошкин поднялся со стула во весь свой громадный рост, превратился в прежнего Данилу-громилу, заходил неуклюже, как журавль, по кабинету, сильно замахал руками.— Так что ж ты, Яков, думаешь, что мы теперь стали трусливее, что ли?! Полипов район гробит, а мы должны молчать? Сами себя в узел должны завязать? За что мы тогда с той смертью в обнимку-то жили столько времени, а? Как тогда на самого себя в зеркало глядеть, а? В свои собственные глаза?!

Данило Иванович Кошкин ходил и ходил, размахивая длинными руками, из угла в угол, его голос гремел, слова, как булыжники, с грохотом раскатывались по кабинету во все стороны. И было такое впечатление, что именно он хозяин этого просторного кабинета с высокими окнами, а не съежившийся за своим столом Алейников.

— Он не понимает, ты говоришь, твоих слов? — почти закричал Кошкин, останавливаясь перед Засухиным и тыча кулаком в сторону Алейникова. Потом подбежал к Якову, раздвинув руки коромыслом, схватился за кромки стола, будто хотел поднять его над головой и обрушить на Алейникова.— Ты не понимаешь?! Нет, ты все понимаешь, Яков! Ты знаешь, что невинных в тюрьмы отправляешь! Корнея-то Баулина за что? Какой он такой враг народа? Мы, помнится, тут же, в этом кабинете, объясняли тебе, что никакой он не враг. Ты даже к Поликарпу Кружилину подбирался! Каким таким путем удалось Поликарпу из твоих лап выскользнуть — непонятно. Но слава богу, что выскользнул. Теперь до нас добрался! Да еще ишь ты — почему, дескать, вы такие горластые? Еще, сволочь такая, издеваешься?

При слове «сволочь» Алейников и Засухин одновременно вскочили со своих мест.

— Данило! — крикнул Засухин предостерегающе.

А Алейников не закричал, он только побледнел и проговорил сухим голосом:

— Я не издеваюсь... Я только хотел спросить и понять...

— Спросить и понять? — опять загремел Кошкин.— Это нам надо спросить тебя: в кого же ты превратился, Яков? Руки твои — в крови!

— Данило?! — опять воскликнул Засухин, подошел к Кошкину, тряхнул его за плечо.— Замолчи!

— Нет, не буду молчать! — рванулся Кошкин, сбросил руку Засухина с плеча.— По локоть и выше даже...

— Да разве он виноват, что в крови? — багровея, закричал всегда спокойный и уравновешенный Засухин.

Алейников тупо и непонимающе поглядел на Засухина, недоуменно сел, сжал виски нахолодавшими еще от стекла ладонями. Как сквозь ватную подушку доносился до него голос Кошкина:

— А кто — мы, что ли, виноваты с тобой? Или Корней Баулин? Или Поликарп Кружилин?

«Нет, вы не виноваты, не виноваты! — хотелось закричать Алейникову во весь голос.— И Баулин не виноват, и Кружилин... А Полипов? А вот — Полипов...»

Но он не закричал, он позвонил и сказал, не глядя на Кошкина с Засухиным:
— Уведите.

Когда их повели, он вдруг встрепенулся, крикнул:

— Арестованного Засухина оставьте!..

Некоторое время они сидели безмолвно друг против друга. В просторном кабинете стояла мертвая тишина, будто здесь никого и не было. Потом Алейников вышел из-за стола, потыкался, как пьяный, из угла в угол, остановился у окна, долго глядел на улицу, тихо спросил:

— Почему же так оно идет в жизни, Василий Степанович?

— Как? — не понял Засухин.

— Почему судьба определила одним песни петь, а другим за горло певцов душить?

— А-а... Видишь ли, Яков Николаевич... Долгий это и сложный разговор, — медленно произнес Засухин.— И обстановка неподходящая...

— Неужели ты не видишь... что я не хочу душить, никому не хочу забивать песни обратно в горло! — Он обернулся, лицо его было мертвенно-бледным, на нем ярко выделялся косой багрово-синий шрам.

— Ну, допустим, что я вижу,— проговорил Засухин.— Точнее говоря, догадываюсь с недавних пор. Только ты врешь маленько, Яков Николаевич. Еще год или полтора назад ты с радостью хватал каждого за горло.

— И все-таки я бы уточнил: не с радостью, а с усердием,— сказал Алейников, садясь.

— Ну что ж,— помедлив, произнес Засухин,— пожалуй, это будет точнее.

— Потому что я думал — доброе дело делаю.

Засухин чуть поморщился при этих словах, и Алейников понял, что пояснения его лишни.

— И все-таки, Василий Степанович, объясни мне — почему оно так идет в жизни?!

— Наверное, жизнь идет так, как ей должно идти.— Засухин, говоря это, пожал плечами, и казалось, слова эти он произносит машинально, а сам думает о чем-то другом.

— Как то есть?!

— Скажи-ка, Яков, мы тут оказались с Кошкиным не благодаря стараниям Полипова?

Засухин спросил это быстро, вскинул на Алейникова свои остро-проницательные глаза. Поворот мыслей Засухина был настолько неожиданный, что Алейников вздрогнул, опустил глаза.

— Н-нет...— ответил он, чуть припнувшись. И этой заминки с ответом и того, что, отвечая, Алейников спрятал неловко глаза, было достаточно, чтобы Засухин понял правду.

«Ну и хорошо, что понял,— с облегчением подумал Алейников.— По крайней мере не все будут проклинать меня. Хоть один человек не будет проклинать...»

Алейников долго боялся поднять лицо, ему казалось, что Засухин смотрит на него насмешливо и уничтожающе-презрительно.

Засухин действительно глядел на Якова не отрываясь, в самом деле чуточку улыбался, но в его улыбке не было ничего насмешливого или презрительного, темноватые глаза его светились мягким, доброжелательным, может быть чуточку грустноватым только, светом. Алейников не понимал, отчего в глазах Засухина светится такая улыбка. И еще более он удивился, когда Засухин проговорил:

— Видишь, Яков, жизнь действительно идет, как ей положено идти.

— Не вижу! — почти прокричал он, мотнув головой так, что заныли мускулы на шее.— Не понимаю я, Василий Степанович, как она идет, куда она идет!..

Алейникову было мучительно стыдно слышать свой голос, признаваться в собственном бессилии и тупоумии. Но слова эти помимо его воли сорвались с языка и, казалось, долго еще звенели в тишине кабинета после того, как он умолк. И еще казалось, что уже теперь-то Засухин поднимется со своего места, не спеша подойдет к столу и пригвоздит его какими-нибудь убийственными словами, насмешкой.

Однако Засухин только прикрыл уставшие от сегодняшней, такой трагической для него ночи глаза, пальцами помял веки, чуть усмехнулся и заговорил:

— Не видишь, не понимаешь... Что же, давай поразмышляем вместе... Вот мы все воевали за новую власть, за благородные идеалы... Мы победили и строим сейчас новое общество — самое высоконравственное общество на земле.

При этих словах Алейников поднял голову, в глазах его что-то плеснулось.

— Что, не согласен? — спросил Засухин, пристально глядя на Алейникова.

Яков, не ответив, опустил лишь глаза. По губам Засухина опять скользнула едва заметная, горьковатая усмешка. И он спокойно, чуть раздумчиво только, продолжал:

— Именно, Яков, самое высоконравственное... Потому что руководствуемся самыми благородными идеалами, которые только есть у человечества, которые оно выработало за много веков своего существования. Но...— Засухин чуть припнулся, помедлил,— но парадокс состоит в следующем: строя самое высоконравственное общество, мы допускаем самые безнравственные вещи...

— Что ты мне объясняешь, как ребенку?! — воскликнул раздраженно Алейников.— Ты мне объясни, если можешь,— почему такие вещи происходят? Это, это объясни...

Засухин поглядел на него с укором, чуть даже покачал головой.

— Я к тому и иду, Яков. Только не думай, что мое объяснение... окончательное, что ли, что я поведаю тебе абсолютную истину... Человечество разберется потом, может быть, при нашей жизни еще, а может, и позже. История никаких тайн не любит, долго скрывать их не может и не умеет. И люди узнают причину этого и даже... и даже виновников найдут, если они есть... Всех найдут, по именам перечислят... Я же объясню тебе, как я сам сейчас понимаю то, что происходит в стране. Объясню, может быть, очень приблизительно, общими словами. Но и приблизительное понимание этого мне помогает жить.

— Ну, объясняй,— тихо попросил Алейников, когда Засухин замолчал.

— В общем-то, оно ведь все очень просто, Яков... Надо только отчетливо себе представлять и понять, что мир еще далеко не совершенный. Вот я в одной книжке вычитал такие слова: мы, люди, уже не звери, потому что в своих поступках руководствуемся не только одним инстинктом, но мы еще и не люди, потому что в своих поступках руководствуемся не только голосом разума...

Алейников напряженно вдумывался, пытаясь понять смысл услышанного. Потом сказал:

— Я не могу принять эту теорию. Она какая-то животная.

Засухин усмехнулся невесело.

— Наша беда, может быть, в том и заключается, что многие вещи мы тотчас принимаем за теорию, сразу же примеряем ее к нашей истории, к нашей жизни и — или безоговорочно руководствуемся ею, или так же безоговорочно отвергаем. Вот и ты сразу — «не принимаю». А между тем, если чуть вдуматься в эти слова, может быть, и я, и ты, и... Полипов — все мы на свои поступки посмотрим как-нибудь иначе, увидим их, возможно... я не говорю — обязательно, возможно — в другом свете? А?

Алейников начал, кажется, понимать мысль Засухина. По всему его телу прокатилась горячая волна, она родилась где-то в груди, ударила в голову — лоб Алейникова сразу вспотел.

— То есть ты хочешь сказать, что я...— начал он и замолчал, не зная, что говорить дальше, какими словами выразить охватившие его чувства.

— Да, я хочу сказать, что пришло время — и в тебе заговорил, начал брать верх голос разума,— помог ему Засухин.— И такое время рано или поздно придет ко всем, даже к нашим убежденным противникам. Конечно, к одному раньше, к другому позже. Теперь видишь, теперь понимаешь, как и куда идет жизнь?

Алейников молчал. Он молчал и думал: все, что сказал сейчас Засухин,— общеизвестная, даже примитивная истина, что когда-то он, Алейников, эту истину вроде и знал, но забыл, а теперь вспомнил вдруг, он словно спал, а теперь проснулся или начал просыпаться.

А Засухин между тем говорил:

— В мире извечны истина и несправедливость, свет и тьма, ум и глупость, а короче — добро и зло стоят друг против друга. Мы, люди, в семнадцатом году впервые нарушили это противостояние добра и зла. Нарушили, но не победили еще. Мы победим, когда наши идеи, идеи добра, восторжествуют на всей земле.

А пока борьба между добром и злом продолжается. Но зло существует вековечно, оно очень цепкое, оно пустило длинные корни, и борьба с ним будет еще долгой, упорной и жестокой, Яков. Она будет кропотливой. Будут еще, может быть, и войны, страшные и разрушительные, во всяком случае — намного страшнее и разрушительнее, чем схватка со злом в семнадцатом году. Но в конце концов победит добро, потому что в этом именно и суть и смысл жизни.

Засухин умолк, поднялся, и, разминая ноги, прошелся по кабинету, остановился возле окна, у которого недавно стоял Алейников. Из окна виднелась Звенигора. Огромный заснеженный каменный горб вздымался, казалось, сразу же за крышами окраинных домов Шантары, глянцевито поблескивал под низким зимним солнцем.

— Всякая истина, Яков,— и обыкновенная, житейская, человеческая, а особенно социальная,— достается людям трудно, тяжело. Конечно, некоторые понимают ее легко, как-то сразу. Но ко многим, очень и очень ко многим она приходит через страдания и даже трагедию. А есть люди, которые постигают истину только перед смертью, которым приходится платить за ее постижение самой высокой ценой — жизнью. А почему?

Засухин еще постоял немного у окна, вернулся на свое место, поглядел на притихшего Якова.

— Да потому, что, продолжая говорить чуть философски, вот это великое противостояние добра и зла существует в каждом человеке. В тебе, во мне. В Полипове... В каждом человеке! — еще раз подчеркнул он.— И между добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная. А что победит и когда — зависит от многих причин: от среды, в которой воспитался и вырос человек, от его душевных качеств, а главное, как мне кажется, от его ума, от его способностей осознанно воспринимать жизнь, идеи времени... Понимаешь?

Алейников ответил не сразу.

— Что же тут не понять,— сказал он, глядя куда-то в сторону.— Оно действительно все просто... И все неимоверно сложно.

— Да, и просто, и сложно, Яков,— подтвердил Засухин.— А те слова из книжки я вспомнил лишь потому, что, мне казалось, они скорее помогут понять тебе, почему же так оно идет пока у нас в жизни.— Он встал, обвел взглядом почти голые стены кабинета, будто недоумевал, как он здесь очутился. И опять горьковато усмехнулся.— Но как к ним ни относись, принимай их или нет — разумом-то в своих поступках мы действительно пока еще не всегда можем руководствоваться.

И, как никогда еще в жизни, Алейников почувствовал вопиющую нелепость многих своих поступков, нелепость своего существования. Он глядел на Засухина так, словно тоже недоумевал: почему этот человек оказался здесь, в кабинете, почему он должен отправить его сейчас в камеру? Все было нелепо, нелепо...

А Засухин, будто смеясь над его мыслями, проговорил:

— Особенно не хватает у нас разума в тех делах, которыми ты занимаешься.

— Замолчи! — бледнея, вскрикнул Алейников и стремительно поднялся. Губы его затряслись, шрам на левой щеке налился темно-багровой кровью. Алейников уперся кулаками в настольное стекло, точно хотел раздавить его.

— Что ты? — проговорил Засухин негромко и успокаивающе.— Я ведь говорю вообще... Лично тебя, Яков, я не обвиняю.

— Ты не обвиняешь... А сам я себя? — глухо спросил Алейников, глядя на Засухина с ненавистью.— Это ведь именно мне за постижение истины приходится платить самой высокой ценой!

По усталому лицу Засухина, как рябь по тихой воде, что-то прокатилось и исчезло, только в уголках крепко сжатых губ долго еще стояла боль, смешанная со злостью и раздражением.

— Никак, застрелиться хочешь? — спросил Засухин, глядя в упор на Алейникова. Чуть засиневшие веки Засухина подрагивали.

— А что мне остается?!

— Стреляйся,— будто равнодушно одобрил Засухин, и боль, застрявшая в уголках его рта, смешалась с откровенным презрением.— Только запомни: это будет самая большая глупость, которую ты сейчас, именно сейчас, сделаешь...

...Никто не знает, сколько потом Яков Алейников провел бессонных ночей, сколько дум передумал за эти ночи. Никто не знает, сколько раз он и в полночь и

под утро вставал с измятой постели, противно дрожащими руками вырывал из кобуры обжигающий холодным металлом пистолет и, подержав в кулаке до тех пор, пока рукоятка не нагревалась, швырял его обратно в кобуру или совал под подушку, чтобы, на всякий случай, он был поближе, под рукой.

Что удержало его от самоубийства? Это презрение, которое ясно обозначилось тогда в уголках засухинского рта, его слова: «Это будет самая большая глупость, которую ты сейчас, именно сейчас, сделаешь»?

«Именно сейчас... Почему именно сейчас это будет глупость? — мучительно раздумывал Алейников.— Почему он так сказал?»

Но в то утро он этого не спросил, а теперь не спросишь: Засухин был далеко...

Ответ на вопрос, почему самоубийство будет глупостью, пришел как-то сразу и был, оказывается, до беспредельности прост. Он пришел в ясный апрельский день, когда стаял уже снег, от вешних вод просыхала земля, за окном кричали воробьи, одуревшие от тепла и солнца, а на деревьях вспухли почки, готовые вот-вот полопаться и выбросить первые, клейкие листочки. В тот день старший оперуполномоченный отдела доложил Алейникову, что, по сообщению Аникея Елизарова, в МТС, несмотря на конец апреля, не отремонтировано и половины тракторов, а комбайнер Федор Савельев во всеуслышание разглагольствует, что такую рухлядь нечего и ремонтировать, толку все равно не будет.

— То есть разлагает, понимаешь, умышленно механизаторов,— подвел итог оперативник, поджав жесткие губы.— А прошлым летом этот Федор Савельев чуть не сжег комбайн. Налицо, так сказать, линия...

— Какая там линия! — поморщился Алейников.— Я член бюро райкома и знаю положение дел в МТС. Тракторный парк действительно изношен до предела, на многих машинах надо менять целиком моторные группы, а запасных частей нет. Вот и пурхаются. И он прав, Савельев,— рухлядь. А пожар на комбайне... Мы же разбирались с этим пожаром. Сгорел только комбайновый прицеп.

— Да, потому что дождь хлынул. А если бы не дождь, и комбайн сгорел бы, и хлеба запластали...

— Но при чем здесь Савельев-то? — раздражаясь, воскликнул Алейников.

Пожар, о котором говорил оперуполномоченный, произошел в самом начале страды. Случилось небывалое — в комбайновый прицеп, доверху забитый вымолоченной ржаной соломой, ударила молния. В тот день с утра было душно и жарко, потом небо заволокли низкие, тяжелые облака. Савельев косил с рассвета, поглядывая на выползавшие из-за Звенигоры тучи, надеясь, что ветром их разметет в разные стороны. Однако начавшийся было ветерок утих, невысоко над головой стало погромыхивать. И вдруг небо с треском развалилось прямо над комбайном, горячая молния больно хлестнула Федора по глазам, и он, согнувшись на мостике, прикрыл лицо ладонями. А когда оторвал ладони от щек, сперва услышал истошный крик Инютина, а потом увидел и самого Кирьяна, бегущего куда-то мимо комбайна. А сзади вздымался столб огня, вырываясь, как ему показалось сперва, из-под самого хвоста комбайна.

На прицепе в тот день стояли две девушки, одну из них убило насмерть, другую оглушило, обеих сбросило с прицепа. Когда Федор Савельев соскочил на землю, Кирьян Инютин, схватив одну из прицепщиц за руки, волок ее по стерне в сторону, прочь от огня. Федор, отчетливо не понимая еще, что случилось, схватил другую девчушку, отшвырнул подальше, заорал:

— Живо на трактор! Отгони в сторону! Ведь загорится сейчас хлеб!

Инютин оттащил комбайн метров на пятьдесят в сторону, остановил трактор. Савельев хотел отсоединить злополучный прицеп. Но он пылал уже как облитый бензином. Пряча лицо от жара, Федор пытался выбить гаечным ключом соединительный болт, однако это ему не удавалось, а тут Инютин, решивший, видимо, что Федор отсоединил уже прицеп, снова двинул трактор. Комбайн пополз, волоча за собой огненный хвост. Савельев, едва не попав под колеса, метнулся в сторону.

— Стой, сто-ой! — заорал он.

С горящего прицепа падали клочья пылающей соломы, огонь побежал по стерне, налетевший ветерок погнал его к стене нескошенного хлеба. Савельев принялся топтать эти огненные струйки, пытаясь их остановить.

— Так что? — закричал Инютин, подбегая.— Не отсоединил, что ли?

Они оба кинулись было отсоединять прицеп, но тут же поняли, что это им не удастся,— хлеставшие из прицепа клочья пламени лизали уже жестяные бока комбайна.

Неподалеку работал еще один комбайновый агрегат. Оттуда, заметив пожар, бежали люди: комбайнер, прицепщики, а впереди всех — тракторист Аникей Елизаров. И, подбежав, облизывая тонким языком пересохшие губы, зловеще уткнулся злыми глазами в Федора, потом в Кирьяна:

— Как же это вы? Как же зто вы, а?

Но Савельеву было не до Елизарова, он снова топтал разбегавшиеся по стерне ручейки пламени, сорвав с себя пиджак, хлестал им по земле.

— Сгорит же комбайн, Федор! — крикнул Кирьян Инютин.— Гляди, уже краска на железе пузырится!

— Да черт с ним, с комбайном! — тяжело дыша, выкрикнул Федор.— Хлеб спасайте! Ведь хлеба сейчас загорятся...

Инютин, Елизаров, подбежавшие комбайнер с прицепщиками начали затаптывать расползающийся во все стороны огонь.

Чем бы это все кончилось — неизвестно, потому что ржаная стерня была плотная, высокая, сухая, горела она, как порох. Люди задыхались в дыму, обжигали ноги, однако справиться с огнем не могли. Вот уже жиденькие языки белесого пламени в двух или трех местах подобрались к кромке хлебного массива, сразу из белесых превратились в багрово-красные, сразу вспухли, мгновенно рассвирепев, с устрашающим ревом начали пожирать густые, чуть ли не полутораметровой длины колосья. Месиво огня и черного дыма взметнулось вверх, людей обдало горьким запахом горелого зерна...

Но в зто время сверху обвалом хлынул дождь и в считанные секунды потушил пожар.

Ливень был сильным, но коротким, через несколько минут проглянуло даже солнце, осветило неглубокие черные проплешины, которые огонь успел выесть в высокой кромке ржаного массива, остов сгоревшего комбайнового прицепа, промокших насквозь людей.

— В рубашке, видать, все же родились вы с Кирьяном,— сказала Федору прицепщица с соседнего агрегата.— Молонья, говоришь, ударила? Ить подумать!

— Это еще действительно подумать надо — молния ли? — произнес Елизаров с усмешкой.— Ну, да разберутся кому следует...

И замолк, потому что Кирьян Инютин, тормошивший лежащих неподалеку в мокрой стерне девчушек с прицепа, заорал на все поле:

— Федо-ор! Люди! Сожгло Катьку-то громом!

...Вот так все было на самом деле. Алейников лично разобрался в зтой истории, да и врачи констатировали, что девушка-прицепщица погибла от удара молнии. Все это старший оперуполномоченный знал и тем не менее заговорил о какой-то линии.

— При чем здесь Савельев, спрашивается?! — еще раз воскликнул Алейников.

Оперативник пожал плечами:

— Но ведь ты сам знаешь, в области нас не поймут. Федор Савельев женат на дочери бывшего кулака. Брат его осужден за вредительство... Всю жизнь Савельев водит дружбу с зтим Кирьяном Инютиным. А отец Инютина бандитствовал...

Яков негромко прихлопнул ладонью по столу, поднялся.

— Это, конечно, важно — как нас поймут. А не важнее ли, как мы сами-то людей понимаем?! Того же Федора Савельева, того же Кирьяна Инютина? И вообще — как мы жизнь понимаем?

Говоря зто, Алейников подумал: не будь его — плохо обстояли бы сейчас дела Савельева с Инютиным. И в зту-то секунду, не раньше, не позже, а именно в зто мгновение, ему вдруг стало ясно, что его удерживало от самоубийства, как понимать слова Засухина: «Это будет самая большая глупость, которую ты сейчас, именно сейчас, сделаешь». Словно какая-то шторка, наглухо закрывшая свет, вдруг сдвинулась и на него, Алейникова, хлынули потоки солнечных лучей.

Он медленно опустился на свое место, с удивлением, будто впервые, оглядел свой кабинет. Во все окна действительно лились потоки ярко-желтого весеннего

солнца, освещая даже самые дальние уголки. Старшего оперативника в кабинете не было. Когда он ушел, Алейников не заметил, не слышал. На улице орали вовсю воробьи, в оконное стекло чуть-чуть постукивала тополиная ветка, на кончике которой, кажется, лопнули уже почки. Алейников даже встал, подошел к окну,— ну да, почки лопнули! Еще утром набухшие почки были черными и гладкими, а сейчас, не выдержав напора живительных соков, кончики их раздвинулись, разлохматились, а из клейкой таинственной глубины показались бледно-зеленые усики...

Вечером Алейников оказался почему-то на берегу Громотухи. На реке еще держался лед, хотя берега давно уже обопрели. Ноздреватый лед вспучился, посинел, каждую секунду река могла вскрыться.

Хрустя мелкой галькой, Алейников зашагал вдоль берега, вышел за деревню, не понимая, зачем и куда идет. Он просто шел, вдыхая прохладно-жесткий воздух апрельского вечера, воздух, в котором мешались запахи оттаявшей земли, набухающих почек и речного льда, размягченного весенним солнцем, шел и глядел, как в верховьях реки поднимается легкий вечерний туман, скрадывая расстояния, заволакивая небольшой речной островок, растворяя кусты и деревья, растущие на этом островке. А утром, думал он, туман начнет рассеиваться, уползать ввысь, дали будут все раскрываться и раскрываться, деревья на острове будут проступать все отчетливее, как на проявляемой фотографии...

* * *

Алейников неуклюже ходил вокруг стола, натыкаясь на стулья, а Вера лежала на диване, вытянувшись как струна. Она глядела на Алейникова с ненавистью, а ему казалось, что в ее глазах неподдельное горе. Грудь ее распирало от досады и обиды, а ему казалось, что сердце ее обливается кровью от тоски и отчаяния.

Яков Алейников, в сущности, не знал женщин. Когда-то в молодости он легко заводил с ними знакомства и, если женщина не выказывала особой неприступности, поддерживал с нею связь, пока она ему не надоедала. Расставался он без особых угрызений совести, находя следующую, быстро забывал о предыдущей.

С годами неуютная холостяцкая жизнь ему надоела. Во время одной из командировок в Новосибирск он познакомился с врачом Галиной Федосеевной, года полтора с ней переписывался, в письмах же признался в любви, потом съездил за ней, привез ее в Шантару...

Ему казалось, что он ее любит, и если не уделяет ей достаточного внимания, то лишь потому, что все силы забирает нелегкая его работа.

А когда она ушла от него, понял: не любил он жену, просто привык, просто ему было легко и удобно, когда в доме находилась женщина — готовила, стирала, спала с ним...

Впервые и по-настоящему он влюбился, когда увидел в райкоме партии новую машинистку.

Почему это случилось именно в пятьдесят лет? Почему он влюбился в девчонку, которая чуть не втрое моложе его?

Эти вопросы его волновали, он задавал их себе и отвечал на них просто, может быть, даже примитивно. Именно потому и влюбился, что она молода и красива, а он стар и измотан, он запутался и черт его знает что наделал в жизни. И ему казалось, что Вера именно тот человек, та женщина, возле которой он отдохнет душой и телом, возле которой согреется онемевшая душа, исчезнет, растопится его мрачная угрюмость и нелюдимость.

Смущала ли его разница в возрасте? Да, смущала. Но он ничего не мог поделать с собой и решился...

На успех он, откровенно говоря, не надеялся. А когда увидел, что надежда есть, все сомнения его как-то рассеялись, забылись...

Забылись, но, оказывается, не навсегда, рассеялись, но не окончательно. И по мере того как отношения с Верой становились все определеннее, как желанная когда-то женитьба на этой девушке становилась почти реальностью, прежние сомнения вспыхнули с новой силой. «Что я делаю?! — раздумывал он по ночам долго и мучительно.— Какой я ей муж? Через пять-десять лет буду совсем развалиной. Испорчу всю жизнь ей, этого она еще по молодости не понимает».

Однако он чувствовал: не это является главной причиной его сомнений, его нерешительности. «А там ли я ищу какого-то забвения и тепла, от которого отойдет и согреется душа? Да и можно ли ее вообще отогреть... после всего... таким способом? А каким можно? Где можно?»

Возникнув однажды, эти мысли больше не оставляли его.

Все это, вместе взятое, может быть, и объясняет, как же Яков Алейников, человек, в общем, неглупый, во всяком случае хорошо помятый жизнью, не мог разглядеть и понять истинную душу этой смазливой девчонки, когда, кажется, даже неопытный мальчишка Семен Савельев ее разглядел.

Наконец Алейников остановился возле дивана, сел опять на краешек, протянул руку, чтобы погладить ее по плечу. Но она дернулась, сбросила ноги с дивана.

— Не трогайте меня! — крикнула она звонко, зажала ладонями пылающие щеки.

— Я знаю, что причинил тебе много горя,— выдавил из себя Алейников, чувствуя, что говорит не то.— Я сейчас люблю тебя еще больше... Но что делать? Я не могу, ты слишком молода для меня... Но не это главное, не это...

Она вскочила с дивана, сорвала с вешалки пальто, лихорадочно стала заматывать платок.

— Я провожу, Вера... Я провожу сейчас тебя.

— Не надо! — обожгла она его ненавидящим взглядом, осаживая обратно на диван.— Не нуждаюсь!

Эти слова, этот ненавидящий взгляд он принял как должное.

* * *

Недели три потом Вера безуспешно старалась поймать где-нибудь Семена, хотя не очень-то понимала, зачем это ей, о чем она будет говорить с ним.

Однажды она смотрела в клубе длинный и скучный фильм и, когда кончилась очередная часть, неожиданно увидела Семена. Он сидел на несколько рядов впереди, тихонько переговариваясь с каким-то парнем.

Когда кино кончилось, Вера задержалась у выхода.

— Здравствуй, Сема,— виновато, заискивающе проговорила она, когда из клуба вышел Семен.— Если ты домой, пойдем вместе.

— А-а... Здравствуй.

Постояли, потоптались на снегу, оба чувствуя неловкость.

— Вижу, никак не может он на этот рискованный шаг решиться,— проговорил тот самый парень, с которым сидел в клубе Семен.— А я вот человек отчаянный. Разрешите познакомиться. Юрка.— И он протянул руку.

Парень стоял в полосе желтого света, бьющего из открытых дверей клуба, комья светлых волос, вывалившихся из-под шапки, чуть не закрывали ему глаза.

Он сразу чем-то не понравился Вере: губы очень резкие и упрямые, глаза острые, будто раздевающие. И, кроме того, Вера была не в духе.

— Я и вижу, что отчаянный,— резко сказала она, отвернулась.

— О-о, извините... Извините,— не то насмешливо, не то растерянно проговорил парень и смешался с толпой.

По ночной улице Вера и Семен шагали молча. Мороз был вроде несильный, но щеки прихватывало. Мерзлый снег громко скрипел под ногами.

— Ну вот...— сказала Вера, когда подошли к дому. И вдруг всхлипнула, ткнулась лбом в холодное сукно его тужурки.— Прости меня, Сема, прости...

— Слушай! Не надо всего этого... Мы же говорили обо всем.

— Ну, заволокло разум на время, как туманом... Какой он, разум-то, у нас, девок,— куриный. Я виноватая кругом, стыди, ругай, избей, если хочешь... Но туман этот выдуло из башки, и поняла — я тебя только люблю, одного тебя! Алейников замуж предлагал, в ногах валялся... Лестно, дурочке, было... Но чем он больше валялся, тем я больше об тебе думала. Господи, сколько я дум-то передумала ночами, как исказнила себя! И потом я его, ты не думай, ни до чего не допустила...

— Я и не думаю,— оторвался он наконец от нее.— Свое богатство ты не продешевишь.

— Насмехайся, чего там — имеешь право,— глотнула она слюну.— А я телом чистая.

— А душой? — спросил Семен.

— Что — душой? И душой, если кто поймет.

— Ну, я — понял.

— Во-он что! — протянула Вера.— Это моя мать тебе наговорила про меня? Она грозилась...

Подошли к дому. Семен открыл невысокие воротца, захлопнул их за собой.

— А с тем парнем, с Юркой-то, напрасно ты так.— В его голосе была насмешка.— Он ведь сын директора нашего завода...

Вера невольно приподняла брови. Семен, глядя на эти брови, еще раз усмехнулся и пошел в глубь двора.

На крылечко своего дома Вера вскочила взбешенная, яростно заколотила в запертые двери кулаком, носками валенок.

— С ума, что ли, сошла? — спросила полураздетая мать, впуская ее.— Кольку разбудишь.

Ни слова не отвечая, Вера нырнула в темные сени.

Потом она долго чем-то гремела, шуршала в своей крохотной комнатушке, что-то передвигала, громко хлопая дверцами платяного шкафа.

— Ты не можешь там потише? — спросила Анфиса со своей кровати.

Ударом ладони Вера распахнула сразу обе дощатые створки дверей, появилась на пороге в нижней кофточке, с растрепанными волосами.

— Ты все-таки... говорила с Семкой?! — крикнула рвущимся голосом, судорожно стягивая расходившуюся на груди рубашку.— Что ты ему наговорила про меня? Что? Что?

— Что ты мерзавка,— сказала Анфиса спокойно.

— Ладно...— Дочь задохнулась от гнева и бессилия.— Ладно!

* * *

Бюро областного комитета партии, обсуждавшее работу Шантарского райкома за истекший год, началось ранним утром 13 декабря и кончилось далеко за полдень. В принятом решении отмечалось, что шантарская партийная организация в трудных условиях военного времени успешно справилась с уборкой урожая, с восстановлением и пуском в эксплуатацию эвакуированного оборонного завода. Эти два факта оказались настолько весомыми, что разговора о самовольном поступке Назарова, засеявшего рожью половину колхозной пашни, разговора, которого Кружилин ожидал с беспокойством, на бюро почти не было. Правда, Полипов, выступая, пытался привлечь внимание членов бюро к этому вопросу, заявив: «Подобная партизанщина может послужить дурным примером для остальных, ни к чему хорошему не приведет». Но его слова как-то все пропустили мимо ушей. Лишь Субботин, выступая, сказал:

— А в колхозе у Назарова я был, разбирался в этом деле. Рожь действительно на их землях дает урожаи в полтора, а то и в два раза выше. И нынче Назаров сдал государству хлеба больше всех в районе за счет ржи. Так я говорю, Панкрат Григорьич?

Приглашенный на бюро Назаров сказал с места:

— Так. Она выручила. Хорошо родила ныне...— и побагровел, пытаясь сдержать кашель.

— Вот видите. А стране каждый лишний килограмм хлеба сейчас на вес золота... И вообще — год-два надо поглядеть, что будет получаться у Назарова, а потом...

В зал, где шло заседание бюро, стремительно вошел, почти вбежал помощник первого секретаря обкома, что-то шепнул ему на ухо.

— Товарищи! — быстро встал секретарь обкома, жестом прерывая Субботина.— Важное сообщение, товарищи!

Рослый и тяжелый, словно налитый чугуном, он, отбросив стул, по-молодому подбежал к стене — там, возле высокого и узкого окна, висел радиорепродуктор.

Кружилин и все остальные услышали:

«От Советского информбюро. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы».

Голос диктора был нетороплив и сурово-торжествен, он говорил во всю силу легких, слова его гулко разносились по залу. Никто не двигался, все от нетерпения, от прихлынувшей радости словно онемели. А диктор не торопился. Раздельно и отчетливо выговорив эти три фразы, он молчал, будто давал возможность осмыслить их. И тем же голосом, может быть, чуточку, на какую-то четверть тона ниже заговорил наконец:

«С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью, путем охвата и одновременно глубокого обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Коломну на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере, а потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее...»

Кружилин чувствовал: от чудовищного напряжения у него выступила испарина на лбу, а сердце начало постанывать. Но, как и другие, он боялся шевельнуться, будто голос диктора от малейшего движения мог умолкнуть.

Между тем по залу все так же сурово и торжественно разносилось:

«6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...»

Люди не выдержали больше напряжения, эти последние слова диктора потонули в яростных аплодисментах. Все присутствующие на бюро разом поднялись, задвигались, заговорили.

— Товарищи! Товарищи! — зычно крикнул первый секретарь обкома, подняв руки, требуя тишины.— Бюро не кончилось еще...

Когда все немного успокоились, расселись по местам, секретарь обкома проговорил недовольно:

— Что за ребячество, в самом деле?

Голос его был сухим, резким, даже сердитым, а глаза смеялись, и, чтобы спрятать улыбку, он старательно сдвигал брови, смотрел в разложенные на столе бумаги.

В зале установилась тишина. И когда она установилась, первый секретарь обкома провел ладонью по нахмуренному лицу, посмотрел на выключенный репродуктор, улыбнулся застенчиво и виновато как-то.

— Наконец-то, друзья мои... Это — начало нашей победы! Поздравляю вас...

И снова аплодисменты.

— Ведь отогнали немца от Москвы. Отогнали! — вдруг воскликнул первый секретарь обкома как-то по-детски, и все увидели, что этот хмурый и озабоченный человек, в сущности, очень еще молод, он, подумал Кружилин почему-то, любит, наверное, рыбалку, вечерние зори и стопочку у охотничьего костра.

А секретарь обкома будто застыдился своего порыва, взял листок, на котором был отпечатан проект решения по обсуждаемому вопросу, спросил у Субботина:

— У вас все?

— Все, собственно...

— Да, отогнали мы от стен столицы врага... самого жестокого врага России за всю ее многовековую историю. И в этом есть капелька заслуги каждого из нас, в том числе и товарища Кружилина, и товарища Назарова... С проектом решения все знакомы? Возражения? Замечания?

И ни слова больше о Назарове, о его «партизанщине».

Когда все присутствующие на бюро высыпали из зала в широкий коридор, Полипов сказал Кружилину, не глядя ему в глаза:

— Твоя взяла. Положил ты меня... И все же не на обе лопатки, а на одну только...

— Слушай! — рассердился Кружилин. — Что это за спортивная терминология?

— Дело не в терминологии... Уловил — первый о Назарове ни так, ни этак не высказался. Соображай! И в решении об этом ни слова.

— Вроде опять учишь методам партийной работы?

— Нет... Мне тебя учить — нет выгоды.

Они спускались по лестнице. При этих словах Кружилин остановился.

— Не понимаешь? Или притворяешься, что не понимаешь? — И Полипов дернул уголком губ.— Нет, не учу я тебя. Предупреждаю дружески: ходи теперь по одной плашке да оглядывайся. Ведь если на будущий год не родит рожь у Назарова...

— Вот уж тогда ты отыграешься на этом?

— Да, можно бы тогда отыграться,— откровенно сказал Полипов.— Но не беспокойся. Теперь не беспокойся... — И быстро пошел вниз, втянув голову в широкие плечи.

Выпив в буфете стакан теплого чая, Поликарп Матвеевич поднялся на второй этаж, зашел к Субботину.

Просторный, хотя и не очень большой, кабинет секретаря был залит электрическим светом. Субботин поднялся навстречу:

— Ну, поздравляю тебя.

— С чем?

— То есть как это с чем? Целый день, считай, хвалили его, а он... Решение принято неплохое.

— Да, неплохое.

— Понимаю. Недоволен, что в решении нет ни слова о Назарове?

— Недоволен, — прямо сказал Кружилин. — Ну, сделали мы с Назаровым дело! В ущерб если государству — спрашивайте как положено. А на пользу если — тоже скажите.

— В общем, пока трудно определить, на пользу или во вред. Я же говорил на бюро — поглядеть надо год-другой... Вот тогда и скажем.

— А пока Полипов третировать меня будет. Он уже предупредил: «Ходи теперь по одной плашке да оглядывайся, потому что если не уродит рожь у Назарова... Меня, говорит, ты положил, но на одну лопатку пока».

— Так... Пожаловаться пришел? — Глаза Субботина холодновато блеснули.

— Нет. А спросить хочу: почему я должен не столько о делах района заботиться, сколько остерегаться, как бы Полипов не положил меня на лопатки?

— Должен,— сухо сказал, как отрубил, Субботин.— Но не только остерегаться. Сам класть должен на лопатки таких, как Полипов. Сразу на обе.

— Вот как даже... Только что-то не могу я понять...

— А я объясню...

По улице проехал тяжелый грузовик, мотор его выл, надрываясь, от его воя дрожали тоненько оконные стекла. Субботин прислушался к затихающему реву автомобиля.

— Я объясню,— повторил Субботин.— Вот мы тоже пыхтим, тянем поклажу, как этот грузовик,— кивнул за окно.— А такие, как Полипов, вместо того чтобы подтолкнуть грузовик, в кузове удобненько, с комфортом даже, приспособились и едут. Едут да еще покрикивают: давай налево, давай направо! Поняли они, что это легче, приятнее.

— Но если это так, если мы это знаем, чего их нам остерегаться? Просто ссаживать надо таких, выбрасывать из грузовика к чертовой матери! Под колеса...

— А мы что делаем? Кем Полипов был и кем стал?

— Ну-ну... — насмешливо проговорил Кружилин.— Выбрасываем так, чтоб не ушибить ненароком. Не выбрасываем даже, а вежливенько и слезливо просим: сойдите, Петр Петрович, пожалуйста! И терпеливо ждем, пока он не соизволит сойти. До-олго будем этим делом заниматься, гляжу...

— Да, долго! — Субботин встал, заходил по кабинету.— Борьба с такими, как Полипов, будет долгой и трудной, запомни это! А как ты думал? Пытались некоторые с наскоку взять. Где они оказались?

Кружилин медленно, очень медленно поднял голову. И в глазах его медленно и тяжко разгоралось недоумение, изумление.

— То есть? — проговорил он еле слышно.— О чем ты?

За окнами давно стояла темнота, там на столбах тускло светили редкие фонари. Секретарь обкома задернул на окнах тяжелые шторы. Было видно, что на вопрос Кружилина он отвечать не собирается.

— Но тогда... кто же он тогда, этот Полипов?

— Кто он такой?.. Если бы это было так легко объяснить... У тебя, чувствую, вертится уже на языке готовое слово?

— Вертится,— признался Кружилин.— Да выговорить боюсь. Страшно.

— И не надо... А то очень далеко зайти можно.

Они замолчали и молчали долго, оба думая об одном и том же, не зная только, как об этом говорить дальше и надо ли говорить.

— Я думаю, что он, Полипов, просто-напросто превратился в мерзавца с партийным билетом в кармане,— вымолвил наконец Субботин.— Но как это докажешь? Он умен по-своему. Помню, несколько месяцев назад ты заявил мне, что не в состоянии обеспечить вовремя пуск завода. Было?

— Было.

— Вот... Полипов настойчиво об этом информировал и убеждал в области, кого надо. И меня в том числе... Ну, я, допустим, знал, с какой целью он это делает. А другие? Формально-то он был прав. Попробовал бы ты доказать тогда, что он клеветал! Или вот сейчас... В проект решения бюро я вставил несколько слов о Назарове, чтобы... Ну, как-то обезопасить, что ли, вас, придать этому видимость официального разрешения. Первый вычеркнул все это...

— Осторожный человек,— невесело промолвил Кружилин.

— Да, осторожный,— подтвердил Субботин.— И опять же эту осторожность первым Полипов уловил, прикинул уже, как на ней сыграть можно будет в подходящем случае.

Субботин, длинный, нескладный, все ходил по кабинету, и тень от его фигуры металась по гладким стенам, по занавешенному окну, по свеженатертому, скользкому паркетному полу, то укорачиваясь, то доставая до потолка.

— Так что же это за тип такой народился у нас... в нашей партии?

Субботин кинул острый взгляд на Кружилина. На лбу его прорезалось несколько глубоких продольных складок. Потом складки исчезли, и в серых, глубоко запавших глазах появилась грусть.

— Народился... — промолвил он тихо, вполголоса, будто сожалея о чем-то, сел за свой стол, но не прямо, а как-то боком, и стал глядеть в угол. Он словно ждал, что сейчас оттуда появится кто-то, мышь, может быть.— Забываем мы, Поликарп Матвеевич, одну вещь, которую никогда не должны забывать. А именно — революция совершилась недавно, всего двадцать четыре года назад...

— Почему же? — возразил было Кружилин.

— Конечно, дату мы помним! А вот что прошло с этого дня очень и очень немного времени, что революция не кончилась, что она продолжается... понимаешь, не кончилась, а продолжается! — это мы всегда ясно себе представляем? В этом всегда отдаем себе ясный отчет? Старая жизнь, старое общество, весь его социальный уклад, формировавшийся веками, в семнадцатом году был взорван, взбаламучен революцией. Призови на помощь немного фантазии и попытайся представить застоявшееся, вонючее болото, в котором гниют водоросли, попадавшие туда сучья, деревья, трупы животных. И вдруг в самой середине этого болота начинают бить со дна могучие фонтаны родниковой воды. Вся гниль, все эти осклизлые обломки деревьев и полуразвалившиеся трупы приходят в движение, то всплывают на поверхность, то исчезают в глубине. И долго будет эта дрянь болтаться в воде, пока не прибьет ее к берегу. Но и там, догнивая, она, эта дрянь, долго еще будет отравлять воздух. И бывшее болото вроде уже превращается в чистейшей воды озеро с цветущими берегами, а гнильцой откуда-то нет-нет да и потягивает. Когда-то вся дрянь и гниль истлеет, превратится в труху! Когда-то эту труху развеет ветер... Что-то подобное происходит сейчас и в недрах человеческого общества. Болото еще не превратилось окончательно в ласкающее взгляд и обоняние озеро, еще не всю человеческую мерзость выбросило на берег. Словом, до идиллической картины еще далеко. Это, повторяю, ясно мы себе представляем? В этом всегда ли отдаем себе ясный отчет?

Кружилин тяжело поднялся, разогнулся с трудом, подошел к окну, приоткрыл зачем-то занавеску, стал глядеть во мрак темной улицы. Там дул ветер, электрические фонари на столбах раскачивались, светлые пятна от фонарей ползали на затоптанном снегу.

— Да, ты прав,— глухо сказал он, не оборачиваясь. — Какой там, к черту, народился! Такие типы готовенькими нам достались.

— Так понимаешь теперь, почему я, ты... все мы должны их на лопатки класть? — тотчас спросил Субботин.

По улице еще проехала груженая автомашина. Кружилин подождал, пока затих шум мотора, и в свою очередь спросил:

— Скажи мне, Иван Михайлович... все, что творилось тогда, в тридцать шестом, тридцать седьмом годах, лишь делами таких, как Полипов, следует объяснять?

— Ишь ты, задал вопросик... Спросил бы чего попроще,— угрюмо и одновременно насмешливо промолвил Субботин.

— Да-а... Понимаю... — Теперь Кружилин принялся ходить по кабинету. — Что же, правильно, надо класть на лопатки... Потому что, видимо, в том числе и делами таких. Все больше и больше прихожу к такому выводу. Но кое-кому следует, наоборот, помочь удержаться на ногах, а то и подняться с пола.

Субботин молча глядел на Поликарпа Матвеевича, ожидая дальнейших слов.

— Насчет болота ты правильно, может быть. Во всяком случае, образно. А вот относительно недр человеческого общества — тут, мне думается, все посложнее, тут прямую аналогию нельзя провести. Наряду с гнилыми обломками и трупами там и другое можно разглядеть — осколки, обломки всяческих человеческих судеб. Есть в обществе люди и порядочные по своей сути, но растерявшиеся в результате социальных потрясений и изменений, надломленные, не понимающие пока смысла революции, не понимающие времени. Много есть людей, которые ошиблись в самые горячие годы, а теперь не знают, как исправить эту ошибку, не знают, можно ли ее исправить. Есть, наконец, люди честные, ничем не запятнанные, но просто не могущие до сих пор найти свое человеческое место в новой жизни.

Субботин сгреб со стола бумаги, сунул их в ящик, щелкнул ключом.

— Я что-нибудь не так говорю? — спросил Кружилин.

— Очень хорошо, что ты понимаешь все это. Только — довольно этой философии, перейдем к практическим делам. Скажи вот мне, кто бы из ваших, из районных, подошел на должность председателя райисполкома?

— Как?! А Полипов? Переводите куда?

— Сам он себя переводит. На фронт просится. Так что радуйся.

— Погоди, погоди! Но я тоже...— И Кружилин замолк, будто испугался нечаянно вырвавшегося слова.

— Что — тоже? — Субботин вскинул голову. И откинулся на спинку стула.— Постой-ка, брат...

Шаркая ногами, Кружилин вернулся в кресло. Оно тяжело скрипнуло под ним.

— Ну, выкладывай, — сказал Субботин неприязненно, с насмешкой.

Кружилин, собственно, зашел к Субботину с одной главной целью — пощупать, как обком отнесется к тому, если он попросится на фронт. И, разговаривая о только что состоявшемся бюро, о Полипове, все думал — как и с чего ему начать? И теперь, когда разговор этот начался, он не знал, как его продолжать. Холодный голос Субботина и его усмешка яснее ясного говорили уже, как будет воспринята его просьба.

— Ты пойми, Иван Михайлович,— начал он неуверенно, не поднимая головы. За минуту до этого в голове были какие-то веские аргументы, оправдывающие его просьбу, но их точно ветром сдуло, и он только сказал: — Сын у меня погиб...

— Похоронная пришла?

— Нету никакой похоронной. И без нее ясно — нет Васьки в живых.

— А я получил, Поликарп Матвеевич...

— Что? — не понял Кружилин.

— У меня трое на фронте. Погиб самый младший. Когда я осенью к вам в район приезжал, в кармане похоронная уже лежала. Как раз перед выездом и получил... — Субботин говорил, почти не двигая губами, вертел в пальцах металлическую крышку от стеклянной чернильницы, опять смотрел в угол кабинета, только глаза его были сейчас пустыми.

Потом он очнулся, с удивлением поглядел на железный колпачок, накрыл им чернильницу. Когда накрывал, крышечка тонко зазвенела.

— Так кого же на место Полипова-то будем рекомендовать? — спросил он и стал безотрывно смотреть теперь на Кружилина. Поликарп Матвеевич чувствовал этот взгляд, понимал, что Субботин требует поднять голову. И он медленно ее поднял.

— Хохлова. Ивана Ивановича Хохлова. Это бывший главный инженер того... не оборонного еще завода. Отличный мужик, скажу я тебе. А завод без него сейчас обойдется...

Субботин не сказал ни «да», ни «нет», думал о чем-то.

— Ну а как насчет пополнения состава бюро райкома? Прикидывал? У вас ведь троих взяли на фронт.

— Думал,— сказал Кружилин.— Директора завода Савельева введем... Хохлова, значит, теперь... Ну, и... может быть, тебе странным покажется... о Якове Алейникове думал.

— Вот как?! — Субботин прищурил глаза.— Во всяком случае, интересно. Что же он, Яков Алейников, как он там?

— Что он? Вечно хмурый, мрачный, как туча... У меня такое впечатление все больше складывается — запутался он в жизни, выхода ищет. А найти пока не может. Влюбился этой осенью...

— Ну?!

— Да, в нашу райкомовскую машинистку. На свидания бегал, как молоденький, все тайно, ночью,— думал, наверное, что об этом никто не знает. Но в райкоме знали все... Потом опомнился: ему пятьдесят, ей двадцать.

— Роман! — осуждающе произнес Субботин.

— Ты погоди. Тут судить осторожно надо. Он думал, вероятно, что это выход какой-то для него. Но потом понял — не выход. Кончилось, кажется, все у них. Но, сдается мне, еще тяжелее человеку стало.

— Яков Алейников, Яков Алейников... — Субботин долгим и пристальным взглядом посмотрел на Кружилина.— Значит, не держишь зла на него...

Поликарп Матвеевич усмехнулся одними губами, глаза же оставались сухими, холодными.

— Да, да, на глупый вопрос всегда отвечать трудно,— проговорил Субботин.— А все-таки поймут тебя члены райкома?

— При Полипове он был членом бюро, значит, понимали.— В его голосе отчетливо выделялась горьковатая ирония.— Но главное не в том, вводить или не вводить его в члены бюро. Главное — сам бы себя он понял, прежним бы Яшкой Алейниковым стал. Ты ведь не знаешь, каким он был, Яков Алейников! А я — знаю. И вот — как помочь ему? Не сумеем — сломается, погибнет, не найдет самостоятельного выхода.

Кружилин подумал о чем-то, продолжал, будто без всякой связи с предыдущим:

— В сущности, каждый человек всю жизнь ищет сам себя. Помню, Василий Засухин на эту тему все рассуждал. Где он сейчас, жив, не знаешь?

— Не знаю,— сказал Субботин.

— Мне тогда эта его философия казалась... примитивной, что ли. Сейчас только начинаю понимать, как она глубока. Именно — ищет сам себя, познает, постигает... Но трудно это дается людям, иногда без посторонней помощи тут не обойтись. Ты что так смотришь? Не согласен?

— Почему же? Очень даже согласен.

— Вот ты спросил, не обижаюсь ли я на Алейникова. Обижался, знаешь, честно если тебе сказать. Вернулся в район — первым условием поставил: Алейникова Якова из членов бюро райкома вывести. Теперь понимаю — глупое условие. Да... За этот год я тоже повзрослел будто сразу на много лет.

— А я думаю — так не очень,— сказал Субботин.

Кружилин взглянул на Субботина и в ту же секунду понял — это ответ на его просьбу относительно фронта.

* * *

Кружилин пробыл в Новосибирске еще около недели, пытаясь раздобыть хоть немного лесу и пиломатериалов для завода, но это ему не удалось, и, злой, усталый, он ночью сел в поезд, вытянулся на жесткой полке и заснул. Когда прос-

нулся, поезд шел голым бесконечным полем, над которым низко висело тусклое, отяжелевшее солнце, обливало розовато-желтым светом землю. Мимо проплывали заснеженные стога сена, унылые, продуваемые насквозь степными ветрами деревеньки, мелькали грязные, закопченные паровозным дымом железнодорожные казармы, да вдоль насыпи бесконечно тянулись телеграфные струны, с которых местами обсыпался ночной куржак, отчего они казались узловатыми.

Вагон был туго набит разномастным людом. На нижней полке, прямо под Кружилиным, сидел рыжий усатый старик с ноздреватым носом, густо дымил вонючей самокруткой. Дым поднимался вверх, перехватывал Кружилину горло. Напротив старика расположилась нестарая еще, но толстая, с тремя подбородками, женщина, закутанная в шерстяную шаль и несколько платков. В одной руке она держала кусок белого калача, в другой — кружку с кипятком. Откусывая от калача, она шумно тянула из кружки, старательно жевала и время от времени тревожно оглядывала наваленные вокруг нее узлы, мешки, бидоны, какие-то корзины — вроде пересчитывала их. В самом углу купе прижалась девушка лет семнадцати-девятнадцати. Она будто только что вышла из больницы — черные глаза ее глубоко ввалились, в них дрожали колючие искорки, круглое миловидное личико осунулось, сильно выделялись скулы, обтянутые прозрачной кожей, красиво очерченные губы шевелились, были синими. Одета очень легко — в измятое, замызганное какое-то, демисезонное пальтишко, на голове грязный пуховый платок, на ногах ботинки из хорошей кожи, но затрепанные, со сбитыми носками. Девушка, видимо, была голодна, потому что беспрерывно косилась на женщину с калачом, глотала слюну и, отворачиваясь к окну, совала в обтрепанные рукава пальто сухие, тонкие ладони, ежилась, будто ее знобило. При каждом взрыве хохота или громком возгласе она вздрагивала, в черных глазах ее мелькал испуг. Толстая женщина косилась на эту девушку, снова оглядывала свои узлы, некоторые пододвигала поближе к себе. Старик с ноздреватым носом следил за ней, усмехался в желтую бороденку, потом сказал, будто ни к кому не обращаясь:

— У нас в деревне Глаха-самогонщица любительница была поесть. Когда ни завернешь четвертуху купить, она все ест, все ест... Так и померла, сердце ей жиром задавило.

Хозяйка узлов тупо уставилась на старика, поморгала.

— Перестал бы дымить-то, старая головешка, — сказала она низким голосом.— Пень трухлявый!

— А жалко ее, Глаху, добрая была, в долг всегда давала...

В проходе на своих разносках, а то и прямо на полу сидела группа старичков плотников. Видать, бригада шабашников. Дальше виднелись еще какие-то старики, женщины с детьми, старухи. Молодых мужиков в вагоне не было. Сквозь стук колес слышались разнобойные голоса:

— Намолотят теперича мяса-то человеческого тамо-ка...

— Война не бирюльки, ясно-понятно.

— И приключилась, значит, после похоронки беда с бабой... Так ничего, молчит, а молоко пропало. Двойняшки у ней, ревут, аж синью наливаются, а молоко-то высохло...

— Мно-ого врагов у Расеи... А он, немец, самый проклятый. Он испокон...

— Колошматить его, сказывает радио, под Москвой крепко начали...

Кружилин слез со своей полки, вынул из портфеля полотенце.

— Посмотри, папаша, я умоюсь.— Он поставил портфель возле него.

— А, ступай,— равнодушно кивнул старик.—Я погляжу.

— А вы бы вещи свои на полку теперь сложили,— сказал Кружилин толстой женщине.

Пробираясь сквозь узлы и людей к умывальнику Кружилин услышал, как толстая женщина сказала:

— Барин, целую полку занимал. Люди воюют, а он с портфелей разъезжает ишь... Узлы помешали ему.

— Глупая ты баба,— ответил ей старик.— Толстые — они всегда глупые.

— А я говорю — барин. Так и отсидится туто-ка, в тылу, шею-то потолще моей наест. А наши там гибнут ни за что ни про что... Муж у меня да зять там...

Пока Кружилин плескал в лицо холодной вонючей водой, в ушах звенели и

звенели эти слова. Они обжигали, больно ранили. Там, где сердце, шевелилось, перекатывалось что-то тяжелое, с рваными, острыми краями...

— Значит, не очень я повзрослел? — спросил еще раз вчера вечером Кружилин у Субботина, когда они на прощанье обнялись.

— Был бы ты глупый, я бы начал тебе объяснять, что от нашей работы здесь, в тылу, зависят дела на фронте... и все такое прочее. Но...— И резко, точно ударив, произнес: — Полипову, что ли, район опять отдавать?

— И все-таки, Иван Михайлович,— как-то униженно заговорил Кружилин,— может быть, не сейчас, не сразу... Если будет возможность, найдется замена? Кто-нибудь, скажем, из раненых фронтовиков... А у меня же руки-ноги целые...

— Ступай, ступай! — нахмурился Субботин и, взяв его за плечи, подтолкнул к двери...

В умывальнике было грязно, на унитазе настыли комья нечистот. За мутным стеклом узкого окошка замелькали строения, вагонные колеса застучали на стрелках.

Насухо вытершись мохнатым полотенцем, Кружилин торопливо вышел из умывальника, но уже опоздал, узкий проход был наглухо забит пассажирами, собравшимися на выход, закупорен узлами, чемоданами.

— Ты, антиллигент, куда прешь?! — зло крикнул старичок шабашник, прижимающий к животу разноску, из которой торчал конец пилы-ножовки.— Не видишь — люди выходють!

— Посиди еще, милок, там, не мешайся встречь...

Кружилин отступил в умывальник. Поезд, завизжав тормозами, остановился, тотчас за вагоном, у дверей, раздались шум, говор, ругань.

— Куда лезете, бараны, что ли?! — зло кричала пожилая проводница.— Дайте людям сперва выйти, а потом посадка будет, не скоро еще. Становитесь вдоль вагона покамест...

— Раздавили, смертонька, о-ох! — взвизгнул женский голос.

Постепенно шум и топот за дверью стихли. Кружилин вышел из умывальника.

Проход в вагоне почти очистился. В купе тоже стало пусто, там сидели только старик с ноздреватым носом да девушка. Старик все дымил самокруткой, а девушка печально глядела в окно.

— Тетя с узлами сошла, значит,— проговорил Кружилин.

— Вывалилась. Вон она,— кивнул за окно старик.

Вагон стоял напротив торговых рядов, женщина с тройным подбородком раскладывала на прилавке свои узлы и корзины, расставляла бидоны, поворачиваясь направо и налево, разевала рот и трясла головой. Она ругалась, видимо, с торговками, отвоевывая себе место, но голоса ее не было слышно.

— Сказано это истинно — кому война, а кому мать родна,— насмешливо вымолвил старик, глядя за окно.

Кружилин подумал почему-то, что старик имел в виду не столько торговку, сколько его, нахмурился, громко щелкнул замками портфеля, спрятав туда полотенце.

— Испокон веков спекулянтская эта станция, я знаю,— сказал опять старик.— Поезда тут подолгу стоят. Ишь, гляди-ка, наяривает, язви ее в печенку! Попутчица-то наша...

Женщина, которая ехала в купе, вытащила из корзины огромный горшок, закутанный в тряпки, открыла крышку. Из горшка повалил пар. Тотчас ее окружили, толкаясь, люди. Она брала у них деньги, совала за пазуху, накладывала в заранее приготовленные из толстой бумаги кульки что-то из горшка.

— Картошкой с мясом торгует она,— пояснил старик.— Как села, так я догадался — картошкой с мясом запахло.

Девушка глядела на торговку не отрываясь, в глазах ее был голодный, лихорадочный блеск.

— Вот ты человек с портфелем,— заговорил вдруг старик, поглаживая дряблой рукой острое колено.— В начальстве, видать, ходишь. Скажи, мил человек, что оно, немца-то окончательно погнали?

— Окончательно, папаша...

— Ну? — недоверчиво протянул старик.— А хватит силов?

— Обязательно хватит.

— Да... Ну, поглядим. А ты вот что объясни нам, темным: из-за чего она, война-то, началась?

Кружилин поглядел внимательно на старика, пожал плечами:

— Из-за чего? Захватить чужое добро захотели. Строй им не понравился наш...

— Строй? Эта соцализма, что ли?

— Да, социализм.

— Ну да, у нас — соцализма эта, там — капитал,— опять завертывая самокрутку, сказал старик.— Только не в етом дело. Чего им строй? Они и всякие там Польши да разные прочие страны Франции под себя утоптали. А там этот же самый капитал. А вот насчет добра — это верно, это в точку ты. Жаден человек. Вон...— кивнул он за окно, где знакомая женщина-торговка, опростав один горшок, вытащила из корзины второй. Вокруг нее так же толпились люди.

Проводница шла по проходу с ведром, совала туда веник и разбрызгивала с него воду на пол. В запертую дверь вагона колотили кулаками и ногами нетерпеливые пассажиры.

— У нас в деревне раньше кулак жил — Митрий Фомич Смердин по фамилии,— снова начал старик.— Так, на вид хилый, кожа дряблая и синяя, как у птенца голого... А уж жаден был, невозможно выразить. Учует, где можно загрести что-нибудь, аж трясется весь, ровно лихорадка его бьет. Всю деревню до нитки обобрал, всю округу подмял, так что и пищать ни у кого голоса не осталось... Да, злой был человек. Изгалялся над людьми шибко. Потом взял моду — молоденькие девки-подросточки чтобы в бане парили его. Облегченьем даже этот каприз его людям был. То есть ежели какая семья в долгу у него, а в семье девчушка есть, пойдет попарит его в бане — Смердин часть долга сбрасывает. Такой был архимандрит. Одно слово — Смердин, фамилия ему в аккурат. Бог, он, должно, шельму метит. Девчонок, правда, не похабил,— может, боялся, может, бессильный был... Да вот и Гитлер ихний, сдается мне, на нашего Смердина похож,— сделал вдруг старик неожиданный вывод.

Кружилин улыбнулся.

— Не веришь? — обиделся старик.

— Почему же? В наших краях тоже был такой Смердин. И тоже такими примерно делами занимался. Фамилию носил лишь другую — Кафтанов.

— Вот-вот,— утвердительно закивал старик.— Я, конечно, по-простому рассуждаю, не по-ученому. Земля, конечно, великая, всякие страны-государства на ней, всякие люди проживают. А ежели подумать, так что оно такое — земля? Большая деревня. А Гитлер этот — вроде Смердина нашего. Только руки подлиньше да рот пошире...

— А я в деревню Панкрушиху еду,— сообщил маленько погодя старик.— Сын там у меня жил до войны. Геройской смертью пал, как в полученной бумаге написано. Может, для утешения, а? — Голос его звенел жестко и строго, глаза сердито поблескивали.

— Зачем же... Сообщают, как на самом деле было.

— Э-э, на самом...— притушив глаза, вымолвил старик.— Оно на самом всяко бывает. Воевал я в ту германскую, знаю. Бежит-бежит солдат, напорется об пулю, ткнется в землю — и все геройство. А Петруха мой — что в нем геройского было-то? Ничего. Тихо жил, смирно, стыдился будто сам себя. До работы, правда, жадный был да еще детишек ловко и аккуратно делал — в год по одному. Шестеро у него осталось...

— Правильно, отец, по-всякому на войне гибнут. У меня сын без вести в первые дни войны пропал. Как он погиб, где — я, вероятно, и не узнаю. И никто не узнает. А все равно — герой. И твой сын, как бы он ни погиб, герой. Ведь за свою страну, за свою землю жизнь ему пришлось отдать. После войны народ о них песни сложит. О твоем сыне, о моем, обо всех...

Прижавшаяся в углу девушка прислушивалась к разговору, время от времени поднимала на Кружилина колючие глаза, сухие губы ее подрагивали, будто она собиралась заплакать. Проводница, шаркая веником, подметала вагон.

— Песни...— задумчиво промолвил старик.— Только песнями сына мне, а детям отца не воротишь. И тебе и другим... А?

Кружилин промолчал, не зная, что отвечать.

— Да, война,— вздохнул старик.— Я вот тоже по-своему об жизни вообще рассуждаю. Силен сейчас Гитлер-то ихний, мы это разумеем. Всякие-разные там Европы под ним ходят сейчас. Ну, а что ж, вглубь если поглядеть? Смердин наш тоже зверскую силу имел, вся округа под ним была, стоял он на ей крепко, казалось — не столкнуть. Где сейчас Смердин? Нету Смердина... И гитлеров разных не будет. Это ты верно, мил человек, сказал, одолеем рано ли, поздно ли... Дорого только людям обойдется, много крови истратится.

Началась посадка, люди, топая, побежали по вагону, наполнили его шумом, криком.

— Заморозили, дьяволы!

— Целую неделю за билет хлопотал, а ехать-то меньше суток...

— Аксютка-а! Господи, где Аксютка-то? Где ты застряла тама?

Вагон сотрясало от топота ног. В дальнем его конце послышалась ругань из-за места, потом раздался беззаботный девичий хохот, и, накрыв эту ругань, и хохот, и вообще весь шум, заиграла хриплая с мороза гармошка.

Меня милый провожал —
К стеночке приваливал...

— Идет жизнь...— улыбнулся фронтовик на костылях.

Долго, долго целовал —
Замуж уговаривал...

Кружилин слушал эти звуки, все думал о словах старика: «...песнями сына мне, а детям отца не воротишь. И тебе и другим...»

Старик молчал, а эти его слова, сухие, прокуренные, все лезли и лезли в уши.

Я к нему ходила летом —
Протоптала тропочку... —

откровенно признавалась всему вагону бесшабашная девчонка с пронзительным голосом и после каждой частушки заливисто хохотала, и Кружилин представлял себе, как она, маленькая, остроглазая наверное, как и вот эта прижавшаяся в углу, торопливо бежит на свидание. «Правильно, жизнь идет и будет идти, как ей положено, и никакое зло, никакие потери, никакая трата крови не заглушит ее, не остановит...» — думал он.

Поликарп Матвеевич давно поглядывал на девушку, видел, что она голодна, напугана чем-то. Когда началась посадка, она еще плотнее вжалась в свой угол, новых пассажиров встречала с какой-то опаской и все прятала тонкие ладони в рукава пальтишка.

— Далеко едешь, дочка? — спросил он.

Сперва она не поняла, что это к ней обращаются, а когда поняла, вздрогнула, полоснула Кружилина черными лезвиями глаз, но губ не разжала, отвернулась к окну.

— Пытал уж я ее — молчит,— сказал старик.— Ошпарит своими глазищами и молчит. А может, языка нету. Немая, может.

На эти слова девушка никак не реагировала.

Кружилин вышел на перрон, купил у бывшей попутчицы-торговки картошки с мясом, бутылку кипяченого молока. Вернувшись, вынул из портфеля кусок хлеба, банку консервов, разложил на столике. Потом спросил, есть ли у кого кружка или стакан. Старик нагнулся, выволок из-под сиденья дощатый чемоданчик, достал оловянную кружку, потом кусок сала, несколько яиц.

— И я за компанию попитаюсь,— сказал он, придвинулся к столику, совсем прижав девушку к стене.

Поликарп Матвеевич нарезал хлеб перочинным ножом, вскрыл консервы, развернул кулек с картошкой. Налил в кружку молока, поставил перед девушкой:

— Ешь.

Глаза ее заметались лихорадочно, она сделала движение, чтобы встать и уйти. Старик прикрикнул:

— Сиди давай!

— Пустите!— воскликнула она тонко и жалобно.

— С голосом, слава те господи! — обрадованно сказал старик.— Ну-ка,

сядь, не шебаршись. Вот так.— И положил перед ней три яйца, взял кружку с молоком, насильно сунул ей в руки.— Не пролей гляди.

— Поешь, пожалуйста,— вежливо попросил Кружилин.— Я же вижу — голодная ты... Поешь.

По худой девичьей шее прокатился комок, глаза ее влажно блеснули, она опустила голову.

— Спасибо...

Поезд дернулся, плавно пошел, внизу застучали все громче и чаще колеса.

Осторожно, словно боясь обжечься, хотя молоко было холодное, девушка поднесла кружку к губам, сделала маленький глоток. И вдруг выпила всю кружку быстро и жадно, не отрываясь, а когда выпила, опомнилась будто, покраснела.

— Ничего, ешь,— сказал старик, опять, как маленькой, сунув ей в руку ломоть хлеба с толстым пластом сала.

Поезд шел теперь перелесками, временами, когда состав круто выгибался, Кружилин видел в окно черный паровоз. Паровоз встряхивал длинной косматой гривой, гудел раскатисто и глухо, будто звал кого-то, и все рвался вперед, оставляя на деревьях клочья черного дыма.

Девушка ела уже не спеша, откусывая маленькие кусочки. На старика и Кружилина она не глядела. То ли от еды, то ли от смущения она вся порозовела, на тонких ноздрях ее выступили капельки пота.

Старик снова задымил самокруткой, а Кружилин не спешил заканчивать завтрак, потому что чувствовал — девушка еще не наелась.

— Спасибо,— прошептала она наконец и впервые поглядела на Кружилина мягко, с детской признательностью. Она попробовала даже благодарно улыбнуться, но застыдилась окончательно, худенькие щеки ее густо забагровели.

— Как тебя звать? — спросил немного погодя Кружилин.

— Наташа,— тихо ответила она.— Наташа Миронова.

— Куда же ты едешь, Наташа?

— Так... Никуда.

— Это как же никуда?

— Еду... и все! — В глазах ее появились прежние колючие искорки.— Какое вам дело? Пустите...— И вышла из купе.

— Горе у нее, должно, какое-то,— проговорил старик.— Я перед рассветом сел, еще темно было. Светать стало, слышу — плачет. «Что, спрашиваю, такое?» Молчит. Искрами своими только стреляет. Может, отца или брата, как Петруньку мово, тамо-ка... Может, муженька али женишка. Сейчас у баб одно горе...

— Прощелыга она, прости ты меня, господи,— сказала неожиданно сидевшая в проходе рябая женщина.— Растрясли перед ней свои пожитки. Мужик, как баран, всегда глупый... Прощелыга, а может, и того хуже. По ней видно — тюрьмы все прошла.

Кружилин повернулся к женщине:

— Это вы из чего же заключили?

— А по ней видать,— повторила мрачная пассажирка.— Много их сейчас, таких-то...— И строго поджала губы.

— Что-то не то говоришь, молодица,— качнул рыжей головой старик.

Женщина только крепче прижала свой узел.

Прошло минут десять, потом полчаса — девушка не возвращалась. Кружилин, озадаченный, поглядывал на старика. Тот тоже был немного смущен, кажется, время от времени поглаживал усы, будто сгребая с них намерзшие сосульки.

Прошло еще полчаса — девушки не было. Поезд несколько раз останавливался на маленьких полустанках.

— Не может быть,— проговорил наконец старик.— Сошла, наверное, где-нибудь.

«Странная действительно девица»,— подумал Кружилин, вытащил купленную в Новосибирске газету, стал читать.

До Шантары поезд тащился еще несколько часов. На каком-то разъезде сошел старик, охая и беспокоясь, найдет ли засветло попутную подводу в Панкрушиху, потом молча вышла из купе рябая женщина, унесла, прижимая к животу, свой узел. Прошел по вагону строгий и тощий, похожий на исхудалого козла,

старичок ревизор с двумя рослыми милиционерами — проверяли билеты и документы. А Кружилин все думал об этой девушке, назвавшейся Наташей Мироновой. «Прощелыга... Прощелыга...— лезло в голову неприятное слово; он глядел в окно и хмурился.— Да нет, не может быть...»

Эту девушку он увидел примерно через час после проверки билетов и документов. Двое тех же рослых милиционеров вели ее вдоль вагона. Она шла, низко опустив голову.

— Наташа... Миронова? — поднялся Кружилин.

Девушка запнулась, остановилась. Глаза ее были холодные и бессмысленные, лицо бледное как мел.

— В чем дело? — спросил один из милиционеров.— Вы ее знаете?

— Нет... Она здесь, в этом купе, ехала...— И опять, вспомнив слово «прощелыга», спросил: — Она кто?

— Без билета едет, без всяких проездных документов. Вам-то что?

— Ничего...

— Спасибо вам,— сказала девушка.— Вы добренький...

Голос ее прозвучал бесстрастно, но в словах была непонятная Кружилину насмешка, издевательство, даже злоба.

— Кто же она такая?

— Выясним.

— Они — выяснят,— кивнула девушка, нехорошо усмехнулась, обожгла Кружилина черными горячими угольями глаз и пошла дальше, гордо вскинув теперь голову. Он глядел вслед, пока милиционеры не увели ее из вагона.

«Странно, очень странно...» — думал Кружилин до самой Шантары. Потом он еще вспоминал ее несколько раз, но через несколько дней, поглощенный своими заботами и делами, забыл...

* * *

Вернувшись домой, Поликарп Матвеевич на другой же день, рано утром, позвонил Алейникову:

— Зайди-ка, Яков Николаевич...

Алейников помолчал несколько секунд.

— Сейчас?

— Можно сейчас. У меня как раз свободно.

Он пришел минут через сорок, какой-то слинявший, высохший, здороваясь, хмуро и настороженно поглядел на Кружилина из-под лохматых бровей, сел за длинный стол для совещаний, положил на него руки и крепко сцепил пальцы. Уголки его тонких, крепко сжатых губ были чуть опущены книзу,— казалось, он обижен этим вызовом, ничего хорошего от предстоящего разговора не ждет.

— Как ты живешь-то, Яков?

Вопрос прозвучал как-то нелепо, неловко, оба почувствовали это. Алейников вскинул лохматые брови на Кружилина, приподнял и опустил левое плечо, еще крепче стиснул пальцы.

— В обкоме мы много говорили о тебе с Субботиным.

— Вот как! — Алейников усмехнулся, угрюмо наклонил голову, шрам на щеке начал наливаться синей кровью.— Мое аморальное поведение, надо полагать, обсуждали? — И кивнул за дверь, в ту сторону, где была комнатка Веры.

— Да и об этом говорили.

— А если я ее люблю? — сквозь зубы выдавил Алейников негромко и тяжело, багровея теперь всем лицом, даже шеей.

Кружилин глядел на Якова долго и грустновато.

— Впрочем, люблю, не люблю, какое это имеет для вас значение? Этого не понять ни Субботину, ни тебе...

— Почему же...

Алейников медленно поднял голову, скользнул взглядом по стене, по большой карте Советского Союза, утыканной флажками, по черно-синему, высокому, похожему на гроб, несгораемому шкафу в углу, зацепился как-то неожиданно за грустноватые глаза секретаря райкома. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и за эти мгновения Алейников понял вдруг, что Кружилин не только все

знает о его отношениях с Верой, но и понимает, что с ним, Алейниковым, произошло и что происходит сейчас.

— Вот так и живу,— сказал он, опуская голову.

За окном падал тихий, не очень густой, крупный снег. Алейников шел в райком не спеша, поглядывая на заснеженные крыши домов, вдыхая холодный, пахнущий свежим снегом воздух, и ему сейчас опять захотелось на улицу, потянуло вдруг его за село, туда, к Громотушкиным кустам, где он не раз встречался с Верой, захотелось постоять там, поглядеть, как на землю и на деревья неслышно сыплются крупные хлопья.

Алейников встал, подошел, как когда-то, к окну, бросил взгляд на засыпанный снегом зеленый плотный забор кружилинского дома.

— А забор так и стоит. Ведь ты хотел снести его?

— Хотел. Но ты же возражал. Запретил даже. «Поставили — пусть стоит. Не по своей прихоти, должно быть, его поставили. Не понимаешь, что ли?» Чьи слова?

— Мои,— произнес Яков покорно.— Только что слова?

Снег сыпался и сыпался за окном. Алейникову показалось, что легкие снежинки скользят по оконным стеклам с тихим, печальным шорохом. Он прислушался, но ничего не услышал.

— Берешь их назад, что ли?

— Год всего прошел, как ты вернулся в район,— заговорил Яков, будто не слыша его вопроса.— А кажется мне — не год, а много-много лет я прожил...— Помолчал, наблюдая, как бьются в стекло мохнатые, похожие на ночных бабочек снежинки.

— Запутался, значит?

— Когда запутываются, можно и выпутаться. Тут страшнее, непонятнее...— Он прошелся по кабинету, сильно сутулясь, спина его, обтянутая черным пиджаком, горбилась, будто Якова гнуло к земле.— Да, страшнее, непонятнее, тут не найдешь слов...

— Не надо их искать, Яков,— сказал, будто попросил, Кружилин.— Потом когда-нибудь все слова, наверное, сами придут. Во всем, что было, сейчас не разобраться. Сейчас надо делать то самое дело, за которое мы дрались с тобой, Яша. Делать так же яростно и дружно, как дрались когда-то...— И сразу, без всякого перехода, только другим, порезче, голосом, проговорил: — Я думаю, надо тебя в члены бюро райкома избирать. Как ты сам на это смотришь?

Алейников не удивился словам Кружилина. Он только поглядел на него изпод лохматых бровей, сел к столу, опять сцепил пальцы. И сказал глухо, как в трубу:

— Не надо никуда меня избирать.

— Почему? — нахмурился Кружилин.

— Я на фронт пойду,— проговорил Алейников, глядя в одну точку.— С начальством своим я, кажется, все согласовал, ищут замену.— Он снова усмехнулся невесело и, когда усмешка исчезла, стерлась, мрачно добавил: — Меня отпускают, в общем, с радостью. А не отпустили б, самовольно бы сбежал, как Инютин. Другого пути для меня нет... Смешно?

Кружилин встал. Алейников ждал его сердитых слов. Но, к его удивлению, Поликарп Матвеевич заговорил спокойно, только в голосе слышалась едкая насмешка:

— В общем, смешно, Яков. Не то, что на фронт рвешься, а — другое... Смерти, как я понял, ищешь?

В голову Алейникову ударил жар, в переносице сильно заломило.

— Не знаю... Но вероятно...— Лицо его перекосилось от боли.— Сам поднять руку на себя не могу, не хватает сил, видимо. А там...

— Дурак! — больно хлестнул его Кружилин.

Алейников вскочил.

— Да, я знаю! — задыхаясь, прокричал он.— Мне Засухин говорил это... года три назад...

— Что он говорил тебе? — не понял Кружилин.

Но Алейников не стал объяснять. Сунув руки в карманы пиджака, он качнулся, пошел к двери. Там остановился, словно вспомнив что-то.

— Умом я понимаю, что дурак. Но я не могу иначе. Ты ведь не знаешь всего, всех моих дел... А за предложение это спасибо, Поликарп... И еще за то, что понимаешь — к девчонке этой, к Вере, у меня настоящее было. И — есть. Я обидел ее, знаю. Но тоже не могу... И объяснить ей это вразумительно не мог.

Он замолк, постоял, еще подумал о чем-то. И вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

* * *

Синий вечер медленно густел. Андрейка сидел у окна, глядел на темнеющие сугробы, волнами распластавшиеся в огороде, на утонувший в снегу плетень, отгораживающий их усадьбу от дома Кашкарихи. Ему было скучно и грустно, а отчего — он не знал. Хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы люди ахнули — глядите, мол, Андрейка-то Савельев! — но такого дела не было, и он понимал: здесь, в Шантаре, его никогда не будет.

После неудачного побега на фронт в школу он пошел как на пытку. Казалось, ребята встретят насмешками: эх ты, растяпа, мол! Но все случилось наоборот, ребята, особенно девчонки, поглядывали на него удивленно и восторженно, на переменах за ним ходили толпой, и он на какое-то время почувствовал себя героем. А что было бы, если б добрался до фронта, совершил там несколько подвигов, а потом, когда кончилась война, заявился бы в школу в военной форме да с орденом?! — думал он, и сердце его сладко замирало. Правда, какого рода подвиги он мог совершить на фронте — представлял себе смутно. Но думать обо всем этом было хорошо.

Однако прошла неделя, другая — интерес к нему и к его побегу стал ослабевать, а потом и вовсе потух. Это немного обижало Андрейку, маленькое его сердце тихонько побаливало, и он знал, что все равно удивит когда-нибудь всю школу, всю улицу да и всю Шантару. «Ну, погодите, погодите... Вот кончится зима...»

Только Витька Кашкаров не терял интереса к Андрейкиному поступку, часто расспрашивал об усатом кондукторе, о той девчонке возле колодца, что дала напиться Андрейке, интересовался каждой подробностью и всегда делал один и тот же вывод:

— Нельзя доверяться людям. Никак нельзя...

Андрейка думал точно так же, и, хотя он недолюбливал и остерегался Витьку, потому что его брат был знаменитый на всю Шантару вор, а прошедшей осенью сам Витька впутался в историю с автолавкой, было приятно, что в этом вопросе Витька — его единомышленник.

Но, остерегаясь и недолюбливая Витьку, Андрейка в то же время жалел его за что-то. В школе Кашкарова все сторонились, дразнили вором и, случалось, жестоко колотили. Сперва он побои принимал молча, никогда особенно не сопротивлялся и не жаловался. Но потом стал давать сдачи, а прошлой весной, когда его прижали вечером к углу школьного двора, выхватил из кармана тяжелый молоток без ручки и, сверкая глазами, начал раздавать удары направо и налево. Двоим или троим он в кровь разбил голову, остальные, не ожидая такого отпора, разбежались.

За это Витьку чуть не исключили из школы. Затевать ссоры с ним теперь остерегались и дразнить тоже перестали. Кто-то пустил слух, что отныне Кашкаров постоянно ходит с ножом, который подарил ему его брат Макар. Этому верили, и, если Витька приближался к компании ребят и совал руки в карманы, все тотчас расступались, расходились. Но Андрейка знал, что в карманах у него ничего нет.

— Нагнал страху-то на всех,— говорил он.

— А пущай,— угрюмо отвечал Витька.— Дураки.

Учился Витька хорошо, но это не приносило ему радости. После случая с автолавкой он совсем помрачнел, замкнулся, на переменах жался по углам или одиноко бродил по школьному двору, глядя в землю, не вынимая рук из карманов.

Однажды, в десятый раз выспросив все подробности Андрейкиного путешествия, Витька сказал:

— Да-а... Ты в милиции был, и я был. Что ж ты не спросишь, как мы автолавку-то?

— А как?
Кашкаров помрачнел и вдруг всхлипнул.
— Ты что, Вить? — растерялся Андрейка.
— Макар, гад такой, заставил. «Иди, говорит, к сторожу, скажи, что в машине шебаршит что-то. А мы его по башке...»
— Так ты бы и сказал сторожу, что он, Макар, собирается...
— Ишь ты! А потом что? Ты не знаешь Макарку-то...
И, размазав по щеке слезы ладонью, пошел прочь как-то боком, будто раздвигая плечом что-то.
Сегодня в школе на последней перемене он, не вынимая, как всегда, рук из карманов, подошел к Андрейке:
— У меня дело к тебе. И разговор.
— Ну, давай говори.
— Давай... Не так это все просто. Вечером айда на лыжах сходим за Шантару, на холмы. Там потолкуем.
— Ну, сходим,— сказал Андрейка, заинтересованный.
— У меня дома, правда, стирка. Мать хворает другую неделю. Ничего, я половину на завтра оставлю. Темняться начнет — ты гляди меня в окно. И сразу выходи.
Андрейка и сидел у окна, глядел через плетень на Кашкарихин двор, ожидая появления Витьки.
Он вышел, когда над трубой их дома вспыхнула первая, не яркая еще звездочка. Казалось, что это не звездочка, а вылетевшая из трубы искорка, которая сейчас улетит, потухнет. Но она не улетела и не тухла, разгоралась все ярче.
Витька бросил на снег старенькие, облупившиеся лыжи, поглядел на Андрейкины окна, махнул рукой, уверенный, что тот ждет его сигнала. Андрейка шагнул к вешалке, стал одеваться.
Отворилась дверь, вошел отец, впустив облако текучего белого пара. Облако жадно кинулось в глубь комнаты, скользнуло по гладким половицам под кухонный стол, будто нюхая там что-то, и растаяло, клубясь в бессильной ярости. Отец снял ватник, пахнущий мазутом, скинул растоптанные валенки, тоже грязные, в жирных пятнах, сел на голбчик.
— Кто дома?
— Никого, дед один,— кивнул Андрейка на закрытую дверь.
— Мать где?
— Корову пошла доить.
— А ты куда?
Отец был вечно угрюмый, точно постоянно сердился на что-то. В последнее время он сделался вовсе молчаливый, ни с кем ни о чем не говорил, только иногда задавал вот такие немногословные вопросы, задавал отрывистым голосом, точно лаял. И все думал о чем-то, иногда усмехаясь в черные колючие усы. Иногда он мог часами сидеть неподвижно, смотреть в одну точку все думать, думать.
— Так я... на улицу схожу,— ответил Андрейка.
Но отец вроде и забыл уже о своем вопросе и об Андрейке.
В доме что-то происходило, это Андрейка чувствовал. Мать за последнее время высохла, пожелтела, глаза ее глубоко провалились, стали какими-то бесцветными. Андрейка замечал: она часто плакала, но боялась, чтобы эти слезы кто-нибудь не увидел.
— Что это мама все плачет? — спросил однажды он у Семена.— Отец все молчит, а она все плачет.
— А ты бегай почаще на фронт!
Но Андрейка чувствовал: дело не в его побеге — о нем мать давно не вспоминала даже,— дело в чем-то другом, очень взрослом и серьезном, чего Андрейке пока не понять.
— Я знаю, отцу не нравится, что у нас эти... эвакуированные живут,— проговорил Андрейка.— Так ведь куда же они, если их деревню немцы сожгли? Что он, отец, не понимает?
— Ишь ты, философ! — рассердился старший брат.— Не твоего ума это дело, понял? И вообще...
— Что — вообще?

— Облысеешь скоро, если много думать будешь.

Эти слова обидели Андрейку и еще больше укрепили его в мысли, что между отцом и матерью что-то неладно.

Витьку Андрей догнал уже за Шантарой. Тот шел быстро, отталкиваясь палками, часто нагибался.

Три или четыре самых высоких холма находились сразу за селом, там слышались смех и ребячьи голоса, но Витька обогнул эти холмы и пошел дальше, к чернеющей полосе Громотушкиных кустов, над которыми поднимались высокие полотнища серого и, казалось, ядовитого тумана. На востоке, где была Звенигора, стояла уже темень, она будто скатывалась с заснеженных утесов, заливала все пространство между горой и Шантарой, затопила уже край деревни, а на западе небо еще играло бледно светящимися клочьями облаков, и почему-то Андрейке чудилось, что скатившееся за горизонт солнце сейчас раздумает уходить на покой, снова поднимется над землей и наступавшую с востока темень погонит прочь, как ветер гонит пыль по улицам.

Витька шел долго, потом остановился.

— Упарился?

— Ага...— Пересохшим ртом Андрейка хватал холодный воздух.— Далеко мы ушли.

— Где далеко! Километра четыре всего от села. Я тебя пожалел, один я вдвое дальше каждый вечер бегаю.

— Зачем ты бегаешь?

— Тренируюсь. Пригодится.

Солнце не стало подниматься в обратный путь, клочья облаков на закате гасли, светились чуть-чуть, небо казалось обрызганным слабыми, мерцающими пятнами. На землю быстро наваливалась глухая зимняя ночь.

— А ты один ходишь? — спросил Андрейка.

— С кем же мне?

— И не боишься? Волчьи свадьбы сейчас. Самое время.

Витька сплюнул на снег, дав понять, что на глупые вопросы отвечать не намерен.

Они постояли некоторое время, глядя, как небо все ярче расшивается звездами.

— Холодно,— сказал Андрейка.— Ну, какое у тебя дело?

Витька ковырнул палкой мерзлый снег.

— Ты когда снова на фронт собираешься?

— Че... чего?! Какой еще фронт? Никогда...

— Не ври, Андрей. Я знаю — собираешься.

— Балда ты! Откуда ты знать можешь?

— Я догадываюсь...

— Балда! — повторил Андрейка.— Болтаешь чего зря...— И, оттолкнувшись палками, побежал в село.

Витька догнал его, стал поперек лыжни.

— Погоди... Я знал, что там, дома, ты не признаешься мне, уйдешь. А тут я не пущу тебя, пока не скажешь...

Андрейка хотел обойти его, но Кашкаров опять забежал вперед.

— Ты что? Драться будешь?

— Не буду,— мотнул головой Витька.— Не люблю я драться. Я почему спрашиваю? Я с тобой хочу. Возьмешь?

— Чего-о? — протянул Андрейка.

— Не возьмешь — я один уйду.

— Иди. А я не собираюсь больше.

Андрейка отступил в сторону, пошел. Кашкаров бежал следом километра два молча.

— Андрей...— Голос Витьки был умоляющим.

Савельев остановился, будто сжалился.

— Конечно, я один уйду,— тихо заговорил Кашкаров, не глядя на товарища.— Я обязательно туда, на фронт, поеду, потому что нельзя мне тут... никак невозможно больше. Только я подумал — вдвоем-то удобнее, легче. Вдвоем-то мы пробрались бы... А что не доверяешься мне — напрасно. Я не трепло, как Иню-

тин этот горбоносый или Семка ваш. В милиции-то меня нынче осенью уж как спрашивали: куда, мол, барахло с автолавки попрятали? Я знал куда, а не проговорился.

— Куда же?

— Тебе я откроюсь, ежели ты мне откроешься. И возьмешь меня с собой. А?

— Там видно будет,— неопределенно проговорил Андрейка.

Витька поколебался.

— Ладно, я тебе верю. Там, на краю деревни, тетка такая грудастая живет, по фамилии Огородникова. Ты ее не знаешь. Макар с Ленькой Гвоздевым ночью все перетащили к ней, машину угнали и бросили где-то... У нее и сейчас, может, полный чердак всяких материалов костюмных да сапог с ботинками. Вот... Знал, а не сказал.

— Так ты просто Макара боялся.

— Не-ет,— качнул головой в драной бараньей шапке Кашкаров.— Макар— это одно дело. А второе, главное,— они доверились мне. Хотя бы и жулики, а раз доверились по-человечески, хочешь не хочешь, а молчать обязан. Если бы как-то сразу, с самого начала, я сумел не принять ихнего доверия, тогда конечно... А я не сумел. В этом я сильно виноватый. Да попробуй не прими, не послушайся Макарку! Если бы кто знал, как он меня...— И Витька опять захлюпал носом.

Савельев хмуро молчал, серьезно собирал на лбу едва приметные морщинки.

— Значит, ты от Макара хочешь... уехать от него?

— Ну да! Ну да! — воскликнул Кашкаров, взмахнул рукой с зажатой в ней лыжной палкой.— Именно... Он ведь опять будет заставлять меня, как из тюрьмы придет...

Шантара, придавленная толстыми, заснеженными крышами, мерцала вдалеке тусклыми огоньками, небо над ней было темным, лишь в одном углу, там, где находился завод, стояло жиденькое зарево. Казалось, дунет слабый ветерок — потушит и зарево, и все робкие, тоскливые в этой темени огоньки.

— Пропаду я иначе, Андрюха,— еле слышно сказал Витька.

Савельев по голосу догадался, что губы у Витьки дрожат, и подумал, что он и в самом деле пропадет.

— А может, сказать, где барахло-то спрятано?

— Что?! — крикнул Витька испуганно.— Я слово дал...

— Кому ты его дал-то? Подумаешь...

— Все равно,— упрямо повторил Кашкаров.— Я же толкую тебе: не в том дело — кому, а в том, что дал. Как ты не поймешь?

Кашкаров все больше удивлял Андрейку. Ему нравилось, что он такое значение придает данному слову, и в то же время все маленькое Андрейкино существо возмущалось чем-то.

— Эдак ты и любому можешь довериться и слово дать,— сказал он, подумав.— На фронте всякое может случиться. К примеру, поймают тебя фашисты, ты их напугаешься, как Макара, и тоже...

Под Витькой скрипнули лыжи, он покачнулся, и Савельеву показалось, что Кашкаров сейчас размахнется и ударит лыжной палкой, а потом, рассвирепев окончательно, повалит его в снег, будет молотить молча, долго, безжалостно... Но он не ударил, он только еще раз переступил лыжинами и тихо произнес в два приема, будто задыхаясь:

— Эх... ты...

И пошел прочь, в темноту, маленький, жалкий, беспомощный.

— Витька! Вить...

Андрейка понял, что смертельно обидел товарища. Он побежал за ним, прося остановиться, но Кашкаров только прибавлял ходу. Тогда Андрейка собрал все свои силенки и, поравнявшись, схватил его за руку, остановил.

— Па-ашел ты...— Витька рванул руку.

Из-за Звенигоры выплыл осколок луны, покатился над землей, не очень высоко. Светлее от этого не стало, только синевато заблестели крыши домов в Шантаре да колючими искрами вспыхнули макушки холмов, с которых недавно катались ребятишки.

Такие же искорки, как на снегу, разве чуть покрупнее, подрагивали на Витькиных ресницах.

— Ты хороший, Вить, я знаю,— виновато проговорил Андрейка.— Ладно, Витя. Только как сейчас до фронта доберешься? Никак это невозможно. Зима... Придется лета ждать. Понимаешь?

— Не глупый...

— А поближе к весне все обтолкуем.

— Значит, берешь?

— Обтолкуем, говорю,— солидно проговорил Андрейка.— Но гляди — ни гугу...

— Немцев-то, по радио говорят, погнали уже.

— Ничего... Семка считает — война долго еще будет,— успокоил его Андрейка.— И я по карте глядел — много они нашей земли заняли. Не так-то легко их выбить теперь.

Ущербная луна все выше забиралась на небо, скользила в холодной, темной пустоте, уныло смотрела на землю.

— А Макар этот, проклятый, вовсе и не брат мне, — неожиданно проговорил Витька.— Мать всегда говорила, что брат, а он не брат. Макар с Ленькой сидели за столом, водку пили, разговаривали, а я на печке лежал и все слышал. А тебе... тебе вот он родной дядя.

— Это с какой же стороны? — Андрейка подумал, что Кашкаров шутит.— У меня всего два дядьки есть — дядя Иван, что в Михайловке, и дядя Антон, который директор завода.

— С обыкновенной,— проговорил Витька зло и мстительно.— Макар-то родной брат твоей матери.

— Хе-хе!— нервно рассмеялся Андрейка.— Ври больше! Разве я бы не знал...

— Если Макар врал Леньке, значит, и я вру.

И он, обойдя Андрейку, побежал к мерцающим деревенским огонькам. А Савельев, растерянный, остался на месте, тупо глядел, как удаляющегося Витьку съедает, точно рассасывает, темнота. Но ему казалось, что это не Витька, а сам он, Андрейка, растворяется во мгле, исчезает, превращается в черный ночной туман, в ничто.

* * *

Федор все сидел на голбчике, задумавшись. Он как-то и не заметил, когда ушел Андрейка, когда появилась Анна, очнулся от запаха парного молока.

В доме было пусто и тихо, покашливал только дед в соседней комнате. Но Федор знал, что сейчас вернутся с работы Марья Фирсовна и Семен, прибегут из школы Ганка с Димкой, дом сразу станет тесным, гулким, чужим, превратится в вокзал.

— Рано ты сегодня,— сказала Анна, разливая по крынкам молоко.— Я ужин еще не состряпала.

Федору было все равно, готов или не готов ужин. Он сидел и думал об Анфисе.

«Я к Анфисе теперь или никогда не пойду, или уйду насовсем»,— не так давно, осенью, сказал он напрямую Анне, но до сих пор не знал, как поступить. В душе родилась и жила пустота. Когда и почему она поселилась в нем — не знал, но был рад, что поселилась. Ему как-то безразлично было теперь все — и Антон с Иваном, и Анна с Анфисой, и дети, и работа, и то, что его дом превратился в общежитие. «Черт с ними, пускай думают обо мне что хотят,— усмехался он, вспоминая иногда о том вечере у Антона.— А я буду жить, как мне нравится...»

Но как ему нравится — этого теперь-то он и не знал.

После того вечера он не встречал ни Антона, ни Ивана, ни Кружилина. Анфису иногда видел мельком в окне или на улице где-нибудь, здоровался. Его голос заставлял ее вздрагивать, она пугливо озиралась и поспешно убегала.

И все-таки он чувствовал: эти пустота и успокоение временные, скоро все это кончится, и его опять неудержимо потянет к Анфисе. Если он решится навсегда уйти к ней, она примет его — Федор в этом был абсолютно уверен. Но только как оно все получится потом, где они будут жить? Здесь, рядом с бывшим своим домом,— нельзя. Анна и Семен — черт с ними, а перед младшими, перед Димкой и Андрейкой, ему заранее было как-то неудобно. Ведь каждый день почти он будет сталкиваться с ними на улице. И потом — у Анфисы у самой взрослые дети. Колька так-сяк еще, а Верка готовая баба давно, с Семкой свадьба у них вроде лади-

лась, да расклеилась что-то. Но если снова склеится, выйдет за Семку, а он с Анфисой, ее матерью, жить станет — что же получится? Его сын, выходит, женится на его же дочери?! Смеху не оберешься.

В общем, было о чем подумать Федору, но думать пока не хотелось, да и не было острой необходимости пока, и он жил, уйдя в себя, жил, как посторонний в своем доме. Анна гремела крынками и кастрюлями, Федор глядел на изогнувшуюся перед печкой жену, на бледно-желтые отсветы пламени, игравшие на ее влажном лице, и вдруг отметил, как бывало не раз, спокойно, равнодушно: «Ладная она все-таки...» Поднялся и вышел во двор.

Вышел он так, без цели, постоял на заснеженном дворе, поглядел, как гаснут на западе последние проблески. «У коровы, что ли, почистить?» Он направился было в коровник, щупая на ходу спички в кармане, чтобы засветить в темном хлеву фонарь. Но увидел неожиданно, как недавно осенью, тень в окошке в доме Инютиных, остановился...

Через минуту он, пригибая голову в дверях, входил к Инютиным. Анфиса стояла у печки, прямая, строгая, и глядела на него жестко, угрожающе подняв голову, как змея. Вера, растрепанная, в старом халате, выглянула из своей комнатушки и стала глядеть не на Федора, а на мать. На губах у нее плавала нехорошая усмешка.

— Мне уйти, что ли?

— Выйди на минутку,— сказала мать, не глядя на нее.

Вера, презрительно сжав губы, накинула полушубок, сдернула с гвоздя шаль.

— Только вы поскорей управляйтесь,— сказала она с грязным смыслом, ободрала Федора взглядом, проходя мимо.— А то мороз на улице, да и Колька вот-вот со школы придет.

Федор взял табурет, поставил к стене, у дверей, сел.

— Зачем пришел? — спросила Анфиса. Глаза ее были черные и холодные.

— Не знаю...— Федор действительно не знал, не понимал, как здесь очутился.— Тоскливо мне.

Она так же стояла у печки.

— Вот я все думаю, Анфиса... Уйду я от Анны.

Анфиса не шелохнулась, только натянулась, как почувствовал Федор, еще туже, ожидая его дальнейших слов. В комнате пахло кислым тестом — Анфиса, видимо, заводила квашню на завтра.

Федору захотелось вдруг, чтобы Анфиса упала перед ним на колени, заглянула, как бывало, ему в глаза преданно, по-собачьи, чтобы она начала признаваться ему в любви, а потом уткнула бы ему в грудь мокрое от слез лицо, всхлипнула, как девчонка, вздрагивала плечами, а он, вздохнув неопределенно, погладил бы все-таки ее по голове, по плечам. И чтобы вызвать все это, он сказал:

— Вот только куда уйти-то? Ты не примешь меня, должно.

— Найдешь... Вдов сейчас много по деревне.

Тишина в комнате зазвенела, стала звенеть все звонче, противнее и, казалось, вот-вот лопнет, расколется радужными брызгами, как брошенный с большой высоты на камень стеклянный лист. Но не лопнула, все продолжала звенеть.

— То есть как это — вдов? — усмехнулся он жалко и глуповато.— А... а ты?

— Я не вдова пока. Кирьян пишет: ничего, мол, воюю...

— Хе-хе!..— Смешок его дважды булькнул в тишине, испугав самого Федора.— Это как же... понимать тебя?

— Я, Федор, Кирьяна ждать буду,— отчетливо проговорила Анфиса.— А ты больше не ходи ко мне...

Она замолкла, а слова ее бились под черепом, как тяжелые мохнатые шмели об оконное стекло. Он долго не мог понять их смысла, а когда понял, поднялась откуда-то жаркая волна, ударила в грудь, распирая ее, в голову, затуманив мозг. Он, покачиваясь, поднялся, чувствуя, что в ногах исчезла вся сила.

— Это... это ты чего такое говоришь? — Он вытер со лба шапкой испарину.— Разлюбила, что ли? — нашел он наконец нужные слова.

— Я сказала — у меня свой муж есть.

— Так,— хрипло произнес Федор.— Хе-хе, шило-мыло... А также и купорос.

— Уходи, Федор,— попросила Анфиса.— Там Верка мерзнет.

Федор не помнил, как вышел на крыльцо. У дверей стояла Вера, кутаясь в полушубок.

— Скоро же вы! — насмешливо сказала она и хотела скрыться в сенях.

Но ее слова возмутили, обидели Федора. Он схватил девушку за плечи, сильно тряхнул ее.

— А ты... ты?! — закричал он громко и яростно.— Что ты понимаешь?! Что понимаешь?

Наспех накинутая шаленка сползла ей на плечи, она упиралась в грудь Федору руками, запрокидывая голову.

— Вы что? Вы что?!

Ее лицо было близко от его глаз, но в полумраке все черты сливались, однако Федору на миг почудилось, что это не Вера, а сама Анфиса: те же острые плечи, которые он чувствовал сквозь овчину полушубка, тот же волнующий грудной голос, так же блестели в темноте ее зрачки — маленькими острыми точечками. Всего этого Федор испугался, оттолкнул Веру.

— Медведь... Ну и медведь! — крикнула она сердито, натянула шаль, загладила под нее ладонью волосы.— Что мне вас с матерью понимать? Вы мне давно понятные.

— Дура ты.

— Это — пока, а потом вырасту, может.— И, сверкнув в полутьме полоской зубов, шагнула в сенцы и захлопнула дверь.

Из усадьбы Инютиных Федор вышел не спеша, вспоминая, что Анфиса так и простояла столбом у печки, даже не шелохнулась, пока он разговаривал с ней. Он понимал, что Анфиса указала ему от ворот поворот. Несколько минут назад это его оглушило и раздавило обидой, но странно — сейчас обиды никакой не было, осталось только легкое удивление, недоумение какое-то. Ему казалось, что все это — и его приход к Анфисе, и ее слова,— все это было не по правде, а во сне. И Верка, у которой блестели зрачки, а потом сверкнула во тьме полоска зубов, тоже была во сне.

Где-то рядом звякнула уздечка, кажется. Федор поднял голову. У крыльца его дома стояла запряженная в розвальни лошадь. «Интересно, это кто же приехал к нам?»

Войдя в дом, он увидел Ивана. Тот сидел на голбчике. «Ишь ты, на мое место уселся...» — со злорадством отметил Федор.

Иван был в пиджаке, черной рубахе-косоворотке, из которой торчала тощая шея, на коленке у него висела шапка. Анна собирала на стол, из комнаты, где жили дети, раздавались голоса Димки и Семена, а из-за другой двери слышался говор Марьи Фирсовны и ее дочери Ганки.

Рядом с Иваном лежали его вытертое суконное пальто и тулуп. Первой мыслью Федора было — подойти к Ивану, взять его за шиворот одной рукой, а ладонью другой отворить дверь и вышвырнуть в сенцы, как щенка, а потом выбросить туда же пальто и тулуп, а дверь закрыть на крючок. И все сделать молча, безо всяких слов. Но он не сделал этого потому, что Анна, пока Федор раздевался, перестала собирать на стол, стояла и сторожила каждое движение мужа. А потом вышел из комнаты Семен, тоже поглядел внимательно на отца, молча снял с Иванова колена шапку, повесил на гвоздь.

— Андрейка куда запропастился? — спросила Анна и, не дожидаясь ответа, стала резать хлеб.

Федор, наверное, выполнил бы все же свое намерение, если бы не Семен, не голоса в той комнате, где жили эвакуированные.

— Интересный гость у меня...— выговорил он, не шевеля почти губами.— Это как же насмелился?

— А ты что, зверь какой, чтоб тебя опасаться? — спросил Семен.

— Тебя не спрашивают — ты не сплясывай!

— Поеду-ка я,— приподнялся Иван.

— Сиди! — Семен положил ему руку на плечо.— Сейчас, дядя Ваня, чай будем пить.

— А то ночевал бы у нас. Куда на ночь ехать? Мороз...— Это говорила Анна. Федор слушал голос жены и не верил. Это она, Анна, решилась при нем, Федоре, пригласить Ивана остаться ночевать?! Да что же это происходит? Анфиса,

теперь Анна... Что такое произошло с ней, с Анной, это почему же она так смело говорит, будто не он, Федор, тут, в доме... и над ней, хозяин пока?! И Семка — ишь решительный какой!

Все это Федора изумило, напугало, он приткнулся где-то на стуле за кроватью и, поглаживая ладонью деревянную спинку, скобочкой сложив губы, глядел то на жену, то на сына, то на брата...

— Нет, никак невозможно,— качнул белобрысой головой Иван.— Я к Антону заезжал, они с женой тоже оставляли... Надо скорей лекарства доставить, худо Панкрату, вчерась всю ночь в жару прометался.

— В больницу почему не отвезли его? — спросила Анна.

— Не хочет. «Отлежусь»,— говорит. Сам Кружилин вчера приезжал, на своей машине хотел отвезти. Не поехал.

Федор слышал в МТС, что председатель «Красного колоса», вернувшись недавно из области, простудился в дороге, слег в постель. И сказал вдруг, выплескивая на ни в чем не повинного Панкрата Назарова всю злость и раздражение:

— Чахоточного какая больница вылечит?

Иван поглядел на брата, вздохнул:

— Мы тоже боимся, что нынешнюю весну не переживет. Весной сильно тяжко легочным.

— Это кто же — мы?

— А в колхозе,— коротко ответил Иван.

Задавая свои вопросы, Федор все думал обеспокоенно: что же это такое произошло с Анной, отчего она так осмелела? И еще удивлялся, что начал как-то разговаривать с братом.

А потом Федор и вовсе перестал понимать себя,— когда Анна пригласила за стол, он поднялся и сел напротив Ивана.

Ужинали молча, Анна чай не пила, беспрерывно наливала в чашки — мужу, Семену с Димкой, Ивану. За Иваном она следила внимательнее, чем за остальными, едва он выпивал свой чай, она тотчас наливала еще. Федор глядел на это и ухмылялся.

Первым поужинал Димка, встал молча. За ним ушел и Семен. Иван тоже отодвинул чашку.

— Еще одну, Иван,— сказала Анна.

Федор опять ухмыльнулся, но на этот раз еще и сказал:

— Ишь как она за тобой... Дорогой ты гость для нее.

Иван поднял припухшие веки.

— Пятьдесят лет тебе скоро стукнет ведь, кажется. А ты так и не поумнел.

Федор медленно отвалился на спинку стула, в глазах, глубоко под бровями, сверкнуло немое бешенство. Правая рука его лежала на столе, крупные пальцы задрожали. Он поволок ладонь к себе, почесал ее об острый угол стола, застланного мягкой льняной скатеркой, и вдруг сжал кулак, полной горстью захватив на углу скатерть. Казалось, он сейчас сдернет ее со стола, чашки и тарелки со звоном покатятся на пол. Анна побледнела.

— Ах ты...— Федор задохнулся, нижняя, крупная губа его сильно затряслась.— Давила тебя Советская власть, давила... Не до конца только.

— Промашку дала,— сказал Иван.

— Верно.

— Ага... Давить-то ей тебя, может, надо было.

Они сидели неподвижно на разных концах стола, сжигали друг друга глазами.

— Тэ-эк...— медленно протянул Федор. Анна стояла возле Ивана, крепко сжав губы, будто боялась, что сквозь них прорвется нечеловеческий, истошный крик.— А за что же это, по твоему разумению, меня ей... Советской власти, давить надо было бы?

Он говорил, а слова ему не подчинялись, ускользали будто, а он ловил их, укладывал неумело и сам прислушивался, приглядывался, в какой ряд они ложатся, какой получается смысл из этих слов. Но понять, кажется, не мог, и потому на крупном лице его было беспомощно-глуповатое выражение.

— А за то, сдается мне, что ты ее, эту власть... ну, как бы тебе сказать...

Федор все еще сжимал в кулаке конец скатерти, при последних словах кулак его дрогнул.

— Боролся ты за Советскую власть, как же, знаю. Но ты не любишь ее, Федор. Во всяком случае, жалеешь, что она пришла. Не принимаешь ее...

Ивану тоже говорить трудно было.

Федор то щурил, то широко раскрывал глаза. Смысл слов брата то доходил до него, прояснялся, то пропадал этот смысл, растворялся, уходил куда-то как вода сквозь решето.

Наконец Федор шумно выпустил из груди воздух, разжал кулак, выпустил конец скатерти.

— А ловко ты это... приклеил волос к бороде. Когда ж додумался до этого? В тюрьме?

— Нет, тут уже,— просто ответил Иван.— После того вечера, как мы у Антона в гостях были. Стучали-стучали у меня Поликарпа Кружилина слова в голове, а потом открылось вдруг: да ведь он, ежели тебя взять, половину правды сказал только. А вся правда...

Федор поспешно встал, громыхнув стулом. Иван тоже поднялся. Анна раскрыла рот, собираясь закричать, но из комнаты, услышав, видно, грохот стульев, быстро вышел Семен.

— Что? — Он глянул на мать, на отца с дядей.

— Пошел отсюда! — дернул плечом Федор.— Ну а вся правда какова?

— А это уж тебе лучше знать,— сказал Иван, шагнул к голбчику, взял свое пальто, стал натягивать.— А я, Федор, что думал про тебя, все сказал.

Семен не ушел из кухни, стоял, прислонившись к стенке, глядел, как одевается Иван. Федор прошелся по кухне, наклонив набок голову, будто прислушивался к чему-то.

— Ну а почему же я не принимаю-то ее? — спросил он, останавливаясь. И, ожидая ответа, стоял неподвижно столбом, все так же наклонив голову.

— Такой уродился, видно. Вспоминаю вот, какой ты в детстве был...

— Какой же? — нервно спросил Федор.

— Были прорешки у тебя в характере. Жадноватый был, завидущий, самонравный. И вот, как говорил Кружилин, когда мы в гостях у Антона были: смолоду прореха, а к старости — дыра.

— Ладно...— Федор подергал себя за ус, потом погладил его, сел на краешек кровати и усмехнулся каким-то своим мыслям.— Допустим... Только вот кое-какие концы свяжи все же: как же я ее не люблю и не принимаю, ежели партизанил, боролся за нее, не щадя жизни? А? Как ты это объяснишь?

Слово «власть» он почему-то вслух не произнес.

— Не все легко в жизни объяснить,— ответил Иван, натягивая тулуп.— Тогда партизанил, верно. Только сдается мне: случись сейчас возможность для тебя — ты бы сейчас против боролся.

Федор начал наливаться гневом, внутри у него все заклокотало, голова затряслась, и рука, лежащая на спинке кровати, дрогнула, в глазах появился жуткий огонь. Он медленно поднялся. Но Семен подошел к Ивану, сдергивая на ходу тужурку со стены.

— Я провожу тебя, дядя Ваня.

— Вот что, Иван...— сдерживая себя из последних сил, выдавил Федор из волосатого рта.— Ты не замай... Не объявляйся больше в моем доме! Слышь?! Какие у тебя дела ко мне? По какой причине ты заявился?!

— Ишь ты каков! Будто один ты живешь тут. Ты мне без надобности. Я к Анне заехал.

— Зачем? Заче-ем?!

— А это она тебе и скажет, ежели захочет.

Иван попрощался с Анной и вышел вместе с Семеном. Федор сел и замолчал. Почему-то он вдруг вспомнил, как стояла на крыльце и глядела на него Верка Инютина, будто собиралась столкнуть в снег. «Дура ты»,— сказал ей Федор, а она ответила: «Это — пока, а потом вырасту, может...» Странные слова-то какие она сказала...

— Зачем он к тебе приезжал? — спросил он у Анны.

— Ответ Панкрата Назарова передал,— ответила она.

— Какой ответ?

— Я спрашивала, примет ли в колхоз с ребятишками.

— Это... как же — в колхоз? — В глазах Федора шевельнулось удивление.
— Ты же разводиться со мной надумал. Куда же я с ребятишками? А там — с людьми буду.
Федор глядел теперь на жену из-под бровей с усмешечкой.
— И что Панкрат?
— Примем, говорит, чего же...
— Ну! А может, я передумал разводиться?
— Что ж, я сама живая еще...— чуть помедлив, ответила Анна.— Я сама от тебя уйду.
— Так...— Федор опять встал.— Ну-ка, повтори!
Анна, прибиравшая на столе, отшатнулась в угол. Но больше ни она, ни Федор сказать ничего не успели — в сенцах загремел кто-то палками, открылась дверь, вошел красный с мороза Андрейка, за ним — Семен в накинутой на плечи тужурке.
— Вот он, лыжник,— сказал Семен, вытер Андрейке пальцами мокрый нос. — До соплей накатался.
Потом Анна стала кормить Андрейку. Он громко схлебывал чай с блюдца, несколько раз хотел задать матери мучивший его вопрос, но каждый раз, взглянув на хмурого, как черная туча, отца, не решался.
— Ложись ступай,— коротко сказала мать, когда он поужинал.

* * *

Андрейка ушел в комнату, где они спали теперь втроем — он, Димка и Семен. Димка, сильно выставив плечи, сидел за письменным столом, готовил уроки. Семен, лежа в кровати, читал книжку.
— Мне Витька сказал, Макар-то вовсе не брат ему. А тебе, говорит, родной дядя,— проговорил Андрейка.— Это как же так, а?
Книга в руках Семена чуть дрогнула.
— А ты... слушай побольше вранье всякое!
В глазах у брата было что-то беспомощное, растерянное. И Андрейка понял: Витька сказал правду.
Димка бросил тонкую ученическую ручку на стол, обернулся.
— Ничего не вранье. Мамкин это родной брат. Я знаю...
— Что — знаешь? Откуда ты знаешь?! — закричал Семен.— Ничего вы не знаете...
— А почему ты кричишь-то? — спросил Андрейка.
Семен встретил широко открытые Андрейкины глаза, неловко отвернулся, сморщился, будто во рту у него стало кисло, с яростью сунул несколько раз кулаком в подушку, взбил ее.
— Не вашего ума это дело. Спать давайте. Тушите свет...
...Через час свет потух во всех окнах дома Савельевых, он стоял, молчаливый, придавленный толстым слоем снега на крыше, в длинном ряду других домов улицы, ничем не отличаясь от них в темноте. Андрейка долго не мог уснуть, лежал рядом с похрапывающим Димкой — все думал о том, что сообщил ему Витька. Потом уснул. Не спали теперь в доме только Федор и Анна.
Федор лежал на спине, глядя в невидимый потолок, и, чувствуя рядом теплое тело жены, молчал.
— Значит, сама надумала уйти от меня? — насмешливо спросил он.— То-то, гляжу, осмелела, Ваньку ночевать оставляла.
— Уйду,— всхлипнула она.— Сил больше нет.
— Расклеилась,— сказал он беззлобно и устало.— Никуда ты не уйдешь. И на том покончим.
— Уйду, уйду, уйду! — распаляясь, заговорила она все громче.— Господи, как я проклинаю то время, когда замутил ты мою голову! И вот выпил ты всю кровь из меня, все соки... Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть — никого. И себя, должно, не любишь. Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?
— Интересно! — Федор даже приподнялся. Лица жены не было видно, в темноте поблескивали только неживым цветом мокрые глаза.— Ну а дальше? Или все?

— И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству... чтобы... чтобы развратничать потом на заимке, как отец.

— Вовсе интересно, хе-хе!..— Смешок его, хриплый, глухой, походил на кашель.— Женился я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.

— Это уже так получилось, что в девятнадцатом... А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне.

Федор, завалившийся было на подушки, опять приподнялся, на этот раз быстро, рывком. Анна слышала, как ходит в темноте его грудь, но продолжала:

— А что от богатства нашего дым один остался — это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.

— Замолчи... об чем не знаешь! — тихо, с тяжелым стоном, попросил он.

— Знаю! — упрямо продолжала Анна, поднялась, села. И заговорила быстро, торопливо, точно боялась, что Федор не даст ей высказаться до конца, зажмет чем-нибудь рот,— может быть, своей широкой ладонью, может быть, подушкой.— И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь... за то, что опомнился он, Иван, тогда, пришел к партизанам, понял, где правда... Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить... али боишься другим-то! Вот... Этаким никто тебя не знает, а я — знаю. Теперь... теперь тебя и он, Иван, раскусил... Теперь он тебе и вовсе смертельный враг.

Анна говорила все быстрее, чувствуя, как дрожит рядом крупное, тяжелое тело мужа.

— З-замолчь! Ты-ы!..— раскатился по кухне голос Федора тугой волной, больно ударил в грудь Анне, опрокинул ее.

В комнате жильцов слабо вскрикнула старуха: «Охтиньки! Пресвятая богородица...» И тотчас вспыхнул свет. Это выскочил на кухню Семен, раздетый, в одних кальсонах и майке.

— Что, что такое?! — показалась из бывшей горницы испуганная Марья Фирсовна.— Заболел ты, что ли, Федор Силантьич?

Федор сидел на кровати, у стены, потный, красный.

— Ничего... Сон приснился страшный,— усмехнулся он. И вдруг рявкнул: — Убирайтесь! Вылупились...

Марья Фирсовна тотчас скрылась, а Семен еще постоял, помедлил.

— Если сон, на другой бок перевернись, батя,— с усмешкой сказал он и выключил свет.

— Ну вот...— вздохнул облегченно Федор, лег.— Мелешь ты чего зря... А насчет колхоза больше чтоб не слышал я...

Говорил Федор неожиданно спокойно, без злости, но Анна не слушала. Правая грудь ее больно ныла и, казалось, распухла. Она поглаживала ладонью эту грудь и думала, что это не волна от Федорова голоса опрокинула ее, это он, Федор, ткнул ей в грудь тяжелым кулаком.

Анне было очень обидно, и она тихонько, беззвучно плакала.

* * *

Как сын Демьяна Инютина Кирюшка с самого детства среди прочих деревенских девчонок выделял Анфису, так Иван Савельев отличал от других, всячески опекал и защищал Анну Кафтанову. Анна платила ему такой же доверчивой дружбой.

Едва дочь подросла, Кафтанов вздумал отдать ее в Новониколаевскую гимназию. За месяц до ее отъезда Иван сделался грустным, молчаливым, а когда запряженная парой рослых жеребцов крытая бричка увозила ее из Михайловки, Иван стоял за плетнем, смотрел на Анну такими тоскливыми глазами, что она не выдержала, соскочила с брички, подбежала к нему.

— Ты чего это?! Я же приеду на следующее лето.

— Нет... Теперь ты городская будешь. Ученая...

— Чудак... Вот...— И неожиданно для самой себя она перегнулась через плетень и поцеловала Ивана в горячий лоб. Лицо его мгновенно взялось сильным огнем, даже, казалось, уши засветились от прихлынувшей крови.

Поцелуй ее был чистый и детский, он означал знак благодарности за ребячью дружбу и верность. Однако на следующее лето, когда она приехала на каникулы, Иван вел себя с ней как-то неловко, неуклюже, часто краснел без причины, заставлял краснеть и ее. Он чего-то ждал от нее, она видела это, ей было тоже неловко, а главное — неприятно.

В четырнадцатом году померла мать Анны. Померла она не своей смертью — задавилась на сыромятном ремне. В то лето Анна не могла найти себе места, обезумела от той суматохи, криков и причитаний каких-то женщин во время похорон, а потом до самого отъезда в город старалась уединиться, бродила по полям, по лесу, по берегу Громотухи. Часто ее сопровождал Иван.

— Ну что, что ты за мной ходишь все?! — с ненавистью крикнула она однажды, но тут же схватила его за руку, уткнулась лицом ему в плечо.

— Не надо плакать. Чего теперь...— Он погладил ее плечо.

— Почему, почему это она? Зачем?

— Федька мне сказывал — из-за отца она твоего. Будто он с бабами там, на заимке...

Сбиваясь и краснея, Иван рассказал, что знал.

— Врешь, врешь! — закричала она, вскакивая.— Врете вы с Федькой вашим! Не может он, отец, так...— Но, успокоившись, сказала: — Я должна сама поглядеть, как он там, отец, на заимке. Понял? Ты это придумай, как увидеть. У Федьки своего спроси.

— Да как я? Федька с отцом который год безвылазно в тайге живут, деготь гонют.

— Не знаю. Придумай — и все.

И однажды он повел ее на Огневские ключи.

К заимке подошли уже в темноте, голодные, смертельно уставшие. Долго стояли за деревьями, глядя на ярко освещенные окна дома, из которого неслись пьяные крики, песни, женский визг.

— Вот,— сказал Иван.— Вот видишь...

Анна стояла, держась за дерево, потом оттолкнулась от него, подошла к освещенному окну, заглянула в комнату. И в ту же секунду будто кто саданул кулаком ей в лицо, голова ее мотнулась назад. Зажав лицо руками, она попятилась, чуть не падая на спину.

Иван увел ее в лес, там они сели в высокую траву. Анна опять лежала у него на коленях и, сильно вздрагивая, глухо, тяжело рыдала.

Ивану шел тогда пятнадцатый год, он тайком от матери начал покуривать и, решив свернуть папироску, полез в карман за табаком, брякнул спичками. Анна тотчас вскинула голову, волосы ее чуть растрепались, в глазах отражался лунный свет, и они тускло блестели.

— Дай мне спички! — вдруг потребовала она и, не успел Иван опомниться, вырвала у него коробок, зажала в кулаке, медленно двинулась к дому.

— Анна, Анна...

— Ну?! — воскликнула она, остановилась.— Айда, поможешь окна и двери чем-нибудь подпереть, сеном обложить...

В несколько прыжков Иван очутился возле Анны, грубо схватил ее за руку, разжал пальцы, отобрал спичечный коробок и швырнул в кусты.

— Что придумала?! Одумайся...

— А ты... ты! — Она отступила на шаг, размахнулась, ударила его по щеке.— Ищи спички! — И опять ударила.— Ищи! Ищи...

Она хлестала его по щекам сильно и больно, не жалея. Иван не сопротивлялся, только отступал...

...В Михайловку шли тихо, молча, Анна — впереди, Иван — сзади, за всю дорогу не сказав ни слова.

На другой день Анна заметалась в горячке.

Проболела она две недели, а на третью в домишко Савельевых пришел Инютин Демьян.

— Анна тебя велела позвать,— сказал он, криво усмехаясь в лисью бороду.— Ступай.

Входя в дом Кафтанова, Иван услышал сквозь тонкую дверь из другой комнаты голос самого хозяина:

— Это что за прималынды у тебя такие? Зачем Савельев Иван тебе? Будет, что ребятней хороводились.

— Мое дело,— отвечала Анна.— Он товарищ мой.

— Да ты соображай! Ты вон баба почти, а он мужик.

— Мое дело, сказала! Захочу — и замуж за него пойду.

— Чего, чего?! Я те ноги-то выдерну да к плечам и приставлю...

Но в это время Инютин застучал деревяшкой по полу, голоса стихли. Кафтанов вышел из комнаты, перерезал Ивана взглядом, но ничего не сказал.

Анна лежала на кровати бледная, худая.

— Никому не говорил... что мы на заимку ходили?

— Нет.

— И не говори... А тебе спасибо, что спички отобрал. Прости меня, Ваня, что я там нахлестала тебя.

Потом она задала вопрос, который он никак не ожидал:

— А про старшего брата, Антона, известно что про него?

— Нет, ничего не знаем.

Помолчав, задала еще один странный вопрос:

— А у Федьки остался шрам от шашки-то, которой его к скале Инютин тогда притыкал?

— Какой шрам! Все зажило без следа.

Поговорили еще немного о разных пустяках, а у Ивана все звенело в ушах: «Захочу — и замуж за него пойду... Захочу — и замуж за него пойду...»

Когда Иван выходил из усадьбы, Кафтанов, стоявший возле только что отстроенной, новой завозни, опять ободрал его глазами и опять ничего не сказал.

Осенью Анна уехала в Новониколаевск. Иван пришел проводить ее. Не стесняясь отца, Анна взяла Ивана за обе руки.

— До свиданья, до свиданья...

Она, может, и еще что-нибудь сказала бы, но рядом стоял отец, прижмуриваясь, как кот, глядел на них. А когда Анна уехала, Кафтанов спросил, все так же щуря глаза:

— Ну-ка, ответствуй, Ваньша, в женихи, что ли, она тебя выбрала?

Иван вспыхнул, даже шея зарозовела. И вырвалось у него:

— А чем я хуже других? Такой же человек.

— О-о! — Кафтанов даже приоткрыл волосатый рот.— Спесь, примечаю, у вас фамильная. А ну-ко, сядь рядом.

Иван робко приткнулся сбоку грузной туши Кафтанова, сердце само собой начало постукивать затаенно-радостно. «Видал бы кто! Ведь с самим, с самим сижу...»

А Кафтанов между тем говорил не спеша, поплевывая на землю подсолнечной шелухой:

— Каков ты человек, хуже других, нет ли — это разреши-позволь мне решать... Полюбишься мне, сумеешь угодить — себе угодишь. Вот пример тебе — Демьян Инютин. Кто был таков? Так, пыль земляная, лопух при дороге. Но выказал мне преданность — в человеки я его определил. Также Федьку хотел вашего, а он, болван, зубы мне показал. Ну, зубы обломать мне недолго, да я... добрый. Потом сколь разов отец твой вместе с Федькой в ногах у меня валялись: дай, христа ради, работенку какую, бес попутал насчет Антошки непутевого, объявится — сами, мол, выдадим теперя, не знали, что он супротив властей идет. Что я мог? Пнуть им в хари-то да за порог выкинуть. А я — нет, черт с вами, мол, отправляйтесь в лес бревна валить да деготь гнать. Не потому, что поверил в раскаяние. Зубы-то есть, помню. А потому, что добрый. Или Поликашку Кружилина, бывшего моего приказчика, взять. Тоже хотел в люди его вывести, от войны выкупить даже, а он, слышу, однажды толкует в моей же лавке с мужиками: облегченья в жизни, братцы, матюгами не сделаешь, вы, дескать, матюгаете хозяина моего Кафтанова, а он знай сосет вашу кровушку... Та-анцор! Ишь сын каторжный, забродила отцова кровь-то когда. Ну, пущай забрали его, может, там мозги проветрят, а матерь его я не притесняю, нет, зачем? Пущай и Поликарп Кружилин, и Федор ваш похлебают горячего досыта, одумаются, ко мне же приползут, больше некуда. Да я только не тот уже для них. Деготь гнать — это пожалуйста, а что почище да повыгоднее — погодите до смерти, я других туда поставлю, кото-

рые преданность ко мне имеют... Словом, дурье люди, им конфету в рот кладешь, они выплевывают. А?

Иван слушал голос Кафтанова, половину понимал, половину нет. И когда тот замолчал, Савельев вздрогнул:

— Я ничего. Я слушаю...

— Это хорошо, что слушаешь. Для начала в конюхи тебя определяю. А там видно будет. Заслужишь — в приказчики пойдешь. Ты, кажись, обучался немного грамоте?

— Два года походил, в третью группу перешел, да отец с Федькой в тайгу уехали, а мать хворая...

— Ничего. Дело не в грамоте, а в разумении. Понимай!

Кафтанов стряхнул с толстых колен подсолнечную шелуху.

— А об Анне — разговор особый будет. Покажешь, что душой и телом преданный мне,— что ж... Я мно-ого, Иван, за верность чего отдать готовый...

Так, совершенно неожиданно для себя, Иван стал работать у Кафтанова конюхом.

Летом шестнадцатого года отец забрал Анну из гимназии, объяснив, что отныне ей предстоит выхаживать брата Макарку. Она была рада и не рада, ученье давалось ей плохо, в городе она чувствовала себя чужой, неловкой, одноклассницы дразнили ее деревенской дылдой и откровенно презирали. Анна была действительно высокой, худой, отчего казалась еще выше, все платья висели на ней, как на доске. Ей уже пошел семнадцатый, но женского ничего еще не чувствовалось, плечи острые, сухие, ноги длинные, голенастые, груди чуть-чуть только намечались, и ей казалось, что она такой гадкой, нескладной на всю жизнь и останется, и все будут ее презирать и издеваться, как издевались соклассницы — пышные, грудастые купеческие дочки. И все же жаль было ей покидать город и гимназию, которые начали открывать ей немного мир.

В первый же вечер по приезде Анна, решив прогуляться, вышла из дома и побрела не спеша в сторону Громотухи. Пока шла полем, солнце село почти, скрылось наполовину. Оно садилось в уходящую за горизонт Громотуху, река медно блестела, и казалось, что солнце не садится вовсе, а плавится и течет горячей рекой по земле, к ее ногам.

— Ань...— услышала она.

Сзади нее стоял Иван Савельев в синей рубахе и мятых холщовых штанах. Он был босой, ступни ног грязные, загрубелые. Увидев, что Анна смотрит на его ноги, он смутился.

— Ты на каникулы? — спросил он.

— Нет, насовсем вроде... Отец говорит — хватит, поучилась.

— Ну-у! — воскликнул он.— И хорошо!

— Чего хорошего?

Потом Иван и Анна сидели на высоком берегу, глядели, как слабенькие, остывающие волны бьются лениво в берег, лижут теплые еще камни. Солнце потонуло где-то в расплавленных водах Громотухи, исчезло, река сразу потухла. На западе, немного левее того места, где скрылось солнце, вспучивалась темная туча, быстро наползала. Потом донеслись первые раскаты грома. Анна встала и тихонько пошла в сторону Михайловки. Иван побрел за ней.

Дождь застиг их у самой деревни. Он хлестанул неожиданно. Туча была еще, казалось, далеко, где-то за Громотухой, и вдруг стало темно, Ивана и Анну обдало волной холодного воздуха, и сразу заплясал вокруг, туманясь водяной пылью, тугой ливень, промочив их до нитки.

Анна вскрикнула и, уже мокрая, побежала к стоявшей на окраине, давно заброшенной мазанке без крыши. Потолок ее в нескольких местах провалился, сквозь дыры и пустые окна хлестал ливень. Анна выбрала место посуше, прижалась к облупленной, побеленной когда-то стене. Иван стал рядом, коснувшись ее плеча, почувствовал, что Анна дрожит от озноба.

— Х-холодно,— сказала она и, как показалось Ивану, плотнее прижалась к нему. Тогда он встал перед нею, притиснул ее к стене своим телом.

— Ты... Иван! — придушенно крикнула она.

— Согрею тебя,— сказал он шепотом, взял ее за плечи, нагнулся над ней... Поцелуй пришелся куда-то в краешек губ.

— Ва-анька-а! — Анна оттолкнула его, отбежала, закрыла лицо ладонями, горько зарыдала.
— Что ты, Ань?! Я ничего... ничего не хотел.
— Как ты мог? Как ты мог?!
— Не знаю, ей-богу, я... Не знаю...
— Ты посмеяться хотел надо мной! Я некрасивая, нескладная...
— Почему? Ты — красивая. Я вижу. И еще красивше будешь.
Анна оторвала лицо от ладоней.
— Это как так — видишь?
— Ну, вижу — и все. И я женюсь на тебе, ежели ты тоже... А отец твой — он обещал...
Кафтанов действительно несколько раз в течение зимы и весны, заходя в конюшни, оглаживал руками пляшущих лошадей, говорил Ивану полушутя-полусерьезно:
— Старательно, гляжу, робишь, парень, заботливо. Так, глядишь, и вправду Анютку себе заробишь. Молодчага, не в пример братцам своим. Ну, старайся, а я слову своему хозяин. Али разлюбил ты ее? Нет?.. Ну-ну, зашелся, как девица стыдливая! Гляди, краской не захлебнись.
Иногда у Ивана рождались мысли, что Кафтанов играет с ним, как с маленьким. Анну за него никогда, конечно, не отдаст. Но вчера, велев запрячь жеребца в коляску, сказал вроде по-серьезному:
— Слушай меня, Иван... Уезжаю я по делам надолго, Анну, гляди, не вздумай мне испортить. Что позволишь себе раньше времени — возьму овечьи ножницы и головешку тебе остригу, как маковку. Ответа я не боюсь тут, на земле, а на небе оправдаюсь как-нибудь. Понял?
...Дождь был сильный, но короткий, туча прокатилась над Михайловкой, ушла, засинело сквозь дырявый потолок мазанки вечернее светлое еще небо, скапывали на полусгнивший пол сверху тяжелые капли.
— Это как — отец обещал? — переспросила Анна, прикрыв локтями плоскую грудь. Сероватые глаза ее, большие, чуть продолговатые, ясные и уже красивые, горели удивленно, вопросительно.— Кому он обещал?
— А мне...
— Тебе?! — Анна пошевелила, как крылышками, длинными бровями, постояла задумчиво. И пошла из мазанки, сказав: — Ты чуток погодя выйди, а то приметят, что вместе мы...
По раскисшей от дождя улице Анна шла тоже задумчиво.

* * *

Еще в четырнадцатом году Демьян Инютин вдруг изъявил желание стать деревенским старостой.
— Это для чего тебе? — нахмурился Кафтанов.— Плачу, что ль, мало? Да еще воруешь, сколь надобно.
— Господь с тобой, Михайла Лукич! Обижаешь за напраслину.
— Ты бы подумал, дурень одноногий, сколь делов сейчас у нас! Война же, я большие подряды на поставку зерна и продуктов всяких взял. Вот сейчас завозни, склады надо строить...
— Да каки таки обязанности у старосты? — убеждал Инютин своего хозяина.— Это мне так, для внутреннего ублаготворения. А тебе как служил, так и буду.
— А черт с тобой, ублаготворяйся,— махнул рукой Кафтанов.
Как-то глубокой уже осенью, когда вот-вот должен был лечь снег, поздним непогожим вечером Федор Савельев столкнулся со старостой Инютиным на улице нос к носу.
— А-а, вон что за мил человек,— ухмыльнулся Демьян.— Ну-ка, зайди ко мне. Ишь ветрище-то хлещет...— И, видя, что Федор колеблется, добавил построже: — Заходи, об работенке твоей потолкуем.
Кирюшка тогда учился в Шантаре, дома была лишь жена Инютина. Когда-то она была худой и тонкой, как щепка, но после возвращения мужа с японской год от году начала толстеть, за несколько лет ее разнесло неправдоподобно, в двери она пролазила только боком, летом помирала от жары. Все знали в деревне, что

в особо знойные и душные дни она отсиживалась в ледяном погребе, лежала там на прохладных подушках, хрипела, как закормленный боров в клети.

По-гусиному переваливаясь с боку на бок, она внесла кипящий самовар и, так же переваливаясь, ушла.

— Помрет скоро,— сообщил Инютин.— Жирянка, видишь, давит ее. Не ест почти ничего, а разносит. Болезнь есть такая — жирянка. Давай чайком, что ли, погреемся. Пей.

Федор, удивленный, покорно пододвинул к себе чашку.

С полчаса они молча схлебывали с блюдец, Инютин время от времени упирал в Федора горячие зрачки, тот ежился и потел не то от чая, не то от этих взглядов.

Потом Инютин встал, стуча деревяшкой, прошел к вешалке, пошарил в карманах пиджака, вернулся к столу и сунул Федору радужную десятирублевую бумажку.

— Это... за что? — Федор испугался, спрятал назад руки.

— Взя-ать! — рявкнул Демьян.

Федор вздрогнул от этого крика. Когда брал деньги, руки его тряслись.

— Г... такое! — посинел от гнева Демьян.— Воняет, а туда же — за что? За то, что Антошку, братца своего, тогда выдал!

— Я? — обомлел Федор, отбросив деньги.— Да ведь ты сам выследил меня, когда я к Звенигоре пошел! Ты шашкой чуть не проколол меня, да я и то ничего не сказал...

— Замолчь! До-олго я к тебе приглядывался, парень. Михаил-то Лукич не тот ключик в тебе повернул, за горло схватил тебя. А ты не любишь этого до смерти, я понял. А поняв, брать тебя руками ни за горло, ни за что другое не буду. Ты и так у меня теперя не вывернешься. Ну-ка, чем оправдаешься, коли я объявлю по деревне, что сам ты нас повел к Змеиному ущелью, сам указал, где он прячется?! А мне ведь недолго...

— Да ты что?! Антон вернется — все опровергнет. Всю твою клевету...

— Когда еще вернется, а пока похлебаешь. Да и вернется ли? Убежал он с тюрьмы недавно, но опять поймали. Петлю для него уже ссучили, кажись.

Федор мешком опустился на табурет. Инютин нагнулся и поднял с пола деньги, всунул Федору в потную ладонь. И заговорил как ни в чем не бывало, ковыляя по комнате:

— Да, подпортил тебе карахтер всю карьеру, голубок. Михаил Лукич много мог сделать для тебя, а ты норов показал. Ну, он, Кафтанов, только покладистых любит, таких, как я вот. Теперя ты для него отрезанный ломоть... Да... А я за тобой, говорю, долгонько приглядывал. Глаза у тебя жадные, хищные. Помню я — ноздри у тебя аж подрагивали от зависти, когда Кафтанов на заимке пировать с сударушками зачинал. Сопляк еще был, а уж коленки дрожали...

Федор вскочил, побагровел, стал наливаться ненавистью к этому одноногому старику. И чувствовал, что бессилен перед ним.

— Ты меня не трогай, дед! — захрипел он тяжко.— Не трогай! Грех будет... Как на духу говорю.

— Как же... Понял же, сказываю, твой карахтер. Еще мальчонком грозился вилами бок мне пропороть.— И заговорил жестче, притушив сладенькие свои улыбочки: — Токмо, родимый, одного не взял в расчет — не к кому прислониться тебе, окромя, значит, меня теперь. Ну, ты не взял, да я обо всем подумал...

За окном порывисто хлестал ветер, рвал ставни, чуть не выдавливал черные стекла. Перед домом Инютина росли две старые высокие сосны, они стучали по тесовой кровле ветками. И казалось, что по крыше ходит кто-то грузный, неповоротливый и тоже с деревянной ногой.

— И вот слухай, Федор, что я тебе скажу теперь... тоже как на духу. Слухай и смотри свою выгоду. Прикинул я — полезный со временем станешь ты мне человек. Кафтанов тебя вышвырнул, значит, а я подбираю. Потому что верные люди мне тоже нужны. Я конечно, не Кафтанов Михаил Лукич, но второй человек на деревне после него, а по некоторым моментам и первый. Да... И надобно знать мне, об чем мужичишки наши деревенские толкуют промеж собой, что они обо мне да об Михайле Лукиче думают-размышляют, мыслишки то есть какие у них шевелятся? Допустим, это и все равно мне, а все ж таки любопытственно...

— Ловок! — кинул ему Федор.— В доглядчики нанимаешь меня?

На эти его слова Инютин внимания не обратил, будто не слышал их, продолжал:

— За Антошку, братца твоего, невзлюбил я всю вашу семью, прищемляю давно. Грешен, слабость это человеческая, а по большому размышлению — и глупость. Ладно, дам какую-нибудь работенку Силантию. И тебе дам. Правда, сам-то Лукич серчает все на Силантия: работник, грит, золотой, да волчат взрастил. Ничего, я смягчился и его смягчу... Да-а, а тебе, значит, по трешке буду платить в месяц... сверх твоих заработков. А эта красненькая — так, за сговор.

И, подойдя вплотную к Федору, выдохнул ему в лицо и дважды точно кулаком толкнул:

— Так как?

Федор попятился, замотал головой:

— Ах ты... гад! Ты что зто предлагаешь? На что сговариваешь, пень трухлявый? А?

— Для кого трухлявый, а для тебя золотой, может,— усмехнулся Инютин. И вдруг, видя, что Федор опять хочет швырнуть деньги, дернул желтыми, сухими губами, задрожал в гневе.— Д-думай, ноздря сопливая! Единожды раззявил рот, вывалилось счастье, так вдругорядь покрепше зажимай... ежели не совсем дурак! И не вздумай у меня урусить, я те на всю жизнь тогда прижгу тавро, как жеребцу на холку. Я не постесняюсь про Антона-то! Ступай! Ступай — и думай. В воскресенье к вечеру придешь, скажешь, согласен ли. И первую трешницу получишь.— И, подтолкнув его к двери, зашептал сразу как-то мягко, вкрадчиво: — Делов тут у тебя — послушать да сказать... Задарма деньги. А я не обижу нужного мне человека никогда. Думай, Федьша, ты парень неглупый. Жду, жду в воскресенье...

* * *

В воскресенье Федор пришел к Демьяну Инютину и, краснея, все же получил первую трешницу.

* * *

Сына своего, Кирюшку, чахлого, желтого, как трава на гнилом болоте, Демьян Инютин долго учить не стал. Несколько лет Кирюшка вместе с Анной Кафтановой походил в Шантарскую церковноприходскую школу, и Демьян решил — хватит. Он давно определил сына на свое место, а тут грамоты большой не надо, была бы сообразительность да хватка пожестче.

Однако на свое место он определил сына, так сказать, на самый последний случай. В первую же очередь он лелеял в душе другие, шибко затаенные пока, мысли. Что же, думал он, ворочаясь в постели без сна, Анна Кафтанова и Кирюшка одногодки ведь. Придет пора, и мужик Анне потребуется...

Забившись глубоко под стеганое одеяло, в душную темноту, Инютин строил план за планом. Вот женится Кирьян на Анне, да... Сам Кафтанов быстро стареть начал, крепенько пьяные кутежи его поизносили. Ему бросить бы все это, а он не унимается, на пару с сынком Зиновием «собачники», как старый Силантий Савельев говорит, устраивают теперь. Ну, пущай устраивают, очень может быть, что обопьются когда да и... Ведь бревнами иногда на заимке валяются, ни уха ни рыла не вяжут. В такой-то зимний вечерок натопить пожарче печи да трубы пораньше закрыть, покуда синие угарные язычки еще меж углей шевелятся... Постонут-постонут в тяжком хмельном сне, да и затихнут... Пущай разбираются потом. Угорели и угорели по пьяному делу, обыкновенный случай. И тогда что? Окромя Анны один Макарка из кафтановского роду останется. Ну, да младенец мало ли от чего помереть может? По недогляду чугунок с кипятком на себя опрокинуть может али, наоборот, застудиться на морозе. Да-а, все может случиться. Были Кафтановы, да вышли все. И остались одни Инютины, начался их род...

От таких мыслей Демьян сам угорал будто под одеялом, огненно-рыжая борода его мокла, он выпрастывал лицо на воздух, жадно дышал.

Мечты эти были сладостны, но Инютин понимал, что до осуществления их далеко, далеко... Может быть, они и вообще несбыточны. Главная причина — очень уж хил и немощен Кирюшка, невзрачен. Ну до того непригляден, что Кафтанов сказал однажды: «Какой-то он у тебя... В его рту мухам удобно спариваться...»

Временами Демьян ненавидел единственного сына за его хилость. Но все-таки упрямо думал: ничего, подрастет, окрепнет, вольются в него соки... И выговаривал чуть ли не каждый день ему:

— Гляжу — с Настасьиной Анфиской все в пыли копаешься. Что те эта нищенка? Ты с Анюткой Кафтановой дружися.

— Анютка царапается шибко,— колупая в носу, отвечал Кирьян.— А Анфиска добрая.

Но пока, в общем, Демьяна не шибко беспокоило, что его сын выделяет в детских своих играх Анфису — девочку худенькую, темноглазую, длиннорукую, похожую на затравленного зверька.

Встревожился он, когда Кафтанов отправил дочь в Новониколаевскую гимназию. Но виду не подавал, только при случае говорил, вздыхая:

— Дай-то бог ей ума-разума набраться, настоящей барыней будет. Только гляди, Михаил Лукич, девка деревенская, доверчивая, в городе там ухари разные, испортят живо девку либо еще что... Что тогда? Приползет ежели за ней дурная славушка, сам знаешь, до смерти не отцепится, не житье, а каторга ей в деревне будет. Ну, да в городе, может, думаешь на жительство ее определить. Тогда ничего...

Недавно Макарка, находившийся после смерти матери под приглядом Лушки Кашкаровой, захворал, проболел всю зиму почти. Кафтанов, испугавшись за его жизнь, перестал даже пить.

— Чужое дитя — всегда без глазу,— несколько раз говорил Инютин.— Гляди, Михаил Лукич... Ты хоть гневайся не гневайся, а я правду говорю. Чужая кровь не зовет. А у тебя своя нянька есть, Анна-то...

Это, видимо, и решило дело. Кафтанов самолично съездил в город за Анной.

Не ускользали от внимания одноногого Инютина и отношения Анны с Иваном. Но здесь он был уверен, что Кафтанов скорее передавит горло дочери собственной рукой, чем отдаст ее за Ивана.

Непрекращающаяся дружба сына с Анфисой наконец затревожила Инютина всерьез. Дочка вдовы Настасьи Анфиса в четырнадцать лет вдруг начала округляться, под кофточкой обозначились острые груди, в глазах засветились иссиня-черные горячие огоньки. Кирюшка старше был ее на два года, он тоже маленько окреп, раздался чуть в плечах, волосы давно зачесывал назад, носом швыркать перестал. Инютин заметил, что при встречах с его сыном круглые щеки Анфиски чуть не лопаются от прихлынувшей крови, а сам Кирюшка тоже смущается, глаза его соловеют, как после стакана самогонки.

— Болван ты, болван! — гремел на него Инютин, подпрыгивая на деревяшке.— Детьми были неразумными — ладно, а теперь... Что в ней, в голодранке? Чтоб за версту у меня обегал ее!

Кирьян слушал, молчал, тер выпуклый лоб узкой ладонью. И знал Инютин — тенью ходил за Анфиской.

А примерно за неделю до приезда Анны Инютин, ковыляя поздно вечером мимо развалюхи вдовы Настасьи, услышал говорок сына за покосившимся плетнем:

— Ты, Анфиса, не гляди, что я не шибко видный снаружи-то. Внутри у меня все красивше, я знаю. Ты поймешь это, увидишь. Я... Ты всегда мне глянуться будешь, как сейчас. А я в человеческой дружбе верный.

— Стыд-то, стыд какой! — пропищала девчушка и, видимо, закрыла лицо ладонями, голос ее стал глуше.— О чем ты говоришь? Об каком замужестве мне еще думать?

— Я не сейчас тебя уговариваю. Может, через год, через два, через три... Но чтоб ты знала...

Инютин так и прикипел на месте, деревяшка его будто в землю вросла.

— Ни в жисть отец твой... ни через год, ни через десять не согласится, чтобы ты взял меня,— помолчав, проговорила Анфиса совсем по-взрослому.— И мать моя так же говорит.

— Куда он денется? Я упрямый. Никто еще не знает, какой я упрямый. А не согласится — не надо. Я тебя в Шантару увезу. Али еще куда. Работать будем, проживем.

Они помолчали там где-то, за плетнем.

— А я-то тебе глянусь? — вдруг спросил Кирьян.— Хоть маленько?

— Не знаю,— ответила Анфиса доверчиво.— То будто... а то будто и нет.— И, вздохнув, так же доверчиво продолжала: — Мне почему-то парни постарше все глянутся. Гляжу на них и робею. А дружок твой Федька Савельев — так пуще других. Только я всех сильней боюсь его. Нонешней зимой, как он с тайги за харчами приезжал, мы встретились на дороге с ним... Он усами пошевелил, а у меня аж мороз по коже. Зачем он усы, как настоящий мужик, отрастил? Ты скажи, страхолюдют они его.

— Сама и скажи,— буркнул Кирьян недовольно.

— Ой! Стоит там кто-то...— глухо воскликнула Анфиса.

Это Инютин пошевелился, шваркнул по земле подошвой единственного сапога. За плетнем прошуршали шаги Анфисы и Кирьяна, быстро удаляясь. Инютин постоял еще, ухмыляясь недобро в темноту, и заковылял дальше. Он знал теперь, как избавить сына от Анфисы.

* * *

Полыхавшая где-то война почти не коснулась Михайловки, если не считать, что в разное время на фронт взяли бывшего старосту Панкрата Назарова, худосочного и вертлявого Евсейку Галаншина, чернобородого мужика Петрована Головлева да еще с полдюжины молодых парней. Отголосили по новобранцам родственники, отвезли их на подводах в Шантару, вернулись молчаливые, будто с кладбища, и жизнь потекла, как и раньше, уныло и тягостно.

И впрямь будто не в Шантару, а в могилу отвезли мужиков и парней — прошел год, другой, начался третий, а от взятых на войну ни слуху ни духу. За все время только Панкрат Назаров написал домой два письма, но об односельчанах он не упоминал.

Было еще три-четыре письма от сына Арины Кружилиной. Но о чем писал бывший кафтановский приказчик, никто не знал. Арина, сама неграмотная, письма эти читать в Михайловке никому не дозволяла, ходила для этой цели в Шантару, к молоденькой дочке шантарского учителя Куличенко. Возвращалась она оттуда всегда просветленная, но строгая, еще более молчаливая и на все вопросы отвечала одинаково:

— Ничего. Живой-здоровый.

Кружилины вообще были людьми непонятными, пришлыми. Мужа этой самой Арины, Матвея, теперешние жители Михайловки почти не помнили, он умер больше двадцати пяти лет назад. «От кашля он скончался, всю грудь начисто искашлял»,— объяснила тогда его смерть Арина, прижимая к себе маленького Поликарпа, будто его кто-то собирался у нее отнять. А тогдашние старики, которых нет теперь в живых, рассказывали, что Матвей Кружилин бывший каторжник. Раньше он жил где-то в России, там существовало тогда крепостное право. Матвей якобы подбил мужиков на бунт, они сожгли помещичью усадьбу, за что молодого Матвея Кружилина и заковали в железо, отправили в Сибирь. Кандалы он носил лет двенадцать, потом долгие годы жил на поселении в Нарыме и, наконец, в 1890 году приехал с рябой своей и брюхатой бабой в Михайловку, вырыл на краю деревни землянку, а через год и помер.

После его смерти Арина работала почти все время у Кафтановых — те начинали тогда только-только богатеть. Жила она с сыном Поликарпом все в той же землянке, сын ее рос здоровым, крепким. Он рано научился курить и пить, иногда приставал к кочевавшим по округе цыганам, уходил с каким-нибудь табором на все лето, но осенью, когда начинались холода, неизменно возвращался в деревню, грязный, завшивевший, но всегда в добротной одежде, а в карманах побрякивала у него кое-какая мелочь, шуршали и бумажки. Во всяком случае, темную, сырую дыру Кружилины вскоре бросили, купили старенькую избу на другом конце села.

В это-то время и обратил впервые Кафтанов свое внимание на Поликарпа.

— Где ж ты, молодец, денег раздобыл на целую избу? — спросил он у молодого Кружилина, остановив его возле своей лавки.— Заработал или украл?

— А напополам,— дерзко ответил Поликарп.

— Гм...— ухмыльнулся Кафтанов.— А плясать по-цыгански умеешь?

— И плясать маленько учился.
— Покажь,— потребовал Кафтанов.
— Даром? Жену свою даром заставляй перед сном плясать.
— Гм...— опять произнес Кафтанов, достал бумажник, вынул двугривенный.
— И хлебнуть бы для веселья... чтоб ноги живей двигались.
— Ах ты стервец! И водку жрать научился?
— Всего помаленьку, дядь Миша. Али жалко?

У крыльца лавчонки собрались уже любопытные. Кафтанов распорядился вынести бутылку.

Поликарп был в зеленой шелковой рубахе, какие любят цыгане, подпоясанной шелковым же, грязным только пояском, в крепких сапогах. Он взял из рук Кафтанова чуть не полный стакан водки, выпил несколькими глотками и, к удивлению Кафтанова и мужиков, даже не поморщился. Потом кинул стакан кому-то, прошелся лениво возле крылечка, как бы требуя сделать круг пошире, постоял будто в нерешительности, колупнул даже по-детски в носу.

— Без музыки что за пляска! — произнес он.

Послышался насмешливый хохоток, кто-то сказал:

— Никудышному танцору завсегда или музыки не хватает, или ноги мешают.

И тут Поликарп гикнул пронзительно, тряхнул длинными вихрами и пошел боком, согнувшись, еще больше расширяя круг, и, оказавшись напротив Кафтанова, попятился от него, выбивая глухую дробь, звонко щелкая себя ладонями по груди, по коленкам, по голенищам сапог. Ропот и смешки сразу стихли. Кафтанов, сидевший на ступеньках крыльца, даже привстал. А Поликарп еще раз гортанно, по-цыгански, вскрикнул и завертелся, как волчок, взбивая клубы пыли.

Плясал Поликарп долго, минут пять наверное, ходил вприсядку, боком, передом, выделывал головоломные коленца и все безжалостно и звонко хлестал себя ладонями. Потом заскочил на крыльцо, сильно толкнув Кафтанова, и там дал такого трепака, что крылечко, казалось, вот-вот развалится. И наконец еще раз вскрикнул, оперся руками о край крыльца, вскинул ноги вверх, грохнул в воздухе каблуками — будто выстрел раздался,— перевернулся через голову и встал на землю как вкопанный. Три-четыре раза он шумно вздохнул, поправил сбившийся поясок, оглядел мужиков и сказал:

— Без музыки что за пляска? Так, суп без мяса. Есть можно, а вкуса нету.

И, пройдя сквозь безмолвно расступившуюся толпу, скрылся за углом лавки.

— Н-ну, сволота! — восхищенно сказал Кафтанов.

Через полгода он взял Кружилина приказчиком в лавку, перед которой плясал Поликарп, потом перевел его в Шантару, положил высокий оклад, намного выше, чем остальным приказчикам, и это никого не удивило. Не удивляло и то, что он сделал потом молодого парня «смотрителем» своей заимки. И когда началась война, многие говорили:

— Кого-кого, а Поликашку, любимца своего, откупит Кафтанов от фронта.
— Как же... Пса из него растит. И вырастит...

И потому несказанно изумились люди, когда Поликарпа Кружилина взяли на войну вместе с другими.

Но, в отличие от других, по нем никто не плакал. Попрощаться с матерью он приехал в Михайловку не один, а с дочкой шантарского учителя Куличенко. Звали ее Анастасия, она была очень тоненькая, хрупкая, с большими, по целому пятаку, глазами, с тяжелой, длинной косой.

— Вот, мамаша, это Тося,— сказал он матери.— Ежели вернусь живым, мы с ней сразу и обвенчаемся. Родители у нее хорошие, они тоже согласные. А Тося меня будет ждать. Будешь?

— Я тебя, Поликарп, до старости буду ждать,— сказала девушка глуховато, на большие глаза ее навернулись слезы.

— Ну! — помрачнел Поликарп.— Без этого... Договорились же.

Вечером того же дня Кружилин с дочерью учителя Куличенко из Михайловки и уехали, а теперь Арина ходит к ней в Шантару читать письма от сына.

Но вот с полгода уже перестал писать и Поликарп. Арина чуть не каждую неделю ходила в Шантару, но возвращалась оттуда мрачная, почерневшая. Видно, не было писем от Поликарпа и большеглазой дочери учителя Куличенко.

И вдруг Поликарп сам объявился в Михайловке.

Он приехал после полудня с попутной подводой — худущий, коротко остриженный, в длинной солдатской шинели с обрямканными краями, с забинтованной до локтя левой рукой, подвешенной к шее на цветастом платке. Платок, видать, был ее, Анастасии Куличенко, и сама она приехала с Поликарпом, помогла ему слезть с телеги, а потом метнулась навстречу Арине Кружилиной. Старуха бежала от дома запинаясь, ноги ее не держали, она готова была рухнуть на землю, но Анастасия подхватила ее.

— Сынок! Сынок... Приехал...— бормотала Арина.

— Приехал, мама! Приехал он... Ничего, рука несильно повреждена, выздоровеет! — прокричала ей сквозь радостные слезы девушка.

Через полчаса тесная избенка Кружилиных была битком набита людьми. Старики чинно сидели по лавкам, ребятишки и бабы грудились у дверей, а с улицы все тискался и тискался народ — шутка ли, первый фронтовик объявился в Михайловке! Входили, крестились на закопченную иконку в углу, здоровались, со страхом и любопытством глядели на Поликарпа...

* * *

Приехав по вызову Демьяна Инютина из тайги, пропарив заросшее грязью тело, Федор, придя в полночь из бани, выпил чуть не бутылку самогонки, лег и проспал на следующий день до обеда.

Встав, он допил вчерашнюю бутылку, подошел к окну и увидел в конце улицы Анну Кафтанову. Анна держала за руку трехлетнего Макарку. Мальчишка капризничал, хныкал, девушка останавливалась, что-то говорила ему.

Пощипывая кончик жиденького уса, Федор глядел на приближающуюся Анну, вспомнил, что когда-то, давным-давно, во время службы «смотрителем» на Огневской заимке, начинали вроде бродить в голове его неясные мысли: взял бы Михаил Лукич Кафтанов да и женил его, Федора, на Анне. Потом, после истории с Антоном, мысли эти растаяли как дым и никогда не возвращались, не тревожили его, тем более что Анна обещала вырасти в нескладную, плоскогрудую бабу. «Вот уж верно, не в коня корм бывает,— насмешливо думал Федор, встречаясь случайно с ней.— Заместо дощатых дверок в плетень ее можно приладить».

В последние годы Федор обратил внимание на дружбу брата своего Ивана с Анной, подсмеивался иногда:

— Кавалеры, говорят, объявились в деревне — ты да Кирька Инютин, а? Тот тоже, как петушишко, все вокруг Анфиски скачет.

Иван наливался краской, отмахивался:

— Иди ты... Мелешь чего зря.

Но когда Кафтанов взял Ивана в конюхи, поселилась в душе у Федора тревога какая-то, почувствовал он раздражение на самого себя. И помимо воли, помимо желания всплывали иногда мысли: «Не может быть, чтоб между Анной и Ванькой что-то... А все ж таки, чего не бывает? Кафтанов сумасбродный. И вдруг да... Анна — доска доской, да с лица воду не пить. У Кафтанова самого жена была жердь сухостойная, да он не страдал от того... Наломал я дров с этим проклятым Антоном, черт его принес тогда на заимку...»

И нынешней весной решил вдруг Федор: «Надо будет попытаться с Анной. Если выйдет что, Кафтанов хоть локти до крови обгрызет себе с досады, а куда денется? А не выйдет — хоть ославлю... Не забыл я, гад такой, как за шею меня схватил тогда... И никогда не забуду».

Решение насчет Анны созрело у Федора не вдруг и не на пустом месте, как говорится. Вырос он парнем ладным, красивым и знал это. Давно уже деревенские девки поглядывали на него испуганно-любопытно. И дочка Кафтанова, подрастая, начала покидывать на него такие же любопытно-застенчивые взгляды. Он тотчас отметил это и при случайных встречах прищуривал глаза, оглядывал ее молча с головы до ног. Анна спешила уйти с его глаз.

Вспоминая все это, Федор смотрел на приближающуюся Анну. Затем поднялся, вышел на крыльцо, стал возле стенки, в тени, так, чтобы Анна не сразу увидела его. Она шла по деревенской улице медленно, время от времени бросая на домишко Савельевых нечаянные взгляды. «Ваньку выглядывает?» — неприятно кольнуло Федора.

— Ванька с утра в тайгу уехал,— произнес он, выйдя из тени.

Анна, увидев Федора, прижала острые локотки к груди, брови ее изогнулись. Она постояла неподвижно, сурово глядя на Федора.

— А ты, Анна, не шибко-то сохни по нем,— сказал Федор со смешком.— Я ведь тоже все время думал про тебя в тайге... Как мы тебя с братом делить будем?

Руки ее упали вдоль тела, она как-то странно, торопливо выдохнула из себя воздух, будто всхлипнула, схватила на руки Макарку, побежала в переулок.

Бежала она быстро, не оглядываясь, длинная юбка зеленым пламенем хлесталась и хлопала вокруг ее ног.

Проводив ее взглядом, Федор стал соображать, где бы и как встретиться ему с Анной один на один.

Вечером он, шагая к дому старосты, услышал вдруг:

— Федор Савельев, никак?!

Сбоку за невысокой жердяной изгородью стоял Поликарп Кружилин. Федор знал от матери, что Поликарп на днях объявился с войны, но в первые секунды не узнал его. Буйные черные волосы были сострижены, глаза запали, скулы сильно выпирали. Ростом он был не очень высок, но сейчас, высохший, похудевший, в блекло-зеленой солдатской рубахе, казался длинным, чужим, незнакомым.

Поликарп глядел на Федора безотрывно. И Федор вспомнил почему-то давние слова Кафтанова: «Поликашка Кружилин — тот крепкий на банный жар... Жалко и прогонять было отсюда, да в глазах его резь какая-то появляться начала. Так ничего-ничего, да иной раз как глянет — будто надвое перережет, сволочуга...» Вспомнил ясно и отчетливо, точно сказаны они были вчера только. И вдруг показалось Федору, будто он тоже чувствует эту резь. И еще почудилось, что Поликарп напоминает кого-то этим своим пристальным, глубоко проникающим взглядом. Подумал и догадался — старшего брата Антона напоминает.

— Заходи, Федор.— Поликарп распахнул воротца.

Федор прошел в глубь усадьбы. Под старой березой стоял стол. На столе зеленым боком поблескивал самовар, большеглазая девушка с длинной косой убирала чайную посуду.

— Это Федька Савельев, Тося,— сказал Поликарп девушке.— Тоже на Кафтанова всю жизнь спину гнет. Кто сейчас у него в «смотрителях»-то на заимке?

— Не знаю. Я с тайги только вчера приехал.

Девушка улыбнулась Федору, унесла самовар.

— Ну, и как вы там, в тайге?

— Ничего, робим.

— Мужички-то что?

— А что?

— О чем думают-размышляют?

— Откуда я знаю, об чем? Харчи ежели плохие, матерятся почем зря. Кафтанова костерят. Да какие мужики? Старичье да бабы.

— Об войне что думают?

— Да что? Ничего. У кого взяли на войну мужиков, ревели часто сперва. Потом, давно уже, перестали. Сейчас молятся только.

— И все?

— А что еще?

Поликарп помолчал, задумчиво глядя в сторону. И все колотил пальцами по столешнице.

— Да-а, Федьша... Вот и я гляжу — идет тут жизнь, как стоячее болото. Хорошо-о тут Кафтанову.

— Ему везде неплохо. С деньгами-то.

— Да? — Поликарп быстро кинул глаза на Федора.— Это как сказать...

Федор хотел спросить, почему это Кафтанову плохо было бы в другом месте, но не осмелился.

— Про Антона, брательника старшего, ничего не слыхать? — спросил Поликарп.

— Нет.

Солнце спустилось за Звенигору, оно словно провалилось куда-то сквозь землю у самого подножия, потому что его лучи били теперь из-за скал отвесно

вверх. Потянул ветерок, ощутимо повеяло прохладой, старая береза зашумела жесткой, пыльной листвой.

— Работать опять у Кафтанова будешь? — спросил Федор.

— Теперь он разве возьмет меня? — усмехнулся Поликарп. И, помолчав, прибавил: — Да я не тужу, без работы не останусь.

— А как все ж таки там, на войне?

— Интересуешься?

— Поговаривают, и меня могут вскорости взять.

— Тебя? — Поликарп сощурил глаза, помолчал.— Вряд ли тебя возьмут теперь. Не успеют.

— Это как так? К концу идет, что ли?

— К концу. По всему видать,— кивнул Поликарп.

Уходил Федор от Кружилина съежившись, чувствуя на своих лопатках острый его взгляд. Шел и думал, что «резь» в глазах Поликарпа действительно есть, что все время, пока он сидел за столом, Кружилин обдирал его взглядом будто хотел разглядеть насквозь.

...Потом Федор, вместо того чтобы идти к старосте, долго, до самых сумерек, сидел в жиденьком перелеске под старой, чахлой сосной, глядел, как чернеют, остывая, каменные утесы Звенигоры.

Гулял не сильный ветер где-то поверху, качал потихоньку старую, высохшую почти сосну, ее верхушка шумела не очень громко, но тоскливо, будто жалуясь на ночь, на темноту, на свою старость и одиночество. Над сосной кружили почему-то вороны.

От мысли, что надо идти к Инютину, что он увидит сейчас опять его лисью бороду, круглые водянистые глаза, волосатый, тоже круглый, как подковка, рот, Федора мутило. Но все-таки поднялся наконец, пошел. Ветер расшвыривал, растаскивал над головой невидимые тучи — вверху замелькали широкие звездные прогалины, как лужайки с желтыми цветами.

Огней в деревне не было —как началась война, туго стало с керосином. Только в лавчонке вот да еще в доме Кафтанова светилось одно окошко на втором этаже. «Чье же это? Не Аннино ли?» — подумал Федор, чтобы не думать об одноногом Инютине.

И пошел на этот огонек, хотя идти ему надо было совсем в другую сторону.

Минут десять он бродил вокруг кафтановских завозен, постоял возле штакетника, поглядывая на светящееся окошко. Теперь он знал, что это ее, Анны Кафтановой, комната: раза два-три он видел на стене тень от ее головы, потом и сама она подошла к окошку, задернула цветастые ситцевые занавески. И Федор, не отдавая себе отчета, что делает, перемахнул через штакетник, подбежал почти к самой стене, схватил горсть земли пополам с песком и швырнул в окно. Стекло тихонько звякнуло, по занавеске скользнула тень, и окошко потухло. Он бросил еще горсть песка. И стал ждать чего-то, прислушиваясь, но ничего не услышал, абсолютно ничего, только лаяла на другом конце деревни собака. И медленно пошел по кафтановскому подворью.

Усадьба была огромная. Сам дом стоял в глухом, крайнем переулке, окнами глядя на деревню. Справа и слева когда-то были пустыри, потом деревенские мужики распахали их под огороды, а сзади дома, саженях в полутораста, стояли в жиденьком перелеске коровники и конюшни, хлебные амбары, всякие навесы, повети и прочие постройки. Место для хозяйственных построек было очень удобное, сразу за коровниками и конюшнями начинался редковатый лес, через который к кафтановской усадьбе были наезжены дороги. Между хозяйственными постройками и домом — огород, сад и ягодники. Жена-покойница Кафтанова, большая любительница всяческих варений, каждое лето заставляла баб расчищать заросшие диким кустарником участки, копать лунки, высаживать в них рябину, черемуху, облепиху, яблоньки-дички. За несколько лет на усадьбе вырос хороший сад. После смерти жены Кафтанова и сад и ягодник стали приходить в запустение. Потом Кафтанов велел часть сада безжалостно вырубить, по обеим сторонам дома поставить по три длинные завозни. Так было и сделано, завозни поставили, за время строительства вытоптали почти весь оставшийся ягодник, поломали, попортили остаток сада, и теперь лишь кое-где торчали сиротливо деревья и кустарники.

«Тоже мне хозяин! — подумал Федор со злостью о Кафтанове.— И красота была какая, а главное — сколь добра этот сад да ягодник давали. Варенья одного, сказывают, десятки пудов варили. Да молотая черемуха, да сушеная малина... Все-то не пожрать им — так продавали бы. Я бы, владей всем этим, продавал. А завозни там, за конюшнями, поставил бы. Места разве мало?»

Федор сожалел о загубленном саде, как о своем собственном, не замечая, впрочем, этого.

Он снова оказался у крыльца. Поднялась луна, осветила это высокое крыльцо с перилами, крепкие двери с железным кольцом. И вдруг кольцо шевельнулось. Федор мгновенно отпрянул в сторону, за черемуховый куст. Сильно заколотилось его сердце, он был почему-то уверен, что из дома выйдет Анна.

И действительно, открылась тихонько дверь, и вышла Анна. Она была в той же кофте и зеленой юбке, что и днем, лишь волосы распущены, будто девушка только что пробудилась ото сна, оделась, а причесаться еще не успела.

Вела она себя странно. Сперва высунула из дверей голову, прислушалась. Потом вышла на крыльцо, постояла, прижавшись спиной к дверному косяку, вытянувшись стрункой. Она часто дышала, будто ей не хватало воздуха.

Помедлив, девушка пошла к калитке, остановилась там, глядя поверх штакетника в пустой сумрачный переулок. Когда Федор осторожно, почти на цыпочках, подходил к ней, он услышал, что она тихонько-тихонько поет:

Рябинушка качается
Всю ночку напролет,
А девонька все мается
И все кого-то ждет...

Федор спросил вполголоса:

— Меня, может?

— Ох!

Стегани ее кнутом вдоль спины — и то Анна не обернулась бы с такой поспешностью.

— Чего испугалась? Не бойся.

— Уходи...— слабо вскрикнула она, скользя спиной вдоль забора, точно хотела упасть на бок.

Федор не дал ей упасть, цепко схватил, прижал к забору, ощутил, как дрожат ее коленки. А потом его рука сама собой скользнула с ее плеча вниз, он ощутил под ладонью бугорок ее груди, сильно сжал, а другой ладонью взял Анну за затылок и, преодолевая сопротивление, пригнул голову к себе, поцеловал прямо в горячие, сухие губы. Пока целовал, она стонала и билась, потом обмякла, замолкла. «Вот и все»,— усмехнулся Федор, оторвал ее от земли, понес мимо крыльца, мимо завозен в глухое место, в заросли. Он нес, длинные волосы ее тяжелыми прядями болтались где-то у его колен, она держалась за его шею и почему-то все повторяла:

— Я ведь думала — ты ушел... Я думала — ушел ты...

И когда стал класть ее на землю, она легла покорно, не сопротивляясь, только сказала негромко и задумчиво как-то:

— Бабу хочешь с меня сделать? Ну, делай. Только помни — этой же ночью я и задавлюсь. Как мамка...

И, перевернувшись на бок, заплакала, тяжко зарыдала, тыкаясь лицом в теплую и пресную травянистую землю.

Она плакала, разметав по земле космы волос, и Федор, не на шутку испуганный ее словами, сразу остывший, глядел на нее и думал: «Задавится... Ей-богу, в мать она. А я потом отвечай. Отец ее тогда кишки мне без всякого суда выпустит. Нет уж...»

Сердце его моталось в груди, как у человека, чудом избежавшего смертельной опасности. «Нет уж, не буду эдак... И без того, кажись, никуда теперя не денется. Вот ежели по общему желанию все у нас произойдет, возьми меня попробуй голой рукой тогда, Михайла Лукич...»

Она рывком приподнялась на коленки, отшатнулась подальше, в кустарниковые заросли.

— Уходи! — воскликнула она, сверкая мокрыми глазами.— Зачем пришел? Опозорить меня захотел?

— Нет, Анна. Я по-хорошему.

— **Врешь! Врешь!**

— Если б по-плохому хотел, что мне твои слова? Не поглядел бы.— Он помолчал, посидел, облокотясь о свои колени, свесив голову.— Ну ладно, уйду.— И стал подниматься.— Может, встретимся где когда? Скажи. Твое слово, Анна...

Он ждал стоя. Анна молчала. Тогда он медленно пошел прочь.

— Постой...— прошептала она. Он остановился, вернулся. Еще тише, словно ветерок дунул, она произнесла: — Сядь...

И когда он сел на прежнее место, она всхлипнула, точно ее душили, одновременно качнулась к Федору, упала ему на колени, забилась в них, выкрикивая:

— Дура я, дура, бесстыжая дура!

А Федор гладил ее по острым плечам и улыбался.

В глухом углу бывшего сада, заросшего теперь лопухами и жгучей крапивой, Федор и Анна просидели около часа. Они ничего больше не говорили. Он все гладил и гладил ее по плечам, и она успокоилась, затихла, как ребенок.

— Не верю я, что ты меня... что по-хорошему. Вон сколько девок кругом... красивых,— сказала она.

— Девок много. А меня к тебе только тянет... С Ванькой-то что у тебя? Как теперь? Я ведь не отступлюсь.

— Да что — Ванька?! Что — Ванька! — дважды воскликнула она.

Луна поднялась высоко, когда Федор вспомнил, что его ждет Инютин.

— Это не ты, а я не верю, Анна,— сказал Федор.

— Во что?

— Да во все... дальнейшее. Так, потискаемся друг к дружке, да и горшки врозь. Разве отец твой отдаст тебя... за своего работника?

— Шибко-то я его согласия добиваться не буду... ежели...

Ответ ее не понравился Федору. Совсем не понравился. Он сказал:

— Нет, нельзя так. Что мы, нехристи какие, чтоб без родительского благословения?

— Благословит. Куда денется!

Вот это было уже лучше...

* * *

Инютин Демьян встретил Федора недовольным кряхтеньем.

— Я думал, уж не придешь нынче. Зориться, гляди, начинает. Все по девкам шаришься?

— Что мне, молодому? Запретительно, что ль?

— Кхе-кхе, это верно. Вот тут есть одна девка-ягодка... дочка вдовы Настасьи...

— Анфиска, что ли?

— Она.

— Зеленовата пока.

— Они, такие-то, зеленоватые, куда слаще переспелых. Не знаешь?

— Не пробовал.— Федор сел у стола.

— Ну, попробуй.

— Ишь ты. Сам лучше.

— Сам-то я с усам, да чем усы длинные, пробовалка короче.

Разговор шел в шутливом тоне, Федор не придавал ему никакого значения. Деревяшка Инютина валялась возле кровати. Демьян прыгал по комнате на костылях, волоча пустую кальсонину по полу. Он подскакал к висевшему на стене пиджаку, вынул замызганный бумажник, начал рыться в нем.

— Бери,— сказал Инютин, бросая на стол четыре смятых десятки.— Задарма деньги.

— Это... как? — Федор бессмысленно переводил взгляд с денег на заросший желтым волосом рот Демьяна и обратно на деньги.— За что же столь?

— За дело, ради которого я тебя из тайги вызвал. Это задаток пока. Исделаешь — еще столь получишь.

Пальцы Федора затряслись, он потянулся к бумажкам, но отдернул руку. И в голове что-то плескалось, не то горячее, не то холодное.

— А что я должен сделать? — прохрипел он.

— Здрасте! — недовольно мотнул головой Инютин.— Я ить сказывал. Об Анфиске-то.

— Что — об Анфиске? — тупо уставился на него Федор.

— Спортить, грю, девку надо. Балда непонятливая,— спокойно теперь проговорил Инютин, усаживаясь на другом конце стола.

Федор начал подниматься. Поднимался он тяжело, упираясь в кромку стола, чувствуя, как волнами что-то хлещет в груди — не то горячая кровь, не то просто жар.

— Ты... ты в уме ли?! Какая она тебе девка? Ребенок еще...— Федор не то чтобы испугался — охватил его гнев и брезгливое чувство к одноногому Демьяну.

— У этого ребенка титьки в кофточке не умещаются уже.

— Все равно... Ей четырнадцати нету.

— Пятнадцатый давно идет. Матка ее сказывала — в успенье пятнадцать будет.

— Все равно,— упрямо повторил Федор.— Пущай подрастет еще. Тогда...

— Не тогда, а счас надо... Счас, понял?! — захрипел Инютин. Костыли, которые он держал возле колен, застукали об пол.— Сядь! Садись, говорю! — взревел он, подрагивая маленькими, круглыми, как горох, глазами.

Ноги Федора сами собой подогнулись, он сел, чувствуя, что лоб вспотел, вытер его ладонью.

— Балда,— повторил Инютин, собрал деньги со стола, дважды скакнул на одной ноге вокруг стола к Федору, сунул смятые бумажки ему за пазуху.— Я за что тебя при себе держу, трешницы за каждый месяц плачу?

— Не за это.

— Знамо дело. Потому на особицу это оплачиваю.

Федор молчал, опустив голову. И Демьян молчал, глядел на Федора холодно и брезгливо, крепко сжав сухие, тонкие губы.

— Нет, не буду я... Освободи от этого,— тихо попросил Федор.

Однако Инютин лишь усмехнулся.

— Не надо ссоры-то затевать нам, Федьша. Я для тя поболе, чем отец родной. А поругаемся, разойдемся — что хорошего? Где-нибудь попрекну тебя сгоряча на людях, за что трешки у меня ты получаешь,— ну и как тогда ты?

В груди, в голове, под самым черепом, Федора опять хлестнула горячая волна. Он, багровея, точно хотел загореться настоящим огнем, сорвался с места, шагнул к Инютину, чуть вытянув трясущиеся руки.

— Тогда? — зловеще выдавил он из себя.— Тогда я... продавлю твою дряблую шею пальцами... вот обеими руками вцеплюсь и раздеру надвое... Отдеру головешку-то, как подсолнух от будыля!

— Хе-хе-хе...— негромко, лающе рассмеялся Инютин.— Напугал!

И этот смех, и трясущаяся бороденка старосты обезоружили Федора, потушили его гнев. Руки его опали.

— Напугал-то! — еще раз повторил Инютин.— Ну, отдерешь даже — чего выгадаешь? Я на земле, слава богу, пожил, всего повидал. А ты на каторгу пойдешь. С братцем встретишься там...

Федор плюхнулся на стул, понимая, что защиты от этого старика нету.

— Али, к слову, опять же война эта,— продолжал Инютин, будто ничего не случилось.— Вот-вот взять тебя должны — опять же чего хорошего? Надо думать, как уберечь тебя от мобилизации, поскольку нужный ты мне человек. Я уж нюхал кое-чего в волости и еще покумекаю.

— Изнасильничать, что ли, я Анфиску должен? Тогда ведь бабы проклянут меня, а старичишки прибьют где-нибудь.

— Этого — боже упаси! — строго сказал Инютин.— Она, глупая, сама расстелется, я уж знаю. Слыхал я однажды ее разговор об тебе. С моим Кирюхой разговаривали. Усы ей только твои не глянутся...

И старик рассказал все, что слышал недавно, стоя за плетнем.

— Я так понимаю — Кирюху своего хочешь таким способом от Анфиски отворотить? — спросил Федор с обреченной усмешкой.

— Люблю догадливых да разумных.

— Какую ж ты ему невесту выглядел? Где?

— Это, паря, уж мое дело...

...Из дома старосты Федор вышел пошатываясь. Ночь плыла светлая, от туч, которыми было завалено небо с вечера, не осталось и клочка. Насквозь прошитое яркими звездами, небо испускало какой-то неопределенный, еле-еле внятный звон. А может, это позванивало у него в голове.

Зайдя в свою усадьбу, Федор направился к оставшейся от зимы поленнице дров. Вчера он купил у известной всем в деревне старухи самогонщицы две бутылки, одну сунул за поленницу про запас. Теперь он достал ее, выдернул зубами тряпочную затычку, выплюнул и, запрокинув голову, закрыв глаза, долго сосал из бутылки. Высосав половину, тяжко рухнул тут же на кучу хвороста. Полежал, хрипло дыша, допил остатки, бутылку отбросил...

Он лежал долго, боясь открыть глаза, слушал, как шумит в голове, видел какие-то черные с прозеленью круги, которые крутились, как крутится, образуя страшные воронки, тяжелая вода в бездонных омутах в таежных верховьях Громотухи. Если бросить щепку в такой водоворот, ее покрутит-покрутит, а потом или отобьет на край омута, отбросит прочь, подхватит волной, и она поплывет куда-то вниз по реке, или затянет в самый центр водяной воронки, и щепка нырнет, исчезнет где-то в темных и холодных неведомых глубинах. Федору показалось вдруг, что именно он и есть та самая щепка, что какая-то сила подняла его и понесла в этот водоворот.

Он застонал и с трудом, напрягая все силы, разлепил тяжкие веки. Но перед глазами крутились все те же черные с прозеленью круги. Теперь они были лишь в ярких, как спичечные вспышки, искрах. И все так же казалось, что он, Федор, легонькой щепкой летит-летит в этот страшный омут-водоворот, что сейчас коснется воды и его закрутит, завертит неведомая сила. «Интересно вот только — в воронку затянет, в эту черную глыбь, или прочь отшвырнет»,— мелькнуло у него.

Потом в голове его что-то расплавилось, хмель затуманил сознание, и он захрапел.

* * *

В последние дни 1941 года в Шантаре трещали лютые морозы, а в начале января немного отдало.

Милиционер Аникей Елизаров с ночным товарняком возвращался из деревни Андреевки, приткнувшейся в самом дальнем углу района, где обворовали магазин. Он продрог до костей и, едва поезд остановился, со всех ног кинулся в вокзальчик.

В небольшом пассажирском зале почти никого не было, в углу жарко топилась высокая круглая печка, пахло угаром. На ближайшей от печки скамейке спала, свернувшись комочком, девушка в легком затрепанном пальтишке. Ее черные волосы вывалились из-под грязного платка, свисали со скамейки чуть не до пола, щеки от тепла раскраснелись, из уголка потрескавшихся губ текла слюна. Она спала, видно, давно и крепко.

Отогревшись, Елизаров подошел к девушке, тронул за плечо. Проснулась она не сразу, но, когда прохватилась, быстро вскочила, убрала под платок волосы, затравленно прижалась в угол скамейки, прикрывая рваные чулки полами пальтишка.

— Документики попрошу,— строго сказал Елизаров.

— Ничего у меня нету. Все сгорело там... в вагоне.

— В каком вагоне? Кто такая? Куда едешь?

— Никуда я не еду. Оставьте вы меня в покое! Оставьте!

Девушка была молодая и красивая. Большие, черные, как и волосы, глаза ее заблестели от слез, в них закипала ненависть.

— Я только и объясняю, кто я такая да откуда. Я это в Новосибирске объясняла. В какой-то милиции недавно... А мне не верят. Я на работу пыталась устроиться. А меня без документов не принимают...

Елизаров поморгал длинными ресницами, ребром ладони потер большой красный еще с холода нос.

— Гм... А я, может, устрою. Поверю вот и устрою.

Эти слова обезоружили девушку, ненависть в ее глазах потухла, она вдруг зарыдала, по-детски размазывая слезы по щекам.

— Помогите мне, ради бога, помогите! Натальей меня звать... Наташа Миронова... Нас с мамой эвакуировали из Москвы. На другой день наш эшелон разбомбили. Вам не понять, что это такое, как это было...

— Значит, из беженцев?

— Это было ужасно! Это...— Слезы не давали ей говорить.— Я на какой-то остановке в хвостовой вагон перебежала — там престарелые и больные ехали. К себе вернуться не успела, эшелон тронулся. А потом... потом...

Девушка перестала плакать, глаза ее быстро высохли. В них не было теперь ничего — ни отчаяния, ни ненависти. Ее большие черные глаза были просто пусты и холодны, как два остывших уголька.

— Потом случилось это. Сперва страшный грохот, а потом непонятно что. Тот же грохот, огонь, дым. И еще — вздыбленная земля... Когда самолеты улетели, я побежала вдоль насыпи в свой вагон, в котором мы с мамой ехали. Он был сразу за паровозом. А там...

Девушка снова всхлипнула. Две или три женщины-пассажирки и какой-то бородатый мужик, тоже спавшие на лавках, поднялись, опасливо стали поглядывать на Елизарова.

— А там, на месте нашего вагона, ничего не было... только порванные рельсы, а под ними большая яма. Другие, соседние вагоны уцелели, их только с насыпи сбросило, из них людей вынимали. И живых еще, и мертвых. И паровоз тоже под насыпью лежал, дымился. А нашего вагона не было. Это был единственный в составе пассажирский вагон, и нам все завидовали. И вот его не было. Только куча почерневшего железа, которое горело. Оно горело!

— Господи Иисусе Христе! — пробормотала одна из женщин.

— Погибла, значит, мамаша,— сказал Елизаров.— А отец где? На фронте?

И тут с девушкой опять случилось непонятное. Она вскинула голову, губы ее сжались презрительно, в глазах полыхнула враждебность.

— Нет у меня отца,— сказала она негромко, но отчетливо.

— Умер, что ли?

— Умер.

Елизаров еще раз оглядел девушку и застегнул шинель.

— Ну, пойдем тогда. Елизаров — он добрый. Он для тебя что-нибудь и придумает.

Было за полночь. Над станцией висело черное, холодное небо, в морозном тумане там и сям горели бледные, молочно-белые огни, изредка тоскливо кричал маневровый паровоз.

Елизаров и Миронова молча перебрались через несколько товарняков, пересекли все линии и пошли в Шантару.

— А Елизаров этот — он кто такой у вас? — спросила Наташа.

— Елизаров? Так это я и есть.

* * *

Не сразу Наташа сообразила, что Елизаров привел ее не в милицию, а к себе домой. Открывшая им низкорослая, толстая, распухшая ото сна женщина в смятой ночной рубашке, из-под которой выглядывали красные коленки, испуганно уставилась на девушку.

— Из эвакуированных, сирота,— коротко объяснил Елизаров.— А это жена моя, Нинуха.

— Зачем ты ее привел? — зло спросила Нинуха.

— Тебя не спросился. Пристроить ее куда-то надо. На работу ее нигде не берут, потому что без документов.

— Их много сейчас, всяких непристроенных да без документов.

— Правда. А у меня работа такая — об людях заботиться. Раздевайся.

— Нет... я пойду,— сказала девушка.— Или в милицию отведите.

— Там лучше, думаешь, будет? Ничего, раздевайся. Нинуха у меня тоже, как я, добрая.— И он почти силой снял с Наташи пальтишко.

Без пальто вид у девушки был совсем нищенский. Платье из дорогой шерсти измято, на подоле прожжено, на плече продрано, на шее грязный, измятый пла-

ток, на ногах стоптанные ботинки с отстающей подошвой, рваные в нескольких местах чулки.

— Господи, с какой помойки ты ее подобрал? — воскликнула жена Елизарова.— От нее вонью несет!

— Несет! — враждебно воскликнула Наташа.— Я три месяца в бане не мылась, с самой Москвы. Зачем ты меня сюда привел? Пустите меня!

Она схватила свое пальтишко, кинулась к двери. Но она была заперта.

— Выпустим, чего ты боишься,— вдруг помягче сказала Нинуха, подошла к двери, но отпирать ее не стала, опять обшарила глазами Наташу с ног до головы. А девушка неожиданно обмякла, от слабости у нее закружилась голова. Чтобы не упасть, она прислонилась к стенке и, безучастная ко всему, глядела, как жена Елизарова собирала на стол, рылась в комоде, выбирала из него какие-то тряпки.

— Ты ужинай,— сказала она мужу,— а мы пойдем. Соседка баню топила нынче, может, осталось еще жару маленько.

...Еще через час Наташа снова была у Елизаровых, пила, обжигаясь, горячий чай, голова ее кружилась теперь от ощущения чистоты собственного тела, она ярко разрумянилась. За много-много дней ей впервые было сытно и тепло, хотелось только спать, спать, спать. Но прилечь куда-нибудь хозяева не предлагали. Оба они сидели на противоположном конце стола, внимательно и молча разглядывали ее в упор и безотрывно, как вещь, которую собирались купить. У Елизарова глаза были посоловелыми от стакана водки, жена его время от времени почему-то вздыхала. «Ну и пусть разглядывают, лишь бы не выгнали на мороз»,— думала Наташа.

— Теперь рассказывай,— сказал Елизаров, когда она допила чай.

— Что? — вздрогнула девушка.— Я все рассказала.

— Не ври, Елизарова не проведешь. Почему на работу нигде не принимают?

— Я говорила — документы сгорели.

— Девушка хорошая,— рассмеялся Елизаров, вставая,— в нашей стране покуда не бросают на произвол судьбы человека беспричинно. Значит, есть причинка у тебя.— И, сделав суровое лицо, спросил сухо и отрывисто: — Осужденные... как враги народа в семье есть?

Наташа быстро поднялась, румянец на ее щеках стал тухнуть.

— Кто? Отец? — Голос Елизарова был безжалостен и властен.

— Да, отец, отец! — И зарыдала.

— Я так и понял там еще, на вокзале.— И Елизаров потер руки.

— Но он не виноват, он нисколько не виноват! — вскинула Наташа залитое слезами, некрасивое теперь лицо.— Он был военным. Он работал директором большого оборонного завода. Он был коммунистом с девятьсот десятого года, он вместе с Лениным работал в подполье еще! Он на каторге сидел. Потом Петроград от Юденича защищал, потом банды атамана Краснова громил.

— Ну, это уж второстепенное все.

Девушку словно ударило чем-то тяжелым, она замолкла, покачнулась.

— Как... как второстепенное?

Но Елизаров еще раз зевнул и, не ответив, ушел из кухни. Нинуха, хмурясь, молча убирала со стола.

— Помогай посуду-то мыть,— сказала она сердито.— А утром обмозгуем, что с тобой делать. Спать ляжешь на печку.

...На следующий день было воскресенье, однако Елизаров все равно еще затемно ушел на работу, а его жена, такая же сердитая, сказала:

— Мы обмозговали с мужем... И, значит, так: будешь у нас жить, за домом глядеть, чтоб все в чистоте. Оба мы целыми днями на работе: Аникей — в милиции, я — в яслях поваром. Дом у нас невеликий — кухня да комната, детей нет... Ни на какую оплату не надейся, еще и одежку да кормежку не оправдаешь. А после Аникей тебе паспорт выправит.

Растрепанная, неопрятная женщина вызывала у Наташи брезгливость. Она слушала ее, сжав зубы.

— Значит, в служанки меня берете?

— А ты еще судьбу благодари,— сказала толстая Нинуха.— Мне тебя держать в доме — что головешку с огнем в стогу сена. Аникей-то мой кобелина ненасытный.

— Как? — не поняла Наташа, догадываясь только и холодея от этой догадки.

— А так... Я тебе напрямик скажу, как баба бабе, чтоб заранее знала. Рано или поздно Аникей полезет к тебе. А делить мне его с тобой вовсе без надобности. Случится что — я тебе ноздри вырву, ты знай.

— Я лучше... Я сейчас же уйду! — задохнулась девушка.

— А ступай,— махнула жирной рукой Нинуха.— Силком, что ли, мы тебя заставляем? Только куда ты пойдешь? Эвон на улице мороз какой опять заворачивает,— кивнула она на сильно обмерзшие за ночь окна.

Все это была правда, идти Наташе было некуда. Она вспомнила все свои мытарства — как она после бомбежки эшелона и гибели матери, голодная и полураздетая, то ехала в других поездах беженцев, то отставала, бродя по вокзалам городов в поисках пищи, то шла неизвестно куда и зачем вдоль рельсов, ночуя в канавах и оврагах, пока снова не приставала к какому-нибудь эшелону, вспоминала, как оказалась наконец в Новосибирске, как впервые попыталась устроиться там на работу и как ей отказывали, узнав, кто ее отец и что с ним произошло,— и впервые вдруг ей представилось ее положение во всей трагической безысходности.

Идти Наташе было некуда. Во всяком случае, она не знала, куда идти. Она села на стул, закрыла лицо ладонями. Плечи ее затряслись.

— Ну-ну, полно,— сказала жена Елизарова и, чего Наташа никак не ожидала, погладила ее по голове.— Соглашайся и живи у нас. А муж-то, Аникей,— он ничего, если ты сама... Он пакостливый, ровно кот, да трусливый, как заяц. Ты это помни. Ежели что, ты его по мордасам, по мордасам. И мне скажи. А еще лучше — пригрози ему, что начальству милицейскому пожалуешься, он пулей отлетит. Он... он дорожит своим местом, он фронта пуще смерти боится. Соглашайся.

— Зачем вам мое согласие?! — крикнула Наташа.— Вы же знаете — некуда мне идти! Но знайте и то — ненавижу я вас! Ненавижу!

— И хорошо, и хорошо,— согласилась вдруг Нинуха.— Значит, мне спокойней насчет Аникея будет...

* * *

Наташа жила у Елизаровых уже неделю и за неделю едва ли произнесла полсотни слов. Она быстро поняла свои обязанности, вставала рано, топила печь и готовила завтрак. Когда хозяева уходили на работу, мыла полы, принималась за стирку, к вечеру опять топила печь и готовила ужин.

Ночами, лежа на теплой, уютной печке, она слушала, как храпят в комнате хозяева, и думала: что же ей делать весной, когда наступит тепло? Она не знала, что она сделает весной, знала лишь, что тут ни за что не останется. Ей с каждым днем все противнее становился и сам Аникей с красивыми бараньими глазами, которыми, как она заметила, он сильно гордился, а особенно его Нинуха. Она каждый вечер приносила с работы полную сумку продуктов, хлеба, подозрительно оглядывала Наташу, моргая разбухшими веками: не случилось ли, мол, чего тут с Аникеем у вас? «Воровка! — с ненавистью думала Наташа.— У детей воруешь ведь».

Иногда она думала: неужели нет на земле добрых, умных людей, которые бы все поняли, поверили бы ей? Поверили бы, что отец ее не виноват, оказали ей какое-то внимание, дали какую-то работу... Вот хотя бы как у этой противной Нинухи. Господи, как бы она работала, как вкусно готовила бы для детей и ничего, ни крошки не воровала бы! Или все скрыть про своего отца, назваться другим именем? Уехать весной далеко-далеко, куда-нибудь в глушь, в тайгу, в колхоз, сочинить себе новую биографию и начать жить, как уж там придется? И тут же всякий раз с негодованием отбрасывала эту мысль: «Нет, нет, я горжусь папой, что бы ни было! Никогда, никогда я не скрою, чья я дочь...»

Елизаров не обращал на Наташу никакого внимания. Только раз он спросил у нее зачем-то:

— В школе сколько классов закончила?

— Десять,— коротко ответила Наташа.

— А-а, грамотная,— протянул он.

Страхи, которые нагнала Нинуха, потихоньку проходили. Да и возвращался Елизаров всегда за полночь, когда жена давно была дома и храпела на своей кровати.

Но однажды он вернулся часов в шесть вечера, сильно пьяный. Раздевшись, сел на кухне на сундук, широко расставив ноги.

— Нинухи нету еще?

— Нету.

— И не надо. Давай чего пожрать. На фронт знакомого провожали, питьва было много, а жратвы мало.

Наташа, сперва встревоженная его ранним приходом и пьяным состоянием, после этих слов как-то успокоилась, хотя и была настороже. Она достала из печки приготовленный ужин. Он поднялся, проговорил еще раз:

— И не надо Нинухи-то...

И неожиданно, как зверь, схватил ее.

— Пусти! Пусти...— Наташа заколотила его кулаками по носу, по глазам. Но он только хрипел, дышал вонюче и гнул ее к полу.— Я... я пожалуюсь... в твою же милицию! — вспомнила она совет Нинухи.

Но то ли Нинуха переоценила действие такой угрозы, то ли Елизаров не расслышал этих слов — пулей он не отлетел, а захрипел еще яростнее. Борясь с ним, Наташа схватилась рукой за край стола, почувствовала под ладонью вилку. И, не раздумывая, ткнула ею в ненавистное, вонючее лицо.

— А-а! — застонал Елизаров, повалился навзничь, прикрывая ладонями щеки.

Какую-то секунду Наташа стояла неподвижно, окаменело глядя, как корчится Елизаров на полу. Сквозь пальцы его рук текла кровь. «Боже мой, а если бы в глаз или в горло?!» — мелькнуло у девушки. И она, схватив пальтишко, платок, бросилась на улицу.

— Стой, стой! — заорал Елизаров, вскакивая.

Он гнался за ней в сенях, гнался по двору, выскочил даже на улицу. Но тут опомнился, видно.

— Все равно не уйдешь! Куда тебе боле? Вернешься!

Наташа еще бежала долго, потом остановилась, тяжело дыша. Улица темна и безлюдна, заиндевевшие деревья стояли молчаливо. Она прислонилась к мерзлому стволу и заплакала.

Слезы были, видимо, последними, и их хватило ненадолго. С последними каплями слез из ее души вылилось все, что там еще осталось,— зыбкая надежда на то, что жизнь ее все-таки не кончилась, что когда-то она начнется вновь, ненависть к Елизарову, к его толстой жене, ко всем людям, которые не хотели ее понять и помочь. Душа ее была пуста и безучастна ко всему, как торчащая на небе луна.

Глядя на эту унылую желтую тарелку, Наташа пошла вдоль улицы и скоро оказалась за селом. Куда она шла, ей было все равно, она не думала об этом. Лютый мороз давно пронизывал ее всю до костей — коченели руки, голова под тонким платком, ноги в рваных ботинках. «Сейчас замерзнешь»,— будто шепнул кто-то со стороны. «Ну и пусть»,— ответила она этому «кому-то». «Вернись к Елизаровым, доживешь как-нибудь до весны, до тепла, а там видно будет».— «Ни за что!» — ответила она. «Ну, стукнись в любой дом, попросись переночевать хотя бы... Люди же тут живут, а не звери».— «Не хочу!» — «Жизнь ведь впереди, ты не жила еще... А сейчас замерзнешь — и все кончится».— «И пускай! И хорошо!»

И ей действительно стало вдруг хорошо и тепло, уютно как-то. Она огляделась — сбоку чернели какие-то кустарники, блестели обсыпанные изумрудно-золотой пылью невысокие холмы. Над ними висела луна, круглая, большая, ласковая.

И Наташе захотелось лечь в сугроб и уснуть...

* * *

Поздним январским вечером 1942 года в избенке Огородниковой сидели за столом трое — Макар Кафтанов, бежавший вместе с ним из тюрьмы Ленька Гвоздев и рослый сухощавый человек с едва заметным шрамом на щеке, с усталыми, по-кошачьи острыми глазами. Это был Петр Зубов, сын того самого полковника Зубова, который в 1919 году гонялся за партизанским отрядом Кружилина. Еще в начале ноября немцы освободили его из Курской тюрьмы, предложили работать в городской полиции. Он согласился, но, сославшись на нездоровье, выговорил себе

несколько недель отдыха. И прожил эти недели в городе, наслаждаясь свободой, а потом исчез. В Шантаре он появился перед Новым годом, ночью стукнул в дом Лукерьи Кашкаровой. Старая Кашкариха долго притворялась, будто не узнает его, а затем — будто давно не имеет никаких известий о своем непутевом приемном сыне Макарке. И, только убедившись, что Зубов не притащил за собой никакого хвоста, указала ему адрес Огородниковой.

На вопросы Кафтанова, каким образом освободился, как и с какой целью приехал в Шантару, Зубов не отвечал. Он был хмур, молчалив, целыми днями валялся на постели, читал книжки, какие случайно оказывались у Огородниковой, или, прикрыв глаза, слушал радио. Только раз он спросил у Макара:

— А на бывшей вашей заимке, что в Огневских ключах стояла, что там сейчас?

— А что там? Ничего. Обгорелые бревешки догнивают. Лебедой все поросло. Зачем тебе?

— Там же отца моего зарубили.

— Во-он что! — догадался Макар.— Тянет сердцем? Нашел того, который родителя твоего в царство божие отправил?

Зубов, по обыкновению, промолчал.

Сейчас все трое играли в очко. На столе кучка смятых денег, две полупустые уже бутылки. Окна дома плотно прикрыты ставнями, изнутри занавешены. Сама Манька была тут же, она, свернувшись калачиком, лежала на кровати, лицом к стене. Макар Кафтанов держал банк. Он сдавал карты и вполголоса тянул: «Эх, жила-была на свете Маня-а...»

— «Но-осила Маня финочку в кармане-е»,— поддержал Гвоздев.— По банку! Карту! Еще одну...

— Скучно-то как, господи! — тяжело произнесла Огородникова, села на кровати, спустила на пол ноги.

— Скука бывает от завихрения мозгов. А также от проигрыша в карты,— задумчиво проговорил Гвоздев.— «Интеллигентность Маня соблюдала...» А ну, еще одну карту! «Спать ложилась, все с себя снимала...» Очко!

— Ч-черт! — Кафтанов бросил колоду.

— Что такое «не везет» и как с ним бороться... хе-хе! — Гвоздев загреб к себе деньги.— Еще банк сгоняем?

Зубов налил водки, выпил, поднялся. На стене висел плакат: «Что ты сделал сегодня для фронта?» Он подошел к плакату, принялся внимательно разглядывать, вполголоса машинально продолжая откуда-то с середины блатную песню.

— Перестаньте выть! Тошно,— попросила Огородникова.

— Карты! — взревел Макар.— Ставлю на банк Маньку! Ложь косую!

Гвоздев с готовностью вывалил на стол деньги.

— Макар! Макар! — испуганно бросилась Огородникова к Кафтанову.

— Не ори под руку! — оттолкнул ее тот и как ни в чем не бывало начал сдавать карты, напевая под нос: — «Три ножа воткнули в спину Мане...» Еще? «Что носила финочку в кармане...» Добавить?

— Наберите столько же.

— «И до рассвета труп ее красивый,— Кафтанов осторожно положил себе карту,— речка на волнах своих носила...» Казна!

— Ваши не пляшут. У нас двадцать! — И Гвоздев поднялся.— Эх, Манечка! Обычно мне везло или в карты, или в любви. А сейчас — одновременно. Вспомним старую любовь, что ли? Прошу на свежее супружеское ложе. Для разнообразия скуку развеять.

— Нет, не-ет! — попятилась от него Огородникова.— Не могу.

— Почему? — вдруг спросил ее Зубов.

— Противно все! Эти стены, песня ваша... сами вы!

— Мало чего! — нервно усмехнулся Гвоздев.— Закон порядка требует. Иди, иди! — И Гвоздев стал толкать ее за дверь.

— Да приведу я тебе бабу... если надо. Немедля...

Петр Зубов, давно потеряв интерес к плакату, снова выпил чуть не целый стакан водки, хотел налить еще, но при последних словах Огородниковой вскинул голову.

— Какую бабу? Откуда? Погоди, Гвоздь.

— Сирота тут одна, из беженцев. Молоденькая. Недавно я в сугробе за деревней подобрала ее, чуть живую. Соседку, бабку Акулину, попросила, она отходила ее.

— Ну, веди. Поглядим.

Огородникова вышла. Макар Кафтанов проводил ее недовольным взглядом.

Вообще Макар был недоволен многим. И тем, что Ленька Гвоздев оказался недалеким, глупым, фанфаронистым человеком, которого до сих пор пьянил сам факт принадлежности к преступному миру, а Кафтанов по своему богатому опыту знал: раз так — ненадежный товарищ, в любую минуту может подвести. И тем, что в Шантаре объявился Зубов. Конечно, они с Зубовым друзья, молочные братья почти. Во время гражданской войны и много еще после они втроем — он, Петька и Лукерья Кашкарова, которую оба называли «мамкой»,— жили на глухой таежной заимке, долгое время не зная никакой нужды, а потом пришлось испытать и голод и холод. Лет восемнадцати от роду, году, кажется, в двадцать пятом, Зубов обчистил в какой-то деревушке магазин и был осужден. Спустя несколько лет по его пути пошел и Макар. После долгой разлуки встретились они случайно в колонии в тридцать шестом году. Зубов был настоящим уркаганом, имел в общей сложности сорок два года сроку. Там, в колонии, Кафтанов и рассказал, что их приемная мать живет в Шантаре, и дал ее адрес, не надеясь, что Зубов когда-либо окажется в тех краях. Но вот он объявился тут и ведет себя странно, непонятно. И Манька, того и гляди, не выдержит, пойдет да заявит о них всех. Или сопляк Витька, родной сын «мамки». Сколько Макар ни пытался подчинить его себе — не получается. Ощетинивается, звереныш, да сопит сердито носом. Да и сама «мамка» недавно, когда Макар хотел взять Витьку с собой в Андреевку, вдруг сказала: «Не трожь ты его, сынок, не ломай ему жизнь. Видишь, не хочет он, невмоготу ему твои дела...» А Витька был очень нужен. Андреевка — деревушка тихая, небольшая, магазин, находившийся в случайном, неприспособленном помещении, не охранялся, грузная продавщица, кончая работу, ставни единственного окошка притыкала железным болтом, наружные двери замыкала на два врезных замка, вешала еще амбарный и уходила. В сенях магазинчика были навалены пустые ящики и бочки из-под селедки. Макар в момент сообразил: если под ящик с вечера посадить мальчишку, ночью он, зайдя в магазин (на двустворчатых дверях, ведущих из сеней в торговое помещение, запоры вообще отсутствовали), выдернет болтовую чеку. Ну а осторожно вынуть болт и бесшумно выставить оконные рамы — раз плюнуть. Но Витька от участия в этом деле наотрез отказался. Отмычками, которыми Макар владел с непревзойденным мастерством, после побега из тюрьмы он еще не обзавелся, и пришлось им с Гвоздевым долго пилить этот проклятый болт...

Но «мамка», Витька — это ничего пока, он их пока не опасался. И Манька, в общем, бы ничего. Но вот появился Зубов, начались ежевечерние пьянки. Огородникова все «скучнела». А сейчас какая-то девица еще объявится. А что с ней потом, куда ее? К тому же, как Макар понимал, милиция догадывается, конечно, чьих рук дело в Андреевке, ищет его. Нет, рвать надо отсюда, пока не поздно.

Уйти Макар хотел сегодня под утро. Потому и «проиграл» Маньку. Гвоздев будет дрыхнуть с ней, Зубов, как всегда, напьется. Кафтанов вытащит у него из-под подушки немецкий пистолет (оружия у Макара тоже не было, а иметь его было нелишне) — и ищи-свищи! Но когда Огородникова вышла, какое-то внутреннее чутье подсказало ему вдруг: не под утро, а сейчас, сию минуту, надо уходить. Тем более что андреевская добыча на этот раз не у Маньки припрятана, а в другом, более надежном месте. Через час-полчаса, возможно, будет уже поздно. «А Манька какова оказалась?! Верная! — подумал он.— А пистолет — черт с ним». Тем более что встретит потом где-нибудь его Зубов — земля, как неоднократно убеждался Макар, тесновата для людей,— голову оторвет за пистолет... И он снял с вешалки полушубок, нахлобучил шапку.

— Куда? — резко спросил Зубов. Он сегодня пил больше обычного, но не пьянел почему-то.

— В сортир,— равнодушно бросил Кафтанов.— Хоть ночью парашу не запрастывать.

— Марья замкнула двери же.— Зубов усмехнулся.— Погоди уж.

Уходя на работу, отлучаясь куда бы то ни было, Огородникова запирала своих жильцов на ключ. В волнении Кафтанов как-то упустил это из виду.

— А, черт… Потерпим.— Он сбросил полушубок, поставил на стол новую бутылку.— Пейте. Батя мой уважал ее.— И начал рассказывать: — Ты, Гвоздь, не знаешь моего отца. А Зуб должен помнить вроде. А, помнишь? В этой Шантаре самой раньше торговля была «Кафтанов и сыновья». Кафтанов, стало быть, мой отец, царство ему небесное. А сыновья — это, стало быть, я да Зиновий, брательник мой. Яшка Алейников, тутошний энкаведешник, изловил его. Расстреляли его, да… Давно это было. Помнишь, что ль, отца моего?

Кафтанов говорил все это, а сам думал: «Что он, Зуб проклятый, догадался, что я отчалить хочу?»

— С детства не люблю пузатых лавочников,— сказал Зубов и включил радио.

Диктор уставшим, осипшим голосом читал ноту народного комиссара иностранных дел СССР «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченной ими советской территории». Зубов слушал, скрестив руки на груди. В глазах его был тот непонятный, бессмысленно-тусклый блеск, который и пугал всегда Кафтанова.

— Отца я твоего, Макар, помню,— произнес Зубов как-то неожиданно.— Борода у него была такая рыжая. И брата твоего Зиновия припоминаю. Одноглазый ведь он был?

— Зачем? С двумя глазами. На одном бельмо только,— вроде обиделся даже Макар.

— И денщика отца твоего, Ивана этого, никогда не забывал. Как-никак жизнь спас он мне.— И круто повернулся к Макару: — Там, в лагере, ты все хотел приколоть его, а?

— И пришью, ежели удобный момент выйдет. За отца не прощу ему. Тут он сейчас живет, говорят, в Михайловке.

— Черкес какой! — усмехнулся Зубов.— Я на Кавказе одно время жил, там кровная месть — обычное дело.

— Ты ведь тоже… тоже ищешь, кто отца твоего…

— Тоже, да! — Зубов побагровел, задохнулся от непонятного гнева. Отвернулся и сказал тише: — Уж болотный тоже на змею похожий. И зубы есть, лишь… яду нету.

Там, в лагере, когда в зоне неожиданно появился Иван Савельев, Кафтанов даже побледнел от радости. Но Зубов запретил тронуть его хотя бы пальцем. Ослушаться Макар не смел, осталось ему лишь одно удовольствие — смертельно припугнуть Савельева расправой. И он не отказал себе в этом удовольствии, со страху Иван залез в карцер. Дурак, будто помог бы ему карцер, если бы не Зубов. Не знает до сих пор Иван Савельев, кому он жизнью обязан…

— Ивана, сказано было тебе, не трогать,— сказал тихонько Зубов.— Никогда не трогать!

— Так…— Кафтанов, глотая водку, застучал зубами о стакан.— Тебя беспокойство за него, что ли, пригнало сюда?

— Беспокойство,— кивнул согласно Зубов.— И любопытство. Охота мне на Кружилина сейчас глянуть, на командира партизанского отряда, с которым отец мой воевал. На некоего Якова Алейникова, энкаведешника этого, благодаря которому партизаны накрыли отца на Огневской заимке. И на брата Ивана Савельева — на Федора. Ведь это он… он отца зарубил.

— Федор?! — Макар, выпучив глаза, смотрел на Зубова.— Откуда ж ты… Как все узнал?

— А что узнавать? На моих глазах Федор… сперва выстрелил в отца, потом шашкой добил… Я малец был, а все помню. Навечно это в память врезалось.

— Во-он ка-ак!

Гвоздев прислушивался к их разговору, пытаясь понять, что к чему, и делал вид, что понимает, хотя не понимал ничего.

— Ну и что ж ты теперь, как увидишь их? — спросил Кафтанов.— И как понять — зубы есть, а яду нету?

— Да, что теперь? И как понять? — повторил сын бывшего белогвардейского полковника и замолчал.

«Темнит что-то,— думал меж тем Кафтанов.— Черт его знает, что с ним происходит, что он может выкинуть… Не-ет, рвать, немедля концы отдавать…»

В комнате установилась тишина, и в этой тишине отчетливо звучал голос радиодиктора. Говорила теперь женщина, звенящим голосом она рассказывала о зверствах фашистов в оккупированном Киеве, называла число расстрелянных и повешенных мирных жителей.

— А в Киеве я тоже сидел,— сказал вдруг Зубов.— Хорошая тюрьма там, в Киеве.

— Тюрьмы — они все хорошие. Крепкие,— подал голос Гвоздев.

Заскрипел замок во входной двери, послышались шаги в сенях, и в комнату вошла Огородникова, втащила за руку Наташу.

— Да не бойся, не съедят.— сказала Огородникова.— Они добрые.

— Ух ты! — воскликнул Гвоздев. Радужные глаза его вспыхнули.— Это замена так замена! Конфетку хочешь? — И он поднялся.

— Сидеть!— придавил его Зубов тяжелой рукой к стулу, оглядел девушку. Наташа была все в том же стареньком пальтишке, но в новых валенках и в новых теплых чулках. Глаза ее испуганно перескакивали с одного на другого. Встретившись со взглядом Зубова, она вздрогнула.

— Ты вот что скажи мне, Гвоздев...— медленно проговорил Зубов, не спуская глаз с девушки.—Вот что скажи: ты русский?

— Ага,— кивнул Гвоздев, опять хотел встать. Но Зубов снова придавил его к месту. И тот закричал сердито: — Ну, русский, русский! Всю анкету рассказать? Двадцать третьего года рождения, судим один раз, из мест заключения бежал...

При этих словах Наташа попятилась к двери.

— Да стой ты! — зло сказала Огородникова, повернулась к Гвоздеву: — А ты чего мелешь, пугаешь девку? Шутник он, ты не бойся.

Зубов встал, выключил радио, сел на прежнее место.

— В Курске я тоже видел, как вешают людей.

— Ну так что? — шевельнулся Гвоздев.— Они много городов взяли и везде вешают. И еще возьмут. Нам-то что?

— Это кому как,— спокойно проговорил Зубов.— Я спасибо им говорю, у меня сроку ровно полсотни было. После нашего последнего побега мне еще восьмерку прибавили,— пояснил он Кафтанову.— Да, ровно полсотни, полвека ровненько. Умер бы в тюрьме. А вот ты, Гвоздев,— непонятно.— И вдруг саданул изо всей силы кулаком по столу.— Непонятно!

— Ты что? Что? — подскочил Гвоздев, как на пружинах.— Окосел ты, Зуб? Ложись-ка, а? Ложись?

— Да-да, я пьян. Спать пойду,— так же неожиданно, как вскипел, обмяк Зубов, тяжело поднялся, подошел к Мироновой.— А ты кто?

Наташа стояла у стены, опустив руки. В лице ее не было ни кровинки, она была как неживая. Казалось, толкни ее — она упадет.

— Никто,— прошептала она.

— Папа с мамой у тебя кто были?

— Никто... Не знаю.

— Отец ее враг народа,— сказала Огородникова.— В тридцать шестом, что ли, посадили, говорит. В Москве каким-то большим начальником работал. Разжирел, видно, и продался.

— Неправда, неправда! — встрепенулась девушка.

— А мать ее в дороге погибла, когда эшелон бомбили.

— Я видел это тоже... как бомбят,— проговорил Зубов задумчиво.— Страшно было?

— Не знаю. После было страшней: мороз, темно, хулиганы.

— Какой мороз? Какие хулиганы?

— Ей жить негде было,— опять начала объяснять Огородникова.— Я же говорила, я в снегу ее нашла.

— Дяденьки, отпустите меня...— И Наташа вдруг упала перед Зубовым на колени.— Тетя Маня... Пощадите!

— Девочка, не надо! — Гвоздев, пошатываясь, подошел к ней.— Я тебя никому в обиду не дам. И я тебе папой теперь буду. Правда, меня тоже могут посадить.

— Верно, перестань плакать,— сказал Зубов.— И — иди спать. Выпустите ее.

— Зуб! Зуб! Не имеешь права! Я выиграл ее.

— Ты Маньку выиграл.

— Я на обмен...

— Не будет обмена! — крикнул Зубов свирепо. И, видя, что Гвоздев сунул руку в карман, обернулся к нему: — Ты что?! Сопля зеленая! Вынь руку! Обломлю под самый комель! — И нагнулся к Мироновой: — А ты встань!

Пока это все происходило, Макар тихонько накинул полушубок, выскользнул на кухню, отодвинул засов, шагнул на крыльцо. И взвизгнул вдруг оттуда:

— Облава-а! Братцы! Обла...

Голос захлебнулся. Зубов вскинул голову. Гвоздев побледнел, отпрянул в сторону, выхватил нож. И в ту же секунду в комнату заскочили двое вооруженных милиционеров. Елизаров, выпучивая глаза, заорал, поводя наганом, как указкой:

— Руки! И тихо у меня... без баловства! А-а, ты, Гвоздев? Сарапулов, возьми у него финку.

Несмотря на грозный вид Елизарова и его слова, Зубов не торопясь повернулся к нему спиной, прошел к столу, сел, налил в стакан и выпил.

— Ты... встать! — крикнул Елизаров, изумленный.

— Не ори.— Зубов, все так же не обращая внимания на дрожащий перед глазами черный зрачок милицейского нагана, достал из брюк пистолет, молча кинул на стол.

— Зуб, ты что?! — простонал Гвоздев.— Ведь их двое только.

Но милиционеров было четверо. Двое других ввели с кухни Кафтанова, посадили рядом с Зубовым. Туда же, к столу, подтолкнули Гвоздева, Наташу и Огородникову.

— Обыскать весь дом! Все перерыть! — распорядился Елизаров. И, увидев вошедшего с улицы Семена Савельева, прикрикнул: — Пошел отсюда, сказано тебе! Чего тут?

— Я посмотреть.— Семен был в лыжной куртке, в сапогах, шея обмотана шарфом.— Нельзя, что ли?

— Нельзя! Нечего тут смотреть...— Но Елизаров, возбужденный и обрадованный успешной операцией, тут же забыл про Семена, повернулся к арестованным: — Ну, здравствуйте. Я ведь думал — один тут Макар, а тут вон сколько гостей! Здорово, говорю, Макар Михайлыч. И ты, Гвоздев. Не узнаешь, что ли?

— Узнаю,— буркнул Гвоздев.— На повышение, гляжу, пошел. Что, изменил профессию?

— Родина требует,— ответил Елизаров.— Для коммуниста — обыкновенное дело, где труднее.

— Ты разве коммунист? Не догадывался.

— А как же, хотя и беспартийный. Теперь и в партийные примут. Я за тебя, Макар Михайлыч, уж получил сержантские треугольнички, видишь? — И Елизаров показал на свои петлицы.— А теперь что? Старшину должны дать, а может, и того больше... Да на курсы какие-нибудь — и готовенько! А ты кто таков, что за птица? — спросил он у Зубова.— Молчишь? Ничего, узнаем. Все узнаем, дорогушеньки. Что ты-то молчишь, Макар? Ловко я вас накрыл? В Андреевке-то твоих рук дело? Я сразу догадался. А раз объявился, думаю, не скоро с этих мест уйдет, где-то притаился. Смотрел и нюхал. А тут эта девица...

Елизаров был теперь говорлив, трещал без умолку, расхаживая перед столом с наганом в руке.

Семен Савельев оказался тут случайно. Последний месяц он работал без выходных и сегодня получил два отгульных дня, вернулся с завода в хорошем настроении. Не ужиная, схватил лыжи, побежал за село. При лунном свете долго катался с холмов, жадно глотал чистый и холодный воздух, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Возвращаясь, он увидел на окраине четырех милиционеров, которые совещались о чем-то возле избенки Маньки Огородниковой.

— Что вы тут? Жуликов ловите? — спросил он.

— Ловим,— вполголоса прошипел Елизаров.— Проваливай.

— Помочь, может?

— Сгинь, сказано! Не шуми! — рыкнул Елизаров.

И Семен пошел было, оглянулся, увидел, что все четверо зашли на двор Огородниковой. Он заинтересованно постоял, потом услышал чей-то крик «Облава!» — торопливо побежал назад.

И вот он с изумлением смотрит на Макара, на Гвоздева Леньку (он узнал их сразу, едва вошел), на Маньку Огородникову («Когда же это и как связалась она с ними?»), на худого незнакомого человека со шрамом, на молоденькую девчонку в старом легком пальтишке, на лице которой заметил вначале только одни насмерть перепуганные глаза. «Сопли еще не высохли, а уж с блатяками ходит»,— неприязненно подумал он о ней. Заметил теперь ее резко очерченные губы, разметистые брови. «А ведь красивая,— мелькнуло у него.— И — пропащая. Пропадет по тюрьмам». И шевельнулось в нем какое-то вроде бы и неприятное, но щемяще любопытное чувство к судьбе этой девчонки.

— Да-а, а тут эта вот девица, Наташка эта Миронова...— продолжал Елизаров. («Ты гляди, имя какое хорошее»,— отметил Семен.) — Акулина-бобылиха, гляжу, аккуратные такие женские пимы на базаре торгует. «Зачем, спрашиваю, они тебе, старая?» — «А бог дочушку послал. А деньги Маньша Огородникова дала...» — «Какую такую дочушку?» Н-да... Ну, слово за́ слово, узнал я, как ты ее полузамерзлую нашла да к Акулине отвела,— повернулся Елизаров к Огородниковой.— И простым вопросом задумался: а почему не к себе домой? Ведь одна живешь? Вон оно! Что трудно, то и просто оказывается! Стал приглядывать за твоим домом... Ничего такого. Решили сегодня проверить просто. А на ловца и зверь, как говорится. Не успели на крылечко ступить, а ты, Макарушка, вот он...

Елизаров говорил, захлебываясь от радости, и все понимали, о чем он рассказывает, только Семен не понимал и с еще бо́льшим любопытством разглядывал Миронову.

— Да ты Шерлок Холмс прямо,— усмехнулся Зубов.

— Какой тебе холм еще? — сразу умолк Елизаров, красноречие его словно обрезало.— Разговорчики!

Обыск кончился, он ничего не дал почти, только в мужских пиджаках нашли полторы тысячи рублей денег.

— Ладно,— махнул рукой Елизаров.— Припрятали, значит, добычу в другом месте али загнали уже товарец. Признаю́тся. Поехали. Мужикам руки связать для порядка. И предупреждаю — мирно чтоб у меня! А то Елизаров вас успокоит. Вставать по одному, руки назад. Ты, про холмы который говорил, первый вставай. Подставляй руки.

— Осторожный ты, гляжу,— усмехнулся Зубов.

— Ну, айда, пошли,— распорядился Елизаров, когда всем связали руки.

— Я не пойду! Не хочу! — воскликнула Миронова.— Я не виновата, я не знаю никого из них... Я только что пришла сюда, меня вот она... вот она привела. «Пойдем, посидим, говорит, с моими друзьями...»

— Знаем, все знаем,— скривил губы Елизаров.— И — отпустим. Подписочку я тебе устрою, и отпустим. Ну, что еще?! — заорал он на Зубова, который, направившись было к двери, остановился возле Мироновой.

— Вот что, девочка, я хотел сказать тебе,— проговорил он, не обращая внимания на грозный окрик.— Запомни: человек никогда не должен становиться на колени. Если он стал на колени — он уже не человек. Понимаешь?

— Не понимаю,— мотнула та головой.

— Ну, потом поймешь. Ты только запомни. И — прощай. Вряд ли больше мы увидимся когда...

* * *

Семен Савельев неизвестно зачем шел за арестованными до самой милиции, шел и думал об этой девчонке по имени Наташа. Кто она такая, действительно что ли, не виновата, откуда взялась?

Выходя из комнаты, Макар приостановился возле него, проговорил тихо и зловеще:

— Прощевай, племянничек-пролетарий, сеструхе моей Анне кланяйся. Скажи — не забывает ее брат родной...

И, повернувшись к высокому человеку со шрамом, сказал:

— Федора-то уж не удастся тебе, видно, поглядеть, на сына его посмотри хоть...

Человек со шрамом действительно поглядел на Семена из-под прихмуренных бровей любопытно-тяжелым взглядом.

«Зачем ему мой отец? — недоумевал Семен.— И кто он такой? Рожа самая бандитская...»

Наступившая в последние дни оттепель кончилась, кажется, снег деревенел, сухо и пронзительно поскрипывал под ногами. Над головой беззвучно кружились белые звезды, лыжную куртку и теплый свитер пронизывал холодок.

Наташа шла где-то в середине толпы, спрятав ладони в обтрепанные рукава пальтишка. Временами в жидковатом лунном сумраке Семену была видна ее опущенная голова в клетчатом платке, завязанном по-старушечьи, острые плечи. Она глядела всю дорогу себе под ноги, точно боялась споткнуться. «А вот сейчас оглянется»,— подумал вдруг Семен, когда подошел к длинному, как барак, зданию милиции. И точно, прежде чем скрыться за обитой клеенкой дверью, Наташа приостановилась на низеньком, в две ступеньки, крыльце, обернулась. В лунном свете блеснули полоски ее глаз. Взгляд был безысходно-тоскливый, обиженный, умоляющий о чем-то.

...Через несколько минут Семен стучался в дощатую, косо висевшую дверь мазаной халупки Акулины-бобылихи.

— Счас, счас, дочушка,— хрипя и кашляя, говорила за дверью старуха, гремела деревянным засовом.— Я и то жду, не сплю, беспокоюся... Каки таки гости-то у Маньши были?

Разобрав наконец, что перед ней не Миронова, старуха умолкла, но не испугалась, просто удивилась:

— Эвон... Кто таков, что надоть?

Семен назвал себя, старуха пробормотала: «А-а, Федора, что ль, Савельева старшак?» И пошла в глубь сенок. Выслушав сообщение Семена о том, что произошло у Огородниковой, старуха, пожевав иссохшим ртом, сказала без всякого удивления в голосе, покачав только головой:

— Ахтиньки... Вон что, вон что... Я и думала с сумлением: что за ночные гости у Маньши? Хотя кумекаю тут же: что ж такое оно — дело молодое, вечерка собралася. А оно — ахтиньки... Как же теперь?

— Кто она такая, Наталья эта? — спросил напрямик Семен.

— Сирота, с эвакуированных. Маньша-то мне ее и привела: в сугробе, грит, находку нашла, ты, грит, отходи ее, Акулина, отогрей, а то мне неколи, на работу седни в ночную смену, а там узнаем, что за человек. А мне что, мне — радость; одна я да сверчки за печкой. Ране у меня постояльцы жили, семья целая, а недавно съехали, квартиру им дали от заводу. Я все думаю — схожу в волостной райисполком-то, попрошу других постояльцев. А тут Манька и привела ее, сердешную. Два дня молчала она и все плакала, потом ругать нас с Маньшей начала — зачем, дескать, помереть в снегу не дали.

— А отчего... помирать она захотела?

Старуха рассказала Семену о Наташе все, что знала о ней с ее слов. Семен ушел от Акулины-бобылихи, сопровождаемый бесстрастными причитаниями: «Ахтиньки, да что же, да как же...»

Ни отец, ни мать о присутствии Макара Кафтанова в Шантаре, кажется, не знали, и Семен ничего не стал о нем говорить. Отношения между родителями сейчас были натянуты до предела, они жили как чужие, за неделю перемолвятся словом-другим — и все. Да Семен и знал реакцию обоих, сообщи он им о Макаре: мать побледнела бы, высохла лицом, напряглась, как струна, а отец сложил бы заросшие крепким волосом губы в скобку, произнес бы что-то вроде этого: «И когда ему, бандюге, хребет переломят?» И эти слова, знал Семен, ножом резанули бы по той самой натянутой струне в матери, от боли она закричала бы страшно, но не голосом, а глазами, беззвучно и страшно. И Семен промолчал. Поужинав, он лег в постель, взял книжку, пробовал читать, но не читалось, все виделась наяву почти эта девчонка с большими, черными, беспомощно-испуганными глазами, в ушах стоял ее умоляющий крик: «Я не пойду! Я не виновата!» Если действительно не виновата, думал он, если действительно все так, как рассказывала Акулина-бобылиха, то что же с этой девчонкой будет? И вообще, что это такое получа-

ется, как это не берут нигде на работу? Мало ли что отец, он, может, и действительно... А товарищ Сталин сказал: дети за отцов не отвечают. И вообще... пропадать, что ли, человеку?

Семен не спал еще долго, все ворочался, все думал. И только к утру он понял, что надо сделать. И то, что надлежало сделать, было так просто и естественно, что Семен удивился: как это сразу не пришло в голову?! Он обругал себя ослом, ткнулся лицом в подушку и тотчас заснул.

* * *

Синее зимнее утро тяжело и медленно занималось над Шантарой, когда Наташа Миронова вышла из-за обитой клеенкой двери, глотнула холодного воздуха, торопливо пошла прочь от милиции. Потом села где-то на промерзлую скамейку под закуржавевшим деревом и невесело задумалась.

Слова того бандита со шрамом, которого называли Зубом: «Запомни: человек никогда не должен становиться на колени. Если он стал на колени — он уже не человек»,— сперва показались ей никчемными, глупыми, неизвестно для чего сказанными, а потом начали врезаться в мозг все больнее и крепче. И вот она уже думала только об этих словах. Нет, в них был какой-то смысл, какая-то сила, которую она пока не могла понять. Она плохо соображала, что спрашивал у нее милицейский начальник с двумя кубиками в петлицах, не помнила, что отвечала.

Размышляя обо всем этом, Наташа не заметила, как подошел Елизаров. Она вскочила, но не отбежала, а, сузив глаза, презрительно глядела на него.

— Надрыгалась? — спросил он.— Пойдем теперь домой.

— А подписка? Я расписалась, что в двадцать четыре часа покину вашу Шантару.

— Это я поучил тебя маленько, чтоб не рыпалась. Ничего... Я устроил тебе подписку, я и ликвидирую ее, коли ты обратно к нам... Это пустяк, сделаем. А насчет этого... я винюсь, пьяный был. Ничего такого больше... без всяких там, а по-честному. Зарплату тебе положим. А так ну куда ты, подумай? Зима лютая, замерзнешь.

— А может, не бандит этот, может, ты прав? — промолвила Наташа задумчиво.— Может, упасть на колени да перестоять пока? Перестоять, а потом подняться?

— Именно! — сказал обрадованно Елизаров.— По смыслу жизни, как говорится. А у меня тебе самое спокойное место. Еще потом благодарить будешь.

— Ах ты подлец... Подле-ец!

— Ну, лады! Значит, оно так: к завтрашнему утру не уберешься из Шантары — пеняй на себя,— по-гусиному прошипел он и отошел.

Наташа села на скамейку и стала думать: а что же все-таки делать? До вечера можно прожить у бабки Акулины, доброй старушки. Можно и неделю — кто узнает, если никуда не выходить? А потом что? Не будет же старуха кормить ее вечно, сама живет на крохотную пенсию, да и Елизаров завтра же утром нагрянет к Акулине, проверит... Что делать? Что делать?

Серый утренний мрак потихоньку истаивал, улица открывалась все глубже. Наташа сидела неподвижно, тупо глядела перед собой. Мимо проходили уже люди, удивленно оглядывали ее, она понимала, что надо встать и идти куда-то, но не вставала. Хотелось плакать, хотелось завыть громко, отчаянно, по-звериному, чтобы все услышали, остановились и хотя бы спросили: что с ней, почему она тут сидит одна на морозе? Ну хотя бы вон тот парень в тужурке с поднятым воротником.

Но когда пробегавший мимо парень, словно услышав ее мысли, вдруг вернулся, остановился перед ней и весело сказал: «Хо! Привет, девушка!» — она отшатнулась от него, как от зачумленного.

— Что вам? Что? Проходите...

— А может, сперва проведем пресс-конференцию? — спросил беспечно парень, цепко оглядывая ее зеленоватыми веселыми глазами.— У меня есть в запасе три-четыре минуты. Для первого раза вполне хватит. Меня зовут Юра. Но можно меня звать Георгием или Гошей. Можно Агафоном. Можно Агафончиком. А вас?

Этот человек говорил быстро и смешно, но он не рассмешил ее.

— Оставьте меня в покое, пожалуйста,— сказала она и почувствовала, что голова ее как-то странно гудит, тяжелеет.

— А фамилия у меня еще лучше — Савельев,— продолжал парень, колотя одним ботинком о другой.— Это самая хорошая русская фамилия. Я холост, в семье никто не судился. В советское время. А в царское отец прошел все каторги, вследствие чего сейчас директор во-он того завода. Мать тоже бывшая героиня-подпольщица, а теперь домохозяйка. Работаю я на папашином заводе. Увы, токарем всего, рабочий класс, как говорится. Который хозяин страны.

— Я тоже холостая,— неожиданно для себя сказала Наташа.— В семье есть осужденные. Отец осужден в советское время. Сама я нигде не работаю, и... вообще, я только что из милиции.

— Хорошо заливаешь! — хохотнул Савельев.— А ты... ты веришь в любовь с первого взгляда?

— Верю,— нервно кивнула она. И закричала все громче, наливаясь ненавистью:— Верю, верю! Давно уже верю!

— Ты что, психическая? — чуть отступил Юрий. В это время надсадно, простуженно захрипел заводской гудок.— А, черт, всегда не вовремя! А мне еще домой забежать, в рабочее переодеться. Танцы вчера затянулись, остаток ночи, понимаешь, у товарища прокоротал. Пресс-конференцию... продолжим сегодня вечером, а? Приходи в клуб на танцы! — И он сорвался, побежал, крича уже на ходу: — До вечера! Имейте в виду, вы мне понравились...

Веселый парень скрылся, оставив ощущение пустоты. И этот парень, и его слова — клуб, танцы, завод, переодеться,— все было из какого-то прошлого, далекого, недосягаемого да и безразличного теперь для нее мира. Голова ее кружилась, под черепом было жарко, а по телу пополз озноб. Всю ночь она не спала, и ее клонило ко сну. Но здесь нельзя спать, здесь увидят, подумала она. И не к бабке Акулине надо идти, а снова туда, за село. Там какие-то кусты, там никто не найдет ее, если забрести в них поглубже...

По улице опять кто-то бежал, размахивая руками. Она сразу узнала — это вчерашний парень в лыжной куртке, который молча стоял у стены в избе Огородниковой и глядел, как их уводят милиционеры. Потом он зачем-то шел за ними до самой милиции.

Наташе неприятно было его появление, ей не хотелось, чтобы он узнал ее. Она опустила тяжелую, пылавшую теперь огнем голову, надеясь, что он пробежит мимо, не заметив ее, но парень подскочил к ней, бесцеремонно схватил за руку.

— Ага, вот она! Я так и думал — далеко не успела еще уйти,— заговорил он, шумно дыша.— Пойдем, я договорился. Пойдем, пойдем...

— Куда еще? Да пустите же руку!

— А я говорю — пойдем! — крикнул он сердито.— Самоубийца мне тоже нашлась!

— Отстанете вы от меня или нет? Как я ненавижу вас всех!

Но Семен, не обращая внимания на ее слова, почти бегом потащил ее вдоль улицы.

* * *

Прохватившись после короткого сна, Семен глянул на окна и, увидев, что они еще темные, облегченно перевел дух, торопливо оделся. Отец спал, мать топила печь, на ее удивленный взгляд он только махнул рукой:

— Сейчас я,— и выскочил на улицу.

Через несколько минут он был возле дома Кружилина, обнесенного дощатым забором, смело толкнул высокие и узкие воротца, но они оказались запертыми. Тогда он, не раздумывая, подпрыгнул, ухватился за верхний край забора, легко подтянулся и спрыгнул внутрь, взбежал на крыльцо и сильно заколотил в дверь.

Кружилин, со смятым лицом, беспрерывно позевывая, в толстом ночном халате, удивленно глядел на Семена, слушал его сбивчивую речь и долго не мог понять, чего он хочет.

— Не торопись, давай спокойнее, коли уж пришел,— сказал он, покашливая.— Про Кафтанова мне звонили ночью, знаю, а про девушку Наташу — ничего. Что за девушка?

— Да я и сам впервые увидел ее вчера. Миронова, кажется, у нее фамилия. Но что же получается? Она самоубийством кончить хотела! Это что же, как же?

— Как ты сказал? Погоди, я где-то слыхал такую фамилию...— Сонные еще глаза Кружилина ожили, в них появился интерес.— Ну-ну, продолжай!

Кружилин слушал его теперь не прерывая, а потом подошел к телефону, попросил соединить с дежурным милиции.

— Что за девушку вы ночью задержали вместе с Кафтановым? Миронову какую-то? — спросил Кружилин. Долго молчал, слушая.— То есть как отпустили? Почему? — И еще с полминуты слушал.— Найдите ее немедленно.

Секретарь райкома повесил трубку, повернулся к Семену:

— Ну вот... Я думал, ты слишком рано ко мне пожаловал, а ты — поздно. Минут двадцать назад ее выпустили. Ничего, найдут.

— А-а, пока они чешутся...— Семен сорвался с места.— Я вам сейчас ее приведу. Я сейчас... Вы когда на работе будете?

— Да что ж теперь? Умоюсь вот да стакан чаю выпью...

* * *

Когда Кружилин пришел в райком, Семен и Наташа Миронова сидели в коридорчике возле приемной. Райкомовская уборщица мокрой тряпкой вытирала подоконники.

— Вот...— вскочил Семен.— А с нее подписку взяли — в двадцать четыре часа убраться из Шантары.

— Заходите,— Кружилин мельком взглянул на девушку.

Семен схватил Наташу за горячую ладонь, насильно поднял, втолкнул в приемную, а потом и в кабинет. Она прислонилась там спиной к стене, спрятав сзади руки, вытянулась, словно ожидая, что здесь сейчас ее будут истязать. Кружилин грузно топтался еще в углу, у вешалки.

— Ну, здравствуй, Наташа Миронова. Ты не узнала меня?

— Почему же... Узнала. Добрый вы дяденька.

— Верно, помнишь. Рассказывай тогда, что с тобой произошло.

— Не надо.— Голос ее был насмешливо-печален.— Я столько рассказывала. Что толку?

— Угу,— будто и согласился Кружилин.— Не хочешь?

— Я ведь комсомолка... бывшая. Но все равно я ходила в горком комсомола. Там, в Новосибирске, чтобы все рассказать. Сперва меня вроде слушали, а потом стали отворачиваться, прятать глаза. И вы сейчас спрячете, когда узнаете...

В кабинет без стука вошел Яков Алейников. Он был в форме. Наташа глянула на его красные петлицы и умолкла.

— Что я узнаю? Что отец твой осужден?

— Ну, осужден, осужден! — выкрикнула Наташа.— А я при чем? В чем моя-то вина? Почему мне теперь нету места на земле? Я тоже, значит, бывший советский человек? Или вообще не человек? А Елизаров — он человек... Объясните мне... Вот вы — пожилой человек. И вы,— она повернулась к Алейникову.— Объясните, что происходит? Объясните!

Алейников снял шинель, тоже повесил на вешалку, подошел к Наташе. Щеки ее горели тяжелым, нездоровым румянцем, глаза блестели черным пронзительным огнем, делая исхудавшее лицо жестоким, некрасивым.

Под пристальным взглядом Алейникова этот черный огонь в глазах девушки не потух, не дрогнул даже, а сделался еще чернее, кажется.

— Вам что, домработница нужна?— спросила она вдруг спокойнее, но таким голосом, от которого Алейников вздрогнул.— Так я могу. И домработницей, и наложницей. Я могу!— Голос ее зазвенел, сорвался.

— Это... как же понять?— промолвил Алейников. Косой рубец на его щеке стал наливаться синевой, и он потер его ладонью.

— А так и понять. Или спро́сите — люблю ли я Родину? Спрашивайте! Что ж молчите?

Она стояла теперь полусогнувшись, как бы собираясь прыгнуть на Якова Алейникова, растерзать его в клочья. Платок сбился с ее головы, лоб и даже щеки взмокли. Кружилин поднялся из-за своего стола, торопливо пошел к девушке, будто действительно испугался за Алейникова.

— Поликарп Матвеевич! — неизвестно зачем воскликнул Семен.

Кружилин подошел к Наташе, встряхнул ее за плечи.

— Это мы спросим... не сейчас только,— проговорил он.— А сейчас скажи вот что: сама-то веришь, что отец твой виновен?

— Какое это имеет значение?!

— Имеет. Особенно для тебя самой. Веришь?

Она громко проглотила тяжелый комок. Какое-то время девушка еще затравленно глядела в спокойные глаза Поликарпа Матвеевича, попробовала даже сбросить со своих плеч его пухлые руки. Но он держал ее крепко.

— Если бы вы знали, какой он был, мой отец! Если бы знали...— И заплакала навзрыд.

— Ну-ну...— беспомощно и смущенно сказал Кружилин.— Погоди... Ты не больна? Вся горишь.

— Нет,— мотнула она головой.

Потом Наташа сидела в мягком кресле напротив Кружилина, рассказывала ему всю свою историю, от начала до конца. Время от времени она терла виски, стараясь уменьшить боль (в виски будто кто стучал молотками), плакала, вытирала слезы смятым в мокрый комочек платочком, опять рассказывала. Кружилин, Семен, Яков Алейников слушали эту исповедь безмолвно. Семен беспрерывно ёрзал на стуле, не зная, куда девать свои руки, а Яков, облокотившись на колени, не шевелился, уныло смотрел вниз.

— Довольно!— неожиданно прервал ее Кружилин.— Ах Елизаров, ах подлец! Ну, мы разберемся. А ты...— Он недружелюбно поглядел на девушку.— Один-два подлеца встретились тебе, а ты и заключила, что все люди такие.

— Не два! Их — много.

— Ну, двадцать! Ну, двести! — воскликнул Кружилин, зло взглянул на Алейникова и, опустив глаза, добавил тише:— Хотя порой и одного достаточно, чтобы жизнь человеку исковеркать. Ведь смотря какой силы подлец. Жить-то есть где?

— Есть,— быстро откликнулся Семен.— У бабки, у той, у Акулины, пока можно.

— Ну и отлично. А работу найдем — у нас вон целый заводище. Хочешь на завод?

— Да я хоть где... Где угодно и кем угодно! — торопливо сказала Наташа.— И вы увидите, как я буду работать! Как я...

— Хорошо, хорошо... А сейчас ступай. Отдохни, успокойся. Проводи ее, Семен.

Наташа поднялась, подошла к двери, оглянулась:

— Спасибо вам...

* * *

Наташа и Семен ушли, а Кружилин и Алейников еще долго сидели каждый на своем месте. Сидели и молчали.

— Когда уезжаешь, Яков?— спросил наконец Кружилин.

— Теперь это не от меня, от военкомата зависит.— Алейников с трудом разогнулся.— Дела почти все передал. Преемник мой вроде ничего мужик, ты с ним сработаешься.

— Что это? Месть за прошлые наши отношения?

— Какая месть, Поликарп!— вздохнул Алейников, поднялся и, как это часто делал, стал смотреть в окно, думая о чем-то своем.— Да, многое я бы дал, чтобы не было того времени, когда... когда я не мог сработаться с тобой. И чтобы не слышать теперь вот этого крика: «Объясните, что происходит?!»

Под шрамом у Алейникова вспух крупный желвак. Кружилин все сидел в кресле у стола, положив руку с пухлыми ладонями на мягкие подлокотники, глядел на Якова, на его поседевшие виски, на крепкую спину, обтянутую гимнастеркой.

— Правда — удивительная она штука,— в голосе Алейникова прозвучала явственная горечь.— Кажется, что я всегда знал правду. А оказывается...— И он повернулся к Кружилину:— Поймут ли те, которые после нас будут жить, что мы... каких бы ошибок ни наделали, мы не подлецы? Думали, что поступаем во имя правды...

Кружилин не торопился что-либо сказать. Наконец заговорил:

— Поймут ли? Во-первых, ты не обобщай. Словечки «мы» и «нас» тут не годятся. Потому что среди «нас» были и есть честные сами перед собой, а были и есть нечестные, то есть подлецы, карьеристы. А кроме того, были и есть, конечно, и настоящие, сознательные враги нашей правды, нашего дела.

— Полипов, например?— вдруг в упор спросил Алейников.

— Не знаю!— раздражительно воскликнул Кружилин и встал.— Поди разберись, что у него внутри происходит! Сейчас вот тоже на фронт рвется. Что у тебя в душе происходит — я вижу, понимаю, а главное — верю. А что у него — не знаю пока, не понимаю... А во-вторых... Да, потомки поймут, обязательно поймут тех, кто был честен сам перед собой. И простят. Потомки — они всегда великодушны. Но что говорить о потомках, даже современники простят, если...— Глаза Кружилина полыхнули вдруг беспощадной, больно режущей молнией, как бывало в молодости, и так же беспощадно, не выбирая слов и не смягчая голоса, он закончил:— Если эти «честные сами перед собой» докажут эту честность всем остатком своей жизни, а не смалодушничают и под видом геройской гибели на фронте не покончат самоубийством, как нашкодившие...

— Поликарп!

— А-а, не нравится?!— закричал и Кружилин, губы его затряслись.— Нет, будем и дальше говорить прямо, без всякой дипломатии. Ты вот нашкодил в жизни... Не морщись, как бы там ни было, а нашкодил — и теперь в кусты? А нам великодушно оставляешь возможность объяснить этой девчонке — почему же оно все так произошло? А объяснять надо, ведь ей жить на этой земле. А как ей жить, во имя чего жить, рожать детей? Во имя чего их растить, какие нравственные идеалы вкладывать им в души?

— Поликарп! — из последних сил взмолился Алейников.

— Нет уж, дорогой мой товарищ! Давай уж, раз так оно вышло, вместе и объяснять ей, что произошло. А то слишком легкий выход, гляжу, нашел для себя...

Кружилин помолчал, поглядел на часы, сел за свой стол, сердито отшвырнул со стекла какие-то бумажки, нахохлился. Яков поплелся к вешалке, стал натягивать шинель. Кружилин молча наблюдал за ним.

— Ждешь, что я тебе отвечу?— спросил Алейников уже от дверей. Кружилин пожал лишь плечами.— А отвечу вот что: сперва не понял, зачем ты пригласил меня поглядеть на эту девчонку, теперь ясно.

— Ну и как?— Кружилин сурово поджал губы.

— Война есть война, Поликарп. И я, как ты знаешь, не трус. Останусь жив — буду полагать, что обязан этим тебе. Не вернусь если — не считай, будто смалодушничал. Вот все, что могу ответить.

Обожженные морозом губы Кружилина (в последнее время он много ездил по району) дрогнули, суровые складки на лбу расправились. Но сказать он ничего не сказал.

* * *

Выйдя из райкома на хрустящий снег, Семен радостно проговорил:

— Ну вот! И все нормально. А то — ненавижу... Погоди, у тебя в самом деле жар будто?— Он хотел притронуться к ее лбу.

— Не лезь!— вскрикнула Наташа и отшвырнула его руку.

— Ну-ка, живо пошли, я отведу тебя к бабке Акулине.

— Без тебя дойду.

— Да? А где она живет, в какой стороне? То-то и оно. Иди за мной.

Он пошел. Наташа помедлила, тоже двинулась следом, размышляя, что зря она так грубо разговаривает с этим парнем, который... Мысль эта, возникнув, потерялась, потому что голову разламывало, расшибало горячими ударами из-

нутри, перед глазами все вертелось. Парень, которого секретарь райкома назвал Семеном, куда-то исчез, а потом появился, спросил что-то. И вдруг начал делаться все меньше и меньше — он словно проваливался сквозь землю. И вот совсем провалился, снова исчез, и ничего кругом уже не было, и самой Наташи не было...

...Очнулась она в комнате с бревенчатыми стенами. Она увидела окошко с сильно замерзшим стеклом, ослепительно белую, недавно, видно, побеленную печь. Печь топилась, возле нее сидела иссохшая старуха с землистым лицом, со втянутыми глубоко в рот губами и чистила картошку. У окна за маленьким столиком пристроилась девчушка лет тринадцати с косичками-рогульками и, высунув от напряжения кончик розового язычка, не то писала, не то рисовала. Посреди комнаты на ввинченном в потолок крюке висела люлька.

«Где же это я?»— подумала Наташа и вздохнула.

Старуха с землистым лицом подняла голову, подошла, наклонилась над ней, чуть не задевая лицо седыми космами, спросила:

— Видишь, что ль, меня?

— Вижу. Кто вы?

— Оклемалась, слава тебе, господи... Ганюшка, дай-кось молоко.

Девочка с косичками, вместо того чтобы принести молоко, подбежала к кровати, удивленно и настороженно оглядела Наташу. Потом в ее таинственных глазах затрепетал радостный огонек, она юркнула к печке и появилась вновь у кровати с кружкой.

— Ага,— сказала старуха.— Выпей вот.

— Не хочу.

— Еще чего! Ну-ка!

И она просунула под ее голову жесткую, как палка, руку, приподняла Наташу, поднесла к ее губам кружку. Запах теплого молока ударил в ноздри, голова от этого запаха закружилась. И когда пила, голова все кружилась, Наташа все пьянела, пьянела...

Потом старуха опять принялась чистить картошку, а девочка с косичками сидела у кровати и без умолку говорила, то захлебываясь от радости, то испуганно понижая голос до шепота:

— Ну вот, а дядя Федор говорил — не выживешь ты, подох... «Помрет,— говорит он,— тут еще». Ух как он Семена-то ругал, что он тебя принес! Тебя ведь дядя Семен принес на руках, вот так, вот так занес тебя в дом... Ух, мы испугались! Тетя Анна говорит: «Положите ее скорее на кровать в эту вот комнату». Тетя Анна — она добрая, добрая. И Семен, и все. У них только дядя Федор недобрый, сердитый всегда, я его боюсь. А меня Ганкой зовут. По-настоящему-то Галиной, а так все кличут — Ганка да Ганка. Мы эвакуированные тоже, до войны на Украине жили. Сад у нас был, яблоки во-от такие вырастали. Папка и дедушка сами сад насадили. А потом я видела, как снаряд фашистский в нашем саду разорвался, а дом загорелся — крыша-то соломенная была. Мы побежали на станцию, а дом так и сгорел, наверно. Папка-то на фронте наш, а мы вот тут. Он и не знает, что мы тут, не знает, что дедушка наш, папкин отец, недавно помер. Печку вот эту сложил — он хороший печник был — и помер. Мамка, как затопляет, плачет. Человек, говорит, помер, а печка вот, сложенная его руками, горит... Тут у хозяев наших, у Савельевых, кладовка была, мама и дедушка под комнату ее переделали. Потому что тесно нам всем было. Тятя Анна говорит: «Оштукатурим — и совсем хорошо будет». А ты где будешь жить? С нами? Живи, теперь всем места хватит. Тетя Анна нам две комнаты отдала, Семен с Димкой да Андрейкой в третьей живут, а сама она с дядей Федором на кухне спят...

Из торопливых слов Ганки Наташа мало что поняла, сообразила лишь, что находится в доме того самого парня, который неожиданно появился у Огородниковой, а потом водил ее к секретарю райкома партии.

— А давно я здесь?— спросила Наташа.

— Да уж четвертый день. Вот дядя Семен обрадуется, что ты выздоравливаешь! Он каждое утро и вечер заходит и спрашивает, как ты. Сейчас он на работе, и мамка на работе, и все. Андрейка в школе, а Димка на коньках ушел кататься. И дядя Юра обрадуется. Он вчерась тоже приходил, долго глядел на тебя. «А я, говорит, в клубе ее ждал, ждал...»

Ганка так и сыпала именами, все они путались, Наташа не могла сообразить, кто такие тетя Анна, дядя Федор, Димка, Андрейка. В голове ее позванивало, малейшее движение отдавалось болью в висках.

— Погоди, кто такой дядя Юра?

— А это двоюродный брат нашего дяди Семена. Смешной такой.

— Его фамилия как?

— Да тоже Савельев. Его отец — самый главный директор на заводе, где мама работает.

Наташа вспомнила веселого парня в тужурке, его смешные слова. «Можно звать меня Георгием или Гошей. Можно Агафоном, можно Агафончиком». Тогда его слова не рассмешили ее, а сейчас она улыбнулась. Улыбка была робкой, она чуть тронула ее исхудавшие губы, и показалось вдруг, что возле нее нет никакой Ганки, что нет и не было на свете никакого Юрия, никакого Семена, секретаря райкома партии Кружилина, что все это ей снится, а вот сейчас она пробудится и увидит, что были и есть только Елизаров, милиционеры, Огородникова, эти бандиты Гвоздев, Зубов, Кафтанов. Вот они идут к ней со всех сторон, грохоча сапогами. Зрачки ее стали расширяться, делались все больше. Она приподнялась, испуганно глядя на дверь. Дверь распахнулась, быстро вошел Семен, а за ним тот зеленоглазый парень.

— А-а, и верно, отошла. Наконец-то!— сказал Семен громко.— Ну, здравствуй.

— Приветик, Наташенька,— улыбнулся Юрий.— Приветствую и тут же спрашиваю: какое, собственно, имеете право болеть? А там Агафон один, понимаешь, в клубе ее напрасно ждал, все свои пресс-конференции отменил.

— Погоди ты,— плечом отодвинул его Семен.— Как чувствуешь себя, Наташа?

— Не видишь, что ли, все нормально,— ответил за нее Юрий.— Через пару дней мы такой фокстротик с ней в клубе оторвем!

— Ничего не хочу я с вами отрывать,— сказала Наташа. Ей не понравились его слова, его развязность и почему-то даже голос.

В комнату вошла костлявая старуха с пустым ведром.

— Ступайте, ступайте отсюдова, балабоны! Ей и так лихо еще, а вы разлаялись тут.

— Что ты, баба Феня?— открыл Юрий белозубый рот.— Видишь, она улыбается.

— Дак ить при одном твоем виде, поди, у каждой сердце от радости заходится,— ядовито прошамкала старуха и бесцеремонно стала выталкивать их.

Семен вышел покорно, помахав на пороге рукой, а Юрий шутливо сопротивлялся, сыпал разные шуточки. Уходя, он крикнул:

— Имейте в виду, у меня строгое приказание от самого товарища директора завода как можно скорее доставить вас на завод в самом здоровом и радостном состоянии на предмет устройства на работу!

— Тьфу ты скоморох, прости меня, господи, — проворчала старуха, закрывая за ним дверь.

А Наташа улыбалась, сама не зная чему. Семен и Юрий были в рабочей одежде, от них пахло морозом, мазутом, металлом. Ребята ушли, а эти запахи еще стояли у ее кровати, она жадно втягивала их в себя и — улыбалась.

* * *

С двадцатых чисел января в Шантаре ежедневно шли густые, тихие снегопады, крупные хлопья кружились в воздухе тяжело и медленно и неслышно падали на землю, на крыши домов, на деревья. В палисадниках и на огородах росли сугробы; когда проглядывало солнце, снег, девственно чистый, ослепительно загорался, и до слез резало глаза. Кругом было так чисто, тихо и уютно.

Чисто, тихо и уютно было и на душе у Наташи. Все, что было с ней недавно, вспоминалось теперь как жуткий, кошмарный сон, а иногда казалось, что этого и вовсе не было, что обо всем этом она прочитала в какой-то безжалостно жестокой книге.

Уже несколько дней она работала официанткой в заводской столовой, в «зале» (если можно было назвать залом небольшую комнатушку в наспех сколоченном дощатом бараке) для инженерно-технического персонала.

Впервые на завод ее привели Семен и Юрий. Не на сам завод, а в заводоуправление, которое размещалось в небольшом двухэтажном здании тоже барачного типа. Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью с табличкой «Директор».

— Ой! К самому директору?— испугалась Наташа.

— Ага,— подтвердил Юрий.— И он сейчас тебя съест.— И исчез за дверью.

Наташа поглядела в окно. Отсюда была видна чуть ли не вся заводская территория — три или четыре недавно законченных кладкой кирпичных корпуса с высокими квадратными окнами, замерзшие стекла которых неприятно белели, несколько строящихся еще корпусов, выложенных то наполовину, то на метр-полтора всего от земли. Однако в этих кирпичных квадратах стояли правильными рядами станки, у станков были люди.

— Они... они, что же, работают?— спросила она, удивленная, у Семена.

— Как видишь,— хмуро уронил тот.

— Прямо... под открытым небом? Холодно же!

— Не жарко.

По всей территории завода были разбросаны дощатые сараи, времянки, дымило несколько труб, из какого-то здания вырывались клубы пара. Кое-где брызгали искры электросварки. Вокруг построек суетились люди, долбили мерзлую землю, возили ее на тачках, что-то нагружали и сгружали с автомашин.

— Ну, я пошел тогда... Юрка теперь все сделает,— раздраженно почему-то произнес Семен и действительно пошел.

— Семен! Семен!— воскликнула Наташа умоляюще. Но он не остановился.

Директор завода, большелобый, с обвислыми плечами, не очень крупный человек в новой гимнастерке, несколько мгновений молча смотрел на Наташу, когда Юрий втолкнул ее в кабинет.

Глаза его, серые, холодные, не понравились ей.

— Кем бы ты хотела работать у нас на заводе, Наташа?

И случилось какое-то чудо: директор завода сидел все в той же позе, смотрел на нее таким же пристальным взглядом, но серые глаза его не казались ей уже пустыми и холодными, теперь Наташа ясно, очень ясно видела, что глаза эти светятся умом и добротой.

— Я не знаю... Я хоть кем... Я еще никогда не работала.

— В наш цех ее можно. Учеником токаря,— сказал Юрий.

— К кому? К тебе, может?— сдержанно спросил директор.

— И ко мне можно.

— Что ж, токарь — неплохая профессия. Если захочешь, станешь и токарем.— Директор нажал кнопку под столом.— А пока вот что мы сделаем, Наташа... Ни в одном цехе у нас тепла еще нет, тепло только вот здесь да в столовой...

Вошел бодрый старичок с жесткими, прокуренными усами, с очками на морщинистом лбу.

— Значит, так, Филипп Филиппович. Это Наталья Александровна Миронова. Она эвакуирована из Москвы. Дорогой, во время бомбежки, у нее погибла мать, сгорели все документы. («Знает, все знает!— облегченно подумала Наташа.— Кто ему рассказал? Юрий? Или секретарь райкома?») Оформите ее, пожалуйста, без всякой бумажной волокиты, по одному ее заявлению, официанткой в нашу столовую, выпишите пропуск и все такое... Выдайте справку, что она работает на заводе,— это ей нужно будет для получения паспорта. Ну а завтра с утра выходи на работу,— повернулся он к Наташе и впервые чуть улыбнулся...

...Просыпалась теперь Наташа с первым утренним гудком, стараясь не потревожить Ганку (она спала с ней на одной кровати), вставала, наскоро умывалась и, попрощавшись с бабушкой Феней и Марьей Фирсовной, возившейся уже с завтраком для своей семьи, убегала на завод.

«Зал ИТР» был отгорожен от общей столовой тонкой переборкой, за которой все время слышался шум, гам, звон металлической посуды. В «зале» стояло всего два длинных, покрытых вместо скатертей простынями, некрашеных стола, вместо стульев — грубые, тоже непокрашенные скамейки, давно не мытые, залос-

нившиеся. Заведующая столовой Руфина Ивановна, крупнолицая сутулая женщина, объяснила Наташе, что она должна не только подавать «клиентам» пищу, но и убирать помещение, стирать простыни со столов, оконные занавески.

— Потому что у нас на общий зал всего две уборщицы, где им еще здесь!— сердито сказала она, оглядывая Наташу. И грубо добавила:— Ешь тут до отвала, а с собой что потащишь — гляди у меня.

— Да вы что?!— обиженно воскликнула Наташа.

— Ну, знаем мы, все попервоначалу-то этакие... честные.

В первый же вечер Наташа перестирала на кухне простыни и занавески, тяжелым кухонным ножом выскребла доски столов, скамейки, вымыла их горячей водой с мылом, протерла тусклые, запыленные стекла окон, подоконники. И каждый вечер, прежде чем уйти из столовой, долго и старательно мыла пол.

Заведующая наблюдала за всем этим, ничего не говорила, хмурилась, недовольная будто ее старанием. Но однажды приподняла краешек простыни на столе, ладонью провела по чистой доске, присела на скамейку, выставив узловатые колени, спросила:

— Тяжко?

— Ничего...

— Я слышала краем уха — мать у тебя под бомбежкой погибла?

— Погибла мама.

— Худенькая ты,— вздохнула женщина.— Ты ешь побольше, чтоб силы прибывали.

Странное дело — теперь все люди, с которыми она встречалась, которых кормила тут, в столовой, вызывали у нее хорошее настроение, эту светлую радость.

Работы было много. Целый день она ходила от столов к раздаточному окошку, в толстых фаянсовых тарелках носила борщи и гуляши, собирала грязную посуду, вытирала столы, а вечером делала полную уборку «зала». Но она не уставала, к концу рабочего дня ныли только чуточку руки в запястьях.

Постепенно она узнала все заводское руководство, всех начальников цехов, инженеров, даже мастеров. Люди были разные — и веселые, и хмурые, и разговорчивые, и молчаливые. Инженер Иван Иванович Хохлов, например, маленький, кругленький, сперва в дверь просовывал брюшко, потом всегда довольное, улыбающееся лицо и весело спрашивал: «Ну-с, что у нас на обед сегодня, Наташенька?», хотя в столовой, кроме гуляша и борщей, ничего не готовилось. Парторг завода украинец Савчук входил молчаливо, кивал Наташе, долго мыл руки в углу за занавеской, гремя умывальником, садился на свое место с края стола, которое никто никогда не занимал, и тотчас вынимал газеты. Он читал их иногда подолгу, забыв про остывающий борщ, потом схватывался, торопливо выхлебывал тарелку, быстро проглатывал второе и стремительно уходил. Главный инженер Федор Федорович Нечаев никогда не улыбался и никогда не читал за столом. Высокий, худой, похожий на Дзержинского, ожидая, когда Наташа принесет ему поесть, он сидел за столом прямо и, поставив перед собой ложку торчком, крутил ее длинными, худыми пальцами, о чем-то думал. Наташе казалось — не принеси она ему обед, он будет так сидеть и час и два и даже не вспомнит, зачем пришел в столовую.

Эти трое всегда приходили в разное время, но однажды появились одновременно. Снимая длинное пальто и цепляя его на вешалку, Нечаев громко говорил, сердясь от собственных слов:

— А я говорю — нет! Нет и еще раз нет! Какое мне дело, что Полипов уезжает на фронт? Пусть едет, пусть они где угодно ищут нового председателя райисполкома! А Хохлов заводу нужен.

— Я, Федор Федорович, буду рад... буду рад, если вы меня отстоите,— крутился толстенький Хохлов вокруг длинного, как жердь, Нечаева.— Я не знаю, не представляю, что я там смогу... на той работе. Я всю жизнь на заводе...

— Но Кружилин, кажется, в области все согласовал уже, — сказал Савчук, гремя умывальником.

— Мне какое дело?! Мне какое дело?!— вовсе вскипел Нечаев.— Нам с весны минометы придется осваивать. И сразу трех калибров. Это как? В наших-то условиях!

— Ты погоди, Федор Федорович, не горячись,— попросил Савчук.

— А-а, ты что же?! Ты в сговоре с Кружилиным?! И Савельев, как я понял, в сговоре!

— Не в сговоре мы, а дело серьезное!— повысил голос и Савчук. Наташа даже удивилась, что он может сердиться.— Ты о заводе только думаешь, а Кружилин — о заводе да еще обо всем районе! Его тоже надо понять.

— А я не хочу понимать! И не буду!

— Придется, Федор Федорович...

И эта стычка руководителей завода оставила у Наташи радостное ощущение. Это была жизнь, и каким-то краешком она задевала теперь и ее.

Дня за два до этого она впервые увидела Полипова, о котором шла речь. Он и секретарь райкома партии Кружилин проводили на заводе какое-то собрание, а потом вместе с директором завода зашли в столовую. Наташа подала всем троим обычные борщ и гуляш. Кружилин улыбнулся и спросил, как она тут осваивается, все ли у нее в порядке. Полипов же этот даже не поглядел на нее, ел, уткнувшись в тарелку, и, когда жевал, уши у него пошевеливались. Шевелящиеся уши и его широкие, жирные плечи оставили у Наташи неприятное впечатление, но теперь, когда она узнала, что Полипов едет на фронт, и плечи и уши его казались ей уже вполне симпатичными, и она внутренне ругала себя за возникшее было неприязненное чувство к этому человеку.

Еще дня три Хохлов появлялся в столовой со своими обычными словами, только за едой почти не разговаривал. Наташа осмелилась и спросила, не уходит ли он с завода.

— Да, Наташенька, не хочется, очень не хочется,— как-то непонятно ответил он.

— И мне не хочется,— проговорила она неожиданно.

— Да? — обрадовался он.— Спасибо, Наташенька, спасибо!

А потом он перестал ходить в столовую, и она узнала, что Ивана Ивановича избрали все-таки председателем райисполкома, а Полипов уехал на фронт.

В первый же день Наташиной работы появился в «зале ИТР» Юрий, шумный, веселый, как всегда.

— Ну-с, как она, Наталья Александровна, тут? Не обижают ее? Дайте поесть единственному и горячо любимому сыну директора завода товарища Савельева.

Наташа не знала, можно ли ей кормить Юрия, прошла на кухню, спросила у заведующей.

— Корми уж,— сказала та.

Юрий потом заходил частенько, все так же балагурил, шутки его были все те же, и они казались Наташе все более плоскими, неуместными. А тут еще заведующая как-то сказала, провожая его взглядом:

— Козел.

— Почему? — спросила Наташа.

— Ванька-ветер в голове-то гуляет.

Это «Ванька-ветер» удивительно точно характеризовало Юрия, и Наташа улыбнулась.

Несколько раз Юрий появлялся возле столовой именно в тот момент, когда она заканчивала работу, и говорил одно и то же:

— А-а, ну, идем вместе, я тоже домой. Провожу, не возражаешь?

Ей было неприятно и неудобно перед кем-то, когда Юрий провожал ее. Дорогой разговор шел о том о сем, о работе, о заводе. Только когда останавливались возле дома Савельевых, Юрий спрашивал:

— Ты к бабке Акулине хотела перебраться?

— Надо, наверное, тесновато тут у них. Да вот — боюсь чего-то.

— Чего там, перебирайся давай. Старуха одинокая...

От его слов ей всегда было зябко. Ей казалось, что вот наконец-то она из страшного водоворота выбралась на более или менее сухое и твердое место, как тонущий человек выбирается на плывущую по реке льдину, она стояла на этой льдине не шевелясь, чтобы не сорваться, не очутиться снова в холодной воде, а Юрий, сам того не зная, хочет эту льдину качнуть...

* * *

Тем не менее Наташа часто думала, что от Савельевых надо уходить. Семен с того самого дня, как она устроилась на работу, почему-то хмурится, явно избегает ее, мать его, Анна Михайловна, молчит, как камень, утром безмолвно кивнет Наташе, когда она уходит на работу,— и все. Замолчала отчего-то и ранее разговорчивая и ласковая Марья Фирсовна, не говоря уже о бабушке Фене — та вообще, как выздоровела Наташа, не произнесла, кажется, ни слова. Все женщины часто вздыхали, будто их давило что-то невидимое и тяжелое. А голоса отца Семена, Федора Силантьевича, Наташа вообще ни разу не слышала. Когда уходила на работу, хозяин дома еще спал на кухне, уткнувшись бородой в стену. Вечером, когда она возвращалась, он чаще всего опять уже спал в той же позе, а если не спал, то оглядывал Наташу, пока она проходила кухню, холодно и враждебно, недовольно шевелил черными усами.

Но уходить было некуда. К бабушке Акулине она идти боялась: рядом жила Манька Огородникова, которую выпустили из милиции, как слышала краем уха Наташа. Об этом разговаривали недавно Семен с матерью, но, едва Наташа вошла, они испуганно, как ей показалось, умолкли. Наташа понимала, что Огородниковой она обязана жизнью, но после всего, что произошло в ее доме, эта рослая женщина с тяжелыми грудями, содержащая бандитский притон, была ей ненавистна, она страшилась ее. «И почему ее выпустили? — думала Наташа.— А тех бандитов — что с ними сделали? Неужели тоже отпустили? Нет, нет, нельзя к бабушке Акулине, ни за что нельзя! Вдруг ночью объявится опять Огородникова, потащит к себе в дом? Надо в другом конце села угол попытаться снять».

— Какой сейчас угол! — сказала заведующая столовой, когда Наташа заговорила с ней об этом.— Везде людей понапихано, как селедок в бочке. Может, в землянку где приткнуться можно, так это с директором завода надо говорить.

К директору Наташе было обратиться проще всего — он часто обедал в столовой. И как-то даже сам спросил, все ли у нее в порядке, получила ли она паспорт.

— Не получила еще, скоро... Фотография нужна. Вот получу зарплату и сфотографируюсь.

Директор вынул десять рублей, положил на стол.

— Фотографируйся.

— Не надо...

— Бери! — сказал он, поднялся и ушел, оставив деньги на столе.

После этого о жилье Наташа не осмеливалась с ним говорить.

Несколько вечеров, боясь встретить где-нибудь Елизарова, она ходила все же в поисках квартиры, но безрезультатно. Возвращалась промерзшая, долго грелась у печки. Марья Фирсовна молча глядела на нее, но ничего не спрашивала.

Однажды, когда Наташа вот так же вернулась поздно и грелась у печки, в комнату зашла Анна Михайловна, принесла почти новое ватное пальто с кроличьим воротником.

— Ну-ка, примерь.

— Нет, нет! Пожалуйста, не надо!

— Где ходишь до полночи последнее время?

— Так... Тесно же у вас, я понимаю. Спасибо вам за все. Я не забуду, никогда не забуду...— И у Наташи блеснули слезы.

— Ну, поплачь, если мало еще плакала,— сказала Анна Михайловна.— Глупая ты, чего выдумала? Живи давай и пальто носи.

— Глупая и есть,— произнесла Марья Фирсовна, когда мать Семена вышла.— Да разве мы не люди, чтоб не понимать? С чего на ум взбрело?

— Не знаю. Мне показалось... Сам хозяин, отец Семена, всегда так смотрит! И все вы молчите, молчите, будто...

— Молчим...— Марья Фирсовна вздохнула.— Да разве оттого, дуреха ты этакая, что ты живешь тут? Несчастная она, Анна, и дети их.

— Отчего несчастная? Вы расскажите.

— Это не мое дело — рассказывать. Да и ничего я не знаю. В глубину чужой жизни сколь ни гляди, всю ее не увидишь, всего не поймешь.

Наташа помолчала, то собирая, то разглаживая складки на лбу.

— Я поняла, отец Семена и директор нашего завода — братья?

— По рождению-то братья. А на самом деле чужие.

— А почему?

— Откуда ж я знаю, доченька? Такие штуки крутит жизнь, что... Им самим не разобраться, как я погляжу, а где уж постороннему... У них, у Савельевых, еще один брат есть, Иван, в колхозе живет. И хороший человек будто, а тоже в разладе с братом, с Федором. Поди разберись, отчего да почему. У того жизнь, у Ивана-то,— горше бывает, да не часто. По тюрьмам долго сидел за что-то.

В больших глазах Наташи мелькнул испуг.

— Как же? За что?

— О-хо-хо, доченька! — только и вымолвила женщина вместо ответа и принялась стелить постель.

Бабушка Феня давно лежала на печи, время от времени что-то шептала про себя. В соседней комнате раздавались детские крики, визг и смех.

— А теперь Димка, теперь Димка пускай фашистом будет! — звонко кричал Андрейка.— Давай, Димка, ты похожий.

— Почему это я похожий?

— Ты долговязый, и глаза пустые.

— Я ка-ак те врежу за такие слова!

— Дима, Дима! — запищала Ганка.— Не по правде же фашист! Играем же...

— Ты врежешь? — запетушился Андрейка.— Да я ка-ак... приемом самбо! Семка мне такой прием показал вчера! Давай бей...

В этом ребячьем разговоре что-то показалось Наташе любопытным, но что — она так и не поняла, потому что думала совсем о другом.

— А он, Иван этот, за что все-таки в тюрьме сидел? — спросила она.

— Не знаю,— пожала плечами Марья Фирсовна.— Анна говорит, что будто и зазря.

Наташа теперь долго-долго сидела молча, положив уставшие руки на стол. На лбу ее все так же собирались и разглаживались складочки. И вдруг губы мелко задергались.

— Чем дальше, тем я больше запутываюсь... Я ничего не понимаю! Вот и мой папа... И мой папа...

— Я слыхала, доченька, про твоего отца, Семен рассказывал. Ничего, все образуется, все по справедливости будет.

— Да когда, когда?!

— А в свое время,— произнесла Марья Фирсовна.— Я вот простая женщина, неграмотная почти, а только я знаю: жизнь обязательно все по полочкам разложит — хорошее к хорошему, плохое к плохому. Жизнь справедливость любит.

— В свое время...

Ребром ладони Наташа вытерла с ресниц проступившие слезинки. Посидела задумавшись. Еле слышно ворохнулась ее грудь.

— Я, тетя Марья, может, и верю в это,— почти шепотом сказала она.— Если не верить — как тогда жить? И зачем?

— Конечно, доченька, конечно,— откликнулась та.

— Только вот думаю: почему так много плохого пока в жизни? И — откуда оно? Ну, война — это понятно, они, фашисты, земли, города наши хотят захватить, народы все подчинить себе, рабами сделать, чтобы властвовать потом, захваченным богатством наслаждаться... А в самой-то нашей жизни почему так много пока зла? Отец вот мой, этот Иван, как вы говорите... Вот сама я чуть не погибла. Пусть я малодушная, но ведь сил больше не было. Почему, откуда?

Марья Фирсовна села на табуретку, положила на колени подушку, принялась разглаживать ее жесткими, жилистыми ладонями.

— Вы понимаете, о чем я?

— Как не понять? Понять легко, ответить трудно. Откуда оно, зло? От людской глупости. Вот я тоже никудышным своим умишком думаю: что они, люди, ежели всех вместе их взять? Дети еще несмышленые. А ребенок чего-чего не натворит только, каких глупостей не наделает, покуда в ум войдет.

Чуть прищурив глаза, Наташа пристально глядела на Марью Фирсовну.

— То есть вы хотите сказать, что человеческое общество еще несовершенно?

— И так можно выразиться. Вот-вот,— кивнула облегченно женщина.— Разума ему не хватает покуда.

— Ну, за все человечество говорить не будем. А у нас-то в стране? Ведь отцы наши... они революцию совершили, сколько крови люди пролили во имя хорошего, во имя добра и справедливости. А где это?

— А разве так уж и нету совсем? — спросила Марья Фирсовна, перестав гладить подушку. И посмотрела на Наташу внимательно.— Ты, верно, чуть не погибла. Да ведь случайно может и на муравьиную кучу колесо наехать. Или дождевой ручеек смыть ее может. Им, муравьишкам, покажется, наверно, что конец света наступил. А кругом солнце горит и земля цветет. Жизнь — большая.

— Что вы говорите, тетя Марья?! Разве люди муравьи? Разве я муравей?

Марья Фирсовна снова глубоко вздохнула, опять затеребила подушку.

— Ну да, ну да, я не то говорю, однако. И не с моим умом твои вопросы разъяснить... А вот не дали же тебе погибнуть.

— Это как раз голый случай. Случайно Огородникова на меня наткнулась, случайно...

— Ну, слова можно долго плести, Наташенька. И каждое слово само по себе вроде правда. А вот тебе тоже правда: добро, оно неприметное, радость недолго, может, и помнится. А зло не забывается ух сколько, все жжет и жжет, выедает внутри все самое живое. И потому кажется, что зла на земле сильно уж много, что его больше, чем добра. И что плохих людей на земле больше. А это обман, доченька. На земле-то много людей хороших, ласковых, и добра, значит, больше.— Марья Фирсовна встала, похлопала свою подушку.— А насчет революции ты шибко быстро выводы выводишь. Ты мироедов-то настоящих где видывала? В кино только, да в книжках про них читала. Откуда тебе знать, сколько тогда зла было? Потому тебе и не сравнить, сколь тогда, а сколь сейчас его. А я могу сравнивать.

— Меньше, я понимаю. Только мне хватило.

— И мне с достатком. Но детишкам моим уж поменьше достанется. Твоим — еще меньше...

Наташа вспыхнула от этих ее слов и, чувствуя, что неудержимо краснеет, резко вскинула голову.

— Вы что... тетя Марья? Откуда у меня?! — И покраснела еще больше, так же резко отвернулась, оголив тонкую, худую шею.

— Глупая,— сказала Марья Фирсовна, погладила ее по волосам.— Как же детишкам не быть, вон ты какая ладная да пригожая. Семка-то наш приметил уж...

— Что... приметил?! — Наташа резко поднялась, щеки ее, казалось, вспухли от внутреннего жара, в глазах забушевало что-то непонятное — недоумение, и испуг, и какой-то гнев, ненависть.— Значит, приметил?!

Марья Фирсовна стояла растерянная, ее доброе лицо было виноватым и жалким.

— Вот ведь... Недаром говорится, что нам, бабам, язык сразу при рождении укорачивать надо! Ах ты господи...

Наташа качнулась к вешалке, где обычно висело ее истрепанное пальтишко, но там его не было. Тогда она в одном платье выбежала на улицу. Мороз сразу ободрал ее, она остановилась на крыльце. Сердце бешено колотилось, как у пойманной птицы, было мерзко, противно, хотелось куда-то убежать, прыгнуть в сугроб, зарыться в него с головой, чтобы никого не видеть, чтобы никто никогда не нашел ее.

— Простынешь, а потом возись с тобой опять. Чего ты? — Это говорила Марья Фирсовна, накидывая ей на плечи теплое пальто.

— Оставьте меня! Он приметил? А отец его, этот, с сердитыми глазами, тоже приметил, да? Тоже?!

— При чем тут отец его?

— При том! Меня примечали уж! Милиционер Елизаров хотел... Потом там, у Огородниковой... Сирота, говорят, куда денется?!

— Погоди, пого... Во-он что! — протянула Марья Фирсовна изумленно.— Да ты нормальная, нет ли? Чего подумала? Да я же про Семку... И Семен... Совсем наоборот...

Пожилая женщина с трудом находила слова, и слова были не те, но другие, нужные, не находились. Однако Наташа вдруг начала понимать смысл ее слов, и в голове у девушки зазвенело, стало что-то больно лопаться.

— Не может быть, чтоб со мной... ко мне наоборот. Не может!

— А вот и может. Я, Наташенька, все вижу и понимаю бабьим сердцем, что у него завязывается. Хоть сам-то он еще и не понимает. И пугает его, должно, что так все скоро и неожиданно. И растерялся, что так неловко все. Он тебя полуживую ведь сюда принес, а теперь... И потому сторонится он тебя. А тут Юрка вокруг тебя виться начал... Дочка, дочка, да как же это ты мои слова так могла понять?

Наташа слушала ее и чувствовала, как плавится у нее в груди что-то горячее, растекается по всему телу и опьяняет, мешает теперь понимать более или менее вразумительные слова Марьи Фирсовны. И зачем она это все говорит, какое ей дело до нее, Наташи, до Семена, до того, как она поняла ее слова?

— На фронт добровольцем хочет, все в военкомат бегает...— долетали обрывки ее слов до Наташи.— Вот и давит в себе то, что зашевелилось. Он понимает, не в пример Юрке этому. Он неприметный в жизни, Семка, стеснительный, а внутри прямой и крепкий. А меня, старую калошину, ты уж прости...

— Ах, ничего я не знаю... Не понимаю. Оставьте меня одну, пожалуйста... ну, оставьте...

Когда Марья Фирсовна ушла, Наташа долго стояла, прислонясь к дверному косяку, смотрела на всплывающую над селом круглую и тяжелую луну, глотала воздух, чтобы остудить себя внутри. Она ни о чем не думала, мыслей не было.

Она не заметила, как подошел к дому возвращающийся с работы Семен, услышала лишь его голос:

— Здравствуй.

Вздрогнув, она попятилась, сбежала с крыльца.

— Наташа? — Он шагнул было к ней.

— Не смей! Не смей... Уходи! — воскликнула она, все пятясь.

Он помедлил и, ничего не сказав, ушел в дом. Наташа села на ступеньку крыльца и неизвестно отчего заплакала. Слезы были тихие, не горькие, облегчающие...

...В эту ночь она еще раз плакала такими же легкими и сладкими слезами.

Лежа в постели, она вспомнила вдруг недавний разговор ребятишек, игравших в соседней комнате, и поняла, чем он показался любопытным ей. Во-первых, Димка Савельев, этот молчаливый, угрюмоватый даже парнишка, которого она недолюбливала, потому что он казался ей злым, хитрым, из которого, как она считала, вырастет человек, похожий на своего отца, вдруг оскорбился, что Андрейка определил его похожим на фашиста. Во-вторых, Семен, оказывается, занимается борьбой самбо. Вот уж никогда бы не подумала. И Марья Фирсовна говорила о нем все хорошее. Как она говорила? «Он неприметный в жизни, Семка, стеснительный, а внутри прямой и крепкий». Верно, неприметный. Юрий — тот другой, тот сильно уж приметный. А заведующая столовой про него говорит... А в чем эта прямота и крепость Семена? А впрочем, ну их, и Юрия и Семена! У них, у всех Савельевых, какие-то непонятные характеры, сложные, запутанные отношения, своя, непонятная ей жизнь, в которой ей никогда не разобраться. Да никто и не просит разбираться, она все равно рано или поздно найдет квартиру и уйдет от них. Поблагодарит всех — и Семена, и Анну Михайловну, и Марью Фирсовну, и бабушку Феню — и уйдет...

Она пыталась заснуть. Но сон не шел. Сбоку сопела и ворочалась Ганка, прижималась к ней теплым тельцем, горячо дышала в плечо.

— Ты не спишь, тетя Наташа? — шепотом спросила вдруг она.

— Нет. А ты чего не спишь?

— Я думаю.

Наташа была рада, что девочка заговорила с ней, отвлекла ее. Она обняла Ганку за острые плечики, еще плотнее прижала к себе.

— О чем ты думаешь?

— Так. Обо всем... Как ты думаешь, Димка хороший?

— Я не знаю,— сказала Наташа неопределенно.— Может быть.

— Хороший, хороший,— убежденно зашептала девочка.— Как он сегодня...— И она не договорила, засмеялась чему-то, уткнувшись в Наташину грудь.

Может быть, и правда Димка хороший, подумала Наташа, не такой, как он представляется ей.

— Тетя Наташа, тетя Наташа,— опять зашептала Ганка в ухо,— а ты... целовалась когда-нибудь?

— Ты... ты что?! О чем говоришь?

— Я ничего, я совсем-совсем ничего,— торопливо прошептала Ганка.— Только мне интересно... интересно, приятно это или нет?

И она смущенно и виновато хохотнула, спряталась под одеялом и затихла там пристыженно. Немного погодя выпростала личико.

— Это нехорошо... нехорошо, что я спросила?

— Нет, это ничего. Только... я не знаю, приятно это или нет. Я ни с кем еще не целовалась.

От этих собственных слов сердце Наташи вдруг больно и холодно заныло, глаза наполнились слезами. Но тут же сердце отпустило, боль исчезла, а слезы хлынули еще сильнее. Обильные, теплые, они текли и текли, капая на подушку.

— Тетя Наташа, что с тобой? Тетя Наташа? — прошептала тревожно Ганка.— Почему ты плачешь?

Но, не дождавшись ответа и, видимо, поняв что-то, тихонько отодвинулась и затихла.

Так с мокрыми глазами Наташа и заснула.

* * *

На следующее утро всем трем — Наташе, Марье Фирсовне и Ганке — было почему-то очень неловко, словно они узнали друг о друге что-то неприличное. Марья Фирсовна рано начала греметь кастрюлями, молча приготовила завтрак. Ганка молча собиралась в школу, время от времени бросая на Наташу испуганные взгляды. «Неужели,— думала Наташа,—у нее начинается что-то к этому Димке? Ведь дети еще».

Но хуже всех чувствовала себя Наташа. Теперь ей было непонятно, почему она так по-глупому поняла вчерашние слова Марьи Фирсовны о Семене и вела себя по-глупому. И с ней, Марьей Фирсовной, и с Семеном.

Марья Фирсовна, кажется, понимала состояние Наташи. Уходя на работу, она от порога поглядела на нее и сказала: «Ничего, ничего...» Раньше они часто на завод ходили вместе, сегодня Марья Фирсовна не позвала ее с собой. Наташа была ей благодарна, что не позвала.

Девушка вышла из дому минут через десять. Было еще темно, в спину дул холодный ветер, тащил поземку. Наташа подняла кроличий воротник. Она шла потихоньку, глядела, как в падающих из окна полосах света кружится снежная пыль, и думала о Семене все-таки с неприязнью: «Подумаешь, приметил он меня! Он... он, конечно, много сделал для меня. К Кружилину отвел. Куда бы я, не появись Семен? Но это не значит, что я так и брошусь на него, пусть не ждет и не надеется. Он мне совсем не нравится. Может, он все это специально сделал, чтобы... И зачем домой отнес, когда я потеряла сознание? К бабке Акулине мог бы...»

Но, думая обо всем этом, она краем сознания понимала, что в ее мыслях что-то не так, а может быть, абсолютно все не так. Во-первых, до бабушки Акулины далеко, она живет где-то на краю села. Во-вторых, он ничего не ждет, он сторонится ее, избегает. Вот Юрка — этот... этот не избегает, этот как можно чаще старается попасться на глаза и вообще держит себя так, будто она чем-то обязана ему. В-третьих... ну да, она равнодушна к Семену, хотя и благодарна ему за все, но... но он ничего, глаза серые, какие-то глубокие, добрые, волосы светлые, мягкие, кожа на лице тоже светлая и нежная, как у девушки. А плечи широкие, руки сильные, шея упрямая и крепкая. И он весь крепкий и сильный, и, наверное, он легко донес ее тогда до дома, нисколько не устал...»

Незаметно для себя она весь день думала о Семене, разбирая его по косточкам, и, когда Юрий заскочил в столовую, она, подавая ему обед, невольно сравнила его с Семеном, подумала: нет, Семен лучше, у Юрия нос горбатый какой-то, хищный.

— Есть колоссальное по силе предложение,— сказал ей Юрий, пообедав.

— Какое? Насчет танцев в клубе? Я не могу.

— Еще колоссальнее! На Громотухе наледь пошла.

— Так что? — не поняла Наташа.

— Как что? Завтра лед будет как стекло. Приглашаю покататься на коньках.

— Что ты! У меня и коньков нету.

— Это продумано. Я для тебя...

— Не до катанья мне,— сказала она сухо, перебив его.

— Эх, обижаете товарища Агафона,— проговорил Юрий и ушел. Он сказал это весело и беспечно, но голос был грустным.

После обеда на улице потеплело, окна стали быстро оттаивать, Наташа беспрерывно вытирала с подоконников воду, глядела на заводской двор, ей хотелось увидеть Семена. Мимо столовой часто проезжали грузовики и тракторы; заслышав шум моторов, она опять выглядывала в окно...

Она увидела его уже вечером, когда пошла домой. Его трактор с прицепом, груженным ярко-оранжевыми ящиками, стоял метрах в двадцати от бревенчатого сарая, который все называли «склад № 8».

Склад был обнесен колючей проволокой, у его широких ворот всегда ходил охранник с винтовкой. Наташа знала, что там хранятся взрывчатые вещества.

Несколько человек при ярком свете электрических фонарей снимали с прицепа ящики, осторожно носили их в склад. Семен в истрепанной, лоснящейся от мазута тужурке копался во внутренностях трактора, посвечивая туда карманным фонариком, затем, не видя еще Наташу, полез в кабину, поднял сиденье, загремел какими-то железками.

Сердце Наташи неожиданно заколотилось, когда она увидела Семена. Она удивилась этому, рассердилась даже на себя, вдруг совсем некстати вспомнила вчерашний Ганкин вопрос и, совсем растерянная, остановилась прямо возле кабины.

— А-а,— сказал Семен. Выпрыгнул на землю. В одной руке у него был кривой гаечный ключ, в другой — грязная промасленная тряпка.— Домой уже? А мне вот еще раз гнать на станцию.

— Это ничего,— проговорила она и тут же поняла, что сказала глупость. Но он почему-то улыбался.— А что ты возишь?

— Так ... штучки всякие. И сам не знаю.

«Он знает, только говорить не хочет... А может, нельзя ему говорить»,— подумала Наташа без обиды и, волнуясь пуще прежнего, произнесла:

— Ты прости меня.

— За что?

— За все. За вчерашнее.

— А что вчера такое случилось, чтоб простить?

От этих слов ей стало легко и хорошо. Он и правда добрый, незлопамятный, мелькнуло у нее. Она улыбнулась и пошла, боясь почему-то, что ее хорошее настроение сейчас исчезнет. Но оно не исчезло до самого дома, не покинуло ее, даже когда она столкнулась среди улицы с живущей по соседству девушкой, которую звали, кажется, Вера Инютина.

— Ослепла? — вскрикнула Инютина, ее глаза блеснули кошачьим блеском.

— Извините, я задумалась.

— Ты думай, да глаза пошире разевай.

Наташа раза два-три до этого видела мельком Инютину, та всегда как-то странно оглядывала ее, будто оценивала. И оценка, видимо, была невысокой, потому что Инютина презрительно поджимала пухлые губы и щурила продолговатые глаза.

Возле дома громко галдели ребятишки — Димка Савельев, Андрейка, Ганка, брат этой Веры Инютиной Колька. Еще когда Наташа болела, Колька несколько раз появлялся у Савельевых, с любопытством оглядывал ее, лежавшую на кровати, швыркал кривым простуженным носом и тер под ним измазанным чернилами пальцем. Однажды, когда Наташе стало полегче, она спросила, как его звать.

— Меня-то? Карька-Сокол,— ответил он.

— Как, как?

— Ты не какай, а выздоравливай.

Наташа смутилась от таких слов, и Колька тоже густо покраснел, крутнулся, исчез и больше не появлялся.

Сейчас ребята барахтались в снегу, пытаясь запрячь в санки лохматую собачонку.

— Не надо, Димка... Андрюша, Коля! — пищала Ганка.— Ей больно.

— Чего больно? Она привычная, понятно? — кричал Инютин.— Она меня на коньках вчера ка-ак поперла...

— И правда, зачем животное мучить? — сказала Наташа, подходя.

Ребятишки притихли. Инютин, стоя на коленях, глянул на Наташу.

— Тебе-то что? Твоя, что ль, собака?

— Нехорошо ведь.

— Я им говорила, говорила! — воскликнула Ганка.

— Помолчи, ты! — прикрикнул Николай, но освободил собачонку. Та обрадовалась, взвизгнула, побежала прочь и юркнула в приоткрытые воротца ограды Инютиных.

— Не надо, Коля, больше мучить ее. Ты мне обещаешь? — спросила Наташа.

— Иди ты! — буркнул паренек и стал сматывать ремни.

Хорошее настроение, охватившее Наташу на заводе, не покидало ее весь вечер. Вспомнив столкновение на улице с Верой, ее грубые слова, Наташа прихмурилась. «Почему она так всегда на меня смотрит?» Но тут же забыла о Вере и не вспоминала больше.

Анна в этот вечер стирала. Наташа, зайдя в дом, поглядела на спящего уже Федора Силантьевича, поблагодарила за пальто и сказала, что потихоньку выплатит за него деньги, если Анна Михайловна согласится его продать.

— Не говори глупостей, — сказала та. — Ежели не устала, помоги белье развесить вот.

Они вышли во двор и долго вешали в темноте мокрое, холодное белье, от которого ломило руки. Потом Наташа помогала Марье Фирсовне накормить кашей и уложить в люльку ребенка. От всего этого ей стало еще лучше, и было такое чувство, будто она ждет чего-то радостного и это радостное вот-вот случится.

И лишь когда она легла, к светлому чувству начало примешиваться невнятное тревожное беспокойство. Откуда оно и о чем — было непонятно, но уснуть Наташа не могла, стала прислушиваться к затихающим звукам дома. И чем напряженнее прислушивалась, тем яснее ощущала это беспокойство, которое нарастало, нарастало. Вдруг вспомнилась ей сегодняшняя встреча с Семеном, и она подумала, что он, конечно, знает, какие «штучки» возит со станции на завод. Вон как осторожно снимали рабочие с прицепа эти оранжевые ящики! А он, Семен, возит их и возит со станции, дорога неровная, колдобины есть, ящики трясутся... Опасно или нет их возить? На боках ящиков-то... ну да, на ящиках ведь противные черепа нарисованы!

Сердце ее сжало холодным, она потерла ладонью под грудью, а неприятная боль не проходила. «Вот еще, да что это я? Раз возит,— значит, не опасно...»

Стукнула наконец входная дверь в сенях, заскрипели мерзлые половицы, донесся еле слышимый голос Семена:

— Умаялся за сегодня, ног не чую. И трактор что-то барахлил.

— Есть будешь? — спросила его мать.

— Давай, если горяченькое что.

Едва послышался голос Семена, боль в сердце Наташи сразу прошла, беспокойство исчезло, тело сделалось легким, невесомым. Но все это напугало ее вдруг сильно, и она резко приподнялась на кровати. В груди было горячо, не хватало воздуха. «Да что со мной? Что мне он?» — бессмысленно зазвенели взявшиеся откуда-то в голове слова. Она медленно легла на спину, вернее, хотела будто лечь, но кровать под ней вдруг исчезла, и она стала падать куда-то, падала и падала без конца...

* * *

Бывает сон как явь, но бывает и явь как сон...

И не понимала Наташа, когда это началось. В тот ли вечер, когда сидела она на кровати, слушала нескончаемый звон в голове: «Да что мне он?» Или сутками раньше, когда Марья Фирсовна сказала: «Вон Семка-то наш уже приметил...» Или когда раздался возле уха стыдливый и таинственный Ганкин шепот: «Тетя Наташа, а ты... целовалась когда-нибудь?»

А может быть, началось это несколькими сутками позже, когда Наташа взяла протянутый в узкое окошечко паспорт, взглянула на четко и красиво выписанные тушью три слова: «Миронова Наталья Александровна», уловила исходящий от книжечки сладковато-приторный запах и вышла из милиции, покачиваясь как пьяная?

Никто, никто на свете не скажет ей, когда это началось. И пусть не говорят...

* * *

За паспортом она шла, боясь, что там, в милиции, кто-нибудь может в последний момент передумать и паспорт ей не выдадут. Но красивая молодая женщина в милицейской форме молча ей дала где-то расписаться, молча протянула потом сероватую книжечку. «Это все он, секретарь райкома партии Кружилин... И на работу чтобы ее приняли, и чтобы тут ничего не спрашивали, чтобы по одной справке паспорт выдали! Если бы не он...» — взволнованно думала она, шагая обратно.

Вдруг она увидела под деревьями скамейку, на которой сидела в то серое, холодное утро, около месяца назад. Она сидела тут, не зная, что ей делать, к ней подошел ненавистный Елизаров, затем появился Юрий, что-то наговорил и убежал, и ей стало ясно, что надо идти на окраину села, где росли какие-то кусты, забрести в них поглубже, чтобы никто не нашел ее. И ее никто бы не нашел до самой весны, а может, и летом никто бы не наткнулся на нее, и никто на свете не узнал бы, куда она делась, не вспомнил бы никто, что жила она, Наташа, на свете... Но появился *он*... Он появился сперва там, у Огородниковой, потом здесь, возле этой вот скамейки...

Ноги перестали вдруг слушаться Наташу, отяжелели, в глазах потемнело до черноты. Ничего не видя перед собой, девушка качнулась, упала на скамейку...

Кругом была темнота, полный мрак, но сознание работало ясно, и теперь Наташа понимала, что сперва был он, Семен, а потом уж появился Кружилин и все остальные. И не было бы Кружилина и этих остальных — ни директора завода Савельева, ни Марьи Фирсовны, ни Анны Михайловны, ни заведующей столовой Руфины Ивановны,— никого бы не было, не появись сперва он, он.

Кругом была темнота. Но Наташа знала — это потому, что она сидит с закрытыми глазами. Вот сейчас она откроет их — и чернота мгновенно исчезнет, в глаза ударит ослепительный солнечный свет и блеск удивительно свежего снега. И наверное... наверное, она увидит перед собой его, Семена.

Семена она не увидела, но чернота действительно исчезла.

День был тихий, безоблачный, стоял легкий, пахучий морозец, весело похрустывал снег под ногами бегущих по улице с портфелями и сумками ребятишек, проходили мимо и взрослые. Никто теперь не обращал на Наташу внимания. Чернели голые ветки над ее головой, из трубы напротив стоящего дома поднимался отвесно в небо столб дыма, тоже белого и чистого, как снег на крыше. А за этой крышей и за крышами других домов вздымались в прозрачное небо каменные, седые от снега утесы Звенигоры. Наташа смотрела на все это, чувствовала, как слезятся от нестерпимого снежного блеска глаза, как теплые слезы текут по холодным пылающим щекам. И еще она чувствовала, что сейчас, когда она открыла глаза, случился не только привычный для каждого человека переход от мрака к свету, а случилось что-то необыкновенное, таинственное и непостижимое, совершилось не вокруг нее, а в ней самой. Но что — ей никогда, никакими словами не объяснить. «Ведь это все он, Семен, Семен...» — беспрестанно думала она...

Наташа не помнила, как она вернулась в столовую. На пути ей встречались люди, многие из них оборачивались, удивленно смотрели ей вслед. Но она ничего не замечала.

— Что? Что?! — с тревогой встретила ее Руфина Ивановна, сама подменявшая Наташу, пока она ходила за паспортом.— На тебе лица нет. Не выдали, что ль?

— Это все он, Семен,— бессмысленно сказала Наташа.

— Какой Семен? Что Семен?

— Вот,— произнесла она и подала паспорт.

— Ну и слава богу, слава богу,— дважды сказала Руфина Ивановна.

...Некоторое время Наташа молча носила борщи и гуляши, не различая людей, которых кормила. Дважды она ставила кому-то вместо борща по две порции второго и часто забывала подать хлеб. И в конце концов споткнулась на ровном месте, уронив две полные тарелки...

Руфина Ивановна увела Наташу в кухню, в свою загородку, служившую ей кабинетом. Там же стояла железная койка, застланная серым одеялом.

— Ты что, Наталья? Заболела?

— Не знаю.

— Ну, полежи, отдохни. Я сама уж кормить их буду.

Почти до самого вечера Наташа пролежала в загородке. Она слушала гул большой кухни, звон посуды, голоса и беззаботный хохот молоденьких поварих. И за эти три-четыре часа с ней произошла резкая перемена — глаза ее, черные как угли, глубоко ввалились, лихорадочно блестели, вокруг них были синие круги, нос заострился, все лицо осунулось. Вошла заведующая столовой и всплеснула руками:

— Да ты и по правде больная!

— Нет,— мотнула она чуть растрепанной головой. И тихонько спросила: — Тетя Руфа, вы знаете Семена Савельева?

— Какого Семена? Погоди, это русый такой? Федора-комбайнера сын, что ли?

— Ага. Так вот. Я не знаю, откуда и почему он появился в моей жизни... Но я люблю его.

Она говорила это лежа и не мигая глядела в потолок. Руфина Ивановна стояла возле койки, изумленная ее словами, ее признанием.

— И он меня, тетя Руфа, любит.

— Ну и слава богу... Только как же? Я слыхала, он же на Верке Инютиной будто собирался жениться...

Наташа выслушала ее внимательно и все сразу поняла. Но это ее нисколько не расстроило, не взволновало.

— Может, и хотел, а теперь меня любит. Я знаю,— сказала она так же тихо и уверенно. И в этой уверенности была какая-то странная, непонятная для пожилой женщины сила и правда.

— Да как же у вас все это? Когда вы успели?

— А мы не успели еще. Мы ни разу не встречались еще.

Руфина Ивановна, совсем растерянная, со страхом теперь глядела на девушку.

— Погоди, погоди... Тогда откуда же ты взяла? Ты — ладно, а что он тебя?

— Я не взяла, я это узнала по глазам его. Вот они сейчас передо мной, я вижу их, вижу... Если можно, тетя Руфа, я сейчас пойду к нему. Я не могу не пойти, мне надо. Разрешите мне уйти сейчас, он ждет...

— Ты нормальная ли?! Где это он тебя ждет?

— Здесь, на заводе. Он приехал, я знаю, чувствую...

И, ни слова больше не говоря, встала, оделась, направилась к выходу.

По заводскому двору Наташа шла медленно, опустив голову, не обращая внимания на суетящихся вокруг возводимых корпусов людей, на их голоса, на шум работающих под зимним небом в незакрытых еще каменных коробках станков, на лязг железа, грохот сбрасываемых откуда-то сверху толстых плах, автомобильные гудки. Она обходила кучи покореженного металла, дымящегося шлака, желтой, не присыпанной еще снегом глины, битого кирпича. Она шла и шла, куда вела ее какая-то непостижимая сила. Руфина Ивановна, встревоженная до предела, шагала сзади метрах в двенадцати, то останавливаясь, то прибавляя ходу, чтобы не потерять девушку из виду.

У склада № 8 Наташа впервые остановилась, подняла голову. У изгороди из колючей проволоки было пустынно, там, за проволокой, у ворот склада, ходил человек в желтом овчинном полушубке, с винтовкой за плечами. Наташа пошевелила бровями и, опустив голову, пошла дальше.

...Она нашла Семена в самом дальнем углу заводской территории, где мужчины и женщины долбили кирками и ломами мерзлую земляную кучу, а тяжелые комки бросали в кузов автомашины. Семен сидел в кабине грузовика. Склонившись на баранку, он то ли спал, то ли думал. Потом быстро поднял голову, поглядел на приближающуюся Наташу, выпрыгнул из машины.

— Я знала, что ты все равно здесь... что я найду,— сказала она, глядя ему прямо в глаза.

— А я вот третий день на автомашине,—проговорил он, будто оправдываясь.— Трактор на ремонт отогнал.

— Такую каторгу какая машина выдюжит! — сердито бросила женщина в растоптанных валенках, залатанной телогрейке.— Машина — она не человек. Отъезжай, что ли, нагрузили уж.

— Наташа? — Из-за машины появилась Марья Фирсовна, держа обеими руками совковую лопату.—Ты что тут, Наташенька?

— Потому что я знала...— Девушка поглядела на женщину в худой телогрейке, на Марью Фирсовну, на горящий сбоку костер из обрезов досок и разбитых ящиков.

К костру подходили люди, протягивали к огню ладони. Туда же подошла и Руфина Ивановна, Наташа зачем-то кивнула ей, будто поздоровалась, ступила на подножку грузовика и села в кабину. Сквозь толстое стекло она еще раз поглядела на толпу у костра. Люди стояли у огня недвижимо и все смотрели в ее сторону. Наташа улыбнулась им, они только этого, наверно, и ждали, потому что вдруг сразу все поплыли куда-то в сторону, исчезли, и костер исчез, перед глазами Наташи мелькали теперь, подрагивая, желтые кирпичные стены, грязный снег, какой-то забор, изгородь из колючей проволоки; потом — заснеженные крыши домов, синеватые уже от наступающих сумерек, голые ветки деревьев, бревенчатые стены, оконные ставни—голубые, розовые, зеленые... Все это летело теперь ей навстречу, грозя расшибить, раздавить ее, похоронить под обломками, но не расшибало, а неслось все мимо, мимо, вызывая головокружение.

— Останови, останови! — воскликнула она, хватаясь за Семена. Но едва притронулась к его плечу — ее прошило словно током, она отпрянула в угол кабины.

Остановив грузовик, Семен повернулся к ней:

— Наташа!

— Ты... знал, что я приду сейчас? — спекшиеся ее губы почти не шевелились.

— Нет... Но я хотел, чтобы ты пришла. — Глаза его сухо блестели, руками он сжимал судорожно баранку, точно хотел отломить ее и выбросить из кабины.

Его слова барабанили ей в уши, мешая понимать их смысл. Но о смысле она все-таки догадывалась.

— Семен, Семен...— прошептала она, ткнулась горячим лбом ему в плечо. Но тут же отпрянула опять, закричала почти враждебно: — Выпусти меня! Открой...

Он, стараясь не задеть ее, протянул руку, открыл дверцу. Наташа тотчас выпрыгнула на снег, зашагала прочь. Семен тоже вылез из кабины. Она вдруг остановилась, пошла назад, сперва тихо, потом все быстрее, быстрее. Подбежав, беззвучно упала ему на грудь, прижалась крепко и беспомощно. Она ничего не сказала, и Семен тоже...

Потом Наташа, откинув голову, поглядела ему в глаза. Наверное, она увидела в них именно то, что хотела, улыбнулась и пошла, скрылась в ближайшем переулке.

* * *

Этот сон, начавшийся в последние дни января, продолжался весь февраль, месяц теплый и буранный, в конце которого притаилась трагедия.

Каждый день для Наташи начинался и кончался одним именем, одним звуком, чистым, как первый снег,— Семен. Просыпаясь, она прежде всего слышала это слово. И под его звон засыпала улыбаясь, и улыбка даже во сне жила на ее припухших и крепких, ни разу не целованных еще губах.

Первое чувство пришло к ней негаданно, оно хлынуло, как неожиданный ливень на иссушенную долгим зноем, разлопавшуюся от жестокого огня землю. Душа Наташи, вконец заледеневшая, до предела измученная, теперь щедро, жадно и доверчиво открылась навстречу добру и теплу.

Где-то во второй половине февраля, искристой лунной ночью, они возвращались из кино, медленно шагая по заваленной рыхлым снегом улице. Их обгоняли тоже возвращающиеся из клуба стайки девчонок. С разных сторон слышались сперва голоса, потом все затихло, они шли по улице одни.

В клубе показывали документальные фильмы «Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» и «Подруги, на фронт!». По дороге в клуб Семен смеялся и шутил. Когда погас свет, он сразу же отыскал в темноте ее руку, а потом отпустил. После каждой части был перерыв, зажигался свет, но Семен все хмуро смотрел на экран. До конца сеанса он не проронил ни слова и сейчас молчал.

Молча прошли они мимо дома. Неожиданно начался тихий снег.

— Сема, что с тобой? — спросила она наконец, останавливаясь. В лицо Наташи бил из ближайшего окошка свет, в глазах ее подрагивали тревожные искорки, широкие брови влажно блестели от растаявших снежинок.

Он никогда еще не дотрагивался до ее лица, а тут вдруг взял за щеки обеими ладонями. Она схватила его руки, но не отбросила их. В глазах ее сильнее задрожали искорки.

— Я люблю тебя,— сказал он полушепотом.— Но я ведь скоро уеду. Туда, на фронт... Я не могу... И мне обещали в военкомате. Весной, наверное.

— Ну так что же! — воскликнула она. — Я знаю. Я сколько хочешь буду тебя ждать! Хоть вечность. А до весны еще долго, долго...

Когда так же медленно шли к дому, опять оба молчали. Семену чудилось, что Наташа мучительно раздумывает над чем-то и за что-то его осуждает.

— А ты уже любил... кого-нибудь? — спросила вдруг она, когда они остановились у крыльца.

— Не знаю,— ответил он.— Вот в этом доме живет Вера Инютина. У нас были с ней... отношения. И мне казалось, я любил ее. Потом понял — нет... Не за что любить ее.

— Разве любят за что-то?

— А как же.

— А меня ты — за что?

Он молчал, не зная, как на это ответить.

— Ну, вообще... Это трудно сказать так вот, сразу.

— Почему ты никогда не поцелуешь меня? — чужим голосом проговорила она. Глаза ее были открыты широко, сделались почти круглыми, в них блеснули слезы. Она поднимала голову все выше, запрокинула ее назад, шагнула к нему, выдохнув: — Сема!

Она уже падала, когда он подхватил ее. Он ее поцеловал сперва где-то возле уха, потом возле носа и уж потом неловко отыскал ее пересохшие, крепко сжатые губы. И едва он коснулся их, она глухо застонала, оттолкнула его, взбежала на крыльцо, застучала в двери.

— Наташа... погоди.

— Уйди! Молчи! Уйди, молчи...— беспрерывно повторяла она, яростно колотя в дверь.

— Сейчас... Кто там? — послышался голос Анны.

— Наташа! — еще раз сказал Семен, когда дверь открылась.— Мама, ты извини, иди...

— Ты... ты уходи! — прокричала ему Наташа.

— Да что случилось? — тревожно спросила Анна Михайловна.— Идите в дом.

Семен, ни слова больше не говоря, ушел в дом, а Наташа в сенях припала к теплому плечу его матери, тяжело зарыдала, будто ее смертельно обидели.

— Я не буду ждать его! Не буду ждать, я не смогу! Я вместе с ним пойду... на фронт, в огонь, на смерть — куда угодно! Тетя Аня...

— Ну, ну...— растерянно сказала Анна, одной рукой поддерживая девушку.— Я раздетая, пойдем.

Она завела ее в темную кухню. На своей кровати заворочался Федор, закряхтел.

— Что стряслось такое? — проговорил он, кашляя, включил свет.— Что за переполох, спрашиваю?

— Ты спи. Ничего,— сказала Анна, уводя Наташу из кухни в комнату.

Там, не зажигая света, она молча раздела всхлипывающую беспомощную Наташу, молча помогла ей лечь на кровать рядом с крепко спавшей Ганкой, взяла табуретку и села рядом. Из соседней комнаты выглянула Марья Фирсовна, спросила, не надо ли чего. На своей печи шептала что-то бабушка Феня.

— Ничего не надо, спите все,— ответила Анна, погладила Наташу по вздрагивающему плечу.— И ты спи, успокойся.

Наташа взяла ее руку, прижалась к ней щекой.

— Я люблю его, люблю!

— Ты говорила, я знаю,— вздохнула Анна, не отнимая руки.

Наташа действительно сказала об этом всем сразу в тот январский день, когда получила паспорт, когда отыскала на заводской территории Семена и уехала с ним. Расставшись с Семеном, она долго, может быть несколько часов, бродила по Шантаре, ни о чем не думая, домой пришла глубокой ночью. В кухне находились сам

Федор Савельев, Анна Михайловна, Марья Фирсовна. Они о чем-то говорили, при ее появлении все враз умолкли, все поглядели на нее. Ей на секунду лишь стало не по себе, но тут же она тряхнула головой и сказала:

— Что вы так смотрите все? Да, да, я люблю его!

И в полной тишине, как сквозь строй, прошла через кухню. Проходя, видела испуганные глаза Анны Михайловны, прищуренный взгляд отца Семена, виноватое выражение лица Марьи Фирсовны. Еще она заметила, что отец Семена зачем-то дергал кончик уса и от этого, наверное, его щека багровела.

Потом он всегда глядел на нее так прищуренно, с любопытством и часто дергал ус. Анна Михайловна же как-то посуровела, была чем-то недовольна, часто молчаливо и пристально оглядывала Наташу с головы до ног. Но ни слова не сказала ей до сегодняшнего дня.

И вот сейчас она, сидя возле кровати, несколько раз вздохнула.

— Зачем вы так вздыхаете? — проговорила Наташа.— Разве плохо, что я... И что он...

— Это хорошо, когда люди друг дружку любят,— сказала Анна задумчиво и неопределенно.— Да война ведь.

— Какое мне дело? Какое нам дело?!

— Оно так. Любовь не спрашивает, война ли... вообще ли весь мир дыбом кругом встает. Она приходит — и все. Только потом горько. Ох, горько потом бывает!

Наташа не понимала, зачем, с какой целью мать Семена говорит ей это.

— Вы не хотите, чтобы мы с Семеном...

— Не в этом дело,— сказала Анна, отняла у нее тихонько руку.— Я вот думаю, Наташенька... Иногда представляется мне счастье человеческое в виде утреннего сада или, точнее сказать, птичьих голосов в том саду. Кругом эти голоса, много их, за каждой веткой слышатся. А подойдешь — умолкает птичка. Вспорхнула — и нету. Не поймать. Кругом, совсем близко звенит это счастье, а перед тобой пустая ветка качается.

Наташа лежала притихнув.

— Не понимаю я. Как же нету, когда есть? Есть!

— Господи, глупая-то я какая! — очнулась Анна, поднялась.— Ну, спи. Мы после поговорим обо всем.

Долго Наташа не могла уснуть, думала о чем-то неясном. Потом приснился ей этот залитый утренним светом сад с птичьими голосами, она увидела на ветках необыкновенную какую-то птицу, очень красивую, яркую, изумрудно переливались ее перья. Но, когда Наташа подошла и протянула к ней руку, птица повернула к ней маленькую головку с розовым клювом, прищурила радужный глаз, совсем как отец Семена, и вспорхнула, а пустая ветка закачалась...

...Утром на работу она шла хмурая, подавленная, губы ее временами подрагивали обиженно. У самой проходной очнулась от шума и грохота, увидела выезжающий из ворот трактор Семена, бросилась навстречу, чуть не под самые гусеницы.

— Сумасшедшая! — закричал Семен, выпрыгивая из кабины.— Да ты что?!

К заводу густо шли люди, у проходной была толпа. Наташа подбежала к Семену, прижалась к нему.

— Как же нету, когда есть! — прошептала она слышимые ему одному слова, быстро отшатнулась и, расталкивая людей, забежала в проходную.

Все это случилось за несколько секунд. Раздались удивленные голоса, кто-то засмеялся, а какой-то парень пронзительно свистнул вслед девушке, послышались соленые шутки. Семен повернулся, шагнул к трактору.

— Семка!

— Ну? — Перед ним стоял Юрий, глядел встревоженно.

— Погоди... Это что я такое сейчас видел?!

— Что видел, то и видел.

Семен заскочил в кабину. Трактор свирепо взревел, дернулся. Юрий с недоумением глядел на удаляющуюся машину.

— Это про нее ты, рысак шантарский, хвастался? — спросил у него конопатый парень с приплюснутым носом, кивая на проходную, где скрылась Наташа.

— Этот рысистей, знать, коль обскакал,— проскрипел изношенный голос.— Им на фронт надо, с германцем биться, а они с бабами тут шлюндаются.

— Вот это я, Агафон! — произнес Юрий изумленно, будто все, что он видел, только сейчас дошло до его сознания...

А Наташа жила теперь даже не во сне, а в каком-то тумане. Мелькали перед ней лица на заводе и дома, на улицах Шантары.

Однажды в столовую зашли пообедать директор завода, Кружилин и Хохлов.

— Здравствуйте, здравствуйте, Наташа! — обрадованно сказал Хохлов.— Ну-с, слышал, что все у вас хорошо?

— Ой, все, все хорошо...— смутилась она.

— Я рад, то есть просто очень рад! — он потряс ее за обе руки.

Через его плечо Наташа видела седую голову Кружилина, бледное, усталое лицо Савельева. Кружилин задумчиво листал блокнот, Савельев же глядел на Хохлова с Наташей, в глазах его была доброта, хотя лицо было сурово-нахмуренным, будто он не одобрял того, что видел.

Хохлов отошел к столу, откатился, как тяжелый шар, проговорил:

— Да, да... Немного, очень немного требуется иногда усилий, чтобы спасти человека. Целого человека!

— При одном непременном условии: если человек сам хочет спастись,— сказал Савельев.

Кружилин поднял голову, закрыл блокнот. Прислушался к чему-то, произнес:

— Чтобы захотеть, человек должен прежде всего понять, что гибнет. И от чего гибнет, от какой болезни. А это и бывает чаще всего трудно, неимоверно трудно. Иногда и невозможно.

Как ни взволнована была Наташа, эти слова врезались ей в мозг. Врезались, наверно, потому, что, получая борщи и гуляши, она чутко прислушивалась, что такое говорят про нее эти люди. Но говорили они уже не про нее, а про Якова Алейникова — того человека со шрамом, которого она видела в кабинете Кружилина, про бывшего председателя райисполкома Полипова, ушедшего на фронт, услышала вдруг имена: Федор, Юрий, Иван — и еще более напрягла слух. «А что Юрий? Какой Иван и Федор? Братья, что ли, директора завода?» Но в столовую вошли сразу несколько человек, она наполнилась шумом и голосами.

Как-то Наташа столкнулась на улице с Елизаровым.

— А-а! — сказал он, злобно глядя на нее своими красивыми глазами.— Елизарова за тебя в рядовые разжаловали, чуть на фронт не загремел. Но жизнь то широкая, то узкая бывает. Знай.

Наташа прошла мимо. Она не испугалась ни его слов, ни его самого. Встреча с ним только напомнила ей о Маньке Огородниковой, о Гвоздеве, о том длинном человеке по прозвищу Зуб, о Макаре Кафтанове. «Что, интересно, сейчас с ними, где они?»

Наташа в тот же вечер спросила об этом у Семена. Они возвращались вместе с завода, не сговариваясь, свернули за угол своего дома, подошли к сараю, возле которого был небольшой крытый сеновал. Там Семен молча обнял ее, торопливо и жадно отыскал ее губы.

Потом Семен выбрал вилами небольшое пространство у стенки сарая, они сели туда, в холодную пахучую яму. От крепкого запаха мерзлых луговых трав, от поцелуев Семена у Наташи кружилась голова и гулко стучало в груди.

— Что с ними? Сидят,— ответил он.— Судить скоро будут.— Он помолчал. И вдруг тихо проговорил: — Этот... Кафтанов Макар — дядя мой.

— Ты что? — рассмеялась Наташа.

— Он родной брат моей матери.

— Как брат? Какой брат?!

— Обыкновенный... Какие бывают братья?

— Но как же? Он же бандит?!

Было слышно, как Наташа порывисто дышала.

— А так,— проговорил Семен холодно. И через секунду тем же голосом, холодным и безжалостным, продолжал: — А мать моя — кулацкая дочка. Раньше тут кулак был знаменитый — Михаил Лукич Кафтанов. Вот... И моя мать — его дочь, а Макар — его сын. А я, стало быть...

— Сема, Сема...— Наташа задохнулась.— Ты что говоришь?! Это же неправда!

— Это правда.
И оба замолчали. Молчали долго.
— Это жизнь,— сказал наконец Семен.— И такое вот мое происхождение.
— Тогда расскажи. Все расскажи! — потребовала она.
— Что я тебе могу рассказать? Больше, чем сказал,— не знаю. Ты у матери спроси. Она... она тебя любит. Она тебе, может, все расскажет. Мне — нет, а тебе, чувствую, расскажет.
— Я спрошу. Я спрошу...— Совсем растерянная, она поднялась.
Несколько дней потом Наташа ходила придавленная, отрешенная. С Семеном не встречались, и он старался не попадаться ей на глаза. В ней шла какая-то тяжелая, трудная внутренняя работа.
— Господи, навязалась ты на меня! — несколько раз говорила ей Руфина Ивановна.— То радость ножиком с рыла не соскоблишь, а теперь все лицо как в кипятке сваренное. Что приключилось опять с тобой? С Семкой, что ли, расклеилось?
— Нет, с ним все хорошо у нас. Я просто думаю.
— Да об чем?
— Вообще. О жизни,— отвечала она. И больше ничего от нее нельзя было добиться.
В день трагического события на заводе Наташа поздним вечером вышла из дома. Дул несильный и теплый ветерок, было сыро, очень темно и тоскливо. Голые размякшие ветви деревьев шевелились в темноте и под порывами ветра глухо шумели.
Впереди, во мраке замаячила человеческая фигура.
— Гуляем? — услышала она голос Юрия.
— Я не гуляю, я Семена встретить хочу с работы,— сказала она.
— Да, да, я знаю,— проговорил он невесело.— Я даже рад по зрелом размышлении, если...— И тут же голос его стал, как всегда, беспечным: — И все-таки не забывайте, пожалуйста, Наташенька, что живет на свете некий товарищ Агафон...
И, не попрощавшись, пошел. Наташа вспомнила, что в последние дни он перестал обедать в «зале ИТР», оглянулась. Юрий свернул к дому Инютиных, повозился с калиткой и исчез во дворе. «И хорошо»,— подумала она неизвестно о чем.
Семена она встретила возле самой проходной, ярко освещенной электрической лампочкой, молча ткнулась лбом в его пропахшую бензином и соляркой тужурку.
— Не надо ничего говорить. Просто пойдем.
Взявшись за руки, они пошли к дому, а там свернули на сеновал, залезли в свою пахучую яму.
— Мне переодеться бы,— сказал он, когда она спрятала лицо у него на груди.— А то от меня такой запах...
— А я люблю его.— Она прижалась еще плотнее.— Это твой запах...
— Говорила с мамой? — спросил он, помолчав.
— Ага. Мы много раз говорили... Я никогда бы не поверила, что она когда-то партизанила, скакала на коне, стреляла из нагана. И что отец твой был таким... лихим партизаном. Кружилин, секретарь райкома,— это понятно. А твой отец... Ты извини.
— Что ж... И мне не очень верится. Может, потому, что не люблю я его. Он и отец, и чужой будто человек.
— А эта Михайловка где? — спросила Наташа.
— Не очень далеко. Тут, за Звенигорой сразу.
— Этот... брат твоего отца, Иван,— он там живет?
— Там сейчас.
— Интересно посмотреть бы, какой он.
— Ну, какой? На дядю Антона похожий. Только сутулый и худой. А волосы такие же и глаза. Увидишь когда-нибудь.
— Мы много говорили, да я мало поняла,— произнесла Наташа.— Кафтанов этот, ее отец, Иван... Он, что ли, застрелил тогда, в гражданскую, ее отца?
— Не знаю я, Наташа. Слыхал, будто так.
— А еще мне показалось, будто она любила когда-то этого Ивана. Или Иван ее любил.

— Не знаю. Отец ненавидит его за что-то, а мать... Она всегда хорошо об дяде Иване отзывается, жалеет его. Может, и было что между ними в молодости.

— Она говорила однажды о счастье: как утренний сад, говорит, оно, счастье, как птичьи голоса в этом саду. Слышишь и видишь — поют кругом птицы, а подойдешь — птица улетает. Я думала — обо мне она говорит, о нас с тобой. А она — о себе, я понимаю теперь.

— Счастья у нее нету, это верно... Не получилось.

По-прежнему дул ветерок где-то, и, когда налетал порывами, у них над головой шуршало сено, но там, где они сидели, было тихо, и оба слышали, как за тонкой бревенчатой стеной вздыхала корова и возились на насесте сонные куры.

— Боже мой, как все сложно бывает в жизни! — воскликнула Наташа. — Я и не предполагала, что может быть так сложно, так все перепутаться.— Она торопливо подвинулась к Семену, цепко обняла его.—Я столько пережила уже... столько видела... Я думала — я все видела, все знаю, ничто теперь не удивит меня. А оказывается — я ничего не знаю, не понимаю! — Она вдруг сильно затрясла его за плечи.— Объясни же мне, объясни!

— Я бы объяснил...— Семен взял ее за руки.— Я объяснил бы, если мог. Мне, думаешь, все понятно — что было и что есть? Но мы для того и живем, чтобы понять этот мир, в котором живем...

Низкий и тревожный звук, возникнув неизвестно откуда, поплыл над Шантарой. Он, становясь все зловещей, прокатился в темном, сыром небе и, захлебнувшись где-то высоко, стих, оборвался. И тут же начался снова, накатываясь тяжелой, все подминающей под себя волной. Этот звук еще не кончился, когда возник другой — пронзительно-сильный, все усиливающийся, бесконечный...

— Что это? Что это?! — вскрикнула Наташа.

— На заводе... Что-то случилось!

Семен рванулся с сеновала.

— Семен, Семен?!

Но он не оглянулся, не остановился. Она вылезла из ямы, кинулась за ним.

— Семен...

Наташа выскочила на улицу. Семен был уже далеко. Он обернулся, что-то прокричал и исчез во мраке. Мимо нее, обгоняя, пробежал Юрий.

— Извини, я сейчас... Только узнаю! — крикнул он кому-то, и Наташа увидела Веру Инютину.

Вера быстро подошла к ней, длинные глаза ее были тревожны.

— Что такое? Что такое? — прокричала она.

Беспрерывный вой сирены и заводских гудков все висел над Шантарой, леденя сердце.

— Не понимаете, там же несчастье! Несчастье какое-то!

И Наташа побежала в ту сторону, где исчезли Семен и Юрий, куда бежали выскакивающие из домов люди.

* * *

Еще издали Наташа увидела над территорией завода зарево от электрических огней. Оно стояло над заводом, всегда мирное и спокойное, но сейчас края освещенного неба были окрашены в зловещие желто-багровые тона, а вся северная часть завалена тяжелыми клубами дыма. «Там пожар, пожар! — стучало у нее в голове.— А что горит, что?»

Горел склад № 8 или что-то возле него. Это Наташа поняла, подбегая к проходной, увидев, что именно в той стороне, где стоял склад, вьются, поднимаясь, аспидно-красные клубы, и в груди у нее все оборвалось: ведь сейчас рванет, сейчас все разнесет! А Семен! Где Семен?!

У проходной с криком и гулом металась огромная толпа народа.

— Назад, назад! Расходись! Освободи дорогу! — кричал кто-то хрипло и надсадно, перекрывая говор и гул толпы.

Расталкивая людей, Наташа, потная и растрепанная, пробилась к двери проходной, сколоченной из толстых и крепких досок, но дверь была заперта. Девушка ударилась в нее всем телом и увидела, что рядом распахнулись тяжелые двустворчатые ворота. И тотчас в проеме показалось несколько человек из военизи-

рованной охраны. Они держали винтовки на изготовку, будто в самом деле хотели стрелять в напирающую толпу, а один, размахивая руками, кричал:

— Освободи дорогу! Освободи дорогу! Вы люди или кто? Со станции пожарные машины идут. Дайте дорогу!

Толпа немного подалась назад, сквозь нее пробился директор завода Савельев, мокрый и бледный, в незастегнутой шинели. Он повернулся к людям, сдернул шапку, вытер ею потное лицо.

— Товарищи! Товарищи! — прокричал он, взмахивая шапкой.— Без паники! Там людей достаточно... Прошу всех отойти!

— Антон Силантьевич! Антон Силантьевич! — кинулась к нему Наташа, схватила за руку. Рука его дрожала, он скользнул по девушке взглядом, не узнал, видимо, ее, вырвал руку, оставив в Наташином кулаке шапку, и, не заметив этого, побежал в ворота, бросив охранникам:

— Никого не впускать! Отогнать людей подальше!

— Осади! Осади! — раздалось у нее над ухом.— Передавят вас.

Охранники кричали, а толпа все напирала с нарастающим ревом, пытаясь прорваться в ворота. Некоторые побежали вдоль высокого дощатого забора, пытаясь перелезть через него. Забор был высоким, удавалось это не многим.

Послышались сирены пожарных машин, люди расступились. Не сбавляя скорости, три или четыре красные машины пронеслись мимо, а с ними вместе, рискуя попасть под колеса, хлынули и люди. Толпа, как щепку, подхватила Наташу, занесла ее в ворота.

На территории завода творилось невообразимое. Все цехи ночной смены побросали работу, беспорядочные толпы кипели и метались повсюду между недостроенных корпусов и груд строительных материалов. Люди куда-то бежали, что-то кричали, но что — понять было невозможно. Все висел и висел в воздухе надсадный, раздирающий душу вой гудков. «Зачем гудят? Зачем гудят? Хватит уж...» — подумала Наташа, ударилась обо что-то мягкое, отлетела в снег.

— Не надо лестницы, не надо! Багры только, багры берите! — услышала она и почувствовала рядом тяжелое дыхание.

Возле нее топтался на снегу пожилой мужчина, в котором она с трудом узнала Савчука. На его взмокшей щеке плясали отсветы пламени, отчего правый глаз будто подмигивал.

— Что болтаешься под ногами, как... Раздавят, и спросить не с кого! — прохрипел он.— Уходи сейчас же отсюда!

— Что случилось? Что горит?

— Столярный цех. А рядом склад номер восемь, на него галки летят...

— Какие галки? Отчего загорелось?

— Хорошо, что ветер несильный. Восьмой склад лишь бы отстоять, иначе...— будто про себя вымолвил Савчук и закричал, срываясь с места: — Багры, говорю, багры только!

Вой гудков, наконец смолк, мимо Наташи бежали люди, тащили багры. Она все еще сидела в снегу, в голове стучало облегченно: «А я думала — склад, этот ужасный склад... Хотя ведь он рядом, совсем рядом со столярным цехом. И если загорится...» Ее опять обдало холодом.

Что ей делать, она не знала, зачем так рвалась на территорию завода, было непонятно. Что она могла тут сделать, чем помочь? О Семене она теперь не думала, забыла о нем. Наташа вдруг с удивлением обнаружила в руках мужскую шапку и никак не могла сообразить, откуда она у нее.

Все, что произошло потом, восстановить в памяти во всех подробностях Наташа никогда не могла. Она помнила лишь толпу беспомощных людей, огромным полукругом волновавшуюся вокруг горевшего смоляным факелом столярного цеха. Собственно, столярка — огромный бревенчатый сарай — уже сгорела. Когда Наташа подбегала к пожарищу, над толпой взметнулся гигантский столб искр — это рухнула крыша. Пробившись через стену людей, Наташа увидела облитые огнем бревенчатые стены и высокие штабеля горевших снарядных ящиков. Пустые ящики полыхали особенно сильно, от них шел испепеляющий жар, несколько пожарников в блестевших касках поливали стены и груды ящиков из шлангов, но огонь от этого, казалось, становился лишь сильнее. Еще она помнила, как откуда-то из самого пекла выбежали в дымящейся одежде директор завода и Семен.

Они волочили длинное, безжизненное тело главного инженера Нечаева в обгоревшей одежде.

— С ума сошел! — прокричал директор завода, когда Нечаева положили на землю.— Еще бы секунда — и крыша на тебя бы рухнула! — Волосы его были спутаны, с лица катились грязные капли.

— Восьмой, восьмой прекратите обливать водой! — задыхаясь, прохрипел Нечаев. Он попытался встать, но, застонав, откинулся навзничь.

— Федор! Федор! — затряс Савельев его за плечи.— Если не обливать, склад загорится...

Столярный цех и склад № 8 стояли под углом друг к другу, почти соприкасаясь дальними торцами стен. Несколько пожарников беспрерывно поливали из шлангов коробившуюся от жара тесовую крышу склада и черную бревенчатую стену, доставая струей воды до самого дальнего угла. И Наташа тоже понимала: если не обливать водой, склад неминуемо загорится, прежде всего вспыхнет крыша и дальний угол.

— Тогда... тогда отключить третий кабель! — слабо воскликнул главный инженер, неимоверным усилием воли заставив себя опять приподняться.— Немедленно...

Наташа увидела — все лицо Нечаева было в волдырях, кожа на щеках висела лохмотьями.

— Какой кабель? Зачем? — Директор завода опустился перед Нечаевым на колени.— Федор, объясни же!

Семен стоял возле них, прижав ладонью правую щеку. Он морщился, будто у него болели зубы.

— Я установил — загорелось от электропроводки. Там стена промерзла, отсырела...— тяжко дыша, заговорил Нечаев.— От сырости замкнуло. Проводка в восьмом складе тоже плохая, в спешке все делалось. Вода через крышу попадает на нее, и может... А если загорятся провода... Немедленно отключите третий кабель! Третий! Вон в том трансформаторе. Я сейчас, сейчас...

Нечаев встал на колени, попытался разогнуться. Но, тихо охнув, ткнулся головой в утоптанный снег.

И в эту секунду над толпой разнеслось, как эхо:

— Восьмой гори-ит!

Толпа, в которой стояла Наташа, невольно дрогнула и отхлынула. Наташа осталась одна напротив Савельева, Семена и Нечаева, зачем-то глупо улыбнулась, протянула директору шапку. Но тот не видел ни шапки, ни самой Наташи, он стоял и тупым взглядом глядел в сторону склада № 8. Наташа тоже повернула голову, увидела все тех же пожарников, поливавших из шлангов крышу и стены склада. И стена и крыша дымились, но Наташа понимала, что это был не дым, а пар. «Где же горит? Он не горит...» — подумала она и услышала:

— Внутри горит!

И только теперь различила, что сквозь щели окованных крест-накрест полосовым железом ворот склада, как сквозь крышку кипящего чайника, вырываются тугие черные струи. Там, у ворот, в отблесках пламени мелькнула сгорбленная фигура Савчука и еще чья-то, до боли знакомая.

— Отходи-и! Рване-от! — опять истошно закричал неизвестно кто.

Наташа хотела бежать, но ноги ее не слушались, будто приросли, потому что во втором человеке у ворот склада она узнала Семена. Как он там оказался так быстро, было непостижимо. Тяжелым ломом он колотил по воротам, пытаясь, видимо, сбить запор. И сбил, тяжелые ворота будто сами собой распахнулись, из склада выперло, клубясь, черное облако. Оба — сперва Савчук, а потом Семен — отступили, но в следующее мгновение в той же очередности, сперва Савчук, а потом Семен, кинулись в наполненный дымом склад и, задыхаясь от кашля, скрючившись, выбежали оттуда, упали на снег. Но тут же Семен вскочил, схватил валявшийся на земле лом, побежал куда-то прочь.

Все это произошло в считанные мгновения. Возглас: «Восьмой горит!» — снова привел Нечаева в чувство. Упираясь в землю руками, он начал приподниматься.

— Этого я и боялся,— прохрипел он и, увидев, что парторг с Семеном кинулись в склад, а потом, кашляя, выбежали оттуда, закричал, стоя на коленях: —

Что они делают! Отравятся! Надо просто отключить кабель... Антон! Решают секунды...

Директор завода, однако, никак не реагировал на эти слова. Он стоял все неподвижно, все так же тупо глядел в сторону восьмого склада. «Действительно, что он стоит? — мелькнуло у Наташи.— Ведь надо что-то делать...»

Едва она подумала об этом, Нечаев проговорил вроде облегченно:

— Ага, он к трансформатору побежал... Молодец твой племянник, догадался. Если успеет...— Но тут же захлебнулся и свистящим голосом закричал: — Он же без электрозащиты! И не знает, какой рубильник! А там шесть тысяч вольт! Шесть тысяч...— И опять повалился на снег.

И только эти последние слова будто вернули директора завода к действительности.

— Где, где этот чертов кабель?! — затряс он Нечаева. — Какой рубильник?

— Там...— выдавил еще Нечаев из себя, теряя, видимо, сознание, а может умирая.— Скорее! Каждая секунда... Все взлетит к черту!

И умолк.

...И еще Наташа помнила, как она бежала куда-то по снегу за директором завода, а в мозгу, разламывая голову, колотилось: «Если успеет... Все взлетит к черту! Шесть тысяч вольт! Он без электрозащиты!» Все это были слова Нечаева, оставшегося лежать без движения возле штабелей пылающих ящиков. Эти слова, казалось, не угрожали никому — ни ей, ни бегущим за ней и обгоняющим ее людям, ни директору завода, ни Савчуку даже, который, как в последнее мгновение заметила Наташа, опять бросился в склад, в освещаемый изнутри бледными дрожащими вспышками дым, будто в черной глубине склада кто-то вел сварку металла. Эти слова чем-то страшным и неотвратимым грозили только Семену, ее Семену! Чем конкретно, она даже и не понимала, не могла до конца уяснить, не было для этого времени. Но она всем существом своим чувствовала и знала, что вот сейчас Семен еще есть, а через мгновение его не будет, не будет!

— Се-ма-а! — закричала она пронзительно и дико, обгоняя по рыхлому снегу каких-то людей, подбегая к трансформаторной будке, над которой качалась под ветром электрическая лампочка. В колеблющемся свете она увидела сперва зловещий череп, нарисованный белой краской на железной двери, а потом стремительно обернувшегося к ней Семена.— Сема-а!

— Что орешь? Замолчи! — прокричал он, сверкнув чужими, совсем чужими, враждебными глазами, отвернулся и заколотил ломом в железную дверь. Правая щека его была черной и вздутой.

Зловещий белый человеческий череп, и враждебный взгляд Семена, и, наконец, его слова — все это было как безжалостные удары, посыпавшиеся на нее раз за разом. Она трижды содрогнулась, попятилась и стала куда-то падать. Кто-то подхватил ее, отшвырнув в сторону, загородил от нее Семена. «А лицо... лицо его от ожогов распухло ведь!» — мелькнуло у нее.

— Прочь! Прочь!

Это закричал где-то совсем рядом директор завода. Затем опять раздались удары лома о железную дверь, потом — ржавый скрип железных петель и сразу же возглас Семена, испуганный, умоляющий:

— Дядя Антон! Дя-дя!!

Наташа бессознательно рванулась на этот крик. Навстречу ей из распахнутой трансформаторной будки хлестанул широкий и густой веер ослепительных искр. Яркое пламя на мгновение осветило в черной глубине будки изогнутые ребра трансформатора, будто мелькнул там страшный оскал неведомого чудовища. И гулко сомкнулась над Наташей тишина...

— Дядя Анто-он...— больно гудело и гудело у Наташи под черепом, и она никак не могла сообразить, вновь ли слышит голос Семена или стоит в голове эхом его прежний крик.

«Если вновь, то он жив тогда, выходит?» — подумала она о Семене, как о ком-то постороннем, подумала даже с удивлением и обнаружила, что сидит на снегу.

Лампочка над трансформаторной будкой теперь не горела, и вообще кругом была темнота. Рядом недвижимо стояли люди, всхлипывала какая-то женщина, а мужской голос ее уговаривал:

— Ничего... Может, еще ничего. Перестань.

Люди вдруг все враз зашевелились, кинулись к будке.

— Отойдите! Я его вынесу,— явственно услышала Наташа голос Семена.

«Не может быть, он же погиб...» — подумала она и поднялась.

Потом она увидела самого Семена в неярком луче карманного фонарика. Он кого-то вынес из будки и положил на землю. Семен, значит, был цел и невредим, был жив, но она никак не могла уразуметь этого. И кто это, освещенный тем же фонариком, лежит на снегу, в шинели, без шапки, с обугленным лицом, обгоревшими руками,— она тоже не могла сообразить.

— Отец... Батя-а!

Расталкивая людей, подлетел Юрий в обгорелой тужурке, сразу остановился как вкопанный. Из темноты подбежал, задыхаясь, секретарь райкома партии Кружилин в полурасстегнутом пальто, в валенках, мелькнуло измученное лицо Хохлова.

— Восьмой склад в безопасности! — проговорил Хохлов торопливо.— А что здесь... Антон Силантьевич?! Антон...

Кружилин и Хохлов одновременно наклонились над Савельевым, но тут же начали медленно выпрямляться. Они выпрямились, а Юрий, наоборот, осел вдруг, точно у него подломились ноги, упал перед телом отца ничком.

— Мама... мама... Она не вынесет,— выдавил он, и спина его крупно задергалась.

От Савельева шел сладковато-приторный запах. Наташа вспомнила — так пахли обгорелые трупы, которые хоронили тогда, после бомбежки их эшелона. И, вспомнив, отчетливо поняла наконец, что произошло. Она потеряла бы, может, сознание, но откуда-то из его меркнущей глубины сама собой начала всплывать вдруг радость, облегчающая, обдающая всю ее теплом: «Не Семен, не Семен! Он жив, жив...»

Наташа понимала, что радость эта кощунственная, оскорбительная для всех стоящих здесь людей и для нее самой. Но радость была, и она ничего не могла с этим поделать.

— Да как же?! Что же это?! — растерянно говорила она, шагнула к Семену, повисла на его плече.— А ты жив, жив!

Она проговорила и зарыдала еще сильнее. Ей казалось, что все люди теперь видели и поняли ее радость, все проклинают ее и будут проклинать вечно.

Но люди ничего не видели и не поняли. Они слышали, что кто-то плачет, но не могли понять — кто.

Люди, стоявшие вокруг трупа, молчали...

* * *

Эту ночь, и следующую, и еще весь следующий день Наташа не спала, и никто в доме Федора Савельева, кажется, не спал, кроме разве самого хозяина. Тот, придя с работы, как обычно ложился лицом к стене, а утром поднимался красный, распухший, со смятыми усами. И без завтрака, ни слова никому не говоря, уходил в МТС. Анна Михайловна дома почти не появлялась, день и ночь она ухаживала за женой Антона — Елизаветой Никандровной, которая потеряла сознание в ту же секунду, как только узнала о гибели мужа. Опасаясь за ее жизнь, возле нее круглосуточно дежурили врачи.

На работу Наташа не ходила. Руфина Ивановна ее просто выгнала из столовой, когда она появилась там на другое утро после пожара: «Иди, иди, какая ты работница? На тебе лица нету...» И Семен не ходил на завод, и Марья Фирсовна. Марья Фирсовна молчаливо готовила обеды, завтраки, ужины на обе семьи, кормила притихших, испуганных детей и отправляла их в школу. Семен с забинтованной щекой двое суток почти пролежал на кровати, смотрел в потолок широко раскрытыми глазами и о чем-то думал. Потеряв ощущение времени, Наташа бесцельно бродила по комнатам, тыкаясь из угла в угол. В доме появлялись незнакомые люди, о чем-то говорили с Марьей Фирсовной, уходили. Однажды появился Юрий. Он зашел, постоял у порога, почерневший, осунувшийся, сел на кровать.

— Не могу я там... дома. Не могу! — сказал он, уронил голову на спинку кровати, заплакал, пряча лицо.

— Приляг... ты приляг,— попросила его Марья Фирсовна.

— Ложись, Юра,— сказала **и Наташа.**

Он поднял мокрое лицо, качнул головой. Вбежала Вера Инютина, что-то быстро начала говорить, увела его за руку, как ребенка.

На другой день, кажется, Наташа увидела посреди кухни сутулого длиннорукого человека в бараньем полушубке, с кнутом в руках, чем-то похожего на погибшего директора завода.

— Ты кто такая? — спросил он угрюмо, поздоровавшись.

— Здравствуй, дядя Ваня,— сказал Семен, выходя на кухню.— Это Наташа.

— А-а, слышал,— так же неприветливо промолвил Иван, сел.

— И я... и я о вас знаю, слышала,— сказала она.

Иван Савельев невесело усмехнулся давно не бритыми губами. И Наташа почувствовала, что слова ее не понравились ему, он понял их совсем не так, как она хотела бы, поспешно добавила:

— О вашей жизни слышала.— И растерялась окончательно.

Потом все молчали. Иван сидел на табуретке, согнувшись, опустив голову со светлыми, жидковатыми уже волосами.

— Как же оно вышло так? — спросил он негромко.

— Разве объяснишь теперь? — откликнулся Семен.— Какой-то третий кабель надо было в трансформаторе выключить. А дядя Антон не знал, видно, какой. И прижал ломом сразу все рубильники на распределительном щите. Замкнул, значит...

— Нельзя разве было иначе? Выдернуть эти рубильники-то?

Семен потрогал забинтованную щеку, поморщился.

— Я и говорю — как теперь объяснишь все? Быстро надо было, очень быстро. В складе со взрывчаткой провода пластали. Момент какой-то — и все бы в воздух поднялось. А трансформатор под сильным напряжением, нельзя туда без электрозащиты. А дядя весь мокрый к тому же... И он... он, видно, решил... чтоб уже наверняка...

— А ты? А ты? — закричала вдруг Наташа.— Ты сухой был? Ты знал, какой рубильник, какой кабель?

— Что она? — проговорил Иван.

— Ей отдохнуть надо.— Семен подошел к Наташе, взял за пылающую руку.— Ты две ночи не спала.

Он потянул ее из кухни, подвел к кровати, стал укладывать. Она покорно позволяла раздевать себя, покорно легла.

— Ты ведь тоже... ты тоже хотел прижать ломом рубильники! — схватилась она за Семена, когда он пошел от нее.— И если бы директор завода не оттолкнул тебя, не вырвал лом...

— Нет, я не хотел.

— Неправда! Ты же первый бросился туда, к будке! И ты был весь мокрый... И ты не знал, как он выключается, тот кабель...

Глаза ее горели лихорадочно и требовали ответа.

— Я правду говорю, Наташа, я не хотел...— Семен пододвинул ногой стул к кровати, сел.

— Нет, ты не знал, не знал, как он выключается,— упрямо твердила она.— И я долго не могла понять сперва, почему он... сгорел, а не ты. И сейчас еще мне все кажется... не совсем верится...

Больше она не могла говорить, ее душили слезы. Она не видела и Семен не видел, что в дверях комнаты стоял Иван, молча слушал и глядел на них.

Плакала Наташа с полминуты, а может, и того меньше. Несколько раз всхлипнув, она глубоко вздохнула и затихла. Сон сморил ее наконец сразу, глубокий, бездонный.

— Я поеду, а то батька твой ненароком прихватит меня тут,— сказал Иван.— Завтра на похороны подъедем с Агатой.

Семен вышел его проводить.

Усаживаясь в розвальни, Иван поднял на племянника светлые насупленные брови:

— А в самом деле, ты знал, как выключается кабель?

— Нет.

— А что бы ты, если б Антон не подбежал, не оттолкнул тебя?

— Я не знаю, дядя Ваня,— помедлив, ответил Семен.— Ты не поверишь, но это так...

— Но ведь зачем-то кинулся к будке ты. Зачем?

Семен пожал плечами:

— Все как неясный сон припоминается. То ли было, то ли нет...

Иван не спеша подобрал вожжи.

— А эта Наталья — что ты с ней? Жениться хочешь?

В душе у Семена что-то ощетинилось против его слов.

— Не думал я ни об какой женитьбе! И не думаю. Мы с ней и знакомы-то мало. И потом... Она девчонка хорошая, да сирота, горя и без того нахлебалась...

— Как понять? — опять поднял глаза на племянника Иван.

— Мне на фронт рано или поздно. А там... если... Зачем ей жизнь-то вовсе ломать?

— А-а... Ну, тебе видней, значит,— суховато проговорил Иван.— Бабы — они разные. Какая сломается оттого, что вдовой останется, а какая от другого... от обиды, что в ее любовь не верят, что женскую душу ее не понимают, бескорыстную и щедрую, настежь распахнутую для этой веры.

— Ты, никак, дядя Ваня, уговариваешь меня жениться? Ты же ее совсем не знаешь.

— Я не уговариваю, Семен. Я так говорю, неизвестно, может, и для чего.— Он помолчал, подумал.— А любит она тебя, Семша, я гляжу, до жути какой-то...

— Не надо, дядя Ваня. О чем мы говорим-то? В такое время!

— Да, время неподходящее,— согласился Иван.— Только что ж оно, время? Кто-то умирает в эту минуту, а кто-то рождается. Так оно и идет всегда. Оттого и жизнь не кончается.

Иван уехал, оставив у Семена чувство вины и неловкости за этот, как ему казалось, сумбурный, нескладный и неуместный в данных обстоятельствах разговор. И если бы кто ему сказал сейчас, что завтра, в день похорон Антона Силантьевича, совершится нечто еще более неуместное — он, Семен, уйдет из дома и станет мужем Натальи Мироновой,— он посчитал бы такого человека просто ненормальным.

А между тем жизнь распорядилась именно так...

* * *

Хоронили Антона Савельева в сквере Павших борцов революции 2 марта, в воскресенье. Небольшая площадь вокруг сквера была запружена народом, толпа колыхалась, слышался приглушенный говор.

День был ясный, солнце весело горело над Шантарой, в деревьях сквера, радуясь мартовской оттепели, звонко трещали синицы, снег сверкал, и было непонятно, для чего собрался тут народ, для какой цели рядом с высоким деревянным обелиском выкопали яму, завалив чистый снег мерзлой черной землей.

Семен и Наташа стояли у оградки сквера и смотрели на эти черные комья.

Издалека, от клуба, где стоял гроб с телом погибшего, донеслись траурные звуки оркестра. Толпа у сквера тотчас замерла, притихла.

Гроб с телом несли Кружилин, Савчук и еще какие-то люди. «А Нечаева нет, он выживет ли?» — мелькнуло у Наташи. Главный инженер завода лежал в больнице, до сих пор не приходя в сознание от ожогов.

Наташа так и простояла у оградки почти до конца похорон. Гроб поставили возле могилы на скамейку, возле полукругом стояли люди, среди которых мелькнул Юрий, а потом, к ее удивлению, отец Семена, затем его дядя Иван, что приезжал вчера, и сам Семен. Когда он ушел к могиле, Наташа и не заметила.

Кружилин, с непокрытой головой, начал что-то говорить, Наташа сперва не слышала его слов, до нее долетали только, больно врезаясь в память, обрывки фраз:

— Антон Силантьевич Савельев любил жизнь, любил людей... Тюрьмы, каторги, ссылки только укрепляли эту любовь, потому что он знал, зачем он жил, во имя чего... Если бы дать ему еще одну жизнь, он прожил бы ее так же... И так же сознательно пошел бы на смерть, спасая людей... во имя людей и жизни...

Сияло солнце в зимнем небе. Сияли под солнцем вершины Звенигоры. Не обращая внимания на людей, по-прежнему звенели синицы в ветвях деревьев. От пти-

чьего гомона, от сияния солнца и снега у Наташи закружилась голова. Боясь упасть, она крепко ухватилась за холодные доски ограды. «А я — люблю ли я жизнь? — спросила она неожиданно сама у себя.— Конечно, конечно... Несмотря ни на что! После ареста отца, гибели мамы и всего, что было, мне показалось вдруг... Нет, и тогда я любила жизнь, только отчаялась, только непонятно было, почему она, эта жизнь, так жестоко со мной обходится. До того непонятно и до того отчаялась, что...»

Здесь мысли Наташи обрывались, дальше была пустота.

— От областного комитета партии слово имеет Субботин Иван Михайлович,— донесся голос Кружилина.

Субботин, высушенный временем, белоголовый мужчина, почти старик, заговорил тихо, печально. Наташа внимательно слушала, надеясь и ожидая, что зияющая пустота перед ней исчезнет. Но она не исчезала.

— ...Жизнь устроена пока дьявольски сложно и трудно, порой жестоко... Ты, Антон Силантьевич, обладал даром сквозь эти сложности и трудности видеть и понимать истинные начала жизни с ее извечным светом справедливости, радости и счастья...

Да, жизнь трудная и жестокая, уж она-то знает, снова подумала Наташа. А где эти истинные начала жизни с ее извечным светом справедливости, радости и счастья? Красивые слова, и она даже как-то верит в них. Верит, но не видит этих начал. И не раз задавала она себе остающийся без ответа вопрос: для чего в таком случае живет человек?

А Субботин будто угадал ее мысли и спросил, словно в насмешку:

— Где же эти начала? Многим, очень многим, к сожалению, их не видно. Где они?

Наташа вздрогнула и еще крепче уцепилась за оградку.

— А они — в самом человеке. Они — в каждом человеке. Но многие не понимают этого или долго-долго не могут понять. Что ж, видно, несовершенен пока человеческий мозг. Отсюда и несчастья, и трагедии, отсюда много порой горя...

Слова его падали в пустоту перед Наташей, заполняя ее будто чем-то осязаемым.

— ...И когда говорят, что ты, Антон Силантьевич, знал, зачем жил, то это очень просто: ты жил, чтобы помогать жить другим, помогать людям увидеть в себе эти истинные начала жизни...

Наташа качнулась, постояла еще возле оградки и пошла, наклонив голову.

Люди думали, что она плачет, безмолвно расступались перед ней.

Она не помнила, как шла по улице, как очутилась дома. Отец Семена, оказывается, вернулся уже с похорон. Он, сидя на кухне за пустым столом, угрюмо поглядел на вошедшую Наташу. Она быстро прошла к себе. Бабушка Феня что-то спросила у нее, она не ответила, сбросив пальто, легла на кровать.

В самом деле, как все это просто — жить, чтобы помогать другим жить! Как просто... И как трудно понять! А должна бы! Ведь ей помогали жить многие, многие — каждый по-своему. И погибший Антон Силантьевич, и Анна Михайловна, и Марья Фирсовна... Почему, чтобы понять все это, нужно было такое несчастье, такая трагедия? Как трудно и как просто... И какая она глупая была вот только что, когда, слушая Субботина, думала, что верит даже в его красивые слова, но до сих пор не видит истинных справедливых начал в жизни, не видит в ней радости! А ее собственная судьба! А Семен, а ее любовь к нему? Как она забыла об этом? Это разве не начала? И вообще, вообще... Хотя она искала эти начала не в себе. И Субботин только открыл ей, что надо в себе... И все-таки — что такое истинные начала жизни? Которые в самом человеке? Этого она все же до конца еще не понимала. Мысли ее текли все бессвязней и запутанней, перескакивая с одного на другое. И наконец захлестнули ее, как тяжелая волна захлестывает человека в море.

Ей захотелось вдруг опять на воздух, захотелось глотнуть свежей прохлады, немедленно увидеть Семена. Как же это она оставила его одного там, возле могилы? Она накинула пальто, выбежала в кухню, напоролась больно на молчаливые глаза хозяина дома, остановилась.

— Почему вы так всегда на меня смотрите?! — яростно вскрикнула она, заговорив с ним, кажется, впервые.

Но он ничего не ответил,— может, не успел, потому что открылась дверь и вошел Семен. Повязку он снял сегодня, и правая щека его чернела, залеплена была пластырем.

— Что такое здесь? — спросил он, внимательно оглядывая обоих.

— А карусель...— Усы Федора тряслись...— Ни пожрать вовремя, ни отдохнуть. Где мать?

— Ты же знаешь, тетя Лиза еле живая... Я сейчас заходил к ним.— Семен начал раздеваться.

— Карусель, ну карусель! — Федор поднялся из-за стола, половицы под ним тяжко заскрипели.

— Вы что такое говорите? Что говорите?

— Ты гляди-ка,— усмехнулся Савельев, вздернул брови.— Зачирикала, пигалица.— И опять сел к столу.

Это слово «пигалица» даже и не оскорбило ее — так чудовищно было другое.

— Ваш же брат погиб... умер!

— Ну, так что ж теперь делать?

Наташа попятилась от этих слов, беспомощно поглядела на Семена.

Семен держал в руках свою тужурку, будто раздумывая, повесить ее на гвоздь или снова надеть. Повесил и медленно двинулся к отцу. Тот глядел на приближающегося сына с любопытством. И чем ближе подходил сын, тем сильнее прищуривал глаза.

— Извинись сейчас же перед Наташей,— сказал Семен. Голос его был тихий, ровный, но руки затряслись вдруг.

— А на колени перед ней не встать?

— Не будешь? — Семен сжал кулаки.

— Ну? Бить отца собираешься?

— Н-нет.— Семен мотнул головой, обмяк.— Нет...— Он шагнул к порогу, сорвал с гвоздя тужурку. Торопливо надел ее, схватил Наташу за руку, потащил к двери, шагнул за порог.

Скатываясь за Шантару, по-прежнему ярко горело солнце в прозрачном небе. На белый снег улицы ложились резкие черные тени. Возле дома стояли Ганка с Димкой. Димка что-то говорил, а девчонка заливисто хохотала. Увидев Семена с Наташей, она умолкла, скользнула за угол, утащила Димку.

Выйдя, почти выбежав на улицу, Семен остановился. Воздуху ему вроде бы не хватало, он жадно и шумно дышал. Всегда мягкий, спокойный, сейчас он был непохож на самого себя — лицо сделалось каким-то угловатым, скулы резко выделялись. Светлые глаза, в которых вечно светился задумчивый огонек, горели враждебно и жестоко.

— Ладно... Мать — поймет, все поймет,— сказал он непонятно.— Идем.

— Куда?

— Не знаю. Пойдем.— И крупно зашагал.

Минут через пятнадцать они остановились у заваленной по самую крышу снегом мазаной избенки, чем-то знакомой Наташе. Семен стукнул в дощатую дверь.

— Кто там? Счас, счас...— послышался старушечий голос. Голос Наташа сразу узнала, поняла, куда они пришли. Неизвестно только зачем.

Еще через минуту Наташа стояла посреди довольно просторной комнаты, а старая Акулина-бобылиха суетилась вокруг нее, костлявыми руками помогала расстегнуть ей пуговицы и быстро сыпала скрипучим голосом:

— Господи! А я думаю — кого бог приблудил ко мне?! Радость-то! Что ж, думаю, она не заходит ко мне когда? Слыхала, как же, будто у Савельевых ты, — Маньша Огородникова сказывала... Маньша-то, ах ты господи, в компанию каку попала! Не хотела, грит, а попала. Плачет все... Судить тех собираются, и ее, грит, требуют как свидетельшу. А она грит — засудят и ее, краденое Макарка ваш хоронил у нее,— повернулась старуха к Семену.— Никто, грит, не знает того, да сама скажу. Не говори, толкую ей...

— У Макара фамилия Кафтанов, бабушка,— сказал Семен.— А мы Савельевы.

— Ну да, ну да,— закивала старуха.— Известно... Прибрал бы уж господь, что ли, где его, горемыку-осколок! А она, значит, твердит свое — скажу да ска-

жу... Вот гости у меня дорогие! А я хвораю все, Наташенька, выползти даже на улицу не могу. Чайку, что ли, вам? Самовар я счас.

— А мы не в гости, бабушка. Мы на постой к тебе. Примешь? — спросил Семен.

— Как так? — не поняла старуха.— А-а, обженились, что ль?

— Нет... Просто я ушел из дома.

— Как?! — воскликнула теперь и Наташа.

— Так... Не могу я больше там. И тебя не могу оставить.— Он взял ее за худые плечи, поглядел в глаза.

— Погоди, Сема, как же... Что подумают? Ничего не понимаю...

— Может, и я не понимаю. Только так надо. Матери я сейчас пойду скажу, вещи кое-какие принесу. Так пускаешь, что ли, бабушка? Мы платить будем.

— Какая плата? Мне не так тоскливо будет, вот и вся плата.— Она поморгала бессильными, красноватыми веками.— Толь чудно маленько — друг дружке-то кто вы?

— В этом мы до утра разберемся,— сказал Семен.

* * *

Не одну Наташу после смерти Антона Савельева занимали мучительные вопросы о смысле жизни и человеческого бытия.

Со дня похорон прошло несколько недель. Буранов и вьюг за это время не случалось, однако часто шли тихие, густые снегопады, землю вокруг сквера Павших бойцов революции и в самом сквере, плотно утоптанную во время похорон тысячами ног, снова завалило мягкими сугробами.

Пушистые шапки снега лежали на столбиках деревянной ограды сквера, тяжелыми хлопьями висели на ветках кленов, тополей и акаций. Ясными, безоблачными днями снег игольчато поблескивал, деревья, казалось, обсыпаны были солнечной пылью, в ветвях еще веселее пересвистывались синицы.

В сквере было тихо, безлюдно и чисто, рядом с громадным дощатым обелиском с большой звездой наверху стояла маленькая жестяная пирамидка на могиле Антона Савельева, и к ней между пышных сугробов всегда была протоптана свежая тропинка.

Федор знал — это каждый вечер ходит на могилку брата его жена, Елизавета Никандровна. Он видел несколько раз ее одинокую фигурку в сквере, возвращаясь с работы. В старенькой кроличьей шубке, вытертой на боках, она всегда стояла над могилкой неподвижно, спрятав руки в муфточку. Сурово поджав губы, она смотрела на заснеженный холмик, на покрытую изморозью звездочку, приделанную на верху небольшого обелиска.

Шла середина марта, дни стояли теплые, по утрам над Громотухой плавали сизо-розовые туманы — предвестники первых весенних капелей, но к вечеру обычно мороз закручивал и ночами жарил, как в ноябре — декабре. В холодном вечернем воздухе над Шантарой гулко гремел радиоприемник, часто над стылыми крышами домов, по узким шантарским улицам и переулкам разносилась одна и та же песня:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим,
Уничтожим врага!

Музыка была торжественно-суровая, жесткая, а слова тяжелые, как булыжники. Они, казалось Федору, раскатывались над Шантарой с грохотом и треском, и было чудно — как от них не проламываются крыши?

Но в общем, все это было ему безразлично. С каких-то пор — с тех ли, когда его откровенно выставила из своего дома Анфиса, или чуть попозже, с того дня, когда ушел из дома с этой приблудной Наташкой Мироновой Семен, а может, намного раньше того и другого, может, после того единственного вечера с выпивкой у брата Антона,— с каких-то пор Федор жил словно в пустоте. Он ел, спал, ходил на работу, с кем-то разговаривал, но все это будто бы делал не он, а кто-то другой,

его, Федора, это все словно и не касалось. Ничто его не волновало, не трогало. Мужики — одногодки Федора давно были на фронте, а его, Федора, оставили в числе некоторых других механизаторов по броне. Он не боялся, что его возьмут на фронт, но и не радовался, что оставили. Даже смерть старшего брата не вызвала у Федора ничего. Во время похорон он подошел к могиле, поглядел на черное, сожженное электричеством лицо Антона спокойно, равнодушно. На это угольное лицо падали снежинки и не таяли.

«Антон Силантьевич Савельев любил жизнь, любил людей,— тоскливо говорил над гробом Поликарп Кружилин, с трудом выталкивая слова.— Он знал, зачем он жил...»

Федору казалось, что он слышал уже где-то, когда-то эти слова. Но где — вспомнить не мог оттого, что помешали застонавшие вдруг медные трубы оркестра, а потом каменный стук мерзлой земли о крышку гроба.

Вспомнил, когда утром следующего дня увидел Анну. Он глянул на вошедшую, тоже почерневшую, будто и ее хлестнуло где-то током, жену, и в ушах сами собой зазвенели ее слова: «Все, все правильно Иван сказал про тебя, не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть, никого... Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?»

Потом слова Кружилина и Анны вперемежку звенели у него в голове, уже не переставая.

«Он знал, зачем он жил...» — «Зачем тогда ты живешь-то?»

Они, Поликарп Кружилин и Анна, сговорились, что ли? Два голоса — мужской и женский — попеременно долбили ему в голову, как молотками, требовали чего-то. А чего, какого ответа?

Ответа не было. Была эта пустота, было прежнее безразличие ко всему окружающему. Будто бы издалека, из какого-то другого мира, доносились к нему все события: эта песня, которую он слышал бессчетное количество раз, известия о разгроме немцев под Москвой, пожар на заводе и гибель старшего брата, уход Семена из дома, заявление Анны, что она вступит в колхоз, разговор с кем-то, что председатель райисполкома Полипов ушел на фронт, а на его месте работает теперь пузатенький, как самовар, мужичок из эвакуированных — Иван Иванович Хохлов, слухи, что бронь на комбайнеров и трактористов дали лишь до окончания будущего сева, потому что на механизаторских курсах МТС обучается сейчас около полсотни девок и баб...

Все эти события перепутались, когда какое происходило — неизвестно.

Однажды Анна сообщила, что Семен и Наташа расписались. Федор отреагировал на это довольно странным заявлением:

— Пущай. Все равно на войну возьмут.— И тут же с издевкой спросил: — Ваньку вот почему твоего не берут? Год-то его давно взятый.

Глаза Анны всплеснули холодным огнем. Сдерживая себя, она произнесла:

— Возьмут, когда надо будет.

— Я слыхал, в больнице он? С чего это?

— Сено возил и простудился. Сразу обои легкие прихватило.

— Ловок! — усмехнулся Федор.

Неделей позже после этого разговора Ивана выписали из больницы.

Федор, идя после обеда на работу, столкнулся с младшим братом посреди улицы. Иван был желтый и худой, будто встал из гроба.

— Не кончилась война-то еще,— сообщил Федор насмешливо.— Так что ищи способ опять в больницу нырнуть.

Иван улыбнулся, щурясь на яркое солнце, проговорил:

— Ишь вот как... Ни одна собака не облаяла пока, так тебя встретил.

И разошлись.

* * *

Солнце садилось, синие тени от приземистых эмтээсовских построек и мастерских расплывались на утоптанном, не успевшем почернеть еще снегу.

В красном уголке шло собрание механизаторов по поводу «усиления темпов ремонта и подготовки машинно-тракторного парка к севу», как было написано в объявлении, которое попалось на глаза Федору еще утром.

На собрание приехал Кружилин, но говорил он пока не об эмтээсовских делах, а рассказывал о положении на фронте. Он говорил, что от Москвы немцев отогнали на восемьдесят-сто, местами даже на двести километров и более и продолжают гнать дальше, что правительство в начале марта приняло постановление о подготовке к весеннему севу 1942 года МТС Московской, Ленинградской, Калининской, Тульской, Орловской и Курской областей, что, возможно, к началу сева все эти области целиком будут освобождены. Однако, говорил Кружилин, положение тяжелое, Ленинград находится в круговой блокаде, немцы рвутся к Волге и на Кавказ...

Федор сидел у окна, глядел на длинные синие тени. Слова Кружилина доносились глухо, еле-еле, будто уши у Федора были туго забиты ватой. Зато отчетливо долбило и долбило в голову молотком прежнее: «Он знал, зачем он жил...» — «Зачем тогда ты живешь-то?»

«А зачем действительно? — подумал вдруг Федор.— И — как?!»

Он нахмурился, крепко, до ломоты в деснах, сжал зубы, до звона в голове напряг память, будто одним страшным и неимоверным усилием воли хотел вспомнить всю свою жизнь до мельчайших подробностей, оглядеть ее враз как бы со стороны, с высоты какой-то. Но вспомнить ничего не мог, кроме того недавнего вечера, когда он последний раз ходил к Анфисе, когда, вернувшись, обнаружил в своем доме Ивана. Да и то вспомнил не Анфису и Ивана, а свой разговор с женой после ухода брата. Но зато почти до последнего слова, до малейших оттенков ее голоса.

« — *Значит, сама надумала уйти от меня? То-то, гляжу, осмелела, Ваньку ночевать оставляла.*

— *Уйду, сил больше нет.*

— *Расклеилась. Никуда ты не уйдешь. И на том покончим.*

— *Уйду, уйду, уйду! Выпил ты всю кровь из меня, все соки... Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть,— никого. И себя, должно, не любишь! Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?*

— *Интересно! Ну а дальше? Или всё?*

— *И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству... чтобы... чтобы развратничать потом на заимке, как отец.*

— *Вовсе интересно, хе-хе!.. Женился-то я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.*

— *Это уж так получилось, что в девятнадцатом... А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне... А что от богатства нашего дым один остался — это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.*

— *Замолчи... об чем не знаешь!*

— *Знаю! И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь... за то, что опомнился он, Иван, тогда, перешел к партизанам, понял, где правда... Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить... али боишься другим-то! Вот... Этаким никто тебя не знает, а я — знаю. Теперь... теперь тебя и он, Иван, раскусил... Теперь он тебе и вовсе смертельный враг...*

— *З-замолчь! Ты-ы!*»

Бубнил что-то, расхаживая около красного стола, Поликарп Кружилин, встряхивая головой, точно бодал воздух. «Ну да, ну да, это она правду сказала... Не все в ее словах правда, но есть. Про Анфиску, например... — мелькали, неслись куда-то неясные, перепутанные мысли Федора.— Как она сказала-то?

«*Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне...*»

Все правильно. Месяца через полтора не то два после того, как получил от Инютина четыре десятки — заканчивали жать тогда кафтановскую рожь под Звенигорой,— Федор отработал эти деньги. Всю страду наравне со взрослыми бабами Анфиса жала и вязала снопы, Федор подвозил жницам харчи, воду из Громотухи, следил, крепко ли снопы эти вяжут, правильно ли составляют в суслоны, не ленится ли кто на работе,— словом, был приставлен к бабам в начальники.

— Ну? — не раз за это время протыкал его одноногий Инютин вроде и мягкими, водянистыми глазами. — Зазря я тебя на этакую лентяйскую должность определил?

— Как я? — воротил лицо от его взгляда Федор.— Матка при ней, взора не спускает.

Отворачивался, но примечал, что глаза Инютина сохнут, делаются еще меньше и острее. Когда Инютин перевел Анфисину мать на другие работы, подальше от дочери, стал говорить другое:

— Пугливая она. Сам же говорил, не силком чтоб... Погоди...

Но дело было не в матери и не в пугливости Анфисы. Она-то как раз не боялась Федора. Правда, когда он впервые встретил ее, еще в деревне, по возвращении из тайги, она смутилась, полыхнула огнем, но и тут не убежала, а стояла столбом, точно хотела сгореть на месте дотла.

— Невидаль, что ли, я какая? — спросил он.

— Ага. Прям страшилище усатое,— сказала Анфиса звонко. И так же неожиданно показала розовый язычок, убежала.

Федор сбрил усы, и, когда снова встретил Анфису, та хлопнула раз-другой густыми ресницами, лицо ее пошло пятнами. Круто повернувшись, она быстро-быстро ушла. А когда через несколько дней увидела приехавшего на полосу Федора, чуть порозовела и шепнула, чтобы не слышали другие:

— С усами-то красивше ты, оказывается...— И, прыснув в кулачок, побежала прочь, по-детски еще подпрыгивая.

Потом Анфиса совсем перестала стесняться Федора, часто подшучивала над ним. То жесткий колосок за шиворот опустит, то, когда он задремлет в холодке под суслоном, подойдет потихоньку, присядет на корточки и осторожно примется щекотать травинкой его лицо... И все хохотала она, заливисто и беззаботно. Когда хохотала, на ее переносице собирались мелкие-мелкие морщинки, круглые глаза озорно поблескивали.

Чувство к Анфисе-скороспелке пришло незваное, совсем ненужное ему. И оно было какое-то странное, наполовину отцовское, что ли. И ему казалось, что он избавится он него, если сделает то, за что получил от Инютина деньги. И он решился, еще раз предупредив старосту:

— Если все ж таки шум пойдет... и все такое, чтоб, значит, защита, какая следует, была. А то я ведь тоже молчать не буду — Инютин, мол, подкупил.

— Все будет, Федьша! — заверил старик.— Я энтой деревяшкой любому глотку заткну. Она, вишь, навроде бутылки, плотно войдет. Не сомневайся.

Однако шуму никакого не было. Анфиса сразу поняла, что хочет сделать с нею Федор, не кричала, не сопротивлялась, только просила жалобно и тоскливо:

— Не надо, Федор... Пожалей! Ну, пожалей, рано мне еще...

Потом она долго лежала на пожухлой траве, разметав влажные волосы. Из плотно закрытых глаз ее по горячим щекам стекали две полоски слез, пухлые, детские еще губы обиженно подрагивали.

— Никому не говори, ладно? — попросил ее Федор.

— Ладно,— прошептала она, всхлипнула и только потом разревелась.— А когда... когда свадьба-то?

— Свадьба? Будет свадьба... Вот подрастешь маленько. А пока — ничего никому...

— Ладно,— опять всхлипнула Анфиса, прижалась к нему доверчиво, как котенок. — Только ты люби меня. А уж я тебя буду — до последней волосиночки.

Федор чувствовал омерзение к самому себе, потому что знал — никакой свадьбы не будет.

Недавно, получив от одноногого Инютина сорок рублей, высосав из горлышка бутылку первача, Федор показался сам себе щепкой, которую несет в кипящий громотухинский водоворот. И вот теперь, вот сегодня, вот только что сейчас, думал Федор торопливо, лихорадочно, со страхом, донесло, швырнуло в холодную пучину, закрутило. Что теперь делать ему с Анфисой? А с Анной? А с этим недоноском Кирюшкой как? А с родным братцем Ванькой, который вроде догадывается об чем-то, глядит на Анну какими-то просящими, тоскливыми глазами, а на него, Федора, мрачно зловеще, исподлобья?

И точно — закрутило его, Федора, понесло, завертело. Помогло ему избавиться от зарождавшейся любви к Анфисе то, что он сделал с ней темной, звездной ночью в степи, или, наоборот, усилило его чувство — он и сам не знал. А Анфиса как-то вдруг переменилась, повзрослела будто сразу, по деревне ходила с большими си-

ними кругами вокруг глаз, а в самих глазах ее играли счастливые молнии. Она глядела на унылые домишки Михайловки с тихой, задумчивой улыбкой, и эта улыбка, гордо поднятая голова, весь ее облик словно говорили, что открылось ей вдруг в жизни что-то такое небывало радостное, что другим вовеки не откроется. Он, Федор, понимал ее состояние, тайно, со всякими предосторожностями, встречался с ней каждую неделю по средам, всегда давая себе слово, что это последний раз, что сегодня он не тронет ее, а в следующую среду вообще не придет на свидание. «Она вроде не забеременела еще, и это хорошо». Но стоило Анфисе прижаться к нему крепким телом, стоило почувствовать ему ее пресновато-горячие губы и услышать едва-едва различимый, обессиленный стон — Федор все забывал... А в следующую среду снова шел, как невольник, в условленное место.

С Анфисой он встречался по средам, а с Анной по четвергам. Он приходил к ней усталый, опустошенный прошедшей ночью, потому что Анфиса, эта еще девочка-подросток, оказалась жадной до грубых ласк, она быстро вошла во вкус, ее ненасытность удивляла и пугала Федора. С Анной они встречались все в тех же тальниках за деревней, потом, когда поникла трава и облетели деревья, стали встречаться на сеновале возле скотных дворов ее отца, благо осень стояла в тот год небывало теплая и долгая. Анна, сгоравшая от поцелуев, все спрашивала и спрашивала без конца:

— Ты любишь меня, Федя? Неужели ты любишь меня?!

— А как же иначе?

— Ох!

Иногда у Федора сама собой, незваная, всплывала мысль: ну ее, Анну эту, лесину сучковатую... Взять да и жениться на Анфисе... Но тут же хмурился, сердился на себя, раздражался. Детей-то Анфиса с ее жадностью живо нащелкает, как семечек. А что с ними делать, чем кормить-одевать? А тута, может, обломится...

«И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству...»

...Федор поднял глаза, увидел, что Кружилин Поликарп кончил говорить, сидел за столом, немного сбоку. Говорил теперь директор МТС, Федор слышал его голос. Но о чем говорил — понять не мог.

...И это правильно сказала Анна. Угадала. Но, может, бросил бы тогда Федор все же ее, бросил из-за неприглядности, некрасивости,— ну никакого просто сравнения не выдерживала она с Анфисой,— да что-то странное, непонятное стало происходить с Анной. Вдруг она быстро начала входить в тело, округляться, будто костлявая телка, выпущенная после голодной зимы на щедрые выпасы, быстро начали набухать крохотные комочки ее грудей, выпрямляться стан. На скулах ее все ярче заиграл румянец, большие серые глаза прорезались в стороны, удлинились, зажглись в них радостно-светлые огоньки. Они по-новому осветили все ее лицо, и Федор увидел, что в привлекательности оно не уступает теперь Анфисиному. Шея у Анны, когда-то вялая, дряблая, начала принимать гордый изгиб, щупленькие бедра налились. И однажды — было это уже в ноябре, стоял на редкость теплый осенний день, кажется, один из последних в том году,— Федор увидел Анну со стороны и ахнул: по улице, освещенная солнцем, не спеша проходила невиданно красивая, высокая женщина, гордо несла на крепкой, словно выточенной, шее голову с тяжелыми светлыми косами, чуть распущенными на концах. И казалось, что это не косы, а горячие солнечные ручьи, стекая с головы, играют за ее гибкой спиной.

А в тот день была среда. Федор, как обычно, встретился с Анфисой. Он пошел на это свидание по привычке, шел и думал не об Анне даже, а о той высокой красавице, что прошла в полдень по улице, как видение. И он не заметил, что Анфиса была в тот вечер испуганно-встревоженная, вялая. Потом она заплакала и сказала жалобно:

— Краски-то не идут другой месяц... А вчерась ка-ак затошнило...

— Доигрались мы,— поморщился Федор.

— Ага,— глотнула слезы Анфиса.— Я давно думаю: что такое? А седни у матки спросила. Она с кулаками на меня: «С кем набегала, сучка?!»

— Ну? Сказала?!

— Нет... Не велел же ты. Она на Кирюшку думает. Что ж теперь, Федя?

— И пусть думает. А ты не говори. Поняла? Не говори!

— Да ты что? Не буду... Не скажу.

— Ну вот...— вздохнул он облегченно.— А это — ничего, мать выживет неприметно.

— А... зачем? Может...

— Подумай сама: к чему сейчас дитё нам, в такое время? Да и засмеют тебя... А потом больше...

Федор, все думая об Анне, хотел сказать Анфисе: «А потом больше давай не встречаться, давай покончим на этом, а то опять доиграемся». Слова так и рвались с языка, но он почувствовал, что убьет этим сейчас девчонку насмерть — утопится она или еще что с собой сделает. Еще он подумал, что после порвать с ней удобнее будет и легче, и проговорил, поправившись на ходу:

— И потом — пока не надо нам встречаться... Пока все это не ликвидируется. Да оно и где теперь? Снег вот-вот ляжет.

Анфиса плакала, пригнув к коленям голову, плечики ее тряслись.

— Это вот зря, слезы. Кирюшка-то Инютин что?

— Что? Ходит, как хвост пришитый. Я прогоняю его, а он не идет. Догадывается он, что мы с тобой, знает... Вслух не говорит, правда.

Федор и без того понимал, что Кирюшке все известно. При встречах тот хмурился, но спрашивать напрямик ничего не спрашивал.

А дня четыре спустя, перед самым снегом, произошло следующее.

В понедельник во второй половине дня на своей усадьбе после долгого отсутствия объявился сам Кафтанов. Федор вместе с Инютиным сидел под деревянным навесом. Они пили чай и наблюдали, как старики и бабенки ссыпают в завозни намолоченную рожь. Кафтанов прикатил в плетеном коробке, на козлах сидел Ванька. Выпрыгнув из коробка еще на ходу, Иван забежал вперед, повис на мордах разгоряченных лошадей. Кафтанов, красный, как заходящее солнце, на сильном взводе, с ходу подлетел к Инютину, схватил за лисью бороду.

— Т-ты, рыжий пес! — И отшвырнул его. Старик грохнулся навзничь.— Вста-ать! — Кафтанов безжалостно начал пинать под бока старосту и своего управляющего.

— Господь с тобой, Михаил Лукич... Батюшка наш...— испуганно бормотал старик, проворно, однако, вскакивая, несмотря на свою деревяшку.— Господи, помилуй...

— Кого в помощники ты себе взял, а?! — свирепо заревел Кафтанов.— Кому такую работу антиллигентную определил?! Я кому приказывал, чтоб не трогать с лесозаготовок его, в тайге сгноить, неслуха окаянного!

Федор, еще когда Инютин приставил его навроде начальника к бабам-жницам, подумывал беспокойно: Кафтанову это не понравится. Но никак не предполагал, что хозяин расстервенеет до такого предела.

— Ванька-а! — крутнулся меж тем Кафтанов, взбороздив каблуками землю.— Подай плеть!

Иван подал, ни на кого не глядя. И не успел Федор опомниться, как его плечо обожгло, словно разрезало наискось.

— Эт-то за службу те плата! За норов твой...

Федор метался возле стены завозни, уворачивался, но плеть, как змея, настигала его и жалила.

— А эт-то за Анну! С-сволота! Ты к кому грязные руки протянул? Как спички обломаю! Ноги выдерну!!

Федор перестал уворачиваться от ударов, только вздрагивал, тупо думал: «Вот оно что! Ванька... Ванька доложил ему... об нас с Анной! Плеть подал, гад!» — и, качнувшись, вытянув руки, пошел к брату, намереваясь вцепиться ему в горло. Но едва приблизился, Иван железным кулаком ткнул ему в подбородок. Федор растянулся на утоптанной земле, как Инютин, только вниз лицом, почувствовал, что рот полон солоноватой крови.

— Тя-ать! — услышал он истошный крик, сквозь заплывшие веки увидел, как Анна сбежала с крыльца.— Не трогайте его! Изверги!

Анна подлетела к нему, оттолкнув отца и Инютина, наклонилась, попыталась поднять.

— Федя! Родимый...

Зеленея лицом, отец схватил Анну за косы, сильно, не жалея, ткнул головой об черную стену завозни. Потом, безжалостно хлеща дочь плетью, погнал обратно в

дом. Он гнал ее, как овцу, она не вскрикивала больше, только припадала от каждого удара на четвереньки, ползла, волоча косы по земле, вставала, снова падала. В голове у Федора гудел горячий пожар, он хотел вскочить, кинуться на помощь Анне. Но сил не было.

Еще Федор увидел, как возвращается от крыльца Кафтанов, обтирая рукавом взмокший лоб, услышал, как тот, тяжело дыша, сказал Инютину:

— А в помощники тебе Ивана определяю. Навсегда. Учи его, хватит ему в конюхах да в кучерах. А этого выкиньте за ворота.

И Федор потерял сознание.

Очнулся он оттого, что кто-то тормошил его. С трудом раскрыв глаза, увидел перед собой присевшего на корточки Поликарпа Кружилина.

— Сполна за службу у Кафтанова получил? Али еще осталось за ним? — спросил Поликарп, усмехаясь небритым ртом.— Ну-ка, домой я тебя, сердягу, отнесу...

«*И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил...*»

...Не-ет, это уж ты врешь, Анна! Не жалел он, Федор, Кафтанова никогда, размышлял Савельев о самом себе, как о ком-то постороннем, глядя на сидевшего у краешка стола секретаря райкома партии Поликарпа Кружилина. Нет, в другом тут дело, совсем в другом. Жалел он тогда, мучительно раздумывал о другом: как же так получилось, что все планы и жизненные мечты, смутно начавшие маячить в голове в то лето, когда работал «смотрителем» на кафтановской заимке, вдруг пошли прахом, что место возле Кафтанова, которое он присмотрел для себя, занял, кажется, Ванька?

...Собрание в красном уголке МТС все шло. Давно идет оно или началось недавно, Федор сообразить никак не мог. Времени прошло вроде много — синие тени от мастерских на белом снегу исчезли, и сами мастерские исчезли, потонули в черном, холодном мраке, лишь желтым расплывчатым пятном горело где-то единственное окошко. А директор МТС все стоял за дощатой и скрипучей трибуной, все что-то говорил...

...Да, так вышло все, вернулся Федор к своим мыслям. Как же оно все так получилось, как он оказался в партизанах?

Все события того знойного лета шестнадцатого года, на удивление мягкой зимы семнадцатого и наступившего затем суматошного времени восемнадцатого и девятнадцатого годов в подробностях не упомнить. Когда произошла революция, в Михайловке долго еще оставалось все по-прежнему, в деревне хозяйничал, как и раньше, Кафтанов. Потом поиритих, начал лихорадочно свертывать торговлю. Советская власть образовалась в Михайловке просто — приехали из Шантары Кружилин с Алейниковым, созвали сход, постановили образовать сельский Совет, председателем избрали Панкрата Назарова. Кафтанов безвыездно жил теперь на Огневской заимке, беспробудно пьянствовал там...

Да, многого в подробностях не упомнишь, дело давнее, многое поблекло, как летние краски к концу сентября. Но главное — помнится. Тем более что не так уж много этого главного. Началось оно, это главное, для него летним вечером восемнадцатого года.

В тот день к вечеру заходила гроза, небо рвало частыми молниями. Багровые вспышки без конца обливали каменные громады Звенигоры. Под порывами ветра зловеще гудела тайга.

Место постоянных встреч Федора и Анфисы было недалеко от деревни, в глухом таежном овражке. Там Федор построил небольшой балаганчик, застелив землю кусками старой, рваной кошмы, закидав сверху сосновыми лапами.

В тот день Анфисы в Михайловке не было, накануне ушла она с матерью в соседнюю деревушку Казаниху, к какой-то роженице,— мать Анфисы приучала дочь к своему ремеслу. Однако Федор, захватив из дома дождевик, зашагал к балагану. Шел по лесу и угрюмо думал: «Среда сегодня. Пущай Анфиска не явится только! Пущай не явится...»

Он знал, что зря распаляет себя, что Анфиса придет, прибежит, чего бы ни случилось. Но, подойдя к балаганчику, остолбенел: Кирюшка Инютин торопливо уничтожал их с Анфисой убежище — раскидывал с яростью сосновые лапы, выдергивал и разбрасывал тонкие жердочки.

— Ах ты сволота! — крикнул Федор, в два прыжка оказался возле Кирюшки, одной рукой схватил его за отвороты пиджака, другой ударил в подбородок.

Кирюшка не отлетел прочь, он осел, упал на колени.

— Это... когда ж ты выследил нас тут? Как сумел?!

— Федор, Федя! Брось ты ее! Оставь ты ее! — повизгивая, как щенок, жался к его ногам Инютин.

Федор в ярости пнул его, хотел пнуть еще раз, но из кустов выскочила Анфиса, растрепанная, вся потная, грязная, будто, напарившись в бане, она тут же вывалялась в дорожной пыли.

— Федор, Федя! — выкрикнула она и упала, обессиленная, на траву.— Там, в Казанихе... Кафтанов сам... И Зиновий! В Казанихе-то! А у нас в деревне — Кружилин с этим, с Алейниковым! И Панкрат Назаров... Панкрат-то Назаров!..— Она загнанно дышала, ловила ртом воздух. Федор и Кирюшка, не в силах что-либо понять, испуганно топтались вокруг нее.

— Что в Казанихе? Говори толком! — крикнул Федор.

— Кафтанов там... И конный отряд с ним, человек полста, однако, али больше — не знаю. Прискакали в Казаниху, тамошнего сельсоветчика из избы вытащили и прямо у крылечка... господи, прямо у крылечка — шашками! И бабу его, которая на сносях... Схватки у нее начались уже, а ее тоже за волосы выволокли вместе с маткой моей. «Помогаешь новому сельсоветчику-кровососу народиться?!» А я воду на кухне грела. В окошко едва успела выскочить...

И Анфиса, распластавшись на траве, зарыдала, забилась в истерике. Федор и Кирьян стояли рядом, оглушенные, еще не зная, как понять слова Анфисы, что делать. Все яростнее громыхал гром над головой, со свистом хлестали молнии, но ветер поутих вроде, дождя не было.

Михаил Лукич Кафтанов с полгода как исчез куда-то с Огневской заимки. И Ванька-братец с ним исчез. Ни слуху ни духу об них не было, и вот — объявились.

— Анфиса, Анфиса,— нагнулся Кирьян над девушкой, погладил ее по плечу,— ты не плачь, не надо...

— Ну-ка, рассказывай все по порядку,— присел с другого боку Федор.— Что они... с матерью-то?

— Мама, мама, ма-ама-а! — выла Анфиса, болтала головой, билась лбом об землю, космы ее волос хлестали по траве. Потом вскочила на колени, в глазах ее и без того горел безумный огонь, а при вспышках молний они казались совсем страшными, звериными какими-то.— Что же вы сидите?! Они, Кафтанов и Зиновий и все конники, к нам... в Михайловку скачут, наверное, уж! Кишки, грят, Назарову надо выпустить! И Кружилину с его дружком... Кто-то сказал им, что они в Михайловке.

Кружилин и Яков Алейников действительно вчера приехали в Михайловку по каким-то хлебным делам, долго ругались с председателем сельсовета Панкратом Назаровым, на сегодняшний вечер назначили собрание-сход, но, слышал Федор, отменили из-за непогоды, перенесли на завтра.

— Можа... А можа, они уж в Михайловке? — произнес Кирюшка.

— А Ванька наш, интересно, тоже с ними? Не видала?

— Ежели... ежели не предупредите, изрубят же их! Как мою мамку, как... Прокляну тогда вас обоих!

И, поднявшись, пошла, шатаясь, в сторону деревни. Кирьян и Федор двинулись следом. Потом Анфиса побежала. Побежали невольно и они.

В тот непогожий вечер ни он, Федор, ни Анфиса, ни Кирюшка Инютин не понимали, конечно, что происходит, отчего скрывавшийся где-то Кафтанов неожиданно объявился вдруг, да не один, а с бандой. Лишь позже, когда очнулся от беспамятства Федор в Шантарской больнице, узнал он, что в конце мая по всей Сибири вспыхнул белочешский мятеж, что Советская власть пала во всех крупных городах, стоящих по железной дороге.

А в тот вечер они успели-таки предупредить Кружилина, Алейникова, Назарова с семьей. Но успели в самую последнюю минуту, когда скрыться из Михайловки было уже невозможно. Банда Кафтанова со стрельбой, визгом, свистом влетела в Михайловку одновременно с двух концов. Кружилин, Алейников, Назаров, его жена с семилетним сыном Максимкой, а также Федор, Анфиса, Кирюшка и взявшаяся откуда-то Анна метались, топча друг друга, по тесным переулкам. Жена Назарова крестилась беспрестанно, Максимка испуганно ревел, Назаров таскал его, как мешок с шерстью, под мышкой. Выстрелы и лошадиный топот слышались

иногда совсем рядом, все падали, прижимаясь к плетням. И все понимали — ждет их неминуемая смерть, если не случится чудо. Кафтанов, озверелый от крови, не пощадит никого — ни Федора, ни Кирюшку Инютина, ни дочь свою Анну, коли увидит ее вместе со всеми.

— Ты как тут оказалась между нас?! — крикнул ей Федор.— Уходи, погибнешь ни за что!

— Сам уходи! — огрызнулась Анна.— Дядя Панкрат, давай ты с женой и мальчонкой... к нам попробуем задами! Я в свой чуланчик запру вас,— может, не догадаются. Втроем войдете, места хватит для троих...

— Айда, Григорьич! — крикнул Кружилин и взял за плечо Анну, повернул к себе на секунду.— Спасибо, девка. Не знал, что этакая ты! Живы останемся — благодарить тебя будем. Идите этим переулком, проскочите, может...

Анна, Назаров с сыном под мышкой, его жена побежали в сторону. И тогда закричала Анфиса:

— Кирьян! Ить дом ваш — вот он! В погреб если... Или в подполье куда? Ведь никто не подумает!

— Не знаю...— крутнул головой Кирюшка.— Отец-то дома, после смерти матери все прихварывает он.

— Кирюшенька! — Анфиса ткнулась ему головой в грудь.— Ты хороший, будь еще лучше! Выйду я за тебя, вот ей-богу!

— Так отец-то? Знаете же, каков он...

— Да ведь и меня они... если поймают! Я в окошко тогда там, в Казанихе, Кафтанов заревел: «Догнать и эту повитухину дочку, обрубить ей лапы-то, которыми выблюдка сельсоветского хотела принять!» — И, видя, что Кирьян, все еще колеблется, закричала страшно: — Кирья-ан!

— Ладно... Только и отца тоже... в подпол. Иначе выдаст.

Анфиса, Кирюшка, Кружилин и Алейников огородами побежали к дому Инютиных. Федор не побежал. Чувствуя облегчение, он посидел у плетня, глядя на зарево от полыхающего назаровского дома. Сидел и думал: этим близко, добегут, а сумеет ли Анна тех довести? Далековато тем...

Утром Федор узнал — сумела. Спасли, видимо, быстро наступившая темнота и хлынувший наконец ливень, иначе не пробраться бы им незамеченно. Узнал от Ивана, который зашел на минутку домой. Он был без шашки, только на руке болталась плеть.

— Герой, гляжу, ты. С плеткой ходишь. Жених завидный,— сказал тогда Федор. Иван дернул начавшей волосянеть губой, вышел.

А через полчаса распахнулась дверь, ввалился в избу Кафтанов, отшвырнул поднявшегося было навстречу дряхлого Силантия, схватил Федора за рубаху на груди, тряхнул.

— Говори сразу: куда они скрылись? Не то белый свет кровью замутится! Тут они где-то, тебя видели с ними вчерась в темноте.

— Не знаю я... Кто это меня видел?

— Счас узнаем, знаешь али нет.

И бросил Федора под ноги сгрудившимся в дверях бородатым мужикам. Те подхватили его за руки и ноги, выволокли из избы, сдернули пиджак, рубаху, брюки, прикрутили к плахе вниз животом, плаху бросили на землю. «Все, сейчас пристрелят, пристрелят...» — стучало у Федора в голове, когда его волокли по двору, срывали одежду. Он даже не мог сообразить, боится этого или нет,— так стремительно все произошло. Он не мог догадаться почему-то, что его просто собираются высечь. А когда свистнула плеть и будто насквозь прожгла тело, он все понял наконец и закричал:

— Что вы делаете, сволочи?! Что делаете?..

Но закричал не от боли, а от возмущения, от бессильного гнева. Этот гнев, кажется, и помог ему выдержать. Да еще то обстоятельство, что неподалеку, поглаживая лошадиную морду, стоял Ванька и угрюмо глядел на Федора. Характер Федора и на этот раз сослужил ему неоценимую службу.

Секли его долго, старательно, в лохмотья изорвав спину, зад и ноги чуть не до ступней. Больно было только вначале, потом лишь гудела голова, будто ее сжимали чем-то жестким и горячим, сжимали до тех пор, пока она с хрустом не лопалась, сознание не меркло.

Приходя в себя, он первым делом слышал голос Кафтанова:

— Последний раз спрашиваю: куда они могли скрыться? Где притаились, сказывай!

Веки Федора распухли — то ли оттого, что и по лицу угодила плеть, то ли просто от мук,— видел он плохо. Но видел, что Ванька так же стоит, обнимая лошадиную морду, что за плетнем собралась толпа баб, мужиков и ребятишек, слышал, как бабы и ребятишки выли, а мужики галдели и волновались. «Теперь-то... и вовсе молчать надо,— мелькнуло у Федора.— Иначе куда потом от позора? Не выдержал, скажут, расслюнявился... Насмешками заедят. А с Ванькой, живой останусь, сведу счеты. Не забуду. Анна, интересно, где? Видит ли?»

Очнулся он в полной тишине, в какой-то белой пустоте. Он лежал так же на животе, спина горела огнем, перед глазами торчали железные прутья.

Но скоро он сообразил, что лежит на кровати. Повернул голову чуть и увидел Анну. Она сидела на табуретке, прямая, иссохшая, чужая какая-то.

— Это где я? — спросил Федор.

— В Шантаре, в больнице. Четвертый день уже.

— А-а... Как я сюда?

— Кружилин с Алейниковым привезли.

— Ага, спаслись, значит... Не нашли их?

— Нет. В подполе у Инютиных отсиделись. Демьяна самого с собой взяли в подпол, в избе один Кирюшка был. Он рассказывает: натерпелся страху, мол... Отец мой не раз заходил в дом, все допытывался, куда Инютин девался. На голбчике сидит, грит, и спрашивает.

— А этот... Панкрат Назаров?

— Те легко отсиделись. К моему чулану даже никто не подходил. Где догадаться! Сейчас Назаров с семьей тоже тут, в Шантаре.

— Почему тут?

— Так что делается сейчас?! Советской власти по деревням вокруг нету. В Шантаре еще держится только. А по деревням отец мой с конниками этими хозяйничает. Кружилин с Алейниковым тут, в Шантаре, отряд тоже организовали, круглые сутки на всех выездных дорогах дозоры стоят — боятся, что отец нагрянуть может... И Кирюшка скрылся с Михайловки.

— Вон как?

— Ну да. Мой отец к вечеру ускакал из Михайловки со своими. А Демьян Инютин, как выпустили его из подпола, оседлал незаметно лошаденку — да за ними. На другой день к утру опять все заявились. Инютин сам по своему подворью с наганом бегал, все перерыл, искал Кирюшку, потом Анфиску. Да они еще с вечера в тайгу уйти догадались. Меня с собой звали.

— Вон как? — опять сказал Федор.— Чего не пошла?

— Мне сюда надо было...— тихо промолвила Анна. И медленно поднесла платок к глазам, тяжело заплакала.— Феденька... Чего они с тобой сделали-то?

...Что еще более или менее подробно запомнилось Федору из суматошных событий тех лет? Их с Анной партизанская свадьба? Да, пожалуй. Все остальное представляется сейчас мешаниной из дней и ночей, из огня и стрельбы, из дыма и крови.

Партизанское движение в Шантарской и соседней с нею волостях началось задолго до колчаковщины. Банда Кафтанова за короткий срок разрослась до неимоверных размеров и, пока Федор лежал в больнице, дважды налетала на Шантару, чуть не взяв ее. Чувствуя, что в третий раз село не удержать, Кружилин увел свой плохо вооруженный отряд сперва в ущелья Звенигоры, а потом, выдержав там жестокий бой, дальше, за Михайловку, в таежные верховья Громотухи. Федор, еще слабый и больной — исхлестанная плетью кожа только-только зарубцевалась,— ушел вместе с отрядом. Ушла и Анна, наотрез отказавшись оставить Федора.

Со временем Федор окреп, налился прежней силой. Кружилин поставил его сперва во главе партизанской пятерки, потом — десятки, а после — целого эскадрона. Анна была неотлучно при нем, стирала, обихаживала его. Не раз Федор пытался переспать с ней, но Анна, непонятная чертова девка, твердила, как заведенная, одно и то же :

— Нет... Хоть режь. А свадьбу, если хочешь, давай.

Но Федор не хотел почему-то свадьбы. Да и не до нее было — всю осень восемнадцатого кружилинский отряд то гонялся за бандитами Кафтанова, то, наоборот,

скрывался от них в лесах. Наступившая зима дала было передышку, кафтановские головорезы поутихли, затем скрылись и вовсе куда-то, многие партизаны разошлись по домам. Потом снова начали стекаться в тайгу, потому что в деревнях стали объявляться колчаковские карательные отряды.

Позже Федор понял, почему не хочет пока свадьбы с Анной. Еще осенью в отряде появился Кирюшка Инютин, загнувшийся еще более в крючок, с еще более отвислыми плечами.

— Ты гляди, выжил! — встретил его Федор удивленным возгласом.

— Ага. Анфиса того... упрятать сумела.

— Где же вы прятались?

— Там... Везде. А потом Анфиса говорит:«Иди, Кирьян, к партизанам». Я пришел. Кружилин — ничего, принял.

— А сама она где? Чего с собой не взял?

— А так. Несподручно ей пока.

— Пока? Беременная, что ли? — догадался Федор.— От тебя, сморчок сопливый?

— А это неизвестно еще, от меня али опять от тебя... В том-то и дело.

Вот эта «неизвестность» и удерживала Федора от женитьбы.

К весне только пришла весть в отряд, что Анфиса в какой-то деревушке зимой еще разродилась мертвым ребенком, сама при этом чуть не скончалась. Кирюшка посветлел лицом, узнав, что она жива, а Федор решил жениться на Анне. Но тут опять началось такое, что о свадьбе нечего было и думать. Из самого Новониколаевска прибыл белогвардейский полк полковника Зубова со специальным заданием — уничтожить отряд Кружилина.

Свадьбу сыграли только в ноябре девятнадцатого года, когда выпал первый снег. Состоялась она в большой таежной деревне Максютово и была если не громкой, то шумной, веселой, но продолжалась недолго — один день всего. Банда Кафтанова была рассеяна, но Шантара находилась пока в руках колчаковцев, туда стекались разрозненные группы белобандитов, там, по сведениям вездесущего Якова Алейникова, спешно формировалось новое карательное соединение. Оно могло выступить в любую минуту.

Веселой была свадьба — с тройками, с гармонями, с песнями, с пляской. Даже Кружилин вспомнил старое, ударил такую «русско-цыганскую», как он объявил, что половицы чуть не треснули. И все-таки смутно чудилось Федору: что-то не так в этой свадьбе, то ли веселья не хватает, то ли, наоборот, чуток лишку его; то ли слишком рано, неурочно затеялась его женитьба, то ли, наоборот, слишком поздно. Что-то было в этой его с Анной свадьбе не всамделишное, будто из всего веселья вынули душу, а остались одни звуки, из вина и самогонки выцедили всю радость, а остался один едкий хмель. Может, все было бы на своем месте, сиди рядом с ним не Анна, а Анфиса? Нет, и это не то. Анфису он не видел давно, не волновало его, что она жила с Кирюшкой когда-то, что Кирюшка при случае передает ей поклоны и получает при случае же от нее.

Вздрогнул Федор, а потом обдало его жаром, когда услышал случайно шепот двух дряхлых старушонок:

— Что деется, прости ты, господи! Каруселя-ярманка... Родителя ее сказнили, а дочь за брата убивца замуж идет...

— Каруселя, сватья, каруселя!

— Ишь выдра, глаза-то не кажет! Стыдно, знать.

— Стыдно, сватья, как не стыдно...

Услышал он этот шепот — и закипело в голове ключом. Ведь все на месте было бы — и радость в свадебном питье, и душа в музыке, выдай свою дочь Кафтанов за него, как мечталось когда-то, по-обыкновенному, сиди он, ее отец, сейчас тут, хмельной и радостный... Но Кафтанова Михаила Лукича нет и никогда не будет... И богатства его нет уже. Чего же он, Федор, добился? Зачем все это веселье, эта свадьба? Потому он вздрогнул, что испугался этих своих мыслей, самого себя испугался. «О чем все еще думаю?! После всего, что было... что происходит в мире?!» И раз за разом саданул пару стаканов крепчайшей самогонки, чтобы отогнать эти мысли навсегда, забыть про них, отупеть.

И отупел. Опомнился, когда сообразил, что Анна, никак не дававшаяся ему столько лет, оказалась порченая.

— Кто ж... распробовал тебя? Ванька?

— Нет, нет! Феденька, любимый... Не-ет!

— А кто?!

— Я не виновата, Федя... Я не могу сказать... Но я — честная! Тысячу раз убедишься, что я честная! Я заслужу твое прощение, я стелькой буду для тебя, удавить дам себя за один твой волосок! Я так люблю тебя! Только не спрашивай, забудь, а, Феденька?..

— ...Савельев Федор! — донеслось до него.— Ты что, спишь там? Федор Силантьевич?

Это говорил Голованов, начальник политотдела МТС, созданного прошлой осенью, веселый, общительный человек, хотя обликом похожий чем-то на Алейникова, фронтовик, ходивший еще с костылем. И сейчас этот костыль был прислонен к стенке дощатой трибуны.

— Нет, не сплю. Сморило малость.

— Вот люди не верят, что ты сможешь убрать две с половиной тысячи гектаров.

— Пущай. А я уберу, ежели дадите сцеп из трех «сталинцев». Прошлой осенью в соседней МТС, писали в газетах, таким сцепом две двести один комбайнер убрал. А я две пятьсот дам, ежели комбайны не дряхло́ будут, не навроде балалаек, как прошлогодний мой...

Федор говорил, а в уши барабанили больно слова Анны:

«*А что от богатства нашего один дым остался — это тебя и точит всю жизнь*».

Точит? Нет, врешь ты, Анна! Умная баба, все правильно до этого говорила, может, а тут врешь. Сперва, правда, ради этого хотел взять тебя. И на свадьбе — да, мелькнуло сожаление, что не так все оказалось. А потом, после, что об этом было жалеть зазря? Жалением ничего не вернешь, не исправишь. Врешь, врешь, врешь!

Ему показалось, что он выкрикнул это слово вслух. Он вскочил испуганно, вытер ладонью мокрый лоб.

— Что с тобой, Федор Силантьевич? — тотчас проговорил Голованов.— Захворал, что ли?

Федор увидел его встревоженные глаза, потом — такие же глаза Кружилина.

— Нет, ничего... Мутит только маленько. Я бы домой... если отпустите.

И, не дожидаясь ответа, двинулся к дверям.

Возле крыльца его окружили выскочившие следом за ним люди. Сам Кружилин распорядился отвезти домой Федора в собственной кошевке, кто-то вызвался проводить его. Федор отказался от того и другого, заявил, что дойдет домой самостоятельно. И, выбравшись из толпы, пошел за ворота МТС.

* * *

Федор шагал по темным, пустынным улицам не спеша, время от времени вытирая ладонью горячий, влажный лоб, и невесело размышлял, что и тут права она, Анна, чертова баба. Да, да, жалеет он обо всем! И что Кафтанов Михаил Лукич погиб безвременно, и что от богатства его один дым остался. Да, точит это его всю жизнь, как червяк точит дерево, как водяная капля точит камень-гранит. Точит, выедает в сердце самые больные места...

В первые годы после свадьбы Федор в этом себе не признавался. Что ж, думал он, не получилось и не могло получиться так, как он мечтал, потому что весь мир, вся жизнь взбаламутилась и перевернулась.

После гражданской с год покрестьянствовал в Михайловке. Весной двадцать первого посеял немного ржи, летом часто приходил на свою крохотную полоску, садился на краю березового колка, глядел, как колосится рожь, о чем-то думал, чувствуя, как чуть постанывает сердце, будто его мнет кто в кулаке. Вспоминались довольно обширные ржаные поля Кафтанова, его завозни, его заимка на Огневских ключах. Сейчас на месте дома лежит там, на берегу озера, груда обгорелых головешек.

Все сгорело — и заимка, и завозни, и сам Кафтанов. Все превратилось в кучу пепла. Так чего сожалеть? И сам он, Федор, чуть не сгорел в этой кровавой коловерти, чудом каким-то уцелел...

Однажды, когда сидел вот так же возле своего посева, подошла неслышно Анфиса. Она вышла за Кирюшку через полгода после женитьбы Федора, стала жить с

мужем в уцелевшем доме Инютиных. Они тоже посеяли немного ржи рядом с Федоровой полоской. Пахали, сеяли в одно время, на виду друг у друга. Но вели себя как чужие, только здоровались холодновато.

Подойдя, Анфиса молча остановилась.

— Чего тебе? — спросил недовольно Федор.

— Ничего. Хоть поглядеть на тебя вблизи.

— На мужа надоело?

— Муж не заяц, в лес не ускачет.

Федор поднялся. Анфиса, стройная, крепкая, стояла, скрестив под грудью полные руки. В темных глазах ее плескалась жалость, будто она понимала, о чем думает Федор. Это выражение ее глаз вдруг растравило Федора, он раздраженно спросил:

— Чего надо, спрашиваю?

— Пришла глянуть — счастливый ли? Любишь ли ее... Анну?

— Без любви не женился бы.

— Нет,— мотнула она головой.— Нет...— Постояла, помяла в собственных ладонях пальцы, будто хотела обломить их, и, качнувшись на грудь Федору, зашептала сквозь слезы: — Что мы с тобой наделали-то? Что наделали!

Шепот Анфисы, ее полные слез глаза и вздрагивающие плечи разволновали его. Он погладил ее плечи, проговорил осевшим голосом:

— Ничего, ничего...

И, не говоря больше ни слова, они пошли в березовую рощицу.

Из лесочка возвращались поздно вечером, когда солнце, уже невидимое, окрашивало в багрово-красный цвет громоздившиеся на краю неба облака.

— Значит, судьба такая, что ж...— грустновато говорила ему Анфиса.— Видно, до смертушки суждено мне любить тебя. Хоть редко, да мой будешь. Только... только детей Кирьяну от него, от Кирьяна, рожать буду. В этом не хочу обманывать его. И не могу, не надо...

...Вспоминая все это, Федор шел и шел по холодным пустынным и темным улицам Шантары, морщась от скрипа снега под ногами. Подмораживало, снег скрипел все сильнее.

Федор остановился, чувствуя, что теперь его по-настоящему мутит, ухватился за телеграфный столб. Тотчас затих скрип снега под ногами. Но Федору казалось, что это был вовсе не скрип снега, что это Анна, жена, скрипучим голосом спрашивала его о чем-то, властно требовала какого-то ответа. Он оттолкнулся от столба, пошел. И точно в такт своим шагам услыхал: «За-чем тог-да жи-вешь? За-чем тогда жи-вешь?»

Этот звук был ужасен, он продавливал уши, раскалывал голову. Чтобы избавиться от него, Федор опять остановился. Но это не помогло, в виски с обеих сторон долбило и долбило безжалостно: «За-чем жи-вешь? За-чем жи-вешь?»

И вдруг Федор с ужасом подумал, что этот звук, этот голос никогда не утихнет. Ему, Федору, до сегодняшнего дня все было безразлично, он находился в какой-то пустоте, в полусне будто. Но он, кажется, проснулся, разбудила его Анна своим вопросом. Сперва этот вопрос показался ему нелепым, а теперь вот не дает ему покоя, чудится даже в скрипе снега под ногами...

Федор закрыл глаза, быстро пошел дальше, к дому, почти побежал. Однако через несколько шагов, боясь наткнуться на столб или на ветку дерева, открыл глаза. Но все равно ничего не увидел, вокруг него была темнота, темнота...

* * *

Июньское солнце жарило безжалостно, в сухом, душном воздухе плавал тополиный пух, белыми лохмотьями катался по шоссе, ведущему из села на станцию, набивался в канавы и грязные от пыли придорожные лопухи.

Наташа, однако, не чувствовала этой духоты, не видела сухой тополиный метели, шла и шла по липкому гудронированному полотну, отупело глядя себе под ноги. Рядом шла Анна Михайловна, временами вытирала глаза платком.

— Не надо, мама,— говорила Наташа и сама всхлипывала. В уши лезла, больно разрезала сердце слышанная недавно на концерте в клубе песня:

...Но изведает враг, на Россию напав,
Что российские ветры — лихая погода.
Биться с жестоким врагом уезжал
Мальчишка с двадцатого года.
И что же ему на прощанье должна
Была молодая жена сказать?
Ему на прощанье сказала жена:
Тебя я буду ждать...

Наташа понимала и всегда отдавала себе ясный отчет, что весной или летом Семен уйдет на фронт, но это всегда казалось ей событием далеким-далеким и даже невозможным. Наверное, потому так казалось, что в ту самую ночь, когда она стала женщиной и женой Семена, представление о мире и всем происходящем в нем в который уж раз перевернулось. Из той ночи она помнит только несколько мгновений. Вопрос бабушки Акулины: «Как вам стелить-то? Вместе али врозь?», ответ Семена: «Вместе». И опять слова старухи: «Ну, дай-то бог, дай-то бог...» Потом шаги Семена по комнате, когда она уже лежала в постели, глубоко запрятав от стыда голову под одеяло, какое-то нетерпеливое, жутко-сладкое ожидание. И, наконец, его руки, его колени, все его тело — горячее, сильное, незнакомое, которого она испугалась и к которому прижалась, счастливо-обессиленная, опустошенная...

И потом еще несколько дней была эта полнейшая опустошенность, стыд, недоумение. Где-то мелькали лица бабушки Акулины, Маньки Огородниковой, матери Семена. Все что-то говорили ей, но слов она не различала.

— Не так я женитьбу сына своего видела. Свадьбу надо бы... хоть небольшую...— наконец явственно услышала она голос Анны Михайловны.

Испуганно воскликнула:

— Ой, не надо! Нет...

— И не будет, нельзя. Тут такое горе с мужниным братом! Тут Макара судить вот-вот начнут. Все катится колесом и давит.

Слова эти вызвали у Наташи еще бо́льшую растерянность, обостренное чувство вины за ту ночь, за свое счастье, которое именно в эту секунду вдруг явственно ощутилось ею, будто открылась где-то в душе ее неведомая дверца, потекло что-то оттуда неизведанное, хмельное, затопило ее всю, затуманило мозг.

— Я понимаю,— промолвила она и продолжала бессвязно, бездумно: — А я вам сказала, что люблю его... Пускай колесо, пускай судят... И Антон Силантьевич погиб. Но я не могла! Делайте со мной что хотите...

— Не поняла ты, Наташа,— сказала Анна Михайловна, прижала ее голову к своей груди.— Разве я осуждаю? Я рада, что у вас... То́лько, говорю, свадьбу вот не время, нельзя...

— Какое это имеет значение?! Какое?

Все в мире для нее снова перевернулось, и значения не имели какая-то там свадьба, какой-то Макар, трагическое событие на заводе, бывшее, казалось, давно-давно; значения не имела и сама война, идущая где-то, и то обстоятельство, что Семен должен ехать на нее. Он должен, но он не уедет, потому что он — вот он, вот его руки, все его тело.

— Сема, Сема! — шептала она ночами, прижимаясь к нему.

— Что?

— Я твоя! Ты чувствуешь, что я твоя?!

— Чудна́я... Конечно.

Был Семен, был яркий снег и сияющее солнце на небе, потом — вешние ручьи и лужи, в которых тоже плавилось солнце, мокрая, остро пахнущая земля, и первая зелень, наконец — сверкающая вода Громотухи, еще обжигающая, когда они впервые искупались.

Уже в конце мая вода стала теплой, и первого июня, в выходной день, они ушли за село, переплыли на остров, и там, лежа на горячем песке, Наташа почувствовала, что ее подташнивает.

Она уже несколько дней ощущала, что с ней происходит что-то необъяснимое и таинственное, удивлялась, прислушивалась к себе. Первой ее состояние заметила бабушка Акулина и, напрямик расспросив кое о чем, заулыбалась.

— Дай-то бог. А я нянюшкой буду, вот и радость мне перед вечным сном.

— Нет, нет... Это, может, так,— сказала Наташа. И зачем-то предупредила: — Вы Семену не говорите.

— Может, так, это бывает,— сказала ей еще старуха.— А ежели тошнить зачнет, то, значит, и слава богу. Жди.

Она ждала, и вот это произошло. Дыхание у нее остановилось, она смертельно побледнела, потому что в голове застучало: «А он на фронт скоро уедет! Он уедет от меня!»

Как раз накануне Семен опять был в военкомате, вернулся серьезный, сосредоточенный, сказал, что через две недели наконец отправляют. И все равно его уход на фронт казался делом нереальным, неизмеримо еще далеким. И только в ту секунду, когда ее затошнило, словно какая-то пелена упала с глаз, сознание чем-то продуло, и она до пронзительности отчетливо поняла, что через несколько дней Семена рядом уже не будет, какая-то неумолимая сила отберет его у нее.

— Нет, нет! — закричала она на весь остров, хватая его за плечи.

— Что с тобой? — Он поднялся, сел на песке.

— Не хочу, чтобы ты уехал! Не могу! Не надо...— Руки ее дрожали, и вся она тряслась. Прилипшие песчинки сыпались с ее груди, живота, крупных, уже немного загоревших ног.— Юрий не едет вот...

Он поглядел на нее своим обычным мягким взглядом, только в светлых, как речная вода, глазах на мгновение мелькнуло не то любопытство, не то изумление, будто он впервые увидел в Наташе что-то, раньше им не замечаемое. И она интуитивно поняла значение этого взгляда, отшатнулась.

— Я дура, да? Пускай! — закричала она упрямо.— Но я не хочу!

— Не говори так,— попросил он тихо.

— Но я... я люблю тебя. И мне страшно.

— Мне тоже страшно,— проговорил он, будто признаваясь в чем-то сокровенном.— И Юрка не едет... А мне — надо.

Его голос и его слова поразили Наташу каким-то глубоким смыслом, но в чем он — сообразить еще не могла.

— Почему? — спросила она, пристально глядя на него.— Почему надо? Объясни.

— Ты о чем спрашиваешь? Ну, фашистов мне хочется бить своими руками, гнать их с нашей земли. Разве не понятно?

— Понятно. Но это... очень простое объяснение. А есть еще какое-то... самое главное.

Он помедлил, собрал на лбу морщинки, будто недовольный.

— Есть, наверное. Но мне его не высказать, не знаю.

Вот так же он говорил ей не раз, что не знает, зачем бросился тогда к трансформатору, вспомнила Наташа. И вдруг — случилось это именно вдруг — словно какой-то яркий луч прорезал ее сознание, что-то осветил там, и ей стал предельно ясен наконец-то ответ на вопрос — что такое живущие в самом человеке истинные начала жизни, о которых говорил тогда Субботин над могилой директора завода, стал ясен ответ, который она долго и мучительно искала. Да это же, думала Наташа, та сила, которая заставила тогда Семена и директора завода броситься в огонь за Нечаевым, потом обоих — к трансформатору, которая зовет Семена на фронт... Ну да, ну да, это и есть та великая и таинственная сила, вечно и неодолимо живущая в человеке, которая в трудные, самые критические минуты заставляет человека поворачиваться к жизни самой сильной, самой благородной, самой справедливой своей стороной.

Все это промелькнуло в ее мозгу в одно мгновение, и она тихо и уверенно сказала:

— Нет, ты знаешь.

Он рассмеялся, толкнул ее на песок, и они вместе скатились в воду.

Потом опять лежали под горячими лучами. Семен глядел на середину реки. Там, на перекате, звенели, сшибаясь, сильные водяные струи, под солнцем они сверкали, ослепляя, и неслись куда-то, а здесь, у берега, вода была спокойной, небольшие синевато-прозрачные волны, негромко шурша, лизали мокрый песок.

— Что я знаю, Наташка? Ничего я не знаю,— сказал он задумчиво.— Одно мне ясно — я должен быть там.

Он умолк, глаза его сухо блестели, будто он видел перед собой что-то неизвестное, которое и пугало, и вызывало любопытство.

На мокрую полосу песка у самой воды, плотно приглаженную волнами, сел куличок и стал неторопливо расхаживать на длинных ногах. В небе неподвижно стояли мелкие комья облаков, но тени от них все же скользили по земле, и, когда кромка такой тени близко подползла к куличку, он побежал от нее, но тень догоняла, и, будто не желая, чтобы она накрыла его, он подпрыгнул и улетел на светлое, солнечное место. Семен улыбнулся еле приметно.

— Ты подумай сама вот о чем,— сказал он негромко.— Дед мой, Михаил Лукич Кафтанов, кто был? Люди помнят... Может, кто и забыл бы, да сын его, Макар, живой еще... И отец мой, сама видишь, какой. Подумай — и поймешь, почему я должен идти. Мама поняла, она заплакала, но сказала: «Иди, надо, сынок...»

— И не потому,— мотнула мокрой головой Наташа. Но, подумав, поправилась: — Не только потому.

Семен глядел теперь на крутые зеленые склоны Звенигоры, на сверкающие гранитные утесы, о которые, набегая, колотились пятна теней от облаков и, будто разбиваясь, отскакивали, смятыми лохмотьями соскальзывали вниз.

— Ну да, не только...— бездумно повторил Семен, пересыпая в ладонях песок. Потом лег на спину. Солнце стояло за белой, не очень плотной тучкой, просвечивало ее насквозь. Середина тучки была голубовато-розовой, края облиты, оплавлены шафранно-красным огнем, и во все стороны из-за облачка хлестали струи жидкого янтаря.— Потому еще, что облачко это полыхает в синем небе? Что дядя Антон так... погиб, что тебя встретил и полюбил? Да, поэтому? Это — красивое объяснение...

Слова его звучали все резче. Он приподнялся и поглядел на нее, нахмурив выцветшие брови.

— Ты как-то... странно говоришь,— вымолвила она, пытаясь понять его.— Зачем сердишься?

— Извини,— сказал он виновато.— Только не спрашивай того, что мне не объяснить. Что и без того понятно.

— Я не буду. Теперь не буду,— промолвила она, думая о своем.

Так она и не сказала ему в тот день о зародившейся в ней новой жизни. Не сказала и в следующие, боясь причинить Семену какую-то боль и лишнее волнение, потому что он и без того находится в напряженно-лихорадочном состоянии. День отправки стал известен — 14 июня. Семен то бегал на завод, хотя уже уволился с работы, то домой, к матери, то зачем-то в военкомат, но больше находился с Наташей, смотрел на нее то ласково, то задумчиво, то с тоской. А ночами, до самого утра, они бродили по окрестностям Шантары, по холмам, по зарослям Громотушкиных кустов, по берегу лунной Громотухи.

— Вот все как получилось у нас... Я знал, что все это быстро наступит, такой день, и не хотел... Я хотел, чтобы ты была свободна. Ведь все... все может со мной на фронте... Но я люблю тебя,— сбивчиво говорил он ей в эти последние, короткие июньские ночи.

— Ты не хотел... А кто бы дал тогда мне все это... все, что было у нас? И ничего не случится... Ничего не может...— шептала она сухими, исцелованными губами. Тело ее, измятое его руками, болело, но все хотелось, чтобы он обнимал, обнимал ее.

— Теперь ты одна будешь,— говорил он и вроде чего-то ждал.

«Нет, нас двое!» — готова была она крикнуть, но сдерживалась, ей хотелось сказать ему об этом лишь на прощанье, в самую последнюю минуту, чтобы он уехал только с этой мыслью.

Ночь на 14 июня отправляющихся на фронт добровольцев продержали почему-то в военкомате, то строили во дворе, то уводили куда-то. Наташа с Анной Михайловной так всю ночь и простояли у военкоматской ограды, на рассвете ушли домой. Наташа легла на свою прежнюю кровать, рядом с Ганкой, а на восходе солнца прибежал Андрейка и затеребил ее:

— Повели их на станцию. Строем! А впереди — фронтовой майор! Семка сказал, чтобы мы все на станцию шли. Он сказал, чтобы скорее...

И вот она идет, отупело глядя себе под ноги. Назойливо звучит песня о российских ветрах, рядом глухо всхлипывает Анна Михайловна. Чуть сзади идут молчаливо Марья Фирсовна, Димка, Андрейка, Ганка и отец Семена. Наташа ду-

мала, он не пойдет провожать сына, потому что на слова Андрейки прикрикнул: «Слыхали, замолчь!» Но, оказывается, пошел. Он шагал сгорбившись, не глядя по сторонам, шаркая ногами...

Над станцией висела не то рыхлая серая туча, не то расплывшийся паровозный дым. Чем ближе к станции, тем теснее становилась дорога — шли люди, ехали подводы. А у крайнего железнодорожного пути словно базар собрался — пестрые платки, кофточки, белые рубахи, выгоревшие пиджаки. От толпы людей, кипевшей вдоль длинного состава из двухосных теплушек, шел густой, невнятный разноголосый гул, потом стали различаться отдельные голоса, женский плач, смех, звуки гармошки — охрипшие, отчаянно-торопливые.

— Скорее, не успеем! — прокричала Наташа и побежала было, но Анна Михайловна, задыхаясь, встала.

— Ничего, ничего, я сейчас...— И опять пошла, теперь быстрее.

Метров за сто до железнодорожного полотна шоссе сворачивало влево, к станционным складам и поселку, на завороте стоял Елизаров в форме, зачем-то командовал:

— Вправо, вправо проходите! Не видите, где эшелон стоит?

— А к магазину нам...— упрашивал кто-то милиционера.

— Закрытый на сегодня! Давно опустошили до голых прилавков!

Гармошка взвизгнула где-то совсем рядом с Наташей, пьяный голос заорал, перекрывая надрывные звуки инструмента:

Ка-ак родная меня мать пра-аважа-ала...

Наташа увидела троих стриженых парней — одного с гармошкой, двух с вещевыми мешками.

— М-милиция! — пьяно закричал один из них, бросился обнимать Елизарова.— Милый ты мой! Прощай!

— Венька на фронт идет, понял? — объяснял другой, дергая Елизарова за плечо.

А третий все горланил, разрывая худенькие бледно-розовые мехи гармошки:

Если б были все, как вы, ротозе-еи-и...

— Отставить! Отставить! — кричал Елизаров, вырываясь. С головы его упала фуражка.— Вы что, что захотели?

— А что? — спросил один из парней.— Не-ет, ты всем скажи, что сам Венька на фронт поехал!

— Скажу, скажу...— зло говорил красный, распаренный Елизаров. Поднял с земли фуражку, отряхнул.— Проходите на погрузку!

Гармонист резко оборвал свою песню, закричал, оборачиваясь к товарищам:

— Тихо! — И шагнул к Елизарову.— Промежду прочим... На погрузку скот гоняют. А мы — люди. Мы — на посадку. Понятно? Рыло! —И он нахлобучил Елизарову фуражку на самые глаза.

— Хулиганы! — закипятился тот, замахал руками.— Елизаров тебя запомнит... если вернешься!

Парень, не обращая внимания на его крики, пошел к эшелону.

— Вояки! — зло крикнул Елизаров.— С такими одолеешь, пожалуй, Гитлера!

— Твоя правда, Аникей,— раздался рядом глухой голос. Это говорил старик, будто наскоро вытесанный из коряжины — сутулый, с острыми плечами, кривыми, узловатыми руками, длинной бронзовой шеей.— Я вот помню, двадцать годов назад тоже чехов да колчаков никак одолеть не могли...

— А-а, Панкрат Григорьевич Назаров! — вскинул длинные ресницы милиционер.— Провожаешь кого али так, из любопытства приехал взглянуть?

— Так до сё и живем под их ярмом,— сказал старик, не отвечая на вопрос.

— Хе-хе, шутить изволишь?

— Какие шутки? Вояки-то тогда, в те времена, такие же были никудышные. Даже еще хуже. И проворонили всю революцию.

— Вон как! Все Елизарова за глупого считаешь?

Это Елизаров проговорил уже вслед старику с узловатыми руками и, увидев Наташу, зыркнул испуганно по сторонам, шагнув вбок, давая ей дорогу. Миновав его, она услышала:

— А, Федор? Здравствуй. Сына, значит, и брата одновременно провожаешь? Да, война не тетка, она требует...

— Какого еще брата? — недовольно ответил Елизарову отец Семена, и его голос потонул в крике, плаче и людском галдеже, тугой волной прокатившемся вдруг из конца в конец эшелона.

«Уезжают, уезжают!» — обожгло Наташу, и она побежала, протискиваясь сквозь толпу, увлекая за собой Анну Михайловну.

— Это паровоз, это только паровоз, тетя Наташа, прицепили! — звонко прокричал сбоку Андрейка.

Эшелон действительно стоял на месте, у каждой теплушки, у квадратных черных дверей, похожих на глубокие, бездонные ямы, непробиваемой стеной толпились люди. Наташе все казалось, что они не отыщут в этой суматохе и толчее Семена, она не успеет попрощаться с ним, а ей надо столько сказать ему!

— Где он? Где он? — выкрикивала она, не выпуская руки Анны Михайловны.

— Там, там они, в конце эшелона,— послышался голос вывернувшегося из толпы Димки.— И Семен, и дядя Иван...

И Наташа увидела сперва Ивана Савельева, который стоял боком у черного проема дверей и гладил по плечам низкорослую худенькую женщину, рядом с ним — уже знакомого старика Панкрата Назарова, а потом Семена. Семен протянул навстречу руки, сделал несколько шагов, и обе женщины, Наташа и Анна Михайловна, повисли на нем, и обе враз заплакали.

— Будет, не надо, перестаньте,— говорил Семен, обнимая мать и жену.

— Сема... сынок, сыночек! — выкрикивала Анна Михайловна все громче и громче, а Наташа твердила одно и то же:

— Я буду ждать, Сема... Я буду ждать тебя.

Она не замечала, что говорит словами звучавшей в ушах песни.

Подошел отец, остановился в двух шагах, опустив тяжелые руки. Семен чуть отстранил мать и жену, повернулся к нему.

— Не думал, что ты придешь,— сказал он.

— Я знаю,— ответил тот. Сросшиеся брови его изломались и застыли.— Потому и не хотел.

— Зачем же пришел? Я бы не обиделся.

— Не знаю. Может, зависть пригнала.

— Что?!

Все стояли и слушали этот разговор, непонятный для посторонних да и для Наташи. Иван тихонько отстранил прильнувшую к нему Агату, подошел поближе.

— Погоди, погоди,— сказал он, смотря в изломанные брови брата.— Какая зависть? Что на войну не берут?

— Нет,— усмехнулся Федор, будто проглотил тяжелый камень.— Это бы и я мог, коли захотел. В крайнем случае — как Инютин Кирьян... Вообще... Но вам этого не понять...

— Действительно! — с изумлением промолвил Иван.

Жена потянула его в сторону, он отошел оглядываясь.

— И не к чему,— уронил Федор.— А ты, Семен, прощай...

И повернулся, пошел сгорбившись.

Все глядели ему вслед как-то растерянно, будто он взял и унес что-то, а что — никто сообразить не мог.

— По вагона-ам! — где-то далеко раздался в душном и пыльном воздухе протяжный крик. Резко и требовательно завыла медноголосая труба, люди зашевелились, но в вагоны никто лезть не торопился. Семена окружили мать, ребятишки, Марья Фирсовна, все с плачем обнимали его и что-то говорили. А Наташа оказалась в стороне, про нее будто забыли. «И не успею... ничего не успею ему сказать»,— металось у нее в голове, как пламя.

— А ты гляди, Андрейка, чтоб без баловства теперь,— быстро говорил Семен младшему братишке, держа его за голову.— Мать-то берегите... Понял?

— Понял,— кося глазами в сторону, ответил Андрейка.— Только ты напиши мне, братка, с войны сразу.

— Прощай, Анна,— услышала Наташа и увидела, что Иван обнимает мать Семена. А сам Семен оказался наконец возле нее, дернул за руку, потащил в сторону.

— Ну вот, Наташа, ну вот...— говорил он.— Прощай.

— Сема, Сема... Я буду ждать...

После этих слов она хотела сказать все другие, которые собиралась, но эти слова вдруг улетучились, она не могла их найти и повторяла бесконечно:

— Буду ждать, буду ждать...

Высказать все ей мешали визг и плач женщин, вой беспрерывно трубившей трубы, крики бегавших вдоль эшелона военных. И появившаяся откуда-то Вера Инютина.

— Счастливо, Семен! Все же я люблю тебя! — крикнула она, с ходу обняла его и поцеловала.

— Хоть сейчас не притворяйся,— сказал Семен, отстраняя ее.

— Правда... Как хочешь думай...— И на глазах ее сверкнули слезы.

— А Алейников? А Юрий теперь?

— Какой там Юрий...

И она исчезла стремительно, как и появилась. Наташе показалось —исчезла потому, что сквозь толпу протиснулся Юрий.

— Фу! Чуть не опоздал! Едва с работы отпросился,— говорил он, запыхавшись.— Значит, фашиста бить? Завидую...

— Тут завидовал уже один.

— Что? Кто? — не понял Юрий.— Ну, как в песне поется: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой». А лучше — ни того, ни другого. Мама тебе счастливого возвращения желает.

— Я попрощался с ней вчера. А с Веркой у тебя что?

— Ничего... Любопытная девица, но железная. Отшила.

— Давно?

— Да зимой еще. После... пожара на заводе.

— Правильно. Теперь ты не директорский сынок.

— Что ж с того?.. Погоди, о чем ты?

— Потом, потом, после войны объясню. Дай с женой попрощаться.

Семен опять взял Наташу за руки. Но едва взял, заревел паровоз, вагоны загромыхали, дергаясь один за другим.

— Савельев, в вагон! — крикнул военный в смятой гимнастерке, пробегая мимо.

Опять Семена окружили мать, Марья Фирсовна, Андрейка, Димка, Ганка. Но он на них уже не обращал внимания, он пятился, прижимая к себе Наташу, почти оторвав ее от земли, нес куда-то, точно хотел закинуть в вагон, увезти с собой.

— Прощай, прощай, родная... Жди...— Он дрожащей рукой гладил ее теплые растрепанные волосы.— Мне все кажется, что я тебя обидел чем-то недавно, когда мы лежали на песке, на острове. Ты извини меня... Прощай.

— Сема, Сема! Не хочу, не могу... Не надо! — закричала она, как и там, на острове, и вдруг вспомнила то главное, что хотела сказать ему.— Я ведь хотела на фронт с тобой... Но я не могу теперь, ведь у меня... у нас... ребенок!

Семен в это время, оттолкнув, оторвав от себя жену, прыгал в плывущий мимо вагон, хватаясь за протянутые из дверей руки. Услышав ее слова, он мгновенно метнулся назад, подбежал к ней, больно вцепился в плечо, затряс.

— Наташка-а! — Глаза его сверкали гневно и радостно.— Ты что сказала? Что сказала?!

— У нас будет... У нас будет...

Поезд шел медленно, держась за вагоны, бежали вдоль невысокой насыпи воющие женщины, толкали Семена с Наташей.

— Что ж ты молчала? Почему? Почему?! — Он, обхватив одной рукой ее за спину, ладонью другой гладил по ее щекам, будто на ощупь хотел запомнить ее лицо, и все так же изумленно глядел в ее совсем почерневшие от тоски глаза.

— Я не знаю... Я глупая. Я хотела сказать в последнюю минуту. Чтоб ты с этим уехал... и берег себя.

Она говорила, голос ее был слабый и счастливый, растрескавшиеся губы почти не шевелились. Он поцеловал ее в эти сухие, соленые от слез губы. Она закрыла глаза...

Потом она почувствовала, что Семена рядом уже нет...

Поезд, обвешанный гроздьями людей, медленно уползал, изгибаясь, будто с трудом продирался сквозь тугую завесу из воющих, стонущих человеческих голосов. За поездом, догоняя последний вагон, бежал Семен.

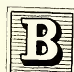
«Не догонит, не догонит...— радостно подумала Наташа, увидев это.— Не догонит — и останется... Как это все легко и просто. И мы пойдем домой, и все будет как прежде...»

Семен все-таки догнал вагон, к нему протянулись руки, схватили его, подняли, утащили в черную, бездонную дыру...

Наташа качнулась и рухнула на горячую, размешанную сотнями ног в пыль землю.

Часть четвертая

ОГОНЬ И ПЕПЕЛ



ойна шла уже почти два полных года...

Четырнадцатого апреля был ледолом на Громотухе, на реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз.

Весь день светило по-весеннему горячее солнце, в синем, уже очень глубоком небе весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменная громада нестерпимо вспыхивала бело-голубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен.

Поглядывая на сверкающие вершины, на залитые солнцем, мокрые еще, пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку ехал председатель райисполкома Иван Иванович Хохлов.

За год с небольшим работы в исполкоме Иван Иванович сильно похудел, всякая одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Круглые щеки опали, даже когда-то полные и розовые, как у ребенка, губы сейчас одрябли, обесцветились. И лишь круглые глазки смотрели на мир все так же по-ребячьи весело и неунывающе.

Председатель райисполкома ехал в «Красный колос» для того, чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебосдачи на нынешний год, глубоко втайне имея мысль — нельзя ли этот план на пять-шесть сотен центнеров увеличить. Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал — никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году «Красный колос» снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на шантарский пункт «Заготзерна» все, что было выращено, до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали — не до последнего, умеет, мол, Назаров и подальше от стола сесть, и рыбку съесть,— Ивану Ивановичу было известно: на трудодень михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по двести граммов ржаных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке, а в жалкие крохи серой, как дорожная пыль, муки из отходов подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус.

Для этого окончательного уточнения плана хлебосдачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в райисполком, но делать этого не стал — Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму очень сдал, кашель душил его насмерть. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь усмехался невесело и говорил:

— Какая меня больница теперь вылечит? Вот до лета доживу — барсучье сало буду пить. Ничего, оклемаюсь.

Въехав в Михайловку, Иван Иванович поразился, как скоро обветшала без мужицкой руки деревушка, покосились, а кое-где упали плетни и заборы, прохудились соломенные повети, во многих домах покривились расшатанные ветром ставни. И как за два военных года обносились люди — все дети бегают в сплошном рванье и босиком, несмотря на то что земля очень холодная, а в затененных местах просто стылая.

Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих, хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, гревшийся на припеке у завалинки. За плетнями, на огородах, копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы, кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые женщины, когда Хохлов проезжал мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались.

Взрослые были одеты не лучше, чем дети,— в обтрепанные, измызганные одежонки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность, почти нищета зимой не так бросалась в глаза, но стаял снег, сняли люди полушубки да фуфайки,— сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделать: за последний год для продажи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Те жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского ОРСа. Зато завод работал, выпускал снаряды и минометы...

Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь, Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат играющие на солнечной полянке ребятишки. Он вспомнил, как приветливо поздоровались с ним сидящий у завалинки старик и женщины из-за плетней. Да, одеты все были плохо, но человеческого уныния не чувствовалось, голодных глаз, изможденных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно радовало и порождало неприятную тревогу: а вдруг да в разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства? В такое-то время!

— Здрасте! Распрягать, что ли? — услышал Хохлов ломающийся мальчишеский басок и очнулся от задумчивости. Коробок его стоял возле конюшни; невысокий, начинающий раздаваться в плечах подросток с уже по-мужицки широкими, крепкими ладонями держал лошадь под уздцы.

— А-а, Володя Савельев! — узнал его сразу по серым глазам, по белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович.— Распрягай и покорми жеребчика... Ну, как живете, Володя? Мать как?

— Ничего живем...— Володька отпустил чересседельник, развязал супонь, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю, другую. — Мать в амбарах с семенами возится. Ничего, все здоровы.

— Отец-то пишет?

— Было письмо на благовещенье.

— Когда-когда?

— Да в конце марта, говорю.

— Ты уже и религиозные праздники знаешь?

— А кто их в деревне не знает,— проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках.— Здоров живешь, Иваныч!

— Здравствуй, Петрован Никифорыч.

— Письмо на благовещенье по женским приметам — благая весть, значит,— продолжал старик.— И-их, что тут было после этого письма, сколь разговоров! Худо-бедно, мол, а цельный год, до другого благовещенья, ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет...

Он прислонил вилы к стенке конюшни, вздохнул.

— Бабьё — глупьё, а легше им с ихними приметами.

— Здоровье-то как, Петрован Никифорыч?

— А чего нам, бывшим петухам? Курочек теперя не топчем, здоровье и сберегается.

Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покрикивал на нее, водворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце, Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу.

— Да я вот вижу — у вас все здоровы и сыты,— промолвил Хохлов.— В других колхозах мало сказать — хуже. Голодают люди.

— В других,— усмехнулся Головлев, слюнявя папиросу.— В других и председатели другие. А наш-то Панкрат Григорьич...

Что-то прокололо будто сердце Хохлова, оттуда заструилось кислое, холодное, во всей груди стало пощипывать.

— А что он... ваш? Чем же от других отличается?

— Ну, он что... Сам подыхает, а людям не дает. Бабенки наши говорят: скончается — памятник ему поставить надо...

— За что?

— Дык за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую.

Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно, на все пуговицы, застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно.

— Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорыч,— промолвил он с горьковатой усмешкой.— То есть человечность эта разное содержание имеет...

Старик поднял голову, поглядел на председателя райисполкома пристально, долгим, пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами.

Потом Головлев некоторое время молчал. Он все сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую, вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев не так прост, как кажется с первого взгляда, что проницательности ему не занимать, он догадался о его подозрении относительно Назарова — и вот обиделся за своего председателя. Но ведь такая обида тоже несправедлива! И Головлев, и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов, именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делить его потом меж колхозниками.

— И за что ему судьбина такая? — качнул головой старик.— Полипов, прежний председатель райисполкома, этак же напраслины всякие возводил на Панкрата. Ты вот новый начальник — и тоже... Всяким злобным разговорам про Назарова, выходит, веришь?

— Я, Петрован Никифорыч, не то чтобы верю...

— А вот коли дуролом какой над народом стоит, так на него у тебя подозрениев нету?

Головлев сердито плюнул на недокуренную самокрутку, сунул ее за козырек шапки и поднялся.

— Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе? Так это что, в злость тебя кидает? Ты песенки бы, что ли, веселые пел, если бы народ и у нас с голодухи занух? А хлеб для фронту кто сеять бы стал?

— Да ведь сытость сытости рознь! — прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко, виновато: — Сытость-то, Никифорыч, по-разному ведь можно, как бы это выразить... обеспечить.

— Вот-вот! — встрепенулся старик.— Именно...

Головлев шагнул к стенке, взял свои вилы и проворно обернулся, будто хотел с этими вилами броситься на председателя райисполкома. Но воткнул их рожками в землю, обе заскорузлые ладони положил на конец черенка, уперся в руки подбородком, заросшим сивыми волосенками.

— Вот что обрисую я те, мил человек...— Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшиеся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым желтым солнцем.— Обрисую, значит, а ты начальственной своей мозгой уж пошурупай...

Последние слова неприятно резанули Хохлова, даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал.

— Прошлогод Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопала, сколь тыквов с огороду сняла, морковки там, сколь кадушек огурцов да капусты насолила... Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, непогодь много стояла. Огородишки-то Панкрат дал людям все ж таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сена каждому дал накосить для скотины. И опять в свою тетрадку занес, кто сколь копешек поставил али стожков. А для чего?

— Интересная бухгалтерия,— вместо ответа неопределенно сказал Хохлов.— Ну и что же?

— Оно кому интерес, а для него забота... Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколько курей, утей, Панкрат и без за-

писи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает...

— Вот как?

— Этак! — согласно кивнул Головлев.— А имея, значит, в сознании полную картину, и распоряжается. Кого лишний раз не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжко ни было. Кому подводу выделит, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе, на ручной тележке, привезти может.

— Да... Да, да,— размышляя о чем-то, уронил Хохлов.

— Что «да»? Одобряешь, что ли? — напрямик спросил Головлев.

Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся.

— Не знаю, не знаю, Никифорыч... Шурупаю вот... Ну, и как люди к такой бухгалтерии относятся?

— Подчиняются люди без прекослова ему. Потому что знают — Панкрат ничего такого зря не скажет, напрасный поступок не произведет. Кто, может, и поворчит, не без того, а в душе-то согласный с председателевым указом... Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть. Ведь все, все до зернышка мы сдали прошлогод в фонд обороны. Потому что тоже понятие имеем...

Старик умолк. Молчал и Хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то на вес.

— А ты с подозрением... От стыда-то куда деться, прости ты, господи...

И ушел куда-то за конюшню.

* * *

Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. Он в грязном дождевике, с непокрытой головой (фуражку держал в руке) стоял у брички, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Они вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали на повозку.

Обернувшись на хруст шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными, жесткими, как прошлогодняя стерня, бровями, прежде чем поздороваться, прошелся взглядом по Хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд. И опять стал глядеть, как грузят мешки.

Женщины, обе чернявые, стройные и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, были не местные, из эвакуированных. Одна была с косой, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись.

— Спать там разлеглись? — прикрикнул Назаров.

Женщины тотчас появились, неся очередной мешок. Обе виновато глядели вниз, под ноги, губы их были крепко поджаты. Чувствовалось, обеим опять хочется рассмеяться.

— Кобылы, язви их... Все ржут и ржут, спасу нет,— проговорил Назаров, когда женщины опять скрылись в амбаре.— Кровь у них колобродит, ты не обижайся.

— Ничего, ничего,— промолвил Хохлов.

— Начнем сев — кровь-то утихомирится, поостынет.

Панкрат Назаров был так худ, что дальше, казалось, худеть и некуда. Некуда дальше было ему и чернеть — кожа на шее, на лице и даже на руках давно сделалась землистого цвета. Только когда его душил тяжкий кашель, лицо наливалось сукровицей, неприятно багровело.

Припомнив, как багровеет при кашле лицо Назарова, Хохлов почувствовал раздражение на самого себя и вину перед этим человеком. «От стыда-то куда деться, прости ты, господи»,— сами собой зазвенели в голове слова Головлева. «Это действительно, действительно...— подумал Хохлов.— Ударит же в голову...»

Опять женщины вынесли из амбара и забросили на бричку очередной мешок. Они были молоды, каждая была переполнена нерастраченной женской силой. А Панкрат Назаров стар, болен, жизненные соки из него уходили. Присутствие двух молодых женщин только подчеркивало страшный контраст между молодостью

и старостью, бытием и смертью. И Иван Иванович Хохлов вдруг остро, до щемящей боли, почувствовал ужасную и неумолимую жестокость жизни.

Голосом хрипловатым, надорванным кашлем, Назаров промолвил:

— Последние отходы замели. На мельницу отправляем.

— Покажите,— тоже хрипло сказал Хохлов.

Он потребовал это не потому, что в чем-то еще сомневался. Нет, Иван Иванович просто хотел посмотреть на эти зерновые отходы.

— Софья, Татьяна, развяжите.

Когда женщины развязали мешок, Иван Иванович сунул туда руку, взял горсть отходов. То была смесь семян разнообразных сорняков — овсюга, сурепки, мышиного горошка — и щуплых ржаных зерен... Из этой-то смеси и получилась та серая, как дорожная пыль, мука, из которой пекли прогорклый хлеб.

— Для посевной берег,— кивнул председатель колхоза на груженую бричку.— Мельница, слава богу, своя. Перед войной еще зачали строить на таежной речке. Не был у нас на мельнице-то?

— Нет.

— Загляни как-нибудь. Пруд там богатый получился, красивый. Покуда комарья нет, просто санаторий... Ну все, что ли, сгрузили?

— Все,— сказала женщина с косами.

— Тогда с богом. Да глядите, там мосток в распадке расшатало нынче...

Женщины взобрались на бричку, поехали. Они сидели рядышком, подставляя солнцу спины и плечи, и было теперь в их фигурах что-то жалкое, сиротливое. Председатель колхоза и Хохлов провожали их взглядами, пока бричка не скрылась. А когда скрылась, Назаров проговорил:

— В колхозе есть еще четыре мешка гороховой муки. Тоже сберег на посевную. Смешаем с этим,— Назаров кивнул в сторону, где скрылась бричка,— и лепешки печь будем. Ничего. Айда к семенному амбару, глянем, что там...

Семенной амбар стоял прямо на току. Под навесом стучала веялка, две женщины крутили ее, а третья большой железной плицей засыпала пшеницу. В одной из крутильщиц Иван Иванович узнал Агату Савельеву, а зерно насыпала, легко сгибаясь и разгибаясь, жена Назарова, Екатерина Ефимовна. Лет ей было разве чуть поменьше, чем Панкрату, время так же избороздило ее шею, щеки, все лицо и не тронуло почему-то лишь глаза — удивительно ясные, свежие, как обмытые речной волной коричневые камешки. Среднего роста, худенькая, с покатыми плечами и все еще не опавшей грудью, она со стороны всегда сходила за молоденькую девушку, и лишь вблизи каждый убеждался, что это старуха.

Когда подошли Хохлов с Назаровым, Екатерина Ефимовна беспокойным взглядом скользнула по мужу, но сказать ничего не сказала, только кивнула на приветствие Ивана Ивановича и отвернулась. Назаров же будто не заметил ни жены, ни Агаты — никого, присел перед горкой пшеницы, взял горсть зерна, долго пересыпал из ладони в ладонь, будто играл. Наконец тяжко разогнулся.

— Решили вот еще раз перевеять, отбить какие похудевшие за зиму зернышки. И сеять-то ее, пшеницу, в наших местах не надо бы. Да вот... Ладно, сотню-другую гектаров посеем... Айда в контору, что ль, для разговора.

Поднялся и пошел, насупившийся, сердитый, не обращая больше ни на кого внимания — ни на встречавшихся колхозников, ни на Ивана Ивановича.

* * *

В конторе Назаров сел за свой скрипучий стол, пригладил обеими ладонями торчавшие по вискам волосы, спросил:

— Громотуха, говорят, нынче пошла?

— Вскрылась под утро.

— Слава те, господи. Полая вода и память о зиме уносит. Как на фронте-то?

— Да что на фронте...— Хохлов присел на деревянный диванчик у окошка.— Идут бои под Новороссийском, было сегодня утром сообщение. Подвигаются наши к Крыму. А так в общем тихо. Не читаете разве газет, не слушаете радио?

— Читаем, как же... когда время есть,— усмехнулся Назаров.— Да только что сейчас грому ожидать? Это попозже начнется, в июне, может. Да и то к концу.

— Да? — с любопытством спросил Хохлов.— Именно в июне? Откуда ж вы знаете?

— А чего знать? Война — это навроде нашей крестьянской страды, без поры да без подготовки не начнешь. Мы вон и то... Сам ты видел — последние отходы сегодня заскребли, чтоб какой ни на есть хлеб иметь для посевщиков. Все ресурсы свои, словом, кинули. А страна-то поболе, чем колхоз. Да после Сталинграда сообразоваться надо. Легко, что ли, он дался... Этот, Семка Савельев, сын Федора, там, говорят, воевал? — неожиданно спросил Назаров.— Анна хвасталась — орден какой-то ему дали.

— Медаль «За отвагу».

— Ишь ты тихоня...— Назаров проговорил это еле слышно, спрятав под густыми бровями глаза.— Танком командует вроде бы?

— Механик-водитель он. Жена мне его говорила. Позавчера письмо от него получила.

— Энта... Наташка-то? Так ее, кажись, зовут? Что эвакуирована была?

— Да, да...

— Ага... Главное — что живой.

Голос старого председателя дрогнул, губы затряслись, и Назаров прикрыл их, прижал ладонью. «Сына вспомнил»,— подумал Иван Иванович и, подавив в себе вздох, опустил глаза.

О сыне Назарова Максиме до сих пор не было ни слуху ни духу.

Поднял голову Иван Иванович, когда председатель глуховато заговорил:

— Мы вот страду заканчиваем всегда на полном издыхе. Оглядишься кругом — боже ты мой, ить и люди, и скотина, и машины железные изнемогли. Зато последний гектар убрали, последнюю лунку картошки выкопали. И тут только страх приходит: да как это сил еще хватило? А?

— Да, да,— встрепенулся Хохлов,— я, собственно, очень хорошо это знаю...

— Нет, ты покуда не знаешь,— нахмурился Назаров.— Ты пока умом только можешь понять. А своей шкурой все это почувствуешь, когда страды три-четыре вот проведешь сам. Не обижайся уж...

— Что вы, что вы! Это вы правильно,— согласился Хохлов, действительно нисколько не чувствуя себя обиженным.

— Да как еще сил хватило! — повторил Назаров.— Оглядишься — и тут же сразу видишь: там прореха, там вовсе дыра. Начинаешь латать... Так оно и в государстве. Не-ет, никак, я думаю, ранее, чем к середке лета, не собраться нам для такого же удара, как в Сталинграде. Надо и новые полки собрать, обучить, и всякого вооружения накопить — и пушек, и самолетов, и танков этих, на которых Семка воюет. Подвезти все это к фронту — и то время надо. А ведь их надо еще и сделать... Значит, ты насчет прибавки нам плана хлебосдачи приехал?

Переход Назаров сделал такой неожиданный, что Иван Иванович вздрогнул.

— Да, собственно...— Он секунду, другую и третью глядел прямо в глаза председателю. И тот не отводил взгляда, лишь зеленоватые глаза его светились сухо, невесело, в них стояла какая-то боль.— Район никак, никак не выходит с планом, если вам... вашему колхозу не прибавить.

— Сколько прикинул на прибавку?

— Многовато. Я понимаю, что многовато. Но что же делать? Шестьсот центнеров.

Ни на лице, ни в глазах Назарова не отразилось ничего, они поблескивали все так же холодно, как блестят омытые утренней росой зеленые листья.

— Всем прибавляем,— вымолвил Хохлов, чувствуя, что этот аргумент звучит неубедительно.

— Я знаю,— спокойно произнес Назаров.— Мы сдадим эти добавочные шестьсот центнеров.

Иван Иванович ждал чего угодно, даже согласия на добавочный план. Не ожидал он лишь, что Назаров произнесет эти слова так буднично, просто и спокойно.

— Панкрат Григорьевич! — Хохлов невольно встал, шагнул к столу.— Да если ты это сделаешь... Эти добавочные шестьсот центнеров... Мы ведь понимаем в районе, какой у вас план! Если сделаешь, мы тебя... Я буду первый ставить вопрос о награждении тебя орденом!

Назаров слушал теперь угрюмо, будто теперь-то только и зашла речь об этих дополнительных сотнях центнеров хлеба, но не перебивал. Однако Хохлов, заметив эту угрюмость, и сам смолк.

— Это, Иван Иванович, не я сделаю,— проговорил Назаров.— Это люди сделают... Вон те бабенки Татьяна с Софьей, которых ты видел. Те, что семена провеивают... которые сейчас на своих огородах копошатся. Они будут хлестаться сутками на посеве, на прополке, на жатве, питаясь лепешками из отходов да картошкой... Это им все ордена положены.

Иван Иванович Хохлов всегда чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты», и Иван Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя перед этим старым, больным человеком особенно маленьким и беспомощным.

— Да, да, конечно! — воскликнул он, краснея от охватившего его смущения.— И их тоже представим! Будем требовать, чтобы колхоз целиком наградили!

— Ну, попробуйте,— усмехнулся Назаров, качнул головой.— А так-то ты человек, Иван Иванович, душевный.

* * *

Светлый апрельский день еще не кончился, но клонился уже к вечеру, когда Хохлов и Назаров вместе подошли к конюшне. Тот же Володька Савельев обоим запряг лошадей и, сделав свое дело, молча пошел прочь.

— Погоди-ка,— остановил его Иван Иванович.— А ты почему все еще здесь? Уроки у тебя есть на завтра? Или уже приготовил?

Парнишка опустил лохматую голову, стал глядеть на свои растоптанные, разбитые в прах сапоги.

— А я не учусь больше.

— Как же?

— Так...— пожал плечами Володька и ушел, по-прежнему глядя куда-то вниз.

Хохлов взглянул на председателя колхоза — тот, подбирая вожжи, скривил в угрюмой усмешке губы.

— До семилетки мать его дотянула... Я все удивлялся: двужильная, что ли, она? Прошлогод надо было в Шантару его отправлять — у нас тут семилетка всего. Да на какие шиши?

Назаров тяжело постриг бровями и умолк.

— Я понимаю, понимаю,— вздохнул Хохлов.

— Оно все мы понимаем. Да в шкуре ее материнской никто не был...— Председатель сел на дрожки, тронул вожжи.

Хохлов забрался в свой плетеный коробок и поехал следом.

На выезде из деревни, возле жердяной изгороди, за которой уныло торчала хилая избенка с прогнившей крышей, председатель натянул вожжи, прокричал:

— Эй! Антонина! Будет прохлаждаться! Живо грузи свои шмутки, и чтоб через час в бригаде. По дороге к речке подверни.

— Поняла,— ответил Назарову откуда-то женский голос.— Счас я, мигом.

Оставив у плетня свои дрожки, Панкрат догнал коробок Хохлова. С легкостью, которой Иван Иванович не ожидал от него, на ходу вскочил в коробок, пояснил:

— Повариха тут живет, Тонька. Сиротой с пяти лет, так и взросла, горемыка. Я до свертка во вторую бригаду доеду с тобой...

Жидкий еще, не набравший пока запаха оттаявшей земли воздух заметно похолодал и стал, кажется, еще жиже. По высокому пустынному небу плыл огромный журавлиный клин, оглашая тихие, не проснувшиеся еще поля тоскливым стоном. Другая журавлиная стая летела метрах в двухстах от дороги, по которой ехали молчком Хохлов и Назаров. Она спускалась все ниже, тяжелые птицы медленно и устало махали крыльями, заходящее солнце отсвечивало на их длинных, вытянутых назад ногах.

— Голод не тетка,— проговорил Назаров, наблюдая из-под насупленных бровей за спускающимися птицами.— Ишь, даже людей не боятся... Всю ночь кормиться будут.

— Чего они на этом поле найдут?

Старый председатель пожал плечами.

— Журавель — он как китаец. Где зернышко, где червячок какой — и сыт... Нынче много журавля будет. Пострелять бы можно, да жалко.

— Для чего пострелять?

— Для чего? — усмехнулся Назаров.— В старину мужики говаривали: журавель не каша, пища не наша. Раньше журавлятину цари жрали, князья да бояре всякие на своих пирах. Теперь и забыли, что птица эта съедобная. А я вот помню, да... жалко. И никому не говорю, а то найдется много стрельцов. А птица больно красивая, и землю, и небо украшает. Пущай живет.

Говоря это, Панкрат все ежился и ежился.

— Знобит? — спросил Хохлов, думая о поразивших его чем-то рассуждениях Назарова о журавлях.

— Ништо... Это для нас, чахоточников, весной обыкновенно. Токмо бы весну пересилить, а там уже, считай, до следующей землю топтать будем.

Панкрат Назаров закрыл глаза и сидел так минут пять. На рытвинах коробок подбрасывало, голова председателя в лохматой шапке из собачьей шкуры болталась на тонкой шее, как тяжелая подсолнечная шляпа на жиденьком будыле при сильном ветре. Иван Иванович отчего-то вспомнил, как безропотно согласился Панкрат на добавочные шестьсот центнеров хлеба к годовому плану, не выказав абсолютно никаких эмоций, и в груди у Хохлова что-то размягчилось, сердце тоскливо заболело. Ему захотелось вдруг сказать этому старому и больному человеку какие-то теплые и благодарные слова, но таких слов у него не было. И, кроме того, он чувствовал, что любые слова будут плоскими, неуклюжими и что они только вызовут у Назарова холодноватую усмешку. Поэтому он лишь отвернулся и кашлянул.

— Что? — сразу же открыл глаза Панкрат.— Свороток уж?

— Далеко еще.

— Что-то в дрему часто покланивать меня, замшелое бревно, стало. Ночью сон не берет, а днем...

Несколько минут еще проехали молчком.

— Каково, Иван Иванович, в районной должности-то ходить? — спросил вдруг Назаров.— Попривык?

— Нет, Панкрат Григорьевич, тяжело... и не умею,— откровенно сказал Хохлов.— Просился было я недавно у Кружилина на завод обратно...

И, умолкнув, шумно вздохнул.

— Ну?

— Никогда не видел его таким. Как на мальчишку, накричал.

— А ты его тоже пойми,— промолвил Панкрат не сразу.— Какое ярмо у него на шее. С кем-то везти надо.

— Я понимаю... пытаюсь, лучше сказать.— Хохлов вздохнул.— Я, Панкрат Григорьевич, человек не слабый, не пессимист, знаю, чем солнце пахнет... Но я... как бы тебе выразить? До войны, бывало, всякий цветок, мотылек, красивая бабочка там в телячий восторг меня приводили. И вот война... Такое сразу свалилось! Дочка погибла, жена до сих пор... Так ничего, здорова. А ночью иногда прислушаюсь — плачет. Да... И кругом горе людское, такие трудности! Вот завод этот... Вот люди в селе, вижу, как бьются. Ну, кажется, нет выхода, все бесполезно, ничего не сумеем мы сделать... А он, завод, встал и задымил! Чтоб он дымил, дышал — Антон Савельев на гибель, на смерть... сознательно. И ты вот — даешь ведь эти добавочные шестьсот центнеров... И я пытаюсь понять что-то, чего раньше, чувствую, не понимал. Отчего оно все это? Чем объясняется?

В синем апрельском небе не было больше журавлей. Куда ни погляди, ничего в нем не было, кроме угрюмых и темных сейчас утесов Звенигоры, которые с одного края подпирали это бескрайнее небо, врезаясь в него глубоко, в самую синь, да плавающих выше каменных громад редких облаков.

Председатель поглядел из-под насупленных проволочных бровей на темные утесы, на светлые облака над ними. И на длинную речь Хохлова ничего не ответил. Лишь минут через десять проговорил, мотнув головой в сторону:

— Там вон рыба́чки мои должны быть. Я наказывал, чтоб не прозевали, как Громотуха вскроется. Может, глянем подъедем? Ежели тебе не к спеху в Шантару-то...

— Какие рыба́чки? — спросил Хохлов, немного удивленный.

— Анна Савельева с бабенками.

— М-м... Любопытно...

Назаров взял у Хохлова вожжи, и коробок покатил к реке по каменистому некрутому косогорчику, с хрустом подминая и разрывая колесами прошлогодние, черные и крепкие, как проволока, пучки ковыльных струн. Высохшие стебли еще упрямо торчали, не сломленные осенними ветрами, не примятые к земле снегом, а ковыльные гнезда уже вновь приметно зеленели, из-под старых, грязных и седых стеблей выметывались тоненькие, бледно-зеленые ниточки, тянулись вверх, к свету, к солнцу. Удивительная она, эта степная трава ковыль, думал Иван Иванович Хохлов. Зачем она на земле? Не ест ее скот, не клюют ее семян птицы, не использует для своих нужд человек. Лишь поется о ней в грустных песнях о расставаниях и невозвратных утратах. Растет она обычно на бросовых, сухих и каменистых, как этот косогорчик, землях, и грустно бывает смотреть на созревшее ковыльное поле: пустынное оно и унылое, не звенят над ним человеческие голоса, не поют птицы, тоскливо мотаются под ветром седые метелки, из конца в конец катятся бесшумные белесые и безжизненные какие-то волны. Ковыльное поле всегда рождало у Ивана Ивановича невеселые мысли о бренности и ограниченности человеческого существования, и он, хотя и понимал, как всякий, что силы и время человека на земле не беспредельны, примириться с этим не хотел и думать об этом не желал. Ковыльное же поле заставляло думать о таких вещах, и за это он не любил древнюю траву.

— Анна Савельева... в колхоз, значит, вступила? — спросил он председателя, отвлекаясь от своих дум.

— Получилось так,— кивнул Назаров.— И хорошо.

Хохлов припомнил, что муж Анны, Федор Савельев, ушел на фронт еще в прошлом году. А нынешней зимой, кажется — в феврале, она пришла в райком и попросила Кружилина посодействовать, чтобы ее отпустили с завода, поскольку отдел кадров, директор завода Нечаев, куда она обращалась, в этом ей отказали. Хохлов как раз находился в кабинете секретаря райкома и был свидетелем их разговора.

— Ну, отпустим...— проговорил Кружилин.— А как жить будешь? На что?

— В Михайловку свою поеду. В колхоз.

— А дети? Им учиться надо.

— Там есть семилетка. Андрейку с собой возьму. А Димка уже большой, он в Шантаре, когда учеба, жить будет. Дом свой, что ему?

— Он в восьмой, кажется, ходит? — спросил Кружилин.

— Ага...

Анна стояла тогда у стола в его кабинете, сдвинув длинные свои брови и глядя куда-то вниз, в угол. На ней были рабочая мужская тужурка, разбитые валенки, старая суконная юбка, в руках она держала большие бараньи рукавицы. Но все эти грубые вещи странным образом подчеркивали ее женственность и свежесть. Сколько ей лет, Хохлов не знал, по виду дал бы тридцать два — тридцать пять, но морщины вокруг глаз и щедрая проседь в выбившейся из-под платка пряди волос говорили, что ей намного больше.

— В восьмом Димка,— повторила Анна с каким-то облегченным вздохом.

— А Федор так и не пишет? — опять спросил Кружилин.

— Нет,— ответила Анна, почему-то подняла большие серые глаза на Хохлова и будто ему одному пояснила: — Как уехал на фронт, ни одного письма не написал.

В глазах ее не было той застывшей безнадежности и тупого страха, какой стоит у жен, чьи мужья долго не подают о себе вестей с войны. В глазах этих была просто задумчивая грусть. И еще Иван Иванович уловил в ее взгляде любопытство, она смотрела на него так, будто видела если не впервые, то после долгого перерыва.

— Ну, а Наташа, невестка твоя? — проговорил Кружилин.— У нее грудной ребенок.

— Она у бабки Акулины живет. Я звала Наталью со мной жить, она отказалась. У Акулины, говорит, ребенку лучше. Да и правда, я ж все на работе...

Анна опять опустила глаза, стала смотреть в угол.

— А за Димкой Марья Фирсовна приглядывать будет. Эвакуированная, что у нас живет. Она славная... Вы позвоните Нечаеву на завод. Ну... надо мне, не могу я больше тут.

— Хорошо, иди, Анна, я позвоню,— сказал тогда Кружилин.

...Река открылась неожиданно — огромная, бесконечная, черная, в белом ледяном крошеве по бокам. Ледяные глыбы в беспорядке громоздились на берегу, некоторые стояли торчком, иные, пробороздив глубоко гальку и мерзлую землю, истаивали сейчас далеко на берегу, стекали светлыми ручейками обратно в реку. Глядя на огромные ледяные обломки, Хохлов попытался представить себе ту чудовищную силу, которая взломала вдруг метровой толщины ледяной панцирь, раскрошила его на тысячи и тысячи кусков, отчего на реке стало сразу тесно, поволокла обломки эти вниз, начала выталкивать на берег...

— Удивительно... Какая силища! Невообразимо! А вы знаете, Панкрат Григорьевич, я никогда до этого не видел ледохода...

— Напрасно,— осуждающе почему-то сказал Назаров.

— Там, где я жил, большой реки не было... Где ж ваши рыбаки?

— Вот они.

Метрах в ста от того места, куда подъехали Хохлов с Назаровым, чернело среди ледяных глыб несколько фигур. И хотя они все были в брюках, а некоторые в шапках, в них без труда различались женщины. Две из них взмахивали длинными шестами, на конце которых были укреплены треугольные сетчатые черпаки, погружали эти черпаки в воду, шарили ими где-то под льдинами, вытаскивали и высыпали из черпаков в ведро мелкую рыбешку. Когда высыпали, рыбья мелочь ослепительно серебрилась под вечерними лучами солнца.

— Поразительно! — пробормотал Хохлов.— Так просто?

— А что хитрого? Испокон веков у нас тут рыбу саком черпают. Почистим вот, засолим... Из соленой рыбы суп посевщикам варить будем. Здравствуйте, бабы!

— Здравствуйте,— сказала Анна Савельева за всех, дуя на красные от ледяной воды руки, поправила сбившийся на затылок платок и снова закинула сак между льдин.

На берегу плоскими мокрыми лепешками валялось несколько мешков, наполненных рыбой.

Анна, тяжело перегнувшись, выволокла сак из-подо льдины, подержала на весу, пока стечет вода, и высыпала в широкое ведро несколько десятков чебаков и окунишек.

— Поразительно,— опять произнес Хохлов.— Будто из полного корыта...

— Вся рыбешка сейчас у берегов. Надохлась за зиму без воздуха. А вот счас вместе с водой, которая с тающих льдин льется, голимый кислород в речку течет. Рыбешка его и ловит. Тоже живая тварь, дыхать хочет. Тут-то ее — только черпай. Растают льдины, и рыбалка такая кончится. Вглубь рыба уйдет.

— Ну да, ну да...— промолвил Хохлов.

Сбоку застучали колеса, к берегу подъехали председательские дрожки. На них среди всяких узлов и мешков сидела та самая повариха Тоня, о которой недавно говорил Назаров. Выбрав наиболее пологий спуск, она съехала прямо на прибрежную гальку, натянула вожжи и крикнула:

— Грузите, что ли, улов ваш!

— Давайте, бабы,— сказал Назаров.— И кончайте, хватит. Промокли все.

Женщины беспрекословно и молча принялись складывать на дрожки мокрые, тяжелые мешки, потом повариха тронула подводу, широко, по-мужски, шагая сбоку. Рыба́чки двинулись следом.

Назаров и Хохлов остались на берегу одни. Председатель колхоза долго стоял спиной к берегу, смотрел на черный неподвижный лоскут воды между двух огромных зеленоватых льдин, торчащих из реки. Бока льдин отражались в воде. Еще отражались там, плавая далеко внизу, на невообразимой глубине, два маленьких облачка и кусочек светло-синего, совсем уж бездонного неба.

Где-то звенела тоненько и тоскливо водяная струйка, стекая в реку.

— А ночью, когда там звезды, аж мороз по коже...— проговорил вдруг тихо Назаров.— Умом-то знаешь, что по колено тут, а кажется... Жутко, а глядеть хочется. Думаешь: батюшки, сколько у бога великого да вечного! И мы вот, людишки маленькие, на земле зачем-то?.. Зачем? А?

Назаров повернулся к Ивану Ивановичу Хохлову. Взгляд старого председателя был до того суров и холоден, что Хохлов растерялся.

— Вопрос...— промолвил он с невеселой усмешкой.

— Да, вопрос. Вот и еще у меня один есть...— И вдруг Назаров усмехнулся.— Ладно, после я задам его тебе. А счас поедем.

Он повернулся и пошел к подводе, хрустя галькой. Шел он, сильно ссутулившись, горбом выгнув спину, обтянутую брезентовым дождевиком, медленно и широко махая длинными и тяжелыми, полусогнутыми в локтях руками.

Когда сели в коробок, Назаров молча взял вожжи, тронул лошадь. Проехали тем же косогорчиком с торчащими пучками прошлогоднего ковыля, выбрались на Шантарский тракт. Вскоре так же молча, ничего не объясняя, Назаров повернул с тракта на проселок, ведущий во вторую бригаду. Лишь когда подъезжали к бригаде, сказал:

— С обеда не евши ты... Накормим ухой из свежей рыбки и отправим восвояси.

* * *

Вторая бригада колхоза «Красный колос» была Хохлову знакома, прошлой осенью он был здесь несколько раз. За зиму ничего тут не изменилось — те же два жилых дома, один для полеводов, другой для животноводов, тот же почерневший от времени амбар, хозяйственный сарай, стряпка, худенький коровник, наскоро построенный осенью из жердей и обмазанный глиной, пригон для скота и большая бревенчатая рига. Только рига осенью была под толстой соломенной крышей, а сейчас сверкала под заходящим солнцем голыми ребрами стропил.

— Зимой крышу-то скоту скормили,— сказал председатель колхоза, хотя Иван Иванович и сам об этом знал.— Осенью заново покроем. Ну, счас я насчет ужина... А ты покуль в дом ступай, отдохни. Али с народом побеседуй.

В бригаде было не очень многолюдно. Возле раскрытых дверей амбара стояла бричка, груженная туго набитыми мешками. Две женщины снимали мешки с брички и ставили на весы. Совсем молоденькая девушка, сильно конопатая, в пестром, сбившемся на затылок легком платочке, в мужском пиджаке, старательно взвешивала мешки, слюнявила огрызок химического карандаша и большими цифрами помечала вес в растрепанной тетрадке.

— Семена? — спросил Хохлов, подойдя к амбару и поздоровавшись.

— Ну,— утвердительно кивнула одна из женщин, вытирая ладонью пот с лица.— Яровые.— И поволокла мешок в амбар.

— С центральной усадьбы возим,— пояснила конопатая девушка.

— Простудитесь. Что ж вы так легко одеты?— задал Хохлов ненужный вопрос.

— А баба весной всю одежку долой,— немедленно донеслось с брички.— Чтоб всякий мужик сразу глаз положил.

Хохлов, как всегда в таких случаях, смутился. Вышедшая из амбара женщина, помоложе и постройней той, что стояла у брички, оглядела Ивана Ивановича с ног до головы и безжалостно пояснила: — Да мы это не про тебя. Какой ты мужик? Ты — начальник, тебе нельзя. Мы вон про деда.

Женщина кивнула в сторону хозяйственного сарая, где щупленький старичок починял тележное колесо. Хохлов оглянулся и сразу же узнал в нем бывшего райкомовского конюха Евсея Галаншина.

— И как он, дед... кладет?

— А как же! Он дед-то дед, а цены ему нет. Довольны мы... Жалко, что единственный он у нас мужик на всю бригаду. Был бы еще один, мы бы и вовсе горюшка не знали.

Конопатая девушка тоненько прыснула и зажала кулачком рот. Иван Иванович потоптался у весов, усмехнулся неловко и отошел к старику.

Евсей Галаншин еще прошлой осенью попросил расчет у Кружилина.

— Кости ноют, Поликарп, в землюшку родимую, кажись, запросились,— сказал он, утонув в мягком кожаном кресле перед секретарским столом почти с головой.— Поконюшил я у тебя, отпусти... Где родился, там и помереть хочу. Своим паром кости свои хочу туда донести.

— Нехорошие мысли у тебя, Евсей Фомич,— качнул совсем поседевшей головой секретарь райкома.— Зачем раньше времени? Побегаешь еще по земле.

— Походим, что ж, сколько бог даст,— сразу согласился Евсей.— Но конюшить уж тяжко. А там, у Панкрата, где посторожу, где поддержу... А ему все в помощь.

Переехав в колхоз, он поселился во второй бригаде, облюбовав себе каморку в одном из домов, сам сложил там печь с большой лежанкой, помогал животноводам — нынешней зимой держали тут около сотни коров,— следил, чтобы бабенки не оставили где по неосторожности или усталости огня.

— Ну, бабы у вас! — сказал Хохлов Галаншину, подходя.— Прямо краску теперь с лица не отмою. Здравствуйте, Евсей Фомич.

— Здорово живешь, Иван Иваныч... Бабенки что! Им хоть словами нагуляться...— Дед Евсей отложил молоток, которым натягивал железную шину на колесо.— Ну что там у вас, в райкоме-исполкоме?

— Что ж... К севу вот готовимся.

— Поликарп Матвеевич что там? Тоже, как ты, с тела сошел?

— Разве я похудел?

— Попра-авился!

— Да не знаю... Мы каждый день видимся. Оно потому и не замечаем, может.

— Да ты садись вот на чурбачок. В ногах правды нету.

Хохлов сел, окинул взглядом бригадные обветшалые строения. Женщины разгрузили бричку и теперь закрывали широкие двери амбара. Возле стряпки несколько женщин чистили и потрошили рыбу, мелькала повариха, и один раз появился сам Панкрат Назаров, что-то сказал Анне Савельевой и скрылся.

— Про сына-то Поликарпа, Василия, известно что, нет?

— Вроде ничего не известно. Погиб, наверное.

— Ну да, ну да... Может, и пророс уже где ковыльком-горюном.

Иван Иванович вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Может, говорю, где уже новая сединка по нем, по Василию, на земле пробилась,— грустно вымолвил старик.— Горе да утрата голову человеку забеливают. И на лике земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей.

— Удивительно...

— Чего?

— Да вот то, что говорите вы, Евсей Фомич.

— А-а... Это так,— кивнул старик.— Это отец мой...

Дед Евсей на полуслове умолк, стал глядеть куда-то перед собой — не на землю и не на небо, а так, в пространство, и в глазах его, старых и изношенных, была какая-то дума, грустная и вековая. Иван Иванович вдруг почувствовал, что нельзя, не надо прерывать эту его думу ни словом, ни движением, потому что будет это кощунственно. И сидел не шевелясь...

Наконец взгляд старика медленно притух, он опустил глаза на недоделанное колесо, потрогал его усохшей давно уже рукой и жиденько вздохнул.

— Да вишь какое дело... Отец мой, помню, все старинную песню певал. А сам ее от отца своего, грит, слыхивал, то есть, стало быть, от моего деда. Каков он, дед мой, был, не знаю, не видывал его. С самим генералом Суворовым, отец мой рассказывал, воевал. На турка ходил с ним, на поляка, на француза... Сто двух годов помер. Ну, да все мы долгожители. Отец тоже чуть не под сто годов скончался. И я вот... не обидел бог годками-то. Песни той я по малолетству да по дурости не запомнил. А вот как счас слышится — пелось в ней об тяжком вражеском иге на русской земле. Конями ее топтали, огнем жгли. Народ секли да резали, в слезах он захлебывался. И поднялся, значит, он, народ, на битву небывалую, да... Вышли воины на бескрайнее степное поле, все разноцветьем покрытое. И начали с басурманами биться. И полегли, почитай, все, но врагов побили, а остатних вспять повернули, да погнали, да погнали... Ну, после вернулись на потоптанное, разрытое копытами поле. Врагов мертвых пособирали, в речку покидали, что во вражий стан текла. Получайте, мол... А своих похоронили. Могильных холмиков не стали делать, разровняли все поле, чтоб, значит, опять ромашки на нем выросли, другие цветы всякие, чтоб испокон веку было оно все так же солнечным брызгом обсыпано. Но чудная трава какая-то стала прорастать на этом поле — жесткая, стеблистая.

А под осень каждая травинка выбросила белые волосы. Поседело, значит, все поле от горюшка... Вот так. И с тех пор повелось: погибнет человек за землю — в нее же и ляжет... И вырастет где-то еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром. Так в песне той поется...

Все это старик говорил негромко и ровно, а в груди Ивана Ивановича что-то возникало живое и щемящее, поднималось к горлу, закладывало его.

— Плакал мой отец, когда пел эту песню. Мне бы, дураку, слова-то все заучить. Счас бы и сообщил их тебе и другим. А я... Так вот и теряем мы свои песни.

Солнце уже село, скрылось с глаз за пологим увалом и прощальным веером било из-за него по всему небу. Солнечные лучи еще захватывали голые верхушки деревьев за амбаром, окрашивали их в красно-медный цвет почему-то все сильнее и сильнее. Чудилось,что тонкие верхушки берез и осин раскаляются, как перепутанные мотки проволоки, сунутые в кузнечный горн, и сейчас вспыхнут злым и торопливым пламенем.

Глухо застучали по земле колеса брички — женщины и конопатая девчонка куда-то поехали,— может быть, за новой партией семян. Старый Евсей поглядел им вслед и, отрешась от своих дум, вздохнул:

— Сколь работы им, сердешным, после войны будет...

— Кому?

— Бабам-то. Жадно рожать после войны зачнут.

Иван Иванович медленно повернул к старику голову. Еще не очнувшись как-то от рассказа про необыкновенную песню, он поразился даже не этим необычным словам — «жадно рожать»,— а тому обстоятельству, что для женщин это будет работа, много работы!

— Что так смотришь?

— Это ты... правильно, пожалуй.

— При чем тут правота-неправота? От бога так али, по-теперешнему, от природы... Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется, но и народ тоже убытку не терпит. И все так в природе под солнцем. Вот в пример возьми хотя бы, ну, сказать, лес, поле... Рана на человеке как ни болит, а затягивается, рубцуется. И на лесном пожарище тоже. Через первую же зиму всякие елки-метелки проклевываются. И тянутся к солнышку, тянутся, крепнут помаленьку... Али проплешину от костра на лугу возьми. Обуглит огонь землю вглыбь на полсажени, бывает, сгорит все там, всякие семена и травяные корни. И год чернеет эта проплешина, и два... А потом начинает затягивать с краев травкой... И глядишь — затянулась, кучерявится зелень-то как ни в чем не бывало. Так оно и в народе. И бабам тут дело-ов!

Из кухни вышла повариха Тоня с тряпкой в руках, вытерла этой тряпкой лицо и направилась прямо к хозяйственному сараю. Подойдя, она остановилась шагах в пяти, крупная, налитая ранней женской спелостью, с красным лицом не то от жара плиты, не то от смущения.

— Я сготовила. Пойдемте ужинать,— проговорила она и сразу же отвернулась.

— Спасибо, Тоня. Сейчас.

Она стояла боком, прижимая тряпку к тяжелым буграм грудей, точно стеснялась их и хотела прикрыть. Хохлов видел эту располневшую девушку не раз, но все как-то издали. Черные глаза ее, как он считал, ничего никогда не выражали, кроме тупого и привычного равнодушия ко всему миру. А сейчас он разглядел вдруг совсем иное. Во-первых, глаза у нее были вовсе не черные, а густо-синие, как набрякшее первой грозовой силой весеннее небо. Опушенные хотя не густыми, но длинными ресницами, они таили в себе, оказывается, что-то робкое и восторженно-любопытное одновременно. И еще что-то ожидающее, чего нет сейчас, но что скоро будет обязательно... Во-вторых, в ее полноте не было ничего безобразного или неприятного. Просто крупная от рождения, широкая, как говорят, в кости. Хохлов видел ее всегда в какой-нибудь старенькой телогрейке или широком застиранном платье. А сейчас на ней был свежий синий, под цвет глаз, рабочий халат, схваченный в талии пояском. И сквозь халат обрисовывались ноги — длинные, крепкие и стройные... И, в-третьих, она была просто красива. Полные, румяные щеки, губы яркие, над верхней губой золотистый пушок. И голову с гладко зачесанными и собран-

ными на затылке в большой узел волосами она держала как-то по-особенному — не гордо, но и не униженно. И немножко досадно даже стало Хохлову: зачем она прижимает неловко тряпку к груди, чего стесняется? Все в ее фигуре к месту...

— Сейчас я, — сказал он еще раз.

Повариха повернулась и пошла.

Иван Иванович и старик провожали ее глазами до стряпки. Она это, видимо, чувствовала, шла, чуть опустив голову, все торопливее и торопливее, а последние метры почти пробежала.

Когда она скрылась, Хохлов опустил в задумчивости голову, а дед Евсей сказал:

— Вот и эта матерь добрая растет.

Хохлов думал примерно об этом же, но совпадению своих мыслей со словами старика не удивился.

— Хорошая девушка.

— Ага,— кивнул старик.— Чистая она, Тонька. Пошли ей бог хорошего мужика.

Через несколько минут Иван Иванович, раздевшись в маленькой опрятной комнатке, мыл руки над тазиком, а Савельева Анна, подвязанная пестреньким платком, сливала ему.

Иван Иванович вкратце знал ее родословную и ее историю со слов Поликарпа Кружилина, всегда с любопытством поглядывал на нее.

— Как здесь приживаетесь-то? — спросил он.

— А чего мне приживаться? — чуть усмехнулась Анна.— Я здешняя. Да ведь, поди, и сами знаете.

— Знаю. И что партизанила тут в гражданскую, знаю...

— Только это?

Она подняла на него большие строгие глаза. Губы ее, немного выцветшие, но еще свежие, были плотно сжаты. Иван Иванович был уверен, что в уголках этих губ сейчас проступит горьковатая усмешка. И, чтобы она не проступила, он хотел еще что-то спросить, но не успел — открылась дверь, вошел Назаров, неуклюже топая и следя грязными, в комьях прилипшей земли, сапогами по чисто вымытому полу, стянул дождевик, фуражку, сел на скамейку и стал разуваться. Оставшись в носках, вымыл руки, заскорузлыми ладонями пригладил на голове торчащие седые космы и сел к столу.

— Ну вот... Пока то да сё, на пашню глянул. По колено, считай, грузнет еще нога. Да на вешнего Егорья, пожалуй, коли такая погода стоять будет, начнем сеять, помолясь...

— Когда это? — спросил Хохлов.

— Егорий-то? Шестого мая будет. Хорошо ныне, спасибо вам, не подгоняете. Полипов, бывший секретарь райкома, а потом на твоем месте работал, наверно, уж баню нам бы не раз устроил. Саботажники, мол, и преступные разгильдяи, сев умышленно задерживают! А земля не скоро еще подойдет... Ну, где там Антонина со своей ухой?

Анна вышла. Панкрат, постукивая ложкой о столешницу, глядел в окно на сгущающийся вечер, о чем-то думал.

— А что, ежели возьму да и поставлю Анну вот сюда бригадиром? — неожиданно проговорил Назаров.— А? Будете в районе возражать?

— Да нет, чего же. Тебе ж виднее.

— Хорошо! — воскликнул Назаров, с шумом отворачиваясь от окна. И пояснил непонятно: — Хорошо это, говорю, когда начальство понимает, почему рыба в воде плавает, а птица по небу летает...

Тьма за окном все сгущалась. Назаров встал и зажег висящую над столом лампу под металлическим эмалированным абажуром.

Скрипнула дверь, появилась Антонина, неся большую сковороду и закопченный котелок. Она поставила все это на стол, сняла крышку с котелка, налила в тарелки. Из рассохшегося стенного шкафчика достала два ломтя черного, клейкого на вид хлеба.

— Ну, ужинайте,— сказала она и вышла.

Уха была пахучей, запахом ее наполнилась вся комната.

— Вкусно! — проговорил Хохлов.— Будто сроду такой и не ел.

— Вкусна не вкусна, да голод — он не тетка. Он и надоумил нынче нас хоть немножко взять моментом рыбешки. Оно не мед в ледяной воде мокнуть, а потом каждую малявку чистить. Но какое-никакое, а подспорье. Вот так одно, да другое чего придумаем, да третье — и люди наши на севе будут... не скажу, что сытые, но и не впроголодь. И маленько лишних гектаров напашем, и эти прибавочные шестьсот центнеров вырастим, сожнем, обмолотим и сдадим... А теперь вот и хочу задать тот вопрос тебе, что на речке хотел. Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? Ну?

Улыбка, бродившая по лицу Хохлова, сразу исчезла. Он почувствовал вину и неловкость за свои недавние мысли относительно Назарова.

— Это что ж, тот старик, Петрован Головлев, вам доложил? Когда ж он успел?

— Там, в Михайловке, подошел к амбарам, да и сказал. Покуда ты ко мне приближался, мы уже побеседовали.

Хохлов глядел на доски давно не крашенного, облупившегося, но чисто вымытого пола, чувствуя на себе по-стариковски обиженный взгляд Назарова. И все-таки нашел в себе силы поднять глаза на председателя.

— Было такое у меня в мыслях, Панкрат Григорьевич... нехорошее,— сказал Хохлов негромко.— Ты прости меня. Понял я все.

Впервые он назвал его на «ты». От внимания Панкрата это не ускользнуло, желтоватые ресницы его дрогнули.

— Ладно, Иванович. Чего там, ничего,— так же негромко промолвил он в ответ,— я знаю, разговоры какие плетутся про меня. Но жулик я али еще каков человек, это уж вы да господь пусть рассудит.

...Уезжал в Шантару Хохлов уже какой-то не такой, каким приехал в Михайловку, и ясно чувствовал это. «Понял я все»,— сказал он Назарову. А что? Объяснить это самому себе он не мог. Но понимал: прожитый день сразу сделал его если не умнее, то намного старше.

Лошадь шла шагом, время от времени пофыркивая в темноту. В ночном небе чернела громада Звенигоры, над ее зубчатой хребтиной, над рекой, над холодными и пустынными полями, в которых кормятся где-то сейчас журавли, стояло, текло и переливалось нескончаемое море звезд.

Ехал Иван Иванович под этим ночным звездным небом, и непривычные мысли, незнакомые ранее чувства одолевали его. Где-то горит край земли, думал он, и сгорают в том безжалостном огне люди. А здесь все тихо и мирно, лишь неимоверно тяжело. Но невозможно одному человеку во всем размере представить все то горе, всю трагедию, которую переживает сейчас земля. Как невозможно представить все величие и необъятность этой жизни, этого неба и полей под ним. Это можно лишь немного почувствовать, как вот он сейчас чувствует. Пройдет сто лет, пройдет двести... Давным-давно не будет на земле ни Панкрата Назарова, который спит сейчас, разбросав на постели длинные свои руки с жесткими ладонями, ни этой девушки Тони, налившейся крепким материнским соком, ни Анны Савельевой, продрогшей сегодня в ледяной воде, ни его, Ивана Ивановича Хохлова. Но по-прежнему будет полыхать над землей звездный океан. И сколько бы ни прибавилось на земле белых седин-ковылей, народ убытку своего не потерпит. И кто-то другой будет вот так ехать по молчаливой ночной дороге под звездным куполом, будут так же спать люди, раскидав по постели натруженные за день руки. Каждый вновь приходящий под это вечное небо будет заново пытаться понять: какова она, земля, в чем ее красота и сила?! Но неужели и потом, позже, понять это будет иногда так же не просто? Неужели и тогда будут войны? Будут зарастать все новые и новые поля ковылем? Неужели вот так же кто-то у кого-нибудь спросит вдруг: «Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек?»

* * *

Пятнадцатого апреля 1943 года, дождливым и тусклым весенним утром, задолго до солнца, на запасной путь маленькой станции медленно вполз состав из двух десятков серо-зеленых, совершенно глухих, без окон, вагонов и, заскрипев тормозами, остановился. Тотчас вдоль состава по клейкой грязи, в свете занимающегося дня такой же серо-зеленой, как вагоны, забегали черные фигуры в касках и коротких мундирчиках, раздались хриплые, лающие голоса. Затем послышался вой

моторов, на пустырь перед железнодорожной линией, разбрызгивая колесами тяжелые комья грязи, въехало три грузовика. Машины остановились метрах в двадцати от состава.

Еще через минуту загремели железные засовы дверей, заскрипели пронзительно кованые петли. К каждому вагону приставили сходни — узкие мокрые плахи с набитыми поперек невысокими реечками, по ним в каждый вагон гуськом вбежали по три-четыре охранника с резиновыми палками и принялись с криком и руганью на своем немецком языке выталкивать наружу, под мелкий холодный дождик, людей в полосатых одеждах. Впрочем, на людей они походили отдаленно — изможденные голодом, многонедельной вонью человеческих испражнений, худые, как скелеты, заросшие грязным волосом... Они прыгали из вагонов в грязь, точнее, вываливались — никто почти из них не мог устоять на ногах после прыжка — не было для этого сил, и к тому же от чистого и влажного воздуха, хлынувшего в легкие, каждый мгновенно пьянел. Некоторые пытались сойти по узким сходням, но деревянные башмаки скользили по мокрым доскам, люди бревнами падали, ломали руки, расшибали о края вагонов и об землю головы. По обеим сторонам вагонных дверей стояли эсэсовцы, плетьми и резиновыми палками хлестали упавших, яростно орали:

— Aufstehen! In Kolonne antreten! Los, ihr russische Schweine! [1]

В каждом пересыльном пункте, в каждом лагере набор слов эсэсовских охранников был почти одинаков, и люди давно понимали их. И встреча прибывающих заключенных повсюду была примерно одна и та же.

Василий Кружилин и Максим Назаров, стараясь не греметь цепью, которой они были скованы, по мокрой плахе скатились из вагона, ни тот, ни другой ударов не получил. Правда, Назаров уже на земле пошатнулся, но Василий схватил его за локоть, дернул к себе.

С трудом отрывая ноги от клейкой земли, они побрели в дальний конец пустыря, где заключенные выстраивались в колонну по шесть человек в ряд.

— Спасибо,— проговорил Назаров, тупо глядя в чей-то грязный волосатый затылок.

— Куда же это привезли нас? — спросил вполголоса Валентин Васильевич Губарев, бывший преподаватель института, кандидат филологических наук. Кружилин и Назаров познакомились с ним еще в Ламсдорфе, где жили в одном блоке. Спать им пришлось там на соседних нарах, и Губарев перед сном, если после тяжкого рабочего дня оставались еще силы, читал на память стихи. Он знал их множество, особенно любил Некрасова, а из иностранных — Гёте. «Вот послушайте...» — говорил он обычно неожиданно, когда в бараке не было ни старосты, ни охранников, и, лежа с закрытыми глазами, начинал:

В Европе удобно, но родины ласки
Ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой,
В телегу спешу пересесть из коляски —
И марш на охоту. Денек недурной,
Под солнцем осенним родная картина
Отвыкшему глазу нова...
О, матушка Русь!..

Стихи он выбирал обычно о Родине, о России, от которой они были так далеко. Всякий раз Василию хотелось крикнуть:«Перестань, не береди душу!» Но одновременно и хотелось, чтобы он читал и читал без конца такие стихи.

Сейчас Губарев, длинный, костлявый, с посиневшим от холода лицом, стоял рядом, уныло глядел под ноги, на раскисшую землю. Сеялся беспрерывно мелкий ледяной дождь, мочил и без того продрогших людей. Люди кашляли, и Василий Кружилин думал, что сегодняшний день для многих последний, завтра трупы умерших загрузят в страшные и прожорливые печи крематория. А может быть, для всех этот дождливый и промозглый вечер является последним. Куда их привезли, спросил Губарев. То-то и вопрос... Если в Дахау или Освенцим, то это конец. Оттуда не возвращаются. Зловещая слава о них гуляла по всем концлагерям. О Дахау и Освенциме было известно и в Галле, где загнали их, русских, в эти вот

[1] Встать! В колонну! Быстро, русские свиньи!

серо-зеленые коробки и повезли куда-то почти без пищи, выдав за весь путь пару ведер вонючей баланды на вагон. И вот, кажется, привезли. Но куда, в самом деле?

Люди из вагонов выгрузились, теперь оттуда выбрасывали трупы. Только в том вагоне, где ехали Кружилин с Назаровым, умерло за дорогу шесть человек. Здоровенные охранники хватали умерших за руки, за ноги, подтаскивали к дверям и швыряли, как мешки, в грязь. Здесь несколько заключенных поднимали трупы, тащили к грузовикам, складывали в кузова.

Скоро все три машины были загружены доверху и, натужно ревя моторами, тронулись, уехали, разворотив колесами раскисшую землю. Глубокие колеи от колес стали быстро заполняться водой.

А люди все стояли и стояли на холоде, под непрекращающимся дождем. Вдоль выстроившейся лицом к вагонам колонны бегали эсэсовцы, без конца пересчитывали заключенных, что-то орали, ругались. Черные автоматчики, держа наготове оружие, безмолвно, как истуканы, торчали чуть поодаль, растянувшись цепочкой. Малейшее неповиновение, малейшее волнение в колонне — и по людям хлестанут свинцовые смертельные плети. Кружилин это знал, знали и все остальные. Так было однажды зимой в Ченстохове. Колонну привели с работы и почему-то до полночи держали перед воротами лагеря. На том краю колонны, где стояли Кружилин с Назаровым, упал один человек, потом другой... Помогать упавшим подняться было запрещено. К упавшему подходил эсэсовец, хлестал плетью или дубинкой. Если заключенный не имел сил подняться, эсэсовец вытаскивал пистолет и стрелял... Но когда упало сразу несколько человек, по колонне прошло волнение, начался было ропот. И тотчас, без всякого предупреждения, хлестанули автоматные очереди. Люди, и мертвые уже, и живые, мгновенно попáдали в снег...

Сейчас колонна, вытянувшаяся из конца в конец пустыря, стояла безмолвно. Светало медленно, на столбах, вкопанных по краю пустыря, горели прожекторы. В их лучах серебрилась мелкая водяная пыль.

— Боже мой! Боже мой!..— вздохнул вдруг Назаров, угрюмый, ушедший весь в себя, о чем-то все думающий, думающий в последние недели. За эти последние две или три недели Василий не слышал его голоса, кроме недавнего «спасибо» да вот этого вздоха.

— Ничего, товарищ капитан,— тихонько откликнулся Василий.— Не до света же они нас тут держать будут. Приведут куда-нибудь — отдохнем. А Валя нам стихи почитает. А, Валь?

— Тихо! — вместо ответа проговорил Губарев.

Вдоль колонны медленно шел офицер в длинном, блестящем от дождя плаще, чавкая по грязи сапогами. Его сопровождал невысокий человек в тужурке, кепке, с белой повязкой на рукаве.

Офицер остановился почти напротив Кружилина и, как показалось Василию, стал смотреть прямо на них с Назаровым, соединенных цепью в концлагере Галле перед посадкой в вагоны. Но ни страха, ни какого-то даже малейшего опасения это у Василия не вызывало. Во рту у него накопилась горячая слюна. Василий испытывал острое желание сплюнуть. Но плевать в строю как раз и было нельзя, за это можно немедленно заплатить жизнью. Этот высокий офицер с круглыми, ничего не выражающими глазами может не спеша подойти по грязи в своих начищенных сапогах, вынуть пистолет и застрелить его. Сделает он это хладнокровно и неторопливо, без всяких эмоций, никому ничего не обязанный объяснять.

Василий сжал до ломоты зубы, сквозь тонкую сероватую кожу на щеках проступили желваки.

Послышался собачий визг и лай, откуда-то из-за хвоста поезда выбежало десятка два солдат с овчарками. Свирепые псы рвали из рук ременные поводки, тащили за собой солдат. Казалось, еще секунда — и солдаты, не поспев за собаками, распластаются на земле, а сильные, как лошади, псы поволокут их по жидкой и скользкой грязи.

Через минуту собаководы цепью стояли перед колонной, между автоматчиками. На груди у каждого тоже болталось по автомату.

«Значит, сейчас поведут куда-то»,— подумал Василий.

Офицер, зевая, что-то стал говорить маленькому юркому человеку с белой повязкой. Тот снял мохнатую, набрякшую тяжелой водой кепку и, прижимая ее

к животу, подобострастно слушал, часто кивая головой. Потом надел кепку, повернулся к колонне.

— Ахтунг! Внимание! Господин гауптштурмфюрер объявляет: сейчас двинемся к месту назначения. Тут недалеко... По улицам идти тихо, без разговоров, чтобы не тревожить покой и сон жителей благословенного города. Держать строй. Один шаг в сторону рассматривается как побег. Карается немедленной смертью. Всё. Напра-а-во!

Колонна медленно и неуклюже повернулась. Офицер опять зевнул, так же громко чавкая сапогами и разбрызгивая грязь, пошел куда-то прочь, назад.

Стуча деревянными башмаками по булыжнику, колонна узкой окраинной улицей вышла в поле. Предупреждение идти без разговоров было лишним и ненужным. От деревянных башмаков стоял такой грохот, что не только человеческих голосов, выстрелов не было бы слышно. Но этот грохот не разбудил в городе ни одного спящего. Аккуратные небольшие домики с островерхими черепичными крышами были словно покинуты людьми, не вспыхнуло ни одного окна, не мелькнуло за стеклами ни одного любопытного лица.

В открытом поле было еще холоднее — тут дул ветер, пронизывал насквозь мокрые лохмотья заключенных. Черное небо было завалено низкими облаками. Лишь изредка в тучах появлялись просветы, и тогда вверху реденько мигали последние, потухающие звезды.

Когда колонна тащилась по городской улице, Губарев все оглядывался по сторонам, всматривался в маленькие домики, в какие-то продолговатые двухэтажные кирпичные здания с полукруглыми окнами. Н› ничего не говорил. И только когда вышли в поле, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Что это за благословенный город, интересно? Очень даже любопытно...

Максим Назаров шел сгорбившись, глядя себе под ноги, хотя внизу была одна чернота, разглядеть там ничего было нельзя.

— Устали, товарищ капитан? — вполголоса спросил Василий.— Ничего, скоро придем, наверное.

Назаров ему не ответил.

Молчание Назарова, его все более тяжелеющая угрюмость пугали Василия, рождали беспокойство. «Что он все размышляет, о чем? — думал часто Кружилин.— Всем не сладко, всех здесь за скотов считают. И каждую минуту, каждую секунду к любому может прийти смерть. Это так, но ведь не пришла пока, живы, черт побери!» Два побега они с Назаровым совершили вместе — из Ченстохова и Ламсдорфа. Бесконечные допросы, зверские избиения, издевательства — все Назаров переносил вроде бы даже легче, чем он, Василий. Особенно изощренно их истязали в лагере беглецов близ Ламсдорфа — однажды целую ночь заставили лежать в ледяной луже. Всю эту ночь шел дождь со снегом, к утру лужа подернулась ледком, Василий уже думал, что их трупы так и вмерзнут в лед,— но нет, на рассвете их пинками подняли, отправили в барак. «Л-ладно, сволочи! — лязгая зубами, угрожающе проговорил тогда Назаров.— В третий раз, Вася, обязательно убежим, доберемся до своих. Все равно доберемся!» Но в третий раз Назаров бежать неожиданно отказался. Это было в концлагере Галле. Отказался, когда все уже было к побегу готово — сэкономлены и припрятаны полторы булки суррогатного хлеба да три дряблые брюквы, старые ботинки и рваная куртка. «Вот что, Вася,— сказал тогда Назаров, впервые отводя от него глаза.— Мы ведь в самом центре Германии. Разве выберешься? Нет... И силы, чувствую, ушли... Да и зима еще. Если хочешь, иди один. Но не советую». И он, Василий, совершил последний свой побег один. Схватили его на другой же день — в водопроводной будке на дне какого-то оврага, приволокли в лагерь и, бесчувственного, бросили в карцер. Он чудом выжил в этом карцере — мокрой и темной коробке, узкой, как гроб. И когда появился в бараке, Назаров, так же отворачиваясь, так же не глядя в лицо, промолвил: «Я говорил... Бесполезно».

Все это было в начале марта. Вскоре разнесся слух, что самых крепких и здоровых заключенных переведут в какой-то другой лагерь. В число этих «самых здоровых и крепких» попали и Василий с Назаровым. Но, как самых отъявленных и неисправимых бегунов, эсэсовцы сковали их перед погрузкой в вагоны цепью. И всю дорогу Василий думал с тревогой о капитане Назарове: ведь раньше он был не такой, не такой... Думал об этом и сейчас.

* * *

Тогда, прохладным и солнечным июньским утром 1941 года, конопатый, с розовыми губами немецкий офицер, похожий на стоящего торчком муравья, не соврал: их и в самом деле доставили в пересыльный лагерь для военнопленных советских командиров, устроенный где-то в окрестностях приграничного польского городишка Жешув. Василий, ощущая на плечах гнетущую тяжесть обмякшего тела капитана Назарова, вышел из загона, обнесенного колючей проволокой, где они провели первую кошмарную ночь в неволе. Он шел, покачиваясь, и думал, что этот оставшийся в загоне Антон Савельев, несколько дней назад вскочивший к нему в грузовик на Дрогобычском шоссе, сам себе, чудак, нашел смерть. Интересно бывает: вскочил в машину — а это смерть. Не уцепился бы за грузовик — и, может, успел бы с беженцами уйти от немцев. А теперь... Дядька-то хороший вроде, жалко...

Василий тогда брел позади толпы военнопленных, слышал, как сбоку и сзади глухо топают по мягкой земле тяжелыми сапогами конвоиры. Сердце Кружилина колотилось, от усталости разрывало грудь. Едкий пот катился со лба и заливал глаза. «Чуть отстану или споткнусь — и смерть! Смерть...» — больно долбила в череп одна и та же мысль. И все-таки Василий, не понимая, как это произошло, остановился вдруг, обернулся, глянул на обнесенный колючей проволокой квадрат земли. Там, за проволокой, сгрудившись в кучу, стояли красноармейцы, с которыми он провел эту ночь. Напрягая зрение, Василий попытался зачем-то разглядеть Антона Савельева, но не мог или не успел. Ближайший немец-конвоир молча замахнулся и ударил его в грудь прикладом. В глазах у Василия стало темно, он начал падать. «Вот и все!» — молнией прорезало в мозгу. Но через мгновение он обнаружил с удивлением, что жив еще. И более того — он по-прежнему шагает куда-то с бесчувственным капитаном на плечах, мимо дымящихся развалин какого-то здания.

Так вслед за кучкой командиров в изорванных одеждах Василий шел, может, час, может, два, слыша сзади и сбоку глухой топот конвоиров. Кроме этих тупых звуков, мозг ничего не воспринимал. Не помнил он, кто и когда снял с его плеч тело Назарова, а только обнаружил вдруг, что капитана несет молоденький лейтенант с перебинтованной головой. Повязка его была черной от грязи и запекшейся крови.

— Вам тяжело, товарищ лейтенант,— проговорил Кружилин.— Давайте, я отдохнул.

— Ничего... А ты молодец, не бросил командира.

— Мы ж земляки с ним.

— А-а...

Этот короткий разговор несколько притушил гнетущее чувство у Василия, принес какое-то облегчение, если оно могло прийти в этих обстоятельствах. Он огляделся, опять увидел топающих, несколько усталых теперь конвоиров. Их было человек шесть, почти вдвое меньше, чем пленных. «Ведь случай! Все в разные стороны, а там... Конечно, кто-то погибнет, а остальные...»

Потом Василий решил, что мысли его глупые. Эти шестеро, сытые, сильные, вооруженные, легко перестреляют их всех. Нет, это не случай. Кроме того, капитан Назаров... Не бросишь же его, это будет чудовищно, это убийство. Значит, случай должен быть другим. И он обязательно будет, не может не быть...

Об этом же Кружилин думал, когда их в какой-то деревушке посадили в глухой фургон, пахнущий почему-то псиной, и повезли по кочковатой дороге. Назаров, пришедший наконец в себя, тяжко стонал, когда машину подбрасывало. Василий сел на ребристый пол, положил голову капитана к себе на колени.

— Где мы? Что с нами? — спросил Назаров.

— Везут нас куда-то,— ответил Кружилин.

— Кто везет?

— Немцы...

— Ага,— будто удовлетворенно проговорил капитан.— Значит, их еще не отбросили за пограничную полосу? Какое же сегодня число?

— Число? — Василий напряг память, пытаясь подсчитать, сколько прошло дней с того момента, как на их казарму посыпались неожиданно снаряды. Это было ночью двадцать второго, потом все утро шел бой. А затем...

А затем в памяти все мешалось — шоссе, потоки беженцев, бой на берегу реки Сан, ночь, бесчувственный капитан Назаров, еще кошмарная ночь, уже в плену...

— Товарищи, какое сегодня число? — спросил Василий.

— Двадцать четвертое июня,— сказал кто-то из глубины фургона.

— И немцев еще не выгнали?! — со стоном прокричал Назаров.

— Успокойтесь, товарищ капитан,— попросил Василий.— Не выгнали пока, так выгонят.

— Обязательно... И — скоро,— прошептал капитан.— Скоро, товарищи... А со мной, Кружилин, ты зря мучаешься. И меня мучаешь. Воды, конечно, нет?

— Как вы можете так говорить, товарищ капитан?! — зло ответил Василий.— А воды нет.

Пересыльный лагерь близ Жешува был образован наскоро и, видимо, всего несколько дней назад на территории каких-то складских помещений. Их привезли туда уже ночью, загнали в душный каменный подвал, из бетонных стен которого торчали ржавые крючья, вдоль одной из стен тянулись промасленные деревянные полки. Но подвал был «с удобствами» — на потолке горела тусклая электрическая лампочка, а в углу стояла ржавая раковина, и из медного, прозеленевшего водопроводного крана тоненькой струйкой текла вода.

Подвал был тесно набит людьми. Когда Кружилин вошел туда с Назаровым на плечах, положить его было некуда, места на полу не оказалось. Василий повернулся вправо, влево. Никто из находившихся в подвале даже не обратил внимания на вновь прибывших, никто не пошевелился, чтобы уступить на полу место для Назарова. Тогда Кружилин без жалости пнул лежащего ближе всего к нему человека:

— Т-ты... Встань! Не видишь?

Человек пошевелился, приподнялся, протер сонные глаза. И спросил удивленно:

— Ты чего... пинаешься?

— А я вот ему сейчас пну, товарищ майор! — донеслось из дальнего угла, и там угрожающе поднялся верзила в обгорелой гимнастерке.

— Успокойтесь, Кузнецов,— сказал тот, кого пнул Василий и кого назвали майором.— Нехорошо пинаться... даже и теперь, когда мы все... в таком положении. Что же это будет, если мы все начнем пинаться.

— Простите, товарищ майор...

— Ну, кладите сюда капитана. Что с ним?

— Где-то вода, вода течет...— простонал Назаров.

Василий, положив капитана, пошел к раковине, шагая через спящих. Раковина была полной, слив был замазан чем-то, кажется — куском глины.

— Кружку... дайте кружку.

— А хрустальный бокал не подойдет для вас? — усмехнулся длинный человек по фамилии Кузнецов с двумя кубиками на левой петлице. Правая была наполовину сожжена.— Вот пилотка.

Он протянул грязную пилотку. Василий зачерпнул ею из раковины. Очень вдруг ему самому захотелось сделать хоть один глоток, по горлу прошла судорога. Но, заметив насмешливый взгляд человека с обгорелой петлицей, Кружилин пошел к капитану.

Потом человек, которого пнул Василий, оказавшийся майором медицинской службы, осмотрел ноги, плечо и грудь Назарова. Осматривал он, почему-то брезгливо поджав тонкие губы. И попросил воды.

Кружилин тотчас принес еще полную пилотку. Майор мокрой тряпочкой — кажется, своим носовым платком — обтер Назарову раны, немного отмочил засохшие коросты. Помогал ему тот самый долговязый Кузнецов. Майор что-то сказал ему, тот помедлил, враждебно поглядел на Василия и откуда-то извлек небольшой, толстого стекла, пузырек с йодом.

Майор, крепко сжав тонкие губы, сильными пальцами безжалостно сорвал вдруг с раны на груди Назарова коросту. Капитан дернулся от боли, вскрикнул. Крик перешел в стон, и тут же Назаров весь обмяк, вытянулся, бездыханный, на полу — не то потерял сознание, не то умер. Не обращая на это никакого внимания, майор коротко бросил, будто у себя в операционной:

— Бинт.

Василий поглядел на Кузнецова, но тот лишь усмехнулся. Тогда Кружилин сбросил грязную гимнастерку, снял нательную рубаху, вонючую и мокрую еще от пота, тоже грязную до черноты, и начал рвать ее на полосы.

Снарядный осколок ударил в грудь Назарова чуть ниже правого соска и вскользь, вырвав порядочный кусок мяса. Края рваной, безобразной раны были воспалены, накопившийся под коростой гной майор вычерпывал и выковыривал из раны концом носового платка, смоченным в йоде. Затем плеснул в рану прямо из пузырька, взял лоскут из рубахи Василия, осмотрел его со всех сторон, со вздохом отложил в сторону и начал расстегивать свою гимнастерку.

Тело у майора было нежно-белым, чистеньким, как у девушки. Но когда он рвал на полосы свою относительно свежую нательную рубаху, когда перематывал грудь, а потом ноги бесчувственного Назарова, тоже предварительно обмазав раны йодом, под белой его кожей прокатывались тугие мускулы, и Василий подумал, что, случись с ним бороться, он, Василий, не обижавшийся на силенку, наверное, не выдюжил бы.

Закончив перевязку, майор несколько минут сидел так, голотелый, глядел на бесчувственного Назарова. Глаза майора, кроме тоски, ничего не выражали. Но когда на лбу у капитана начали проступать бисеринки пота, майор вздохнул облегченно и стал натягивать гимнастерку.

— Через неделю ходить будет, с палкой,— проговорил он, тщательно застегивая все пуговицы на гимнастерке.— Раны на ногах и плече, к счастью, пустяковые — чуть мякоть задета. Да и на груди... Крови он только потерял много. Счастливо ваш командир отделался, товарищ боец.

— Все равно его в госпиталь надо... как только наши отобьют нас.

Майор повернулся медленно к Василию, тонкие губы его с болью изогнулись.

— Ну да, — кивнул он седеющей головой.

Майор сидел на цементном полу, подтянув ноги почти к подбородку, устало свесив с колен руки с широкими ладонями и длинными пальцами.

— Только я... если бы не товарищ капитан, не стал бы ждать, пока наши отобьют,— снова проговорил Василий.— При первой же возможности убежал бы... вырвался.

Майор не шевельнулся даже, будто не слышал, а лейтенант Кузнецов, сидевший сбоку, повернул к Василию голову, строго и неодобрительно посмотрел на него. И через несколько секунд голосом насмешливым и недоверчивым проговорил:

— Лихой ты... Как звать?

— Кружилин Василий.

— А я Герка. Герка Кузнецов.

Водяная струйка все текла в раковину, тоненько позванивая. Время от времени мигала почему-то пыльная электрическая лампочка, грозя потухнуть совсем. Когда она мигала, на мгновение наступала темнота, и Василию каждый раз казалось, что, когда лампочка снова вспыхнет, откроется совсем другая картина — просторная и светлая красноармейская казарма там, под Перемышлем, длинные ряды двухъярусных железных коек, на которых спит вповалку рота капитана Назарова, а он, Василий, дневалит. Но лампочка, вспыхивая, освещала холодно-мертвенным светом все тот же сырой каменный мешок, на бетонном полу сидели и лежали беспорядочно командиры Красной Армии — лейтенанты, капитаны, майоры,— а у дальней стенки лежал какой-то грузный человек с тремя шпалами на петлицах — подполковник. Он лежал на спине, все время глядя в потолок не мигая. И было непонятно, жив он или мертв.

Рядовой здесь был только один — Василий Кружилин.

Всю ночь люди в грязных, разорванных, обгоревших и окровавленных гимнастерках стонали, хрипели, ворочались. Василий, смертельно уставший, хотел спать, но сидя уснуть никак не мог. И только когда на потолке засинела отдушина, заделанная толстой решеткой, он обхватил руками колени и, опустив на них голову, впал в небытие.

Прохватился он от голоса Назарова:

— Вася? Кружилин...

От неудобной позы шея Василия затекла, он ее с хрустом разогнул, поднимая чугунную голову. Под затылком словно выстрелило, причинив неимоверную боль.

— Ну как вы, товарищ капитан? — спросил он, поднимаясь. — Мы перевязали вас. Вот майор...

— Принеси водички, Вася.

Кружилин глянул под ноги, поднял мокрую пилотку, стал пробираться к раковине. Но, не дойдя до нее, вздрогнул, остановился и закричал пронзительно:

— Товарищи! Товарищи-и!!

Крик был настолько страшен, что мгновенно пробудились, очнулись от тягостного забытья люди, кто мог, повскакивали с пола, каменный мешок наполнился гулом и говором.

Вскочил и лейтенант Кузнецов, шагнул к сгрудившейся у стены толпе, протиснулся вперед меж грязных тел и замер в оцепенении рядом с Василием... Подполковник, лежавший вчера вечером недвижимо на спине, сейчас сидел, упершись спиной в бетонную стену, склонившись немного вбок. Окончательно упасть его грузному закоченевшему телу на пол не давал черный от масла и грязи электрический шнур. Один конец электропровода был привязан к железному крюку, торчащему из стены над головой подполковника, а другой — к его правой ноге. Сделанная посредине петля туго затягивала короткую, заросшую седоватой щетиной шею подполковника, так туго, что провода на шее не было видно.

Василий, онемев, смотрел на эту перехваченную жестким проводом посиневшую до черноты шею, на свесившуюся тяжелую голову подполковника. Собственно, ничего страшного, если бы не этот электрошнур, привязанный к крюку на стене, петлей захлестнутый на шее, а затем намотанный на правую ногу, в позе подполковника не было. Казалось, он, прислонившись спиной к стенке и устало свесив на плечо голову, просто спит. Но этот шнур... Василий вспомнил, как подполковник лежал вчера вечером на полу и, не мигая, смотрел в потолок. В это время, видимо, и созревало его страшное решение. Василий представил, как этот человек, когда все уснули или забылись, неслышно приподнялся, привязал к железному крюку конец провода, случайно, видимо, найденного им в подвале, сел спиной к стене, сделал посредине шнура петлю, накинул ее на шею, подогнул правую ногу, обмотал вокруг сапога другой конец электрического шнура и рывком вытянул ногу, намертво затягивая провод на шее... Вон вытянутая нога так и окостенела. Это какой же страшной силой воли надо обладать, чтобы все это придумать, решиться на это и осуществить страшное свое решение?!

— Дур-рак! — услышал Василий сбоку и опять вздрогнул. Это хриплым голосом произнес майор, сделавший вчера Назарову перевязку.

— Строго судите, товарищ майор,— произнес бритоголовый, несколько грузноватый человек со знаком различия старшего лейтенанта.

— Строго? Не знаю. Но человек в любых условиях... даже вот в таких, в каких мы оказались, человеком оставаться должен! И смерть принять, если она неизбежна, с достоинством и по-человечески. Отдав борьбе с нею, а значит, и борьбе с врагом, все силы, сколько их есть...

Проговорив это, майор еще раз окинул задавившегося подполковника нехорошим взглядом, повернулся и пошел на свое место.

Напоив из грязной пилотки Назарова, Василий все сидел возле него и все думал о страшной смерти подполковника, который предпочел ее позору плена. С одной-то стороны, конечно, избежал позора. А с другой... Ну да, они все в плену. Ну, а что, виноват разве он, Василий, что оказался здесь? Или вот капитан Назаров? Разве струсили они там, под Перемышлем? Разве взяли да подняли сразу перед врагами руки? Разве не дрались до последнего, не держались, сколько было сил? И майор этот, конечно, так же, и лейтенант Герка Кузнецов, и все остальные, и тот подполковник. Что ж, всем теперь, как он, давиться? Когда наши освободят, разберутся, кто и как попал в плен. А пока... прав этот майор, надо и здесь, даже здесь, до последнего...

— Как вас звать, товарищ майор? — неожиданно спросил Кружилин.

— Звать? Да звать меня Никита Гаврилович Паровозников.

Застонал опять проснувшийся Назаров. Постонал, затих и, полежав с закрытыми глазами, медленно разомкнул опаленные ресницы, начал внимательно, осмысленно разглядывать подвал и людей в нем.

— Вам лучше, товарищ капитан? — спросил Василий. — Вон товарищ майор сказал, что ничего страшного...

— Ему бы бульончику куриного сейчас, — проговорил Кузнецов. — Быстро бы крови в жилах прибавилось.

Капитан Назаров облизнул запекшиеся губы.

— Ничего, Вася... В голове шумит. А ногами, гляди, шевелю.

И он действительно пошевелил ногами.

От слов Кузнецова у Василия засосало все внутри, даже затошнило. Сколько же времени он не ел? За эти дни пережито было столько, что думам о еде не оставалось ни места, ни времени, и голод как-то не чувствовался. А сейчас в желудке вдруг сразу застонало, в голове замутилось, все тело, молодое, сильное, только смертельно уставшее, потребовало сразу пищи.

— Ты-ы! — мучительно и зло простонал Василий.— За такие слова...

Говорить ему дальше помешали спазмы в желудке, и длинный, с тяжелыми руками лейтенант сразу все это понял, виновато опустил голову.

...Покормили их только к вечеру какой-то бурдой, похожей на помои. Дали еще по куску хлеба, вывалив его из мешка прямо на липкий от грязи цементный пол. Хлеб был на удивление белым, мягким, только что выпеченным, но совершенно безвкусным, чужим, не русским.

Вторая ночь, как и первая, прошла в тяжелых стонах и хрипах, но в эту ночь происшествий никаких не случилось. Утром в подвал вбежали несколько эсэсовцев, загалдели, поднимая раненых и здоровых. Они пинали неуклюжие тела беспомощных людей, хлестали их палками и короткими толстыми плетьми. Оружия ни у одного эсэсовца не было.

Когда пленные встали, сгрудившись толпой у стенки, где так и лежал задавившийся подполковник, в подвал вошел тот самый длинный и тонкий немецкий офицер, который приезжал за пленными в лагерь под Перемышлем и поразил Василия чистейшим русским языком.

Сейчас он был в мокром черном плаще, с которого капало, в высокой, сразу ставшей ненавистной Кружилину фуражке и походил не на муравья, стоящего торчком, а на морщинистый обрубок бревна с косо срезанным торцом и только что облитым смолой или гудроном.

Конопатый офицер был отчего-то в хорошем настроении, припухлые розовые губы его улыбались.

— Здравствуйте, господа,— проговорил он и окинул взглядом весь подвал, увидел Василия Кружилина, на шее которого висел Назаров, остановил на них свои цепкие зрачки.— О-о, примерный русский солдат! Очень похвально, что вы не бросаете своего командира.

С левого боку Назарова поддерживал Кузнецов, забросив, как и Василий, руку капитана на свою шею. Немец скользнул прозрачными глазами по лицу Кузнецова и повернулся опять к Василию:

— Фамилия?

Василий молчал. Он смотрел прямо в конопатое лицо немца, думал, что, когда его обливали смолой или гудроном, лицо чем-то прикрыли, но мелкие капельки все же попали на лоб, щеки, даже подбородок и вот прикипели намертво. И эти конопатины рождали ненависть в душе Василия, она, эта ненависть, туманила мозг, хотелось не назвать свою фамилию, а выкрикнуть немцу в лицо что-то обидное, крепкое и непокорное.

— Вы что, русского языка не понимаете? — построже спросил немец.

Василий почувствовал, как сатанеют его собственные глаза. Понимая, что, если он не сдержится и что-то выкрикнет в лицо офицеру или даже и не выкрикнет, но заметит немец в его глазах ненависть — и он, Василий, и капитан Назаров, и, может быть, даже Герка Кузнецов будут немедленно застрелены,—Кружилин неимоверным усилием воли сжал зубы и прикрыл веки. И тут же услышал, как предостерегающе и одновременно требовательно толкнул его в бок стоящий справа майор Паровозников.

— Красноармеец Кружилин,— произнес Василий, открывая глаза. И добавил, чувствуя, что надо добавить:— Простите, голова закружилась.

— Мой чин унтерштурмфюрер,— сказал немец, и прежняя улыбка заиграла на его губах.— Надо добавлять — господин унтерштурмфюрер. Запомните это крепко. Зовут меня Карл Грюндель. А ваше имя?

— Василий, господин... унтерштурмфюрер.

— Зер гут... Василий. Очень хорошее русское имя.

Вдруг офицер что-то заметил сквозь толпу у стены, а может быть, услышал трупный запах и, ни слова не говоря, шагнул вперед, прямо на людей. Пленные расступились, и немец увидел удавившегося вчерашней ночью подполковника.

Тем же утром кто-то отвязал концы электропровода от крюка и от правой ноги подполковника, но с шеи снимать не стал. Сейчас труп лежал вдоль стены, ничем не прикрытый, смотанные концы провода торчали над его почерневшим лицом.

— Кто это сделал? — рявкнул сердито немец.

— Сам он...— произнес кто-то после общего короткого молчания.

Офицер поглядел вверх, отыскивая крюк, на котором мог повеситься пленный красный командир. И, ничего не обнаружив на потолке, побагровев то ли оттого, что задирал голову, то ли от гнева, прикрикнул:

— Русские свиньи! За ложь я буду расстреливать без пощады! Каким образом он мог сам?

— Один конец провода вот к этому крюку привязал, другой — к своей ноге,— послышался тот же хриплый простуженный голос. — На проводе сделал кольцо, петлю... надел на шею и вытянул ногу. Не перенес позора.

— Как, как? — неожиданно мягко и заинтересованно спросил Грюндель. Гнев его сразу улегся, он опять оглядел труп, теперь с любопытством. Шагнул к стене, рукой в кожаной перчатке потрогал торчащий из стены железный крюк.— Покажите, как это он... Вы, вы, который объяснил, но непонятно.

Старший лейтенант, к которому обращался немец, был тот самый, что осудил Паровозникова за строгость к покончившему с собой подполковнику. Он побледнел, но с места не тронулся.

Эсэсовец усмехнулся, что-то сказал негромко по-немецки. Ближайший к нему солдат с резиновой палкой в руке кинулся к дверям, через несколько секунд в подвал, грохоча сапогами, вбежали один за другим четверо автоматчиков, встали по бокам дверей, взяв оружие на изготовку.

Пленные, давя друг друга, шарахнулись в дальний угол, сгрудились там, сбились в плотную кучу. Василий и Кузнецов, на плечах которых все висел Назаров, оказались с самого краю. И все трое понимали, что, если немцы полоснут из автоматов, первые пули достанутся им.

У стенки, возле трупа, остались только немецкий офицер и бритоголовый старший лейтенант. Последний раз он обрился, видимо, перед началом войны, может быть, перед воскресеньем, в субботу, 21 июня, и за несколько дней волосы на затылке и висках чуть отросли, обозначив огромную лысину.

Когда все шарахнулись в дальний угол, лишь этот старший лейтенант не тронулся с места. Он один пока понял, видимо, чего хочет этот конопатый немецкий офицер с прозрачными глазами, и стоял сейчас перед ним, обреченно уронив вдоль туловища руки. Да еще, может быть, понял майор Паровозников — он, стоя рядом с Кружилиным, глядел на немца угрюмо и с каким-то презрительным превосходством.

— Ну-с, показывайте, как это он сам,— холодно сказал Грюндель.

— Расстреляйте лучше сразу,— хрипло произнес старший лейтенант.

— Сразу? Многого вы хотите...

Офицер сделал едва заметный кивок, двое солдат подскочили к старшему лейтенанту и с двух сторон умело начали хлестать по лицу, по бритой голове короткими плетьми. От первых же ударов кожа на его щеке вздулась и лопнула, брызнула кровь.

— Ну? — прикрикнул Грюндель.— Покажете — останетесь жить...

Ни слова больше не говоря, может быть даже и поверив словам немца, старший лейтенант, обливаясь кровью, склонился над трупом подполковника, ослабил петлю на его закоченевшей шее и снял провод. Затем конец этого провода привязал к крюку, сел спиной к стене подвала, надел петлю на свою шею, согнул правую ногу и обмотал ступню другим концом провода.

— Вот так это он... сделал.

Немецкий офицер за всеми этими действиями старшего лейтенанта наблюдал с ярко выраженным любопытством, временами пошевеливал белесыми бровями, как бы все более удивляясь или возмущаясь жестокой решимости самоубийцы.

— Ну, а дальше?

— А дальше он... рывком вытянул свою ногу и затянул... петлю на шее,— произнес старший лейтенант и рукавом гимнастерки вытер со щеки все еще обильно текущую кровь.

— Так вытягивайте вашу ногу.

Старший лейтенант, окаменев, тупо глядел на выглядывающий из-под длинного черного плаща немца черный носок его сапога. По щеке обреченного — теперь это понимал всякий — все текла кровь, а на лбу, на широкой лысине, проступили капли пота.

— Показывайте же! — еще раз вскрикнул Грюндель.— Вы, перенесший позор! Не хватает смелости! Hilf ihm! [1] — кивнул он своим солдатам.

Двое с плетьми, подскочив с двух сторон, мокрыми, заляпанными сапогами нажали на колено старшего лейтенанта, с усилием выпрямляя его ногу. Электрошнур, натянувшись, как струна, намертво затянул петлю на шее. Несчастный обеими руками ухватился было за натянутый провод, будто мог помешать петле затянуться...

Когда эсэсовцы с плетьми наступили на согнутое колено старшего лейтенанта, по толпе пленных прокатился сдавленный стон и сбитые в кучу люди шевельнулись — будто судорога прошла по ним. Тотчас автоматчики приподняли угрожающе оружие. И Василий, не в силах больше ни на что смотреть, чувствуя, что вот-вот от бессильной ярости, от ужаса происходящего потеряет сознание, закрыл глаза.

— Смотри! — кто-то прохрипел ему в самое ухо и больно толкнул кулаком в бок.— Смотри...

Это опять был майор Паровозников. Тонкие губы его были бледны, сквозь отросшую щетину на щеках и подбородке просвечивала белая, как бумажный лист, бескровная кожа, а глаза ничего не выражали. Они, эти светло-серые глаза майора, как показалось вдруг Кружилину, прямо на виду худели...

Василий покорно глянул вперед. Старший лейтенант, как ранее подполковник, сидел, прислонившись спиной к стенке, будто уснул, и голова его во сне чуть склонилась вбок. Грюндель внимательно и удивленно смотрел на советского командира, словно не веря, что тот уже мертв.

Затем круто повернулся, сверкнув под тусклой лампочкой мокрым плащом, сделал два шага к дверям и опять резко повернулся к заключенным.

— Господа, я очень сожалею,— начал он злым и сухим голосом, вытянув сильно вперед широкий раздвоенный подбородок,— очень я сожалею, что больше ни у кого из вас не нашлось такого мужества, как у этого офицера. — Немец кивнул на лежащий вдоль стены труп подполковника-самоубийцы.— Чем больше вы будете убивать сами себя, тем больше облегчите нашу задачу. А задача наша, в сущности, проста — истребить вас. Не всех, не-ет! Нам, немцам, нужны рабы, рабочий скот... Если мы оставим из каждых десяти одного, нам будет достаточно. Оставлять будем самых сильных и тупых, интеллектуально недоразвитых. Мозг ваш нам не нужен, нужны мускулы... Кружилин, три шага вперед!

«Вот когда конец!» — сверкнуло у Василия в голове, под черепом больно треснуло, а из трещины потекло что-то, обжигая лоб, виски, затылок. Он стоял не шевелясь, окаменев, не чувствуя ни рук, ни ног, ни тяжести Назарова на своей шее.

— Ты, свинья! Тебе приказано! — заревел, багровея, Грюндель.

Кружилин не видел, только почувствовал, как сбоку подскочил немец с плетью, взмахнул ею и будто просек левое плечо. Василий пошатнулся, выпустил перекинутую через шею руку Назарова, понимая, что, если упадет сам, упадет и капитан Назаров. Их пристрелят обоих, и он будет виноват в гибели капитана...

...Потом Василий стоял перед Грюнделем, а тот долго смотрел на него. В жидких глазах немца подрагивало злое, беспощадное белесо-голубоватое пламя.

Вдруг Грюндель выдернул из кармана своего черного плаща руку в черной перчатке и молча протянул ее в сторону. Тотчас ближайший эсэсовец вложил в эту руку плеть. Василий сжался, опустил невольно глаза. Опуская их, успел заметить, что во взгляде немца, на всем его конопатом лице проступило надменно-презрительное удовлетворение. И это удовлетворение фашиста своей силой, беспредель-

[1] Помогите ему!

ной властью оскорбило Василия, наполнило каждую клеточку мозга, каждый сантиметр измученного тела чем-то горячим и тяжелым, будто от ненависти закипела вся кровь, которая была у него внутри. Он с трудом поднял набрякшие этой горячей кровью веки, но смотреть стал не в глаза немца, а на его мокрые плечи и тонкую шею. На резиновой ткани плаща были рассыпаны дождевые капли, каждая капелька отражала чужой утренний свет, падающий из зарешеченного окошка на потолке. Эти искрящиеся точки резали ему глаза, и Василий думал, что сейчас, как только немец ударит его плетью, он качнется вперед и, падая, вцепится обеими руками в тонкую шею фашиста, повалит его вместе с собой, пальцами продавит кожу и рванет, раздерет эту шею на лохмотья. Пусть они стреляют в него, Василия, прошивают его тело из автоматов — он не умрет, не оставят его силы до того момента, пока он не задушит этого фашиста, не оторвет ему голову...

Грюндель не ударил Василия, он только ткнул рукоятью плети в плечо, поворачивая Кружилина лицом к остальным пленным. И, постукивая рукоятью в свою ладонь, вновь заговорил:

— Вы находитесь уже не в России. И никогда больше туда не попадете. Разве что дымом из печи крематория... И России больше нет. И никогда не будет. Войска фюрера продвинулись в глубь ваших... бывших ваших лесов и степей на несколько сот километров и успешно продвигаются дальше. Наши танки и автомашины идут полным ходом, сопротивления нигде не встречают, потому что войска ваши смяты, раздавлены и уничтожены. Львов, Минск, Киев и множество других городов уже в наших руках. Скоро германские танки появятся на улицах Москвы. Первое, что они сделают,— развернутся на Красной площади и в упор расстреляют Мавзолей Ленина. И это станет концом нашей самой блестящей войны, концом вашей паршивой России... Это произойдет через две, в крайнем случае — через три недели.

«Врешь... врешь! — думал Василий неожиданно спокойно, понимая отчетливо и ясно, что конопатый этот немец действительно врет.— Верно, танки ваши где-то за Перемышлем, за Дрогобычем... Но так ли уже глубоко продвинулись ваши войска? Львов, Киев... А тем более — Москва?! Нет, нет!»

В голову Василия толчками била кровь, но все тише и тише, странным образом утихомириваясь.

— Из всех вас самым порядочным здесь является этот человек, этот солдат, — продолжал Грюндель, показывая плетью на Василия.— Мы, немцы, понимаем и ценим солдатский долг, мужество и верность. Этот солдат не бросил своего офицера, это вот дерьмо, которое вы держите на плечах.— Немец ткнул плетью в сторону Назарова.— Если он выживет, будет у... как вас? Василь...

— Кружилин,— проговорил неожиданно для самого себя Василий.

— ...будет у господина Кружилина в денщиках. Сапоги будет ему чистить, белье грязное стирать...— Грюндель резко повернулся к Василию.— Назначаю вас пока старостой этой камеры. Номер вашей камеры одиннадцатый.— И протянул ему плеть.

Василий, опешив и онемев, стоял не двигаясь.

— Берите же! — рявкнул Грюндель.

Василий, теперь даже не вздрогнув от зловещего этого окрика, еще помедлив, принял плеть.

— Так, хорошо...— усмехнулся чему-то Грюндель.— Хорошо, что вы приняли эту плеть — символ и средство вашей власти над этими безмозглыми существами, кое о чем раздумывая. Думайте, думайте, господин Кружилин.— Немец сделал ударение на слове «господин».— И вы найдете свое место среди великой немецкой нации, сделаете свою жизнь... К завтрашнему утру составьте список наличного состава вашей камеры — возраст, звание, состояние здоровья... Бумагу вам дадут.

Так же резко повернувшись лицом к угрюмо стоявшим вдоль стены пленным, Грюндель, сдерживая на губах усмешку, отчетливо произнес:

— За малейшее неповиновение вашему старосте — смерть. За словесное оскорбление его чести и достоинства — смерть. За недостаточное оказание ему знаков внимания, если он таковое в ком-либо усмотрит,— на первый раз публичная порка, на второй раз смерть... Надеюсь, я выразился ясно? Ауфвидерзеен, господа. До свидания...

Взмахнув полами плаща, Грюндель крутанулся и пошел прочь. Следом загрохотали по бетонному полу коваными сапогами эсэсовцы, затем автоматчики. С грохотом захлопнулась дверь, и в каменном мешке установилась тишина. Люди у стены стояли молча, лишь дышали тяжко и глядели на Василия. А Кружилин глядел на них, только сейчас поняв до конца, в каком же положении он оказался, не понимая, как это произошло, не зная, не представляя, что он теперь будет делать, что вот он сейчас, какое первое слово им скажет.

Василий стоял, опустив безвольно отяжелевшие руки. Потом он почувствовал плеть в правой ладони, приподнял эту плеть, короткую, тяжелую, сплетенную из жестких ремней, будто хотел получше рассмотреть ее. Плеть была новенькая, только что со склада, кожа резко пахла. Она ни разу не была еще в употреблении. Люди, стоявшие у стены толпой, молча наблюдали за действиями Кружилина. Наблюдал исподлобья и капитан Назаров, висевший на плечах майора Паровозникова и лейтенанта Кузнецова.

Помедлив еще секунду-другую, Кружилин размахнулся и швырнул плеть в сторону раковины. А сам опустился на бетонный пол, осел, будто надломился враз, подтянул к лицу колени, спрятал в них голову. Спина его затряслась.

Тогда майор Паровозников глазами попросил кого-то поддержать вместо него капитана Назарова, подошел к раковине, поднял плеть и протянул ее Василию:

— Возьми.

Кружилин не приподнял головы.

— Я самый старший в камере по званию. Я приказываю — возьми. А там видно будет... как ею действовать.

— Никак я не буду действовать.

— Ну, расстреляют тебя,— жестко произнес майор.— Легче нам всем, что ли, от этого станет?

Толпа уставших от долгого стояния людей зашевелилась, расползлась по камере. Люди принялись устраиваться, кто как мог. Назарова бережно положили на его место.

Никто ничего Василию не сказал. И сам Василий, приняв от Паровозникова плеть, долго молчал. Потом спросил:

— Унтерштурмфюрер — это что за чин у них?

— Это эсэсовское звание. Соответствует, кажется, армейскому лейтенанту,— ответил майор Паровозников.

Василий еще посидел недвижимо, поднялся, прошел к Назарову, сел возле него.

— Как вы себя чувствуете, товарищ капитан?

— Голова кружится. Наверное, от... от этого долгого стояния. А так ничего... Неужели я буду жить?

Назаров за эти несколько дней оброс густой щетиной. На голове у капитана не было ни одного седого волоса, а вылезшая щетина на лице была наполовину белесой. Это удивило Василия, и он почему-то подумал: неужели с бороды люди седеть начинают?

— Я буду, буду жить, Кружилин! — зашептал вдруг капитан Назаров, лихорадочно блестя глазами.— Ах, сволочи! Что с людьми делают! Со старшим-то лейтенантом этим... Я, назло им, выздоровею! И вырвусь отсюда! Мы с тобой вырвемся вместе. И будем их, гадов, бить, стрелять, давить... Пока ни одного не останется! Пока ни одного... на всей земле!

* * *

«Да, раньше капитан Назаров был не такой...» — все размышлял Василий Кружилин, пока их колонна по раскисшей дороге тащилась куда-то в неизвестность. Дорога петляла между жиденьких перелесков с молодой, ослепительно засверкавшей под первыми лучами солнца листвой, мокрой от ночного дождя, иногда выбегала на открытое поле. Грязь была здесь не такой, как в Сибири, как в Ойротии, отметил Василий. Светло-серая, клейкая, точно перемешанная с яичным белком, она крепко присасывала деревянные колодки, и, чтобы из нее выдернуть ногу и сделать следующий шаг, нужно было напрягать все силы.

Солнце часто скрывалось за текущими по блекло-зеленому небу дымными облаками, и тогда сразу становилось холоднее, ветер пронизывал ветхие лохмотья, и по грязному, давно не мытому телу Василия словно рашпилем шоркало.

Валентин Губарев, хлюпая по грязи, сильно размахивая руками, пристально всматривался зачем-то в перелески и невысокие холмики, часто оглядывался, чем привлек даже внимание конвоиров. Один из них, пожилой, толстый, с изъеденным в дыры лицом, погрозил спустить на него собаку, а потом шагал сбоку колонны, все время напротив Валентина.

— Думает, бежать примеряюсь, сволота,— произнес негромко Валентин.— А я не примеряюсь.

— Hörf auf zu quatschen! [1] — угрожающе крикнул немец.

Максим Назаров шагал бок о бок с Василием, согнувшись, уныло глядя в землю. Покрасневшие от холода ладони он беспрерывно совал в рукава полосатой куртки. Сковывающая их цепь была длиной метра в полтора, и Василий, чтобы Назарову было легче, почти всю ее намотал на свою руку.

По этой дороге они тащились до полудня, сделав один только привал где-то на открытой поляне. Конвойные приказали им сесть прямо в холодную грязь, и ослушаться было нельзя. Отдых превратился в пытку, лучше бы уж, несмотря на смертельную усталость, идти дальше. Но конвойные по очереди обедали, сидя на взявшихся откуда-то легких раскладных стульчиках, подолгу пили из своих фляжек горячий кофе, что-то рассказывали друг другу и на все поле гоготали. Затем кормили своих собак.

Так, коченея, люди сидели в грязи часа два, если не больше.

Наконец колонну подняли и повели дальше по пустынной дороге. За все время с самого утра колонну никто не обгонял и навстречу никто не попадался. Жизнь кругом словно вымерла.

Когда люди уже начали падать от изнеможения и голода, дорога заметно поползла вверх между негустых деревьев, и идти стало еще труднее. Конвоиры теперь оживились, громко орали, требуя держать равнение. Некоторые бегали вдоль колонны, то в одном, то в другом конце ее громко, как выстрелы, щелкали длинные плети. Все это означало, что колонна приближалась к месту назначения.

И, действительно, вскоре за верхушками деревьев показались темные от дождя крыши строений. Миновали пропускной пункт, из будки выскочил высокий солдат, торопливо поднял полосатый шлагбаум, и колонна двинулась дальше. Впереди замаячила какая-то кирпичная башня, по всем признакам водонапорная. А за башней возникли островерхие сторожевые вышки, так знакомые каждому заключенному. «Все, кажется, пришли»,— с облегчением подумал Василий.

Но конец мучительного пути все не наступал. Водонапорная башня давно осталась позади, а колонну гнали и гнали дальше по залитой грязью дороге, мимо высокого дощатого забора, поверх которого в несколько рядов была натянута колючая проволока, мимо сторожевых вышек. За забором виднелись темные постройки заводского типа, высокие кирпичные трубы, некоторые из них жиденько дымили...

Минут через двадцать колонна вышла на мощенную камнем довольно широкую улицу, по бокам которой стояли дощатые, казарменного вида бараки, каменные коробки с редкими и очень маленькими окнами, миновали гараж. Опять показались вдруг сторожевые вышки.

Наконец колонна остановилась на просторной площадке. Грязи здесь не было, отмытые дождем гладкие булыжники блестели. Василий понял, что они наконец прибыли в какой-то лагерь. На миг ему почудилось, что площадка вымощена не булыжником, а человеческими черепами. Голова закружилась, он закрыл глаза. Но, боясь упасть, тут же открыл их, стал глядеть на высокую трехэтажную деревянную вышку, под которой был, видимо, главный вход в лагерь, на запертые массивные чугунные ворота. По верху ворот шли какие-то буквы. «Ob es recht hat oder nicht — es ist mein Vaterland»,— прочитал Василий и поглядел на стоявшего рядом Губарева. Тот чуть скривил губы и вполголоса перевел: «Право оно или нет — это мое отечество». Назаров поднял глаза, тоже прочел эти слова, затем поднял глаза еще выше — на болтающийся под несильным ветром черный

[1] Прекратить разговоры!

флаг с белой свастикой, укрепленный на тонком железном стержне, но ничего не сказал.

Справа и слева к сторожевой вышке примыкали не очень длинные одноэтажные каменные коробки с крепкими железными решетками на окнах. А далее в ту и другую сторону тянулись высоченные, в несколько рядов, заборы из колючей проволоки. Проволока была натянута на изоляторы. Это означало, что колючий забор постоянно находится под током высокого напряжения.

Василий более или менее спокойно оглядел проволочный забор под током, шеренгу сторожевых вышек, тянувшихся влево и вправо от главного входа, маячивших там часовых. Все это было знакомо по другим лагерям, ничего иного он не ожидал и тут. Но циничные в своей откровенности слова над воротами его поразили. Он стоял и думал: что же это получается? Не важно, что их отечество попирает правду и человечность, чинит на планете разбой и невиданные зверства? Это их отечество... Не важно, что льется реками человеческая кровь, разрушаются в пыль и прах города, в газовые камеры сотнями и тысячами загоняются даже женщины и дети... Это делается во имя их отечества! Что же это тогда за отечество такое? И люди ли живут в нем? И неужели непонятно, что государство, исповедующее подобные нравственные принципы и воплощающее их на деле, враждебно человеческой природе и самой жизни, оно долго не выживет, оно обречено...

Колонна, обессиленная переходом, стояла недвижимо и безмолвно, лишь беспрерывно кашляли измученные люди. Конвойные, повернувшись лицом к колонне, держали автоматы на изготовку, будто боялись, что именно сейчас-то люди в полосатых одеждах взбунтуются и побегут в разные стороны. Возле ног каждого конвоира лежала или сидела рослая, с теленка, овчарка. Собаки, вывалив языки, тяжко и часто дышали. Едва какой-нибудь заключенный, стоящий в крайнем ряду, переступал с ноги на ногу, овчарки угрожающе рычали и скалили зубы. Псы знали свое дело.

Остроту их зубов Василий помнил, хотя произошло это больше года назад, в январе сорок второго. На плацу лагеря Ламсдорф точно такие же псы под рев пьяных эсэсовцев остервенело рвали его тело. И если бы не ватное промасленное пальто...

Тогда, в середине января, в Ламсдорфе стояли лютые морозы, на работы не выводили, потому что у заключенных никакой одежды, кроме полосатых курток из тонкой материи и штанов, вот этих, какие на людях и сейчас, не было. На весь блок, в котором жил Василий, имелось рваное, пропитанное мазутом ватное пальто, неизвестно как там очутившееся. Староста блока, пожилой тощий поляк, разрешал им пользоваться тем заключенным, чья очередь подходила заготавливать дрова или воду.

Числа шестнадцатого или семнадцатого подошла очередь Василия. Он поднялся затемно, сполз с верхних нар, натянул это заскорузлое от мазута и человеческого пота пальто и вышел наружу. После спертого и затхлого воздуха тесного помещения в грудь ударили свежие струи, и, как всегда, голова закружилась. Прислонившись к бревенчатой, покрытой хлопьями изморози стене, Василий чуточку отдышался, впрягся в лямку обледенелых санок, на которых стояла железная бочка, и потащил их к колодцу.

Колодец был в дальнем конце лагеря, там раздавались уже крики и ругань. «Опоздал, пораньше надо бы, простоишь теперь в очереди...» — мелькнуло у Василия. От соседних блоков тоже двигались к колодцу санки с бочками.

Чтобы как-то выиграть время и поспеть к колодцу хотя бы не последним, Василий решил пробежать с санками прямо через плац. Вообще-то это запрещалось, но в такую рань офицеров в лагере еще не было, а часовые на вышках обычно не обращали на водовозов внимания. Главное — не попасть на глаза дежурному по лагерю или внутренним охранникам. Но если и попадешься, огреют тебя несколько раз плетью — на том все и кончится.

На этот раз, однако, едва Василий дотащил санки до середины плаца, со стороны входных ворот послышался рев мотора и через несколько секунд мелькнули из-за угла эсэсовской казармы автомобильные фары. Сердце Василия оборвалось. Если его заметят, быть беде: в автомобиле солдаты не разъезжают по ночам, в машине, конечно, офицер. А немецкое офицерье сейчас злее собак — фашистов расколошматили под Сталинградом, добивают теперь окруженные дивизии. Все это

заключенные знали, в одном из блоков был самодельный радиоприемник. Немцы об этом, видимо, догадывались, время от времени устраивали повальные обыски, но найти радиоприемник не могли.

Согнувшись, задыхаясь от напряжения, Василий побежал. Но было поздно. Развернувшись у казармы и перерезав плац сильными лучами фар, автомобиль, набирая скорость, стал приближаться к Василию. «Задавит!» — пронеслось у Кружилина в мозгу. И он действительно попал бы под колеса, если бы не успел отскочить в сторону, за санки с бочкой.

Черный автомобиль с ревом сделал полукруг и, заскрипев тормозами, остановился в пяти — семи метрах. Из него вышел, почти вывалился коротенький, но угловатый и костлявый гауптштурмфюрер — сам помощник коменданта лагеря, а следом за ним еще несколько человек. В машине еще кто-то остался, белело в глубине чье-то лицо,— Василию даже показалось, что там сидит женщина с распущенными волосами.

— Stinktier! Zeig deine Nummer! [1] — заорал помощник коменданта.

— Siebzehntausenddreihundertvierundzwanzig, Herr Hauptsturmführer [2],— вытягиваясь, отчетливо проговорил Василий.

Раздался собачий лай, к месту происшествия тяжело бежали два охранника, псы на коротких поводках рвались у них из рук. Охранники, разжиревшие, толстые, вытянулись по швам перед начальством, но зады их, обтянутые шинельным сукном, все же выпячивались. Гауптштурмфюрер, тряся от гнева щеками, что-то орал, грозя отправить обоих на Восточный фронт, стеганул хлыстом по лицу одного, потом другого. И вдруг оба они нагнулись, словно заводные, отстегнули поводки от собачьих ошейников. Василий попятился от ринувшихся на него собак. И тотчас почувствовал, как безжалостные собачьи зубы обожгли икру на левой ноге. Второй пес с ходу прыгнул на грудь, Василия словно бревном ткнуло, он упал...

Потом Василий и остервенело ревущие псы катались по утоптанному снегу, от ватного пальто летели клочья, под бока, спину и плечи ему словно сыпались крупные раскаленные угли. Василий чувствовал, как пахнет собственная его кровь, понимал, что озверевшие от этого запаха псы, если их не оттащат, заедят его насмерть. Он прикрывал руками лицо и горло, и делал это скорее инстинктивно, потому что в голове все сильнее звенела страшная, предательски соблазняющая мысль: «Пущай разом перекусят горло, и все... и все... Ведь это просто какая-то секунда...» И все-таки прикрывал до тех пор, пока левая голая ладонь не оказалась в горячей собачьей пасти. Василий еще почувствовал, как острые собачьи зубы вроде откусили пальцы,— и тут сознание разом потухло...

Очнулся он в вонючем лагерном лазарете через трое суток, долго глядел в грязную, облупившуюся штукатурку потолка, пытаясь сообразить, где он и что с ним произошло.

— В счастливой ты рубашке, видно, родился,— сказал ему пожилой костлявый лазаретный санитар.— В машине той какая-то потаскушка ихняя еще была. Она и заверещала: хватит, мол, ее мутит от запаха крови. Они и оттащили псов, а то бы...

— Ты, папаша, русский, значит... Где в плен попал? — спросил Василий.

— Кака те разница, где попал? Допросчик! — хмуро откликнулся санитар.— Спасибо скажи твоему старосте блока. Он тя, поляк долговязый, сюда на свой страх велел своим привести. Помощник коменданта приказал никакой тебе помощи не давать. Русы, грит, живучи, зарастет, как на собаке. Не заросло бы... Узнает если, несдобровать поляку... Ну, раз очнулся, скажу, чтоб в барак тебя счас. Поляка тоже надо пожалеть. Ничего, там доклемаешься. Я буду ночами ходить... Так ничего, мяса фунта с три оборвали с тебя собаки. Мы кое-чего, какие лохмотья висели, прилепили тебе назад их. Отметины, само собой, на всю жизнь останутся на память. Ну, а палец, конечное дело, уж не отрастет... Безымянный-то пальчик отъела тебе собачонка.

...Переступая с ноги на ногу, глядя на чугунные ворота с надписью: «Право оно или нет — это мое отечество», на псов с вываленными горячими языками, Василий почувствовал вдруг, как заныла изжеванная собаками левая кисть ру-

[1] Вонючая скотина! Номер!

[2] Семнадцать тысяч триста двадцать четыре, господин гауптштурмфюрер.

ки. Именно за эту руку он был и прикован к Назарову. Василий потер ее правой ладонью, сжал в кулак, поднес к глазам и долго его рассматривал, будто видел впервые. Двух фаланг на безымянном пальце не хватало, обрубок не сгибался и торчал, как сучок, кверху.

Рядом тяжко вздохнул Назаров. Василий глянул на него — капитан стоял, уронив голову, тупо глядел вниз, отрешенный от всего. Не один Назаров стоял в такой позе, но обвисшие и скорбные щеки Назарова вызвали почему-то не жалость, а досаду, и впервые вдруг где-то в глубине шевельнулось раздражение на этого человека, его бывшего командира. Кружилин перевел взгляд на Губарева — тот стоял сбоку, спрятав в рукава полосатой куртки посиневшие ладони, как-то странно выпятив губы, точно хотел свистнуть. Почувствовав на себе взгляд Василия, наклонился к нему и не менее странно произнес полушепотом:

— Вот послушай, Вась...

И начал вполголоса декламировать:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

— Как? — спросил он, кончив декламировать.

— Что?

— Стихи-то? — И Губарев поглядел строго и ожидающе.

— Хорошо. Я их с детства знаю.

— Это очень хорошо. Это «Ночная песня странника» Гёте, величайшего поэта Германии.

— Гёте? Это, по-моему, стихи Лермонтова.

— Лермонтов их перевел только, Вася. Гениально перевел...

С того места, где стояли Василий, Губарев и Назаров, была видна верхушка красной черепичной крыши длинного, видимо одноэтажного, здания, высоко над крышей поднималась квадратная кирпичная труба, стянутая в нескольких местах, через ровные промежутки, железными ремнями. Труба чуть дымила, и люди в полосатых одеждах знали, что это за крыша и что за труба, ибо крематории во всех немецких лагерях почти одинаковы. Чуть дальше виднелось еще несколько таких же труб.

— А я защитил диссертацию по творчеству Гёте,— все так же негромко сказал Губарев, глядя на эту трубу. Потом чуть повернулся направо, долго смотрел поверх каких-то построек на синеватые склоны невысокой горы, густо заросшей деревьями.

И вдруг глаза его набрякли, в свете тусклого дня в них блеснули слезы.

— Валь?! — качнулся к нему Кружилин.— Чего ты?

— Ничего, ничего,— прошептал Губарев.— Я всю жизнь мечтал побывать в Тюрингии... в Веймаре...— Голос его прерывался, заглох совсем, будто горло заткнуло пробкой. Он сделал глоток, проглотил эту пробку.— В городе, где жил великий Гёте...

Василий не понимал, что происходит с Губаревым, не знал, что сказать.

— Ничего... Задавят наши фашистов — и побываешь.

— Уже, уже...— сдавленно прошептал Губарев.— Только что был там, несколько часов назад. Я узнал это место. По репродукциям, по фильмам... Это вот...— Губарев кивнул в сторону.— Это гора Эттерсберг. Она вся заросла дубами и буком. Гёте здесь и написал эти стихи в 1780 году, на стене охотничьего домика, в горах, карандашом... Мы знаешь где? Мы знаешь где? В концлагере Бухенвальд. Бухенвальд — это значит буковый лес...

Василий как-то сразу даже и не мог осознать, что же такое говорит ему Губарев, а потом для этого уже не было времени. По колонне пленных прошло движение, возник было говорок и увял, точно придавленный чем-то. Василий поверх голов увидел, как медленно распахиваются массивные ворота под вышкой — словно челюсть чугунная разверзлась лениво и нехотя.

Автоматчики, которые конвоировали колонну до Бухенвальда, стали по сторонам, все так же держа оружие на изготовку, откуда-то появились эсэсовцы с карабинами и резиновыми дубинками, подняли крик, галдеж, хлопнул где-то сбоку выстрел. Колонна, грохоча по булыжнику деревянными башмаками, потекла в открытые чугунные ворота, сперва медленно, потом все быстрее. Но эсэсовцы орали свое: «Шнель, шнель!», колотили крайних прикладами и дубинками. Каждый заключенный, чтобы избежать ударов, пытался забиться в середину колонны, побыстрее втиснуться в ворота. Люди давили друг друга, некоторые падали, их топтали бегущие сзади. Еще донеслось сбоку два или три выстрела, треснула негромко, заглушенная грохотом башмаков, автоматная очередь.

— Сволочи! — выкрикнул Василий, плечо в плечо бежавший с Губаревым и Назаровым.

— Тише ты! — обернулся к нему на ходу Губарев, кивнул на цепь: — Услышат — и сразу пуля!

У самого жерла ворот Василия, Назарова и Губарева стиснули так, что у всех захрустели кости, и они уже не сами вбежали туда, тупая и неостановимая сила протолкнула их внутрь лагеря, и первое, что Василий увидел, была виселица. Она стояла одиноко и зловеще на пустынном плацу чуть слева, неподалеку от ворот, несильный ветер раскачивал пустую петлю. Василий не удивился, увидев виселицу,— они были почти в каждом лагере. Василий знал, что веревочную петлю на этой виселице, как и на всех других в немецких лагерях, давно не надо намыливать — от частого использования веревка насквозь пропиталась человеческим жиром, залоснилась, была гладкой и скользкой, как налимье тело. Он только подумал, что если их погонят сейчас направо, к крематорию, то это могут быть их последние шаги на земле.

Их погнали направо. Василий, чувствуя тупую боль в сердце, только беспомощно оглянулся на Губарева, затем поглядел на Назарова. Тот бежал, глядя, как всегда, в землю, а Губарев повернул к Кружилину худое, окрашенное предсмертным, землистым цветом лицо.

— Кажись, все, Вася,— мотнул он головой в сторону крематория и болезненно дернул сухими губами.

— Не-ет! — с неожиданным самому себе упрямством и злостью на кого-то закричал что было сил Василий.— Я счастливый, понятно-о?!

Крик его потонул все в том же грохоте деревянных башмаков по камням.

* * *

Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука, председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал неподвижно Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были прикрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб в крупных каплях пота.

— Извините, Поликарп Матвеевич,— слабым голосом произнес Нечаев, не открывая глаз.— Вы извините меня.

— Сейчас придет врач, Федор Федорович.

— Это вы напрасно... Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.

После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается из могилы. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, где-то в середине еще прошлого года уволившаяся из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам возилась с ним в кабинете. Она поила директора какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике его стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов.

Нечаев строго-настрого запретил ей сообщать кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.

Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского ОРСа, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла на ноги весь райком партии, партком завода и весь заводской медпункт.

— Не смей! — приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону.— Холодное полотенце лучше на голову дай... Обратно в столовую прогоню!

— Это дело ваше! — резко проговорила Наташа.— Я не сама к вам в секретари напросилась...

Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся, в кабинете находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.

Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим; иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарами, уносили оттуда на носилках замертво.

— Надо капитально подлечиться, Федор Федорович,— заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.

— Да? А завод?

— Что ж завод?.. Дело идет о вашей жизни или смерти.

— Нет, я здоров. Это — так...

Кружилин посоветовался по телефону с Субботиным, тот немедленно отреагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска старичка профессора, известное на всю страну светило медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.

— Денег девать некуда вам с Субботиным, так хоть на путешествие этого профессора истратить,— дернул только Нечаев своей куцей бородкой.— Он и без того знает, что я здоров.

Приезжий профессор несколько дней возился с Нечаевым, на прощанье выпил у него дома несколько чашек чая и вместе с ним же пришел в райком партии.

— Федор Федорович абсолютно здоров,— огорошил он Кружилина.

— Вот,— торжествующе сказал Нечаев.

— Но процентов, знаете... ну, тридцать не тридцать, а процентов двадцать кожи и мяса на костях у него сгорело. И сейчас организм просто не справляется, знаете ли... чихает, как мотор, когда кончается бензин.

— Вот,— опять произнес Нечаев, но теперь уныло, с обреченной усмешкой.

— Что вот? — сердито вскрикнул старичок профессор.— Удивительно не то, что сейчас не справляется,— удивительно, как вы, любезнейший Федор Федорович, вообще обманули смерть.

— С вашей помощью, дорогой профессор,— буркнул Нечаев.

— С моей? Нет-с и нет-с. И сейчас я, собственно, приехал еще раз на вас взглянуть из любопытства. Я не знаю, не могу понять: почему, откуда и какие у вас жизненные силы? А уж поверьте, в медицине, в человеческом организме я немного разбираюсь.

— Что же вы посоветуете, профессор? — спросил Кружилин.

Старичок, худенький, седенький, снял очки, подслеповато сощурился, глядя поочередно то на Кружилина, то на Нечаева, протер носовым платком глаза и снова надел.

— Видите ли, молодые люди... Я советую ему работать, как работал. Федора Федоровича я предупредил — конец может наступить в любой день, в любую минуту... Но если оставить привычный ритм жизни, все эти заботы — кто знает, не наступит ли она еще раньше?! Да, кто знает... Жизнь суть движение, постоянная работа мышц, мозга, определенное состояние психики. Если еще популярнее вам сказать, всякий механизм в бездействии быстро ржавеет... Пейте, Федор Федорович, мою микстуру, я туда ввел некоторые новые компоненты...

Но микстура старичка профессора помогала все меньше. Нечаев сваливался с ног все чаще, синел, хрипел и надолго терял сознание. Придет ли он в себя после очередного приступа, никто сказать не мог. Никто, естественно, не мог знать, какой приступ будет последним, но все видели и понимали, что Федор Федорович Нечаев умирает.

Сегодня приступ случился во время его выступления на бюро райкома партии. Обсуждался — в который уже раз! — вопрос о жилье для рабочих завода. Два года идет война, и два года этот проклятый вопрос не сходит с повестки дня. Вокруг завода, там, где раньше была степь и гулял на свободе ветер, вырос целый бревенчатый город, на главной улице возвышалось десятка полтора, небольших, правда, двухэтажных кирпичных зданий. Но около тысячи человек все еще жили в землянках. Правда, это были не те люди, что прибыли в Шантару осенью 1941 года. Завод расширялся, постоянно осваивал новые виды оборонной продукции. Сначала выпускал одни артиллерийские снаряды малых калибров, но постепенно переходил на более крупные. Завод находился по-прежнему в ведении Народного комиссариата боеприпасов, но год назад, вскоре после пожара на заводе, появилась в Шантаре группа работников Народного комиссариата минометного вооружения с соответствующими полномочиями и распоряжениями Москвы организовать на заводе производство минометов и мин. Кружилин, привыкший уже к невозможному, нисколько не удивился, только поинтересовался, будут ли еще прибывать рабочие.

— А как же,— ответили ему.— И специалисты, и рабочие, и кое-какое оборудование. Как с жильем?

— Нормально,— сказал Кружилин ровно и спокойно, ибо что-то другое говорить было бесполезно, возражать, жечь нервы бессмысленно, как бессмысленно осенью протестовать против наступления зимы. Зима все равно наступит, небо не закроешь, и в положенный срок сверху повалит снег. В определенное время приедут и новые сотни, а то и тысячи рабочих, и надо их как-то принимать, устраивать. И они приезжали, их принимали, устраивали, завод давно выпускает и минометы, и мины к ним. Как все это получалось, Кружилин Поликарп Матвеевич не знал, не понимал. И очень даже удивился, когда нынешней весной «за успешное выполнение специального задания правительства по разработке и изготовлению новых образцов боеприпасов» был в числе других награжден орденом Ленина. Так было сказано в указе,— значит, как-то это получалось, выходит...

Нечаев дышал тяжело, жиденькие волосы на голове тоже смокли, висели сосульками.

Савчук, пристроившись у изголовья, беспрерывно и молча вытирал большой выпуклый лоб Нечаева носовым платком.

— Спасибо, Игнат Трофимович... Спасибо, — говорил директор завода Савчуку, человеку немногословному и в общем суровому, но сейчас в его темных глазах были боль и нежность.

Кружилин глянул на парторга и тотчас отвернулся, подумав, что если в глазах Савчука проступит влага, то это будто вроде и удивительно, а ведь, собственно, удивляться нечему, как бы у него у самого не блеснули слезы. Черт, подумал еще Кружилин, как мы мало знаем друг о друге,— что вот он, Кружилин, знает о Савчуке? И как мало в этой беспросветной жизни проявляем заботы друг о друге. Только недавно он, Кружилин, узнал, что сам-то Игнат Трофимович с женой и двумя детьми-школьниками до сих пор живет в землянке.

— Ка-ак?! — удивился Кружилин, в самом деле искренне не понимая, как же так получилось: ведь ему, помнится, выделялась где-то даже двухкомнатная квартира.

— А что? — Савчук спокойно поглядел на секретаря райкома.

— Тебе ж выделяли жилье!

— Я отдал квартиру одному старичку, мастеру механического цеха. Это гениальный старик... У него дочка туберкулезная.

— Это... это непорядок! — вымолвил Кружилин зло, с раздражением.— Нашелся филантроп! Старичка бы тоже не обидели.

— Какой там непорядок? — так же просто и мягко произнес Савчук.— Сейчас непорядок, может, и есть самый высший порядок... Из землянок я уйду последним.

— Это уже, извини, глупо.

— Может быть,— холодно сказал Савчук и отвернулся, давая понять, что разговор никчемный и продолжать он его не намерен.

Кружилин где-то в душе долго был обижен, что Савчук тогда, осенью сорок первого, жестоко отхлестал его на первом суматошном, непродуманном совеща-

нии в райкоме партии по вопросу сроков пуска завода. Он пригласил людей посоветоваться, что же делать, отправлять ли в обком партии нереальный, как он считал, график восстановления только что прибывшего завода, а Савчук высмеял при всех его беспомощность и потребовал объяснить, когда будут стройматериалы, жилье, когда дети рабочих завода пойдут в школы. Не скоро понял Поликарп Матвеевич жесткую правоту этого человека, правоту, вызванную обстоятельствами. И когда ЦК утвердил его парторгом завода, воспринял это без энтузиазма, скорее из чувства дисциплинированности. Потом увидел и понял, что малоразговорчивый, внешне неторопливый этот человек обладает ясным умом, непреклонной волей, он всегда знает, чего хочет. Не одобрял он только этой его сверхскромности. Но тот короткий разговор о квартире как-то вдруг приоткрыл душу Савчука больше, чем все эти долгие и кошмарные месяцы. А теперь вот выражение глаз, носовой платок в жилистой, худой руке, которым он молча и беспрестанно вытирает пот со лба и щек Нечаева, сказали до конца о том, что этот украинец из той же породы, что и покойный Антон Силантьевич Савельев, что и Нечаев, и Хохлов. Только у каждого из них своя суть и свой характер.

— Я вот что думаю,— с трудом заговорил Нечаев с дивана.— Я это и хотел сейчас на бюро сказать... Что там наши рабочие, в тайге, делают? Грибы, что ли, собирают? По ягоды ходят? Пора, наконец, кончать с землянками. Лесу-то нам еще требуется всего ничего, кубометров с тысячу. Ну, может, чуть больше... Надо к концу июля лес заготовить полностью, как хотите... И сплавить сюда. Ведь подумать только, как нам повезло,— река! Несколько дней — и древесина здесь... Распиленная. Пилить, пилить, прямо на месте. Поезжай туда сам, Игнат Трофимович. Я понимаю, ты только что вернулся из Москвы, у тебя на заводе дел накопилось. Но это для нас сейчас самое главное. Мы тут без тебя ничего... Я оклемаюсь вот... Поезжай. Возьми пильщиков, сколько надо. Слесарей бери, токарей снимай со станков. Бери кого хочешь, я разрешаю... К зиме ни одного человека чтоб в землянке не было. Тебя последнего я лично приеду выселять. Надо бараки из плах строить, засыпные. Мы сделали ошибку, построив много бараков из бревен. Расточительство в наших условиях. Поезжай...

— Хорошо, Федор Федорович,— негромко сказал Савчук.

— Ну вот,— облегченно вымолвил Нечаев.— Ты все это сможешь... И вообще — что бы завод, что бы я делал без тебя?

— Ну уж...

— Нет, я знаю.

Длинная речь заметно утомила Нечаева, с каждым словом пот выступал все обильнее, под конец грудь директора затряслась, он кашлянул и захрипел. Потом голова его свалилась легонько набок. Хохлов, молча стоявший у окна, сделал несколько шагов к дивану и испуганно замер. Кружилин стремительно поднялся. Только Савчук не шевельнулся, все продолжая мокрым уже платком вытирать с лица Нечаева испарину. Потом взял руку, пощупал пульс.

— Потерял сознание!.. Где же врач?

И в это время внизу, на первом этаже, хлопнула входная дверь, затопало по лестнице множество ног. Первой в кабинет вбежала жена Нечаева, еще не старая, красивая женщина с измученными глазами, простоволосая и растрепанная. «Федя! Федя!» — вскрикнула она, рванула ворот его рубашки и, плача, принялась растирать ему грудь. За ней мелькнула Наташа Миронова, опустилась перед диваном на колени, всхлипнула.

— Ты что?! — зло крикнула на нее жена Нечаева сквозь слезы.— Перестань скулить! Намочи полотенце... Есть тут какая-нибудь тряпка?

Наташа вскочила и побежала из кабинета, на ходу сдергивая косынку. У дверей она чуть не столкнулась с врачом заводского медпункта. Врач, женщина лет сорока, чем-то похожая на жену Нечаева, на ходу раскрыла медицинский свой баульчик, опустилась, как Наташа до этого, на колени перед диваном. В руках у нее был уже шприц, она сделала укол в худую руку Нечаева... А в кабинете уже гремели, раскладывая носилки, двое санитаров.

Через несколько минут директора завода, так и не пришедшего в сознание, унесли. До дверей с одной стороны носилок шла, вытирая мокрые щеки, его жена, с другой — врач в белом халате, а сзади всех Наташа. Потом сзади оказалась жена Нечаева, она, прежде чем скрыться за дверью, обернулась, вздохнула:

— Боже мой, боже мой... А вам спасибо.

Неизвестно, за что она поблагодарила их, трех крепких и здоровых мужиков, и от этой благодарности всем стало неловко, все почувствовали какую-то великую обязанность перед Нечаевым, его женой, перед этим ярким, солнечным июньским днем, полыхающим за окном...

Потому, может быть, в кабинете стояла некоторое время неловкая тишина, а Сталин в полувоенной, полугражданской своей форме строго глядел с портрета над столом, и его сухой и усталый взгляд стерег эту тишину.

— Ах, как это несправедливо!— хрипло выдавил наконец Хохлов.

Ему никто не ответил. В кабинете стоял резкий запах лекарства, Кружилин почувствовал его только что, после этих слов председателя райисполкома.

— Да, дело плохо,— кивнул Кружилин, пошел к столу, но не сел на свое место, остановился.— Дело все хуже. Я вас, собственно, оставил, чтобы посоветоваться. Завод не может сейчас и неделю жить без руководителя... Надеюсь, вы меня правильно понимаете? Мы должны быть готовы...

Кружилин говорил трудно, сбивчиво, не глядя на Хохлова и Савчука. Но чувствовал, как парторг сурово поджал сухие губы, а Хохлов неловко глядел в окно.

— Я лично давно готов,— проговорил Савчук негромко и невесело.— И если что, я рекомендовал бы на должность директора завода Ивана Ивановича... вот его.

Хохлов, примостившийся было на подоконнике, сполз с него, заморгал быстро глазами.

— Что-с?

— Ну что же...— раздумчиво произнес Кружилин.

— В Новосибирске и в Наркомате, я думаю, с нашей рекомендацией согласятся.

— Нет, позвольте, позвольте! — Иван Иванович торопливо подбежал к столу, не соображая, видимо, что делает, взял стопку папок и бумаг, лежавших с краю, приподнял их, будто хотел этими бумагами сердито хлопнуть по зеленому сукну, но передумал в последнюю секунду и осторожно положил на место.— Я вот все удивляюсь недоразумению, в результате которого я хожу в председателях исполкома. Не делайте еще одной нелепости...

— А я — так рад, что это недоразумение произошло,— чуть улыбнулся Кружилин.

— Да?! — И Хохлов опять заморгал часто и покраснел.— Вы все подшучиваете надо мной? Рядовым инженером — пожалуйста. Я сам просился.

— Рядовым я тебя не отпущу,— сказал Кружилин.— Ладно, кончим пока об этом.

— Поразительно! — пробормотал Иван Иванович.— Очень, знаете, поразительно! Вы серьезные люди?

На это Хохлову никто ничего не ответил. Савчук и Кружилин, за два военных года как-то осевший, заметно ссутулившийся, думали каждый о своем.

— Ну что ж, Поликарп Матвеевич,— вздохнул наконец Савчук,— пожалуй, дня через два я выеду в тайгу.

Кружилин кивнул, соглашаясь. Савчук, хмурый, пошел было к двери, но вдруг остановился, улыбнулся чему-то широко и светло, так светло, что Кружилин спросил нетерпеливо и ожидающе:

— Ну?

— Это удивительно... А я забыл сказать... Вы знаете, кого я встретил в Москве, в Наркомате? Ни за что не угадаете.

— Почему же? — буркнул Хохлов.— Нашего милиционера Елизарова в роли наркома.

— Отца нашей Наташи.

— Кого-кого? — Кружилин высоко вскинул брови.

— Генерала Миронова. Отца Наташи,— повторил Савчук.— Он там работает заместителем начальника главка.

— Вот как! Наташе сообщил?

— Да ведь телефон, телеграф есть. Наверное, они давно друг друга телеграммами засыпали...

* * *

Теплый дождь, хотя и робкий, негустой, накрапывал с самого утра, обмывал крыши и деревья. Он снимал с изнуренной зноем земли усталость и молодил ее, возвращал ей первозданную красоту и свежесть, и все видели, что земля, как и прежде, юна и прекрасна.

Во всяком случае, об этом думал Поликарп Матвеевич Кружилин, шагая по шантарской нелюдной улице в ту сторону, где стоял домик вдовы Антона Савельева. Он шагал и чувствовал, как теплая и благодатная влага проникает сейчас в каждую пору земли, производит там свое оплодотворяющее священнодейство, почти физически ощущал, как в лощинах, сырых балках, над рекой и в дебрях леса зарождаются свежие, пахнущие небом туманы и, растекаясь, плотно закрывают землю, и именно под этим покровом и происходит извечное и никому не понятное таинство возникновения живого.

Из переулка вынырнула, как стайка воробьев, ватага босоногих, перемокших мальчишек, пронеслась, шлепая по дождевой луже, мимо Кружилина как раз в тот момент, когда Поликарп Матвеевич обходил ее, окатив его брызгами. «Вот сорванцы»,— беззлобно подумал он, и на миг возникли перед ним глаза сына, глаза Васьки, сгинувшего бесследно, сгоревшего где-то в безжалостном пекле войны. Глаза эти были беспомощно-незащищенными, они будто бы с тоской спрашивали: что ж ты, отец, как же ты допустил и смирился, что я погиб, что никогда не будет меня больше на земле? А ведь я вот так же любил бегать под дождем по лужам, любил дышать вот таким влажным и теплым июльским воздухом.

Поликарп Матвеевич, чувствуя тупую боль в сердце, проникающую куда-то все глубже и глубже, остановился, одной рукой ухватился за чей-то штакетник, другой расстегнул пуговицу френча, сунул под него ладонь, начал поглаживать сердце. «Ах, Вася, Вася! Сынок... Хоть бы кто сказал, где косточки твои лежат».

И глаза его, уже давно оплетенные сеткой морщин, заблестели.

Откуда ж было знать Поликарпу Матвеевичу, что сын его Васька пока жив, что он находится в Бухенвальде,— концентрационном лагере неподалеку от благословенного города Веймара, что полчаса назад он, подгоняемый плетью некоего Хинкельмана, пьяного и рослого эсэсовца в чине гауптшарфюрера, начальника рабочей команды лагерной каменоломни, влез на молодую пятиметровую ель и под его визгливую ругань раскачивается сейчас на самой верхушке дерева. Это было одно из любимых развлечений вечно пьяного Хинкельмана. Он загонял несчастных обыкновенно на деревья, которыми было обсажено одноэтажное, двухсотметровой длины здание, похожее на конюшню, расположенное неподалеку от зловещей каменоломни, и заставлял их раскачиваться на верхушках до тех пор, пока они от головокружения или обессиленные не срывались оттуда, ломая руки, ноги и позвоночники. Дальнейшая их судьба зависела от степени увечья. Если заключенный ломал позвоночник, Хинкельман или капо рабочей команды каменоломни, некий Айзель, тоже пьяница и к тому же гомосексуалист, присутствовавший обычно на развлечениях своего начальника, тут же его пристреливали, а труп велели отволочь в крематорий. Если была сломана рука или нога, заключенного могли отправить, после побоев, в больничный барак... И еще судьба сорвавшегося с дерева зависела от каприза, от настроения этого Хинкельмана. Вместо больничного барака он мог плетью указать на входную дверь этого длинного здания, похожего на конюшню. Но это была не конюшня, а специально оборудованное помещение для убийства выстрелом в затылок. Василий это уже знал и, раскачиваясь под нещадным в этот день бухенвальдским солнцем на верхушке ели, урывками вытирал едкий пот с лица, прикидывая, сколько времени он еще может продержаться на дереве и что сделает Хинкельман, как только он сорвется с дерева,— пристрелит, отправит в лазарет или в это здание, похожее на конюшню? А сорвется скоро, вот уже в голове все плывет, мешается и начинает подташнивать...

...Поликарп Матвеевич усилием воли заставил себя не думать о судьбе сына — он умел, научился это делать,— постоял еще несколько секунд возле забора и пошел дальше. Он думал теперь о том, что ему и самому хорошо бы съездить в тайгу и поглядеть, как там заготавливают древесину, но сделать это будет невозможно. Надо ему сейчас, за предстоящую неделю, объехать весь район, еще и еще раз

поглядеть, где и что с посевами, как люди готовятся к уборке. Сиротская, кажется, нынче уборка будет. Весной не было ни одного дождя, яровые почти посохли, оживит ли их этот дождичек? Хилый он, негустой, разошелся бы! Ах, если бы хоть и такой побрызгал пару недель назад! А план хлебосдачи невиданный. Иван Иванович Хохлов похудел нынче с этим планом. Добрый он мужик, еще, правда, малоопытный и стесняющийся как бы своей должности, но жаль, жаль будет, если его придется отдать на завод. Но что же делать, Нечаев сильно плох... Да, план хлебосдачи... И чувствует он, Кружилин, план этот будет еще увеличен. Кажется, Иван Михайлович Субботин уже поглядывает на телефон, чтобы сообщить об этом Кружилину... А что сдавать, вырастет ли нынче что?

Подойдя к маленькому домику, где жила Елизавета Никандровна с сыном, счищая грязь с сапог, Поликарп Матвеевич подумал еще, что вот уже почти три месяца — апрель, май и июнь — на всех фронтах стоит относительное затишье, сводки Информбюро, все три месяца скупые и короткие, сообщали в основном о незначительных боях и стычках. В публикациях Совинформбюро примелькались фразы, что повсюду «шли бои местного значения» и «за последние сутки на всех фронтах существенных изменений не произошло».

Не произошло, но вот-вот должно произойти, думал Кружилин, тщательно выскабливая подошвы сапог о прибитую возле крыльца железку. Этого ждут все, это носится в воздухе. Панкрат Назаров, рассказывал как-то Хохлов, предполагает, что «это начнется» не раньше чем в июне, к концу... Что ж, тоже стратег, все сейчас стратеги. Но вот и июнь прошел, идет третий день июля, а все тихо. Как он там, Панкратушка? Заглянуть надо и к нему будет!

Только через сутки с небольшим Кружилин убедится, что старый Панкрат Назаров ошибся в своих предположениях всего на несколько дней, что ранним утром пятого июля тишина эта на всех фронтах оборвется, две гигантские мировые силы, олицетворяющие на нашей планете свет и тьму, добро и зло, опять сойдутся в очередной смертельной схватке и под Курском, Орлом и Белгородом развернется битва, не имевшая себе равных прежде и которая не будет иметь равных до конца войны, что пятьдесят дней и пятьдесят ночей будут гореть воздух и земля, что с обеих сторон в этой невиданной битве будет участвовать в общей сложности более четырех миллионов человек, большая часть которых там и поляжет. Кружилину, рядовому секретарю сельского глубинного райкома партии, не было и не могло быть ведомо, что Гитлер еще 15 апреля, стремясь взять реванш за Сталинград, отдал оперативный приказ № 6, в котором провозгласил: «Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель». Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года. В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов... Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира...»

Говоря другими словами, Гитлер намеревался двумя мощными ударами на Курск — из района Орла и из района Харькова — окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе, а потом и разгромить советские дивизии и армии в районе Донбасса.

И не мог знать, конечно, Поликарп Матвеевич Кружилин в тот день, что войска уже изготовились к схватке, что немцы в соответствии с приказом № 6 заняли исходные позиции к наступлению и только ждут команды ринуться в битву, а советские войска полностью готовы к обороне, что ранним утром пятого июля, упреждая начало немецкого наступления, загрохочут десятки тысяч пушек Воронежского и Центрального фронтов, перемалывая фашистскую живую силу и технику, и что Курская битва действительно явится «факелом для всего мира», но только факелом, при свете которого все увидят: фашистская армия выдохлась, на крупные наступательные операции она больше не способна, а Красная Армия бесповоротно закрепила инициативу в своих руках, и давно уже положено начало бесславного конца не только Восточной кампании Гитлера, но и фашизма вообще. Он, Кружилин, ничего этого не мог еще знать и был озабочен только судьбой нынешнего урожая, подготовкой к уборке, озабочен заводом, жильем для рабо-

чих, здоровьем Нечаева, состоянием Елизаветы Никандровны Савельевой, жены Антона, к которой и шел сейчас, после ее тревожного звонка, и еще тысячей и тысячей дел, больших и малых, без исполнения каких достиг бы, возможно, цели оперативный приказ Гитлера № 6 или другие подобные приказы, достигла бы успеха операция «Цитадель» или другие подобные операции...

Елизавета Никандровна встретила Кружилина в кухне, всплеснула обрадованно худыми руками, кинулась раздевать.

— Ничего, я сам...

— Ах, боже мой, Поликарп Матвеевич! Как я благодарна вам, что вы зашли! Вот сюда садитесь, я вас чайком напою.

Кружилин сел за кухонный стол, огляделся. Он не был здесь давно, пожалуй, с весны, когда и без того хлипкое здоровье Елизаветы Никандровны стало особенно плохим, сердечный приступ следовал за приступом и однажды мартовской ночью она чуть не скончалась. Тогда-то он и был тут. Но потом ей неожиданно стало полегче, сердечные приступы не возобновлялись.

В кухоньке ничего не изменилось со дня похорон Антона, вернее, с того дня, когда Кружилин впервые побывал тут, приглашенный вместе с Нечаевым и Хохловым на ужин, во время которого впервые встретились три брата — Антон, Иван и Федор. Сколько времени прошло с того вечера! Антона самого нет в живых, Нечаев тоже вот-вот... Иван и Федор на фронте, вернутся ли, живы ли? С Иваном пока вроде все нормально, воюет, а Федор... Ушел — и будто в воду канул, ни одного письма домой. Кружилин этому как-то не удивлялся, и Анна, кажется, тоже. «Да живой, должно, чего ему... сделается...» — сказала она однажды при случайной встрече. И Кружилин почувствовал, что писем от мужа она не ждет, они ей не нужны, а если бы письмо пришло, никакой радости оно ей не принесло бы... А здесь, в крохотной квартирке Савельевых, все так же. Тот же маленький посудный шкафчик, тот же горшочек с цветами на подоконнике. Даже, кажется, тот же половичок на полу, только более потертый...

Сама Елизавета Никандровна вот не та. Она до предела усохла, сделалась маленькой, невесомой, волосы, ослепительно белые, поредели. Когда-то угольно-черные, длинные, как крылья, брови сейчас тоже поседели. И лишь глаза ее, большие и зеленоватые, горели на худом лице двумя яркими пятнами, освещая и одухотворяя его. В глазах была жизнь не затухающая, а возрождающаяся, в них светилось какое-то детское изумление, как у ребенка, для которого в первый раз открывается непонятный пока и удивительный мир.

Поликарп Матвеевич все это отметил в одну секунду, внутренне обрадовался и теперь, наблюдая, как Елизавета Никандровна заваривает чай, с тихой грустью думал о судьбе, выпавшей на ее долю. В голову ему пришла, может быть, ненужная в этот момент мысль: неужели это ее, эту вот худую и немощную женщину, жестоко, безжалостно пытали когда-то во вражеском застенке? И как она все выдержала, ничего не открыв, никого не выдав палачам, где брала силы? И только когда начали истязать на ее глазах малолетнего сына, разум у нее помутился. Помутился, но ведь... и в таком состоянии она никого не выдала, не назвала ни одного человека. Значит, где-то в глубине мозга был такой замок, который никогда, никому и никакими пытками было не открыть.

— Вы извините, Поликарп Матвеевич, что я вас не в комнате угощаю,— проговорила вдруг она.— Там Юрий спит после смены.

— Ну что вы! Какие, право, пустяки.

Пытки унесли ее здоровье, думал далее Кружилин, она была не в состоянии нигде работать, не могла больше рожать, но, как говорил Антон, она ни разу не пожаловалась на свою судьбу. И когда погиб Антон, она, сама находясь на краю могилы, тоже ведь ни разу никому не пожаловалась, ни у кого не попросила ни помощи, ни участия. И только сегодня позвонила в райком и сухим, сдавленным голосом попросила принять ее.

— Мне очень нужно... Вы должны помочь мне. Мне надо безотлагательно.

— Хорошо, Елизавета Никандровна. Я сейчас сам зайду к вам.

— Ну, спасибо. Я тогда чай поставлю.

Он отложил все дела и вышел из райкома обеспокоенный. «Что же случилось? Какая ей нужна помощь?» И у него отлегло от сердца, когда он увидел живой блеск ее глаз.

Разливая чай, Елизавета Никандровна задавала ровным и тихим голосом обычные вопросы о положении дел в районе, на заводе. Кружилин отвечал, она выслушивала внимательно, кивала головой. Спросила вдруг, нет ли каких известий о его сыне — Поликарп Матвеевич ответил, что нет и ждать теперь бессмысленно, Василий где-то погиб.

— Какой вы счастливый человек! — воскликнула она.

Кружилин невольно вскинул брови. Елизавета Никандровна уныло и бессмысленно глядела в сторону, в окно. Поликарп Матвеевич почувствовал, как щемит его сердце от мысли, что нет, Елизавета Никандровна не оправилась от свалившихся на нее потрясений и что возрождающийся свет в ее глазах одна видимость, вот он и потух.

Она вздохнула, села, пододвинула чашку с чаем к Кружилину.

— Ну, пейте. А потом я вам изложу свои просьбы. Их всего две, очень небольшие.

Ее вздох, ее движение и эти слова опять были осмысленными, нормальными. И Поликарп Матвеевич не знал, что и думать.

Чай они пили молча. Елизавета Никандровна будто забывала о своей чашке, двигала седыми бровями, чуть приметно вздыхала. «Если все-таки она оправилась, что в общем-то невероятно... значит, в ней идет какая-то борьба,— думал Поликарп Матвеевич, наблюдая тихонько за ней.— И что-то ее мучает. Что?»

— Так я слушаю, Елизавета Никандровна,— сказал он, отодвигая чашку.— Спасибо большое за угощение. Я готов, если в моих силах, оказать любую помощь.

— В ваших,— улыбнулась Елизавета Никандровна.— Я чуть... я чуть не отправилась вслед за Антоном в могилу. А зачем?

— Действительно, не к чему,— осторожно поддержал Кружилин.

— Вы можете верить, можете — нет, но когда я спросила себя: «А зачем?» — у меня вдруг начали прибывать силы. Что-то в мозгу проясняться начало... Ради него, Антона, ради сына надо жить. Антона не вернешь... И ради своего отца. Вы знаете, мой отец погиб на царской каторге. Его застрелили во время побега из Александровского централа.

— Мне рассказывал Антон.

— Антон...— Она вдруг всхлипнула.

— Ну, ну, Елизавета Никандровна!..

— Простите,— проговорила она, вытирая глаза.

Немного помолчав, вдруг спросила:

— Где сейчас Полипов Петр Петрович? Бывший председатель райисполкома?

Кружилин ответил не сразу. Он, глядя в посветлевшие, начавшие вдруг отдавать холодком глаза Елизаветы Никандровны, пытался сообразить, почему она вдруг задала такой вопрос, пытался уловить смысловую связь всего этого в общем-то беспорядочного разговора. Но не мог, хотя теперь уже чувствовал, что она, эта смысловая нить, существовала. А в том, что разум Елизаветы Никандровны в полном порядке, был теперь твердо уверен.

— Он, кажется, редактор какой-то военной газеты. И, кажется, где-то в глубоком тылу. Я как-то спрашивал у Полины Сергеевны, его жены. Такое что-то она мне сказала. Вы знаете Полину Сергеевну? Она работает заведующей библиотекой...

— Да, он где-то в армии, Полипов,— проговорила Елизавета Никандровна, не отвечая на его вопрос.— Ах, товарищ Кружилин, товарищ Кружилин...

Она умолкла, задумавшись, и Кружилин ее не тревожил, ожидая дальнейших слов.

Дождь за окном, кажется, кончился, утих, весело затрещали воробьи, неугомонные маленькие птицы, может, и глупые, но без которых жизнь на земле была бы намного беднее. Воробьи в представлении Кружилина всегда были связаны с появлением солнца, их беспорядочный крик по утрам был особенно яростен на солнцевосходе. И вот сейчас Кружилин ждал появления солнца, и точно, через минуту, а может, и меньше тугие солнечные лучи проломили где-то облака, ударили по стеклам и желтыми пятнами обрызгали побеленную стенку за спиной жены Антона, растеклись по крашеному полу.

— Он где-то в армии,— повторила Елизавета Никандровна резко, глянула на Кружилина почти враждебно.— А вы знаете, он...— Голоса у нее не хватило, она задохнулась и, сильно вытянув шею, глотнула воздуха. И вдруг воскликнула резко: — Это он выдавал Антона царской охранке! Он, он!

Последние два слова она выкрикнула истерично, маленькое лицо ее пошло пятнами, щеки и губы затряслись. Поликарп Матвеевич, вспомнив, как били ее сердечные припадки, встревоженно поднялся. А она в эту же секунду осела, упала на стул, худенькие плечи ее мелко тряслись.

— Успокойтесь, Елизавета Никандровна! — Он неловко, неуклюже подошел к ней.— Очень прошу вас. Не надо...

Она, рыдая, взяла полотенце со стола, прижала к глазам.

— Хорошо. Вы не беспокойтесь... Не беспокойтесь.

Плечи ее еще вздрагивали, но Кружилин по каким-то неясным и необъяснимым для себя признакам понял, что это не сердечный припадок, что ничего худого не случится.

— Вы поняли, что я сказала? — негромко спросила она.

— О Полипове?

— Да, о нем. Он был хитрым провокатором!

— Но... Елизавета Никандровна... как это доказать? У вас есть что-нибудь? Подбирать слова Кружилину было трудно.

— Доказательства! Ах, боже мой, какие теперь могут быть доказательства?!— проговорила она, вытирая полотенцем глаза, но относительно спокойно.

— Да, конечно,— вымолвил Кружилин, не то соглашаясь с ней, что доказательств за давностью лет быть не может, не то упрекая ее за горячность и необдуманные слова.— Вот видите.

— Нет, я знаю... Впрочем, вам, конечно, странно такое вообще услышать. Вы же не знаете... ничего. Как мы жили и боролись...

— Почему же? Хотя, конечно, очень мало. Из рассказов Антона Силантьевича, Субботина...

Елизавета Никандровна вздохнула, положила полотенце себе на колени.

— Нет у меня никаких доказательств, Поликарп Матвеевич. Но я уверена... Тогда, до революции, едва Антон оказывался на воле, его местонахождение быстро становилось известным царской охранке. И его брали всегда неожиданно, быстро, его находили даже в таких местах, о которых, как говорится, ни одна собака не знала... Но как-то же его находили! Как? Это мне всю жизнь не давало покоя. Я всю жизнь раздумывала, сопоставляла, анализировала... Знала о его местонахождении, конечно, всегда я. Знал Субботин Иван Михайлович. Еще кое-какие товарищи... Я снова и снова, раздумывая о том или другом аресте Антона, — а я-то помню все их наперечет! — вспоминала тех, с кем он тогда общался, кто знал его местонахождение. И я всех подвергала своеобразному рентгену. Не мог ли тот, не мог ли этот быть провокатором? Нет, вы знаете, нет... К такому выводу приходила я. И вот, как говорится, по принципу исключения всегда оставался Полипов...

Говорила теперь Елизавета Никандровна хотя и сбивчиво, но ровным и спокойным голосом, а Кружилин отлично понимал ход ее мысли.

— А... сам Антон? Вы когда-нибудь говорили с ним... об этом?

— Нет. Я боялась. Чего, вы спросите? Это не так просто объяснить. Не все в жизни бывает так просто объяснить... Полипов был... неравнодушен ко мне в молодости.— Елизавета Никандровна немного смутилась.— Сейчас это, конечно, трудно предположить... И я не решалась.

Она умолкла. За окном все орали воробьи, Елизавета Никандровна будто прислушивалась к их трескотне, пыталась разобрать их заполошный язык. Солнце заливало всю кухоньку своим щедрым светом, горячие и тугие лучи били в закрытые двустворчатые двери, ведущие в комнату, где спал Юрий, сильно давили в них, и казалось, что обе створки сейчас поддадутся этой солнечной силе и медленно раскроются.

— Я сказала — это всю жизнь не давало мне покоя... Это не совсем так,— снова заговорила Елизавета Никандровна.— За многие годы я так устала от всех этих дум, бесполезных и бесплодных, что решила забыть... заставить себя забыть о прошлом... И обо всем. Что толку? И заставила. Это было еще до войны, когда

мы жили в Харькове, потом во Львове. Ну, а потом война. Антона назначили директором этого завода... Я приехала с сыном сюда — и обомлела. На перроне стоял... встречал меня тот, кто не давал мне столько лет покоя, о ком я заставила себя больше не думать! Что это? Рок судьбы? Невообразимо... Опять, опять этот человек стоял на пути Антона! На нашем пути. Я чуть не упала в обморок. И все прежнее ко мне вернулось...

При словах «на нашем пути» Кружилин чуть шевельнул бровями.

— Ну, допустим,— проговорил он, когда Елизавета Никандровна умолкла. Проговорил как-то машинально, раздумывая не о том Полипове, которого знала она, а о том, которого знал он. И, только проговорив, опомнился: что он может допустить? На каком основании? Но слово было сказано, надо было продолжать. И Кружилин видел, что жена Антона ждет продолжения.— Допустим... что все это так, как вы говорите. Хотя я... Я не очень высокого мнения о Полипове, о его, если хотите, нравственных качествах. И все-таки то, что вы говорите...

— У меня, повторяю, нет никаких доказательств,— сказала жена Антона сухо и резко.— Но они у меня будут. Я их достану.

Кружилин опять пошевелил бровями, спросил:

— Как? Каким образом?

— Не знаю. Но это мой долг. Перед памятью Антона. У меня хватит сил! Я не умру прежде, чем достану эти доказательства. Я должна! Обязана!!

Она проговорила это залпом, глаза ее горели звериным зеленым цветом, ноздри шевелились. Изумленному Кружилину на миг показалось, что перед ним не немощная, болезненная Елизавета Никандровна, а какая-то другая женщина, молодая и сильная, пропитанная насквозь каким-то невиданным фанатизмом.

— Елизавета Никандровна! — удивленно промолвил он.

— Что — Елизавета Никандровна? — переспросила она, угрожающе подняв голову.— Я так решила. Понятно?!

Да, перед ним сидела неукротимая фанатичка. Это было невероятно, но это было так.

А потом такое ощущение у Кружилина прошло. Они помолчали с полминуты, может, с минуту — и перед Поликарпом Матвеевичем снова сидела слабенькая, бессильная Елизавета Никандровна. Она даже по-старушечьи как-то расправляла лежащее на коленях полотенце и тихо говорила:

— Давайте не будем... не будем больше об этом. Ах, боже мой, куда ушел наш разговор? Но я не хотела, это как-то само собой. Просьбы-то у меня к вам, Поликарп Матвеевич, маленькие. Помогите... пусть с Юрия моего снимут бронь, пусть он пойдет на фронт. А мне помогите устроиться на работу. Вот... какие две просьбы.

Кружилина поразили и первая, и вторая просьбы. Первая удивила несказанно. Он знал, как мучился Антон, что его сын, здоровый тридцатилетний мужчина, находится не на фронте, а тут, при нем, на заводе. Кружилин как-то заметил, что зря он, Антон, мучается этим обстоятельством, мало ли на заводе работает и тридцати- и сорокалетних мужчин, тут тоже фронт, снаряды должен кто-то делать. Антон Силантьевич на это ответил:

— Да, но он мой сын, сын директора... И людям не запретишь по этому поводу думать что угодно. Пойми мое состояние.

Савельев во время того мимолетного разговора, как припомнил сейчас Кружилин, немного помолчал, потер большой свой лоб, точно хотел ладонью расправить собравшиеся на нем морщины, и добавил:

— Я бы давно отправил его на фронт, но Лиза... «Я, говорит, умру, не перенесу этого, во мне потухнет что-то, если его не будет рядом...» И потухнет. Она сошла с ума от пыток в белогвардейском застенке тогда, в восемнадцатом... Я до сих пор не могу понять, как она оправилась, что помогло ей вернуть разум. И знаю — он помутится снова, если Юрку отправить. Но и держать сына возле нее я больше не могу...

И вот Елизавета Никандровна вдруг сама просит отправить сына на фронт!

Он, не зная, что сказать, что ей ответить, сидел недвижимо, только отодвинул зачем-то подальше чайную чашку. Елизавета Никандровна молча встала, подошла к окну и, сложив руки на груди, стала глядеть на пустынную улицу. Обочины улицы заросли мягкой травой-конотопом, трава была мокрая от недавно

прошедшего дождя, словно обсыпана искрящейся росой. Елизавета Никандровна долго глядела на горящие под солнцем зеленые лоскутья, молчала, губы ее были сложены обиженной подковкой.

— Вы удивлены, видимо,— проговорила она наконец, не меняя позы.— Мне не объяснить, почему я так решила. Со мной... во мне что-то произошло. Словно какая-то пелена с глаз упала. Он — сын Антона и мой... Почему же он здесь, а не там... не в том пекле, где идет смертная битва за то дело, за которое мы с Антоном боролись всю жизнь? Он, Антон, переживал, мучился, а *я*, старая дура, понять не могла...

Елизавета Никандровна опять всхлипнула, вернулась к столу, села.

— Вот... упала с глаз и открыла многое. И, знаете, во мне откуда-то... я не знаю, откуда... появились силы. Вы понимаете, Поликарп Матвеевич?

— Что же... Это можно понять,— проговорил он, потому что ничего иного сказать не мог.

Но Елизавета Никандровна вдруг отрицательно помотала головой.

— Не-ет. Этого понять вы не можете, невозможно. Как невозможно кому-то постороннему понять, что мне вернуло тогда разум... После тех пыток. А мне его Юрка вернул.

Кружилин, слушая это, размышлял, что с Елизаветой Никандровной действительно что-то происходит или произошло необыкновенное и что понять это до конца и в самом деле кому-то постороннему невозможно.

— Хотите, я расскажу... попытаюсь рассказать, как это произошло?

— Расскажите,— кивнул Кружилин.

Елизавета Никандровна помедлила. Ее глаза были полуприкрыты, но Кружилин все равно видел, как в них то разгорается, то притухает лихорадочный зеленоватый огонек. Видимо, далекое и зловещее прошлое возникало перед ней волнами, одна картина, вызываемая усилием памяти, тотчас уступала место другой, и Елизавета Никандровна выбирала, с какой начать.

— Нас арестовали вечером двадцать шестого мая 1918 года, в тот день и час, когда начался в Новониколаевске белочешский мятеж,— наконец начала она.— Меня, жену Митрофана Ивановича Савельева, Ульяну Федоровну, Митрофан Иванович — это дядя Антона. Я, как вышла замуж за Антона, так у них и жила... В тот день Антон ехал из Москвы, со съезда комиссаров труда. Он был избран томским губернским комиссаром месяцев пять назад, был, значит, делегирован на съезд, теперь возвращался в Томск и по пути хотел нас с Юркой забрать к себе. До этого мы с сыном жили в Новониколаевске, потому что квартиры в Томске пока у Антона не было. Ульяна Федоровна пошла нас проводить... Нас и арестовали всех прямо на вокзале. И Антона, едва он выпрыгнул из вагона и подошел к нам... Опять, опять к т о - т о знал, что Антон возвращается из Москвы. И этот к т о - т о знал, что в этот вечер начнется мятеж чехословаков! Знал! Поезд еще подъезжал к станции, а Антона уже ждали... этот, Свиридов ждал. Был у нас такой в Новониколаевске. Он был комиссаром одного из красногвардейских отрядов. В прошлом Свиридов томский меньшевик, потом порвал с ними, перешел к нам. Так мы считали. А на самом деле сволочь это была, обманул он всех нас. Иван Михайлович Субботин очень хорошо знает этого Свиридова. И Субботина он провел. И вот со своим «красногвардейским» отрядом и пришел нас арестовать. И Юрку тоже взяли. Я до сих пор помню, каким цветом горели глаза этого Свиридова, как вздрагивали тонкие крылья острого носа... А из-под кожаной фуражки торчал клок белесых волос. Этот клок был мокрый от пота. Я помню, как он вяло и нехотя, будто зная, что никакая сила не в состоянии нарушить его приказ... и... наслаждаясь этим... сознанием этого, произнес, глядя на Антона: «Взять его! Забрать и этих двух баб. Да и этого щенка тоже на всякий случай». Голос его помню... хриплый и пропитый. Он в ушах у меня всю жизнь стоит...

Елизавета Никандровна разволновалась, слабенькая грудь ее быстро заходила. Она положила на нее руку, но это успокоиться не помогло, и рука тоже вздымалась и опускалась, а пальцы, бледные, словно восковые, подрагивали.

— Так, может, этот «кто-то», который знал о прибытии Антона, и был Свиридов,— осторожно проговорил Кружилин.

— Нет,— опять мотнула головой Елизавета Никандровна.— Нет... Откуда он мог? А Полипов знал...

Солнце все било в комнату, только оно скатывалось уже к западу, лучи теперь не доставали до пола, солнечные пятна ползли по стене все выше, стали захватывать потолок. Елизавете Никандровне это будто не понравилось, она взглянула на верх освещенной стены, нахмурила брови.

— Нас повели по темным и окраинным улочкам Новониколаевска в сторону городской тюрьмы,— продолжала она, отдохнув.— Откуда-то не очень издалека, из центра города, доносились выстрелы. Палили беспорядочно и часто. В северной части Новониколаевска стояло зарево, там что-то горело. Юрка, помню, шел не хныкая, только все прижимался к отцу. А у того руки в наручниках... Только Ульяна Федоровна всхлипывала... И вскоре втолкнули нас в тюремный двор. Боже! Там негде было повернуться... В Новониколаевске военных было не так много в том месяце. Несколько небольших отрядов красногвардейцев, да был еще расквартирован в городе пеший эскадрон. И все почти военные были здесь, в тюрьме. Их захватили всех врасплох, многие были избиты, окровавлены. Кругом стоны, глухой говор. На тюремных вышках, помню, ярко горели лампочки с абажурами, освещая двор, с вышек торчали пулеметы. А из города все гнали новые толпы пленных... Об нас Свиридов тут же распорядился, как привел: «Этих сразу в камеры!» — «Слушаюсь!» — ответил ему Косоротов. Был такой у нас в Новониколаевске знаменитый тюремный надзиратель.

— А-а, припоминаю этого типа,— произнес Кружилин.— Он, знаете ли, у нас здесь, в Шантаре, долгое время жил, затаившись. Но в конце концов Алейников, наш районный чекист, выследил и арестовал его.

— Да? Сколько он скрывался, подлец! — воскликнула Елизавета Никандровна.

— Так вот вышло... Сумел.

— Да-а,— неодобрительно качнула головой Савельева.— Ну, Антон, едва ступил на тюремный двор, сразу узнал Косоротова, улыбнулся ему. «А-а, говорит, старый знакомый, видно, никак нам не разойтись на этой земле...» Господи, откуда у него сила-то взялась улыбаться в эту минуту?! Я, как вспомню, так ужасаюсь прямо. Такой был Антон... Ну, а Косоротову шутить было некогда, работы у него в тот день было много, запарился весь. Он молча и сердито снял с Антона наручники, повел всех нас. Отомкнул какую-то камеру, толкнул туда Антона и Юрку... Едва отомкнул — Ульяна Федоровна закричала, как зарезанная. Там, на полу камеры, в луже крови ее муж, Митрофан Иванович, лежал... мертвый уже. Он, как установилась Советская власть в городе, работал в Чека. Его, значит, одним из первых взяли. «Дедушка! Дедушка-а!» — закричал Юрка, бросился перед ним на колени, но, поняв, что тот мертвый, отскочил к отцу, ударился об него, прижался к его коленкам... «Ничего, для всех вас такой карачун приближается,— буркнул Косоротов с усмешкой; обернулся, крикнул через плечо:— Эй, кто там... уберите с третьей камеры тело». И начал нас с Ульяной Федоровной толкать дальше по коридору. И через минуту впихнул в какую-то камеру...

Дрожащей рукой Елизавета Никандровна смахнула выступивший на лбу и на верхней губе пот. Щеки ее горели тяжелым и сильным огнем, дышала она попрежнему часто, ей не хватало воздуха. Кружилин видел, что рассказывать ей неимоверно тяжело, что надо, может быть, как-то прекратить ее рассказ, но сделать этого не решался.

— Ну, а потом допросы, пытки...— чуть передохнув, опять начала Елизавета Никандровна.— На моих глазах... и на глазах Антона пытали его, Юрку.— Она кивнула на запертую дверь в комнату.— Я всего рассказывать не буду. Я... я просто не могу...

— И не надо,— поспешно сказал теперь Поликарп Матвеевич.

— Всего этого не выдержал... не выдержал даже наш палач Свиридов. Он, как я потом узнала, застрелился... Выдержал Антон. И Полипов. Он тоже... он тоже оказался тогда вместе с нами в застенке.

— Вот видите,— проговорил Кружилин.— А вы говорите, что «кто-то» опять выдал в тот день Антона. Значит, не он.

— В этот раз — возможно. Я и не утверждаю... Но я все вот думаю... Я сошла от пыток с ума... И Свиридов, прежде чем застрелиться, выбросил меня из тюрьмы вместе с Ульяной Федоровной. Антон совершил побег, когда его повели на расстрел. Все организовал Субботин Иван Михайлович. Непосредственно все

обеспечили для побега наборщик городской типографии Баулин Корней и новониколаевский извозчик Василий Степанович Засухин. Да еще Данила Кошкин, был такой парнишка у нас...— И вдруг жена Антона замолчала, подняла медленно голову, в упор взглянула на Кружилина.— Мне Антон говорил, что они все трое тут, в Шантаре, потом работали. И что их в тридцать восьмом посадили... За что? Где они сейчас?

Кружилин, едва Елизавета Никандровна заговорила о Баулине, Засухине и Кошкине, тотчас почувствовал почему-то, что она обязательно спросит об их судьбе. А что ему ответить? И вот, опустив чуть голову, негромко проговорил:

— Кто это может сказать... за что и где они сейчас?

— Ну да,— согласилась она сразу. И зачем-то спросила:— А этот... Яков Алейников? Про него ничего не известно?

— Он на фронте. Письма два прислал мне. Жив, здоров пока.

— Ну да,— еще раз произнесла Елизавета Никандровна, легонько встряхнула головой.— Так вот... А каким образом Полипов Петр Петрович вырвался из лап белочешской контрразведки? Тоже, говорит он, во время отправки на расстрел бежал. Когда, как, каким образом? Кто ему помогал в этом?

Жена Антона Савельева спрашивала таким тоном, будто именно сидящий перед ней Кружилин обо всем этом знал, но по каким-то причинам не хотел сказать.

— Да...— проговорил Поликарп Матвеевич задумчиво, и она опомнилась, встрепенулась, потерла, видимо, больно токающие виски.

— Зачем же я обо всем этом так подробно и долго? Не знаю... Может, затем, чтоб лучше самой понять, что со мной произошло? И почему я хочу, чтобы Юрий поехал на фронт...

— Ну, а сам-то он как? — спросил Кружилин. Он не хотел задавать такой вопрос и все же задал.

— «Конечно, говорит, мама, я поеду... Я должен быть там, где все».

Елизавета Никандровна произнесла это ровным и спокойным голосом, но Поликарп Матвеевич все равно почувствовал, что она чего-то недоговаривает, что-то тщательно и искусно пытается скрыть и что ее разговоры с сыном о фронте были, вероятно, не так легки и просты.

— И еще потому, Поликарп Матвеевич, так подробно я...— тут же заговорила Елизавета Никандровна, явно не желая длительной паузы,— чтобы вы попытались все же понять, если это возможно... как сын вернул мне разум. Как это получилось. Я говорила, что Свиридов перед своим самоубийством распорядился выпустить нас троих — меня, Ульяну Федоровну и Юру — из тюрьмы. Тоже, кстати, непонятен и странен, если хотите, этот его поступок. Почему он отдал такое распоряжение? Что это на него нашло? Ну ладно... Так или иначе, мы все оказались на воле. Как это все произошло, я, конечно, не помню, мне это потом рассказали...

* * *

...Елизавета Никандровна не помнила и до самой могилы не вспомнит теперь, как она и Ульяна Федоровна оказались на воле, не помнит, как в камеру, битком набитую узниками, зашел, бренча тяжелой связкой ключей, Косоротов, свирепо оглядел всех, поморщился и прохрипел:

— Вы вот... Савельевы, шагом марш за мной. Живо!

Лиза, как сидела, так и осталась сидеть возле стенки. Косоротова она не видела, голоса его не слышала. В руках она держала узел и что-то мычала, чуть раскачиваясь. Ей казалось, что она не в тюремной камере, а на вокзале, кругом не заключенные, а пассажиры, ждущие, как и она, поезда.

— Поднимите эту дуру! — заорал Косоротов.

— Опять на допрос, что ли? — послышался чей-то голос.

— Ироды-ы! — обессиленным голосом вскрикнула Ульяна Федоровна, шагнула, грязная и растрепанная, к Косоротову.— Баба умом тронулась, а вам мало, мало... Меня, старуху, лучше бейте! Все равно мне помирать...

И, схватившись за грудь, повалилась. Губы и лицо ее посинели.

И тут в камере все как-то враз зашевелились, заволновались. Косоротов отступил к дверям, взмахнул тяжким пуком ключей на железной проволоке.

— Тих-хо! А то я успокою мигом! Вызову счас караульную роту...

И в самом деле все будто испугались этой угрозы, быстро смолкли. И в полной тишине Косоротов сказал, глядя на хрупкую фигурку Лизы:

— Освобождаем их. Хотя, будь моя воля... ее вот к солдатам в караулку на ночь сперва запустить. Все ж таки людям радость.

Ульяна Федоровна чувствовала, что умирает. Но она нашла в себе силы еще вывести Лизу на улицу, оттащить на несколько метров в сторону от окованных железом дверей здания белочешской контрразведки. И здесь, когда они лежали на земле под чьим-то забором, их нашел Юрка.

— Мама! Бабушка! Они меня отпустили... Я думал, опять бить будут, а они отпустили! Дядька Косоротов только по голове напоследок шибанул, гад. Мам, ты почему ничего не говоришь?

Лиза, безучастная ко всему, прислонившись спиной к дощатому забору, широко открытыми глазами смотрела на звездное небо, кое-где закрытое тучами, смотрела так, будто видела впервые и эти звезды, и ночные черные тучи, и ныряющую в эти тучи ущербную луну.

— Ты не трогай, сынок, мамку-то,— тяжко дыша, проговорила Ульяна Федоровна.— Не тревожь... Захворала она. Сбегай на нашу улицу, кликни когонибудь. Одним-то нам не добраться до дому.

Юрка убежал. Через час он привел двух мужиков и женщину. Вполголоса переговариваясь, мужики подняли тяжелую, почти бесчувственную Ульяну Федоровну и, поглядывая на глухой забор, которым было обнесено здание контрразведки, повели, потащили прочь. Лиза шла сама, женщина только ее чуть подталкивала. Юрка бежал сзади, слушал всхлипы той женщины, глухие голоса мужиков и, понимая, чувствуя, что неотвратимо надвигается какое-то новое и страшное горе, тоже швыркал носом, временами подвывал, как щенок, и смахивал грязными кулаками выступающие слезы.

Лиза никого не узнавала, даже сына. Не узнала она и квартиры, ходила по комнатам, тыкаясь в стены, спрашивала у Юрки и умирающей Ульяны Федоровны: кого они-то ждут здесь, на вокзале, почему так долго не приходит поезд, с которым она должна уехать?

— А вот куда ехать я должна — и забыла,— говорила Лиза, терла виски. — Вы не знаете, куда мне надо ехать?

Все это ускорило кончину Ульяны Федоровны.

В день похорон Лиза испуганно притихла, сидела в уголке, смотрела, как женщины-соседки собирают покойницу, шевелила бровями, будто что-то мучительно пыталась вспомнить. И в тоскливой суматохе никто не видел, как и когда Лиза исчезла.

Первым отсутствие матери заметил Юрка, обежал все комнаты, обшарил двор.

— Мама, мама-а! — закричал он.— Куда она делась? Вы не видели маму?

Какой-то старик с костылем и котомкой, подошедший к калитке, сказал, что час назад видел блаженную вроде бы женщину на самом выходе из города.

— Это она, она! — крикнул Юрка, выскочил на улицу. Но тут же вернулся, затормошил старика:— Где... на каком выходе? Слышь, дедушка?

— А там, сынок... На Верхнюю Ельцовку она, кажись, побрела.

Это было в последний день июня, а числа десятого июля к поскотине небольшой деревеньки Барлак, что верстах в тридцати от Новониколаевска, подошел грязный, оборванный мальчишка с исхудавшими глазами, с давно не чесанными, пыльными волосами.

— Ты чей такой? — спросила его низенькая босая женщина с прутом, пасшая гусей.

— Савельев Юрка я.

— Откуда же ты?

— Я с города.

— Ну, ступай, пройдись по деревне,— вздохнула женщина.— Може, кто и подаст. Сейчас мало подают. А что там у вас, в городу-то?

— Я не за милостыней. Я мамку ищу. Я в соседней деревне был, мне сказали, что она сюда пошла.

— Кто же твоя мамка?

— Она такая высокая. И она... она никого не узнает. Ее в тюрьме били.

— Блаженная?.. Постой, седни в полдень какая-то блаженная побирушка была в деревне. Ее старая Ферапонтиха, кажись, к себе покормить увела. А ну-ка пойдем...

У старой Ферапонтихи никакой побирушки уже не было.

— Ушла она, сердешная,— сказала грузная, рыхлая старуха, выслушав Юрку и женщину с прутом.— Поела маленько и пошла. Уж давно время будет.

— Куда, куда она пошла? — крикнул Юрка.

— А туда, по сокуровской дороге. Ты кто ей, сын, чо ли? Голодный ты, видать. Поешь и ты, сядь.

Но Юрка не стал есть, хотя и был сильно голоден. Он выбежал на подворье, кинулся по указанной дороге. Уже больше двух недель он ходил по пригородным деревням, разыскивая мать, питаясь случайным подаянием, ночуя где придется. И дня четыре назад вроде напал на ее след, но все никак не мог настигнуть.

Солнце пекло, дорога была сильно разъезженная, пыльная, горячая. Обжигая босые ноги, Юрка то шел, то бежал, опасаясь, что мать, если она действительно пошла по этой дороге, опять свернет на какой-либо проселок. Но отворотов, к счастью, не было.

Мать он увидел издали, сразу узнал ее худые плечи, обтянутые синей кофточкой, косо болтающуюся на ней юбку, растрепанные волосы. Она шла медленно, опустив голову, внимательно разглядывая дорогу. Юрка припустил, собрав последние силенки, и, подбегая, услышал, как мать бормочет бессвязно:

— Над городом запах... Давно отзвенели... Тоску запрокинь...

— Мама! Мамочка! — закричал он.

Лиза остановилась, глянула на сына тусклыми, бессмысленными глазами.

— Мама!

— Прочь, прочь! — чуть отшатнулась она.— Ты кто?

— Да это же я, Юрка. Я тебя давно ищу.

— Юрка? Какой Юрка? — спросила она, не мигая стала глядеть на сына, наклоняя голову то вправо, то влево. Брови ее нахмурились, затрепетали вроде, но тут же расправились и застыли.— Нет, я не знаю тебя...

— А ты вспомни, мама! — И он схватил ее за руку.— Я же Юрка!

— Отстань, мерзкий мальчишка! — вскрикнула она, вырвала руку. И пошла быстро, торопливо. Но вдруг вздрогнула, остановилась. Попятилась, глядя куда-то в небо, показывая вверх пальцем.— Я их всегда вижу, они меня всегда пугают... Кто это?

В небе играли ласточки. Они стремительно и высоко взмывали, падали камнем вниз и снова взмывали.

— Да это ласточки! — крикнул Юрка.— Ну, вспомни, папа еще песню тебе про ласточек сочинил. Ты ж мне рассказывала. А мы ее часто пели с тобой...

— Песню? Какую песню?

— Да вот эту...

И Юрка, снова хватая мать за руку, торопливо, глотая слезы, заговорил:

Над городом запах... черемух струится,
Давно отступила уж зимняя стынь.
И ласточки, ласточки... быстрые птицы
Пронзают небесную синь...

Едва Юрка заговорил это, брови Лизы опять задергались, она опять потерла виски и мучительно застонала. И мальчишка недетским чутьем угадал, что происходит с матерью, встал перед ней, умоляюще глядя ей в глаза.

— Мамочка! Ну вспомни! Я вот сейчас... даже спою. Вот, послушай...

И он неумело запел срывающимся от волнения голосом:

...И ежели в сердце тоска застучится,
Ты голову в небо чуть-чуть запрокинь...
И сразу увидишь, как вольные птицы
Пронзают небесную синь.

Он замолк. Он с надеждой глядел на мать снизу вверх.

— Ну, вспомни! Ты еще говорила, что папа не до конца сочинил эту песню, потому что ему некогда. Но он ее досочинит тебе.

— Да, да, ему некогда,— пробормотала Лиза.— И сразу увидишь... как быстрые птицы... пронзают...

Лицо ее, измученное, некрасивое, исказилось совсем до неузнаваемости, стало вовсе страшным. Потом по нему прошла, прокатилась судорога, глаза широко раскрылись, в них затрепетал неясный свет, загорелось что-то осмысленное. И вдруг быстро-быстро, в две-три секунды, ее глаза наполнились слезами, губы задрожали, и она, шатаясь, протянула к сыну руки, закричала на всю степь пронзительно и страшно:

— Юрка-а! Ю-юрка! Сыно-ок!

— Мама! — бросился к ней мальчишка.

— Сынок! Сыночек! Сыно-ок! — кричала и кричала Лиза, крепко прижимая к себе худенькое и грязное, дрожащее тельце...

* * *

— ...Вот так он мне, Юрочка мой, разум вернул,— утомленная разговором, произнесла Елизавета Никандровна. Голос ее рвался, был слаб и беспомощен. — Постороннему это не понять, я говорю. Да и сама я... Я ничего не помню, все это со слов Юрика. Я помню только смутно, как мы с ним... я и сын... возвращались откуда-то в город. Это я помню уже... И все, что после. А до этого — темный провал. Но Юра говорит, что все это было так.

Поликарп Матвеевич, потрясенный услышанным, молчал. Да и что было говорить, какие слова найти, чтобы ее утешить, что ли, ободрить, поддержать? Их не было, этих слов, а кроме того, он чувствовал, что она, пережившая все это, не то чтобы не нуждалась, а просто не хотела сейчас таких слов, потому что они были бы бесполезны.

Вздохнув, Елизавета Никандровна с грустью произнесла:

— Антон так и не досочинил мне эту песню. Все ему было некогда, некогда...

Она медленно стала поднимать голову с гладко зачесанными назад седыми волосами, собранными на затылке в небольшой узелок. И когда подняла, в широко открытых глазах ее стояли светлые слезы, где-то в зеленой глубине этих глаз дрожали две колючие солнечные искорки.

— Боже мой! Ведь у меня был Антон! Какая же я счастливая...

Голос ее был еще тише и слабее, чем раньше, но он, этот слабенький голос, больно разрезал что-то внутри у Кружилина, щемящая боль растекалась по всему телу. Ее полные слез глаза, в которых дрожали светлые искры, были невыносимы. И Кружилин в эти короткие секунды наконец-то понял, кажется, что произошло с Елизаветой Никандровной, какая она сейчас, и даже, как ему казалось, представлял, какой она будет теперь... Он не то кашлянул, не то сдавленно крякнул и начал подниматься из-за стола.

— Спасибо... Спасибо за угощение, Лиза,— проговорил Поликарп Матвеевич.— А с Юрием что ж... Это не трудно. Я скажу в военкомате и Нечаеву...

— Он сам заявление напишет,— сказала Елизавета Никандровна.— Чтобы... как бы добровольцем...

— Почему как бы? Так и будет. А насчет твоей работы я подумаю, куда и как...

Елизавета Никандровна тоже встала. Высокая, худая, она стояла теперь на ногах прямо и твердо.

— Думать вам не надо. Я хочу в районную библиотеку. Там, кажется, нужен библиотекарь. Там тепло и мне по силам. Книги буду выдавать.

Лицо ее было спокойно, лишь на щеках слабенько проступал румянец. Солнечные искры из глаз ее исчезли, они смотрели куда-то в пространство холодно и жестко.

— В библиотеку? Ну что же, очень хорошо,— сказал Кружилин.

* * *

Савчук хотел поехать в тайгу сразу же по возвращении из Москвы, но дел на заводе за его отсутствие накопилось действительно много, и, пока он их решал, прошла неделя.

В тайгу с собой он взял человек пятьдесят крепких мужиков, поехали на трех грузовиках, потом, отправив грузовики назад, потому что дальше проезжей дороги не было, около суток тащились на верховых лошадях, шли пешком. Громотуха текла здесь между горных теснин, грозно ревела на многочисленных перекатах, оправдывая свое имя. Когда лесная тропа, означающая дорогу, подворачивала к берегу, грохот звенел такой, что не было слышно голосов.

Стояла июльская жара, безжалостно палило белое солнце, обваривая листву на деревьях. Обычно липкая, сосновая хвоя жухла, обильно сыпалась с ветвей. Лишь кедрам такая жарынь была нипочем, косматая хвоя держалась на них крепко, горячий ветер трепал ее, как лошадиные гривы, но оборвать не мог. Кедровые массивы, не очень крупные и не частые, выделялись среди моря поблекшей зелени темными пятнами и одуряюще пахли расплавленной смолой.

— Божье наказанье прямо-таки... Экое пекло! — пробормотал маленький кривоногий старикашка по имени Филат Филатыч, высланный навстречу с лошадьми.— Ну ни одного дождика, почитай, с Арины-рассадницы. Громотуха прям обдонилась... А досок напилили, слава те господи, высокие штабеля! Да еще эких ты молодцов ведешь. И рванем счас, ух... ничего. Успеем до Ильина-то дня. А там вода будет, только и рвануть счас надо. Это ты правильно, что подмогу ведешь. И в Шантаре, грят, тоже сушь стоит?

— Да, плохо нынче,— сказал Савчук.— Хлеба горят.

— Ага... Рассказывал этот, что с милиции-то приехал к нам, Елизаров. У нас тут... хе-хе... события одна случилась. Двое парней из-за девки... Сперва посильничать, что ли, хотели ее. А потом чуть до смерти друг дружку не ухайдакали. Знаешь? Из-за этой, Инюткиной Верки.

— Инютиной,— поправил Савчук.— Знаю. Разберемся.

— Тьфу! — плюнул старик в сторону.— Хучь бы девка была... А то так, Инюткина. Ни ума в глазу, ни добра в заду.

— Насчет добра-то, дед, наоборот вроде,— усмехнулся один из мужчин.

— Это на чей вкус,— отрезал старик.— Такого добра как песку на берегу, ты зачерпнешь, а мне так и нагнуться лень. А они — спорить из-за нее. Тьфу!

— Отнагибался ты, дед,— усмехнулся тот же мужик.

— Да оно так,— без всякой обиды согласился старик.— Был рысак, да сбил подковы...

Филат Филатыч слыл на всю округу непревзойденным сплавщиком плотов по своенравной Громотухе. В молодости он характер имел лихой и необузданный, как речка. Мог он ни за что ни про что, по известным ему одному причинам, обидеть человека, зла ни ему, ни кому бы то другому никогда не делавшего, всячески его ославить. Мог завести дружбу и старательно опекать человека, по общему признанию никчемного. И до сих пор были у него в оценке людей и отношении к жизни какие-то свои мерки и свои принципы, не понятные другим.

Он был уроженец этих мест, всю жизнь прожил в верховьях Громотухи. До революции услугами Филата Филатыча частенько пользовался богатей Кафтанов. Филат Филатыч иногда сплавлял ему огромные плоты в малую, как в нынешнее лето, воду за сущий бесценок, почти даром, рисковал при этом не раз собственной жизнью. А иногда и в высокую воду, когда сплавить вниз древесину не составляло никакого труда, ломил такую плату, что у Кафтанова от ярости тряслась борода. «Ну как хошь, как хошь, это дело хозяйское,— отвечал на такие вспышки Филат Филатыч со спокойным смешком, который еще больше стервенил Кафтанова.— Ты хозяин, стало быть, башковитый, тебе и видней, што те в выгоду, а што в убыток».

И как-то так получалось, что даже в высокую воду плоты Кафтанова без Филата Филатыча частенько разбивались. И Кафтанов, матерясь, снова шел на поклон к строптивому плотогону.

В гражданскую Филат Филатыч оказывал партизанам Кружилина кое-какую помощь иногда, пару раз, когда полковник Зубов совсем уж настигал измотанных бойцов Поликарпа Матвеевича, уводил их в непроходимые урманы и укрывал в недоступных лесных дебрях. И в то же время этот Филат Филатыч в те грозовые годы держал где-то у себя, укрывая по таким же урманам, малолетнего сына Кафтанова Макарку вместе с приставленной к нему в няньки Лушкой Кашкаровой, а потом, после гибели Зубова, и его сына Петьку.

— Я, Филат Филатыч, точно не знал тогда, что ты прячешь сыновей Кафтанова и Зубова,— сказал старику Кружилин, когда вместе вот с Савчуком отыскал его прошлогодней весной в тайге, чтобы лично попросить сплавить в Шантару заготовленный лес.— Не знал, но мысль иногда мелькала: не ты ли их прячешь? А может, теперь признаешься? Дело прошлое.

— А выведал бы, так что ж, прикончил дитев бы? — вскинул старик маленькую, но упрямую свою голову с косо сидящей на ней шапчонкой. Умные глаза его, длинные и узкие, как у монгола, поблескивали, точно бритвы.

— Я зверь, что ли, какой?

— А что жа тогда тебе за дело?

— Да любопытно просто.

— Ну что жа... удовлетворю,— усмехнулся старик, снял шапку, по-крестьянски пригладил ладонью все еще густые и почти не поседевшие лохмы волос.— Так было дело.

— Ах ты хитрец! — смеясь, воскликнул Кружилин.— Должно быть, высокую плату тебе платил Кафтанов. Ведь рисковал все же. Время-то было горячее, могло и ошпарить...

— Кака там плата,— махнул рукой Филат Филатыч, нахлобучил шапку, но опять криво.— Вся радость-то в деньгах разве?

— Значит, что же ты, из идейных соображений?

— Из человеколюбия,— строго произнес старик. И вдруг хихикнул как-то смущенно.— Я что ж, всегда такой кривоногий, што ли, был да хилый?

— Да я помню, какой ты был.

— Ну вот... А Лушка-то в те поры... хе-хе... Вся плата была при ней.

Секунду еще и Кружилин, и Савчук молчали, а потом оба разразились хохотом. Смеялись долго, до слез в глазах. Улыбался и сам старик, отворачивая узкие свои глаза.

— И жук же ты, Филат Филатыч! — вытирая глаза платком, проговорил Поликарп Матвеевич.

— Да уж как умели, так и жужжали. Лукерья ничего, довольная была.

Савчук, отмахиваясь от свирепых, чуть, казалось, не со стрекоз, комаров, шагал по стиснутой деревьями лесной тропе, поглядывал на лохматый, как кедровая ветка, затылок Филата Филатыча, на сверкавшие порой то слева, то справа заснеженные громадины гор, думал об этом необыкновенном крае, куда забросила его судьба, о живущих тут удивительных людях. Он родился и вырос в украинских степях, прожил там всю свою жизнь, и ему казалось, что нет ничего прекраснее этих степей и чарующего неба над ними. По ночам звездные волны, казалось ему, схлестывались со звоном, а потом на землю до утра сыпалась бесшумно звездная пыль, и луговые травы по утрам горели не от росы, а от этой пыли. Теперь он как-то обостренно понял, что красота на свете бесконечна и разнообразна, что природа никогда себя не повторяет и вот здесь, в Сибири, тоже натворила дивы дивные...

Филат Филатыч шел с костыльком, посапывая, но легко и скоро, время от времени оборачиваясь, вытирая ладонью потный лоб в мелких морщинках.

— Ничо, мужики, скоро уж,— говорил он весело, поблескивая узкими глазами.— Туточки раз вздохнуть да два шагнуть.

Старик очень был доволен, что в прошлом году к нему в такую глухомань приехал сам секретарь райкома партии.

— Понадобился, стало быть, я? — спросил он сперва вроде недружелюбно и настороженно.

— Так человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям,— ответил Кружилин.

— Это так,— мотнул головой Филат Филатыч, настороженность его исчезла, он по-стариковски засуетился вокруг самовара, принес большую чашку застарелого меда, стал угощать.— Давайте... А плотики я вам, как яички, целехонькие доставлю. Это нам дело знакомое.

— Надеемся, Филат Филатыч. Кроме тебя-то, и попросить некого.

— Ну, есть людишки,— не согласился старик с Кружилиным.— Вот Акимка из-за белков... Да Акимка, ежлив уж до конца-то, охламон все ж таки да пьяница. Не-ет, я вам, как яички...

И действительно, всю древесину Филат Филатыч доставлял аккуратно, никогда не терял даже бревнышка. Нынче в мае сплавил еще несколько больших плотов, а потом вода резко упала, на перекатах обнажились мокрые лысины камней. Сейчас лысины высохли, даже брызги до них не доставали. И строительство жилья на заводе фактически прекратилось.

— Значит, Филат Филатыч, будет вода, говоришь, после Ильина дня? — спросил Савчук.

— Обязательно. Раз белки вон обещают.

— Как они обещают?

— Глянь, слепой, что ли! Синь между белками синится. Это уж точно, побежит вода с ледников к Ильину дню.

Савчук, сколько ни вглядывался в вершины заснеженных гор, никакой сини между ними не видел. Небо и небо, белое, как и повсюду. Но спорить со стариком не стал, только произнес машинально:

— Дай-то бог.

— Во-от! — воскликнул старик.— Приперло, так и ты, партейный, тоже взмолился.

— Да я так, по привычке.

— А может, зря? Зря, ежлив только по привычке? А?

— Ну, зря не зря, а раз не верю в бога... ты вроде веришь, а я нет. Ты уж прости, Филат Филатыч.

Старик на это ничего не сказал, отвернулся и долго, часа полтора, шагал молча.

Потом остановились передохнуть и перекусить. Рабочие вскипятили чай в двух больших медных чайниках, вынули хлеб, сахар. Большой ломоть хлеба, кусок сахару и кружку чаю дали и старику. Он все так же молча и сердито выпил чай, съел хлеб и, по-прежнему сдвинув кустистые брови, неодобрительно слушал разговоры и смех молодых парней. И Савчук уже пожалел, что ввязался с этим своенравным и непонятным стариком в ненужный разговор о боге, даже встревожился: черт его знает, этого Филата Филатыча, возьмет да и выкинет какой-нибудь очередной фокус. А где другого такого плотогона найдешь? Кружилин тогда шкуру снимет.

— А вот спрошу тебя, Игнат,— проговорил неожиданно Филат Филатыч, впервые назвав Савчука по имени.— Вот в народе говорят: нельзя работать в Ильин день... И рассказывают: один мужик в селе нарушил такой запрет, сено у него было скошено. Ну, на Илью, обыкновенно, гром погромыхивает — катается он, значит, на своей колеснице по небу, по тучкам. Мужик-то испугался, давай торопиться сено в зарод сметывать. «Успею, грит, до дождя, что ж, что Ильин день, не пропадать сену-то...» И сметал. А тут и прилетела невесть откуда ворона с горящей веткой во рту, села на мужиков зарод да подожгла. Да еще на другие зароды стала перелетать. Сядет — и подожжет, сядет — подожжет... Вся деревня на зиму и обескормилась, по́ миру пошла вся деревня... Вот. А?

— Предрассудки это, Филат Филатыч,— сказал Савчук.— Сказки, понимаешь.

— От ты! — поморщился старик.— Я ж о другом спрашиваю: отчего Илья такой злой-то?

Савчук не мог понять движения мысли старика, не мог уразуметь, чего тот хочет, и только пожал плечами.

— Или вот еще в наших краях рассказывают... ну, пущай сказку, как ты определяешь,— заговорил опять неугомонный и непонятный старик.— Святой Николай-чудотворец ходил по земле с Ильей-пророком. Ну, ходят, глядят... Углядели, что бедный хрестьянин один землю пашет. Подошли да попросили попахать. Пашут по очереди. Потом спрашивают: «Кто лучше из нас двоих пашет-то?»

Хрестьянин тот показал на Николу. Озлился Илья на бедного мужика и говорит: «Ну ладно инда... За такие несправедливые слова я те хлеб градом выбью. Налив хороший на твоей полосе будет, а я выбью...» Тады Никола пожалел хрестьянина, да и шепнул ему: «А ты обмани этого Илью, поменяйся полосой с богатым мужиком, у которого хлеб худой будет. А мне за совет свечку поставь». Хрестьянин так все и сделал. Пришел к богатому и говорит: «Давай обменяемся по-

лосами, видишь, какой у меня хлеб тучной. Токмо в придачу маленько деньгами дашь, деньги нужны больно — лошадь купить...» Ну, богатей увидел выгоду, обменялись. Стали поспевать хлеба. И тут накатилась туча да как ударит бывшую хрестьянскую-то полосу! И градом ее всю повыбило. Илья-пророк о той хрестьянской хитрости прознал, рассердился, собирает тучу на его полосу, какая раньше богатому принадлежала. Хлеб-то на ней все ж таки кое-какой уродился. Тут опять явился к хрестьянину Никола да шепчет: живо разменивайся с богатым, я те, дескать, говорю, да опять придачу попроси деньгами, коровку, мол, хочу купить, детишки малые, молочка хотят. Ну, разменялись. Токмо успели — как посыпал град. И повыбило полосу, которая теперь уж к богатею обратно вернулась. А у хрестьянина выбитая раньше градом полоса отошла. И хлеба он много собрал да на придачу два раза от богатея получил... Ну, а Илья, получается, остался ни в тех, ни в сех. И осерчал тогда пророк на чудотворца. «Ах ты, грит, шаромыжник такой! Вовсе и не чудотворец ты, а как есть шаромыжник! Обзарился, что хрестьянин свечку тебе с синичью ножку поставил! Да ить богатый мужик пудовую бы не пожалел. Ты ж мой авторитет среди народу подрываешь...» Да за бороды друг дружку, да пошли там, за облаком, кататься. Пошел гром! И что же ты думаешь? Никола-чудотворец и покаялся: «Критику, грит, признаю твою, Илья. По легкомыслию я научил хрестьянина, да я выправлюсь, хрестьянин этот у меня запоет...» Наутро упала у хрестьянина скотина вся, а хлеб в сусеках вдруг загорелся да сгнил в одну ночь. Утром глянули, а там одна труха. И пошел тот хрестьянин с детьми пó миру...

— Ну вот,— с улыбкой промолвил Савчук, когда старик умолк,— выходит, ошибался я, и ты, кажется, не очень в бога-то веришь.

— Ну, очень али нет, это мое дело,— промолвил старик сердито. Помолчав, он вздохнул, и было в этом вздохе какое-то сожаление.— Я человек темный, жил в лесу, топтал росу. И что ж, раньше я бога соблюдал, хоть и грешил... Да-а, несправедливости много в жизни уж больно. Куда ж бог-то смотрит, ежели он есть? Что же он своих причиндалов всяких распустил? Этого вот Илью. Или опять же Николу-чудотворца... Вот у меня женка ране была. Разошлись мы с ней давно, она сейчас в Шантаре живет, старая. Каторжница она была, а за что? Сынок помещика одного ссильничал ее, девчонку. Ну, она в беспамятстве-то и отомстила, вилами его запорола. А душа-то у нее! Муравьишку всякую жалела. Обижал я ее, грешный, обманывал с Лушкой этой, вот она и ушла от меня. Да и с другими обманывал. Тожеть — как бог допускал? Али вот эти войны... Хоть та, гражданская, хоть эта, нонешняя. Видел я в кине-то, как плоты в Шантару пригонял. Такая красота на земле, а ее огнем жгут, железом этим... порохом взрывают. Где ж он, бог? Не-ет, Поликарп Кружилин ваш правильно, в туза прямо: не бог, а человек всегда людям нужен...

Вот куда вывел старик! Мысли его были теперь понятны, но слова, которыми он облекал их, были настолько своеобразны, что Савчук только поражался.

А Филат Филатыч мотнул головой, сбрасывая с себя раздумье, узкие глаза его заблестели опять умно и хитренько, по-озорному.

— А Поликарп-то жук! Знавал я его в молодости тожеть... Цыганку с табора он свел, помню.

— Какую цыганку? — спросил с любопытством Савчук, никогда раньше об этом не слышавший.

— Ух, цыганка была! Отец ее с ножом по всей Громотухе рыскал, Поликарпа искал... Зарезал бы, кабы не Кафтанов. Богатей тут у нас такой жил. Женился на цыганке этой после Поликарп Кружилин.

— У него ж жена не цыганка вовсе! — воскликнул Савчук.

— Это другая. Та померла. Еще до этого, до революции, все было...

— Во-он что! Каторжница, цыганка... Интересная у вас тут жизнь протекала!

— Так она, жизнь, завсегда,— кивнул старик.— Такие круги выписывает, что ежлив придумывать, не придумаешь сроду.

— И долго бывшая твоя жена, Филат Филатыч, на каторге была? И кто это, ежели не секрет? — спросил Савчук.

Но старику этот вопрос не понравился, он нахмурился, поднялся, произнес сердито:

— Старый я пес... разболтался об чем не надо. Какое твое дело — кто? Любопытный какой... Ну, айдате, тут недалеко уж. Подымай людей-то, расселись-разделись, будто на ночь...

* * *

Добравшись до лесозаготовительного участка, Савчук в сопровождении долговязого, изъеденного комарами бригадира лесорубов по фамилии Мазаев обошел все делянки, осмотрел груды сваленных, очищенных от сучьев деревьев, штабеля напиленных досок, глянул в тетрадку Мазаева, где велся учет лесозаготовок. И спросил:

— Обед во сколько?

— С двух часов у нас. По участкам обедают. Сперва лесоповальщики, потом обрубщики сучьев, возчики, пильщики. Сразу для всех места за столами не хватает.

— Сегодня всех к двум часам собери. Посоветуемся.

В два часа на вытоптанной до черноты поляне, где стояли врытые в землю грубые, плохо оструганные столы, собрались все лесозаготовители. Заросшие волосами, давно не стриженные, в старых, пущенных на износ рубахах да пиджаках... На поляне было тесно, кто стоял у столов, кто сидел на земле. Слышался говор и смех, плыл в синее и горячее небо табачный дым, мешался с влажным воздухом. Все ждали, что скажет им парторг, с чем он приехал.

Говор и смешки затихли, едва Савчук вышел с Мазаевым из палатки, служившей конторой лесозаготовителей.

— Ну как, лихо тут? — спросил Савчук, поздоровавшись с людьми.

— Зачем? Куро-орт...

— Воздуху много.

— Кина нету вот... Да девок бы на разживу хоть.

— Или Алеху сместить, язву... Свекровь она, что ли, им?

Вспыхнул опять смешок, не злой, добродушный. Повариха Евдокия Алексеевна, полная, сварливая, но в душе добрая женщина, которую все звали Алехой, строго следила за своими четырьмя молоденькими подсобницами, медсестрой и продавщицей ларька, каждый вечер загоняя их в отведенный им семерым дощатый балаган, сколоченный из горбылей и обрезков. А больше женщин здесь не было. Нынче весной взамен заболевшей продавщицы ларька, в котором люди могли купить мыло, табак и всякую прочую мелочь, была назначена Вера Инютина. Она намеревалась было в этом же ларьке, сколоченном из досок, оборудовать себе и жилье, но Алеха, явившись, молча забрала ее тряпье, строго зыкнула: «Еще чего! Тут одно мужичье, не соображаешь, дура?»

Смешок вспыхнул и тут же загас, придавленный голосом Алехи.

— Это кто там про меня высказывается? Захар, что ли? Тебе-то какое горе? Ты ж каждый вечер в Облесье, за пятнадцать верст, бегаешь.

— Он скороход, что ему?

— Марафонец!

— А там марафонки живут. Их не сторожат,— сказал Захар, крепкий в плечах, невысокий парень.

— От тебя устережишь.— Повариха, обтерев потное и красное лицо фартуком, подошла к улыбающемуся Савчуку.— И этих, Мишку с Генкой, сомустил. А они вон каких делов натворили, милиция понаехала теперь...

«Понаехавшая» милиция в лице Аникея Елизарова была тут же. Елизаров за два года работы в милиции сильно раздобрел. Сейчас он, покуривая, сидел на врытой скамейке спиной к столу, возле него стояла Вера Инютина, что-то ему обиженно говорила, а тот слушал, облокотившись о свои колени и опустив крупный нос к земле. Инютина была в белом с пестринами платочке, в светлом платье и отчетливо выделялась в толпе.

Все еще посмеиваясь, Савчук сказал:

— Ладно, Евдокия Алексеевна, во всем разберемся. Да и вообще не долго тут будем все теперь... Товарищи дорогие! Времени у нас нету много собранничать. Положение, в двух словах, такое... Лесу заготовлено порядочно, досок напилено тоже порядком. Но недостаточно все же... Поэтому директор завода отдал

распоряжение — заготовку бревен прекратить, все силы бросить на распиловку. Я вот даже еще пильщиков привез. Но, подсчитав все на месте и обсудив обстановку, думаю, надо в этот план кое-какие изменения внести... Вот Филат Филатыч говорит, что сплавная вода будет нынче только с неделю держаться после Ильина дня и спадет... Так?

— Так. Оно по всем приметам так, мужики,— уверенно сказал Филат Филатыч.— Я тут всю жизнь прожил. Гаранту даю полную, вот увидите...

— Если так, прохлаждаться нам некогда, товарищи. Упустим эту неделю — зимовать опять народ в землянках будет. Потому что никаким иным способом древесину отсюда не вывезти.

Прошел по толпе говорок. Многие из работающих сейчас здесь уже две зимы пережили в землянках, и зимовать еще одну было в таком жилье невмоготу.

— Поэтому принимается такое решение. Распиловку прекратить вовсе. В конце концов, все можно и в Шантаре распилить, было бы что. Разделиться всем на две группы. Одна будет возить бревна к реке и сплачивать в плоты. Сколько надо, столько туда и назначим, чтоб к этому самому Ильину дню все плоты были наготове. Остальные будут продолжать день и ночь валить деревья. День и ночь... За оставшиеся дни нам надо сделать как можно больше. Вот и все.

После обеда, когда все рабочие разошлись по своим местам, Савчук, слушая визг пил, стук топоров и голоса людей, тоже похлебал немного из миски и направился в сопровождении Елизарова к ларьку. Вера Инютина, увидев входившего парторга завода, вильнула испуганно глазами, вскинула ладонь на колыхнувшуюся грудь, обтянутую тонким платьем, встала боком к небольшому оконцу и опустила голову. За два последних года Вера как-то повзрослела, и, хотя ей было всего двадцать три, шел двадцать четвертый, от ее глаз, походки, жестов, от всего ее облика веяло достоинством много пожившей и немало испытавшей женщины.

Елизаров, зайдя следом за парторгом в ларек, сел на перевернутый ящик из-под мыла и опять опустил нос книзу. Когда садился, ящик под его налитым задом захрустел, и Савчук, не глядя на милиционера, поморщился.

— Ну, красавица, рассказывай, что тут такое приключилось?

Инютина всхлипнула.

— Разобраться надо. Расскажи...

Из сбивчивого рассказа Веры он понял, что насиловать ее никто не собирался вроде, и почувствовал великое облегчение. Дело было простое — двое молодых парней, как только Вера появилась в тайге, стали частенько забегать в ларек, потом и сторожить, когда она возвращалась по вечерам на ночлег или утром шла умываться к ручью. Вера улыбалась при встречах и тому, и другому («Что ж я, ведьмой должна смотреть на всех?!»), и между парнями, ранее дружившими, стала возникать неприязнь. А несколько дней назад после работы оба умотали с тем самым Захаром, на которого Савчуку жаловалась повариха, в деревушку Облесье, что расположена километрах в пятнадцати в горах. Там у знакомой Захара они всю ночь пили медовое пиво, а к утру объявились здесь.

— Я только умылась в ручье, иду назад,— говорила Вера, не глядя на Савчука,— а он, Мишка, вывалился из-за кустов. Пьяный, улыбается...

Тут Вера подняла глаза на Савчука. В глазах ее горели желтые точки, как у рыси, а губы были обиженными.

— Говор идет, будто хотели... хотели они меня... Неправда это! Они оба хорошие — и Михаил, и Генка. Только дураки. Зачем они мне?

Проговорив это, Вера прикусила нижнюю губу своими остренькими зубами. Елизаров поднял на Инютину глаза, усмехнулся и снова опустил взгляд.

Дальнейшее, по рассказу Веры, развивалось следующим образом. Михаил начал объясняться в любви, раскинул руки, прижал ее к стволу сосны и начал целовать. В это время из леса вышел Геннадий, тоже пьяный. «Не лапай ее!» — «А твоя она, что ли? Следом крался, как шпион?!» — «Уматывай!» — «Сам катись!»

— Слово за слово — и пошло у них,— рассказывала Вера.— Потом один схватил сук, другой — какую-то палку. И начали друг друга молотить. Я опомнилась, когда у Мишки кровь потекла, закричала...

Через несколько минут Савчук в сопровождении того же Елизарова подошел к землянке, где сидели драчуны.

— Ну-ка, выведи их.

Елизаров отомкнул двери из почерневших плах. Геннадий и Михаил вылезли на свет осовелые, у одного была перебинтована голова, у другого — плечо. Вылезли и встали, опустив виновато длинные руки с сильными ладонями. Савчук знал обоих — они работали в литейке и были неплохими мастерами.

— Красавцы! — произнес Савчук насмешливо и холодно. Парни молчали.— В военкомат, что ли, вас обоих отсюда отправить?

— Во-во! — подал неожиданно голос Елизаров.— Разбаловались до края тут.

— А вы не пугайте! — вскинул голову Геннадий.— Чем нашли пугать!

— Вы вон енту милицию на фронт спробуйте,— желчно бросил и Михаил.— А мы — с полным желанием и удовольствием. Наели тут рыла...

— Вот-вот! — усмехнулся Елизаров.— Это они и про вас... Хулиганы!

— Замолчите! — прикрикнул Савчук на Елизарова в бешенстве. Этот человек его раздражал все больше. И недоволен был Савчук собой, этими своими глупыми словами о военкомате, неизвестно как вырвавшимися. Действительно, нашел чем пугать...

— За драку прощения просим,— заговорил Михаил.— Так, по дурости... Тут этот нас пугает, раскормленный боров.— Парень кивнул на Елизарова.— Дескать, прижгут вам место, каким изнасиловать девку хотели. Не было этого! И в мыслях. Верка, если честная, она скажет...

— Как же вы додумались побоище такое устроить? — спросил Савчук.

— Пиво проклятое... Когда Мишка исчез из дому той, знакомой Захара-то, мне стукнуло: к Верке он это тайком от меня. Ну, я и следом подался за ним. За дорогу хмель не выветрился. Умеют в Облесье пиво варить... А что там! Наказывайте, чтоб поделом... Мишка-то вроде и ни при чем. Меня уж давайте.

— Марафонцы! — вспомнил почему-то Савчук словечко, выкрикнутое недавно на поляне.— Марш к медсестре!

— Да мы вроде бы... От безделья только ослабли.

— Марш, сказано! Оттуда — к Мазаеву. И глядите мне! В другой раз не такой разговор будет!

Парни повернулись и пошли друг за другом, гуськом. Елизаров поднял свой тяжкий, в красных прожилках, нос на парторга.

— Прощаете, выходит? Непорядок это, незаконно. Мы боремся с такими, а этак-то...

— Слушайте, вы... борец! — Савчук свирепел все больше, не понимая даже отчего. Ребята, подравшиеся из-за девчонки, если говорить честно, даже нравились ему чем-то. За пьянку и драку надо прижучить, конечно, тут уж как положено. А вот этот милиционер... Действительно, разжирел, растолстел, как баба.— Марш... к Мазаеву!

— То есть? — хлопнул длинными ресницами Елизаров.

— Он на работу определит.

— Извиняйте... У нас свое дело. Мне в райотделение надо. Выделите лошадь.

— А я говорю — к Мазаеву! — угрожающе повторил Савчук.— Будете тут до конца вместе со всеми деревья валить. А с райотделением я объяснюсь как-нибудь.

Елизаров переступил с ноги на ногу, сложил губы обиженно, повернулся грузно и пошел.

* * *

В деревне Облесье, неизвестно почему так называвшейся,— стояла она как раз среди самой дремучей тайги, провалившись на дно горной котловины,— была почта, дня через четыре Савчук съездил туда на верховой лошади, позвонил Нечаеву, объяснил директору завода, что тут, на месте, исходя из условий, он принял несколько иное решение, а распиловку бревен на доски прекратил.

— Ну что ж, пожалуй, пожалуй,— глуховато покашливая, произнес Нечаев.— Тебе на месте виднее.

— Не мне, Филату Филатычу. Любопытный старикан. Вяжет плоты каким-то известным ему только способом, материт всех остервенело... Позавчера на ночь уехал

куда-то. «Погляжу, говорит, чем белки дышат». Прилетел вчера к обеду, загнав лошаденку, заматерился еще яростнее. Через неделю, утверждает, вода поднимется. Надо как-то нам бы его... премировать побогаче.

— Сделаем. Как вообще-то там?

— Лесу достаточно навалили. Успеть бы плоты сколотить. Я уж почти половину людей по требованию Филата Филатыча ему отдал. А у вас как?

— Все нормально. Слушай, ты что с моей секретаршей сделал?

— То есть? — не понял сразу Савчук.

— Чуть с ума она не сходит все эти дни. В Москву было кинулась... «Обрекаешь, говорю, меня на смерть ты, как я тут без тебя? Дай отцу телеграмму, письмо напиши... Теперь-то уж нашли друг друга».

— А-а,— сказал Савчук.— А это точно его дочь?

— Здравствуйте... Чья ж еще? Сегодня она с ним по телефону говорила.

— Он позвонил?

— Да нет, мы отсюда Наркомат вызвали.

Возвращаясь из Облесья, Савчук думал о состоявшемся разговоре с директором. Голос у Нечаева вроде бодрый, покашливает только. Значит, оправился после того жестокого приступа в кабинете у Кружилина. С недоумением размышлял о Наташе Мироновой, вернее, о ее отце-генерале. Это был еще не старый, только очень измученный, кажется, язвенной болезнью человек. На лице его выделялись брови, не очень густые, но разметистые. Глянув на эти брови, Савчук вспомнил, что и у Наташи такие же, и сразу подумал: не он ли ее отец?

— Простите, Александр Викторович, у вас нет... дочери Натальи?

— А что? — вскинул он свои темные, недоверчивые глаза. Взгляд у него вообще был какой-то отчужденный, немного испуганный, будто он от каждого собеседника ждал подвоха, ловушки, и это не вязалось с его генеральской формой, с его положением в Наркомате.— Была у меня дочь по имени Наташа. Но она погибла вместе с матерью, моей женой, во время эвакуации. Я навел все справки... Их эшелон разбомбили.

— У нас в Шантаре, на нашем заводе, работает Наталья Александровна Миронова. Ей лет двадцать — двадцать один. Я не знаю, ваша ли это дочь, но брови у нее... И глаза... И она из эвакуированных.

— Боже мой! — Миронов шагнул из-за стола к Савчуку.— Неужели жива? Я немедленно позвоню в Шантару...

Вернувшись из Наркомата и закрутившись с делами, Савчук как-то не выбрал времени рассказать Наташе о встрече с ее отцом, полагая к тому же, что они давно созвонились. Раза два у него мелькало удивление, почему ж Наташа сама не отыщет его и не расспросит о подробностях этой встречи, но тут же эта мысль пропадала в суматохе. И только перед самым отъездом в тайгу, когда грузовики уже выехали за территорию завода, а Савчук из проходной прощался с Нечаевым, решил перемолвиться с Наташей.

— Я слушаю, Игнат Трофимович,— сказала Наташа в трубку.

— Ты что ж об отце-то ничего не спросишь? Все-таки я живого его видел.

— О каком?.. Что-о?! — В трубке что-то захлебнулось, послышалось частое дыхание.— Постойте... Вы это... со мной говорите? С Наташей?

— Да ты что? — растерялся даже Савчук.— Погоди... Я в Наркомате встретил твоего отца. Он обещал позвонить тебе сразу. Разве он не звонил?

— Не-ет,— растерянно промолвила девушка.— Постойте... Я сейчас к вам... Вы откуда говорите?

— Я из проходной. Но меня ждут люди. Грузовики с заведенными моторами.

— Нет, не-ет! — закричала Наташа.— Подождите меня!

...Над тайгой по-прежнему палило солнце, даже в тени под деревьями было душно и влажно, как в парной бане. Лошаденка, привычная к такой жаре, шла резво, только время от времени фыркала да мотала хвостом, пытаясь отогнать комарье. Савчук, запарившийся в пиджаке, решил было его снять, но тут же надел, потому что комары, как шильями, тотчас начали прокалывать рубаху на спине, на плечах.

Да, странно это, что Миронов не позвонил дочери, как обещал, не дал даже телеграммы, раздумывал Савчук, покачиваясь в седле. Вообще никак не сообщил о себе, пока дочь сама не позвонила.

За обратную дорогу эта мысль несколько раз возвращалась к Савчуку, неприятно беспокоя чем-то...

Вернулся Савчук уже затемно, выслушал доклад Мазаева о том, что сделано за день, остался доволен.

— Многие только, что на сплотке, кашлять начали,— сказал Мазаев.— Старик их целый день в воде держит. А сам как железный, зараза... Одна лошадь ногу сломала. Пристрелить пришлось.

— Эти как... марафонцы, которые подрались?

— Работают, как звери.

— Людей на сплотке менять надо...

— Да меняем.

Когда совсем стемнело, Савчук, поужинав, взял мыло и полотенце, пошел к Громотухе. Всюду на отлогом галечном берегу громоздились кучи бревен, длинные готовые связки плотов лежали на воде, привязанные канатами к большим валунам или вкопанным в землю бревенчатым сваям. Савчук зашел на один из таких плотов, разделся. Здесь, на реке, было свежо, тянул ветерок, относил комаров, и они почти не беспокоили. Вдыхая с жадностью холодный запах мокрой древесины, Савчук прыгнул в теплую, усыпанную звездами воду. Здесь было неглубоко, всего по грудь, течение слабое, дно песчаное. Савчук вымыл голову, с наслаждением поплавал, разбрызгивая руками звезды, вылез на плот, натянул брюки и рубаху, закурил.

За его спиной горели редкие огни костров, слышались нечастые голоса, раздавался иногда смех. Все это доносилось реже и реже, люди, утомленные долгим и нелегким рабочим днем, укладывались в палатках, в землянках, а то и просто у дымокуров.

Неожиданно сзади послышались всхлипы оседавших в воду бревен. Савчук обернулся — кто-то шел к нему по плоту. Через секунду-другую он различил, что это Вера Инютина.

— Ой, ноги чуть не поломала! Там еще бревна не связаны. Извините... Я не знала, что это вы здесь. Думала, из девчонок кто.

Савчуку эта девица не нравилась, ему были всегда неприятны ее какие-то уж слишком угодливые глаза при встречах, и он не понимал, зачем Нечаев взял ее к себе в секретарши. Заходя в приемную, он вежливо здоровался и, отмечая, как вспыхивают приветливо ее длинные глаза, тут же отворачивался. Несмотря на приветливость, глаза ее казались ему неискренними. А вот сейчас, кажется, и голос, и слова.

— Сюда вообще не следует ходить купаться,— сказал Савчук.— Не положено.

— Кем это? — спросила Вера.— Вы же ходите... Тут вода чистая.

Она проговорила это приглушенно и, кажется, чуть с улыбкой. На этот раз в ее голосе Савчук уловил откровенное желание разрушить грань официальности.

— Тут везде вода чистая.

И Савчук встал.

— Вы простите... Ей-богу, я думала, что тут... Я уйду. Купайтесь.

— Я уже выкупался,— ответил он и пошел на берег.

Минут через двадцать, когда Вера с мокрыми волосами шла от берега по протоптанной в лесной траве дорожке, из-за толстого ствола метнулась к ней расплывчатая тень, кто-то железной хваткой защемил ей и голову, и шею. Она не успела крикнуть, только охнула, чей-то горячий рот поймал ее губы, начал жевать их, а другой, свободной рукой нырнул под расстегнутую кофточку, больно сжал холодную от воды грудь. Вера пыталась вывернуться, зарычала, принялась рвать волосы насильника, а потом, догадавшись, кто это, затихла и даже, когда тот оторвался от ее губ, сказала:

— Ну что же ты, Аникей? Еще целуй, а то у меня кровь застыла.

Елизаров, однако, отпустил ее, сел на корточки под сосну.

— Дурак ты,— зло сказала Вера, застегивая кофточку.— Что пугаешь? Захотел потискаться — сказал бы. Сама б пришла.

Вера постелила полотенце на землю и села рядом с Елизаровым, натягивая юбку на коленки.

— Я, Верка, Нинуху свою из-за тебя выгнал,— сказал он тоскливо.— Айда за меня.

— Не будет этого.

— Тогда... вот те крест, Верка, силой тебя подомну как-нибудь. Нарушу твою невинность драгоценную.

— И этого не будет,— спокойно сказала Вера.— Тогда ведь тюрьма, фронт. А ты этого боишься. Трус ты. Вон цыкнул на тебя Савчук, и ты остался тут, вкалываешь. Трудненько? — усмехнулась она.

— А зачем мне на рожон с этим пустяком лезть? Я вот хочу на желдорогу перейти работать. Устроюсь кем-нибудь — кладовщиком или где по механизации. Я ж тракторист все же. А из-за такого пустяка он, Савчук-то, еще и озлиться может.

— А у вас-то что, в милиции? Сняли броню, что ли?

— Ну, у нас...— неопределенно махнул рукой Елизаров.

Вера, поняв, что у Елизарова по службе какие-то неприятности, опять усмехнулась. Он заметил это, схватил железными пальцами ее за плечо, тряхнул.

— Ты! Не скалься. Все рыбачишь, где поглубже? Ишь, на плот приперлась. Дура! Да разве он клюнет?

— Вывел, а! — И Вера хохотнула.— Зад отрастил, а мозги совсем ссохлись. Я и не знала, что он тут.

— Ничего, понимаем. Алейников сорвался, директор завода из секретаршей по шее дал... Грубо работала, должно. На передний план все титьки выставляешь. А они у тебя склизкие.

Вера вскочила, губы ее дернулись. В темноте ее глаза сверкали, брызгали искрами.

— Т-ты... мешок с навозом! Какие бы ни были, да не для тебя! — И она торопливо сделала шаг назад, будто боялась, что Елизаров опять кинется на нее.

А он действительно встал.

— Слушай... Инюткина, как этот старый хрыч тебя зовет...—прохрипел Елизаров. Стоя на месте, он протянул длинные руки, схватил Веру, стоящую теперь столбом, и притянул близко к своему лицу.

— Отпусти сейчас же! — вскрикнула она сдавленно.— Я закричу!

— А я что, не понимаю, что закричишь? — усмехнулся ей в лицо Елизаров. — Потому я тебя силком брать не буду. Сама ты подстелишься под меня. Добровольно. Запомни.

— Жди, как же!

— Подожду, я терпеливый.— И он оттолкнул ее от себя.— Никого ты, рыбачка, не поймаешь. Крючки у тебя не те. Я только для тебя...

Он повернулся и пошел, раскачивая в темноте огрузлым задом. А она стояла, взбешенная, ее просто колотило от ярости, но глядела, как он уходит, молча, а чтобы не закричать, острыми зубами кусала край полотенца.

* * *

— Нет, не-ет! Подождите меня! — пронзительно закричала тогда, после разговора с Савчуком, Наташа, всполошив все заводоуправление, напугав Нечаева. Федор Федорович торопливо вышел из кабинета, но ее там уже не было, каблуки ее скатывались вниз по лестнице — будто пулемет строчил. И тут же, как одиночный выстрел, хлопнула входная дверь.

Наташа летела к проходной, никого не видя на своем пути, волосы ее развевались, по щекам текли слезы, и встречные шарахались от нее в стороны. Оттолкнув ошалевшего охранника, она выскочила на улицу.

— Вертайся назад, язви тебя! — кричал седоусый стрелок из военизированной охраны завода. В правой руке у него был выхваченный из кобуры наган, на помощь ему спешили еще два охранника, сдергивая с плеча винтовки.— Ты што ж, сдурела? Пропуск, говорю, а ты толкать... А кабы стрельнул? Хорошо, в лицо тебя знаю... Ну, давай пропуск али вертайся!

Если бы все это видел посторонний, ему бы показалось, что у заводской проходной поймали опасного злоумышленника. Но охранники действовали просто согласно инструкции.

— Иди, Наташа,— сказал и Савчук.— Потом мы с тобой подробно поговорим. А сейчас мы очень спешим.

— Ну хоть два слова! Это... он? Да? Он?

— Да, это твой отец.

— Как он... Господи! Как он выглядит? Скажите!

— Как! Нормально...

Так же никого не видя, шла Наташа назад. Она вошла в кабинет директора, захлопнула за собой обитую черной клеенкой дверь и прижалась к ней спиной.

— Что такое?! — встал ей навстречу директор.

— Папа, папа! Он... Савчук говорит, что он в Наркомате работает. Я говорила, говорила, что он не виновен! — бессвязно выкрикивала Наташа, давясь слезами, потом качнулась к Нечаеву и уткнулась ему в плечо.

Не сразу Федор Федорович понял, в чем дело, а когда понял, усадил свою секретаршу за длинный «совещательный» стол, вытер ей, как девчонке, щеки своим носовым платком.

— Вот и хорошо, Наташа,— сказал он.— Давай-ка чаю попьем, а? Я сейчас сам заварю. Видишь, мы живем все-таки по законам справедливости... Где у тебя заварка-то?

Говоря это, Федор Федорович вышел в приемную, оставив дверь в кабинет открытой, включил там электроплитку, на которой Наташа всегда грела для Федора Федоровича чай, полез в шкаф, ища заварку.

— Сейчас мы почаевничаем. Прекрасно, все прекрасно, Наташенька. Дочка-то как твоя, Леночка, а?

Потом они пили чай, директор завода подробно и потому неумело расспрашивал о ее житье-бытье, хотя все прекрасно знал и без этого, о ее муже Семене, даже о бабке Акулине, у которой жила Наташа.

— А знаешь... А хочешь, мы отзовем твоего мужа с фронта? — неожиданно предложил Нечаев.

— Как? — удивилась Наташа, даже обрадовалась.

— Ну... это не трудно. Наш завод военный, нужны специалисты. Я напишу, мне пойдут навстречу.

Наташа молчала долго, глядя в остывающую чашку. Она вспомнила, как Семен год назад уходил на фронт. В мозгу зазвучали вдруг отчетливо его слова, когда они лежали на горячем песке речного острова: «Ты подумай сама вот о чем... Дед мой, Михаил Лукич, кто был? Люди помнят... Может, кто и забыл бы, да сын его Макар живой еще... И отец мой, сама видишь, какой. Подумай — и поймешь, почему я должен идти. Мама поняла, она заплакала, но сказала: «Иди, надо, сынок...» Вспомнила и куличка, бежавшего у самой воды по мокрой полоске песка от настигающей его тени от облака. И как Семен следил за ним. Еще вспомнила, как он уезжал на фронт, как медленно уползал поезд, обвешанный гроздьями людей, а за последним вагоном бежал он, Семен, а она, Наташа, смотрела на него и радостно думала, что он не догонит вагона, поезд уйдет без него, а он останется, и они вернутся домой, и все будет как прежде. Но Семен догнал вагон, к нему протянулись руки, ухватили его, затащили в черный проем вагонных дверей...

Все это Наташа увидела вдруг перед собой как на живой картине, как в кино, а Нечаев не видел, потому что ничего этого не знал и не испытал. «И потому вот сказал это... это...» — мелькало у нее в мозгу.

Еще молча она отрицательно качнула головой, а потом только произнесла:

— Не-ет... Невозможно это. Никак...

Нечаев, беспомощно и виновато следивший за ней, чуть отвернулся. И Наташа поняла, что он предложил это от доброты просто, и, если бы она согласилась, может быть, и отозвал бы Семена с фронта, но навсегда бы потерял уважение к ней. И к Семену. Они бы для него тогда перестали существовать. Как надо иногда немного, чтобы к тебе потерялось вот такое человеческое уважение, без которого и жить-то нельзя. Одно, всего одно слово... Но как ей сейчас не просто было удержаться от такого слова!

Неожиданно Наташа, сразу забыв о Семене, ощутила в себе какое-то беспокойство, глянула на директора завода вопросительно и растерянно.

— Но почему отец... действительно не позвонил мне до сих пор? Не дал телеграмму? Не написал? Сколько дней прошло!

Ее беспокойство передалось и Нечаеву.

— Да, да... Но он мог... уехать куда-нибудь. У них дел-то! Мог просто заболеть, в конце концов...

— Тут что-то не так! Тут что-то не так! — дважды воскликнула Наташа, поднялась, зажала виски ладонями. Ткнулась в один угол кабинета, в другой.— Я не могу... Я сама... сама должна поехать в Москву!

— Зачем же? Можно же телеграмму дать... Или давай сами позвоним, а? Ведь это просто!

— Ой! — воскликнула Наташа, побледнела вдруг, как стена.— Не надо!

Она выскочила в приемную, села за свой стол, уронила голову и заплакала.

Минут через десять успокоилась, поправила волосы, глянула в зеркальце. Глаза были красными, припухшими. Еще подумав о чем-то, встала и зашла к Нечаеву.

— Федор Федорович... Если можно, я домой... Леночку пора кормить.

— Конечно, конечно... Ты вообще можешь сегодня не приходить. Отдохни.

— Спасибо,— сказала Наташа.— И без меня не звоните в Москву. Мне просто страшно.

— Хорошо, Наташа.

Она вышла из проходной, не обратив внимания, что седоусый охранник, которому она машинально показала пропуск, что-то пробубнил, зашагала по пыльной улице к домику бабки Акулины, глядя себе под ноги, но ничего не видя на земле.

Бабка Акулина встретила ее ворчанием:

— Ты, девка, матерь али кто? Извелась вся девчонка. Есть хочет.

Наташа молча взяла Леночку, вынула тяжелую от молока грудь и дала дочери. Села у оконца и стала глядеть во двор, где копались в пыли куры.

Бабка, погремев у печки заслонкой, достала чугунок со щами, поставила на стол две чашки, положила две ложки.

— Ты что это, касатушка, ревела, что ль?

— Говорят... Мне сказали, что отец мой в Москве.

— Охтиньки! — Старуха всплеснула обеими руками.— Выпустили его с тюрьмы?

— Получается так...

— Ну и слава богу нашему! Справедливен он. Што ж теперь-то! К отцу, что ль, поедешь?

— Ах, не знаю! Прямо голова кругом...

Больше Наташа ничего объяснять не стала.

Покормив дочку, Наташа села к столу, пододвинула к себе чашку.

— Ты кушай, доченька,— суетилась добрая старушка, тоже присаживаясь, поклевывала из чашки.— Тебе дитё кормить, молочко должно быть покрепче. А без вкусу ешь, молоко будет в грудях тонкое. Мальчонке бы еще ладно, они, мужики, потом силу набирают. А женский род другое. Девке с пеленок надо силу набирать внутрь. Девке рожать, род человечий продолжать...

Потом Наташа, почувствовав смертельную усталость, прилегла и быстро заснула, а когда прохватилась, в оконца уже били косые вечерние лучи. В доме не было ни бабки Акулины, ни Леночки,— видно, старуха вышла с ней погулять. Наташа, чувствуя в теле легкость, умылась и вышла во двор. Бабка Акулина сидела в тени у стенки, держа девочку на коленях. Та, выпростав ручонки, тянулась к бабкиному лицу, улыбалась. Старуха что-то тихонько бормотала, морщинистое лицо ее было светлым и молодым в этот момент, и Наташа подумала вдруг, что настоящее-то выражение человеческого лица вот таким и должно всегда быть.

— Во-от и мамка встала-а,— проговорила старушка нараспев, не прекращая с ребенком бесхитростной своей игры.— Мамушка твоя встала, Елена свет Семеновна, да-а... А мы есть опять хотим...

Наташа, улыбаясь, взяла дочь, расстегнула кофточку. Леночка сильно втягивала горячим ртом сосок, иногда больно прижимала недавно прорезавшимися зубками, но Наташе было приятно, и, когда дочь сосала грудь, ощущала полноту бытия и счастья. В эти минуты ничто не имело для нее значения — ни кошмарное прошлое, ни не очень-то благоустроенное настоящее, ни человечье горе, ни полыхающая уж два года жестокая война. Она ощущала только извечным материнским

чувством вот эту новую жизнь, которой она дала начало, и тихо удивлялась красоте окружающего — и зеленому топольку за оградой, и синеющему небу, и белым, бесконечно бегущим куда-то по небу облакам.

— Ишь захлебывается,— тихо проговорила бабка Акулина, глядя, как Наташа кормит дочь.— Оголодалась. Малая жизнь, на волосенке держится, а своего требует...

Старуха помолчала, задумавшись о чем-то своем. И проговорила со вздохом:

— Она всякая жизнь-то на волосенке... и большого, и малого. А не кончается... Отчего дочка твоя родилась, понимаешь?

«Оттого, что с мужем спала»,— чуть не сказала Наташа, бывшая сейчас в каком-то хорошем и легком настроении, но, почувствовав серьезность бабкиных размышлений, не посмела.

— А вот от этой нескончаемости жизни,— сама ответила старуха на свой вопрос.— Покуда солнышко светит, жизнь не кончится, не замрет на земле-матушке.

«Покуда солнышко светит...» Наташа долго думала над этими словами, почти физически ощущая, как это необходимо, чтоб солнце светило. Даже не для нее самой теперь, а вот для Леночки, для этого крошечного и родного существа, которое появилось «от нескончаемости жизни». Наташа представила себе неясно какие-то далекие дни, далекую жизнь, когда Леночка ее вырастет и будет жить и смеяться где-то в потоках света и солнца. И волосы ее будут солнечными волнами гореть и переливаться, сбегая до плеч.

И вдруг вспомнилась ей та кошмарная ночь, когда Елизаров в доме Маньки Огородниковой арестовал родного дядю Семена — Макара Кафтанова — и его ужасных друзей Гвоздева и Зубова, и ее, Наташу. Огородникова привела ее тогда к себе в дом, чтобы эти бандиты надругались над ней. И тогда что же? Тогда — смерть, она бы не перенесла, что-то бы с собой сделала. Огородникова нашла ее, почти уже замерзшую, в степи за деревней, она спасла ее от неминуемой смерти, и она же привела ее на смерть... Но вдруг непонятное поведение главаря этих бандитов Зубова, который приказал отпустить ее. Но она не успела уйти, ворвался в дом Елизаров со своими милиционерами... И обращенные к ней непонятные слова того же Петра Зубова, когда милиционеры их всех повели: «Человек никогда не должен становиться на колени. Если он встал на колени, он уже не человек». Потом кошмарная ночь в милиции, в пустой, грязной, вонючей камере, где до рассвета пищали и возились крысы. Наташа леденела от мысли, что крысы набросятся на нее и загрызут...

Часто, очень часто вспоминала Наташа все, что с ней было и в ту ночь, и раньше, и позже. Она пыталась разобраться: что же все-таки произошло с ней, каковы причины, что жизнь чуть не растерла ее, не уничтожила, и почему все-таки не растерла? Кружилин Поликарп Матвеевич, секретарь райкома, сердито сказал ей тогда: «Один-два подлеца встретились тебе, а ты и заключила, что все люди такие...» — «Не два,— возразила она яростно,— их много». И тогда Кружилин еще злее выкрикнул: «Ну, двадцать! Ну, двести!» И она, Наташа, подумала, что и этот секретарь райкома такой же бездушный и тупоголовый человек, он ничем ей не поможет, жизнь ее покатится под обрыв дальше. А теперь вот кругом нее люди добрые, обыкновенные, их много, целый завод, целая Шантара... И есть у нее Семен, есть вот Леночка, есть эта добрая бабка Акулина. «От нескончаемости жизни...» Да ведь большая и мудрая мысль в этих словах, что-то вечное и великое, как это небо над головой. Да, все от нескончаемости. И ее почти неминуемая гибель, и ее как бы второе рождение. Мать погибла, а отец вот... нашелся. Антона Савельева, директора завода, больше нет и никогда не будет, а завод дышит все сильнее, все растет... Семен там, где каждую минуту может...

Наташа вздрогнула, прикрыла глаза. Невозможно было представить, что может произойти там, на фронте, с Семеном, и кощунственно даже думать об этом. Но и не думать нельзя, ведь война! Но что бы ни случилось, что бы ни произошло с ним, останется его Леночка. «Девке рожать, род человечий продолжать...» Правильно, все правильно...

Тянул тихий, теплый ветерок, шевелил светленькие и мягкие клочья волос на голове уснувшей Леночки, уставшей, опьяневшей, наверное, от света и чистого воздуха, от материнского молока. Наташа боялась даже пошевелиться, чтобы не нарушить ее покой и сон.

* * *

День уходил нехотя, тяжко и трудно меркло небо, не желая поддаваться наплывающей темноте, потом яростно и долго горел закат, отсвечивая на каменных верхушках Звенигоры.

Развешивая постиранные пеленки, Наташа поглядывала на потухающее небо, на бледнеющие горные вершины и представляла себе, что где-то там, на другой стороне земли, идет вот такая же обратная борьба утреннего света с ночной темью, солнечные лучи, пронизывая мрак, цепко хватаются за горные утесы, за верхушки деревьев, за крыши домов, как бы подтягивают за собой само солнце. И мрак рассасывается, тает, откатывается прочь.

«От нескончаемости жизни...» — опять и опять вспоминала она бесхитростные слова бабушки Акулины, которые казались ей все значительнее, хотя сама старуха, укладывающая на ночь Леночку, давно забыла о них. Наташа тихо, про себя, улыбалась. Улыбалась, но на сердце было все же тревожно и неспокойно. «Почему отец... если зто он, не отзывается никак, не ищет меня? Наверное, тут какая-то путаница, и это не он...»

Было страшно, неожиданно получив надежду, тут же потерять ее.

Закат наконец погас, над горизонтом горела лишь бледновато-желтая полоска, но в зту узкую щелку свету проливалось всего ничего, и он не доставал уже до земли.

Наташа разобрала свою постель, но раздеваться медлила. Присела на кровать, посидела, потом встала, подошла к окну, принялась высматривать что-то во мраке.

— Да что ты все маешься? — проговорила старуха.— Отбей телеграмму, да и вся недолга.

— Легко сказать. А если...

— Что если? Будешь жить, как жила. Не во зверях живешь, как я когда-то...

— Как это во зверях... вы жили? — повернулась к ней Наташа.

Бабка Акулина, высохшая, маленькая, в одной нижней рубашке, завертела беспомощно головой, уже повязанной на ночь по-старушечьи стареньким платочком, виновато и обескураженно заморгала.

— Ах ты, якорь меня тресни! — пробурчала она недовольно.— Язык бабий...— Она села на кровать, затеребила завязки на подушках.— Известно как. Старое время было, что тут... Спи давай.

Наташа подумала: она столько времени живет у зтой славной старушки, а ничего, в сущности, о ней не знает. Кто она, откуда, почему живет бобылихой? И вот случайно старуха проговорилась о чем-то, но тут же пожалела об зтом.

— Нет, расскажите, а? — попросила Наташа.— Акулина Тарасовна... Если можно...

— Чего там! Обыкновенно... Зачем тебе?

— Вы обо мне все знаете. А я о вас ничего. Вместе ж живем.

— Живем... Все люди вместе живут. Да поврозь часто думают. В этом все и горюшко на земле. Весь корень тут.

Наташа, еще более пораженная зтими словами, шагнула к старухе, опустилась перед ней на пол, обняла ее худые ноги.

— Расскажите. Мне это нужно зачем-то... Я столько добра от вас видела! Сделайте еще одно.

— Чудная, право слово,— вымолвила старуха.— Какое тут добро может, в моем рассказе? Откудова возьмется?

— Не знаю. Только будет, я чувствую.

Слабая и сухая грудь старухи тихонько шевельнулась.

— О-хо-хо, доченька... Все в моей жизни перебывало — и солнышко, и слезоньки. Слез, должно, больше... И счас вот живу как неприкаянная. Ты вот попалась мне, объявилась как-то, согрела маленько.

— Да все же, все наоборот!

— Ну, зто ведь с какого боку смотря... Человек от человека греется-то. Мужик мой все так говаривал. Хоро-оший он был... якорь бы ему за печенку! — Рука ее, поглаживающая голову Наташи, дрогнула.— Тьфу ты! Отчего мы злые-то такие? Нехорошо, грех.

Старуха помолчала, глядя куда-то в одну точку. Взгляд ее был грустноватый, но не тоскливый, руку она все держала на Натащиной голове. Потом убрала.

— Да, верно, слез больше,— неожиданно как-то раздался снова ее голос, скрипучий, изношенный.— А глянешь в глубь-то прожитого, в годы-то дремучие, быльем все густо заросшие,— не-ет, видится, солнышка тож в достатке было, светило оно и обогревало славно... Отчего ж оно так, Наташенька?

— Не знаю. Я как-то... пока не ощущала такого.

— Ну, да, ты молоденькая еще...— И продолжала какую-то свою мысль: — Оттого, я думаю вот, что с жизнью-то расставаться тоскливо. Глядишься в нее и выискиваешь в первую очередь то... ну вот то, для чего родился. Зря или не зря?— думаешь. Не-ет, вон и радовалась миру божьему, и посмеивалась. И любовь была человечья. Да, была...

И тут вдруг ее взгляд потух, она опустила голову. Но потух на мгновенье всего, потому что, когда она подняла глаза, они были прежними, чуть грустноватыми и раздумчивыми.

— Ты знаешь, доченька, я ведь каторжная...— произнесла она ровно и тихо, только зрачки при этом чуть шевельнулись.

Наташа почувствовала, как дрогнули веки, будто свет мигнул в комнате. А может, и в самом деле это мигнула электрическая лампочка.

— Как же?!

— Так... На каторге маялась больше десяти годочков.— И старуха рассмеялась неприятным, скрипучим смехом.— Да ты не бойся, давнее дело...

— За что же? — спросила Наташа деревянно и встала.

— За убивство.

Наташа стояла, оглушенная. Вот так... добрая бабушка Акулина! А она живет тут с ней...

— А ты б разве в ту ночь-то, когда у Огородниковой Маньши в дому этот Зубов-то Петенька тебя обсильничал бы, а? Али другой кто из тех... Взял бы да распнул на кровати... Как бы ты, не зарубила его? Не заколола... чем-нибудь?

Наташа молчала.

— Ну?! — зло крикнула старуха.

— Зарубила бы,— уронила Наташа глухо, без голоса.

— То-то и оно... Вот и я... прости ты меня, господи!

И старуха вдруг всхлипнула по-девчоночьи, жалко и беспомощно, и стала вытирать глаза сухими, костлявыми пальцами. С Наташей что-то случилось, что-то внутри оборвалось, расплавилось и горячей влагой обдало все сердце. Как-то она никогда не думала о прежней жизни бабушки Акулины, а ведь эта жизнь-то человеческая была вон какой... жутко представить! И Наташа снова шагнула к старухе, опять упала на колени, схватила ее руки и уткнула лицо в ее жесткие ладони.

— Бабуся... Акулина Тарасовна, милая! — Высохшие ладони старухи пресно пахли запахом ее, Наташи, ребенка и немного речной мятой, которую она пила каждый день от сердца.— Да как же, как же? Ты прости меня...

И она стала целовать ее жесткие, негнущиеся пальцы.

— Вот, сердечушко мое,— не сильно, беспомощно вздохнула старая женщина. И повторила: — Убивица я, человека я, значит... Бог-то и наказывает меня за это всю жизнь, должно... Сынок он нашего помещика был, богатый человек. На Ярославщине... Военный.

— Расскажите,— снова потребовала Наташа, хотя видела, что говорить старухе тяжело.

— Давно, говорю, было. Давным-давно.

— Но вы же все помните! Такого нельзя забыть!

— Нельзя,— согласилась старуха.— Хотела б, да не забывается...

Она помолчала, вынула тихонько свои горячие ладони из Наташиных рук, опять погладила ее по голове.

— Шестнадцать-то годочков мне всего и было в ту пору, семнадцатый шел, самый цвет,— начала старая Акулина.— Дворовые мы были у помещика, в деревне Косяковке жили. Там я и родилась в восемьсот семьдесят втором. Прошлый год мне уже семь десятков пробренчало. Долгонько что-то зажилась я...

Старуха судорожно глотнула воздуху. При свете электрической лампочки лицо ее было бледным, неживым, лишь темноватые глаза горели пронзительно.

— Да, в самую пору я входила, парни заглядываться начали. Пощипывать начали, известное дело. Помещик-то у нас ничего, добрый был. «Гляди, говорит, Акулина, девка ты красивая, да без баловства чтоб у меня, а я тебя за хорошего мужика замуж выдам. Я, грит, об тебе позабочусь, поскольку отец с маткой твои после воли у меня остались и служат исправно...» А мои родители и правда у него так и остались, когда воля вышла. Ну, ты знаешь про ярмо-то крепостное?

— Да, да,— кивнула Наташа.

— До меня оно еще было, а при мне что ж? То же самое... Родители мои куда могли пойти, чем жить? Так и остались у помещика. Вот за это, значит, он и говорил... А было у него два сына — Викентий да Евгений. Военные. Они служили где-то в самой Москве, а на лето часто к нам приезжали. Евгений был постарше на год, с усиками. Как ножи были те усы, я думала, губы... лицо все он мне ими покромсает.

Акулина Тарасовна дотронулась пальцами до сморщенных, бесцветных щек, будто проверяя, не осталось ли до сих пор шрамов от тех усов.

— Значит, этот, Евгений, вас...

— Обои,— проговорила старуха негромко и хрипло, отвернув глаза.— Пьяные они были. Трезвые-то, может... Евгений-то всякие шуточки говорил мне, когда где встретит, в красноту вгонял. А другой, Викентий, огнем заходился от братцевых шуточек. Стыдливый был. А тут... Ехали они откуда-то из гостей вдвоем, братцы-то. А я с луга шла. Барин всех сено метать выгнал, дождливое лето было, рук не хватало, чтоб сено ко времени прибрать. Он и выгнал всех с деревни, от мала до велика. День сгребали, метали, а под вечер родитель мне, помню, сказал: «Ступай, дочушка, на становье, самовар раздуй покуда, а мы счас...» Становье недалече было, версты с две, за леском у дороги, возле речки. Ране тут пасека барская была, омшаник стоял брошенный, догнивал. А теперь, летом, косари жили... Да-а, иду я, к становью подхожу, а сзади коляска и стукотит. Я и не испугалась даже — мало ли народу ездит туда-сюда... Остановилась, гляжу,— а это сынки бариновы. В одних рубахах белых. Евгений-то сходит с коляски, гляжу, усик свой пальцем поглаживает, будто навостряет. И глаза горят нехорошо. За ним, гляжу, и другой братец пошатывается, плечами мотает. Тут-то я и обомлела враз: господи, да в глазах-то у обоих звериное! Кинулась от них, метнулась туда-сюда по становью... Мне бы, дуре, за речку, да и в лес. Не догнали бы, где им, пьяным! А я со страху в омшаник юркнула, дверь спиной приперла. А что дверь-то, она даже без закладки была. Ткнул в нее плечом Евгений, она отмахнулась, я и отлетела перышком. Прижалась в угол, шевелю губами, а голосу нету... Все же чую, что плачу, и говорю: «Не трожьте, ради Христа, уходите с добром. Вон отец с маткой идут уж, и мужики...» А Евгений все навостряет усики свои, в уши мне голос его долбит: «Не бойся, глупая... Колечко золотое дам...» Ну, и... схватил за плечи да начал усами мне лицо, шею резать. Господи, чую, шарит по грудям уж, по ногам, а боль только от усов этих насквозь все тело прокалывает, будто они и впрямь железные...

Акулина Тарасовна рассказывала все это долго, с перерывами, голос у нее иногда угасал, горло перехватывало, и дряблая кожа на нем дергалась, будто она хотела что-то проглотить, но не могла, не было сил. Старческие глаза по мере того, как она рассказывала, наполнялись скупыми слезами. И наконец она тихонько, как мышь, пискнула и заплакала. Но выплакалась быстро, приподняла край пестрого, сшитого по-крестьянски из разноцветных лоскутков одеяла, вытерла глаза и глянула на Наташу. Щеки ее горели, глаза стали еще темнее, чернота в них сгустилась, кажется, до предела.

— Вот... нащемила я твое сердечушко, дура старая,— проговорила старуха виновато.— Да ить сама ты...

— И что ж... потом-то? — требовательно спросила Наташа.— Все, все расскажите!

— А что... Растянули они меня прямо на земляном полу... испохабили чистое девичество. Этот, Викентий, который стыдливый-то, без усов был, а еще хуже... Он зачем-то щеки мне все покусал до крови. Вот... Ну, и боле-то я ничего не помню, потеряла разум. Очнулась я, а первая дума — задавиться. Куда с такой

славой в деревне? Поднялась, иду, как неживая, к дверям. Слышу, голос крпчит: Евгений, торопись, мол, увидят, мол, нас тут. Дверь открытая, я и слышу, хотя в ушах звон стоит звонской... Вышла я за порог, гляжу — Евгений этот, с усиками, колепки от грязи тряпкой обчищает. Спина его белым горбом передо мной. А тот, Викентий, видно, за омшаником, возле коляски. Оттуда, соображаю, зто он кричит ему, убраться, паскудники, скорее хочут... Ну, а после, известное дело,— кому доказывать-то, что барские сынки тебя ссильничали? Заикнись — так плетями забьют до смерти. В старое-то время какой с них спрос был? Вот... И, гляжу, вилы стоят у стенки омшаника, рожками блестят, как нарочно. И опалило меня: счас я их в белый-то твой горб! Хрястнет только... А тут, вижу, оборачивает он ко мне свои усы, глаза у него округляются, сам вытягивается. «Ты что это? — кричит он, а усы дергаются.— Ты зто брось!» А сам с тряпкой зтой в руках пятится, пятится к омшанику. Это, получается, с вилами *я на него*. Как они в руках у меня оказались, я и не знаю, этот миг провалился из памяти.

Наташа медленно, чувствуя, как дрожат коленки, поднялась, постояла возле старухи, оглушенная ее рассказом.

— Чтой ты? — спросила Акулина Тарасовна.

— Так... Сейчас...— Она отошла к кроватке Леночки, та крепко спала, откинув в сторону правую ручку. Поправила одеяльце, хотя нужды в зтом не было.

— Запорола... его? — спросила отрывисто, с трудом.

— Ага,— сказала старушка тихо и просто.— В шею прямо угодила. Приколола его к почерневшей стене, как... Опять же, не помню, как зто я... Коленки его грязные только перед глазами, которые он не успел отчистить... Откудова сила-то взялась, непонятно, ить всю они меня измяли, обессилили. А вилы на вершок али больше того в стенку омшаника воткнулись. Выронил он тряпку, а сам обвис, приколотый. Кровища из шеи хлещет... Я черенок-то вил из рук выпустила, а он качается перед моим лицом... Попятилась я в страхе великом, в голове молотит: да это что же я такое наделала?! Хочу крикнуть — и не могу. А он висит да дергает ногами. Потом оборвался со стены, свалился кулем вместе с вилами, еще ногами подергал, да и затих... Опять я крик услыхала: «Женька, да что ты там? Мужики с покоса идут!» И тут вот только прорезался голос у меня, взвыла я благим матом...

Наташа, чувствуя, что ноги ее не держат, шагнула к столу и села. Виски больно рвало, в голове шумело.

— Вот, за такое убивство меня и сослали в каторгу,— проговорила Акулина Тарасовна, забираясь с ногами на кровать. Но она не легла, а поджала ноги под себя по-девчоночьи, укрыла их одеялом, спиной прислонилась к стенке, затянутой ситцевым ковриком. — В сибирское село Кару пригнали... На лошадях ехали, потом по чугунке. По этапу мужиков в кандалах гнали, а нас, баб, ослобоняли, милостивцы... На ночь только железо надевали. И там, в Каре, и мыкалась я год, другой. А на третий господь сбежать надоумил.

— Как... как же удалось вам? — после некоторого молчания спросила Наташа.

— Ну, как да что — упомнишь разве? Долгое дело рассказывать. Господь, а может, дьявол нашептал: беги, грит. Ну, я и кинулась в побег. Зверицей я по лесам таилась, варначкой, значит, по-местному, по-сибирскому сказать, год жила. Шла да шла куда-то. Добрые люди в Сибири-то живут, доченька. Без них я бы сдохла от голода через неделю же али к стражникам сразу попалась. В первой же избенке, куда я стукнулась, одежкой подсобили, сала соленого дали, сухариков. И проводили ночью подале... Богатеям, конечно, нельзя было на глаза попадаться. А бедный люд нам, варнакам да варначкам, на ночь выставлял где-нибудь на полочку возле дверей то хлеба, то крынку молока, то еще чего... Так было в те поры в Сибири-то. А мы возьмем все зто ночью, покланяемся доброму дому, да и опять в тайгу. Да-а... Одно время с рябой бабенкой я спаровалась, тож беглая, как я. На краю какой-то деревни с ней ночью столкнулась. Я, значит, к чашке, выставленной у дверей, подбираюсь неслышно, и она тож... Недели с четыре мы вместе с ней шли. А потом отделилась я от нее. Воровством она стала забавляться, принесла как-то ворох мужских портков, рубах... С веревки, значит, ночью где-то сняла. Ну ее, думаю... Воры средь варнаков тоже были. Ну, когда их ловили на этом, убивали до смерти. Да, ушла я от нее... Зиму где-то в норе земляной провела,

чуть не замерзла, с голоду чуть не померла. Кору грызла, шишки всякие. Ну, силки ставила. Из проволок — на зайцев, из волоса — на птицу. Научилась. Да что в них попадалось? Тяжко зимой беглым, вымирают они начисто... Я выдержала. Весной, как солнышко пригрело, далее я побрела. Да тут и прям попалась в руки к стражникам.

— Как?! — тяжко, с болью вырвалось у Наташи.

— Как? Просто... К ручью, помню, вышла — жара меня сморила. Лицо ополоснула, потом к водице припала, пью... Оторвалась, чтоб ломоту в зубах перевести, а сбоку двое на конях. В белых форменках обои, и уж шашки вынули. «Сладкая, знать, водичка, бабонька? — спрашивает один.— Откуда ж путь держишь?» А чего откудова? По обличью видно, что варначка...

Старуха вздохнула, прикрыла глаза. Тонкая и ветхая кожица на веках подрагивала, будто Акулина плакала с закрытыми глазами. Но когда открыла их, глаза были сухи, только поблескивали острее обычного.

— Таково, доченька, дело вышло... Ну чо ж, пригнали меня стражники в какое-то село, пытать стали, кто такова да откудова. Известное дело — дурочкой прикинулась, не знаю, мол, и фамилии не помню, хожу, мол, по земле, христарадничаю. Про каторгу Кару молчу, пусть, думаю, что хотят со мной делают, только не сознаюсь. Да чего-о... В Иркутск-город пригнали как бродяжницу, не помнящую родства, и объявили, что дале, на остров Сахалин, погонят. В этап зачислили. А в Чите, в пересыльной тюрьме, вдруг объявили: «Ах ты мерзавка вшивая, да ты с Кары сбежала, с ампираторских песков... И фамилия твоя такая-то, и срок тебе каторжный за убивство. Ну, а теперь за побег, само собой, еще приварят вдвоя, а то и больше. Да прежний отбыть надобно...»

Бабка Акулина минуты три затем молчала, смотрела в одну точку, пошевеливала губами, будто молитву какую читала. Наташа боялась ее тревожить, ждала.

— В той же Чите меня сызнова и судили...— Акулина вдруг усмехнулась.— Да что там! Они судят, а в голове у меня легко и весело как-то. Судите, думаю, а я все одно сбегу. Что мне теперь-то терять? Да... Только в мечтах-то все легко — и решетки железные раздвинуть, и каменные стены развалить. А оно вышло не так, не так, доченька... Больше десяти годков после этого осуждения томилась я по разным рудникам да тюрьмам. В Нерчинске руду копала, в Горном Зерентуе. В Кару не попадала больше — слышно было, что прикрылась там каторга почему-то. Может, золотые пески иссякли, может, еще почему — не знаю. А в году — вот даже и не помню — может, году уж в девятисотом али чуть раньше пригнали меня в Акатуй. Что-то женщин-каторжанок тогда много сгоняли туда. Место, доченька, такое — тайга да сопки. Сопки да тайга. Боле ничего нет. Там я и встретила несколько товарок своих с Кары. Они-то и сказали, что в Каре каторга прикрылась. И потекли зима да лето, зима да лето. Счет зимам да летам на каторге сперва ведешь, а потом думаешь: а для чего? В году, может, девятьсот четвертом я опять сбежала...

— Опять?!

— Ага,— кивнула старуха.— Летом это случилось, под петровки где-то. В тот день я и не собиралась, а в беглых оказалась. Как получилось-то? Арестантское белье нас, баб, стирать гоняли на речку. Конвой кругом становится, а мы на берегу штаны да рубахи вальками колотим. Грохот стоит! Вот, значит, и я колочу. Жарища, оводы кусают, как звери. И гляжу я — арестантские штаны из кучки вывалились и поплыли вниз. Я шагнула за ними в воду. Ну, тут счас, когда такое что случается, окрик сразу да затвор ружейный щелкает — назад, мол, живо! А в этот раз тихо. Я головой крутнула — ближний солдат оперся об ружье свое, дремлет. Стою я по грудь в воде, глазом кошу и вижу — сбоку омут, над ним кусты свесились, за кустами голое речное пространство сажени в три, а там по берегу тоже конвойные стоят, хохочут. За этой речной прогалиной опять кусты с обоих берегов — речка небольшая, кусты почти смыкаются. И за этими кустами стражи уж нету. Я как-то враз, даже не подумав, что к чему, и присела, скрылась под водой. А как скрылась, тут уж в голову шибануло: что делаю-то?! Счас вынырну, булькнет вода, конвойный от дремы очнется и влепит мне пулю. Нас предупреждали: глубже, чем по колено, в речку не заходить. Были уж случаи,

что уплывали из-под надзора прачки-каторжницы под водой. Да, были, доченька... И я вот под водой очутилась. Что делать-то, думаю?

— Я бы... я бы поплыла! — воскликнула Наташа.

— Ты, ты...— недовольно проговорила Акулина.— Это на словах просто. Пронырнуть кусты в полторы сажени, да голое пространство три сажени, да там еще... Попробуй, хотя и вниз по реке. А течение, как назло, в том месте ленивое. Да я к тому ж какое-то время потеряла, торчу, дура, на месте под водой и думаю. Воздуху-то уж в груди нету, а я еще на месте...

— И как же вы?!

— Не знаю... Не помню. Очнулась я уже за теми кустами. Стражники уж сзади хохочут. Все так же хохочут, отмечаю, значит, ничего не заметили. И как я пронырнула такой простор, до седни ума не приложу. Почернела аж, должно, без воздуха-то я под водой, голову высунула, а внутрь будто кто горящую головешку кинул, все так жжет. Ну, жжет, глотаю я воздух вместе с водой, а пошевелиться боюсь: плесну погромче, услышат же — и смерть. Речка меня тихонько и несет. Отволокла подальше. Тут уж я кое-как, через силу, выползла на берег, отлежалась маленько на гальках. Горячая, помню, галька была, заснуть бы, думаю, на них навсегда. Где ж они, сволочи, чего не стреляют? Ну, думать-то я так думаю, а сама быстро на карачки встала да в тайгу юркнула... Вот так.

— А потом? — дав старухе передохнуть и успокоиться, спросила Наташа.

— Что потом? — с грустью откликнулась Акулина.— Так же, как в первый побег, кралась я тайком от села к селу, днем отлеживалась по глухоманным местам, по оврагам, ночью шла. Куда? А кто его знает? Все беглые каторжники из Сибири в сторону России, к Уралу, пробираются. Будто там спасенье.

— Как же вы дорогу в тайге узнавали?

— Чего ее узнавать? Россия — она в западной стороне, это всем известно. Куда солнышко садилось, туда мы и шли. Озера обходили, речки пересекали. Байкал-море было самой тяжкой преградой. Ну, кто как мог и его одолевали. Вот даже в песне поется...

— А вы как?

— Я? А я обошла его. Уж осенью, под зиму. И Иркутск миновала далеко-о стороной. А тут и зима накатила. Тут и погибель бы мне, кабы не человек один...

Старая женщина поглядела на Наташу и почему-то вздохнула.

— Кабы не человек... Да и ему погибель бы вышла, не наткнись я на него. Он, как и я, замерзал уж в снегу. Тожеть беглый, с самого Александровского централа ушел... Это он потом обсказал мне, когда мы...— Старушка вдруг запнулась, опустила блеснувшие глаза. И, разглаживая одеяло на острых коленках, закончила: — Когда мы оклемались обои маленько, отошли. Иваном его звали... зовут.

— Значит, он жив? — спросила Наташа.

— Живой... А тогда плох был, думала я, и не выживет. Медведь-шатун его поломал. Сильно поломал — снег вокруг него весь был кровью пропитанный. Его ли, медвежьей ли — не поймешь. И обои лежат рядком — он и зверь лесной. У медведя брюхо располосовано ножиком, кишки вывалились, пар от них идет... Я как наткнулась на такую картину, обомлела, попятилась было назад. Да он, человек тот, Иван, поднял голову, глядит на меня: откуда, мол, такое явление? А я до этого неделю почти шла голодная, во рту, кроме лесных шишек, ничего не было. И застудилась я — ведь оборванная, ободранная была,— голова который день как чугунная, горячая. Не знаю, зачем я еще шла куда-то, откудова силы брались? Иду по тайге, а в голове одно — приткнуться в снег, задремать, да и дело с концом. Кончатся, мол, разом все мучения.

— Я это понимаю,— вырвалось как-то само собой у Наташи.

— Ты понимаешь! — вдруг проговорила старая женщина строго.— Да ты дура голимая! Такое ли твое дело было, как мое тогда?! Да и я... Как призналась после Ивану об таких мыслях, он меня на чем свет обругал. «Дура, грит, ну и кому что доказала бы? Человек до последней силушки должен за себя стоять».

— Да, это правда. Это правда, Акулина Тарасовна,— после некоторого молчания произнесла Наташа.— Ну и что... дальше?

— Дальше что? — задумчиво, сама у себя, спросила старуха.— Попятилась

я, запнулась об валежину какую-то, упала в снег. А человек, Иван, все глядит на меня. И улыбнулся вдруг... Вот, доченька, хоть верь, хоть нет, до седни эта его улыбка стоит перед глазами. Сколь годов прошло... Жизнь минула. А я помню. С ней и помру. Глядит и улыбается. «Откуда, грит, такая ты хорошая?» — «С Акатуя»,— отвечаю. А сама на медвежьи кишки смотрю. Кровь еще с медведя течет, и в голову мне долбит — подползти и напиться этой крови, мяса сырого зубами отхватить. Да не смею. Он догадался об этом, спрашивает: «Который день не ела?» Я говорю: «Четвертый, а может, пятый».— «Совсем ничего?» — «Совсем... Кедровые орехи жевала, правда».— «Ну, тогда,— грит Иван,— ничего, глотни медвежьей крови...»

Наташа при этих словах вопросительно приподняла лишь голову.

— А что ж... подползла к зверю, зачерпнула ладонью из брюха. Кровь уж загустела.

— Боже мой! Боже мой! — дважды воскликнула Наташа.

— Страшно? Али противно?

— Не знаю...

— Да, Наташенька. А я вроде слаще ничего до этого не пила, не ела. Ну, крови этой я с пригоршню выпила — голова еще шибче кругом пошла. Опьянела я и про Ивана забыла, покуда его голос не пробился, как сквозь стенку: «Тут овраг рядом, вон за теми соснами я там ямку вырыл, ночевал там... Отволоки меня как-нибудь туда, если сможешь...»

Во все это, что рассказывала старуха, Наташа теперь и верила, и не верила. Бабка Акулина была худенькая, тощая, высохшая, трудно было представить ее молодой женщиной, трудно вообразить, что на ее долю выпали такие страдания, такая судьба. И Наташа непроизвольно воскликнула:

— Неужели... неужели так все и было?

— Так, доченька,— вздохнула слабенько старуха.

— Не может быть, не может быть!

— А было,— повторила она с какой-то грустью.— Как я отволокла этого Ивана в яму ту, не помню. Стонал только он громко, это помню. Спина и бок у него до костей были располосованы, правая рука вывихнута зверем. Это я сразу поняла и вправила, как в земную норку заползти. Кости выправлять меня еще матерь научила. Подергала руку — он в беспамятство от боли ушел. А на лице капли потные. Что ж, думаю, отойдет. Покуда он в бессознании был, все тело обсмотрела. Оказалось, что и нога, до самого паха, тож когтями разорвана. Господи, что с им делать? И сама я вся в жару, в голову молотками колотит. Выползла наружу. Морозы уже не сильные, слава богу, стояли. Спички у меня были, разожгла кое-как костерок. Поплелась на то место, где его шатун ломал,— там я котомку вроде этого парня видела. Подобрала котомку — там тряпье какое-то, котелок, тужурка рваная, один почему-то сапог. И ножик... ну, обыкновенный кухонный ножик, с деревянной ручкой в снегу увидела. Этим, значит, ножиком на медведя-то! Кухонным. Скажи — не поверят. Вернулась к костру, натопила снегу в котелке, обмыла, как могла, его ранки, обвязала тряпьем. И тут сама в беспамятство провалилась. Чую, что проваливаюсь, а в голове сверкает: околеем ведь обои от мороза! Кое-как дыру в ямку тужуркой этой, ветками прикрыла... Господи, Наташенька! Да разве все расскажешь? Где и слов взять!

— А вы найдите! Найдите...— умоляюще прошептала Наташа.

* * *

Воспоминания о прошлом разволновали старуху, она легла, натянула одеяло до подбородка, голову чуть повернула в сторону. Тоскливыми глазами не мигая долго глядела в черный проем окна. Там, в черноте, за мраком нескончаемых лет, было ее страшное прошлое, она, подумала вдруг Наташа, видит его сейчас ясно и отчетливо. И от этой мысли у нее потек озноб по всему телу. Страшно вспомнить все это, а каково пережить?! И где же было взять столько человеческих сил?!

Чувствуя, что с ней что-то происходит, и не умея еще объяснить этого, Наташа еще раз попросила:

— Найдите. Как же вы там, дальше?

— Да, что ж? Оклемалась я, а он еще турусит в беспамятстве. В жару пыла-

ет весь. Нет-нет уж открыл глаза, диким зрачком буравит меня во мраке. Потом, различаю, зрачок потеплел. Узнал, значит, вспомнил... Ну что ж, стала я ходить за ним. Первым делом мяса медвежьего ножиком кое-как наскоблила, отвар сварила... Э-э, да что! И у него, и у меня силушки кончались, потухли обои, как сгоревшие головешки. А сошлись вот в тяжкой судьбе — зачадили кое-как, огонек-то снова и занялся... Медвежьим мясом спаслись. Ранки его я хвойным настоем промывала, распаренной березовой корой обвязывала. Березка, она великий лекарь, доброе дерево, на счастье людям дадено. Через месяц он вставать начал... Ну, в общем, скоротали мы зимушку. У меня в узелке петли проволочные и волосяные были. Зайчишек ловили иногда, рябчиков... А по ранней весне, как травка пробиваться начала, мы и разошлись.

— Разошлись?!

— Ага,— кивнула старуха.— Он по политическому делу сидел, не могу, грит, больше в норе этой торчать, друзья-товарищи ждут. Норку-то жалко было покидать, обжили мы ее, раскопали пошире, печку из глины сделали, трубу из корья вывели. Внутри той же глиной обмазали — она, труба-то, славная получилась. Он, Иван, придумал,— улыбнулась Акулина Тарасовна.— Он на все руки оказался мастак. Маста-ак, славный...

Отсвет от улыбки долго держался на изношенном лице старухи, таял нехотя, медленно,— видимо, она вспоминала из того давнего что-то приятное, сокровенное. Наташа это почувствовала женским чутьем, отчетливо поняла, что спрашивать об этом ни в коем случае нельзя, это надо оставить только ей одной. И сдержанно, осторожно вздохнула.

Но этот неприметный вздох все равно смахнул с лица Акулины Тарасовны остатки улыбки, дряблые веки ее испуганно дрогнули. Она прикрыла глаза ладонью и долго держала руку на лице.

— А вместе... нельзя вам было идти? — спросила Наташа.

Проговорила и подумала, что и этого, наверное, не надо, нельзя было спрашивать, чтобы не оскорбить, не замарать то сокровенное, что почудилось ей за улыбкой старухи.

— А мы и пошли было вместе. Хотя, сказать, по одному-то беглым ловчее пробираться — где в щель юркнул, как ящерка, где в кусты заполз да затаился... Да Иван грит: «Ты меня не бросила помирать в беде, и я тебя не могу одну оставить в лесу. Пойдем вместе как-нибудь». Ну, пошли. Да недолго шли вместе-то. Через неделю, что ли, пошел он ночью в какую-то деревушку провизии добыть. Голод, он, говорится, не тетка. Меня в канаве оставил на краю деревни. «Сиди, грит, и жди. А ежели что, ты, Акуля, пробирайся к городу Новониколаевску. А доберешься — меня поспрашивай. Не в полиции, ясное дело, а у рабочих депо, на маслобойке поспрашивай аккуратно. Люди тебе укажут, ежели я там буду, я тебя никогда не забуду...» Да, так он и предупредил, будто чуял что. Деревушка та сплошь кержацкой оказалась. А кержаки беглых не шибко жаловали пропитанием-то. Чаще связывали — да к старосте, а тот — к стражникам, к уряднику. Сижу я и жду. Потом слышу — сполох в деревне. Сердце так и екнуло — попался! Крики всякие, собачий лай поднялся. И все это пошло, удаляться стало за другой край деревни от меня. Господи, соображаю, да он же от меня их уводит? Ну, тут соображать нечего, надо мне от этой проклятой деревни подальше, в таежную дебрь. Сорвалась я, да и потекла...

— А его... поймали?

— Нет... Да я тогда не знала. Ну, отлежалась, как волчица загнанная, в глухом урмане где-то. Что ж дальше-то? — думаю. Что с Ванюшкой-то? На другую ночь вернулась в ту канавку,— может, там он меня ждет, коли его не поймали? Нет, никого нет... До свету пролежала там. Вокруг темно, как в гробу, в деревушке ни огонька, ни проблеска, собаки только взлаивают время от времени. На лесного зверя, может, али на какого запоздавшего жителя той же деревни. А голод в брюхе дырку уж проточил. Что ж, думаю, ждать-то, Ивана, может, уже и заковали в железо снова. На рассвете, значит, выползла из канавы и поплелась куда глаза глядят... «Пробирайся,— сказал мне Иван,— к Новониколаевску». А где он, тот Николаевск? Ладно, думаю, не сдохну с голоду, так поспрашиваю, в какой он стороне... Ну, и правда, добрые люди указали. Не все кержаки, в тайге много, сказывала я, добрых людей.

— И что ж, встретились там с Иваном?

Веки старухи опять дрогнули.

— Н-нет, дочушка... Не дошла я до Николаевска. Совсем маленько, а не дошла.

— Опять... стражники схватили?

— Не стражники. Такое дело, доченька, вышло, как бы тебе половчее обсказать... Судьба как речка: течет-течет прямо да заворачивает... Конец весны да лето и осень всю я, значит, шла по тайге прежним манером. И опять зима подкатывает, мухи белые полетели. Теперь-то уж, думаю, я погибну беспременно. Оборвалась я по тайге, обремкалась до голого тела. На ногах-то еще ничего, лыка надрала с осин, что-то навроде лаптей сплела. Юбчонки на мне, считай, нету, одни лохмотья. Пиджачишко был, прожженный весь, на голом теле. Ну как я, куда я? А все ж иду, ноги несут куда-то. Куда б дошла, неизвестно, да, на счастье, уткнулась в избушку шишкобоев. Гляжу, стоит она на полянке, дверь доской заколочена. Два али три колота валяются, брошенные, снежком уж их присыпало. Колот, знаешь, что такое?

— Нет.

— Ну, бревно такое с пластиной. В кедровый ствол колотят им, чтобы шишки обсыпались... Чего ж мне делать? Покружила я вокруг избушки, как зверь. И решилась. Шишкобои, думаю, отшишковались да ушли, до другого лета не придут, что им зимой тут делать? Отодрала я доску с двери... Избушка славная, прибранная, в шкапчике я и сухари, и соль нашла, и спички, и пшено в березовом туеске. Посуда кое-какая тут же. На стене одежонка висит таежная — дождевики, тужурки, мятые рубахи вроде. Господи, думаю, бывает же на свете такое богатство! В той-то избушке и нашел меня он... Козодаев Филат Филатыч.

— Филат Филатыч? — Наташа собрала морщины на лбу. — Где-то слышала это имя.

— Да чего ж, на работе, должно. Он сейчас плоты на завод ваш по Громотухе сплавляет.

— Верно. Что ж вы никогда не сказали, что знакомы с ним?

— Знако-омы...— протянула старушка.— Мужик это мой. Муж законный.

Огорошенная, Наташа сидела теперь на табуретке у стола и во все глаза глядела на Акулину Тарасовну.

— Но почему тогда... не вместе вы?

— Так я и говорю: течет-течет речка да заворачивает. А на завороте Лукерья Кашкарова обозначилась с двумя приемышами... Уж годов боле двадцати мы с ним не живем.

— Кашкарова? Это та старуха, чей дом рядом с Савельевым?

— Она не всегда старухой-то была,— усмехнулась Акулина Тарасовна.— Не всегда-а. Красивая она была баба в молодости, телом играла. И вот...

Наташа с нескрываемым изумлением все глядела на старенькую бабку Акулину.

— Что ты смотришь на меня этак? — проговорила старушка.— Жили-жили мы с Филатом да разошлись. В житействе обыкновенное дело... Он, Филат-то, недавно, годков пять назад, еще до войны, приходил ко мне. «Давай, грит, старая, все забудем да крышу одну и будем чинить над головой, коли проходится». Не легло сердце... Да и людей-то чего смешить?.. А любовь у меня с ним была-а! За все отогрелась. С того самого дня и отогрелась, как возник Филат на пороге той избушки... Как счас помню — только-только я печурку раздымила, похлебку каку-то приставила, а дверь и отмахнулась. Он стоит в проеме белом, молодой, крепкий... Он и счас, как сутунок лиственничный, не трушится от годов-то, не гниет, язва. А тогда... Глаза его щелястые режут, а мне не страшно. Свет такой хороший в них. «Ишь ты, говорит, фатерщица объявилась на моей избушке. Гляжу, грит, следки человечьи намараны по снежку. Потом, грит, гляжу — дым с избушки. Кто такова? Как звать?» — «Акулина»,— говорю. «Ишь ты, смеется, Акулинка, ягодка-малинка. Не ел ишо, а во рту уж сладко. Штаны-то зачем мои натянула?» — «А нету, говорю, юбки у меня».— «А-а ну, тогда рассказывай... Варначка ты, что ль?» Ну, а чего ж отпираться? Рассказала все. И кто такова, и за что на каторгу угодила. Чаем его с брусничным листом напоила. Пою его чаем, а сердце так и стукотит — он это, судьба моя, ей-богу, он! А он напился чаю,

взад-вперед прошелся по избушке, остановился, раздел меня глазищами-то острыми до наготы прямо. Аж, чую, всполыхнула я вся жаром... «Ничего, грит, ты, отощала только, в бедрах-то обвяла... А ежели вот я счас поваляю тебя спиной по полу, тоже приткнешь за шею к чему-нибудь?» Хотелось мне сказать, девка,— не приткну, куда мне теперь, жизнь меня самою приткнула, делай ты что хочешь со мной. А вымолвила другое. «Приткну, говорю, али зарежу». Он усмехнулся хищно. «Ну ладно, грит, варначка, пошел я...» А куда? — опять же думаю. Кликнет людей, свяжут меня, да и вернут с бегов в каторгу. Да нет, думаю, сам бы справился с этим делом, один... Дня три так прожила, на четвертый гляжу в оконце — прет он на лыжах. На санках за собой стреляного лося волочет. Выскочила я ему навстречу — да на шею, заплакала. А он: «Вот, бегляха, пировать счас будем да свадьбу делать».— «Как, кричу, свадьбу?» — «А что ж,— блестит он глазами,— мяса, где положено, нарастим тебе, бумаги всякие я выправлю тебе тож... И обвенчаемся к весне, уедем ко мне в деревню Облесье, тут всего верст за двадцать. А пока — так, а? Поверишь?» — «Поверю, говорю, поверю, родимый...»

Старуха совсем разволновалась, последние слова выговорила с трудом. У Наташи стонало сердце, она сидела и думала, что судьба этой Акулины чем-то напоминает ей собственную, только еще горше она и страшнее, что все на свете повторяется не раз и не два. И неужели... неужели такая судьба будет и у Леночки вот, беспомощно лежащей сейчас в кроватке? Зачем тогда на свет ее она родила в муках? Или у другого... такого ребенка? Нет, не должна такая судьба повторяться! Солнышко должно светить людям, правильно бабушка сказала.

— Может, спать, дочушка, ляжем? — спросила старуха.— Ложись седни пораньше.

— Я на почту еще пойду. Я хочу телеграмму отцу...

— А-а, ну что ж... Можа, и надо. Все разъяснилось чтобы. Это конечно...

— Я вот удивляюсь вам...— проговорила Наташа, помедлив.— Такая вот жизнь у вас... тяжелее и не придумаешь. А душа не очерствела. Как это объяснить?

— Э-э, родимая! Не то говоришь-то,— сказала старуха тихо и раздумчиво.— Нет, не то, касатушка. Поп Филипп у нас на каторге был... всех каторжанок по очереди в прислуги себе брал. Вдовый он почему-то был. Вдового попа на каторге только и сыщешь. А пьяница-то — не приведи господь! И двое мальчуганов у него было годов по пяти-шести. Вот он и брал к ним каторжанок. Это там просто было. Договорись со смотрителем женской тюрьмы — и все дело. А какая ж не пойдет! Все шли, ждали, не позовет ли поп, перед смотрителем Ободьевым на коленки валилась каждая, чтоб ее направил. Ба-альшой приплод от попа на каторге был... И любил он говаривать, поп Филипп: «Страданиями душа человеческая обчищается». Оно так, может. Да не совсем. Я думаю, не только обчищается... Горе-то, горюшко доброты человеку к людям прибавляет.

— Значит, чтоб душу очистить... чтоб доброты прибавилось, надо через нечеловеческие страдания пройти?

— А что ж,— сказала серьезно старушка.— Не вкусив, не почувствуешь. А почувствуешь, так и врагу не пожелаешь. Хотя кто его хочет, горюшка-то? Да ведь земля под тучею, а туча-то гремучая. Ох, устала я с тобой балакать...

Акулина Тарасовна потыкала высохшей рукой в подушку, прилегла. Голова ее была настолько легкой, невесомой, что на тугой подушке не обозначилось даже вмятинки.

— Ступай на почту, коли уж... А то совсем обночилось.

— И повенчались вы с Филатом Филатычем потом? — спросила Наташа.

— Да что ж, конечно. Документ он мне выправил, к исправнику в Шантару ездил... Да-а, стали жить, стала я в радости купаться,— говорила старуха медленно, глядя в потолок.— «Вишь,— говорил Филат Филатыч,— человек от человека греется...» — «Истинно, говорю, родимый...» Дитев только у меня не было. Год живем, пяток летов — нету, и все. То ли эти, в омшанике, чего нарушили, то ли каторга надорвала. Помыла я золотца на Каре-реке, переворочала песочка мокрого лопатой! Все женское-то внутрях оборвала... И зачал мой Филат по бабам свистеть. Кончилась моя радость, значит. А я что ж? Молчу — чего уж там, куда мне. А он одно с ухмылочкой теперь: человек, дескать, от человека греется. Вот, значит, какой теперь смысл... Ребятенок, слышу, у вдовы одной народился от него. Плачу я только. Потом, слух прошел, в деревушке за Облесьем еще какой-то

приплод у него, козла, объявился. Ну, это я все терпела... А тут вскорости, значит, зачалось в мире-то... забродило, как пиво в логушке. Царя скинули. Кафтанов этот, властелин тутошний, рысью зарыскал в круговом огне... Видала, как рысь по деревам мечется, когда лес горит? Нет? Ну конечно, не таежная жительница. Вот так и он... Филат мой от всего этого в стороне, нас, грит, это не касаемо, пущай они дерутся... Да как не касается? Хучь тайга вокруг Облесья немерянная, а и в ней не скроешься. Прискакивают, бывало, партизаны вот теперешнего начальника-то партийного, Кружилина Поликарпа. Он тут партизанами-то верховодил.

— Я знаю,— сказала Наташа.

— Ага... Объявляется и требует у Филата: проведи через белки, через перевал. Филат каждое дерево в тайге знает, каждую тропку. Ну, он за шапку и ведет. А следом, бывало, каратели объявляются. У них тоже был начальник такой, али командир, по-военному... Зубов по фамилии. Большой полковничий чин он уж носил...

Акулина Тарасовна вдруг привстала торопливо, глянула на Наташу почему-то хмуро.

— И его знаешь... Зубова-полковника?

— Нет, откуда же! По рассказам только. Анна Михайловна, мать Семена, мне рассказывала... будто тот Петр Зубов, бандит этот, который у Огородниковой Маньки был, сын того полковника.

— То-то и оно, что сын,— горько произнесла старуха, на несколько мгновений умолкла. Затем, сглотнув тяжелый комок, чуть изменившимся, как-то погрустневшим голосом продолжала: — Ладно, слушай дале, раз я начала... Ну, значит, заявливаются каратели, опять же грозятся: «Где партизаны? Веди!» Берет Филат шапку...

— И их водил?! — воскликнула Наташа.— Карателей?

Акулина Тарасовна неслышно и мягко опять легла, прикрыла плоскую грудь пестрым одеялом.

— Води-ил, а куда денешься? Коли наганом в рыло тычет...

— Но это же...— Наташа не договорила, захлебнулась в гневе.

— А ты ему, как увидишь, это и выскажи,— усмехнулась старуха.— Чего на меня-то?

— И выскажу! И не только ему!

— Поликарпу? — Старуха повернула к Наташе легкую голову.— Да он и сам все знает. Эх ты, горячуха... Жизнь-то человечья речка вековая. Весной, бывает, разольется речка, берега затопит, дома снесет... Громотуха счас обмелела почто-то, а ране, бывало, целые деревни с берегов слизывала. Что же, за это ее надобно запрудить, камнями завалить, под землю схоронить с лица земли?

— Не об том вы говорите! — возразила Наташа.— Это стихия... И вообще — при чем тут река? О человеческих поступках речь.

— Ну да, об человеческих, — согласно проговорила старуха.

— А они бывают благородными, а бывают подлыми!

— Это тоже верно,— кивнула старуха.— Вот много подлых-то я поступков от Филата моего перенесла. Взял-то он меня вон какую, от властей прикрыл, ладно уж, все думала... А вот одного дела его не вынесла... И сбежала от него из Облесья. Сюда вот. Сколь годков уж одна тут живу, люди-то и считают меня бобылихой.

— Какого же поступка?

— Петьку-то Зубова, бандита этого, мой Филат, считай, вырастил.

Наташа даже привстала невольно.

— Да ты сядь, чего уж, все по порядку доскажу... Значит, как произошло? Кафтанов-то, отец-то Анны Савельевой, живодером оказался — не приведи господь, тоже свой отряд собрал, за Кружилиным гонялся по лесам вместе с тем полковником Зубовым. А малолетнего сынишку своего Макарку с Лушкой Кашкаровой к нам в тайгу доставил, велел их Филату спрятать в лесных глыбьях и, значит, оберегать. Ну, он и оберегал... И в той избушке, где меня нашел, жила она, и в других. У Филата их много по тайге было. Да и счас есть. Вот, значит... И жил он с Лушкой напропалую. С другими — ладно, помакает в блюдце да бросит. А к этой прикипел. Я-то венчанная и, значит, как бы там ни то, от бога, а с ней — так... Две жены, значит, у него стало как бы. Приедет в Облесье, поживет со

мной — да в тайгу на неделю... Потом слышу, Зубова-полковника где-то прикончили, я помолилась за упокой... А Кафтанов прислал к Лушке его сына-малолетку, Петьку этого, который в вора-бандита теперь по тюрьмам вырос.

Акулина Тарасовна потихонечку, будто боясь, что услышит Наташа, глотнула воздуху и затихла. Наташа водила пальцем по столу, выписывала какие-то знаки, молчала. Опять вспоминалась, как наяву представилась, ей та кошмарная ночь у Огородниковой и этот Зубов Петр со страшными, какими-то зелеными, кошачьими глазами, пронизывающими насквозь.

— Она, Лушка, и растила их обоих — Макарку да Петьку. С помощью вот моего Филата,— обиженным голосом проговорила старушка.— Все уж кончилось, Кафтанова самого прибили давно, и давно война гражданская притихла, колхозы начались, а Лушка все живет поблизости, все топчется вокруг нее Филат... Сколько я слез выплакала, кто б измерил! Ведра целые... А через край плеснулось, когда первый раз этого Петьку Зубова заарестовали. Магазин он какой-то обчистил. Стали судить его в Шантаре. Поеду-ка я, думаю, в Шантару, гляну на Петьку. Ведь я ни разу не видела его. Походит, мол, пет на отца-то?

Наташа удивленно приподняла голову.

— А что вам с того?

— А вот и что! Глянула — вылитый он отец, Викентий Зубов, который полковником стал...

Наташа, еще ничего не соображая, снова поднялась и застыла столбом.

— Что... вы хотите сказать?!

— Я не хочу, я сказала, дочушка. Жизнь такие петли выписывает... Энтот полковник — тот самый... который меня и ссильничал в омшанике тогда вместе с братом своим Евгением-то. Вот... младший сынок, значит, нашего ярославского барина... Как только он объявился у нас в дому в Облесье, я так и обварилась кипятком: вот она, судьба неминучая! С каторги ушла, в тайге зверем жила, все вынесла, не потушил господь зрачки... А счас момент — и все! Поднимет наган-то, да и... Что ему теперь, суда никакого не надо. Сразу я его узнала. Господи, рвется у меня в мозгу, в такой дыре сошлися, где жизнь свела! И чую — туск в глаза наваливается, заплывает все перед взором. И слышу его голос: «Что, дура, уставилась? Непормальная, что ли, она у тебя?» Это он уж к Филату. А тот: «Болезная, ваше благородие, так точно, пурга в тайге прихватила пять годов назад, три дня под снегом пролежала, мозги-то, видать, и подморозило, с тех пор и маюсь, рад бы избавиться, да баба же, а бог не прибирает... Пошла прочь, дуреха!» Хихикнула я и в самом деле по-идиотскому, да и пошла. Не узнал он меня, на счастье. Ох ты, господи, думаю, есть ли ты, нету ли — спасибо тебе!

— Да-а,— только и протянула Наташа, упала обратно на стул.— Невероятно...

— Немыслимо,— кивнула и старушка.— Да что ж... Всяко бывает. Каких-каких только событиев не приключается. Земля, она ведь и большая, да махонькая. И все теснее на ней. Оттого, наверно, и войны бесконечные, а? Чтоб людям посвободнее потом было...

— Да вы что? Тут причины другие... сложные.

— Ну, да это я так. Оно конечно... А я, значит, как глянула в суде на Петьку Зубова, так и охолодела — вылитый отец! Ну, и... осело у меня что-то внутрях. В мозгу одно колотится: Филат же вырастил его, помог вырасти, знал же, чей это сын... говорила ж я ему про Зубова-полковника, что тот это Викентий. «Так что ж, отвечает, я его кокнуть должен? Я ни одного человека не убивал, слава богу, с тем и век проживу. А ты на глаза ему боле не пялься...» Все прощала я Филату, всех баб, и Лушку... Что ж, думаю, коли козел? А вот этого — не могла. Чую, что не смогу больше жить с ним под одной крышей... «Купи ты, говорю, мне какую-нибудь избенку где-то да освободи. Благодарная я тебе до гроба за все и словом лихим не помяну...» Сверкнул он узким глазом, да и сказал: «Ладно, Акулинка, ягодка-малинка. Тем больше что замучил я тебя. Третий сын у меня ведь народился в деревне Казанихе. Прости ты меня, грешного...» Вот с тех пор я и живу в Шантаре одиночкой, доченька.

Старуха, измученная всплывшим в памяти прошлым, вздохнула, умолкла, стала опять глядеть в потолок. В глазах ее, помутневших от времени, вроде и ничего не было — одна бессмысленная пустота. Но, приглядевшись, Наташа поняла, что

это не так. Глаза старой и ветхой женщины были просто очень усталы, в них стояла неизбывная теперь грусть по жизни, пускай сложившейся для нее так трагически, но уже уходящей безвозвратно в вечность. В ее глазах, в ее лице и во всем облике этой старухи Наташа словно бы снова прочла все то, о чем она только что рассказывала: были у этой женщины невообразимые страдания и муки, но было и солнце, которое щедро грело ее в самые тяжелые минуты, были запахи свежей весенней земли, трав и цветов, которые волновали и заставляли свободно биться сердце, встречались и люди добрые, которые искренне делились с ней теплом своей души и скудно отпускаемой кем-то во все времена человеческой радостью. И Наташа подумала: как бы ни горька была порой жизнь, прощаться навсегда с солнцем, землей и людьми человеку грустно и тяжело, и это какая-то чудовищная дикость, что каждому с этим приходится рано или поздно прощаться...

— Ну, а тот, Иван... виделись вы с ним потом когда-нибудь? — сам собой вырвался у Наташи вопрос. И на этот раз она не испытывала сожаления, что спросила: каким-то чутьем чуяла, что теперь этот вопрос не обидит, не оскорбит старушку.

Акулина Тарасовна медленно повернула к Наташе голову.

— А как же? Видела.— Помолчала и еще раз сказала: — Видела.

— Кто он, если не секрет? Где живет?

Старая женщина на это улыбнулась улыбкой легкой, светлой и благодарной. Но отвечать не стала.

* * *

Ночь над Шантарой была уже плотная, когда Наташа вышла за хилую оградку, окружающую избенку бабушки Акулины, и медленно побрела к почте вдоль мертвой и глухой улицы, раздумывая о нелегкой судьбе этой женщины, снова и снова поражаясь ее доброте, незлобивости, ее рассуждениям о смысле жизни на земле. «Сколько ж вы перенесли-то! — само собой и не первый раз, кажется, вырвалось в конце ее рассказа у Наташи. — Это лучше б не родиться! Для чего, для чего?» — «Чо мелешь-то, неразумная! — с досадой ответила старуха.— Не от нас зависит родиться, не родиться».— «Я не об этом, я... о смысле жизни вообще...» — неумело выкрикнула Наташа. Но старуха мысль ее поняла, помолчала и тихо, будто только сама себе, ответила: «Так что ж смысл? Кровь-то человечья, да слезы, да пот людской — это для земли, может, как керосин для лампы? Есть — горит, нету — потухла...» — «Что вы говорите! — протестующе воскликнула Наташа.— Этот керосин... совсем другой! Человечья улыбка, человечий смех! И вообще — радость, счастье...» На это старуха усмехнулась: «Да кто спорит, доченька! Только на земле и того, и другого в достатке. И недаром то день, то ночь, то солнышко, то непогодь... О-хо-хо, Наташенька, вот и выходит, что смысл этот тоже мудреная штуковина. Может, богу одному и ведомый. Да только ить и бога-то нету. Одни мы, люди, и есть... И нам вся эта жизня и предназначена. Какая она ни есть. И нам надо понимать, в чем ее керосин...»

Проходя мимо дома Маньки Огородниковой, которая сидела сейчас где-то в тюрьме за укрывательство ворованных Макаром Кафтановым товаров, Наташа с жалостью вспомнила эту круглолицую, полноватую, с большими и тяжелыми грудями молодую женщину, которая спасла ей жизнь. Говорят, она сама пришла в суд, когда судили Кафтанова, Зубова и Гвоздева, все сама рассказала. И еще кто-то слышал будто, как этот Петр Зубов, когда Огородникова села рядом с ними на скамью подсудимых, прошипел сквозь зубы: «На коленки добровольно встала? Ну и подыхай... Выживешь в тюрьме — Макар тебя после прирежет».

«Они прирежут! — со страхом и омерзением думала Наташа.— Зачем уж ей было говорить, что она прятала ворованное? Ладно бы уж, ведь не добровольно же, этот ужасный Макар ее заставил спрятать, угрожал... Но и тут опять эти странные слова Зубова: «На коленки встала?» Хотя что ж, у них, у бандитов, своя мораль, свое понятие всяких вещей...»

Огородниковой дали, кажется, два года, в дом ее вселили какую-то многодетную семью с завода. Наташа часто видела во дворе орущих на разные голоса ребятишек, а сейчас возле дома, как и повсюду, было тихо, но дом, как другие, не казался мертвым, потому что одно окошко чуть подсвечивало, и Наташа поняла, что мать этих ребятишек, уложив всю семью, еще доделывает какие-то свои бесконеч-

ные дела, а может, ждет с завода мужа — вот-вот должна была кончиться вторая смена.

Очутившись у почтового деревянного барьерчика, Наташа долго не могла сочинить телеграмму. Она написала шесть слов: «Москва, Наркомат боеприпасов, Миронову Александру Викторовичу»,— а что писать дальше, не знала, стояла в задумчивости и кусала кончик старенькой ученической ручки.

— Что же ты? — буркнула усталая работница почты, чем-то похожая на Веру Инютину, такая же острозубая, с кудряшками.— Напряглась, будто родить собираешься. Давай скорей, а то мы закрываемся. Ведь полночь...

Наташа сердито глянула на женщину, постучала ручкой в стеклянную чернильницу-непроливашку, быстро написала первое, что пришло теперь на ум: «Папа, это я, Наташа, а если это ты, почему молчишь? Ведь наш парторг Савчук тебе говорил, что это я. Позвони, ради бога, к нам на завод или напиши по адресу...»

Наташа быстро вывела адрес и протянула бланк приемщице телеграмм, та долго читала, шевеля губами, как безграмотная, потом подняла удивленное лицо.

— Ты что, девка, это чепуховину такую? Это ж как понять?

— Ах, ну, как вам объяснить? Мой отец он... А может, это не он.

— Он, не он... Чего такое приключилось?

Сзади скрипнула дверь, кто-то вошел, протянул через барьерчик руку и выдернул из руки приемщицы бланк.

— Это что такое, гражданин?! — воскликнула приемщица.— Дайте сюда телеграмму! Верни сейчас же! Хулиган! Чего позволяете?

— Я не хулиган, а Юрий Антонович Савельев. Здравствуй, Наташа. Минуточку... Тут все правильно. Ее отец был...

— Юрка! — воскликнула Наташа. — Не смей! Ничего он не был, понятно?

— Я и говорю, Наташа...— И опять к приемщице: — Они были разлучены войной. Теперь вроде отец ее отыскался, в Москве работает. Так ей сказали. И вот она... Эмоции, конечно, но все понятно.

— Хулиган, право слово...— Приемщица отобрала у Юрия телеграфный бланк, опять прочитала, шевеля губами.— Эмоции... Хоть эти «ради бога» вычеркните. Телеграмма все же.

— Да вы сами,— попросила Наташа.

Потом они вдвоем с Юрием вышли из почты. Мимо толпами валил народ, стоял галдеж, вспыхивал временами смех. С завода шла закончившая работу смена. Голоса слышались и с соседних улиц, и вообще вся ночная Шантара, только что дремавшая, казалось, в непробудной тишине, ожила, повсюду в домах загорались огни.

— Я смотрю — ты на почту зашла,— проговорил Юрий.— Постоял, подождал. Что-то ты долго. Думаю, надо хоть поздороваться.

Наташа шла молча, сильно наклонив к земле голову, шагала быстро и все прибавляла, прибавляла шаг. Юрий не отставал.

— Ну что тебе надо от меня?! — вдруг резко остановилась она.— Мне бегом бежать, чтоб ты отстал?

— Я б догнал,— проговорил Юрий, опуская виноватые, словно побитые, глаза.

— Я ж тебе все давно сказала...

Юрий был в чистом рабочем комбинезоне, от него пахло металлом, станком. За минувший год он нисколько не изменился, казался все таким же долговязым, словно двадцатилетним парнем, смешливым и беспокойным, все так же гулял у него, видимо, в голове «ванька-ветер», как выразилась однажды заведующая заводской столовой Руфина Ивановна. Только временами на него находило, когда он разговаривал с Наташей, непривычная серьезность, и тогда он чувствовал себя неловко, то и дело переступал с ноги на ногу и будто не знал, что говорить.

Наташа боялась такого его состояния, догадывалась, что с ним, старалась наедине не встречаться.

Раза два-три, когда она работала еще в столовой, он спрашивал ее о Семене, часто ли пишет, и, выслушивая скупые ее ответы, искоса, стыдливо как-то, бросал взгляды на ее тяжелеющий живот.

Когда она была уже в декрете, он заявился однажды к ней домой, принес неизвестно каким способом добытые яблоки — много, целую авоську.

— Витамины. Полезно будет ребенку.

— Зачем? Не надо,— сказала Наташа, все же благодарная.

— Чего там...

Бабушки Акулины дома не было, она приболела и уплелась в больницу. Юрий сам вымыл над тазиком два яблока, подал Наташе.

— Спасибо,— сказала она, смущаясь своего огромного теперь живота.

И вдруг Юрий упал на колени, обхватил этот живот длинными руками, прижался к нему лицом. Наташа визгливо, по-бабьи, закричала, уронила яблоки, изо всей силы принялась отталкивать Юрия, за волосы оттягивала обеими руками его голову прочь, а он, не выпуская Наташу, целовал сквозь ситцевый халат ее тугой живот и лихорадочно бормотал, как обезумевший:

— Наташа, Наташа... Люблю, люблю тебя! Это не Семкин, это мой ребенок в тебе, это мой, мой...

Наконец она все-таки вырвалась из его цепких и сильных рук, отбежала прочь, давясь обидой, гневом, рыданиями.

— Как не стыдно! Ведь Семен твой брат... родственник...

— Пускай! Я ненавижу его, ненавижу...

— Замолчи! — яростно закричала она, собрав все силы, какие могла собрать. И ухватилась сама за живот, чувствуя, как от крика он весь наполнился режущей болью.

От этого крика Юрий осел, съежился и, как побитый, побрел к дверям. Ей стало его жалко.

— Слышишь ты, Юрка,— сказала она жалостливо вдруг, забыв о боли в животе, подошла к нему, положила обе руки на его плечи, от чего он сжался еще больше. И, будто чего-то вымаливая, проговорила: — Я Семена люблю. Больше жизни. Ты это можешь понять?

— Понимаю.

— Если даже... если даже с ним случится что на войне, я, если от горя не помру, буду ему верна до старости... до самой смерти! Никого у меня больше не будет. Никого мне не надо. Понимаешь?

— Нет,— сказал на этот раз Юрий, глядя на нее действительно непонимающими, изумленными глазами.

— Все равно... Тогда запомни хоть. Иди.

Он ушел, больше Наташа не видела его до самого рождения Леночки. Когда выписывалась из роддома, он пришел туда вместе с матерью Семена Анной Михайловной, бабкой Акулиной и, когда Наташа вышла, а нянечка подала Анне Михайловне ребенка, потребовал:

— Покажите мне.

Наташа сдвинула брови, на исхудавшем, измученном лице ее проступила тревога, будто она была виновата в чем-то страшном, и вот сейчас Юрий произнесет свой приговор, признает ребенка за своего при всех, и тогда... Ее даже опалила мысль: «Неужели он решился на такой чудовищный поступок?!» Но Юрий ничего не сказал, между ним и бабушкой Акулиной просунул свой крючковатый нос Колька Инютин, неизвестно как и зачем здесь очутившийся, и проговорил довольно:

— Вылитый Семка! Надо же!

— Это девочка, Николай,— сказала Анна Михайловна.

— Чего-о? — разочарованно протянул Колька.— Тоже мне...

— Бесстыдник! — прикрикнула Акулина Тарасовна.— Чего те тут? Ступайка.

После, когда Наташа перешла работать секретарем к Нечаеву, Юрий, встречая ее где-нибудь на территории завода, первым делом спрашивал, как здоровье Леночки. Первым и последним, потому что Наташе было это неприятно и она торопливо отходила, чувствуя, что он обиженно глядит ей вслед, и понимая, что обижает его напрасно.

...Голоса, затихая, доносились со всех сторон, то с близких, то с отдаленных улиц, окон зацветало все больше, будто сейчас была не полночь, а приближался рассвет. Они погорят немножко, думала Наташа, люди, вернувшиеся со смены, торопливо поужинают и, усталые, лягут спать. Одно за другим окна будут гаснуть, и вскоре все большое село, как измотавшаяся за день хлопотливая хозяйка, вскочившая, чтобы встретить и накормить работников, снова будто приляжет и задре-

млет. Сон будет крепкий, но непродолжительный, через несколько часов уже прольется рассвет, потом опять зацветут окна, но на этот раз от веселых солнечных лучей, которые тугими снопами ударят в стекла из-за каменных круч Звенигоры. А вскоре свежий утренний воздух расколет знакомый и всегда волнующий, до боли щемящий сердце звон Кремлевских курантов, и с площади перед сквером Павших борцов революции, где укреплен на столбе радиодинамик, на все село разнесутся отчетливые слова диктора: «От Советского информбюро...»

Так начнется новый день, который будет не легче, чем вчерашний.

— Ты знаешь, Наташ...— Юрий, глядя вниз, колупнул носком грубого рабочего ботинка землю.— Я на фронт ухожу.

— Ты?! — невольно воскликнула Наташа, сразу же пожалев, что этот возглас вырвался.

Юрий скривил обиженно губы.

— А ты что же думаешь, одному Семену положена такая честь?

— Почему одному? Там миллионы...

— Ну да, это я глупость сказал. Боже мой, сколько вообще человек делает глупостей!

Наташа пошевелила бровями, помолчала и вдруг резко и безжалостно сказала:

— А знаешь, Юра... не верю я в твою искренность.

Он усмехнулся, теперь кисло и едко.

— Почему же?

— Ну вот... не похож ты на отца. Совсем не похож.— Она помолчала и добавила все тем же безжалостным тоном: — Не знаю я, почему ты на фронт решил... Мог бы и не идти, есть такая возможность. И тебе не хочется. Потому что ты боишься...

— Ты соображаешь...— Он схватил ее за плечи сильными, привыкшими к железу руками, затряс.— Соображаешь, что говоришь?!

Неподалеку от того места, где они стояли, горела на столбе электрическая лампочка, свет едва доставал до Наташи и Юрия, и в полумраке бешено сверкали его глаза, а на простоватом, обычно добродушном лице проявилась, отчетливо проступила жестокость.

— Оставь меня! — вскрикнула Наташа, сбросила руки его со своих плеч.— Вот... теперь ты на себя похож. Такой... такой ты и есть.

— Какой?!

Оба они тяжело дышали.

— Душа у тебя черствая и жестокая.

— Спасибо,— выдавил он сквозь зубы, отвернулся. Большие и сильные его плечи торчали как-то одиноко и сиротливо. И это опять вызвало у Наташи чувство жалости. «Да что это я на него? — сама собой пришла к ней сочувствующая бабья, как она все же понимала, мысль.— И в самом деле он сирота».

— Прости меня,— сказала она негромко.— Может, я не права, Юра... Прости.

— Что уж там... Валяй дальше.— Он по-прежнему стоял к ней чуть боком.— Все равно последняя у нас с тобой... пресс-конференция. Задавай всякие вопросы...

— Мать как же твоя будет одна? — спросила Наташа, будто и в самом деле решила воспользоваться его разрешением, и, спросив, тотчас поняла, что вопрос неловкий и, может быть, неуместный по всему ходу и смыслу получившегося у них разговора.

— Она как-то лучше чувствовать себя стала. На работу даже устраивается. В районную библиотеку.

— Что ж, очень хорошо... Я пойду, Юра, мне пора.

Он повернулся к ней, поймал ее взгляд и долго не отпускал. Она испугалась мелькнувшей вдруг мысли, что он сейчас возьмет ее за плечи, прижмет к себе и начнет целовать, и сделала шаг назад.

— Ты знаешь,— усмехнулся он невесело,— мне было семь лет всего, даже меньше, седьмой, кажется, только шел... когда меня пытали враги революции.

Это «враги революции» прозвучало как-то неестественно, может, даже напыщенно, но Наташа, удивленная, этого не заметила.

— Как это... пытали? — выдохнула она.

— Обыкновенно. Как пытают? Били жестоко, я помню... На глазах у матери и отца. Чтобы у них какие-то сведения вырвать... Это было в 1918 году в Новониколаевске, в белочешской контрразведке. Допрашивал какой-то Свиридов, длинноносый, помню, с дряблыми щеками. Я все помню...

— Юра...— Наташа невольно подалась к нему, невольно схватила за руку.— Я не знала.

Он тихонько освободил руку.

— Спроси как-нибудь у моей матери... Оттого и разум у нее помутился тогда, еле-еле отошла. Да, я помню, как тогда было больно. И вот такая же пытка для меня сейчас... С того дня, как увидел тебя... А-а, да чего!

И он, махнув рукой, резко повернулся, пошел от нее.

— Юрий! Юра! — беспомощно вскричала Наташа, сделала несколько шагов вслед. Но он, будто боясь, что она его догонит, пошел быстрее, почти побежал.

* * *

Ответной телеграммы из Москвы Наташа с трепетом ждала весь следующий день, до вечера, и еще следующий... Она через каждый час звонила на почту, хотя оттуда ей обещали немедленно позвонить сами, как телеграмма только поступит. Но не звонили, телеграммы не было.

Прошел еще день и еще... Москва молчала.

— Это не он, значит, не отец,— неживым голосом сказала Наташа Нечаеву.

— Ладно, сейчас мы попробуем все сами узнать. Заказывай, Наташенька, Москву, Наркомат. Только спокойнее...

...Когда в телефонной трубке после долгого хриплого кашля раздался насквозь прокуренный далекий голос: «Миронов слушает...» — Наташа ойкнула и почувствовала, как остановилось сердце. Она сразу узнала голос отца, хотя он за несколько лет изменился до неузнаваемости, износился весь, стал будто заржавленным.

— Кто там? Я слушаю,— повторил отец.

— Папа! Папка! Это я, Наташа... Это я, это я! — закричала она торопливо, захлебываясь.— Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?

— Конечно... Здравствуй, дочка. Как ты там?

Наташа не замечала, что голос у отца спокойный и холодноватый даже, эмоций никаких в нем нет, что отец разговаривает так, будто они вчера или позавчера только расстались, а завтра снова будут вместе.

— Я тебе телеграмму послала. Папа! Ты слышишь?

— Да, я слышу. Я получил. И Савчук мне говорил...

— Почему ты мне не отвечаешь, папа?

— Ты замуж вышла, что ли?

— Да, папа. Его Семеном звать. У меня дочь родилась.

— Я знаю. Савчук мне об этом тоже говорил.

— А мама, мама... Ее нет... нас бомбили!

— Я знаю,— опять глухо сказал отец.

— Папка, да почему же ты не написал, не позвонил, когда Савчук... Я ждала, ждала! Ты когда... тебя давно...— И Наташа опять захлебнулась, не в силах произнести страшное слово.

— Нет, меня не очень давно освободили,— помог ей отец.

— Совсем? Папа...

— Как же еще освобождают? Я скоро приеду к вам, наверное. Я поеду по всем сибирским заводам нашего Наркомата. И к вам заеду... Прости, Наташа, звонит внутренний. До свидания, я напишу тебе...

И в трубке щелкнуло, громко захрипело. Наташа оторвала ее от уха и поглядела на трубку удивленно.

— Вот видишь, как хорошо,— с улыбкой произнес Нечаев, вышедший из кабинета в приемную.— Ну, поздравляю.

— Спасибо,— прошептала Наташа.

Директор стоял в приемной, держа в руках фуражку, он что-то еще проговорил и пошел из заводоуправления. А Наташа долго еще сидела за своим столом, не

шевелясь, осмысливая теперь весь разговор. Только теперь, вспомнив каждое слово отца, она поняла, что разговор вышел какой-то странный, холодный... И что на другом конце провода был вроде и не отец ее, а чужой, посторонний человек. В сердце сделалось больно, и на глазах от какой-то неясной еще обиды проступили слезы...

* * *

Своя жизнь, не всегда понятная родителям, идет у детей.

Димка Савельев, сын Анны и Федора, за два военных года незаметно налился силой, окреп, голос его сделался басовитым. Весной сорок третьего ему исполнилось пятнадцать лет, все мальчишечье в его фигуре стало быстро исчезать, ходить он стал более развалисто, ноги на землю ставил твердо, словно не шел, а сознательно и размеренно печатал шаги. Черные, глубоко посаженные глаза стали какимито еще более зацепистыми, смотрели на всех внимательно и словно пронизывали насквозь всякого. Его взгляда не выдерживали даже некоторые школьные учителя, а преподавательница литературы, женщина пожилая, почти старуха, нередко говорила:

— Почему ты смотришь так на меня, Савельев?

Малоразговорчивый от природы, Димка теперь стал еще молчаливее и на такие слова только пожимал плечами.

— Ты, Савельев, кажется, не любишь меня. А за что? — спросила однажды эта же учительница.— Смотришь, будто насквозь продавливаешь.

— Почему же? — возразил Димка.— Я вас уважаю... И литературу люблю.

Он действительно любил литературу и вообще учился неплохо.

— И на меня... И на меня ты вот так же все зыришь,— в тот же день сказала ему Ганка, с которой он по-прежнему занимался в одном классе, сидел в одном ряду, только он на задней парте, а она на первой.— Я затылком всегда чувствую. От девчонок стыдно. Дома гляди сколько хочешь, а в школе не смей.

— Нужна ты мне...— буркнул Димка.— И дома, и в школе.

— Так, да?! — повернулась она к нему, глаза ее метали черные молнии, давно набухшая грудь гневно колотилась.— Ты... так?!

Смуглые щеки Димки порозовели, и только это выдало его волнение, потому что внешне он остался совершенно спокоен. Он качнул лобастой головой и еще более упрямо и дерзко произнес:

— А как же еще? Воображаешь о себе много.

У Ганки от обиды мелко затряслись губы, большие и красивые ее глаза быстро-быстро переполнились слезами, засверкали ослепительно, сделались еще прекраснее. И с длинных ресниц на пылающие щеки капнула одна слезинка, потом другая.

— Ладно,— прошептала она почти беззвучно, крутанулась так, что чуть не хлестнула его по лицу тяжелыми уже косами, и убежала, оскорбленная и непокорная.

С тех пор ее заливистый и звонкий смех стал все чаще раздаваться со двора Николая Инютина. Тот, как слышал Димка через плетень со своего двора, что-то ей, по обыкновению, молол, она хохотала беззаботно на всю улицу. «Куда мать-то ее смотрит, не видит, не слышит, что ли? — ворочались в голове у Димки тревожные и, как он сам чувствовал, беспомощные какие-то мысли.— Ведь он, Колька, совсем мужик... В военкомат все бегает, к этому Григорьеву, обещают, говорит, отправку на фронт летом, как девятый класс закончит. И Григорьев-то ничего, говорит, оказался, не злыдень, хоть и рябой... Что он тогда с Ганкой... ежели на фронт собирается? И Григорьев для него хороший стал... Паразит крючконосый!»

А тут еще сам Колька однажды подлил масла в огонь.

— Ух, зараза такая! — сказал он восторженно о Ганке.— Тугая! Прям от нее искры какие-то! Как при замыкании проводов.

— Так ты не сгори смотри,— сказал Димка с усмешкой.— А то вон с одного места уже воняет.

— Ч-чего? — заморгал Инютин, уставился на Димку.

— Ничего. Болтаешь много. И врешь.

— Где?

— Да что это... тугая? Ты что ее... Откуда знаешь, какая она?

Николай Инютин хмыкнул, пальцем поскреб свой горбатый нос.

— Тетеря ты, Димуха, понятно? Не знаю, так узнаю. Мы сговорились в кино с ней по субботам ходить.

— Ты узнаешь? — воскликнул Димка.— Да я... вперед тебя узнал уж.

— Ч-чего-о? — опять протянул Николай.— Три раза хе-хе... Молоко покуда у тебя не обсохло.

— Тогда у нее спроси самой!

Димка выкрикнул это в запальчивости, понимая, что делает что-то мерзкое, непоправимое, и еще сознавая, что обычная сдержанность, которой он втайне гордился, здесь как раз и изменила ему, изменила именно тогда, когда важнее всего было взять себя в руки, промолчать.

— Ладно, я спрошу, не постесняюсь,— угрожающе проговорил Николай.

Все это было нынешней весной, когда в палисадниках только-только набухали сиреневые почки. А когда сирень запенилась, заполыхала перед окнами белым и голубовато-розовым огнем, случилось то, что и должно было случиться, раз он не сдержался.

Однажды ранним вечером Димка сидел на крылечке и от нечего делать строгал таловую палку, мастеря костылек. Когда он, надрезав тонкую кожицу, длинной лентой сдирал ее, закончил по всему костыльку замысловатый узор, во двор вбежал Витька Кашкаров.

— Ганка тебя зовет! Там она, за нашим плетнем стоит.

— Зачем я ей?

— Откуда я знаю? Я иду мимо — она стоит. С Колькой. Полные руки у нее сирени. Колька, видать, ей наломал где-то. Он, гад такой, всю сирень ей по всем улицам обломал.

Димка сразу догадался, зачем она зовет его. Не идти нельзя, тогда он совсем упадет в ее глазах, скажет — трус, и Колька скажет — трус, да еще и врун несусветный. Да и Витька вот так же будет думать. И идти нельзя, потому что... Тогда же надо будет объяснить Кольке при ней, при Витьке вот, что он не соврал тогда Инютину про Ганку. Но это же значит... замарать Ганку, так ее обидеть... смертельно. Как же быть? Что делать?

Витька, тоже вытянувшийся, похудевший, стоял, пошвыркивая носом, ждал, наклонив голову на длинной шее, разглядывал палку.

— Скажи — счас приду,— промолвил Димка, сказал это сознательно, чтобы отрезать путь и возможность поступить как-то иначе, ибо чувствовал — если он действительно струсит и не пойдет, то что-то в нем случится непоправимое, он потеряет уважение к самому себе.

— Дак пойдем вместе,— сказал Виктор.

— Айда...— Димка встал и принялся стряхивать с колен стружки.

Стряхивал их долго... «Что же сказать? Что сказать?!» — колотилось больно у него в голове, когда он выходил со двора, шагал мимо Витькиного дома. Вот уже и дом миновал, вот угол плетня, да вон и сама Ганка, а рядом с ней горбоносый Инютин. «Как же это я не сдержался? Язык бы лучше откусить!»

Ганка стояла злая, еще более красивая в гневе, глаза сверкали ярко, так сверкали, что больно было смотреть. У нее действительно был огромный букет сирени, только она держала его в опущенной руке, как веник.

— Ну, говори! — потребовала она, задыхаясь.— Когда это ты узнал... что я тугая? Говори сейчас же, при всех! Ну, сочиняй...

Это «сочиняй» было каким-то спасительным. Ведь Ганка, в конце концов, ни в чем не виновата, что в ту ночь он, Димка, впервые дотронулся до ее тела, и, теряя разум, сжал в ладони теплый бугорок ее груди. Она ведь даже не проснулась, только вздрогнула во сне и перевернулась со спины на бок, напугав его своим движением до потери сознания...

«А может, и проснулась?!» — вдруг опалила впервые его, ошеломила вот сейчас, здесь, у ограды кашкарихинского дома, страшная догадка. Ведь именно после той ночи, бессонной, какой-то дурманной, началось непонятное между ним и Ганкой, пролилось что-то холодное, отчуждающее. «Что, если она проснулась? Ну конечно, конечно...»

Дело было зимой. Марья Фирсовна, Ганкина мать, затеяла побелку дома, но за день не управилась, вечером у них с Ганкой хватило сил вымыть полы только в одной комнате.

— Давайте спать, постелимся все на чистый пол. Завтра домоем уж везде, сейчас ноги не держат. Ганюшка, Дмитрий, разворачивайте одежу...

Все легли вповалку, Димка приткнулся где-то на свободный клочок пола, и, уже засыпая, понял, ощутил всем телом, что лежит рядом с Ганкой. Вот она посапывает сбоку, чуть даже прихрапывает, а сразу за ней ровно и глубоко дышит ее мать. Сон у Димки рукой сняло, он почувствовал, как плавится в груди, там, где сердце, необычный жгучий жар.

Шло время, прошло, наверное, много часов, все тикали и тикали ходики, которые он сам и повесил на свежевыбеленную стенку, на старое место, и гирька опускается все ниже. Тиканье часов да дыхание спящих — больше и не было никаких звуков в комнате. Димка не спал и понимал, что в эту ночь не уснет.

Прошло еще немало времени, наверное, очень даже много, в голове у Димки теперь гудело. И, не помня себя, не соображая, что делает, он протянул руку, дотронулся до разметанных на подушке Ганкиных волос. Волосы были мягкие, холодные, его прошило током. Сознанием он понимал, что делает недозволенное, что руку свою надо немедленно отдернуть. Ганка ведь проснется, закричит, и тогда... Но пальцы его сами собой перебирали пряди ее волос, задели ее щеку. Чувствуя теперь, как пальцы дрожат, он скользнул ими по ее шее, по плечу, и его ладонь неожиданно легла на крепкий бугорок ее груди, обтянутый нагревшимся от тела ситцем... Ганка вздрогнула, зачмокала во сне губами и повернулась к нему спиной, легла на бок. Оглушенный, он не в силах был отдернуть руку, ладонь теперь лежала на ее мягком и тоже горячем плече, и Димка боялся снять ее. Теперь-то, ему казалось, она обязательно проснется, едва он пошевелит рукой.

Так его ладонь и пролежала у нее на плече до рассвета. Вот и все.

Нет, не все. Утром Ганка — сейчас Дмитрий это вспомнил отчетливо — ни разу не взглянула на него, все отворачивала в сторону припухшее за ночь лицо и быстро убежала в школу. И потом несколько дней будто не замечала его. А после и начала кидать усмешечки, пырять разными шуточками, и, наконец, вот это: «И на меня ты вот так же все зыришь...»

...Это «сочиняй» было спасительным, Димка знал, что теперь ему говорить, хотя сразу слов никак подобрать не мог.

— Чего, я спрашиваю, в рот воды набрал? — опять донесся до него сердитый Ганкин голос.

Она глядела на него враждебными глазами. И Николай Инютин смотрел на Димку виновато, ему тоже было неловко.

— Сволочь ты, Колька, понятно? — выкрикнул Димка.

— Чего-чего? — Инютин приподнял крючковатый нос.

— Ничегокай. Я... ну, сочинил... Назло тебе, прихвастнул... А ты?!

У Ганки дрогнули зрачки, презрительно сложенные губы чуть отмякли. Все это Димка заметил в одну секунду, почувствовал большое облегчение, повернулся к ней.

— Вот... Прости меня.

— Подлец! — дохнула она ему горячо прямо в лицо. Взмахнула букетом, ударила по лицу.— Я тебя прощаю... прощаю, прощаю...

Выкрикивая это сквозь слезы, она безжалостно хлестала Димку по лицу, по плечам, мелкие сиреневые звездочки разлетались в разные стороны, обсыпая его плечи. Димка не защищался, опустив плетьми длинные и уже сильные руки, отступал, пятился, пока не уперся спиной в изгородь.

— И ты? И ты... дурак горбоносый! — повернулась она, разгоряченная, к Николаю.— И ты руки распускать! Вот тебе... вот!

И Ганка обхлестанным уже букетом принялась колотить по плечам и лицу Инютина.

— Сдурела! — Николай пытался поймать и отобрать у нее сиреневый веник, но это ему не удавалось.— Сдурела...

Руку Ганки перехватила появившаяся мать Николая. Как она подошла, никто из четверых не заметил.

— Вы что это? — спросила Анфиса строго.— Ты же глаза выхлестнешь...

— Сбесилась она совсем, вот чего,— буркнул Колька, пошел прочь.

— Обидели они тебя, что ли? — спросила Анфиса у Ганки.

— А вам какое дело? — зло прокричала Ганка, взмахнула уже почти голыми сиреневыми прутьями, будто хотела ударить и Анфису. Но не ударила, отшвырнула то, что осталось от букета, зарыдала и побежала домой.

Витька прямо через изгородь пролез в свой огород и пошел по рядкам картофельных всходов. Анфиса и Димка остались одни.

— Хулиганье вы, однако. Зачем девку обижаете? — спросила она.

— Ее обидишь! — усмехнулся Дмитрий, приложил ладонь к щеке. Лицо, больно нахлестанное Ганкой, горело.

Потом Анфиса и Дмитрий молча пошли. Мать Инютина возвращалась из библиотеки, где она работала теперь уборщицей, в руках у нее была хозяйственная сумка.

— Как мать-то там, в колхозе? — неожиданно спросила она, останавливаясь у калитки дома Дмитрия.

— Работает, что ж тут.

— Отец-то пишет, нет?

— Нет...

— А Семен?

— От него недавно письмо было.

— А наш батька что-то давно замолчал,— сказала мать Николая.— Уж не знаю, что и думать...

— Мало ли,— проговорил Димка успокаивающе, по-взрослому.— Там ведь так... не всегда и напишешь.

— А ты на отца все больше становишься похожий. Я его и в таких вот годах, как твои, помню. Прямо вылитый ты. И взгляд такой же...

Димка не то чтобы знал что-либо определенное об отношениях своего отца и матери Кольки Инютина в молодости. Но по отдельным словам своих родителей, по некоторым фактам поступков и поведения обоих смутно догадывался, что Инютина эта играла тут какую-то роль и что она, кажется, принесла его матери много горя. Поэтому на последние слова Анфисы он ничего не сказал, только взглянул на нее чуть удивленно, вопросительно. И она, взрослая женщина, смутилась, смешалась и пошла к своей калитке.

Она шла быстро, легко, по-девчоночьи, и Димке показалось, что это с ним разговаривала, стояла вот тут сейчас не тетка Анфиса, а дочь ее Верка.

* * *

3-й гвардейский танковый полк, отведенный после тяжких февральско-апрельских боев на доформировку и отдых в сожженную немцами деревушку Тасино под Курском, в самом конце июня получил приказ выдвинуться под сельцо Фатеж, стоявшее на тихой и светлой речке Усоже.

Шоссейная дорога Курск — Орел, содержавшаяся до войны в образцовом состоянии, сейчас была сплошь в рытвинах и ухабах, местами дорожное полотно зияло глубокими воронками. Длинная танковая колонна, двигающаяся и без того на малых оборотах, объезжая эти воронки, еще более замедляла ход.

Стояла сушь, траки взбивали пыльную пудру, она клубами взрывалась под танковыми днищами, тугими струями хлестала во все стороны, забивала, запечатывала щели триплексов. Машины шли будто в густом молочном тумане, Семен ничего не видел, кроме мутной пелены, и, боясь врезаться в машину, идущую впереди, яростно матерился про себя.

Под Фатеж прибыли к вечеру, солнце садилось во вспучившиеся до неба пыльные облака. Семен, грязный, как трубочист, выбрался из танка, снял шлемофон и гимнастерку, начал выколачивать из нее пыль об ствол ободранной березки. Рядом отряхивались, отплевывались от пыли стрелок-радист Вахромеев, командир орудия их повидавшего виды КВ сержант Алифанов и дядя Иван, заряжающий.

— А я-то думаю, что это полк двинулся при ясном солнышке, в открытую,— проговорил Семен, кивая на серое, пыльное небо, тяжко висевшее над землей.— А тут такая маскировка.

— Речной мятой тянет вроде.— Иван, глядя на мутное небо, принюхался, будто запахом мяты оттуда, сверху, и тянуло.— Где-то речка рядом. Умыться бы хоть. А, Егор Кузьмич?

Алифанов, маленький, плотный артиллерист с такими же усами-подковками, как у Ивана, молча поглядел на командира танка старшего лейтенанта Дедюхина, неуклюже вылезающего из люка.

— Можно,— сказал Дедюхин хмуро.— А то на чертей похожи. Только сперва машину примаскируйте.

Старший лейтенант Дедюхин был человеком грубоватым и мрачным, но в душе, как это почти всегда бывает с такими людьми, бесконечно добрым. Семен увидел его впервые под Челябинском около года назад. Он, тогда еще младший лейтенант, шел, тяжко ступая, вдоль строя выпускников краткосрочных курсов механиков-водителей танков, при каждом шаге тяжело выбрасывал вперед то одну, то другую руку. Семену показалось на миг, что, если этот хмурый человек остановится, руки его еще будут некоторое время болтаться.

— Ты! — произнес он неожиданно, остановившись против Семена, ткнув в него указательным пальцем.

— Рядовой Савельев,— проговорил Семен.

— Вижу, что не генерал. Сибиряк, мне говорили?

— Так точно, товарищ младший лейтенант.

— Шагом марш за мной.

Повернулся и пошел обратно.

Младший лейтенант Дедюхин был не молод, лет сорока, по виду из рабочих. На его груди посверкивал орден Красной Звезды, две медали. В несколько фраз он объяснил Семену, что приехал с фронта в тыл за своим ремонтировавшимся здесь танком,«расколотым прямым попаданием сволочной фашистской авиабомбы, во время которого убило механика-водителя и Костю-заряжающего».

— Вот, теперь еще заряжающего надо,— закончил он.— Не знаешь, где взять хорошего мужика?

— Так разве мало...

— Хе! — усмехнулся Дедюхин и грубо прибавил: — Дерьма много, да поразному воняет... Я сам с Красноярска, весь экипаж у меня сибиряки. Железо люди! Костя тоже был с Иркутска, а не с Малаховки какой-нибудь... Был я до войны в Москве и в Малаховку ездил со знакомой одной. Дачное место. А знакомая — ух... Ну, не знаешь?

— Знаю,— сказал Семен, понявший, чего хочет этот странноватый младший лейтенант.— Сейчас пополненцы тут обучаются. Там есть такой солдат Иван Савельев... Как раз в артиллерийском полку он.

— Чего? — прищурил Дедюхин свои острые глаза.

— Это дядька мой. Не ошибетесь.

— Хм,— буркнул Дедюхин, еще раз ободрал холодным взглядом Семена.— Ну, я проверю. Ежели соврал и барахло вы с дядькой, шкуру с обоих спущу. Где его найти?

Неделю спустя в глухом цехе танкоремонтного завода появился Иван Савельев и, выставив сутулые плечи, постоял у стальной громадины. Танк Дедюхина КВ № 734 только что покрасили, краска уже подсохла, но еще резко пахла. Сам Дедюхин, маленький, удивительно маленький по сравнению с этой горой железа, юрко суетился вокруг танка, гладил ладонью броню, траки, ведущие колеса, без умолку говорил, почему-то заискивающе:

— Вот она, Иван Силантьевич, а! Мамонька! Тридцать два попадания, да сволочная авиабомба еще... А она только трещинку дала. Сейчас есть уже новые танки, тридцатьчетверки. Говорят, хорошие коробочки. Да видел я их, куда внучке до тетки, тетка три раза замужем была, не-ет... Соглашайся, Иван Силантьевич, соглашайся.

— Да куда мне в танкисты? И не отпустят,— произнес Иван.

— Хе, не отпустят! Это к Дедюхину не отпустят? — Младший лейтенант, говоря это, повернулся почему-то к Семену, и, когда поворачивался, рубиновый кубик на правой его петлице блеснул искрой в тусклом свете заводского цеха.— Он что это мне говорит? — И снова повернулся к Ивану, видно чем-то понравившемуся ему: — Кроме того, есть приказ Верховного, чтобы сын с отцом, брат с братом

вместе воевали, чтоб не разлучали родственников. А делу тебя Алифанов Егор Кузьмич, командир орудия, живо обучит. У нас Егор Кузьмич — ого-го! Голова! Томский таежник он, понял? Дело-то хитрое — взять снаряд из гнезда, сунуть в ствол, закрыть замок. Ну? Ну?

Так вот и оказались Семен с Иваном в одном танковом экипаже. Из Челябинска довезли отремонтированный КВ на железнодорожной платформе до Волги, переправились через нее, потом своим ходом добрались до села Котлубань, под которым Дедюхин разыскал свой полк. Было это в конце августа прошлого года, немцы в районе хутора Вертячего и станции Качалинской уже перешли Дон и рвались к Волге. Сутками гремела канонада, горела земля, на совхоз «Котлубань» и на станцию Качалинскую, хотя там нечего было уже бомбить, беспрерывно налетала фашистская авиация.

— Ага, Савельевы, мокро, что ли, в штанах? — весело спросил Дедюхин, когда с неба посыпались однажды бомбы чуть не в самую балку, по которой были рассредоточены замаскированные машины.

Где-то сбоку лаяли, огрызаясь, зенитки, но вражеские самолеты не обращали на них внимания, кружили и кружили над степной балкой. Страха у Семена не было с первого часа пребывания в прифронтовой полосе, хотя всю дорогу от Челябинска до Волги он испытывал какое-то беспокойство. Он прислушивался к себе, пытаясь понять, что происходит у него в душе. «Неужели это я трушу?» — задавал он себе беспощадный вопрос, криво усмехался. И чем ближе была Волга, чем чаще проплывали мимо разбомбленные станции и поселки, чем отчетливее ощущалось страшное дыхание войны, тем он становился как-то холоднее и спокойнее, только беспрерывно думал: а как там Наташка, как же она? Вот и в тот раз, сидя, согнувшись, в земляной щели, ощущая спиной холодок глиняной стенки, он думал о жене, вспомнил, как Наташка, когда его подхватили сильные руки и подняли в вагон, упала на пыльную землю и забилась на ней, представлял, как потом подошла к ней его мать, нагнулась и стала поднимать, а рядом то с одного, то с другого боку суетилась, наверное, Ганка.

Слова Дедюхина, их командира, оскорбили его не грубостью, а даже непонятно чем. Если бы не эти самолеты, которые не пугали, а все сильнее раздражали его, если бы не думы о Наташке, от которых тупо постанывало в сердце, он, может, пропустил бы мимо ушей эту грубую шутку. А тут он встал, отряхнул с гимнастерки пыль и, глядя в смеющееся лицо Дедюхина, желчно промолвил:

— Ты, командир... сам вперед не напусти гляди.

Угловато высеченное лицо Дедюхина вытянулось, он моргнул раз-другой.

— Чего-о?! Ты... как сказал?!

— Да плюньте вы, товарищ младший лейтенант,— попробовал потушить ссору Иван, сидевший рядом.

— Молча-ать! — рявкнул Дедюхин не то на Ивана, не то на Семена.— Родственнички...

Семен махнул рукой и пошел вдоль окопа. Дедюхин хотел что-то ему крикнуть вслед, остановить, может быть, но то ли передумал, то ли просто пересилил себя, засопел и опустился на дно щели.

С неделю потом Дедюхин молча посапывал, отворачиваясь от Семена, на занятиях по вождению танка и стрельбе с ходу выжимал из Семена и Ивана, да и из остальных, по ведру пота. И наконец сказал тому же Ивану:

— Хорош... Не зря я твоего племянничка взял. Ну, да у меня глаз алмаз, как отмерю, так отрежу... Теперь, значит, оправдаете себя. Это уж скоро, через день-другой.

Через два дня полк действительно бросили в самое пекло близ хутора Вертячего...

...Плескаясь в перегревшейся мелкой речонке, заросшей по берегам удивительно свежим, неизмятым кустарником, Семен вспоминал почему-то этот свой первый бой под донским хутором Вертячим. Даже не весь бой, а всего один эпизод, который постоянно приходил ему на память и не сотрется в ней, думал он, до конца жизни. Лощина, по которой скатывались навстречу друг другу советские и немецкие танки, была затянута утренней синеватой дымкой, и Семен думал не о смертельной опасности, а вот о таком же утреннем тумане, который, поднимаясь с Громотухи, затягивал прилегающие к ней луга, вспомнил, как Звенигора, погружен-

ная в этот туман до половины, словно бы плывет по нему, поблескивая золочеными вершинами. В такие утра зверский клев на Громотухе, интересно, как на Дону?

— Куда прешь, куда прешь?! — ударило по ушам, голос Дедюхина был надсажен и устал, будто он кричал до этого всю ночь напролет.— Бок хочешь подставить, едут твою... Держи левее, прямо в лоб ему!

Семен дернул за рычаг, тяжкая махина послушно взяла левее.

— Так... так, прямо!

А прямо шел приземистый немецкий танк, с приплюснутой башней, поводя из стороны в сторону пушечным стволом. «Т-3»,— определил Семен сразу же марку немецкого танка, вспомнил даже красочный плакат, который висел на дощатой стенке там, в Челябинске, когда он учился на краткосрочных курсах механиков-водителей. На плакате был изображен этот самый танк в разных ракурсах.

До танка было еще с полкилометра или чуть побольше, когда он перестал вертеть пушечным стволом, уставил его, как показалось Семену, прямо ему в смотровую щель. Из пушечного дула пахнул дымок, совсем не опасный, однако Семен инстинктивно прикрыл глаза. Но грохота снаряда о броню не последовало, немецкий артиллерист промахнулся.

— В-вояки, в задницу вас...— опять прогремел в ушах голос Дедюхина.— А ты дуй, дуй, газу прижми! Алифанов, не стрелять, приготовься...

Эта команда «не стрелять, приготовься» немножко удивила Семена: «Как же так? Как раз и надо бы сейчас влупить ему...»

— Понятно,— прохрипел командир орудия.

Семен совсем ничего не мог сообразить. А тут оглушительно ударило по броне, из вражеской машины снова выстрелили, этот снаряд угодил в лобовую броню, танк качнуло, в голове у Семена зазвенело, и сквозь звон он услышал в наушниках хриплый смех Дедюхина, а потом его матерщину и слова:

— Чего хотели — КВ продырявить! Это вам не жестянка из-под помады. Не сворачивать у меня!

Это уже опять относилось к Семену.

— Понятно,— сказал он, как и Алифанов, и почувствовал, что под шлемофоном взмокли волосы. Если танки столкнутся лоб в лоб на такой скорости, оба они расплющатся и вспыхнут, как спичечные коробки. Но к тому мгновению, как вспыхнут, в обоих танках будут лишь трупы...

— Молодец, что понятно. За понятливость нас бабы уважают. А любят за мужскую силу, хе-хе!..

Эти слова и этот смешок заставили Семена улыбнуться. В мозгу мелькнуло: какой же он, Семен, дурак, что огрызнулся тогда на Дедюхина, ведь с ним не пропадешь, а коли случится что... как сейчас вот может случиться... то умирать будет весело.

Мотор взревел, сотрясая стальную громадину. Танки быстро сближались. «Если счас влепит, то прямо в смотровую щель»,— сверкнуло у Семена. Было в нем будто два Семена, один ничего уже не боялся, был лих и безрассуден, а у второго беспокойно все-таки долбила в мозги тяжелая, как жидкий свинец, кровь.

Между танками оставалось метров семьдесят, вот еще меньше, еще... По лицу Семена грязными реками стекал пот, в голове гудело, руки вдруг противно задрожали. По ним шли какие-то конвульсии. Семен понимал, что руки сами собой готовы были рвануть рычаги, чтобы бросить тяжелую машину в сторону, избежать смертельного столкновения.

— Прямо! — прохрипел Дедюхин, тяжко дыша и будто чувствуя состояние Семена.

Из ствола вражеского танка опять брызнул дымок, но адского грохота по броне не последовало. «Действительно, размазня! — злорадно подумал Семен о немецком артиллеристе.— С такого расстояния промахнуться...» И он понял, что нервы у фашистских танкистов напряжены, как у него самого, до последнего предела, и еще подумал с какой-то уверенностью, что они у них вот-вот лопнут, оборвутся. Закусив до крови губы, он бросил дико ревущую машину на пригорок, чтобы оттуда, с высоты, обрушиться всей тяжестью на фашистов, и на миг потерял танк с крестом из поля зрения. Только на миг, но когда тяжелый КВ взлетел на пригорок, немецкой машины впереди не было.

— Ну?! — вроде бы возмущаясь, что Семен потерял немцев из виду, рявкнул в шлемофоне голос Дедюхина. И тут же Семен почувствовал, как громыхнуло их орудие.

— Молодец, Алифанов! — неожиданно вяло произнес Дедюхин.

И Семен увидел чуть в стороне горящий немецкий танк, сразу же понял все ясно и отчетливо, весь нехитрый расчет Дедюхина на выигрыш. Ни 37-, ни 50-миллиметровые орудия, установленные на немецких танках, для лобовой брони КВ были не страшны, но и пушка КВ не в силах пробить квадратный стальной лоб фашистской машины, поэтому Алифанов и не стрелял. Но рано или поздно нервы гитлеровцев должны были не выдержать, и, как только это случилось, едва вражеский танк отвильнул в сторону, Алифанов, бывший начеку, влепил ему в бок, в самый упор, снаряд, в клочья разорвав гусеницы,— горящая немецкая машина крутилась на одном месте.

Когда бой кончился, над лощиной все еще стоял туман, он даже сделался гуще, и не сразу Семен сообразил, что теперь это не туман, а дым, стлавшийся по земле от подбитых немецких и советских танков, рассыпанных по всей низине чадящими кострами. Дедюхин приказал всем выстроиться возле машины, прошелся взад-вперед перед экипажем, собираясь с речью, как казалось Семену. Но речь он не сказал, только спросил:

— А что, Иван Силантьевич, сердце уходило в пятки?

— Трудновато было,— сказал Иван, тоже грязный и потный, как все.

— Ну, война — это работка! Обвыкнется...

Руки, ноги, все тело Семена все еще гудело мелкой дрожью, он думал о том, как вываливались из подбитых горящих машин немцы в черных комбинезонах, кидались прочь, падали под пулеметным огнем, некоторые больше не вставали, и он, Семен, давил их, и бегущих, и уже лежащих, гусеницами, каждый раз будто слыша хруст ломаемых костей. «Разве можно к этому привыкнуть? Разве можно?!» Его вдруг замутило, он невольно прикрыл глаза и пошатнулся.

— И Савельев Семен молодцом,— услышал он голос Дедюхина.— Еще один такой бой — и обвыкнетесь, мужички-сибирячки...

...И вот теперь Семен не только обвыкся, а как-то даже потерял раз и навсегда ощущение своего присутствия на войне, ему все казалось, что он действительно находится на какой-то работе, утром заступил на смену — и вот все не кончается трудовой день, а дома ждет Наташка, теплая, вся трепетная, и бабка Акулина ждет, суетясь по бесконечным своим делам в комнатушке. Было потом много боев, больших и малых, в ходе которых немцы все оттесняли их дивизию и всю армию к железнодорожной линии Качалинская — Сталинград. Ощущение опасности как-то выветрилось, наверное, просто было некогда об этом думать, дни и ночи просто заполнились дымом и грохотом. И даже когда под сельцом Овражное их КВ подожгли, Семен не думал об опасности. Задыхаясь от дыма, чувствовал, что на спине горит ватник, и, понимая, что вот-вот может взорваться боекомплект, он бросил пылающий танк в какую-то речушку и только там вывалился из люка в ледяную воду.

— Ах, еду́т твою! Молодцом, что не растерялся... Ну, прибить пламя! Всем, живо!

Пожар кое-как потушили, кусок пламени, оторвавшись от танка, уплыл вниз по речке, слизывая толстую лепешку мазута на воде. С помощью подвернувшегося танка их КВ выволокли из речушки на глинистый берег. Сбоку, за кустами, то приближаясь, то удаляясь, гремел бой. Семен ходил вокруг дымящейся паром железной горы, проверяя траки. Все было вроде в порядке.

— Заведется? — спросил Дедюхин.

— Не знаю. Должен. Не развалился же он.

— Коли б развалился, к лучшему бы,— неожиданно сказал стрелок-радист Вахромеев, потирая обожженную щеку.— Получили б тридцатьчетверку.

— Я те дам тридцатьчетверку! Это механизм! — Дедюхин пнул в гусеницу. Он не признавал никаких типов танков, кроме КВ.— Заводи!

Семен, обрывая обгорелые лохмотья мокрого ватника, полез в люк. «Механизм» завелся.

В бою под Овражным они расстреляли из орудия четыре вражеских пушки, проутюжили гусеницами окопы, где красноармейский батальон всего четверть

часа назад держал оборону. Обстановка на войне меняется быстро, и, пока они барахтались в речке, немцы выбили наш батальон из окопов, заняли их, успели подтянуть и установить пушки. Выбитый из окопов и прижатый к кромке лесочка, занятого тоже немцами, стрелковый батальон был обречен, и появление в тылу у немцев двух советских танков было полной неожиданностью. Гитлеровцы в панике начали поливать их из пулеметов, разворачивать пушки, но сделать ничего не успели. Видя неожиданную помощь и замешательство немцев, батальон поднялся в атаку, снова занял оставленные несколько минут назад окопы, а к вечеру, уступая превосходящим силам противника, без особых потерь отошел на новый рубеж.

— Это мы сотворили переполоху у них! — довольно сказал вечером Дедюхин.— А ты, Вахромеев, балда. Хочешь променять хрен на морковку. Чтоб у меня таких и разговоров не было! Не слыхал чтоб... Ну, а медали у нас в кармане. Это уж я знаю, такой вышел переплет. Под Вертячим — помните? — танк сшибли, и вообще геройство экипажа было налицо. Но... невеста красива, да женишок спесивый... Ладно уж. А тут уж хошь не хошь, а медаль положь. Крышка батальону, коли б не мы, утопленники... Вот она, кривая.

Дедюхин говорил об этом, радуясь, как ребенок, будто в этих медалях была вся жизнь и дело с наградами уже решенное.

Медали «За отвагу» всему экипажу действительно вручили месяц или полтора спустя, когда под той же Котлубанью они ремонтировали немножко поврежденную в последнем бою ходовую часть.

— Ну, Савельевы, считайте, что это вам только аванец, как в начале месяца,— сказал Дедюхин, обращаясь к Ивану и Семену.— Отрабатывать его скоро придется, я чую...

Чуяли это и все остальные. Немцы прикладывали неимоверные усилия, чтобы прорваться к Волге, перерезали дорогу Качалинская — Сталинград, давно захватили Овражное, под которым горел их КВ. Гитлеровцев сдерживали уставшие до предела войска, подходившие и подходившие к линии фронта подкрепления командование пока в бой не вводило. Танковыми, стрелковыми, артиллерийскими дивизиями были забиты все прифронтовые селения — Самофаловка, Ерзовка, Желтухин, хутор Верхнегниловский, Паншино... Всем было ясно, что готовилось крупнейшее контрнаступление, которое должно было отбросить немцев от Сталинграда, об этом говорили в открытую.

Но отрабатывать «аванец» Дедюхину и его экипажу пришлось уже не здесь.

Восемнадцатого ноября под деревенькой Рынок, приткнувшейся на самом берегу Волги, прямым попаданием у КВ Дедюхина сорвало верхний люк и кронштейн для пулемета. Дедюхин, матерясь, что их для такого пустякового ремонта отправили аж в Дикову Балку, отстоящую от линии фронта на много километров, все же вынужден был подчиниться приказанию, а девятнадцатого началось знаменитое сталинградское контрнаступление.

Из Диковой Балки было видно, что в той стороне, где находился Сталинград, по всему горизонту стлались черные дымы, а когда дул южный ветер, сюда доносились гарь и запах сожженного тола и железа. Но в Диковой Балке неожиданно оказалась вся танковая дивизия, в которую входил 3-й гвардейский полк, через день он своим ходом двинулся на станцию Иловля.

— С тылу, с тылу, видно, немцу ударим,— несколько раз говорил Дедюхин.

— Ну что ж, мы специалисты,— каждый раз отвечал ему Вахромеев, заметно повеселевший, отдохнувший.

Но в Иловле их неожиданно погрузили на платформы и куда-то повезли прочь от фронта.

— Интересно,— промолвил Алифанов.— А?

Дедюхин, получивший лейтенанта одновременно с вручением медали «За отвагу», промолчал. Ничего не сказали и Семен с Иваном. Семен, смертельно уставший за последние месяцы, просто был рад, как и Вахромеев, неожиданной передышке и тишине. Он бóльшую часть пути пролежал на нарах в теплой, жарко накочегаренной теплушке, раза два за всю дорогу только бегал к платформе поглядеть, все ли в порядке с их машиной.

Выгрузили их глухой ночью где-то на пустынном перегоне между Липецком и Ельцом. С обеих сторон к железной дороге вплотную прижимался лес, шел теплый и густой снег. Семен впервые видел за эту зиму такой обильный снегопад, на душе у него было светло, чисто и радостно. Танки, неуклюже сползая с платформ, уходили в черноту деревьев, шум их моторов там сразу же глох.

А потом — бои за начисто разрушенное селение с непривычным названием Касторное, удар на Щигры и далее на сам Курск, город, о котором Семен много слышал. Когда он учился в школе, слова «Курская магнитная аномалия» почему-то всегда удивляли и поражали его, он представлял, что по улицам этого самого Курска валяются магнитные куски железа и это из них делают те магнитные подковки, которые он вытаскивал иногда из старых радиорепродукторов.

Седьмого февраля 1943 года поздним вечером их КВ, исцарапанный пулями и осколками, влетел на окраину какой-то улочки этого города. Город горел, над ним стояло дрожащее зарево, и в этом зареве извивались черные жгуты дымов. Улица была тесной, впереди, метрах в трехстах, немцы выкатывали из переулка пушку, торопливо разворачивали ее.

КВ несся прямо на вражескую пушку, и Семен понимал, что подмять ее гусеницами он не успеет, вон немецкий артиллерист уже поднял руку...

— Алифанов! — привычно прохрипел в шлемофон командир танка, и командир орудия так же привычно отозвался:

— Вижу.

Опустить руку немец не успел, на том месте, где стояла пушка, мгновенно вспух вихрь огня и дыма, оторванный ствол немецкой пушки легко, как сухая палка, взлетел над ним и, крутясь, упал на крышу приземистого домишка, проломив ее.

...Поплескавшись в речке, Семен вылез на травянистый берег, взял пыльную, в мазутных пятнах гимнастерку с погонами, к которым никак еще не мог привыкнуть, отстегнул медаль, положил ее в карман брюк. Снова вошел в речку, попросил у Вахромеева обмылок.

— Еще чего,— буркнул прижимистый Вахромеев, однако мыло подал.— На гимнастерку изведешь, потом морду нечем будет обмыть.

— Не жадничай... Чего это нас сюда перекинули вот, скажи лучше.

— А девкам тут плясать не с кем,— буркнул Вахромеев.

— Болтун ты,— проговорил Семен и покосился на дядю Ивана, который, белея за кустами незагорелым телом, прыгал на одной ноге, пытаясь другую протолкнуть в штанину.

— Мы тут, чую я, все попляшем,— сказал сбоку Дедюхин. Вода была чуть выше пояса. Дедюхин по-бабьи плюхался, приседая, поднимаясь и вновь приседая.— Ох, чую, мужички-сибирячки! Наотдыхались, хватит. Два месяца как в отпуске, на курорте ровно, были. Вроде и не война нам...

* * *

Действительно, почти два месяца танковая дивизия недвижимо стояла на берегу красивой речки Сейм, неподалеку от небольшого городка Льгова, освобожденного в начале марта. По всему фронту в конце апреля наступило неожиданное затишье, не было ни налетов артиллерии, ни самолетного гуда в воздухе. Странно было, что в самом начале мая по кустам и рощам, обломанным колесами танков, пушек и автомашин, искромсанным снарядами и пулями, в зарослях, из которых не выветрился еще запах гари, бензина и пороха, защелкали, затрещали соловьи. «Это ж знаменитые курские соловьи!»— сказал тогда Семен удивленно дяде Ивану, а тот, послушав переливчатый звон, кивнул головой и только проговорил: «Ну, наши, сибирские-то, не хуже».

За эти два месяца танкисты хорошо отдохнули и отъелись, привели в порядок свои машины. В начале июня их стали посылать на рытье траншей и строительство оборонительных сооружений, которые возводились между Льговом и станцией Лукашевка, танкисты делали все это охотно — разминали тело от долгого уже безделья.

Вместе с военными на устройстве оборонительной полосы работало много жителей Льгова и Лукашевки, в основном женщины, и однажды Семен кидал

землю рядом с худой молчаливой девчонкой, голова и лицо которой чуть не до самых бровей были замотаны черным платком. Она работала в одиночестве, ни на кого не обращая внимания, ни с кем не разговаривая, не отвечая на шутки, кидала и кидала землю. По лбу ее обильно сочился пот, щипал, видно, глаза, она отворачивалась, какой-то тряпкой протирала их и часто гладила ладонями свои щеки под платком, будто они у нее чесались.

— Ты бы сняла платок-то... Жарища такая,— сказал ей Семен.

Она впервые подняла на него глаза, и Семен ужаснулся: глаза ее были старушечьи, усталые и тоскливые до немоты, будто сгоревшие и присыпанные пеплом, в них совсем не проникал солнечный свет, не отражался в них.

Семен, ошеломленный, застыл недвижимо. Девушка усмехнулась как-то странно, тоже неживой усмешкой.

— Ладно, я сниму...

Она поглядела вправо и влево. Траншея, которую они рыли, за ее спиной круто заворачивала, рядом никого не было. Девушка грязными пальцами развязала на шее платок, сдернула его, и Семен почувствовал, как разливается холодок у него в груди. Вся голова девушки была покрыта частыми белыми, как бумажные клочки, плешинами, меж которых торчали пучки светлых, коротко обрезанных волос, а во всю правую щеку пузырем лежал красный безобразный рубец. В платке девушка казалась симпатичной и даже красивой, а сейчас стояла перед ним страшная и обезображенная.

— Это... что же с тобой? — спросил Семен, в чем-то пересиливая себя.

— А прокаженная я...— И, глянув на застывшего Семена, еще раз усмехнулась.— Не бойся, я не заразная. Серной кислотой это я себе голову сожгла.

— Сама?! — удивленно выдохнул он.

— Сама...

— Зачем?!

Девушка туго замотала опять голову, отвернулась и, кажется, заплакала.

— Семка, шабаш,—сказал подошедший Вахромеев, поглядел на девушку.— Строиться кричат.

— Сейчас... Больно ж, должно, это,— сказал Семен, понимая, что говорит не то.

— Под фашиста лечь, что ли, легче?! — зло повернулась девушка, в глазах ее впервые блеснуло что-то гневное и живое.— Ступай отсюда! Стройся.

— Что ты орешь на меня?— рассердился Семен.— Я перед тобой виноват, что ли?

— Не виноват. И ступай!

Семен повернулся и пошел, спиной чувствуя тяжелый, ненавидящий взгляд. Обернулся — она действительно глядела на него своими мертвыми, стылыми глазами.

— Как тебя звать? — неожиданно спросил он.

— Ну, Олькой Королевой...— Она скривила губы презрительно.— Тебе это очень надо?

Он не видел ее потом недели две — то ли она не ходила больше на рытье траншей, то ли работала где-то на другом конце,— но думал о ней все время, вспоминал ее злые слова: «Под фашиста лечь, что ли, легче?!», вспоминал часто Наташку, и ему казалось, что ее судьба чем-то схожа с судьбой этой Ольки.

По вечерам танкисты стали похаживать в поселок Лукашевку, полностью почти разрушенный немцами, где в длинном кирпичном сарае, уцелевшем каким-то чудом, крутили уже кино. Сперва повадился туда Вахромеев. Он стал вдруг каждый вечер тщательно бриться, а потом и пришивать свежие воротнички из ослепительно чистого, неизвестно откуда взявшегося у него куска новой простыни. Все это Дедюхину не очень нравилось, и он едко спросил однажды, покашливая:

— Гм... Это ты, Вахромеев, где воротнички-то берешь?

— Натокался, товарищ лейтенант, на одну благодетельницу. Может, и вы... Пойдемте. Кусок простыни еще найдется.

— Разговорчики! — повысил голос Дедюхин.— Гляди у меня, не окажись в нужный момент на месте!

Однажды Вахромеев уговорил «сбегать на пару часов в Лукашевку» и Семена,

таинственно намекая на что-то. Семен раза два бывал в Лукашевке по службе и до этого, идти ему с Вахромеевым не хотелось, но разбирало любопытство глянуть на его таинственную благодетельницу. Это оказалась особа далеко не молодых лет, рыхлая, со скрипучим голосом, но одетая чисто и аккуратно. Она жила, как и многие, в наспех сколоченном дощатом сарае. На железной койке, недавно покрашенной суриком, лежала пышная постель. Приходу Вахромеева и Семена она обрадовалась, тотчас юркнула куда-то, появилась с костлявой девицей, которая вошла в сарай, прислонилась неловко, боком, к щелястой стенке и побагровела, будто от натуги.

— Это Зойка, мы вместе тут работали до войны в столовке. Официантки мы... Сейчас столовая наша отстраивается, мы покуда на стройке работаем. Знакомьтесь, что ли. Зойка у нас стыдливая. А меня зовут Капитолина.

Семен буркнул свое имя, пожал жесткую ладонь Зойки, жалея, что пришел сюда с Вахромеевым. Думал он в этот момент об Ольке и еще о том, что вот эти две девицы, наверное, напропалую жили с немцами, потому вон и сытые, в теле. Зойка хоть и костлявая, но зад тоже крепкий и намятый.

— У меня, Вахромейчик, кое-что есть!— воскликнула Капитолина, тряхнула кудряшками, полезла за кровать и вытащила водочную бутылку, заткнутую деревяшкой.— Вот!

Бутылка была неполной, водки в ней было чуть побольше половины, Капитолина все это разлила на четыре части в граненые стаканы. Семен давно не видел домашней посуды, и при виде обыкновенных стаканов у него в груди что-то пролилось теплое, будто он водку эту уже выпил. А «Вахромейкина благодетельница», как он с неприязнью назвал про себя Капитолину, глянула на Зойку, все такую же смущенную и багровую, отлила из своего и ее стаканов в какую-то чашку.

— Это Ольке,— сказала она, извинительно глядя на Вахромеева.— Ну, мальчики, выпьем, потом потанцуем. У меня, Семен, патефон есть, вон он, и две пластинки. Потом в кино пойдем.

— Кому, кому... это? — кивнул Семен на чашку, куда Капитолина отлила водки.

— Ольке, говорю, связной нашей. Ну, Вахромейчик, сладенький мой...

— Какой связной? Погодите,— попросил Семен.

Вахромеев хитро подмигнул, выплеснул в широкий рот водку, взял с полки патефон. И, накручивая пружину, сказал:

— А той самой, с которой ты в траншее любезничал. Она в ихнем партизанском отряде разведчицей и связной была...

— Вы... партизанили?! — повернулся Семен почему-то к Зойке, еще более от этого смутившейся.

— Ну да,— сказала она, опуская глаза.— Вон с Капитолиной мы вместе...

— Господи, ну что это вы, будто младенцы какие? — закричала Капитолина, раскрасневшаяся от глотка водки.— Ты, Зойка, немцев, как траву, косила из автомата, а тут...

— А тут что-то мне страшно,— тихо и беспомощно сказала Зойка.

— А ну-ка, живо плясать!

Зойка несмело взглянула на Семена. Замученная пластинка хрипела. Семен, тоже волнуясь теперь, шагнул к девушке, положил руку ей на спину и тотчас почувствовал, как она вздрогнула.

Танцуя, он видел красную, заветренную щеку Зойки, чувствовал, как эта щека и открытая упрямая шея пышут жаром. Надо же, что он подумал о них, об этой Зойке и Капитолине, а они...— мучился он, краем глаза, стыдясь, наблюдал за Капитолиной: плотно прижавшись к Вахромееву, она водила его вокруг стола, на котором стояли пустая бутылка, четыре граненых стакана и чашка.

— А вы ее пожалейте, ладно?— услышал вдруг Семен.

— Кого?

— А Ольку. Она хорошая, и ей ничего не надо... Она сейчас придет, мы ей сказали.

Семен невольно остановился. Он заметил, что Капитолина, все прижимаясь к Вахромееву, повернула к ним с Зойкой голову, и в ту же секунду Зойка требовательно сжала ему плечо, и он, подчиняясь, стал танцевать дальше.

— Олька все спрашивала об вас у Вахромеева,— зашептала ему в ухо Зойка.— А он нам рассказал, что она об вас спрашивала. Ну вот, мы с Капитолиной и попросили Вахромеева, чтоб он привел вас... Это ничего, да?

— Да что же...— проговорил Семен.— Только ведь что же я могу ей... У меня жена и дочь.

— Ой, ну до чего же бывают непонятливые болваны!— прошипела она ему в ухо, и Семен опять остановился.— Ну что вы столбом встали? Танцуйте.

Вот тебе и Зойка! Теперь он верил, что эта девица могла резать немцев из автомата, как траву косой.

Он теперь все время ждал, когда она придет, эта Олька с неживыми, потухшими глазами, как-то отрешенно и холодно размышлял: о чем же это он с ней будет говорить? И вообще — как это так «пожалейте»? Как он должен пожалеть ее? Что это они придумали? Уйти, что ли, отсюда?

Но Семен понимал, что уходить ему нельзя, и в то же время отведенная ему кем-то роль жалельщика оскорбляла его, он раздражался, и Зойка, эта смущающаяся девица, вроде бы чувствовала, угадывала его состояние, время от времени предостерегающе сдавливала его плечо сильными пальцами.

Олька появилась неожиданно, Семен увидел ее, когда она уже стояла спиной к запертой за собой дощатой двери в сарай, обеими руками держась за железную скобку. Голова и лицо ее были так же глухо повязаны платком, но теперь белым с синими цветочками по краям. Она стояла, сильно вытянувшись, готовая в любую секунду ринуться вон. Простое ситцевое платьишко туго облегало ее фигурку, выделяя крутые плечи и сильные груди.

— Олька, Олечка!— вскричала Капитолина, бросаясь к девушке, обняла ее за плечи, прижалась к ее закрытой платком щеке губами.— А у нас гости. Вот, знакомься, это Семен, товарищ боевой моего Вахромейчика.

— Здравствуй,— кивнул Семен, не переставая танцевать.

— Добрый вечер,— промолвила Олька.— Да мы знакомы.

— О-о! — громко удивилась Капитолина.— Когда же вы успели?

— А там, на траншеях...

— Ну и распрекрасно, коли так. Ты выпьешь, Олечка? Вон мы тебе глоточек оставили. И корка хлеба есть зажевать.

— А что ж, и выпью.

Она подошла к столу, глотнула из чашки, даже не поморщившись, будто воду. Семен с Зойкой все топтались у противоположного края стола. Вахромеев, стоя у спинки кровати, чиркал зажигалкой, Капитолина держалась обеими руками за его локоть и что-то говорила. Пластинка, прохрипев, замолчала, Семен и Зойка остановились. В сарайчике возникла какая-то неловкость. Капитолина бросилась было к патефону, но, покрутив ручку, выдернула ее, захлопнула крышку и решительно объявила:

— Вот что, хватит, идемте в кино. По воздуху пройдемся...

Вечер был душный и тихий, высоко в небе густо стояли звезды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Семен, шагая рядом с притихшей как-то Олькой (Капитолина, Зойка и Вахромеев, похохатывая, ушли вперед), вдруг остро ощутил эту тоску. Под этими звездами, думал он, лежит сожженный поселок Лукашевка и много-много таких Лукашевок, лежит развороченная и обугленная земля, которой не дали по весне расцвесть и не дадут осенью принять в себя семена. Потому и так печально над ней молчаливое звездное небо, вобравшее ныне в себя дымы неисчислимых пожарищ, тяжкие стоны изувеченной земли...

Олька неожиданно и молча свернула в сторону, туда где среди пепелищ торчала, белея во мраке, печная труба. Вокруг уцелевшей печки были уложены пять или шесть венцов нового сруба. Неподалеку, на другой стороне улицы, стояло одинокое дерево.

— Вот, дед мой строится,— сказала девушка, став спиной к невысокой стене.— Никого у меня нет, один дедушка остался. Печка вот не разрушенная совсем. Дедушка обрадовался. «Кирпича-то, говорит, негде взять на печку, а нам и не надо...» Покуда вон в палатке живем.

Девушка кивнула куда-то, но Семен никакой палатки не увидел поблизости.

Потом он долго глядел на белеющую во мраке печь, вспомнил вдруг свой дом в Шантаре, такую же печку и подумал, что ведь печки — непременные участ-

ники жизни людской, вместе с людьми они делят человеческие радости и невзгоды, и судьбы у печек, как у людей, бывают разные, у каждой своя. И вот эта, уцелевшая при пожаре, но пока мертвая, давно остывшая, возродится к жизни, задымит, когда дом будет отстроен, возвещая, что жизнь неистребима и неостановима, какие бы несчастья и трагедии на нее ни обрушивались. И вот эта Олька залечит скоро все свои раны, хотя волосы на месте белых проплешин вряд ли отрастут, так и останутся эти проплешины на всю жизнь. Да и рубец на щеке, видимо, останется. Но дурак будет тот парень или мужик, который из-за этих проплешин и обезображенной щеки отвернется от нее. Может так случиться, и Олька это знает, чувствует и страшится. Но все равно, размышлял Семен, найдется рано или поздно человек, который возьмет ее в жены не из жалости к ее судьбе и ее мукам, который лишь поразится той цене, которую она заплатила, чтобы сохранить чистоту своего тела и своей души. И тогда она, благодарная, отдаст тому человеку всю себя, без остатка, она родит ему сыновей или дочерей, то есть исполнит то, что ей предназначено жизнью...

Так он думал, не зная, не предполагая всю глубину ее трагедии.

— А эти... Капитолина с Зойкой в самом деле партизанили?— спросил он, поворачиваясь к ней.

— Не веришь?— Олька усмехнулась невесело. Но Семен обрадовался, что она хоть так усмехнулась.— Они с Капитолиной поездов пять с немцами, с разными ихними машинами под откос пустили. Не считая всякого другого. Зойка — та особенно отчаянная...

Она помолчала.

— Как же это... такое с тобой, Оля? — проговорил он тихо.

Олька поняла, о чем он спрашивает, встрепенулась вся, вытянула замотанную платком голову, часто задышала.

— Жалеешь меня?

— Да нет...— сказал машинально Семен.

— Ишь ты, гусь! — еще больше задыхаясь, прохрипела Олька.— Не жалко, значит! Ну да... что я тебе? Пришел — увидел, ушел — забыл...

— Что ты к словам-то придираешься? — рассердился и Семен.— По-человечески надо же... И говорить, и понимать.

— По-человечески! А вот ты... поймешь разве?

— Так ты расскажи...

Неожиданно Олька всхлипнула, уткнулась ему в грудь. Он почувствовал ее горячий лоб, растерялся, подрагивающими руками погладил по девичьим плечам, ощутив до пронзительности их беспомощность и доверчивость.

— Ну что ты, Олька? Не надо...

— Не надо... Конечно, не надо,— повторила Олька тихо и покорно, оторвалась от него.— Они добрые, Зойка с Капитолиной. Это они попросили, наверно, Вахромеева позвать тебя... А мне зачем?

— Да я же и не знал, что... что тут живешь ты.

— Вот и не ходи больше. А Вахромеев пусть ходит. После войны они договорились с Капитолиной пожениться. Капитолина влюбилась без памяти. Сколько было в отряде партизанских мужиков — она хоть бы тебе что, а тут в два или три вечера влюбилась. Вот как бывает непонятно. «Хочу, говорит, чтоб к концу войны от тебя ребенок уже родился. Ты воюй, а я твоего сына хочу в это время в себе носить». Ты это ее желание понимаешь?

— Не знаю,— сказал Семен, чувствуя, что Олька говорит о чем-то большом и важном совсем не по-девчоночьи, по-взрослому.

— А я понимаю. Капитолина добрая. И Вахромеев тоже. Это хорошо, что они встретились друг для друга.

— Конечно... Ты знаешь, Оль,— сказал вдруг Семен, улыбнувшись, тронул ее за плечо,— ты тоже добрая и тоже встретишь такого же парня, который тебя полюбит, как Вахромеев...

Олька поежилась, отодвинулась от его руки, замолчала. Семен, чувствуя какую-то свою вину перед ней, тоже ничего не говорил. Они стояли и молчали, а над ними печально горели звезды.

— Ладно, я тебе расскажу, почему я... как все произошло это,— тихо проговорила, почти прошептала Олька, потуже завязывая платок.— Я тоже хотела

вместе с Зойкой и Капитолиной в партизанский отряд. Но меня попросили остаться тут. Лукашевка же станция хоть небольшая, а через нее поезда идут и идут. Я должна была следить, куда они идут, сколько и с чем составы. Кого-то надо было оставить, вот меня и оставили. И я следила, раз в неделю ко мне из отряда приходили, я им все передавала. А когда не приходили, значит, нельзя было, тогда я в условленном месте знаки оставляла...

— Какие знаки?

— Ну, всякие... Если клала три камешка один за другим, значит, три состава с разной техникой на Курск прошли. Ежели укладывала их кучей, значит, на Льгов. Каждый камешек значение имел. Плоский — танки, круглый — пехота... Целая азбука была у нас составлена. Но лучше, когда приходили. На словах-то все можно подробнее... И что на станции делается, что в селе.

Теперь она стояла, опустив голову. Будто забыла, что дальше ей говорить, и мучительно вот вспоминала. И вдруг опять еле слышно всхлипнула и заскулила тихонько, как щенок.

— Не надо, Оль, рассказывать, коль тебе трудно,— проговорил Семен.

— А у меня красивые волосы были, я их боялась,— неожиданно сухим голосом произнесла девушка, смахнула пальцами слезы с ресниц.— Потому что однажды три немца остановили среди поселка. Патрули. Платок сорвали с меня, волосы упали на плечи, они начали их... лазают в них холодными пальцами, бормочут по-своему. Один даже понюхал их. Потом спрашивает по-русски: «Где твой дом? Пошли!» Что же мне делать? Повела, иду, а сама думаю: на улице же, среди бела дня, не посмеют со мной ничего... А коли там, дома... Ну, там видно будет. У меня в сенях граната припрятана, может, сумею схватить... Они привели меня. Мать побледнела. Один немец, который волосы нюхал, говорит:«Ого, матка тоже не старая... Не пускай свою дочь на улицу, а то солдаты увидят...» И загоготали все, ушли, громыхая сапогами. Мать говорит: «Слышишь, надо скрываться, чует мое сердце...»—«Ты,— говорю ей, — иди, а я не могу, ты же понимаешь... А волосы я обрежу...» А мать свое: «Олюшка! Я глаза ихние видела, надо уходить от греха».— «Да ты подумай, говорю, как я объясню своим, из-за чего уйти из поселка хочу, чего испугалась...»— «А так и объясни. Я сама вот объясню, нечего девку тут держать, давай укажи мне, как партизанов твоих найти, где они? Сама я твое дело лучше делать буду!..»

Над разрушенным поселком по-прежнему стояло полнейшее безмолвие, не лаяли собаки, их просто не было, немцы, объявившись тут в конце октября 1941 года, перестреляли их за неделю. Где-то, наверное, возле кирпичного сарая, служившего клубом, вспыхивал временами девичий смех и тут же гас, как бессильный огонек. Семену показалось вдруг нелепым и непонятным то обстоятельство, что поселок лежит в развалинах: ведь войны никакой нет, а те жестокие бои, в которых он сам участвовал под Сталинградом и тут, под Курском и Льговом, не то приснились ему, не то он когда-то видел все это в кино.

Олька вернула его к действительности своим уставшим, измученным голосом:

— Отец мой погиб на финской, с мамой мы, с дедушкой да бабушкой жили недалеко за Орлом, в деревушке Шестоково. А перед самой войной сюда переехали. Матери было сорок семь лет, но ее годы ей никто не давал, она была и в самом деле как девчонка, красивая, легкая. Немец тот правильно и сказал, что мама не старая... Ну, волосы я под корень обрезала и в самом деле стала думать, как же быть мне теперь, может, и вправду пусть мать объяснит все в отряде, мне самой этого не сделать, да и стыдно, а я могу и составы подрывать, как Зойка с Капитолиной... Жду я человека из отряда, а его все нет и нет. Это было осенью сорок второго, партизан в болота тогда оттеснили, никто и не мог ко мне прийти... И вечером... Дождь шел, помню, холодный, осенний. Загалдели, затопали в сенях, слышим. Мать опять побледнела и только сказала: «Вот оно... Я говорила!»

Голос у Ольки совсем обессилел, прервался, она часто и тяжко задышала, опять заплакала и потянула ладони к глазам.

— Нет, я не могу! Я самое страшное видела! Они маму на моих глазах изнасиловали...

— И не надо, хватит,— сказал Семен поспешно, чувствуя, как копится у него под черепом какой-то горячий взрыв.

— Что хватит? Что хватит?— Голос девушки вдруг зазвенел от ненависти.— Тебе... и слушать невмоготу, а мне... Нет уж, послушай, ты! Чтоб знал, с кем воюешь!

— Да я знаю... Оля! — Он дотронулся до ее плеча.

— Не знаешь! Это я знаю! Разве это люди? Их разве женщины рожают?

Прокричав это, она затихла, лишь подрагивало ее плечо. Потом она повела им, требуя убрать руку, долго молчала, разглядывая что-то в темноте перед собой, кажется — белеющую посреди сруба печь, ладонью поглаживала бревно будущей стены дома.

— Их было четверо, немцев,— прежним уставшим голосом продолжала она.— Те трое и еще один какой-то... Они пришли пьяные, завалили стол фляжками, банками, объявили, что в гости пришли, керосину в канистре принесли. Предусмотрительные. Керосину в деревне ни у кого не было, как подступает ночь, пораньше укладываются все, чтоб засветло... Сами заправили лампу, зажгли. Потом тот, который нюхал мои волосы, подошел, смеясь, ко мне, сорвал платок, и смех его застыл на хорячьей морде. Лицо у него было острое, как у хорька. И глаза выпучились, чуть не полопались. Волос у меня не было, а вся голова в струпьях... Это бабка моя: «Что, говорит, делать-то, внученька, серной кислоты у меня где-то маленько есть в пузырьке, давай сожгем маленько кожу, тогда, может, побрезгают, не опоганишься об них, у бабы должна быть и душа, и тело чистыми, а болячки заживут». Я и... Только я не знала, что это так больно... Ну, да это ладно... В общем заревел немец коровой, кинулся почему-то к бабке, будто знал, что она меня научила, затряс ее. Она ему стала объяснять, тыкая в меня пальцем, что, мол, неизвестная болезнь девчонку начала есть, может, и заразная. «Ладно,— сказал немец по-русски. Долго они тут хозяйничали, сволочи, по-русски многие научились говорить.— Ты, старуха, ступай на улицу, не мешай нам...» И вытолкал бабушку в сени, захлопнул дверь. А деда не было дома, он в лес за хворостом пошел с обеда и еще не вернулся. Потом немец подошел к столу, начал пить прямо из фляжки. И вдруг крикнул что-то по-своему тем троим. Они набросились на мать, повалили ее прямо на пол, оборвали на ней худенькое платье. Прямо один немец схватил ручищей за ворот и рванул... Как она, мама, кричала и билась, они втроем ничего с ней сделать не могли. Потом один схватил банку с консервами и ударил ее по голове...

Олька говорила теперь все это голосом глуховатым, бесцветным, и Семену казалось, что он слышит не настоящий, живой голос, что к нему доносится откуда-то его эхо, то затихая, то усиливаясь. В груди его саднило, там растекалось что-то горячее, хотелось глотнуть хоть немного свежего и холодного воздуха, но воздуха вокруг не было, была черная, удушливая пустота.

— Я не знаю... я не видела, что было дальше,— пробивался откуда-то к Семену голос Ольки.— Я только слышала, как мама простонала последним стоном: «Доченька... не гляди, зажмурься...» Я не могла глядеть и без того, потому что немец... который из фляжки пил... царапал пальцами мои груди и живот. Он замотал мне чем-то голову... Он пытался справиться со мной на кровати... Я не знаю, как мне удалось его отбросить, он был сильный... Но он почему-то слетел с кровати, ударился вон об ту печку. Наверно, я как-то изогнулась и отшвырнула его ногами. Пока он вставал с пола, я сбросила с головы тряпку, метнулась мимо него в сени, там сунула в кошачий лаз руку и схватила гранату. Все произошло в какую-то секунду. Когда я с гранатой в руке метнулась к двери в комнату, немец только еще вставал с пола. А тот, который мать насиловал, повернул ко мне голову... Это я заметила. Повернул и моргает, моргает испуганно. И еще растрепанную голову матери увидела, почерневшие ее губы. «Доченька, бросай... бросай...»— прохрипела мама этими губами. Я выдернула чеку... Немец, который вставал с пола, шарахнулся назад, к тем троим, которые возле мамы. «Кидай же!» Это опять мама, голос ее расколол мне голову. И я... я кинула туда гранату... Какая-то сила шатнула меня было чуть вбок от дверного проема — убьет, мол, взрывом,— а другой голос долбит в голову: ну и пусть убьет, зачем дальше жить теперь?! Так и долбило, пока меня не отшвырнуло взрывом в угол сенок... Помню, будто молотом кто в лицо ударил. Это осколком меня сюда... — Она дотронулась пальцем до правой своей щеки.

Боли в груди Семен теперь не чувствовал, там все будто омертвело, опустело, зато в голове начался тяжкий и больной гуд, как от грохота ударившего в танковую броню снаряда. В глазах было черно, он поднял голову и взглянул на небо, рассчитывая и там увидеть одну черноту, но нет, звезды не погасли, они по-прежнему сияли в невообразимой высоте бесшумно и равнодушно.

— Дом от того взрыва загорелся и сгорел,— продолжала меж тем Олька очень тихим голосом.— Когда он загорелся, в сени вползла с улицы бабка, застонала: «Господи, ты в крови вся! Убегай, спрятайся, коли можешь,— немцы на пожар бегут...» Не помню, как выползла я из сеней на крыльцо, побежала в темень через огороды. На краю деревни дедушку встретила с хворостом, он только охнул, бросил хворост... Потом побежал куда-то. Я, помню, долго сидела под дождем в кустах, все ждала его, оторвала от кофточки кусок, прижимала разорванную щеку тряпкой этой... Дед приплелся не скоро, плюхнулся мешком и еще долго лежал недвижимо... Потом сказал, что нету больше у меня и бабки, немцы ее забрали и не выпустят... И точно, ее повесили через два дня. Она сказала им, что это она кинула гранату в немцев, которые дочку ее опоганили... мою маму. Они, наверно, не поверили ей. Бабке разве кинуть гранату, она разве знает, как с ней обращаться? А я еще в школе обучалась... Но все равно бабушку повесили, нас с дедом искали... Да мы в лесу таились, а после в отряд кое-как пробрались...

Она замолкла, и Семен молчал, не в состоянии произнести что-то и понимая, что любые его слова будут сейчас жалкими и беспомощными. И долго они стояли так в безмолвии.

Наконец Олька вздохнула глубоко и сильно. Семен почувствовал, каким-то чутьем понял, что ей легче оттого, что она рассказала обо всем этом, что ей надо было об этом рассказать кому-то постороннему. Он пошевелился, и она, стоявшая к нему боком, неожиданно вскинула туго обвязанную платком голову, повернулась и, глядя прямо в лицо, проговорила отчетливо:

— Ты сказал, найдется для меня парень... А вот ты... можешь меня, такую... поцеловать?

Он потерянно молчал, удивляясь ее вопросу. Но это даже был не вопрос, а просьба, он это чувствовал по ее голосу.

— Ну, что же ты?!— воскликнула она насмешливо.— Немец тот, может, и заразный был. Так ведь только когтями по телу поскреб. А больше ко мне ни один мужик не притрагивался... Ну? Сейчас темно, болячек моих не видно... Ну?!

Девушку била истерика. Глаза ее сверкали, вся она дрожала, и это странным образом подействовало на Семена.

— Ну что ты... что ты? — произнес он, шагнул к ней, взял ее за плечи и, чуть склонившись, хотел отыскать ее губы.

Но она тяжело дыша, повела головой в сторону, вывернулась из его рук, отбежала прочь. Возле одиноко торчащего на другой стороне улицы дерева остановилась, обернулась.

— Жалельщик какой нашелся! — крикнула она с яростью. —Это все они, Капитолина с Зойкой... А мне не нужно! Ничего не надо, поня-атно?

«...атно-о!»— эхом взлетел в молчаливое звездное небо ее крик.

Когда эхо умолкло, девушки возле дерева уже не было.

* * *

Под вечер четвертого июля Дедюхин был вызван к командиру роты, вернулся оттуда красный, взъерошенный.

— Пос-строиться! — прошипел он, как гусак, своему экипажу, и, когда подчиненные встали у машины, командир танка, пройдясь взад-вперед вдоль малочисленного строя, остановился напротив Вахромеева.

— Воротничок чистый пришил уже? Та-ак! — угрожающе протянул он.

— Товарищ старший лейтенант, я...

— Молчать! — взвизгнул Дедюхин, багровея от натуги.— А под трибунал не хочешь?! А? — И повернулся к Ивану Савельеву: — А ты куда смотришь? Куда, я спрашиваю? Ежели и племянничка твоего,— Дедюхин ткнул пальцем в Семена,— под трибунал? Вот если бы сегодня к бабам своим умотали в Лукашевку?.. Ишь, воротнички чистые пришили...

Дедюхин бушевал бы, может, еще долго, но заурчал приближающийся грузовик, и командир танка проговорил устало:

— Ладно, я вас еще мордой об землю пошоркаю. Взять на борт два боекомплекта!

Больше Дедюхин ничего не стал объяснять, но все и без того понимали, что вольное житье, к которому уже как-то привыкли, кажется, кончается.

Приняв боеприпасы, начали протирать снаряды, потом все, кроме Дедюхина, снова вызванного к ротному, пошли к берегу речки вымыть заляпанные снарядной смазкой руки. Весь день пекло, зной не спадал и к вечеру, хотя солнце уже было в нескольких метрах от горизонта...

В ожидании дальнейших событий все толпились вокруг танка. Вахромеев, встревоженный и обеспокоенный, беспрерывно спрашивал сам у себя:

— Интересно, успеем ли поужинать? Вот в чем вопрос.— И сам же себе отвечал:— Ох, чую — не успеем. Открывайте, братцы, святцы...

— Что ты ноешь-то?— рассердился Иван.— Прямо жилы из всех тянешь и тянешь.

Вахромеев обиженно хмыкнул и скрылся из глаз. Иван подошел к Семену, сидящему под березкой с разлохмаченной корой, опустился рядом, вынул вчера полученное из дома письмо, стал перечитывать.

— Чего пишут-то? — спросил Семен.

— Да что! Тоже хлещутся там. Панкрат Назаров все кашляет. Шестьсот центнеров хлеба, пишет Агата, колхозу прибавили сдать сверх плана, а жара посевы выжигает.

— Мать как там?

— Про мать ничего в этом письме... Школьников из Шантары, пишет, на лето по колхозам разослали, в Михайловку тоже вроде прибыли. И еще ждут. Детям тоже достается.

Дядька Иван с самого отъезда на фронт был малоразговорчив, в Челябинске, где их распределили по разным частям, он только сказал Семену:

— Прощай, выходит. Может, и не увидимся больше... Оно ведь как судьба выйдет.

Благодаря объявившемуся в Челябинске Дедюхину они не только увиделись, но вот год уже почти воюют вместе. Дядя Иван будто носил постоянно в себе что-то невысказанное и больное. Когда было можно, Семен оказывал ему всякие пустяковые услуги, следил, чтобы поудобнее место для ночлега было, чтобы суп в его котелке оказался погуще... Иван все замечал, глаза его теплели, но вслух никаких благодарственных слов не высказывал.

Перечитав в который раз истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втоптанную в землю траву.

— Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко-то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что дядя Иван имеет в виду его хождения к Ольке в Лукашевку, но он говорил пока о другом:

— Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И, еще помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

— Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

— Ничего,— проговорил он и поднялся.

— Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх, Семен стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет — не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но, когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое,— наверное, это просто торчал из земли корень.

— Ты что же... жил с ней?

— Ну, жил, жил! — вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

— Та-ак. С-сопляк! А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел — издалека послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.

— Слушай боевой приказ...

Мимо по размолоченной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки. Дедюхин только крикнул:

— В машину! На дорогу Фатеж — Подолянь. Там я скомандую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

— Ну, мужики-сибирячки! Тут наша песня, может, последняя и будет.

У Семена прошел меж лопаток холодок. Дедюхина он видел всяким, но таким еще никогда: щеки серые, губы плотно сжаты, он говорил, кажется, не разжимая их, и не понятно было, как же он выталкивает слова. Глаза блестели остро, пронзительно, во всем его облике было что-то сокрушающее, неудержимое.

— Предполагается, что утром немцы двинутся. Передохнули, сволочи... Наша задача до удивления простая: по этой дороге,— Дедюхин махнул в сторону озерца,— не пропустить ни одного танка. Сколько бы их ни было...

— На этой дороге их целый полк уместится. Что мы одной машиной? — проговорил Вахромеев.

— Сколько бы их ни было! — повторил Дедюхин, продавливая слова сквозь губы.— Я сам... сам этот участок дороги выбрал. Мы их тут намолотим. А, Егор Кузьмич?

Алифанов глянул на опускающееся за горизонт солнце, будто хотел попрощаться с ним. Все невольно поглядели туда же. Потом подправил согнутым пальцем один ус, другой. И сказал:

— Как выйдет, конечно... Постараемся.

Иван стоял прямо, скользил прищуренным взглядом по дороге, голова его медленно поворачивалась.

— Взять лопаты. Танк закопать,— распорядился Дедюхин.

Капонир рыли дотемна, сбросив гимнастерки. Соленый и грязный пот ел глаза, протирать их было нечем, некогда, да и бесполезно.

Уже в темноте Семен задним ходом задвинул танк в земляную щель, сверху его закидали нарубленными ветками. Дедюхин приказал срубить еще несколько деревьев, вкопать их перед танком так, чтобы они, не мешая обзору и обстрелу дороги, надежно маскировали машину. Когда это было исполнено, он ушел на дорогу, по-хозяйски осмотрел ее, будто ему предстояло завтра с утра приняться за ее ремонт, а не корежить снарядами. Вернулся и разрешил достать на ужин НЗ.

— Обмыть рыло бы,— пробурчал Вахромеев.

— Ничего... Не на свиданье собрался к этой своей,— буркнул Дедюхин. И неожиданно для всех улыбнулся.— Сладкая баба у тебя. Я видел как-то. А его вот, Савельева, зазнобу не знаю. Ишь вы, какие жеребцы! Поди, всю землю вокруг них копытами изрыли?

Дедюхин говорил теперь добродушно, Семен глянул на ковырявшегося в консервной банке Ивана, но тот, хмурый, промолчал.

Ели все вяло, усталость разламывала кости.

— Ну что ж, давай, дядя Ганс...— произнес Дедюхин неожиданно. И не совсем понятно добавил:— А настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем,

а ты попляшешь. А теперь всем спать, Савельев Иван, глядеть за дорогой. В три часа меня разбудишь, если все будет тихо.

И он первый улегся на теплую рыхлую землю, мгновенно захрапел.

Семен, облюбовав себе место для сна, наломал веток, застелил землю. Снял сапоги, положил их под голову, засунув в голенище для мягкости воняющие потом портянки. Укладываясь, он боялся, что дядя Иван захочет продолжить разговор об Ольке, но тот молчал, только все скреб ложкой в консервной банке.

Стояла удивительная тишина, как уже много недель подряд. Немецкий передний край отсюда был километрах в трех-четырех, но этого не чувствовалось. Где-то далеко то в одном месте, то в другом небо слабенько озарялось колеблющимся светом и гасло — это время от времени взлетали над линией фронта осветительные ракеты.

Пока рыли капонир, стояла плотная духота, а сейчас тянул со стороны озерка ветерок, и, кажется, начали набегать тучки, в звездном небе, как в порванном решете, зияли черные дырки. Семен глядел на эти темные пятна, думал о Наташе, а перед глазами стояла Олька, маленькая и беспомощная, с оголенными грудями, торчащими в разные стороны, просящая у него не любви, а просто ласки, как умирающий от жажды просит, наверное, глоток воды. «А может, я буду тем и счастливая, Семка!»— стонала она, глядя на него умоляюще и униженно, в глазах ее не было мертвенной пустоты, они горели сухо, пронзительно, немного болезненно, но по-человечески. «Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...»

Она просила откровенно, униженно, оскорбляя себя и его, и у него мелькнуло тогда, что в ней проснулось что-то животное. Но, мелькнув, эта мысль пропала или он ее просто отогнал, потому что она по отношению к Ольке была все-таки несправедлива, чем-то марала ее. Еще он подумал, что смертельно оскорбит эту девчонку именно тем, если отвернется... Он шагнул к ней, одной рукой обнял за плечи, другой скользнул по ее груди, обжигаясь. Она запрокинула плотно повязанную платком голову и жадно нашла сама сухими, сгоревшими губами его губы. Ноги ее подогнулись, она своей тяжестью потянула его вниз, на землю, а потом от женского чувства впервые испытанной любви застонала мучительно и радостно. Мозг ему больно прорезало, что когда-то так же вот застонала и Наташа, и он только тут с ужасом очнулся, в голове было пусто и гулко, там будто кто-то молотил палкой по железному листу...

...Так оно вот и случилось, думал сейчас Семен, слушая, как похрапывает Дедюхин. И винить в этом он не мог ни себя, ни Ольку, девчонку все-таки непонятную ни в словах, ни в поступках. А может быть, и понятную, подумал вдруг Семен, но только изломанную войной, измученную всем тем, что ей пришлось пережить. Этим все и объясняется...

Семен припомнил все встречи после той, первой, когда она спросила, смог ли бы он ее поцеловать, и когда она вырвалась из его рук, закричав враждебно: «Жалельщик какой нашелся...» И она действительно была, кажется, оскорблена тем случаем, в сарайчик к Капитолине и Зойке приходила редко, а когда приходила, то на Семена не глядела, демонстративно отворачиваясь.

— Зачем ты, Оля, так со мной? — спросил однажды Семен.— Ведь я тебя никак обидеть не хотел.

— А я и не обиделась,— сухо ответила она.— А рубец на щеке стал вроде поменьше, понятно?

— Конечно, все заживет.

— И волосы отрастут, ты думаешь? — спросила она помягче.

— Не знаю.

— Вот и доктор сомневается. Плешивая буду... всю жизнь.— И она всхлипнула.

— Оля, не надо...

— Отстань ты! — вскрикнула она опять в гневе, встала и убежала.

Он перестал ходить с Вахромеевым в Лукашевку. Но как-то через неделю или полторы тот сказал:

— Капитолина опять... просит, сходил бы к Ольке.

— Да я вам что, шут гороховый? Дурачок для... для...

— Ну, может, и дурачок,— сказал Вахромеев как-то странно, со вздохом.

— Катись ты со своей Капитолиной!

— Т-ты! Сержант! — Вахромеев подскочил, схватил его за грудки было, сверкая глазами.

Но Семен вдруг вспомнил полузабытый прием самбо, Вахромеев отлетел, согнувшись от боли, изумленно выдохнул:

— Дедюхин! Товарищ старший лейтенант!

— Что такое? — появился из блиндажика, который они соорудили для себя, командир танка.

— Он, зараза... приемы знает какие-то.

— Какие приемы вы знаете? — строго и официально спросил Дедюхин.

Все это кончилось тем, что сам старший лейтенант раза два очутился на земле, а потом потребовал:

— Два часа в день будете заниматься со всем экипажем. Может каждому пригодиться.

— Да я же все перезабыл, товарищ старший лейтенант. Когда это было-то...

— Выполняйте,— козырнул Дедюхин.

И Семен стал заниматься — учил Вахромеева, Алифанова и самого Дедюхина зажимам, захватам, подножкам. Только дядя Иван после двух-трех уроков от обучения наотрез отказался, заявив, что возраст его все-таки не для самбы этой...

— Ладно,— сразу согласился Дедюхин.— Продолжите с желающими.

В Лукашевку Семен все же пошел. Олька встретила его молчаливо и виновато, они говорили о том о сем, раза два он слышал даже ее смех — тихий, робкий. Рассмеется — и сама вроде удивится: она ли это хохотнула? Замолкнет, прислушиваясь к чему-то в себе. Потом она начала его расспрашивать о Сибири, о семье, о Наташе.

— Счастливая она, твоя Наташка,— вздохнула Олька однажды.

— Ей тоже... столько пришлось пережить.

— Значит, ты ее любить сильнее должен,— сказала она задумчиво.

Как-то Олька весь вечер была молчаливой, подавленной, ни в какой разговор с Семеном не вступала и под конец разрыдалась.

— Ты что, Оля? Устала? Иди отдыхай. Я тебя провожу.

— Нет, я боюсь спать. Как засну, мне мама снится. Ведь это я ее... Ну что ж, они, немцы, надругались над ней. Но ведь жила бы!

— Что ж... конечно,— сказал Семен, чтобы что-то сказать.

Но Олька полоснула его глазами.

— Нет, после такого... нельзя жить. Незачем, понятно?!

Прощаясь, она спросила:

— Как ты думаешь, если б папа был жив... и он бы узнал об этом, что они с мамой... мог бы он ее еще любить?

— Ты, Оля, такие вопросы задаешь...

— Разве мама виновата? Или я... если бы сумел тот немец? Ну, в чем я была бы виновата?

— Ты бы сама... не стала жить. Ты же только что сказала.

Она поглядела на него внимательно, не мигая, глазами холодными и суровыми. Олька была чуть ниже его ростом, она положила руки ему на плечи, привстала на носки, приблизила свое лицо вплотную к его лицу, выдохнула:

— Правильно... Это с нашей, с женской стороны. А с вашей, мужской? Ну?

Он молчал, чувствуя, что никогда не будет в состоянии ответить на такой вопрос. Она поняла это, вздохнула, отпустила его, потихоньку пошла прочь, нагнув к земле голову...

А в тот вечер, когда все произошло между ними, Олька была необычно оживлена — он никогда еще не видел ее такой — и много смеялась. Вдруг она спросила, когда последнее письмо пришло от Наташи. Семен сказал, что неделю назад.

— Дай мне его почитать, а? — попросила она.— Не вздумай мне врать, оно у тебя в кармане лежит, вот в этом.

— Откуда же ты знаешь?! — изумился Семен.

— Я теперь все на свете знаю,— сказала она.

Было еще относительно светло, они стояли на окраине разрушенной Лукашевки, в крохотной березовой рощице, не тронутой ни снарядами, ни танковыми гусеницами. Олька любила это место, и они уже не раз тут бывали. В небе гас

закат, пространство быстро наливалось темнотой. Олька выхватила из его рук сложенный вдвое треугольник, вслух начала читать, одновременно опускаясь под березку:

— «Родной мой и милый Сема! Моя единственная любовь...»

Голос ее заглох, она что-то тяжело проглотила и дальше стала читать молча. Семен стоял рядом и краснел, потому что знал, о чем читает Олька. Наташа писала, как и в каждом письме, о любви к нему, но в этом еще и описывала свои ощущения, которые она испытывает, когда крохотная Леночка сосет грудь: «Я забываю от счастья обо всем на свете, я вспоминаю твои нежные руки и губы, Сема, я чувствую себя где-то не на земле...»

Прошло времени вдвое, а может быть, втрое больше, чем требовалось на чтение письма, а Олька все глядела и глядела в бумажный листок. Затем медленно подняла голову, снизу вверх взглянула на Семена глазами, полными слез, и начала медленно вставать. Губы ее тряслись и что-то шептали.

— Я хочу быть... хоть на минуту... на ее месте,— разобрал наконец Семен ее слова и невольно отступил.

А она, уронив письмо и все глядя на него, расстегнула на кофточке одну пуговицу, другую...

— Олька! — пробормотал Семен смущенно и глупо, пытаясь отвернуться от блестевших бугорков ее грудей.— Ты же только что читала... про Наташку...

— Семен, Семен! — прошептала она с мольбой.— Ты о чем говоришь-то... сейчас? Как тебе не стыдно!

— Ты будешь жалеть...

— Я этого сама хочу! Назло тому фашисту... хотя и мертвому! Назло тем, которые маму...— Она задыхалась.— Ну, что же ты?!

Усилием — не воли даже, а сознания — он еще сдерживал себя. А может быть, его смущало белеющее на черной траве письмо...

— Брезгуешь, да? — выкрикнула она хрипло.

— Ты будешь проклинать себя потом за эту минуту...

— А может, я буду тем и счастливая, Семка! Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...

...Потом Олька плакала, положив обвязанную платком голову ему на колени, а он тихонько гладил ее по голове.

— Пусть твоя Наташа на меня не обижается. От ее счастья не убудет,— проговорила она, пытаясь унять слезы.— Я бы на ее месте не обиделась.

Затем она подняла письмо с земли, свернула, положила ему в карман.

— Ты напиши ей хорошее-хорошее письмо. О том, как ты ее любишь и думаешь все время о ней...

Семен только усмехнулся.

— Я же изменил ей.

— Не-ет! — Она вскочила, ее всю заколотило от гнева.— Не-ет! Ничего тогда ты не понимаешь! Это было один раз... единственный и последний.

И действительно — единственный и последний. Семен бывал потом еще в Лукашевке неоднократно, видел и Ольку. Она как-то изменилась, вся подобралась, стала еще более таинственной и непонятной. Она с ним разговаривала непринужденно, но мало, больше молчала, думая о чем-то своем. Иногда, почувствовав его взгляд на себе, сразу умолкала, смущалась и старалась отвернуться. Наедине с ним она больше не оставалась.

А потом она исчезла из Лукашевки. Капитолина сказала:

— Она поступила работать пока в госпиталь.

—Что значит пока?

— Ну, пока не вылечит рубец на щеке. Ей обещали срезать его, операцию сделать. «Потом, говорит, пойду в краткосрочную школу разведчиков». Меня тоже Алейников приглашал в эту самую школу, да я...— Она опустила голову, пряча глаза.— Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то.

— Кто-кто?! — спросил Семен удивленно.

— Вахромейчик, кто же еще,— обиженно сказала Капитолина.

— Я спрашиваю: кто Ольку... пригласил?

— Да майор Алейников Яков Николаевич, начальник прифронтовой опергруппы НКВД. Мы же все — и я, и Зойка, и Олька,— как говорится, в тесном

контакте с ним работали. Хороший он дядька, добрый, только малоразговорчивый.

— У него шрам есть на левой щеке?!

— Шрам? Вроде есть. Не такой, конечно, как у Олюшки нашей, маленький такой, незаметный. А что?

...Засыпая, Семен уже думал не о Наташе и Ольке, а о Якове Алейникове, человеке, сыгравшем зловещую роль в судьбе дяди Ивана, сутулая спина которого вон маячит в темноте, в судьбе многих... Тень Алейникова скользнула где-то и возле его жизненного пути. И кто знает, задела или не задела его эта тень, как сложились бы его отношения с Верой Инютиной, не вклинься тут Алейников. А теперь, оказывается, он где-то здесь, занимается какими-то своими делами. Вот война! Людская круговерть и месиво, а старые знакомцы могут встретиться...

Проснулся Семен оттого, что качнулась под ним земля. Он вскочил, ничего в первые секунды не понимая, слыша только, как яростно колотится в груди сердце. Стоял невообразимый грохот и вой, на той стороне, где взлетали недавно осветительные ракеты, горело по всему горизонту зарево, в багрово-красном отсвете тяжко и лениво клубились черные облака, беспрерывно ухали взрывы.

Смахнув рукавом слюну с уголка губ, он взбежал на вершину холма, где стояли Дедюхин и Алифанов. И едва взбежал, в левом краю горизонта высоко вспучились кроваво-черные пузыри, их разрезали желтые огненные полосы, а потом стало видно, как заплясало над землей пламя.

— В склад боеприпасов им врезали,— сказал Алифанов.

Дедюхин глянул на светящийся циферблат часов, произнес:

— Два двадцать три...— и повернулся к Семену, сообщил, будто тот не понимал теперь, в чем дело:— Наши лупят. Артподготовка. Значит, началось.

Невообразимая артиллерийская канонада стояла минут тридцать, потом разом стихла. Вяло и редко полаяли еще немецкие пушки, но и они умолкли. Тишина установилась мертвая, глухая, она больно давила в уши. И у Семена мелькнуло: если бы не пылающий в черноте ночи горизонт, можно подумать, что невообразимый артиллерийский гул ему просто почудился, приснился.

— По местам,— тихо и будто нехотя скомандовал Дедюхин.

Все побежали к танку.

Откинувшись на сиденье, Семен задремал. Он понимал, что его дело теперь маленькое, заводить танк придется не скоро, если придется вообще.

— Сержант, не дрыхнуть! — ударило по ушам.— Спишь ведь?

«Вот чертов Дедюхин, все чует,— подумал Семен, с трудом размыкая тяжелые веки.— А может, я храпел?»

— Никак нет, не сплю,— ответил он.

— Ври у меня! Гляди... Всякое может произойти.

— Понятно...

Над землей маячил рассвет, над озером, над камышами, подымался белесый утренний парок. Все это Семен видел в смотровую щель и даже расслышал, как ему показалось, утиный кряк. Но тут же сообразил, что именно показалось, никакие птичьи голоса с озера достигнуть до танка, а тем более проникнуть внутрь не могли.

Скоро туман над камышами стал гуще, все сильнее белел, а потом заголубел и неожиданно окрасился в нежно-розовый цвет. Он поднимался почему-то столбами, только эти столбы были живыми, они качались, и Семен понял, что это потянул над озерком утренний ветерок.

Было уже совсем светло, где-то сбоку брызнуло вскользь по земле первое солнце, его лучи засверкали ослепительно на верхушках камышей, отражались в листьях осиновых рощиц, толпившихся по противоположному берегу озерка. И было каким-то странным и нелепым то обстоятельство, что опять тишина взорвалась, забухали пушки с той и с другой стороны, а потом стало слышно, как над головой угрожающе яростно заревели самолеты. Семен не видел их, но понимал, что это были вражеские самолеты, он отличал их по глухому, натуженному реву. «Хорошо, что сверху замаскировались»,— подумал он и лениво зевнул. Несмотря ни на что, спать все же смертельно хотелось, и веки сами собой закрылись.

Сколько Семен продремал на этот раз, он не понял, но, видимо, не очень долго,

потому что верхушки камышей все так же сверкали от низкого солнца. Он очнулся от голоса дяди Ивана, доносившегося снаружи:

— За тем лесом движется столб пыли! Однако на нашу дорогу.

— Понятно,— ответил Дедюхин.

Потом загремел верхний люк, и Семен понял, что дядя Иван был послан куда-то наблюдающим, теперь вернулся, вместе с Дедюхиным они влезли в танк, теперь весь экипаж снова на местах, и сейчас начнется то, ради чего они тут оказались. «Тут наша песня, может, последняя и будет...»— вспомнил Семен вчерашние слова Дедюхина. Вся дремота с него мгновенно скатилась, никакого страха, как вчера вечером, он не чувствовал, только ощутил, как горят почему-то ладони. Он взялся за рычаги, хотелось, неудержимо хотелось нажать на кнопку стартера, бросить танк вперед, навстречу этому движущемуся столбу пыли. Что там, на дороге? Может, грузовики с фашистами? Захрустели бы только под гусеницами железо и кости! Или вражеские танки! Ну что ж, все равно...

Думая так, Семен понимал, что это не все равно, одним танком против пяти — десяти не очень-то поспоришь... И кроме того, его желание — ничто, они должны пока стоять здесь, в отрытом ими капонире, замаскированные, невидимые до поры до времени для врага,— таков замысел Дедюхина или еще кого-то, и он должен быть выполнен.

Семен убрал ладони с рычагов.

Вскоре он увидел и сам столб пыли, о котором говорил дядя Иван. И тут же на дорогу, выворачивающую из-за лесочка, вылетели немецкие мотоциклисты. Мотоциклов было штук пять или шесть, они летели стремительно, поливая из пулеметов придорожные кусты.

— Командир! Товарищ старший лейтенант?!— вскричал Вахромеев.

— Я тебе дам...— И Дедюхин зло и густо выматерился.— Завяжу тебе конец в такой узел — Капитолина слезами изойдет, а не развяжет. Поставить пулемет на предохранитель! И молчок у меня! Ты чего там, Алифанов?

— Ладно, не лайся,— буркнул командир орудия.— Все в порядке.

— Счас, Савельев Иван, будет тебе работка. Только поворачивайся! Взмокнешь, приготовил бы полотенце усы обтирать.

— Ничего, привычные,— ответил Иван.

Пока шел этот разговор, мотоциклисты пронеслись. Пыль, поднятая ими, медленно оседала. До конца рассеяться она не успела, как из-за леса на повороте дороги показался первый немецкий танк, следом за ним — второй, третий... Семен затаил дыхание.

— Ну, Алифанов...— прохрипел привычно Дедюхин. И добавил:— Егор Кузьмич, дорогой...

— Да знаем, что ты уговариваешь! Иван, ты мне чтоб сноровисто, без суеты.

— Соображаем,— буркнул тот.

Фашистские танки ползли и ползли из-за поворота. Пять, восемь... четырнадцать... Семен считал их, а они все ползли, и казалось, не будет им конца. «Да чего же Алифанов-то? — тревожно мелькнуло у Семена.— Ведь пройдут... Шестнадцать, семнадцать...»

Семен слышал, что работает поворотный механизм башни, понимал, что Алифанов держит на прицеле головной танк. «Не успеет... Сейчас фашист скроется за рощей! Вон уже девятнадцатый ползет. Девятнадцатый!..»

— По немецко-фашистскому врагу...— свистящим голосом произнес Дедюхин, тяжко дыша.

Слово «огонь» Семен почему-то не услышал. От выстрела его немножко качнуло на сиденье, в то же мгновенье он увидел — из бока переднего вражеского танка вспучился комок огня и дыма, танк крутануло, он развернулся навстречу своим же машинам, закивал длинным пушечным стволом, будто выбирая цель, но не выстрелил, замер... Следующий за ним танк начал, не сбавляя было скорости, обходить подбитую машину, но Семена опять чуть качнуло, и под тем, вторым вражеским танком вздыбилась земля, он накренился, задрал ствол в небо, остановился и запылал, как и первый, жирным, густым дымом, дорога была наглухо закупорена. «Ага! — злорадно подумал Семен. — Сейчас в хвост колонны...» И, будто подчиняясь мыслям Семена, Дедюхин прокричал в шлемофоне:

— Хвостатый вон раком пятится! Уйдет гад.

— Что ж, раком-то оно им так и определено природой,— спокойно пробасил в шлемофоне Алифанов.— Иван, чего копаешься?

Опять, в третий раз, ударила пушка. И задний немецкий танк перестал пятиться, будто раздумал, но развернул орудие в сторону холма и выстрелил. Снаряд ухнул где-то в стороне.

— Не видит, а плюется,— взвизгнул Вахромеев.

— Хорошо, если не видит...

От четвертого снаряда вспыхнул четвертый фашистский танк, в один момент оделся пламенем, как стог пересохшего сена. «Вот паразит, до чего же знает свое дело!»— с невольным восхищением подумал Семен об Алифанове, молчаливом человеке, неповоротливом каком-то, неловком, ходившем по земле обычно так, будто ему было тесно на ней...

* * *

Солнце уже давно оторвалось от горизонта, полезло вверх, тяжко качалось, как большой красный поплавок среди дымных волн, хлеставших по земле и по небу. Немецкая пехота и танки, оправившись от упредительного удара нашей артиллерии, двинулись в наступление сразу по всему Центральному фронту, на многокилометровом пространстве развернулось ожесточенное сражение. Двух месяцев почти мертвого затишья как не бывало.

Все эти долгих два месяца обе стороны наращивали силы: немцы — для решающего наступления, советские войска — для неприступной обороны, а потом для сокрушительного контрудара. Теперь эти силы были приведены в действие. С той и другой стороны беспрерывно колотили пушки, из клубов дыма с ревом вырывались немецкие самолеты, засыпали бомбами наши окопы, утюжили их на бреющих полетах, поливая пулеметным огнем. По всем дорогам двигались колонны гитлеровских танков, разворачивались на открытых пространствах, шли, рыча, на наши позиции, стараясь прорваться в тыл. За танками двигались бронетранспортеры с пехотой. Эту стальную лавину, казалось, невозможно было остановить. Прорвавшись сквозь заградительный огонь тяжелой артиллерии, фашистские танки во многих местах подошли вплотную почти к нашим окопам, где по ним прямой наводкой били из противотанковых пушек и ружей. Многие вражеские машины загорались, остальные шли и шли упрямо вперед сквозь грохот, вой и дым, за ними бежала спешившаяся пехота. Кое-где немцы вклинились уже в расположение наших войск...

Всего этого в подробностях танковый экипаж старшего лейтенанта Дедюхина, конечно, не знал, хотя каждый понимал, что началось всеобщее остервенелое наступление немцев и что тут, под этим невысоким холмом, может, и будет, как сказал вчера Дедюхин, их последняя песня. Ни сам Дедюхин, ни Алифанов, ни Вахромеев, ни Иван и Семен Савельевы не знали, что только на том крохотном участке фронта, который оборонял в составе других подразделений и их гвардейский танковый полк, двинулись в наступление три немецкие пехотные дивизии при поддержке почти пятисот танков, что проселочная дорога Подолянь — Фатеж была помечена на немецких картах как особенно важная, ибо по ней можно было перебросить любые воинские соединения в тыл частям Красной Армии, обороняющим крупный опорный пункт — село Ольховатку,— и что тот участок этой дороги, на котором Дедюхину было приказано любой ценой задержать танки противника, на тех же немецких картах был помечен как особенно опасный, потому что пролегал по топкой лощине, а с одной стороны было даже небольшое озерко. В случае чего танкам в сторону не съехать и не развернуться, если не настелить гать.

Но вот это-то последнее обстоятельство очень хорошо знал со слов командира роты Дедюхин, а вчера и сам обследовал правую обочину дороги — топкая полоса метров в семьдесят шириной действительно тянулась вдоль дороги. Потому-то и, довольный, произнес вчера после ужина эти слова, несовсем понятные экипажем: «Ну что ж, давай, дядя Ганс... А настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь». И вот теперь немцы «плясали». Танкам нельзя было двинуться ни взад, ни вперед. С обоих концов участок дороги был наглухо закупорен. Две-три машины попробовали было развернуться и обойти горевшие впереди танки по обочине, но тут же попятились назад, на дорогу, встали поперек ее неуклюже.

Сначала немцы не могли определить, откуда же их машины расстреливают почти в упор, вертели в разные стороны стволами, лупили в каждое подозрительное место.

— Поворачивайся, Алифанов! — хрипел Дедюхин, тяжело дыша.— Вон третий справа на нас наводит! Должно, засек...

Третий справа после двух выстрелов Алифанова окутался, как паром, белым облаком, потом из него повалил черный дым. Немцы полезли из люков.

— Товарищ старший лейтенант! — взмолился стрелок-радист Вахромеев.

— Молчать! Беречь патроны. Еще пригодятся, чую... А что нам эти фрицы?

Орудие Алифанова стреляло и стреляло. Семен сперва считал выстрелы, а потом со счета сбился.

Неожиданно по броне громыхнуло оглушительно, со звоном, звон мелкой осыпью запел в ушах Семена и еще не затих, как в броню ударил еще один снаряд, порвав, кажется, перепонки, в смотровую щель влетел осколок, ударился где-то сбоку в броню и упал на колени. Семен удивился, будто это было что-то необычное, взял маленький, но тяжелый и острый осколок железа. Он был горячим, обжигал пальцы.

Семен закрыл смотровую щель, в груди испуганно и радостно стучало: «Надо же! Екнуло ли у тебя сердце, Наташка?»

— Засекли, сволочи! — прокричал Дедюхин будто издалека.— Иван, с усов капает?

— Да, малость смокли,— отозвался Иван.

— Не каплями, ручьями стекает, весь замок забрызгал.— В голосе Алифанова была почему-то недовольная усмешка.— Лишь племянник его да Вахромеев сегодня вроде бы выходные... Сколько же мы, Иван Силантьевич, штучек нащелкали?

— Не знаю... Один боекомплект подходит к концу,— доложил Иван.— Семь, что ли, танков... Или девять?

— Одиннадцать! Понял? Одиннадцать! — что есть силы заорал Дедюхин.

— Да я до десяти только не путаюсь. Сейчас попробуем двенадцатый... А черт, ни хрена не видно!

Действительно, от горящих танков вдоль дороги стоял густой дым, плотно закрыв неподвижные вражеские машины. Это лишало видимости и немецких артиллеристов, но танковые орудия били наугад, вокруг КВ ухали взрывы, по броне стучали комья земли.

Неожиданно на дороге поверх плотных слоев дыма, пропоров их, взлетели огненные клинья, земля дрогнула. Потом она дрогнула еще раз. Это рвались от собственных снарядов вражеские машины.

И вдруг укрытый в капонире КВ подбросило. Семена сорвало с сиденья, он больно ударился плечом в правый борт. Дедюхина кинуло вниз, на боеукладку, на него упал Иван, на них посыпались из гнезд пулеметные магазины, вещевые мешки... Вахромеев оказался под сиденьем заряжающего. Один Алифанов вроде не пострадал, он вытащил Вахромеева, по виску которого текла струйка крови, затряс его.

— Вахромеев, Вахромеев?!

— Ну? — открыл тот глаза.

— Ты живой?

— Кто же его знает... Глаза сильно щиплет.

Дедюхин и Иван, потирая ушибленные места, поднялись.

— Бомбой это нас... Чуть не прямое попадание,— проговорил Иван, вытирая мокрое и черное лицо.— Случайно, может?

— Кой черт! Сообщили об нас самолетам по рации, видать, в бога их...— Дедюхин крепко выругался.— Начадили тут.

В танке действительно было сизо от дыма, и Вахромеев, будто виноватый в этом, сказал:

— Стреляли же. К пушке вон не притронуться, аж краска отстала...

Еще ударил в башню снаряд, броневая окалина брызнула Алифанову в лицо, и тот пробурчал добродушно, будто осуждая ребячье озорство:

— Черти...

Раз за разом, сотрясая землю, рвались бомбы то совсем почти рядом, то чуть подальше.

— Весь курган разроют, мешает он им,— проговорил Дедюхин. И крикнул Вахромееву:— Что там наши-то? Доложи об обстановке, попробуй связаться... Скажи, что одиннадцать танков подбили... Ну, все по местам. Ты как, Семен?

— Ничего,— ответил тот, взбираясь на свое место.

* * *

Вахромеев погиб первым.

...Когда осколком не то бомбы, не то снаряда заклинило башню, Дедюхин, будто сам не понимая этого, выслушал сообщение Алифанова терпеливо и сказал:

— А вы говорили — на тридцатьчетверку надо... Ни один же снаряд броню не прожег! — И он хлопнул по стальной стене.

— У тридцатьчетверок броня не слабже.

— Что вы понимаете! — прикрикнул Дедюхин, недовольный даже такой косвенной защитой тридцатьчетверки и, значит, умалением каких-то достоинств любезных его сердцу танков типа КВ.— Вы что, не убедились?

— Ладно вам! — прикрикнул вдруг Вахромеев, словно был старшим.— Надо выползать из этой норы.

— Савельев, что там у тебя?— опять прокричал Дедюхин.— Заведешь?

— Должна завестись старая развалина,— ответил Семен почему-то дерзко.— КВ же, не тридцатьчетверка...

— Получишь у меня взбучку... после боя! — пригрозил Дедюхин, надрывая голос, чтобы перекричать грохот автоматных пуль в броню.

Танковые орудия противника били теперь редко, из девятнадцати вражеских машин на дороге стреляли только три, остальные горели или просто молчали, покинутые экипажами. Немецкие танкисты поливали неподвижно стоящий в капонире КВ из автоматов, подползая все ближе. Дедюхин и все остальные понимали, что теперь фашисты, приблизившись к танку, могут подорвать гусеницу или зажечь машину. Вахромеев, черный, как черт, от броневой окалины и порохового дыма, остервенело бил из пулемета, прижимая немецких танкистов к земле. Но Дедюхин и все остальные также понимали, что, пока бьют орудия, а самолеты сверху беспрестанно сыплют страшный груз, немцы на холм, под свои снаряды и бомбы, не полезут. Стреляли и бомбили по-прежнему наугад, потому что холм с приткнувшимся к нему советским танком был покрыт плотными клубами дыма и пыли, он извергался, как вулкан, от взрывов, камни и комья земли беспрестанно взлетали вверх.

— Черт, ничего же не видно! Ты слышишь, Дедюхин? — прохрипел Вахромеев так, будто в этом был виноват командир танка.

И после этого вскрика мгновенно умолкли взрывы бомб и снарядов, перестали даже стрелять из автоматов. Наступила тишина, она была так неожиданна, что оглушила, будто прямо в башню ударила бомба. Машина лишь чуть подрагивала— это работал мотор на малых оборотах.

— Понятно,— произнес Дедюхин и визгливо рассмеялся.— Не думаю, чтобы они думали, что подбили нас, они думают теперь-то подобраться вплотную, чтобы подбить...

Заковыристый оборот командира был понятен всем. Семен знал, какая команда последует вслед за этим, открыл смотровые щели, плотно взялся за рычаги и прибавил оборотов. «Сейчас по щелям и начнут лупить из автоматов»,— острым холодом резануло в мозгу. Но эта мысль держалась только мгновение, она исчезла, как только раздался голос Дедюхина:

— Поехали! Савельев, вместо хобота у нас палка теперь, ты это помни... Сразу направо давай, там увидим. Жми!

Семену все было понятно, кроме одного — куда вести машину. Да этого ни Дедюхин, ни кто-либо другой из экипажа сейчас не знали.

Танк тяжело, как проснувшийся медведь из берлоги, вылез из земляного укрытия. Семен сразу взял вправо. Впереди ничего, кроме стлавшегося по земле дыма, не было видно. Дым этот хлопьями, как вата, валялся меж низкорослых кустарников. Едва танк пополз из капонира, сразу затрещали о броню автоматные пули, не затрещали, а просто как-то глуховато и безобидно зашелестели, и Семен не думал уже, что какая-то свинцовая струйка может брызнуть в смотровую щель

и прожечь его насквозь: он, чуть улыбаясь, представлял почему-то, как автоматные пули-струйки плющатся о броню и бессильно осыпаются вниз, словно подсолнечная шелуха. И еще он думал, что танк — это все-таки танк, стальной гроб, как называют его многие, да и сами танкисты, но этот гроб надо еще расколоть.

Неожиданно дымное облако оборвалось, танк вылетел на чистое пространство, на котором стояла брошенная немецкая кухня, а метрах в тридцати за нею окапывалось какое-то подразделение немцев.

— А-а! — заорал Дедюхин торжествующе.— Савельев, вдоль окопчиков!

Семен бросил машину вперед, развернул танк и погнал вдоль только-только начатой траншеи. Конец траншеи уходил вдаль, в дым, по разные стороны от нее брызнули немцы. Они бежали полусогнувшись, будто по дну воображаемого окопа, боясь распрямиться во весь рост. Многие падали под пулеметными очередями Вахромеева, задние перепрыгивали через них. «Как крысы»,— подумал Семен, хотя на крыс убегающие немцы были похожи меньше всего. Сжав зубы, он прибавлял и прибавлял оборотов, пытаясь нагнать двух рослых немцев, бежавших почему-то рядом. Он знал, что им никуда от смерти теперь не деться, что он сейчас их сомнет, раздавит...

Танк нагнал немцев у края качающейся дымной стены, один из фашистов, тонколицый, со взмокшими волосами, обернулся, поднял руки, будто сдавался, лицо его было совсем близко от Семена, он видел его вылезающие от понимания неотвратимой смерти глаза, другой же фашист, горбом выгнув спину, прыгал вперед из последних сил, как задыхающийся заяц.

Танк смял первого немца, даже не покачнувшись. Второй попал под гусеницу спиной, она у него будто треснула, Семен будто расслышал этот треск...

— Справа пушки. Води-итель! — заорал вдруг Алифанов.

Семен мгновенно отреагировал, двинул сразу оба рычага. Вспахав землю, танк развернулся на месте. И Семен увидел впереди четыре противотанковых орудия. Два были прицеплены к тягачам, их спешно расцепляли, а два других были поставлены стволами в противоположную сторону. Семен даже улыбнулся от предчувствия такой легкой добычи, Алифанов их успеет расстрелять в две-три минуты с ходу. Он как-то забыл, что башня заклинена, что ствол орудия превратился в торчащее бревно, которое, правда, могло перемещаться сверху вниз. Орудие действительно ударило прямой наводкой, одна вражеская пушка опрокинулась, как игрушечная.

— Вперед теперь! Впере-од! — задышал в уши Дедюхин.

Семен до отказа выжал газ, танк ринулся на вторую пушку, которую немцы успели почти развернуть.

— Осталось четыре снаряда,— вдруг раздался трезвый и спокойный голос Ивана Савельева.

«А горючее?!» — прожгло Семена, он глянул на прибор.

— Бей!

Выстрела Семен не услышал, только видел, как вздыбилась под второй вражеской пушкой земля и как на черной подушке приподнялось орудие и в эту подушку же провалилось.

— Товарищ старший лейтенант! Горючее на исходе!

— Чего орешь? Знаю,— сказал Дедюхин. И, помолчав, спросил: — На сколько хватит?

— Километров на двадцать...

— Ясно,— усмехнулся в шлемофоне Дедюхин.— Тут где-то деревня Соборовка должна быть...

— Вань, ты выйди, спроси дорогу,— насмешливо посоветовал стрелок-радист.

Это были последние слова Вахромеева.

— Позубоскаль у меня! — разозлился Дедюхин, не зная, что стрелок-радист уже мертв и ничего не слышит.— Напитался безобразиями от Капитолины своей... Ну-ка, бросай пулемет, попытайся вызвать кого... Может, кто знает, что там, в Соборовке? Вахромеев... Вахромеев!

Но Вахромеев молчал. Пуля ударила ему прямо в лоб. Он немного сполз с сиденья. Кровь двумя струйками сочилась по лбу, капала с грязных бровей на щеки. Но этого никто из экипажа не видел.

* * *

...Соборовка была на виду, за худым лесочком, она вся горела, по окраинам деревни стояли особенно высокие и черные космы дыма. Закручиваясь жгутами, они словно ввинчивались в дымное марево, расползшееся по всему небу.

— А если там немцы, товарищ старший лейтенант? — прокричал Семен, припав к смотровой щели.

Грязный и едкий пот застилал глаза, хотелось сбросить шлемофон к чертовой матери или хотя бы вытереть глаза какой-нибудь промасленной тряпкой, но сделать было нельзя ни того, ни другого. Танк летел в низину по разрытой снарядами земле, на которой не было живого места, нырял в ямины и с ревом вылетал оттуда, чтобы снова ткнуться в рытвину.

— На сколько ходу горючего-то?

— Совсем уже нет. На этом самом пару едем, который воздух портит...

— Ну вот, а тут авось... Не должны бы они ее взять.

— Вы ж с командиром полка говорили. На Ольховатку раз прут...

— Соборовку они, может, и обошли, а взять не могли, по-моему,— сказал Дедюхин упрямо.— Эх, Вахромеев! Что Капитолина-то скажет теперь, а, Семен?

Семен хотел что-то ответить — что, мол, тут скажешь, да и самим еще надо выжить,— как вдруг мотор, захлебнувшись, почихал и умолк. Тяжелый танк словно врезался в тугую резиновую стену, стена спружинила, но выдержала, стальная громадина прорвать ее не смогла — не хватило силы — и остановилась. Семен качнулся вперед.

— Горючее кончилось! — прокричал он, задыхаясь.

— Самоле-от! «Ю-юнкерс»! — ударил по ушам чей-то незнакомый голос так, что в голове зазвенело. Семен не сразу и разобрал, что это кричит дядя Иван. В эти секунды он все еще думал почему-то о Капитолине, вдруг отчетливо вспомнил, как она, опустив голову, смущаясь, но с нотками радости в голосе произнесла недавно: «Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то». И у него мелькнуло: «А что, если и Олька... если я ее тоже, как Вахромейчик? А Наташка ничего не знает...»

Рядом что-то ухнуло — точно глыба земли отвалилась и упала глубоко вниз. Звук был глухой, нестрашный и что-то напоминал. И Семен в следующее мгновение вспомнил — что. Километрах в семи от Шантары вниз по течению Громотухи был высокий, тридцатиметровый глинистый яр. Вешние воды с каждым годом подмывали его все сильнее. На кромку яра выходить было опасно, она была вся в трещинах, многопудовые глыбины земли время от времени отламывались и падали вниз, в воду. И все-таки в детстве Семен любил туда ходить. Было до жути интересно глянуть с яра вниз, на грозно бурлящую далеко внизу Громотуху. А еще интереснее было найти отслоившуюся уже от кромки яра земляную глыбину, которую удерживали только травяные корешки. Если тронуть ногой такую глыбину, она угрожающе качнется. И часто Семен, стоя одной ногой на более или менее надежной кромке яра, другой упирался в трещину и, рискуя сорваться вниз и сломать шею, раскачивал отслоившуюся земляную глыбу до тех пор, пока травяные корешки не обрывались и тяжелый, центнера в полтора, а то и больше, кусок глины не летел вниз. Через какие-то секунды снизу доносился глухой и тяжкий звук, похожий на взрыв. «Он походил вот на такой же, как этот»,— мелькнуло у Семена, но в следующее мгновение в шлемофоне кто-то тяжко задышал, захрипел: «Кузьмич... Кузьмич...», а танк стал наполняться едким дымом.

— Горим! Спокойно, товарищи... Командира убило. Слушай мою команду...

Это, задыхаясь, проговорил Алифанов, но команды никакой не последовало, а может, Семен ее просто не расслышал. Со скрежетом откинулась крышка люка, и тотчас по броне начали хлестать автоматные очереди. Дым в танке становился гуще, Семена давило удушье, и он будто чувствовал, как накаляется броня. «Остались или нет у Алифанова еще снаряды? — подумал Семен тревожно.— Ведь рванет... Кажется, не осталось... И горючего нет».

Эта мысль почему-то успокоила, будто немецкие автоматчики, поливающие огнем неподвижный горящий танк, никакой опасности уже не представляли, как и сам пожар. Ныло только у Семена сердце, тупо стучало в мозгу: «Вот и Дедюхина... Вот и Дедюхина...»

По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова:

— Савельев! Водитель... Выходи!

— Семка, ты живой аль нет? Семка-а!

Как он вывалился из люка и оказался на земле, у полузасыпанной траншеи, Семен уже не помнил. Он очнулся от раздирающей боли в легких, открыл глаза и увидел склонившегося над ним дядю Ивана.

— Ну-ну?! — кричал тот, грязный, с разорванной на плече гимнастеркой, которая висела черными, в засохшей крови, клочьями, и страшно сверкал глазами.

— Воздух... Голова от него кружится,— проговорил Семен с жалкой и виноватой улыбкой.

Возле самого лица Семена лежали ноги Алифанова, они шевелились, упирались в землю носками заляпанных артиллерийской смазкой сапог. Командир орудия бил из ручного пулемета куда-то в дымную мглу, стелившуюся низко по земле, вдоль невысоких кустарников. Семен увидел в этой мгле неясные фигуры, которые то возникали, то исчезали, и понял — это приближаются перебежками немцы. «Вот и Дедюхина... Вахромеева... А теперь и нас всех...» — пронеслось у него в мозгу и словно что-то окончательно продуло там. Он резко перевернулся со спины на живот, обнаружив, что в руках у него автомат. Вываливаясь из танка, он, видимо, машинально схватил оружие. Когда в дыму замаячили две вражеские фигуры в касках, Семен полоснул по ним длинной очередью. Фигуры исчезли. Немцы то ли были убиты, то ли просто прижались к земле — понять было нельзя.

— Бей прицельно. Поставь на одиночные,— сказал Иван, и Семен поразился его спокойному голосу и этому хотя и практичному — ведь у Семена был всего один диск,— но уже, наверное, бесполезному совету.

Сам Иван, у которого в руках был тоже автомат, не стрелял. Он лежал, вжимаясь в землю, уткнув в травяную кочку заросший подбородок, смотрел туда, где струился клочковатый дым. Автомат он держал в левой руке за ствол, а в правой, вытянутой вперед, у него была граната лимонка, и он чуть подбрасывал ее, перекатывал на ладони, как горячую картофелину.

— Ну что ж... Семка,— тихо проговорил он вдруг, не оборачиваясь, все так же напряженно глядя вперед.— Всяко я думал в жизни своей помереть, а так хорошо не думал. Обойдут они сейчас нас...

Эти слова принесли Семену еще большее облегчение. То невысказанное и больное, что, казалось Семену, Иван носил в себе, всегда рождало неприятную мысль — дядя его, кажется, тяготится войной. «Не ошибетесь в нем»,— говорил он, Семен, Дедюхину в Челябинске, рекомендуя взять в свой экипаж, да, видно, поспешно сказал... Дело свое солдатское он делал всегда, правда, хорошо, ни в какой обстановке не терялся. Дедюхин часто его ставил даже в пример, но иногда в сердцах называл «молчаливым пнем». Иван действительно говорил только о самом необходимом, когда без слов нельзя уже было обойтись, старался по возможности уединиться. Семен часто натыкался на него, сидящего где-нибудь в одиночестве, погруженного в какие-то мрачные думы. Ну, война, конечно, не сладкая ягода, тут и помрачнеешь порой, и затяготишься, но у дяди Ивана вроде что-то надломилось внутри, и он все время будто боялся быть убитым. И опять же — смерти не боится и не остерегается только дурак, но вот дядя какой-то... И по малодушию в тугой случай можно погибнуть, стоит в такой момент окончательно сломиться внутри. А дядя, казалось Семену, к этому и идет... Эта мысль была неприятной, она оскорбляла что-то в нем самом, но она родилась и жила в мозгу. Но вот такой случай и настал, а в поведении дяди Ивана нет и намека на то, что он сломался и вот боится смерти, и слова, и голос, усталый и хриплый, будто приоткрыли Семену в дяде Иване человека нового, доселе ему незнакомого, неизвестного.

— Мы не померли еще,— сказал Семен упрямо, стараясь возразить кому-то, но только теперь не дяде Ивану.

— Ну, это живо может произойти. Жалко мне только Агату, Сем... Ясного света тогда и вовсе не увидит...

Где-то вверху загудел противно, приближаясь, вражеский самолет, заглушив последние слова Ивана. Самолет брызгал вниз тяжелыми свинцовыми кап-

лями, они прошили землю в двух метрах от Семена, с ревом пронесся над головой, блеснув желтым, как у застарелой щуки, брюхом. Тотчас гуето ударили немецкие автоматчики.

— Вы, Савельевы! — Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом.— Шанс у нас, ежели он есть, один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка... Попытаемся!

Их КВ горел не очень сильно, но чадил густо, темная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалеку перелесок. Иван и Семен поняли, о чем говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы... Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был действительно только этот, если он еще и был. Это не только Алифанов, но теперь и Семен с Иваном сознавали отчетливо.

— Ну что ж, Семен...

— Счас они полезут! —опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемет с расстрелянным магазином. В ладони у него была зажата граната, такая же, как и у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет.— Давайте мы их уложим к земле — и дёру. Иначе...

— Командира-то с Вахромеевым оставлять им...

Это прокричал Иван.

— А что мы можем? Ты соображаешь?! Приготовиться!

Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и Вахромеева было невозможно. «Вот судьба...» — больно задолбило Семену в виски. Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны... Сгорели в пекле войны... Вот уж точно — в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля... Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищали от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далеким, таинственным звездам и мягкой, пахучей траве. И росли для них где-то девчонки, как вот Наташка для него, Семена... Настал момент, прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле — к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семен не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей... А у Вахромеева это случилось недавно, все произошло почти на глазах у Семена. И он, Семен, видел, как быстротечно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он видел и понимал, что это у них настоящее и человеческое, только вышло все стремительно, не как обыкновенно,— будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если пленку прокручивать в десять раз быстрее. Что ж, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли... И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле, близ русской деревушки Соборовки, о которой они и слыхом никогда не слышали, что тут ждет их такой конец...

Все эти мысли пронеслись в голове у Семена лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залегших в нескольких десятках метров немцев, которые беспрерывно поливали из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семен даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела еще ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И еще мелькнуло у Семена, что судьба у него пока счастливая, радуйся, Наташка... Только бы вот из этого пекла выбраться!

...Что ж, из этого пекла Семен и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Дав-ва-ай!» Он, Семен, и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залягут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят, и этих мгновений будет достаточно, чтобы всем троим юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от ды-

ма, и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый радостно подумает: «Неужели выбрались?!» — Алифанов вдруг застонет както негромко, радостно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий березовый стволик и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую березку, так и не выпустив ее из коченеющих пальцев, так и умрет, будто в обнимку с ней... Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувственное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожженный, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда... от пули в затылок»,— и Семен еще раз подумает, ощущая радостный, облегченный холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что, хотя и ни одна пуля его не заденет и в дальнейшем, судьба у него сложится так, что он не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву, и погибшему от шальной пули в затылок Алифанову... Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет... Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой все небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головою о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой — граната...

...Немцы поднялись кучками все враз. Алифанов повернул к Семену перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:

— Да-ва-ай!

* * *

Анфиса Инютина всю ночь не спала, одиноко ворочаясь на широкой деревянной кровати, слушала, как сопит в углу Колька, сын, разметавшийся на старом тощем матраце, брошенном прямо на крашеный пол, как кашляет за дощатой дверью эвакуированная из Одессы еврейка-учительница Берта Яковлевна, поставленная к ним на квартиру через несколько месяцев после ухода Кирьяна на фронт. Учительница была не очень старая, неопрятная, много курила, роняя пепел на бугристую грудь, затянутую обычно засаленным черным халатом. Вместе с ней жили две ее шестнадцатилетние дочери-двойняшки Майя и Лида, носатые, глазастые, обе такие же, в мать, крупногрудые, по характеру общительные, хохотуньи. Все втроем жили в крохотной Вериной комнатушке, в которой невозможно было повернуться, дочери спали на тесной кровати, а сама мать — на сундуке, подставляя к его краю два чемодана, чтобы с сундука не свисали ноги. Днем чемоданы ставились на сундук.

С вечера захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприютно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприютный шум дождя облегченно и беззвучно заплакала.

Дождь кончил барабанить по стеклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слезы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни — несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко; внутри, в самом сердце, шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щелочку, из которой пролилось бы сейчас на нее что-нибудь теплое, обогревающее радостью, но такой щелки не было. Все позади было мутно и омерзительно. Жили зачем-то в этой мутной пелене Федор Савельев, Кирьян, ее муж, Анна, жена Федора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намеку бежала, потеряв голову, к Федору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Федор мял и крутил ее, как тряпку, ей было

хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее... и тем старательнее она ее будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмет во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. «Господи,— взывала она молчаливо, в исступленной благодарности к кому-то,— как еще на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю...» Хватило, наверное, потому, что Кирьян — Анфиса всегда это понимала — душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и, когда он остервенело хлестал ее, пьяный, где-нибудь в кустах или в темном сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь сочится у нее снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьет ее, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьет, тем сильнее ее жалость к нему. Однажды, еще когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в ее крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтеках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживая лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:

— Не надо, Кирьян...

— Что не надо?! —вскричал он яростно, снова вспыхивая небывалым еще гневом. Но тут же вскинутая голова его будто стала тяжко наливаться свинцом, худенькая шея с туго натянутыми жилами не могла удержать ее, наклонилась опять вниз. Он знал, он всегда знал, какое чувство живет в ее душе! Она тогда впервые поняла это, упала, истерзанная, перед ним на колени, склонила разлохмаченную голову.

— Бей еще! До смерти забей меня, паскудину!

Он запустил в ее космы пятерню, зажал в кулак затрещавшие волосы, выдохнул умоляюще:

— Анфиска! Сволочь... Все прощу — перестань с ним только. Отринь от души.

Он ждал, в глазах его было унижение. Даже заискивающее лилось что-то из глаз.

— Не могу,— сказала она тихо, обессиленно, будто прощаясь с жизнью.

Он застонал, отшвырнул ее в сторону. Она упала в траву, приминая мелкий кустарник. И долго чувствовала, как больно ноет шея...

Теперь ныла вся душа, все тело. Почему, почему она тогда не отринула Федора из сердца, как вот теперь? Любила? Может, это и любовь была, да только не человеческая. Звериное у нее было что-то к нему, скотское. А он пользовался, он не жалел ее. Ни ее, ни Анну, жену свою. Он вообще баб не жалеет, не люди они для него... Не жалеет он баб!

Эта мысль вдруг поразила чем-то Анфису, она затаила даже дыхание. Вот ведь! — мелькнуло у нее. Федор никогда не бил ее, пальцем не тронул. А не жалел никогда! Кирьян исхлестывал, избивал ее несчетно раз до потери сознания. А жалел, всегда жалел! В этом — разница, большая разница... Так кто же человек-то, кто человечнее — Федор или Кирьян?!

Анфиса задышала тяжело и быстро. Ей показалось, что она сделала какое-то важное открытие, без которого никогда бы не узнать и не решить — как и зачем ей жить дальше. Собственно, как и зачем жить дальше, неведомо и теперь, но все скоро, в ближайшие же дни, станет ясно, теперь уж обязательно станет, думала она. Не было раньше никакой щелочки, откуда бы пролилось на нее тепло, теперь появилась или появится... Только Кирьян перестал писать. Господи, что с ним приключилось-то? Писал он не часто, но раз в месяц-полтора приходило письмо. Сейчас нету ничего уже пятый месяц! Может, затерялось где по почтам. Обыкновенное дело — провалилось куда за стол, за ящик какой, в глухое место... Оно там лежит, а она ждет. Похоронной же нет,— значит, живой...

Стало светать, засинело окошко, а в комнате стояла прежняя густая темнота.

Опять пошел дождь, застучал торопливо в стекла, громыхнул где-то далеко гром, а потом уже почему-то сверкнула молния, осветив голые бледно-серые стены и потолок. Анфиса тут же и поняла, что это донесся гром не от этой вот, а от другой молнии, и стала ждать, когда снова загремит. Но ничего не загремело, только хлестанул сильный ливень, по тесовой, заплесневелой разноцветными лепешками грибков крыше кто-то грузный заплясал босиком, прогибая полусгнившие доски.

Анфиса лежала и думала теперь, что ветер, наверное, за целый день не разнесет сегодня тучи, они наглухо закупорят над Шантарой все небо, нигде не прольется на землю ни один солнечный лучик, солнце до самой следующей ночи будет ходить бесполезно где-то там, высоко над тучами, весь большой июльский день будет сумеречным, чем-то похожим на ее жизнь, которую сломал и перековеркал Федор, теперь Анфиса это понимала отчетливо. Жила она когда-то, давно-давно, как колокольчик под дугой, пока на дороге не появился этот Федька проклятый с проклятыми своими усиками, которые снились ей по ночам. «Прям страшилище усатое»,— сказала она ему тогда. Когда это было-то? Не то в шестнадцатом году, не то в семнадцатом... Или чуть попозже? Господи, как давно все это было, с каких пор закрылось от нее солнышко-то тучами! С того дня, когда он, проклятый, по-звериному смял ее, распластал на траве. «Не надо, Федор... Пожалей! Ну, пожалей, рано мне еще...» — пропищала она бессильно и беспомощно. Не пожалел...

Тихие, обидчивые слезы заструились по щекам, прожигая их глубоко, будто насквозь. «Убило бы его, паразита, там, на войне, пулей! Чтоб знал! — подумала она, безжалостно замотала в темноте головой по подушке, беззвучно и яростно крича: — Чтоб знал, чтоб знал!»

Опомнилась она оттого, что бешено и больно заколотилось под грудью сердце: «Что говорю-то, чего это я желаю ему?!»

Из комнаты, где жила эвакуированная учительница с дочерьми, донесся опять кашель, скрип сундука и шлепанье босых ног. Потом из дверных щелок брызнули струйки света, дверь распахнулась, на пороге стояла Берта Яковлевна, растрепанная, с папиросой.

— Что с вами, Анфиса? — спросила она.— Вы мучительно стонали.

Анфиса с удивлением обнаружила, что не лежит, а сидит на кровати, свесив голые ноги на пол.

— Ничего. Муж мне давно не пишет, Кирьян...

— Напишет еще. А мой уже никогда не пришлет письма. Он погиб при героической защите Одессы.

Анфиса знала об этом, она не раз слышала от Берты Яковлевны о гибели ее мужа, жалела эту овдовевшую в самом начале войны женщину и ее дочерей. Берта Яковлевна преподавала в школе математику, учительницей, говорят, была неплохой, но сварливой. Колька рассказывал, что ее не любили, делали ей всякие пакости. И еще она была рассеянной, не обладала памятью на лица и события («После похоронки на папу у нее совсем память исчезла»,— говорили ее дочери), и этим широко и беззастенчиво пользовался Колька. Берта Яковлевна в десятом классе, где учился Николай, была классной руководительницей. Колька систематически выкрадывал у нее классный журнал и проставлял себе и своим товарищам отметки. Анфиса это знала, сердито ругала сына, но тот мотал только крючковатым носом и оправдывался:

— Да что я, мам, ставлю-то? Не пятерки же...

— Оболтус ты. Вместо того, чтоб учить... А как она поймает тебя на этом?

— Память у нее дырявая,— усмехался Колька.

Через полчаса Анфиса и Берта Яковлевна чистили картошку. Как-то так получилось, что с самого дня подселения эвакуированных, которых привел на квартиру сам председатель райисполкома Хохлов со словами: «Вот, приютите жильцов... Не обижайте», они все стали жить одной семьей.

Берта Яковлевна в общий котел отдавала свою зарплату, потом сама Анфиса устроилась на работу — уборщицей в районную библиотеку. И хотя хлебные карточки отоваривали, как говорила Берта Яковлевна, не всегда — Колька, Лидка и Майка по целым суткам толклись в тысячных магазинных очередях, подменяя друг друга, но зачастую хлеба им так и не доставалось,— хлеб в доме все же водился и жили все хоть и не очень сытно, но не впроголодь.

Нынче весной впятером — Верка лишь демонстративно не взяла в руки лопаты — дружно вскопали огород, посадили картошки, бобов, гороху, по краю плетня натыкали кукурузы. Лето было засушливое, каждый день почти они поливали из Громотушки огород. С утра до вечера над инютинской усадьбой стоял галдеж и звонкий смех Майки с Лидкой.

— Как хорошо... Скажите пожалуйста, как это удивительно! — говорила частенько Берта Яковлевна, раскрасневшись от работы.— Я никогда не занималась огородничеством. Но это же прекрасно!

— Не знаю, прекрасно или не прекрасно,— ответила ей однажды Анфиса.— Просто без огорода нам не прожить.

— Ну да, я понимаю. Теперь это я понимаю... Урожай картофеля, кажется, будет отменный...

— Вроде бы должен. Тогда перезимуем.

— Как это удачно — речка в огороде!

— Громотушка-то? Без нее бы гибель. Кормилица.

— Хорошо, что на земле есть речки.

Анфиса сейчас вдруг вспомнила этот разговор, эту наивную, как ей тогда показалось, фразу: «Хорошо, что на земле есть речки». А ведь в самом деле хорошо. И что солнце на небе, и что дождь, и что снег, зима, а потом весна... Только бы война вот скорей кончилась, Кирьян вернулся...

Анфиса неожиданно для самой себя всхлипнула.

— Вы уж напрасно так,— сказала учительница, откладывая нож и доставая папиросу.— Письмо вам еще будет, задержалось где-то.

— Не задержалось, не будет.— Анфиса враждебно сверкнула глазами, будто недовольная за эти участливые слова.— Я вот чувствую, что-то случилось с ним. Что-то случилось!

Берта Яковлевна чиркнула спичкой, прикурила, стала смотреть в окно, за которым в синей предутренней дождливой мгле проступали мокрые горбатые крыши соседних домов.

— Он, ваш муж Кирьян, был хороший человек?

— Хороший,— прошептала Анфиса, опуская голову. Но тут же медленно начала ее поднимать, в глазах ее была не враждебность уже, а в прах испепеляющая ненависть. Анфиса поднимала голову угрожающе, зловеще, в руках у нее был кухонный нож потемневшего железа. Сжимая этот нож, будто собираясь кинуться на учительницу, она начала подниматься с табурета. Берта Яковлевна обо всем догадалась, торопливо бросила папиросу в кучку картофельных очисток.

— Анфиса, простите! Я оговорилась.

— Т-ты?! — взвизгнула Анфиса.— Что ты его хоронишь?!

От ее вскрика проснулся Колька, быстро приподнялся, сел, спросонья заморгал глазами.

— Что кричишь-то? Случилось чего, мам?

Анфиса молча и тяжело дышала.

— Ничего не случилось,— сказала Берта Яковлевна.— А ты вставай, сегодня последний экзамен у тебя. И я буду спрашивать тебя строго. Бином Ньютона повторил?

— Да знаю я его,— зевнул Колька.

— Николай, я серьезно говорю! — рассердилась учительница.— Я обязательно задам тебе этот дополнительный вопрос.

— Сказал — знаю. На тройку, а знаю.

— Вот,— Берта Яковлевна повернулась к Анфисе,— на тройку...

Пока шел этот разговор, Анфиса немножко успокоилась, отошла. Она знала, почему идет у них эта перепалка о непонятном ей биноме неведомого Ньютона. Однажды Берте Яковлевне все-таки показалась подозрительной какая-то Колькина отметка в журнале, и учительница, удивленно разглядывая классный журнал, вышла из своей комнаты: «Николай, это когда ж я тебя по алгебре спрашивала?» — «Здрасте! — воскликнул сын нахально.— Когда я бином Ньютона-то пол-урока вам шпарил?» — «Ну-ка, бери ручку и бумагу».— «Еще чего? На уроке — пожалуйста, переспросите. Я вам в два мига его выведу...»

И Колька быстренько, торопливее, чем положено, скрылся за дверьми.

В тот вечер он долго готовил уроки, чуть не до утра шуршал страницами

учебников, и Анфиса догадалась, что этот самый бином он не знает, а сейчас вот учит. «Паразит такой, мошенник!» — думала она тогда о сыне с раздражением.

— На тройку, видите ли, он знает,— повторила учительница.— И доволен. Безобразие! А способный парень. На фронт собираешься! Оценка тогда все-таки подозрительно появилась... А меня, Анфиса, простите, ради бога. Ну, оговорилась я. Я не хотела. Жив, жив ваш муж.

— Ох, не знаю,— проговорила Анфиса обессиленно, глаза ее опять были полны слез.— На сердце тяжко, так тяжко...

* * *

Кирьян Инютин был жив, только он в это раннее июльское утро лежал на узкой больничной койке новосибирского госпиталя без обеих ног и, как много дней уже подряд, смотрел не мигая в белый квадратный потолок и тупо размышлял о том, что все военные врачи сволочи и скоты, что они не должны были дать ему после наркоза прийти в сознание, ибо отрезать человеку по самый пах обе ноги — это хуже, чем отрезать голову.

— Ну что теперь, сынок... Судьбу, ее думой не пересилить,— тихонько произнесла рядом старая нянечка Глафира Дементьевна.— Уточку вот, сыночек...

— Пошла ты, старая телега! — Кирьян схватился обеими руками за спинку кровати над головой, подтянул свое обрубленное тело повыше на подушку, лицо его покрылось от бешенства испариной.— Уметайся!

Так происходило каждое утро. Всякий раз, когда Глафира Дементьевна предлагала ему утку, Кирьян, оскорбленный чем-то, кричал на нее в бешенстве, не выбирая слов, и всякий раз старая нянечка, тяжко вздохнув, сгибалась с трудом, ставила сосуд возле койки так, чтобы он, опустив руку, мог его достать, и уходила.

Ушла она и на этот раз, шаркая тапочками. Кирьян глядел в ее сутулую, согнутую временем спину, глаза его, переполненные слезами, горели зло.

Когда она вышла из палаты, он, держась теперь за спинку койки одной рукой, поднял с пола ненавистную посудину, холодную, чисто вымытую.

Через некоторое время та же Глафира Дементьевна принесла ему поесть, поставила завтрак на тумбочку, унесла утку, потом вернулась в крохотную палатку, где лежал в одиночестве Инютин, села на выкрашенную белой краской табуретку.

— Ешь, сыночек.

— Ишь ты... нашла сына,— буркнул Кирьян.

— Так что ж... Мне седьмой десяток, тебе пятый. А первого я принесла в шестнадцать годков. Ребенком, почитай, родила. Тогда ведь рано нас, девок, под мужиков клали. Сын же мой старше тебя на четыре али пять годков был. В сорок первом он еще где-то под матушкой Москвой упал... Ешь, я не уйду, пока не поешь.

Когда Кирьяну ампутировали обе ноги, он, придя в себя, отказался принимать пищу и воду, решив в несколько дней уморить себя. В общую палату, где он лежал тогда, пришел начальник госпиталя, генерал-лейтенант медицинской службы, высокий, не старый еще, худощавый мужчина в очках.

— Ты что это устраиваешь? — спросил он строго.— Мы тебя силой кормить будем. Через задний проход.

— Через задний?! — вскипел Кирьян.— Т-ты, глиста в очках... Я тебе самому загоню в этот проход... ножку вот от стула.

Начальник госпиталя побагровел. Но к нему шагнула Глафира Дементьевна, положила, как мать, обе руки на плечи, обтянутые белым халатом.

— Батюшка, Андрей Петрович... Не гневайся. Переведи-ка ты его в одиночную палатку. Тяжко ему тут. Я уж с ним договорюся...

Через час Кирьяна перевезли в одиночную палату. Следом вошла туда Глафира Дементьевна с кружкой молока и тарелочкой жидкой манной каши.

— Не стыдно, кобель такой? — сказала она ворчливо, ставя кружку и тарелку на тумбочку.

— Пошла бы ты отселя! — окрысился на нее Кирьян. Старушка поглядела на него с укором, качнула головой. И Кирьян вдруг почувствовал, как что-то у него надломилось внутри, какой-то стержень, на котором держалась невиданная злость ко всему миру, из разлома, видно, хлынули слезы, затопили глаза. И он сказал первое, что пришло в голову: — Кобелем я никогда не был... Одна баба у меня и была в жизни.

— Я говорю — лаешься, как цепной кобель. Андрей-то Петрович, золотые руки, сколько вас таких из могилы повытащил. И тебя вот. А ты...

— Этого-то я и не прощу.

— Дурак ты, прости господи. Ешь давай. Молочко вот выпей.

И Кирьян послушно взял кружку. Когда выпил молоко, почувствовал нестерпимый голод, жадно съел и кашу.

— Оно не сладко жить обрубком-то. Да все ведь не в сырой земле.

— Не в сладости дело, бабка. А в смысле. А где теперь смысл?

— Ну, это штука непростая. Иной с руками, с ногами, со всем телесным прикладом жизнь проживет, а смысла того так и не уразумеет.

— Дала б еще, что ли, пожрать... Коли такая добрая да умная.

— Покудова хватит, сынок. А то кишки завернутся.

С тех пор прошло месяца два. Тот стержень в душе Кирьяна, на котором держалась вся злость, совсем так и не отломился, а дал, кажется, еще и молодые побеги. Палата была на третьем этаже, в единственное окошко виднелись верхушки деревьев, дощатые крыши каких-то домов. Иногда Кирьян раздумывал: как бы это подползти к окошку да вывалиться наружу, чтобы кончить все раз и навсегда... И однажды, в приступе дремучего отчаяния, он свалился с койки, пополз к окну. Подоконник был высоким, он достал до него руками, но подтянуться не мог, сил для этого не хватило. В бессильной ярости Кирьян заколотился лбом об стену.

Там, возле подоконника, и застала его Глафира Дементьевна, всплеснула руками, обо всем сразу догадавшись. Она никого не стала звать на помощь, сама потащила его от окна, с грехом пополам заволокла на койку, села, обессиленная, на табуретку и по-старушечьи заплакала, время от времени поглаживая старой ладонью по его спутанным мокрым волосам. Она не ругалась, ничего не говорила, только плакала.

— Ну и ладно... Ну и ладно,— выдавил он сквозь зубы тяжко и мучительно.— А теперь уйди.

После этого Кирьян Инютин все так же зло кричал на старую женщину, но зло и ненависть были только в голосе. В душе он чувствовал к ней, единственному пока человеку на земле, признательность и благодарность. И она знала это, на его злые слова не обижалась.

...Летнее утро отгорело, незаметно перешло в долгий день, обещавший быть жарким и погожим. Поглядывая на молчаливо сидящую старуху, на плясавшие по белой стене солнечные блики, пробивавшиеся сквозь густые верхушки деревьев за окном, Кирьян съел пшенную кашу с тушенкой, стал пить крепкий чай с сахаром. Чай Глафира Дементьевна заваривала ему «свой», неизвестно где добывая в это трудное время заварку. И это всегда вызывало у Кирьяна обостренное чувство благодарности. Не ее постоянный уход и забота о нем, а именно чай, крепкий и душистый, рождал в его душе теплоту к этой старухе.

Солнечные блики на белой стене все играли, они всегда напоминали ему что-то давнее и хорошее, но что — понять он никак не мог, хотя временами думал об этом напряженно и мучительно.

Выпив чай, он со стуком поставил стакан на тумбочку, и Глафира Дементьевна очнулась от каких-то своих дум.

— Ну вот и слава богу... Господь напитал — никто не видал. А я вот все думаю, думаю: как бы радешенька-рада была Надюшка, сына моего жена, кабы он хоть какой вернулся... Хоть без рук и без ног вместе. Только бы живой, она б его, как ляльку, на руках носила. У тебя ж руки целые, а ты, окаянный, еще к подоконнику пополоз.— Старуха кивнула на окно.— Не совестно перед богом-то?

— В бога я не верю, Глафира Дементьевна,— сказал Кирьян тихо.— А моя Анфиска не такая, как жена твоего сына. Носить на руках не будет.

Старуха взмахнула высыпавшимися, редкими ресницами, пугливо почему-то глянула на Кирьяна, разгладила халат на острых коленках.

— Плохо жили, что ль?

— Хуже некуда... Я же ее любил без памяти. А она всю жизнь с другим путалась. Как увидит его, запах один его по-звериному учует, так и бежит, как сучка к кобелю.

Кирьян проговорил это, побледнел, застонал сквозь плотно сжатые зубы.

— А дети у тебя есть, нет?

Инютин тяжело дышал, смотрел на стенку, по которой, как резиновые, все прыгали, все подрагивали желтые солнечные зайчики, то сливаясь друг с другом, то вспыхивая лучистыми звездами, разбегаясь в стороны. И воскликнул вдруг, пугая Глафиру Дементьевну:

— Под водой! Это когда если нырнуть и поглядеть вверх!

— Ты чего? Чего?!

Кирьян ей не сразу ответил, дышал по-прежнему часто и шумно. Потом дыхание его стало успокаиваться.

— Речка у нас Громотуха недалеко от деревни. Нырнешь, а над тобой вот такие зайцы лопаются! — Он ткнул пальцем в стену.— И никогда их не поймать...

— Да что их ловить-то?

— Анфиска это любила.

— Кого? Чего?

— Играться... когда мы купались с ней. «Давай, говорит, зайцев из-под воды ловить». Нырнет — и, как рыба, вверх. Руки вытянет. Вынырнет, расхохочется, солнечный заяц на лице у нее дрожит. «Упрыгнул»,— говорит... А я ей: «Не-ет, поймала!» Она не может понять, об чем я...

Все это Кирьян говорил, закрыв глаза, и, кажется, далекие картины были перед ним как наяву.

Вдруг он разомкнул набрякшие, тяжелые веки, грудь опять начала с хрипом вздыматься.

— А взял я ее порченой. От Федьки Савельева была брюхатой... Парази-ит!

И Кирьян изо всей силы ударил затылком раз, потом другой об железную спинку больничной койки, будто хотел расколоть голову.

— Господь с тобой! — вскочила старуха.— Кирюшенька! Кирьян...

Она затормошила его, откинула одеяло, потащила тяжелое тело вниз, чтобы голова не доставала до коечной железной спинки.

Потом он долго лежал навзничь, запрокинув на подушке исхудалое, крючконосое лицо. Он был по-больничному коротко острижен, залысины по бокам выпуклого лба как-то мертвенно желтели, из закрытых глаз по вислым щекам, заросшим крепким волосом, сочились слезы.

— Ты не майся, сердешный,— проговорила Глафира Дементьевна.— Что ж теперь... Какой прок изводить себя?

— Пошла бы ты! — прохрипел Кирьян.— Что ты в душу ко мне лезешь?

Старуха, будто не слыша этих слов, снова села на табурет. Кирьян опять лежал с закрытыми глазами, молчал. Молчала и Глафира Дементьевна.

— Анфиска-то тогда мёртвым ребенком разродилась, который от Федьки был... Но я б все равно ее не бросил, коли б и живой родился,— проговорил Кирьян тихо и просто. Он открыл глаза, чуть повернул голову вбок, стал глядеть на пляшущие солнечные пятна.

— А может... Слышь, сынок? Я старая, всякого навидалась за долгую-то жизнь. Ну и что ж, кумекаю дряхлым своим умом, каково тебе было с такой женой,— старуха произнесла это как-то неуверенно, она говорила и будто одновременно раздумывала, стоит ли говорить дальше.— А вот почто-то мне чудится — не умом покуда она жила... Не умом.

Кирьян оторвал глаза от стены, медленно повернул голову к старухе, в измученных глазах его стоял вопрос.

— Я к тому, сынок... Мы в ранешное время не в городу жили, в Нижней Ельцовке, деревня такая под городом и ныне есть. Колодезь у нас был. Черпали да черпали из него, ко вкусу воды привыкли и не замечали его... А потом иссяк отчего-то колодезь. Стали мы воду в речушке брать. И вот тогда-то и поняли: господи боже ж ты мой, какая сладкая вода в колодце-то была! К тому я говорю, сынок,— написал бы ты Анфисе своей...

Кирьян изменился в лице, внутри у него будто застонало что, какую-то жилу будто стали вытягивать из него. Он поднял руки, опять схватился за спинку койки над головой, подтащил повыше, на измятую подушку, свое тело. Но ничего не сказал, так и замер, сжимая ладонями железную спинку.

— А что ж ты думаешь? А что ж ты думаешь?! — вгорячах воскликнула ста-

руха, будто ей кто-то возражал посторонний, а не Кирьян.— Душа в тебе славная, Кирюшенька, чистая... Оно, бывает, до поры до времени человек и не видит, какое ж небушко-то над головой раздольное да красивое... Война-то сколь горюшка людского принесла! Всему она другую цену определила... Надька вот моя тоже не мед-сахар была. Она ладная в девках ходила, а в бабенках еще глаже стала. Не укрою — млела она, когда мужики глаза к ней прилепляли. Да и кому это в сердце-то не кольнет, бабьё мы, ох бабье... Ну, и крутила Надька, бывало, хвостом. Бы-ва-ало! А сейчас локти грызет. «Дура-то я, говорит, была несусветная какая».

— Сказал уж я тебе... не такая Анфиска.

— Да я те на то и отвечаю — и Надька была не такая! — упрямо возразила старуха.— Ну чо ты дальше-то будешь? Ну, в инвалидный дом тебя определят. Андрей Петрович, слышала я, говорил... «Коли, грит, семья от него откажется, не бросим на произвол судьбы». Так что в дом-то инвалидов всегда ведь не поздно. Но спробуй, напиши, вызови... Тогда уж видно все будет. Дети ж у тебя кроме ее.

Кирьян громко глотнул слюну, пальцы, сжимавшие железные прутья койки, побелели на сгибах.

— Дети... Верка, дочь, та сволочью выросла. Побрезгует и притронуться ко мне. Колька вроде бы с душой... ничего. Да тоже скоро на войну уйдет, скоро его год забреют. И Анфиска забрезгует... Не ответит даже, может. Тогда я не переживу... Я ее, стерву, все ж таки люблю. Не-ет...

Голос Кирьяна хрипел, прерывался, слова он выталкивал тяжело, худая грудь тряслась, будто внутри у него, под ребрами, ворочалось живое что-то.

— Не-ет! — выкрикнул он, мотая по подушке головой.— Не могу я... Н-не могу! Ей ведь не мужик, ей жеребец надобен. А с меня какое теперь... дело?

Кирьян заплакал навзрыд, как-то по-детски горько и обиженно. Добрая Глафира Дементьевна сидела на табуретке, глядела на него скорбно, жалеюще и тоже вдруг всхлипнула, потянула к глазам полу больничного халата.

Потом оба они затихли, замерли. Кирьян, лежа на спине, глядел и глядел в потолок не мигая, Глафира Дементьевна сидела торчком, какая-то теперь строгая, холодная.

На госпитальном дворе загудела машина, проехала под самым окном, потом проехала еще одна и еще... Раздались голоса, и слышно было, как по дорожке, усыпанной не то дресвой, не то шлаком, торопливо пробежала толпа людей.

Глафира Дементьевна подошла к окошку, глянула вниз.

— Раненых привезли. Говорили, седни целый поезд должен с ними прийти. Идти мне надо.

— Сядь, обойдутся,— сказал Кирьян спокойно теперь, негромко.— Не могу я, Глафира Дементьевна, Анфисе написать... Я от нее на фронт когда побежал, то заявил: ежели, мол, не убьют меня, домой я к тебе все одно не вернусь. С тем и сбежал...

— Как так — сбежал? — спросила старушка озадаченно.

— А так: смех и грех... Как ребятенок малый... Я на броне был, меня не брали. Так я самовольно... Ночью вышел из дому, спустился к Громотухе, отвязал какую-то лодку да поплыл вниз. На рассвете завел ее в камыши, день пролежал там... как беглый какой с тюрьмы, что ли... Ночью опять поплыл. Громотуха-то в Иртыш впадает, а там, я знал, до Семипалатного недалече... В общем, добрался я до города Семипалатинска, на вокзале очутился. А тама как раз новобранцев провожают. Перрон там небольшой, все кипит, плач, вой, пьяные песни. Под суматоху я залез с другими вместе в теплушку, да и поехал... В Алма-Ате только обнаружили, что я какой-то чужой... «Да что же ты за чудо-юдо такое? — спросил меня в военной комендатуре белобрысый полковник с костылем.— Хохотать над тобой вроде бы неудобно. А что делать, не знаю. Впервые, грит, такой случай, что взрослый самовольно на фронт побёг. Дети — это бывает... Посадить тебя я вынужден до выяснения. Может, ты бандит какой, преступник, от правосудия скрываешься...» Я говорю: «Что ж садить-то? Позвоните в село Шантару, в МТС, или телеграмму отбейте. Они вам сообщат, что я никакой не преступник...» Ну, в общем, что говорить... Покрутили они меня, повертели... Сбежал я осенью сорок первого, а под новый год меня уже ранило. Город Ливны мы тогда брали. И взяли. На окраине этого худенького городишка меня и задело в мякоть ноги...

— Господи! — Глафира Дементьевна перекрестилась.

— Рана была пустяковая, в медсанбате малость подержали да опять в бой... Ну, потом больше года судьба миловала. Две медали получил. А нынче в апреле под Новороссийском... не то числа седьмого, не то восьмого... Только и помню — ка-ак жахнет рядом. Мы в наступление шли, мало-мало снаряд не в меня прямо угодил... Очнулся я аж в городе Куйбышеве. Молоденькая такая врачиха возле меня сидит в белой шапочке, а из-под шапочки волосы стекают струями. Откуда ж ты, думаю, светлая да чистая такая, явилась? Из какого мира? А она: «Ну вот, поморгай, поморгай... Жить теперь будем, Кирьян Демьяныч...»

Инютин умолк, захлопал короткими белесыми ресницами, потом быстро и часто задышал, повернул голову вбок. И лишь через минуту, по-прежнему глядя куда-то в стену, захрипел:

— Жить... Добрая была она, врачиха, все улыбалась. Только ноги мои когда начнет оглядывать, закусит губы, глаза потускнеют... Сперва я думал — брезгует или стесняется. Да и самому мне стыдно было — во всем виде я перед ней. А она это, выходит, раньше меня понимала, что отходили мои ноги. Выше коленок кости все были раздроблены...

Инютин, утомившись, видно, рассказом, опять замолчал, выпуклый лоб его покрылся испариной. Он пошевелил головой, обтер лоб бледной, узкой ладонью, глянул на Глафиру Дементьевну.

— Вот, значит, как... Што-то они там, врачи, колдовали над моими ногами — то в гипс их замазывали, то... Потом вдруг в поезд погрузили да сюда вот...

— Ну да, ну да,— закивала старуха.— У нас тут, грят, лучше всех кости сращивают. Андрей Петрович-то умелец...

— Так что же мне не срастили? — застонал Инютин, рывком приподнявшись. Глаза его сверкнули яростно, озлобленно, и одновременно была в них беспомощная жалоба.— Что ж он, умелец?

— Да ведь и он не господь бог. Кабы он мог, он бы тебе свои переставил! Такая душа у него...

Кирьян упал на подушку, закрыл глаза ладонью, чтобы отгородиться от всего — от солнечного света, от белого потолка, от этой старухи. Долго лежал так, потом заговорил, не снимая ладони с лица:

— Это надо же... Отец-то у меня тоже был увечный, одноногий, на деревяшке прыгал. На японской войне ему ногу повредило. И надо же, говорю, судьба, что ли, над нами, Инютиными? Отцу тоже тут, в новониколаевском лазарете, ногу тогда отпилили. Только ему одну, а мне обои... Ну, ты уйди... Уйди.

Последние слова он прошептал еле слышно, обессиленный.

* * *

Все утро пятнадцатого июля начальник прифронтовой опергруппы НКВД Яков Николаевич Алейников провел в краткосрочной спецшколе разведчиков-подрывников, изучая личные дела курсантов, их успеваемость. Он, сидя за скрипучим столом, перелистывал тощие папочки, время от времени хмурился, покашливал и потирал ладонью шрам на щеке. В комнатушке начальника спецшколы капитана Валентика, отгороженной от казармы, в которой жили курсанты, кирпичной стеной с обвалившейся штукатуркой, было тихо, светло, в низенькое оконце постукивали ветки давно отцветшей сирени. За сиренью стояла машина Алейникова, в маскировочных пятнах эмка. Слышался временами раскатистый хохот его шофера Гриши Еременко.

— Эй, вы... потише там! — крикнул Алейников, открыв окно. Но тут же он окно закрыл, опять взялся за папки.— Вот что, капитан,— сказал Алейников, задумавшись.— Через неделю мы должны этих ребят выпустить.

— Еще по программе месяц,— осторожно проговорил капитан, человек хладнокровный, по общему мнению бесстрашный, не раз ходивший в глубокий тыл врага, выполнявший там самые дерзкие диверсии. Но перед Алейниковым он почему-то всегда робел и, смотря ему в лицо, часто хлопал, как девушка, ресницами, а потом и вообще опускал вниз свои голубые глаза.

— Какой там месяц. Наступление началось, какой там месяц...— проговорил Алейников все так же задумчиво.— На эту неделю никаких строевых занятий.

Ориентация ночью на местности, изготовление и устройство взрывных систем... Все время — этому. Понятно?

— Так точно, товарищ майор.

— Ну вот... Учи, учи, сам с кем-то из них в тыл к немцам пойдешь.

— Вот за это спасибо! — искренне обрадовался капитан.— А то у меня, пока я тут, кровь в жилах застоялась, загустела. Когда готовиться к передаче дел?

Валентику было около пятидесяти. Рослый, с широкими плечами, одно из которых было почему-то ниже другого, он прошелся перед столом бесшумно, как кошка, сел на стул.

— Ишь ты, нетерпеливый какой... Будет еще время разогреть кровь. А это что такое?

Разговаривая, Алейников давно косился на дивизионную газету, лежавшую на подоконнике. Край газеты свешивался, и как раз на сгибе жирно чернел заголовок «Подвиг сибиряков-гвардейцев». Но не заголовок, а два портрета, напечатанных под ним, все время цепляли внимание Алейникова.

Проговорив так, Яков не вставая протянул руку, взял газету. В заметке коротко, без всяких эмоций, излагалась вся недавняя эпопея танкового экипажа Дедюхина, уничтожившего одиннадцать вражеских машин. Заканчивалось это невыразительное повествование словами: «Геройский экипаж представлен к высоким наградам, а командир танка старший лейтенант Дедюхин к званию Героя Советского Союза (посмертно). На снимках: заряжающий рядовой И. Савельев (слева) и его племянник, механик-водитель сержант С. Савельев».

Читая заметку, Алейников двигал желваками, они перекатывались по исхудавшим щекам крупными стальными горошинами, лохматые брови, сильно поредевшие за последний год-полтора, то приподнимались, то раздраженно хмурились.

— Не Лев Толстой писал, конечно,— чуть усмехнулся начальник спецшколы, по-своему расценив выражение лица Алейникова,— но мужики действительно герои.

— Не в этом дело,— сказал Алейников.— Из какой они части, интересно?

— Газета стрелковой дивизии полковника Велиханова. А этой дивизии, я слышал, были какие-то танковые подразделения приданы. Все проще простого в редакции газеты узнать.

— А где редакция?

— В штаб дивизии позвонить. Разрешите?

— Не надо...

Алейников сложил вчетверо газету, сунул в карман и встал.

— Значит, выпуск через неделю. Экзамены приеду лично принимать. И новый состав курсантов будем набирать. Все соответствующие распоряжения получишь, как положено.

— Слушаюсь.

Алейников встал и начал ходить из угла в угол комнатушки, потом снял с гвоздя фуражку, начал протирать зачем-то ее изнутри носовым платком.

— Месяц еще, говоришь, по программе? Да у нас же людей не осталось. Засылаем в тыл десятками — возвращаются единицы. Гибнут и гибнут. Почему?

— Почему? — Валентик усмехнулся, блеснул голубым пламенем глаз и сел за свой стол, где только что сидел Алейников.— Учим их плохо. Вот опять срок обучения на три недели сократили.

— Да, может, плохо. Вот я все хочу спросить тебя... что это фамилия у тебя такая? Как детское имя.

Капитан приподнял обвисшее левое плечо и опустил, а правое у него осталось неподвижным.

— Батька с маткой наделили такой фамилией. И дед был Валентик, и прадед... Под Коростенем всю жизнь прожили.

— Я знаю, что под Коростенем,— сказал Алейников мягко, спрятал носовой платок в карман, надел фуражку, плотно надвинув ее на лоб. Потом он пальцы обеих рук сунул за ремень, оправил гимнастерку и вдруг мгновенно выхватил пистолет из кобуры, оскалился по-звериному, прохрипел:

— Встать, с-сука!

Капитан Валентик от неожиданности всем тяжелым телом качнулся вперед, будто кто саданул его в спину бревном. Ладони его упали, как отрубленные, на стол, длинные, костлявые пальцы сжались, царапнув крышку. Глаза полыхнули, стали не голубыми, а какими-то ядовито-серыми, верхняя губа приподнялась, оголяя ровные, прямые зубы, и мелко, по-собачьему, задрожала.

Но все это продолжалось секунду-другую, потом глаза вновь стали светло-голубыми, губы растянулись в жалкую и недоуменную улыбку.

— Вы, товарищ майор, в своем уме? Что за шуточки?

— Руки! — крикнул Яков, видя, что кулаки Валентика поползли по крышке стола к ремню, на котором висела такая же, как у Алейникова, кобура с пистолетом.— Руки вверх!

Начальник спецшколы еще помедлил, потом проговорил:

— Ничего не понимаю... Да вы что, Яков Николаевич?

— Поднимай руки. И не вздумай мне! Встать — лицом к стенке!

Капитан Валентик медленно поднял тяжелые руки, загремев опрокинутым стулом, поднялся. Алейников чуть кивнул головой, и капитан вышел из-за стола, неуклюже повернулся лицом к стенке. Алейников шагнул к нему, упер в лопатку пистолет.

— Малейшее движение — я стреляю...

Потом он вынул из его кобуры оружие и положил в свою, ощупал все карманы начальника спецшколы.

— Вон туда, в угол, иди и сядь на табуретку.

Обезоруженный капитан опустил руки, прошел, куда ему приказали. Алейников шумно и устало вздохнул, снял фуражку, бросил ее на стол. Нагнулся, поднял стул, уселся сбоку стола, не выпуская из рук пистолета.

— Ну?

— Что «ну»? — усмехнулся Валентик. Он сидел на табуретке, облокотившись о колени, низко опустив голову.— Вот вы и объясните... что все это значит. Какая муха вас укусила?

— Ладно,— сказал Алейников. Не спуская глаз с капитана, снова приоткрыл окна.— Королева! — И закрыл створки на ржавые шпингалеты.

— Сквозняка, что ль, боитесь? — проговорил Валентик, кисло усмехаясь.

Алейников не ответил. Последние дни он много мотался по всему фронту, лично уточняя места перехода в тыл к немцам диверсионных групп, проверяя, как обеспечена безопасность, жестоко простудился, двое суток у него держалась высокая температура. Но за эти двое суток он почти не прилег, на третьи в какой-то деревушке пропарился хорошенько в бане, выпил стакан спирта и несколько часов наконец поспал. Утром температуры уже не было, душил только кашель. Он глотал от кашля таблетки, это, видимо, помогало, хотя кашель совсем не прошел до сих пор.

Вошла Олька, робко и несмело вытянулась у двери. Голова ее была обвязана косынкой, из-под которой выбивались кое-где пучки коротеньких волос. От нее резко пахло больницей.

— Говори,— сказал Алейников.

— Я видела его прошлым летом в Лукашевке, в августе,— сказала девушка, кивнув в сторону Валентика.— Он вышел из фельдкомендатуры с тремя немцами.

— В августе как раз мы тебя, Валентик, посылали в тыл для диверсии.

— Он был в брезентовом дождевике с капюшоном, лица не видно... Я думаю: что это за тип такой с немцами кривоплечий, надо партизанам сообщить,— продолжала Олька ровным голосом.— Немцы и он о чем-то поговорили и пошли все вместе. Я потихоньку двинулась следом. У железнодорожного переезда на краю Лукашевки все остановились. Этот откинул капюшон, они все покурили, посмеялись. Опять долго о чем-то говорили. Этот по-немецки хорошо говорит. Немцы пошли обратно, а этот за переезд, в поле, пошагал.

— Мост за Лукашевкой ему мы поручили взорвать тогда,— усмехнулся Алейников.— И он его взорвал.— Алейников еще раз скривил губы.— Мы еще радовались: «Как все это ловко у тебя получилось, под самым носом у немцев сумел...» Правда, состав с немецкой военной техникой, который должен был пройти через минуту на Курск, почему-то задержали. Мы тогда посчитали это досадной случайностью. Состав прошел на другой день, когда мост починили.

— Ну, а партизанам я тогда так и не успела сообщить о нем. Когда немцы пошли обратно, мне некуда было деться. Я сделала вид, что только вышла из переулка. Немцы ничего не заподозрили, волосы мои начали щупать... домой повели. Ну, а дальше... выпал как-то он у меня из памяти, забыла... Да вы знаете...

— Знаю, Оля,— сказал Алейников.

— А вчера мы за медикаментами для госпиталя в Воробьевку ездили. В этой деревушке шофер воду стал в радиатор заливать. Я из колодца поднимаю ведро, гляжу, а он идет по улице. Капитан. Одно плечо, гляжу, ниже... И в памяти у меня всплыло. И решила вам сказать. Мало ли что, думаю...

— Ладно, Оля, иди,— сказал Алейников.— Лечись получше... Скажи там моему шоферу, чтоб заправился. По пути я тебя в госпиталь завезу.

Девушка вышла, в комнате установилось молчание. Валентик все так же сидел, не поднимая головы, будто все, что здесь говорилось, его не касалось.

Только когда стал затихать шум отъезжающего автомобиля, он чуть скосил глаза в окно.

— Как же так неосторожно ты, Валентик? С немцами среди бела дня по деревне?

— Вот именно,— спокойно сказал Валентик, брезгливо поморщившись.— Если бы я был тот, кого вы во мне подозреваете, я бы не пошел с немцами по деревне среди бела дня. Тем более имея такую примету — одно плечо ниже другого.

— Ты в самом деле немецкий язык знаешь?

— Слышите, в бога душу...— Валентик вдруг заматерился так яростно и смачно, что казалось, лопнут оконные стекла.— Да вы что, в самом-то деле?! Мало ли кривоплечих! Мало ли кто там, с теми немцами, мог быть!

— А почему ты этак не взорвался, когда Королева тут была? Боялся, что голос она узнает?

— Да потому, что... потому, что это черт знает что! В голове не укладывается! — Валентик встал.

— Сидеть! — Алейников приподнял пистолет.

— А-а, бросьте,— махнул рукой Валентик.— Какой-то глупой девчонке померещилось... Отправляйте, что ж, куда следует. Там разберутся.

Дальнейшее произошло в считанные мгновения. В голове Валентика, пока он сидел, опустив голову, и слушал рассказ Королевой, шла лихорадочная работа, он до последних долей секунды рассчитал все — и свои действия, и реакцию Алейникова, которая должна на эти действия последовать. Он понимал одновременно, что риск был смертельный, но выхода не было. Он надеялся лишь на какой-нибудь фантастический случай, который приходит-то, может, раз за всю жизнь, но приходит иногда на помощь...

Когда Алейников, как Валентик и ожидал, предупреждающе крикнул: «Сидеть!», он, устало взмахнув ладонью, начал медленно опускаться на табуретку. В эту секунду-другую, как он опять же правильно рассчитал, Алейников, видя, что Валентик покорно садится на прежнее место, чуть расслабится и приопустит руку с пистолетом. На самом же деле Валентик и не думал садиться. Будто бы опускаясь на табуретку, он напрягал сильные мышцы ног для страшного прыжка, до того напрягал, что они заныли. И, почти коснувшись задом табуретки, почувствовав, что ноги превратились в туго согнутые стальные пластины, он мгновенно разжал их, зеленой щукой нырнул вбок, головой проломил оконный переплет и вместе с осколками стекла тяжелым мешком вывалился наружу, на кусты сирени. Едва он метнулся к окну, Алейников выстрелил. Ухо и щеку обожгло, будто кипятком плеснули сбоку. «Алейников это попал или об стекло разрезал?» — промелькнуло у него в голове и пропало. Эти мысли были посторонними, не об этом ему надо думать. Понимая, что Алейников тоже ртом мух ловить не будет, он вскочил и метнулся за угол...

Фантастический случай, на который он надеялся, все же произошел. Едва Валентик завернул за угол, с противоположной стороны здания выкатился «виллис», принадлежавший спецшколе. Шофер, молоденький парнишка, увидев окровавленного начальника, резко затормозил и, одной рукой держась за баранку, другой приоткрыл дверцу, наполовину высунулся из машины.

— Товарищ капитан, что с вами?! — выкрикнул шофер, мальчишечьи его глаза от удивления были круглыми.

— Скорей... в санчасть! — первое, что пришло на ум, прокричал Валентик, подбегая. И в эту секунду взгляд шофера скользнул куда-то мимо, глаза шофера округлились еще более. Валентик безошибочно определил, что парень увидел выбежавшего из-за угла Алейникова. Машина еще катилась, замедляя ход.

— Сто-ой! — донесся хриплый возглас, воздух расколол выстрел.

Пуля просвистела где-то сбоку. Валентик был уже возле остановившейся машины, он схватил ничего не понимающего шофера за шиворот, рванул из машины, заскочил туда сам.

Алейников, стреляя на ходу, приближался. Мотор автомашины работал, парень-шофер стоял в дорожной пыли на коленях, крутил головой, глядя то на Алейникова, то на командира спецшколы. Валентик лихорадочно включил скорость, но на газ нажал плавно. «Виллис» тронулся и стремительно полетел вдоль затравеневшей деревенской улицы. Алейников беспорядочно стрелял вслед, пули свистели то сбоку, то сверху, одна попала куда-то в машину. «Только бы не в колесо... или не в спину мне!» — думал Валентик, сгорбившись над рулем, вздрагивая при каждом выстреле.

* * *

— Тз-зк-с,— зловещим голосом протянул старый полковник, встал из-за стола, раздраженно захлопнул металлический колпачок на чернильнице.— Что ты, Алейников, тотчас обо всем доложил управлению, это хорошо. Честно по крайней мере... Но что же за этого Валентика прикажешь с тобой делать? В трибунал? В штрафную роту? — Полковник усмехнулся. — Кстати, в зону действия вашей опергруппы как раз на днях и направлена одна из штрафных рот.

Алейников, опустив голову, молчал.

Начальник фронтового управления СМЕРШ, огрузневший немного, седоволосый, ходил взад-вперед мимо Алейникова, потом остановился перед ним.

— Как же это произошло, Яков Николаевич?

— Как? — Алейников вздохнул, потер шрам на щеке.— Я и стреляю прилично, с тридцати метров в копейку могу попасть. А тут словно черт за руку дергал.

— А я не о том, что ты упустил его! Это уж другой вопрос. Ты не разглядел матерого вражеского агента в своей группе!

Что было отвечать Алейникову? Да, не разглядел. Чекист с двадцатых годов, хорошие характеристики. Давно орудует в органах, и никто до сих пор не мог его разглядеть. Но так подошло, что отвечать теперь ему. А спросить могут очень строго.

Яков, неслышно вздохнув, произнес:

— Я готов нести ответственность, товарищ полковник.

— Ответственность...— Старый чекист недовольно пошевелил усами.— Сколько он наших людей погубил! Как за это ответить? В каком размере ответ должен быть?

Голос его был сух и по-прежнему зловещ, леденил Алейникову сердце.

Потом начальник управления долго молчал, отвернувшись. Наконец поднял голову, тем же недружелюбным голосом произнес:

— Вот я все хотел спросить — где это вам нарисовали... шрам этот?

— Это давно, товарищ полковник, в гражданскую. След от шашки царского полковника Зубова. Он был командиром карательного отряда там у нас, в Сибири. Много он нам тогда, нашему партизанскому отряду, хлопот принес. А потом мы накрыли его на одной таежной заимке...

— Ну? И, надеюсь, не упустили? — Полковник глядел на Алейникова, чуть вскинув подбородок.

— Нет... Его зарубил командир эскадрона из нашего отряда Федор Савельев.

— Кто?

— Савельев Федор Силантьевич,— повторил Алейников,— который служит сейчас в Шестокове у немцев...

— Да, да, помню, ты докладывал об этом Федоре Савельеве, своем земляке,— с усмешкой проговорил начальник управления. Но тут же усмешка исчезла, он нахмурился и, глядя куда-то мимо Алейникова, раздумчиво произнес: — Шестоково, Бергер, Лахновский...

— А сейчас могу доложить еще о двух Савельевых. О сыне и младшем брате этого Федора.

Полковник поднял на Алейникова вопросительный взгляд. Но вместо ответа Яков вытащил из планшета дивизионную газету, взятую с подоконника в спецшколе, протянул начальнику управления. Тот сначала надел очки, лежавшие до этого на столе, взял газету, поглядел на портреты и стал читать заметку, рассказывающую об эпопее танкового экипажа Дедюхина.

Пока он читал, Алейников пытался представить себе таинственную деревушку Шестоково, находящуюся в нескольких десятках километров юго-западнее Орла. В Орле находился центр немецкой разведки «Виддер», а в лесной деревушке Шестоково одно из многочисленных отделений «Виддера» — «Абвергруппа-101», начальником которой являлся некий капитан Бергер. «Абвергруппу» охраняла так называемая «Освободительная народная армия» под командованием штандартенфюрера, то есть полковника, Лахновского. В этой «армии», насчитывающей всего около двухсот человек, в штабном взводе и служил Федор Савельев.

Обо всем этом еще весной доложил некто Метальников, перевербованный агент Бергера. Попав в немецкий плен, бывший сержант Красной Армии Метальников после специальной обработки и обучения был под видом бежавшего из концлагеря внедрен Бергером в партизанский отряд Кондратия Баландина, действующего в Орловской области. Метальников немедленно рассказал, кто он такой на самом деле, Баландин с людьми Алейникова, часто бывавшими в отряде, переправил его через линию фронта в штаб прифронтовой оперативной группы, где тот и доложил о составе «Абвергруппы-101» и «Освободительной народной армии», в том числе о Савельеве и Лахновском.

— Не может быть! — не удивился даже, а почему-то ужаснулся Алейников.— Ну-ка, все приметы каждого! Подробно.

Приметы говорили, что это именно тот Лахновский Арнольд Михайлович, за которым Алейников гонялся по лесам после гражданской, и тот Савельев Федор Силантьевич...

А потом с помощью того же Метальникова были добыты их фотографии. «Как они там оказались? Как?» — раздумывал Алейников о Лахновском и о Федоре Савельеве.

Но этого он не знал до сих пор.

Прочитав до конца заметку, начальник управления молча вернул газету, встал из-за стола и подошел к окну.

— А отца этих Савельевых — Федора и Ивана — полковник Зубов повесил,— сказал Алейников.

— За что? — повернулся от окна начальник управления.

— Старик помог нашему партизанскому отряду укрыться в горах тогда. Показал путь в неприступную теснину.

— Вот оно как! — Полковник хотел снова сесть за стол, но не сел, а лишь снял и положил на него очки.— Ну-ка, расскажите мне подробнее о всех этих Савельевых. В высшей степени это интересно... И тем временем чайку попьем.

Он нажал кнопку за креслом. Тотчас в кабинет вошел тщательно отутюженный лейтенант, подстриженный еще по-мальчишечьи, вытянулся так, что казалось, порвет у себя внутри какую-нибудь жилу. Полковник попросил, чтобы им принесли два стакана чаю, и сел наконец за стол.

— Ну, что же вы молчите? Говорите.

Но о чем говорить? Как рассказать начальнику управления о сложной и запутанной истории семьи Савельевых, в которой и сам-то Алейников никогда не мог правильно разобраться? И чем дальше он молчал, тем больше терялся под взглядом полковника. Яков знал, не раз убеждался, что этот старый чекист обладает страшной, просто фантастической проницательностью. Он каким-то непостижимым образом умеет читать мысли другого человека. И вот сейчас полковник, мелькнуло у Якова, уже догадался, уже точно знает, о чем он, Алейников, думает, и немел от какого-то непонятного самому себе страха все больше.

— Что, задает задачки жизнь? — усмехнулся вдруг полковник по-доброму, по-стариковски.

— Задает,— кивнул Алейников с облегчением.

— Да, жизнь — это как учебник алгебры. А на каждой странице десятки задач со многими неизвестными.

Вошла пожилая женщина в белом передничке, официантка столовой при управлении, принесла чай и печенье горкой на тарелке. Аккуратно поставила перед каждым стаканы и бесшумно вышла. Когда за ней закрылась дверь, Алейников, подвигая ближе к себе стакан, проговорил:

— По всем внешним признакам на теперешнем месте Федора должен бы Иван быть, а он... Про Ивана Савельева видите что пишут. Его и сына Федора Семена к ордену Ленина представили.

— Что же это за внешние признаки?

— Иван был во время гражданской в белобандитах. В наших краях тогда местный богатей Кафтанов со своим отрядом зверствовал. Вот в его отряде и служил Иван.

— Вот как! — опять произнес начальник управления.

— Да. Потом я его лично два раза сажал.

— Гм...— Полковник отхлебнул из стакана.

— Второй раз, вероятно, напрасно. В тридцать пятом году. Как раз старший брат Федор и донес на него — коней, говорит, колхозных украл, мстит Советской власти, контра, за отсидку в тюрьме. За первую отсидку, значит...

— Что же не разобрался, украл, не украл?

— Кони действительно пропали. И Федору я поверил... Был он, я говорил, лихим рубакой, командиром эскадрона в нашем партизанском отряде.

— А теперь у немцев служит... А по внешним, как ты говоришь, признакам не должен вроде.

— Именно, что по внешним.— Алейников нахмурился, стал глядеть в сторону, забыв про чай. Потом отодвинул почти полный еще стакан, криво усмехнулся.— Правильно вы говорите: жизнь как задачник алгебры... Женился Федор на дочке этого самого Кафтанова, который бандой верховодил.

— Да? — Полковник приподнял и опустил седые брови.— Так, может быть, это обстоятельство как-то объясняет, что Савельев Федор сейчас...

— Нет,— резко, резче, чем положено, проговорил Алейников,— именно это обстоятельство тут ничего не объясняет. Анна Кафтанова была тоже в нашем партизанском отряде, воевала не за страх, а за совесть. И вообще, она женщина... как бы вам сказать... Она человек настоящий. Но судьба у нее... По приказу отца бандиты из его отряда тогда поймали ее. Отец повез ее лично расстреливать. Но перед этим изнасиловал...

При этих словах у полковника опять шевельнулись брови, уголки губ брезгливо опустились, в старческих глазах вспыхнул холодный свет, пронзивший, казалось, Алейникова насквозь.

— Когда отец повез ее на расправу, Иван этот... Он ее любил, видимо. Он поскакал следом, догнал где-то их. Кафтанов еще не казнил дочь, но остальному Иван помешать не успел... В общем, в схватке Иван застрелил Кафтанова, тело привез к нам в партизанский отряд. Но я... я не поверил ему. Думал — головой атамана хочет выкупить свое бандитство... В общем хотел я его расстрелять тогда. Но Анна кинулась мне и Кружилину, командиру нашего отряда, в ноги, все рассказала... Об одном только умоляла — никому никогда не говорить об ее позоре. «Иначе, говорит, повешусь...» И тогда мы Ивана просто под суд отдали...

Начальник управления поднялся, грузно начал ходить из конца в конец своего небольшого кабинета, застеленного длинной ковровой дорожкой. За окном палило солнце, било в стекла, заливало кабинет нестерпимым светом, и полковник задернул шторку.

— Ну, а Федор... знает, что сделал этот Кафтанов с дочерью?

— Не думаю,— проговорил Алейников не сразу.— Он полагает, что сделал это Иван. Из-за этого у них в семье, я знаю, всю жизнь отчужденность и слезы...

Начальник управления еще раз не спеша, обдумывая что-то, прошелся по кабинету, остановился напротив Алейникова.

— Значит, то обстоятельство, что Федор этот Савельев женат на дочери бывшего кулака и предводителя антисоветской банды, ничего не объясняет... А что же объясняет? И почему теперь ты веришь в честность Ивана Савельева?

Алейников сидел, погруженный в свои мысли, и будто не слышал вопроса.

— Не можете ответить?

— Это трудно, товарищ полковник... Вот я вспоминаю все, что знаю о них обоих... Об их жизни и поведении еще до революции и после. Все их слова, поступки, голос, каким они произносили слова, выражение глаз при этом... И все это окрашивается сейчас для меня другим светом, чем тогда. И я вижу — Федор чужой нам человек по духу, по внутренней сути. А Иван — свой. Эту задачку я не мог решить до сих пор. Как и многие другие... И потому я просил в свое время, как вы знаете, освободить меня из органов.

— А сейчас подтверждаете свою просьбу? — Начальник управления сидел за столом прямой и строгий. Он не спеша протянул руку за очками, надел их и стал как-то еще холоднее, официальнее.— Валентика вот этого упустил...

— Сейчас... не подтверждаю,— тихо произнес Алейников.

Начальник управления удовлетворенно кивнул, пододвинул к себе какие-то бумаги, начал читать их, будто забыв про Алейникова. Тот сидел, покорно ожидая своей участи, своего приговора.

Наконец начальник фронтового управления медленно и тяжело поднял голову. Но проговорил совсем не то, чего Алейников ожидал:

— Не кажется вам, что этот Валентик мог быть агентом Бергера? Или как-то связанным с ним?

— Это... это вполне может быть,— ответил Алейников.— Но данных нет...

— Данных нет,— усмехнулся полковник.— Если бы они были, он, надо полагать, не процветал бы у нас тут столько времени.

Слово «у нас» Алейников сразу же отметил, в душе шевельнулось облегчение.

— Ты его упустил, тебе его и поймать хорошо бы.

— Я готов выполнить любое задание, товарищ полковник.

— А задание тебе будет такое, видимо... Шестоковская «Абвергруппа» в связи с приближением наших войск уберется, понятно, куда-то подальше, на новое место. Наша задача — не допустить этого, уничтожить ее и захватить все документы. У Бергера могут быть ценные документы, касающиеся других групп «Виддера». Как это сделать?

— Сейчас единственная возможность — с помощью партизанского отряда Баландина,— тотчас сказал Алейников.

— Это понятно. Я говорю — подумай, как это сделать, кого из чекистов возьмешь с собой в тыл... Словом, разработай весь план операции, который мы согласуем с Москвой.

— Слушаюсь, товарищ полковник! — с откровенным теперь облегчением воскликнул Алейников.

* * *

Решение уйти из органов внутренних дел у Якова Николаевича Алейникова созрело окончательно через несколько месяцев после начала войны. Но мучительные отношения с Верой Инютиной послужили причиной того, что рапорт на имя начальника Управления НКВД по Новосибирской области с просьбой освободить его от работы и отправить на фронт всю осень 1941 года пролежал в громоздком железном сейфе, стоявшем в углу его служебного кабинета.

Последний, неимоверно тяжкий разговор с Верой в тот непогожий осенний день как будто острым ножом исполосовал, искромсал все в груди, свистевший за окном ветер словно выдул из него все живое, застудил кровь, ладони стали холодными, как ледышки, и прикасаться ими к собственному телу было противно до омерзительности. На второй или третий день после этого разговора он вспомнил о рапорте, достал его из сейфа, перечитал, разорвал, написал новый, более сдержанный и лаконичный, запечатал в пакет. Однако отправлять в область его не стал, а повез в Новосибирск сам.

Алейникова принял начальник управления. Он молча взял рапорт, прижал бумагу обеими руками к столу, будто листок непостижимым образом мог улететь, стал читать, склонив лобастую голову. Рапорт он прочел, видимо, несколько раз, Алейников терпеливо ждал, смотрел, как пошевеливаются складки на широком лбу начальника; наконец тот приподнял голову, в серых глазах его не было ни осуждения, ни одобрения.

— Ну, а причины?

— Причины изложить трудно,— сказал Алейников.— Я просто... просто чувствую, что не способен больше к чекистской работе.

— Что значит не способен?

Алейников вздохнул и произнес:

— Существует такой термин — моральный износ...

Начальник управления молча усмехнулся.

— Попытайтесь все же меня понять.

— Хорошо. Я посоветуюсь с секретарем обкома партии Иваном Михайловичем Субботиным.

— Простите, почему именно с ним?

— Потому что меня тоже должен кто-то попытаться понять. Решить это,— начальник управления показал глазами на рапорт,— не так-то просто, не понимаешь, что ли?

— Понимаю,— уныло произнес Алейников.

— Пока поезжайте к себе и работайте. А если этот вопрос как-то решится, мы сразу сообщим.

Прошел месяц, другой. Наступила зима, навалило снегу. Невиданное количество снега выпало в последние дни 1941 года. Яков любил ходить по нему, увязая по колено, вдыхая свежий, острый запах мерзлых тополей и сосен, который будто залечивал рваные раны внутри, разгонял быстрее кровь. Ответа из управления все не было.

Наконец через неделю после Нового года раздался звонок из Новосибирска. Начальник отдела кадров управления сухо и коротко сообщил Алейникову, что скоро, видимо, будет назначен новый начальник Шантарского райотдела УНКВД.

— А относительно моей просьбы на фронт? И вообще об увольнении из органов?

— По этим вопросам ничего не могу сказать. Сообщим, как что-то решится.

Новый начальник райотдела прибыл одновременно с поступившим приказом об освобождении с этой должности Алейникова. Яков начал передавать дела, ожидая приказа об увольнении из системы внутренних дел, а вместо этого где-то в феврале пришло предписание отправиться в Москву, в распоряжение самого Наркомата. На его звонок в Новосибирск и удивление по поводу такого предписания начальник управления сказал:

— Яков Николаевич, я пытался тебя понять по-человечески и сделал все, что мог... В Наркомате работает мой товарищ по гражданке Дембицкий Эммануил Борисович, доброй души человек. Мы с ним когда-то под Перекопом барона Врангеля громили. В Сиваше чуть не утонули. Вот в его распоряжение и поступишь... Желаю тебе больших успехов, Яков Николаевич.

Начальник управления помолчал несколько секунд и усмехнулся в трубку.

— Насчет морального износа, Яков Николаевич... Я тут все справки навел. По отношению к нашему брату чекисту его не существует. Ну, счастливо тебе.

...Мартовская Москва была залита солнцем, с крыш капало, по центральным улицам, запруженным народом, часто проходили колонны войск, иногда нескончаемыми вереницами шли танки, тягачи с орудиями, бронетранспортеры. Во время воздушных тревог вся техника останавливалась, замирала, улицы пустели... Ночами огромный город погружался в мрак, нигде ни огонька, каменные громады домов казались пустыми.

Майор Дембицкий, круглолицый, горбоносый еврей с лицом, беспощадно изрытым оспой, встретил Алейникова с вежливой улыбкой, но сдержанно, даже настороженно.

— А-а, давно ждем вас,— проговорил он, когда Яков представился по всей форме.— Садитесь, рассказывайте. Значит, решили было из нашей системы уволиться? Почему? Устали?

Дембицкий говорил, а сам все ощупывал Алейникова с ног до головы, вправо и влево водил горбатым носом, будто заглядывал сбоку и хотел оглядеть даже со спины. Все это Алейникову было неприятно — и то, что наркоматский этот майор таким бесцеремонным образом изучает его и что ему известно о его рапорте и намерении уйти из НКВД. Но обижаться Яков не обижался, отлично понимая, что в их Наркомате каждый, кому положено, знал о другом абсолютно все. Дембицкому, значит, было положено.

— Да, я устал,— ответил Алейников немного дерзко.

Дембицкий дерзость эту уловил, в левом глазу его что-то едва уловимо дрогнуло.

— Тогда присядьте, отдохните,— сказал майор насмешливо.

— А я не физически устал.

— Я знаю, морально,— спокойно проговорил Дембицкий и опять блеснул левым глазом.— Барышня кисейная выискалась.

На эти слова Алейников уже обиделся, но сдержал себя.

Позже Яков Алейников десятки раз убеждался, что майор Дембицкий, человек беспредельной отваги, в любых ситуациях оставался спокоен и весь его гнев или несогласие с чем-то внешне ничем не выражалось, только голос становился чуть насмешливее да в левом глазу неуловимо вспыхивала и тут же гасла эта искорка, а в правом ничего не отражалось, потому что он был стеклянным.

— Садитесь, что же вы? — еще раз повторил Дембицкий.— Распустили вы, милый мой, себя. Революцию защищать — не дамским рукодельем заниматься. Ну, давай, верещи дальше: ах, как я устал, ах, у меня мигрень началась! И это в то время, когда вон там,— Дембицкий кивнул на широкое, во всю стену, окно, задернутое наполовину плотной занавеской,— горит земля, льется кровь человеческая. Когда враг нашей революции... самый сильный и самый опасный враг под Москвой стоит.

— А я туда и просился! А не куда-нибудь! — воскликнул Алейников. Ему было неприятно, что этот корявый майор, которого он видит первый раз в жизни, так бесцеремонно отчитывает его.

— Знаю, что просился,— буркнул Дембицкий.— И эта часть вашей просьбы удовлетворена. Правда, на курорт поедем...

— Это как понять?

— Довольно просто. Поедем мы с вами, Яков Николаевич, в Крым. Бывали в Крыму?

— Отдыхал как-то в Феодосии.

— Так чего же может быть лучше — еще раз побывать в этом городе, побродить по знакомым местам! — обрадованно воскликнул Дембицкий, будто речь и в самом деле шла о поездке на курорт.— Немножко неудобно лишь, что он сейчас у немцев.

Звякнул телефон, Дембицкий минуты три разговаривал с кем-то, видимо с женой, обещал к вечеру куда-то заехать и достать для кого-то лекарство.

— Дочка у меня плоха,— сообщил он Алейникову, положив трубку.— Двенадцать лет девочке, легкие, чахотка. Я каждое лето возил ее в Крым, в Алупку, а теперь...

Он беспомощно развел руками, будто извинялся, что не может теперь повезти дочь в Алупку.

— Теперь она не выживет. Крымским воздухом только и держалась.

Этот сугубо домашний разговор майора с семьей, его виновато и беспомощно опущенные плечи что-то размягчили в душе Алейникова, растопили какой-то холодный комок, сделали Дембицкого ближе и будто понятнее.

— Вот так и живем мы, Яков Николаевич, от войны — до войны. В гражданскую мне под Перекопом белогвардейцы глаз штыком проткнули. Вот этот, правый. А вы: «Устал я...» Ну, я бы тоже мог, потому что...— Дембицкий еще раз поднес к правому, стеклянному глазу пальцы.— Мне даже предлагали, да чего там — заставляли уйти на пенсию. Я бы мог вообще уехать с семьей в Крым, и дочка бы, может быть... Но разве можно, разве можно, когда Гитлер сколачивал свои дивизии на наших границах, когда... А сейчас — тем более. Я удивлен, я просто удивлен... Сейчас они,— Дембицкий ткнул пальцем в потолок,— сейчас они не предлагают мне в отставку. Как-никак я являюсь специалистом по Крыму.

Алейников выслушал все это молча. И когда майор замолчал, поднял на него глаза.

— Вы хотите спросить — как в Крым и зачем в Крым? Это можно. Как вы знаете, в самом конце прошлого года силами Закавказского фронта и Черноморского флота успешно или, скажем, более или менее успешно была проведена Керченско-Феодосийская десантная операция. Я... — майор смущенно опустил коротко остриженную голову и, кажется, даже покраснел,— я тоже немножко в

ней участвовал. С группой чекистов был заброшен в тыл к немцам, в самую Феодосию. Ну, мы там, скажу так, кое-что полезное сделали... Что вы так на меня смотрите?

— Ничего,— сказал Алейников, с удивлением слушавший теперь майора.

— Вам тоже предстоит теперь... в тыл, к немцам. А? — И майор уставился на Алейникова единственным глазом. Он смотрел обоими, конечно, но Яков чувствовал, как Дембицкий буравит его насквозь только левым, живым глазом, а правый был холодным, безжизненным.

— Я готов выполнить любой приказ... любое задание,— сказал он невольно.

Дембицкий кивнул, как бы принимая это к сведению. Но Яков почувствовал, что майор удовлетворен не его словами, а чем-то другим, тем, что он сумел единственным своим глазом разглядеть в нем, и подумал, что он, Алейников, в общем, не очень красиво сейчас выглядит со своим рапортом и со своей просьбой освободить его из органов НКВД, но что люди, занимающиеся его судьбой, сделали все возможное, чтобы осторожно, не причиняя лишних травм, вывести его из критического состояния.

— Это понятно, Яков Николаевич,— просто сказал Дембицкий.— Значит, в результате этой десантной операции были освобождены Керчь и Феодосия. Командование придало этому факту особое значение. Да это и понятно каждому — создалась благоприятная обстановка для подготовки мощного наступления наших войск, в ходе которого имелась возможность освободить весь Крым. Да вот, смотрите сами.— Майор поднялся из-за стола, подошел к висевшей на стене карте.— Севастополь немцы до сих пор не могут взять. И если бы нанести удары по фашистам на Симферополь, а справа — на Перекоп, Джанкой и Чонгар да высадить мощные десанты в районе Ялты, Алушты, Евпатории, все пути отхода немцев из Крыма были бы перекрыты. А?

— Не знаю. Может быть,— осторожно сказал Алейников.

— Не может быть, а точно. И такой план, насколько я осведомлен, был и принят. Но что-то там затормозилось. Немцы пятнадцатого января сами перешли в наступление, снова заняли Феодосию. Короче говоря, сейчас в Крыму плохо. Севастополь истекает кровью. Немцы жмут на Керчь. И вот... все, кажется, должно повториться. Решением Наркомата создана специальная оперативная группа. Меня назначили ее начальником, а вас... я не скрою, я сделал это по просьбе начальника Новосибирского управления, старого и верного моего друга... вас я взял к себе заместителем, хотя это было мне не легко. Руководство мое было удивлено. Но, учитывая мои некоторые заслуги и так далее...

— Спасибо, Эммануил Борисович.— Алейников впервые назвал майора по имени и отчеству.— Я... не подведу, оправдаю.

— Да, надеюсь,— сказал Дембицкий.— Интересовался я твоим прошлым. С секретарем райкома партии говорил по телефону, с Кружилиным. А то бы ни за что не взял к себе.

— Спасибо,— еще раз произнес Алейников и проглотил тяжелый комок слюны.

— Дней через семь-восемь мы вылетаем в Краснодар, оттуда в Керчь, а оттуда... Пока, в общем, отдыхайте и настраивайтесь на особый лад. Понимаете на какой?

— Примерно...— сказал Алейников.

— А надо не примерно! Человек, отправляющийся в тыл врага, должен подготовиться к этому... всесторонне. Очистить мозги от всякого тылового мусора и хлама, каждый нерв подтянуть. Голова должна быть легкой и ясной, но не пустой. Там, в тылу врага, все будет иным — и запах ветра, и цвет неба над головой. И отсчет времени будет другой.

— Я понимаю.

— А теперь идите.

Но каков запах ветра и отсчет времени для человека, находящегося в тылу врага, Яков Алейников узнал не скоро.

Он, Дембицкий и несколько человек из их специальной оперативной группы прибыли в Керчь в середине марта. Недавно освобожденный от немцев, небольшой городок еще хранил страшные следы полуторамесячного хозяйничания фашистов. Многие дома, построенные из ракушечника, были разрушены, на месте целых кварталов торчали лишь обломки стен, валялись лохмотья железа, громоздились кучи раздавленной красной черепицы. Улицы, примыкающие к порту, изрыты канава-

ми, многие морские причалы взорваны. Неподалеку от берега, багровея ржавыми днищами, лежали затопленные рыбацкие сейнеры и баржи. Через некоторые из них тяжело перекатывались грязные от нефти морские волны.

Специальная оперативная группа Дембицкого имела задачу проникнуть во вновь занятую врагом Феодосию, организовать там разведывательно-диверсионную работу, чтобы способствовать наступлению войск Крымского фронта. Но сделать это оказалось не так-то просто. Керченский перешеек от прилепившегося на берегу Черного моря поселка Дальние Камыши до Арабатской стрелки был плотно забит немецкими постами, проникнуть сквозь которые не было никакой возможности. Несколько попыток сделать это успехом не увенчались, чекисты и сопровождавшие их разведчики из 44-й армии каждый раз натыкались на немцев и под угрозой окружения и полного истребления с боем отходили, теряя людей.

— Открытая степь, все как на ладони! — стонал Дембицкий, хватаясь за голову.— Позор нам! Надо пробовать с моря. Надо со стороны моря... Или с воздуха! Выброситься где-нибудь в районе Кара-Дага. Там, в горах, партизаны, с их помощью пробираться в Феодосию с тыла.

Дембицкий обо всем посылал шифровки в Наркомат, просил командование Крымского фронта и Черноморского флота высадить его группу с подводной лодки где-нибудь в районе Кара-Дага или выбросить там же с самолета. Но подводной лодки командование выделить не могло, а в воздухе было полное господство фашистов, через десять — двадцать минут любой советский самолет, появлявшийся над Керченским полуостровом, обычно обнаруживался и сбивался.

Тем не менее настойчивости Дембицкого предела не было. Однажды он посадил всю группу на грузовик, повез в Марфовку, откуда на Узун-Аяк, а затем к мысу Чауда. Там высадились, грузовик, устало порычав на месте, попятился, развернулся и ушел. До вечера чекисты просидели в каком-то овраге, а с наступлением темноты вышли по оврагу же к морю. Вскоре послышался глуховатый звук какого-то мотора, к берегу подошел военный катер без огней.

— Попробуем пересечь Феодосийский залив и высадиться где-нибудь за Коктебелем,— коротко сказал Дембицкий, хотя это и без того все знали.

Часа полтора шли спокойно, кругом была тишина и темень. В открытом море было свежо, Алейников чувствовал озноб и поплотнее запахивал брезентовый дождевик. «Не хватало еще заболеть»,— с тревогой думал он.

Эта мысль возникла и тотчас пропала и больше никогда не возвращалась, потому что катер, дико взвыв, начал разворот.

— Немецкий корабль! Сторожевик! — крикнул кто-то.

Алейников повернул голову влево и почти рядом увидел чернеющую громадину вражеского корабля. Он стоял почти на месте, без огней, будто покинутый людьми.

— Напоролись! — с отчаянием прокричал Дембицкий.— Они, сволочи, поджидали нас. Их акустики слышали, что мы приближаемся.

Катер, круто разворачиваясь, едва не чиркнул бортом о стальную стену немецкого корабля, выскочил у него за кормой. С немецкого сторожевика тотчас ударил сноп света, прорезал густую темень и облил катер ярким пламенем. Тотчас затрещали крупнокалиберные пулеметы, потом, будто нехотя, плеснуло огнем кормовое орудие, донесся рык выстрела. Снаряд разорвался метрах в десяти, водяной фонтан, поднявшийся с поверхности моря, в отсветах толстого луча прожектора вспыхнул синими и розовыми искрами и был неописуемо красив.

— Коли напоролись на вражину, не прорвемся,— сказал Дембицкому появившийся капитан катера, преклонного возраста человек, по виду из бывших рыбаков, кажется, украинец по национальности, хотя говорил он без всякого акцента.— Какие будут, товарищ майор, указания?

— Может быть, ускользнем в темноту, а? — умоляюще проговорил Дембицкий.— И все же высадимся где-нибудь?

— Глядите,— произнес в ответ капитан и показал рукой в сторону.

Там, куда он показывал, в черноте ночи вспыхнули во многих местах лучи прожекторов, зашевелились на морской глади, как гигантские черви.

— Всем своим кораблям сообщили. А мало — и авиацию вызовут.— Да, может, уже и вызвали,— как-то по-домашнему вздохнул капитан, проверил зачем-то, все ли пуговицы застегнуты на плаще.— После нашего десанта в декабре они

наглухо море закрыли. Будто свирепые псы по двору рыскают... А от этого крокодила, бог даст, уйдем.

Катер, задирая нос, шел зигзагами, постепенно удаляясь от немецкого сторожевика, медленно набирающего скорость. Луч вражеского прожектора неотступно следовал за катером, и Алейников подумал, что их катер похож сейчас на сильную рыбину, пойманную на длинную и толстую, как канат, лесу. «Леса» со свистом разрезает воду, пружинит, но не рвется пока.

С немецкого корабля давно били все орудия, фонтаны от разрывов вздымались слева, справа, спереди и сзади. Катерок крутился меж водяных столбов, как затравленный зверь среди деревьев, стараясь вырваться на вольный простор, который и был всего-то в нескольких метрах впереди.

Постепенно «деревья» стали реже, водяные столбы от снарядов поднимались все дальше по бокам и сзади. Прожекторный луч ослаб и шарил теперь не по воде, а по воздуху.

— Оторвались,— сказал капитан, поглядел на Дембицкого, будто требуя подтверждения этому. Тот беспомощно развел руками и вздохнул. Старый капитан понял его, проговорил успокаивающе: — Да что сделаешь-то, сила, говорят, солому ломит. Скажите еще спасибо, что сумели оборваться с кукана. А богу молиться погодите. Небо, правда, облачное, да бог-то шибко ненадежный теперь стал.

И капитан ушел к себе в рубку.

Все так же без огней катер возвращался теперь к тому участку берега, от которого недавно отошел. Волны, на счастье, не было, но тучи, закрывавшие небо, стали реже, а потом и вовсе кончились. Из-за их последних жиденьких лохмотьев тотчас выкатилась луна, поплыла, равнодушная ко всему на свете, между звезд, окрашивая пенную полосу за катером в сине-зеленоватый цвет.

...Немецкие самолеты опоздали всего на каких-нибудь пять — десять минут. Их было два. По искрящемуся под луной пенному следу они быстро обнаружили летящий к берегу катер. Один из самолетов с ходу упал в пике, полоснул по катеру из пулеметов. Чекист, молчаливо сидевший рядом с Алейниковым, застонал и повалился на пол, ему под ноги. Яков нагнулся к раненому, но в это мгновение катер швырнуло, как щепку. Море вокруг вспухло буграми от бомб, катер, однако, не поврежденный, нырял меж водяных гор. А сверху, из серого ночного мрака, на хрупкую посудину валился, изрыгая огонь, следующий самолет...

Несколькими минутами позже, сидя в том же овраге на мысе Чауда, Алейников, глядя на труп капитана катера, возле которого, плача, стояли на коленях два матроса, думал, что война вещь непонятная, чудовищная и жестокая. Вот он, Алейников, Дембицкий и все остальные остались живы, видимо, потому, что погиб этот пожилой украинец, бывший рыбак, но никто об этом не узнает. Но не погибни он минутой раньше, вероятно, погиб бы вместе со всеми минутой позже. А быть может, и не погиб бы, может, капитан или еще кто-то остались бы в живых. Война — какая-то кровавая лотерея, никогда никому не известно, что, где и как произойдет, все зависит от миллионов и миллиардов случайностей, все решают минуты, секунды, мгновения...

...Когда второй самолет устремился в пике, катер был метрах в ста от берега. Надо было гасить скорость, иначе катер, как хрупкое куриное яйцо, неминуемо разбился бы о прибрежные камни, во многих местах выступающие из воды. Но скорость, кажется, не уменьшалась, а увеличивалась.

— Что он делает?! — в беспокойстве воскликнул Дембицкий, приподнимаясь.— Мы ж расколемся... на мелкие брызги!

Это, видимо, понимал и немецкий летчик и, будучи уверенным, что катер неминуемо должен сбавить ход, мгновенно рассчитал, в какую секунду нажать ему кнопку сброса бомб. Он был опытным, тот немецкий летчик, он был мастером своего дела. Бомбы упали в десяти метрах за катером, как раз в той точке, где он и должен был находиться, если бы начал гасить скорость. Но капитан, сам стоявший за штурвалом, погасить скорость не мог, он был мертв. Его убил из своего крупнокалиберного пулемета еще первый летчик, одна пуля пробила позвоночник, другая — затылок. Когда Алейников ринулся в рубку, капитан лежал грудью на штурвале, намертво заклинив его.

В крохотной рулевой рубке, кроме мертвого капитана, никого не было, предпринять что-либо Алейников, естественно, не мог. Он даже ничего не успел крикнуть, он только обернулся, как сзади, за катером, вспучилось от взрывов бомб море. Катер был всего в нескольких метрах от подводных скал, вздыбившаяся волна нагнала его, перенесла через острые камни и со страшной силой швырнула на песок, обрушив на него одновременно несколько десятков тонн ледяной воды. Как пустая железная коробка, катер несколько раз перевернулся и, глубоко врезавшись бортом в мокрый песок, застрял в нем. Тяжелая волна накатилась еще раз, яростно хлестнула в днище, но сдвинуть катер с места уже не могла, только пошевелила.

На удивление, когда катер покатило по песку, никто не сломал ни руку, ни ногу, все отделались только ушибами. Люди торопливо начали выбираться наружу. Где-то недалеко гудели, снова приближаясь, самолеты. На счастье — опять на счастье! — луна скрылась за накатившуюся тучу, стало сразу темнее, и во мраке немецкие летчики не могли разглядеть беспомощно лежащий на земле катер. А может быть, полагали, что он потоплен. На всякий случай они прострочили из пулеметов прибрежную полосу воды и больше не возвращались.

* * *

В оккупированную Феодосию оперативной группе Дембицкого проникнуть так и не удалось. Майор доложил об этом в Наркомат, оттуда получил, видимо, не очень радующий его ответ, целый день ходил хмурый, потом объявил:

— Приказано организовать из местного населения противодесантно-истребительный отряд с задачей содействовать сухопутным войскам в обороне побережья и препятствовать высадкам вражеских морских десантов.

Конец марта и весь апрель группа Дембицкого контролировала южное побережье Керченского полуострова. Наблюдательные посты быстро созданного противодесантно-истребительного отряда круглосуточно стояли на всех участках, более или менее благоприятных для высадки противника, и, завидев приближающиеся немецкие корабли, немедленно извещали штабы близрасположенных частей 44-й и 51-й армий и до подхода войск, случалось, по часу и больше дрались с вражескими десантниками, не давая им возможности расширить плацдарм высадки.

За несколько недель Яков Алейников превратился во что-то противоположное себе. Вначале, прибыв в недавно освобожденную Керчь, глядя на полуразрушенный город, он как-то все равно не ощущал, что оказался на фронте, куда так стремился, чтобы сбросить с себя все прошлое, забыть его, выжечь огнем. Огня не было — были новые вокруг люди, суматоха, неразбериха. Свою работу там, в занятой врагом Феодосии, он себе не представлял. Ему казалось, что, едва окажется в логове врага, немедленно каким-то образом погибнет. Он словно забыл, что был лихим разведчиком в молодости, в партизанском отряде Кружилина. Тогда он тоже нередко проникал в самое расположение белогвардейских и карательных частей. Или даже не забыл, а просто считал, что между гражданской войной и вот этой битвой с фашистами большая разница. Гражданская война казалась сейчас ему и не войной вроде, а так — игрой в войну. Ну, в крайнем случае шашку вон, да и пошел крошить. Здесь шашкой не помашешь...

Собственно, гибели он не страшился, за жизнь свою никогда не цеплялся. Ему только казалось нелепостью, что Дембицкий, пусть по просьбе начальника Новосибирского управления НКВД и по совету Субботина с Кружилиным, взял его в свою группу.

Но вскоре Яков убедился, что огня тут с избытком. В первую же попытку проникнуть за линию фронта фашисты едва их не окружили ночью и не уничтожили в пыльной степной лощине. Алейников, побледнев от какой-то внутренней ярости, чувствуя, как сердце обдирает давно забытый холодок, от которого прочищаются мозги, ум делается ясным и дерзким, с разрешения Дембицкого под покровом темноты выполз из лощинки, почти окруженной немцами, ужом проскользнул метров на семьдесят в сторону вдоль старой траншеи, по обеим сторонам которой наступали немцы. С собой взял только восемь гранат (по две в руках, а четыре сунул за ремень, по паре сбоку, чтоб не мешали ползти), автомат же свой протянул Дембицкому.

— Ты что?! — прохрипел Дембицкий изумленно, будто все остальное, что намеревался сделать Алейников, его не удивляло.— Да они тебя, безоружного, голыми руками возьмут, погибнешь там...

— Ну, там ли, в одиночестве, тут ли, в компании,— какая разница? — усмехнулся Алейников кисло.— Вы только не теряйтесь. У вас будет минуты две-три, пока они не опомнятся и не разберутся, что к чему. Автомат мне только мешать будет.

План Алейникова был безрассуден, но именно безрассудством и рассчитывал Яков ошеломить немцев.

Оказавшись таким образом среди окружающих лощину врагов, в самой их гуще, он подождал, пока фашисты не поднимутся для решающего броска, и, привстав на колени, швырнул одну гранату вправо, другую влево и сразу же упал плашмя на дно траншеи. Ухнуло раз за разом с промежутком в несколько секунд два взрыва, над головой его просвистали осколки. Мгновенно приподнявшись, Яков не различил во мраке ни одной фигуры и понял: немцы, как он и рассчитывал, не могли сообразить, откуда кинули гранаты, каким образом русские, только что стрелявшие из лощины, оказались здесь, в самой середине наступающих цепей. Алейников швырнул еще две гранаты в разные стороны, стараясь, чтобы они упали как можно дальше. Едва вздыбилась земля, он, отчетливо боясь теперь, что его заметят, сильно согнувшись, пробежал вперед и опять бросил в ту и другую стороны по гранате. Переждав взрывы, еще сделал несколько скачков вперед. Свистнула возле уха одна, другая пуля. Его заметили. «Ну вот, Поликарп Матвеевич! — мелькнуло вдруг у Алейникова почему-то злорадно.— Коли нащупает какая пулька, не считай, что специально ее искал. Жить мне, оказывается, тоже охота».

Ощущая в эти секунды, что ему действительно как никогда хочется жить, он бросил по сторонам последние две гранаты и, обдирая руки и колени, пополз торопливо вдоль траншеи обратно. Немцы подняли беспорядочную стрельбу, пули густо пронизывали воздух над его спиной. Алейников слышал их горячий полет, сердце его стучало, как молоток. «Неужели выберусь, неужели выберусь?!»— колотило в висках, он чувствовал, что спина его, в которую могла ударить пуля, будто омертвела, из заушин по щекам стекает холодный пот.

В лощине уже никого не было, Дембицкий, воспользовавшись замешательством немцев, увел группу, как было условлено, оставив на том месте, где недавно лежал, отстреливаясь, Алейников, его автомат. Этого условлено в горячке не было. Яков понял, что Дембицкий оставил автомат на всякий случай, мысленно поблагодарил его, схватил оружие и запасной диск, лежавший рядом, встал во весь рост и побежал.

Группу он догнал через несколько минут за отлогим холмом, спускающимся к морю. Сзади все еще шла яростная стрельба, немцы, думая, что русские вздумали прорваться в их тыл, поливали огнем пустое пространство.

— Ну, маневр! — прохрипел на бегу Дембицкий, когда появился рядом Яков.— Не зря мне Кружилин говорил... Слава богу, что живой! Не надеялся...

Сзади стрельба стала затихать, немцы, видимо, образумились, начали пускать ракеты, пытаясь обнаружить, куда же делись проклятые русские. Над сопкой, которую чекисты огибали, медленно и лениво мигало бледно-желтоватое зарево. Может быть, немцы находились уже в лощине, но группе Дембицкого теперь это было все равно,— обогнув сопку, они вошли в проход во вражеском минном поле, специально проделанный для них два дня назад саперами. А сразу же за минным полем начинались наши позиции...

Огня было много и после, особенно в стычках и боях с вражескими десантами, пытающимися высадиться то в одном, то в другом месте. Яков вместе с другими бойцами противодесантного отряда, с солдатами армейских частей расстреливал ползущих из воды на берег немецких солдат из автоматов и пулеметов, забрасывал их гранатами. Он испытывал какое-то по-детски радостное чувство, когда видел, что от его рук и от рук товарищей по оружию падают и умирают враги. Бывали моменты, когда жизнь его, Алейникова, не обрывалась даже непонятно почему, каким-то чудом он оставался в живых. Но огонь войны ничего не выжег в его душе, прошлое не забывалось, оно только отодвинулось куда-то далеко-далеко. И там, в этом далеке, жили Иван Савельев, Василий Засухин, Данила Кошкин

и многие-многие другие. Где они сейчас, что с ними, Яков не знал. А знать, кажется, хотелось, было любопытно, как же они сейчас себя ведут и что делают, если живы,— именно сейчас, когда началась война, когда враг топчет родную землю, насилует ее женщин — жен, матерей, невест. «Да, если живы...— усмехался не так уж редко Алейников и мрачнел, чувствуя к себе откровенное омерзение.— А где ж этот... тип, Полипов Петр Петрович? Тоже ведь на фронт ушел!» Вот он, Яков, воюет и будет воевать за эту землю, на которой вырос, не за страх, а за совесть, до последнего дыхания. Неужели и Полипову так же дорога эта земля, этот воздух, синева над головой?

На все эти вопросы, как и на множество других, ответить себе Алейников не мог и понимал, что ответа не узнает теперь, видимо, до конца войны, до победы, в которой он ни на минуту не сомневался, до тех пор, пока не вернется в Шантару, если, конечно, останется жив. А остаться в живых надобно. Есть долги, которые надо заплатить. Как сказал тогда Кружилин, чертов мужик, умеющий видеть жизнь человеческую насквозь: «Ты вот нашкодил в жизни — и теперь в кусты? Нет уж, дорогой мой товарищ! Давай уж, раз оно так вышло, вместе и объяснять... что произошло!»

Конец марта и весь апрель на Крымском полуострове шли тяжелейшие бои, Алейников, Дембицкий с чекистами своего отряда неделями не выходили из окопов противодесантной обороны. Однако все это не шло, оказывается, ни в какое сравнение с тем, что началось в мае. Числа седьмого или восьмого по нашим позициям был нанесен массированный авиационный удар, после чего двинулись в наступление немецкие пехотные и моторизованные части. В районе горы Ас-Чалуле фашисты высадили большой шлюпочный десант. Дембицкий приказал Алейникову взять половину истребительного отряда и уничтожить немцев. Когда прибыли к месту высадки, с вражескими десантниками дралось какое-то небольшое армейское подразделение. Оно уже обессилело и, если бы не Алейников со своими бойцами, было бы неминуемо смято.

Алейников подоспел на помощь вовремя, но километрах в трех от горы был высажен новый десант с катеров. Командир пехотного подразделения был убит, Алейников принял командование на себя и держал немцев на узком береговом пятачке целый день. К вечеру стало известно, что вражеские войска прорвали оборону нашей 44-й армии и стремительно продвигаются вперед. Дембицкий по радио передал приказ группе Алейникова отступить, так как она оказалась уже во вражеском тылу.

Через день оборонявшие Керченский полуостров войска были отведены на позиции Турецкого вала, но, не сумев и там отразить вражеский натиск, стали отходить с боями к Керчи. Четырнадцатого мая немцы прорвались к южной и западной окраинам города...

Последние пять дней, вплоть до сдачи города, были каким-то кошмаром. Сначала группа Дембицкого и противодесантный истребительный отряд, теперь малочисленный, держали оборону на западной окраине города вместе с частями 44-й армии. Сюда рвались танки, прямой наводкой расстреливая наши батареи, утюжа гусеницами неглубокие окопы, вырытые второпях в белесой каменистой земле. Алейников никогда не держал в руках противотанкового ружья, тут ему за пять минут пришлось научиться обращаться с ним. Он, стоя на коленях в мелком окопчике, сжав зубы, ощерившись по-звериному, бил и бил из этого ружья по наползающим стальным громадинам. Ружье сильно отдавало, к вечеру первого же дня плечо онемело, коленки, на которых продрались брюки, тоже. И неизвестно было, поразили его выстрелы хоть одну вражескую машину или нет. Он стрелял и вроде бы не промахивался, колотили по вражеским машинам сорокапятки, а танки как ползли, так и ползли. И уже перед самыми окопами или вспыхивали, или начинали пятиться назад. И Алейников слышал, как моторы вражеских машин взвывали от бессильной ярости.

Потом группа Дембицкого, из которой осталось всего несколько человек, по просьбе горкома партии и командования помогала эвакуировать из города население и имущество различных предприятий, учреждений и воинских частей, чтобы оно не досталось врагу. Над Керченским проливом беспрестанно кружили вражеские самолеты, сыпали бомбы, пролив обстреливала дальнобойная артиллерия. Вода кипела от взрывов, над проливом стлались дымы, туда, в эту кипень и в эти

дымы, беспрестанно отходили тяжело перегруженные баржи, катера, небольшие теплоходы, рыбацкие сейнеры, но до противоположного берега многие так и не доходили; у причальных стенок, у бортов барж и пароходов плавали, качаясь на взбаламученных волнах, обломки досок, вспухшие трупы людей, фуражки, пилотки, оглушенные взрывами большие, как бревна, рыбины...

Все эти пять суток Алейников не сомкнул глаз. Ему Дембицкий поручил эвакуацию медицинских и детских учреждений, которые со дня освобождения Керчи уже по-настоящему развернули свою работу в надежде, что город очищен от немцев навсегда. Теперь снова приходилось перебираться на Таманский полуостров, а там — неизвестно куда. Алейников носился по городу, грузил на автомашины людей и наиболее ценное имущество, отправлял на пристань. А город, как и пролив, беспрестанно бомбили, стоял грохот, вой, свистели повсюду осколки, гудело пламя, глаза выедал дым.

Утром девятнадцатого мая Алейников и Дембицкий отплыли с одним из последних пароходов, осевшим на полметра ниже ватерлинии, к Таманскому полуострову. Отплывая, они слышали и видели, что на улицах, примыкающих к порту, идет бой с прорвавшимися сюда немецкими мотоциклистами. Улицы и вся территория порта были забиты нашими грузовиками, пушками, повозками, различным военным снаряжением — все вывезти так и не удалось. Немногочисленные арьергардные части, прикрывавшие отход, долго немцев сдерживать, конечно, не смогут, подумал Алейников и сказал Дембицкому:

— Они же все обречены... Все до одного! И понимают это...

— Безусловно. У каждого на войне своя судьба. Им выпала такая. А какая нам — неизвестно. Неизвестно, доплывем ли мы до берега-то, Яков Николаевич.

Алейников стоял, держась за бортовой поручень, чувствовал, как подгибаются у него от смертельной усталости ноги, кружится голова. Слова Дембицкого чем-то ему не понравились, но чем — понять не мог, не было сил для этого. Он оттолкнулся от борта и, засыпая на ходу, пошел куда-то меж ящиков, узлов, натыкаясь на сидящих и стоящих людей. Ну что ж, мелькнуло у него, выпади ему такая судьба, как у этих ребят, прикрывающих отход, и он бы принял ее без ропота, дрался бы до последнего дыхания...

А в следующую секунду, безразличный уже и к судьбе обреченных на берегу солдат, и к тому, доплывет ли их перегруженная хлипкая посудина до берега, приткнулся где-то между людьми и крашеной пароходной стенкой и провалился, как в яму, в сон, в небытие...

* * *

Части, оборонявшие Керченский полуостров, были направлены в тылы на переформирование и доукомплектовку, а группе Дембицкого Наркоматом было приказано поступить в распоряжение Краснодарского УНКВД.

— Считается это отпуском,— усмехнулся Дембицкий, объявив группе распоряжение Наркомата. Но тут же, потушив улыбку, прибавил: — Обстановочка, сами знаете, не радует. Со стороны Ростова немцы жмут на Краснодар еще покрепче, чем из Феодосии на Керчь. Нам приказано помогать краснодарским чекистам эвакуировать из угрожаемых районов промышленные предприятия, государственные ценности, колхозный скот и хлеб. Нынче там урожай, говорят, удался небывалый...

Весь конец мая и первую половину июля Алейников во главе группы из пяти человек ездил по селам и станицам, организуя и контролируя совместно с партийными и советскими работниками отгон в тыловые районы колхозного скота и вывозку хлеба. Урожай действительно удался невиданный, для уборки его были привлечены находящиеся на отдыхе воинские части, призывникам в Красную Армию предоставили отсрочки. Не хватало вагонов, трудно было найти для сопровождения колхозных гуртов достаточное количество людей. Почти круглосуточно Алейников был на ногах. Он уже и забыл, что он военный, забыл крымское пекло, принимал участие в заседаниях правлений колхозов, где обсуждались маршруты следования гуртов, собирал по автобазам и конным дворам автомобильные и гужевые колонны, формировал бригады погрузчиков зерна, искал шоферов, ездовых, погонщиков быков, выбивал у станционного начальства вагоны под хлеб, организовывал их погрузку...

После двадцать четвертого июля, когда снова пал Ростов, фронт стал неудержимо приближаться к Краснодару. Немецкие самолеты и раньше частенько прорывались в знойное кубанское небо, теперь они бороздили его беспрерывно, на бреющих полетах расстреливали колонны грузовиков и подвод с хлебом, гурты скота, яростно бомбили железнодорожные эшелоны.

— Ну-с, Яков Николаевич, расстаемся,— как-то даже обрадованно проговорил однажды Дембицкий, вылезая из машины.

Алейников сидел на земляной кочке, мрачно глядел на простирающуюся перед ним речную луговину, густо усеянную коровьими и бараньими тушами, изрытую глубокими воронками. Полчаса назад четыре вражеских бомбардировщика загудели в небе. Они шли над лентой Кубани довольно низко, высматривая, видимо, пригнанные на водопой гурты. Обнаружив цель, которую искали, сделали по два захода. Обезумевший рев животных, крики погонщиков, грохот бомбовых разрывов и вой самолетных моторов все еще стояли в ушах Алейникова.

— Почему расстаемся? — спросил Яков.

— Почему? — вздохнул Дембицкий.— Кубань и Кавказ немцы хотят захватить любой ценой. Оно понятно — нефть, хлеб... мясо вот.

Колхозники на лугу стаскивали растерзанные туши в бомбовые воронки, засыпали сверху землей.

— В Майкоп мне приказано с половиной группы. Оттуда, может, в Баку. Ни одной нефтяной скважины, ни одной целой компрессорной установки не должно достаться фашистам. И не достанется!

С неба лился испепеляющий жар, Дембицкий, мокрый, будто только что вынырнул из Кубани и торопливо натянул на влажное тело обмундирование, тяжко дышал. На груди и спине от пота проступали темные пятна.

— Ты с другой половиной остаешься пока в Краснодаре. Городок не так и велик, а промышленность кое-какая есть. Немалая даже... Все, что успеете, вывезти. Остальное взорвать. Ни один станок не должен достаться немцам в целости.

На берегу Кубани горело несколько костров, над кострами висели черные, закопченные ведра и казаны.

— Ты, что ли, поспособствовал моему повышению в должности?

— Да, это я посоветовал назначить тебя во главе остающейся спецгруппы,— сказал Дембицкий.— Я видел тебя там, в Крыму. И здесь. Кружилин был прав, характеризуя тебя... И признаюсь, жалко с тобой, Яков, расставаться. Но что делать? Да судьба, может, еще сведет, коль живые останемся. Соответствующий приказ Наркомата и все инструкции тебе будут завтра.

Алейников помолчал, наблюдая за зеленой навозной мухой, ползающей по его сапогу. В руках у него был прутик, он стегнул по ноге им, но в муху не попал. Отбросил прутик и поднялся.

— Ну что ж... Пойдем, Эммануил Борисович, я тебя на прощанье свежей бараниной угощу. Видишь, сколько парного мяса навалено.

Алейников говорил, а синий шрам на его щеке нервно дергался.

* * *

215-я стрелковая дивизия, которой были приданы 3-й гвардейский танковый и 107-й истребительно-противотанковый полки, не в силах сдержать остервенелый натиск врага, несколько дней пятилась назад, неся большие потери в живой силе и технике, пока не уперлась в стену искореженного снарядами соснового леса, огибающего большое село Жерехово, Орловской области. Наступление немцев, судя по всему, еще не выдохлось, но у них явно начал ощущаться недостаток в боеприпасах, и у кромки леса фашистов удалось остановить. Бойцы 215-й немедленно начали окапываться, строить противотанковые опорные пункты.

Яков Алейников в приподнятом настроении, в котором он находился все эти три дня после разговора с начальником фронтового управления СМЕРШ, подъезжая утром к Жерехову, издали поглядывал на дымные столбы, поднимающиеся над селом. Справа, где-то далеко, шел бой, оттуда доносился задавленный расстоянием, едва внятный гул. Горизонт слева был застлан низкими тучами, днища их временами освещались не то вспышками молний, не то пушечными выстрелами.

— Вляпаться можем, товарищ майор,— проговорил шофер Гриша Еременко.— Если жиманут немцы, можем попасться, как куры в похлебку.

— Боишься? — разжал Алейников спекшиеся от какого-то внутреннего жара губы.

Гриша скривился, как-то демонстративно плюнул в окно.

— Бензину полный бак, удерем. Лишь бы осколком бак не продырявило, как однажды...

Шофер этот, курносый парень лет двадцати пяти, был на вид мешок мешком. Алейников встретил его в августе сорок второго года в Краснодаре, когда шли тяжелейшие бои на его ближайших подступах. Город был обречен, некоторые части и службы 56-й армии, оборонявшие город, уже переправлялись на южный берег Кубани. Алейников, занимаясь порученным делом, метался по городу и на одной из улиц остановил военный грузовик, попросил подвезти до ремонтно-механического завода. Шофер, покосившись на красный околыш фуражки Алейникова, тронул машину.

Немцы местами прорвались уже к реке Кубань, обстреливали горящий Краснодар из тяжелых орудий. Кругом горели здания, пламя свистело из черных оконных проемов, некоторые улицы были плотно закупорены черным и едким дымом. То сбоку, то сзади, то спереди часто ухало, и порой нельзя было разобрать, вражеский снаряд это разорвался или рухнула сгоревшая стена какого-то здания. При каждом взрыве шофер, как казалось Алейникову, вздрагивал и ниже припадал к баранке.

— Боишься? — спросил его вот так же, как только что, Алейников.

И шофер, как вот и сейчас, сплюнул в проем дверцы грузовика и так же ответил:

— Бензину полный бак, удерем.

В голосе шофера была усмешка. Даже не усмешка, а насмешка. «Ишь петух...» — одобрительно подумал Алейников и спросил:

— Как звать?

— Гришкой...

— А фамилия?

— Зачем вам? Может, вы шпион какой. Я вообще жалею, что подсадил вас.

Теперь Алейников улыбнулся.

— Это верно, я шпион,— сказал он, чувствуя в душе озорство.— А ты — командующий армией, замаскировался, понимаешь, под шофера. Вот сейчас я тебя в мешок — и к немцам...

Шофер, однако, не слушал уже его. Он резко нажал на тормоза, потом рванул переключатель скоростей, грузовик взвыл и торопливо попятился назад. Алейников даже не успел сообразить, что же это такое делает шофер, как впереди, как раз на том месте, где мог быть грузовик, горбом вспухла улица. Земля качнулась, подбросив, кажется, грузовик. Мотор заглох.

Шофер выскочил из кабины, Алейников за ним. Оба они остановились перед дымящейся горой крупных обломков кирпичной стены рухнувшего здания. По грязному лицу шофера струями тек пот, и парень старательно вытирал его пилоткой.

Перед этой горой они стояли, безмолвные, с минуту.

Потом, когда ехали по какому-то узкому переулку, Алейников проговорил:

— Вовремя ты увидел, что стена падает...

— Увидишь тут в таком дыму!

— Отчего ж попятился?

— Почуялось мне просто, что вот-вот она упадет. Опахнуло чем-то таким... замогильным. Это я всегда чую, когда смерть рядом...

Через несколько минут Алейников попросил его высадить и, прощаясь, сказал:

— Спасибо, Гриша. В долгу я у тебя.

— Ну и не забывайте,— откликнулся парень.— А то больше не буду давать в долг. Фамилия моя, между прочим, в самом деле генеральская — Еременко.

Когда закончилась оборонительная операция войск Приморской группы Северо-Кавказского фронта на краснодарском направлении, Алейников за успешное выполнение заданий Наркомата внутренних дел был награжден орденом Крас-

ной Звезды и получил назначение в другую прифронтовую специальную оперативную группу НКВД в качестве ее начальника. Группе были поручены разведывательно-диверсионные действия в тылах вражеских войск, наступающих со стороны Курска на Воронеж. Алейников отыскал в войсках рядового Григория Еременко и взял к себе шофером. Несмотря на мешковатый внешний вид, Гриша, как Алейников и предполагал, оказался человеком незаурядным. Выносливости у него было на пятерых. Осторожный и осмотрительный в обычной обстановке, хотя это он всегда маскировал напускной бесшабашностью, в критические минуты он становился, как и сам Алейников в молодости, до безрассудства отчаянным и дерзким. Но это только на первый взгляд. Все поступки Григория строились на трезвом расчете и невероятном хладнокровии. Так, однажды, возвращаясь дождливой осенней ночью с переднего края (Алейников тогда лично провожал разведывательную группу в тыл врага), они попали под шквальный артиллерийский огонь. Осколком снаряда пробило бензобак, машина вспыхнула. Еременко вытолкнул Алейникова из кабины в грязь, схватил свой автомат и вывалился из машины сам, тотчас вскочил, закричал, чтобы майор отбежал прочь. Буквально через несколько шагов опять же грубым толчком повалил Алейникова на землю, и, едва они упали, автомобиль рвануло, над головой просвистел огонь, опалив волосы, провизжали ошметки разлетевшегося во все стороны металла.

Они потом отползли в какую-то канаву метрах в тридцати от дороги, лежали в ней, пережидая яростную артподготовку врага и соображая, что теперь делать.

— Что это они лупят-то по пустому месту? — спросил Еременко.

— Черт их знает. Может, думают, что тут вторая полоса обороны...

Вскоре пальба стихла, только сзади, где были расположения наших войск, земля стонала от разгорающегося боя.

— Надо, наверное, назад, к своим,— произнес Григорий, привставая и нюхая, как зверь, мокрый воздух.— Какую-нибудь машину дадут... Да нет, кажется, поздно.

Через мгновение и Алейников понял, что поздно: из-за чернеющей в туманном рассвете кромки леса выползала, пронизывая густой еще мрак светом фар, вражеская танковая колонна, нарастал лязг гусениц. Колонна спустилась в лощину, скрылась из глаз, а минуты через четыре снова появилась уже совсем близко.

Они пролежали в этой канаве под дождем около часа, наблюдая сквозь кустарник, как прошла мимо танковая колонна, потом тащились немецкие грузовики с пехотой.

— Прорвали нашу оборону! Вот это влипли мы, вмазались, как два яйца в горячую сковородку! — беспрерывно шептал Еременко. Даже сквозь грязь на щеках Алейников различал, что шофер был бледен, ноздри его вздрагивали.

— Перестань ныть! — рассерженно прикрикнул он.

Еременко умолк, уголки его по-мальчишески розовых губ обиженно опустились.

Прошло еще полчаса. Синее мокрое утро медленно и нехотя распахивало небо над землей, в лощинах и перелесках клубился тяжкий туман. Там, откуда Алейников и Еременко недавно уехали, звуки боя постепенно затихали — не то стрелковый полк был смят, не то отошел куда-то, оставив позиции.

Дождь все накрапывал,— мелкий и нудный, он давно промочил насквозь Алейникова и Григория. Алейников чувствовал, как по его лопаткам на ребра стекают обжигающие струйки, челюсть его подрагивала от холода, он думал, что, если они и выпутаются из этого положения, в котором вдруг очутились (что очень маловероятно!), воспаление легких ему обеспечено. Гриша Еременко отделается, конечно, чирьями, его, дьявола, никакая простуда не берет. Но он все равно заявится в санчасть, и молоденькая врачиха Валерия вспыхнет до корней волос, вскроет ему чирьи, ранки залепит пластырем и хоть на день, на два, но уложит его в постель. А потом ее красивые и добрые глаза будут зеленеть от ревности, длинные пальцы будут от волнения подрагивать, потому что к Гришке обязательно начнут бегать машинистки и шифровальщицы опергруппы. Каждая хоть раз, но навестит. Что они, весь подчиненный ему, Алейникову, женсостав, находят в этом невзрачном на вид парне?

— Григорий... с Валерией у тебя серьезное что-нибудь? — спросил Алейников, сам чувствуя, что вопрос в этой обстановке прозвучал как-то неуместно.

Еременко, размалывая крепкими зубами веточку, недоуменно поглядел на своего начальника. И, ухмыльнувшись, ответил:

— А как же... Спирту у нее сколько хошь.

Вот так у Григория, если дело не касается службы, никогда не поймешь, серьезно он говорит или балагурит.

— Ну, гляди у меня, жеребец! — воскликнул Алейников, чувствуя к своему шоферу в эту секунду откровенную неприязнь.— Зина Подолянская, бывшая наша машинистка, от тебя забеременела?

— Да вы что! — В глазах у Григория было искреннее возмущение.

— А все вот говорят...

— Все? Они меня за ноги держали, что ли?

— Зря я взял тебя. Придется откомандировать из опергруппы, хоть у тебя и генеральская фамилия.

— Пожа-алуйста... Поплачу и перестану.— И вдруг Еременко сразу насторожился: — Одиночный. А? Легковушка.

Он чуть приподнялся на локтях, вытянул худую шею, глядя вправо. Алейников тоже услышал едва внятный звук мотора, а потом и увидел зеленый открытый автомобиль, выкатившийся из-за кромки леса, откуда недавно выползала танковая колонна. Машина нырнула в лощину, скрывшись из глаз, через три-четыре минуты выползла из низины.

Автомобиль приближался медленно, ныряя по ухабам. Еременко глядел на него напряженно. И вдруг ноздри его раздулись и задрожали.

— Какая-то шишка едет, а? Видать, небольшая, раз без охраны...

Еременко умолк, закусил губу. Немецкий автомобиль приближался. Алейников теперь различал, что в автомобиле было всего двое — шофер и, видимо, какой-то офицер в черном плаще.

— Товарищ майор! — прошептал Григорий.— Надо захватить машину! Сядем вместо них да поедем...

Алейников думал о том же, вынимая из кобуры пистолет. Кроме этого пистолета да автомата у Еременко, оружия у них не было.

— Э-э, не годится! — со стоном произнес Яков в следующую секунду.— Вон, гляди...

Из-за кромки леса выползала новая колонна вражеских танков

Со щек, с бровей, с подбородков Алейникова и Еременко капало. Яков с раздражением ударил рукояткой пистолета по мокрой земле.

Еременко же напряженно смотрел в сторону перелеска. Головные танки уже спускались в лощину. Григорий глядел и глядел на них, точно хотел пересчитать, на виске его сильно дергалась тоненькая жилка. Потом уставился на пистолет Алейникова, зажатый в кулаке.

— Товарищ майор! — Голос Еременко был хриплым, неузнаваемым.— Если я попытаюсь остановить машину, то вы можете с первого выстрела...

— Как это... остановить?

— Вы с первого выстрела можете уложить шофера? — мотнул упрямо головой Григорий.— Одиночного пистолетного выстрела в танках не услышат... когда они в лощине будут. Только с первого — иначе мне гибель! И папа зарыдает, поскольку нет у меня мамы... Разве что Валерия поплачет.

Немецкий автомобиль был уже напротив кустарников, за которыми лежали Алейников с Еременко.

— Ты что задумал?

— Последний танк в лощину спускается! — вместо ответа прокричал Григорий.— Запомните — с первого! В шофера... И у вас всего три минуты! Три! Они меня обязательно начнут обыскивать...

Прохрипев эти бессвязные будто слова, Григорий сбросил пилотку, встал во весь рост, поднял руки и, мокрый и грязный, со спутанными волосами, шагнул через кустарник. Алейников услышал, как скрипнул тормозами автомобиль и оба немца, шофер и офицер, выскочили из машины. Шофер прижимал к животу автомат, офицер уже выхватил пистолет. Оба они, направив оружие в сторону приближающегося русского солдата, ждали замерев, когда он подойдет.

Еременко шел так, чтобы не закрыть для Алейникова немецкого шофера. И Якову сразу же стал ясен дерзкий, может быть, даже безрассудный план Григория.

Он понял, когда он должен стрелять в немецкого шофера с автоматом, ни секундой раньше, ни секундой позже.

С того мгновения, как Еременко поднялся со вздернутыми кверху руками, прошло полминуты. Вот прошла минута... Всего через сто двадцать секунд головные танки из немецкой колонны покажутся из лощины. В Алейникове, как всегда в подобные критические отрезки времени, заработал внутренний хронометр. Видимо, так же обостренно чувствовал время и Еременко, потому что Алейников заметил, как тот прибавил шагу. Вот он уже с поднятыми руками стоит возле автомобиля. Немецкий шофер держит его на прицеле, воткнув оружие чуть ли не в лопатки, а офицер, не выпуская пистолета из правой руки, левой, чуть пригнувшись, ощупывает Григория — нет ли где у него оружия.

Алейников знал, что не промахнется. Он прицелился немецкому шоферу в висок.

Когда щелкнул выстрел, Григорий Еременко, мгновенно сцепив пальцы поднятых над головой рук, обрушил сверху страшный удар в шею обыскивавшего его офицера. Позвонки хрустнули, немец, выронив пистолет, повалился. Несмотря на это, Григорий схватил его левой рукой за волосы, а ладонью правой еще раз, для страховки, рубанул по шее. Не теряя времени, сдернул с него плащ, легко забросил тело немца на заднее сиденье автомобиля. Алейников скачками бежал к машине. Еременко нагнулся над немецким шофером, торопливо расстегнул на нем шинель... Через мгновение рядом был Алейников.

— Ловко вы его, товарищ майор, точно в висок! — воскликнул Еременко, торопливо натягивая на себя немецкую шинель, и как-то неуместно даже хохотнул.

— Быстрее! — задыхаясь, проговорил Алейников.— Давай...

Туда же, на заднее сиденье, они втиснули и шофера-немца. Григорий сдернул с него пилотку, поморщился:

— Воняет, зараза.

И полез за руль. Мотор автомобиля еще работал.

Алейников поднял с земли фуражку немца и его пистолет. Уже на ходу машины он накинул черный плащ себе на плечи, потом просунул руки в рукава.

В это время из лощины выполз первый немецкий танк...

...Подъезжая к Жерехову, Алейников почему-то вспомнил этот случай и улыбнулся. Да, тогда они ловко вывернулись. Минут двадцать они ехали впереди немецкой танковой колонны, не вызывая у фашистов никакого подозрения. Потом впереди, на развилке, увидели озябшего немецкого регулировщика — тот тоже ничего не заподозрил, указал направление и даже отдал честь.

— В самое-то ихнее логово нам вроде бы и ни к чему,— пробормотал Еременко еще минут через пять.

— Проедем еще немного. Черт их знает, на сколько километров они прорвались,— ответил Алейников спокойно.

В тот раз немцы вклинились в нашу оборону километров на сорок, и из зоны прорыва они с Григорием выбрались уже к вечеру, пешком, бросив машину вместе с трупами двух фашистов в густо заросшей балке...

Жерехово когда-то было цветущим и большим, дворов на четыреста, селом. Немцы, определив в нем центр Жереховского уезда во главе со штандартенфюрером Лахновским, убравшимся сейчас со своей армией за Орел, в село Шестоково, хозяйничали тут почти два года, большую часть домов сожгли или разобрали для оборудования блиндажей и прочих оборонительных сооружений. Освободили его нынче в феврале, бой за село был особенно жесток, оно несколько раз переходило из рук в руки, жалкие остатки построек были почти начисто уничтожены огнем и снарядами. Сейчас в Жерехове едва ли можно было насчитать десятка полтора хотя и почерневших, но все-таки уцелевших зданий. Всюду, куда ни взглянешь, пепелища, пепелища на месте домов, посреди пепелищ, как повсюду, уныло торчат то более или менее целые, то полуразрушенные печки, с которых дожди давно смыли побелку.

На окраине Жерехова, в измызганной и переломанной колесами и гусеницами молодой березовой рощице, несколько танков заправлялись горючим. На ободранных и перекрученных деревцах кое-где оставались еще листья. Они жалко и беспомощно трепетали под слабым ветерком. «Вот и роща разделила судьбу деревни»,—

больно застонало в мозгу у Алейникова. И ему почему-то вспомнились ни с того ни с сего Громотушкины кусты в Шантаре, сама речка Громотушка, не замерзающая даже в самые лютые морозы, и Вера Инютина, с которой он встречался в зарослях на берегу этой речки. Когда же это было? Давно-давно... Где сейчас Вера? Как она? Все же она оставила в его душе больной и до сих пор не заживающий след. Конечно, сейчас он относится к Вере как-то не так, как раньше, в те времена, когда ходил к ней на свидания. Многое стало теперь ему отсюда виднее. Он-то влюбился без памяти, но она... Конечно, чувства настоящего, искреннего у нее не было к нему. Просто ей льстило, что в нее влюбился, как мальчишка, он, Алейников Яков, «страшный» человек в районе. И вообще, она женщина, которая... Да бог с ней, какая бы она ни была. Все-таки она, его чувство к ней, возникшее неожиданно, как-то разжало ту страшную пружину, которая сдавливала сердце до того, что от боли хотелось выть волком, попавшим в капкан. И он, Яков, благодарен ей. Она, хотя этого никому невозможно объяснить, тоже была причиной тому, что он оказался на фронте. Он хотел попасть в обычную строевую часть, в пехоту, но это оказалось невозможным. И вот он занимается здесь, на фронте, тем же, по сути, делом, что и раньше. Но какая разница! Теперь ему опять ясно, кто свой, а кто враг...

— Останови,— сказал он шоферу.

Алейников вышел из машины, пошел к ближайшему танку, возле которого маячило несколько человек.

— Лейтенант... Вы не из третьего гвардейского полка?

— А собственно, в чем дело? — в свою очередь поинтересовался танкист.

— Я начальник прифронтовой опергруппы Алейников.

— Ну и что? Что за группа такая?

Молоденький лейтенант-танкист явно не имел никакого представления о существовании организации, которую возглавлял Алейников, к тому же, видать, был очень осторожен.

— Особист, что ли? Простите — из особого отдела?

— Нет... Это несколько другое. Мне нужны Савельевы Иван и Семен. Это родственники — дядя и племянник. Они служат в одном экипаже в третьем танковом полку, который придан двести пятнадцатой дивизии.

— Не знаю. Не слыхал о таких.

Неожиданно немцы принялись обстреливать и без того начисто уничтоженное Жерехово, снаряды с утробным звуком рвались посредине бывшего села, вздымая горы земли и пепла.

— Поторапливайтесь! А то как бы и нас не накрыли! — крикнул своим лейтенант-танкист.

— А где штаб дивизии, не знаете?

Лейтенант кивнул в ту сторону, где рвались снаряды.

— Позавчера был там.— И заспешил к танку.— Сейчас где-нибудь тут... поблизости от Жерехова.

Неожиданно вражеский снаряд угодил прямо в одно из уцелевших зданий, в какой-то по виду жилой дом под железной крышей, стоявший в центре села, вверх полетели всякие обломки, а потом из развороченного взрывом здания кровавым бугром поднялось пламя, будто в доме хранился большой запас горючего.

— Постойте! — вдруг обрадованно воскликнул Гриша Еременко. Алейников, не понимая, чему он радуется, недовольно взглянул на него. И Григорий пояснил: — Мне партизаны, когда я ходил сюда зимой по вашему заданию, говорили, что жереховский бургомистр, Лахновский этот, в доме под железной крышей живет, а дом в середке села сильно охраняется. Не подобраться, говорили, а то бы шлепнули давно господина бургомистра. Не в этот ли дом они влепили?

Алейников с любопытством взглянул на подожженный артиллерийским снарядом дом. А немцы, будто удовлетворившись тем, что подожгли его, обстрел прекратили. Танковый взвод, наполнив баки машин горючим, двинулся вдоль искореженной березовой рощицы, танки с ревом уносились, будто проваливались куда-то, оставляя за собой клубы синего дыма. Алейников поглядел, как рассеиваются эти клубы, и сел в автомобиль.

Часа полтора они еще колесили по логам и перелескам вокруг Жерехова, отыскивая штаб 215-й стрелковой дивизии.

* * *

Начальник штаба 215-й подполковник Демьянов сидел над картой, но, увидев вошедшего в блиндаж Алейникова, которого хорошо знал по неоднократным наездам в дивизию по делам, связанным с переходом его людей через линию фронта, обрадованно разогнулся.

— Яков Николаевич! Милости прошу...— И повернулся к худенькой телефонистке, с огромными, как подсолнухи, глазами, сидевшей в углу над аппаратом: — А ты звони этому чертову автомобилисту, пока не дозвонишься.

— Алло, «Сосна», алло, «Сосна»,— тотчас слабеньким, к тому же надорванным, с хрипотцой, голосом заговорила в трубку девушка, скользнув равнодушно глазами по Алейникову.— Алло, «Сосна», «Сосна»... Дайте Двадцать первый. Дайте Двадцать первый...

— Ну, Яков Николаевич, здравствуй, здравствуй...— Подполковник был молод, жизнерадостен, тщательно выбрит. Гимнастерка хорошо отутюжена, подворотничок сверкал белизной, начищенные пуговицы горели.— Пойдем на воздухе покурим.

Блиндаж начальника штаба дивизии был наскоро, видимо, только вчера отрыт на южной стороне небольшого холма, поросшего мохнатыми сосенками. Бо́льшая часть сосен была срублена для устройства самого блиндажа и глубоких щелей, которые тянулись куда-то вправо и влево. На склонах холма торчали многочисленные пни, для маскировки замазанные сверху землей.

Возле блиндажа стояли бронетранспортер, грузовик с разбитым кузовом и почему-то несколько новеньких полевых кухонь. Под двумя большими соснами дощатый некрашеный стол и две скамейки. Тут же на дереве висел умывальник, возле него полотенце. Рядом с умывальником к сосновому стволу было прикреплено маленькое зеркальце. Проходя мимо, Алейников глянул в него, увидел свое усталое, землистое лицо и позавидовал свежести подполковника.

— Бродников! — крикнул начальник штаба.

Появился долговязый сержант, его ординарец.

— Иди встречай командира штрафной роты. Он позвонил, что выехал.

Ординарец ушел куда-то за блиндаж.

— Ну ты, значит, все по-своему воюешь, Яков Николаевич? — Подполковник спросил его с такой усмешкой, будто то дело, которым занимался Алейников, было несерьезным, всего-навсего детской забавой, хотя тут же и добавил:— Вовремя твои ребятки немецкий склад с боеприпасами в Половникове в атмосферу подняли. Иначе ни за что бы нам сейчас не остановить фашиста под Жереховом. Ждут сейчас, как докладывает разведка, состава с боеприпасами из Орла, а может, из самого Брянска. Железную дорогу, говорят, охраняют строже, чем своего фюрера. На земле и в воздухе. Нашим самолетам не пробиться.

Алейников поглядел на часы.

— Охраняют, и не пробиться...— промолвил он, думая о группе своих подрывников, которая два дня назад перешла линию фронта с заданием во что бы то ни стало подорвать этот состав под станцией Глазуновкой. Удастся это им или нет, но заведенный Алейниковым механизм действовал теперь сам собой, и чем-либо помочь он уже не мог. Если все там у них благополучно, состав этот не дойдет, сегодня ночью взлетит на воздух.— В Половникове сержант Сизиков погиб, лучший мой подрывник. Он прикрывал группу, когда она отходила после взрыва. Сознательно пожертвовал собой...

— Сознательно...— Демьянов, вскрывавший новую пачку «Казбека», покосился на блиндаж, в котором находилась сейчас одна телефонистка, вызывавшая какого-то Двадцать первого.— Да, каких мы, Яков Николаевич, людей теряем! И сколько! Да если бы только в бою... в открытом бою!

Начальник штаба дивизии протянул Алейникову раскрытую пачку.

— Где ж ты еще людей теряешь? — спросил тот.

— У меня в полках все медицинские пункты переполнены тяжелоранеными. Многим нужны срочные операции, всякая другая помощь. А в тыловые госпитали вывезти не на чем. Начальник армейского отдела автомобильной службы ни одной машины не дает.

— С автотранспортом для эвакуации раненых, насколько я знаю, везде тяжко,— промолвил Алейников, садясь за стол.

— Да я что, не понимаю! Но от понимания не легче, люди умирают. Ты по каким делам к нам?

Июльское солнце поднялось уже высоко, солнечные лучи пронизывали редкие верхушки сосен, тени почти нигде не было, кроме того места, где стоял дощатый стол. Подполковник расстегнул гимнастерку и носовым платком обтирал шею.

— Сегодня ночью на вашем участке должны мои ребята возвращаться с задания. Мы тоже знаем о том составе с боеприпасами из Орла. Наши люди наблюдали, как его грузили. Пытались магнитную мину куда-нибудь прилепить или в уголь подложить. Не удалось. Не все удается, к сожалению... Послали наспех группу, чтоб на перегоне где-нибудь этот состав... Под Глазуновкой есть удобное место.

— Не сплохуют твои ребятки?

— Не все удается, говорю,— еще раз повторил Алейников и пожал плечами.— Посмотрим... Ну, а заодно земляков вот поискать. Вот этих.— Алейников стал расстегивать планшет.— Где-то у тебя они тут.

Демьянов глянул в газету.

— А-а, вон какие у тебя земляки! Только до них сейчас не добраться. Они на высоте 162,4, а высота окружена немцами.

— Как же... они там оказались?

— Да как? Свой танк они в бою потеряли еще под Соборовкой. Из всего экипажа вдвоем в живых остались. Мы их вчера на самоходку посадили — танков нет. Танкистов достаточно, а вот танков... Бой-то тут, слышал, какой вчера был? Ужас!

— Слышал,— сказал Алейников.

— Самоходкой этой лейтенант Магомедов командовал. Азербайджанец, горячий, как черт. Мне докладывали, что эта самоходка прорвалась в немецкие порядки, смяла фашистскую батарею, но там ее подожгли все-таки. А Семена Савельева контузило... Тогда горящая самоходка назад рванулась и с тылу начала расстреливать наступающие на высоту немецкие танки. Эту высоту батарея старшего лейтенанта Ружейникова обороняла...

— Я знаю эту высотку,— проговорил Алейников.— За ней до самой речки пустое поле, на котором до войны, говорят, гуси паслись да футбольный мяч жереховские ребятишки гоняли.

— Ага, пустое поле. Вокруг высоты вообще голо. Я слышал, это могильный курган какой-то... А я, ты знаешь, по профессии археолог,— зачем-то сообщил подполковник и застенчиво, по-мальчишески, улыбнулся, будто извиняясь за свою довоенную профессию.— Ну, Ружейников намолотил под высотой вражеских танков... Но и из его батареи осталось две пушки и три человека на два орудия. А тут и вырвалась откуда-то из немецкого тыла наша самоходка. Немецкие танкисты, видно, не могли в дыму разобрать, что их с тыла расстреливают, думали, что на высотке несколько наших батарей. Вражеские танки обтекли высоту с обеих сторон, за ними пехота... Так и оказались твои земляки на окруженной высоте. Их там сейчас шесть человек — Савельевы, командир самоходного орудия Магомедов да трое с батареи Ружейникова... собственно, это вчера было шестеро, со вчерашнего вечера сведений не имеем...

Пока Демьянов, дымя папиросой, все это рассказывал, Алейников пытался представить себе, как выглядит сейчас Иван Савельев. Но сделать этого не мог. В памяти держалась одна-единственная картина: Иван, длинный, худой, с заросшими белесой щетиной щеками, стоит в дождевике и старой фуражке на пологом увале, по которому разбрелось колхозное стадо. Через плечо у него длинный кнут... Таким Алейников впервые встретил его осенью сорок первого, когда тот незадолго до этого вернулся из заключения, отсидев свои шесть лет. И разговор их, короткий и нелегкий для обоих, уже несколько дней стоял в ушах Якова:

« — *Здравствуй.*

— *Здравствуй...*

— *Узнал, стало быть?*

— *Я не забывал. Во сне часто снишься.*

— *Обижаешься, понятно, на меня?*

— *Да нет...*»

Интересно, думал сейчас мучительно Алейников, помнит ли Иван тот их разговор? Конечно, не забыл... Есть события, поступки, люди, которые никогда, до самой гробовой доски, не выветриваются из памяти, не стирает их время. Останется ли он, Иван Савельев, жив? Пусть останется...

Алейников во время той встречи с ним еще считал, что отсидел свой срок он справедливо, и с холодной усмешкой спросил еще: «*В военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?*» А тот ответил, как тогда ему показалось, с вызовом, с нехорошим смыслом: «*Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут — что ж, приду*».

Ну да, подумал тогда Алейников, куда ж денешься, придешь. И на фронт поедешь. Только быстренько у немцев окажешься, перебежишь к ним.

И вот — давно Иван на фронте. И не перебежал на сторону немцев. У немцев оказался брат Ивана, Федор, которого Алейников считал человеком верным и преданным. Ах, как права, как бесконечно права была Галина, бывшая жена, которая, уходя от него, бросила: «Ты глуп и тупоголов, как...»

— Самоходку они бросили за минуту до взрыва баков с горючим, как доложил Магомедов вчера по рации,— проговорил снова Демьянов.— И к высоте, к Ружейникову, сумели отойти. А немцев мы остановили только на окраине Жерехова.

Начальник штаба дивизии задымил еще гуще, поглядел вверх, за вершины деревьев.

— Боюсь, погибнут твои земляки. А мы помочь пока бессильны... Но останутся живы или нет, надо, я думаю, их всех к Герою представлять. Недавно твоих земляков к ордену Ленина представили. А надо бы сразу к Герою. Ничего, мы исправим это. Обязательно исправим.

Подполковник бросил окурок вниз между ног, раздавил его носком сапога.

До блиндажа начальника штаба дивизии никаких звуков войны не доносилось, стояла здесь ничем пока не нарушенная тишина, в душной тени под соседними соснами жужжали откуда-то взявшиеся две или три пчелы.

— Высоту эту нам приказано завтра к утру взять. А чем? Мы просили подкрепления, а нам из штаба армии прислали только штрафную роту. А что рота — сотня с чем-то человек...

— Рота? Штрафная? — откликнулся Алейников.— А ты когда-нибудь имел дело со штрафными ротами?

— Не случалось как-то... Разве нам штрафники нужны? Наша дивизия стоит на стыке двух армий. А, какая это дивизия! В ней едва-едва четыре сотни бойцов осталось. В приданных двух полках тоже всего ничего, одни названия. Дивизия соседней армии от нас почти в двух километрах. Немцы этого еще, судя по всему, не знают. А узнают, нащупают это место — и зайдут к нам в тыл. Тогда что? Заткнуть нам эти два километра нечем.

— Не зайдут. Там непроходимые болота.

— Да, может быть, только этим и объясняется, что немцы пока не ударили с тыла...

Алейников еще посидел, задумавшись. Пчелы под соснами все жужжали.

Загудел, приближаясь, автомобильный мотор, из-за сосен выкатился трофейный «опель-капитан» в маскировочных пятнах. Алейников и Демьянов одновременно повернулись на звук.

— Ну, пора мне ехать,— сказал Алейников.— Своих земляков Савельевых, останутся живы, отыщу как-нибудь... если успею. На днях в тыл к немцам ухожу. Прощай.

— Ты... сам? — удивился Демьянов.— Зачем?

— Ну, зачем...— усмехнулся Алейников, вставая.— Есть кое-какие дела...

Говоря это, Алейников ощутил, как в его ушах тоненько запело, зазвенело, будто какая-то пчела, жужжавшая под соснами, подлетела к самому лицу. Откинувшись к стволу сосны, он во все глаза глядел, как из подкатившей машины вышел сначала ординарец начальника штаба дивизии Бродников, потом длиннорукий верзила капитан, непонятно как уместившийся в машине, затем коротенький по сравнению с ним, хотя тоже кряжистый, неповоротливый, старший лейтенант. Верзила как-то нехотя выпрямился во весь свой двухметровый рост и, медленно раскачивая огромными, тяжелыми, как камни, кулаками, сделал несколько шагов к вставшему навстречу начальнику штаба, поднял широкую ладонь к пилотке.

— Товарищ подполковник! Командир переданной в оперативное подчинение вашей дивизии Сто сорок третьей отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин и агитатор роты старший лейтенант Лыков прибыли для получения боевой задачи.

Капитан докладывал не торопясь, отчетливо выговаривая слова. И каждое слово, казалось Алейникову, тяжелой свинцовой каплей падает на горячую землю, ему под ноги, и взрывается там. Он смотрел на широченную спину Кошкина, обтянутую порыжевшей от солнца гимнастеркой, на огромные лопатки, похожие на крылья большой и сильной птицы, и почему-то думал, что, если в эту спину и ударит пуля, она ни за что не пробьет ее, отскочит, как от танковой брони.

— Кто-кто? — переспросил подполковник Демьянов, выслушав доклад.— Как это понять — агитатор?

— Так у нас называется заместитель командира роты по политической части,— спокойно ответил Кошкин, не отрывая руку от пилотки, тоже старой, давно облинявшей.

— Вольно,— произнес Демьянов, с нескрываемым любопытством и даже удивлением разглядывая громадного капитана и старшего лейтенанта. Но те, видимо, давно привыкли к этому, стояли себе, ожидая дальнейших слов начальника штаба дивизии. Руку капитан опустил, но держался все же навытяжку.

Демьянов поглядел на Алейникова. Кошкин тоже скосил свои пронзительно черные глаза, скользнул ими равнодушно по его фигуре и опять стал глядеть в лицо подполковника. «Не узнал»,— с облегчением почему-то подумал Яков, ясно понимая, что через какую-то минуту он сам подойдет к нему, поздоровается и все разъяснится. А какие первые слова скажет Кошкин, узнав наконец его, Алейникова? Что будет у него в голосе, в глазах? Удивление? Брезгливость? Презрение?

— Ну, и... сколько вас в роте? — спросил Демьянов как-то негромко, вкрадчиво.— Какова численность?

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая постоянного состава,—отчеканил Кошкин.

— Сколько?! — Демьянов даже отступил на пару шагов.

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая...

«А за что нас, Яков Николаевич?» — гудел в ушах Алейникова этот же голос, который докладывал подполковнику о численности штрафной роты. Тогда только этот голос был глуше, он был усталый и от усталости, видимо, равнодушен, хотя печальные, обреченные ноты прорывались в нем сами собой. Тогда он, Яков Алейников, зимней и лунной ночью тридцать восьмого арестовал вот этого человека и председателя Шантарского райпотребсоюза Засухина одним заходом. Ясно, будто это было вчера, Яков припомнил, как он стучался в двери сперва одного, потом другого, как из домов обоих доносился женский и детский плач, когда он их уводил... Потом этот вот капитан с колючими короткими усами, почти полностью поседевшими, тогда безусый, в сапогах, тужурке и старенькой меховой шапке, наблюдал, как дежурный камеры предварительного заключения расписывается в книге в приеме заключенных, и тут-то он негромко и спросил: *«А за что нас, Яков Николаевич?»*

Алейников, по-прежнему сидя на врытой в землю скамейке, поставил локти на колени, ладонями закрыл щеки и уши. Ладони были горячими, он услышал, как в пальцах толчками бьется кровь. А может, не в пальцах, а в висках...

— Что значит не считая постоянного состава? — будто издалека донесся голос Демьянова.

— Постоянный состав, товарищ подполковник,— это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал... Всего человек около тридцати,— ровно докладывал Кошкин, опять же нисколько не удивляясь вопросу подполковника. Голос командира роты то отчетливо доходил до Алейникова, то пропадал куда-то, проваливался.— А остальные — переменный, значит, штрафники, заключенные. У нас дело ведь такое: кровью смоет человек преступление — снимаем судимость, отправляем в обычные войска. А в роту поступают новые. Потому и переменный называется.

— Понятно,— сказал Демьянов.— Спасибо, капитан, за разъяснение. Извините уж.

— Это все обыкновенно, товарищ подполковник. Нам постоянно приходится объяснять...

Яков Алейников, чувствуя, как в груди разливается что-то неприятное и холодное, поднялся рывком и шагнул к капитану и подполковнику. Те одновременно повернулись навстречу.

— Здравствуй, Данила... з-э...

— Иванович отчество мое, Яков Николаевич,— так же неторопливо, как рассказывал о составе и численности штрафной роты, проговорил Кошкин.— Здравия желаю, товарищ майор.

— Ты... узнал меня?

— Так точно, Яков Николаевич. Еще из машины, когда подъезжали. Глаз у меня зоркий. Рубец-то на щеке у тебя памятный.

Демьянов с изумлением переводил глаза с одного на другого.

— Вы знакомы, выходит?

— Земляк это мой,— промолвил Алейников.

— Как? Еще один?!

— Что поделаешь! Земля, видать, тесновата стала. Значит, рубец? И тоже... по ночам я тебе снился, выходит?

— Никак нет, Яков Николаевич. Думать о тебе частенько думал. А чтоб сниться — нет. Нервы, должно, у меня крепкие.

Подполковник Демьянов слушал этот разговор и ничего не понимал.

* * *

Спустя час капитан Кошкин, сильно размахивая тяжелыми, как гири, кулаками, нагнув голову, по-журавлиному шагал вдоль улицы деревеньки Малые Балыки, когда-то уютной, видимо утопающей в тополиных зарослях, а сейчас почти начисто стертой с лица земли огненным валом войны. Ступал он тяжело, из-под хромовых, порядком разбитых сапог тугими фонтанчиками брызгала пыль; Кошкин, кажется, с любопытством глядел на стреляющие из-под ног пыльные струйки и негромко рассказывал:

— До самой войны, Яков Николаевич, я сидел... Вместе мы с Засухиным были в лагере строгого режима. Помнишь Василия Степановича-то?

Кошкин поднял голову, глянул на Алейникова. Тот, наоборот, опустил свою.

— Ты прости, Алейников... Ты попросил рассказать, я и говорю.

— Ничего... Ты не жалей меня.

— Да мне что тебя жалеть? — усмехнулся Кошкин.— Ну вот... Лагерь большой был, на севере, в самой почти тундре. Скучать было некогда. Там, в тундре этой, и остался навсегда Засухин Василий Степанович... Воробьев, стой! — закричал вдруг Кошкин вслед обогнавшему их грузовику, замахал руками.

Машина остановилась, из кузова, заваленного какими-то мешками и тюками, выпрыгнул коротконогий старшина, подбежал, приложил руку к пилотке.

— Ты что, сам за «делами» заключенных, что ли, ездил? — Кошкин кивнул на грузовик. И, повернувшись к Алейникову, пояснил: — Это старшина нашей роты.

— Никак нет, товарищ капитан. Я попутно — проверить, не осталось ли какого имущества в эшелоне по разгильдяйству и недогляду. Ничего вроде...

По улице, меж развалин домов, обгоревших деревьев, сновали обыкновенные по виду бойцы — в гимнастерках, в пилотках, в кирзовых сапогах, занимаясь устройством на новом месте. Но они же были и заключенными. После боя, в который штрафной роте предстояло вступить завтра на рассвете, сюда приедет весь состав военного трибунала армии, будет на месте освобождать отличившихся. Таковым в первую очередь считается каждый получивший в бою хоть какое-то ранение. На них напишут боевые характеристики, заполнят справки об освобождении и кого отправят по санротам и госпиталям на излечение, других, с пустяковыми царапинами, откомандируют в различные армейские части. «Дела» погибших в бою будут отложены отдельно, запакованы, опечатаны, снабжены соответствующей документацией и отправлены в армейский трибунал... Мешки и тюки, в которые запакованы сейчас «дела» всего списочного переменного состава роты, сильно похудеют, а может, и вообще станут пустыми. Но это ненадолго, через несколько дней в роту прибудет пополнение.

— Склады ПФС прибыли?

— Так точно, товарищ капитан.

— Все заявки командиров взводов на обувь, портянки, обмундирование удовлетворить к вечеру.

— Удовлетворим, товарищ капитан.— Старшина был рыжеволос, лицо изрезано крупными морщинами, кулаки по-крестьянски большие, как и у самого командира роты.— Ручных пулеметов не хватает, товарищ капитан, процентов на тридцать, автоматов почти наполовину...

— Я знаю. Помпохоз уехал на армейские склады с нашей заявкой.— И Кошкин повернулся к Алейникову: — Оружие заключенным выдается у нас только перед боем.

— Вот как...— зачем-то произнес Алейников, хотя отлично это знал.

— В НЗ выдать по два сухаря, квадрату горохового концентрата, сахар. И по банке свиной тушенки на троих.

— Слушаюсь.

— Поскольку мы уже считаемся в наступлении, можно к ужину выдать по сто граммов водки.

— Слушаюсь.

— И мне фляжку сейчас. Вот встретились... с земляком.

— Сей минут, товарищ капитан,— опять кивнул старшина.

Кошкин и Алейников пошли дальше. Шли и молчали, обоим трудно было продолжать прерванный разговор. Яков Алейников засунул руки под мышки, будто ладони у него зябли, и с каким-то тупым раздражением на самого себя думал, что напрасно он увязался за Кошкиным, напрасно расспрашивает о прежнем... И вообще, встреча эта — лучше бы ее не было. Как в омут, нырнул он, Алейников, во фронтовое месиво огня и смерти в надежде, что все прежнее останется где-то там, в прошлой, далекой и страшной жизни, которая никогда не вернется, ни с кем из людей, так или иначе соприкасавшихся с ним на его прежнем жизненном пути, особенно с теми, для кого это соприкосновение кончалось так трагически, как для Кошкина, он не встретится. Ведь тысячи и тысячи километров фронта, десятки тысяч километров военных дорог, все постоянно движется, кипит и бурлит, как в котле, фантастические размеры которого невозможно и представить. Но именно в силу того, наверное, что все кипит и движется, он, Алейников, узнает вдруг — где-то рядом, не очень далеко, Федор Савельев. Потом из дивизионной газеты узнает о его сыне и младшем брате Иване Савельеве. И, наконец, Кошкин Данила Иванович, которого в партизанском отряде Кружилина звали Данила-громила. Об Иване, Семене, Федоре Савельевых Алейников только слышал, а Кошкин Данила — вот он, живьем, вышагивает рядом, как журавль. Изменился он, бывший заведующий райфинотделом, порядком — голова наполовину поседела, плечи сильнее ссутулились. Черты лица резко обострились, в темных глазах появился какой-то жесткий, пронизывающий свет. Но сколько пришлось ему пережить и перенести! Другой согнулся бы, сломался давным-давно, а этот...

Штрафная рота прибыла ночью эшелоном из-под Валуек, где она длительное время находилась на доукомплектовании. Так сказал еще в машине Кошкин. Завтра с наступлением темноты роте предстояло вступить в бой на стыке 215-й дивизии с соседом.

Отовсюду — из открытых окон уцелевших домов, из-за редких обгоревших и переломанных заборов и плетней, запыленных кустарников, где группами сидели на земле или слонялись бойцы,— неслись крики, хохот, звуки губной гармошки, сочная похабщина. Кошкин на это не обращал внимания. Да и Яков Алейников тоже. Он знал, что такое штрафники. У них свой быт, свои песни, свои законы. В атаку они ходили не с криками «ура» — в воздухе стояла такая густая матерщина, что никли, казалось, кусты и травы. Немецкие солдаты и офицеры, говорят, заслышав такую «музыку», бледнели, у них возникала дрожь в руках и ногах.

Заметив двух офицеров, бойцы немного умолкали, с каким-то интересом и любопытством провожали взглядами Кошкина и Алейникова. Попадавшиеся навстречу солдаты вытягивались и отдавали честь по всем правилам. А это уже говорило о многом.

— Чувствуется, уважают тебя,— сказал Алейников.

— Ага,— ответил не оборачиваясь Кошкин.— Под Валуйками на ночных тактических занятиях дважды в меня стреляли.

— Вот как!

— Да. Хочешь, я тебе его покажу?

— Кого?

— А который стрелял.

Это Алейникова удивило. Любой боец штрафной роты, поднявший руку на командира, должен быть расстрелян на месте без суда.

— Любопытно, конечно.

— Да, тебе будет интересно на него взглянуть,— почему-то ответил Кошкин, свернул в переулок.

Через минуту вышли на окраину села, где кособочилась на земле сорванная взрывом соломенная крыша бывшего колхозного тока. Метрах в десяти от нее дымился костерок, на треноге висело закопченное кривобокое ведерко, в нем что-то варилось. У огня сидели двое бойцов в старых, замызганных пилотках, третий лежал на земле, на надерганной из крыши тока соломе. Он лежал на спине, руки заложил под голову, смотрел в небо и тянул унылую тюремную песню:

...Я помню тот ванинский порт
И борт теплохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на бо-орт,
В холодные, мрачные трюмы...

Двое, сидевшие у костра, видели приближающихся к ним офицеров, но делали вид, что не замечают. Лежавший на соломе все тоскливо голосил:

...Пред нами стелился туман,
Вздымалась пучина морская.
Вдали нам светил Магада-ан,
Столица Колымского края...

— Вста-ать! — рявкнул Кошкин.

Двое сидевших у самого огня медленно и нехотя повернулись на голос, какое-то время смотрели на Кошкина так, будто не узнавали командира роты. Лежавший прекратил петь, тоже повернул голову.

— А-а,— протянул равнодушно один из сидевших и стал подниматься.

Он был высок, чуть сутуловат, и, когда встал, длинные руки его опустились чуть не до колен. Потом поднялся тот, который пел,— парень лет около тридцати, с красивыми смоляными бровями. Он не встал даже, а торопливо, с откровенно издевательской подобострастностью вскочил, вытянулся, обнаружив великолепную фигуру, бросил руку к виску.

— Здравия желаю, товарищ капитан. И товарищ майор. Извините, ослабли зрением. Должно быть, от долгого полового воздержания глаза у меня сохнут. А у Кафтанова с Зубовым и другие органы... хе-хе...

— Молчать!— опять крикнул Кошкин, на этот раз не очень громко. Но в голосе его было столько властности и металла, что даже у Алейникова где-то внутри возник, пробежал холодок.

Макара Кафтанова он узнал сразу, едва услышав фамилию, определил его по широким крыльям носа, как у его отца, Михаила Лукича Кафтанова, по закопченным глазам, как у его брата Зиновия, которого он, Яков, когда-то выследил в Громотухинской тайге и приволок в кабинет к Кружилину. И Зубова узнал — память на людей у него была цепкая.

Алейников не удивился теперь уже еще одной встрече с земляками, стоял и смотрел на Макара Кафтанова, потом на Зубова. Гимнастерка на Кафтанове была расстегнута, тощая грудь густо покрыта синими наколками.

— Который же стрелял из трех? — спросил Алейников.

— А вот этот. Это сын того полковника Зубова, который тебе метку на всю жизнь оставил. Помнишь?

— Ну как же. Старый знакомец.

Петр Зубов шевельнул ресницами, от чего кошачьи глаза его блеснули. Макар Кафтанов запустил руку под гимнастерку, почесал грудь, но под взглядом Кошкина начал гимнастерку нехотя застегивать.

— А этот, певец, кто?

— Фамилия его Гвоздев...
— А-а,— кивнул Алейников.— Тоже земляк. Слыхал...
— Ладно, отдыхайте. Пошли, Яков Николаевич.
Зубов с Кафтановым немедленно опустились на землю, а Гвоздев все стоял, хлопая ресницами, поворачивая голову вслед уходящим. Потом до Якова и Кошкина донесся удивленный его вскрик:
— Бра-атцы кролики! Это ж Алейников... Энкеведешник шантарский!

* * *

— Василий Степанович Засухин от воспаления легких умер. Вместе мы схватили это с ним... На ветру, под дождиком осенним однажды недели с две вечную мерзлоту долбили. Что строили, не помню. Снизу мерзлая земля, мокрые ледяные глыбы. Опорки раскисли, ноги окоченели. А сверху ледяной дождь... Ну, в лагерный лазарет нас. На моих руках и отошел...
От выпитой водки капитан Кошкин чуть порозовел, на лбу выступили мелкие капли пота. Он вынул носовой платок, чистый, тщательно отутюженный, аккуратно сложенный вчетверо, промокнул лоб. На улице калило солнце, а в комнате полусгоревшего дома было прохладно. Когда к столу подходил ординарец Кошкина, молодой и по виду не обстрелянный еще солдат, у которого на груди, однако, поблескивала медаль «За отвагу», под его ногами пружинили и потрескивали пересохшие половицы.
— Помер он не от воспаления. Просто не выдержал больше старик. Быстро там износился. Остановилось сердце — и все. Это все до войны случилось, в сороковом...
В виски Алейникова больно долбила кровь. И это не от водки — Алейников пил и не пьянел. Водку он не любил, но был крепок на нее, а на фронте так вообще она нисколько почти не брала его. И чтобы избавиться от этой боли, вслух сказал, почти простонал:
— Пожил бы ведь еще! Пожил...
— Конечно,— согласился Кошкин.
Алейникову показалось, что слово это он произнес насмешливо и глядит сейчас на него тоже насмешливо, презрительно. С трудом, чувствуя, как ноют и будто скрипят шейные позвонки, поднял голову. Нет, в лице Кошкина не было ничего подобного, да и вообще он глядел куда-то в стену, думал о чем-то. И Алейников безошибочно определил — о завтрашнем бое.
В дверях появилась чья-то грузная фигура, вошел пожилой лейтенант-медик, распаренный, распухший от жары, в почерневшей от пота по краям пилотке, которая лежала на плоской голове блином, едва прикрывая лысину.
— Ну что у тебя? — спросил Кошкин.— Это начальник нашей санчасти.
— Палатки развернули, Данила Иванович. Двенадцать санинструкторов прибыло из запасного полка... Ничего, завтра мы справимся. А на чем тяжелораненых будем в армейский госпиталь увозить? — Начальник санчасти говорил это, пыхтя и отдуваясь.— Я дал заявки в дивизию и армию. Подполковник Демьянов говорит, что у них свои люди умирают, не могут вывезти. Не хватало, говорит, чтоб еще штрафников каких-то... А штрафники что же, не люди? И в штабе армии не обнадежили.
— Ладно. Сейчас пообедаю и займусь всеми делами... «Мыльников» много?
— Четверо, Данила Иванович. Двое из третьего взвода, по одному из четвертого и шестого.
— Сволочи...— И повернулся к Алейникову: — Мыло глотают некоторые умельцы перед боем. От этого прямая кишка выпадает — и месяц госпиталя. Судить подлецов!
— Да оформим,— сказал начальник санчасти вяло.
— Ладно, иди.
Лейтенант-медик ушел, Кошкин долго ковырялся в тарелке, потом бросил вилку.
— До чего только не додумаются! Вот, даже мыло едят... Смердят на земле, а жить тоже охота...
— А ты сам-то как на этой должности оказался?

— Да как? В самом начале войны еще на фронт добровольно пошел.— Кошкин усмехнулся.— Доброволец! В штрафную роту, конечно. И то еле-еле выпросился. До середины прошлого года штрафных рот почти ведь не было, потому не так-то просто было попасть. Начальник лагеря добрейший был человек, помог. Ходатайствовал. Уважал он нас с Василием Степановичем... Ну, в общем, зимой сорок первого меня уж и окрестили. Ранение, на счастье, пустяковое — мякоть руки навылет. Через две недели зажило. Боже мой, как я вздохнул! Из санчасти иду после перевязки и чувствую — воздух другой, люди другие. И снег... Оказывается, снег кругом сверкает. Будто не видел до этого, что зима. Вот ведь что свобода делает...

Кошкин крикнул, чтоб ординарец принес чаю, и долго сидел, зажав голову руками, будто она у него тоже, как у Алейникова, разламывалась от боли.

— Да... Ну, а потом обыкновенно. В штрафной роте и остался, как вот Михаил,— кивнул он на вошедшего с чайником ординарца.— Не захотел я в другую часть. Не знаю уж, почему... Командиром отделения попросился.

— Да это ж понятно, что тут объяснять,— подал голос ординарец.

— Ладно, ступай,— сухо бросил ему Кошкин. И когда тот вышел, проговорил: — Не смотри, что он такой благостный. До войны бандитствовал, подлец. Ну, сейчас-то уж не подлец.

— Не подлец?

— Не-ет,— мотнул головой Кошкин.— Штрафная рота тоже из дерьма людей делает... Ну вот, служил, воевал. Все в той же роте. Младшего лейтенанта за одно дело дали. Ну, и начал расти... У нас же год за шесть идет. Был потом и командиром взвода, и агитатором. А в прошлом году, в августе, эту роту получил... после приказа Верховного номер двести двадцать семь. Слыхал, конечно?

Алейников кивнул. Этот жесткий и единственный, может быть, в своем роде приказ Народного Комиссара Обороны и Верховного Главнокомандующего Сталина был вызван суровой необходимостью. Прошлым летом, когда он, Алейников, находился в Краснодарском крае, организуя вывозку скота, зерна и других сельхозпродуктов, докатывались слухи, что в некоторых частях Красной Армии, оборонявших Новочеркасск и Ростов, вспыхнули «отступательные» настроения и что эти города были якобы оставлены без серьезного сопротивления. Соответствовали ли слухи действительности, узнать не было возможности. А в конце июля или начале августа он уже читал этот знаменитый приказ, безжалостный в своей прямолинейности: «...Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа... После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба... Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину...»

Далее в приказе говорилось о необходимости повышения порядка и дисциплины в войсках, о ликвидации отступательных настроений. Надо, говорилось в приказе, упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности, ибо отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину, надо во что бы то ни стало, любой ценой, остановить, затем отбросить и разгромить врага.

Этим приказом предписывалось «безусловно» снимать с постов и предавать военным судам всех командиров, начиная с командующих армиями и кончая командирами и комиссарами полков и батальонов, допустивших без приказа свыше отход войск с занимаемых позиций. Старших, средних и младших командиров, политработников и рядовых бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, отправлять в штрафные подразделения, ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать возможность искупить кровью свою вину перед Родиной.

Яков до сих пор помнит, как у него заныло, занемело от холода в груди, когда он читал этот приказ.

— Я боялся — после этого приказа меня в такое штрафное подразделение назначат,— проговорил он.—Вот тогда бы я уж не выдержал... Да, к счастью, обошлось.

Кошкин быстро взглянул на него, усмехнулся.

— Ну, выдержал бы. Раз надо. Человек — он своих сил еще не знает.

Алейников давно, с самой первой минуты встречи с Кошкиным, чувствовал какое-то большое и безграничное превосходство этого человека над собой.

— Выдержал бы,— еще раз сказал Кошкин.— Приказ этот правильный. Необходимый, если точнее. Война, брат, она ни с чем не считается. Ничего не попишешь.

Он вынул из лежащей на столе пачки папиросу, чиркнул спичкой. Жадно глотнул табачный дым, медленно выпустил. И, глядя почему-то на кончик папиросы, опять усмехнулся.

— Да-а, Яков Николаевич... Вот где мы встретились. При таких-то обстоятельствах... А ты, угадываю я, все маешься. А?

— Прошлое в памяти живет, не истребить его ничем,— проговорил Алейников. Он помолчал, вздохнул и продолжал: — Ты вот, ты кричал мне тогда, в моем кабинете: «В кого же ты превратился, Яков? У тебя руки по локоть в крови!» Что же... ты был прав. Засухин Василий Степанович погиб... Баулин Корней, бывший наш председатель райисполкома, доходили до меня как-то слухи, тоже умер... Значит, и их кровь на моих руках... Сознание это сосет, высасывает у меня все живое внутри. Разгрызает все. Я ведь тоже человек.

Командир штрафной роты смотрел на него, Алейникова, прищурив веки, и где-то в глубине его сузившихся глаз холодно и враждебно горели черные зрачки.

Потом злой огонь в глазах стал вянуть и быстро потух, на лбу то собирались, то исчезали морщины. Он раздавил на тарелке окурок и тотчас вынул новую папиросу.

Алейников налил в кружку из чайника, раза два-три хлебнул торопливо и со стуком отставил кружку.

— Позапрошлой зимой, когда я собирался сюда, на фронт, Кружилин мне врезал: «Нашкодил ты в жизни, а теперь в кусты?! А нам предоставляешь возможность исправлять твои грехи. Нет уж, давай, говорит, вместе объяснять людям, что произошло, давай вместе и исправлять...» Но как исправлять?! Тут, на войне, я не бездельничаю, не отсиживаюсь в прохладном месте... Сколько раз бывал в таких пеклах! В тыл к немцам ходил не однажды. И готов в самое кромешное, в самое кровавое месиво в любую секунду. Этого достаточно, чтоб исправить?

— Это просто наш долг с тобой, Яков,— сказал Кошкин.— Как и всякого нормального человека. Нашу землю фашисты топчут.

— Ага, значит, недостаточно! — прервал его Алейников.— Вот поэтому и маюсь... Но исправлять — ладно. А как, чем объяснить все же мою вину? Моей кровожадностью, что ли? Может, я ненормальный, может, я испытывал животное удовлетворение, когда тебя, Засухина арестовывал? И других... Не понимал я чего-то — было. Но я и сейчас многого не понимаю!..

— Чего кричишь-то? — остановил его Кошкин.

Яков обмяк, во всем его теле вдруг явственно обозначилась неимоверная усталость. Он тяжело поставил локти на стол и уронил в ладони голову.

— Тут закричишь.

Так он и сидел, пока командир штрафной роты не произнес:

— Ну, мне пора, Яков Николаевич.

На улице был прежний изнурительный зной. Неподалеку от дома, в котором они обедали, возле развалин какой-то постройки, стояли две распряженные лошади, яростно мотали головами, одурев, видно, от жары. Чуть поодаль дымилось две кухни, но людей ни возле разрушенного сарая, ни возле кухонь не было видно.

Едва они вышли, сзади неизвестно откуда возник ординарец Кошкина.

— Ну что?

— От Седьмого шифровка пришла, товарищ капитан, из узла связи звонили. Только что.

— Хорошо. Как расшифруют, пусть немедленно несут. Я провожу майора — и в третий взвод. И обзвони — пусть все командиры взводов туда собираются.

— Слушаюсь.

Ординарец исчез так же неожиданно, как и появился. Алейников только на мгновение отвел взгляд, и ординарца уже не было.

— Седьмой — это начальник штаба нашей армии. Наверное, новый комплект прибывает.— Кошкин усмехнулся.— У нас ведь так: один бой — и я остаюсь без списочного состава. С остатками — кого пуля или осколок не тронули — отходим на доукомплектовку. Остаток бывает, как правило, чисто символический.

— Да это понятно,— сказал Алейников.

— Освобождаем иногда и таких, которые в бою и царапины не получили, но отличились, проявили отвагу и бесстрашие. Но трибуналы на это идут неохотно.

Они шагали к берегу речки, протекающей на задах бывшей деревни. Там, под жидкими деревцами, переломанными колесами немецких и советских танков, грузовиков, повозок, остался Гриша Еременко с машиной — он попросил разрешения искупаться, постирать белье, портянки.

Унылая картина разрушенной деревушки — груды обгоревших бревен, развороченные взрывами постройки, торчащие среди пепелищ печные трубы — угнетающе действовала на Алейникова. Все это он видел десятки и сотни раз, но привыкнуть к таким картинам не мог, сердце у него всегда больно сжималось, и Якову чудилось, что обезображенная земля истекает своей земляной кровью и весь земной шар, как живое существо, тяжко, мучительно стонет от невыносимой боли.

Как только они вышли из дома, Алейников поднял с земли сухой прутик и всю дорогу нащелкивал себя по голенищу. Наконец он отбросил прутик и остановился.

— Знаешь, что мне хочется сказать тебе? Хотя ты вряд ли поверишь...

— Ты скажи, а я тебе честно отвечу, поверю или не поверю.

— Завидую я тебе. Всей твоей... судьбе.

Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.

— Я верю тебе, Яков,— сказал Кошкин тихо и грустно.

И именно потому, что он произнес это негромко, чуть раздумчивым голосом, Алейников убедился в его искренности, к горлу что-то подступило, он отвернулся и глянул зачем-то вверх. Косматое солнце больно хлестануло его по глазам, он закрыл их и потер пальцами веки.

— Мы, Яков, много там с Василием Степановичем Засухиным толковали о тебе... и вообще обо всех этих делах,— меж тем говорил Кошкин.— Светлая была у него голова. Ну, сладко ли там, горько ли нам было, сам понимаешь. Я в нашем горе тогда тебя во всем винил. Василий — больше Полипова, который был секретарем после Кружилина. «Вот это, говорил, страшный человек».

— Ну что ж... спасибо ему, Василию Степановичу,— с трудом, через силу вымолвил Алейников.

— Да-а... Больше — Полипова, но не во всем. А во всем, говорил он, люди разберутся рано или поздно.

— Наверное... Иначе как же? Что бы я ни отдал, чтобы дожить до этого времени!

— Доживем, Яков Николаевич! — убежденно произнес Кошкин.

После этих слов Алейникову сразу стало как-то свободнее и легче, будто тяжкий каменный жернов, незримо лежавший на плечах, вдруг неизвестно каким образом начал превращаться в песок и осыпаться вниз, к ногам. Яков радостно повел плечами, посмотрел Кошкину прямо в глаза.

— Не представляешь ты, Данила Иванович, как я рад, что судьба свела нас тут, что мы встретились. Поверь еще раз — я не могу и представить сейчас, как бы жил дальше без этой встречи...

— Да что ж,— проговорил тот,— я тоже, Яков, доволен...

Из-за порыжелого холма, который огибала спускающаяся из деревни вниз, к речке, дорога, показался ординарец Кошкина, увидел своего командира, побежал бегом.

— Шифровку расколдовали,— сказал Кошкин.

Ординарец, подбежав, бросил руку к пилотке, хотел что-то доложить, но командир роты опередил:

— Ладно, давай.

Он взял из рук ординарца листок, глянул в него, усмехнулся.

— Так и есть. Через три дня пополнение прибывает. Не могли повременить, черти. После завтрашнего боя у нас столько дел будет.

— Заботятся об нас, Данила Иванович...— с усмешкой вставил ординарец.

— Разговорчики! — оборвал его Кошкин.— Командиры взводов собрались?

— Так точно, товарищ капитан.

— Ступай. Я сейчас приду.

Ординарец повернулся и побежал обратно к холму.

— Славный парень из него получился. Два раза жизнь мне спасал.

Кошкин положил шифровку в карман гимнастерки, поправил пистолетную кобуру.

— Доукомплектовка под Щиграми будет...— Кошкин усмехнулся.— Веселое это времечко — доукомплектовка — у нас. Поездной конвой отбывает восвояси, а свежие штрафнички и начинают развлекаться. В основном грабеж мирного населения. Отлично знают, предупреждены, что за это расстрел на месте. Но такие есть артисты! Пока утихомирим...

— Да, представляю. Не представляю только, как справляетесь.

— Остатки от прежнего состава крепко помогают. Знаешь, штрафник, побывавший в бою, совсем другой человек. Удивительно порой, как несколько часов, иногда даже минут — хотя короткие бои у нас случаются редко — меняют людей. Такие уркаганы, что пробы ставить уже негде, вроде вон моего ординарца, человеческий облик обретают. А то и ягнятами становятся. Туда ведь, за край жизни, заглядывать страшно, там можно многое увидеть. И весь уркаганный лоск сразу лохмотьями слезает... Ну что ж, Яков...— И Кошкин протянул руку.

То ли потому, что Кошкин назвал его просто по имени, то ли оттого, что в голосе командира штрафной роты явственно прозвучала искренность, сердечность даже, Алейников вдруг опять разволновался, как мальчишка, почувствовал, что к лицу подступила вся кровь. И, еще больше смешавшись от мысли, что Кошкин заметит его состояние, торопливо схватил протянутую руку, но не пожал ее, а грубо дернул Кошкина к себе, обнял за горячие плечи.

— До свидания. Спасибо... Останемся живы — встретимся в Шантаре.

— Встретимся, Яков Николаевич, чего ж...— сбивчиво промолвил и Кошкин.

— Непонятно мне только: чего ж ты этого типа... этого Зубова не расстрелял? — неожиданно для самого себя проговорил Алейников.— Он же снова может...

— Не думаю,— ответил Кошкин, оправляя гимнастерку.— И как тебе сказать? Любопытен мне чем-то этот тип.

— Чем же?

— Ну как же... Ведь сын нашего классового врага, как говорится, царского полковника, колчаковского карателя, с которым мы в гражданскую дрались,— усмехнулся Кошкин.— Как-никак пусть под гнетом закона, но воюет за интересы, противоположные интересам его отца... Эта троица — Зубов, Кафтанов, Гвоздев — прибыла в роту давно. Участвовали уже в двух боях. И странное дело — ни один из них даже царапины не получил. Будто заколдованные. Все трое барахло человечье, конечно, но в боях вели себя по-разному. Кафтанов и Гвоздев все норовят в бою за спины других. А Зубов в самое пекло лезет. А он у них главарь... Что он, смерти ищет? Или что-то тут другое?

— Смерти-то вряд ли. На ранение рассчитывает.

Кошкин глянул на часы, машинально проверил, все ли пуговицы застегнуты на гимнастерке.

— Может быть, и так. Но люди, Яков, интересные, что ни человек, то... экземпляр. А в Валуйках, по-моему, он, стреляя в меня, промахнулся умышленно.

— Да? Зачем же тогда стрелял?

— Ну, у них, у воров, не как у фраеров,— усмехнулся Кошкин. — Надеюсь, жаргон их знаешь? Штрафники из уголовщины все считаются ворами. Остальные для них фраеры. А воры живут и здесь по своим законам... Возможно, Зубов провинился в чем-то перед другими, более могущественными ворами, а те приговорили его таким образом загладить вину. Может, задолжал кому. Или просто в карты меня проиграл. У нас ведь и такое бывает. Нынче весной двух командиров взводов таким образом потеряли. И виновных не нашли, к сожалению.

— Где ты находишь мужество... командовать этой ротой?! — воскликнул невольно Алейников.

— Н-да... А я вот тоже не могу тогда понять: где ты, Яков Николаевич, берешь мужество, чтобы в тыл к немцам ходить, в самое их логово? — И командир штрафной роты в третий раз глянул на часы.— Ну, извини, мне давно пора. Каждый бой для нас — это бой-прорыв, топтаться на месте, а тем более отступать мы не имеем права. Так что надо мне подготовить роту.— Кошкин взглянул на Алейникова и чуть изменившимся голосом, отчетливо выговаривая каждое слово, переспросил: — Значит, боялся попасть в командиры к штрафникам?

В глазах у Алейникова вспыхнули колючие искорки. Алейников это почувствовал сам и тут же притушил, спросил с грустной горечью:

— Смеешься?

— Да нет, Яков. Командовать штрафной ротой — не мед пить,— со вздохом ответил Кошкин.— Но приказали б тебе — и стал бы командовать.— Голос его дрогнул и посуровел, зазвучал жестче, на скулах вспухли и заходили желваки.— Идет война с жестоким, озверевшим врагом. Не на жизнь, а на смерть идет! И тут не до личных эмоций и желаний. Надо будет Родине — мы выполним любой ее приказ. Любой!

* * *

Алейников, перебирая в памяти разговор с Кошкиным, спускался по тропинке к речке, где остался Гриша Еременко с машиной. Тропинка шла по косогорчику, заросшему травой, еще не пожелтевшей под солнцем, но и давно не свежей. Слева чернели две, одна возле другой, огромные воронки от тяжелых снарядов, в каждой яме могло бы спрятаться по танку. В траве и по краям белели искрящиеся шарики поспевших одуванчиков, и Алейников почему-то подумал: «Интересно. У каждого жизнь своя. Наверное, уж после того, как сюда упали снаряды, одуванчики успели расцвесть, созреть и дать семена...»

Все время, пока разговаривал с Кошкиным, у него было почему-то желание сообщить, что тут неподалеку еще несколько их земляков, и удивить, что один из них, Федор Савельев, предал Родину, служит у немцев карателем, но не сообщил, как-то не нашел для этого подходящего момента в разговоре и теперь жалел об этом.

Тропинка вильнула в низкорослый кустарник, выбежала из него на речную луговину, и там, у края кустарника, в жидкой тени, сидел Зубов и строгал перочинным ножом прутик. Метрах в двухстах от Зубова стояла на берегу речушки машина Алейникова, блестя под солнцем вымытыми стеклами. Еременко в одних трусах лежал рядом с машиной на траве, загорал. «Ишь химик»,— с завистью, но без раздражения подумал Яков, вспомнил вдруг второй раз за сегодняшний день жену Галину и ее сына и то, как они все втроем ходили иногда на Громотуху и жена, накупавшись, подолгу лежала на песке или траве — она очень любила загорать. «Где она сейчас? — подумал он.— Врач же, на фронте, видимо. Жива ли?»

При мысли о бывшей жене сердце Алейникова тупо заныло. Он глянул на поднявшегося навстречу Зубова и как-то даже не удивился, что тот сидит здесь, прошел мимо, все думая о жене, о том, что Галина была ведь единственной женщиной, которую он знал как мужчина, она была хорошим человеком, но жизнь сложилась так, что он ее потерял навсегда.

— Товарищ майор,— услышал Яков и обернулся к Зубову,— разрешите спросить, товарищ майор?

— Спрашивай.

Зубов, подойдя, остановился, опустив длинные руки. И глаза опустил вниз, будто разглядывая кулаки, молчал.

— Ну, так что же вы? — проговорил Алейников, неизвестно зачем употребив это «вы».— У меня нет времени.

— Я давно хотел поглядеть на вас,— усмехнулся угрюмо Зубов и поднял глаза.— Еще там, в Шантаре, позапрошлой зимой. Да не успел — забрили нас. Вы ж, наверно, помните? А я специально тогда в Шантару приезжал...

— Какая честь! И что во мне такого интересного?

— Шрам вот этот на лице.

— Вон что! — Алейников с любопытством взглянул на Зубова.— Ну, и что же ты хотел спросить?

— Что? — опять усмехнулся Петр Зубов.— Да просто хотел вопросик задать: смысл-то жизни в чем?

— Та-ак...— Алейников вспомнил все, что говорил ему только что об этом человеке командир штрафной роты, с новым каким-то любопытством оглядел Зубова.

Гриша Еременко, заметив своего начальника, стоял, уже одетый, возле машины.

Зубов вынул перочинный нож, срезал прутик и начал его строгать.

— Вопросик! — сказал Алейников.— А может быть, мы несколько сузим эту тему? И, скажем, смысл-то чьей жизни? Твоей? Моей?

— Зачем суживать? Я спрашиваю вообще...— И рукой, в которой был зажат перочинный нож, Зубов описал перед собой круг.

— Ну если вообще... Вообще смысл жизни — в борьбе за счастье людей.

Слова эти не произвели на Зубова никакого действия. Он не торопясь, равнодушно срезал с прутика листочки один за другим. Потом поглядел в сторону — там неширокая речка больно сверкала на солнце, утекала за молодую рощицу из берез и осин. За рощицей поднимались какие-то жиденькие дымы и таяли, рассасываясь в летнем горячем небе бесследно.

Потом он усмехнулся.

— Я мальчишка был, но помню — отец мой также говорил, что он воюет за счастье людей, за судьбу России... Метку-то на щеке он вам, я слышал, оставил?

— Он,— кивнул Алейников.— По-разному мы с ним понимали счастье людей. И судьбу России.

— Ну да... Потому он тебе и прилепил этот шрам. А вы его, потому что по-разному, убили! Вы... ты лично виноват в его смерти! — прохрипел зловеще Зубов.— Я все знаю! Ты вывел тогда весь партизанский отряд из каменного мешка, куда загнал вас отец! Ты привел отряд на заимку. Я кое-что помню! Вы напали ночью на нас, сонных...

Алейников не испугался хрипучего и зловещего голоса Зубова, не оскорбило его и то, что этот солдат-штрафник вдруг начал говорить ему «ты».

— А что ж удивляешься? Он нас бил насмерть, мы — его... Тут уж кто кого! Борьба классов. Ты, понятно, за отца нам не простишь никогда, сердце все стонет. Ты в Кошкина, в командира своей роты, стрелял...

— Она не моя. Она штрафная! — ощетинился Зубов.

— И ты рано или поздно, при первом удобном случае, к немцам перейдешь... сдашься, служить у них будешь!

— Дурак ты,— негромко сказал Зубов.

— Что-о?! — вздрогнул Яков, точно его ударили, и рука сама собой скользнула к кобуре, хотя краем сознания он все же понимал, что, если выхватит пистолет, сделает глупость. Стрелять все равно не будет. За что же стрелять? Штрафник этот стоит себе спокойно с перочинным ножичком, строгает палочку. За оскорбительное слово? Хорош он тогда будет.

Зубов краем глаза наблюдал за Алейниковым, позы не изменил, только перестал строгать и окаменел весь, ждал... Рука Якова обмякла, опала.

— То, что слышал, — усмехнулся Зубов.— Меня, к твоему сведению, немцы еще в сорок первом из Курской тюрьмы освободили и должность в городской полиции давали. И если б я схотел...

— Чего ж не схотел? — спросил Алейников, испытывая к самому себе мерзкое чувство за то, что не сдержался и чуть не выхватил пистолет.

— Не знаю... А пушку свою ты бы все равно не успел вытащить,— еще раз усмехнулся Зубов и поглядел на свой скромный перочинный ножичек.— Вот эта штучка острее бритвы. Чиркнул бы по шее — и хрипел бы сейчас... Тогда-то мне бы уж ничего не оставалось, как к немцам.

Зубов тяжко и шумно вздохнул, с резким щелчком закрыл свой перочинный ножик, спрятал в карман.

— Ладно... Отца я жалею, конечно. Но сердце не стонет, перестало,— сказал он негромко. И, поймав на себе взгляд Алейникова, добавил: — Я и сам удивляюсь. Видно, делает время свое дело. И борьба классов — ладно. Я попытался кое-что и в этом вопросе понять, разобраться. Книги этого бородатого Карла Маркса пытался читать. И Ленина вашего...

— Ленина? И Маркса?!

— А что ж ты думаешь? Ну, понял я мало. Я несколько лет в гимназию ходил — и все. Остальное образование по тюрьмам получил. Тут я профессор. Но главную мысль насчет борьбы этих классов уловил...

Зубов склонил большую, давно не стриженную голову вниз и замолчал. Потом встряхнул головой.

— Бедные, богатые, капитализм, коммунизм... Все в мире как огонь и вода. В общем — кто кого зальет...

— Примерно так,— сказал Алейников.

— Чего примерно? — Глаза Зубова заблестели как-то странно, явственно проступила в них унылая и, кажется, застарелая боль.— Так и есть! И когда схлестнутся, пар до неба свищет. Кровавый.

— Кровавый,— согласился Алейников.

— Я мальчишкой был, и меня этот пар насквозь ошпарил. Да, к беде моей, не до смерти. И пошел я от злости куролесить. И еще — от бессилия, от тоски. Не поверите?

Взгляд Зубова, этого солдата-штрафника, был открытым, незащищенным каким-то, в зеленоватых глазах стояла все та же боль. И Алейников сказал не сразу:

— Что ж... Понять это я могу.

— А тогда это еще больше, чем поверить,— будто самому себе проговорил Зубов.— Только не подумайте, Яков Николаевич, что я помощи какой-то от вас хочу, из штрафной роты, мол, пытается выбраться... Это меня оскорбит, я гордый. Не-ет...

— Этого я, Зубов, не думаю...— И, глядя, как тот переломил и бросил свой оструганный прутик, добавил: — А разговор у нас, чувствую, долгий будет. Сядем тогда, что ли...— И он первый опустился на обочину тропинки, в бледную тень от редких кустарников.— Сколько у тебя сроку-то было?

— У меня — вышка,— коротко сказал Зубов.

— За что?

— За совокупность.

— Это как так?

— Когда взяли меня в Шантаре зимой сорок второго... Макар Кафтанов там автолавку какую-то пощупал, а я был ни при чем. Что я за птица, им было неведомо, но ясно, что фазан — взяли меня с оружием. Покрутили-повертели и отправили всех троих — меня, Кафтанова и Гвоздева в Новосибирск. Ну, а там я судился раза четыре. Подержали там месяцев шесть, раскопали всю мою скромную деятельность. Сроку у меня было ровно пятьдесят лет. Думал я, не все наскребут. Я и в Киеве судился, и на Кавказе... И еще кое-где. Война ж, думаю, кое-чего и не добудут. Нет, прояснили все до конца. Хорошо работаете. Пенсию не зря получать будете. Ну, и решили, видно: хватит валандаться, все равно из тюрьмы живым человек не выйдет, так и так хоронить за казенный счет — и приговорили к высшей мере... Я даже как-то и... не шелохнулся. Онемело все внутри только,— и приятно стало: наконец-то, думаю... С тем и сижу в камере смертников. Но...— Зубов сплюнул в сторону сквозь белые и крепкие зубы.— Вот же проклятая человечья порода! Душа устала, тело покоя просит, а в мозгу, слышу, посасывать стало: неужели и вправду конец?! Короче, написал бумагу о помиловании. Биографию всю изобразил. Осколок, мол, человечий я... Про отца написал все, в общем. И еще на два момента упор сделал. У немцев, хотя они предлагали службу, не остался, мне, русскому, невмоготу видеть, как они нашу землю поганят. И что мокрых дел за мной не было.

— Не было?

— Ни одного,— сказал Зубов.— Не люблю я этого.

— Не любишь? Ты ж в Кошкина, в своего командира роты, стрелял!

— Ну и что? — Зубов как-то брезгливо дернул губами.— Живой же он... В общем, в помилование не верил и не ждал его. Таких, как я, с таким сроком, не милуют. Я ненавидел себя за слабость — я не люблю на колени становиться... А оно пришло, заменили мне вышку штрафной ротой.

В зеленых глазах Зубова плеснулась усмешка и тут же погасла, они снова стали пустыми и грустными.

— Скажи... ты умышленно стрелял в Кошкина мимо? — спросил Алейников.

Зубов, не поднимая головы, бросил на Якова взгляд исподлобья и тут же опустил короткие, выгоревшие на солнце ресницы. И ничего не ответил, только чуть заметно пожал плечами.

— Ну, а... почему стрелял? Что тебя заставило?

— Вам это очень нужно знать?

— Любопытно.

— По приговору.

— По какому? Как понять?

Зубов поглядел на стоящую неподалеку машину Алейникова, наблюдая, кажется, за шофером, который от нечего делать ходил вокруг эмки, постукивая сапогом в скаты.

— В Валуйках ротой и не Кошкин командовал,— хрипуче произнес наконец Зубов.— Был тогда в роте...— И вдруг оборвал себя на полуслове, поднял тяжелую голову.— Ваши дела, гражданин Алейников, должно быть, не сладкие. Я уж знаю... А наши еще страшнее. Может, не надо об них до конца-то?

— Я не слабонервный,— усмехнулся Алейников.

— Ладно,— уронил смешок и Зубов.— Был тогда в роте штрафник Мишка Крайзер по кличке Горилла. И по виду горилла. В зоопарке я только видел таких в железных клетках. Страшный человек, во всем преступном мире известный. Я против него птичка-синичка. Он и был верховным в роте... Такие дела творил! И на людей в карты играл... Прошлой весной командира своего взвода проиграл и в тот же вечер шею финкой просадил. Нож он бросал, сволочь, на тридцать метров точно в яблочко. Назначили другого командира — он и того проиграл.

— Во-он, оказывается, кто! — проговорил Алейников, вспомнив рассказ Кошкина.

Зубов всем телом повернулся к Якову, вопросительно поглядел, но ничего не сказал. И когда отвернулся, вздохнул, а потом только проговорил:

— Горилла мертвый. Но все равно мне за то, что я рассказываю, финарь полагается.

— Не бойся. Не выдам.

— Да я и не боюсь,— промолвил Зубов устало.— И в бою я ничего не боюсь — ни пули, ни снаряда. Только не берут, проклятые.

— И это я знаю. Мне Кошкин говорил.

— Кошкин...— повторил Зубов как-то бесцветно.— Он ведь тоже, кажется, против моего отца воевал?

— Он был в нашем партизанском отряде тогда,— подтвердил Алейников.

— Да-а... Застрели я Кошкина, вы бы все считали — за отца, мол, по классовым убеждениям. А дело по-другому было. За Гориллу Кошкина приговорили. Мы под Валуйками долго стояли, и Горилла со своими телохранителями — были у него такие — где-то трех женщин поймали в степи. Одна даже совсем девчонка, лет, может, пятнадцати-шестнадцати. Спрятали их в овраге, земляную дыру специально вырыли, охрану свою поставили... Ну, и, сами понимаете...

На сильной и черной от солнца шее Зубова напряглась, туго натянулась острая жила, потом мелко задрожала, причинив, видимо, Зубову боль, и он потер шею ладонью.

— Боже мой! Я подлец и сволочь, и вышку мне — правильно! Но почему таких, как Горилла, в живых держат?! Какая ему штрафная там! Его... ему...

Зубов не мог говорить, стал тереть ладонью об землю.

— Пошел я глянуть на них. Из любопытства, что ли. Мы втроем пошли — Кафтанов, Гвоздев и я...

— Кошкин... Кошкин знает? — Алейников хотел подняться, но Зубов мгновенно бросил тяжелую ладонь ему на колено, цепко и больно сдавил пальцами. И неожиданно спокойным голосом проговорил:

— Тихо... Сперва дослушай. Кошкин потом узнал. Не от меня только. От кого — не знаю. И всю обойму в Гориллу вылупил. Зверь это был, не человек. Кошкин стреляет, садит пули ему в спину, в затылок, в голову, а Горилла пытается с земли подняться. Хрипит, землю пальцами пашет и на колени встает, встает... Мы так и думали — встанет во весь рост и двинется на Кошкина. Нет, рухнул.

Глуховатый голос Зубова звучал теперь ровно, говорил он без видимых усилий, и только иногда чувствовалось, что какое-то слово дается ему нелегко.

Он умолк, помолчал с полминуты, и Алейников его не торопил, ждал терпеливо, понимая, что тот снова заговорит сам.

Зубов молчал долго. Гриша Еременко, удивленный, видимо, о чем это ведет такую длинную беседу его начальник, сел на крыло машины, закурил.

— Я думаю, что Кафтанов с Гвоздевым и капнули телохранителям Гориллы, будто я его заложил,— проговорил Зубов.— Но полной уверенности ни у кого не было, иначе бы они со мной не так... А здесь только и поручили мне «приговор» исполнить. За Гориллу они «приговорили» Кошкина в тот же вечер. Посмотрим, мол, как он, то есть я...

— И что ж ты?

Петр Зубов пожал плечами.

— Не обрадовался. Дураку ясно, за такое дело — расстрел. Откажусь выполнить «приговор» — тоже смерть. С той лишь разницей, что не знаешь, когда, где и как она наступит. То ли нож под ребро воткнут, то ли в кусты оттащат и голыми руками задушат...

Зубов поглядел на сожженное солнцем небо и уронил беззвучный смешок.

— Но и не испугался...

— Врешь, испугался,— неожиданно проговорил Алейников. Зубов вопросительно приподнял на него глаза. И Алейников пояснил: — Была у тебя вышка, но после ранения в бою мог быть свободен, все прошлое могло враз похериться. На войне только может такое быть... Разве не думал, не надеялся на это?

Зубов опустил глаза и несколько секунд помолчал. Потом вздохнул тяжко, глубоко и через силу будто промолвил прежнее:

— Нет, не испугался. А думать — что ж... Об этом у нас все невольно думают и надеются. И я, конечно... Сильно тоскливо мне стало просто, Яков Николаевич, а испуга не было.

Потянула откуда-то из-за реки тугая и душная струя воздуха, принесла горький запах сожженной земли. И Зубов, будто от этого запаха, поморщился. Опять пошевелил плечами, словно пытаясь что-то сбросить с них. И заговорил дальше, через силу сдерживая накопившееся где-то внутри раздражение:

— Да, напала тоска. Черт ее знает, что за штуковина это такая... И раньше было — нахлынет без всякой причины, как на сопливого интеллигента, ну хоть в петлю лезь. Водкой глушил ее. А тут... И вдруг все в невиданную злобу перешло. В звериную!

— К кому?

— К кому?! — Зубов сплюнул на землю.— Да, к кому? Это не так просто объяснить, если честно. К этому волосатому Горилле, хотя он уж был мертвый! К его телохранителям... На тактических занятиях подползают ко мне: давай, мол, вон Кошкин возле кустов маячит, ночь темная, не поймут, кто стрелял, а мы не выдадим... Кой черт, думаю, не выдадите?! Сами же руки и скрутите, едва прихлопну командира роты... Суют мне в руки пистолет. Оружие нам до боя не выдают, на тактических занятиях с деревяшками бегаем. Ну, да этого добра на войне прикарманить чего стоит... Тут-то и захлебнулся я злобой ко всему на свете! В том числе и к Кошкину. К себе, ко всей этой кошмарной жизни! Вырвал я пистолет... Опять же, хоть верь, хоть нет, поверх всего ошпарила мысль: в телохранителей Гориллы разрядить его! Да черт его знает, сколько в нем патронов, а их четверо... Ну, и лупанул в Кошкина.

Зубов замолчал, начал царапать всей пятерней грудь под гимнастеркой.

— Что ж дальше? — спросил Алейников.

— А дальше так и вышло, как я думал. Все четверо немедля навалились на меня, руки заломили: «Сволочь! Ты же не прицелился! Ну и подыхай! Это он, Зубов, товарищ капитан, хотел вас...» Это они уж подскочившему Кошкину кричат, подбежавшим бойцам. У Кошкина пистолет в руке дергается. «Про-очь!» — заорал он. Державшие меня Гориллины дружки брызнули в стороны, как тараканы. Я лежу, распластанный, на земле. «Ты?!» — прокричал Кошкин, поднимая пистолет. И тут я... понял я в какую-то секунду, что не выстрелит он. Приподнялся и сел. «Я»,— говорю...

— Как же... понял?

— Э-э, Яков Николаевич... Как все объяснить? На какой-то миг Кошкин задержал зрачки на тех четырех, что отскочили от меня. А я заметил... Знает он на-

шу братию, за что и уважают его. Нюхом почуял, что не во мне тут дело. И я это понял. Да-а... А если б я сказал: «Нет, не я» — он бы выстрелил, я думаю.

— Безусловно,— сказал Алейников и поднялся.

Зубов тоже встал вслед за ним и потоптался, разминая затекшие ноги.

— Эти... телохранители где сейчас? Тут? — спросил Алейников.

— В последнем бою легли. Бой был — таких, Кошкин говорит, даже он не видывал. От роты осталось человек с полсотни...— И, видя, что Алейников пристально глядит на него, добавил с усмешкой: — Нет, не я их, немцы. Я еще раз повторяю — ни мокрыми делами, ни в спины людей, кроме немцев, не стрелял. Верь, не верь — мне это без нужды. Говорю как есть... И этих, Макара Кафтанова с Гвоздевым, не тронул, хотя они меня, сволочи, продали, больше некому.

Зубов умолк. Они молча стояли теперь друг против друга. Зубов глядел куда-то в сторону, а Яков Алейников словно ждал еще каких-то его слов.

— Ну что ж, прощайте, Яков Николаевич,— произнес наконец Зубов.— Извините, товарищ майор, что я... Мне просто хотелось... Хотя и не такой, может, разговор вышел, как я хотел. Главного вопроса я так и не задал.

— А ты задай,— сказал Алейников.

— А вы ответите?

— Если смогу, чего же...

— Ладно...— В прищуренных глазах его возникла почему-то неприязнь, они засветились злорадным зеленым холодком.— Он простой, этот вопрос. Завтра на рассвете у нас смертельный бой опять. И скорей всего я погибну — сколько судьбе закрывать меня? Но если случится чудо, заденет меня пуля, а живой останусь, смысл-то в этом какой будет? Если останусь, будет?

Алейников молчал, Зубов, помедлив, спросил несколько по-другому:

— От людей мне прощение может быть или нет?

— От людей? — переспросил Алейников, пораженный не тем, что подобный вопрос задает человек, приговоренный за преступления против общества к высшей мере наказания — расстрелу, и только чудом это наказание ему заменено пребыванием в штрафной роте, а чем-то другим, более сложным и глубинным, что стояло за этим вопросом и что прозвучало в голосе Зубова.— От людей?..

— Именно.

Пустынно и тихо было возле небольшой речушки, из которой пили, в которой смывали, конечно, грязь и пот, обмывали раны и немецкие, и русские солдаты, в которую падали немецкие и русские снаряды, берега которой размалывали колеса и гусеницы наших и вражеских машин. Израненные, искромсанные во многих местах, эти берега, казалось, еще дымились, в яминах и воронках будто стоял до сего времени пороховой чад и дым. Свирепая и безжалостная битва не однажды подкатывалась к речушке, не однажды бушевала над ее слабеньким и неглубоким руслом, и Алейникову вдруг почудилось, что речонку сто раз могла уничтожить страшная война — завалить крохотную, малосильную полоску воды взрывами бомб и снарядов, затоптать колесами и гусеницами,— а все не уничтожила, не в силах была уничтожить, и упрямая речушка вот течет и течет, пробиваясь сквозь перепутанные, переломанные, обожженные кустарники и травы, вскипает под солнцем на маленьких своих перекатах, негромко позванивает слабенькой волной, а в крохотных омутах крутит травинки и листья, пока течение, не приметное даже и глазу, не выбьет их на существующий и у этой речушки стрежень и не понесет их куда-то дальше.

— Да, от людей...— в третий раз повторил Яков Алейников.— Вот что я скажу тебе, Зубов. Есть разные... разные преступления против людей и против жизни. И я обо всем этом думал — уж поверь мне,— много думал и раздумывал! Одни преступления люди могут простить легко. Стоит, как говорится, покаяться — люди поверят и простят. Они добрые, люди. Прощение за другие надо заслужить делами. Иногда всей жизнью.— Алейников судорожно проглотил слюну.— Иногда смертью только можно это заслужить... Но бывают и такие преступления, которые не прощаются. Никогда не прощаются, как бы ни старался потом. Тут хоть жизнь отдай. Ни при жизни, ни после смерти... Закон даже может простить, а люди — нет.

— Например?

— Например, измена Родине.

Алейников смотрел на Зубова, но тот стоял к нему боком, скрестив руки на груди и сжимая большими заскорузлыми ладонями плечи, смотрел куда-то в сторону сожженной войной деревни.

— Останешься живой — подумай обо всем этом. Ведь уцелеешь если, жить как-то придется.

— Выходит... если освободят меня после завтрашнего боя, выйдет, что не сам я прощения за свои преступления заслужил, а просто... закон мне простил?

— Так выйдет,— кивнул Алейников.

— А люди пока не простят?

На это Алейников лишь пожал плечами: я, мол, все сказал, что ж еще добавить?

— И по твоим рассуждениям выходит, что отца... моего отца ни закон, ни люди никогда не простят?

Алейников прищурил глаза, уголки губ его опустились вниз.

— Никогда. Он был наш классовый враг. Непримиримый и жестокий. Таким и остался до самой своей гибели. Как же могут его люди простить?

— Люди на блюде! — усмехнулся вдруг Зубов зло, едко, кажется, даже остервенело, уронил вниз руки.— Ну, прощевай еще раз, Яков Николаевич... Спасибо за политбеседу.

Зубов все с той же откровенно враждебной усмешкой секунду-другую глядел ему в лицо, резко отвернулся и пошел вверх по тропинке в сторону деревни, раскачивая широкими плечами, обтянутыми порыжелой гимнастеркой. Не останавливаясь, повернул вдруг голову, проговорил отчетливо:

— Не на блюде даже, а на горячей сковороде.

Никакой усмешки теперь на лице его не было.

...— С кем это вы, товарищ майор, долго так беседовали? — поинтересовался Гриша Еременко, когда они ехали изрытым проселком в расположение дивизии, соседней с 215-й: Алейников хотел поглядеть, нет ли там более удобного места для предстоящего перехода его группы линии фронта.

— Так... Любопытный человек,— ответил Яков и больше ничего объяснять не стал, лишь потрогал шрам на левой щеке, оставленный на всю жизнь шашкой полковника Зубова. «Не на блюде, а на горячей сковороде...» Алейников нахмурился и вдруг подумал: «А ведь Зубова, если он после завтрашнего боя останется живым, можно было бы, пожалуй, взять с собой в тыл врага. Смело можно было бы...»

Но мысль эта, мелькнув, пропала и больше не возвращалась. Другие дела и заботы нахлынули на Алейникова.

* * *

Вчера вечером самоходка Магомедова, о которой Алейникову рассказывал начальник штаба дивизии подполковник Демьянов, смяв вражескую батарею, неслась среди толп бегущих куда-то немцев, давила их, разбрасывала тупым рылом, вздрагивала от каждого выстрела, и у Семена возникло ощущение, будто тяжелая машина всякий раз на секунду останавливалась, а потом стремительно бросалась дальше в свистящий дымно-огненный ад, сама распуская за собой желто-черный хвост дыма. Она горела уже давно, поджег ее какой-то рыжий немец, кинувший под гусеницы из окопчика гранату. Семен увидел немца, находящегося впереди и чуть сбоку, уже в тот момент, когда он размахивался, и невольно прикрыл на мгновение глаза. Граната должна удариться сбоку в левую гусеницу, точно посередине, Семен это почувствовал, она порвет траки — и тогда... Тогда грозная, не танк, конечно, но все равно грозная и могучая машина превратится в беспомощную стальную коробку, каких много вон торчит по всему полю и у подножия высоты, откуда била наша батарея.

Взрыв ухнул не страшный — сколько Семен пережил уже и таких взрывов, и прямых попаданий в броню снарядов и бомб! — гусеницы остались целы, но через какие-то секунды в машину потек едкий дым. Еще до того как он потек, Семен круто развернул самоходку и, сжав зубы, в звериной ярости бросил ее на окопчик. Он еще раз увидел того же немца, который теперь трясущимися руками хватался за край окопчика, пытаясь из него выскочить. «Идиот безмозглый!» — злорадно

подумал Семен, увидев, что окопчик глубокий и, если бы немец остался в нем, упал на дно, ничего ему бы не сделалось, разве бы присыпало немного землей. Теперь же для него спасения не было...

— Куда здешь? Куда эдешь? — заорал командир самоходного орудия лейтенант Магомедов.— Сержант! Назад!

— Горим! Команди-ир!..— задыхаясь, прокричал в ответ Семен, круто разворачивая машину, подмявшую рыжего немца.

— Мы, кажись, врюхались,— послышался голос Ивана.— Слева нас танки отрезают!

— Шайта-ан! — визгливо воскликнул командир самоходки.— Ну ладно, ну ладно... Разворачивайся еще! Направо! Будем пробиваться назад, к своим!

— Да куда? И справа вон немецкая колонна прется! — опять прохрипел Иван.

Две-три секунды Магомедов молчал, затем обезумевшим голосом скомандовал:

— Вперед... к высоте! Пробьемся к нашей батарее!

Семен, подчиняясь приказу, бросил самоходку к высоте, которую обтекали вражеские танки. По ним били с холма наши пушки, а по холму яростно молотили из своих орудий немецкие танки, фонтаны из огня и земли делались все гуще, и скоро высота почти потонула в дыму и сухой, горячей пыли. Самоходное орудие тоже стреляло раз за разом, но попадал ли дядя Иван в немецкие машины, Семен не видал. Пламя, хлеставшее откуда-то сбоку, временами доставало уже его плечо.

— Боеукладка горит! — страшно прокричал Иван.— Счас рванет!

— Глуши мотор! Всем из машины!

Семен на землю вывалился мешком, глотнул полную грудь воздуха, который был не намного свежее, чем в машине, с дымом и бензиновой гарью, но все же им можно было дышать. Несколько мгновений он лежал, распластавшись, прижимаясь к земле грудью, чувствуя, как саднит обожженное плечо. Лежа, он ничего не видел из-за стлавшихся по высохшей траве дымов, только слышал всем телом, как от танковых гусениц и рвущихся снарядов дрожит земля.

— К высоте! Савельевы, где вы там?

— Ага, понятно...— зачем-то вслух пробормотал Семен, приподнялся, увидел в бело-грязном дыму бегущих к высоте дядю Ивана и Магомедова, бросился за ними. Но сзади, шагах, может, в пятнадцати — двадцати, там, где стояла горящая самоходка, рвануло небо и землю, в ушах зазвенело и засвербило, будто туда забилось по комару.

— Семка! Семен! Сержант! — как из-под земли донеслись слабые голоса. Они были чужими, Семен не узнал их, только увидел перед собой закопченное и мокрое лицо дяди Ивана, а выше, чуть ли не под самым небом, угольно-черные глаза лейтенанта Магомедова.— Ранен, что ли? Отвечай. Куда? Куда ранен?

Слушать ему было эти голоса почему-то смешно. И еще смешно было от щекотки в ушах.

— Контузило, кажись...

— Помогай. Таскаем его...

Это было последнее, что он услышал. Затем провалился в небытие.

...Он очнулся в темноте оттого, что на него посыпалась земля, увидел сбоку темный звездный квадрат, выполз, встал во весь рост и пошел куда-то. Комары, недавно бившиеся об барабанные перепонки, теперь летали и летали вокруг головы, попискивая. Семен, не понимая, что это свистят пули, поморщился и даже, пытаясь отогнать назойливое комарье, несколько раз взмахнул рукой.

— Ты?! Обалдел совсем! — донесся обозленный крик до него опять еле слышно, как из-под земли. Но теперь Семен узнал голос дяди Ивана. А потом разглядел во мраке его самого. Без пилотки, в расстегнутой гимнастерке, он лежал на бруствере траншеи и, полуобернувшись, сверкал белками глаз.— Ложись! Семка-а!

Семен теперь догадался, что это не комары попискивают вокруг головы, а пули, что идет бой. Он понял, что хочет от него дядя Иван, но не лег, даже не пригнулся. Он так во весь рост и дошагал до траншеи.

— Ог-гонь!

Сбоку стояло, оказывается, невидимое в темноте орудие, и теперь, когда оно выстрелило, пламя на мгновение осветило пушку, сгорбившегося над панорамой наводчика и подносчика снарядов, бравшего из ящика новый заряд.

Иван метнулся к подошедшему Семену, рванул его в траншею.

— Ты что?! Пришьют, как козявку! Ну, слава богу, живой. А то я думал — в блиндаже тебя накрыло...

— Чего? — спросил Семен и не расслышал почти своего голоса. «Ну да, контузило,— равнодушно подумал он.— Уши, наверное, порвало...»

— В блиндаж мы тебя положили... А они лезут и лезут. Третий раз отбиваемся. На! — Иван сунул ему автомат.— Это ведь нашу самоходку рвануло. Я думал, ты успеешь отбежать. А ты, тетеря...

В стороне, метрах в десяти от первого орудия, выстрелило второе. Семен поглядел в ту сторону, где блеснул и тут же потух язык пламени, взял автомат.

— А что тут?

— Веселенькая обстановочка, Семка,— проговорил Иван, ударом ладони защелкивая новый диск в ручной пулемет.— Кругом немцы. Тут, на высоте, две пушки да нас шестеро. Не считая мертвых. Мертвых, правда, много... Две пушки от батареи осталось. А где наши, неизвестно.

В это время там, где только что выстрелило второе орудие, темным бугром вспухла земля, внутри земляной тучи закрутилось красное с черными прожилками пламя, и, прорвав сразу во многих местах оболочку бугра, огонь стрелами ударил в небо. Между стрел, крутясь, взвились какие-то короткие обломки и стали с глухим звоном падать рядом с Семеном. Он поглядел на один такой обломок и увидел, что это снарядная гильза. Затем сверху посыпались дождем комья земли, больно заколотили по голове, по спине.

— Ложись! Голову береги! Голову...

Как беречь голову, Семен не знал, но все же лег на дно траншеи.

Когда комья сверху сыпаться перестали, он поднялся, отряхнулся, выдернул присыпанный землей автомат. Едкий запах сгоревшего тола раздирал горло. Семен похрипел, помотал головой и сплюнул.

— Слава богу, теперь нас четверо вроде осталось. Ты, да я, да Магомедов с Ружейниковым,— со страшной усмешкой проговорил Иван.— У той пушки было двое. Четверо да орудие одно... Ах, сволочи!

Иван глянул в темноту за бруствер, потряс свой ручной пулемет, будто выбивая из него землю и песок, установил попрочнее сошки, обернулся.

— Давай, Семка! В нише еще три заряженных диска. И гранаты, кажись, есть. Чего сидишь, они лезут же!

И его пулемет остервенело застучал. Спина Ивана задергалась от выстрелов.

Крик Ивана и звон коротких пулеметных очередей заставили Семена метнуться к брустверу. Сжимая автомат, он упал грудью на земляной ровик. Внизу, по скату холма, горело три танка. Два уже еле-еле дымились, они подбиты были, может быть, еще днем, а третий, который был ближе всех от траншеи, полыхал ярким костром, и в небо, освещенное заревом, ввинчивался черный и толстый дымный жгут. В колеблющемся свете Семен различил немцев. Короткими перебежками они продвигались вверх, к ним. Вскинув автомат, Семен нажал на спуск и не разогнул пальца, пока не кончился диск.

— Что делаешь, Семка?! — донесся до него крик, когда автомат в его руках перестал дергаться.— Что делаешь? Короткими, говорят тебе!

Иван кричал, видимо, давно, лицо его, повернутое к Семену, было мучительно перекошено.

— Беречь патроны! Понятно-о?!

За горящими танками взад и вперед ползало три или четыре фашистских машины, башни их время от времени изрыгали пламя. Но снаряды рвались то справа, то слева за позицией батареи, хотя и недалеко. «Стрелки, мать вашу!» — злорадно выругался про себя Семен, вталкивая в приемник новый диск. Единственное 76-миллиметровое противотанковое орудие системы «ЗИС-42», оставшееся от бывшей грозной батареи, отвечало беспрерывно, пламя от его выстрелов раз за разом светло вспыхивало над головой. Но и его снаряды то не доставали до немецких машин, то перелетали. «Алифанова бы на вас,— так же злорадно подумал Семен, засекая упавшего метрах в тридцати немца,— Алифанова...»

Немец, грузный и широкоплечий, полежав, вскочил было. Семен дал короткую очередь. Очень короткую, в три-четыре патрона. Фашистский солдат остановился, будто в недоумении, сделал несколько шагов назад, еще постоял и, как столб, грохнулся на спину. «Вот и отдохни»,— усмехнулся Семен.

Один немец упал, а остальные все двигались и двигались на высоту. Черные их фигурки копошились во мгле, мелькали в колеблющемся свете горящих танков. Сколько было немцев, Семен определить не мог. Может, пятьдесят, может, сто. Он стрелял и кого-то убивал, это он видел ясно. И дядя Иван, наверное, кого-то укладывал. Но все равно фашистов было много. А их всего в траншее двое. Да где-то за спиной еще двое у пушки. А немцы совсем близко, их можно уже и гранатами достать...

— Семка-а! Гранаты! — прокололо ему уши. «Интересно,— подумал Семен,— или дядя Иван кричит небывало еще громким голосом, или уши мне отложило?» Он, не спуская глаз со все приближающихся немцев, отложил автомат и нащупал в нише гранаты.

Рядом упал выскочивший из темноты лейтенант Магомедов, низкорослый азербайджанец, тяжело задышал, уткнув лицо в землю.

— А пушка? Вы что?! — повернулся к нему Семен.

— Зачем пушка сейчас нужна будет? Ничего теперь не нужно будет...

Еще подышав несколько секунд, он оторвал от земли обожженное пороховыми струями скуластое лицо, вскочил по-кошачьи, отбежал вдоль траншеи метров за пятнадцать, начал из ниши выкладывать на бруствер гранаты.

Пушка за спиной между тем выстрелила. «Значит, там Ружейников какой-то один... один»,— отчетливо подумал Семен, зажал в кулаке лимонку и выглянул через ровик. Немцы были совсем рядом, они, человек восемь, бежали кучкой, почти теперь не стреляя.

Семен, еще помедлив, бросил гранату, три-четыре секунды последил за ее полетом. И, убедившись, что она упадет в гущу вражеских солдат, осел в траншею и, прикрыв глаза, стал ждать взрыва. Граната лопнула с сухим треском, Семен услышал, как с визгом брызнули осколки, открыл глаза. Во мраке был виден ему дядя Иван,— нагнув голову и выставив костлявые плечи, он тоже прижимался к стене траншеи. И Семен понял, что он тоже швырнул только что гранату. Над ним вспыхнуло чернильно-темное и тяжелое, будто литое из чугуна, облако пыли. Потом взметнулось второе, третье... Значит, дядя Иван раз за разом бросил несколько гранат, мелькнуло у Семена, а вот он, Семен, так не догадался... И, видя, что Иван разогнулся, припал к пулемету и начал строчить, Семен тоже схватил автомат, высунулся из ровика.

По всему склону плавали в темноте клочья не то дыма, не то пыли, поднятой гранатными разрывами. Справа и слева эти клочья были гуще, закрывали склоны почти наглухо, а перед Семеном, бросившим всего одну гранату, стояла, покачиваясь, всего лишь мутная стенка, просвечиваемая пламенем горящего внизу танка, и он увидел совсем близко от бруствера траншеи скрюченные тела трех убитых немцев, а дальше, в желтой мгле, согнутые фигуры бегущих вниз солдат.

— Ага-а! — злорадно выдавил Семен сквозь стиснутые зубы, схватил автомат и начал стрелять, ни в кого не попадая. Немцы убегали все дальше, проваливаясь во тьму. Краем глаза Семен увидел, что Магомедов выскочил из траншеи и бросился в сторону орудия. «Живой,— отметил Семен,— и дядя Иван живой. А Ружейников? Пушка вроде давно не стреляет...»

Орудие в этот момент ухнуло, тьма внизу, куда проваливались немцы, осветилась мгновенной вспышкой. Но в эту короткую долю секунды Семен ничего не мог рассмотреть, кроме все того же догорающего немецкого танка, не заметил ни одной человеческой фигуры. Ползающие за подбитым танком немецкие машины тоже куда-то исчезли.

Этим выстрелом и закончился ночной бой на окруженной высоте. Установилась вдруг тишина, непонятная и чужая. В небе горели бесшумно белые звезды, но ничего не освещали, просто торчали вверху неизвестно зачем, без всякой пользы.

От орудия подошли Магомедов и еще один человек, хлипкий какой-то, в изорванной гимнастерке. Это и был старший лейтенант Ружейников. Он сел на землю, устало спустив ноги в траншею.

— Ну, вот так... сосенки-елочки,— произнес он, глядя во тьму через бруствер.— Где же наши?

— Похоронить убитых надо бы. В землю положить,— сказал Иван. Он был без пилотки, грязные волосы торчали, свалялись, глаза во мраке поблескивали.— Ну что, Семен?

Семен не ответил, не хотелось ему ничего отвечать. Снова послышался голос Ружейникова:

— Утром похороним, если доживем. В воронки складем и засыпем... Документы только у каждого взять.

— Уши как, спрашиваю? — спросил Иван.

— Чего? Ничего.

— Кровь перестала течь?

— Какая кровь?

Семен потер пальцем мочки ушей, ощутил липкость.

— Течет. А не больно...

— Это ему в блиндаже додавило. Мы думали, там безопаснее будет, а туда снаряд...

— Мой блиндаж был крепкий,— зачем-то произнес Ружейников, поглаживая колени.— В пять накатов... Вода у нас есть?

Иван ушел в темноту, но тут же вернулся с фляжкой, протянул Ружейникову. Тот жадно начал пить, обливая распахнутую грудь, будто пил не из фляжки, а из котелка...

* * *

Высота 162,4, небольшая, изрытая снарядными воронками сопка, прикрывала Жерехово с северо-востока, перед ней кругом было лысое пространство, только справа от огневой позиции бывшей батареи Ружейникова, за протекающей метрах в семистах речушкой, начинался жиденький клинообразный перелесок, острие которого подступало к самому берегу. Дальше, за речкой, клин расширялся, на правом его краю, если смотреть от батареи Ружейникова, и стояло это большое когда-то село, почти городок, сейчас начисто сожженное и разрушенное. Обтекая на расстоянии высоту, речка выгибалась кренделем, ныряла в лес, подходила к самой окраине Жерехова, а потом устремлялась прочь, в топкие болота, поросшие густым осинником да ольховником. Болота эти тянулись на много километров и были уже в тылу немцев. Дальше, за болотами, начинались знаменитые Брянские леса...

Старший лейтенант Ружейников, в прошлом колхозник из подмосковного села, длинный, как журавль, стоял на коленях в отрытой в этом месте во весь рост траншее, положив локти на земляную бровку, глядел в стереотрубу. Гимнастерка его, рваная, грязная и заскорузлая от высохшего пота, бугрилась на спине, потрескивала, как жесть, когда он шевелился. Поднявшееся над затянутым дымной мглой горизонтом солнце косо било с неба, освещало изуродованную взрывами огневую площадку с валявшимися на ней гильзами и пустыми снарядными ящиками. Посреди хаоса из земляных бугров, гильз и снарядных ящиков уныло и беспомощно стояло орудие со снятой панорамой, черным, обгоревшим от стрельбы стволом. Прицельное устройство держал в руках бывший командир самоходки Магомедов, обдувал от пыли и протирал грязной тряпкой. Потом завернул панораму в эту же тряпку и сунул в нишу, выбранную в стенке траншеи, отложив в угол несколько гранат лимонок, похожих на кедровые шишки, тяжко, без слов, вздохнул, стал копаться в разбитой снарядным осколком рации. Покопавшись, пнул ее сердито и одновременно махнул безнадежно рукой.

— Сосенки-елочки,— произнес свое обычное Ружейников, не прекращая наблюдения. Эти слова выражали у него что угодно — гнев и восторг, удивление и заботу, одобрение или осуждение. Все зависело от тона, каким эти слова произносились. Сейчас они означали, что командир батареи согласен со вздохом Магомедова и его жестом.

Согласен с ним был и Семен Савельев. Он, сильно поджав ноги в коленях, сидел в траншее, возле Ружейникова, на снарядном ящике, прислонясь к горячей земляной стенке спиной. Все они, находящиеся на высоте, обречены, это ясно. Но это не вызывало у Семена ни страха, ни хотя бы легкого беспокойства. С каких-то пор он жил будто в другом измерении, в непонятном ему самому теперь мире, который вызывал лишь легкое любопытство. До этого шла жизнь, жестокая и беспощадная, полная огня и смерти, грохота гусеничных траков и бензиновой гари, а потом вдруг что-то в этом кровавом мироздании дрогнуло, раскололось, и произош-

ло странное смещение. Объяснить Семен ничего не мог, но его изнуренному многодневной смертельной опасностью сознанию чудилась фантастическая картина: дымное небо, весь мир, все это страшное бытие неожиданно дрогнуло, что-то сзади поплыло, настигая его, настигло и рассыпалось, заваливая его осколками. То ли это случилось в тот момент, когда они бросили пылающую самоходку и, попрыгав в задымленный бурьян, побежали к холму? Или прошедшей ночью, когда на высоту, к самой траншее, опоясывающей огневые позиции бывшей батареи Ружейникова, неудержимо лезли немцы? И они вскарабкались бы на высоту, достигли бы траншеи, если бы кто-то не крикнул: «Семка-а! Гранаты!» Кто же это прокричал, кто скомандовал? Кажется, дядя Иван. Семен бросил гранату в кучу немцев, подбежавших совсем уже близко. Бросил, вжался в стенку траншеи, увидел, что то же самое делает дядя Иван, и подумал, что все это уже бесполезно, сквозь стену земли и огня, поднятой взрывами, все равно сейчас прорвутся немцы, вскарабкаются по-звериному на бруствер и сверху в упор пришьют к земле из автоматов и дядю Ивана, и его, и азербайджанца Магомедова. И никто никогда не узнает, как они погибли здесь,— ни мать, ни Наташка, ни Олька Королева...

— Спишь, Семен? — послышался голос.

Семен открыл глаза, увидел стоящего в траншее дядю Ивана. В одной руке у него был котелок, в другой грязная и старая плащ-палатка.

— На, поешь.

— Не хочу.

— Сутки во рту крохи не держал.

— Не надо,— вяло отмахнулся Семен и медленно, с трудом разогнулся, встал на снарядный ящик, выглянул за бруствер.

Иван тотчас схватил Семена за ремень и что есть силы рванул вниз. И вовремя — в ту же секунду щелкнул внизу выстрел, пуля сорвала пыльную пленку с гребня бруствера как раз над тем местом, где только что была голова Семена, и, прошив пустой воздух, с визгом ввинтилась куда-то в небо.

— Совсем, что ли, ополоумел?!

Лицо Ивана было измученным, усохшим, землисто-серым. Семен поглядел в это лицо, потом на гребень бруствера, в котором пуля прочертила отчетливую канавку.

— Почему они нас?.. Ведь нас всего четверо.

— Они не знают, сколько нас тут. А если бы знали...

— Ну да,— кивнул Семен, все думая о матери, о Наташе и об Ольке Королевой. Он думал о них весь остаток ночи и все утро, они все странным образом представлялись ему людьми малознакомыми, существующими где-то в другом далеком и нереальном мире. И неизвестно, непонятно было, зачем они там существуют, почему они встретились когда-то на его пути, особенно Наташка, девчонка с измученными глазами. Эта Наташка родила, кажется, от него дочь. Родит, может быть, и Олька Королева, но какой в этом во всем смысл?

Временами сознание прояснялось, и тогда он, вспоминая недавние свои мысли, весь холодел: «Что за чертовщина, умом, что ли, действительно трогаюсь? Наташка жена ведь, и мать есть мать. Но как они там и что с ними? И как же у меня произошло это с Олькой?»

А потом снова все смешалось, его охватило полное безразличие ко всему, что происходило когда-то и что происходит сейчас.

— Ну да,— повторил он,— они все равно полезут рано или поздно.

— А покуда ляг, Семен. Я плащ-палатку вот принес. Вот тут ляг, в воронке. Тут не печет. Тебе отдохнуть надо.

— Надо,— согласился Семен.— Что-то у меня, дядя Иван, в голове...

— Отойдет. После контузии бывает.

— Выберемся мы отсюда?

— А как же! Не в таких мы с тобой, Семка, переплетах бывали. Звезда наша удачливая. И теперь вывезет.

Говоря это, Иван расстилал плащ-палатку в глубокой яме. Крупнокалиберный снаряд когда-то угодил прямо в траншею, разворотил ее почему-то не по окружности, а полукольцом к вершине холма. Бруствер траншеи сделался еще выше, он-то и прикрывал единственное уцелевшее орудие из всей батареи, заметить его снизу было не легко.

— Правда? — с детской надеждой спросил Семен.

— Ясное дело. Давай ложись.

Семен покорно, с каким-то удовлетворенным, успокоенным выражением лица лег. Прикрыл глаза, но тут же открыл их, поглядел на Ружейникова, который держал в руках принесенный Иваном котелок и ел кашу.

— А он говорит — сосенки-елочки...

— Мало ли чего! Я тоже так думал. Немца мы три раза отбили, отобьем еще... А тут, гляди, наши двинутся. Фронт же весь в наступлении. Отбросят немцев! Это они случайно прорвались и отрезали нас.

Ружейников что-то хотел сказать. Иван, заметив это, сделал ему знак рукой. Тот лишь усмехнулся, молча протянул котелок Магомедову.

Семен лежал без движения и глядел в блеклое небо. Затем встрепенулся и сел, вынул из нагрудного кармана перемятый листок.

— Дядь Ваня... Я письмо Наташке написал. Тут об Ольке... и обо всем. Я не подлец все же. Я не хочу ее обманывать. Так случилось, но я... я не хотел Наташку тоже обижать. Хотя, наверно, ей это не понять. Но пусть знает, пусть знает... Ты ей пошли это письмо, если чего со мной. Обещаешь? А останусь жив, сам все ей расскажу. Я ее люблю, Наташку. Потому и расскажу все...

— Ладно, давай,— помедлив, сказал Иван, взял листок, не читая спрятал тоже в нагрудный карман гимнастерки, застегнул медную пуговицу.— А теперь спи. Как чего, я тебя разбужу.

Семен, отдав листок, какое-то время еще глядел в небо. Потом медленно стал прикрывать веки. И едва прикрыл, задышал спокойно и ровно, провалился в сон, бездонный и глухой.

— Слава богу,— произнес вполголоса Иван, поднялся с колен, подошел к Магомедову. Тот протянул ему котелок с остатками каши. — Должон оклематься парень.

— Контузия-то тяжелая вроде,— качнул головой Ружейников.— Но перепонки целые. Это хорошо, что ты его успокоил... Сколько у нас гранат-то, Магомедов?

— Сорок две штуки еще. Мы с Савельевым ночью все немецкие автоматы собрали. Снарядов полно.

— Снарядов хватит. Артиллеристов нету,— сказал Ружейников, опять подходя к стереотрубе.

— Нас трое...

— Почему же? — Иван быстро опрастывал котелок.— Семен с пушкой тоже умеет обращаться.

— Значит, все четверо артиллеристы. Если он отойдет, Савельев... Ума не приложу все же: почему они нас в живых оставили? Ага, теперь понятно.— И Ружейников тяжело вдруг задышал.— Теперь понятно! Погляди, Иван Силантьевич...

Иван прильнул к стереотрубе, и жаркая волна, опаляя все внутри, прокатилась по телу, ударила в череп.

На рассвете Иван, вот так же глядевший в стереотрубу, рассмотрел лишь внизу торчавшие по всему склону и приречной луговине подбитые наши и немецкие танки. Отыскал взглядом и свою самоходку, развороченную взрывом. Она лежала на боку, вонзив в землю орудийный ствол. Подбитые машины уже сгорели, некоторые только жиденько дымили еще, дым стекал вниз, к блестевшей ленте речушки, заполняя по пути ямы и воронки, от чего они казались наполненными кипятком с паром. Сейчас картина была такой же, лишь пар над воронками поредел, земляные ямы дымились еле-еле, будто вода в них остыла. Но по противоположному берегу речушки шли колонны грузовиков, набитые немцами. Из-за расстояния шум моторов был совершенно не слышен, машины одна за другой появлялись из-за угора, откуда вытекала речушка, приближались к клинообразному лесному выступу, и почти каждый второй грузовик волок за собой пушку.

Оторвав бледное лицо от стереотрубы, Иван метнул взгляд на Семена. Освещенный лучами утреннего солнца, тот безмятежно спал, по-детски свернувшись калачиком, подложив сложенные ладони под голову. По бескровным щекам Ивана прошла судорога, скулы онемели, он через силу, с болью разжал губы и сказал неизвестно для чего:

— Пущай поспит напоследок...

— Магомедов, к орудию! Ставь панораму! — прохрипел Ружейников, поворачиваясь к стереотрубе.— Помирать будем сейчас, только с музыкой... Буди, Савельев, племянника... Всем к орудию!

Иван шагнул было к спящему Семену, но замер, услышав удивленный возглас:

— Сосенки-елочки!

— Что?

— Да глянь!

Ружейников снова уступил место у стереотрубы подскочившему Ивану, и тот увидел, в общем, прежнюю картину: вражеские грузовики с солдатами, с прицепленными пушками шли и шли вдоль берега, вытекая из-за угора нескончаемой вереницей. Но вместо того чтобы разворачивать орудия в сторону высоты, как ожидали и Ружейников, и Иван, и Магомедов, немцы спокойно сидели в кузовах, а машины, огибая клинообразный лесной выступ, подступающий к самому берегу, устремлялись куда-то вдоль кромки леса, удаляясь от высоты.

— Непонятно,— произнес теперь и Иван, отрываясь от окуляров.— Там же, Магомедов говорил, непроходимые болота. Какого черта они туда пушки и войска гонят?

— Там болота, там болота,— кивнул дважды Ружейников, расстегивая торопливо планшет. Он извлек оттуда рваную карту, развернул, сел на дно траншеи.— Верно... Тут наша высота. Вот Жерехово. Речка эта прямо в болота и течет. За болотами деревушка Малые Балыки... Мы ее недавно отбили. Болота топкие, непроходимые. Какого черта немцам там надо? А?

— Не знаю,— сказал Иван, удивленный не меньше остальных.

* * *

Старший лейтенант Ружейников и рядовой Иван Савельев, запертые на высоте, не знали, что немцам нужно в болотах, зачем они гонят туда солдат и артиллерию, а командованию 215-й дивизии все было ясно.

Немецкое контрнаступление силами двух моторизованных и одной танковой дивизий, несколько дней развивавшееся в направлении Жерехова, выдохлось, от вражеских соединений остались жалкие лохмотья. Не желая рисковать остатками своих войск, они решили до подхода подкреплений перейти к обороне, спешно принялись зарываться в землю к западу и востоку от высоты 162,4.

Сама высота оказалась в стыке боевых порядков двух немецких дивизий, как бы в ничейной зоне. Оставшаяся на высоте советская батарея остервенело оборонялась, и немцы, видимо, не могли пока договориться, кому нанести по батарее окончательный удар и уничтожить ее, или не особо спешили с этим, понимая, что батарея все равно обречена.

— Понятно,— сказал командир 215-й дивизии полковник Велиханов, когда начальник штаба доложил ему данные разведки.— И если мы дадим немцам укрепиться как следует, то...

— В общем-то помешать им мы уже не можем, Илья Герасимович.

КП командира дивизии располагался на бывшей пасеке, в просторном деревянном омшанике, сохранившем еще запах меда. Посреди омшаника из пустых ульев было сложено нечто вроде стола, на котором лежали оперативные карты, в углу на таких же ульях стояло несколько полевых телефонов, провода от них по вбитым в стены гвоздям тянулись к оконному проему без рамы. В этот проем дул теплый ветер, заносил в омшаник мух и обильное количество комаров.

У противоположной стены сидела какая-то молодая и красивая, кажется, женщина, только грязная и растрепанная. В руках она, обняв ладонями, держала кружку с горячим чаем, сдвинув густые брови, дула в эту кружку. Демьянов поглядел на нее с удивлением.

— Не можем... А с чего бы это они еще и вдоль болот окапываются? — Велиханов склонился над картой.

— Не имею понятия,— сказал Демьянов.

— А я догадываюсь, товарищ подполковник. Взятый на рассвете «язык» показал — немцам уже известно, что к нам прибыла штрафная рота. И они боятся, что рота может ударить здесь.

— Через болота? Но это невозможно! — воскликнул начальник штаба.

— Возможно. Через болота три-четыре тропы есть. Я с батькой укажу.

Это проговорила женщина с кружкой. Демьянов опять глянул на нее. Женщине это будто не понравилось, она угрюмо сверкнула мокрыми глазами, встала и вышла из омшаника. Когда поднялась, под измятой юбкой обозначился круглый живот — женщина была беременна.

Демьянов ничего у командира дивизии не спросил, только поднял вопросительный взгляд.

— Ее Алексиной зовут,— сказал полковник.— Немцы ее изнасиловали еще зимой. Пришла попросить, чтобы военные медики аборт ей сделали.

— Вот как?!

— «У нас, говорю, нет таких специалистов...» Да и поздно, судя по всему. Плачет вот... Как с эвакуацией раненых?

— Делаем, что можем,— пожал плечами Демьянов.

— Да, немцам укрепиться мы помешать не в состоянии...— Велиханов взял карандаш, обвел на карте кружком пространство между лесом и болотами. — Пленный показал, что завтра к полудню они подкреплений ждут из Орла.

— Кроме того, в любой момент немцы могут перекинуть сюда войска с соседних участков.

— Могут. И поэтому не позже чем на рассвете надо нам эту пробочку вышибить, иначе мы тут надолго застрянем. К счастью, нам придается еще артиллерийский полк, как раз завтра к рассвету прибудет. А штрафная рота ударит все же здесь! — Командир дивизии ткнул карандашом в кружок на карте.— Через болото. Нам важно в стык немецких дивизий вбить клин, рассечь вражескую оборону. Как только мы это сделаем, немцы, боясь окружения, попятятся.

* * *

Этот разговор начальника штаба с командиром дивизии произошел вскоре после приезда капитана Кошкина в дивизию, и вот теперь, к исходу дня, штрафная рота, получив боевой приказ, покинула деревушку Малые Балыки, чтобы до темноты прибыть к восточной оконечности болот, которые начинались в двух километрах от Жерехова.

Двигались повзводно с интервалом в полкилометра. Строя никакого не соблюдалось, бойцы шли кучками, командиры отделений то пропускали своих подчиненных вперед, стоя на обочине, словно пересчитывали людей, то пробегали, обгоняя всех, в голову колонны, покрикивая: «Не растягивайся! Па-а-шире ша-аг!»

Бойцы шага не прибавляли, но и не убавляли, и это означало, что команда все-таки выполняется.

Сбоку дороги пегая лошаденка тащила телегу, на которой сидели два дряхлых старика и угрюмая женщина в старом мужском пиджаке, подпоясанном ремнем, в черном платке. Один из стариков правил, другой, чуть помоложе первого, спустив ноги с телеги и едва не бороздя ими по земле, с любопытством оглядывал штрафников. Женщина ни на кого не обращала внимания, угрюмо глядела куда-то перед собой и, кажется, ничего не видела. Старики были безоружными, а женщина сжимала автомат, который лежал у нее на коленях, обтянутых тоже черной, как платок, юбкой.

— Что за чучелы?! — уже не первый раз спрашивал Гвоздев, подбегая то к Зубову, то к Макару Кафтанову.— Куда они с нами, а? Гляди, бабе даже автомат выдали!

— Проводники, слышал я,— сказал наконец Зубов.— Через болота нас поведут.

— Проводники-и! — Гвоздев похлопал радужными, красивыми глазами.— Хе-хе... Прижать бы где эту проводницу спиной к земле...

— Дурак. Она же беременна,— поморщился Зубов.

— Ну-к что... Я же не роды принимать стал бы. Немножко... хе-хе... наоборот.

Зубов поморщился и вяло, без всякой неприязни к Гвоздеву, подумал: «Пристрелить бы его все же хорошо...»

Всем бойцам штрафной роты перед маршем были выданы автоматы, по четы-

ре диска к ним, по три гранаты. Макар Кафтанов, длинный, давно не бритый, нес автомат не за плечом, как многие, а на шее, оружие будто гнуло его к земле, он горбился, временами, словно через силу, распрямлялся и зло сверкал черными цыганскими глазами, оглядывая бредущих людей, стариков и бабу на телеге. Гвоздев, потный и красный, какой-то весь взвинченный, то и дело подскакивал к нему:

— А что, Макар? Через болота, а? А дале что? На убой же гонят.

— Отвяжись,— сплюнул Макар и почесал пятерней потную, исколотую непристойными картинками грудь.

— Да ты не плюйся, а давай подумаем... Не пора ли подумать, говорю! А, Зуб? — хрипел он, оборачиваясь к Зубову. И снова к Макару: — Через болота мы, кажись, в тыл немцам выйдем, я кумекаю. А немец — он что? Он нашего брата уголовника, ребята говорили, не обижает. Самый момент, братцы!

— Вон командир отделения как услышит...— Макар кивнул на пробегавшего куда-то назад отделенного.

— Ну, гляди, Макар,— прошипел Гвоздев,— еще такого случая, может, и не подвернется.

Макар на это ничего не ответил, будто не слышал, а Зубов опять подумал равнодушно, не испытывая никаких эмоций: «Пристрелить, собаку...»

* * *

Капитан Кошкин и старший лейтенант Лыков в пункт сосредоточения роты на восточной окраине болот приехали до прибытия взводов за полчаса. Здесь, на сырой поляне, окруженной чахлым разнодеревьем, дымили уже полевые кухни, старшина роты Воробьев покрикивал на бойцов хозвзвода, заканчивающих сооружение на краю поляны командирского блиндажа. Санитарные палатки, о которых еще днем говорил лейтенант-медик, прятались в тени кустов, возле них мелькали девчонки-санинструкторы, прибывшие сегодня утром из запасного полка, некоторые были без ремней, в нижнем белье, с распущенными волосами.

Узнав о прибытии командира роты, девчонки с писком попрятались, а через некоторое время появлялись уже одетые по форме, с сумками на боку.

— Так,— мрачно сказал Кошкин, оглядев поляну. Сел на кочку, задрал голову вверх, куда струились дымки от полевых кухонь.— Не засекут? В двух километрах немцы...

— Кругом дымно, чего там,— произнес Лыков.

Боевые действия на этом участке, утихнувшие вчера под вечер, в течение дня не возобновлялись, но во многих местах еще догорали подожженная техника, участки леса и, видимо, какие-то деревушки, дым расползался над всей округой, над болотом, утихомиривая комаров. Если бы не дымная мгла, от комаров, наверное, не было бы спасения.

У достраивающегося блиндажа суетились связисты с катушками проводов, вешали провода на шесты, на крупные сучья деревьев.

— Скоро они? — Кошкин взглядом показал ординарцу на связистов.— Узнай. И начсанчасти позови. И Воробьев пусть подойдет.

Первым подбежал лейтенант-медик, начал было рапортовать, но Кошкин махнул рукой.

— Развернулся?

— Так точно, товарищ капитан. Осталось поставить операционную палатку.

Никаких операций в санчасти роты делать не полагалось, тяжелораненых следовало немедленно отправлять в дивизионный санбат или эвакогоспиталь, но рота дралась обычно в местах, от которых эти медицинские подразделения находились далеко. И средств для отправки раненых, как правило, почти не было. Кошкин всегда добивался, чтобы начальником санчасти в роте состоял более или менее опытный хирург, который в полевых условиях был бы способен делать простейшие операции.

— Не надо ставить,— сказал командир роты лейтенанту.— И поставленные палатки убирай.

— То есть... как?

— Связь, Данила Иванович, будет через час,— сказал подошедший ординарец.— Командир взвода связи сам где-то тянет линию.

— Хорошо. Как появится, немедленно свяжите меня с «Ромашкой».

— Будет сделано, товарищ капитан.

«Ромашка» — командир подразделения, которое с наступлением темноты должно было занять позиции на левом фланге.

Появился, на ходу вытирая потную шею пилоткой, старшина Воробьев.

— Ты вот что,— сказал ему Кошкин,— блиндаж тоже прекратите строить.

— Почему?

— А потому...— Кошкин еще раз поглядел на небо.— Воздушной разведки противника не было?

— Я тут уже несколько часов,— сказал Воробьев,— ничего не пролетало.

— Наше счастье, значит... Ужин готов?

— Так точно.

— Сейчас подойдет рота. Накормить всех хорошенько. Проверить у каждого бойца НЗ. И вот что... Можем ли еще что-нибудь в НЗ добавить? Бой будет, возможно, долгим.

— Есть немного свиной тушенки. Ну, центнера полтора сухарей.

— Все раздать.

— Да это же в Балыках осталось.

— Доставить! — прикрикнул Кошкин.— Немедленно! Вон возьмите мою машину.

— Слушаюсь! — вытянулся Воробьев.

— Товарищ капитан! Все-таки непонятно... как же свертывать санпалатки?— спросил лейтенант-медик.

— Выполнять! Не понадобятся... По прибытии роты будет отдан боевой приказ, все поймете.— И повернулся к ординарцу: — Принеси нам со старшим лейтенантом ужин.

Ужинали Кошкин и Лыков тут же, на траве, поглядывая, как девушки-санинструкторы и бойцы хозвзвода свертывают палатки, грузят их на санитарные повозки. Солнце село, болота, поросшие желтым ивняком, дышали жарким вонючим испарением, оттуда, казалось, выползала тьма и, пропитывая и без того дымный воздух, медленно заливала поляну. Было тихо, фыркали изредка лошади, звенели удилами, да время от времени раздавался приглушенный девичий хохоток.

Кошкин и Лыков прибыли сюда прямо из штаба дивизии, куда ездили за уточнением хода предстоящей операции. Вышли они от Демьянова мрачными, всю дорогу не разговаривали и сейчас, поскребывая ложками в котелках, молчали.

Первые бойцы роты появились на поляне из-за кустарника неожиданно. Командир взвода старший лейтенант Крутояров, в прошлом камчатский рыбак, до сих пор не расстающийся с тельняшкой, что-то негромко скомандовал, бойцы начали строиться вдоль поляны.

— Ну что, Лыков,— вздохнул Кошкин, отставляя котелок,— приближается судный наш час, что ли?

— Я особо в жизни не грешил,— ответил тот с усмешкой.— Пил до войны в меру, жену не обманывал. До того, как познакомился с ней, были, конечно, девчонки... Так что пронесет, я думаю. А твое настроение мне не нравится.

— Да, брат, под сердцем сосет,— признался Кошкин.— Такого боя, какой предстоит, у нас еще не бывало. Не напрасно роту положим?

— Не уверен?

— А ты?

— Нам надо быть уверенными,— вместо прямого ответа сказал Лыков.

— Надо... Это и я знаю, что надо.

Они помолчали, глядя, как выстраивает подходящих бойцов взвода Крутояров. Потом он опять что-то скомандовал, строй качнулся, но не рассыпался, люди просто сели на землю.

— Это правильно,— сказал Кошкин.— Пусть отдыхают, переход был немалый. Значит, так, Лыков... После ужина собери всех командиров отделений. С подробностями объясни всю ситуацию и боевую задачу, проведи, словом, всю политическую подготовку. Я тем временем отдам всем подразделениям боевой приказ. Потом буду лично говорить со всей ротой.

На поляну, мягко постукивая по кочкам, выехала телега, на которой сидели два старика и женщина.

— Ну, давай занимайся своими делами,— вставая, проговорил Кошкин.— А я со стариками этими еще разок потолкую... И чтоб костры не вздумали разводить. С наступлением темноты, я думаю, воздушные разведчики начнут болтаться.

* * *

Кошкин был прав: когда навалилась темнота, в небе глухо загудела немецкая «рама», то приближаясь, то удаляясь. Когда воющий звук приближался, над небольшой поляной, где скучилась вся рота, раздавалась протяжная негромкая команда:

— Ко-ончай курить! Задавить окурки!

Каждый послушно тыкал папиросу в землю. Все понимали, что будет, если немец сверху засечет местонахождение роты и на поляну посыплются снаряды, а то и бомбы.

И вообще, рота перед боем всегда преображалась, дисциплина подтягивалась. По-разному готовились штрафники к предстоящему испытанию тяжелым боем. У иных проявлялись отчетливые проблески сознания воинского долга. Даже самые отчаянные головорезы притихали, понимая, что наступает рубеж, за которым или ничего не будет, или следующим утром для них взойдет солнце. Сделать трудное дело и остаться при этом в живых надеялся все-таки каждый, и эта вера, всегда замечал Кошкин, даже в самом отпетом преступнике вдруг высвечивала на какие-то мгновения бывшие человеческие черты, давно в нем уничтоженные, задавленные уголовным бытом, безжалостными законами этого страшного мира. И что любопытно — реальное, почти ощутимое дыхание смерти все-таки относительно редко толкает этих людей на новые преступления. Бывают, конечно, случаи, как с Гориллой, но по отношению к общей массе людей в роте это мелочь. Бывают самострелы, «мыльники», пытающиеся таким способом увильнуть от предстоящего боя. У таких людей приближающееся ледяное дыхание смертельной опасности вызывает животный страх, но и их, в общем, тоже не много. Попадаются, наконец, экземпляры, рассчитывающие сохранить никчемную и жалкую жизнь свою сдачей в плен врагу в удобный момент в ходе боя... Но подавляющая масса штрафников готовится к крещению огнем и кровью покорно, сознательно и честно, отчетливо, наверное, в этот момент понимая и ощущая, в какой огненный, постепенно смыкающийся круг каждый сам себя загнал, вырваться из которого можно только честным исполнением того, что требует стоящая выше неумолимая и безжалостная сила военных законов.

Раздумывая сейчас как-то помимо воли обо всем этом и еще о десятках больших и малых крайне важных в данный момент вещей, Кошкин щепками прикалывал к земляной стене недостроенного блиндажа большой лист бумаги, на котором крупно были обозначены продолговатая поляна, где сосредоточилась сейчас рота, болото, речка, высота за ней, немецкие траншеи по краю болота и по обеим сторонам высоты. Подобные «наглядные пособия» он всегда рисовал перед началом боя, полагая, что зрительная память командиров взводов и всех прочих подразделений роты может помочь им в дыму и грохоте боя лучше ориентироваться в местности, лучше управлять боем и обеспечивать его всем необходимым.

Блиндаж освещался немецкой карбидной лампой, командиры взводов и всех других служб, расположившиеся вдоль стен, хмуро наблюдали за Кошкиным. Свет лампы окрашивал все лица в бледно-серый, неживой цвет. В углу кучкой сидели старики и женщина в выданных им крепких армейских сапогах, старики были в зеленых новеньких бушлатах, а женщина все в том же обмызганном пиджаке, на коленях ее лежал, как и в дороге, автомат, который она сжимала обеими руками. Глаза ее угрюмо поблескивали из-под низко надвинутого платка.

— Слушать внимательно,— сказал Кошкин, оборачиваясь и вытаскивая из-за голенища тонкий прутик.— Мы здесь, на поляне. Где-то там, по кромке болот и, конечно, в лесу, клином выходящем к речке, немцы. До них примерно два километра. Сколько их, мы не знаем... Точных разведданных нет. Известно лишь, что немало. Много артиллерии. Трем взводам роты предстоит подойти к немцам скрытно, через болота. Тропки на карте показаны условно. По их словам,— Кош-

кин кивнул в угол, где сидели проводники,— одна тропа выходит прямо к лесному мысу, вторая — вот здесь, метрах в семистах от первой, третья — к речке. Так? — повернулся он в угол.

— В аккурат... на луговинку и к речке,— пошевелил бородой один из стариков.— Бывалоча, я ишо в холостяках шнырял по этой тропе из Зозулина. В Зозулине жил-то я. В Жерехово, значит, чтоб... Это счас мы в Малых Балыках, а тогда в Зозулине жили.

— Хорошо,— сказал Кошкин, повернулся было снова к карте. И вдруг спросил: — А зачем тебе, отец, в Жерехово-то надо было?

Он спросил это, посмеиваясь, и видно было, что знал, какой будет ответ.

— А по молодому делу,— ответил старик.— К матке ихней хаживал... Алексины да Терешки вот.

Плеснулся хохоток, люди зашевелились, будто отряхивая тяжесть, лежавшую незримо у каждого на плечах. Некоторые полезли за табаком.

— Курить отставить, задохнемся ж,— проговорил Кошкин, тоже улыбаясь, довольный, что люди ожили.— Прошу внимания. Значит, одна тропа на два взвода. Бой предстоит необычный, прошу это понять всех. Хотя обычных у нас не бывает, но этот... Брать немецкие траншеи предстоит под шквальным огнем нашей артиллерии...

В блиндаже немедленно установилась гробовая тишина. Но спрашивать никто ничего не спрашивал, ожидая дальнейших слов командира.

— Да, товарищи, под своими собственными снарядами. Немцы ожидают, что мы ударим именно здесь. Больше негде... И заранее по всему берегу болота заняли сегодня утром оборону. Знают или не знают, где выходят из болота тропы, не могу сказать. Не исключено, что кто-нибудь из местных жителей и указал им... Врагу, надо полагать, неизвестно время удара, но он подготовился. Твердых площадок для накопления бойцов перед ударом не будет, атаковать придется с ходу, по выходе из болота. И немец встретит, конечно, наши жиденькие цепочки, вытекающие из болота, огнем в упор. Пулеметным и пушечным... Чтобы его подавить в момент атаки, и будет гвоздить наша артиллерия... По вражеским головам и по нашим.

Карбидная лампа горела ровно, обливая всех жиденьким светом, люди сидели не шевелясь, тупо, казалось, осмысливая страшные слова командира роты. Алексина, медленно вращая головой, оглядывала всех враждебно блестевшими из-под платка глазами и будто спрашивала безмолвно всех сразу: «Что, испугались, командиры?»

Кошкин тоже оглядел своих подчиненных и тоже будто остался недоволен их видом и состоянием. В гневе раздувая ноздри, сказал:

— И, кроме того, все болотные берега, я думаю, заминированы. Во всяком случае, я бы так сделал, ожидая в подобной ситуации атаки вражеской штрафной роты. А немец — он тоже не дурак.

Один из стариков, то ли отец, то ли сын, тоненько, по-птичьи, чихнул, торопливо перекрестился, прошепелявил непонятно к чему:

— Прости ты, господи, грехи наши тяжкие.

Кошкин покосился в угол, на проводников, продолжал:

— Когда ворвемся во вражеские траншеи, огонь нашей артиллерии по сигнальной ракете прекратится. Тут уже не зевать. Боекомплект у бойцов невелик, но пользоваться немецкими автоматами и гранатами мы их учили... Взяв траншеи, уничтожив врага, быстро преодолеть эту речку, сосредоточиться у подножия высоты 162,4 по правому склону, вот здесь.— Кошкин щелкнул прутиком по бумажному листу.— Одновременно с атакой роты на вражеские позиции у болота начнется наступление наших войск справа и слева. Перейдя речку, мы окажемся в тылу у немцев... Наша задача — ударить им в спину опять.— Кошкин на несколько секунд остановился, ноздри его снова хищно пошевелились, брови сдвинулись. Он переступил с ноги на ногу, сломал прутик, отбросил его.— В общем, навстречу нашим наступающим войскам пойдем. Навстречу нашему огню... Вот так в общих чертах. Но пока ставлю роте задачу — взять траншеи на берегу болота. Только эту задачу! А там... приказ последует. Я буду вместе с ротой. В случае моей гибели командование принимает старший лейтенант Лыков. В случае его гибели — лейтенант Крутояров. Затем командиры второго, третьего

взводов... В резерв себе беру два отделения. Связных от каждого отделения выделить вдвое больше. Санитарам двигаться вслед за бойцами, раненых с поля боя выносить будет некуда, стаскивать их в воронки от снарядов, в ямы и канавки...

Кошкин говорил еще несколько минут, отдавая необходимые перед боем распоряжения. И наконец, вздохнув, совсем не по-военному сказал:

— Ну и, кажись, все...— Повернулся к проводникам: — В болоте-то не перетопнем?

— Не... Ежели цепочкой, то не,— сказал один из стариков.

Другой добавил, потряхивая бородой:

— Коров мы тут дажеть прогоняли. А сапог — он не вострое копыто. Под ногой пружинить будет, знамо. Пущай солдаты не боятся.

— Этого не испугаются... Ну, все. Идите в свои подразделения, готовьте людей. Через час роту построить!

* * *

Рота была выстроена повзводно по краю поляны, залитой чернильной темнотой.

Кошкин, молча расхаживавший вдоль строя, не видел глаз бойцов, не различал их лиц, но по едва уловимому движению в колоннах чувствовал то напряжение, с которым люди ждут его слов.

Он еще помолчал, прислушиваясь к мертвой тишине, немного удивляясь возникшему вдруг неизвестно почему чувству покоя и благополучия: на секунду почудилось, что нет никакой войны, на всей земле царят покой и мирный труд, что люди, собравшиеся на поляне перед болотом, вовсе и не бойцы штрафной роты, а члены какой-то невиданно огромной колхозной бригады, и вот, поужинав после трудового дня, они собрались уходить с полевого стана по домам.

Но эти мгновения продолжались недолго, в груди появилась сосущая боль, сердце чем-то прищемило. И Кошкин, поморщившись, резко остановился, вскинул голову.

— Бойцы и командиры! Приближается минута, о которой, так или иначе, каждый из вас думал. Не так давно и я стоял на месте каждого из вас... Участвовал я во многих смертельных боях и перед каждым боем о чем-то тоже думал. О чем? О смерти и гибели? Нет. Чего ж думать об этом? Смерть и гибель на войне кругом. И думай не думай тут, а судьба если выпала такая, она тебя найдет. Нет, я думал вот о чем: плохой ли я, хороший ли — ладно, но почему эту землю, где я родился и рос, топчет проклятый фашист, по какому праву он терзает ее, жжет огнем и взрывает железом, почему он вонючим своим поносом испражняется на нее?

Все это, в том числе и последние слова, Кошкин произнес обдуманно. Давным-давно он понял, что патетика и громкие речи этими людьми не воспринимаются, с ними говорить нужно грубо, обнаженно и цинично. Тогда народ этот считает, что с ним говорят откровенно, по-человечески.

По рядам прошел ропот, шеренги в темноте закачались, строй, казалось, сейчас рассыплется. Но Кошкин этого не боялся, он был доволен, что его слова вызвали в роте протестующий ропот,— значит, дошло, царапнуло многих за что-то живое, что еще тлело в мрачных глубинах давно опустошенных и сгнивших душ.

— Сми-ир-рно! — рявкнул Кошкин во все легкие. И эта команда произвела необходимое действие, рота замерла.

Кошкин помедлил ровно столько, сколько было нужно, чтобы каждый штрафник почувствовал и осознал, что команда выполнена не им одним, а всей ротой. И насмешливо произнес:

— Обиделись... Один мой знакомый говорил: обиделась кобыла, что ей шлею под хвост вдели, да у кучера кнут был...

На этот раз шеренги не дрогнули, стояли неподвижно, только слышалось во мраке тяжкое дыхание. Теперь, когда у штрафников было разбужено что-то живое, можно было говорить с ними несколько по-иному.

— Вы провинились тяжко перед родителями, которые вас на свет произвели, перед землей, на которой живете, перед всеми людьми... А все это вместе называется Родиной, хотя это слово для вас, к сожалению, пустой звук. Вы надругались над Родиной, оскорбили ее. И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут, крепкий, беспощадный, чтобы проучить заблудших своих граждан.

Заложив пальцы за ремень, Кошкин сделал вдоль строя несколько шагов, повернулся, зашагал в другую сторону.

— Но Родина не только сурова, а и добра. Не думайте, что в тяжкий для нее час она призвала вас на ее защиту. Защитников у нее хватит. Они дерутся с врагом не из-под палки, а по долгу сыновей и дочерей Отчизны. Вам же Родина просто по доброте своей предоставила последний шанс возродиться из грязи, очиститься огнем и кровью от слизи и гноя, который проел насквозь ваши души, заслужить ее прощение...

Где-то над болотом опять завыла «рама», на этот раз не близко, звук ее, возникнув, сразу же стал отдаляться. Через несколько секунд далеко на западе слабеньким, колеблющимся заревом осветился кусочек неба, донесся редкий лай зениток.

Ни один человек в строю не шелохнулся, и Кошкин с удовлетворением отметил это. Постреляв, пушки умолкли, зарево, будто обессилев, погасло. И опять наступила тишина.

— Характер предстоящего боя вы знаете,— произнес Кошкин в полнейшем безмолвии.— Я же скажу вам одно: после этого боя все... и пролившие, и не пролившие кровь будут освобождены из роты. Подчеркиваю — все! Кроме тех, конечно, кто проявит в бою трусость, кто вздумает прятаться за спины товарищей. Таких мерзавцев после боя расстреляем! Хочу, чтобы и это было ясно... Вопросы есть?

Вопросов не было.

* * *

Болотная жижа хлюпала под ногами.

Ощущая под собой тонкий и ненадежный травяной пласт, готовый в любую минуту порваться, Петр Зубов шагал за низкорослым штрафником, боясь потерять во мраке или за кустами его спину. Алексина, мрачная беременная проводница, идущая где-то впереди их взвода, еще там, на поляне, предупредила: «Идти цепкой и друг от дружки не отставать. Отстанет ежели кто, ткнется вбок — и леший болотный за ноги вниз утянет. А так тропа просторная, мало что зыбучая — это ничего, надежно. Идти я буду тихо...»

Сзади, хрипло дыша прокуренным горлом, шел Гвоздев, он тоже боялся отстать, и временами Зубов ощущал его горячее дыхание на своей шее, слышал обессиленные злобой, приглушенные матерки.

Теплый болотный воздух был вонюч и едок, идти было тяжко, глаза заливал пот, автоматные диски и гранаты больно оттягивали ремень. К тому же комарье, поднятое, как дорожная пыль, движением людей, резало лицо, шею, кисти рук, прожигало плечи и спину сквозь взмокшую гимнастерку. Люди обмахивались ветками, но комарье это не отгоняло.

Низкое небо, не то по-прежнему задымленное, не то покрытое тучами, черной крышкой висело над головой, и Зубову чудилось, что оно постепенно опускается, как чудовищный пресс, все ниже, грозя его и всех остальных вместе с этими чахлыми кустами, с жесткой осокой и комарами вдавить в зыбкую болотную почву.

Алексина выполняла свое слово, шла где-то впереди медленно, а временами, видимо, вовсе останавливалась, давая возможность всем подтянуться. Пока задние подтягивались, Зубов, стоя в длинной шеренге, слушал редкое кваканье лягушек, перебирал в памяти недавний разговор с Алейниковым и думал о жизни, не понятной ему, жестокой и бессмысленной. Ему уже скоро сорок лет, он не нашел в этой жизни места и не найдет, конечно, он враждебен этому миру, и мир ему враждебен. Да и не только ему. Вот сколько тут, в болоте, людей, безжалостная сила гонит их сквозь топи вперед, навстречу смерти. Впереди смерть и сзади, если повернуть, смерть. «Вы надругались над Родиной, оскорбили ее... И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут...»

Эти слова командира роты капитана Кошкина, кажется, ничего не вызвали в душе Зубова, такие он слышал тысячу раз и раньше, потому по привычке внутренне усмехнулся. Лишь мелькнуло почему-то в мозгу, что и Алейников во время их беседы говорил, собственно, о том же, хотя таких слов не произносил. Кнут...

Но какой-то чудовищный кнут вообще свистит над землей, гоняет под небом неисчислимые толпы людей то в разные стороны, то навстречу друг другу, и тогда люди вступают между собой в смертельную драку. «Тут уж кто кого. Борьба классов...»

Фраза эта, сказанная недавно Алейниковым, будто наяву прозвучала вдруг опять над ухом. И Зубов удивился, что мысль, заключенная в этой фразе, забытая и не нужная ему, оказывается, жила где-то в нем, как огонек под слоем холодной золы, и вот неожиданно всплыла, будто опровергая его спутанные и невеселые мысли. «А почему «будто»? — подумал он, мрачнея.— И почему «ненужная»?» Ведь он, Зубов, спросил же у Алейникова: «От людей мне прощение может быть или нет?»

Над болотом потянули теплые, гнилые струи воздуха, нисколько не освежая вспухшего от укусов комарья и от внутреннего жара лица, лягушки все трещали где-то хрипло и скрипуче, будто ворчали на порушенный покой, уныло шуршали мелкоствольные ивняки, мотали космами ветвей. Рядом стоял Гвоздев, он поглаживал ладонью автоматный ствол и о чем-то вполголоса переговаривался с Кафтановым. Тот слушал не отвечая, вытягивал исхудалую шею. Смотрел куда-то поверх кустов и Зубов, не пытаясь разобрать слов Гвоздева. «Опять уговаривает к немцам,— подумал он.— И уговорит, наверное, поддастся Макар... Сволочи».

Еще у Зубова мелькнуло, что Макар Кафтанов в последнее время как-то свял, замкнулся, хмуро о чем-то все время думал, будто внутри у него что-то завелось и начало больно точить, Макар стал худеть, даже осунулся, лицо сделалось костлявым. Но тут же эта мысль пропала, в голове заворочалось, охлаждая по всему телу горячую кровь: «Убьют сегодня, найдет меня в конце концов пуля. А жалко».

Зубов думал так о себе, как о ком-то постороннем, которого могут убить в предстоящем бою и которого ему будет жалко.

Взвод, растянувшийся на большое расстояние по болоту в одну шеренгу, где-то впереди снова двинулся, под ногами захлюпала вода. Зубов, ощущая на плече тяжесть автомата, шагал и думал теперь еще более угрюмо, что какие-то странные вопросы, подобные вот этому — может ли ему от людей прощение быть? — беспрестанно возникают в мозгу. Вопросы возникают, но ответа на них нет, никто не может его дать. И Алейников не дал, пошел философию разводить: есть, мол, разные преступления, некоторые даже закон может простить, а люди — никогда. Например, измена Родине... «Родине я не изменял и не собираюсь, это вон Гвоздев, кажется, собирается. Кафтанова Макара уговаривает. А я — нет, хотя что для меня Родина, где она, какая она? Для отца, видимо, была какая-то и где-то Родина, его за это убили... Борьба классов. А я — какой класс? И может ли быть, может ли отыскаться для меня Родина? Она где-то существует, чужая и непонятная, суровая, но и добрая, как говорил недавно на поляне Кошкин. Где же она существует? Где нашел ее сам-то Кошкин, в прошлом тоже заключенный? Спросить бы у него...»

Мысль эта, возникшая, как и все остальные, неожиданно, в отличие от других, не пропала, не исчезла, а начала ворочаться в мозгу все беспокойнее, вызывая чувство и облегчения, и надежды. Зубову казалось: стоит спросить — и откроется неведомое, куда он шагнет, оставив разом за плечами свою ужасную, непроглядно-кошмарную жизнь, мрак и чернота сомкнутся за ним, разом отрежут, отсекут все прошлое. Пусть будет этот страшный бой сейчас, пусть будут еще десятки боев — он, Зубов, каждый раз будет кидаться в самую их гущу, в самый огонь и грохот, он не из трусливых, и ни пуля, ни осколок, ни струя из огнемета не возьмут его! Он будет как заколдованный, потому что будет знать, где она, Родина, и что это такое! Отчего зто он вдруг подумал, что сегодня неминуемо погибнет? Не погибнет, если спросит, если узнает... Но как спросить? Где сейчас увидишь капитана Кошкина? Он там, на поляне, куда будут к нему бегать связные с сообщениями о ходе боя. Как они будут бегать через все болото? Как это Кошкин на таком расстоянии будет руководить боевыми действиями взводов и отделений? Нет, кажется, всю роту действительно на убой гонят, как скот...

«Как скот... как скот...» — зазвонила в висках горячая кровь, опять отдаваясь болью, смывая, захлестывая пролившееся было в душе облегчение. «Какая, к черту, Родина для меня?! — вспыхнули у него в голове горячим пожаром зло-

ба и ненависть к тому же Кошкину, к шагающим позади Гвоздеву и Кафтанову, ко всему миру враз, в одну секунду, переполнили его.— И прав, может быть, этот сопляк, Гвоздев этот... У немцев, наверное, лучше будет. Лучше!»

Не убавляя шага, Зубов стал заворачивать голову через плечо, чтобы взглянуть на Гвоздева, но увидел... капитана Кошкина. Тот стоял сбоку, совсем близко, на болотной кочке, опираясь обеими руками на толстую палку, смотрел на проходящее мимо отделение, глаза его в полумраке поблескивали. «Как пастух»,— мелькнуло почему-то злорадно у Зубова, и он остановился. На него тотчас наткнулся Гвоздев, на Гвоздева — Кафтанов.

— В чем дело? — сердито проговорил Кошкин.— Вперед! Не останавливаться!

— Разрешите обратиться, товарищ капитан! — как-то само собой вырвалось у Зубова, хотя в эту секунду он уже не хотел задавать свой вопрос ни Кошкину, ни кому бы то ни было.

— Ну? Что такое? Не останавливаться!

Гвоздев скривил губы, царапнул насмешливо сверху вниз Зубова глазами — все это Зубов скорее почувствовал, чем увидел,— и зашлепал сапогами. И Макар Кафтанов, скользнув в темноте взглядом по Зубову, тоже пошел, и все остальные за ним. Зубов же, поправляя автомат на плече, стоял напротив Кошкина, удивленный, что командир роты находится здесь, а не на поляне за болотом.

— Я слушаю, Зубов. Что у тебя?

— Да так... Пустяки. И вам смешно, наверное, будет,— угрюмо проговорил Зубов.

— Тогда я и посмеюсь.

— Вы сами были не так давно в штрафной роте. За что — я не спрашиваю...

— Ишь ты! — Голос Кошкина на этот раз прозвучал более жестко, он, кажется, нагнулся к Зубову, глаза его оказались совсем близко и больно резанули по лицу. И Зубов вспомнил — точно так же эти зрачки впились в него там, под Валуйками, когда он, повергнутый наземь, признался, что стрелял в него.— А что же ты хочешь спросить?

— Я вот все шел по этому болоту и думал про те слова ваши о Родине... Повсякому о них думал. И любопытно стало мне — сами-то вот где... и в чем нашли Родину? Что это такое?

Зубов все это произнес медленно, отвернувшись от Кошкина, глядя, как во мраке течет и течет нескончаемая цепочка штрафников, слушая, как чавкает болотная жижа под их сапогами.

По-прежнему над головой висело низкое, черное небо, лишь с одного края, где-то далеко, оно временами озарялось слабым и бессильным заревом,— может, то немцы или наши пускали ракеты, а может, просто поблескивали летние зарницы.

Кошкин стоял не шевелясь, все так же опираясь обеими руками о палку. Он все так же пристально глядел на Зубова. И хотя тот стоял отвернувшись, но чувствовал этот взгляд.

— Ну-ка, подними голову! — жестко скомандовал Кошкин.

И Зубов вдруг почувствовал, что поднять голову и поглядеть в блестевшие во мраке глаза Кошкина ему нелегко. Какая-то сила мешала этому, шея вдруг одеревенела.

Он собрал все силы и, чувствуя, как трещат шейные позвонки, голову все же поднял.

— Вот что, Зубов... И это болото — Родина. И это небо, и комары. И та земля,— Кошкин кивнул через плечо в сторону, куда цепочкой двигались штрафники,— та земля, в которую зарылись сейчас немцы. И дело не в том, где ее найти... Ты не об этом хотел спросить.

— Может, и не об этом,— согласился вдруг Зубов.

— А вот когда найти?! А?

— Правильно,— выдохнул Зубов, поражаясь чему-то.

Командир роты с полминуты молчал, кромсая Зубова блестевшими глазами. И Зубов, не смея без команды повернуться и уйти, стоял покорно, не решаясь даже отвести взгляд, опустить голову, стоял и ждал еще каких-то слов этого чело-

века, наделенного неограниченной властью, имевшего право, даже обязанного там, в Валуйках, пристрелить его, но не сделавшего этого.

— Так вот, мне кажется, что скоро ты найдешь ее в конце-то концов,— проговорил Кошкин.— Во всяком случае, я желаю тебе этого, Зубов... Встать в шеренгу!

* * *

Весь день на высоте прошел спокойно. Немцы не забыли, однако, о русских, оставшихся у них в тылу, их снайперы таились где-то под разбитыми, обгоревшими танками, внимательно наблюдали за сопкой, и, едва над бруствером окопа возникал силуэт или мелькала тень (Иван время от времени и в разных местах высовывал из окопа на черенке лопаты то каску, то снарядную гильзу), сразу раздавалось несколько выстрелов, пули торопливо клевали в металл, со звоном уходили в рикошет.

— Отставить! — в конце концов распорядился Ружейников.— Отрикошетит в тебя самого или в кого из нас!

— Полезли бы уж, что ли,— вяло проговорил Иван, отбрасывая палку.— Коли судьба нам тут, так уж скорей пущай. А то тянут жилы.

— Ай-ай! Умирать торопишься? — с укором произнес Магомедов.— Успеешь.

Иван ничего не ответил азербайджанцу, поглядел на безмятежно спящего Семена, потом задрал голову, стал смотреть куда-то вверх.

Там, над сопкой, в недавно очистившемся от дыма небе, медленно плыл, распластав крылья, неизвестно откуда взявшийся аист. Он парил на небольшой высоте, с земли было видно, как он поворачивал голову на длинной шее то вправо, то влево, будто высматривал, что делается здесь, на бывшей уничтоженной батарее, и там, возле разбитых танков, под которыми лежали немцы, и еще дальше, за речкой, на узкой кромке открытой земли между болотом и лесом. Вслед за Иваном аиста увидели Магомедов и Ружейников. Несколько минут три человека, грязные, заросшие щетиной, в оборванных, обгорелых гимнастерках, забыв на эти минуты о немцах, о павших и похороненных в воронке от вражеского снаряда своих товарищах и о своей неотвратимо приближающейся, как понимал каждый, смерти, наблюдали за вольной и сильной птицей. Смотрели они на нее по-разному: Иван — с усталой и тихой грустью, в зрачках его что-то вспыхивало и гасло; Ружейников — будто равнодушно, лишь пыльные, измученные веки его мелко-мелко подрагивали; Магомедов — по-детски удивленно и восторженно, черные глаза его открывались все шире и шире, будто видели в небе не обыкновенного аиста, а какое-то невообразимое, немыслимое чудо.

Сделав широкий круг над развороченной солдатскими лопатами и снарядами сопкой, аист, по-прежнему не шевеля крыльями, поплыл к реке.

И вдруг туго распластанные крылья аиста сломались, в одно мгновение превратились в лохмотья. И лишь потом донесся выстрел. Птица бесформенным комком стала падать вниз.

— Сволочи! — Магомедов, обезумев, вскочил во весь рост, затряс кулаками. — Сволочи-и!

Иван зверем метнулся к Магомедову, схватил за ремень, изо всей силы дернул, повалил бывшего командира самоходки на дно траншеи.

— Уйди! Прочь! — вскричал Магомедов, пытаясь подняться.

Тогда Иван навалился на него всем телом, подскочивший Ружейников схватил азербайджанца за руки.

— Утихни! Кому сказано! — прохрипел старший лейтенант, вытащил на всякий случай из кобуры Магомедова пистолет.— Распсиховался тут!

Пока все это происходило, немцы, развлекаясь и упражняясь в меткости, со всех сторон палили по падающей птице. Мертвый аист только переворачивался в воздухе, от него густо брызгали перья, а потом, кружась, медленно падали вниз.

Разбитое, разорванное пулями тело птицы давно упало где-то на землю, давно перестали стрелять немцы, а легкие перья еще долго сыпались и сыпались.

— Твое счастье, что на аиста глазели, а не на окоп,— сказал Иван, отходя от Магомедова. Тот лежал на дне окопа лицом вниз, ничего не выкрикивал теперь, только хрипел и царапал пальцами землю.

— Какой нервный стал,— произнес негромко, без осуждения Ружейников, сунул пистолет азербайджанца в его кобуру и сел на прежнее место, возле стереотрубы.

Магомедов пошевелился, потом поднялся, сел. И, прислонившись спиной к земляной стенке, стал смотреть туда, где только что плавал аист. Он смотрел в небо, не мигая почти.

— Я родом из города Шемаха,— сказал он вдруг.— Есть такой город в Азербайджане. Слышали?

На это ему никто ничего не сказал.

— Мой город знаменитый. Там родился Насими.

— Это кто ж такой? — спросил Ружейников.

— Поэт. Он старался постичь и объяснить людям красоту природы, тайны и смысл жизни. Он говорил в своих стихах, что самое прекрасное и разумное в жизни — это человек.

— Правильно,— усмехнулся Ружейников.

— За это с него содрали кожу. С живого.

— Как... так?! — воскликнул Иван, приподнимая голову.

— Он жил давно, пятьсот лет назад. Тогда такие мысли считались ересью. И духовенство осудило его на такую казнь.

Потом все долго молчали, вслушиваясь в тишину, установившуюся над сопкой, непонятную и тревожную.

— А жизнь все равно никому не убить,— произнес в этой тишине Магомедов.— Никогда.

Иван прикрыл веки, пытаясь что-то себе представить, ту далекую, неведомую и страшную жизнь, когда с живых людей сдирали кожу, но представить ничего не мог, только вздрогнул сильно, в открывшиеся сами собой глаза ему больно ударило веселое и щедрое солнце, и в мозгу только теперь вдруг пронеслось: что же чувствовал, какие мучения перенес тот человек? И за что? За то, что пытался, как сказал Магомедов, постичь и объяснить людям смысл жизни. Вон когда еще люди бились над этим! Да и много раньше, наверное, и позднее, и до сих пор вот. А он, смысл этот, так людям и не дается. Иначе разве переживали бы люди такие мучения?! И голод, и холод, и войны. И ему самому жизнь выпала не сладкая, ломала его по-всякому, только кости хрустели, и вот доломает сегодня, может, окончательно...

Случайный рассказ Магомедова о трагической судьбе древнего поэта странным образом подействовал на Ивана. Весь день и всю ночь в голове его, что-то там размалывая и очищая, ворочались неясные мысли, вспоминались, сами собой всплывали в памяти самые тягостные моменты из его жизни, но они не казались Ивану сейчас тягостными, а тем более трагичными. Может, потому, что в голове гвоздем торчала одна мысль: что бы там с ним ни происходило, с него никто не сдирал кожу, как с того человека. И не сдерет...

С каждым часом в голове становилось все светлее, на душе легче, чувство обреченности и неизбежной гибели, просочившееся было, как вода в щели, в каждую клеточку мозга, в конце концов исчезло, выветрилось, и Иван, когда Семен, под вечер уже, очнулся от своего долгого сна, весело прокричал ему:

— Живем, значит, Сем, а?!

— Ага,— сказал Семен машинально. Приподнялся, сел, потер пальцами засохшую кровь на висках, непонимающе огляделся.— Где это мы, а?

— Да где, все там же... Только черта с два они нас получат!

Семен увидел Ружейникова — тот, сидя в окопе, чистил пистолет. Увидел выгнутую горбом спину Магомедова, все, видимо, вспомнил и протянул невесело:

— А-а...

— Как ты, Семен?

— По голове будто били чем-то, шумит немного. А так ничего.

— Поешь тогда. Мы уже все поужинали.

Иван тяжелым ножом вскрыл банку тушенки, дал ему пахнущий пылью кусок черного и черствого хлеба. Семен немножко поковырялся в банке, все вернул Ивану.

Когда стемнело, Ружейников приказал Ивану и Семену вести наблюдение и, если будет все по-прежнему тихо, разбудить его с Магомедовым в два часа ночи.

Все было тихо. Иван и Семен лежали на бруствере, сквозь натыканные в землю ветки смотрели вниз, где в разных местах чернели темными глыбами разбитые танки, а дальше поблескивала, отражая звездный свет, неширокая речка. Нигде ни звука, ни огонька, будто вокруг на много километров не было ни одного человека, ни одного живого существа, река и та омертвелая, течение воды словно прекратилось почему-то и теперь никогда уже не возобновится.

— Письмо-то Наташке не забудь переслать, ежели что,— вполголоса проговорил вдруг Семен.

— Помнишь,— усмехнулся Иван. Достал письмо и вдруг разорвал его надвое, потом еще надвое.

— Ты что?! — сдавленно вскрикнул Семен, вырывая обрывки.

— Вернешься домой — сам и расскажешь ей про свою... про что в письме. А лучше — не надо.

Семен, сжимая в кулаке бумажные клочья, спросил, помедлив:

— Ты, дядь Ваня... веришь, что вернемся?

— Обязательно.

— Если бы так,— вздохнул Семен.

— Жизнь, Семка, никому ведь не убить, сказал вон Магомедов.

И хотя Семка не понял, при чем тут Магомедов, переспрашивать не стал, разгреб в бруствере ямочку, сунул туда изорванное письмо и привалил землей.

— Правильно,— сказал Иван.— Бабам и так нынче сколько горя. Пущай этого не узнает.

— Не в том дело, — вздохнул Семен.

— А в чем?

— Этого не объяснить. И не понять никому. Олька хорошая, она никому не хотела... чего-то причинить. «Наташку, говорит, когда вернешься, люби еще сильнее... и береги».

— Чего ж она хотела?

— Чтобы ее немного пожалели.

— Это как же? — повернул голову Иван.

— Я и говорю — не понять.

Иван немного помолчал, вглядываясь в темноту. Повернулся на бок и вздохнул.

— Не знаю, Семка, большой ли, малый ли грех у тебя с ней был... Только я не одобряю.

— Не было греха,— упрямо сказал Семен. И, ощущая на себе вопросительный, непонимающий взгляд Ивана, прибавил чуть раздраженно.— Да, все было! А греха не было.

Иван больше ничего не стал расспрашивать.

Тихо все было на высотке и вокруг нее и после двух часов. Как было приказано, Иван в положенное время разбудил Ружейникова с Магомедовым, а сам лег на дно окопа, на место командира батареи, ощущая нагретую его телом плащ-палатку.

— А я не усну, выспался,— произнес Семен.— Пусть лучше еще Ружейников или Магомедов поспят.

— Не можешь, а тебе надо. Ты постарайся,— сказал Иван.— А то, чую, будет завтра дело...

— Как это чуешь?

— А как зверь лесной пожар чует. Спи!

Семен покорно лег на землю и в самом деле скоро заснул, опять провалился, как в яму.

Проснулись Иван и Семен от грубых толчков — не то тряслась земля, не то их кто-то безжалостно пинал. Ночь уже кончилась, занимался рассвет. Небо над высотой было затянуто, как скатертью, бледно-оранжевым светом, за скатерть будто непрерывно дергали, она то съезжала в сторону, к речке, то снова распластывалась над головой. В уши колотил беспрерывный грохот.

— Что? Лезут? — прокричал Иван, вскакивая.

— Приготовиться! Приготовиться! — орал Ружейников, размахивая пистолетом, и действительно пинал Семена. Он был в каске, каска сидела на голове криво. Рот командира батареи тоже был страшно перекошен, в черной дыре хищ-

но поблескивали зубы. На шее у него болтался бинокль. В левой руке старший лейтенант держал за ствол автомат, и, когда Семен вздернулся с земли, сунул ему оружие, и, увидев, что Семен взял его, повернулся и побежал вдоль окопа.

Через несколько мгновений все четверо лежали на бруствере и смотрели, как за рекой по всей кромке леса, уходящей вдаль, во мраке колышется поднятый снарядами слой земли и дыма, а снизу, прорывая этот слой, вспучиваются пестрые, раскаленные бугры, а потом взрываются и летят вверх и в стороны тугими огненными брызгами. Под мерцающим светом от взрывов блестела перетоптанная, спутанная трава по склону холма, по ней от разбитых танков в сторону реки бежали темные фигуры немецких снайперов, сторожившпх запертых на высоте людей. Трава была скользкой, немцы бежали и падали. Поднимались и опять бежали.

— Из ручного их бы можно еще достать! — прокричал Иван сквозь грохот.

— Отставить! Это одиночки. А патронов...

Иван все понял, что хотел сказать Ружейников, повернул голову к Семену. Тот, покусывая нижнюю, заскорузлую губу, спокойно глядел на убегавших немцев, на взрывы за рекой, на подожженный снарядами в нескольких местах лес и чуть улыбался.

Неожиданно где-то недалеко, над болотами, густой мрак пронзила зеленая ракета, грохот артиллерийской канонады почти смолк, но вражеские пушки, расположенные вдоль кромки леса, изредка постреливали, снаряды их рвались недалеко в болоте.

— Ничего не понимаю,— пробормотал Ружейников.— Они бьют прямой наводкой в болото. Неужели наши из болота наступают? Это немыслимо!

— Они наших в упор расстреливают!— закричал Магомедов.— Надо подавить их пушки! Разрешите? Отсюда их легко накрою...

— Надо, говоришь? Наверное, надо...— хриплым и неуверенным голосом произнес Ружейников, растирая кулаком подбородок.— Давайте — ты и Савельев Иван!

Магомедов с Иваном вскочили уже, чтобы кинуться к пушке, но Ружейников поднял руку:

— Стойте! Что это?

Из-за реки донесся какой-то вой. Он все поднимался, нарастал там, далеко, где стреляли немецкие пушки, его заглушали орудийные выстрелы, временами накрывал волнами вспыхивающий треск автоматов.

— Отставить, Магомедов! — Командир батареи почему-то зло поглядел на азербайджанца, на Ивана Савельева, кивнул туда, за реку:— Ты слышишь? Вы слышите?

— Там люди в атаку пошли,— сказал Магомедов.

— Пошли,— согласился Ружейников.— А что они кричат?

Немецкие орудия стреляли все реже, но все более нарастал треск автоматов. Однако он теперь не мог заглушить яростный рев человеческих голосов. Но это было не привычно-знакомое, раскатистое «ура-а!», люди кричали как-то по-другому, яростно, по-звериному.

Магомедов, Иван Савельев и Семен слушали этот рев и молчали.

— Та-ак,— вяло и бесцветно промолвил вдруг Ружейников, снял каску, сдернул пилотку и вытер ею взмокшее лицо.— А я, кажется, слышал такое... нынче зимой. Когда мы на Вязьму наступали. Так... с такими криками в атаку штрафники, штрафная рота ходила.

— Товарищ старший лейтенант! Смотрите! — закричал Магомедов.— Они отходят!

Ружейников торопливо вскинул к глазам бинокль. Но и без бинокля было видно, что по всей кромке леса по-прежнему шел бой. Лесной клин, выходящий к реке, начал вдруг окутываться дымом — то ли деревья загорелись, то ли немцы подожгли дымовые шашки. Огня, во всяком случае, с высоты не было видно. Ружейников, Магомедов да Иван с Семеном видели лишь, как в рассветной полумгле сквозь клочья и полосы дыма бегут толпы немцев. Часть из них залегла на противоположном берегу, торопливо окапывалась, остальные кидались прямо в воду, переплывали, переходили неглубокую речушку и тоже принимались зарываться в землю. Ружейников наблюдал за всем этим, даже приподнялся на руках, будто изготовился к прыжку.

— Сосенки-елочки! — воскликнул он, остервенело сверкнув глазами.— Сейчас они пожалеют, что не задавили нас тут. Магомедов и вы, Савельевы,— к орудию!

Справа, на западе, где небо было темнее всего, оно осветилось вдруг бледно-оранжевым заревом, будто именно оттуда, с противоположной стороны, вздумало сегодня взойти солнце, и до высоты, до огневой позиции бывшей батареи, от которой осталась одна пушка, докатился гул, глухой и могучий. Он шел будто под землей, колыша ее, грозя ежесекундно разорвать недра, вырваться наружу и тогда уж в неудержимой ярости затопить все вокруг, смять, растереть в порошок все живое и мертвое.

Четверо людей на высоте, измученных, слабых и беспомощных, невольно повернули головы на этот зловещий звук.

— Началось,— ссохшимися губами прошептал Ружейников.— Наше или немецкое?

Старший лейтенант не произнес слова «наступление». Но это и так было ясно.

— Я говорил, Семка, что сегодня будет дело,— улыбнулся Иван весело, облегченно, будто все смертельные опасности были уже позади.

— Чему радуешься? — рассердился Ружейников.— К орудию, говорю! Выкатить вот сюда, на прямую наводку. И слушать мою команду!

Небо над рекой, лесом и болотами снова было завалено теперь, опутано космами дыма, но сквозь редкие прогалины виднелись синие окошки, они становились все светлее, сквозь них проливался на искореженную снарядами и бомбами, на сожженную безжалостным огнем землю новый, длинный летний день...

* * *

Этот новый день войны, который, может быть, мало чем отличался от многих и многих предыдущих, стал, как и предыдущие, последним для тысяч людей, мужчин и женщин, молодых и пожилых, хороших и плохих, известных и безымянных...

Этот день стал последним для Алексины, молодой и красивой женщины, с отвращением носившей в себе чужой и ненавистный ей плод, для азербайджанца Магомедова родом из Шемахи, для капитана Кошкина, чья жизнь, несмотря на выпавшую ему тяжелую судьбу, была не длинной, но прекрасной... Война, как ненасытное чудовище, пожрала очередные свои жертвы и с грохотом покатила дальше, а земля поседела за этот день еще больше...

В этот день закончил никчемный свой жизненный путь и Леонид Гвоздев, человек подлый и мерзкий, каковых тоже в немалом количестве производит природа. Но он погиб не от фашистской пули, его застрелил Зубов, сын бывшего белогвардейского полковника, вор-рецидивист, приговоренный когда-то советским судом к высшей мере наказания. Прикусив до крови губу, он полоснул его из автомата в тот момент, когда Гвоздев, перебежавший уже к немцам, выхватил из зеленого ящика снаряд и подал его вражескому артиллеристу. Немец, долговязый и сутулый, согнувшись, принял снаряд и повернулся к пушке, собираясь вогнать его в ствол, не заметив ворвавшегося сквозь тучи пыли и дыма на огневую площадку Зубова. Автомат в руках Зубова несколько раз дернулся, немец мешком отвалился в сторону, тяжелый снаряд, выпав из его рук, ударился о станину и покатился куда-то.

— Зу-уб! — заорал Гвоздев, отпрянувший вбок.— Зуб... зачем? Мы с Макаром решились!

— С-сучка! — Неожиданная все-таки злоба и ненависть к Гвоздеву перекосили лицо Зубова.— Когда успел? Когда?!

— И ты давай с нами! — На грязном, взмокшем лице Гвоздева торопливо дергались белки глаз.— Ты... Зу-уб!

И, прокричав это, повалился туда же, где лежал немец-артиллерист, стал корчиться на земле, захрипел, на губах у него запузырилась пена. Не обращая внимания на вой и визг штрафников, густую матерщину, которая то накатывалась валом, то захлебывалась, тонула в треске автоматов, грохоте орудийных выстрелов, Зубов шагнул к Гвоздеву.

— Ты... сволочь! — прохрипел тот, поднимая уже мертвое лицо.— Сволочь, сволочь...

Волчья ярость опять захлестнула Зубова. Нет, его нисколько не задели и не оскорбили слова Гвоздева. Зубов вспомнил вдруг только что погибшую у него на глазах беременную женщину Алексину; закусив до крови губу и подняв автомат, двумя длинными очередями крест-накрест окончательно пришил Гвоздева к земле.

На это Зубов истратил последние патроны в диске. На поясе у него было два запасных, но менять пустой диск он не стал. На огневой площадке валялось несколько убитых немцев, а в стороне, у земляной стенки, скорчившись, лежал какой-то штрафник в окровавленной гимнастерке. Зубов нагнулся к убитому штрафнику, выдернул из-под него автомат, а свой отшвырнул в сторону и побежал вдоль траншеи, в дым и грохот.

Он убежал, а штрафник, из-под которого он выдернул автомат, шевельнулся, повернул голову и усмехнулся. Это был Макар Кафтанов. Несколько минут назад они с Гвоздевым, тяжко дыша, свалились на эту огневую. Возле орудия в дыму и копоти суетился только один немец, весь расчет был уже перебит. Немец отпрянул было за пушку, выхватил одновременно парабеллум. Но Кафтанов и Гвоздев торопливо бросили на землю свои автоматы и подняли руки.

— Мы сдаемся! — заорал Гвоздев и повторил это, к удивлению Кафтанова, по-немецки: — Wir ergeben uns! Wir gehören zu einer Strafkomande. Wir sind Gefangene[1] .

— О, зер гут,— недоверчиво произнес немец, кивнул на снарядный ящик.— Dann helft mir. Reicht mir die Munition [2].

Гвоздев кинулся выполнять распоряжение, а Кафтанов Макар вдруг покачнулся и, схватившись за левое плечо, стал оседать, простонав:

— А-а, з-зараза...

— Кто? Что? — метнулся к нему было Гвоздев.

— Не знаю... Рвануло за плечо вот. Ты что, специально эти немецкие слова выучил?

— Munition! [3] — рявкнул в этот момент немец, и Гвоздев шагнул к ящику.

Рана была неопасная, шальной пулей чуть задело мякоть, Кафтанов сразу это установил. Он, зажимая рукой рану, сел к земляной стенке, стал смотреть то на свои пальцы, сквозь которые текла на грязную гимнастерку кровь, то на Гвоздева, подававшего немцу снаряды. Рана даже и не чувствовалась как-то, лишь кружилась голова и подташнивало. Когда кровь перестала течь, Кафтанов усмехнулся, еще подумал о чем-то, лег спиной к орудию, выставив кверху окровавленный бок, скорчился так, чтобы его приняли пока за труп.

Макар не видел, кто ж это спрыгнул с бруствера на огневую, присыпав его землей. Услышав первый же истошный вопль Гвоздева, догадался, что хочет сделать Зубов. Ложась, Кафтанов на всякий случай сунул под себя автомат. В какую-то секунду у него мелькнуло: быстро повернуться и врезать Зубову всю очередь в спину! Но он опасался, что не успеет или не сможет этого сделать,— голова все-таки кружилась, видать, много крови вытекло. И к тому же в мозгу застучало: «А к чему? Пущай сдыхает Гвоздь. Тогда я, как раненый... ежели наши сомнут немца... Да ведь так все и может произойти! Легко выпутаюсь! Ага, привет тебе, Гвоздь...»

Потом он почувствовал, что Зубов приближается к нему. И давно обесчувственное сердце Кафтанова вдруг больно застучало, голова закружилась еще сильнее. «Если перевернет на спину, признает — притворюсь мертвым... в крайнем случае без сознания. А что потом? Ведь доложит Кошкину, что сдались... Надо гробануть его, суку!»

Но Зубов, находящийся в лихорадочном состоянии, не только не узнал Кафтанова, но даже не обратил на «убитого» никакого внимания. Труп и труп, мало ли полегло сегодня штрафников под шквальным, в упор, автоматным и орудийным огнем немцев. Это был какой-то кошмар!

Покончив с Гвоздевым и выхватив из-под Кафтанова автомат, Зубов побежал вдоль траншеи, затем выскочил на открытое пространство, под свистящий рой пуль. Они пролетали рядом, почти обжигали, но ни одна не задевала его.

---

[1] Мы сдаемся! Мы из штрафной роты. Заключенные.
[2] Тогда помогайте мне. Подавайте снаряды.
[3] Снаряды!

— Зубов! Рядовой Зубов! — закричал кто-то и схватил его за ногу. Он упал в какую-то канавку.

— Что хватаешь? — окрысился он, оборачиваясь.—А то я схвачу!

Рядом, в трех метрах, вздыбилась земля, поднялась на воздух и, как с лопат, посыпалась вниз.

— Подавить орудие! — прокричал командир отделения.— У тебя гранаты есть?

— Одна штука осталась...

— Возьми вот еще две. И давай по этой канавке! Пушка там, метрах в семидесяти... Живо! А то нам вон до той траншеи не добраться, не выкурить немчуру оттуда.

— Понятно... Понятно! — прохрипел Зубов, принимая гранаты лимонки.— Я счас.

Он пополз по канаве в сторону яростно палившего немецкого орудия, вспоминая о начале атаки. Сейчас, когда кругом гремело, трещало и свистело, когда он находился в центре ада, все это не казалось ему ни опасным, ни тем более кошмарным. До жути страшно было лишь там, на крохотной, более или менее твердой площадке в болоте, где кое-как взвод скапливался для атаки, для броска. За кустами было еще метров сорок топи. В животе перекатывался словно кусок льда, когда он, бросив напоследок зачем-то взгляд на стоящих в сторонке Алексину и капитана Кошкина, под страшный грохот неожиданно возникшей орудийной канонады бежал вслед за другими по этой топи. Под ногами сильно пружинило, под самый пах почти хлестали холодные струи. Наши пушки все молотили и молотили, вздымая впереди, по опушке леса, и дальше, в глубь его, всю землю в воздух, вырывая деревья и поджигая их. В дыму, в пыли и копоти не то звонко пели осколки, не то это звенело в голове Зубова.Четыре запасных автоматных диска в чехлах оттягивали ремень, больно колотили, но Зубов не обращал на это внимания, а потом и вовсе забыл. Он думал, что ему сегодня, как и всем остальным, смерть, что сквозь этот вой и визг осколков никому не прорваться, все пространство над землей густо, в разные стороны, прошивается кусками металла, покрыто как бы живой железной сетью. А ведь еще немцы не открыли встречного огня, еще передние там не достигли заминированной кромки суши. Еще хорошо, что он из-за разговора с Кошкиным очутился не в первых рядах. Это хорошо...

Немцы, ошеломленные и задавленные нашей артиллерией, обнаружили наступающих из болота штрафников на какую-то минуту позже, чем следовало бы им обнаружить,— когда уже от загоревшегося леса осветилась земля. Сквозь месиво огня, дыма, вздыбленной земли прорезались белые ракеты, по всей полуторакилометровой кромке болота гитлеровцы открыли шквальный огонь из пушек и автоматов. Штрафники вытекали из болота всего в трех точках, а немцы палили наугад в болотную темноту, повсюду, и Зубов, выбежав уже на непривычно твердый бугор, вдруг про себя усмехнулся: дурачье, сколько напрасно жгут снарядов и патронов! То обстоятельство, что немцы не могут пока определить, откуда на них наступают, и, следовательно, не знают, какими силами, вдруг успокоило Зубова, притупило ощущение смертельной опасности. На всякий случай он припал к земле, чтобы отдышаться и оглядеться. Но разглядеть в колеблющихся вокруг клубах дыма и пыли было ничего невозможно, он видел только справа и слева бойцов своего отделения, которые падали, как он, потом поднимались и с отчаянным ревом кидались, ныряли куда-то в эти клубы.

— Чего прижался? Т-ты, заяц... твою мать! — остервенело прокричал над ухом женский голос.

Зубов поднял голову, в подрагивающем мраке увидел злое лицо Алексины. А потом в ее враждебных зрачках что-то качнулось и настороженно замерло.

— Ранен, что ли?

— Нет... покуда.

— Так что ж ты...— Алексина опять мерзко, как мужик, выругалась, темные ямы ее глаз сделались совсем непроницаемыми.— Давай! Айда... Мин-то нету, слава богу.

Она повернулась и побежала тяжело, как лошадь.

Сейчас, когда Зубов по неглубокой канаве полз к беспрерывно стреляющей немецкой пушке, недавний этот эпизод с Алексиной казался ему уже далеким-

далеким, почти стершимся в памяти. Зато перед глазами неотвязчиво стояло другое — что Зубов при всей в общем ясности и пронзительно жесткой конкретности происшедшего все-таки никак не мог то ли осмыслить, то ли принять как уже случившееся — смерть самой Алексины. Она повернулась и побежала навстречу немецкому огню, волоча за собой автомат за ствол, как палку. Значит, ствол был холодный, значит, она из него еще не стреляла. «Зачем тогда таскает его за собой, дура? Зачем вообще сюда запёрлась? Сделала свое дело и осталась бы там, в болоте...» — подумал Зубов, вскакивая с земли. Алексина была уже шагах в двадцати, она бежала к брустверу немецкого окопа, по гребню которого густо сверкали вспышки. Зубов теперь совсем не думал, что это стреляют навстречу немцы, что свинцовая струя может ткнуть и в него. В несколько прыжков он догнал Алексину, заскочил вперед.

— Открой меня! Ты, сволочь! — закричала она хрипло, но Зубов не понял ее слов, некогда было их понимать. С обеих боков стал нарастать вой штрафников, посыпался матерщинный лай, бойцы, падая, вскакивая и снова падая, кинулись на окоп. Забыв об Алексине, Петр Зубов сперва палил из автомата по вспышкам, затем, видя, что делают другие, выхватил из кармана гранату лимонку, швырнул ее в окоп, упал. Среди других взрывов он различил свой, хотел кинуть вторую гранату, но вой и густая матерщина, задавленная взрывами, стала кругом опять нарастать, и Зубов поднялся, побежал, перепрыгивая через трупы убитых штрафников, на ходу вырвал из автомата расстрелянный диск, стал доставать из чехла новый...

Неизвестно, когда и как, но Алексина снова оказалась впереди него, чуть сбоку. Она по-прежнему волочила автомат, как палку, так и вскочила на вражеский бруствер и почему-то остановилась, встала, как столб. А в следующую секунду она вдруг отшвырнула в сторону свой автомат и визгливо, пронзительно закричала, глядя вниз, в окоп:

— Стреляй! Вот сюда... сюда! Расстреливай своего фрица...

— Алексина! Алекси-ина!! — чувствуя, как похолодела кожа на взмокшей голове, заорал Зубов, торопливо вбивая в автомат свежий диск.

Женщина, прижимая обе ладони к вздувшемуся животу, будто услышала этот крик, повернулась к нему всем телом. Зубов в отсветах пламени горевшего где-то за окопом леса различил на измученном, буквально за несколько секунд неузнаваемо обострившемся лице Алексины тихую, облегчающую ее улыбку. Зубов скорее не услышал, а увидел, как ударила снизу, из окопа, еще одна очередь, теперь не в живот, а в спину беременной женщины. Но, прошитая насквозь, Алексина по-прежнему стояла и улыбалась, улыбка ее нисколько не изменилась, была все такой же радостной и благодарной. Затем, не сгибая ног, столбом повалилась на бок, грузно упала и по брустверу скатилась вниз, под ноги Зубову. Ошеломленный, он на какое-то мгновение замер, глядя на труп. Затем, не обращая внимания, что справа и слева в окоп с ревом прыгают штрафники и, конечно, растекаются во все стороны, очищая его от немцев, медленно достал гранату, не спеша выдернул чеку и бросил ее в то место, где только что стояла Алексина. И, переждав негромкий, ни для кого, казалось, не опасный взрыв, кинулся к брустверу, вскочил на него, прыгнул вниз, на чье-то мягкое тело. Был ли это тот немец, который стрелял в Алексину, или другой, Зубов не знал. Он только различил в темноте, что это не штрафник, а именно немец. Вдоль окопа Зубов не побежал. Прямо перед ним был ход сообщения, он вел куда-то к кромке леса, где рявкала немецкая пушка. Прошивая из автомата на всякий случай земляную щель на каждом повороте, Зубов ринулся в этот ход, он и привел его на огневую площадку, к немецкому орудию, которое помогал обслуживать Гвоздев...

Теперь Зубову предстояло подавить еще одно. Канава была неглубокая, он торопливо, обливаясь потом, продвигался на звук выстрелов, где согнувшись, а в особо мелких местах ползком, обдирая локти и колени. Во рту было сухо и горячо, дышать становилось все труднее, будто глотку все плотнее забивало песком и гарью. По доносящимся крикам, которые то взрывались в разных местах, то затухали, по возникавшей в разных местах и потом захлебывающейся перестрелке нельзя было определить, в чью пользу складывается бой, как он кончится. «Да и черт с ним, как бы ни кончился, лишь бы это орудие...— металось лихорадочно в голове у Зубова.— Останусь жив — пусть командир отделения доложит,

что это я... А мне — об Алексине рассказать. Дура... вот дура! Ну и родила бы, подумаешь... Это хорошо, что немцы не заминировали берега вдоль болота, иначе бы их не взять, не подобраться. Не хватило времени, что ли, или мин не было? Скорей всего, не было. А не останусь в живых, что ж...»

Пока эти мысли беспорядочно метались у него в голове, он подполз совсем близко к огневой позиции немцев,— во всяком случае, выстрелы ухали совсем рядом, вливаясь в общий грохот боя. Но где же все-таки пушка? Зубов по канаве скатился в неглубокую воронку, подумал: а ведь это от нашего снаряда! Стоп! А когда прекратилась артподготовка? Он этого как-то совсем не заметил. Давно, видимо...

Мелькнув, и эта мысль пропала. Он, пережив самое страшное и опасное, не желал или бессознательно не хотел теперь рисковать, поэтому осторожно выглянул из воронки. Первое, что он увидел — начинающийся рассвет. Дымы и пыль, поднятая разрывами, то ли осели, то ли их отнесло ветерком в сторону. Во всяком случае, ему был виден чистый клочок ночного звездного неба, и там где-то, далеко-далеко, между чернотой неба и земли, пробивалась узкая темно-синяя полоска.

Опять выстрелила пушка, разорвав сбоку, на довольно приличном расстоянии, клочья темноты над землей. «Ага, вот она где,— спокойно подумал Зубов.— Ну ладно».

Он повесил автомат на левый локоть, достал гранаты. Две взял в левую руку, одну в правую. На секунду закрыл глаза, глубоко вздохнул... Рванулся из воронки и побежал скачками по ровному, открытому месту.

Он бежал, ни о чем не думая, отмечая лишь оставшееся до пушки расстояние. Пятьдесят метров, сорок, тридцать... Из-за бруствера его заметили, к счастью поздно, навстречу торопливо застучал автомат, пули взрыли землю под ногами. Он перескочил через врезавшуюся в землю очередь — будто лишь в этом было его спасение,— в сознании мелькнуло: надо упасть, обмануть их! Он ткнулся в землю, подобрал под себя ноги, уперся в какую-то неровность почвы. И тут же — аж мышцы заныли — разжал их, щукой метнулся в сторону, потом вперед, и вдруг — он и сам не ожидал — немецкое орудие оказалось перед ним как на ладони. Возле пушки метнулись неясные тени, не то две, не то три. Считать их не было ни надобности, ни времени. Зубов прямо в эти тени метнул одну за другой две гранаты, упал. Взрывами закрыло и пушку, и людей возле нее. Приподнявшись на колени, Зубов принялся наугад строчить в густую, совершенно непроглядную муть, прошивать ее в разных направлениях. Стрелял, пока не кончился диск. Потом быстро откатился на три-четыре метра в сторону, лихорадочно выдернул пустой диск, отбросил, выхватил из чехла новый, отметив про себя, что дисков у него теперь только два, патроны надо беречь, не палить попусту. Изготовился к стрельбе и стал ждать. Но на огневой площадке немцев было тихо и мертво, ни тени, ни звука, оседала и редела пыль, сквозь мрак начали проступать очертания орудия. Где-то в стороне трещала перестрелка,— кажется, их отделение пошло в атаку на немецкую траншею, прикрываемую этой пушкой.

Не вставая, Зубов стал подвигаться к ней. Сквозь редеющую муть он различил скрюченную фигуру возле орудийного колеса. Другой немец лежал животом на станине, уткнувшись лицом в землю. Третий распластался посреди площадки, разметав в стороны руки.

Держа автомат наготове, Зубов поднялся, в несколько прыжков достиг немецкой огневой позиции, спрыгнул с бруствера. Немцы как лежали, так и лежали, а больше у пушки никого не было. «Неужели их было только трое?» — даже с каким-то разочарованием подумал Зубов.

Убедившись, что гитлеровцев здесь было действительно трое, что никаких ходов сообщения от огневой площадки никуда нет, Зубов выбрался на бруствер, сел. Все тело ныло от усталости, от напряжения, икры противно подрагивали. Ощутив это, он запоздало понял, что все это время испытывал страх, что он не исчез в ту минуту, когда началась атака из болота, а лишь притупился, ушел куда-то вовнутрь. И вот теперь всплыл. «Бандит ты,— усмехнулся Зубов невесело.— А жизни своей никчемной, выходит, жалко...»

Бой шел в стороне от него, он скатывался к речке, за которой торчал невысокий холм. Вдоль речки стлалась белая полоса дыма.

Теснит к речке рота гитлеровцев или, наоборот, немцы роту, Зубову по-прежнему было непонятно. И что делать теперь, он не знал. «Если немцы уничтожили роту, что же мне? — невесело усмехнулся он.— Сдаться им, как Гвоздь? А если наши поперли их, надо же догонять роту. Тот же командир отделения, если живой останется, спросит с ухмылкой: «Пушку, ладно, уничтожил, а потом где был? Не ранен же! Под кустом отсиживался?»

Посидев еще с полминуты, поглядев на начинающийся рассвет, Зубов нехотя поднялся, решив, что надо идти все же в сторону реки. В это время и он, как Ружейников, Магомедов и Савельевы на высоте, увидел осветившееся бледно-оранжевым заревом небо на западе, услышал глухой, будто подземный, гул. «Ага, кажется, наши начали наступление, как взводный говорил еще там, за болотом», — подумал Зубов и не спеша зашагал в сторону реки. Через несколько шагов усмехнулся раздраженно: «Наши-ваши...»

Из-за деревьев метнулась навстречу тень, Зубов мгновенно вскинул автомат.

— Зубов? Сдурел! Меня отделенный послал,— раздался голос.— Живой? Отделенный говорит: «Сбегай посмотри и доложи».

— Что вы там? — спросил Зубов, опуская оружие.

— Немцы за реку сыпанули. А часть на этом берегу окапывается. Для прикрытия, видно.

— Что с ротой, спрашиваю?

— А я знаю? От нашего отделения вроде половина покуда осталась. Айда! Наши тожеть залегли, скапливаются напротив. Старший лейтенант Лыков приказал сбросить немцев в речку.

Слова штрафника удивили чем-то, и Зубов сперва никак не мог понять чем. В голове гудел больной звон, ему все чудилось, он воочию видел, как немец, лежа за бруствером, поливает навстречу ему свинцом, слышал, как пули с глухим стуком колотятся в землю перед его ногами.

И, только спустившись в неглубокую, затянутую дымком лощину, торопливо обернулся:

— Как... почему Лыков?!

— Так убило ж Кошкина, командира.

— Как?! Как убило?! — Зубов схватил штрафника за плечо, яростно затряс его.

— Иди ты! — Штрафник резко сбросил руку Зубова. — А я знаю как! Убило — и все. Мне связной, кореш мой, под секретом шептанул. Теперь Лыков над нами командует.

Зубов почувствовал, как скапливается во рту тяжелая и горячая слюна, превращается в тяжелый ком. Он сплюнул ее, автомат бросил за плечо, достал кисет и стал закуривать. Когда вертел папиросу, пальцы его подрагивали, лицо было хмурым, угрюмым, каким-то окаменевшим.

Низкорослый солдат-штрафник с удивлением наблюдал за Зубовым. Спросил желчно, со злобой:

— Тебе что, жалко, что ли, этой... падали? Много их на нашу шею.

Зубов на это ничего не ответил и, жадно затягиваясь, стал подниматься из лощины навстречу светлеющему небу.

* * *

Мрак рассасывался все больше, хотя до солнцевосхода было еще далеко.

Магомедов, Иван и Семен, подкатив орудие к самому брустверу, подтащив несколько ящиков снарядов, лежали вместе с Ружейниковым на земляном валу, окружавшем бывшую батарею, смотрели вниз, за речку, где шел бой, бессильные что-либо предпринять. Все заречье было затянуто дымом и пылью, где там немцы, где наступает какая-то наша часть, было не разобрать.

Гул на западе все приближался, то затихал, то начинался снова, небо там смеркло, стало угрюмо-серым, только временами мерцало желто-голубыми отсветами,— видимо, немцы, а возможно, и наши где-то далеко, за горизонтом, залитым еще ночью, подвешивали осветительные бомбы.

Неожиданно совсем близко, почти под боком, возникла орудийная канонада на востоке. Ружейников вскинул голову, пошевелил грязными бровями, а ноздри его сильно, как у зверя, нюхающего пожар, стали раздуваться.

— Это ж наша дивизия! — воскликнул Иван обрадованно.

— Вроде бы, вроде бы...— дважды повторил Ружейников торопливо.

Немцы продолжали лихорадочно окапываться по обоим берегам речки. Магомедов заерзал по земле, будто ему стало холодно, нетерпеливо взглянул на Ружейникова раз, и другой, и третий. Но тот молчал.

Семен глядел вниз почти не мигая, не чувствуя в душе ничего — ни боязни возможной гибели, ни радости возможного спасения, которая прозвучала в голосе дяди Ивана, в торопливых словах Ружейникова. В мозгу вертелась одна мысль, тоже какая-то посторонняя, равнодушная: «Танком бы пронестись сейчас вдоль берега по немцам... Одним танком можно бы всю эту их оборону смести...»

— Их атака захлебывается! — нетерпеливо взорвался сбоку азербайджанец.— Пора мало-мало подмогнуть! Может, совсем мало-мало надо!

— А, Иван Силантьевич? — почему-то неуверенно и почему-то именно к Ивану повернулся Ружейников. Может, потому, что Иван был самый старший по возрасту среди них четверых.— Пора?

— Да вроде,— сказал тот, помедлив.— Только если б Алифанов был...

— Какой еще Алифанов? — вскочил азербайджанец.

— Погиб он. Из пушки мог в консервную банку попасть. А то здесь чуть перелет — и в наших. Речка-то всего ничего...

Магомедов так и взвился:

— Какой перелет? Я что, дурак, да? Алифанов твой умный, я болван? Какой перелет?

Не обращая внимания на эту перебранку, Ружейников продолжал глядеть вниз. Там, за речкой, между болотом и кромкой леса, бой, кажется, затихал, и атака штрафников или какой-то другой части действительно захлебывалась. Вражеские пушки, бившие в болото, одна за другой умолкали, лес теперь во многих местах горел, в сером утреннем небе, снова застилая его чернотой, расползались все шире клубы дыма, а по берегу над самой землей извивались, как змеи, расползались контрастно белые космы дымовой завесы, сквозь нее толпами все бежали и бежали немцы, зарывались в землю на обоих берегах.

— Магомедов! — воскликнул Ружейников.— Можешь по тому берегу ударить? Под кромку завесы? Не дальше?

— Могём! Почему не могём? — коверкая в волнении слова, ответил бывший командир самоходки.

— Тогда давай!

Магомедов по-кошачьи прыгнул с бруствера к пушке и, выгнув горбом спину, приник к резиновому наглазнику панорамы, лихорадочно закрутил рукоятки маховиков. Ствол пушки медленно пополз вниз и чуть в сторону.

Первый снаряд упал в речку, подняв высокий и красивый султан воды.

— Перелету нет, правда,— пробурчал Иван, дергая замок.

Прозрачно дымясь, горячий латунный стакан выпал на землю. Семен, стоящий наготове с новым снарядом, отбросил ногой гильзу в сторону.

— Счас, счас,— дважды выдохнул Магомедов, не отрываясь от прицельного устройства, подкручивая маховичок. По грязной щеке его текла струйка пота.

— Чуть выше, Магомедов! — вскричал Ружейников.

— Сами понимаем! Ну?

— Готово! — ответил Иван, захлопывая замок.

Этот второй снаряд разорвался уже прямо в гуще окапывающихся на том берегу немцев.

— Ага-а! — взвизгнул Магомедов, повернул к Ивану потное лицо, сверкнул по-детски обрадованными глазами.

— Молодец, Магомедов! — прокричал Ружейников.— Лупи давай! Ж-живей!

— Консервная банка, да? Консервная банка?

— Банка,— согласился Иван, принимая от молчаливого Семена новый снаряд.— Готово!

Третий снаряд лег почти рядом со вторым, широким веером взметнул черную землю.

— Опять банка! Дав-вай! — Голос Магомедова был хриплый и возбужденный.

Первые же орудийные выстрелы всполошили немцев, уже перебравшихся через реку. Многие перестали окапываться, забегали, заметались вдоль берега, сперва не соображая, видимо, откуда стреляют. Но это были лишь мгновения, звук последующих выстрелов указал на местонахождение орудия. Человек сорок вражеских солдат сбилось в кучу, видимо, возле своего офицера, и Магомедов, не в силах побороть искушение, крикнул:

— Я их подброшу сейчас на воздух! Товарищ старший лейтенант?

— Отставить! По тому берегу! По тому давай! — сердито прокричал Ружейников.

Но ударить в эту толпу немцев Магомедов все равно бы не успел, потому что толпа рассыпалась в цепь и двинулась к высоте.

— Ага, ладно...— Ружейников, все лежавший на бруствере, сполз с него в окоп.— Продолжать, Магомедов! А мы их встретим... Савельев-младший! Приготовить автоматы и гранаты!

Семен подал Ивану очередной снаряд, мотая головой, спрыгнул в окоп.

Однако немцы, подчиняясь какой-то команде, вдруг повернули назад, побежали к реке.

И Ружейников, все наблюдавший за ними с высоты, понял причину этого: окапывающиеся на противоположном берегу гитлеровцы выскакивали из своих окопчиков, отстреливаясь, бежали к реке вместе с редкими толпами солдат, вываливающимися из месива черного и белого дыма, а где-то там, за пластами этого дыма, перекрывая трескотню автоматов и глухие гранатные разрывы, снова возникал остервенелый и зловещий рев сотен человеческих глоток.

— А ведь мы и в самом деле вовремя, кажись, поддержали их,— прохрипел Иван, взмокший от работы возле орудия.

Он сказал это Семену, опять подававшему снаряды, но тот ничего не ответил, только потрогал правый висок, ответил Магомедов от орудия, говоря почему-то о себе во множественном числе:

— А мы что говорили!

— Магомедов! Теперь по реке! По реке! И по этому берегу! — скомандовал Ружейников.

— Ага, понятно.

— Снаряд! Семка? Ты чего?

Семен, выхватив было из ящика очередной снаряд, покачнулся, выронил его, ноги его подломились, он мешком свалился на землю.

— Сна-аряд! — рявкнул Магомедов.

Ружейников метнулся из окопа, подхватил выпавший из рук Семена снаряд, втолкнул в казенник. Пушка ухнула. Лицо Семена, лежавшего на земле, мучительно перекосилось. Оно, его лицо, было мокрое, и сквозь грязь и пороховую копоть просвечивала мертвенно-бледная кожа.

— Семен, Сема?! — тормошил его Иван, стоя на коленках.— Ранен, что ли? Не стрелял ведь никто...

— Здесь... в голове что-то,— разжал заскорузлые губы Семен.— При каждом выстреле как молотком бьет, череп лопается... не могу больше...— И вдруг полыхнул в его глазах безумный огонь, он закричал умоляюще, заколотился на земле: — Не могу! Пусть не стреляет! Пусть не стреляет!

— Снаря-яд! — снова прокричал Магомедов.

Семен от этого вскрика замолк, сжал грязными руками голову, сжался весь сам, будто ожидая, что на него рухнет тяжкая скала, и, когда раздался выстрел, пополз куда-то, тыкаясь головой в землю, пытаясь ее куда-нибудь спрятать, зарыть.

— Сема?!

— Что там? — крикнул от пушки Ружейников, держа в руках новый снаряд.

— Плохо парню. Контузия... рвет голову.

Семен не видел, куда полз, не почувствовал, что свалился в окоп. Там, все так же зажимая руками голову, превратившуюся, видимо, в сплошной комок боли, ткнулся лицом в холодную земляную стенку и затих. Иван подтянул плащпалатку, на которой они сегодня спали, укрыл его целиком, проговорил:

— Ничего, Сема... Как же не стрелять? Ничего, пройдет. Потерпи.

Этого Семен уже не слышал, он снова потерял сознание.

Поднявшись из окопа, Иван замер, пораженный. И всего-то ничего он был занят с Семкой, а там, внизу, изменилось многое. Оттуда в промежутке между орудийными выстрелами все так же доносились автоматная пальба, рев голосов, щелкали изредка гранатные разрывы. Их единственная пушка била уже не по реке, а по ближнему берегу, узенькая лента речки была сплошь застлана дымом, и там, справа, где дым стоял пореже, на бледно-серой поверхности воды ясно различались темные бесформенные комья. Это вниз по течению сплывали трупы, видимо, и наших, и вражеских солдат.

Пушка ударила еще раз, и Ружейников, тоже взмокший теперь и разопревший, отирая рукавом лоб и щеки, опустился на пустой снарядный ящик.

— Будет покуда. А то в своих... Ни черта не видно.

«Слава богу»,— мысленно произнес Иван, думая о Семене, присел на другой. Ружейников проговорил эти слова и вскочил резко.

— А может, не будет, а?

Во время торопливой стрельбы по немцам все ничего не видели и не слышали, кроме звуков боя, идущего там, внизу, за рекой. Теперь вдруг все различили тяжелый гул, быстро приближающийся с востока. Орудийная канонада, возникшая было там, давно смолкла. Ружейников, Магомедов и Савельев Иван в горячке этого не заметили и давно о ней забыли. Теперь, все враз глянув туда, увидели пронизанные лучами еще не поднявшегося из-за края земли солнца розовые дымы, такие же, как над рекой и над заречьем, ощутили, как под ногами чуть подрагивает земля.

— Это танки,— произнес первым Иван.— Сюда идут опять танки.

— Если это наши прорвались, то хорошо,— криво усмехнулся Ружейников.— А если немцы отступают прямо на нас... Что мы с одной пушкой?

Магомедов отбежал метров на тридцать в сторону, к разбитым орудиям батареи, и, взмахнув рукой, закричал оттуда:

— Глядите! Глядите!

Иван и Ружейников кинулись к Магомедову на восточный склон высоты. Изрытое снарядами поле с темной каймой леса на багрово-дымном горизонте тонуло в синей рассасывающейся мгле, и по всему полю, приближаясь к высоте, густо бежали отступающие немцы. Никаких танков не было видно, по-прежнему слышался лишь тупой гул множества работающих моторов, он приближался, накатывался неотвратимо...

* * *

Капитан Кошкин умирал в санитарной палатке в присутствии Якова Алейникова.

Командир штрафной роты был смертельно ранен осколком снаряда в тот момент, когда последние бойцы, преодолев топь, выскочили на твердый берег и с отчаянной матерщиной кинулись в дым и грохот, в сторону горящего леса.

— Хорошо матерятся,— улыбнулся Кошкин, тоже направляясь к освещенному горящим лесом берегу вслед за Лыковым, тыкая палкой в зыбун.— Значит, вычистят фашистов отсюда. Дурачье, если ждали нас, почему же не заминировали берег?

С этими словами он вступил на твердую почву, вынул ракетницу, стал не торопясь заряжать ее, поглядывая в сторону леса, утонувшего в дыму, огне и грохоте. Тут и разорвался снаряд, может быть немецкий, а может быть и наш, метрах в пяти всего от Кошкина и почти под самыми ногами Лыкова. Но судьба на войне у каждого своя, старшего лейтенанта Лыкова горячей волной только отшвырнуло на мягкий берег, а Кошкину осколок ударил прямо в живот, он, выронив ракетницу, резко упал на колени, одной рукой зажал рану, а другой все опирался на палку, намереваясь встать.

— Товарищ капитан?! — вскочил Лыков, подбежал к Кошкину и остолбенело замер, еще раз вскричал сразу осевшим голосом: — Данила Иванович...

Сквозь пальцы Кошкина хлестала кровь, темной струей текла на землю по низу гимнастерки.

— Ракету! Живо ракету! — захрипел Кошкин.

— Санинструктор! Эй, как тебя? — совсем не по-военному закричал Лыков выбегающей из болота девчонке, нашарил в траве ракетницу, выстрелил вверх — зеленая полоса прочертила дымный воздух, ушла высоко в черное ночное небо.

Кошкин еще постоял секунду и, будто удостоверившись, что сигнал нашей артиллерии о прекращении огня подан, стал валиться наземь. Лыков подхватил его, и в это время к командиру роты подбежали сразу три девчонки, одна из них, высокая и черноволосая, торопливо расстегивая сумку, властно сказала:

— Положите его! Чего вы его держите?

Помогая друг другу, девушки расстегнули Кошкину ремень, открыли живот, и черноволосая невольно вскрикнула:

— Боже мой!

Наши орудия прекратили огонь, теперь стреляли беспорядочно лишь уцелевшие немецкие пушки.

Откуда-то из темноты появился начальник санчасти, вчетвером они принялись чем-то мазать и залеплять страшную рваную рану и, подсовывая руки под спину, перематывать Кошкина бинтами. Они бинтовали, а кровь все проступала и проступала. Командир роты сквозь зубы стонал; глаза его были закрыты, лицо покрылось смертельной бледностью.

— Отнести его туда.— Лыков махнул в сторону болота.— Есть носилки? Принести носилки!

— Нельзя его трогать,— сказал начальник санчасти.— Нельзя нести...

— И бесполезно...— прошептал Кошкин, открывая глаза.— Я это знаю... Лыков, принимай командование ротой. И все... занимайтесь, чем положено. Ты вот... останься со мной.

Это он сказал склонившейся над ним черноволосой девушке.

Бой тогда только разгорался, немецкие пушки беспрерывно молотили по краю болота, болотная жижа и вырванные взрывами кустарники поднимались в мерцающий воздух сплошной стеной.

— В болоте бойцов уже нет,— сказал Кошкин, глядя на эти взрывы.— Сколько лягушек изведут...

С каждой минутой немецкие пушки стреляли все реже и реже, орудийные раскаты уже перекрывали рев автоматов и человеческих голосов.

— Ну... вот,— тяжко дыша, проговорил Кошкин,— штрафнички дело свое знают. Как звать-то тебя?

— Шура, Александра,— сказала девушка, обтирая кусочком бинта крупные капли пота с лица командира роты.

— Откуда же ты?

— Смоленская я. До войны в медицинском училась в Москве. Три курса закончила.

— На дочку мою ты похожа.

Кошкин еще помолчал, прикрыв глаза, слушая звуки беспощадного боя.

— Вот что, Шура-Александра...— неожиданно сказал командир роты. В груди его что-то клокотало и рвалось.— Я все прошел и ничего на свете не боюсь... Но в плен к немцам не желаю. Вроде... атака наша удалась, не зазря рота в землю ложится. Но все в бою бывает переменчиво. И ежели что... ты меня пристрели. Поняла?

— Что вы, товарищ капитан! Ничего не переменится. Рота уничтожает их.

— Ты не отговаривайся, дочка,— все слабеющим голосом проговорил Кошкин.— Я сейчас, чувствую, потеряю сознание... И если что... ты это сделаешь. Так и так мне помирать. Хоть здесь, хоть там, у них. Но я не хочу там... И ты это должна понять.

— Я понимаю... понимаю,— со слезами произнесла девушка.

Однако Кошкин не потерял сознания ни в эту ночь, ни в следующий день, вплоть до заката. Несмотря на немыслимую потерю крови, он был жив, только временами закрывал глаза, будто засыпал, но, едва девушка-санинструктор делала какие-то движения, тотчас размыкал вспухшие веки, спрашивал слабым голосом:

— Что там, Шура?

— Выбивают немцев. К реке гонят.

— Хорошо.

Этим словом «хорошо» он отвечал потом на сообщения связных, которых присылал Лыков, что рота, неся огромные потери, оттеснила немцев к реке, но атака захлебывается, что с высоты ударила какая-то оказавшаяся там наша батарея, только стреляют одной или двумя пушками, и это помогло роте отбросить гитлеровцев за реку, что с востока началось наступление наших войск, но рота уже почти вся полегла, остатки ее, сотни полторы бойцов, все-таки пробились за реку, ударили на высоту, а затем, как и было приказано, бросились навстречу отступающим немцам, но последние бойцы гибнут, что вместо убитого командира первого взвода он поставил рядового Зубова, отличившегося при штурме вражеских позиций на берегу болота, при форсировании реки...

— Ага, Зубов,— повторил Кошкин.— Хорошо...

Бой этот вокруг высоты 162,4 продолжался много часов и закончился далеко за полдень, когда прорвались наши войска с запада и, сомкнувшись где-то на окраине Жерехова и по левому берегу речки, за которую уже штрафная рота отбросила оборонявшихся здесь гитлеровцев, с наступающими, но выдохшимися уже частями 215-й дивизии, зажали немцев в кольцо, начали его сжимать. Таким образом умирающий Кошкин вместе с девушкой-санинструктором, находившиеся на правом берегу, оказались в тылу наших наступающих войск, и связные сюда больше не прибывали.

— Часов в четырнадцать немцы предприняли отчаянную попытку вырваться, собрали остатки танков и самоходок, ударили на Малые Балыки,— сказал Алейников.— Где стояла твоя рота. А туда, на северную окраину, подполковник Демьянов как раз перенес свой штаб.

— Вон что! — произнес Кошкин. Он лежал по-прежнему на земле, застланной двумя или тремя суконными одеялами, укрытый шинелью. Грудь его толчками вздымалась.

— Да... я сейчас из штаба дивизии. Демьянова похоронили.

— Как же это... как же это?! — дважды слабенько воскликнул Кошкин, облизнул сохнувшие губы. Шура, все находившаяся при командире роты, уставшая, с почерневшими глазами, дала ему глотнуть из алюминиевой кружки.

— Та девушка-телефонистка, помнишь, черноглазая такая, красивая... тоже... В одну могилу их положили. Танки с ходу раздавили гусеницами землянку. Они даже выскочить не успели.

Кошкин никак на это не откликнулся, прикрыл глаза. Но через несколько мгновений их открыл, долго смотрел на девушку-санинструктора.

— Устала? — вдруг спросил он.

— Что вы, товарищ капитан...

— Да, война... Ты встретил своих людей из-за фронта?

— Встретил... А через два-три дня сам туда ухожу с группой.

— Понятно,— спокойно произнес Кошкин.— Ваше дело такое.

— У всех у нас одно сейчас дело.

— Сейчас,— усмехнулся Кошкин, медленно повернул голову к сидящему на каком-то ящике Алейникову.— Дело у нас всегда одно было.

На скулах Якова, обметанных черной щетиной, возникли и прокатились желваки.

За стенами палатки раздавались голоса девушек-санинструкторов, начальника санчасти, оставшихся в живых бойцов роты, стон и смех раненых, скрип тележных колес. Тут, на берегу болота, на месте только что отполыхавшего немыслимого боя, где лежал умирающий командир роты, находилось теперь ее расположение, сюда послезавтра должен прибыть военный трибунал, чтобы рассмотреть и закрыть все дела заключенных. А пока остатки списочного состава роты под руководством старшего лейтенанта Лыкова и старшины Воробьева тщательно, метр за метром, обследовали искореженную боем землю, болотные тропы, стаскивали, свозили убитых в одно место, раненых — в другое, к наспех разбитым палаткам, точно таким же, в которой лежал теперь Кошкин. Бойцы, которых чудом миновали в этом бою пули и осколки, делали все это с энтузиазмом, старательно, понимая, что они теперь свободны! Убитых до захода солнца предстояло похоронить, тяжелораненых отправить в армейский госпиталь, легкораненым оказывалась помощь на месте.

— Гляди, Кафтанов, кореш твой Гвоздь концы отдал! — послышалось невдалеке. — А Зубов где, Макар?

— Заткнись! — рявкнул кому-то Макар.

Капитан Кошкин, услышав эти возгласы, чуть скривил потрескавшиеся от сжигавшего его огня губы.

— Остался на земле, подлец...

Алейников понял, что он говорит о Кафтанове.

— Может быть, Кафтанов не ранен...

— Все равно... Перед боем было обещано. А у нас это закон.

В палатке появился Лыков, закопченный, в грязной, пропотевшей насквозь гимнастерке.

— Ну что, Лыков? — спросил Кошкин.

— Товарищ капитан! Данила Иванович... Как же это?

— Давай постони еще,— опять чуть скривил губы Кошкин. Приближающаяся неумолимая смерть обострила уже его лицо, оно сделалось серым, бескровным.— Что, спрашиваю, там?

— Доставляем раненых из-за речки. Кончаются перевязочные материалы. Начальник санчасти услал за ними подводу в дивизию. Сам валится с ног... Осмотрим еще высоту — и все. Пока без вести пропавших числится двести восемь человек. Много убитых по речке вниз сплыло, я сам видел. За речкой, может, кто еще лежит.

Кошкин помолчал и вдруг спросил:

— А Зубов... жив, убит?

— Зубов? Пока ни в тех, ни в этих. Последний раз я его где же видел? На том берегу речки, когда он отделение к высоте повел... Мог бы двигаться — объявился уж.

— Понятно... Ты занимайся своими делами. Ступай.

Старший лейтенант постоял еще молчком, повернулся и вышел.

— А Зубова жалко мне,— едва слышно прошептал Кошкин.— Вот тоже судьба человечья... «Что, говорит, такое Родина, где ее найти?» Ты понимаешь? Нет, тебе не понять...

Алейников вспомнил свой недавний разговор с Зубовым и сказал две короткие фразы:

— Я с ним разговаривал. Он заново вроде бы рождался.

— Да... здесь... в роте.

У командира роты началось удушье, на губах появилась розоватая пена, и сидевшая у его изголовья девушка торопливо стерла ее комочком бинта, зло глянула на Алейникова: чего, мол, торчишь тут, не даешь человеку спокойно умереть? Но Кошкин, словно разгадав ее мысли, проговорил:

— Ты, Яков... спасибо, что зашел. Посиди, погляди, как я умру. Не уходи прежде. Это недолго.

Он говорил, а розовая пена выступала на иссохшихся его губах.

— Я, Данила Иванович, просто ощутил необходимость зайти. Прости меня за все, если можешь.

— Да что ты! Эх, Яков... Много было таких, как ты... и как я. Почему — я не знаю, не успел этого узнать. Может, что-то стал понимать, да не ясно пока. Другие все поймут, все узнают. Скоро... А я... Одно я знаю твердо — моя судьба все же счастливее твоей.

— Что же... правильно.

Один из них был здоров и полон сил, другой умирал, был, собственно, уже мертв. Тот, кто был здоров, произнес кощунственные слова, подтвердив, что судьба умирающего все же счастливее, чем его. Но Кошкин согласно кивнул и прошептал:

— Прощай, Яков. До победы доживи. И скажи обо мне моим... жене и дочери...

Изо рта у него теперь обильно хлынула кровь, он дернулся вдруг, будто намереваясь встать.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — вскрикнула девушка обезумевшим голосом, схватила его за плечи. И он, будто подчиняясь ее рукам, покорно лег, вытянулся и затих.

Едва он затих, девушка обтерла ему губы. Кровь изо рта больше не шла. Девчонка уронила голову на свои колени и беззвучно зарыдала.

Яков Алейников поглядел на ее слабенькие, обтянутые солдатской гимнастеркой, трясущиеся плечи, поднялся и вышел из палатки.

* * *

Ивана Савельева Алейников все же отыскал. Он нашел его через день, километрах в трех от передовой, куда отвели остатки 3-го гвардейского танкового полка, уцелевшие после боя.

Полдневное солнце щедро обливало лучами изувеченный перелесок, обезображенную гусеницами поляну, несколько танков, обшарпанных, с вмятинами на броне, с обгоревшей краской. Танки стояли по всей опушке в беспорядке, как на кладбище, в разные стороны разбросав пушечные стволы, и казалось, что они никогда больше не заведутся, не оживут, не превратятся в грозные боевые машины.

Иван был в нижней рубашке, бос, с повязкой на голове. Выстиранная гимнастерка и портянки были развешаны на кустах. Примостив между сучьями дерева осколок зеркала, он тупой бритвой соскребал со щек грязную и крепкую, многодневную щетину и, когда зашумел мотор алейниковской эмки, даже не повернулся на звук. И Алейников не узнал его в первые секунды, спросил, проходя мимо:

— Третий гвардейский, что ли? Эй, солдат, тебя спрашиваю.

Иван мельком глянул на приехавшего майора.

— Ну, третий...

— Где найти командира полка?

Иван глянул и отвернулся было, но тут же резко, всем телом, крутанулся к приезжему офицеру, отступил назад и чуть вбок, будто пытаясь спрятаться за дерево.

— Савельев?!

Иван еще немного отступил.

— Ну, наконец-то! Здравствуй. Или не узнаешь?

— Почему же... Узнал.

Алейников шагнул к нему еще ближе, первым протянул руку.

Иван помедлил, но тоже подал ему свою. Так они встретились.

— А я который день разыскиваю вас. Тебя и племянника твоего. Из дивизионной газетки про вас случайно узнал. Расписали вас там! Потом мне в штабе дивизии сказали, что вы на высоте, в тылу у немцев, оказались... Семен-то Савельев, племянник, где?

Иван отвернулся и глухо произнес:

— Не найдешь Семку...

— Убит?! Ранен?

— Ну, убитый! — враждебно сказал Иван, натягивая гимнастерку.

Яков стоял и хмурился. Иван, надев гимнастерку, взял высохшие уже портянки, сел под дерево, стал обуваться.

— Жалко парня,— сказал Алейников.— Как же это случилось?

Иван бросил снизу быстрый взгляд на Алейникова.

— А что, особый отдел не знает, как это на войне случается?

— Иван Силантьевич, я не из особого отдела,— проговорил Алейников негромко, ощущая перед этим рядовым солдатом неловкость.

Иван опять глянул на Алейникова снизу, глаза его не потеплели, но в них промелькнуло любопытство.

— А откуда же тогда? — спросил он, вставая. В словах его была недоверчивость.

— Я начальник специальной прифронтовой группы НКВД.

— Это... что же такое?

— Полезная организация... Разведка, диверсии в тылу у немцев. С партизанами связь держим, помогаем им, чем можем... Дел, в общем, хватает.

— Понятно,— помедлив, сказал Иван.

...Спустя некоторое время они, два далеко уже не молодых человека, один в офицерской, а другой в солдатской форме, сидели меж невысоких березок, на

мягкой, пахнущей дымом и гарью траве, неподалеку от опушки, на которой собрались ободранные пулями и снарядами танки, недавно вышедшие из боя. На траве стояла вскрытая банка мясной тушенки, котелок с кашей, лежали две ложки, полбулки черствого хлеба, фляжка с водкой, из которой они отхлебнули всего по глотку. За встречу, как сказал Алейников. Иван возражать не стал и молча принял фляжку из рук Алейникова. И теперь он негромко, не спеша, часто останавливаясь, рассказывал тусклым, уставшим голосом:

— Убило Семку рано утром, солнце едва на сажень разве от земли поднялось... Он контуженый был, до того в траншее лежал, в голове у него от контузии неладно было. Наши погнали немцев, тучами они побежали... и прямо на нас! Все, думаем, сомнут нас, растопчут. И с востока немцы отступали, и из-за реки. Оттуда их какая-то наша часть выбивала, Ружейников, командир батареи, говорил — штрафники будто...

— Штрафники,— подтвердил Алейников.— Через болота штрафная рота ударила.

— Да мы видели... Еще удивлялись. А это штрафное дело тоже по твоей части?

— Нет, это совсем другое,— сказал Алейников.— А знаешь, кто штрафной ротой командовал? Кошкин Данила Иванович... земляк наш.

Иван это сообщение внешне воспринял как-то равнодушно, лишь повернул к Алейникову голову и переспросил:

— Кошкин? Ну, помню...

Иван — Алейников все время это чувствовал — был его неожиданным появлением несказанно удивлен, даже ошеломлен. Напрасно вырвавшиеся его слова: «А я который день разыскиваю вас» — еще более озадачили Савельева, он все время держался настороженно и скованно, и вот теперь лишь в его холодных, измученных всем пережитым глазах начало что-то оттаивать.

— Ты Кошкина-то хорошо знал? — спросил Алейников, понимая, что разговор может зайти или уже зашел в тяжкую для него область. Но он не хотел избегать этой тяжести или уклоняться от нее.

— Где же хорошо! Сколько я жил-то... в родных местах? — с горечью произнес Иван.— Все больше в других краях приходилось.

Он взял фляжку, отвинтил крышку, плеснул в нее и выпил. Ковырнул ножом в банке, достал кисет. Алейников все это время сидел молча, разглядывая что-то на траве.

— Давай-ка, Яков Николаевич, не будем об этом,—проговорил Иван негромко.— Нелегко об этом... ни тебе, ни мне. Тут и без того...

Однако, чиркнув спичкой, спросил:

— Как же он в штрафных командирах оказался? Не знаешь?

— Из тюрьмы в штрафную роту направили. В первом бою судьба его пощадила... Ну, и остался в роте. Был командиром отделения, взвода. Командиром роты потом назначили. Эх, Иван Силантьевич! Я только здесь узнал, какая душа была у этого человека.

— Как?! Он...

— Да, тоже погиб в этом бою,— сказал Алейников.— Погиб Данила Иванович...

Иван медленно опустил голову, посидел, недвижимый. Потом, подведя, видимо, итог каким-то своим мыслям, негромко вздохнул.

— А я, дурак, письмо в Шантару послал, Кружилину, о вас,— с горечью промолвил Алейников.— О тебе и о твоем племяннике. И статью о вас из газеты вырезал и туда вложил. Пусть, думаю, порадуется за земляков... Как же все-таки это произошло?

— Как... На словах объяснить просто, да не все понятно будет... Нас четверо было на высоте. Трое даже — Семка от боли в голове метался в траншее, контузило его, я говорил. А отступающие немцы, значит, к высоте бегут. Но тут ихние танки откуда-то выскочили, десятка три, ежели не больше. Поперли мимо высоты навстречу своим. Видя такой оборот, немецкая пехота, что с востока отступала, назад повернула. И те фашисты, что от реки бежали, тоже ощетинились, прижали штрафников к земле. А мы что со своей одной пушкой?! К тому же лейтенанта Магомедова еще убило. Ружейников крикнул: «Ну, братцы, последний парад!»

Выкатили мы кое-как орудие на восточный склон холма, ящики со снарядами успели подтащить. В это время и убило Магомедова, пуля откуда-то прилетела. Охнул он, что-то крикнул по-своему, по-азербайджански и упал на снарядный ящик... кровью окрасил его. Тут, гляжу, Семен вылез из траншеи, идет к нам, мотает головой. И руки болтаются, как плети. «Танки же, орет, танки!» Будто мы не видим. Подошел к Магомедову, снял тело со снарядного ящика, вынул снаряд. А на гильзе полосы — кровь Магомедова, еще светлая и теплая. И руки Семена в его крови... Это мне все врезалось, все в глазах вот стоит... «Что ж вы, — кричит Семка,— не стреляете, сволочи?!» А мы бьем по танкам, вслед им. Ружейников у панорамы согнулся, а я заряжаю... Подожгли вроде не то две, не то три машины. А может, и не мы,— видим, наша артиллерия тоже лупит через наступающие порядки по немецким танкам.

— Это артполк, приданный двести пятнадцатой дивизии, перенес огонь под высоту,— сказал Алейников.

— Ага... Только-только их пушки нас не накрывали. Впереди все потонуло в дыму и пыли. Да и зря, что не накрывали... К тому времени, как Семка подошел, я уж опростал ящик, взял у него последний, окровавленный этот снаряд, подтащи, кричу, другой ящик. Кричу, а сам вижу — сбоку по склону, прямо на нас, карабкается немецкий танк. Черт его знает, откуда взялся! То ли какой из тех, что мимо высоты прошли, вернулся, подошел, не замеченный в дыму, то ли новый подполз. «Ружейников!!» — заорал я что было мочи, а голоса не слышу. Должно, осел со страха голос. Да и что кричать... Поздно уже — свой хобот немецкий танк чуть не в пушку уже воткнул. «Все! — мелькнуло у меня молнией.— Счас выплюнет снаряд... а потом обломки от нашей пушки гусеницами в землю вдавит». Сколько раз мы так делали! А теперь, думаю, наша судьба подошла... Снаряд у меня вывалился из рук. Семку я толкнул в бок, что было силы, сам вроде скачок за ним сделал...

Иван замолчал, жадно стал досасывать самокрутку. Когда подносил ее к губам, пальцы его подрагивали.

— И что же... дальше?

— А так и произошло... Взрывом меня об землю бросило. Но чую — живой, только головой об камень ударился.— Иван дотронулся до повязки, усмехнулся.— Вишь, как бывает, ни осколок, ни пуля головенку мою никудышную не могли найти, а об камень проломил. Вскочил я... Танк, раздавив гусеницами нашу пушку, уже ушел, не видно его. Ни танка, ни пушки нашей, значит, на ее месте один дым стоит. «Ружейников там же, возле орудия, был! Ружейников! — заныло в мозгу.— А Семка?! Где Семка?!» — Иван по-прежнему трясущимися пальцами вдавил окурок в землю.— А Семка, значит, был уже готов... Он лежал, распластавшись, на животе, с окровавленной спиной. Осколок угодил ему меж лопаток, вырвал лоскут гимнастерки... Перевернул я его — лицо у него серое, мертвое... Мне его даже и не жалко было как-то в ту минуту, онемело только все внутри у меня...

День стоял, как и предыдущие, знойный и безветренный, березки, под которыми они сидели, давали жиденькую тень, немного защищали от солнечных лучей, но все равно было душно. Гимнастерка Алейникова была, однако, наглухо застегнута, и только сейчас он как бы нехотя поднял руку и расстегнул две верхние пуговицы.

— И Ружейников, значит, погиб?

— Нет,— сказал Иван, голос его вдруг захлебнулся. Проглотив комок слюны, продолжал:— Как он уцелел — прямо ошарашило меня. Я возле Семки сижу, чую — кто-то в стороне маячит сквозь не осевший еще дым и пыль. Гляжу — там, где пушка стояла, поднялась растопыренная, страшная, обгорелая фигура, двигается ко мне, как... Ей-богу, как леший какой сквозь болотный туман идет... Подошел, сел, на Семку глянул. «Вот тебе и сосенки-елочки»,— говорит. И он весь в крови, и Семка, и у меня по щеке течет с головы... Счас Ружейников в санбате лежит, утром я был у него. Улыбается. «Мне, говорит, дырки залепят и новую батарею дадут. Давай ко мне в батарею, командиром орудия назначу...»

— Да-а! — только и сказал Алейников.

Потом в воздухе долго стояла тишина. С опушки, где стояли танки, доносились приглушенные листвой голоса, кто-то заразительно хохотал, и слышались

удары молотка о железо. Но все эти звуки не нарушали глухого и тяжкого безмолвия, повисшего над Алейниковым и Савельевым Иваном.

— Ну и сушь стоит! — проговорил наконец Иван.— Хоть бы маленько дождик брызнул, воздух прочистил... Зачем же мы тебе с Семкой понадобились-то?

Алейников приподнял голову на онемевшей шее, потер пальцами по привычке шрам на щеке. Потом медленно повернулся к Ивану, оглядел его так, будто видел впервые. Иван даже сказал невольно:

— Чего это ты еще?!

— Зачем? — переспросил Алейников.— Посмотреть на вас да сравнить...

— Чего? С чем?

Уголки рта Алейникова шевельнулись, в выражении лица проступило что-то жесткое, беспощадное.

— Тебя — с братом твоим Федором. А сына — с отцом, значит.

— Как это сравнить? — проговорил Иван, ни о чем не догадываясь, еще ничего не зная.— Он, Федька, из дома на фронт был взятый прошлой зимой. Погоди, неужели он... тоже здесь?!

— Нет, не здесь. Но и недалеко. Он у немцев карателем служит.

Еще не замолкли эти слова, а Иван, будто подкинутый страшной силой, вскочил, попятился от Алейникова, хватаясь, чтоб не упасть, за вершинки и ветки молодых березок, ломая и обрывая их. Его щеки, только что очищенные от многодневной щетины, рыхло дергались, глаза делались все больше.

Наконец верхушки каких-то двух молоденьких, всего на метр от земли, березок, за которые Иван ухватился, не оборвались, выдержали, и он остановился.

— Ты... Да ты... чего?! — вытолкнул он одеревенелым языком несколько звуков. Слова были тихими, бессильными, лишь глаза Ивана кричали дико и протестующе.— Федор? Федька?!

— Ага, Федор.

Иван постоял, качаясь, будто и в самом деле был пьян, все держась обеими руками за верхушки березок. Потом отпустил их, пошел, как слепой, вперед. Очутившись возле Алейникова, немного еще постоял безмолвно, как столб.

— Врешь... врешь ты?! — хрипло, без голоса, произнес он.

Алейников на это ничего не ответил.

Ноги Ивана больше не держали, подломились, он сел почти на прежнее место, стиснул голову руками.

Так, скрючившись, выгнув обтянутую белесой, только что выстиранной гимнастеркой спину, Иван посидел минуты две. По-прежнему доносились с опушки голоса танкистов, резкий стук кувалды об железо... Потом где-то над головами, в расплавленной солнцем вышине, свободной здесь от дыма и гари, зазвенел, запел жаворонок.

Иван не слышал ни человеческих голосов, ни металлического лязга, но переливчатая, негромкая птичья песня разрезала застывшее сознание, он оторвал прилипшие к голове ладони, поглядел сперва вверх, потом на Алейникова. И Яков, ждавший этого взгляда, все равно поразился той перемене, которая за эти короткие минуты произошла с Иваном. Лицо его, серое и бескровное, будто усохло, сразу похудело, глаза куда-то провалились, в них не было теперь ни боли, ни страха, ни изумления — ничего живого.

— Так...— промолвил он посиневшими губами.— Так он, видно, и должен был... кончить, Федька-то... Слава богу, что Семка...

Трясущимися руками он опять вынул кисет, от сложенной в маленькую гармошку газеты оторвал клочок и, просыпая на колени махорку, стал вертеть самокрутку, но бумага порвалась. Яков достал пачку «Беломора», молча протянул ему, но Иван только махнул рукой, оторвал еще полоску газеты.

— Ах, Яков, Яков... — произнес он с тоской и болью, вздохнув. И с этим вздохом будто вогнал внутрь себя остатки сомнений в происшедшем с Федором, растерянности и изумления, вызванных сообщением Алейникова. Пальцы рук его перестали дрожать.— Получаются куролесы в жизни-то людской. Все криво, криво, а потом и вовсе в сторону. Как же так, а, Яков Николаевич?

Алейников попыхал папиросой, окурок щелчком отбросил в траву.

— Получаются,— сказал он угрюмо. Глядя куда-то вбок, усмехнулся и продолжал вяло и не очень понятно:— Человек, он вообще... Пока учится ходить, ша-

тает его с одного бока на другой. А научился — и пошел, пошел, верно, в сторону. Каждый в свою. А куда? Правильный ли путь-то взял?

— Это ты мою жизнь имеешь в виду?

— Да хоть твою,— проговорил Алейников.— Хоть мою, хоть брата твоего Федора. Любого человека.

Голоса людей на опушке затихли, и металлический стук прекратился. Только в выжженном, обесцвеченном солнцем июльском небе где-то по-прежнему звенели жаворонки, теперь не один, а несколько. Иван слушал их, глядел то в одну сторону высокого неба, то в другую. Птиц он отыскать там не мог, а губы его временами оживали, и в глазах появились странные отсветы.

— Скоро я, может быть, с Федором, братом твоим, и повстречаюсь. Послезавтра я с группой ухожу к немцам в тыл, под деревню Шестоково,— резко произнес Алейников.— Там одна немецкая разведорганизация окопалась. Приказано ее немного пощупать... Там же, в Шестокове, и Федор у немцев служит.

Алейников глядел прямо в лицо Ивану. Тот лица не отводил, только светлые точки в его глазах дрогнули и исчезли да кожа на скулах сильно натянулась.

— Ты... для этого... чтоб сообщить все это, и разыскивал... нас с Семкой?

— Да. И для этого,— сухо ответил Алейников.

Иван ничего не выражающими глазами скользнул по гладкому подбородку Алейникова, по его груди, на которой, как и у самого Ивана, не было ни орденов, ни медалей, по его рукам с сильными, жесткими пальцами, в которых он вертел спичечный коробок. Задержал взгляд на этом коробке и отвернулся.

Откуда-то из-за кустов появился Гриша Еременко. Он ничего не спросил, ничего не сказал, бросил только взгляд на Алейникова, подобрал с травы ложки, взял котелок с остатками каши, фляжку, хлеб, недоеденную тушенку и исчез так же безмолвно, как и появился.

— Слава богу, что Семена убило...— проговорил Иван наконец.— Если убило...

— Как?! — мгновенно воскликнул Алейников.— Как это... если убило?!

— Погиб он, конечно... Я же сам видел. Только не пойму, куда тело делось. Я после боя всю высоту облазил. Еще до того, как убитых хоронить начали. Нету его, не нашел.

— Куда ж он делся?

— Не знаю. Я все обыскал.

— Да ты что голову мне морочишь?! — воскликнул Алейников.

— Не морочу я! — вскипел и Савельев. Но тут же остыл, принялся, как и раньше, не спеша рассказывать:— Оно как все было там у нас после того, как танк этот орудие наше раздавил? Ружейникова тоже взрывом отбросило от пушки, этим и спасся. Плечо ему осколками ободрало только. Подошел он, значит, ко мне, сел, на Семку глядит... Помню, спросил, сколько ж ему лет. Я сказал. И говорю: «Давай плечо тебе чем-нибудь перевяжу».— «Погоди, отвечает, с плечом. Смотри-ка!» Это, значит, возле речки снова бой закипел, стрельба заревела. Мы кинулись к своему окопу. Глядим — немцы сыпят от реки. Сбили их, значит, штрафники, погнали. «Ага, сосенки-елочки!» — засверкал глазами Ружейников. А сам диск в автомат вбивает. Потом гранаты стал по карманам рассовывать. И мне: «Бери остальные, чего головой вертишь, как дурак?!» А я верчу потому, что вижу — из-за дымов, что на западе распластались, кучи немцев бегут. И опять в сторону нашей высоты. Земля в ту сторону ровная, как стол, кой-где только овражками изрезана. Километра на два вдаль, до самых дымов, все видно. «Гляди,— закричал я,— и оттуда немцы отступают!» — «Где? — прохрипел Ружейников. — А-а, сволочи! Так тем более айда! Давай!» Махнул мне автоматом, переметнулся через бруствер. Я за ним, значит...

Алейников сидел неподвижно, грустновато глядел куда-то перед собой. Казалось, он вовсе не слушает Ивана, а размышляет о чем-то, думает какую-то свою давнюю и нелегкую думу.

Однако едва Иван примолк, тотчас поднял на него уставшие, колючие глаза:

— Ну?

— Немцы от реки тоже своих, видать, заметили. Отстреливаясь, в ту сторону и попятились. А нам с высотки их с автоматов не достать. Ружейников и решился навстречу им, с тыла. Я, признаюсь тебе... «Сомнут же нас немцы, сами ле-

зем под их сапоги!» — заколотилось у меня в мозгу. Чего мы им, двое-то?! Испугался я, признаюсь, в этот момент. Как будто раньше все и ничего было, а тут холодным лезвием голову разрезало...

— Испугаешься,— угрюмо уронил Алейников, опуская голову.

— Да-а... Однако качусь с холма следом за Ружейниковым. Как зайцы, скачем — от воронки до воронки. Больше укрыться негде, высотка голая и гладкая, как бабья титька... Соображаю — к подбитому нами позавчера танку Ружейников бежит. И немцы к нему же от речки пятятся, приближаются. И вот, хочешь — верь, хочешь — нет, так мы до разбитого танка и добежали по голому месту незамеченные. Упали под него...

— Не до того, значит, немцам было.

— Не до того, видно,— согласился Иван.— Штрафники эти и в самом деле дьяволы. Наступали они... страшно и вспомнить. Немцев вдвое, однако, больше было. Только прижмут штрафников к земле, а те опять поднимаются. Под самый огонь... И прут как заговоренные. Косят их, а они...

— Что ж им остается? — сказал Алейников.— Они обязаны выиграть бой. Другого для них не дано.

Иван поморгал большими ресницами и потерявшим силу голосом проговорил:

— Да я знаю. Только не видел никогда до этого.

Иван посмотрел на взмокший, обильно поседевший висок Алейникова, на струйку пота, стекавшую по горячей скуле, обтянутой загорелой, уже заметно одряблой кожей, и вдруг почувствовал, как возникает в нем жалость к этому человеку.

— Оно много не надо бы, да видим,— произнес Алейников.

— Приходится,— грустно сказал Иван.

Жалость к Алейникову в душе Ивана все росла, он ощутил вдруг всю тяжесть, которую нес на себе этот человек, и от этого ощущения Алейников сразу стал ему как-то ближе, понятнее.

— Упали под танк... И что потом? — спросил Алейников, не меняя позы.

— Что же потом? Прижались мы с Ружейниковым к вонючей, обгоревшей броне и ударили из двух автоматов навстречу немцам. Какие-то секунды, может, они всего и не понимали, откуда это в них и кто?.. Прилипли к земле. А этих секунд и хватило штрафникам. То есть не то чтобы хватило... То ли они подумали, что какая-то часть им на подмогу, то ли еще чего — только заревели еще звериней... Мы, значит, из автоматов поливаем, немцы палят, сами штрафники — а очередей будто и не слышно, все в сплошном мате тонет. Когда гранаты только бухали, рев этот маленько задавливало...

— Немцы их рева пуще автоматов и боятся,— сказал Алейников.

— Да-а... Ну, сколько бой шел этот, не знаю, не меньше часу, однако. Все огнем и дымом взялось. И гореть вроде нечему, а горело... И как он шел, ничего было не разобрать. Мы после одиночными только стреляли. Потому что мелькнет в дыму немец — и тут же в нашей форме солдат... Вот так под танком мы с Ружейниковым и пролежали. Слышим, бой через нас перекатился, отдаляться стал к высоте. Что же нам-то, думаю, со штрафниками, что ли, идти? Спрашиваю у Ружейникова, а тот мычит лишь. Глянул я — ничего, новой никакой крови не увидел. «Куда, кричу, раненый?» Стонет он и головой крутит. Эх, думаю, черт ли с ними, со штрафниками-то, обойдутся. Вытащил Ружейникова из-под танка, взвалил на плечи, понес к реке. Вот так... А дальше как бой развивался, ты и сам, наверное, знаешь... Остатки немцев от реки на высоту отступили, нашу огневую позицию заняли, где Семка лежал. И откатывающиеся с запада фашисты тоже за высоту зацепились. Целых полдня, считай, там держались.

— Это я знаю,— сказал Алейников.

— Ну вот, как на войне-то бывает! Только что мы на высоте были, а теперь немцы. А я с Ружейниковым по берегу мечусь — куда же, думаю, мне? В правый пах его и опять в то же плечо прошибло, поглядел я. Кое-как забинтовал своей рубашкой. И думаю все: «Господи, Семка! Хоть и мертвый ты, а... Надругаются же, сволочи, над телом!» А потом наши с востока, от Жерехова, поперли. И оттуда, с запада, пошли. Вскоре наша пехота вдоль реки потекла. Ну, я, значит, доложил какому-то лейтенанту, кто мы такие, откуда. Тот аж глаза выпучил: «Живы?!

Знаем об вас!..— И крикнул кому-то весело: — Их сто раз похоронили, а они живые, черти полосатые! Быстро в санроту старшего лейтенанта Ружейникова! Савельева накормить, а после боя я лично трофейным коньяком напою его и доставлю в его родную танковую часть!»

— Ну и напоил?— улыбнулся Алейников.

— Нет...— ответил Иван и вздохнул.— Веселый был лейтенант. Молоденький еще. После боя, когда Семку искал, я на труп его наткнулся. Его, значит, нашел, а Семку нет. Нигде его тела... не было.

Голос Ивана дрогнул, он умолк, лишь долго и тяжко дышал.

— Может, немцы сбросили в воронку его куда... да землей присыпали,— проговорил Алейников, когда Иван немножко успокоился.

Иван мотнул головой:

— Все я осмотрел, все обшарил. Тем же часом, как немцев с высоты выбили... Магомедов там и лежал, где погиб. И другие наши... убитые. Никого они даже с места не тронули. Некогда им было и ни к чему...

— Не с собой же немцы его труп увезли...

— Да зачем он им... ежели мертвый был,— тяжко проговорил Иван.

Алейников поднял холодные, немигающие глаза. Под этим взглядом Иван сгорбился еще больше, еще ниже наклонил голову, обнажив худую, черную от загара и от въевшейся бензиновой копоти и пороховых газов шею.

— А ежели Семка не убитый был, а без сознания всего, раненый... и в плен теперь угнанный — не прощу себе! Ежели узнаю об том, застрелюсь.

И спина его затряслась, задергалась.

Алейников подождал, пока спина Савельева дергаться перестала, проговорил голосом спокойным, не осуждающим, посоветовал дружески:

— Давай, это дело... И жену, и детей обрадуешь. Геройством твоим гордиться будут. Жену-то, кажется, Агатой звать?

При имени жены Иван приподнял голову, разогнулся, поглядел вокруг нездоровыми, ничего не чувствующими глазами и уперся ими в Алейникова.

Якову казалось, что Савельев подтвердит: да, мол, Агатой,— но вместо этого Иван произнес, почти не шевеля губами:

— Ты можешь меня с собой... туда, в Шестоково это... взять?

Алейников чуть заметно двинул бровями.

— Ты договорись с кем надо...— проговорил Иван еще более осевшим голосом.— А, Яков Николаевич?

— Зачем... тебе это? — тоже волнуясь, спросил Алейников.

— Не знаю...— И тут же, словно опровергая не себя, даже не Алейникова, произнес, почти прокричал со злостью:— А разве не понятно?! Разве не понятно?

— Хорошо, Иван Силантьевич, я договорюсь,— глухо ответил ему Алейников.

* * *

Такой же испепеляющий зной, как под Орлом, стоял и в Шантаре, в течение июня не упало ни одной капли, небо было раскаленным и белесым, словно затянутым где-то высоко-высоко нескончаемым пыльным одеялом, сквозь которое, однако, беспрепятственно проникали жгучие солнечные лучи. По вечерам солнце, большое и багровое, медленно тонуло в этой мути, утрами, такое же распухшее и красное, поднималось из-за вершин Звенигоры, равнодушно совершало над Шантарой свой извечный круг и снова садилось, окутанное все той же зловещей дымкой. Лишь в первых числах июля побрызгал немного сиротский дождик — и снова в небе ни облачка.

— Дело дрянь, Поликарп,— сказал однажды Панкрат Назаров, стоя в душном кабинете Кружилина у раскрытого окна.— Останемся нынче, однако, без хлеба.

В кабинете было душно, а на улице, несмотря на то что день клонился к вечеру, еще душнее, горячие волны воздуха, пахнущие пылью, текли в помещение.

— Закрой окошко,— сказал Кружилин.— Рожь твоя как, выдюжит?

Яровые посевы во всем районе к началу июля почти полностью выгорели, зелень сперва поблекла, сникла, начала кучерявиться и наконец желтеть. В душе

Кружилина все стонало, сочилось кровью — а что он мог сделать? Держались пока лишь озимые, набравшие с весны хорошую силу, но и рожь по сравнению с нормальными годами сильно отставала в росте.

— А рожь что! Сам, поди, видел — тоже на ладан дышит. К тому же сорняки проклятые...

Да, сорнякам июньские и июльские суховеи были нипочем, даже в благодать, особенно свирепствовала сурепка, к июлю она буйно расцвела, иные хлебные полосы совершенно закрыла желтым своим огнем — точно расплавленное солнце растекалось по земле в разные стороны.

Война была в зените, как раз на половине своего всепожирающего пути, и никто не знал, конечно, что она отмахала свой страшный и кровавый половинный отрезок, никто с уверенностью не мог сказать, когда она кончится. Зато стар и млад в Шантаре и во всем районе знали и понимали, что такое в это тяжкое время неурожай. Если до этого жили впроголодь, теперь неминуемо наступит самый настоящий голод. И зловещее его дыхание уже чувствовалось — фонды для снабжения населения хлебом область уже в конце мая резко сократила, хлеб по карточкам выдавался нерегулярно. Если и раньше у хлебных магазинов круглосуточно волновались тысячные очереди, то теперь эти очереди увеличились в несколько раз.

Но все-таки никто с такой суровой и беспощадной остротой не чувствовал приближение зловещего неурожайного времени, как секретарь райкома партии Кружилин. Впрочем, «чувствовал» не то слово. Он просто в силу служебного положения знал то, чего не знали другие.

В конце июня состоялся пленум обкома партии по подготовке к уборке урожая и хлебозаготовкам. Пленум был в основном информационный, закончился быстро, потому что та цифра количества хлеба, что предстояло области сдать государству, обсуждению не подлежала, а как готовиться к уборке, долго дебатировать не стали.

— Что ж тут говорить, дорогие товарищи, что же вас учить, как убирать скудный урожай этого года...— с какой-то домашней откровенностью и простотой сказал в заключительном слове первый секретарь обкома партии.— Тракторов в колхозах и совхозах очень мало, более или менее добротные машины взяты для нужд фронта, комбайны за два военных года разбиты до предела, новых нет и не будет. Не может сейчас страна дать новых машин... Но вы же сами понимаете, что будет, если не сделать все возможное и даже невозможное...

Секретарь обкома остановился, оглядел немо сидящих в зале людей, снял очки, которые начал носить с недавних пор, протер их и снова надел.

— Именно мы должны, обязаны сделать и сделаем даже невозможное, но каждый имеющийся у нас трактор и комбайн должен работать. За это отвечает партбилетом лично каждый секретарь райкома партии, председатель райисполкома и все другие работники, кого это касается. И я отвечаю. Перед партией, перед народом нашим, перед Родиной. Надеюсь, тут все ясно, подробнее объяснять не надо?

Яснее было некуда.

— Жатки, лобогрейки, серпы и косы — все наладить, все пустить в дело. За горсть просыпанного, потерянного зерна будем безжалостно снимать с постов и исключать из партии, как не оправдавших высокого народного доверия. За клочок неубранного по разгильдяйству хлеба будем безжалостно отдавать под суд. И судить будем строго! И это вовсе не суровость, и это вовсе не угроза, поймите, дорогие мои товарищи! Товарищи по партии, по нашей общей революционной борьбе...

Зал вымер окончательно, никто не смел шевельнуться или кашлянуть. И в этом тугом, натянувшемся до предела безмолвии Поликарп Матвеевич Кружилин ощутил вдруг невиданную, невообразимую силу, ощутил, как она, эта непонятная и необъяснимая, неизвестно откуда берущаяся сила, накапливается с каждой секундой и отсюда, из этого небольшого зала, разольется по всей области и совершит то самое невозможное, о котором говорит секретарь обкома.

И неожиданно, как электрический разряд, Поликарпа Матвеевича ударили с трибуны слова:

— А как ваша рожь себя чувствует, товарищ Кружилин? И поклонник этой ржи Панкрат Григорьевич Назаров? Его нет здесь?

Кружилин сидел в третьем ряду зала. Чувствуя в голове неприятный звон —

не от испуга, а просто от неожиданности,— поднялся и ответил четко и немногословно:

— Рожь, я думаю, выдержит, хотя будет послабее, чем обычно. Назарова здесь нет, он не является членом обкома партии.

— Очень плохо, что не является,—проговорил первый секретарь раздраженно.— Плохо мы еще знаем своих людей, не всегда умеем поддержать, отметить, выдвинуть достойных.

Кружилин, садясь на свое место, горько подумал о том, что выдвигать, поддерживать и отмечать Назарова в том плане, какой имел в виду секретарь обкома, уже поздно. Назаров износился вконец, таял прямо на виду. Кашель душил его все сильнее, бывали моменты, когда он заходился в кашле до черноты, валился, как сноп, наземь и долго, иногда по нескольку часов, лежал недвижимо, медленно отходил. Кружилина подмывало сказать об этом и секретарю обкома, и всему залу, но умом он понимал, что это, несмотря на вопрос секретаря обкома партии, будет неуместно, что делать это бесполезно и не следует.

— Но еще хуже, товарищи, что мы достаточным образом не поддерживаем, не распространяем опыт мастеров земледелия,— продолжал первый секретарь обкома. И обернулся к президиуму пленума, где сидел Субботин: — Иван Михайлович, мы полтора года назад обсуждали на бюро вопрос... — секретарь обкома припнулся на секунду,— вопрос о назаровской ржи. А что сделано, чтобы увеличить посевной клин этой культуры?

— А что могло быть сделано? — вопросом на вопрос ответил Субботин, не поднимаясь с места.— Решение тогда было принято куцее, половинчатое.

— Так, может быть, настала пора строго и спросить с кого-то за это? Кто готовил решение?

Теперь Субботин, худенький, с головой белой как снег, поднялся, вытянулся во весь свой длинный рост. И в густо настоявшейся тишине отчетливо произнес:

— Решение готовил я.

— Видите, он готовил! — насмешливо и сердито кивнул через плечо первый.

— И в решении был пункт о том, чтобы некоторые районы, прилегающие к Шантарскому, климатические условия которых сходны, изучили и рассмотрели вопрос о возможностях увеличения посевов ржи. Но вы этот пункт вычеркнули.

— Я?! — опять повернулся первый секретарь обкома к президиуму.

— Да, лично вы,— спокойно произнес Субботин и сел.

Прежняя безмолвная тишина стояла в зале. Но теперь было в ней что-то такое, отчего даже у Кружилина поползли по коже холодные мурашки.

Позади стола президиума во всю заднюю стену сцены висел портрет Сталина в маршальской форме. Верховный Главнокомандующий, чуть прищурившись, глядел в зал.

Первый секретарь обкома на несколько мгновений, кажется, потерялся, не знал, что ответить. Затем вздохнул, потрогал очки, поправляя, хотя они сидели нормально.

— Вот видите...— глухо проговорил он.— Значит, не на высоте оказался. Ну что ж... На очередной областной партийной конференции вы вправе, кто вслух, а кто, если не найдется смелости, при тайном голосовании, учесть эту грубейшую мою ошибку.

И зал неожиданно, подчиняясь какому-то необъяснимому коллективному чувству, взорвался аплодисментами. Захлопал и Кружилин, вдруг не только прощая первому секретарю то обстоятельство, что он вычеркнул тогда из решения бюро обкома самый важный и жизненно необходимый для него, Кружилина, для Назарова, для всего района и области пункт, но испытывая благодарность к этому старому партийному работнику, известному деятелю подполья и гражданской войны, не раз потом, как слышал и знал Поликарп Матвеевич, и битому, и впадавшему в немилость у более высокого руководства за его прямоту и смелость.

От этих аплодисментов первый секретарь обкома партии откровенно смутился, они его давили на трибуне, он переступил с ноги на ногу и, поблескивая стеклами очков, заговорил:

— Спасибо, товарищи... Спасибо. На высоте тогда оказались Кружилин с Субботиным, а прежде всего Панкрат Григорьевич Назаров. Я был недавно на его полях...

Кружилин поднял недоуменно голову, поглядел на Субботина. Тот из президиума поймал его взгляд, пожал плечами.

— Не переглядывайся так, Кружилин, с твоим дружком Субботиным,— огорошил его секретарь обкома.— И сам Назаров не знает, что был. Объезжал посевы, заглянул и в ваш район. Рожь действительно должна и при нынешних погодных условиях выдержать... с сорняками если справитесь. Какие меры предпринимаете?

Это опять был вопрос к Кружилину. Он встал и ответил:

— На прополку всех живых и мертвых подняли. Даже на пару недель раньше занятия в школах закончили. Хотя за это тоже не погладите...

— Ладно, сделаем вид, что мы этого не заметили, а ты нам не говорил... И, дорогие друзья, давайте исправлять с рожью нашу ошибку. Мою, вернее сказать, ошибку. Как это сделать, мы подумаем. Осенью, после уборки, еще раз рассмотрим этот вопрос на бюро обкома. А пока районы, прилегающие к Шантарскому, да и сам Шантарский, должны представить в обком свои соображения на этот счет...

* * *

— Пойдем, чайку похлебаем,— сказал после пленума Субботин Поликарпу Матвеевичу.

Кружилин думал, что тот приглашает его в обкомовский буфет, но Субботин направился по коридору к выходу.

На улицах Новосибирска, грязных и пыльных, стояла тополиная метель. Белые крупные хлопья густо летели в воздухе, набивались в обваренные зноем деревянные палисадники, в сточные канавки, лохматые комья тополиного пуха перекатывались через немощеные улицы.

— Горит, зараза, как порох,— проговорил Субботин, показывая глазами на забитую распушившимися тополиными семенами обочину улицы.— Каждое лето от них много пожаров. Ребятишки балуются, поджигают. И где, стервецы, спички берут?

Новосибирск — большой, в основном деревянный город — был тих, пустынен и угрюм. Великая беда, гулявшая над страной, наложила и на него свой отпечаток. Давно не крашенные крыши и палисадники, покосившиеся ставни, обвалившаяся на стенах кирпичных домов штукатурка, разбитые во многих местах улицы — все говорило о том, что подновлять, ремонтировать, приводить город в порядок было некогда, да и некому.

Навстречу Субботину с Кружилиным иногда попадались молчаливые, плохо, по-мужски одетые женщины, проковылял одноногий инвалид на костылях, громыхая, проехала повозка, груженная какими-то ящиками, прошел воинский патруль. Начальник патруля, пожилой усатый капитан, обликом похожий на потомственного питерского рабочего, видимо, знал Субботина, отдал ему честь. Субботин молча кивнул капитану.

Больше до самого выхода на площадь Сталина никто навстречу не попадался, и Кружилин сказал:

— Такое чувство, что город вконец обезлюдел.

— Все там.— Субботин неопределенно махнул рукой.— И стар, и млад. Кто может и кто не может. Считай, круглосуточно в цехах, у станков.

Субботин махнул рукой куда-то перед собой, но мог махнуть в любую сторону — всюду, и в самом центре города, и на окраинах, день и ночь дымили заводские и фабричные трубы, работавшие на войну. Дым гигантской тучей висел над городом, полностью рассасывался лишь в сильно ветреные дни.

— И впроголодь,— хмуро добавил Субботин.— В связи с эвакуацией население города увеличилось в несколько раз. И вот теперь, как никогда, суть проблемы... пустякового на первый взгляд вопроса, что сеять — рожь или пшеницу — становится, как бы это сказать... Ах, черт, даже слова не подберешь! Полипова бы сюда, его бы спросить, стервеца! Где он, что слышно?

— Жив-здоров вроде бы,— ответил Кружилин.— Как-то я спрашивал у его жены. Говорит — в военной газете работает.

— На фронте или в тылу?

— Этого я уяснить так и не мог. Но, по-моему, где-то в тылу. Странная какая-то у него жена, живет отчужденно, как мышь в норе. Говорить с ней неприятно и бесполезно. «Да», «нет» — все ее ответы на любой вопрос.

— Да, пустяковый вопрос — рожь или пшеничка? — продолжал Субботин угрюмо.— Но дело может обернуться так, что... это, может быть, будет для многих людей означать — жить или умереть. Жизнь или смерть! Ты соображаешь? — резко остановился он.

— Я всегда поддерживал Назарова в этом деле,— сказал Поликарп Матвеевич.

— Всегда,— усмехнулся Субботин.— Ты не поддерживал его, ты соглашался с ним.

Они стояли среди улицы, будто готовые вот-вот вцепиться друг в друга.

— Я... нутром чувствовал, что Назаров прав, конечно, но до такой обнаженности — жизнь или смерть,— в такой беспощадной ясности этот вопрос, эта проблема мне, я признаюсь, никогда не виделась до сегодняшнего дня. До той минуты, когда первый секретарь обкома не сказал, что и он не на высоте оказался...

— Но и это уже немало... немало для партийного работника,— проговорил Субботин и зашагал дальше.

Кружилин так и не понял, какой смысл вкладывал Субботин в это слово «немало». Что первый секретарь обкома партии в конце концов на высоте оказался? Что он, Кружилин, будучи облечен авторитетом и властью районного партийного руководителя, хотя и не поддерживал, как выразился Субботин, Назарова, но соглашался с ним?

Они миновали почтамт и вышли на площадь Сталина, по краю которой пролегала трамвайная линия. Расшатанный, обшарпанный трамвай, почти пустой, с грохотом выкатился из-за громадины давным-давно строящегося здания театра оперы и балета, встал на пустынной остановке напротив будущего театра, с таким же лязгом и грохотом тронулся и исчез за другим углом.

Строительство театра началось чуть ли не десять лет назад, строить его помогал весь город. Вечерами и в выходные дни сюда приходили рабочие фабрик и заводов, служащие учреждений, помогали копать котлованы, укладывать фундаменты. И он, Кружилин, незадолго перед отъездом в Ойротию, находясь на трехмесячных курсах руководящих партработников, каждое воскресенье вместе со всеми курсантами работал на этой стройке. Они тогда разгружали машины с пиломатериалами, цементом и кирпичом, замешивали раствор, в тяжелых окорятах носили его в различные концы по шатким настилам из досок. Работать было радостно и весело, весь город, вся страна в те годы была охвачена невиданным энтузиазмом созидания. Коллективизация в сельском хозяйстве была завершена, разруха в промышленности ликвидирована, индустриализация шла полным ходом, одно за другим во всех концах необъятной страны возникали все новые мощные предприятия. Голодное и холодное время осталось позади, миновало, казалось, раз и навсегда, молодая революция торжествовала свою законную и безраздельную победу во всех областях, и все это вызывало в каждом человеке, в том числе и у него, Кружилина, чувство еще большего энтузиазма.

К июню 1941 года гигантское здание оперного театра было в основном готово, оставалось завершить комплекс отделочных работ, подключить различные коммуникации, организовать труппу и поднять занавес, но война прервала строительство. Огромная стройка, огороженная почерневшими от снега и дождей заборами, опустела, строители ушли на фронт. И, приезжая в Новосибирск, Поликарп Матвеевич Кружилин каждый раз видел одно и то же — уныло и безжизненно торчали за ветшавшим забором высокие колонны, чернели неоштукатуренные кирпичные стены...

Эту привычную картину Кружилин рассчитывал и готовился увидеть и на сей раз. И потому невольно приостановился, выйдя на площадь. Покосившиеся, во многих местах с проломами, деревянные ограждения вокруг давно замершей стройки были поправлены и подновлены, кое-где к стенам здания прилепились строительные леса, и на них маячили люди.

— Что? — обернулся и Субботин, тоже поглядел в сторону ожившей стройки, потом опять на Кружилина.

— Невероятно,— пробормотал Кружилин, испытывая волнение, причину

которого сознать и понять еще до конца в первые мгновения не мог.— Решили, выходит, закончить эту... эту махину?

— Да, сейчас нам вроде и не до строительства театров,— проговорил Субботин ровным и бесцветным голосом.— Но правительство еще в прошлом году распорядилось эту стройку завершить. И кое в чем оказывает помощь.

Сказав это, Субботин двинулся дальше. Они спустились на сотню метров вниз по Красному проспекту, главной улице Новосибирска, и напротив здания, своим очертанием отдаленно напоминавшим Ленинский мавзолей, пересекли Красный проспект. Это здание, известное под названием «Дом Ленина», было знаменито на всю Сибирь, эпопея его сооружения навечно вошла в историю молодого города. В траурные январские дни 1924 года у жителей Новосибирска, называвшегося тогда еще Новониколаевском — имя городу было дано когда-то в честь последнего и, может быть, самого тупоумного российского императора,— сама собой возникла идея построить вождю революции здание-памятник. И, кажется, месяца через два, вспомнил Кружилин, в газете «Советская Сибирь» были объявлены условия конкурса на проект здания. Потом специально организованный комитет по его постройке выпустил карточки с портретом Ленина, фотографией проекта здания и надписью: «Кирпич на постройку Дома имени Ленина». Каждая карточка стоила десять копеек, карточки продавались во всех магазинах, газетных киосках, на всех углах города, покупались они нарасхват, и таким образом в короткий срок были собраны деньги, необходимые на постройку здания.

В 1925 году Дом Ленина был уже построен, третьего декабря в нем проходили заседания первого съезда Советов Сибири, участниками которого были Кружилин с Баулиным. На последнем заседании этого съезда под гул несмолкающих оваций было принято решение о переименовании Новониколаевска в Новосибирск.

Проходя мимо Дома Ленина по узкой улочке, застроенной деревянными домами и хибарами, Кружилин вспомнил, что ведь и у него где-то есть несколько карточек с надписью «Кирпич на постройку Дома имени Ленина», купленных им в один из тогдашних приездов сюда прямо на вокзале («Где же они, сохранились ли?»), и ощутил, как в душе возникает, поднимается волнение, понятное теперь ему самому, но которое, спроси его кто-нибудь, хоть Субботин, вот сейчас, трудно будет объяснить.

Погруженный в какие-то свои мысли, Субботин двигался на полшага впереди вдоль сквера имени Героев революции, примыкавшего к зданию Дома Ленина, и вдруг остановился.

— Вспомнилось мне, что и у вас, в Шантаре, есть такой сквер. Как он называется?

— Сквер Павших борцов революции.

— А у нас — имени Героев революции... Во многих городах и селах нашей страны шумят такие скверы. Только по-разному называются.

Они стояли напротив памятника, может быть, самого уникального из всех существующих на земле. Над братской могилой рабочих, солдат и крестьян, замученных и расстрелянных в колчаковских тюрьмах, погибших в конце 1919 года, при освобождении города от белогвардейцев, возвышался обломок скалы, и снизу, где покоятся останки людей, отдавших свои жизни за дело освобождения народа, разорвав каменную глыбу, взметнулась из трещины, из-под камней, рука, сжимающая полыхающий на ветру факел. Факел этот тоже был каменный, но казалось, что от него длинным веером сыплются искры.

Субботин и Кружилин долго стояли молча. Шумели в сквере невысокие топольки, звенели в деревьях вечные, как сама жизнь, птичьи песни, рождая в душе что-то торжественно-грустное...

— Мы ворвались тогда в город морозным утром,— вдруг тихо проговорил Субботин. И в мозгу Кружилина мгновенно пронеслось: «тогда» — это 14 декабря 1919 года, в этот день Новониколаевск был освобожден от белогвардейцев и интервентов. Субботин был тогда комиссаром одного из полков 5-й Красной Армии, именно этот полк первым ворвался в город.— И то, что мы увидели, было страшно... Весь город был завален мерзлыми трупами. Тела замученных штабелями лежали во дворе тюрьмы, трупы расстрелянных были разбросаны чуть ли не по всем улицам, по берегам речки Каменки... Мы их собирали несколько дней. Всего подобрали около сорока тысяч трупов...

Субботин умолк, постоял еще немного, сурово глядя на полыхающий каменный факел. На бледном, незагорелом виске секретаря обкома беспрерывно дергалась жилка, причиняла, видимо, неприятную боль, и он морщился. Потом так же молча повернулся и пошел.

Жил Субботин в обычном деревянном домике с небольшим палисадником, спускающимся прямо к глубокому оврагу, по дну которого и струилась небольшая речушка Каменка. Еще два десятка лет назад овраг был не так глубок, но почва здесь была настолько мягкая, что за короткое время овраг стал глубже и шире вдвое, если не втрое, заборчик палисадника уже чуть не висел на самом краю обрыва.

Поликарп Матвеевич Кружилин никогда до этого на квартире у Субботина не бывал и теперь с удивлением разглядывал неказистый, деревенского типа, домишко с чисто выбеленными стенами, невысоким потолком, на котором болтались обыкновенные электрические лампочки под металлическими абажурчиками. В доме было всего три небольшие комнатки, одна из них приспособлена под столовую, а вид из окна открывался прямо на овраг, на сверкающую внизу речушку. На стенах почти ничего не было, кроме портрета красивой, по виду крестьянской девушки с большими и тяжелыми косами.

— Это жена,— сказал Субботин, когда Поликарп Матвеевич, бросив взгляд на портрет, невольно залюбовался им.— Была в нашем полку тогда санитаркой. Умерла в тридцать шестом году. — Он помолчал и прибавил: — Помнишь, ты приходил ко мне в обком... хотя постой, тогда крайком был, кажется? Ты пришел ко мне злой и возмущенный, с жалобой, что тебя непонятно почему в управлении крайНКВД несколько дней держали?

— Помнишь... Такое не забывается,— сказал Кружилин.

— Вот, месяца за два до этого она умерла. У нее было все тело штыками исколото в гражданскую. Родить ей после этого нельзя в общем-то было. Но она трех сыновей родила. «Зачем, говорит, тогда мне жизнь? За что мы, Ваня, дрались-то с тобой?» Каждый раз была на краю смерти, но рожала, несмотря на запреты врачей.

О жене Субботин говорил негромко, слабый стариковский голос его подрагивал и прерывался от свежих, несостарившихся чувств. Говорил он, стоя спиной к Кружилину, глядя в окно.

— А вон там, на берегу, мы тогда подобрали с ней человек двадцать расстрелянных. Из-под снега откопали. В этом домике санрота остановилась, как мы Новониколаевск взяли. Я пришел к жене на ночь, чаю решили вскипятить, она пошла за водой и наткнулась... Все трупы подобрали, а этих не заметили под снегом. Ну, а потом, после гражданской, решили тут и поселиться. Чем-то нравился ей этот домик. Тут всех сыновей мы и вырастили. Первый у нас родился еще до революции, в шестнадцатом. Сейчас во флоте воюет, на Севере. Остальных она родила одного за другим в двадцать первом и двадцать втором. Торопилась. «Знаю, говорит, свои силы...» Младший, кажется, я говорил тебе, погиб в сорок первом...

— Говорил...— глухо сказал Кружилин, невольно вспомнив о Василии.

Субботин говорил о гибели младшего, но не было уже в живых и старшего сына, он не воевал уже на флоте, неделю назад Иван Михайлович получил на него похоронную и, нося ее в кармане, продолжал говорить всем, что сын воюет. Он таким образом обманывал сознательно не других, а себя, и ему от этого было легче.

Не старая, лет под пятьдесят, женщина, сестра Субботина, внесла кипящий самовар, достала чашки, поставила сахарницу и две небольшие тарелки с нарезанной тонкими ломтиками колбасой и хлебом.

— Кушайте на здоровье,— сказала она и вышла.

Минут пять они пили чай молча. За столом Субботин показался Кружилину еще более постаревшим, совсем дряхлым. Наверное, потому, что чашка, когда тот подносил ее ко рту, подрагивала, и казалось, что Иван Михайлович вот-вот выронит ее из рук или расплескает чай на скатерть. На бледных висках, прикрытых редкими белыми волосами, проступал пот, и Субботин стирал его ладонью.

— Да, гибнут наши сыновья,— вздохнул вдруг он по-старчески неглубоко и бессильно. Кивнул на окно, в которое недавно смотрел: — И тогда гибли. И позже будут... Дело, за которое мы бьемся, великое, потому и битва тяжелая. Как там Елизавета Никандровна, жена Антона?

Вопрос Субботин задал, казалось, без всякой связи с предыдущим, и потому он прозвучал для Кружилина неожиданно.

— Попросилась на работу вдруг она,— ответил Кружилин.— Я немножко удивился.

— Почему? — Субботин приподнял голову.

— Здоровья-то у нее… Ничего, говорит, здоровье стало получше. А сына, Юрия, попросила отправить в армию, на фронт. На днях уезжает.

В старческих глазах Субботина шевельнулся любопытный огонек.

— Ну что же… В соответствии с ее силами и подбери ей работу,— произнес он.

— В библиотеку она попросилась.

Глядя на Кружилина, секретарь обкома едва двинул бровями, затем опустил взгляд, о чем-то задумался, будто старался что-то припомнить.

— А вообще разговор у меня с ней был… любопытный и нелегкий.

— Да? Ну, и о чем же? — Субботин отхлебнул из чашки.

— О том, что якобы Полипов до Октября выдавал Антона Савельева царской охранке, а в период колчаковщины — белочешской контрразведке…

Иван Михайлович, глядя на Кружилина, медленно отодвинул от себя блюдце с чашкой.

— «И я, говорит, найду доказательства».

— Интересно…— все глядя на Кружилина, но будто только самому себе сказал Субботин. Наконец опустил взгляд, помолчал.— В библиотеке там у вас, кажется, жена Полипова работает?

— Да. А что?

— Интересно, интересно,— опять будто про себя вымолвил Субботин.— Я недавно узнал, что эта самая жена Полипова дочь человека по фамилии Свиридов. А Свиридов… Был такой у нас в Томске, потом здесь, в Новониколаевске, матерый провокатор. Потом стал следователем в белочешской контрразведке, жестоко истязал в своем застенке Лизу и Антона, их сына Юрку, которому тогда было лет шесть-семь…

— Да, Лиза мне и об этом рассказывала.

— А не странно ли, что дочь этого иуды стала женой Полипова?

Кружилин только пожал плечами.

— Полипов тоже в застенке у Свиридова этого сидел… А не был ли Петр Петрович тогда единомышленником и помощником Свиридова? — снова спросил Субботин.

— Да это же… чудовищно, если так! — воскликнул Кружилин.— Нет, и в голове не укладывается.

— Не укладывается? — Субботин заговорил резко, торопливо, голос его наливался силой, все старческое из облика Ивана Михайловича вдруг исчезло:— Мы с тобой, Поликарп Матвеевич, члены партии, взявшей силой оружия власть у эксплуататоров народа.— Он еще дальше отодвинул пустую чашку, точно она его раздражала чем-то.— И я имею основания сказать, что мы преданные члены партии. Но я как-то задавал тебе вопрос: ясно ли мы себе отдаем отчет и всегда ли ясно представляем, что революция не кончилась, что она продолжается? Забыл?

— Да нет…— шевельнулся Кружилин.

— Сейчас на дворе июль сорок третьего. Два десятка лет… всего лишь два десятка лет прошло с тех пор, как закончилась гражданская война. Еще трупы наших бывших врагов не сгнили. Тела мертвых врагов,— повторил безжалостно Субботин.— А живые как себя ведут? Я имею в виду сейчас не гитлеровцев, как ты понимаешь, а других… Сидят сложа руки и радуются нашим успехам? Или ты полагаешь, что живых, кроме фашистских солдат, уже нет?

— Нет, не полагаю. Но Полипов…

— Может быть, он не такой уж мерзавец, как Елизавета Никандровна предполагает. А может быть… В океане человеческом, в недрах людских все перепутано. Ну да, может быть, ничего особенного в том и нет, что Полипов женат на дочери Свиридова. Просто так как-то и получилось. Мало ли чего не бывает. А может быть и такое, что ниточка далеко-о тянется. И неизвестно еще, где ее кончик…

Субботин помолчал, разглядывая на самоваре оттиснутые медали.

— Но так или иначе, а я давно не доверяю Полипову. Я сделал все, чтобы из обкома его убрать. И если от меня будет зависеть, я ему не то что района, колхоза

бы не доверил. Даже колхозной бригады. Даже небольшого коллектива людей... Нельзя ему этого доверять.

И Субботин вдруг усмехнулся.

— Но что об этом. От меня, когда он вернется, это, я думаю, зависеть уже не будет.

— Не нравится мне твое настроение.

— Слабею я, Поликарп,— доверчиво, по-стариковски, проговорил Субботин.— Уходят силы... А коль от тебя, Поликарп Матвеевич, зависеть будет судьба Полипова, ты этот наш разговор вспомни. Прошу тебя как старший товарищ. И вообще не забывай никогда: «кадры решают все». Это ведь не просто слова, это лозунг громаднейшего социально-политического смысла и значения... Какие будут стоять у руководства люди, так и наши дела пойдут. Ты на примере того же Полипова, кажется, убедился? Или нет еще?

— Да, убедился,— проговорил негромко Кружилин.

— Вот это, о Полипове... и вообще все это я и хотел тебе сегодня еще раз сказать, дорогой Поликарп Матвеевич,— закончил Субботин.

За окном все играла тополиная метель, пуховые хлопья кружились, как настоящие снежинки. В комнате было душно и жарко, но из-за этой метели форточку открыть было нельзя.

— К нам в ближайшее время не собираешься? — спросил Кружилин.

— Собираюсь. Тем более что давно я не видел одного человека, проживающего там у вас, в Шантаре. Проведать надо.

— Это какого же человека?

— А старушку одну по имени Акулина Тарасовна. Не слыхал? Фамилия у нее такая простенькая — Козодоева.

— Козодоева? — Кружилин удивленно поглядел на Субботина.— В верховьях Громотухи старичок живет любопытный — Филат Козодоев. Плотогон был в молодости непревзойденный. Да и нынче мы его попросили плоты оттуда спустить, других специалистов этого дела нет. У него была жена, кажется, Акулина...

— Ага, она,— кивнул Субботин, почему-то отворачиваясь.

— Я думал, она давно померла.

— Живая покуда... Разошлась только давно со своим старичком, с Филатом этим, живет потихоньку в твоей Шантаре.

— Ты-то откуда ее знаешь?

— Давнее дело,— чуть помедлив, с явной неохотой проговорил Субботин.— Году, кажется, в девятьсот пятом я из Александровского централа ушел. Кстати, вдвоем с отцом Елизаветы Никандровны мы тогда бежали. Во время погони он погиб, подстрелили его. Славный был человек и верный товарищ. Мне удалось погоню обмануть, следы запутать. Но я потом чуть не отдал в тайге богу душу... Замерз бы я, если б не Акулина Козодоева.

Здесь Субботин умолк, собрал морщины на лбу.

— В общем, в тайге я встретил ее. Она меня отходила.

— Чего ж ты раньше не сказал... что у нас живет такая?

— Ну ладно,— прервал его Субботин, кажется, недовольный тем, что Кружилин проявляет к этому делу повышенный интерес и что вообще начал речь о Козодоевой.— Живет — и пусть живет. Поклон передай, а больше ничего.

— Хорошо,— сдержанно сказал Кружилин.

— А теперь ступай. Я на часок прилягу, отдохну.

Кружилин поднялся.

— А Назарова ты не обижай,— проговорил Субботин, опять глядя в окно.— Поддерживай, как только можешь.

— Разве не поддерживаю? Мой предРИКа Хохлов Иван Иванович настаивает, чтобы мы представили Назарова к правительственной награде. И сегодня первый об Назарове говорил...

— Говорить-то говорил... Да мне кажется — не пройдет номер с наградой.

— Почему?

— А потому! — сказал Субботин сухо и раздраженно.— Ну, что ты так смотришь? Сейчас везде лихо, и повсюду люди невозможное в тылу делают. И все наград достойны. Всем поголовно ордена, что ли, раздавать? Не хватит на всех... Ну, всего тебе доброго, Поликарп.

Кружилин пожал протянутую ему руку и вышел из дома секретаря обкома в зной и тополиную метель.

Шагая к вокзалу, Поликарп Матвеевич раздумывал, что последние слова Субботина, с одной стороны, были понятны, по с другой — они как-то не убедили его. В тылу, на колхозных полях, порой не легче, чем на фронте, и люди действительно делают невозможное. Разве не справедливо было бы награждать самых достойных? Но за всю войну почему-то не было еще подобного случая. Орденами часто отмечали работников различных областей промышленности, преимущественно оборонной. А хлеб разве сейчас не оборонная продукция?

* * *

Знойный июльский день начался давно, и казалось, никогда не кончится. Солнце, как всегда, не торопясь выплыло, поднялось из-за края земли, лениво стало взбираться на небо. Уж нет-нет достигло оно зенита, и казалось, застряло там навсегда, стояло и стояло, не думая скатываться вниз, к Звенигоре.

Под высоким небом гранитные вершины ее нестерпимо сияли. Каждый каменный кристалл яростно отражал солнце, сверху на утесы лились и лились солнечные струи, разбивались об камни на потоки ослепительных искр.

Весь день, с самого утра, Ганка, дочь Марьи Фирсовны, обливаясь потом, остервенело дергала осот, молочай и сурепку, бросая злые взгляды на небо, на раскаленные солнцем горы, на работавших рядом дочерей школьной учительницы Берты Яковлевны — Майку и Лидку, на Димку и его двоюродного брата Володьку Савельева, жившего в этом колхозе и теперь возглавлявшего бригаду школьных полольщиков. Володька, у которого под солнцем давно и, казалось, навечно выгорели не только волосы, но и глаза, время от времени разгибал бронзовую, мокрую от пота спину, оглядывал хлебную полосу, которой не было конца, потом поднимал голову вверх и говорил:

— Давайте... А то солнце вон покатилось.

Ганка после таких слов еще больше злилась. Во-первых, солнце никуда не покатилось, как торчало, так и торчит на месте. Во-вторых, они все и так «давали» — у нее руки и все тело горели от проклятого осота. Рваные и мокрые матерчатые рукавицы совсем не защищали от ядовитых колючек, а на теле, кроме трусов да ситцевого лифчика, ничего не было.

Но злилась она не на солнце, не на тяжелую работу. Как она ни тяжка, скоро должна была кончиться, их послали в колхоз до первого августа. И злилась не на Володьку, Лидку, или Майку, или даже Димку, а так, неизвестно даже и на кого или на что. Жизнь ее до той зимней ночи, когда мать затеяла побелку дома, а потом все они вповалку легли спать на полу, была в общем простой и легкой, несмотря на тяжкое время эвакуации и устройства на новом месте, у чужих людей, в этой Шантаре. Каждый день приносил что-то новое, хорошее и интересное, другие, незнакомые люди становились знакомыми и близкими, война, казалось, скоро кончится и они уедут обратно на Украину, под Винницу. Туда же вернется отец, на старом месте построит дом, все вместе они посадят сад, будут поливать деревья, чтобы они быстрее выросли, зацвели... Думать и мечтать обо всем этом было приятно, и хорошо было разговаривать с Димкой о таком недалеком времени.

— А приедешь... приедешь ты потом к нам в гости под Винницу? — спрашивала она у него.

— Дак ты... сад сперва вырасти,— почему-то мешаясь, говорил он.

— Он сам вырастет. Мы только посадим. Весной он будет белым-белым! А ты в это время к калитке подходишь... Или нет, лучше осенью, когда на каждой ветке во-от такие яблоки будут! А я почувствую, что ты подходишь...

— Это как же ты почувствуешь? — опуская голову, будто заметив что-то на земле, спрашивал Димка.

— А так...— И она, непонятно даже отчего, тоже мешалась.— Догадаюсь — и все.

Такие разговоры порождали неловкость. На Димку глядеть было стыдно. Но сердце у нее приятно волновалось, и расставаться с ним не хотелось.

Все кончилось в ту злополучную ночь...

* * *

...Ганка облилась жаром, когда поняла, что Димка лег на пол рядом с ней, но сразу же сделала вид, что спит, но не спала и не уснула в ту ночь ни на секунду. Она слышала, как Димкина рука легла на ее волосы, рассыпанные по подушке, как его пальцы пугливо дотронулись до ее шеи. «А мама... если мама все увидит?!» — прожгло ее насквозь, но затем в голове зазвенело, потому что Димкина ладонь коснулась ее груди. Ей хотелось от испуга пронзительно закричать, вскочить и от стыда забиться куда-то в глухую щель, под землю, в кромешную и вечную тьму, но капелькой сознания она понимала, что кричать и вскакивать нельзя, она не то простонала, не то пробормотала что-то и торопливо повернулась к спящей рядом матери. Димкина ладонь осталась у нее на плече, он ее не убирал всю ночь. «Интересно, почему он не убирает руку? — думала она до самого рассвета, чувствовала, что он тоже не спит.— Рассветет — и мать увидит... Или Андрейка... или еще кто».

Она думала об этом испуганно, но в то же время ей не хотелось, чтобы он убирал руку.

Еще она думала, что утром посмотрит на Димку как ни в чем не бывало и сделает вид, что спала мертвецким сном и ничего не слышала. Но оказалось, что теперь посмотреть на Димку не так-то просто, лицо, шея, кажется, все тело само собой заливалось краской.

С той ночи все изменилось, весь мир изменился. Она раньше недолюбливала за что-то Николая Инютина, он казался ей взрослым дядькой, способным на какую-нибудь гадость, но теперь вдруг почувствовала, что с ним легко и просто, что он, хоть и относится к ней немножко свысока — ну как же, на два класса выше учится! — человек сердечный и добрый и обидеть ее не собирается. Он вечно был занят разными необыкновенными и таинственными делами — что-нибудь строгал, пилил, изобретал, и всегда у него можно было увидеть что-то интересное. Однажды, зайдя к Лидке с Майкой за учебником, она увидела посреди комнаты деревянную клетку, а в ней двух зайцев. Один из них, как и положено зайцу в зимнее время, был белым, а другой серым. Николай, склонившись над клеткой, совал туда соленый капустный лист, на дне клетки лежали свежие морковки. Дочери учительницы стояли рядом и наблюдали за его занятием.

— Ой! Откуда ты их взял?! — воскликнула Ганка.

Инютин поглядел на нее, усмехнулся.

— Чего откуда? Поймал...

— Где? Как?

— В Громотушкиных кустах. Петлей,— пискнула Майка.— Варварство это! Видишь, нога у зайчихи перевязана. Ногой в петлю попала.

— Чего варварство? — бросил Инютин.— Испокон веков есть такой вид охоты...

— Больно ж ей! — сказала Лидка.

— Я вылечу. Она уж приступает на нее. Жрать, заразы, только не хотят. Морковку вон не жрут. Капусты им, видать, надо. А свежей нету. Соленую, может, будут, думаю. А? — повернулся он к Ганке.

— Не знаю... А почему этот заяц серый?

— То не заяц. Это кроль. Я его временно у деда Харитона попросил. На расплод.

— На какой расплод? — хлопнула Ганка ресницами.

Инютин по своему обыкновению усмехнулся — темнота, мол, не соображаешь. Затем согнал улыбку, почесал горбатый нос.

— Это зайчиха, а это кроль, говорю. Я их хочу скрестить.

Ганка еще похлопала ресницами, отчего-то сильно покраснела.

— Дурак ты! — сказала она обиженно и выскочила из дома.

Это было еще до того случая с Димкой, в самом начале зимы. При каждой встрече потом с Николаем она невольно вспоминала его зайцев, его слова: «Я их хочу скрестить» — и, наклонив голову, торопливо пробегала мимо.

А Инютин, как назло, все чаще попадался ей на глаза, то в школе, то по дороге домой, то возле дома. Сперва девушка думала, что это так, случайно. Но однажды она, подняв не него недовольный взгляд, обомлела: на его лице она увидела не обычную его снисходительную усмешку, а смущенную, даже растерянную

улыбку, в темных, глубоко ввалившихся глазах то вспыхивал, то гас какой-то непонятный огонек, пугливый и робкий.

— Ты... чего? — вымолвила она, еще ни о чем не догадываясь, но уже чувствуя в душе смятение.

— Ничего...

Она повернулась и быстро пошла вдоль заснеженной улицы, слыша, что Николай шагает следом. Под его валенками, подшитыми автомобильными покрышками, громко хрустел снег и отдавался сильной болью в ее ушах.

— Чего ты... за мной идешь? — обернулась она. И не хотела оборачиваться, хотела, наоборот, как можно скорее убежать от него, а вот взяла и обернулась. И не только обернулась, но даже остановилась, что совсем было для нее самой непонятно. Стояла и мучительно ждала, пока он подойдет.

— Я не за тобой. Я домой,— сказал он, останавливаясь.

— Ну и ступай вперед.

— Чего мне вперед...

Они, оба растерянные, стояли на пустынной улице молча, не глядя друг на друга. Сколько стояли, никто из них сообразить не мог, но оба почувствовали, видимо, нелепость своего положения, враз повернулись и пошли, и до самого дома шагали молча, не проронив ни слова.

— До свидания,— сказала возле дома Ганка.

— До свидания,— проговорил в ответ Инютин.

Это случилось дня через три после той ночи, когда Димкина рука до рассвета пролежала на ее плече.

Ганка жила теперь в каком-то полусне, порой не понимая, что с ней происходит. На Димку глядеть было стыдно, хотя, думала она ночами, краснея под одеялом, если бы снова случилось такое... такое... она снова позволила бы Димкиной руке... «А Колькиной? А Колькиной? — задавала она себе вопрос, совсем задыхаясь от жара.— Нет, ни за что! Ни за что!» И вздрагивала от стыда к самой себе за такие мысли, забивалась куда-то под подушки.

Но как-то так получалось само собой, что отношения с Димкой становились все холоднее и отчужденнее, а с Николаем Инютиным наоборот. Собственно, с Димкой вообще никаких отношений не было, они просто жили в одном доме, но друг друга замечать перестали. А в доме Инютина Ганка стала бывать все чаще. Себе она объясняла это тем, что ходит туда не к Инютину, а к Лидке и Майке. С Димкой она не разговаривала, но видела, что ему не нравятся ее отношения с Инютиным, что с каждым днем он нервничает и злится все больше. «Ну и позлись... позлись!» — думала она, испытывая при этом какое-то странное удовлетворение.

При всем при том Димку ей было жалко, жалость, непонятная и необъяснимая пока, как и все остальное, захлестывала иногда ее до того, что на глазах проступали слезы и ей хотелось подбежать к Димке, упасть ему на грудь и выплакаться до конца, и это — она чувствовала — принесло бы ей и ему полное облегчение. Но и Николай Инютин становился все более любопытен и интересен для нее. Может, потому, что он был ей не до конца понятен, ее удивляли странности в его характере, которые она стала вдруг замечать. Он собирался добровольцем на фронт, с энтузиазмом сообщал встречному и поперечному, что военком Григорьев «твердо-натвердо» пообещал ему «отправку с первой же группой двадцать шестого года рождения, поскольку ты, Инютин Николай, серьезный парень и отец у тебя на фронте», но она не верила этому. Во-первых, Колька был врун несусветный, это все знали. Во-вторых, в школе он вечно хулиганил, изводил учителей, особенно много пакостей делал учительнице немецкого языка. В прошлом году на ее уроке выпустил из ящика крысу, учительница, пожилая женщина из эвакуированных, упала в обморок и неделю потом проболела. Инютина едва не исключили из школы, его мать чуть не на коленях упрашивала, говорят, оставить его в школе. Николай после этого случая притих, но ненадолго. Нынче разгорелся новый скандал из-за того, что он подменил в стопке контрольных по алгебре, которые Берта Яковлевна принесла домой для проверки, несколько работ самых отстающих учеников. Лидка и Майка рассказывали, что мать несказанно удивилась, проверив работы этих учеников, на другой же день вызвала их по одному к доске, заставила решать те же задачи, что были на контрольной работе. Никто из них задач не решил. Была проведена новая контрольная. Берта Яковлевна просмотрела работы

неуспевающих учеников на перемене. Написаны они были на двойки, но оценок она не поставила, отнесла работы домой, а на другой день вечером застала Инютина как раз в тот момент, когда он подменял листки с контрольными...

«Разве могут такого несерьезного человека взять на фронт добровольцем? — думала Ганка.— Врет он, все врет...»

Но когда однажды Лидка, такая же грудастая и непоседливая, как ее сестра, высказалась об Инютине примерно в том же духе, Ганка вдруг возмутилась:

— А почему не могут? Чем он хуже... хуже других?

— Да в нем глупость и тупость... через край переливаются.

— Тупость? Глупость?! — От обиды за Николая, от подступившего гнева слова у нее все исчезли, тех, которые хотелось обрушить на Лидку, не было.— Что ты понимаешь тогда? Что понимаешь?

— Защитница! И с чего бы это? — Лидка насмешливо сверкнула темными глазами, брезгливо сложила губы.

— А с того, что несправедлива ты... Только поэтому.

— Да? — Лидка снисходительно оглядела ее.— Нет, я говорю истину. Она тебе неприятна, но это уж другое дело... Это ж он мог только додуматься — скрестить зайчиху с кролем. А что вышло?

Да, из этой его затеи ничего не вышло. Зайчиха не стала есть ни соленую, ни даже свежую капусту, которую Инютин все-таки добыл среди зимы, что было за гранью почти невозможного, и подохла. Но то обстоятельство, что Николай где-то полкочана свежей капусты достал, повергло Ганку в изумление.

— Коля! — воскликнула она, схватилась за его плечо.— Где ж это сумел ты...

— Да чего, подумаешь...— Он смутился. Девушка, опомнившись, сняла руку с его плеча. И тогда Николай покраснел еще больше.— Правда, весь район пришлось обегать. Да это что мне.

Ганка вспомнила, что Инютина почти целую неделю не было видно в школе.

— Тебе же опять... попадет, что уроки пропустил?

— Попадет,— вздохнул он.— Да ничего, может, она, зараза, жрать зато станет... Это мне Тонька-повариха дала, из колхоза. А ей сам председатель Назаров повелел... «Поскольку, грит, слыхал, что добровольцем ты идти собираешься». Она и достала из погребушки.

Когда зайчиха подохла, Николай снял с нее шкуру, а тушку закопал, для чего разрыл снег и долго ковырял мерзлую землю.

— А то собаки разроют и сожрут, если ее просто под снег,— сказал он Ганке.

— Конечно,— откликнулась она, чувствуя, что между нею и Николаем возникает какое-то полное доверие и согласие.

— Собаки... Сейчас люди голодают,— произнесла Лидка, тоже наблюдавшая за этой операцией.— А это дичь была... настоящее мясо.

— Сама ты дичь,— буркнул Инютин. И опять Ганка была согласна с ним.

Бесполезного теперь кроля Николай понес деду Харитону. Но по дороге случилось несчастье — кроль сбежал. Среди улицы застрял в снегу заводской грузовик, несколько мужиков и баб толкали его сзади. Колька положил мешок с кролем на обочину улицы и принялся помогать. Когда машина уехала, Инютин подошел к мешку, но кроля в нем не было. Мешок был по-прежнему крепко завязан, но сбоку зияла дырка.

— Прогрыз, паразит проклятый,— с грустью сообщил он вечером Ганке.

— Ой, как же теперь ты?! — встрепенулась она.— Кроль-то чужой...

— Не знаю. Дед Харитон теперь меня костылем изобьет, это верно.

— Да ты что?!

— Это пустяки, Гань...— Он впервые назвал ее так. И сердце ее точно оборвалось куда-то и упало.— Как-нибудь улажу. Дед Харитон добрый. А вот кроля, дуралея такого, жалко. Собаки ж его могут задавить. А то люди поймают, зарежут — да в печь...

Дня через три Николай, веселый и возбужденный, сообщил, что с дедом Харитоном все улажено — он отнес старику заячью шкурку и пообещал «пужануть волчишек».

— Каких... волчишек? — В голосе ее прозвучала тревога, откровенный испуг. Она знала, что в эту зиму оголодавшие волки, случалось, забредали ночами из Громотушкиных кустов на окраинные улицы Шантары. Собаки, подняв сперва

остервенелый лай, трусливо забивались в разные щели, но одуревшие от голода звери хватали нерасторопных, свирепо рвали на куски. Утром только забрызганный кровью снег да клочья собачьей шерсти указывали место ночной трагедии.

Дед Харитон, сгорбленный и совершенно безволосый от старости, жил как раз на самой окраине, его трусливого пса еще в начале зимы задрали волки, и, как Ганка знала из рассказов того же Николая, каждую почти ночь звери толклись возле домишка деда Харитона, царапали лапами обитую жестью дверь в сарайчик, где стояли клетки с кроликами, разведением которых и славился дед, пытались даже прогрызть бревенчатые стены. Может, все это было не так зловеще, как рисовал Колька, но факт оставался фактом, волки в село захаживали, и потому Ганка, зная уже характер Николая, разволновалась не на шутку.

— Каких еще волчишек? — повторила она, недовольно сдвинув брови.— Не смей, понятно?!

— Ну да... У старикана череп почернел от страха. Помочь надо.

— Да как... как ты поможешь?

— А вот... ружье. Наверное, пищаль называется.

И Николай Инютин выволок из-за печки диковинной длины, насквозь проржавевший ствол без приклада, с погнутым курком, без спускового крючка.

— Вот, в керосине отмочу, почищу. Курковое ружье было, старинное, заряжалось со ствола. За керосин мать голову снимет, если узнает. Ты не говори, ладно? Как бы эти кобылы только не увидели...

Она поняла, кого величает Николай словом «кобылы», но все же спросила:

— Какие это... кобылы?

— Да Лидка с Майкой. Сразу матери доложат... Курок я выпрямлю. Крючок спусковой выточу. Приклад сделаю из березового полена. Пороху мне один человек обещал за стакан самосаду. А самосад у деда Харитона выпрошу, нечего ему много курить-то, и так весь табаком провонял. Ну, пулю я из свинца скатаю — вон у меня свинцовая решетка из автомобильного аккумулятора. А? И ка-ак жахну...

— Коля... не надо,— попросила жалобно Ганка.— Оно ж не будет стрелять. Сильно старое.

— А поглядишь! — с обычной самоуверенностью пообещал Колька.— Зайца я поймал? Зайчиху-то, которая сдохла? Майка с Лидкой не верили, а я поймал. И волка пристрелю из засады. Шкуру тебе принесу... подарю.

— Не надо мне никакой шкуры... Только брось все это.

— Вот еще! — непокорно сказал Инютин и торопливо сунул старинный ружейный ствол обратно за печку, потому что скрипнула дверь в сенцах.

Таков он был, Колька,— непонятный, несерьезный какой-то, но не тупой и глупый, как считали дочери учительницы. И Ганку тянуло к нему все сильнее.

Этот ружейный ствол, неведомо где добытый им, чуть не принес несчастья. Выбирая время, когда дома никого не было, Николай недели две скреб и чистил его, строгал приклад, вытачивал из крупного гвоздя спусковой крючок, терпеливо прилаживал и соединял каким-то особым, как он объяснял Ганке, способом этот крючок с курком. И добился своего — крючок стал щелкать. Тогда он прикрутил березовый, хорошо обструганный приклад к стволу проволокой. Опять пощелкав курком, Николай вдруг нахмурил брови, вздохнул.

— Ружье было кремневое, а где кремень взять? И все запалочное устройство сгнило.

— Выбрось ты его!

— Еще чего! Самопалов знаешь сколько делал? Вот тут сейчас я щель напильником пропилю. Проволочную петельку в приклад забью.

— Зачем?

— Спичка сюда должна вставляться. Чирк — и готово! Успей только прицелиться.

Еще провозившись несколько дней, он пропилил-таки щелку сбоку ствола, опять прикрутил ствол к прикладу, в дерево напротив прорезанной щелки вбил проволочную петельку, осмотрел «пищаль» со всех сторон, задумчиво посвистел и неуверенно произнес:

— Испытать необходимо.

— Коль, не надо,— еще раз хныкнула Ганка, неоднократно уже говорившая, что стрелять из такого ружья опасно.

— Да ты что?! — недовольно воскликнул он.— Столько работы проделано! Бу-удет жахать! За милую душу.— И, заметив что-то в ее глазах, подступил к ней вплотную.— Ты чего? Фискалить на меня... задумала?

— Нет, что ты! — Она отступила на шаг.— Откуда ты взял? Только я говорю...

— Хватит говорить. Я ж не порохом. Нету пока пороха. Лысый дед не дал покуда самосаду. «Покажи, говорит, сперва свою пищаль...» Мы спичками зарядим. А?

— Не знаю, — мотнула головой Ганка.— А спички где взять?

— Да у меня есть... немного.

Спички, как и все прочее, были в большом дефиците, но Колька вытащил из кармана синий бумажный спичечный пакет, отсыпал из пакета полную горсть, сел за стол и начал соскабливать с хрупких палочек серные спичечные головки. Проделывал он это с таким выражением лица, что Ганка, необъяснимым чутьем чуя, что сейчас произойдет несчастье, все равно ничего больше сказать не могла.

Наскоблив спичечных головок приличную горку, он все, до последней крупинки, ссыпал в ружейный ствол, толстой проволокой забил бумажный пыж и встал.

— Ну, я пойду. В огород, что ли. А ты домой ступай. Мало ли чего...

— Нет уж. Теперь я не уйду.

— Ну, ладно, оставайся,— великодушно разрешил Инютин.— Близко только не подходи.

Они вышли во двор, остановились у стенки сарая. Николай вставил в проволочное ушко для верности сразу две спички, достал из ополовиненного спичечного пакета зажигательную плашку.

— Отойди, говорю!

Ганка от окрика вздрогнула, отступила на два-три шага. Николай чиркнул плашкой по спичкам, приклад прижал к плечу, ствол задрал вверх, а голову в ожидании выстрела на всякий случай отвернул подальше от ружья...

Но выстрела не последовало. Спички с шипением загорелись и через одну-две секунды потухли. «Пищаль» молчала. Колька уже приподнял голову: что, мол, такое, почему осечка? Но в это время опять послышалось какое-то шипенье, из ружья сразу из двух мест — из прорези запала и из того места, куда ударял курок,— вырвались две тугие струи дыма, хлестанули прямо Кольке в лицо и сильно обожгли. Николай мгновенно бросил свою «пищаль» в снег и, закрывая лицо ладонями, согнулся, отскочил к Ганке.

— Коля? Коль! — успела крикнуть девушка, и в эту секунду ружье рвануло. Взрыв был негромкий, так, щелкнуло что-то, как из пугача, но снег вокруг «пищали» вспух бугром, сквозь это снежное облако, крутясь в воздухе, мелькнул ствол и исчез, а приклад отлетел к стене дома, ударился об него и упал к Ганкиным ногам.

— Я говорила, я говорила! — во весь голос закричала она.

Инютин зажимал лицо ладонями и из стороны в сторону мотал головой. Она склонилась над ним, затормошила за плечи:

— Что с тобой, Коль? Коля?!

— Гадство такое, а? Заряд не рассчитал. Много заряду дал...

Он отнял руки от щек. Вся правая половина лица была густо закопчена и обожжена.

— А глаз? Глаз, Коля?! — заплакала Ганка.— Правый-то глаз у тебя...

— А что? — Колька зажал ладонью левый глаз, правым поглядел на Ганку, на плетень, по которому прыгали воробьи, поморгал сожженными ресницами.— Глаз видит. Чего ему сделается?

— Пошли скорее, обмоешься! Ведь если домой кто придет...

В доме она помогла ему смыть копоть с лица. На обожженной щеке вздулся волдырь. Николай чуть постанывал, когда Ганка, суетясь, осторожно промокала тряпкой водяные капли вокруг опаленного места.

— Больно? Сильно больно? Я счас...— без конца повторяла она.

— Ерунда. Гань...— Он взял ее неожиданно за локоть. Взял сильно и цепко, потянул к себе.

— Ой! — воскликнула она, смертельно перепугавшись.

— Гань... Гань...— шептал он, подтягивая ее все ближе.

— Не смей! Не смей! — Она сопротивлялась, чувствуя, что силы уходят, что еще секунда — и сил не будет вовсе. Но в это время за окном послышался Лидкин голос. Она с кем-то попрощалась, через полминуты вошла в дом, замерла, удивленная, у порога, переводя взгляд с Николая на Ганку, отпрянувшую в самый дальний угол.

— Вы что это, а? — спросила наконец она.

— Ничего,— сказала, чуть помедлив, Ганка. Она произнесла это слово враждебно и зло, качнулась, сорвалась с места и выбежала из дома.

Она вылетела из дома пулей и не видела уже и не знала, что Лидка, проводив ее чуть прищуренным взглядом, размотала с шеи платок, сняла пальто и, холодная еще с мороза, подошла вплотную к Кольке, положила обе руки ему на плечи и опять спросила:

— Что это у вас тут, а?

Николай, ошеломленный, молчал.

— Зачем тебе она, Коля? — проговорила Лидка и то ли шагнула к нему еще ближе, то ли просто притянула к себе — ее тяжелые груди коснулись его.— Коля...

Губы ее, яркие и мокрые, были у самых его глаз, они шевелились и что-то говорили, но Инютин уже ничего не слышал. Он уперся кулаками в ее плечи, как только что Ганка упиралась в его, и, оскорбленный чем-то, вскрикнул:

— Отойди!

Лидка вздрогнула, сняла с его плеч руки, повернулась и пошла. У дверей своей комнатушки обернулась с усмешкой:

— Деревня...

И сердито захлопнула за собой дверь.

Ганка ничего этого не видела и не знала, а если бы и видела, все равно ничего не поняла бы и не разобралась, как не могла теперь сообразить, почему день сменяется ночью, зачем и отчего после долгой зимы наступает, кажется, весна. В школе она начала учиться хуже, часто не слышала даже обращенных к ней вопросов.

— Да что это с тобой, доченька? — спросила в конце концов мать.— От тебя же тень одна осталась.

— Ах, мама! — воскликнула Ганка, упав ей на грудь.— Ничего я не знаю, ничего... Скорей бы все это кончилось!

— Да что все-то?

— Все! Не знаю... Скорей бы снег растаял...

Марья Фирсовна вздохнула, погладила дочь по плечу...

Снег сошел, земля оделась травой, деревья — листвой, потом расцвела сирень, которую Инютин Николай носил ей целыми охапками. Она стеснялась, но брала, назло Димке, который при этом всегда краснел, весь наливался, она чувствовала, тяжелой болью, нагибал шею и становился чем-то похожим на камень. Брала назло Лидке, которая давно уже относилась к ней, Ганке, насмешливо и ядовито, при встречах, если рядом никого нет, с откровенной ненавистью обдирала ее черными глазами до наготы, а при людях не замечала, проходила как мимо пустого места. Брала еще назло самой себе. Брать ей не хотелось, потому что жаль было Димку, внутри которого поселилась боль, но принимала, ненавидя одновременно Димку за то, что он не находит в себе сил и смелости избавить ее от страданий. Как он это может сделать, она ясно не представляла, но чувствовала, мелькало у нее иногда: догадайся Димка хоть раз ей подарить даже не охапку сирени, а веточку, одну веточку, ей сразу стало бы легче.

Но что поделаешь, Димка не догадывался, и пропасть между ними, неизвестно, непонятно теперь для нее, как, когда и зачем возникшая, становилась все шире да глубже. А после того как она отхлестала Димку веником из этой ненавистной ей сирени, пропасть стала еще больше...

* * *

...Косматое солнце, испепелив в прах необъятное небо над степью, все-таки стало медленно опускаться к горизонту. Солнце сожгло не только небо, но и землю, и навстречу ему снизу, из-под Звенигоры, стали вспучиваться тучи серого и

легкого пепла, солнце, коснувшись их, начало, казалось, раскаляться еще сильнее, увеличиваться в размерах. И чем глубже проваливалось в серую муть, сплавшуюся по краю земли, тем сильнее раскалялось и больше увеличивалось.

— Шабаш! Ка-анчай! — прокричал Владимир Савельев.— Одевайся!

На прополке все работали почти нагишом, в трусиках. В первые дни Ганка раздеваться стеснялась, но Володька подошел к ней, сказал просто и убедительно:

— Сопреешь же. И платьишко солнце мигом сожжет. У тебя их много, платьев-то?

— Где ж много...

— Ну вот. На речке не стесняешься, поди, а тут чего? Поле пустое, а мы все свои.

И тот же Володька, когда наиболее смелые девчонки разделись и по этому поводу ребята начали было кидать шуточки, подошел к одному из них, поднял тяжелый, не по-детски увесистый кулак:

— Это нюхал? — и повернулся к остальным: — Чо вздумали? Тут работа, а не баловство. Это вам не шуточки, когда хлеб гибнет. Мужики отдельно будут— вот по этому краю поля сорняк давить. Девчонки — по тому. И хаханьки бросить у меня. Давай одежду тут складывай, девки — там. Никто ее не тронет. И не прохлаждаться, дневной урок немалый...

После этой речи Савельев первым разделся, бросил наземь рубаху и пыльные штаны и, не дожидаясь остальных, начал дергать сорняки. И все невольно смолкли, молча разделись, тоже принялись за работу, раз и навсегда признав право этого парнишки, по годам некоторых и моложе, командовать над всеми.

Несколько дней ребята и девочки работали по группам, старались держаться друг от друга на расстоянии, однако потом к обстановке привыкли, все перемешалось. Над полем, особенно с утра, когда с неба, успевшего за недолгую ночь набрякнуть синевой, еще лилась прохлада, стоял веселый гам и говор, взлетал то и дело смех, но постепенно голоса стихали. После скудного обеда, который привозила на мохнатой лошаденке тетя Антонина, бригадная повариха, все снова принимались за работу, но теперь молча и угрюмо.

Повариха приезжала не одна — на козлах сидел Андрейка. Когда Владимир Савельев с помощью ребят сгружал с повозки фляги со щами и молоком, корзину с хлебом, на освободившееся место ставились пустые бидоны, повариха принималась кормить полольщиков, а Андрейка ехал к Громотухе за свежей водой для них.

На прополке все работали уже давно, очистили от сорняков три или четыре огромных поля. На ночь уходили в бригаду, та же тетя Антонина кормила всех жиденьким супом или затирухой, чуть подбеленной молоком, поила чаем, заваренным смородиновым листом. После ужина сразу наступала и темнота, все отправлялись в ригу, забитую соломой, без особых разговоров заваливались спать— девчонки в одном углу, мальчишки в другом.

Последним всегда ложился Володька Савельев. Перед тем как лечь, он вешал посредине риги на столб тусклый керосиновый фонарь с треснувшим стеклом, а бригадир Анна Михайловна, мать Димки и Андрейки, чуть свет тушила его, а примерно через час, едва солнце приподнималось над землей, снова приходила в ригу, будила всех — и начинался еще один длинный-длинный день...

Натягивая на задубевшее под солнцем тело пыльное и теплое платье, Ганка с ненавистью думала о завтрашнем бесконечном дне, о Димке и Николае Инютине, которого она не видела с самой весны, с того дня, когда отхлестала и его сиреневым веником. До нее доходили слухи — тот же Андрейка рассказывал,— что Колька все это время пропадает в военкомате, где ему поручают какие-то дела, и ей приходили почему-то в голову нехорошие, подозрительные мысли о том, что ничего ему там не поручают, просто Колька, закончивший нынче десятый класс, прохлаждается в Шантаре, а они вот сгорают тут под солнцем. Она упрямо думала так о Николае и одновременно понимала, что такие ее мысли и предположения несправедливы, они оскорбляют и Николая, и ее,— и испытывала жгучую ненависть к самой себе.

Это было тяжелое и мучительное чувство, которое сжигало ее сильнее, чем беспощадное июльское солнце. И сегодня, сейчас вот, когда она надела прокален-

ное дневным жаром платье, ненависть к самой себе всколыхнулась с такой силой, что в глазах потемнело, голова закружилась. Она свалилась на теплую и душную землю, свернулась калачиком и горько зарыдала. Сквозь обильные слезы она видела, как подбежали к ней несколько девчонок, склонились, затормошили. Она слышала растерянные, испуганные голоса, сквозь которые прорезался неприятный ей голос Лидки:

— Девочки, это тепловой удар! Воды скорее! Мокрую тряпку на голову!

А потом почувствовала вдруг, что подошел Димка. Она не видела его самого, не слышала его шагов, но знала, что именно он протолкался сквозь кучу девчонок, наклонился над ней и сейчас дотронется до ее плеча рукой и скажет: «Ганка, что с тобой?»

Димка, такой же почерневший, как все, не успевший еще натянуть рубаху, действительно склонился над ней. Но за плечо он ее не тронул и произнес несколько другое:

— Ты... Ганя... Ну, успокойся, слышь?

От его слов она замерла, потом приподнялась, вытерла ладонью слезы, оглядела всех. Ребята и девочки стояли вокруг молча и растерянно, лишь в глазах Лидки было какое-то ожидание.

— И успокоюсь,— произнесла Ганка враждебно.— Тебе-то что?

— Да мне... ничего,— сказал Димка примирительно и чуть виновато.

— Ну и ступай! И все вы... чего уставились?

— Давайте в бригаду, на ужин,— распорядился Володька.— А ты вставай. Чего людей пугаешь?

— Я никого не пугаю.

— Вот и вставай.

Она еще помедлила, поднялась и первая вышла на дорогу.

Когда заканчивали ужин, в бригаду приехали вдруг председатель колхоза Назаров и секретарь райкома партии Кружилин. Назаров был в своем обычном пропыленном пиджаке, Кружилин — в суконной гимнастерке, тоже грязной и пыльной, сильно потертой на локтях. Они приехали на двух ходках, каждый на своем, оба мрачные, молчаливые. Председатель колхоза завернул за угол бригадной кухни, а Кружилин остановился неподалеку от врытого в землю длинного стола, за которым ужинали ребята, отпустил чересседельник, развязал супонь, взял из ходка охапку свеженакошенной травы, кинул жеребцу. Потом подошел к столу.

— Здравствуйте, ребята.

Ему ответили вразнобой.

Секретаря райкома партии все знали, он в течение лета не раз появлялся в бригаде, однажды осмотрел даже ригу, в которой спали ребята, пошутил еще, что запах соломы и свежий воздух сделают девчат еще красивее, а ребят сильнее и мужественнее.

Сейчас он не шутил, не улыбался. Присев на краешек скамейки, снял матерчатую фуражку, почти прогоревшую от солнца, положил ее на колено, ладошкой, по-крестьянски, пригладил спутанные волосы и, не обращая ни на кого внимания, устало задумался. Он как-то слился со всеми, стал похож на обыкновенного колхозника, который, наработавшись, тоже пришел с поля и ждет теперь вот своей тарелки с ужином. Бригадная повариха Антонина действительно положила перед ним кусок черного, пополам с лебедой, хлеба, из общего чайника налила кружку чая.

— Ага... Спасибо, Тоня,— очнулся Кружилин, взял кружку, отхлебнул.

Солнце уже скрылось за Звенигорой, но за горизонт еще не зашло. Обычно в такое время все пространство над горой пронизывалось желтыми полосами, бившими из-за скал, но сейчас привычных солнечных стрел не было, вверху неподвижно стояла багрово-красная муть, отблески ее проливались на соломенную крышу риги, на лица притихших ребят и девчонок, на старую, с черной трещинкой фарфоровую кружку, которую держал в руке секретарь райкома.

— Устали, ребята? — спросил Кружилин как-то неожиданно.

— Притомились чуток,— мотнул Владимир Савельев давно не стриженной головой.— Да мы молодежь...

Кружилин оглядел всех девчонок и мальчишек, сидящих за длинным дощатым столом, остановил взгляд на Димке Савельеве:

— А ты как тут, Дмитрий?

Димка поглядел на Кружилина исподлобья, враждебно.

— А мне что? Я сын бригадирши.

— Вот как?! — приподнял усталые веки Кружилин.

— Ну,— усмехнулся Димка. И кивнул на Владимира: — И он, наш полольный бригадир, мой сродственник. Так что мне тут кругом поблажки.

— Он ничего, хорошо работает,— проговорил Владимир.— Молчун только, все носит чего-то в себе, как дурак игрушку...

Звонко хохотнула Лидка и тут же захлебнулась, потому что Ганка порывисто вскочила.

— Ты сам...— крикнула она Володьке.— И ты...— обернулась она с гневом к Лидке. Глаза ее яростно полыхали.

— Инте-ере-сно! — протянула Лидка.— Видели?

Вдоль длинного стола прошло движение, но вслух никто ничего не произнес. Димка поднялся медленно, как-то странно глядя на Ганку, повернулся и пошел.

— Дмитрий, погоди,— попросил Кружилин,— сядь на минутку.

— Чего? Я поужинал,— огрызнулся тот. И пошел дальше, все прибавляя ходу, скрылся за углом риги.

Ганка дольше других глядела на этот угол. Когда повернулась, в глазах ее стояли слезы, губы вздрагивали. Казалось, слезы сейчас польются ручьем, она при всех зарыдает. Но она только закусила губу и села, опустив низко голову.

За столом установилось неловкое молчание.

— Вот еще... охломон какой,— нарушил его Владимир.— Счас я приведу его.

— Не надо, Володя,— произнес Кружилин, вставая.— Оставь его. Я приехал, ребята, поблагодарить вас всех за хорошую работу.

Установилась тишина. Лишь стоявший неподалеку в упряжке жеребец, на котором приехал Кружилин, звякал удилами, но этот железный звук тишины не нарушал, только подчеркивал ее. Лица девчонок и парнишек, осунувшиеся, худые, сожженные солнцем, стали по-взрослому суровыми, остро поблескивали за столом ждущие еще что-то глаза — серые, черные, голубые, зеленые.

— Тяжкое время, ребята, переживаем. Такое тяжкое... По всему району хлеба гибнут от жары. Чего там гибнут — погибли уже. Только в этом колхозе еле-еле держатся. Почти все поля тут рожью засеяны, вот она-то и держится. Пшеница даже в трубку не успела выйти и посохла. А в других колхозах ржи почти нету. Поэтому надо нам спасать тут каждый колосок... Все до предела измотались, я вижу. Первого августа вас обещали всех отпустить. Да хочу я вас попросить остаться. Ребят — всех, а девочек — добровольно, кто еще может...

То ли Кружилину показалось, то ли это произошло на самом деле — над столом пронесся невнятный шелест и стих. Все сидели так же неподвижно, так же поблескивали разноцветные глаза парнишек и девчонок. Руки у всех были огрубелые, усталые, и у Кружилина до боли сжалось сердце.

Застучали колеса, мимо стола протащилась водовозка. Андрейка, откинувшись всем телом, натянул вожжи, будто осаживая горячего рысака.

— Теть Тоня-я! — прокричал он громко, хотя повариха стояла у стола.— Водички свеженькой тебе привез.

— Ладно,— кивнула та.— Поставь телегу за стряпкой.

Андрейка хлестнул несколько раз вожжами, прежде чем лошаденка тронулась. Опять глухо проскрипели колеса, и снова стало тихо.

— А кто из девчонок не сможет? — вдруг подала голос Лидка.— Все смогут. Разве вот Ганка...

— Заткнись ты... Понятно? — по-бабьи резко и визгливо крикнула Ганка, вскакивая.

И Лидка торопливо поднялась. Казалось, они бросятся друг на друга, сцепятся и покатятся по земле. Кружилин шевельнул бровями, хотел что-то сказать, но Володька опередил его:

— Остыньте вы! Обеи. Сесть на место!

Повинуясь его голосу, не по-мальчишески властному, обе девчонки немедленно сели.

— Дети ровно. А вы уж не дети,— помягче проворчал Владимир и повернулся к Кружилину: — Ну, хорьки прямо. Измаялся я с ними.

Сам четырнадцатилетний мальчишка, он говорил это с давно привычной будто ему взрослой рассудительностью, с интонациями крестьянина, которому издавна известно, почем фунт лиха.

— Я знаю, ребята, что все смогут,— сказал негромко секретарь райкома.— Сейчас ведь повсюду фронт — и там, и здесь. И вы все это понимаете. И вы достойны своих отцов и братьев, которые бьют фашистов. Достойны, как Володя вот достоин своего отца и как Дмитрий Савельев своего брата. Зря он убежал, я же такую весть ему о брате привез... Вот.

Говоря это, Кружилин отстегнул карман гимнастерки, вытащил помятый конверт. Владимир стоял возле Кружилина, смотрел почему-то на него хмуро и недоверчиво и время от времени быстро облизывал сохнущие губы. Ганка, вытянув шею, внимательно следила за руками Кружилина, вынимающего из зеленого конверта листок, в больших глазах ее переливалось черное пламя. Она резко мотнула головой, поглядела на угол риги, за которой скрылся несколько минут назад Димка, и опять уставилась на Кружилина.

— Я получил сегодня письмо от одного моего товарища с фронта. И он вложил в письмо вырезку из фронтовой газеты.— Кружилин показал небольшой газетный клочок, на котором виднелись две неясные фотографии.— Здесь описывается подвиг героев-танкистов — Володиного вот отца и брата Димы Савельева Семена. И вот фотографии их напечатаны. Они, Володин отец и брат Дмитрия, на одном танке воюют. И в тяжелом бою уничтожили одиннадцать фашистских танков!

За столом прошел гул, все зашевелились.

— За это их, пишет мой товарищ, представили к высоким правительственным наградам.

Володька, еще раз облизнув губы, шагнул к секретарю райкома:

— Дайте...

Он взял, почти вырвал из его рук газетную вырезку, отвернулся, склонился над ней. Гул за столом как-то сразу перешел в галдеж и визг, ребятишки и девчонки, забыв про усталость, бросились к Володьке, окружили его беспорядочной толпой. Последней бросилась Ганка. Она почему-то сперва все сидела и сидела, как окаменевшая, не замечая даже, что ее толкают, потом метнулась к толпе, ударила кого-то кулаком по спине:

— Мне дайте... покажите! Покажите!

Голос ее был как нож, он рассек шум и крики, заставлял почему-то всех беспрекословно посторониться — даже Лидка, взглянув на нее, шагнула в сторону. Оказавшись перед Владимиром, Ганка молча протянула руку.

— Ага...— сказал тот, ошалелый и отрешенный от мира сего, отдал ей листок.— «Подвиг сибиряков-гвардейцев...» Так и пропечатано. И портреты...

Ганка, не чувствуя, что вокруг толпятся и толкают ее, заглядывают через плечи, не слыша галдежа, при свете угасающего дня прочитала сперва подписи под фотографиями, потом заголовок и заметку.

— Господи... Где? Поликарп! Мне Панкрат сказал...— прокричала мать Семена, подбегая.

При первых звуках ее голоса Владимир торопливо выдернул из Ганкиных рук газетный клочок и зажал в кулаке. А Ганка резко повернулась, выскользнула из толпы и побежала прочь.

— Где? Дайте же мне! — простонала мать Семена.

— Володя, дай Анне Михайловне,— сказал Кружилин.— Тихо, ребята!

Галдеж умолк, девчонки и мальчишки, опомнившись наконец, расступились от Володьки.

— Ты слышишь? Отдай заметку Анне Михайловне,— повторил Кружилин.

— Да у меня нет...

— Как нет?

— Взял кто-то.

— Ребята, кто взял газетную вырезку?

Мальчишки и девчонки, начавшие было расходиться кто куда, остановились. Все молчали.

— Господи, да что же это такое?! — испуганно проговорила Анна.

— А может, Ганка унесла? — произнесла Лидка.

— Ну так найдите ее! — потребовала Анна.— Лидушка, ты найди, а?

— Ладно.

Из-за стряпки стрелой вылетел Андрейка с кнутом в руках.

— Мам, чего это?! — прокричал он, сверкая глазенками.— Какое письмо? Какая газета? От Семки, говорят...

Анна обеими руками прижала лохматую голову младшего сына к груди и с обидой вымолвила:

— Чего ж ты стоишь, Лидушка?

А Володька между тем повернулся и пошел в ригу. На привычном месте нащупал в полутьме фонарь, зажег его, повесил. Затем вышел в противоположные ворота и зашагал сквозь редкий перелесок в открывающуюся за ним степь, к хлебным полосам, которые они сегодня очищали от сорняков.

На фоне потухающего заката одинокая фигурка его была видна долго. И пока была видна, за нею следила бригадная повариха. Она, прибирая после ужина со стола, все время поглядывала на Володьку, с того самого мгновения, когда он взял из рук Кружилина газетный клочок, видела, как подбежала к нему Ганка, а потом появилась Анна Михайловна. Затем Антонина проводила взглядом Володьку в ригу. Взяв ведро с помоями, она пошла выплеснуть их в овражек и тут заметила, как он показался из противоположных ворот риги и, оглянувшись на бригадный стан, зашагал сквозь перелесок в поле...

* * *

Ганка, выскочив за ригу, остановилась. Бледно-желтым окоемом были подчеркнуты острые, изломанные горные вершины, небо над Звенигорой еще светлело, и казалось, что сразу же за каменными зубцами еще полыхает светлый день, который, возможно, никогда и не кончится. «Димка-а! Письмо же про Семена!» — хотелось закричать ей, он не успел далеко уйти. Но если закричать, услышат в бригаде, услышит и противная и ядовитая, как змея, Лидка, а ей не хотелось этого. И потом — он вряд ли откликнется.

Несколько мгновений она постояла в растерянности, глядя на убегавшую в перелесок затравеневшую дорогу, которая в полутора километрах отсюда раздваивалась. Левый рукав вел в какую-то деревню Михайловку, где Ганка никогда не была и где жил их полольный бригадир Савельев, а правый выходил на полевой шлях, не очень широкий, но укатанный за лето до крепости железа, по которому их и привезли из Шантары на прополку в эту колхозную бригаду. Если пересечь этот шлях, то километрах в трех будет речка Громотуха. Огибая Звенигору, она тоже течет в сторону Шантары.

Как раз у развилки затравеневшего проселка росла старая сосна, толстая и корявая, возле которой почему-то любил сидеть Димка в одиночестве. Раза два-три она случайно натыкалась на него здесь, вздрагивала и, опустив голову, пробегала мимо. Но однажды все же приостановилась и, чувствуя, как заходится сердце, спросила:

— Чего ты... здесь?

— Тебе-то что? — откликнулся он холодно.

Ганка глотнула тогда подступившие от какой-то большой и непонятной ей обиды слезы, повернулась и побежала. Метрах в ста от сосны она упала на обочину дороги, в густую траву, и зарыдала.

Чуть успокоившись, она перевернулась на спину и, чувствуя, как от теплого воздуха сохнут слезы, долго смотрела в светлое вечернее небо. Она слышала, как сбоку, совсем рядом, прошагал по мягкой дороге Димка, возвращающийся в бригаду, но, зная, что он в высокой траве — травы тогда еще не выгорели — не заметит ее, даже не шелохнулась. Он прошел, а она встала. «Почему он любит это место?» — подумала она. И побрела к сосне.

Подойдя к дереву, она села на то же самое место, где только что сидел Димка, огляделась. Но ничего такого особенного не увидела, ничто ее не поразило.

Впереди, прямо перед ней, торчали в беспорядке черные зубья Звенигоры, слева каменные громады почти отвесно обрывались вниз, в блестевшие воды Громотухи, а справа переходили в холмистый увал, на который и поднимался тот шлях, ведущий в Шантару. Лишь немножко она удивилась тому, что отсюда, с этой точки, был виден кусочек Громотухи, узкой ленточкой огибавшей утес, посидела еще, поднялась...

Ганка была уверена, что Димка и сейчас пошел к этой сосне.

Он действительно сидел там, прислонившись спиной к сухому, в глубоких трещинах, стволу, и смотрел не мигая вперед.

— Димка! Дим,— выдохнула, подбегая, она.— Письмо... Семен ваш! Семен!

Димка вскочил, сделал куда-то вперед два-три шага и остановился, почувствовав, как занемело все внутри.

— Что?! Что-о?! — громом взорвался у него в ушах собственный голос, хотя на самом деле он прошептал это еле слышно, губы его едва пошевелились.

Голос его был еле слышен, но Ганка расслышала. Глядя в его помертвелые глаза, она на секунду потерялась, а затем шагнула к нему, схватила за плечи и яростно затрясла, закричала:

— Ты что подумал?! Не похоронная же! Наоборот... он живой! Его орденом наградили... Ты слышишь, слышишь?!

И, ткнувшись ему в грудь лицом, зарыдала.

Димка, еще одеревенелый и бесчувственный, стоял столбом, внутри у него что-то плавилось и, охлаждая внутренний жар, растекалось по всему телу.

— Я дура, дура...— шептала она сквозь обильные слезы.

— Ага, дура проклятая,— сказал и Димка, погладил ее неумело по волосам, по вздрагивающему теплому плечу.

— И что отхлестала тебя весной... этой дурацкой сиренью.

— Нет, это правильно...

Они были уже взрослыми — ей шестнадцать лет, а ему пятнадцать,— и оба чувствовали это. Но теперь, в эту минуту, они не стеснялись друг друга, девушка беззащитно и доверчиво прижималась к нему, и он, благодарный ей за это, все поглаживал ее по плечам. Потом пальцы коснулись ее щеки. Ганка тотчас схватила его ладонь, сильно сжала, оторвала лицо от его груди, запрокинула голову и распухшими губами прошептала:

— Димушка! Дим... Ты слышишь?

— Ну да... я слышу.

— А Колька Инютин мне так... ну просто так... Зачем он мне?

Она проговорила это и обернулась на шум чьих-то торопливых шагов, не выпуская Димкиной руки, увидела подбегавшую Лидку. Но и теперь его руки не отпускала, ждала, когда Лидка приблизится.

— Я издалека... ваши голоса услыхала. Ой, да тут еще кто-то!

И только теперь Димка с Ганкой почувствовали, что рядом действительно еще кто-то есть, быстро обернулись. Посреди дороги, в вечерней, еще не густой и далеко просматриваемой мгле, стоял, опершись на палку, Николай Инютин, стоял, как унылая птица, опустив плечи.

Димка, высвободив свою руку, шагнул к сосне и сел на прежнее место. Ганка качнулась и пошла к Николаю.

— Ты как здесь? Ты ж все в военкомате?

— Надо было, значит, пришел,— сказал хрипло Николай, отбросил палку, повернулся и пошел прочь, в сторону шляха.

— Коля? Коля! — одновременно воскликнули Ганка и Лидка, обе кинулись за ним.

Тот резко обернулся, девчонки будто наткнулись на стенку.

— Убирайтесь, вы! — выдавил он свирепо сквозь зубы, сжал кулаки. Глаза его по-звериному блестели во мраке. Казалось, Николай сейчас шагнет к ним и примется молотить обеих этими кулаками.

Но он не шагнул и ничего больше не сказал. Он повернулся и медленно пошел, быстро стал пропадать, проваливаться в густеющих сумерках.

— Бригадирша сказала, чтоб ты отдала ей эту статью,— выдавила Лидка, не спуская глаз с удаляющегося Инютина.

— Какую статью? — не поняла Ганка.

— Про сына ее.
— Да я не брала...
— Ты отдай,— проговорила еще раз Лидка кажется, не слыша ее слов.— Николай, Коля! Ко-оль!
И она, не взглянув даже на Ганку, побежала догонять Николая, который был еще чуть виден во мгле.

* * *

Дмитрий, сидевший возле сосны, даже не пошевелился, когда Ганка вернулась к нему. Она подошла медленно, остановилась, растерянная и смущенная, не зная, что сказать. Постояла, опустилась на пожухлую траву под деревом, поджала под себя ноги.
Темнота вокруг сомкнулась почти наглухо, а над Звенигорой небо все еще было освещено, темные каменные хребты, вздымаясь, безжалостно отгораживали, казалось, весь остальной мир, наполненный светом и жизнью. Изломанная линия горных вершин все еще была обведена желтой каемкой, но теперь более узкой и блеклой.
— Дим...— выдохнула еле слышно девушка.
Она ткнулась лбом ему в колени, но не заплакала, только плечи ее затряслись.
— Ну, чего ты?
— Я? Нет, это ты чего? Дима, Дима!..— Она вскинула голову, слез в ее глазах, кажется, тоже не было, она порывисто дышала, будто ей не хватало воздуха. А может, слез Димка не заметил. И еще дважды, раз за разом, она произнесла: — Это ты чего? Это ты чего?!
— Я... ничего,— ответил и он тем же простым словом, вздохнул глубоко и тяжко, как взрослый человек, обремененный нелегкими делами и заботами.— Я, Гань, все думаю...
— Об чем? Я это... вижу. Только понять не могу — об чем.
— Я... я не знаю. Просто так.
— Просто так не бывает,— возразила она.
— Бывает... Вон темная гора небо загораживает, видишь?
— Ну?
— А ты приглядись. Будто кто черную дырку выпилил в небе-то... Как в желтом фанерном листе. Или в амбарной стене. Только пила была тупая и виляла.
Ганка перестала дышать. И вдруг воскликнула:
— Ой! — и мгновенно подвинулась к Димке.— И правда!..
— Конечно, правда,— сказал Димка негромко и почему-то печально.— А что там, за краем неба? Если идти и идти сквозь эту дырку?
— Н-нет,— через силу сбрасывая наваждение, произнесла Ганка,— у неба нету края. И у земли.
— Да я не знаю, что ли? — проговорил он.— А все равно это как яма бездонная. Без конца и без края... И туда ушел Колька. Потом Лидка.
— Ты что говоришь? — Она схватила его за плечи.— Очнись! Ты... ненормальный.
Димка осторожно снял с плеча ее руку, положил пальцы в свою ладонь, а другой рукой погладил их.
— Гань... Тебе и правда Колька... просто так?
Она лишь выдернула молча свои пальцы из его ладоней.
— А он хороший, Колька... Добрый,— помедлив, произнес Димка.
— Пойдем, Дима... Поздно уже.
Она поднялась, отряхнула платье. Но он как сидел, так и продолжал сидеть, не шелохнувшись. Потом пошевелился, но и тут не встал, а опустил голову и стал смотреть в землю между колен.
— Наши уже спать легли. Володька, наверно, хватился нас.
— Ты как думаешь, Гань, люди всегда были такими маленькими?
Этот странный вопрос снова поверг ее в изумление.
— Ты и в самом деле ненормальный! Ну, великаны были... в сказках. Или вот... По истории мы проходили древнегреческие мифы...

— Мифы... А может, это все правда?
— Да ты что?
— А тогда откуда же он взялся?
— Кто?
— Он,— еще раз повторил Димка, приподнял голову, поглядел куда-то вперед, где в небе была вырезана черная дыра. Ганка тоже повернула голову, но видела теперь не дыру в небе, а обыкновенные горные вершины, над которыми проглядывали уже первые звездочки.
— Я люблю, когда звезд много,— вымолвил Димка негромко.— А он смотрит, смотрит на них... Глядит тоскливо. Будто высмотреть чего хочет... Или ждет кого-то.
— Да кто он-то? — взмолилась девушка. И в голосе ее было теперь не удивление, в нем прозвучала откровенная тревога.
Димка это уловил, грустно усмехнулся.
— Я не спятил, не бойся. А ты приглядись. Вон нос его торчит, губы... подбородок. А волосы он будто в Громотухе мочит... Его увидишь, когда только приглядишься.
Ганка опять повернулась лицом к Звенигоре. Повернулась — и сердце ее сразу пронзило холодком, в груди что-то дрогнуло, в ушах поплыл, долетая из неведомых далей, а может, пробившийся вдруг из-под земли переливчатый звон: очертания каменных вершин Звенигоры действительно напоминали огромное, невообразимых размеров человеческое лицо, опрокинутое к небу. Не очень крутой, но и не плоский лоб, переносица, нос... Губы были сложены скорбно, в какой-то вековечной и безмолвной муке. Крайняя слева скала — подбородок — обрывалась вниз тоже не отвесно, а с изгибом и переходила в шею. Еще левее, там, где, соответственно размерам опрокинутой на землю каменной фигуры должна была быть грудь, чернели почти уже неразличимые во мраке верхушки деревьев.
Увидев все это, Ганка с минуту стояла безмолвная. И Димка молчал. Он, все еще сидя под сосной, глядел то на нее, то на гигантское каменное лицо, смотрящее в ночное небо. Затем поднялся. Девушка качнулась к нему, прижалась. Тело ее подрагивало.
— Страшно. Прямо жутко,— прошептала она.
— Это без привычки,— успокоил он ее.— А так — просто грустно.
— А чего он... ждет?
— Не знаю. Может, того, кто встать ему поможет. Развяжет его.
— Разве... разве он привязанный?
— А как же,— вздохнул Димка.— Там, где шея, дорога через увал проходит. Как ремень. И дальше, где его грудь... Он давно тут лежит, может, сто тысяч, может, сто миллионов лет. И грудь вон лесом заросла. А через тот лес, я знаю, тоже дорога есть. В Казаниху ведет. Тоже как ремень. И через ноги его, наверно, через руки... Он крепко привязанный к земле.
Они постояли молча. Желтая полоска, окаймляющая горные вершины, совсем растаяла, потухла, и каменное человеческое лицо, опрокинутое к небу, стало еще таинственнее.
Девушка потихоньку отстранилась от Димки и пошла. Он двинулся за ней неслышно, и, когда догнал, она остановилась и сказала:
— Димка! Ведь я тебя совсем не знаю... оказывается!
Он, заложив руки в карманы стареньких штанов, голой пяткой будто вдавливал что-то в землю.
— Оно все оказывается... Я думал, что не люблю Семку, старшего брата.
— Что ты?! — протестующе воскликнула Ганка.— Он хороший.
— Ну да... Только мы жили до войны этой... Он — по себе, и я — по себе. Отец его не любил, и я... Ну, как-то так, брат и брат, а больше ничего. А сегодня ты крикнула: «Письмо!» И я... Это непонятное. Я думал, похоронная...
Он говорил сбивчиво, почему-то волнуясь.
— От него, что ли, письмо?
— Нет... Дядя Поликарп Кружилин получил от кого-то. А в письме про Семена. И газетная статья — как Семен и дядя Иван, Володин отец, одиннадцать танков подбили.
— Сколько?!

— Одиннадцать. И фотографии их в газете нарисованы.

Димка стоял теперь вполоборота к девушке и смотрел в сторону Звенигоры. От сосны они ушли недалеко, может быть, всего метров двести, но очертания каменных вершин человеческого лица теперь не напоминали даже и отдаленно, в темно-фиолетовом небе просто торчали беспорядочные черные зубья.

— Он... он исчез,— прошептала удивленная Ганка.

— Ну да. Его видно только с того места,— ответил Димка.

* * *

А Лида догнала Николая Инютина, когда он затравеневшим проселком выходил на укатанную дорогу, ведущую в Шантару, заскочила вперед, стала перед ним.

— Николай! Коля...

— Уйди.— Он отодвинул ее сильной рукой, зашагал дальше.

Ни слова больше не говоря, она пошла рядом.

Минуты через три Инютин, не останавливаясь, сердито спросил:

— Чего тебе? Чего привязалась?

— Просто... провожаю тебя.

— Ну и провожай.

Однако еще через минуту остановился, поглядел на девушку. Глаза ее в ночном сгущающемся мраке поблескивали виновато и одновременно умоляюще. Николай, поглядев в эти глаза, шагнул на обочину, сел на землю и опустил голову. Она стояла перед ним.

— Ты... ты к ней приходил, к Ганке? — спросила она напрямик.

— К ней! Понятно тебе?! Проститься.

— Почему проститься?

— Потому! На фронт ухожу послезавтра... Добровольцем берут. Понятно?

— Ага...— произнесла она тихо и взволнованно.

Николай поднялся. Они стояли друг перед другом. Колька тощий и длинный, как жердь, с длинными руками. Она была ростом почти с него, но, плотная, широкая в бедрах, крупногрудая, казалась ниже.

— А ты со мной простись,— проговорила она, и в глазах ее сверкнули отблески звезд.

— А чего ты мне? — безжалостно спросил он.

Она быстро-быстро задышала, потом, уронив лицо в ладони и отвернувшись, заскулила тихо и обиженно, как побитый щенок.

Николай растерянно потоптался, злость его сразу прошла.

— Все вы мокрые курицы. Не надо.— Он тронул ее за плечо.

Она дернула этим плечом и побежала назад.

Николай стоял на обочине дороги, по-прежнему растерянный. Стоял долго, пока не затих глухой стук ее ботинок по дороге. Затем медленно побрел в сторону Шантары.

* * *

А Владимир Савельев, все еще сжимая в потном кулаке газетную вырезку, присланную в письме Кружилину, лежал во ржи, которую они сегодня очистили от сорняков, и молча глядел на высыпающие в небе звезды.

Здесь его и нашла бригадная повариха.

Она подошла тихо, неслышно, как большая и сильная кошка. Увидев ее, он быстро приподнялся и, не вставая на ноги, отодвинулся в сторону, будто хотел забиться в глубь хлебов.

— Это я ж, Володя. Не узнал, что ли? — тихо, почти шепотом, проговорила она.

— Узнал. Чего приперлась?

Она присела рядом. Он отодвинулся еще подальше.

Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина и темень. Земля была на ощупь еще теплой, как недавно протопленная печка, дневной жар в воздухе еще не потух, не рассосался в темноте. Несмотря на полнейшее безветрие, время от време-

ни уныло шелестели зеленые пока колосья, словно жаловались кому-то на беспощадное знойное лето, в которое они родились, проклюнулись из земли и выросли, да неизвестно вот еще, сумеют ли в такой испепеляющей жаре налить зерна, ради которых люди переносят такие муки.

— Это ты взял газетную статью-то? — спросила вдруг Антонина.— Я видела...

— Ну и что? Там про моего отца.

— Там еще про сына теть Анны. Дай сюда.

— Не дам,— упрямо повторил он.

— Володенька... Он сын ей. Дай, а то потеряешь. Тогда тетя Анна прямо совсем обезумеет.

Слово «обезумеет» подействовало на мальчишку, он, протянув кулак, разжал его. Антонина взяла влажный газетный комочек, расправила осторожно на коленке, аккуратно свернула, поднялась и положила в кармашек фартука.

— Глупенький ты, Володя,— сказала она.— Разве так можно — схватить это и унести? Ну, а если бы уронил где?

— Да это... конечно,— согласился он и тоже встал.

— Глупенький...— Она вдруг обеими руками взяла его за голову и притянула к себе.

— Не лезь! Не трожь! — Он уперся руками в ее мягкие груди, но тут же отдернул их, как обжегся, а она еще сильнее притиснула к себе его голову.

— И маленький. Совсем-совсем еще маленький...

Антонина всхлипнула вдруг. А он, испуганный и ошеломленный теплом ее тела, глухим и частым стуком ее сердца, перестал сопротивляться и затих. Он покорился ее сильным рукам.

Они стояли так во ржи долго. Ей шел двадцать первый год, а ему недавно исполнилось всего четырнадцать. Он был ей всего по грудь. Она гладила и гладила сухой и горячей ладонью его лохматую голову, говорила торопясь, сдавленно:

— Вон как... оброс ты весь. Остричь надо лохмы-то. У меня ножницы есть, ты приходи...

— Ладно, теть Тоня,— произнес он.

— Да не зови ты меня так! — с болью простонала она.

— Как? А как... тебя звать?! — непонимающе спросил он.

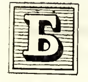
— Господи! Ты подрасти скорее... Слышишь? Слышишь?!

Ее возглас разнесся по пустынному хлебному полю и затих, потонул в темноте.

Катилась над землей ночь, укрывала стоящих во ржи двух людей — взрослую женщину и мальчишку, который в эти суровые времена считался уже мужчиной. Укрывала все человеческие радости и беды, большие и малые. Но радостей у людей было не много, хотя они вечно надеялись на них, и потому, наверное, так уныло и тоскливо смотрел в небо тот каменный исполин, которого обнаружил Димка на месте Звенигоры...

Часть пятая

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТЬЕ



Бывшему следователю Томской городской жандармерии Арнольду Михайловичу Лахновскому шел уже семидесятый год. У него совершенно побелела голова, но ни один волос с нее покуда не упал. Тело его усохло, но было еще крепким. Он ходил с палкой, но шаг его, несмотря на сгорбленную по-стариковски спину, был тверд и уверен. Лицо с бородкой под Троцкого всегда тщательно выбрито, никаких старческих морщин! Лишь глубокие складки на лбу и у крыльев носа да холодные, давно потухшие глаза говорили, что прожил этот человек на земле достаточно. В маленьких, глубоко сидевших глазах никогда ничего

не выражалось — ни гнева, ни одобрения, ни даже простого любопытства. И поэтому каждый, на ком останавливались глаза бывшего бургомистра Жереховского уезда, цепенел от животного страха. Особенно если знал, что этот низкорослый человек, всегда одетый в сюртук дореволюционного покроя, имеет чин штандартенфюрера, то есть полковника общих войск СС, а его палка, раскрашенная под дерево, в действительности остро заточенный на конце стальной прут. В тонких, жилистых руках этого старика трудно было предположить наличие какой-либо силы, но он своим страшным прутом, бывало, раскраивал череп собеседнику или протыкал его, как шпагой, насквозь. И ни один мускул при том на его лице не вздрагивал, ни одна складка на лбу не двигалась. Он стоял и мертвыми глазами смотрел на жертву, которая от его чудовищного удара или укола, подержавшись какие-то мгновения еще на ногах, обрушивалась на пол. И только тогда у Лахновского чуть брезгливо опускались уголки тугих, резиновых губ.

Перед концом гражданской войны в Сибири, видя и понимая, что контрреволюция разгромлена, он уехал в Москву, где сразу же включился в работу троцкистских группировок. В 1922 году Лахновский был направлен в город Шахты, в Донбасс, где был устроен на работу рядовым следователем Шахтинской районной прокуратуры. И, пожалуй, ни один буржуазный специалист не принимался в тот год на работу без его ведома и участия. Он, Лахновский, стоял у самых истоков создания там крупной вредительской организации.

Где-то в середине 1923 года Лахновский попал в поле зрения местных чекистов. Почуяв, как травленый волк чует капкан, опасность, Лахновский немедленно убрался из Донбасса, снова объявился в Москве и под фамилией Коновалова Ефима Игнатьевича стал работать в аппарате Троцкого. Одновременно он связался с савинковской террористической организацией, вербовал в нее новых членов, обеспечивал безопасность перехода границы савинковских курьеров, провожал и встречал их на советской территории, потом был одним из тех, кто разрабатывал безопасность предстоящего перехода границы и самим Савинковым.

В 1924 году, после провала савинковской авантюры, Лахновский, остерегаясь ареста, уехал снова в Сибирь, намереваясь переждать лихое время у своей старой любовницы — вдовы бывшего члена Томского городского комитета РСДРП, потом провокатора, потом следователя белочешской контрразведки в Новониколаевске, неизвестно почему кончившего с собой выстрелом в висок Сергея Сергеевича Свиридова. Но жена Свиридова после самоубийства мужа вдруг воспылала к Лахновскому запоздалой ненавистью, ее жгло непонятное Арнольду Михайловичу раскаяние за супружескую неверность, встретила она бывшего любовника холодным и раздраженным взглядом, что не понравилось ее дочери Полине, которая когда-то, будучи костлявой девчонкой, любила забираться к нему на колени. Лахновский щекотал ее в бочок, в живот, и маленькая Полина заливалась от хохота. С июня двадцать четвертого года ей пошел девятнадцатый год, она хорошо помнила Лахновского и, услышав недвусмысленный намек матери («Все, что, к сожалению, было, никогда... слышите, никогда я себе не прощу!»), резко обернулась к ней, прочертив острым носом воздух:

— Конечно, он не будет у нас жить. Это к тому же опасно. Надо подыскать в городе какое-то незаметное жилье, я попробую. А сейчас садитесь чай пить.

Полина в тот же день сняла на свое имя комнату с отдельным входом в тихой и сонной части города, перевезла туда свои коробки с платьями.

— Для маскировки,— объяснила она.— А вас пускай считают, если увидят, моим любовником или мужем.

— Зачем же считать? Давайте я на самом деле им буду,— произнес Лахновский, когда она привела его вечером в эту квартиру.

— Ну давайте,— просто сказала она, без всяких эмоций, сняла шляпку, и ее густые соломенные волосы упали на плечи, обсыпали их.

Отдалась она ему тоже без всякого волнения, равнодушно — лежала и внимательно глядела в потолок, будто самым важным для нее в этот момент было сосчитать на потолке трещины.

— Ты как бревно,— недовольно проговорил Лахновский.— Бревно тешут, а оно лежит себе неподвижно.

— Тогда иди к матери,— усмехнулась она.

— Ты не девушка. Замужем, что ли, была?

— Бываю. Я не могу без мужчины.

Лахновский прожил там с месяц, выходя из комнаты лишь ночью подышать воздухом.

— А что, Арнольдик, конец, значит, настоящей человечьей жизни в России пришел? — спросила однажды за чаем Полина Свиридова.— Отец мой пулю в висок себе пустил. Трус малодушный! Ты вот тоже... под бабью юбку спрятался, выглядываешь оттуда, как мышь из норы. Окончательно вас... нас под свой сапог эти голозадники?

— Видишь ли,— произнес Лахновский, опустил голову, тогда еще не белую, только с проблесками седины,— я человек маленький, Полина. Но я думаю... Коммунисты сами говорят: революцию совершить трудно, но еще труднее защитить революционные завоевания. Да, это правильно, это мудро... Но хватит ли у них сил защитить завоевания ихней революции?

Лахновский помолчал, достал папиросу, закурил. Полина складывала в эмалированный тазик с теплой водой тарелки и чайные чашки. Взяла полотенце и, вынимая из тазика посуду, начала ее протирать. При каждом движении шелковый домашний халат на ее плечах туго натягивался.

— Да, хватит ли, спрашивается? — опять заговорил Лахновский.— Вот ты, Полина, представь себе... Россия одна в окружении цивилизованного мира с его высокоразвитой промышленностью, культурой, наукой. А что за душой у этих, как ты их назвала, голозадников? Одна идея, одни лозунги — свобода, равенство, братство... Свобода от чего? От капитала, от эксплуатации, как они говорят. Но чтобы жрать, надо заработать на жратву! Они что, хотят отвыкнуть жрать, что ли? Существует издавна такая байка: один цыган попробовал было отучить лошадь от корма, но что из этого получилось — известно. Лошадь сдохла... А братство и равенство с кем? С лучшими, образованнейшими людьми России? Умом, деятельностью, капиталом которых держалась и стояла великая русская империя? Так этого не получилось и не могло получиться. Частью такие люди, к сожалению, уничтожены ихней революцией, частью эмигрировали за границу. И капиталы туда переведены. Что ж осталось в России? В бывшей России? Толпы этих голодных голозадников... Но им даже работать негде, пахать землю нечем. Большинство фабрик и заводов до сих пор в развалинах, многие железные дороги бездействуют — взорваны, искорежены железнодорожные пути и мосты, проржавевшие паровозы все еще валяются под откосами... Не-ет, мы еще поборемся! И возродим Россию. Был стихийный взрыв человеческого... Нет, людьми их можно назвать очень условно! Был стихийный взрыв биологического, что ли, бешенства, перед которым мы не устояли. Дикие, темные силы, вырвавшись наружу, забушевали, удержать их было невозможно, как невозможно заткнуть вулкан или утихомирить шторм в океане. Но силы эти иссякли. После кровавого пира наступает тяжелое похмелье. И есть люди, есть силы, которые загонят этих сорвавшихся с привязи скотов в их прежние стойла!

По мере того как Лахновский философствовал, красивые ярко-коричневые глаза Полины все расширялись, расширялись. Она перестала моргать, она глядела на Лахновского так, будто увидела вдруг ореол над его головой. А может быть, ей и почудился в самом деле такой ореол. В груди ее образовалась от восторга и благоговения какая-то пустота. Она, бросив тарелки, торопливо вытерла мокрые руки, качнулась к Лахновскому, упала перед ним на колени.

— Арнольдик! Ты не маленький человек, ты велик! — задыхаясь, воскликнула она, схватила горячими от воды руками его пальцы, начала их целовать.— Боже, какой ты человек! Что я еще могу для тебя?! Что могу?

Лахновский поморщился от этого неуместного и пошлого эмоционального взрыва, тихонько отстранил ее и встал.

— Вот так, Полина. Отец твой действительно был трус, ничтожество. Его жена, а твоя мать... открыто была моей любовницей, а он даже не имел смелости и вида подать, что знает...

— Она недостойна тебя, Арнольдик! — с жаром воскликнула Полина.— Она стара, как заезженная кобыла!

Даже он, циник Лахновский (каковым он в душе сознавал себя и считал это вовсе не пороком, а профессиональным достоинством), при этих словах удивленно поглядел на молодую женщину и брезгливо скривил губы. Он хотел возразить,

что мать ее не всегда была старой и заезженной кобылой, но вместо этого, расхаживая по комнате, заговорил:

— Мир в конечном счете прост. Есть властелины, есть рабы. Властелинов не много, рабов — тучи. Так было всегда — при фараонах, султанах, царях. Так будет и впредь. Так богом установлено. И какие бы время от времени катаклизмы в обществе ни происходили, все вернется на извечный свой круг. И наша борьба поэтому, в том числе и мои скромные усилия, исторически закономерна и справедлива.

Произнеся это, Лахновский остановился, сам удивляясь своим словам. Вон до каких философских глубин он дошел! И, веря в истинность и правоту своих рассуждений, ощутив вдруг потребность в таких рассуждениях, продолжал, вышагивая по комнатушке:

— А закономерность и есть закономерность. Она наступает неотвратимо... Сколько было в тысячелетней истории России всяческих так называемых народных восстаний и бунтов? Ну, скажем, как его? Болотников, Разин, Пугачев... Или девятьсот пятый год?! А чем кончилось? Зачинщиков в конце концов сажали в клетки, принародно отрубали головы, вешали, расстреливали. И жизнь входила в извечную колею... А на Западе, там, за границей, сколько было революций, которые вроде бы побеждали?! Но сейчас какова картина? Все осталось по-прежнему. И революцию семнадцатого года ждет такой же конец. Не сумеют они ее защитить, потому что нечем. Эта толпа, следуя беспрерывным призывам Ленина, хочет построить какое-то новое государство. Не удастся, не сумеют они его построить. Управлять всяким государством могут только высокообразованнейшие люди. Ну что ж, в конце концов такие люди и окажутся на всех главных, ключевых постах... пусть даже вновь созданного государства. Но это будут наши люди. Сейчас, после смерти их главаря, этого Ленина, такая благоприятная возможность открывается. И есть в России человек, настоящий лидер и вождь, высокоэрудированный, закаленный в политических битвах, человек благороднейших мыслей и смелых действий...

— Кто? Кто?! — воскликнула Полина Свиридова, съедая преданными глазами Лахновского.

«Троцкий Лев Давыдович»,— хотел было сказать Лахновский, но не сказал, удержался. «Зачем ей это знать?» — подумал он.

— И вот если этот человек станет во главе этого вновь созданного государства и, естественно, расставит повсюду своих людей, верных своих помощников, что ж тогда?

Полина моргала глазами, зрачки ее горели, щеки вздулись от внутреннего жара.

— Ты, ты будешь тогда... тайным советником, министром! — прошептала она. И неожиданно глаза ее переполнились слезами.— И ты меня оставишь, забудешь...

— Ах, боже мой!— Лахновский скривился, как от зубной боли.— Я о серьезнейших вещах, а она... Я спрашиваю: что ж тогда?

— Не знаю,— мотнула Полина космами соломенных волос.— Милый!

— Тогда под звон тех же лозунгов и призывов... под вой ультрареволюционной фразы... все так называемые завоевания семнадцатого года будут потихоньку похоронены! Россия незаметно станет на буржуазно-демократические рельсы. Ну, а там надо будет поглядеть, что с этой демократией делать.

Лахновский примолк, глянул на Полину, на ее вырывающуюся из одежды грудь, усмехнулся.

Полина ничего не поняла, приоткрыв рот, глядела на Лахновского «Скажи ей сейчас: зарежься... или зарежь кого-нибудь, хотя бы мать родную,— ведь все сделает. В ней можно слепой фанатизм разжечь до предела»,— отметил Лахновский.

— Но это, так сказать, один путь борьбы с революцией семнадцатого года,— вслух произнес он.— Парламентский, что ли.

— А... другой?— все так же дыша тяжело и жарко, спросила Свиридова.

— Другой более примитивный, хотя, может быть, более скорый. С помощью обыкновенной грубой силы.

— Где ж ее, силу, взять?

— Я ж говорил — Россия одна в окружении цивилизованных стран с их мощной индустрией, с могучими армиями. А в России что сейчас? Не выпускается ни одного танка, ни одного самолета или, скажем, артиллерийского орудия, военного корабля. Армия маломощна и беспомощна, кроме царских трехлинеек, у нее ничего нет. Большинство угольных шахт затоплено, электричества — кот наплакал... И мы будем мешать всеми силами, насколько у нас их хватит, мешать возрождению и строительству заводов, электростанций, шахт, созданию армии, будем дискредитировать, а где можно — истреблять ленинских фанатиков, преданных его идеям, будем...

— Зачем? — прохрипела вдруг Полина.

— Что зачем? — не понял Лахновский.

— Мешать... и истреблять. Это все равно так постепенно и долго! Проще ведь и быстрее, если другие страны сейчас пойдут на Россию войной. Раз она беспомощна.

Лахновский с недоумением оглядел свою добровольную, пришедшуюся так кстати наложницу.

— Видишь ли, девочка... Это все на словах так просто и быстро. Съесть спелое яблоко можно в две минуты. Но ты подумай, сколько надо труда и времени, чтобы посадить семечко... ухаживать за деревцем, вырастить его, выходить, уберечь от заморозков, болезней и прочих опасностей. Даже коза или заяц могут кору обгрызть или, когда уж зацветет, град оббить. Потом, когда яблоко зреет, надо следить, чтобы ребятишки еще зеленым его не сорвали...

— Боже, как я буду сегодня любить тебя! — в исступлении простонала Полина.

— Да, но с этим кончать скоро придется. Само собой это фруктовое дерево не вырастет и плод не созреет...

И вскоре Лахновский, оставив Полине значительную сумму денег, чтобы она могла на всякий случай сохранить за собой эту уютную и тихую квартиру, уехал в Москву, сказав на прощанье с улыбкой:

— А то куда мужчин водить будешь?

— Нет, нет! — с искренним раскаяньем воскликнула Полина, давясь слезами.— Я была гадкой... до встречи с тобой. Ты меня очистил, возродил! Буду ждать тебя, Арнольдик! Я еще молода... И всегда буду моложе тебя на целых тридцать лет. Разве этого мало для тебя?

— Не мало,— еще раз улыбнулся он.— Но я жизнь принимаю во всех ее диалектических сложностях и противоречиях... Я оставляю тебе деньги на квартиру, чтобы, если понадобится, я мог снова нырнуть сюда, как в нору, и переждать... До возможной встречи, детка.

Но с Полиной Свиридовой Лахновский, ныне штандартенфюрер, то есть полковник германских войск СС, больше никогда не встречался, только изредка переписывался.

Жизнь Арнольда Михайловича Лахновского в последующие два десятка лет была пестрой и беспокойной.

Прибыв в Москву, он опять начал работать в аппарате Троцкого, на должности, как ее называли, курьера-организатора. Официально он числился каким-то консультантом, на деле же постоянно, каждый раз получая документы на новую фамилию, разъезжал по стране, изучал положение в местных партийных, советских организациях, присматривался к кадрам. Выполняя специальную инструкцию самого Троцкого, действовал очень осторожно: удалось устроить в партийный комитет, в советский или профсоюзный орган, в газету или журнал идейно близкого человека, хотя бы одного,— и то хорошо. Деньги, сколько бы их ни затрачивалось на командировку, уже оправдывались. «Тем более что денежки государственные»,— ухмылялся про себя Лахновский.

«Мы разъедим партию изнутри, мы должны выполнить нашу роль раковой опухоли. Организм, пораженный раком, обречен на смерть»,— любил повторять, как говорили Лахновскому, Лев Давыдович Троцкий. Сам Лахновский никогда таких слов от него не слышал, да и видел редко, мельком. Но он был целиком и полностью согласен с этими словами, считал их мудрыми, видел в них целую программу борьбы с большевизмом, которая неминуемо должна была привести к победе. Пристально наблюдая за деятельностью самого Троцкого, он отчетливо видел, что тот, не скупясь на громкие слова и лозунги, делает все, что в его силах,

чтобы помешать «плану индустриализации» — тянет страну на путь сельскохозяйственного развития. «Масло вместо пушек — правильно! — с тихой радостью и гордостью за «государственный» ум Троцкого думал Лахновский.— Все великое в конце концов просто. От масла можно разжиреть, но революцию вашу вы им не защитите...»

В Москве Лахновский жил на Балчуге, в половине глухого старинного особняка, каждая комната которого походила на вокзал. Комнат, обставленных дряхлой старомодной мебелью, было три или четыре, а он один, такая квартира ему была не нужна, но ему дали на нее ордер. От поселился там, с удивлением обнаружив на другое утро, что по коридору, тоже похожему на вокзал, кто-то ходит. Он выглянул в коридор, увидел древнюю старуху с буклями, в засаленном халате.

— Вы... кто?— спросил он, изумленный.

— Человек. Вероятнее всего, бывший человек,— проскрипела старуха.— Это наш родовой особняк... все, что осталось от нашего состояния. Я живу в той половине, в комнате для прислуги. Я буду у вас уборщицей и кухаркой. В той половине тоже живет один партиец-холостяк. Белокопытов. Я готовила на одного, теперь буду на двоих. Деньги на питание оставляйте каждый месяц вот в этом ящике. Женщин можете сюда водить сколько угодно, только попросите их не визжать, я не выношу женского визга. По субботам я буду брать из ваших денег на бутылку водки. У Белокопытова я беру по вторникам. Завтрак на кухне.

И это странное существо удалилось куда-то по коридору. В дальнейшем оно редко попадалось на глаза, а если попадалось, то ничего не говорило. Старуха полагала, что она при первом знакомстве сказала и объяснила все, что нужно, и на обращения Лахновского молчала, как бревно, точно была глуха, нема и слепа.

Но в комнатах всегда было чисто, на кухне каждое утро и вечер стоял горячий чайник и какое-нибудь простенькое второе блюдо — котлеты, гуляш, каша. Первых блюд странная кухарка никогда не готовила.

Лахновский жил в Москве-то, собственно, мало, с жильцом-соседом тоже никогда не встречался. Но однажды вечером кто-то постучался к нему в дверь.

— Извините, это Белокопытов,— произнес голос за дверью.— Позвольте войти.

— Милости прошу.

Вошел не старый еще человек с лысиной и желтым лбом. Поставил на диванчик пузатый портфель. По выправке было видно, что это бывший военный. Он постриг немного Лахновского раскосыми, беспокойно шевелящимися глазами, потом щелкнул каблуками сапог.

— Честь имею... Бывший подпоручик Белокопытов. Здравствуйте, Арнольд Михалыч.

— Милости прошу,— еще раз сказал Лахновский.

Вслед за Белокопытовым неслышно вошел еще один человек — парень лет под тридцать, встал у дверей, как-то жалостливо опустив одно плечо ниже другого. Глаза у него были голубыми, как майское небо после первого дождя, какими-то очень добрыми и доверчивыми. Только складки возле губ, резкие и жесткие, заставляли усомниться в мягком характере этого человека.

— А это Алексей Валентик. Значит, Алексей, с ним вот, с Арнольдом Михайловичем, и поедешь в Воронеж.

— Позвольте...

— Сейчас все объясню. Иди, Алексей.

Человек со странной фамилией Валентик вышел так же бесшумно и неслышно, как и появился, а Белокопытов взял свой портфель, вытащил круг колбасы, две банки консервов, кусок севрюги, завернутый в промасленную бумагу, две бутылки водки.

— Извините, познакомимся. Я из того же племени благороднейших борцов за попранную справедливость. Коллега ваш. Прошу, как говорится, официально.

И он протянул удостоверение за подписью Троцкого.

— Вы едете на днях в Воронеж. Вы там неоднократно бывали, и, знаю, не безуспешно. У вас там есть свои люди в горкоме партии. Надо с их помощью устроить этого парня в Воронежский губотдел ГПУ. Очень важно, очень важно! Среди тамошних чекистов наших нет. Валентик будет первым. По паспорту он украинец. Националист до безобразия. Заметили его добрые и беспомощные голубые

глазки? Ширма! Жесток, как Тамерлан, и безжалостен, как Чингисхан. Такие нам нужны. Мне поручено только представить его вам, соответствующие распоряжения относительно этого Валентика вы завтра получите. А теперь не выпить ли нам, чтобы окончательно познакомиться? Водка, продукты первосортные, из нэпманской лавочки. Неплохое это дело — нэп, жаль, что хиреет, гниет, как сифилитик...

Белокопытов пил водку стаканами, но не пьянел почти, только наливался свинцовой краснотой да становился еще болтливее.

— Да-с, как сифилитик, сгнивает нэп!— после каждого стакана со слезами в голосе провозглашал Белокопытов.— И Россия, великая древняя Россия, тоже заражена сифилисом, тоже гниет... Она похожа на разграбленный дом, по грязным комнатам которого гуляет холодный ветер, шевелит, гоняет по затоптанным полам обрывки газет, окурки. А ночами по углам комнат спят одичавшие бродяги с уличными проститутками...

Белокопытов мотал головой, всхлипывал, дрожащей рукой хватался за бездонный портфель, извлекая оттуда все новые бутылки. Звякало стекло о стекло, булькала водка.

— Вы пьяны, Белокопытов,— сказал наконец Лахновский.— Довольно.

— Не-ет! Я, знаете ли, уезжаю завтра в город Шахты. Я там, собственно, и работаю. Заместителем главного инженера одной из шахт. Хотя, признаться, в горном деле понимаю столько же, сколько корова в электрическом моторе. Сюда приезжаю редко, за инструкциями и чтобы вот... — Белокопытов кивнул на бутылки. — Вы там начали, а я продолжаю. Я продолжаю, Лахновский, достойно! В этом году мы сорвем план добычи угля... Простое дело — два-три обвала в выработках, один хороший взрыв... Ну, для маскировки несколько мелких аварий. Плюс нехватка шахтеров, бегут они из шахт, как крысы с обреченного корабля. Боятся, запугали мы их! Хорошо! Кто еще не испугался, заживо под землей похороним...

— Давайте, в самом деле, отдыхать.

— Да, да, пора,— согласился Белокопытов, порылся в портфеле среди бумажных обрывков.— Вот, последняя. Я человек приближенный... кое к кому. И я знаю — вашу работу, Арнольд Михайлыч, хвалят и ценят. Вас называют специалистом по Поволжью и Уралу. Вы немало сколотили там наших групп... В той, новой России, за которую боремся, вы будете иметь жирный пирог. И положение-с!

— Что ж об этом говорить? Пока работать надо.

— Да, работать,— совсем отяжелевшей головой кивнул Белокопытов. Потом вплотную почти приблизил свой желтый, в испарине, лоб к лицу Лахновского.— Разрабатываются новые инструкции... Составляется такой... стратегический план наших действий, нашей борьбы на длительное время. Мы пока в общем занимаемся мелочами. Но придет время — и мы начнем активные диверсии, чтобы быстренько развалить, подорвать всю экономику, а также коммунистическую идеологию. Будем физически уничтожать наиболее преданных большевистской идеологии людей. Гражданских, военных — всех! Во всех областях. В крайнем случае — всячески их дискредитировать, обвинять во всех грехах. А самый большой грех — идейный. Вы поняли?

— Не очень,— сказал Лахновский, хотя отлично понимал, о чем говорит Белокопытов.

— Есть такая русская поговорка — свалить с больной головы на здоровую. А? Хе-хе-хе!..

И Белокопытов вдруг, без всякой причины, захохотал все сильнее, громче. Он хохотал, запрокинув голову, багровея лицом и шеей до черноты. Напрягшаяся шея, казалось, разорвет воротник полувоенной гимнастерки, пуговицы отскочат и, если какая угодит в бутылку, крепкая посудина расколется.

Лахновский поморщился и подумал вдруг, что этот Белокопытов чем-то напоминает Сергея Сергеевича Свиридова, отца Полины, покончившего с собой тогда, в восемнадцатом, в собственном кабинете.

— А вы знаете,— вдруг оборвал Белокопытов свой истерический смех,— вы знаете, что революция застала нашего Льва в Нью-Йорке? Там Троцкий-Бронштейн редактировал русскую радикальную газетку «Новый мир».

— Нет,— сказал Лахновский, который этого действительно не знал.

— А это символично!— Белокопытов поднял вверх толстый палец, тоже, кажется, потный.— Это символично! И мы... мы отдадим в борьбе за новый мир, за новую Россию все! Мы никогда не примиримся с тем, что Ленин превратил русскую буржуазную революцию в так называемую пролетарскую!! Хе-хе, нет таких пролетарских революций! Не было еще в истории! Все революции, которые случались, происходили по классическому образцу: переворот — и к власти приходит либеральная буржуазия! Свобода различным политическим партиям, кроме коммунистической. Демократия... И никогда не простим себе, что своевременно не убрали Ленина. Это нам жестокий урок! И мы сделали из него выводы. Выводы мы из него все вывели... Понял?

Белокопытов наконец опьянел, язык заплетался, мысли путались. Он еще пошарил в портфеле, но ничего там больше не нашел, со злостью швырнул его на пол, уставился вдруг погрустневшими глазами куда-то в одну точку.

— Да, Арнольд Михайлович, мы не сдадимся. Мы... Мы ведь как крысы. Все видят, как они бегут с обреченного на гибель корабля, но никто никогда не замечал, как они туда проникают... А там размножаются. И грызут, грызут потихоньку все, что можно. Мы... Благодарные соотечественники выкесут...— а, черт!— высекут в граните наши имена! Потому что... потому что, кто знает, может быть, борьба только начинается. Только начинается... И мы у ее истоков! А? Пионеры! И мы будем в этой борьбе безжалостны, как сам... О-о, я знаю Левку Бронштейна из местечка Яновка, что близ Херсона. Он сразу же приполз из-за границы сюда, как только почуял запах жареного! Что, Лахновский, будет, ты представляешь?!

Лахновский обладал, видимо, меньшим воображением, чем Белокопытов, что будет, представлял себе не очень ясно, да и не хотел тратить на это умственные усилия; он, видя, что Белокопытов упал лицом на груду колбасных шкурок и захрапел, брезгливо поморщился, встал и пошел спать.

Арнольд Михайлович Лахновский если и считался специалистом, то не только по Уралу и Поволжью, он разъезжал со спецзаданиями по всем городам средней полосы России. Относительно Валентика, этого кривоплечего парня с ясными глазами, он действительно получил соответствующие распоряжения, увез в Воронеж, где его через несколько месяцев устроили в губотдел ГПУ младшим оперативным работником.

Благодаря деятельности таких, как Лахновский, троцкистское подполье было организовано в большинстве крупнейших городов страны, во многих ячейках гигантского государственного организма, включая и армию. Оно помаленьку действовало, вредило, занималось тем, что доводило до абсурда, до своей противоположности различные добрые дела и начинания. Новых инструкций, на которые намекал Белокопытов, никто не отдавал, тот стратегический план борьбы, который должен был привести к подрыву экономики страны и развалу коммунистической идеологии, в действие не вступал. То ли эти новые инструкции и планы были еще не выработаны до конца, то ли до Лахновского они не доходили.

А потом начались события вообще непонятные, приведшие Лахновского в ужас. Что случилось в Москве 7 ноября 1927 года, он в подробностях не знал, так как находился в это время в деревне Жерехово, неподалеку от Орла, где он пару лет назад купил небольшой, но уютный домик, стоящий в глухом месте, на берегу крохотной речушки, заросшей всяким разнодеревьем. Там он уже несколько дней вел разговоры с представителем германской военной разведки Рудольфом Бергером. Это был довольно шустрый человечек неопределенных лет, с прыгающими глазами, которые, однако, при необходимости имели способность уставиться в одну точку, как крючками, намертво зацепить взгляд собеседника и струившимся из этих зрачков безжалостным холодом останавливать сердце. Бергер в обмен на самую разнообразную информацию «экономического, социально-гражданского, а по возможности и военного характера» предлагал большие деньги.

С Бергером Лахновского познакомил тот же Белокопытов в их особняке на Балчуге, охарактеризовав его как «концессионера некоторых каменноугольных шахт в Союзе». «Концессионер», однако, сразу же объявил, что Лахновский интересен ему не в связи с горным делом, а как человек, много разъезжающий по стране и потому имеющий обширную информацию. Лахновский сразу насторожился.

— Кроме того, вы, кажется, успешно изучаете немецкий язык?— улыбнулся Бергер тонкими губами.

— Да, я немножко знал и раньше. Но так, на уровне Анна унд Марта баден. И вот решил...

— Похвально,— перебил Бергер.— Люди, знающие немецкий язык, язык команд и приказов, будут вскоре очень нужны. Вы меня поняли?

— Да,— сказал Лахновский, действительно понявший, кто таков на самом деле этот «концессионер».— Но я по профессии следователь. Я сам вербовал себе в старое доброе время... сотрудников и хотел бы ясности.

— О-о, я прекрасно осведомлен о вашей прошлой деятельности. Поэтому и попросил моего друга господина Белокопытова познакомить меня с вами. Может быть, нам удобнее будет побеседовать в вашем имении — в Жерехове?

Бергер знал и это, хотя, как полагал Лахновский, о его покупке дома в Жерехове абсолютно никому не было известно.

Все вопросы о постоянном сотрудничестве Лахновского с «Отделением III-Б» германской военной разведки были обговорены и решены (включая и предоставление всей известной ему сейчас и в будущем информации о троцкистском подполье), когда Рудольф Бергер, придя однажды утром к Лахновскому с прощальным визитом, вдруг, шныряя зрачками по углам комнаты, сказал:

— Ваш красный Наполеон, кажется, сломал себе шею. И, может быть, мы, господин Лахновский, напрасно имели намерение так щедро платить вам.

— Что... случилось что-нибудь?!— испуганно воскликнул Лахновский.

— Случилось. Ваш Троцкий седьмого ноября устроил на Красной площади политическую демонстрацию, вслед за которой должен был последовать, кажется, государственный переворот. В этом смысле — да, случилось. Но больше ничего не случилось. Русское ОГПУ было начеку...

Бергер перестал дергать глазами, уставился на Лахновского, будто змея прицелилась.

— Русские чекисты начеку? Это как называется? Каламбур, что ли?

Лахновского прошиб пот.

— Этого не может быть! Откуда у вас эти сведения? Вы это... точно знаете?

— Сведения у меня всегда точные, запомните это, господин Лахновский,— холодно произнес Бергер.— А если они у меня будут неточными, рассчитываться будем уже не мы с вами, а вы с нами...

— Боже, боже! — простонал Лахновский.

— Не беспокойтесь,— понял его по-своему Бергер,— уговор наш относительно вознаграждения остается в силе. Уговор дороже денег. Это пословица или поговорка?

Лахновский молчал, как пришибленный. Бергер произнес:

— В Москве вам вряд ли целесообразно сейчас появляться.

И, не прибавив больше ничего, ушел.

Лахновский, несмотря на предупреждение Бергера, все же решил поехать в Москву. Бывшая хозяйка особняка встретила его широко открытыми от страха глазами.

— Вы с ума сошли! Убирайтесь! В Москве аресты... Я понимаю, вы приехали из любопытства. Белокопытов три дня назад тоже приехал из любопытства. Его тут и арестовали... И, между прочим, спрашивали, кто живет в этой половине. Кажется, вас они особенно не знают, но обыск произвели. И хотя, как я заключила, ничего не нашли, уезжайте от греха. Возьмите свежее белье.

Эта старуха-полуидиотка, как Лахновский убедился, при надобности могла рассуждать очень здраво и вполне определенно.

— Нетерпеливцы вы! Ах, какие вы нетерпеливцы! — сожалеюще говорила она, когда Лахновский, схватив портфель, стал засовывать туда белье.— Плоды не созрели, а вы уже трясете дерево. Мой муж-покойник был пошляк и развратник. Но даже он понимал... И у него была поговорка: пока девочка не загорелась, нет смысла ее раздевать.

— Опять поговорка?! — окрысился Лахновский.— Отстаньте со своими поговорками!

Старуха ничего не поняла, но не испугалась. Она только вытянула в гневе

морщинистую шею, до того вытянула, что сквозь дряблую кожу проступили жилы, как туго натянутые бечевки.

— Вы невоспитанны, сударь,— прохрипела она.— И глупы, как полено.

И старуха ушла, торжественно унесла свою голову на вытянутой шее.

Лахновский в ту же ночь, добравшись на извозчике до вокзала, уехал в Воронеж, к Валентику. Тот не особенно радостно встретил Лахновского, отправил к своим престарелым родителям в Коростень. Там он месяца через полтора с помощью отца Валентика устроился на его бывшую работу — кладовщиком железнодорожного угольного склада.

До самого конца 1934 года Лахновский, напуганный исключением Троцкого из ВКП(б) и высылкой в Алма-Ату, а затем и выдворением из СССР, жил, притаившись, в этом Коростене, маленьком тихом городишке, безбедно существуя не на зарплату, а на деньги, присылаемые аккуратно Бергером. Непостижимо было, откуда тот узнал о местонахождении Лахновского, непонятно, за что какие-то неизвестные люди передают ему значительные суммы, ничего не требуя взамен, только вежливо интересуясь иногда, как у него идет изучение немецкого языка.

Собственно, боялся Лахновский не только и, может быть, не столько даже того обстоятельства, что разоблачен сам Троцкий. Приезжавший время от времени в отпуск к родителям Алексей Валентик, прочно и надежно обосновавшийся среди воронежских чекистов, много рассказывал о шахтинском судебном процессе 1928 года. Волею случая, а может быть и специально, он был командирован в Донбасс и принимал участие в следствии по делу шахтинских диверсантов и вредителей.

— Кое-кого спасти удалось. Но не всех. Твоя фамилия, Арнольд Михайлович, тоже всплывала кое-где. Ты ведь там начинал. Но удалось в общем из всех протоколов допроса ее исключить. Особенно из допросов Белокопытова.

— Вон как! — выдохнул Лахновский.

— Да, мерзкий тип оказался. Все выложил было. Но... погиб при попытке к бегству.

— Спасибо, спасибо, Алексей! — в волнении то и дело говорил Лахновский.

— Ну как же... Долг платежом красен.

Неизвестно, на что намекал этот Валентик — с издевкой ли говорил о том обстоятельстве, что именно Белокопытов свел его с Лахновским, благодарил ли Лахновского за устройство его в Воронеже? Или, может быть, опять же непонятным образом узнал о состоявшейся когда-то встрече его, Лахновского, с Бергером, об их договоренности и об интересе того немца к русским каламбурам, пословицам и поговоркам?

Последнее, как с ужасом подумал Лахновский, было вернее всего, потому что Валентик вдруг спросил:

— Я гляжу — роскошно живешь ты, брат. Деньга в кармане бренчит. Откуда?

— Дом в Жерехове продал.

— Не ври! А впрочем, какое мне дело... Но весь вопрос в том, что я в тисках... Костлявая рука безденежья. Не выручишь ли? Ну, скажу по секрету, с женщинами в Москве поиздержался. Грешен я на этот счет. А в Москве часто приходится бывать по служебным делам.

Валентик говорил все это негромко и все поглаживал свое кривое плечо сухой ладонью, и Лахновский впервые вдруг подумал, что этот человек страшен.

— Хорошо, я выручу... в долг. Сколько?

— Тысячи полторы для начала.

Это была ровно половина той суммы, которую Лахновский только что получил от Бергера.

— О-о! — невольно вырвалось у Лахновского. И, поняв, что скрывать что-либо от этого человека бесполезно, в упор спросил: — А ты, Алеша, не с огнем играешь?

— Ну,— усмехнулся тот, все продолжая поглаживать плечо. И вдруг произнес на чистейшем немецком языке, заставив Лахновского окончательно онеметь: — Wir alle tanzen um den brennenden Holz stoß. Die Frage besteht nur darin, wer verbrannt wird und wann[1].

---

[1] Все мы вокруг костра приплясываем. Весь вопрос в одном — кого и когда обожжет.

До самого конца тридцать четвертого Лахновский аккуратно переводил Валентику или вручал при встречах половину сумм, получаемых «от Рудольфа». Тот принимал деньги молча, как зарплату, и никогда не благодарил. За эти годы Лахновский, кроме самостоятельного изучения немецкого языка, ничем не занимался, от безделья несколько обрюзг, стал все чаще попивать водочку. Еще в начале тридцатого стал жить с молоденькой смазливой девушкой Леокадией Шиповой, появившейся вместе с Валентиком в очередной его приезд. Валентик уехал, а Лика эта осталась, в первую же ночь пришла к Лахновскому, бесцеремонно залезла к нему под одеяло. Была эта девица, несмотря на свою молодость, до того испорченна, что Лахновский даже в темноте краснел, а утром ощущал брезгливость к своему телу, бежал первым делом на речку и долго купался.

Отношения с Ликой заставили вспомнить Полину Свиридову. Он написал ей с просьбой ответить ему до востребования, сообщить все новости. Она ответила и, рассказывая подробнейшим образом о том, кто работает теперь в Новосибирском обкоме партии и облисполкоме, упомянула фамилию Полипова. Боже мой, жив курилка! Лахновский и в самом деле так обрадовался, будто получил известие о своем искреннем и добром друге. Но как же он и что он?!

Об этом, естественно, Полина не писала, потому что ничего о его прошлом не знала и знать по возрасту, в каковом состояла в те годы, когда завязались отношения Лахновского, Полипова и ее отца, Свиридова не могла. Она жаловалась, что живет одна, мать болеет и скоро, наверное, помрет, а как ей дальше жить, на что жить, не знает.

И тут у Лахновского мелькнула мысль: а чем не муж для нее Полипов Петр Петрович, если еще не женат? И он написал дочери Свиридова подробнейшее письмо... Через некоторое время она ответила, что на всю жизнь благодарна Лахновскому, что она теперь не Свиридова, а Полипова, что муж «помнит вас, Арнольд Михайлович, только зеленеет при одном вашем имени».

«Зеленей, Петр Петрович, только ты, брат, давно и прочно сел на крючок и, может быть, еще пригодишься»,— с улыбкой подумал Лахновский.

В конце 1934 года Валентик опять приехал в Коростень с новой девицей, но с ним же и уехавшей, потому что Лика Шипова выдрала ей половину волос и чуть не засунула ее голову в чугунок с кипятком.

— Невоспитанность какая! — дернул кривым плечом Валентик, носивший в петлицах уже по два кубика, но скандала поднимать не стал, отбыл со своей избитой любовницей на отдых в Крым, получив от Лахновского очередную сумму денег.

Эта дань Алексею Валентику была последней. Вскоре к Лахновскому в заснеженном пристанционном сквере подсел на скамейку неизвестный субъект, похожий на рабочего, и тихо проговорил:

— Слушайте меня внимательно... По нашему заданию Алексей Валентик, ну и некоторые другие наши друзья... уберегли вас от разоблачения по шахтинскому делу. Скажу более — все, кто как-то и каким-то образом знал вас или что-то о вас, расстреляны по приговору или ликвидированы в заключении, так что теперь вы вне всяких подозрений... Мы дали вам несколько лет пожить вдали от шумных мест и беспокойных дел, чтобы оборвались или в крайнем случае забылись все ваши прежние знакомства и связи. Да и обстановка сейчас в СССР — я имею в виду режим ОГПУ — несколько изменилась. Как вы знаете, ОГПУ в конце только что минувшего года было переименовано в НКВД.

— Слышал,— впервые подал голос Лахновский.— Что же с того?

— Ничего, если не считать, что вместо Менжинского, этого большевистского фанатика, своевременно скончавшегося от сердечного приступа, наркомом внутренних дел стал некий неудачливый унтер-офицер царской армии Ягода. Цели у Ягоды, судя по всему, несколько иные, чем у нас... Но, может быть, мы найдем общий язык.

Пришелец говорил вещи чудовищные. «Вот какие дела делаются!» — изумленно думал Лахновский. Но раз этот пришелец сообщал ему такие вещи просто и спокойно, значит, Лахновскому доверяют и, видимо, хотят допустить к самому центру борьбы против большевизма и поручить очень важный и ответственный участок этой борьбы! От такого предположения Лахновский радостно млел, переполнялся нетерпением.

— Да, обстановка, повторяю, несколько иная сейчас, чем при Менжинском,— продолжал меж тем пришелец.— Короче говоря, вы теперь будете служить великой Германии в новом качестве. Здесь вы отлично внедрились, считаетесь старожилом. Прекрасно. Лучшего резидента, как считает Рудольф Бергер, не найти.

— Резидента?! — полушепотом воскликнул Лахновский, несколько разочарованный и испуганный.

— Спокойно... Коростень — крупный железнодорожный узел. Но основной объект деятельности засылаемых сюда, к вам, агентов будет Киев. Время от времени вам придется бывать в Германии, в Берлине. Первая поездка должна состояться в ближайшие дни, во время вашего трудового отпуска. Ну, а... работник НКВД господин Валентик вас беспокоить больше не будет.

* * *

Втыкая острие своего железного костыля глубоко в сухую землю, Лахновский, прихрамывая на правую ногу, медленно шел по темной сельской улице.

Вечер был тихий, только очень душный. Небольшая деревушка Шестоково казалась вымершей, нигде ни огонька, ни звука, хотя по домам, уцелевшим от двухгодичной давности артобстрелов, когда фронт неудержимо катился на восток, было расквартировано около двухсот солдат так называемой «Освободительной народной армии», созданной Лахновским еще в ноябре 1941 года, когда он только-только был назначен бургомистром Жереховского округа, все службы разведывательного органа «Абвергруппа 101-ЦБ Виддер» и небольшой немецкий гарнизон при нем. Жизнь каждого солдата из «Освободительной народной армии», которая на деле представляла самый обыкновенный полицейский отряд, зависела от его слова, от его каприза. Да и «Абвергруппа-101», которой руководил этот неудачник Рудольф Бергер, фактически подчиняется ему, потому что без его содействия не может перебросить за линию фронта ни одного агента, даже внедрить своего человека в какой-нибудь паршивенький партизанский отряд не может. Да, как меняются времена! Когда-то этот Бергер, циник и духовный импотент, в бытность Лахновского резидентом германской военной разведки в Коростене, слал ему из Берлина инструкции и требовал отчетов, а во время кратких вызовов в Берлин покровительственно хлопал по плечу и несколько раз, понимая, что Лахновский идет в гору, приглашал даже на свою загородную виллу, где ему противно-приторно улыбались его тяжеловесная жена и дочь, такая же, как мать, толстоногая и пышнотелая, только калибром поменьше. Потом Бергер на чем-то крупно погорел,— кажется, кто-то из дальних родственников его жены оказался то ли румынским цыганом, то ли венгерским евреем — и был, еще из милости, послан шефом «Абвераусланда» Канарисом, то есть самим начальником группы «Заграница» управления разведки и контрразведки при главном штабе германских вооруженных сил, на незаметную работу в Польшу. Там перед войной с Россией и была организована «Абвергруппа-101» при разведоргане «Виддер», что по-русски обозначало просто-напросто «Баран». Начальником этой группы был назначен Бергер. Группа действовала сначала на Украине, потом была переброшена на Орловщину и обосновалась в Жерехове. Встреча Лахновского и Бергера была натянутой и неловкой, хотя оба изо всех сил изображали радость.

— О-о, господин оберфюрер! —беспрерывно выкрикивал Бергер, дергая глазами.— Я слышал, слышал о ваших грандиозных успехах в Коростене и Киеве после того, как я... был направлен в Польшу. Ваши агенты хорошо поработали перед началом русской кампании. За сведения о состоянии Красной Армии на Украине, я знаю, вам был присвоен чин подполковника. А за что вам дали полковника? И почему вы ушли в войска СС?

— Видите ли,— неопределенно отвечал Лахновский,— новые времена — новые задачи...

— Да-да...— дергал глазами Бергер.— А я всего лишь зондерфюрер, то есть капитан. Мне не везет, надо мной висит проклятье. Как говорит русская пословица, счастливый к обеду, а неудачник под обух.

— Фюрер всех награждает по заслугам,— насмешливо сказал Лахновский.

— О, да! — растерянно вымолвил Бергер.

— Так что старайтесь,— еще больнее ударил Лахновский,— и вы свое получите.

— Хайль Гитлер! — рявкнул начальник «Абвергруппы», выбросив вперед руку, громко ударив каблуками сапог. И в этот момент глаза его перестали дергаться, словно омертвели.

Больше года они, в общем-то, жили мирно и на первый взгляд даже дружно. Лахновский был обязан силами своего полицейского отряда, носившего громкое название «Освободительная народная армия», обеспечивать безопасность «Абвергруппы», оказывать помощь во всех ее делах, то есть фактически был поставлен в подчинение Бергеру. На деле же все было наоборот. Бергер никогда ничего не требовал, а униженно просил, он боялся Лахновского, потому что без него в этой проклятой русской стране с ее необозримыми просторами и зловещими густыми лесами был беспомощен, как слепой котенок.

Лахновский, будучи всей своей карьерой у немцев обязанным Бергеру, тем не менее испытывал к нему глубочайшее презрение и в душе был рад его неудачам. «Разведорган ваш называется «Баран», и «Абвергруппой-101» руководит баран»,— частенько усмехался он про себя. Но внешне оказывал Бергеру все знаки внимания, поселил его в Жерехове в просторном и удобном доме и даже поинтересовался, не нужна ли ему, мужчине, как говорится, в соку, скромная и чистоплотная женщина.

— О-о,— улыбнулся Бергер.— Если она к тому же красива...

Лахновский все эти годы держал при себе Лику Шипову, но по физической неспособности, наступившей еще перед войной, уже не жил с ней. Она была теперь при нем служанкой, содержательницей дома и смертельно мучилась от половой неудовлетворенности. Лахновский понимал ее состояние, видел ее мучения, и это доставляло ему своеобразное наслаждение. Он только побаивался, что Лика, эта красивая молодая женщина с белозубой улыбкой, однажды его отравит, и сквозь пальцы смотрел на то, что она хватала свое, где и когда только было возможно. Потом начал подумывать, как от нее избавиться. А тут подвернулся Бергер, и Лахновский объявил Лике, что отпускает ее к зондерфюреру.

— Спасибо! — задохнулась от радости Лика.

— Не просто из жалости отпускаю тебя,— усмехнулся Лахновский.— Будешь докладывать мне о всех его делах, о всех разговорах.

— Конечно... Я постараюсь,— проговорила она, и Лахновский почувствовал, что ей это не понравилось.

— И гляди у меня! Со мной шутки плохи,— предупредил Лахновский.— Собирайся...

С тех пор Шипова и живет при Бергере, выполняя те же обязанности. Они, кажется, остались довольны друг другом, потому что на другой же день Бергер, завернув в бургомистрат, расплылся в улыбке.

— О-о, фрейлейн Ликия! Оч-чень действительно скромная девушка. Большое спасибо, господин оберфюрер.

...Мертвая тишина, висевшая над деревушкой, действовала на Лахновского удручающе. Он боялся ее, потому что понимал — в любой момент она может взорваться здесь и кончиться, как кончилась нынешней весной в Жерехове. Почти два года Жерехово было глубоким тылом, два года стояла над этим большим селом, бывшим районным центром, вот такая же тишина. За два года раза два или три в ближайших окрестностях появлялись партизаны — и все. После незначительных перестрелок они скрывались в глубь лесов. Лахновский со своим отрядом и приданным небольшим немецким гарнизоном контролировал весь уезд, был полновластным хозяином, наладившим образцовый оккупационный режим. Правда, усмехнулся мрачно Лахновский, такая идиллическая картина рисовалась всегда лишь для начальства. На самом деле «образцовый оккупационный режим» был далеко не образцовым. Все леса близ Жерехова кишели проклятыми партизанами. И если само Жерехово они оставляли в относительном покое, то близлежащие села и деревушки были фактически под их контролем. Партизаны могли объявиться там днем и ночью, получали от местных жителей различную информацию и помощь. Советской власти в уезде формально не было, но фактически она существовала, и Лахновский ничего не мог с этим поделать. Он менял старост, а они сплошь

и рядом были связаны с партизанами и работали на них. Он вербовал из числа стариков и подростков полицейских, но они в большинстве своем становились партизанскими пособниками, разведчиками. Не помогали публичные расстрелы, не возымели действия карательные акции против некоторых деревень, когда сжигались все дома, уничтожались все жители поголовно, включая детей. Наоборот, это только усиливало злобу и ненависть к оккупационным властям.

И все-таки жизнь в Жерехове была более или менее спокойной до самого начала сорок третьего года. Советские дивизии оборонялись где-то далеко-далеко за Орлом и Курском. Но прошлой зимой почти все русские фронты двинулись в наступление, всюду значительно потеснили немецкие войска. Лахновский каждое утро лихорадочно включал радиоприемник, слушал немецкие, потом русские сообщения с театра военных действий. Немцы бахвалились, что-то упрямо и бодро твердили не об отступлении, а о выравнивании фронтов. Но это «выравнивание» привело к тому, что 8 февраля русские отобрали назад Курск, над Жереховом стали появляться советские самолеты, в марте, где-то в самом начале, послышался впервые отдаленный гул русских пушек, а пятнадцатого числа на улице Жерехова, как раз перед домом, в котором он, Лахновский, жил, разорвался первый снаряд, высадив чуть не все окна.

На другой день в Жерехово вкатились отступающие немецкие части, начали возводить вокруг села оборонительные сооружения. Из главного штаба «Виддера» пришло распоряжение «Абвергруппе-101» эвакуироваться подальше в тыл, в деревню Шестоково, а ему, Лахновскому, вместе со своей «Освободительной народной армией» обеспечивать в пути охрану и безопасность имущества этой разведгруппы, а на новом месте всячески содействовать ее работе. Одновременно Лахновский назначался «комендантом полицейского гарнизона» в селе Шестоково. А какой там гарнизон? Кроме плюгавого старосты по фамилии Подкорытов да трех-четырех полицейских, гарнизона никакого не было. Да и не нужно было. В Шестокове всего-то с полсотни уцелевших домов, половина из них пустует, в других дряхлые старухи, угрюмые, какие-то уродливые женщины да десятка два изможденных ребятишек при них. Вот и все население.

Лахновский, шагая посередине улицы, с ненавистью глядел на молчаливо стоявшие в темноте дома. У него почему-то родилось и жило в душе чувство, что эти невзрачные деревенские здания вовсе и не дома, а какие-то неуклюжие и враждебные ему существа, притаившиеся во мраке, готовые рухнуть на него, едва он к ним приблизится, раздавить, уничтожить. Лахновскому хотелось запереть намертво двери каждого дома, наглухо забить каждое окно, а потом облить керосином, поджечь, самому стоять и слушать, как стонут и воют запертые в горящих домах эти дряхлые старухи, безобразные женщины и их дети, похожие на живые скелеты. Что же, может быть, вскоре так и произойдет, мрачно думал он, чувствуя, как из сердца толчками плещется злость. Это будет месть не этим старухам и женщинам, а всему человечеству. За что? А за то, что жизнь на земле идет не туда, куда хочется Лахновскому. А что ему хочется? Да, собственно, не очень многого. Хороший большой дом с колоннами, просторная, с хорошим садом, устроенным на английский манер, с большим живописным прудом или озером усадьба, в воде которого отражался бы его дом. Несколько десятков слуг, готовых по его одному слову броситься в огонь и в воду. Немного земли, примерно с Жереховский уезд, которая принадлежала бы только ему... Так в доброе старое время жили русские помещики. Он, родившийся на Волге в семье юриста, пошел тоже по этой части. Наследство от умерших родителей было невелико, Лахновский пошел служить, уехав в Сибирь, где легче было скопить капитал. Что ж, он там хорошо потряс разных толстосумов, когда они сами или их сынки и дочери попадали в различные неудобные обстоятельства. Тот же новониколаевский купчишка Полипов, когда сын его связался с местными социал-демократами, хлопоча за отпрыска, отвалил ему немалый кусок. Он, Лахновский, умно повел дела — и деньги взял, и из сына его сделал полезного для себя человека. Живя в Коростене и потом, когда уже шла война, Лахновский иногда ни с того ни с сего вспоминал вдруг почему-то Петра Петровича Полипова. Где-то он сейчас, что поделывает? Война, может, и воюет где. Хотя вряд ли. Где-нибудь сидит в глубоком тылу в должности какого-нибудь районного начальника. Кажется, перед войной он был не то секретарем райкома, не то председателем райисполкома... А если на фронте, может и погибнуть. Жалко,

если так произошло или произойдет. Кто знает, куда жизнь завернет, мог, мог бы еще при случае пригодиться...

И вдруг сегодня узнал, что «курилка», кажется, по-прежнему жив, что он недалеко от него, назначен недавно редактором газеты одной из дивизий, воюющих под Орлом!

Лахновский остановился, еще раз с ненавистью оглядел угрюмые, притихшие дома. И пошел дальше, размышляя уже не о Полипове, а о том, что после семнадцатого года мечта приобрести подобную усадьбу лопнула, как мыльный пузырь. Деньги он заблаговременно успел превратить в ценности, но что это уже все стоило? Долгие годы потом он жил, как смог, как судьба определила, и судьба эта, как казалось, была благосклонна к нему, она выводила год за годом его к старой и неумирающей мечте. И хотя в высокие сферы, к центру борьбы против большевизма, его не допустили и мечты его об этом, как он вскоре понял, просто наивны, все же его преданность и его труд ценили, перед войной он получил звание подполковника. Началась война, и поместье, о котором он бредил всю жизнь, было обещано немцами. Где-нибудь на берегу Волги или Днепра. Правда, тут случилось непонятное — его из органов военной разведки перевели почему-то в войска СС. И, повысив в чине, назначили всего-навсего бургомистром жалкого и нищего Жереховского уезда.

— Фюрер и Германия вам доверяют, господин штандартенфюрер,— сказал ему высокопоставленный длинноносый чиновник в городе Орле.— В Жерехове вы должны создать образцовый административный округ со своими полицейскими силами, чтобы мы могли рекламировать его как образец нового порядка в будущей России. Отправляйтесь к месту службы. Там есть небольшой воинский гарнизон, на первых порах он вам поможет. Жерехово это вам знакомо, до войны там у вас была недвижимая собственность, не так ли?

— Да, я владел там небольшим домиком,— растерянно сказал Лахновский.

— Владейте теперь всем уездом,— сказал равнодушно и казенно немец.— Да... полковничью форму рекомендую надевать только во время вызовов к вышестоящему начальству. А в Жерехове... не стоит раздражать население. Все и без того будут знать, что вы полковник. Вам все понятно?

— Так точно,— сказал Лахновский, все действительно сразу поняв. Полковник! Какой он, к черту, полковник?! Он старик, глубокий старик, немцы выжали из него все, что можно, теперь он им не нужен. И они отправляют его в эту дыру, в Жерехово.

Это было в ноябре сорок первого. Сейчас июль сорок третьего, Орел еще у немцев, но Курск давно снова у русских, в начале июля начались сражения на Курском выступе; пока немецкие войска чуть продвинулись вперед, снова отбили, кажется, Жерехово. Но, судя по всему, скоро немецкое наступление выдохнется, русские решили, видимо, во что бы то ни стало освободить Орел. А за Орлом недалеко и Шестоково. Того и гляди, вот на этой улице разорвется русский снаряд, а в его кабинете, как в Жерехове, посыплются стекла. Вот тебе и владейте...

Нет, дом с колоннами, отражающийся в воде, большое поместье на берегу Волги или Днепра — все это растаяло, как мираж, еще там, в Жерехове. И, кажется, навсегда, навсегда...

Лахновский стоял перед большим, на два входа, домом, в котором жил Бергер. Самого начальника «Абвергруппы» в Шестокове не было — вчера утром он был срочно вызван в Орел, где находился главный штаб «Виддера».

— Прощайте, господин оберфюрер,— мрачно произнес Бергер, сделав откровенно издевательский акцент на последнем слове: какой, мол, ты полковник, фикция одна.

Уже остывающая в венах у Лахновского кровь закипела, больными толчками начала колотиться в череп. И он, сдерживая себя, чтобы не ткнуть своей страшной тростью ему в грудь, ровным голосом произнес:

— Почему же «прощайте»? До свидания. Может быть, вас вызывают, чтобы вручить наконец погоны майора.

— О-о! — произнес Бергер свое обычное, по достоинству оценив ответ. И с угрюмой усмешкой сказал: — Ах, господин Лахновский... вы полковник, я всего лишь капитан. Но разницы между нами нет — мы оба неудачники. У русских есть

вот такая пословица: искал дед маму, да и попал в яму. Или это поговорка? Я, знаете, никак не могу понять между ними разницы.

Кровь в жилах у Лахновского остыла. Именно неудачники, прав Бергер, и чего тут обижаться друг на друга, обливать друг друга насмешками?

— Поговорка, Рудольф. У русских на любую тему много поговорок,— глуховатым голосом сказал он.— А на эту нашу с вами тему я знаю еще одну: вожжи в руках, да воз под горою. Увы...

— Да, да. Под горою... Я боюсь, Арнольд Михайлович, что в «Абвергруппу» больше не вернусь. Потому и говорю на всякий случай «прощайте».

Да, Бергер мог не вернуться, дела у него были из ряда вон плохи. «Абвергруппа-101» должна помимо разведывательной работы против частей Советской Армии на противостоящем фронте вести борьбу с партизанскими отрядами, засылать туда своих агентов, выявлять оперативные планы партизан, парализовать их действия на главных коммуникациях к фронту, осуществлять убийства партизанских командиров. Но какие там, к черту, убийства и выявление оперативных планов, если агентов из местного населения завербовать невозможно, мужского населения попросту не было. Правда, какое угодно количество людей можно было взять из лагерей для военнопленных. Но не многие из них соглашались стать немецкими агентами. А те, которые соглашались и проходили в учебном пункте соответствующую подготовку, а затем засылались в партизанские отряды и воинские части противника, чаще всего не подавали больше голоса. Значит, они были или разоблачены, или, что вероятнее, немедленно являлись к своим с повинной. Возвратившихся же в «Абвергруппу» с выполненным будто заданием можно было смело расстреливать без суда и следствия — девяносто девять процентов из них были уже советскими агентами.

— Проклятая страна, здесь все не как у нормальных людей! — кипятился Бергер, сильнее обычного дергая глазами. И он без колебаний расстреливал любого возвратившегося агента, если на того падало хоть малейшее подозрение в измене. Но застрелить агента было легко, найти и подготовить нового не так просто...

Леокадия Шипова, отданная в наложницы Бергеру, исправно информировала Лахновского о всех делах начальника «Абвергруппы». Не так давно она сообщила, что ночью Бергеру звонили из Орла, из главного штаба «Виддера», интересовались, нет ли у него «преданного человека из русских, очень преданного». И добавила от себя, что, видно, очень уж им нужен для чего-то такой человек, раз позвонили глубокой ночью и говорили открытым текстом.

Лахновский усмехнулся и стал ждать. Где возьмет Бергер такого человека? Он обратится обязательно к нему, Лахновскому, а он что, из кармана вынет да подаст?

Бергер действительно обратился где-то через неделю:

— Дорогой Арнольд Михайлович! Дважды звонили из Орла... И официальный запрос прислали. Нужен очень преданный нам русский для какого-то важного задания.

— Какого же?

— Не знаю. Очень важного. И где-то, как я понял, глубоко в тылу России. Если найдем такого, мои шансы сразу поднимутся. Так мне дали понять. Этот русский должен быть человеком грамотным, безупречно чистым перед советскими властями, а главное — беспредельно преданным рейху. Одно задание — и он сделает себе жизнь.

— О-о! — произнес Лахновский с интонацией Бергера.— А я не гожусь для этого задания? Я преданный.

— Значит, не годитесь,— желчно проговорил Бергер.— Как я понял, таким человеком интересуются из самого Берлина. А вы что же... вы там известны.

— Сожалею, но ничем не могу вам помочь,— с подчеркнутой вежливостью сказал Лахновский.

Вчера, уже садясь в машину, Бергер обреченно, как пес, которого привели к веревочной петле, поглядел на Лахновского.

— Ах, если бы мы нашли такого человека...

Лахновскому стало искренне жаль Бергера, он в ответ только вздохнул и развел руками.

Вокруг дома Бергера ходили четверо часовых — двое в одну сторону, двое в другую. Левая половина дома была совершенно глуха, а сквозь закрытые оконные ставни правой, где жила Шипова, проливались струйки света.

Часовые были из «армии» Лахновского, из взвода охраны штаба, и, когда он, опираясь на трость, шагнул к дому, охранники взяли на караул.

Из-за угла дома вышел как раз командир этого взвода, а сегодня дежурный по гарнизону Федор Савельев, мужчина лет под пятьдесят, родом из Сибири. Он был хмур, не брит, форма на нем сидела мешком и была измята и измазана, будто он валялся в дорожной пыли. Тяжелый вальтер в кобуре оттягивал ремень, обезображивая фигуру. Все это Лахновский увидел, осветив его карманным фонариком.

— Что за вид, лейтенант Савельев?!

— Посты проверял. Везде пылища, такая сушь стоит,— буркнул тот. От него попахивало спиртом.

— А ну-ка, дыхните! — строго сказал Лахновский.

— А-а...— отмахнулся Савельев.

— Я запретил пьянствовать! В любой момент могут напасть партизаны!

— Ну чего разоряться-то? Не нападут...

Этот Федор Савельев служит у него уже около полугода, и это единственный, кто не боится его, Лахновского, и его трости. Он был прислан к нему еще в Жерехово с группой солдат из орловской зондеркоманды, устроивших пьяный дебош в городском публичном доме, во время которого они переломали там всю мебель, перебили зеркала, а потом принялись со второго этажа выбрасывать в окно девиц этого заведения.

— Хороши-и! — протянул Лахновский, оглядывая неожиданное свое пополнение.— Публичного дома у нас нет, поэтому свой буйный нрав вы можете показать только в бою. Как раз скоро нам предстоит ликвидировать одну партизанскую группу.

На ликвидацию они отправились примерно через неделю, но сами попали в партизанскую засаду, и Федор Савельев спас жизнь Лахновскому, выволок его, раненного в ногу, в безопасное место.

На другой же день Лахновский присвоил ему звание лейтенанта и назначил командиром взвода, который формально охранял штаб «Освободительной народной армии», а фактически его персону. Несмотря на такую милость, Савельев нахально, почти на его глазах, начал приставать к Леокадии, и однажды Лахновский, вернувшись под утро от Бергера, застал командира взвода охраны в ее постели. Лахновский был этим не оскорблен, а взбесился от мысли, что кто-то валяется в постели, а вот он, старый и немощный старик, должен в это время вместе с тупицей Бергером без конца допрашивать вернувшегося от партизан агента Метальникова, чтобы выяснить, не перевербован ли он, можно ли доверять ему дальше. А черт его знает, перевербован или не перевербован. Вроде бы нет; жаден до денег, немцы платят хорошо, обещают еще больше в дальнейшем, а русские ничего не платят, ничего не обещают. У них за идею работают, а для чего Метальникову, сыну бывшего пензенского купца второй гильдии, их идеи? Хотя черт его знает, в душу никому не влезешь. Не верит Бергер ему, хлопнул бы из пистолета — и дело с концом. Нет, видите ли, нового агента подобрать трудно, внедрить еще труднее, надо, мол, и дальше использовать этого, если он честен. Путали-путали Метальникова, да сами запутались, начали молоть уж черт-те что, Метальников только глаза округлял от изумления. А тут — Савельев... И Лахновский, видя, что у Федора нет никакого оружия в руках (форма и кобура с пистолетом лежали на диване у противоположной стены), подняв свою страшную трость, двинулся к кровати. Из-под одеяла, болтая грудями, с визгом метнулась ему навстречу Леокадия, упала на колени, обхватила его грязные сапоги. Лахновский пинком отбросил ее прочь. Федор же, несмотря на то что Лахновский стоял у кровати с нацеленной в грудь тростью, лишь усмехнулся устало, как-то вяло махнул рукой и лениво зевнул, не проявляя ни малейшего признака страха или желания защищаться.

Это настолько изумило Лахновского, что рука с поднятой тростью замерла.

— Т-ты, р-развратник?! — заикаясь от гнева и чувствуя, что если он все же ударит Савельева, то трость войдет ему в грудь по самую ручку, а нижний конец вонзится в пол под кроватью.— Как ты смел?! Убью!

— Ну и что же? — опять усмехнулся Федор.— Здесь ли, в кровати твоей шлюхи... Или в лесу, от партизанской пули...

— Что-о?

Это безразличие к смерти, и даже не безразличие, а явственно прозвучавшее в словах откровенное желание ее поскорее принять еще больше ошеломило Лахновского. Он опустил руку с тростью. Тогда Савельев встал с кровати, натянул брюки, коротколполый мундирчик серо-зеленого цвета, сапоги, взял ремень с пистолетом, застегнул его, опустился на диван и стал закуривать. Лика, обернувшись в простыню, нелепым столбом торчала в углу.

Лахновский сел на еще теплую кровать и спросил напрямик:

— Жжет, что ли, что своим изменил?

Федор поднял на него тяжелые глаза, сплюнул кисло на чистый пол, который каждый день мыла хозяйка этого дома, живущая сейчас где-то в курятнике, немолодая русская вечно молчащая баба.

— Свои — как старые варежки... На руку наденешь, а пальцы голые.

— Как это понять?

— А так и понимать, как говорится. Другого смыслу нету.

Он бросил под ноги недокуренную сигарету, раздавил, растер ее сапогом. Хрипло произнес:

— Не бойтесь... Мои грехи теперь ни поп, ни тем более Советская власть не отпустят.

«Действительно, не отпустит», — подумал тогда, подумал и сейчас Лахновский, стоя возле дежурного по гарнизону. Из «дела» бывшего военнопленного, потом солдата 1-й роты «Группы по оформлению управления на оккупированной территории» Орловской зондеркоманды, а ныне лейтенанта «Освободительной народной армии», из многочисленных протоколов допросов Лахновский знал, что Федор Силантьевич Савельев, сдавшийся добровольно в плен в конце октября 1942 года под городом Нальчик, родом из Иркутской области, уроженец села Михайловка. Он был старшим сыном михайловского «землевладельца и торговца» Силантия Лукича Савельева, активно боровшегося в годы гражданской войны против Советской власти, пойманного потом партизанами и расстрелянного ими. После казни отца Федор ушел с остатками отцовского отряда в тайгу, возглавил этот отряд и «боролся с большевиками и сельсоветчиками» до конца 1923 года, когда его отряд был выслежен, окружен и уничтожен, а сам он под видом бродячего сапожника пробрался на Алтай, где поселился в деревне Кружково на постоянное жительство. Через несколько лет поступил на курсы механизаторов при местной МТС, то есть машинно-тракторной станции, стал комбайнером, каковым и работал вплоть до войны и призыва в Красную Армию. Был женат, жену звали Анна Михайловна, девичья фамилия Кафтанова, родом она была из этого самого Кружкова, из бедняков, померла в сороковом году от какой-то женской болезни, вследствие которой детей у них не было... Далее шли короткие справки об участии Савельева в различных карательных акциях против партизан и сочувствующего им населения, различные характеристики — все положительные.

Когда Савельев появился в Жерехове, на фамилию его Лахновский внимания не обратил, а когда знакомился с «делом», что-то его заинтересовало. Савельев, Сибирь... Вспомнилась следственная камера при Томской городской жандармерии, случайно арестованный надзирателем Косоротовым — где-то сейчас этот прелюбопытнейший экземпляр человеческой породы, этот скот, жив ли? — молодой парень по имени Антон Савельев. Был этот Антон, арестованный вместе с сыном новониколаевского лавочника Петром Полиповым, кажется, рослым, светлоглазым, с большим белесым чубом. И был силен, как бык,— тогда, во время допроса, так саданул его, Лахновского, в подбородок, что челюсть вспухла и ныла долго. Пристрелить надо было бы мерзавца тогда же. Потом этот Антон Савельев вырос в матерого большевика, много хлопот принес охранке и жандармерии...

Нет, ничем Федор Савельев не напоминал того Антона Савельева — ни обликом, ни характером, ни тем более нравственной своей сутью. Просто однофамилец, всякие Савельевы, Петровы, Федоровы составляют половину населения России, необъятной страны, не имеющей настоящих и законных хозяев.

Этой мыслью Лахновский удовлетворился и никогда больше к ней не возвращался...

...Ночь над деревней Шестоково постепенно набирала силу, становилась гуще. Духота стояла прежняя, ни ветерка, ни струйки свежего воздуха. Звезды вверху горели тускло, совсем не давая света, к тому же с востока, оттуда, где громыхал, приближаясь, фронт, наползали тучи, съедая белесое звездное полотно. Была вокруг непробиваемая тишина, но Лахновский каждой клеткой своего тела чувствовал, как гремит, гудит, сотрясая землю, далекая пока линия фронта, как она приближается неумолимо, и ему, как когда-то, хотелось вскинуть трость, насквозь проткнуть стоявшего перед ним Федора Савельева, поглядеть, как он рухнет на землю, а потом зайти в дом Бергера, где пьянствует сейчас Леокадия Шипова с прежним своим любовником Алексеем Валентиком, бросить свою окровавленную палку прямо им на стол. Валентик, сегодня в обед неожиданно объявившийся в Шестокове, ничего не знает об этой трости и ничего не поймет, зато Лика выпучит со страха свои большие бесстыжие глазищи, догадываясь, чья это кровь, а он, Лахновский, ухмыльнется только, и она окончательно поймет, что он не простил ей той ночи с Федором на его квартире...

Лахновский как-то сожалеюще вздохнул, понимая, что ничего этого не сделает, Савельев ему нужен, он еще может пригодиться, он единственный, кто его не боится, но именно по этой причине, как казалось Лахновскому, не оставит его, если что, в беде, как не оставил в тот раз, когда попали в засаду и он получил ранение в ногу...

— Все же не пейте, Савельев, больше,— попросил он мягко.

— Да ладно. И нечего больше.

Лахновский ковыльнул к крыльцу, обернулся:

— Секреты через час сменять.

— Какая надобность...

— Разговорчики! Погода хмурая, заснут еще, сволочи... Через час, понятно?

— Ясно,— сказал Савельев, повернулся и тотчас растаял во мгле.

* * *

Валентика этого сегодня в полдень задержали на окраине деревни сидящие в секрете солдаты, на чистейшем немецком языке он потребовал доставить его к самому зондерфюреру Бергеру. Но поскольку солдаты были из его, Лахновского, «армии», они привели задержанного в свой «штаб», разместившийся в просторном здании бывшей школы. Появлению Валентика Лахновский как-то не удивился, равнодушно глянул на него, отпустил солдат и сказал с усмешкой:

— Собственной персоной? А я уж и не надеялся свидеться. И надолго к нам?

— Навсегда.

Валентик бесцеремонно, как хозяин, стал расхаживать по комнате, служившей Лахновскому кабинетом, из стеклянного кувшина налил в стакан воды, ополоснул его брезгливо и выплеснул в открытое окно, прямо под ноги расхаживающему у стены часовому. Потом, запрокинув голову, пил воду крупными глотками, вдоль его шеи, обросшей грязным волосом, дергался острый кадык. Лахновский поморщился.

— Мне бы переодеться,— сказал Валентик.— И прикажите баню истопить — опаршивел я. Когда возвращается господин зондерфюрер?

— Откуда же мне знать? — Лахновский помедлил, хмуро оглядел Валентика.— Спросите у Леокадии Шиповой, может, Бергер звонил ей из Орла.

— Как же вы ее отдали ему? Я считал, что вы женились на ней.

Последние слова Валентик произнес с явной насмешкой. У Лахновского собрались на переносице морщинки и стали пошевеливаться, как у собаки, которая собиралась зарычать. Но ответил он спокойным, чуть насмешливым голосом:

— Все течет, все изменяется, как говорят философы.

Валентик засунул руку под грязную гимнастерку, почесал кривое плечо.

— Как он, Рудольф, очень ревнивый, если...

Лахновский только усмехнулся.

— Ладно... Не найдется несколько листов чистой бумаги? Как вы понимаете, я не пустой пришел, тут,— он хлопнул себя ладонью по лбу,— имеются кое-какие сведения о новых соединениях противника, прибывших на их Центральный и Воронежский фронты.

— Вон в шкафу валяется с десяток ученических тетрадей.

Валентик подошел к шкафу, открыл дверцу, взял тетрадку. В глубине шкафа стоял небольшой школьный глобус, неизвестно как сохранившийся до сих пор. Валентик взял зачем-то и его, шагнул к окну, где больше было света.

— Вот он где, Воронеж... Помните, Арнольд Михайлович, как вы меня туда привезли, устроили в органы ГПУ? А где Коростень? Нету на этой деревяшке Коростеня... Зато вот Киев. Киев, Украина, благословенная земля. А вот и Москва. Сама Москва, у порога которой мы стояли — только переступить. Только переступить... Сколько было радости и надежды!

Лахновский, поджав высохшие, бесцветные губы, молча наблюдал за Валентиком. Тот вдруг с яростью крутанул глобус, потом с еще большей яростью ударил им об подоконник — с треском разлетелись во все стороны обломки.

— Ах, Алейников, Алейников! — прорычал Валентик, швырнул на пол подставку для глобуса, она с грохотом покатилась вдоль стены.— Ну, погоди, может быть, еще и встретимся!

Лахновский встал из-за своего стола, крепкого, двухтумбового, крышка которого была залита чернилами, не торопясь, захромал к дверям.

— Баню я прикажу истопить,— усмехнулся он от порога,— а обломки... земного шара ты уж подбери...

Когда он часа через четыре вернулся в кабинет, обломки глобуса, разбитого Валентиком, так и валялись по всему полу. На столе лежала забытая промокашка, которой пользовался Валентик, вырванный из тетради смятый листок, пепельница полна окурков, всюду был рассыпан пепел. «Свинья!» — вскипел Лахновский на Валентика, смывающего в ту минуту в бане свою грязь и вонючий пот, хотел уже крикнуть, чтобы прибрали в его кабинете, но помедлил, взял скомканный тетрадный листок, развернул. Он был весь исписан по-немецки, исчеркан. Даже по этому обрывку было видно, что Валентик знал многое — он перечислял не только советские армии и дивизии, прибывшие в последние дни на Центральный и Воронежский фронты, но и командный и политический состав различных соединений и подразделений. Однако в первую очередь Лахновскому в глаза бросились кривые строчки: «...der Zeitungsredakteur bei der Division von Oberst Welichanow ist Major Polipow P. P.» [1]. Сжимая в кулаке черновик Валентика, Лахновский так и сел. «Неужели это тот Полипов, незабвенный Петр Петрович, так славно послуживший в свое время блаженной памяти неуклюжей российской охранке, прошляпившей и своего монарха, и всю его империю?! Неужели тот самый?»

...Все это было сегодня в середине дня, все это промелькнуло в голове Лахновского, пока он говорил с Федором Савельевым, поднимался по ступенькам крыльца дома, в котором жил Бергер, шел по недлинному коридору, тускло освещаемому висевшей на стене керосиновой лампой. Лахновский и шел в апартаменты наложницы зондерфюрера Рудольфа Бергера, с которой, как ему доложили, после бани пьянствовал Валентик, чтобы узнать поподробнее об этом Полипове.

Дверь в комнаты Шиповой была не заперта. Настежь была открыта и дверь, ведущая из коридора во внутренний двор, обнесенный высоким глухим дощатым забором, поверх которого была еще в несколько рядов натянута колючая проволока. Из этого двора слышался не то визг, не то стон самой Лики, приглушенный хохоток и говор Валентика. Лахновский поморщился, шагнул в прихожую Шиповой, оттуда в столовую. Там был невообразимый ералаш, стулья, кресла и диваны сдвинуты с места, ковер залит, стол завален бутылками, объедками, на одном из кресел валялось платье Шиповой, почему-то изодранное в лохмотья. Лахновский глянул в спальню — кровать стояла аккуратно убранная, белоснежная, нетронутая.

Он сел в одно из кресел, трость поставил между ног и по-стариковски сложил на нее обе руки.

Голоса Валентика и Лики стали приближаться, загремели в коридоре, в прихожей. И вот они ввалились в столовую, оба пьяные до изнеможения.

— А-а...— кивнул равнодушно Валентик, подошел, шатаясь, к столу, налил полстакана коньяку. Он был в исподней рубашке, в форменных немецких брюках, в комнатных тапочках Бергера.

---

[1] ... редактором газеты при дивизии полковника Велиханова является майор Полипов П. П.

Шипова видела, что в столовой кто-то сидит, но различить, кто же это, кажется, не могла. На ней была лишь нижняя шелковая, тоже немецкая, с обильными кружевами, рубашка, тесемка на одном плече лопнула, и грудь почти обнажилась. Волосы распущены, растрепаны, под глазами черные ямы. Она стояла у дверей, пытаясь натянуть клочок рубашки на грудь, хотя сквозь тонкое полотно вообще просвечивало все тело, молодое, стройное, крепкое. Она, эта развратница, была красива даже в этом своем скотском состоянии, и Лахновскому вдруг стало жалко ее.

— А если бы неожиданно господин зондерфюрер приехал? — спросил он.

— А-а...— пьяно отмахнулся Валентик, а Лика с облегченным вскриком: «Арнольдик!» — оттолкнулась от стены, шагнула к Лахновскому. Тот хотел было встать, но она обхватила его за шею, прижалась к нему, осадила обратно в кресло.

— Арнольдик... милый мой старичок! — выкрикивала Лика, целуя его.— Я ни с кем так не была счастлива, как с тобой. Почему все кончилось? Почему все кончается?!

И она, уткнувшись все еще свежим, несмотря на бесконечные кутежи, лицом в плечо Лахновского, зарыдала, вздрагивая горячим телом.

— Безобразница ты,— по-стариковски проворчал Лахновский, отталкивая ее.— Приведи себя в порядок. Если Рудольф неожиданно приедет...

— Ну и пусть! — с ненавистью вскрикнула Шипова, отскакивая.— Что он мне сделает? Пристрелит? Пусть, пусть, пусть!!

Она запрокинула голову с растрепанными волосами и громко, в истерике, захохотала.

Валентик нехотя подошел к ней, намотал ее волосы на кулак, дернул, повалил на пол, поволок безжалостно, словно это был набитый чем-то мешок, по комнате и швырнул на диван.

— Ты что это, проститутка вонючая?! — рыкнул он голосом зловещим и вовсе не пьяным.

Лика вжалась в угол дивана, подобрала под себя голые ноги, обожгла Валентика нездоровым взглядом.

— А ты кто?! —выкрикнула она ему в лицо. И повернулась к Лахновскому: — А ты? А все вы тут?! Я телом торгую, а вы чем?! Страной своей! Предатели вы-ы!

Валентик размахнулся, ударил ее, не жалея, кулаком в лицо. Лика от удара перелетела через валик дивана.

— Вста-ать! — взревел Валентик, стоя перед ней, сгорбившись, сжав кулаки. Спина его тряслась от гнева.

Она медленно поднялась, попятилась под его взглядом к стене, прилипла к ней спиной. И там вытерла ладонью окровавленный подбородок. Длинные, тонкие пальцы ее при этом дрожали.

— Мы, по-твоему, предатели, а ты кто? — спросил негромко Лахновский.

— Ты что... шпионка русская?! — прохрипел Валентик, колотясь от ярости.

Лахновскому казалось, что он сейчас кинется на Лику, одним ударом переломит ей позвоночник с хрустом, разорвет, как хищный зверь разрывает жертву.

Шипова стояла у стены вытянувшись, приподняв голову, глаза ее горели непокорно и зло.

— Не беспокойтесь, я не шпионка,— сказала она хрипло, с горечью.— Я такая же мерзавка... такая же скотина, как вы. Только еще отвратительнее, потому что женщина. У вас и у меня все внутри сгнило.

Кривобокий Валентик шагнул было к ней, зловеще нагнув голову, но она вскрикнула сердито и властно:

— Не прикасаться ко мне! Часового позову!

И, мотнув спутанными волосами, повернулась, прошла мимо оторопевшего Валентика в спальню, закрыла за собой дверь, звякнула задвижкой.

Валентик, какое-то время постояв в нелепой позе, с вытянутыми вперед обеими руками, опустил их, когда Шипова закрыла за собой дверь, шагнул к столу и еще выпил коньяку.

— Ее следует...— Он кивнул на запертую дверь спальни и одновременно почти чиркнул ребром ладони по своей толстой, распаренной баней и коньяком шее.

Лахновский лишь усмехнулся.
— Бергер не позволит. Она ему очень нравится.
— Она сломалась! Она может...
Лахновский встал.
— У нее в душе ничего целого никогда и не было. Как, впрочем, и у нас с тобой.
— Что-о? Вы... Ты что ж, тоже выдохся?
— Не тыкать мне, подонок! — взвизгнул Лахновский, приподнимая трость. Но Валентик не знал этого зловещего жеста и потому не побледнел, не обратил даже на его движение никакого внимания. Это Лахновского даже развеселило.— Не тыкать, а то я тебе ткну...
Собственные слова развеселили Лахновского еще больше, со странной, какой-то хищно-плотоядной улыбкой он шагнул к Валентику, держа трость на весу, острием книзу. Почувствовав наконец что-то необычное в поведении Лахновского, Валентик, не на шутку растерявшись, попятился к стене, пока не уперся в нее, как только что Шипова, спиной. Неуловимым движением Лахновский вскинул трость — острие уперлось чуть ниже левого соска, проколов рубашку. Валентик охнул, схватился обеими руками за холодный стальной стержень, но Лахновский чуть надавил и одновременно хохотнул скрипуче:
— Хе-хе... Пожалуй, не дергайся.
По белой рубашке Валентика потекла черная струйка крови.
— Арнольд... Михайлович?! — Лицо Валентика сделалось белым как мел.
— Вот что, милейший, объясню я вам,— так же скрипуче заговорил Лахновский.— У меня в армии двести таких подонков, как Леокадия... только мужского пола. Мы умные люди и должны понимать — другого человеческого материала у нас нет и не будет. Но скотина тем и удобна для человека, что лишена способности размышлять. Корову, к примеру, можно доить, с барана стричь шерсть. А при необходимости можно прирезать, мясо съесть, из шкуры сшить сапоги или полушубок. Это вы можете понять куриными своими мозгами? А какие сейчас сапоги с этой Шиповой?
— Арнольд Михалыч! — взмолился Валентик, все еще держась обеими руками за трость, впившуюся ему в грудь.— Я понимаю, понимаю...
— Опустите руки тогда! — приказал Лахновский.
Валентик повиновался.
— Вот так. А то до сердца сантиметр один... Ну-с, так вот что я хотел спросить. Что это за Полипов из газеты при дивизии полковника Велиханова? — Лахновский достал из кармана смятый тетрадный листок и показал Валентику.
— Не знаю. Я его никогда не видел. Он только что назначен редактором газеты. И на всякий случай я упомянул о нем в донесении.
— Ага... Молодец, что упомянул. Только донесение такого рода секретнейший документ. И черновики даже в моем кабинете не следует забывать.
Лахновский наконец выдернул трость из его тела.
— Сядьте к столу!
Валентик, сломленный, покорно сел, зажал ладонью неглубокую ранку, из которой сочилась кровь. Лахновский сел напротив, опустил маленькую голову с жиденькими и тонкими, как у ребенка, бесцветными волосами, с минуту молчал, о чем-то раздумывал.
— Ну что ж...— Он вздохнул и поднялся.— Если это тот человек, которого я когда-то знавал... то, возможно, такой нам и необходим.
— Для чего? — спросил Валентик.
— А пищу готовить. Поваром поставим.
Валентик понял, что задал глупый вопрос.
— Во всяком случае, я хотел бы с ним повидаться.
— Каким, интересно, способом? — спросил Валентик.
— Способ на войне в таких делах один. Надо без шума взять его и доставить сюда. Возможно, тебе это и поручим...
Тыкая острием трости в крашеные половицы, Лахновский, сгорбив спину, пошел к двери. На ходу, не оборачиваясь, сказал:
— Сходи в лазарет, пусть тебе ранку йодом помажут.

* * *

Военная судьба Петра Петровича Полипова до середины 1943 года была легкой и даже приятной. Оказавшись в армии, он сразу же был аттестован в звании батальонного комиссара, но был отправлен, к его, надо сказать, удивлению и даже при некоторых попытках воспротивиться этому, не в действующую армию, а глубоко в тыл, в Узбекистан, под городок Термез, где находилась одна из горнострелковых дивизий, и стал ответственным редактором дивизионной газеты.

Части и подразделения дивизии располагались в каменистом ущелье невысокого горного хребта. Место было до того знойное, камни до того накалялись, что, прислонившись как-то голым плечом к пышущей жаром глыбе, Полипов вскрикнул невольно от резкого ожога, а через некоторое время обнаружил на плече порядочный волдырь.

Потом ему сказали, что здесь бывает самое жаркое лето в стране, температура в 50 градусов самое обычное явление, но старики утверждают, что жара бывает и намного выше, однако измерить ее нет возможности, ибо нет, не существует соответствующих термометров.

— Что и говорить, райское местечко,— буркнул, обливаясь потом, редактор.

Однако вскоре он убедился, что место это не такое уж гиблое. Адская, невыносимая жарища стояла лишь в середине дня, несколько часов. Жизнь на это время замирала вокруг, притихала даже в дивизии, люди прятались от солнца. А в первой половине дня было вполне терпимо, во второй же, особенно ближе к вечеру, вообще разливалась приятная прохлада, горы делались синими, в разных местах хребта в небо поднимались столбы дыма, тоже синие,— жители кишлаков готовили ужин.

Дивизия жила обычной жизнью, шли обычные занятия по боевой и политической подготовке, о чем и должна была писать газета. В штате редакции кроме Полипова было еще три человека — заместитель редактора, ответственный секретарь и литсотрудник в званиях младших политруков. Была еще машинистка, чьи обязанности выполнял молчаливый и угрюмый боец срочной службы узбек Рашидов, местный уроженец, который печатал материалы с грубыми орфографическими ошибками, но зато был непревзойденным мастером по приготовлению плова и шашлыков. С его кулинарными способностями Полипов познакомился в первый же день по прибытии на место службы, на ужине, которым подчиненные угостили нового своего редактора. Полипов выпил стакан небывало вкусного домашнего вина, нацеженного прямо из бурдюка, оглядел со всех сторон эту никогда раньше не виданную им тару и спросил, кивая на стол:

— Откуда все это? Где взяли?

— У Рашидова ж все горы набиты родичами та знакомыми, как подсолнухи семечками,— сказал ответственный секретарь, усатый украинец с хитрыми глазами.— И он иногда у нас, как бы сказать... обеспечивается.

— Как это понять? Каким образом?

— Ну-у... присылают они, так сказать.

— Свежее мясо и вино в бурдюках по почте? Или на ишаке привозят?

Ответственный секретарь отвел в сторону свои хитрющие глаза, а Полипов строго сказал:

— Прекратить! Чтоб я не видел больше этого безобразия. Здесь воинское соединение, а рядом граница. Время военное!

— Будет сполнено,— сказал украинец.

Однако «сполнено» ничего не было. Рашидов частенько с ведома, как потом выяснилось, то одного, то другого младшего политрука отлучался в «увольнительную», ходил в горы, приносил оттуда всякую снедь, вино, фрукты.

— Я, кажется, приказывал прекратить! — несколько раз пытался будто пресечь подобные дела Полипов. И каждый раз хитрющий секретарь отвечал ему своим «будет сполнено», понимая, что редактор говорит это по обязанности, на всякий случай. К вину он, правда, был равнодушен, но плов, шашлыки и фрукты употреблял с большим удовольствием.

Где-то шла тяжелая, кровопролитная война, а здесь было тихо и спокойно, сразу же за Термезом, за мутной и могучей Амударьей, простирался мирный Афганистан, который никогда не доставлял никаких хлопот пограничникам. И тре-

воги, по которым частенько поднимали части и подразделения горнострелковой дивизии, были чисто учебными.

За несколько месяцев такой жизни Полипов, что называется, капитально отдохнул, почернел под южным солнцем. Он и раньше был полным, а теперь, к своему беспокойству, почувствовал, что тяжелеет еще больше, живот и плечи заплывают жирком.

— С шашлыками вашими! — бурчал он все чаще, обтирая платком мокрые, лоснящиеся щеки, стал подолгу заниматься утрами физкультурой.

— Це не поможет,— шевелил усами секретарь.— Туточки хорошая баба требовается. Да где взять...

— Разговорчики! — прикрикивал Полипов.— «Требовается»...

Да, Полина не давала ему зарасти жирком, думал он все чаще. Чего-чего, а тут она была на высоте. Как она там? С женой Антона Елизаветой Никандровной вместе работает теперь... С чего это жена Антона пошла работать? Жить, что ли, после смерти Антона не на что? И здоровье ведь ни к черту у нее.

Когда Полина сообщила о гибели Антона Савельева, какое-то странное чувство охватило Петра Петровича. Появление Антона с семьей в Шантаре его обеспокоило и напугало даже. Старое, которое он хотел или желал бы забыть, и без того напоминало о себе каждодневным присутствием рядом Полины, тем, что где-то жив еще Лахновский, иногда присылающий ей какие-то письма. А теперь вот еще и сам Антон объявился, и Лиза... И потому известие, что Антона больше нет на свете, его не то чтобы обрадовало — просто какая-то тяжесть, незримо лежавшая на плечах, сразу свалилась. Он испытывал и жалость к Антону, к Лизе, и одновременно приятное облегчение. Но то обстоятельство, что Лиза стала работать в библиотеке вместе с Полиной, что они будут видеться каждый день наедине, вдруг его опять насторожило, обеспокоило. «Хотя в общем что здесь особенно опасного? — размышлял он.— И все-таки... и все-таки лучше бы им не бывать вместе. А еще лучше... Здоровье-то у нее...»

Но на этом месте своих размышлений Петр Петрович обычно морщился, чувствовал раздражение, усилием воли заставлял себя думать о другом. Нет, смерти жене Антона он сознательно не желал. Но где-то в глубинах его существа, помимо разума и желания, все-таки само собой жило, затаившись, неприятное ожидание этого. И, ощущая такое, он усмехался про себя мрачно и желчно: «Чувство самосохранения, как у животного...» И нередко при этом раздумывал: да люди — животные... Нет-нет, пусть Лиза живет. Что она? Лахновский вот бы окочурился! Живучий, как хорек, сволочь. Как все было бы славно и нормально, не попадись когда-то на его пути этот страшный человек. Совсем, совсем по-другому бы сложилась его, Петра Петровича Полипова, жизнь — жизнь преуспевающего большевика с дореволюционным партийным стажем. Хорошие, большие должности, материальное благополучие... Именно страх перед возможным разоблачением прошлого заставлял его в общем-то жить в тени, не особенно выпячиваться. А тут еще объявилась в его жизни Полина, дочь Свиридова, бывшего следователя белочешской контрразведки, в лапы которого бросил его Лахновский. Тут уж совсем не разгуляешься. И он, Полипов, из этого чувства самосохранения делал, видимо, такие поступки, которые и были причиной того, что он в скором времени вынужден был не по своей воле покинуть Новосибирск, оказался в Шантаре, в глубинном районе Сибири, на должности секретаря райкома партии, потом скатился еще ниже и вот в силу и вследствие в общем-то тех же обстоятельств оказался здесь, под Термезом, в забытом богом и чертом краю земли, где даже камни рассыпались в песок, прожженные беспощадным солнцем.

«Хорошая баба требуется...» — нередко всплывало почему-то в размягченном жарой мозгу Полипова, и он думал, что это бы хорошо, она ему давно требуется, и Рашидов, молчаливый долговязый узбек, обеспечил бы все это в лучшем виде, да только он не может себе позволить такого. Судьба, как он полагал, всю жизнь была не очень ласкова к нему, но сейчас повернулась более или менее благосклонной гранью — тут жарища и духота невыносимая, но не свистят же пули, не рвутся снаряды,— и будет просто неразумно испытывать ее. «Опять чувство самосохранения?!»— все-таки царапало где-то у него внутри неприятно. Но он отмахивался от этой мысли как от чужой и посторонней ему. Он думал иногда о Кружилине, о Субботине, вспоминал последний, очень неприятный разговор с сек-

ретарем обкома партии у себя в кабинете, в Шантаре. Вспоминал самое Шантару, эвакуированный завод, суматоху с его восстановлением, с размещением беженцев,— но все это казалось ему уже очень далеким, когда-то промелькнувшим в его жизни и навсегда ушедшим за какую-то грань, откуда ничто не может возвратиться.

Непривычная жара, расплавив мозги, как-то притупила у него и реальное восприятие действительности. Поэтому Полипов, когда однажды его вызвал к себе начальник политотдела дивизии и объявил, что получен приказ об откомандировании его в резерв политсостава одной из действующих армий Центрального фронта, не сразу сообразил, что военная судьба его круто меняется...

...В первой половине июля 1943 года Полипов уже в звании майора прибыл в расположение 215-й гвардейской стрелковой дивизии, действующей на орловском направлении, по всей форме доложился начальнику политотдела дивизии, затем начальнику штаба и комдиву. А спустя два часа принял дивизионную газету «За Родину!».

* * *

Дивизионка располагалась километрах в двух от передовой, в каком-то хуторе или бывшей колхозной бригаде, состоявшей из большого сарая и трех домов, два из которых недавно сгорели. Между сараем и уцелевшим домом торчал колодезный журавель. Сюда и подошел Полипов, достал воды и припал к помятому ведерку, обжигающему холодом губы.

— Товарищ майор... Полипов? — спросил молодой парнишка в погонах сержанта, появившийся из сарая.

— Я...

— Товарищ старший лейтенант! Новый ответредактор прибыл! — заорал сержант, как оказалось, водитель автофургона, в котором размещалось все типографское оборудование — печатная и бумагорезательная машины, наборные кассы.

Из дома, застегивая на ходу гимнастерку, брякая медалями, выскочил черный, как ворон, старший лейтенант, вытянулся.

— Товарищ майор! Сотрудники газеты «За Родину!» готовят очередной номер. Заместитель редактора старший лейтенант Горохов.

— Не сотрудники, а личный состав! — поправил Полипов, стараясь не глядеть на медали, на орден Красной Звезды с потрескавшейся эмалью, чувствуя неловкость и раздражение оттого, что его грудь пустынна, как осеннее поле, нет на ней ни ордена, ни хотя бы даже медали.— И потом — почему не попросите предъявить документы? Вы же меня не знаете.

— Так... звонил же начальник политотдела о вас, о вашем прибытии.

Действительно, недавно начальник политотдела дивизии, сообщив, где разыскать редакцию, обещал туда позвонить, чтоб ждали нового редактора, прибавив при этом: «Телефонная связь с газетой сегодня имеется. По прибытии в редакцию доложите».

— Все равно,— хмуро сказал Полипов.— Ну, пошли знакомиться с сотрудниками.

— Сейчас в наличии кроме меня наборщики и шофер.— Горохов кивнул на сарай. Дощатые ворота его были распахнуты, внутри виднелся черный автофургон.— Остальные с утра на передовой, собирают материал в номер. С минуты на минуту должны вернуться.

Полипов посмотрел на небо и, хотя в нем в тот день было пусто, тихо и мирно, подумал: «На передовой... Да, тут не Термез... Бывший редактор газеты погиб еще в марте, участвуя в атаке, рассказали в штабе дивизии. Хотел очерк написать о героическом поведении бойцов в бою». И ему теперь придется... Ну что ж, он покажет, обязан показать, раз ему рассказали о гибели бывшего редактора, что и он, Полипов, не из трусливого десятка. Только вот с писанием у него не очень легко и гладко получается. Не такое простое дело, оказывается...

— Значит, не готовится еще номер...— произнес Полипов и опять почувствовал раздражение, потому что Горохов, вскинув брови, возразил:

— Как же, раз там ребята... Самый свежий материал будет завтра в газете. Остальное все набрано или набирается. А я заканчиваю передовицу...

— Хорошо. Показывайте хозяйство.

Показывать особенно было нечего. В доме, где расположились на временное житье фронтовые журналисты, было грязно, тесно и неуютно. Это был, собственно, не дом, а большая изба с темными просторными сенями, где пахло дегтем, хомутами и какой-то прелью, валялись запыленные ящики и кадушки. В единственной комнате с побитыми стеклами окошек, в которые тек горячий запах полынных степей и залетали мухи, стояло два некрашеных крестьянских стола, по стенам развешаны в беспорядке потрепанные, видавшие виды шинели и плащ-палатки, на которых фронтовые журналисты спали где придется, на подоконниках валялись алюминиевые тарелки, кружки, в одном углу стояло два автомата, в другом — прикрытый стеганой телогрейкой радиоприемник.

Полипов оглядел все зто, сел за скрипучий стол, за которым, видимо, только что работал Горохов, скользнул взглядом по листу бумаги, наполовину исписанному, спросил зачем-то:

— Пишущая машинка в редакции имеется?

— Никак нет, товарищ майор. Был худенький «Ундервудишка», да в него осколок попал, выбросили. Теперь с рукописного текста набираем. Ничего...

«Ничего...» — мысленно повторил Полипов и снова подумал, что зто не Термез. Там редакция располагалась в сложенном из каменных плит здании. В прохладном полуподвале была типография, наверху в одной из комнат — редакция, в другой жили Рашидов, начальник типографии по званию старший сержант и двое наборщиков. Жилье творческого состава газеты находилось во дворе этого дома, все занимали по комнате, спали, правда, на деревянных топчанах, но зато на чистых простынях и настоящих подушках.

Полипов посидел, побарабанил пальцами по столу, молча поднялся, вышел из избы, зашагал к сараю. Возле стенки, на нежарком еще припеке, двое солдат в расстегнутых, без ремней, гимнастерках, установив на каких-то чурбаках наборные кассы, производили набор. Увидев офицеров, они, не выпуская из рук верстаток, вытянулись.

— Здравствуйте, товарищи,— сказал Полипов, стараясь своему голосу придать приветливость, оглядывая, однако, их осуждающе.

Наборщики враз ответили на приветствие.

— Вид-то какой у вас,— промолвил Полипов.— Нехорошо... Ремни хотя бы наденьте.

И зашел в сарай.

Там было довольно светло, в широкие проломы в стенах потоками лилось солнце.

Сержант, возвестивший о прибытии нового редактора, копался в моторе трофейного автофургона, рукава его гимнастерки были засучены по локоть.

— Что, ремонт? — спросил Полипов, оглядывая кабину.

— Никак нет, товарищ майор. Профилактика. Это трофейная драндулетина без профилактики не ездит.

— Давали нам новую машину ЗИС-5. Бывший редактор отказался. Правильно, по-моему. Эта крытая все же,— сказал Горохов.— От дождя, от снега... А раньше была полуторка, намучились.

Полипов на это ничего не ответил, обошел вокруг пузатую, неуклюжую машину, открыл дверные створки фургона, помятые, видимо когда-то сорванные взрывом, а теперь кое-как выправленные и приваренные к стенкам большими воротными петлями, по железной стремянке поднялся внутрь. Горохов проскочил вперед, зажег аккумуляторную лампочку. Полипов оглядел знакомое нехитрое типографское оборудование.

— Движка нет? — кивнул он на печатную машину, точно такую же допотопную «американку», какая была у них в Термезе.

— Никак нет. Вручную крутим. Да и чего с ним, с движком? Потаскай его... Сегодня мы здесь, завтра — неизвестно где. Бои начались. Это вот сегодня с утра спокойно...

— Бои начались,— проговорил Полипов как можно равнодушнее, делая вид, что война для него дело привычное, и опять испытывая раздражение оттого, что

этот долговязый старший лейтенант знает, конечно, что он прибыл сюда из армейского резерва политсостава, видит и понимает, что ни в каких боях он еще не участвовал, передовой не нюхал...

Горохов стоял рядом и ждал вопросов, всем видом показывая, что готов ответить на любой.

На бумагорезательной машине лежало несколько газетных небольших листков. Полипов взял один из них.

— Это вчерашний номер,— сказал Горохов.

— Ага... — Полипов пробежал заголовки первой полосы, стал читать какую-то заметку. Читая, он поджимал губы, будто сомневаясь в подлинности напечатанного.

— Это мой материал,— сказал Горохов смущенно, полагая, что Полипову не понравился текст.— Написано, конечно, не ахти, но ребята...

Полипов молча положил газету, спустился из фургона по стремянке, вышел из сарая.

Небо по-прежнему было пустынным и чистым — ни дымка в нем, ни облачка. Полипов вспомнил последнее боевое учение в Термезской дивизии в условиях, приближенных к боевым, многозначительно поглядел на небо.

— Вот что, старший лейтенант,— проговорил он, угрюмо нахмурившись.— Здесь фронт, и бои, как вы справедливо отметили, начались. А если бомбардировщики налетят? В любое ж время боевые действия могут разгореться... А?

— Могут, товарищ майор,— подтвердил Горохов.

— Так что же вы?! — построже произнес Полипов.— У вас «Ундервуд» вон осколком пробило... Вы что, хотите дивизию без газеты оставить? Немедленно вывести машину из сарая и замаскировать. Тщательно. Кругом почти голая степь, а этот сарай — цели лучше и не придумаешь. Вон там я видел какой-то овражек... И для приемника оборудовать надежное место. Кто радист?

— Шофер наш, сержант Климов. По совместительству. Штатной единицы нет...

— Безобразие! — буркнул Полипов.— Начнутся боевые действия — телефонная связь сразу нарушится. Радист... или кто-нибудь всегда у рации должен быть!

Так началась служба Полипова на фронте. Началась не очень как-то складно; еще подходя к расположению редакции, он почувствовал, что естественные и простые отношения с новыми подчиненными ему будет наладить, видимо, не просто. В газете, как ему сказали в штабе дивизии, служат люди с большим фронтовым стажем или давно обстрелянные. А он покуда прохлаждался в глубоком тылу. Шагая по редким перелескам, потом по степи, пересекая неглубокие овражки и балки, чувствовал себя неуютно и каждую секунду был настороже. Линия фронта, всякие дивизионные службы остались позади, кругом безлюдье, и Полипова не покидала мысль, что в такой-то вот прифронтовой полосе вражеским разведчикам проще всего взять «языка». Вот дорога спускается в ложок, а там, на повороте, торчит куст. Выскочат из-за куста, сбоку, навалятся — и готово.

Изредка навстречу люди все-таки попадались. Прошел, козырнув на ходу, боец с автоматом, с перевязанной кистью левой руки,— видимо, возвращался из расположенного где-то неподалеку санбата. Проехал фанерный фургончик, обдав запахом свежевыпеченного хлеба, возница, пожилой солдат с морщинистым лицом, поравнявшись, скосил глаза на Полипова, молча и нехотя кивнул...

Полипов давно вынул пистолет из кобуры, снял с предохранителя, переложил в брюки и, подходя к подозрительному месту или завидя кого-то, совал на всякий случай руку в карман.

Всю дорогу в штаб дивизии и теперь вот сюда, к месту непосредственной службы, он думал о том, как ему с первых же минут поставить себя с подчиненными. Главное, размышлял он, сразу же создать атмосферу простоты и доверия. Люди в редакции, как он и предполагал и как подтвердили в штабе дивизии, бывалые, опаленные огнем. Может быть, по прибытии собрать всех, запросто представиться, искренне сказать, что вот, мол, ребята, человек я немолодой, но так судьба военная сложилась, что на фронте я еще не был, а вы волки стреляные, так что помогайте мне обвыкнуть. Делать, мол, нам общее дело, которое поручила в этот тяж-

кии час Родина... И всем такое его поведение, конечно, понравится. Да, только так и надо, решил в конце концов он.

Но решить-то решил, а получилось вон как. И все его планы и намерения, думал Полипов, сидя в грязной избе за столом и листая подшивку газеты, спутал и разрушил этот горластый сержант Климов, заоравший во всю силу: «Новый ответредактор прибыл!» Черт-те что! Так, помнится, ребятишки в Новониколаевске кричали на всю улицу, завидев бродячих артистов: «Циркачи приехали!» И сам он кричал. А тут еще эти брякающие медали Горохова! Не сам же он, Полипов, в тыл напросился, в этот проклятый Термез, где медалей не выдавали, где никого не награждали... Ну о чем думает сейчас этот Горохов? Сидит вон, нахохлился, как грач, забыв про свою передовицу. О том, что вот, мол, не успел заявиться новый ответственный редактор и уже устроил разгоняй, заставил укрыть автофургон, рацию... Но ведь он все сделал как положено.

Горохов действительно сидел за соседним столом молча, смотрел в начатую рукопись, но не писал, вертел в руках авторучку. Авторучка была у него хорошая, трофейная, ослепительно поблескивала никелированным наконечником. И этот блеск, как недавно звон медалей Горохова, опять вызвал у Полипова вспышку раздражения.

— Два дня живете здесь, а как... в свинарнике! — произнес он, захлопывая подшивку.— Надо хотя бы элементарную чистоту навести в помещении.

— Слушаюсь. Сейчас будет сделано,— хмуро сказал Горохов, встал и вышел.

«Что же это я?! — запоздало пытаясь взять себя в руки, подумал Полипов.— Теперь-то уж совсем... совсем не установить мне с ними контакта. Трудно мне будет здесь служить...»

Через день Полипов Петр Петрович, выпустив за своей подписью первый номер дивизионной газеты, получил звучную и неприличную кличку Триппер.

* * *

Кличку он эту получил благодаря фантазии литсотрудника Саши Березовского — никогда не унывающего младшего лейтенанта, толстощекого, румяного, как яблоко, начиненного энергией, словно порохом, который то и дело взрывался, любившего больше всего бывать на передовой во время боя, на самых жарких огневых позициях, и рассказывать о своих необыкновенных любовных приключениях. Материалы с передовой он всегда приносил самые нужные, делал их быстро и интересно, а любовным похождениям его никто не верил. Более того — в отношениях с женщинами он был робок и застенчив.

Когда вышел первый номер газеты, подписанный: «Ответственный редактор П. П. Полипов», Березовский воскликнул:

— Смотрите, ребята, что получается! Целых же три «пэ» в подписи!

— Ну и что?

— Фантазии нету! Мозги не работают, сахару мало едите. Три пэ... Сокращенно если — трип. А полностью?

— Полностью будет — триппер, товарищ младший лейтенант,— угрюмо, без улыбки, сказал сержант Климов, которого Полипов успел распечь за халатное отношение к машине, что было несправедливым, ибо за драндулетиной своей сержант ходил, как за малым ребенком.

Раскатился сдержанный, правда, хохоток, потому что присутствующий здесь же старший лейтенант Горохов обрезал Березовского и Климова:

— Будет вам.

Однако, взяв газетный листок, глянул на подпись и тоже улыбнулся, отходя.

На другое утро Березовский обратился к Полипову:

— Товарищ майор! Говорят, в нашу дивизию штрафная рота прибыла, в деревне Малые Балыки остановилась. Разрешите туда смотаться? Это недалеко.

— Зачем?

— Штрафная рота же... Интересно. Никогда не встречал штрафников. Разрешите в бой с ними сходить?

— Что за несерьезность такая! — сказал Полипов, повернувшись почему-то к Горохову.— Не хватало еще штрафников прославлять в газете. Мало разве настоящих героев, достойных освещения в печати? А штрафники — это заключенные. Вы встречали когда-нибудь в прессе материалы о штрафниках?

— Да нет будто,— сказал Горохов.

На другой день дивизия вступила в бой, по горизонту поднялись дымы, гром пушек и разрывы бомб глухо докатывались даже сюда, в расположение редакции. Прифронтовая полоса ожила, туда, к линии огня, шли и ехали войска, грузовики с боеприпасами, двигалась различная техника, оттуда везли раненых, одних размещали в недалеко расположенном медсанбате, других отправляли куда-то дальше. Рев автомобильных и танковых моторов, суматоха, крики, ругань... Все это было для Полипова внове, все это оглушало и ошеломляло, рождало неясный страх. Но всего этого он пытался не показывать, сидел в комнате и сосредоточенно вычитывал рукописи и гранки...

Через несколько дней, когда стало чуть потише, в расположении редакции появился однажды под вечер рослый, голубоглазый артиллерийский подполковник с толстыми, немножко тронутыми сединой усами, в роговых очках. Он приехал на попутной машине, предъявил удостоверение спецкора армейской газеты на имя Кузина Григория Егоровича, выданное ему всего три дня назад. На поясе у него, рядом с пистолетной кобурой, торчал нож в чехле, с другого боку болталась саперная лопатка, тоже в чехле из шинельного сукна.

На крыше сарая, освещенного последними лучами солнца, шумно дрались воробьи. Кузин долго смотрел на них, потом сказал, улыбаясь:

— Ах, черти! Война войной, а природа неистребима. У меня в московской квартире три кенара осталось и два попугайчика. Жена пишет, что попугаи и два кенара уже околели — нечем кормить. Третий приучился есть картошку. Голод не тетка.

— Как там фотокорреспондент Миша Соцкий поживает? — спросил Горохов.

— Соцкий? Это какой он из себя? Я всего три дня в газете...

— Такой... среднего роста, белобрысый. В звании старшего лейтенанта.

— Ничего, наверное. Но, откровенно говоря, я не успел со всеми там познакомиться. Вчера в обед уехал еще из редакции. Побывал в соседней с вами дивизии да вот решил в вашу заглянуть. Началось, немцев за Жерехово отогнали. А завтра на этом участке, по имеющимся у меня данным, тоже кое-что интересное предполагается. Хочу поприсутствовать, как говорится... Вы, Петр Петрович, я слышал, тоже в своей редакции недавно?

— Да, несколько дней. На передовой вот даже не удалось еще побывать.

— Ну это не уйдет,— сказал Кузин.— А знаете что? Пойдемте со мной? Обстреляемся вместе, примем крещение и на этом фронте. Вообще-то, я, считай, с первого дня по фронтовым газетам. И в дивизионке полтора года служил.

Кузин был говорлив, улыбчив, улыбка у него была добрая, мягкая, чуть даже извинительная.

— Ну, так как, товарищ майор? Поедем? Принять крещение чем скорее, тем лучше.

Рядом молча стояли Горохов и Березовский. И Полипов понимал — под каким бы предлогом он ни отказался, авторитет свой уронит окончательно.

— Пожалуй, и пора принять,— сказал он, улыбаясь как можно проще.— Поужинаем только! Что там у нас с ужином?

— Я послал на ахэчевскую кухню,— сказал Горохов.

— Поесть солдату никогда не мешает, — произнес Кузин, потирая рукой левое плечо, которое было чуть ниже правого.

Даже Яков Алейников, окажись он тут, не сразу признал бы в усатом подполковнике бывшего своего подчиненного и начальника краткосрочной школы разведчиков и подрывников при фронтовой спецгруппе Алексея Валентика. Разве что по этим разновеликим плечам да по голубым глазам, светившимся за стеклами очков. Но встречу с ним Валентик, еще на рассвете перешедший линию фронта, считал маловероятной. Целый день он пролежал в глухом овраге, забившись в заросли крапивы и каких-то жестких кустарников, борясь с дремотой. Глухое-то место глухое, но во сне он храпел, и черт его знает, кого могло по случайности занести в этот овраг. Но день прошел спокойно. Когда солнце покатилось к горизонту, он вынул из кармана и нацепил очки с обыкновенными стеклами, выбрался из своего убежища и, зорко поглядывая по сторонам, вышел на заросший травой проселок. Примерно через полчаса его догнала пустая полуторка, возвращающая-

ся с передовой. Валентик остановил ее, приветливо улыбаясь, представился шоферу, пожилому солдату с усталыми и воспаленными глазами, протянул удостоверение.

— Не знаешь, отец, где дивизионная газета располагается?

— Эти... писатели, что ли? — спросил шофер. Удостоверения он не взял, только кивнул головой, прикрытой грязной, засаленной пилоткой.

— Примерно... фронтовые журналисты.

— Рядом с нашей АХЧ, говорили. На сгоревшем хуторе, что ли... Садись.

За ужином Кузин опять рассказывал о довоенной московской жизни, упоминал имена известных столичных журналистов и писателей, с которыми, так или иначе, сводила его судьба. Некоторые из этих имен, слышанные когда-то Полиповым, всплывали теперь в памяти, он с завистью глядел на Кузина, а потом и сказал откровенно:

— Завидую вам, подполковник. Интересная жизнь. В самой гуще, так сказать...

— Да, Петр Петрович, не сбоку припека,— не стал скромничать и Кузин.— Хотя, конечно, я не Стеклов или, скажем, Кольцов. То были журналисты международного класса. Но, в общем, ничего. Война нашему брату-газетчику сейчас много дает. Открывает великие творческие горизонты... Есть у меня мечта — после нашей победы засесть за книгу о фронтовых журналистах. С кем, как говорится, встречался, с кем общался... Увековечить скромный, но так необходимый для дела великой нашей победы труд фронтового газетчика...

Все это Кузин-Валентик говорил не без умысла, чувствуя, что Полипов, согласившийся пойти с ним на передовую, может от этого под каким-то благовидным предлогом и отказаться. И пути для отступления ему надо было отрезать.

— А вы, Петр Петрович, откуда родом? Где до войны работали?

— Да я что же?— скромно пожал плечами Полипов.— Был на советской и партийной работе. Долгое время трудился первым секретарем сельского райкома партии. Я коренной сибиряк.

— Ну-у! — воскликнул подполковник, и глаза его вспыхнули.— Ах, как я мечтал побывать в этом легендарном краю! Алексей Максимович Горький все любил повторять: удивительные люди там живут! И тоже, как я, грешный, все хотел поехать в Сибирь, да так и не успел... А сибирские дивизии что под Москвой сделали, а?! Спасли, можно сказать, столицу!

— Это вы уже через край,— усмехнулся простенько Полипов.— Не одни сибиряки под Москвой воевали.

— Да, это так, разумеется. Ничего, история разберется, все оценит. Ну-ну, расскажите мне чуток о своей жизни.

— Да что в ней интересного? Борьба, работа... И тюрьмы, конечно.

В глазах Кузина за стеклами очков мелькнуло удивление, настороженность. Он тихонько потрогал свой ус, спросил:

— Какие, простите, тюрьмы?

Полипов, чувствуя, как все его существо заливает волна удовлетворения, понимая, что сейчас сразит этого хвастливого подполковника, в жизни, видимо, удачливого, наповал, еще немного помолчал и как бы нехотя произнес:

— Известно, какие тюрьмы... Царские. Потом белочешские.

— Что вы говорите?!

— Да... Мы там, в Сибири у себя, с азов начали. С организации социал-демократических кружков в массе рабочих. Ну, а историю гражданской войны в Сибири вы знаете. Белочешские контрреволюционные выступления, Колчак...

Настороженность в глазах у Кузина исчезла, а удивление осталось. Полипов сразу же отметил это, усмехнулся про себя.

Неподалеку затрещал, приближаясь, мотор. Кузин сразу же повернул на звук голову. Полипов встал, подошел к окошку, увидел Сашу Березовского, подъехавшего на каком-то черном мотоцикле с коляской. Его окружили наборщики, сержант Климов, мелькнул потом Горохов.

— Что это такое? — спросил Полипов, открыв окно.

— Сейчас, товарищ майор!— крикнул Березовский, пошел к крыльцу.

— Опять что-то выкинул этот Березовский,— проговорил Полипов недовольно.

Березовский меж тем влетел в комнату, вытянулся у дверей.
— Товарищ подполковник! Разрешите обратиться к товарищу майору?
— Ну, между своими-то зачем уж эта официальность? — улыбнулся Кузин.— Обращайтесь...
— Товарищ майор! У автотранспортников одолжил,— кивнул Березовский за окно, где стоял мотоцикл.— Трофейный. Разрешите довезти вас до войск? Мне ж тоже надо на передовую. К завтрашнему номеру кое-что подсобрать...
Кузин, оглядывая Березовского, молча пошевеливал бровями.
— Хорошо, Березовский,— сказал Полипов.— А нельзя этот мотоцикл вообще забрать для редакции?
— Так вы попросите в штабе дивизии. Чего ж нельзя...
— Хорошо, идите. Мы сейчас.
Через несколько минут они выехали. Полипов предложил Кузину место в коляске, сам неловко взгромоздился позади Березовского.
Когда усаживались, Кузин спросил:
— Выходит, Петр Петрович, что вы член партии с дореволюционным стажем?
— Да...— ответил Полипов, поймав любопытный взгляд Березовского.— Осенью 1905 года я, будучи почти мальчишкой, уже в Новониколаевской тюрьме сидел.
— Это где же?
— Новониколаевск? Да теперешний Новосибирск.
— Ах, да...
— А в девятьсот восьмом году снова. Но это было уже в Томске.
Больше Кузин ничего не спрашивал, сидел в коляске, о чем-то задумавшись. Полипов, чувствуя, как поскрипывают под ним пружины сиденья, тоже молчал. В голове сами собой ворошились мысли, что, если этому Кузину удастся написать свою книгу, вовсе нелишне, если в ней будет фигурировать и он, Петр Петрович Полипов. «Неплохо, неплохо, что Кузин забрел в редакцию. Конечно, теперь он будет внимательно следить за мной, надо не ударить в грязь лицом, пойти на самые передовые рубежи... хотя бы и немцы наступать начали... Это бы даже хорошо, если бы начали. И Березовского — с собой. Пусть все узнают в редакции, что я не робкого десятка. И что я еще в девятьсот пятом в тюрьме сидел, потом в девятьсот восьмом... Березовский не утерпит, раззвонит. И все неловкости, неизвестно даже, как и почему возникшие в день прибытия в редакцию, забудутся навсегда...»
Так думал Петр Петрович Полипов, не подозревая, что в его жизни с каждой секундой приближается новый, неожиданный поворот, причиной которого являются давние-давние поступки, совершенные именно в те годы, о которых он сейчас говорил и вспоминал.
На каком-то подъеме мотоцикл затрещал сильнее, и это будто вывело подполковника Кузина из задумчивости. Он вскинул голову, огляделся. Солнце давно село, закат розово догорал, краски с каждой минутой блекли, светло-серое вечернее небо было прошито тонкими звездами, на востоке уже довольно густо, на западе пореже.
Кузин достал из полевой сумки фонарик, карту и, освещая ее, начал рассматривать. Потом спрятал то и другое, проговорил:
— Саша, тут сейчас проселок будет. Сверни-ка на него.
— А зачем? Тут же прямее. А там какой-то овраг объезжать.
— Я от ваших соседей связывался с командиром вашей дивизии полковником Велихановым. Он куда-то сюда хотел свой КП перенести. Разыщем его сперва.
Ни Березовский, ни тем более Полипов в этих словах ничего не заподозрили, и, когда подъехали к проселку, Березовский свернул на него, мотоцикл понесся темной степью, фары в прифронтовой полосе зажигать было запрещено. Березовский напряженно вглядывался во мрак, чтобы не сбиться с затравеневшей, едва приметной дороги.
Не достигая метров тридцати до оврага, проселок раздваивался.
— Куда ж теперь? — обернулся Березовский, притормаживая.
— Остановись. Сейчас разберемся,— сказал Кузин.
Все сошли с мотоцикла. Кузин осмотрелся и произнес:
— Черт! Неужели это не тот проселок?

— Я эти места знаю, товарищ подполковник,— сказал Саша Березовский.— Вот эта дорога в Малые Балыки пошла. А эта — в обход болота. Тут болотища тянутся на много километров...

Это были его последние в жизни слова. Едва он замолк, Кузин левой рукой тронул его за плечо, кивнул на звездное небо:

— Гляди-ка...

Березовский запрокинул голову, Кузин мгновенно выхватил нож и всадил ему в голое горло. Младший лейтенант лишь коротко простонал и рухнул, чуть не задев тоже глянувшего в небо Полипова.

Какие-то секунды Полипов, не в состоянии оценить и понять случившееся, чувствуя лишь, как цепенеет и становится холодным его мозг, смотрел вниз, на Березовского, а когда поднял голову, увидел не самого Кузина, а пистолет в его руке. В уши начала больно звонить кровь, и сквозь этот звон он расслышал:

— Спокойно, сибиряк!

Ноги его подломились, и он упал бы, если бы не оперся о коляску мотоцикла.

— Сибиряк... с печки бряк,— еще раз насмешливо произнес Кузин-Валентик, шагнул к Полипову.— Повернись спиной! Подними руки.

Полипов повиновался. Валентик выдернул у него из кобуры пистолет, отстегнул с ремня такую же, как у него самого, саперную лопатку. Эту лопатку он сам и посоветовал ему недавно взять с собой, объяснив: «Мало ли в какой переплет наш брат-газетчик попадает. Спасительница, руками ж не окопаешься. К тому же холодное оружие, если что...»

Обезоружив Полипова, он тем же насмешливым голосом проговорил:

— Ну, а теперь спроси чего-нибудь.

И, будто повинуясь, Полипов выдавил хрипло, через силу:

— Что... все это значит?

Валентик снял очки и отшвырнул их далеко в сторону. Потом отодрал усы, но выбрасывать их не стал, а сунул в карман брюк.

— Что... все это значит? — опять спросил Полипов. Губы при этом у него не шевелились, а дрожали и дергались.

— От Лахновского тебе большой привет.

— От... кого?! — И Полипов снова осел на мотоциклетную коляску.

— От штандартенфюрера Лахновского Арнольда Михайловича.

— Не может быть... Не может быть...— пробормотал Полипов.

— Ну, ты... встать! — жестко теперь скомандовал Валентик.— Размазня... Бери мотоцикл. Кати в овраг. Живо!

Полипов, неуклюже повернувшись, взялся за руль, уперся сапогами в землю. Но то ли мотоцикл был слишком тяжел, то ли силы совсем покинули Полипова — машина не трогалась. Тогда Валентик, не выпуская из рук пистолета, подтолкнул сзади.

Вдвоем они докатили мотоцикл до обрыва, столкнули в заросший диким кустарником овраг, неподалеку от того места, где весь день пролежал Валентик. При падении раздался треск ломаемых сучьев.

— Теперь этого... туда же. Давай! — махнул пистолетом Валентик.— Тащи, говорю!

Полипов, качаясь из стороны в сторону, пошел к телу Березовского. Взял его за руки, стараясь не глядеть на торчавший из горла нож, поволок его, пятясь задом, к обрыву. А Валентик шагал сбоку.

— Ну вот,— проговорил он, когда Полипов, сбросив младшего лейтенанта вниз, разогнулся.— Если и найдут, так не сразу. Теперь еще повернись спиной. Руки назад!

Полипов встал к нему спиной. Валентик быстро и умело схватил его запястья каким-то узким ремешком, крепко стянул.

— Это на всякий случай,— сказал Валентик.— Рот забивать кляпом или не надо?

— Не надо,— промолвил Полипов, почти не слыша своего голоса.

— Ну, смотрите,— перешел Валентик вдруг на «вы».— Надеюсь на ваше благоразумие. Но если что, сразу пристрелю. Шагом марш. Идти впереди меня не дальше пяти метров. Прямо, вдоль оврага.

Некоторое время они шли друг за другом по кромке обрыва. «Если что, сразу пристрелю...»— гудел у Полипова под черепом голос «подполковника», а в горячем теперь мозгу лихорадочно металось: «Но это «что» не случится... А если все же вдруг навстречу кто из наших?! Какой-нибудь солдат... или автомашина? Броситься в сторону и закричать! Пристрелит? Да лучше смерть! А может, не попадет, темно...»

Минут через десять — пятнадцать они спустились в ложбинку и, пройдя по ней немного, оказались на дне самого оврага, дикого и глухого. По лицу хлестали ветки, и Полипов, боясь, как бы не ткнуться глазами в какой сучок, уныло думал, что теперь-то, если даже наверху объявится целый взвод советских солдат, кричать бесполезно. «Потому и рот не стал затыкать, сволочь...»

Полипов глянул вверх. Небо стало уже темным, звезды высыпали на нем все гуще. И ему показалось, что там, наверху, под этими звездами, был мир, оставленный им давно-давно, в который ему уже никогда не вернуться.

* * *

До какой-то деревушки они добрались еще затемно. Сперва все шли по оврагу, затем лесом, пока их не окликнули. Окликнули по-русски. Сердце у Полипова ёкнуло. «Подполковник» ответил: «Дождь и ветер»— и Полипов догадался, что это пароль, тут же застучали колеса по корневищам, в темноте замаячила повозка.

Человек, приведший его сюда, знаком приказал взобраться на нее, влез сам. Кучер, молчаливый как пень, даже из любопытства не глянул на Полипова, подождал, пока он и его спутник сели, и тронул лошадь.

Сидеть Полипову было неудобно, связанные за спиной руки затекли, в запястьях и в плечах ныло.

— Развяжите хоть теперь-то,— попросил он.

Слов его будто никто не расслышал.

Когда въехали в деревушку, рук своих Полипов уже не чувствовал. «Подполковник», посвечивая фонариком, завел его в какой-то затхлый подвал и только здесь, рывком повернув его к себе спиной, разрезал стягивающий запястья ремень. Когда руки палками повисли вдоль туловища, в плечах возникла боль, будто суставы проткнули раскаленным прутом, голова закружилась.

— Ну вот, жди пока тут,— произнес Кузин, кривоплечий человек, устало зевнул. И добавил, будто расставаясь с близким: — Отдыхай. И я пойду спать.

В подвале ничего не было, кроме подстилки из перетертой соломы на полу. Это Полипов заметил, когда «подполковник» светил тут своим фонариком. Даже окна, кажется, не было. Во всяком случае, когда этот зловещий человек ушел, Полипов остался в чернильной темноте. Ни проблеска, ни звука — полнейшая тишина. «Так вот как... в могиле! Вот как в могиле!» — стучало без конца у него в голове. Потом шевельнулась мысль, что сердце его качает уже не живую, а холодную кровь, качает еще по привычке, но сейчас остановится, потому что остывшая кровь с каждой секундой густеет. Вот уже в груди появились боли, вот уже не суставы, а сердце проткнул раскаленный прут... «Это конец! Вот какой бывает конец!»

Он закрыл глаза, увидел перед собой небо, каким видел его из оврага,— черным, с белыми звездами. И сознание его потухло...

...Очнулся он в такой же темноте, лишь вверху, как знак продолжающейся где-то жизни, мерцало несколько слабеньких светлых полосок. Петр Петрович Полипов долго смотрел на них, пока не вспомнил, где он находится, что с ним произошло, и догадался, что эти полоски света пробиваются в подвал сквозь вытяжную трубу.

В плечах больше не ныло, в сердце теперь не кололо, хотелось только по большой и малой нужде. «Интересно, спал это я... уснул или потерял сознание? И что будет дальше?! Лахновский, Лахновский... Штандартенфюрер. Это, кажется, полковник у немцев. Почему же он штандартенфюрер?»

Полипов встал и, удивляясь немного не столь реальному уже представлению о случившемся, сколько своему наступившему вдруг спокойствию, стал двигаться вдоль стены, намереваясь постучать в дверь: должны же они понимать, что здесь

живой человек. Дойдя до угла, он наткнулся на что-то, нагнулся, нащупал деревянную бадейку. Понюхал ее и убедился в предназначении этой посудины...

Затем он долго сидел в противоположном от параши углу, опять вспомнил, как оно все случилось, как шли по оврагу, потом ехали, как при въезде в деревушку их несколько раз останавливали какие-то люди, говорящие по-русски, но одетые в немецкую форму, и, узнав Кузина, или как там он у них назывался, пропускали дальше. Вспомнил также о мелькнувшей было вчера мысли во что бы то ни стало бежать, если представится хоть один шанс из тысячи. Сейчас это ему уже казалось безрассудством. Какой там шанс! Кривоплечий сразу бы прихлопнул его.

В темноту подвала вдруг просочилась какая-то музыка, тягуче-тоскливая, похоронная будто. Она была еле-еле слышна, Полипову почудилось, что это у него слуховые галлюцинации, и сердце опять больно пронзило: вчера он представил себя заживо в могиле, а сегодня...

Он мотнул головой. Но музыка не прекращалась. Заунывные звуки все точили и точили что-то в груди, задевая там за самое больное.

Он встал, снова притираясь к стене, пошел — где-то же должна быть дверь. Нашел ее, приник ухом к влажным, заплесневелым доскам. Музыка слышалась теперь чуть отчетливее.

— Уф! — Он вытер рукавом гимнастерки холодный пот, отошел, опять сел. Сердце медленно успокаивалось. Почудится же... А там просто хоронят кого-то. С музыкой...

Это слово, неожиданно возникнув в сознании, почему-то не пропало, все другие исчезли, а это повторялось и повторялось без конца, словно клевало в мозг. Сперва вроде и не больно, а потом все ощутимее. «С музыкой! С музыкой...» Вскоре он уже ни о чем не мог думать, слово это через равные промежутки долбило в виски, как молотком, билось под черепом. «Неужели я схожу с ума?!» — опалило вдруг его, и Полипов, все слыша в мозгу это слово, не в силах встать, на четвереньках пополз к двери, заколотил в нее кулаками, яростно закричал:

— Откройте! Расстреляйте, только откройте... Я схожу с ума! Я схожу...

Никто ему не открыл. За дверью не раздалось ни звука, ни шороха. Обессилев от крика, он обмяк, растянулся тут же, у двери, лицом вниз, и так, дыша тяжко, с храпом, лежал долго.

С ума он не сошел. Просто второй раз не выдержали нервы. Второй — и последний.

Успокоившись, он перевернулся на спину, стал искать светлые полоски на потолке. Но никаких полосок там уже не было,— видимо, опять наступила ночь. «Ага...— облегченно отметил он про себя, почувствовал голод, и вдруг ему стало и вовсе легко.— Все равно они скоро придут, не для того же привезли сюда, чтобы с голоду уморить в этом подвале... Лахновский... Жив, оказывается. Кто же он такой теперь? Как узнал, что я здесь? Что ему теперь-то от меня надо?»

Когда раздался щелк отпираемого замка и тьму подвала прорезал луч электрического фонаря, Полипов воспринял это с облегчением: наконец-то! Луч пошарил по стенам, по полу, осветил его, скрючившегося в углу.

— Живой? — раздался голос того же Кузина.— Пойдем.

Теперь он был в немецкой форме, но знаков различия Полипов не разглядел.

— Безобразие,— буркнул он, будто имел здесь какую-то власть.— Еще бы немножко — и задохнулся в этой норе.

— Вы, большевики, живучие,— усмехнулся бывший «подполковник».— Особенно которые с дореволюционным стажем.

Он куда-то повел его по пустой темной улице мимо косых заборов и угрюмо стоящих во мраке домов. Нигде не было ни одного огонька, навстречу никто не попадался. У Полипова возникло ощущение, будто в деревушке никого, кроме него и Кузина этого, нет, хотя сознанием понимал, что это не так.

И действительно, когда подходили к длинному бревенчатому зданию, в каких обычно размещаются сельские школы, навстречу попались трое патрульных с автоматами. Они не остановили их, лишь оглядели и, узнав кривоплечего, отдали честь. Потом, когда входили в это здание, у самых дверей их остановил часовой, а из-за углов одновременно вышли еще двое. Кривоплечий что-то сказал часовому вполголоса, тот услужливо отмахнул двери, громко произнес:

— Пожалуйста, господин Валентик.

Они вошли в длинный коридор, тускло освещаемый керосиновой лампой. С правой стороны было несколько дверей, с левой — три больших окна, наглухо забитых фанерой.

— Во-он какая фамилия у вас! — усмехнулся Полипов.— Кузин лучше.

— Молчать! — зло теперь одернул его Валентик.

Пока миновали остаток широкого коридора, свернув, шли по какому-то узкому, метра в полтора, проходу, где с автоматами на шее стояли два человека, пока Валентик пропускал Полипова в какую-то дверь, в распухшей и немеющей от зловещей неизвестности голове его сразу металось несколько мыслей. Петр Петрович на мгновение вспомнил почему-то, как давно-давно, еще в той жизни, над которой полыхает необозримое звездное небо, он, дергаясь на диване, яростно кричал в лицо Полине, жене своей, что он русский и ему ненавистна даже мысль, что русскую землю будут топтать чужеземцы; одновременно мелькнуло сожаление, что вчера ночью, когда они шли вдоль оврага и по оврагу, не попалась навстречу ни одна живая душа; и тут же колотило в мозг: слава богу, что не наткнулись ни на кого, хорошим это кончиться не могло; конечно, если бы в схватке Кузин... то есть Валентик этот был убит, это бы хорошо... но вперед он его успел бы пристрелить; а если бы не успел чудом, а самого Валентика взяли живым, для него, Полипова, лучше бы уж мертвым быть,— надо полагать, Валентик все знает о его давних связях с Лахновским. Вон когда началось то, от чего нет спасения! Вон когда...

Перемешавшись, перепутавшись одна с другой, мысли эти ворочались под черепом, разрывая его.

И вдруг исчезли, точно их выдуло, голова стала пустой и гулкой, как тот широкий коридор, по которому они только что шли,— он стоял перед Лахновским!

Он сразу узнал его, Арнольда Михайловича Лахновского, хотя тот неузнаваемо изменился — катастрофически постарел, сморщился, стал будто еще короче ростом, нос похудел и заострился. Глаза лишь, кажется, были прежними — они так же насмешливо поблескивали, как давно-давно, так же продавливали насквозь.

Полипов был уверен, что увидит Лахновского в немецком мундире, но тот стоял перед ним, опираясь на трость, в каком-то расстегнутом коричневом сюртуке; он почему-то ждал, что тот заговорит с ним на немецком языке, но Лахновский вообще ничего не говорил, стоял перед ним и, склоняя маленькую голову то вправо, то влево, осматривал с головы до ног.

Комната была, кажется, богато обставлена, но Полипов в первую минуту ничего не замечал. Лишь потом как из тумана начали проступать какие-то гнутые кресла, тяжелые шторы, закрывавшие окна, круглый на растопыренных ногах стол, покрытый толстой, с длинной бахромой скатертью.

— Ну, здравствуйте, уважаемый,— произнес Лахновский по-русски.

Полипов хотел ответить, но с испугом и изумлением почувствовал, что горло ему перехватило как веревкой, а язык не повинуется. Он только что-то промычал.

Лахновский беззвучно усмехнулся и, обернувшись, сердито сказал Валентику:

— Через полтора часа зайдешь. В советской форме.

Валентик молча вышел. Лахновский подождал, пока за ним закроется дверь, опять оглядел с ног до головы Полипова, будто прикидывая: как же поступить с ним? В этом раздумье своем он даже устало вздохнул и произнес слова, которых меньше всего Полипов ожидал:

— Проголодался, понятно... Идем ужинать.— Шагнул к стене и толкнул скрытую портьерой дверь в смежную комнату.— Сюда. Чего стоишь? Иди.

Полипов повиновался. Шаркая отяжелевшими ногами, прошел мимо Лахновского, переступил невысокий порог.

Эта комната была поменьше, окна, как и в первой, плотно занавешены. Какая-то молодая женщина в ярко-синем коротком, выше колен, халате, с ярко накрашенными губами заканчивала накрывать стол.

— Садись,— сказал Лахновский Полипову, сам сел первый, расстегнув свой сюртук, взял салфетку, сунул конец за воротник льняной рубахи, в котором болталась жидкая, сморщенная шея.

Женщина в халате открыла один из судков, разлила в тарелки суп.

Судки, тарелки, хлебница, перечница, солонка — все было тонкого, дорогого, не советского, отметил Полипов, фарфора.

— Ступай, Леокадия,— негромко сказал женщине Лахновский.— Мы сами.

Она всхлипнула, пошла, на ходу достала платочек, прижала его к глазам.

— Партизаны шлепнули позавчера ее... хозяина,— непонятно проговорил Лахновский, размешивая суп в тарелке.— Из Орла, от командования, возвращался. Под самой деревней подстерегли. Живьем хотели, видимо, взять. А он не дался, начал отстреливаться. Мы подоспели, да поздно... Сегодня похоронили.

«Ага, я слышал музыку»,— хотел сказать Полипов, но не посмел. И, кроме того, был не уверен, вернулась ли к нему речь. И еще ему хотелось почему-то сказать: «А я думал — вы ее хозяин». Но и этого он не произнес.

— Потому тебе и пришлось... там побыть. Ну, ешь.

Ошеломленный всем случившимся, встречей с Лахновским, Полипов не произнес еще ни слова. Промолчал и сейчас. Ложка в его руке дрожала. Хлебнув несколько раз, он неожиданно вспомнил, как Валентик всадил нож в горло Березовскому, громко звякнул ложкой о тарелку и отложил ее, стал невидящими глазами смотреть куда-то в сторону.

Лахновский на это никак не отреагировал, невозмутимо продолжал есть. Чтобы не расплескать из ложки, он поддерживал ее кусочком хлеба.

Еще раз Полипов вздрогнул, когда Лахновский как-то неожиданно проговорил:

— Чего молчишь-то?

— Не могу... опомниться,— с трудом, осевшим голосом выдавил из себя Полипов.

— Не рад, хе-хе, встрече? Нехорошо, Петр Петрович...

Скрипучий смешок Лахновского, собственный голос и эти три обычных слова, которые он произнес с неимоверным усилием, как-то вывели Полипова из оцепенения, вернули его в реальность, чудовищную и непостижимую.

— Боже мой! Боже мой! — дважды вздохнул он.

— Как... Полина Сергеевна поживает? Супруга? Помню ее, хе-хе... Помню.

— Я думал, вас... вы...

— Ты думал, что меня уже нет в живых? Надеялся, что я подох? — нахмурился Лахновский.— Ишь ты гусь! Вон какой жирный! Отъелся на советских харчах!

И, будто вспомнив, что сам-то стал теперь худым и дряблым, подвинул к себе другой судок, выволок оттуда отварного цыпленка, брызгая на салфетку, прикрывавшую грудь, разорвал его, один кусок бросил на тарелку, другой принялся не спеша объедать.

Полипов, испытывая перед этим человеком леденящий страх и чувствуя одновременно брезгливость к нему, отвернулся и опять стал смотреть в угол.

Покончив с цыпленком, Лахновский вытер салфеткой пожухлые свои губы, беззвучно пожевав ими, произнес:

— Н-ну-с? А я так, знаете, рад, Петр Петрович... Вот... смотрю на вас и вспоминаю прошлое. Сибирь, Сибирь! Великолепный край. Все думаю: как же там жизнь-то идет, а? И как вы там?

— Жена... о которой, как я понял, вы храните приятные воспоминания, до войны переписывалась с вами. И в письмах все, конечно, обо мне... И о жизни в Сибири...

— Да, конечно, конечно,— дважды кивнул Лахновский.

— Где я нахожусь? И что вам теперь-то от меня надо? — прямо спросил Полипов.

— В деревне Шестоково. Здесь расположена одна из немецких разведывательных групп системы «Виддера». Слышали что-нибудь про «Виддер»?

Глаза Полипова сделались круглыми, левый уголок рта дернулся. Заметив это, Лахновский усмехнулся:

— Как понимаете, я сообщил вам тайну государственной важности. Но вы же свой человек...

Уголок рта у Полипова еще раз дернулся, и он, чтобы скрыть это, чуть отвернулся. Но теперь почувствовал, как горят его уши, особенно почему-то правое, обращенное к этому проклятому Лахновскому. «Свой человек... Свой человек...»—

долбило где-то в глубине сознания, вызывая раздражение и протест. Ему хотелось закричать: «Какой я вам свой?! Какой я вам свой?!» — но одновременно Полипов понимал, что не закричит, потому что это бесполезно, потому что этот Лахновский обольет его опять своей дружеской и дьявольской улыбкой и спросит, как когда-то давным-давно: «*Не кажется ли вам самому ваше поведение несколько смешноватым?*»

Он, Петр Петрович Полипов, никогда не любил вспоминать о своем прошлом, старался не думать о нем. Но сейчас из темных глубин памяти сама собой всплыла та следственная камера при Томской городской жандармерии, хозяином которой был вот этот человек, открывший сейчас металлическую табакерку и закладывающий в черные ноздри табак. Тогда он был молод, вылощен, форменный его китель горел пуговицами. И он не нюхал тогда табак, а курил. Вон той, правой рукой он обхватил тогда его голову, а левой начал тыкать в глаз горящей папиросой, требуя ответить на один-единственный вопрос: «*Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск? Зачем приехал в Томск?*» И что же дальше получилось? Нет, нет, он, Петька Полипов, не хотел тогда выдавать Антона Савельева, с которым они приехали в Томск за типографским оборудованием, чтобы наладить выпуск в Новониколаевске подпольной газеты. И он не выдал бы, если бы не Лиза, эта колченогая девчонка. Что она сейчас ему? Ничего, пустое место. А тогда? Вот ведь как бывает... Конечно, он понимал тогда, что Лахновский подержал бы их с Антоном в тюрьме... ну, поизмывались бы над ними... И все равно выпустили бы за неимением улик. Но вдруг почудилось ему, этот же Лахновский подсказал, что очень просто может он, Петька Полипов, получить эту девчонку с длинными угольно-черными бровями, в больших зеленоватых глазах которой вечно жила какая-то таинственность. Вроде затмение какое-то нашло на него тогда. И вот:

« — *Что я ... должен... для этого сделать?*

— *Сказать, зачем вы приехали в Томск.*

— *Сколько... сколько лет дадите ему... Савельеву?*

— *Смотря по тому, с какой целью он приехал в Томск...*»

Вон как ловко и умело вел тогда разговор этот Лахновский. Уже не *ВЫ*, а только *ОН!* Смотря, значит, по тому, с какой целью *ОН* приехал в Томск. Но это сейчас ему, Полипову, все ясно и понятно как на ладони. Но тогда он не заметил этой тонкости в словах Лахновского и потребовал:

« — *При одном условии — я вне подозрения.*

— *М-м... При одном условии и с нашей стороны... Мы сажаем вас на несколько месяцев в тюрьму... в камеру с политическими. Вы должны нас постоянно информировать об их разговорах, планах, связях с волей. Выйдя из тюрьмы, вы принимаете участие в работе вашей партийной организации, подробнейшим образом информируя...*

— *Довольно! Кончайте...*»

Он, Петр Петрович Полипов, обливаясь пóтом, ясно и отчетливо вспомнил сейчас и все дальнейшее, увидел белый лист бумаги, который положил перед ним Лахновский, услышал даже его хруст.

«— *Для начала несколько вопросов. Вожаки вашей городской подпольной организации РСДРП? Их фамилии, клички, явки? В Новониколаевске нелегально проживает бежавший с каторги некто Чуркин, настоящая фамилия которого Субботин. Его местонахождение?*»

И еще дальше:

« — *...Мы сделаем так: я дам вам адрес и шифр, на этот адрес вы будете слать мне из Новониколаевска ваши донесения, подписываясь условным именем. Таким образом, ни одна живая душа, кроме меня, не будет знать о вашей... патриотической деятельности на благо России...*»

И потом, как следствие, арест Чуркина-Субботина, многие провалы новониколаевской подпольной организации РСДРП, неоднократные аресты Антона Савельева. Его, Полипова, тяжкая жизнь, полная животного страха перед возможным каждую минуту разоблачением, сложные отношения с Лизой, перешедшие в неприязнь, потом в откровенную вражду. Когда он думал, что все прошлое утонуло во тьме времени, появляется вдруг в его жизни Полина, выросшая дочь завербованного тем же Лахновским провокатора Свиридова, ставшего потом следователем белочешской контрразведки, а вместе с Полиной всплыл и сам Лахнов-

ский. Рядом его не было, но зловещую его тень Полипов всегда ощущал над собой. Она всегда могла обрушиться на него, раздавить, уничтожить. Постоянное ощущение опасности рождало ненависть к Полине, а чувство самосохранения заставляло эту ненависть не выплескивать, копить в себе, и, на словах все же возражая против ее рекомендаций по части отношения к людям, скажем, к тем же Засухину, Кошкину или Баулину, на деле выполнять их. Кому объяснить и кто поймет, что не он посадил этих троих, а Полина Сергеевна, урожденная Свиридова, никаких постов не занимающая и никакой властью не обладающая, домохозяйка, неслышно разгуливающая по комнатам обычно нечесаная, в грязном халате и мягких тапочках?! Вот парадокс... С началом войны родилась надежда, что уж теперь-то сгорит где-нибудь Лахновский, этот зловещий человек, ведь стар теперь и должен быть немощен, не выжить ему. Вот и письма его к Полине прекратились... Эта надежда крепла, и, хотя служебные дела его, отношения с Кружилиным, с тем самым Чуркиным-Субботиным все осложнялись, на душе становилось легче, сваливалась потихоньку с него прежняя тяжесть. Как сложится жизнь его дальше, он, естественно, знать не мог, но что-то представлял себе частенько более или менее благополучное, смотрел вперед с надеждой. В победу немцев он, во всяком случае, не верил, военная служба его не так опасна. Субботина клонят к земле его годы, вряд ли долго протянет, Лахновский с горизонта исчез...

А он — вот он, этот зловещий человек, одряхлевший телом, но имеющий по-прежнему неограниченную власть над ним! И эту власть он показал, продемонстрировал... А сейчас сидит, положив обе руки на трость, смотрит на него пристально, сузив глаза, режет ими... Чего смотрит! Что хочет высмотреть в нем?!

Полипов рукавом измятой гимнастерки отер взмокшее, распаренное лицо, прохрипел:

— Довольно! Кончайте...

Он и не заметил, что произнес те же два слова, которые выдавил из себя когда-то давным-давно в следственной камере при Томской городской жандармерии и которые только что всплывали у него в памяти. Но мгновение спустя понял это, потому что Лахновский, не отрывая от его лица насмешливого взгляда, чуть скривил бесцветные губы и как-то вкрадчиво, но без насмешки спросил:

— О давних и добрых наших отношениях, Петр Петрович, размышляете?

Это было уже слишком. Полипов резко вскочил. И, чувствуя, как горло опять перехватывает веревкой, торопливо выдавил:

— Вы... что, дьявол? Дьявол, спрашиваю?!

Лахновский молчал. Обе руки его так же лежали на трости. Он только пальцами верхней руки побарабанил по нижней.

Это Полипова выбило из себя окончательно. Он крутнулся, схватился побелевшими пальцами за спинку стула, на котором сидел, словно собирался обрушить его на Лахновского, и, задыхаясь, прокричал:

— О добрых?! Вы... ты... Это какое-то проклятье надо мной! Всю жизнь, всю жизнь! За что?! За что?!

Лахновский все это выслушал терпеливо. Ни одна складка на его лице не шевельнулась. И лишь когда Полипов умолк, проговорил тихо:

— Успокойтесь, Петр Петрович.— Опираясь на свою трость, поднялся.— Я вас отпущу. Пойдемте в ту комнату. Окна у нас закрыты, а там все же воздуху побольше.

И, покачивая плечами, пошел от стола к дверям.

* * *

— Да, я тебя отпущу,— опять перешел на «ты» Лахновский, уселся в одно из кресел. Свою трость он снова поставил между ног и снова уложил на нее руки.

— Отпустите...— Полипов остановился возле стола, застланного толстой, тяжелой скатертью с длинной бахромой.— Зачем тогда все это...— Полипов сделал неопределенное движение головой, не то кивнул куда-то, не то боднул воздух,— зачем тогда меня этот Валентик ваш... При этом он человека убил.

— Человека...— Лахновский брезгливо шевельнул губами.— Эко событие! С тех пор как на земле появились эти странные существа — люди, они истребляют друг друга. Иначе их расплодилось бы слишком много. Сейчас они убивают друг друга миллионами.

— Философ вы...

Лахновский пожал плечами, как бы говоря — не знаю, мол,— и добавил:

— Истребление друг друга дело для людей нормальное.

— Что-то подобное, кажется, поп Мальтус проповедовал.

— Он не дурак был, этот поп... как бы вы, коммунисты, против этого ни возражали. Да ты садись.

Полипов, однако, стоял. Лахновский глядел на него не мигая, как удав на жертву. И, словно повинуясь этому взгляду, Полипов взял стул, придвинул его к столу и сел.

— Вот так,— удовлетворенно произнес Лахновский не то в адрес Полипова, не то отвечая каким-то своим мыслям.— Я не философ. Какой я философ? Но история подтвердила: когда людей на земле становится слишком много, порядка на ней с каждым годом меньше и меньше. Большим стадом пастуху трудно управлять. И чем больше стадо увеличивается, тем скорее выходит из повиновения.

Полипов сидел, опустив голову, но при этих словах приподнял ее.

— В высшей степени интересно... И кто же пастух этот?

— А тот... кто пасет народы жезлом железным, как сказано в Библии. Господь наш.

Полипов успокаивался все больше. В какой-то момент, наступивший вскоре после слов Лахновского: «Я вас отпущу», Петру Петровичу вдруг показалось, будто все происшедшее с ним за последние сутки произошло, собственно, не с ним, а с кем-то другим, а он был при этом лишь свидетелем. Чувство это, родившись наперекор сознанию, все укреплялось, оправдывало в нем что-то, и одновременно под черепом зашевелилось любопытство: если отпустит, как же он тогда? Куда же ему идти, как объяснить свое отсутствие и в редакции, и в войсках?

— Вы что же, Арнольд Михайлович, в бога верите? — спросил он с просквозившей легонькой иронией.

Лахновский лишь качнул головой, но не утвердительно, а как-то неопределенно, будто не соглашаясь, но и не протестуя против иронии в голосе Полипова.

— Не верите вы, — сказал тот.— Ни тогда... в те давние годы не верили, ни сейчас.

Лахновский опять сделал головой такое же движение. На этот раз он еще едва заметно пожал плечами и как-то горестно вздохнул.

— Если хотите отпустить, зачем вы меня притащили сюда? — еще раз прямо спросил Полипов.

— От начальника нашей «Абверргруппы» Бергера потребовали человека для какого-то задания в русском тылу. Что это за задание, я не знаю. Но, по всему видать, очень уж серьезное — из самого Берлина в Орел по поводу такого человека звонили. Ну, а из Орла к нам. Знаю только, что этот человек должен быть для русских абсолютно вне подозрения. Видно, для какой-то крупной диверсии или терракта он понадобился. Вот я и подумал: не подойдешь ли ты?

По мере того как Лахновский говорил это тихим, ровным голосом, спокойствие Полипова исчезало, улетучивалось, внутри у него все леденело. Холод, возникший сначала в груди, растекался вверх и вниз по всему телу, онемели ноги, руки и, кажется, язык.

— Это... что терракт? — все же выдавил он.

— Террористический акт,— спокойно проговорил Лахновский.— Понадобилось, видимо, какого-то крупного советского деятеля убрать. Раз в тылу, значит, не военного. А может, и военного.

Полипов был теперь бледен, как стена.

— Н-нет,— вымолвил он, засунул два пальца за грязный воротник, подергал его, не расстегивая.— Вы что?! На такое дело... я не гожусь. И не пошел бы никогда! Вы... ты... слышишь?!

Лахновский промолчал, затем как-то сожалеюще вздохнул.

— Никогда! Слышишь?! — дважды вскричал Полипов, поднялся.

— Слышу, не ори,— ответил Лахновский.— И сядь!

Старик чуть приподнял голову. Этого было достаточно, чтобы Полипов плюхнулся обратно на свое место. Уже сидя, почувствовал, как дрожат его ноги, как судорога сводит икры.

В комнате с плотно занавешенными окнами стояла тишина, ни один звук не долетал снаружи. И эта тишина, молчание Лахновского, который снова полез за табакеркой, угнетающе давили на Полипова, воздуху ему не хватало, он задыхался.

— Не пойдешь...— Лахновский взял щепотку табаку.— А куда бы ты делся? Да партизаны, говорю, прикончили Бергера... на твое счастье. Когда он из Орла возвращался.

«Ага, это хозяин той женщины... хозяин той женщины»,— лихорадочно промелькнуло в голове у Полипова. Сердце его билось гулко, а дрожь в ногах стала утихать.

Лахновский со свистом втянул табак в ноздри, хотел чихнуть, закрыл было уже глаза в блаженстве, но словно передумал, зло поглядел на Полипова и стал прятать в карман табакерку. Покончив с этим, застыл в прежней позе.

Посидев так с минуту, по-старчески вздохнул:

— Да и я, Петр Петрович, теперь вижу, что не годишься. Потому и отпускаю тебя с миром. Живи, сколько бог пошлет, и помогай нам, как прежде.

На лице Полипова отразилось недоумение.

— А я тебе одним примером это поясню,— усмехнулся Лахновский.— Вот ты насмерть затоптал несколько коммунистических фанатиков... как их? Засухин, кажется, фамилия одного. А других — забыл, давно Полина Сергеевна мне писала. Да не в фамилиях дело. Разве это не помощь? Сколько бы они вредных для нас дел наделали?!

Этот дряхлый Лахновский, этот старик говорил возмутительные вещи, против которых вдруг запротестовало все существо Полипова, а в голове его заметалось: да, с одной стороны, так, он их... с помощью Алейникова... Знает ли этот проклятый Лахновский про Алейникова? Знает, конечно, разве Полина не написала? Но с другой стороны, все это намного сложнее. С другой-то стороны — при чем тут он? Алейников это! Ну да, при его, Полипова, желании, можно сказать даже — с его помощью. Но этого никто и никогда не докажет. Такое уж время. Вон Кружилин, даже Субботин — и те не осмелились бросить ему такое обвинение. А этот Лахновский... Наглец! Какой наглец!

Петр Петрович Полипов, кажется, забыл, где он находится, и, возмущенный, поднялся было, чтобы возразить ему. Но тут же напоролся на острые, неподвижные зрачки Лахновского, мысли, беспорядочно толкущиеся в мозгу, сразу исчезли. И он, вскочив, нелепо стоял, безмолвный, одной рукой опираясь о стол, другой о спинку стула.

— Ну, оправдываться хочешь? — выждав, проговорил Лахновский.— Говори. А я послушаю.

Но говорить Полипову было нечего, оправдываться, собственно, не перед кем и ни к чему. Постояв, он медленно и тяжко осел, стул под ним заскрипел.

— Вот, видишь...— На изношенном лице Лахновского проступило что-то живое.— Как говорится у нас, у русских, против фактов не попрешь.

— Вы... вы не русский. Нет! — неожиданно для самого себя, желая в чем-то возразить Лахновскому, бросил Полипов.

Прикрыв было сморщенные веки, Лахновский быстро вскинул их, посмотрел на Полипова с недоумением. И промолвил с грустной усмешкой:

— А вы, Петр Петрович?

Полипов хотел ответить утвердительно. Но не ответил, только снова, второй раз за сегодняшний вечер, вспомнил, как он когда-то бросал в лицо жене наполненные злобой и яростью слова, что он русский и ему ненавистна дажа сама мысль, что русскую землю топчут иноземцы, что немцам никогда не победить России. И еще вспомнил, как Полина, слушая его, сперва насмешливо улыбалась, а потом, кажется, на лице ее появилось недоумение, какое-то беспокойство.

Полипов ничего не сказал, а Лахновский и не требовал ответа на свой вопрос, он, кажется, тут же забыл о нем. Он, по-прежнему сложив обе руки на трость, сидел неподвижно и смотрел в сторону, на закрытое, кажется, ставнями окно и занавешенное изнутри тяжелой шторой. Потом неглубоко вздохнул и произнес:

— Стар я, Петр Петрович... Вот что жалко. Умру скоро. Не увижу нашей победы.

— Какой? Немецкой?

Лахновский дернул веками, полоснул глазами Полипова.

— Нет... Гитлер — он дурак. Ах, боже мой, какой он идиот!

— Любопытно,— уронил Полипов, сдержанно усмехнувшись.— Объясните уж тогда, почему он...

Слова «дурак» и «идиот» Полипов произнести не решился.

— Что же... я объясню,— после непродолжительного молчания сказал Лахновский.— До июня сорок первого года это была самая могущественная сила в мире, способная перекроить мир. Страны падали перед ним, как трава под косой. Вся Европа стояла на коленях. Вся. Только Англия... Вы хорошо помните те события?

— Как же... газеты читал,— неопределенно ответил Полипов.

— Ага,— кивнул белой головой Лахновский.— Тогда знаете, что такое Дюнкерк. И вот представьте — по-моему, это не трудно представить,— что бы произошло, если бы тогда, в сороковом году, после разгрома французов и бегства англичан, Гитлер переправил бы свои дивизии через Ла-Манш и напал на Англию? Что, а? Сколько бы продержались англичане? Неделю? Две? Ну?

— Не знаю,— сказал Полипов.

— «Не знаю»...— буркнул недовольно Лахновский.— Очень бы недолго. Очень бы скоро немцы вошли в Лондон, как они входили в столицы всех европейских государств. Не было силы, которая могла их остановить. Не было, понимаете?! — визгливо вскрикнул он.

— Д-да... пожалуй.

Лахновский будто удовлетворился этими словами, успокоился, только часто и торопливо дышал. Но потом и дыхание его стало ровнее и тише.

— Ну... вот. А теперь и подумайте. Сейчас Англия и Америка — союзники России. Второй фронт они не открывают, и я не знаю, откроют ли! Никто пока этого не знает. Но они — союзники России, помогают ей вооружением, продовольствием... не знаю, чем еще. Подумайте, говорю, с кем была бы сейчас Америка, эта могущественная страна, если бы Англия была под властью Гитлера, воевала на его стороне. А, с кем? Не с Гитлером?

— Да, да, возможно...— Полипов вытер опять вдруг выступившую на лбу испарину.— Вполне возможно. Потому что... все это логично вы...

Лахновский ждал этих слов напряженно, как ждет подсудимый приговора, и, чтобы лучше расслышать, даже вытянул в сторону Полипова длинную, жилистую шею.

— Именно,— произнес он удовлетворенно.— Именно логично. Америка неизбежно была бы на стороне Германии. И тогда бы... А теперь...

Лахновский низко уронил голову, коснулся лбом сложенных на трости рук и так застыл.

По-прежнему стояла глухая, гнетущая тишина. Над столом висела фарфоровая керосиновая лампа с абажуром, было слышно, как потрескивал за стеклом язычок пламени. «В лампе, видимо, не керосин, а бензин»,— подумал Полипов.

— Невероятно, непостижимо...— простонал Лахновский, отрывая голову от сложенных на трости рук.— Как же мог Гитлер, опытный политик, так чудовищно просчитаться? А? Отвечайте!

— Я вам Гитлер, что ли? — обозленно сказал Полипов.— Как он мог? Он, видимо, боялся, что еще год-два — и Советский Союз станет ему не по зубам...

Произнеся все это, особенно слова «не по зубам», Полипов несколько смутился, даже испугался. «Черт его знает... оскорбится еще, проклятый старик»,—мелькнуло у него. Но Лахновский лишь бросил коротко:

— Ну?

— Вы же знаете... Мы стремительно развивали индустрию, оборонную промышленность. Гитлер же это понимал.

— Да, может быть. Может быть...— Лахновский вздохнул теперь глубоко.— Ну и что? Пусть год, пусть два... Зато вся мощь Англии и Америки была бы в распоряжении Гитлера. Теперь же, после Сталинграда... И сейчас вот на курском направлении началось. Скоро нам из этого Шестокова придется, видимо, убираться. Вон партизаны обнаглели — под самой деревней шныряют. Бергера убили... Он, видимо, нужен был им живым. И я им нужен живым. Да, теперь жди нападения на самое Шестоково. Вот такие дела, такие дела, Петр Петрович...

Лахновский вдруг рывком выкинул из кресла свое тело, торопливо пошел, тыкая тростью в ковры, к противоположной стене, будто намереваясь с ходу

проломить ее. Но у самой стены стремительно повернулся, пошел, почти побежал назад.

— Вот такие дела, Петр Петрович! — повторил он, останавливаясь возле кресла.— Нет, Гитлеру этой войны не выиграть. А это значит... это значит, что нам не выиграть вообще... в этом веке.

Помолчав, послушал зачем-то тишину. И в этой полнейшей тишине еще раз воскликнул:

— В этом веке!

Сел на старое место, нахохлился, будто его грубо и несправедливо обидели.

— Как это горько сознавать, Петр Петрович! Как горько умирать с этой мыслью!

Полипов, изумленный, ничего не мог сказать. Да Лахновский и не требовал этого.

За дверью, закрытой портьерой, послышался шум, какой-то скрип, напомнивший, что жизнь где-то там еще не кончилась, еще продолжается, жуткая и непонятная. Полипов повернул к двери голову. Портьера колыхнулась, и появился Кузин-Валентик в той же форме подполковника советских войск.

— Герр штандартенфюрер...— начал было он, но Лахновский досадливо махнул рукой:

— Сейчас. Подождите там...

Полипов понял, что этот тип явился в связи с его дальнейшей судьбой, распоряжение о которой скоро последует. «Какова она теперь будет? И чем все кончится?» — думал он, чувствуя подступившую к горлу тошноту.

— Да, плохи дела у немцев, коль они решились на крайности... на физическое устранение кого-то из советского руководства. Может быть, самого главного руководителя...— произнес Лахновский.

Губы Полипова побелели и сами собой открылись.

— Не может быть... Не может...

— Ну, все может быть. Я, впрочем, не утверждаю. Так, догадки. Да не трясись! Твоя кандидатура, к счастью для тебя, отпала... в связи с гибелью Бергера.— Он насмешливо оглядел Полипова, который в своей грязной гимнастерке с помятыми погонами был жалок и непригляден.— Да если б и не отпала, не прошла бы. Вон какие молодцы имеются,— кивнул он за дверь, куда вышел Валентик.— Такие пойдут на все. На все!

Последние слова он вытолкнул из себя с трудом, багровея от накатившего вдруг приступа удушья. Затем, дергая истертой, морщинистой шеей, долго кашлял, прикладывая ко рту выхваченный из кармана платок.

Не переставая кашлять, он вынул из другого кармана темный пузырек, высыпал из него на трясущуюся ладонь две или три пилюли, торопливо бросил их в рот.

Кашлять он продолжал и после того, как проглотил пилюли, но уже тише и реже и наконец перестал совсем. Вытер платком слезящиеся глаза.

— Уф! — вздохнул он облегченно, спрятал платок.— Хороши пилюльки. Без них бы... По части химии немцы молодцы.

«Верно: газовые камеры придумали, душегубки всякие...» — подумал Полипов, но вслух не произнес.

— Ну что же, Петр Петрович...— Полипов, думая, что разговор с ним заканчивается, хотел было встать. Однако Лахновский жестом попросил сидеть.— Ну что же... Не удалось нам выиграть в этом веке, выиграем в следующем. Победа, говорит ваш Сталин, будет за нами. За Россией то есть. Это верно, нынче — за Россией. Но окончательная победа останется за противоположным ей миром. То есть за нами.

В тихом скрипучем голосе не было сейчас ни злости, ни раздражения, отчего слова, вернее, заключенные в этих словах мысли звучали в устах Лахновского убедительно.

— Не ошибаетесь? — вырвалось у Полипова невольно, даже протестующе.

— Нет! — повысил голос Лахновский.— Вы что же, думаете, Англия и Америка всегда будут с Россией? Нельзя примирить огонь и воду.

— Но идеи Ленина, коммунизма — они...

Полипов начал и осекся под холодным взглядом Лахновского.

— Ну?! — зловеще выдавил он.— Продолжай!

— Они... эти идеи...— Полипов был не рад, что начал говорить об этом. И в то же время он хотел яснее понять, на чем же все-таки держится эта фантазия Лахновского.

— Непобедимы?! — вскричал, как пролаял, Лахновский.— Это ты хотел сказать? Об этом все время кричит вся ваша печать. Непобедимы потому, что верны, мол...

— Я хотел сказать,— перебил его Полипов,— они, эти идеи, все же... привлекательны. Так сказать, для масс.

— Все же? Для масс?

Он выхватил из его сбивчивых фраз как раз те слова, на которых Полипов не хотел бы останавливать его внимание. Но этот проклятый старик повторил именно их, и Полипов поморщился.

Лахновский заметил это, насмешливо шевельнул губами, опираясь на трость, медленно, будто с трудом разгибая высохшие суставы, поднялся и больше уж не садился до конца разговора.

— Слушай меня, Петр Петрович, внимательно. Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи, всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей как единственно правильные, а потом стареют и умирают. Ничего вечного нету. И законов никаких вечных у людей нет, кроме одного — жить да жрать. Причем жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. Вот и все. А чтоб добиться этого... ради этого люди сочиняют всякие там идеи, приспосабливают их, чтоб этой цели достичь, одурачивают ими эти самые массы — глупую и жадную толпу двуногих зверей. А, не так?

Полипов молчал, сжав плотно губы.

— Молчишь? Там, у своих, где-нибудь на собрании, ты бы сильно заколотился против таких слов. А здесь — что тебе сказать? Вот и молчишь. А я тебя, уважаемый, насквозь вижу. Идеи... Не одолей нас эта озверелая толпа тогда, ты бы сейчас со-овсем другие идеи проповедовал. Царю бы здравицу до хрипа кричал. Потому что это давало бы тебе жирный кусок. Но эта толпа сделала то, что они называют революцией... Несмотря на наши с тобой усилия, все пошло прахом. За эти усилия и меня, и тебя могли запросто раздавить... как колесо муравья давит. Но мы увернулись. Ты и я. Но я продолжал, я продолжал всеми возможными способами бороться. Потому и здесь, с немцами, оказался. А ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в бога? А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь! Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой... и, насколько можно, самый жирный кусок. А, не так?

По-прежнему молчал Петр Петрович Полипов.

Лахновский крутнулся, торопливо сбегал к окну, занавешенному плотной и тяжелой материей.

— Вот, это все во-первых,— объявил он, вернувшись.— Но я тебя не осуждаю, нет... Жить каждому хочется... А теперь во-вторых. Коммунистические идеи, говоришь, привлекательны для толпы? К сожалению — да. К сожалению — да!

Дважды повторив это, Лахновский умолк. Стоя на одном месте, он смотрел почему-то себе под ноги и тыкал тростью в ковер. Полипов теперь увидел, что трость его остро заточена, она протыкает ковер насквозь. Но ему и в голову не пришло, что Лахновский при желании пользуется ею как страшным оружием, он подумал, что трость заточена всего лишь для того, чтобы не скользила при ходьбе. Да еще ему было жалко дорогой ковер.

— К сожалению — да, — еще раз произнес Лахновский.— И я, Петр Петрович, думаю уже о том, о чем не многие, может быть, и думают сейчас. Что Гитлер проиграл войну, это теперь ясно. Но как она закончится, а?

Он резко вскинул глаза на Полипова, затем приподнял, будто угрожающе, голову.

— В каком... смысле? — отозвался тот на его безмолвный вопрос.

— Русские вытеснят немцев, отбросят со своей территории. А дальше что? Границу они перейдут или нет? И если перейдут, где остановятся? Что станет с теми странами Европы, которые сейчас находятся под властью Гитлера и воюют на его стороне? Что станет с самой Германией? Со всей Европой?

— Кто ж... может это сказать,— промолвил Полипов.

— Сказать не может... А думать разве не надо? Разве не могут многие страны, подвластные сейчас Гитлеру, оказаться под пятой большевизма? А значит — на его стороне?

Не дожидаясь ответа, да и не интересуясь им, Лахновский двинулся по комнате мимо Полипова, обошел вокруг стола.

— Тем более что идеи коммунизма пока привлекательны! — с раздражением ткнул он тростью в ковер, останавливаясь.— Вот ведь что может получиться, уважаемый.

Лахновский постоял еще, горестно сжав губы, затем качнулся, пошел в другую сторону, опять обошел вокруг стола, остановился теперь напротив Полипова. Тот хотел было подняться, но старик снова жестом остановил его.

— Но, как говорят ваши диалектики, все течет, все изменяется. Если даже случится такое с Европой... Не со всей, будем надеяться,— в Испанию, скажем, в Португалию... в так называемые нейтральные страны большевики не сунутся. Если и случится такое, ну что ж, ну что ж... Победа наша несколько отдалится, только и всего. Но мы будем ежедневно, ежечасно работать над ней. Ах как жаль, Петр Петрович, что не много мне уж осталось жить! Как хочется работать, черт побери, ради великого и справедливого нашего дела!

Лахновский, умолкнув, внимательно посмотрел на Полипова, жалко и беспомощно сидевшего на стуле. Снова усмехнулся той снисходительной улыбкой, при которой эта снисходительность лишь прикрывает высокомерие и брезгливость.

— Не верите в нашу победу?

Полипов пожал плечами: не знаю, мол, что и думать.

— А вот жена ваша верит. На заре ее туманной юности я как-то беседовал с ней об этом.— Он несколько секунд о чем-то думал, что-то припоминал, в его старческих, потускневших глазах шевельнулся живой огонек и тут же потух.— Полина Сергеевна замечательная женщина. У вас нет детей?

— Нет.

— Жаль. Очень жаль. Вы берегите жену.

— Спасибо за совет. Мне еще самому... Неизвестно, что еще со мной...

— Ну, останетесь живы,— убежденно сказал Лахновский.— В атаку вам не ходить.

— Прошли сутки, как я из редакции уехал. Меня уже потеряли. Если вы меня и отпустите...

— Отпустим,— подтвердил Лахновский.— К рассвету будешь у своих.

— Как же я объясню... где был, почему отсутствовал? Мною же особисты сразу займутся.

— Ах, боже мой! — Лахновский приподнял трость и раздраженно ткнул ею в ковер.— Сегодня с утра оба фронта, ваш и наш, снова двинулись. Там такое творится! Кто заметит в этой суматохе, в месиве крови и смерти, что ты сутки отсутствовал? Сейчас Валентик переведет тебя где-нибудь за линию фронта...

Стул под Петром Петровичем опять скрипнул, грудь его как-то сама собой наполнилась воздухом, но испустить облегченный вздох он постеснялся. Он почувствовал на себе цепкий взгляд Лахновского, подрагивающей ладонью вытер взмокший неожиданно лоб и потихоньку, чувствуя, как торопливо колотится сердце, выпустил из себя воздух.

— Обрадовался, гляжу? — спросил Лахновский. По губам его теперь змеилась ядовитая усмешка.— Вот ты лишний раз и демонстрируешь этот извечный закон, существующий в людском стаде,— жить, любой ценой выжить. Все вы скоты. И ты не лучший и не худший из них. Живи! Ты еще по сравнению со мной молод. Живи!

Последние слова он выкрикнул со злостью, с завистью, круто повернулся, дошел до угла комнаты. Там постоял, будто рассматривая что-то. Резко обернулся, торопливо подошел, почти подбежал к Полипову.

— Да, проклятые коммунистические идеи пока привлекательны! И многих, к несчастью... к сожалению, они, эти идеи, делают фанатиками. Поэтому Гитлер терпит поражение.— Лахновский тяжко, с хрипом дышал.— В своей жизни я немало встречал таких фанатиков. Этого... как его?.. Антона Савельева помнишь?

— Как же,— вымолвил через силу Полипов.

— Ты выдавал, а я его сажал! Все вынес, скот,— каторжный труд, кандалы, пытки...

— Он... погиб. Нет его в живых,— вставил Полипов.

— Погиб?! Где же? Когда?

— Больше года назад, жена мне писала. В Шантару, где я работал, эвакуировался оборонный завод. Там случился пожар. Этот Антон Савельев... Он был директором этого завода. Цензура из писем все такое вымарывает. Но все же я понял, что завод взорвался бы, если б Антон Савельев что-то там не сделал. При этом и погиб.

— Вот-вот! А этот... Чуркин-Субботин? Главный новониколаевский большевик? Твоя жена писала мне до войны, что он был секретарем обкома...

— И сейчас... Живой еще.

— Ага, ага, живой...— Лахновский уже успокоился, ярость, бушевавшая у него внутри, утихла.— Живой... И ты живи, Петр Петрович. И своей жизнью, своей работой разрушай привлекательность коммунистических идей. Как и раньше...

У Полипова шевельнулись складки на лбу.

— Да, как раньше! — рассвирепел Лахновский.— Не изображай такого удивления!

Затем гнев его как-то сразу увял, утих, он, болтая тростью, принялся молча расхаживать взад и вперед по комнате. И примерно через минуту заговорил:

— Видишь ли, в чем дело, Петр Петрович... Мы сейчас расстанемся, и бог знает, свидимся ли еще когда. Вряд ли. Поэтому я скажу тебе все... что, конечно, считаю возможным. Может быть, что-то ты поймешь, а что пока и нет. Да и, в сущности, не важно, поймешь ты или нет. Все равно ты останешься таким, каков есть.

— Каков же я... позвольте спросить, в вашем понимании? — скривив обиженно губы, спросил Полипов.

— Каков ты есть, таков и есть,— продолжал Лахновский негромко, не удостоив сейчас Полипова даже и взглядом.— Уж я-то тебя знаю. Но таким ты нам и нужен. Это я в тебе всегда ценил. Нет, что ли?

Только теперь Лахновский, приостановившись, поглядел на него. Но Полипов демонстративно отвернулся.

— Что же, с моей точки зрения, произошло в мире после революции в России? — серьезно продолжал Лахновский.— Впрочем, не будем говорить о всем мире, это слишком сложно. Возьмем одну Россию. Ну что ж, в так называемом народе произошел взрыв биологического бешенства...

Полипов взглянул теперь невольно на Лахновского.

— Да,— кивнул тот,— я так считал тогда, в те годы, и сейчас считаю. Именно! Слепое биологическое бешенство, заложенное в каждом людеобразном, вырвалось наружу. И силы, которым определено всевышним держать в узде человеческое стадо, не выдержали, были сметены. Российские правители были безмозглые дураки, это давно очевидно. Надо было или держать это биологическое бешенство народа в узде, в таких крепких сосудах, чтобы оно оттуда не выплеснулось и не разорвало сам сосуд, или, если это трудно или невозможно, давать отдушину, спускать потихоньку пар из котла... Ну, не знаю, какие-то подачки, что ли, бросать время от времени всем этим рабочим и крестьянам, всей вонючей дряни... Рабочий день, скажем, уменьшить, платить чуть побольше. Всякие развлечения обеспечить. Что римляне требовали от своих правителей? Хлеба и зрелищ! Как-то удовлетворять самые низменные потребности этих скотов. Но власть имущие в России до этого не додумались. И прошел по России смерч, который все смел на своем пути. Так?

Полипов вздрогнул от этого вопроса, упавшего на него, как камень.

— Что же... все действительно было сметено,— промолвил он.

— Да, все. И мы в этой пустыне... на этих обломках пытались после смерти Ленина, этого главного фанатика, этого главаря проклятой революции... не знаю, как его еще назвать... Маркс, Ленин... Да, это были гениальные люди. Я признаю!— Лахновский опять стал наполняться гневом и, задыхаясь, принялся все быстрее бегать по глухой, занавешенной тяжкими полотнищами комнате.— Я признаю... Но их гениальность в одном — они нашли способ выпустить из народа его биологическое бешенство на волю! Да, после его смерти мы принялись строить... закладывать

основы нового, справедливого... и необходимого нам государства и общества. И мы многое уже сделали...

— А кто это — мы? — осмелился Полипов задать вопрос, который давно сверлил мозг.

Лахновский, пробегавший в этот момент мимо Петра Петровича, будто ударился лбом в невидимую стенку. Затем рывком обернулся к Полипову, на дряблых щеках, на подбородке у него полыхали розовые пятна.

— Мы? Кто мы? — переспросил Лахновский.— Мы — это мы. Вы называете нас до сих пор троцкистами.

Полипов сперва смотрел на Лахновского с недоумением. Тот тоже не отрывал от него воспаленного взгляда. Розовые пятна все ползали по его смятому, будто изжеванному лицу.

Через несколько секунд Полипов как-то недоверчиво и растерянно улыбнулся. В водянистых глазах Лахновского устрашающе шевельнулись темные точки, зрачки его будто вспыхнули черным пламенем, увеличились в несколько раз и тут же снова стали прежними. И усмешка на круглых щеках Полипова истаяла, испарилась мгновенно, брови беспокойно задвигались.

— Вот так,— удовлетворенно произнес Лахновский.— И ты напрасно... Это была грозная сила! Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила... И какое возмездие ждало Россию!

Выговорив это, Лахновский вдруг весь как-то обмяк, распустился, втянул в себя по-старчески, со всхлипом, воздух и поплелся к занавешенному окну. Когда шел, плечи его были сгорбленными, маленькими, худенькими.

Дойдя до окна, он там постоял, как недавно в углу, лицом почти уткнувшись в портьеру. Будто мальчишка, которого жестоко и несправедливо обидели и он теперь плакал беззвучно.

— Но ваш... не твой, а ваш, я говорю, проклятый фанатизм одолел и эту силу,— проговорил он хрипло, не оборачиваясь. А потом обернулся, дважды или трижды переступив. — И запомни, Петр Петрович. Запомни: это вам, всей России, всей вашей стране, никогда не простится!

По-прежнему стояла в комнате глухая тишина, и, едва умолкал голос Лахновского, было слышно потрескивание керосиновой лампы. И еще Полипову казалось, что по всей комнате разносится гулкий стук его сердца.

— Не простится! — повторил Лахновский.— Троцкого нет... Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза, например, не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители...

Полипов шевельнулся. Лахновский мгновенно сорвался с места, стремительно, как молодой, подбежал к нему, вскинув на ходу страшную свою трость острием вперед. Казалось, еще секунда — и Лахновский пронзит Полипова своим прутом, раскрашенным под деревянную палку. Об этом догадался, кажется, и Полипов, лицо его помертвело, невольно сделав шаг назад, он трясущимися губами торопливо проговорил:

— Арнольд Михалыч?! Арнольд Мих...

— Ты... не веришь мне?! Не веришь? — истерично прокричал Лахновский.

— Почему же...— мотнул головой Полипов, с ужасом глядя на конец трости.

Лахновский поджал губы скобкой, опустил свою трость, воткнул ее в ковер.

— Да, мы терпим поражение сейчас... Мы, Петр Петрович, сделали многое, но не все... недостаточно для нашей победы. Ничего. Борьба да-алеко-о не окончена! Наших людей еще мно-ого в России. А за ее пределами еще больше. Ну, не трясись. Сядь!

Петр Петрович повиновался.

— Ты даже не представляешь, какими мы располагаем силами. Какой мощью... Только действовать будем теперь не спеша. С дальним и верным прицелом.

Он, говоря это, смотрел на Полипова как-то странно, будто ожидая возражения и готовый будто при первых же звуках его голоса обрушиться на него сверху, как коршун на цыпленка, повалить на ковер, раздавить ногами, приткнуть к ковру своей тростью. Рука его, сжимавшая трость, уже нетерпеливо подрагивала. И Полипов, кажется, понимал его состояние и его намерение, глядел широко рас-

крытыми глазами на худую, высохшую руку старика, дергал губами, но ничего не говорил.

— Я много думал над будущим, Петр Петрович,— неожиданно усмехнулся Лахновский мягко и как-то мирно, добродушно.— Конечно, теперешнее поколение, впитавшее в себя весь фанатизм так называемого марксизма-ленинизма, нам не сломить. Пробовали — не получилось. Да, пробовали — не получилось,— еще раз повторил он раздумчиво. И, в который раз оглядывая Полипова с головы до ног, скривил губы.— Немало, немало до войны было в России, во всем Советском государстве слишком уж ретивых революционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты... На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно, но такие сверхреволюционеры и такие лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких... и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации... а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов... Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах и лагерях. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали...

По широкому лбу Полипова катились капли пота, но он не решался стереть их, боялся теперь даже шевельнуться.

— Да-а, — вздохнул Лахновский обессиленно и тоскливо, глядя на его взмокший лоб,— всем этим мы умело пользовались. Но всего этого было мало. Мало...

Ничего не выражающие глаза Лахновского, упершиеся в Полипова, тускнели все больше, мертвели, и казалось тому, застынут сейчас навечно, и Лахновский, постояв еще секунду-другую, столбом повалится вбок, высохшее его тело, обтянутое каким-то старомодным сюртуком, бесшумно упадет на толстый ковер, а трость, на которую он сейчас опирается обеими руками, отлетит в сторону.

Но Лахновский не упал, даже не качнулся, безжизненные глаза его дрогнули, зрачки засветились черными точками, и он прикрыл их смятыми, без ресниц, веками.

— Да-а,— извлек из себя слабый звук Лахновский.— Но мир, Петр Петрович, в конечном счете очень прост. Очень прост...

Только теперь Полипов осмелился поднять руку и обтереть пот со лба, со щек. Лахновский кивнул, будто одобрил это.

— Придет день — война закончится,— продолжал он.— Видимо, русские войска все же перейдут свою границу, вступят в Германию, займут Берлин. И страшно подумать — что будет с Европой? Но... вот говорят — нет худа без добра. Это так. Но и добра без худа нету. Самые могущественные страны мира — Америка и Англия — разве позволят коммунистической идеологии беспрепятственно расползтись по всей Европе? А? Разве позволят потерять Европу? А?

Полипов дважды как-то дернулся, будто каждый раз хотел встать, вскочить. Но не встал, а только что-то промолвил невнятно.

— Что?! — яростно прокричал Лахновский.

— Я говорю... сделают, конечно, все, чтоб не позволить.

— Дурак! — взревел старик, метнулся опять к портьере и, дойдя до нее, стремительно обернулся.— Дурак ты, но... правильно, все сделают. Хотя что-то... какие-то страны мы, возможно, потеряем. Ну, например, Польшу. Чтобы дойти до Германии, надо перейти через всю Польшу прежде всего, через Румынию. Да-с! А это значит, что на пути советских войск будут Венгрия, Чехословакия. И не знаю, какие еще страны. И, войдя в них, русские установят там свои порядки, конечно. Это ты, Петр Петрович, правильно сказал.

И хотя Полипов ничего такого не говорил, возражать не стал, сидел тихо и пришибленно, стараясь не смотреть теперь на сердитого старика.

— Это ты правильно,— повторил Лахновский и продолжал устало и раздраженно: — Америка и Англия не всегда будут на стороне России. Почему же сейчас на ее стороне? Видимо, боятся, что, если падет Россия, Англию Гитлер проглотит, как хохол галушку. Ну, а тогда с Америкой разговор будет крутой. И не устоять ей. Американцы какие вояки? Пьянствовать да с бабами развратничать — это умеют. А воевать? Не-ет. И океан их не загородит. Вот почему они покуда с Россией.

Но падет Германия — и они очнутся... Очнутся, Петр Петрович! Другого обстоятельства быть не может. И не будет!

Потом Лахновский долго стоял неподвижно, будто прислушивался к чему-то тревожно. Полипов, обеспокоенный, тоже напряг слух, но в мертвой тишине, царящей в комнате, не уловил даже малейшего звука.

— Да, после войны мы будем действовать не спеша, с дальним и верным прицелом,— вернулся к прежней мысли Лахновский.— Все очень просто в мире, говорю, все очень просто. Нынешнее поколение не сломить... Что ж, мы возьмемся за следующие. Понимаешь, Петр Петрович?

Полипов хотел сказать «нет», но лишь беззвучно мотнул головой.

— Ах, Петр Петрович, дорогой ты мой человек! — неожиданно тепло, как-то по-отечески, промолвил Лахновский.— Все в мире, я же говорил, имеет обыкновение стареть. Дома, деревья, люди... Видишь, как мы постарели с тобой. Это закон, абсолютный закон природы. Сама земля стареет. Но она вечна. А люди умирают, на смену им приходят другие. В течение нескольких десятков лет одно поколение сменяется другим. Это-то хоть в состоянии понять?

— Ну и что же, что сменяются?

Лахновский недовольно поморщился от такой непонятливости и терпеливо продолжал ему растолковывать, как маленькому:

— Я ж тебе и объясняю... В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах... Такую же цель преследует и Гитлер. Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ... Или он какой-то особый и непонятный... И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха... Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал... Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! — Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: — Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!

Лахновский был теперь страшен. Выкрикивая все это, он метался по всей комнате, глубоко втыкал свою трость в ковер, белая маленькая голова его тряслась, глаза горели безумным огнем, и, казалось Полипову, на тонких, иссохших губах его проступает пена, пузырится и лопается.

— Ну, допустим...— невольно произнес Полипов, испуганный, ошеломленный.— Только сделать это как?

— На место! — в самое ухо саданул ему клокочущий от ярости голос Лахновского.

Полипов качнулся и тут только обнаружил, что он снова поднялся со стула. Нащупал рукой его спинку, оперся на нее. Лахновский, стоявший рядом, давил на него глазами.

Помедлив немного, Полипов сел. Ухо, в которое Лахновский выкрикнул ему эти два слова, горело, будто и в самом деле в него чем-то ударили.

— Как сделать? — проворчал Лахновский уже без прежнего гнева. Ярость его, мгновенно возникающая, так же мгновенно и утихала, словно уходила куда-то, как вода сквозь сито. Так случилось и на этот раз, и перед Полиповым стоял опять безобидный, будто и беспомощный, одряхлевший старик, устало опирающийся на свою трость.— Да, не легко это сделать, Петр Петрович... А главное — не

так скоро... невозможно быстро достичь этого. Десятки и десятки лет пройдут. Вот что жалко.

Полипов приподнял голову. Лахновский поймал его взгляд и, словно зацепив чем-то, долго не отпускал.

Так они, глядя друг на друга, какое-то время безмолвствовали. Один стоял, другой сидел, но оба словно превратились в окаменевшие изваяния.

— Что? — промолвил наконец Лахновский.— Думаешь: откуда у этого чертова Лахновского такой фанатизм? И зачем ему? Подохнет ведь скоро, а вот, мол...

— Н-нет...

— Не ври, думаешь! — обрезал его Лахновский.— И это хорошо. Сам видишь — у них есть фанатики, и у нас есть. Еще какие есть! Намного яростнее и непримиримее, чем я. Знай это. Запомни. Конечно, моя жизнь кончается. Ну что ж, другие будут продолжать наше дело. И рано или поздно они построят в России, во всех ваших советских республиках, совершенно новый мир... угодный всевышнему. Это случится тогда, когда все люди... или по крайней мере большинство из них станут похожими на тебя. Ведь ты, Петр Петрович, не станешь же... не будешь с оружием в руках отстаивать старый коммунистический мир?

— Сейчас — борюсь, как видишь.— Полипов дернул плечом, на котором топорщился майорский погон.

— Ну, сейчас,— усмехнулся Лахновский.— Да и какой ты борец даже сейчас?.. А потом, когда соответствующим образом будет подготовлен весь народ...

— Теория хороша,— усмехнулся и Полипов, начав опять смелеть.— Легко сказать — весь народ. А как, еще раз спрашиваю, это сделать вам? У партии... коммунистов гигантский идеологический, пропагандистский аппарат. Он что, бездействовать будет? Сотни и тысячи газет и журналов. Радио. Кино. Литература. Все это вы берете в расчет?

— Берем,— кивнул Лахновский.

— Советский Союз экономически был перед войной слабее Германии. Меньше, значит, было танков, самолетов, пушек. И всего прочего. Да и сейчас, может быть... Впрочем, сейчас — не знаю. Но пресса... идеологический аппарат сделал главное — воспитал, разжег до предела то, что вы называете фанатизмом... а другими словами — патриотизм к своей земле, гордость за свой народ, за его прошлое и настоящее, воспитал небывалое чувство интернационализма, любви и уважения народов друг к другу, привил небывалую веру в партию коммунистов... И в конечном счете — веру в победу,— говорил Полипов, сам удивляясь, что говорит это. Но, начав, остановиться уже не мог, чувствовал, что теперь ему необходимо до конца высказать свою мысль.— И вы видите — народ захлебывается в своей этой гордости, в своей преданности и патриотизме, в вере и любви. Этим и объясняются все победы на фронте... все дела в тылу. Солдаты, словно осатанелые, идут в бой, не задумываясь о гибели! На заводах, на фабриках люди по двадцать часов в сутки стоят у станков! И женщины стоят, и дети! В селе люди живут на картошке, на крапиве — все, до последнего килограмма мяса, до последнего литра молока, до последнего зерна, отдают фронту. Все, даже самые дряхлые, беспомощные старики и старухи, выползли сейчас в поле, дергают сорняки на посевах. Вот как их воспитали! И это... все это вы хотите поломать, уничтожить, выветрить?

— Это,— кивнул Лахновский, выслушав его не перебивая.

— Ну, знаете...

— Именно это, Петр Петрович,— спокойно повторил Лахновский.— Ты не веришь, что это возможно, и не надо. Считай меня безумным философом или еще кем... Я не увижу плодов этой нашей работы, но ты еще, возможно, станешь свидетелем...

Лахновский, зажав трость под мышкой, опять вынул табакерку, раскрыл ее, забил одну ноздрю, потом другую табаком.

— Газеты, журналы, радио, кино... все это у большевиков, конечно, есть. А у нас — еще больше. Вся пресса остального мира, все идеологические средства фактически в нашем распоряжении.

— Весь этот остальной мир вы и можете... оболванить,— почти крикнул Полипов.— А народов России это не коснется.

— Как сказать, как сказать...— покачал головой Лахновский, спрятал табакерку, начал опять острием трости ковырять в ковре. А поковыряв, произнес

со вздохом: — Сейчас трудно все это представить... тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.

— Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и помощников в самой России! — срываясь, выкрикнул Лахновский.

Полипов не испытывал теперь беспокойства, да и вообще все это философствование Лахновского как-то не принимал всерьез, не верил в его слова. И, не желая этого, все же сказал:

— Да сколько вы их там найдете?

— Достаточно!

— И все равно это будет капля в море! — из какого-то упрямства возразил Полипов.

— И даже не то слово — найдем... Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом... со всех сторон — снаружи и изнутри — мы и приступим к разложению... сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Молчи! — взревел Лахновский, услышав не голос, а скрип стула под Полиповым.— И слушай! Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива, как учил, как это умел делать Троцкий. Льва Толстого он, например, задолго до революции называл в своих статьях замшелой каменной глыбой. Знаешь?

— Не читал... Да мне это и безразлично.

— Вот-вот! — оживился еще больше Лахновский.— И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется!

Горло у Лахновского перехватило, он, задыхаясь, начал чернеть и беспомощно, в каком-то последнем отчаянии, стал царапать правой рукой морщинистую шею, не выпуская, однако, трости из левой. Потом принялся кашлять часто, беспрерывно, сильно дергая при этом головой, вытягивая шею, словно гусь при ходьбе.

Откашлявшись, как и первый раз, вытер платком глаза.

— Вот так, уважаемый,— произнес он голосом уже не гневным, но каким-то высокопарным.— Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания... Конечно, для этого придется много поработать.

Полипов Петр Петрович не знал, что когда-то, давным-давно, укрываясь в Новониколаевске от возможного разоблачения за всю свою деятельность, Лахновский такие же бредовые идеи развивал перед его будущей женой. Он не знал и знать не мог, что за все долгие годы, прошедшие после этого, в оцепеневшем от злобы и ненависти мозгу Лахновского ничего нового не родилось. Оглушенный и раздавленный всем услышанным, он изумленно глядел на Лахновского, стоящего неподалеку от него в какой-то странной позе — одной рукой тот опирался на трость, другой на спинку кресла, ноги его будто не держали, и он, полусогнувшись, висел между тростью и креслом, тяжко задумавшись о чем-то в таком положении. Мозг Полипова не мог во всем объеме воспринять смысл всего сказанного, он не мог

определить, серьезно все это или нет, нормальный перед ним этот человек, этот Лахновский, или ненормальный. Петр Петрович лишь был поражен нарисованной ему апокалипсической картиной.

— Да-а... Ловко,— растерянно произнес он после длительного молчания.

— Что? — резко воскликнул, будто очнувшись от забытья, Лахновский.

— Планы ваши, конечно... решительные. Только никогда вам их не осуществить,— мотнул головой Полипов.

Лахновский еще раз встряхнулся, выпрямился. Проговорил торопливо:

— Тебе этого не понять. Не понять... Да бог с тобой. Не всем дано.

Лахновский ковыльнул к дверям, толкнул ее, крикнул:

— Где там ты? Эй...

Он обернулся. Следом за ним вошел Валентик.

— Вот он тебя отведет за линию фронта. Как привел, так и отведет. Оставит там где-нибудь... А я устал. Ступай.

Полипов поднялся, постоял, глядя на Лахновского, не зная, надо или не надо ему что-либо говорить.

И Лахновский, уперев в него свои зрачки, плавающие, как поплавки, в водянистых глазах, тоже молчал. Потом губы его раскрылись, обозначив темную щелку рта.

— Живи как можно дольше, Петр Петрович,— усмехнулся Лахновский. — А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас...

Это было последнее, что Полипов услышал от Лахновского.

* * *

В ту самую ночь, когда Валентик вел уставшего и вконец измотанного Полипова на советскую сторону по знакомому уже оврагу, километрах в полутора южнее него, переходила линию фронта небольшая группа Алейникова. Кроме него в группу входили Иван Савельев, Гриша Еременко, Олька Королева, которую Алейников, зная, что до войны она жила в Шестокове, попросил быть проводницей, и два сержанта-подрывника, окончивших недавно спецшколу. Группа двигалась вдоль глухой балки, тоже заросшей кустарником. Ночное небо, раскаленное за длинный июльский день, окончательно не остыло еще, дышало теплом, все, кроме Ольки, обливались пóтом, каждый нес в вещевых мешках по нескольку комплектов батарей — питание для партизанских раций. Ольке Алейников не разрешил взять ни одной батареи, у нее не было вещмешка. Она, одетая в мужские крестьянские штаны и старый пиджак, повязанная в платок, туго затянутый под подбородком, шагала впереди, время от времени оборачивалась, натыкалась взглядом на Гришу Еременко, шедшего следом, и сердито фыркала, как зверек, отыскивала глазами шагающего за ним Ивана Савельева и, будто успокоившись, что он не отстал, шла дальше.

— Слушай, чего ты на меня все фыркаешь? — спросил Гриша вполголоса, не выдержав.

— Умолкни! — сверкнула в темноте глазами Олька. И хотя были еще на своей территории, кивнула куда-то в сторону: — А то фриц успокоит.

С самого того дня, когда Олька появилась в штабе прифронтовой опергруппы, отношения между ними сложились какие-то странные, насмешливо-неприязненные.

— Эй, барышня,— окликнул ее Гриша от машины, когда она однажды выходила из штаба от Алейникова.

Девушка молча остановилась, возившийся в моторе Гриша разогнулся и, вытирая тряпкой руки, не спеша стал разглядывать с ног до головы ее худенькую фигурку. Это ее нисколько не смутило, она, завязанная, как сейчас, в платок, стояла и спокойно ждала.

— Разрешите познакомиться, — сказал Гриша. Он был в расстегнутой гимнастерке, без ремня.— Хотя бы умеренно.

— А ты будь умеренным, да не мерином,— ответила она.

Это так ошеломило Григория, что он больше не мог вымолвить ни слова. Рот приоткрыл было, а слова не находились. Олька же по-прежнему стояла и сама теперь оглядывала его насмешливо с головы до ног. Рука Гриши сама собой поползла к воротнику. Он застегнул пуговицы, взял висевший на открытой дверце авто-

мобиля ремень, надел его, оправил гимнастерку. И только тогда вымолвил с усмешкой:

— Сильна-а...

Девчонка в ответ лишь фыркнула, как сейчас вот, повернулась и пошла. И он вслед ей ничего не посмел сказать.

С тех пор Олька при каждой встрече лишь насмешливо фыркала, и в глазах ее вспыхивала прежняя усмешка. Все попытки Григория завести с ней разговор ни к чему не приводили, и он, чувствуя себя в чем-то побежденным, прекратил их.

С Иваном Савельевым Олька познакомилась всего несколько часов назад. Вернее, даже не она с ним, а он с ней. Алейников собрал их всех, коротко, ничего не конкретизируя пока, сказал, что в тыл их поведет вот она, Оля Королева, и приказал до вечера всем спать.

Едва Алейников назвал ее имя и фамилию, этот пожилой солдат, сидевший как-то отрешенно, вроде бы мучившийся тем, что предстояло идти во вражеский тыл, медленно и устало поднял тяжелую голову, поглядел на нее с угрюмым и даже, как ей показалось, со зловещим любопытством. «Зачем этого типа берет с собой Яков Николаевич?» — подумала она еще. Но раз берет, значит, берет, решение это обсуждению не подлежит.

Вечером в дверь комнатушки при штабе, где она отдыхала, кто-то стукнул негромко. «Сейчас»,— откликнулась она и через минуту, уже одетая в дорогу, вышла в темный коридорчик.

— Пора, дочка. Все уже ждут во дворе,— услышала она глуховатый голос, узнала «этого типа» по фамилии Савельев, как назвал его Алейников днем, знакомя с остальными. Фамилия эта показалась ей знакомой, но и только, и ей было неприятно, что именно он, посланный, видимо, Алейниковым, пришел за ней, и она, не скрывая этого чувства, произнесла:

— Вы?!

— Я... Я, понимаешь, дядя Семкин.

— Какой дядя? Чей?

— Сержанта Савельева. Танкиста. Он мне говорил об тебе... Под Лукашевкой мы стояли...

— Ой! — испуганно воскликнула Олька и быстро закрыла рот ладошкой. Потом, отступив в полутьму, враждебно спросила оттуда: — Ну и что?

— Ничего...

Она повернулась и пошла к выходу.

На расшатанной, побитой осколками полуторке они, уже в темноте, доехали до окраины небольшой деревушки. Здесь их ждали армейские разведчики. Трое молодых и неразговорчивых солдат минут сорок вели их лугом, потом берегом речки, каким-то редковатым леском. Наконец спустились в неглубокую балку, замусоренную обрывками бумаг, жестяными банками, деревянными ящиками с нерусскими наклейками.

— Все. Уже у фрицев,— сказал один из разведчиков.— Счастливо. Балка эта длинная, еще километра полтора. Как кончится, слева будет лес, справа поле. Лес обогнете с южной стороны — подойдете к деревне Жуковка. Немцев там позавчера не было, а сейчас — черт их знает! Сейчас их погнали, может какая-то часть ихняя и в Жуковке оказаться. Там глядите.— И повернулся к Ольке:— Деду Сереге поклон.

— Передам,— сказала девушка.

И вот они идут вдоль балки, которая все не кончается, ведет их уже Олька Королева.

* * *

Темнота стояла густая и зловещая. И тишина кругом мертвая, враждебная. Иван все это понимал сознанием, отлично зная, что тишина в любую секунду может взорваться ревом автоматов, черную темноту могут вспороть огненные языки. Но в душе ни страха, ни даже хотя бы ощущения опасности не было. В душе с той секунды, когда Алейников сообщил ему о Федоре, образовалась какая-то пустота, там все будто онемело, все тело потеряло чувствительность, мозг перестал воспринимать реальность окружающего. В голове, разваливая ее, звенела и звенела

одна-единственная мысль: «Федька с немцами! Служит им... Как же так? Как же так?!» Все это было столь чудовищно и нелепо, столь непостижимо разумом и необъяснимо словами, что Иван даже и не вспомнил пока, что никто другой, а именно он не так-то уж и давно беспощадно бросил прямо в лицо Федору: «*Не все легко в жизни объяснить... Тогда партизанил, верно. Только сдается мне: случись сейчас возможность для тебя, ты бы сейчас против боролся*».

Иван шагал за Григорием Еременко, видел какие-то беспокойные взгляды этой девушки, замотанной платком. Но ему казалось, что взгляды эти она бросает не на него и что вообще не он, Иван, шагает сейчас куда-то во мраке, а кто-то другой. Он же, настоящий Иван Савельев, остался где-то там, в дыму, в огне, в грохоте жутких боев, в том мире, где находились Семка, Дедюхин, Вахромеев, Алифанов, что он живет и вечно будет жить за той чертой, за которой еще не было этого страшного известия о Федоре.

— Не отставай, Иван Силантьевич,— послышался сзади голос Алейникова, заставляя все-таки вернуться к реальности.— Скоро придем.

— Ага,— произнес Иван, оглянулся и вздохнул.

— Устал?

— Нет. Ничего.

И заметил, как Олька снова поглядела на него.

Балка наконец кончилась, они вышли к опушке леса, о котором говорили им армейские разведчики. Обогнув этот лес, долго стояли на его краю, вслушиваясь, вглядываясь в темноту. Затем Олька сказала:

— Кажется, тихо в деревне. Лежите тут. Я к деду Сереге схожу, спрошу у него...

Где она была, эта деревня, Иван в темноте не видел. Он снял рюкзак, положил на него автомат, опустился на землю. То же сделали и остальные.

Алейников в сторонке посовещался о чем-то с Олькой, затем она исчезла во мраке, а он подошел к Ивану, сел спиной к дереву.

— Курить подождать,— предупредил он. — Всем можно вздремнуть. Раньше чем через час она не вернется.

В безмолвии прошло с полчаса. Иван лежал у ног Алейникова, сквозь ветки глядел на тихие звезды в вышине. Они как-то успокоили, заставили вспомнить почему-то тот день, когда он позапрошлым летом шагал в Михайловку, возвращаясь из тюрьмы, громыхавшее небо над головой, зашумевшую сзади грозу, тугой пыльный вал, который ливень гнал перед собой. Он будто снова увидел, как, прорываясь, через этот тугой и пыльный ветряной вал, бежит к нему Агата, жена, почувствовал, как ее маленькое, нетяжелое тело упало ему на руки и забилось в них, теплое и живое... Потом сразу, без перерыва, глаза худой, большеглазой девочки лет пяти возникли перед ним — его дочери, которую он никогда еще не видел. Она взмахнула ресничками, отступила к стене, спрятав за спину тряпичную куклу... И опять без всякого перерыва — серые глаза и крутой лоб тринадцатилетнего сына Володьки. Шагнув через порог, он, с кнутом в руках, тоже прижался к стене, тоже глядел на него испуганно и недоуменно.

Жена и дети где-то живут сейчас под этим небом, ждут его, и он, назло всем смертям, назло проклятой немчуре, назло Федору, вернется к ним живой и невредимый! Ах, Федька, сволота слюнявая! Ну, расплатишься!

Иван пошевелился и поднялся, сел.

— Жалеешь, Иван Силантьевич, что сюда... с нами пошел? — спросил негромко Алейников вдруг. — Смотрю я на тебя — маешься.

— Н-нет! Понятно? — промолвил в ответ Иван враждебно.— Нет! А что маюсь, верно.

— Понимаю... — помолчав, сказал Алейников.

— Закурить бы все же, а? Мочи никакой нет.

— Ну, закури,— нехотя разрешил Алейников. — Только осторожно. Черт его знает...

Иван свернул цигарку, лег животом на землю, головой к вещевому мешку и, уткнувшись лицом в жесткую траву, чиркнул спичкой, сразу же плотно зажав огонь ладонями. Лежа так, быстро высадил всю самокрутку.

— Чудно,— сказал он, вдавив окурок в землю. — Сколь времени в аду и грохоте я... А вот — тишина. Будто и нету войны.

— Это мы перешли линию фронта на тихом участке. Сегодня утром и тут начнется.

Алейников привстал, чутко прислушался к темноте. Затем поглядел на фосфоресцирующие стрелки часов.

— Скоро уж должна Королева... — Сел на прежнее место. — Сейчас, Иван Силантьевич, судя по всему, тут разгорится битва такая, что... какой еще и не бывало. Она только началась. Немцы во что бы то ни стало снова хотят взять Курск. Они сосредоточили здесь силы, по всему видать, небывалые. Гитлер, как показывают пленные, считает сражение на Курской дуге решающим для всей войны.

— Выходит, в самом жутком пекле мы окажемся? — после некоторого молчания произнес Иван.

— Уже оказались. Страшно?

— Да что ж... Я обвык.

— А я вот не могу,— неожиданно признался Алейников. И, почувствовав на себе удивленный взгляд Ивана, продолжал так же негромко: — Я, Иван Силантьевич, ничего не страшусь, не боюсь. Тоже в разных бывал переплетах... на воде и на суше. Я в Крыму воевал, на Кубани. По тылам немцев не раз ходил. А вот не могу привыкнуть к войне. Старею, что ли? В молодости, в гражданскую, такого чувства не было.

— Н-да,— как-то неопределенно произнес Иван.

— Вот сидим мы тут, на своей земле. И опасаемся ее... отовсюду ждем опасности. Разве к этому можно привыкнуть?

Иван долго осмысливал эти слова.

— Пожалуй что, если так... Только я скажу — и не надо. Не надо привыкать, ежели в этом смысле.

— В этом, Иван Силантьевич,— кивнул Алейников.

Короткая июльская ночь вот-вот уже начнет с востока подтаивать, а Олька Королева все не возвращалась. Она должна была узнать у деда Сереги, где сейчас находится партизанский отряд Кондрата Баландина, бывшего председателя жуковского колхоза. В зависимости от этого Алейникову предстояло принять решение — двигаться дальше или где-то укрываться на день.

Он опять встал, начал вглядываться в темноту.

— Как бы не оплошала. Вдруг в Жуковке немцы?

— Девка, видать, неглупая,— успокоил Иван Алейникова.— Ты-то ее давно знаешь?

— Не очень. Всю оккупацию она разведчицей была у партизан.

— Вон что! Чего же она, как старуха, в платок мотается?

— Голову себе попортила кислотой. Чтоб немцы не опоганили.

Иван долго-долго теперь молчал. И наконец произнес со вздохом:

— Чего люди за войну эту не натерпятся, не переживут...

— Да-а... — Алейников опять сел. — Война всегда сильно ломает судьбы людей. По себе знаешь.

Грудь Ивана Савельева неслышно колыхнулась, ему стало немножко неприятно, что Алейников опять сказал об этом, но обиды на него не было.

— Порой диву только даешься... — продолжал свое Алейников. — В ту войну, в гражданскую — твою судьбу, в эту — Федора, брата твоего родного.

— Война, конечно, войной, да и окромя причина для этого всегда бывает,— сказал Иван не для оправдания себя или тем более Федора, а чтобы уяснить что-то, какую-то мысль, вроде и ясную ему, да не до конца.

— Это само собой,— согласился Алейников.— Кого по глупости, кого по тупости...

— Он, что ж, Федька, добровольно к немцам ушел или через плен?

— Этого не знаю. А если через плен, разве не мог добровольно? Да и в этом разве дело?

— Ну да,— произнес Иван согласно. Подумал о чем-то, усмехнулся.— Встреча если выйдет сейчас с ним, в глаза, сволочуге, погляжу. И скажу: маялись мы с тобой, Федька, обои в жизни, да, показало время, в разные стороны. Не поймет только...

— Пойме-ет! Он неглупый,— произнес Алейников. — Что же, ежели возьмем живым его, скажи... — И через паузу продолжал: — А насчет разных сто-

рон — верно ты, Иван Силантьевич, в точку... Вот встретил я тут недавно одного, который тоже, кажется, мается. В ту сторону, как ты. Знаешь, кого? Зубова-то, царского полковника-карателя, помнишь?

— Ну? — промолвил Иван. — Сводила меня судьба потом и с сыном его...

— Сына его я тут и встретил.

— Петра Зубова?!

— Именно. В штрафной роте у Кошкина. Сиди, чего вскочил?

Иван, приподнявшийся было, осел, задышал громче обычного.

— А с ним и родственника твоего через Анну Кафтанову — Макара. Родного сынка Михаила Лукича Кафтанова.

Осмысливая это известие, Иван помолчал с полминуты, потом сказал:

— Дела... Ну и что?

— Долго я говорил с ним. С Макаром не пришлось, а этот сам на разговор вышел. Что же, скажу тебе... ежели и не понял я его судьбу, то почувствовал — не умер, пробуждается в нем человек. Мелькнула было даже мысль: не взять ли его с собой в Шестоково? Может, и несерьезная пока. Но мелькнула... И в общем жаль, если в том бою, о котором и ты рассказывал, погиб. Уцелели тогда не многие. А Макар вот уцелел, если интересно тебе...

Иван лишь молча усмехнулся и потом стал глядеть в темноту.

— Погиб если Зубов, так в ту пору, когда и не надо бы уже...

— Да, бывает,— встрепенулся наконец Иван. — А я вот что хочу, Яков Николаевич, спросить... Ты, говоришь, Кружилину об нас с Семкой сообщил, в Шантару. А про Федьку? А?

Алейников ответил не сразу:

— Не писал я ничего про Федора.

Иван облегченно выдохнул из себя воздух.

— И не надо, а? Яков Николаевич! — почти шепотом попросил Иван. — Никуда не надо бы... Ведь что будет с Анной? С ее детишками?

— Да, что будет? — вздохнул и Яков.— Не сладко им в жизни, наверно, будет. Но не от меня это зависит, сообщить куда или не сообщать. Мне это и не положено.

— В чем детишки виноваты? Андрейка, младший ихний, на фронт бегал. Семка-то как воевал, я видел.

— С Семеном, сам говорил, еще и не ясно, убит он или...

— Теперь, я уже надеюсь, что убитый,— почти простонал Иван.— Ах, война... Проклятая война, что она делает!

Выговорившись, они теперь оба сидели недвижимо. И теперь уже ничего не нарушало тишину звездной июльской ночи. Не нарушало до тех пор, пока где-то неподалеку в зарослях не пискнула первая проснувшаяся птица.

Она подала голос и умолкла. Иван, будто ожидавший этого звука, пошевелил плечами, сбрасывая окаменелость, поднял руку и провел ладонью по лицу.

— Да-а...— И зачем-то спросил: — А ты, Яков, досель одинокий?

— Когда же мне было жениться? И на ком?

— Ну, на ком! Ты ж не в окопах воюешь...

— Тихо! — прошептал Алейников, в течение всего разговора чутко прислушивавшийся к темноте, к ночному пространству.— Кажется, возвращается, слышишь?

Иван, сколько ни вслушивался, не мог различить в тишине ни одного шороха.

— Ни черта...

— Идет... кто-то.— Алейников поднялся.— Давай буди всех.

Люди тотчас просыпались, едва Иван дотрагивался до них, и в ответ на шепот, что кто-то приближается к ним, молча и привычно снимали с предохранителей автоматы.

Алейников стоял возле дерева, слившись со стволом.

Сбоку опять подала голос зорянка, ей откликнулась другая. Иван, затаившийся вместе с другими в зарослях, сквозь ветки увидел, что восточный край неба чуть тронулся синевой.

— Она,— негромко произнес Алейников, снимая у всех напряжение.

Фигура девушки появилась из мрака раньше, чем рассчитывал почему-то Иван, и потому неожиданно. Появилась неслышно, будто плыла по воздуху, не

касаясь земли,— под ногами ее хоть бы сучок треснул. «А Яков все равно расслышал. Ишь специалист!» — подумал он восхищенно об Алейникове.

— Отряд там, в Поповских лесах, километрах в семи от Шестокова,— сообщила Королева.— Я думаю, надо идти. Тут пустыри по дороге, пока развиднеет, мы их пройдем. Да и немцев в Жуковке нет. А там все леса и леса...

— Взять вещевые мешки,— приказал Алейников.— Устала?

— Нет. Дед Серега меня молоком напоил. Живая его корова, оказывается. Всю войну ее в лесу держит, неподалеку за деревней,— сообщила она, повернувшись к Ивану.— Дед этот смека-алистый!

Это «смека-алистый!» она произнесла по-детски восторженно, поправила платок, туже затянула его под подбородком.

— На днях партизаны пытались Бергера живым взять. Из Орла он, что ли, возвращался.

— Бергера?! Ну?! — воскликнул Алейников нетерпеливо.

— Не получилось что-то там. Убили его в перестрелке. А документы, которые были при нем, все забрали...

— Вот как... Ну, поторопимся тогда действительно.

— Пошли,— сказала Королева.

И все двинулись в прежнем порядке — сперва Олька, за ней Гриша Еременко, дальше Иван, Алейников и остальные.

Синеющий край неба остался у них справа.

* * *

Поповскими эти леса назывались потому, что в двадцатых годах в них долго укрывалась банда, возглавляемая попом шестоковской церквушки Захарием Баландиным, который был старшим братом председателя жуковского колхоза, а теперь командира партизанского отряда Кондрата Баландина, человека грузного, заросшего жестким, поседевшим волосом. Фанатичный поп в первый же день установления Советской власти предал ее публично анафеме, а заодно проклял и своего брата, который только что вернулся с фронта и был назначен председателем сельского Совета. Когда Кондрат в окружении безоружных сельчан явился в церковь и потребовал прекратить контрреволюционную агитацию, Захарий выхватил из-под рясы револьвер и в упор саданул в брата. Пуля глубоко пропахала Кондрату правую щеку, а поп, воспользовавшись замешательством, ринулся из церкви, в дверях обернулся и еще раз выстрелил, убив наповал одного из мужиков. С револьвером в руке, распугивая встречных, он, махая полами рясы, как крыльями, черной птицей пронесся вдоль улицы, угрожая оружием, остановил бричку-одноколку, вскочил на нее, схватил вожжи и, стоя в бричке, принялся нахлестывать лошадь.

Затем по окрестным деревням он сколотил банду из таких же фанатиков, как сам, и, укрываясь в мрачном, болотистом лесу, много лет бесчинствовал по всей округе. Он жег несколько раз коммуну, трижды посланные им люди стреляли в Кондрата Баландина, но, к счастью, неудачно. Кондрат, вооружив, чем было возможно, шестоковских мужиков, с помощью хиленьких сил милиции тоже не раз пытался банду уничтожить. Но хитрый поп был всегда настороже, врасплох застигнуть себя не позволял, и каждый раз его люди уходили в глубь лесов, за болота, где их было не взять.

Лишь в двадцать шестом году, уже с помощью регулярной части Красной Армии, банду удалось разгромить. Сам Захарий ни живым, ни мертвым в руки не попался. Отстреливаясь, он пятился в глубь болот, но где-то оступился с тропы и захлебнулся, утонул в трясине.

Все это Ивану, не ведая о его жизни, рассказала Олька Королева, когда они, разыскав отряд, сидели под вечер у потухающего костерка, над которым висел котелок с остывающим чаем. Рассказала в ответ на его вопрос: отчего командир партизан зарос, как страшилище, бритвы, что ли, в отряде нет?

— А бритва есть. И парикмахеры свои в отряде имеются,— закончила она свой рассказ.— Только полщеки у Кондрата Маркеловича нету — тем выстрелом кусок мяса ему с лица сорвало. Ну, он и закрывает лицо бородой с тех пор.

Олька, не спавшая всю предыдущую ночь и весь день, усталости, казалось, не испытывала, глаза ее поблескивали сухо и строго.

— Везде оно примерно одинаково проистекало,— задумчиво сказал Иван, выслушав ее рассказ.— И у нас в Сибири новая жизнь так же круто замешивалась. На смертях да на крови.

При этих словах Олька медленно, будто с трудом, повернула к Ивану замотанную платком голову, приподняла ее, одновременно обнажив худую, слабенькую шею. В холодных глазах ее плеснулась боль, такая явственная и пронзительная, что казалось, девушка сейчас застонет.

— На крови, на смертях замешивалась — ладно,— шевельнула она губами. И каждое движение причиняло ей, видимо, еще более нестерпимые страдания, а глаза, до этого сухие, вдруг повлажнели.— Замешивалась — ладно. А почему... почему она и продолжается так же? Все на тех же смертях? На той же человеческой крови?!

Глаза с каждым мгновением влажнели все больше, наполнялись слезами. И по мере того, как это происходило, боль в них исчезала, смывалась, она глядела на Ивана все тоскливее и беспомощнее.

И вдруг слезы хлынули обильными ручьями, она глотнула судорожно воздуху и, захлебнувшись им, задохнулась, упала, уткнулась головой в его колени, худые и острые плечи ее затряслись.

В первое мгновение Иван растерялся. Он вообще с того момента, когда девушка, выйдя из землянки, где Алейников и партизанские командиры давно совещались о чем-то, вдруг подошла и села к костерку, чувствовал себя скованно, а теперь и совсем не знал, что делать.

— Ну, это ты зря — плакать,— произнес он первое, что пришло на ум, тронул ее за вздрагивающие плечи.— Война же эвон какая. Потому и кровь... и смерть. Будет, дочка, слышь... Не надо.

Она оторвалась от его колен, сперва ладонями, по-детски, вытерла слезы. Потом достала из кармана платочек.

— Не могу я больше, дядя Ваня...— всхлипывая, произнесла она, вдруг назвав его так.— Сил у меня больше нет никаких.

— Да что ж... понять можно.

— Нет, нельзя...— И она опять зарыдала, ткнувшись лбом ему в грудь.

— Ну-ну... Будет. Ей-богу.

— Дядя Кондрат... он изувеченную щеку бородой закрыл,— враждебно закричала она, отрываясь от его груди,— а я чем? А я чем?! У женщин борода не растет! Вот, гляди!

Она сорвала платок. Иван увидел безобразный рубец на ее щеке, в глазах его полыхнули изумление и боль. Но сказать он ничего не успел, из землянки вышли Алейников, командир отряда Кондрат Баландин, какой-то парень в облезлой кожаной куртке, с ярко-рыжей копной волос и еще несколько человек. Алейников, увидев Ивана и всхлипывающую Ольку, сказал что-то Баландину, и тот со всеми пошел в сторону, а Яков шагнул к костру.

— Что такое? — спросил он обеспокоенно еще на ходу.— Что случилось?

— Да вот, разговариваем,— ответил Иван.— Ничего, так это... Устала она.

— Я ж приказал — спать.

— Я и то ей говорю...

— Иди спать, Оля.

— Я сейчас, Яков Николаевич,— сказала она, завязывая платок.

— Отведи ее, Иван Силантьевич, в палатку,— распорядился Алейников и пошел.

Шагов через десять оглянулся, сделал Ивану жест в сторону облинявшей под дождем палатки, разбитой под тяжелыми еловыми лапами,— веди, мол, чего сидите? — и ушел куда-то вслед за партизанами.

— Пойдем.— Иван начал подниматься.

— Сейчас. Ты погоди, дядя Ваня.— Она положила ему руку на колено.— Это ничего, что я вас так называю?

— Да что ж... называй.

Олька привычным движением, которое Иван видал уже не раз, поправила платок на голове, поглядела в ту сторону, куда ушел Алейников.

— «Спи». А сам когда будет спать? — проговорила девушка. Голос ее был уже успокоенный.— Ночью сам хочет разведать все подступы к Шестокову. Этот, рыжий, его поведет. Это Степка Метальников, шпион Бергера в этом отряде.

— Как это — шпион? — не понял Иван.

— Ну, они заслали его к Баландину. Вступи, мол, в партизаны, а нам все докладывай. А он парень оказался честный... Ну, и порешили — время от времени он будет являться в ихнюю «Абвергруппу» со всякими ложными известиями. А уж у них что выведает — немедленно в отряд сведения, а отсюда Алейникову... Не раз Степка от верной гибели отряд спасал. Он да шестоковский староста Подкорытов.

— И староста... тоже?! — воскликнул Иван.

— А что так удивляешься? У нас тут кругом такие люди.

Вечер был тихим и душным, разопревшая под дневным солнцем еловая хвоя густо пропитала воздух пахучим смолистым настоем, настолько густо, что в нем вязли, казалось, комары — их было до удивления мало, и они, обессиленные и вялые, не могли высоко подниматься над землей.

Олька долго сидела неподвижно, слушала бульканье ручья, протекавшего метрах в десяти по затравеневшей низинке.

— Вы что же, раз ты про меня знаешь... в одной части, что ли, с Семеном? — негромко спросила она.

— Да вот с самого начала вместе воюем... воевали.

Он почувствовал, как она, не меняя позы, вздрогнула при последнем слове. Даже не вздрогнула — просто качнулась еле заметно обмотанная платком голова, и лицо ее медленно стало поворачиваться к нему. И когда повернулось, в глазах ее он увидел безмолвный мучительный крик.

— Убит? — больше догадался по движению ее губ, чем расслышал Иван.

И в несколько секунд он пережил множество странных, доселе незнакомых ему состояний. Что ей ответить, этой, видать по всему, доброй и славной девчушке, до костей обожженной огнем и кровью, изнуренной страшным временем войны? Убит? Но он и сам этого не знает. Не убит? И в этом не уверен. Может, в таком случае сказать «убит»? Чтоб раз и навсегда знала она это, забыла о нем для собственного спокойствия, и если... если он, Семка, чудом все же объявится на земле, для спокойствия его самого, его жены Наташки и родившейся у них дочки. В конце концов, кто ему эта Олька? Случайно встретились на жутких дорогах войны, что-то под влиянием минуты у них там произошло, ничего серьезного, ничего такого, что имеет какое-то значение для обоих... Но не имеет ли? Вон как полыхают и горят ее глаза. И, кроме того, это будет ложь, ложь. Одно слово — и жизнь этой живой души человечьей пойдет, потечет по какому-то другому пути. Вон крохотный и бессильный ручеек, перегороди его, взрывом снаряда завалит если неглубокое русло,— вода накопится, потечет в сторону куда-то, в неизвестность. А зачем лишать эту живую струйку определенной ей природой дороги? По другому пути... А кто имеет право взять за это ответственность? Никто, никому не положено...

— Убит?! — еще раз продавил ему уши умоляющий хрип, смяв, смешав все его лихорадочные рассуждения и одновременно заставив его подумать об их ненужности.

— Не знаю, Ольга,— сказал Иван, прижимая к вискам ладони.

— Знаешь! Знаешь!! — дважды воскликнула она. И властно потребовала: — Рассказывай! Все говори!

Иван еще помолчал и стал рассказывать с подробностями обо всем, что произошло там, на высоте 162,4, как рассказывал недавно Алейникову. А девушка его ни разу не перебила, не задала ни одного вопроса.

Когда он кончил, зола под котелком была холодной, костерок давно угас, испепелив все угли, до последнего. И день почти угас, оставив над кромкой леса еще светлое пока пространство, которое меркло. Стало прохладнее. Исчезли редкие комары, затихли голоса партизан, временами доносящиеся с поляны за ручьем. Все кругом изменилось, лишь ручеек так же, как и прежде, негромко побулькивал, и Олька, прислушиваясь к его говорку, неожиданно спросила:

— Правда, хорошо?

— Что?

— Ручеек звенит...

Иван ей не ответил. Ему было обидно, что Олька не задала ни одного вопроса, ничего не переспросила. Зачем тогда требовала рассказать ей все?

Она сидела все так же недвижимо, смотрела безотрывно на потухший костер.

— Мне рассказывали, что дядя Кондрат тогда за братом своим, попом, до самого конца гнался, обоймы четыре в него расстрелял из нагана, а тот все увертывался, пока в трясину не угодил. А ты, дядя Иван, за своим погонишься послезавтра?

— Ты... знаешь?! — вымолвил он.

— Алейников сейчас,— она кивнула на землянку,— сейчас при мне всех предупредил, чтобы брата твоего да начальника шестоковского гарнизона Лахновского живьем взять.

Иван думал, что о Федоре, кроме него да Алейникова, никто пока ничего не знает. Но, понимая, что рано или поздно это станет известным, морщился от предчувствия неизбежно приближающегося такого момента. И вот он наступил...

— Ну что ж... Оно и хорошо,— произнес он, испытывая облегчение.— А погонюсь, не погонюсь — тебе что?

Она подняла на него глаза, совершенно мертвые и холодные, как остывшая под котелком зола. Иван почему-то думал, что в них стоит по-прежнему невыносимая боль и страдание, а в них ничего не было.

— А я хочу, дядя Ваня, вместе с тобой... вместе со всеми туда.

— Не надо бы тебе...— невольно произнес он.

Уголки ее губ дрогнули и опустились вниз, она усмехнулась усмешкой, тяжелой и страшной в какой-то своей жестокости.

— Ты, дядя Ваня, за меня не бойся. Я уже не живая. Давно... Алейников знает.

Иван смотрел на нее со все нарастающей тревогой. А она еще раз так же усмехнулась.

— Чего он знает? — вымолвил Иван.

— Я все время вижу перед собой глаза мамы... День и ночь. День и ночь,— не обращая внимания на его слова, продолжала она.— Понятно? И все время голос ее во мне звучит: «Дочка, бросай! Бросай!..» И я бросила.

— Что? — спросил он. И, уже спросив, ощутил, как возникает в нем предчувствие, что он, прошедший в жизни все круги ада, испытавший все мыслимое и немыслимое, узнает сейчас нечто такое, отчего остановится в жилах кровь.

— Гранату. В маму...

Иван, будто пытаясь вытрясти больной и невыносимый гул из головы, тряхнул ею.

— Ты что... говоришь?!

— Бросила...— повторила Олька, задохнулась, дернула шеей, проглотила тяжкий комок.— Они, трое немцев, насиловали ее... на полу.

Кровь в жилах Ивана действительно остановилась, в груди похолодело, там, где было сердце, возникла и росла, росла черная пустота.

Не в силах ничего сказать, он стал медленно подниматься. И Олька, будто была с ним соединена чем-то, тоже начала подниматься одновременно.

А поднявшись, они некоторое время стояли недвижимо. Иван, ничего теперь даже и не понимая, не соображая, глядел на девушку мутными, невидящими глазами, а она, сложив руки под грудью, склонив голову немного набок, будто по-прежнему прислушивалась напряженно к неумолчному плеску ручейка.

— Но это не самое страшное, ее глаза,— донеслось до него.— А самое страшное в другом... Если бы мама не закричала, чтобы я... я все равно бы бросила. Все равно...

Голос ее был тих, слаб, она говорила почти шепотом. Но звон ручья, отчетливо печатающийся в сознании, совсем не заглушал его.

Проговорив это, она устало обронила руки, повернулась и пошла. И Савельев Иван повернулся вместе с ней, но остался на месте. Стоял и глядел на удаляющуюся Ольку до тех пор, пока она не скрылась в палатке.

* * *

Алейников и рыжий Степан Метальников, опасаясь немецких постов, на значительном расстоянии обошли ночью вокруг Шестокова, в лагерь вернулись уже при ярком свете солнца, которое в июле встает рано. Всю ночь Яков был хмур и неразговорчив, объяснения Метальникова о характере местности выслушал тоже молча, не задавая никаких вопросов. Только когда они выбрались из кустов на песчаную дорогу, убегающую к западной стороне Шестокова, и когда Метальников сказал, что завтрашней ночью он, согласно обусловленному с Бергером сроку, должен с очередным донесением выйти именно на эту дорогу, лишь в километре правее от этого места, где они стоят, Алейников спросил:

— А дальше что обычно бывает?

— Они или забирают у меня составленное особым шифром донесение и отправляют обратно, или ведут на беседу и инструктаж к самому Бергеру.

— Но теперь Бергера нет,— раздраженно проговорил вполголоса Алейников.— Ты, ихний агент в отряде, не сообщил заранее о запланированной партизанами акции против него. И что в «Абвергруппе» теперь по этому поводу думают?

Степан лишь пожал плечами.

Этот же вопрос Алейников задал, вернувшись, Баландину. Яков, позавтракав, только что вылез из-за стола и, собираясь наконец поспать, снял гимнастерку, брюки, сел на топчан.

— Ответа у них может быть два-три,— сказал Баландин, допивая чай из алюминиевой кружки.— Первое — не мог заранее узнать об этом нашем плане. Второе — не сумел, ну, не имел возможности, времени сообщить об этом. Тоже ведь ему надо отлучиться из отряда незаметно, а мы не лопухи. Шестоково не близко.

— А третье?

— Третье — все сильней думают, чей он агент, ихний или наш.

— Вот это скорей всего,— сказал находившийся тут же Метальников.— Лаховский давно этим мучается. Последний раз, когда я ходил в Шестоково, часа три мытарил. И чуть не запутал, сволочь. Потом свою трость приставил напротив сердца. «Чуешь, шипит, что ждет тебя, ежели что? Полсекунды — и готово. В любом случае наши люди живьем тебя ко мне приволокут...»

— Поторопились вы с Бергером,— поморщился Алейников.— Сейчас они во сто крат насторожились.

— Связаться с вами не имели возможности, питание для рации кончилось.— Баландин отставил кружку.— А тут такое известие староста Подкорытов через Степана передал — Бергер в Орел уехал, вот-вот должен возвращаться. Упускать такой момент? Двое суток, проклятого, сторожили. Живьем, думали. Да вот...

— Ну ладно, ладно...— раздумчиво произнес Яков.

— Думаю я все ж таки твердо, Яков Николаевич, что именно третье...— промолвил Метальников.— Им непонятно только одно... одно смущает, я полагаю: откуда могло мне стать известно, что Бергер уехал в Орел? А это, я говорил, Леокадия Шипова Подкорытову сказала, а тот немедля мне... Но Лаховский змей, он докопается до концов... ежели уже не докопался. Тогда старику крышка немедля.

— Сперва мы не поверили,— усмехнулся Баландин.— Леокадия эта, проститутка-то, с чего бы вдруг? Провокация, думаем... Но Фатьян Подкорытов сильно уверил его, что она, сколь ни чудно, правду сказала... И решили подсторожить Бергера.

— Да-а, оно бывает так: чем ни чуднее, тем поразительнее,— как-то непонятно произнес Алейников, зевая от усталости.— Но так или иначе, а об тебе, Метальников, они сейчас голову сильно ломают. Если старика Подкорытова взяли в оборот, мог или не мог он признаться?

— Нет, Яков Николаевич,— качнул головой Баландин.— Это черт, а не старик. Он еще смолоду кнутом и огнем испытанный.

— Как? — встрепенулся Алейников.— Ну-ка, расскажи.

— Не то в двадцать четвертом, не то в пятом... точно, в пятом было. Братец мой Захарий в какой-то раз налетел на Жуковку. Эх, было дело, пощелкал он нас, паразит. И меня в правую икру подстрелил,— сверкнул черными глазами Баландин.— Подкорытов Фотя — он тогда в Жуковке жил, тамошний и уроженец,— ког-

да уже из кольца-то и выскользнуть нельзя было, на виду у бандитов уволок меня к себе во двор и сунул... ну куда ж ты думаешь? В собачью будку. Пес у него был огромный, волкодав, да не с человека же. «Как же, говорю, умещусь?» — «Лезь!» — орет и пихает меня головой вперед. Ну, я сейчас раздобрел, а тогда щуплый был. Голова, плечи и зад в дырку пролезли, а ноги торчат. Он, Фатьян, велел мне на спину лечь, загнул мне одну ногу, вдавил в дырку. «Упирайся, говорит, под крышу будки, да не сильно, не высади переднюю стенку». И другую, раненную, тем же макаром. Бездетный он был, Подкорытов, с женой вдвоем жили. Она выскочила из избы, завыла. «Не распускай слюни,— закричал он ей,— беги задами куда хошь, и я куда-нибудь затаюсь...» Едва-едва управился со мной, как, слышу, головорезы Захария на подворье врываются, пес залаял на них бешено. Грохнуло сразу два или три выстрела — собака завизжала предсмертно. «Чем же пес виноват?» — послышался голос Фатьяна. Не успел он убежать, значит. Минуты какой-то и не хватило. Все, думаю, конец ему.

Баландин налил из чайника остывшего чая и хлебнул. Алейников перестал зевать. И Метальников слушал удивленно, широко раскрыв по-калмыцки узкие глаза.

— Ну, и... а дальше? — спросил он.

— Дальше — чего ж? Я лежу так, как таракан сдохший, на спине, с согнутыми лапами. Колени в подбородок упираются, а ступни — в переднюю стенку конуры, под крышу. И помру, думаю, зазорно. Все равно ж увидят, если кто на собачий лаз взгляд бросит. Али кровь из ноги вытечет струйкой из конуры. Ну, я не знал, что мертвый пес, на счастье, возле дырки прямо лежал, маленько закрывал ее. И кровь песья землю возле конуры обрызгала... Не знал, а делать нечего, лежу. Наган, правда, не выпустил из руки, сжимаю. Совсем-то зазря, думаю, не дамся... Шум на дворе, крики, плети свищут, Фатьян орет. Потом слышу — сам братец подскакал к дому, заматерился благим матом. «Что, кричит, вы его плетками по двору, как щенка, гоняете? — Это Фатьяна, значит.— Ему, орет, задницу не плетьми, а огоньком погреть надо, чтоб не воняла. Ну, куда спрятал Кондрашку? Убежал через огород? Не ври, подстреленный он, не убежать ему. Ну-к, подвесить его кренделем на верею. И огоньку под задницу...»

Партизанский лагерь жил обычной утренней жизнью. Сквозь небольшие оконца землянки было видно, как несколько человек, вооруженные советскими и немецкими автоматами, с ножами на поясах, гуськом ушли в лес — сменить ночные посты, расставленные в необходимых местах на различных расстояниях от лагеря. Проехала куда-то телега, груженная туго набитыми мешками, ящиками, меж которых обрубком торчал ствол станкового пулемета. Широкая в плечах, грудастая баба, босая, с мокрым подолом, развешивала на веревках, натянутых между деревьев, только что выстиранное в ручье белье — мужские подштанники, нательные рубахи, гимнастерки... К ней подошла Олька с полотенцем в руках. Голова ее, как обычно, была туго обмотана светлым платком. Она что-то спросила у женщины, улыбнулась, положила полотенце на траву, стала помогать развешивать белье.

Алейников пристально глядел через оконце на Ольку. Когда та приподнималась на носках солдатских сапог и вытягивала руки, чтобы забросить белье на веревку, отчетливо обозначалась, обрисовывалась ее худенькая, слабенькая, еще почти детская фигурка, и в глазах у Якова мелькала какая-то грусть. Командир партизанского отряда заметил это и невольно глянул в оконце. Яков чуть смутился, тотчас проговорил:

— И чем же все кончилось?

— Чем... Руки-ноги Подкорытову схватили веревками, концы перебросили через верею, подвесили крючком в воротах, а снизу огонь развели. Любимое веселье Захария, любил так людей пытать, не одного сказнил. «Я не до смерти,— говорил он,— казню, только жир с мягкого места вытапливаю, чтоб в сортир потом легче коммунарам ходить было». Огня немного клал, чтоб тело не сразу обугливалось. А когда все до костей выгорало, огонь приказывал убирать. В жестоких мучениях умирали потом его жертвы...

На скулах Алейникова вздрагивали крепкие, как камни, желваки. Метальников изменившимся голосом произнес:

— До такого... и фашисты еще не додумались.

— Такой он был, братец мой. «Что же,— издевается он,— раз Кондратову задницу жалеешь, изжарим твою...» А я все слышу, лежу в этой самой... позе. Слышу, как визжит Подкорытов Фатьян. Вот и горелым мясом запахло. До этого лишь псиной пахло, а теперь все этот запах перебил. Ну, да что говорить...

Олька все еще помогала развешивать белье. Алейников опять глядел на нее безотрывно холодными, остановившимися глазами.

— Чего только не приходится перенести человеку на этой земле,— после некоторого молчания хрипло произнес Баландин.— И подумать жутко. Подкорытова жгут, а подо мной горит, чувствую, еще жарче. Как вытерпеть? Будь что будет, решаю, смерть, конечно, будет, но сил больше нету соображать, что они с человеком делают. Высажу сейчас, думаю, ногами переднюю стенку собачьей будки... Только бы суметь на ноги вскочить, в нагане еще три или четыре патрона. Напрягся и как даванул...

Баландин проглотил что-то тяжелое, отвалился на спинку стула так, что она затрещала, замотал обросшим лицом, будто пытаясь освободить шею из тугого воротника старой, побелевшей от солнца гимнастерки.

— И — что? — негромко спросил Метальников.

— Ничего... В глазах лишь потемнело. В тесной будке и без того темно, а тут черные круги какие-то пошли. Тело все прорезало болью — икра-то у меня развороченная пулей была. Вот, мелькнула мысль, оттого и не хватило силы будку разломать. Крепкая оказалась... А дело было даже и не в том, что крепкая, ноги у меня в таком положении затекли уже, не послушались. А в мозгу больнее, чем в теле, закрутилось: из-за меня ж человек лютой смертью гибнет. Из-за меня! Крикнуть надо: «Оставьте его, вот он я, тут!» И, говорит Подкорытов, закричал. Я-то ничего не помню, мне чудилось, что я думаю лишь об этом, а он говорит: «Нет, я расслышал, кричал ты из будки».

— А бандиты не расслышали, что ли?

— Не до того им уж было. Из Шестокова милиционеры прискакали. Как налетел Захарий, мы туда конного послали. Телефонов тогда не было, мы — конного... Там близко, три версты всего.

— Ну ладно, Подкорытов, будем считать, не признается,— проговорил Алейников.— А эта, как ее? Леокадия Шипова?

— Эта, конечно, ежели начнут ее трясти... Но Подкорытов, я верю, смолчит,— еще раз заверил Баландин.— Смерти он не боится, пожил, говорит, слава богу, а оставлять сиротами на этом свете некого. Жена его до войны еще скончалась, детей у него не было.

— Ладно,— махнул рукой Алейников, как бы подводя итог разговору.— Даже лучше, если б признался, что сообщил Степану... Шевелится у меня в мозгу один план. До двух часов я и ты, Метальников, поспим. Днем обговорим и уточним все в деталях. А пока весь отряд разбить на четыре группы. Две — по сорок человек, остальные — по пятнадцать. Маловато силенок, да что поделаешь. После обеда уложить всех спать. На закате выступаем.

План Алейникова был прост. Он основывался на том обстоятельстве, что линия фронта неумолимо приближалась и в связи с этим Лахновский, безусловно ошеломленный к тому же нападением среди ясного дня на Бергера и его гибелью, ждет теперь неминуемого удара партизан и на самое Шестоково. И этот удар скорее всего будет нанесен нынешней ночью с запада. Почему нынешней ночью и с запада?

Интуиция Алейникову говорила: Лахновский давно взял в оборот всех, кому было известно о поездке Бергера в Орел, а значит, прежде всего некую неизвестную ему Шипову Леокадию, а там, видимо, и Подкорытова. Признаются они или нет, что сообщили о поездке Бергера — она Подкорытову, а тот Метальникову,— все равно Метальников теперь для Лахновского ясен. Но, рассуждал Алейников, Лахновский продумал и следующее: Метальников и командир партизанского отряда Баландин тоже не лыком шиты, тоже понимают, что Метальников теперь, видимо, разоблачен и на сегодняшнюю встречу, понятно, являться ему нельзя. А если все же явится, то с одной целью: скрытно следующие за ним партизаны должны захватить его человека, пришедшего на встречу с Метальниковым, под угрозой смерти заставить его подвести к постам, бесшумно уничтожить их и, приблизившись таким образом скрытно к Шестокову, именно

с этой стороны (с другой о приближении партизан сообщили бы секреты) напасть на его гарнизон. Другой цели явка Метальникова означать теперь не могла. И он явится, ибо другой такой возможности обмануть бдительность Лахновского просто у партизан уже не будет и «Абвергруппа» по мере дальнейшего приближения фронта может эвакуироваться в более глубокий тыл. А этого партизаны допустить не могут.

Далее Алейников был уверен, что, рассуждая так, Лахновский давно привел свою «армию» в повышенную боевую готовность, рассредоточил ее в наиболее удобных для нападения на Шестоково местах и какую-то часть, безусловно, выдвинул к месту встречи Метальникова. Вся эта ситуация не сложилась бы, Лахновский не всполошился бы, проследуй Бергер из Орла в свое логово, но начальник «Абвергруппы-101» был убит, и это все резко изменило. Ситуация была теперь такова, Алейников это печенкой чуял. И он понимал, что головорезы Лахновского нападут на партизан первыми, как только обнаружат их. Но это ему было и нужно, на это он и рассчитывал. Но нападут они на одну из четырех групп, возглавляемую Баландиным. А тому важно будет, завязав бой, отступить за южную сторону дороги, в болотистую пойму речушки, изгибающуюся здесь кренделем, откуда вроде бы не было возможности выбраться, увлечь за собой врага, но там во что бы то ни стало остановить бандитов, с тем чтобы они, имея надежду уничтожить загнанных в мешок партизан, вызвали подкрепление. И Лахновский пошлет его немедленно. И лишь только прибывшее подкрепление соединится со своими и вступит в бой, вторая группа партизан тоже в сорок человек, скрывавшаяся до этой поры в лесу за северной стороной дороги, ударит по фашистам с тыла. И уже не партизаны, а немцы окажутся в мешке. А далее, как говорится, дело техники.

В «армии» Лахновского было двести человек. Алейников полагал, что основная ее часть будет брошена в этот бой, в самом Шестокове останутся какая-то незначительная команда и немногочисленный немецкий гарнизон. Третья и четвертая группы партизан общей численностью в тридцать человек по сигналу — две зеленые, одна красная ракеты — должны броситься в Шестоково с севера и юга, смять посты, если они попадутся на пути, ворваться в село, уничтожить или взять в плен всех, кто там окажется, захватить штаб «Абвергруппы-101» и штаб Лахновского, принять все меры к тому, чтобы ни одна папка с документами, ни одна бумажка из находящихся там столов или шкафов не была уничтожена...

Вечером, когда партизаны ужинали, этот план был детально, на все лады обсужден с Баландиным, с его заместителями, с командирами взводов и был принят за основу. Было лишь условлено, что, если к Метальникову на встречу никто вдруг не придет, группе, возглавляемой Баландиным, двигаться по дороге в сторону Шестокова до тех пор, пока ее не обнаружат. А по обнаружении бой все равно завяжется. И далее действовать по плану — отступать к речной пойме.

Выйдя из землянки на воздух, Алейников поглядел на вечернее небо, на заходившие по нему тяжелые тучки и сказал Баландину:

— Вот увидишь, половина «армии» Лахновского нас будет ждать в лесу, у места встречи Метальникова с абверовцем. Все будет, как я рассчитал.

* * *

Так оно и случилось. Интуиция Алейникова не подвела.

С заходом солнца партизаны, кто в чем — в измятых пиджаках, в гимнастерках, в темных грубых рубахах,— вооруженные советскими и немецкими автоматами, с запасными патронными рожками и дисками, с гранатами на ремнях, выстроились перед выходом четырьмя небольшими колоннами на поляне и в ожидании команды спокойно переговаривались, что-то рассказывали друг другу, похохатывали беспечно, будто собирались не на смертный бой, а на веселое развлечение. Иван, видевший партизан вообще впервые, второй день оглядывал их с интересом и любопытством и никак не мог себе представить, что этот народ умеет стрелять и бросать гранаты, что эти люди наводят ужас на немцев. Ему казалось, что бородатые мужики и безбородые молодые парни никакие не партизаны, а обыкновенные колхозники, собравшиеся у конторы перед выходом на работу, и только по недоразумению у них за плечами не вилы и грабли, а настоящее боевое оружие.

Из землянки вышли Алейников, Баландин, Метальников и еще несколько человек, тоже все вооруженные автоматами. Разговор и смех в колоннах сразу стихли, над поляной установилась тишина. В безмолвии раздались негромкие команды, и через минуту три группы покинули лагерь, двинулись в лесной сумрак, каждая своим путем, а четвертая задержалась, потому что Алейников, собиравшийся уже подать команду, вдруг увидел Ольку, стоявшую на левом фланге в первом ряду, возле Ивана. На плече у нее, как и у других, висел автомат.

— Королева! Я приказал тебе остаться здесь.

— Еще чего! И не подумаю,— ответила она, глядя в сторону.

— Оля, ты свое дело выполнила, привела нас...— каким-то странно беспомощным, умоляющим голосом произнес Алейников.

— Я свое дело, Яков Николаевич, никогда до конца не выполню,— ответила она, не поворачивая головы.

Иван понимал, о чем она говорит. Понимали зто, кажется, и все остальные, потому что Алейников топтался на земле, а из строя кто-то глухо сказал:

— Да пущай идет Олька...

Алейников, будто этого и ждал только, вздохнул.

— Ну хорошо.— Он глядел вниз, себе под ноги. Затем резко вскинул голову, отрывисто и жестко скомандовал: — Слева по одному... интервал два шага... За мной — ша-агом марш!

Повернулся и пошел. Цепочка партизан бесшумно потекла за ним, нырнула под навес еловых ветвей. На опустевшей, сразу ставшей просторной поляне, по краям которой было устроено несколько длинных землянок, недвижимо и молча стояли, провожая уходящих, две пожилые женщины-поварихи да трое мужиков, оставленных для присмотра за лошадьми и вообще на всякий случай.

Разведав ночью и утром местность, Алейников вел партизан уверенно, будто знал все эти лесные чащобы с детства, и за два с лишним часа ни разу не оглянулся. И шагавшая следом за ним Олька ни разу не взглянула назад, на Ивана. Прошлой ночью она все оглядывалась, а теперь шла, нагнув голову, будто боясь споткнуться.

Цепочка партизан пересекала опушки и поляны, обходила мочажины и болотца, скрывалась в редковатом ельнике и вновь бесшумно двигалась по открытому пространству. Алейников, смотря по местности, шел то быстрее, то медленнее, в такт шагам покачивались во мраке его острые, худые плечи, обтянутые заношенной, выстиранной сегодня гимнастеркой. Выстирала ее Олька. Она, никого не спрашивая, зашла в землянку, где он спал, взяла со стула гимнастерку и брюки, направилась к ручью. Там, погрузившись в невеселые и неясные какие-то думы о Федоре, сидел Иван. Думать о нем он уже устал и не хотел, но мысли, тупые и тяжелые, помимо воли ворочались в голове. Не мысли даже, а просто вопросы, которые он задавал себе уже тысячу раз и на которые не было ответа: «Ах, Федор, Федька, как же так?.. Зачем же так? Что же теперь будет с Анной?»

Олька с гимнастеркой и брюками в одной руке, с куском черного мыла в другой подошла, поздоровалась, положила мыло на траву, отстегнула от гимнастерки погоны, затем выложила на землю из карманов содержимое — смятую пачку папирос, расческу, носовой платок, коробку спичек, скинула сапоги, засучила штанины и шагнула в ручей.

Она стирала, стоя в ручье боком к Ивану, засученные штанины делали ее похожей на мальчишку.

Выстирав и гимнастерку, и брюки, и носовой платок, развесив все это под жарким солнцем на ветках кустарника, взяла расческу Алейникова, зачем-то оглядела ее со всех сторон и положила обратно на траву.

— Дядя Вань...— проговорила она задумчиво,— ты давно Якова Николаевича знаешь?

— Давно,— усмехнулся тот.

— Он хороший человек?

Иван медленно, боясь чего-то, повернул голову к девушке, взглянул на нее. Она сидела, поджав под себя ноги, правой рукой опиралась о землю, а левой чертила пальцем по траве, сосредоточенно думала о чем-то...

— Зачем тебе? — спросил он негромко.

Она долго не разжимала губ. И Иван молчал.

— Он... он предложил мне стать его дочерью.

— Дочерью?! — невольно вырвалось у Ивана.

— Да, а что? — Девушка, взглянув на него, шевельнула бровями.— «По всем правилам, говорит, оформлю».

— Ты ж... ты ж не маленькая. Маленьких удочеряют. Усыновляют. А ты...

В глазах у Ольки полыхнул не то гнев, не то протест, лицо сделалось злым и холодным.

— А что я? Ну что я?! — проговорила она с непонятной враждебностью. — Я тебя спросила, а ты ответь, если можешь.

Иван почувствовал, как больно сосет, сдавливает ему сердце. Как ответить на ее вопрос, простой, бесхитростный в общем-то вопрос для нее? И такой неожиданный для него...

— Я... не знаю. Не могу пока ответить.

— Почему? — спросила она тогда в упор.— Вы ж земляки. Яков Николаевич еще там сказал мне. В штабе, перед выходом.

Почему... Чтобы объяснить это «почему», надо ей рассказать обо всей его горькой жизни, в которой Алейников сыграл свою роль. А что она поймет в его судьбе и в роли Якова Николаевича Алейникова в ней? Да, может, и не надо, чтоб понимала, не нужно, чтобы задумалась об этом. Своя-то судьба у нее вон какая опаленная, обугленная до черноты, зачем еще в ее мозг и сердце добавлять мучительные раздумья об этой безжалостной и жестокой жизни на земле, а значит — новые страдания?

Она как-то по-своему расценила его молчание и отчужденно произнесла:

— Что бы ты ни думал о нем, это твое дело. А я-то знаю — он добрый и хороший. Он только очень одинок и потому кажется злым и нелюдимым. Он мне рассказывал, что сын у него утонул, а жена ушла... оставила его.

— Это, конечно, бывает,— промолвил Иван.

— У тебя-то все хорошо в жизни. Тебя жена не бросала! — еще злее полоснула она его зрачками.

— Не бросала. И у меня — все хорошо в жизни,— горько усмехнулся он.

Но она не поняла и не могла понять этой горечи. Она стремительно вскочила на колени.

— Зачем ты меня злишь?! Зачем ты меня злишь?

Она прокричала это дважды, дважды сжала и разжала кулачки, и ему почудилось, что она кинется на него, как дикая рысь. Он шевельнулся и невольно встал, будто и в самом деле надо было защищаться.

— Я вовсе не со зла...— проговорил он.— Успокойся.

Девушка будто сразу поверила его словам, вняла его просьбе. Она опустилась на землю и вздохнула.

— Я была бы ему хорошей дочерью, дядь Ваня,— произнесла она прежним голосом, глядя куда-то за ручей, в заросли тальника и пахучей смородины.— Да в самом деле ведь не маленькая. И скоро... скоро у самой дочь будет. Или сын...

Иван как-то и не сразу понял, о чем она говорит. А когда смысл сказанного прояснился в сознании, он шагнул к ней, остановился возле и стал глядеть на нее сверху вниз.

Олька еще посидела недвижно, затем, будто повинуясь его безмолвному требованию, подняла кверху лицо. Так, глядя на него, она встала и не мигая все продолжала глядеть презрительно и гордо.

— От него... от Семки? — пошевелил Иван склеившимися губами.

— А кроме него, у меня никого не было. Он был первый. И, может, последний.

— Понятно...

— Ну, и уходи отсюда, если понятно,— сказала она грубо.— Мне свою кофточку постирать надо.

...Шагая теперь вслед за Олькой, Иван, с жалостью оглядывая ее хрупкую фигурку, чувствовал, как она беззащитна и беспомощна в этом мире, громыхающем огнем и железом, чувствовал к ней что-то отцовское. Он понимал теперь и Алейникова, признание Ольки вдруг осветило Ивану с какой-то совершенно новой стороны, раньше и не подозреваемой вовсе, не только весь жизненный путь

этого человека, но и его душу. Душа эта, как считали многие, да и он, Иван, была нелюдима и мрачна, а характер безжалостен и жесток. Но ведь жизненный путь его был не прост и не легок, этот путь всегда, каждый день, каждый час, пролегал сквозь ту громыхавшую огнем и железом жизнь, будь хоть война, хоть мирное время. В жизни всякого человека разобраться не легко, даже в самой простенькой и благополучной жизни, а Якову Алейникову судьба выпала быть в самом центре людских коловоротов, в самом пекле безжалостных ошибок добра и зла, любви и ненависти, правды и лжи. Он пропускал все самые крайние человеческие страсти через свое сердце, и оно, чтобы не лопнуть, оделось в ледяной панцирь. Но внутри оно все равно обугливалось, сыпалась со стенок его окалина, образуя все большую пустоту. И вот, видно, пришла пора, когда эту пустоту надо заполнить, иначе сердце прогорит насквозь. Если не снаружи, то изнутри выгорит. И тут явилась, встретилась эта девушка с судьбой жуткой, но с характером, чем-то похожим на его...

Понимал он и Ольку, чувствовал, как ей хотелось обыкновенного человеческого тепла, понимал теперь, почему ее желанию, этой безумной, на первый взгляд, просьбе не мог не уступить Семен, не мог на нее не откликнуться, забыв на мгновение о Наташке, о жене, и о маленькой своей дочери. И хотя ни самому Семену, ни кому бы то ни было вообще на земле не объяснить, что он, Семен, действительно ни в чем не виноват перед женой и людьми, Иван знал теперь твердо — действительно не виновен.

Погода с наступлением сумерек начала портиться, небо плотно закладывало тучами, чернота в лесу сгущалась, все более ограничивая видимость. Дождя пока не было, но ветерок все крепче мотал верхушки деревьев, лес наполнился нескончаемым тоскливым гулом.

Иван понимал, что шагов партизан теперь не слышно — их заглушал ветер и шорох деревьев,— с расстояния в двадцать метров людей уже не видно — их скрывала ночная темень,— и все это успокаивало, рождало чувство безопасности. Но о чем бы он ни думал, что бы ни чувствовал, в мозгу, в сердце раскаленным гвоздем торчало: «Ах, Федор, Федор!» И от этой гнетущей боли нельзя было избавиться, гвоздь этот вошел глубоко и врос намертво, вывернуть его оттуда можно было только с мясом, а больше никак невозможно...

* * *

А Федор Силантьевич Савельев в этот момент, уставший от последних бессонных ночей, сидел в кабинете Лахновского. Веки его были налиты каменной тяжестью, глаза закрывались, в голове тупо шумело, она сама собой клонилась вниз. Боясь заснуть и свалиться со стула, Федор вскидывал ее, одновременно вздрагивая, обводил помутневшим взором комнату, каждый раз натыкался на бумажный портрет Гитлера в черной раме. Круглые холодные глаза этого человека с какой-то несерьезной, детской челочкой были устремлены в пространство, мимо Федора, мимо находящихся в этом же кабинете Лахновского и Валентика, мимо всего живого на земле, будто он видел там, в этом пространстве, какие-то высшие, конечные истины, непонятные и недоступные для других.

Федор с тех пор, как оказался у немцев, видел множество портретов этого человека, больших и малых, на бумаге и на холстах, на значках и книжках. Портреты были разные, одинаковым был на них лишь этот взгляд, вызывающий у Федора холодок в груди, но сейчас впервые он ощущал не холодок, а тошноту, а от этого еще более хотелось спать, хотелось куда-то провалиться, к черту, под землю, во мрак, чтобы никогда не выбраться оттуда, чтобы не видеть больше ни этого портрета, ни высохшего от злобы на весь мир Лахновского с его тростью, которой он вчера раскроил, надвое разрубил череп бывшей своей любовницы Леокадии Шиповой, а потом, когда она, уже мертвая, рухнула, в бессильной, дьявольской злобе несколько раз воткнул в нее трость, ни толстозадых, с рыжими волосатыми руками немцев, ни своих подчиненных — весь этот сброд, всех этих подонков рода человеческого, жадных до водки и до бабьего тела, но жалких и трусливых в бою,— никого. И себя чтобы больше не видеть, не вспоминать тот прошлогодний хмурый осенний день, когда в лагере для военнопленных под Пятигорском, дав слово служить немцам, он, сбросив изодранную в лохмотья, изопревшую солдатскую гимнастерку, натянул на себя пахнущее незнакомым, чужим запахом белье,

грубые суконные брюки, короткую куртку. Но, как назло, он хорошо помнит эту минуту, этот час и вообще весь тот сумрачный, промозглый день...

Лахновский в своей поддевке, не выпуская из рук трости, метался по кабинету от стены к стене, временами останавливался у окошка, сквозь синеющие стекла всматривался во мрак, резко оборачивался, подбегал к столу, на котором стоял полевой телефон, впивался в него глазами. Рука, сжимавшая трость, при этом дрожала, казалось, он сейчас размахнется, обрушит свою трость на телефонную коробку, как обрушил вчера на косматую голову Шиповой. Но он этого не делал, садился в стоящее сбоку от стола старое, расшатанное кресло и, положив обе ладони на трость, угрюмо и обиженно сжимал губы. Посидев так с полминуты, вскакивал и начинал все сначала — подбегал к окну, к телефону, садился...

С наблюдательной вышки, построенной на крыше единственного в Шестокове двухэтажного кирпичного здания, в котором до войны находился магазин, должны были немедленно позвонить, если увидят над лесом, в том месте, где должен был выйти на связь агент Метальников, сигнал о помощи — две красные ракеты. Этого-то сигнала и ждал Лахновский, боясь его...

Звонок раздался неожиданно, заставив всех вздрогнуть. Лахновский трясущейся рукой схватил трубку.

— У аппарата...— хрипло и торопливо сказал он. Потом перешел на немецкий: — Nein, Herr Meisner, bis jetzt gab es kein Signal[1].

Бросил трубку и отбежал к окну.

Оберштурмфюрер Майснер был заместителем Бергера и теперь, до назначения нового начальника, являлся полновластным хозяином «Абвергруппы». Как и все, он тоже не спал в эту суматошную и тревожную ночь. Впрочем, не только в эту. Со дня убийства партизанами начальника «Абвергруппы» в Шестокове началась суматошная жизнь. Посты вокруг деревни были усилены многократно и выдвинуты далеко вперед, командирам взводов, в том числе Федору Савельеву, вменялось каждые полчаса проверять их, всех солдат держать в полной боевой готовности, без оружия запрещалось посещение даже отхожих мест.

Оберштурмфюрер Майснер, всегда неразговорчивый, высокомерный и наглый, любивший распекать и поучать руководителей отделов, следователей, инструкторов и прочих сотрудников «Абвергруппы», позволявший себе даже то, чего и Бергер не позволял,— в начальственном тоне разговаривать с Лахновским,— в одно мгновение стал совершенно другим человеком. Надменность и высокомерие вдруг обсыпались с него, как шелуха, в глазах заплескался испуг, зрачки забегали, и вообще весь он как-то осунулся и поминутно ежился, будто за шиворотом у него торчал кусок льда.

— Господин штандартенфюрер! — заискивающе обращался он по нескольку раз на день к Лахновскому.— Солдаты вашей армии в случае нападения партизан, я надеюсь...

— И я надеюсь,— отмахивался Лахновский, напуганный не меньше его.

— Неужели они осмелятся?

— Они?! Они — это полбеды, господин оберштурмфюрер. А вот если противник прорвет фронт...

— Но...— Майснер бледнел, на тщательно выбритых щеках его выступала испарина, он тыкал в них скомканным платком.— Но это значит... в этом случае «Абвергруппу» следует спешно передислоцировать дальше в тыл.

— На этот счет у вас есть начальство. Звоните в Орел.

— Да, но если... не противник прорвет нашу оборону, а наши доблестные войска опрокинут русских? Как мой звонок будет расценен? Моя карьера...

— Боже, какой, оказывается, болван! — сказал Лахновский уже по-русски Федору, когда тот случайно стал свидетелем одного из таких разговоров.

Все это было давно, несколько дней назад.

...Стоя у окна, Лахновский, повесив трость на локоть, достал табакерку, нервно забил ноздри табачной пылью. Затем резко обернулся.

— Сигнала пока нет,— повторил он. — Дьявольщина! Что же там происходит?

---

[1] Нет, господин Майснер, сигнала пока нет.

— Ничего. Просто этот ваш Метальников не явился,— проговорил Федор и мотнул головой, стряхивая сон.

— Не может быть! — воскликнул сердито Лахновский.— Или я ничего не стою! Это единственный шанс у них подобраться сейчас к Шестокову незаметно. Единственный. И они это понимают.

Лахновский вдруг сам схватил трубку, крутнул ручку телефона.

— Садовского мне, живо! — прохрипел он. И секунды четыре, уныло сгорбив плечи, ждал соединения.— Садовский?.. Ну что там Подкорытов? Не признался?.. Потерял сознание?.. Очнется — продолжайте допрос.

Бросил трубку и снова заходил по кабинету.

— Удивительно! Просто непостижимы они, эти русские! Есть боль, муки, которых человек не может, не в состоянии вытерпеть. А Подкорытов молчит. Старик же, и сил-то вроде нет...

— Сил...— усмехнулся Валентик, посмотрел на горящую керосиновую лампу, стоящую на специальной подставке у стены, прижмурился по-кошачьи и чихнул.— Мне приходилось... некоторых расстреливать. Вся грудь и голова, бывало, пулями пробиты, а он все дышит. Ну, у меня колотушечка такая была в подвале. Деревянная, чтобы череп не раздробить. Врачи за этим следили, не любили почему-то, когда голова проломлена. Той колотушкой еще пару раз приложишь — тогда замрет. Видно, уж мозги когда взболтаются...

Валентик опять глянул на лампу, снова сладко прижмурился и чихнул.

Федор смотрел на Валентика и чувствовал... Нет, не страх или тем более ужас. Он, Федор, всего насмотрелся, все испытал. Он видел, как людей убивают, и сам убивал. Вчера при нем в каменном подвале бывшего магазина терзали эту несчастную Лику Шипову, зачем-то сообщившую Подкорытову о поездке Бергера в Орел. Она давно призналась, что сказала об этом старосте, но Лахновский все допытывался: а что еще сказала и кому? Она мотала головой и твердила: никому и ничего больше, но если оставят ее в живых, то уйдет к партизанам и выложит все, что знает об этом змеином гнезде, потому что ненавидит всех, ненавидит себя. Она забилась в истерике и плюнула бывшему своему сожителю в лицо. Тот молча размахнулся тростью и разрубил ей череп... Видел потом Федор, как Садовский, начальник и палач шестоковской тюрьмы, распинал изувеченное, изорванное в лохмотья тело старика Подкорытова, прибил гвоздями к стене сперва его руки, потом ноги... Всего, всего насмотрелся, все испытал Федор Силантьевич Савельев, давно научился спокойно смотреть и равнодушно воспринимать человеческие муки и человеческую смерть, отчетливо, без сожаления даже, отмечал при этом, что душа его давно омертвела, обуглилась, но сейчас, слыша слова этого кривоплечего человека, недавно объявившегося в Шестокове, видя, как он блаженно, словно сытый кот, жмурится на свет керосиновой лампы и сладко чихает, почувствовал вдруг, что под череп ему перестала поступать кровь, в голове, где-то подо лбом, похолодело. Затем от холода стали неметь шея, плечи, спина...

Лахновский выдернул из кармана жилетки скользкие желтые часы, глянул на них.

— Пора. Марш проверять посты.

Савельев и Валентик встали, пошли к дверям. Обойдя секреты, расставленные вокруг Шестокова, они обязаны были снова вернуться сюда, в этот кабинет, и лично доложить Лахновскому, что все в порядке. Такое правило было введено им трое суток назад, и все эти трое суток Федор не сомкнул глаз, хотя ему в помощь и был дан этот Валентик. Да и сам Лахновский не спал. Он вообще, кажется, не ложился с самого 5 июля, когда за Орлом ожили обе линии фронта и началось сражение. В последние же дни, особенно после гибели Бергера, он будто сдурел, метался в своей поддевке по Шестокову, как зверь, почуявший беду, держал всех в полной боевой готовности, установил новую систему постов, без конца допрашивал арестованных старосту Подкорытова и Лику Шипову, по нескольку раз на дню звонил лично и ходил к Майснеру, требуя, чтобы тот испросил разрешение у своего начальства об эвакуации «Абвергруппы» дальше в тыл. Но Майснер, смертельно напуганный всем случившимся, твердил одно и то же:

— Это будет расценено как слабость духа. И моя карьера...

— Ваша карьера?! — в конце концов взорвался Лахновский, подпрыгивая вокруг стола, на котором стоял телефон.— Если оторвут голову, нечем о карьере

будет думать! Нет, я не забываюсь. Это вы... вы потеряли всякое чувство реальности!

И с грохотом бросил тяжелую трубку полевого телефона.

Все эти дни после гибели Бергера Лахновский каждую минуту ждал нападения партизан. Нападения не происходило, но это не успокаивало, а, наоборот, еще более взвинчивало Лахновского, и вчера он какими-то одному ему ведомыми путями пришел к выводу, что партизаны непременно должны напасть этой ночью, воспользовавшись выходом на связь Метальникова.

— Вот увидите, именно сегодня,— сказал он утром Федору. В последние месяцы он оказывал ему непонятное благоволение.— Ах, Савельев! Ты человек твердый, и я тебе верю. А Метальников — партизанский шпион. Предчувствие меня не обманывает. Я бы давно его пристрелил, если бы не этот тупица Бергер.

Федор никогда не видел Метальникова, никогда до этого даже не слышал о нем. Всякого рода агентов и тайных сотрудников в «Абвергруппе» было множество, они появлялись и исчезали, их тут в специальной школе обучали, а потом некоторых почему-то расстреливали. Во всю эту жуткую кухню Федор не вникал и вникнуть не мог. Он просто занимался тем, что ему было вменено в обязанности,— охранял со своим взводом штаб Лахновского и его лично. Сейчас Федор и его люди, оставаясь сами невидимыми, круглосуточно держали под наблюдением все въезды и выезды из деревни, все тропки и возможные подходы, впускали и выпускали из Шестокова людей, знавших установленный на тот день и час пароль. Несколько дней назад он выпустил этого Валентика, одетого в форму советского подполковника. Когда тот вернулся, Федор не видел, а недавно ночью опять выпустил с каким-то человеком, лица которого не рассмотрел, да и не пытался рассмотреть, даже не подошел близко к телеге, в которой они ехали. Человек, кажется, тоже был в форме советского офицера, в повозке он сидел сгорбившись, чуть не выше головы подняв широкие и жирные плечи. Иногда Федору приказывалось взять двух-трех солдат из его взвода, отвести за деревню какого-нибудь человека, изнуренного допросами и пытками, заставить его вырыть могилу или, если тот не в состоянии, вырыть самим и расстрелять. Федор выполнял и это, не глядя в лицо обреченному, не спрашивая у того ни фамилии, ни имени, не интересуясь, за какие грехи человек приговорен к смерти. Он действовал как автомат, каждый день был пьян и боялся лишь одного — когда-нибудь протрезветь.

Однако сколь ни плотно висел в мозгу винный туман, сквозь него пробивалась иногда мысль, с хрустом разрезая черепную коробку: «А что же дальше?!» По всему телу проходили судороги. Чтобы унять их, чтобы избавиться от невыносимой боли в голове, Федор глотал и глотал спирт — водка его уже давно не брала,— не чувствуя его вкуса и запаха. Да и спирта, чтобы отупеть, с каждым днем требовалось все больше, за сутки он теперь высасывал его больше литра.

«Да что же дальше?» — подумал Федор и сейчас, выйдя от Лахновского. Валентик, кивнув зачем-то ему, будто уходил навсегда, скрылся во мраке, а Федор остановился посреди улицы, достал из внутреннего кармана немецкого френча плоскую фляжку и отхлебнул. Спирт был теплый, но он привык его пить таким и, как всегда, проглотил легко, точно воду. «Что же дальше? Вон как заметался Лахновский! Значит, спасения нет. Значит, скоро придут и сюда советские войска. Значит, смерть...»

Федор сделал несколько шагов вдоль темной улицы, глянул на небо. Вверху был тот же мрак — ни проблеска, ни звездочки. Небо еще с вечера обложило толстыми, тяжелыми тучами. «Посты... Как будто спасут теперь какие-то посты! И эти окопы, которые нарыли вокруг Шестокова...»— усмехнулся он, проходя мимо останков сожженного прошлым летом, во время неожиданного налета партизан, огромного коровника, превращенного Лахновским в казарму для своих солдат. Солдаты, помнится, роптали — казарма в коровнике?!— но все другие пригодные для этого помещения были заняты службами «Абвергруппы» и немецким гарнизоном. Лахновский приказал вывезти отсюда навоз, обрызгать известкой всю землю вокруг, засыпать ее песком, настелить в помещении новые полы и побелить стены — получилось ничего. Нынче пожарище густо заросло крапивой и коноплянником. Федор, на секунду приостановившись, негромко и тяжко простонал вдруг, махнул рукой и шагнул в крапиву. Подойдя к обгорелой стене бывшей казармы, он еще глотнул из фляжки, сел на землю, зажал голову руками и так замер.

Даже спирт сегодня не брал, в мозг все колотило и колотило: «Что же дальше? Что дальше?!»

Смерти он теперь не боялся, давно уже искал ее, шел ей навстречу. Но она почему-то сворачивала прочь, обходила его. Даже Лахновский, застав его в постели с Леокадией, не проткнул своей тростью, как Федор ожидал с каким-то безразличием, даже возникшим в душе облегчением. Смерти он испугался один раз, в ноябре прошлого года, там, под Пятигорском, когда, оборванный, окровавленный, избитый плетьми и прикладами, стоял на краю рва, вырытого в каменистой почве им же самим вместе с другими пленными красноармейцами.

«Один раз... Да, один раз стоило испугаться смерти...— Что-то острое и горячее заворочалось в больном мозгу Федора.— И вот... И вот...»

Он выдернул из кармана фляжку, трясущимися пальцами отвинтил крышку, сделал еще несколько жадных глотков.

«Как же это все получилось? Как получилось?!»

У обгорелой стены было душно, не спирт, а запах коноплянника, густой и приторный, туманил ему мозг, проникал куда-то до печенок, до сердца, вызывая отвратительную тошноту. Надо было идти проверять посты, но от одной этой мысли тошнота наваливалась еще больше. Федор боялся идти в лес, в темень. Но не темени или какой-то опасности боялся. Ему казалось, если он увидит сейчас любого солдата из «армии» Лахновского, с ним что-то произойдет. Скорее всего, он выдернет из кобуры парабеллум и с нечеловеческим сладострастием разрядит его прямо в лицо того человека...

Неожиданно в голове Федора что-то зазвенело — будто колокольчики запели неподалеку, все приближаясь. И сквозь этот звон пробилась, пришла к нему вдруг мысль: а что, пройти сейчас по всем секретам и, сжав зубы, перекосить всех из автомата! Затем явиться в кабинет Лахновского, подойти к нему вплотную, схватить одной рукой за воротник его сюртука, другой вдавить парабеллум в хилую грудь его и надавить спусковой крючок. Затем... Затем выволочь его наружу, бросить труп в телегу... в мотоцикл. Возле штаба «Абвергруппы» всегда стоит несколько мотоциклов. И рвануть куда-нибудь туда, откуда фронт приближается. И сказать потом... Как Ванька когда-то давно, в гражданскую... Как Ванька, сказать: «Вот вам атаман наш... только мертвый. Вот сам я. Что хотите со мной... К стенке так к стенке. Только скорее давайте». Так примерно он сказал тогда. И Анна, сидящая на телеге, страшная, неживая, вдруг встрепенулась, сорвалась с телеги, закричала: «Вы сперва разберитесь, вы сперва разберитесь!..»

Федор, вздрогнув, очнулся от своих мыслей. Какой Иван? Какой Лахновский? Кто это ему позволит с трупом выскочить на улицу, взять мотоцикл? В первые же секунды прошьют из автоматов, решето сделают. И разве прорвешься через линию фронта... или к партизанам? Чушь все это. Бред. И — какая Анна? Где она, Анна?

Он мотнул тяжелой головой, окончательно приходя в себя. Затем поглядел на небо. Но не увидел там ни звездочки, ни проблеска.

Выпитый спирт совсем не оказывал никакого действия, совсем не чувствовался. И удушающий запах конопли теперь не беспокоил. «Притерпелся, что ли?»— мелькнуло у Федора. В голове были непривычная пустота и ясность. Ощущая это, он думал лишь, что у него и в мыслях никогда не было перейти на службу к немцам, но произошло именно это, совершилось все быстро и просто в пасмурный ноябрьский день, числа шестого, кажется, как раз под праздник...

Федор плотно закрыл глаза, словно боялся, что густая темень разверзнется мгновенно ослепляющим светом и в этом свете явится ему такое, что люди видят один раз в жизни, перед его концом. Он всегда закрывал глаза, когда его мысли, лихорадочно пометавшись, неизбежно подводили его к этому рву, вырытому километрах в десяти от Пятигорска в жесткой, каменистой земле обреченными людьми, уже, собственно, мертвецами, среди которых был и он, Федор Савельев. Закрывал, намертво стискивал челюсти — аж зубы крошились,— и это помогало ему не думать о том жутком и страшном, что произошло там, под Пятигорском, возле рва, неимоверным усилием воли он заставлял себя думать о другом. О чем угодно, но только о другом.

Вот и сейчас заставил. Откуда-то из бездонных глубин мрака возник жаркий и пыльный летний день, длинный состав из двух- и четырехосных товарных вагонов, толпы воющих баб и ребятишек. Где-то там, в этой толпе, был Семка, уезжаю-

щий на фронт, то ли его сын, то ли не его. Да нет, чего там — его, Федор это всегда знал, по обличью видел, но изводил Анну своим подозрением от обиды на весь мир, который пошел куда-то не туда, от обиды на Анну, которая досталась ему уже тогда, когда была не нужна, да к тому же кем-то до него испробованная. Семка уходил добровольцем, но Федору было безразлично, как он уходил, добровольно или по призыву, он был, как и два других сына, Димка и Андрейка, как все люди, чужой ему, провожать он его не хотел. Но в последнюю минуту пошел зачем-то на станцию, потолкался среди плачущих женщин, которые цеплялись за мужей, сыновей и братьев, будто хотели оттащить их от поезда, собиравшегося отвезти мужчин на войну, может быть, на гибель и смерть, и неожиданно как-то очутился перед Семеном.

«*Не думал, что ты придешь*»,— сказал тот удивленно, отстранив от себя заплаканную Анну, растерянную девчонку, на которой недавно вроде женился.

«*Я знаю*,— ответил ему Федор.— *Потому и не хотел*».

«*Зачем же пришел? Я бы не обиделся*».

«*Не знаю. Может, зависть пригнала*».

«*Что?!*»— Семкины брови вскинулись.

И все другие стоящие вокруг Семена удивленно шевельнулись. Это Федор помнит ясно и отчетливо, как и весь этот короткий разговор, почему-то глубоко врезавшийся ему в память. Кто-то, Иван, кажется, брат, ну да, Ванька, тоже уезжавший на фронт, даже подошел вплотную почти, недоверчиво, пряча насмешку, спросил:

«*Погоди, погоди... Какая зависть? Что на войну не берут?*»

Но Федор эту насмешку расслышал, почувствовал, что-то в нем вскипело внутри едкое и злое. Но он задавил в себе эту злость, усмехнулся лишь тяжко и холодно и ответил не только Ивану, всем им, сказал несколько слов, будто кирпич к кирпичу положил:

«*Нет. Это бы и я мог, коли захотел... В крайнем случае — как Инютин Кирьян... Вообще... Но вам этого не понять...*»

Да, так он им сказал тогда, повернулся и пошел, не заботясь, как они поняли его слова и что о нем думают.

На фронт, как Инютин Кирьян, Федор не побежал. После проводов Семена он дня три или четыре пролежал дома, на работу не ходил. Анна что-то говорила ему, о чем-то просила, плакала — он отмахивался.

А потом встал, побрился, пошел в МТС, к начальнику политотдела Голованову.

— Вот что... снимайте броню,— заявил он ему, даже не поздоровавшись.— Я на фронт лучше пойду.

— Погоди, Федор Силантьевич,— сказал Голованов, несколько удивленный.— Приближается уборка. Зимой ты взял обязательство убрать сцепом из трех комбайнов две с половиной тысячи гектаров...

— Другие уберут. Вон на курсах девок сколько научили. И трактористок, и комбайнерок. Я на работу больше не выйду.

— Как это не выйдешь?

— А так. Я все сказал...

И Федор пошел из кабинета.

— Стой! — вскрикнул Голованов, встал, опираясь на костыль. И заговорил, дергаясь, багровея лицом: — Ты что вытворяешь?! Мы тут с ремонтом пурхаемся, а ты неделю нос в МТС не показывал. Теперь заявляешь...

— Болел я,— вяло сказал Федор.

Голованов, помнится, прихрамывая, подошел к Федору, оглядел его с ног до головы.

— Ну, что оглядываешь?! — раздраженно воскликнул Федор. — Я не продаюсь, не примеряйся... А я вам больше не работник.

Голованов еще помолчал, думая о чем-то. Потом сказал:

— Давно уж не работник, мы видим... Так я и не могу понять, что с тобой такое произошло.

— На фронт, сказано, хочу.

— Все хотят, да ведут себя по-человечески. Вот сын твой Семен...

— Ты им не тыкай мне в морду! Он сам по себе, я сам...

И еще помолчал начальник политотдела МТС, видимо пытаясь понять смысл его слов.

— Держать мы тебя не будем, Федор... Теперь обойдемся с уборкой как-нибудь.

— Вот и обходитесь,— неприязненно бросил Федор.

— Но пока суд да дело, на работу выходи. А то вместо фронта суд тебе выйдет.

— Пугаешь?

— Цацкаться с тобой, что ли, будем?! — опять вскипел Голованов, лицо его стало совсем черным, страшным.— Нашелся какой! Война, люди хлещутся до полусмерти, а он... Отправляйся в мастерскую да гляди у меня!

Федор смог сообразить тогда, что предупреждение Голованова было нешуточным, прямо из его кабинета ушел в мастерскую. И вообще не выходил почти из МТС, пока продолжалось это «суд да дело», как высказался начальник политотдела. Продолжалось оно недолго, в конце июля Федор получил повестку. Провожали его одна Анна да Андрейка с Димкой. Дети были испуганы. Анна не плакала, ничего не говорила, Федора это смертельно, до тошноты озлобляло, но он тоже ничего не говорил, в голову ему, как в медный лист, долбило со звоном: «Ну и черт с вами, оставайтесь! Оставайтесь!» Лишь стоя уже в проеме вагонной двери, он спросил сверху:

— *В Михайловку, к Назарову в колхоз, теперь, значит, переедешь?*

— *Куда же еще? Туда.*

— *Ну, возвращайся. Хороший был уголок земли. Был, да сплыл.*

Анна, помнится, запрокинула изумленные, сверкающие глаза. Федор толком не разглядел тогда, но, кажется, были в них, в ее глазах, все-таки слезы.

Через неделю Федор находился уже за Волгой, рыл учебные окопы, ходил в ночные учебные атаки, ползал по-пластунски и дырявил из винтовки мишени, на которых был изображен силуэт немецкого солдата в каске. Такая жизнь продолжалась больше двух месяцев. Потом всю дивизию, в которой он служил, погрузили в теплушки и повезли куда-то. По составу сразу же разнесся слух — на Кавказ. На Кавказе Федор никогда не был, с любопытством оглядывал места, по которым медленно тащился поезд, но долго ничего особенного не видел — степи, лощины, невысокие каменистые холмы. Уж нет-нет начали виднеться вдали черные громадины гор...

Разгрузились ночью где-то под городом Нальчик, на пыльном полустанке, где возле единственного длинного барака росло несколько чахлых деревьев, поротно двинулись прочь по каменистой дороге. Камни хрустели под ногами, непривычно едкая пыль лезла в рот и ноздри, въедалась в глаза, и к рассвету заняли окопы, отрытые, выдолбленные ранее оборонявшимися здесь войсками чуть ли не в сплошном камне в полный рост. Всем было объяснено, что в нескольких десятках метров вдоль реки, которая называется Баксан, расположены немецкие окопы, что фашисты могут в любую минуту начать наступление и что оборонять позиции приказано до последнего дыхания.

Только теперь Федор почувствовал, что ведь он на войне, на самой настоящей войне, где могут в любую минуту убить, и только теперь с каким-то пронзительным удивлением подумал: как же это и зачем он здесь очутился? Непостижимым образом повторялось прежнее: тогда, в гражданскую, не хотел ведь он воевать ни за красных, ни за белых и мог, наверное, как-то отлежаться в глухом углу, а очутился в партизанском отряде, сейчас мог до конца войны — должна же она когда-то кончиться! — просидеть на броне, такого комбайнера, как он, на фронт бы не отправили, скосил бы он нынче эти две с половиной тысячи гектаров, как обещал, и гремело бы его имя по всему району, по всей области,— а вместо этого оказался вот тут, вблизи от немецких окопов, из которых, кажется, тянет незнакомым кислым запахом, откуда грозит ему смерть. А почему, ради чего, собственно, должен он умирать?

Но смерть беспощадно и неумолимо дыхнула ему в лицо из немецких автоматов не здесь, не в каменистых окопах под Нальчиком, а на краю вырытого им самим глубокого рва где-то за Пятигорском. А здесь Федору пришлось пережить только жуткую бомбежку, первую и последнюю в его жизни. Немецкие самолеты появились неожиданно из-за высокой каменной хребтины, тянувшейся справа по

горизонту, бомбы посыпались густо, как зерна из руки сеяльщика, земля вспухла от взрывов, окуталась дымом и пылью. Федор упал, вместе с другими повалился на дно окопа, над которым плотно стелились черно-белесые космы и со скрипом, кажется, терлись друг о дружку. Еще Федор ощущал, как тяжко вздрагивает от бесконечных взрывов земля, слышал, или ему чудилось, что слышит, как свистят над окопом осколки горячего бомбового железа и камней. Несмотря на адский грохот, на забившую глотку пыль и дым, Федор чувствовал себя в безопасности, он лежал на боку, косил глазами вверх, на непроглядную кипящую муть, и подумал вдруг: хорошо, что окопы такие глубокие, хорошо, что они выдолблены чуть ли не в сплошном граните...

Это и была там, под Нальчиком, последняя его мысль, вспомнил сейчас Федор. Мутная полоска света над головой ярко вдруг мигнула, как лезвием чиркнула по глазам и потухла, вся земля куда-то провалилась, и вместе с ней провалился Федор...

О том, что бомба угодила прямо в окопную щель, что она упала где-то недалеко, в нескольких метрах он него, Федор догадался на другой день утром, когда он в грязной, лопнувшей на спине гимнастерке, обрызганной чьей-то кровью, брел в толпе пленных красноармейцев, а сбоку толпы шагали немцы-конвоиры. На шее у каждого висел автомат, на голове у каждого была каска с короткими рожками, точь-в-точь как на мишенях, в которые он палил на учебных занятиях. Двое немцев в таких же касках некоторое время назад стали приближаться к нему из неясной мути, из качающегося тумана. «Интересно, откуда здесь мишени? — подумал Федор.— Почему они двигаются?» Тогда он, только что очнувшийся, не мог сообразить, что взрывом его выбросило из окопа, что всю ночь он пролежал на краю бомбовой воронки, свесив в нее ноги, без сознания, не видя и не слыша кипевшего здесь боя. «Мишени» прошли было мимо, но что-то одну из них привлекло, «мишень» вернулась, наклонилась над ним. Федор невольно прикрыл глаза, испуганно подумав, что сделал это поздно, догадавшись уже, что это не мишени, а настоящие немцы.

— Er atmet, er lebt doch. Aufstehen! [1]

Федор не понимал, что они говорят, сердце его колотилось бешено и больно, в мозг тоже будто вбивали раскаленные камни: конец, конец... смерть!

Потом в закрытых его глазах метнулось оранжевое пламя, и Федор скорее догадался, чем почувствовал, что немец пнул его сапогом в голову.

И он, все чувствуя, как колотится в последних, лихорадочных усилиях сердце, вытянул свое тело из воронки, упер колени и ладони в шершавую землю, оторвал от нее тело, стал подниматься.

Полусогнутый, с опущенными руками, Федор какое-то время стоял недвижимо, тупо глядя на немцев, которые все еще плавали, покачивались перед ним, как в тумане. Правда, туман немножко поредел, и Федор заметил, что немцы рассматривают его беззлобно, с любопытством и удивлением.

— Oh, der russische Bör [2],— сказал один из них с улыбкой.

— Ja, ja [3],— откликнулся другой.

Тогда Федор не знал ни одного немецкого слова и не понимал, о чем они говорили.

Потом этот другой, который сказал: «Ja, ja», угрюмый и коротконогий, сплюнул на землю и резко мотнул автоматом. Федор догадался, что ему приказывают повернуться. И он повернулся, вытянулся, свел на спине лопатки, ожидая автоматной очереди, которая сейчас прошьет его. Одновременно в голове мелькнуло: «Что им убить человека... Это как плюнуть... как плюнуть».

Так Федор, вытянувшись, сведя до соприкосновения друг с другом лопатки, и стоял, ожидая смерти. Но ее пока не последовало. Смерть беспощадно и неумолимо дыхнула ему в лицо из немецких автоматов не здесь...

«Не здесь...— чуть не вслух повторил Федор.— Да, не там...» Он тяжко вздохнул, поглядел на предрассветное уже небо и полез было за новой сигаретой, когда над Шестоковом неожиданно и визгливо завыла сирена. «Вот оно! Сигнал!»— мельк-

---

[1] Он дышит, живой. Встать!
[2] О, русский медведь.
[3] Да, да.

нуло у него в мозгу тревожно и одновременно как-то отрезвляюще, он сунул пачку обратно в карман, вскочил и побежал в центр Шестокова, к казарме...

* * *

Возле каменного здания бывшего магазина было столпотворение. Солдаты «армии» Лахновского с автоматами в руках, с гранатами на поясе выбегали из казармы, но не строились повзводно, как всегда бывало при тревогах, а в полумраке сбивались, как овцы, в кучи, меж которых сновали взводные командиры. Светя фарами, из переулка вывернулись два грузовика. Две кучи солдат кинулись к ним и, толкая друг друга, сердито переругиваясь и матюкаясь, полезли в кузова.

— Где третий? Где третья машина?! — зло кричал Лахновский, выбегая из казармы.

— Сейчас Лардугин... сейчас он,— умоляюще произнес один из шоферов, приоткрыв дверцу кабины.— Не заводится у него... Аккумулятор меняет.

— Расстреляю подлеца! — затрясся Лахновский.

— Да вон, едет! — крикнул шофер.

Третья машина, мотая на рытвинах снопами света, бьющего из фар, неслась к казарме.

— Все равно расстреляю после боя! — рявкнул Лахновский прямо в лицо подбежавшему Федору, будто заверяя его в этом. — Ну! Что? Что?

— Все в порядке,— ответил Федор.— Все тихо.

— Тихо — да! Тихо — да?! — раздраженно и недоверчиво прокричал Лахновский, нервно дернул высохшей головой в сторону Валентика, сидящего у стенки казармы, где было место для курения, пообещал злорадно: — Будет вам сейчас тихо!

Из-за угла казармы выбежал Майснер, за ним — тощий и какой-то желтый, как старая селедка, начальник немецкого гарнизона Кугель. Лахновский метнулся им навстречу, начал что-то говорить, размахивая руками. Из-за шума работающих моторов, криков солдат слов Лахновского было не разобрать, но было понятно, что Лахновский отдает какое-то приказание — Кугель стоял перед ним вытянувшись. Затем повернулся и побежал назад. Майснер, сняв фуражку, обтирал платком лысину и, будто тоже получив приказание, пошел прочь.

Федор шагнул к казарме, сел рядом с Валентиком, закурил, спичку бросил в бочку с водой.

— Знаете, что на фронте? — негромко спросил Валентик.

Федор с опаской, даже со страхом относился к этому человеку, недавно появившемуся в Шестокове, вроде бы старому знакомцу Лахновского и Лики Шиповой. Удивило и поразило Федора не это и даже не то, что он, объявившись, начал в открытую пьянствовать и развратничать с Леокадией, нисколько не боясь гнева Бергера. У Федора защемило противно сердце, когда Валентик, узнав, что Лахновский раскроил Шиповой череп тростью, с кривой ухмылкой произнес:

— Зря поторопился. Поручили бы мне с ней заняться — она бы через час у меня как миленькая заговорила и во всем призналась.

Федор никогда не вступал с этим кривоплечим человеком в разговоры и сейчас лишь неопределенно пожал плечами.

— Наше наступление, кажется, задохнулось, не получилось. Русские к Орлу рвутся,— произнес Валентик.

Федору хотелось сказать: «Это и дураку ясно, что к Орлу, а не от Орла» — но не осмелился.

— Ничего, отгонят,— промолвил он.

— Да, отгонят...— несогласно, насмешливо вздохнул Валентик, и Федор, чувствуя провокацию, промолчал.

— Чего же не опровергаешь? — спросил Валентик жестко.

— Вот что, хороший такой,— повернулся к нему Федор.— Пошел бы ты в...

И поднялся.

— О-о! — протянул Валентик даже удовлетворенно, тоже встал, положил тяжелую, как камень, руку ему на плечо, стал давить вниз.

Рука была тяжелой, но Федор чувствовал — несильной. Валентику этому не только не прижать к лавке его, но даже не пошатнуть. И если бы сейчас развернуться и звездануть Валентика в грудь, она бы только хрястнула, сам бы он вмазался в

стену и осел по ней на землю, уже мертвый. И желание такое возникло у Федора, но он не сделал этого, покорно сел.

— Откуда же ты родом, Федор Силантьевич? — спросил Валентик таким тоном, будто ничего и не произошло.

— А оттуда... куда тебя только что послал.

— Грубиян ты,— усмехнулся добродушно Валентик.— Невоспитанный человек. А я личное дело твое смотрел. Интересное...

Федор повернулся, полоснул его взглядом, но ничего пока не говорил.

— Путал ты, путал там... в своей автобиографии.

— Ничего не путал. Чего там запутанного?

— До войны... не в Шантаре ты жил? Деревня такая есть в Сибири.

В автобиографии, которую Федор составил еще в Пятигорске, давая подписку служить немцам, он ни словом не обмолвился о Шантаре, смешал правду с вымыслом. Зачем он это сделал, Федор ни тогда, ни сейчас объяснить не мог. О последствиях его измены для Анны в случае чего он не беспокоился, о детях даже не подумал. А вот взял да и насочинял черт-те что. Все это Федор помнил. И поэтому сейчас при упоминании Шантары невольно дернулся, вскочил. И только потом понял, что выдал себя с головой.

— Тебе что? — тяжко выдохнул он.— Какое дело?

— Сядь ты,— попросил тихо Валентик.

Грузовики, набитые солдатами, с ревом трогались с места один за другим. Из подвального этажа казармы выбежал Садовский, что-то сказал штандартенфюреру и юркнул обратно. «Если не прикончил, то сейчас прикончит Подкорытова»,— машинально отметил Федор, лихорадочно размышляя: откуда же о Шантаре знает этот мозглявый человек, откуда?

Грузовики с солдатами уехали — Лахновский оказался, выходит, прав, где-то за Шестоковом шел бой с партизанами, и вот потребовалось подкрепление. И это отметил Федор попутно и даже усмехнулся невесело: «Все, как змей, чует». Три взвода по двадцать пять человек в каждом еще с вечера были отправлены к месту выхода на связь с Метальниковым, три были брошены им на помощь, в Шестоково осталось теперь из всей «армии» Лахновского сорок девять человек, включая специальный взвод охраны, Федора, Валентика и самого Лахновского. Да еще немецкий гарнизон из пятнадцати солдат, Майснер, Кугель и человек двенадцать из штаба «Абвергруппы», если считать и шифровальщика, и радиста, и повара. Всего около восьмидесяти человек. Это тоже была сила немалая, способная защитить Шестоково, если какая-то группа партизан, как предполагал Лахновский, вздумает напасть одновременно и на деревню.

Все это мелькало в мозгу у Федора, не заслоняя главной мысли: откуда же Валентик знает о Шантаре? Еще он, глядя, как суетится на площади перед казармой Лахновский, выстраивая оставшихся солдат своей «армии», как пробежал куда-то толстобрюхий немецкий повар Отто, неумело держа обеими руками карабин, подумал, что выставленные на подступах к Шестокову секреты он сейчас ведь не проверил, а к ним, возможно, подбираются уже партизаны, может быть, постовые уже бесшумно сняты... Да нет, успокоил Федор самого себя, партизаны не могут снять постовых так легко, на всех тропах, на всех более или менее удобных и возможных участках подхода к Шестокову натянуты тщательно замаскированные проволоки, тронь любую — загремят подвешенные недалеко от постовых склянки и банки, разбудят их, если и задремали. Систему эту, не очень и хитроумную, но надежную, придумал сам Бергер. Бывало, что зверь какой-нибудь — лисица или волк — натыкался на проволоку, и тотчас постовые принимали особые меры предосторожности, сообщали об этом в караульное помещение, которое находилось рядом с казармой, в старом деревянном доме. Но такое случалось редко, зверье отсюда ушло. И, кроме того, секреты нынче выставлены усиленные. И Валентик вот только что проверил все три поста на западной окраине. Хотя черт его знает, все может случиться, Федор сам когда-то был партизаном и понимает, что для людей, воюющих в тылу противника, нет ничего невозможного.

Мысли эти, вихрем проносясь в голове, разламывали ее, но чем сильнее он испытывал боль, тем спокойнее становился, его охватывало безразличие ко всему окружающему и происходящему вокруг, возникала надежда на скорое избавление от всего ... От всего!

— Какое тебе дело, где я до войны жил?!— еще раз повторил он, усмехаясь.

— Из любопытства я, Савельев, из любопытства,— тоже усмехнулся Валентик. Говорил он вполголоса, отчего слова его приобретали зловещий оттенок.— Такая у меня профессия.

— У всех у нас теперь профессия,— едко сказал Федор, согнулся, упер локти в колени и опустил голову.

— Ну, у меня она такая всегда была... С Алейниковым вашим даже вместе пришлось поработать. Не так давно было.

Несколько секунд после этих слов Федор еще находился в прежней согнутой позе, затем стал поднимать голову, медленно разогнулся.

Валентик глядел на Федора в упор, не мигая. В слабых отсветах начинающегося где-то утра зрачки его остро блестели.

— С каким... таким нашим? С каким еще Алейниковым?

— С Яковом Николаевичем.

— Слушай, ты...— прорычал Федор яростно.— Чего тебе от меня надо? Чего?

— Он тут, неподалеку. Прифронтовой оперативной группой НКВД командует,— будто и не заметив ярости Федора, продолжал Валентик. И ухмыльнулся.— Я у него был начальником школы подрывников и разведчиков, пока... Лопух он, ваш Алейников.

— Ошибаешься, друг хороший! — неожиданно бросил Федор, как-то враз понявший, что терять ему нечего, что все давно потеряно и что в биографии своей он напутал и напетлял когда-то зря, напрасно, делать это было ни к чему.— Ошибаешься! Он еще тебе загнет салазки.

— Осмелел?! — повысил голос Валентик.— Не рано ли?

Лахновский, проводив машины, нырнул в нижний этаж казармы, где висел на стене староста Подкорытов. На площади теперь никого не было. Керосиновый фонарь над входом в казарму тускло освещал небольшое пространство, пробивающийся сквозь тучи рассвет съедал сумрак, разжижал и без того слабенький свет этого фонаря.

— Он тебе... обо мне рассказал? — спросил Федор угрюмо.

— Беседовали мы иногда,— неопределенно уронил Валентик.

По выработавшейся издавна привычке он старался не говорить больше того, чем требовалось в определенной ситуации, ничего не разъяснять и не болтать, понимая, что лишнее слово, лишняя информация может обернуться рано или поздно нежелательно для кого-то, в том числе и для него самого. Сколько раз уж он жестоко убеждался в этом. Тогда, у железнодорожного переезда, не подай он голоса, не поболтай в темноте с немцами о пустяках, не услышала бы его, не обратила бы внимания просто, а значит, не узнала бы потом его эта проклятая Олька Королева, разведчица Алейникова, и все было бы в порядке. И до сих пор, и кто знает, сколько бы и потом еще сидел он в этой спецопергруппе Алейникова, делал бы свое дело, которое высоко ценил Бергер. Не для Бергера, не для паршивой этой Германии старался он, Алексей Валентик, как и Лахновский. Но Лахновский уже трухлявый пень, для чего ему жизнь? А он, Алексей Валентик, еще поживет! Жизнь еще может распахнуться ему во всю ширь. Только надо быть осторожным и предусмотрительным. Можно вот этого подонка, эту грязную свинью, как немцы правильно называют всех русских, ошеломить сообщением, что не только Алейникова, а еще одного землячка его, Полипова Петра Петровича, бывшего председателя Шантарского райисполкома, знает Валентик, недавно на твоих, мол, глазах приволок его из-за линии фронта и перевел обратно, оставил в тылу у красных. Только зачем? Мало ли какие последствия могут из этого выйти! Их никогда не предусмотришь, эти последствия. И Федору Савельеву о Полипове ничего не сказал, и Полипову о Савельеве, об Алейникове ни словом не обмолвился.

— И чего же он такого про меня тебе наговорил? — спросил Федор, нервно растерев жесткой подошвой немецкого сапога окурок.— Какие сказки?

— В гражданскую войну партизанил ты, говорил, отчаянно.

Промолвив это, Валентик опять стал смотреть на Федора в упор, с презрением, пронизывая холодными зрачками насквозь, точно Лахновский своей тростью. И Федор с тоскливой обреченностью подумал, что спасения от этого человека нет и не будет, что Лахновский со своей тростью, кажется, просто щенок против Валентика. Только что Федор был равнодушен ко всему на свете, в том числе и к собст-

венной смерти, с облегчением даже ждал ее, а теперь вдруг в затылке и в висках похолодело, в сознании уныло заворочалось, заскребло, больно отдавая во всей голове: неужели смерть? Неужели смерть — и все потухнет в сознании?! Все останется здесь — земля, травы, эти вот серые предутренние облака, Анфиска... Вот эта фляжка со спиртом останется, кто-то, живой и невредимый, будет из нее пить, а его, Федора, не будет! Его не станет — раз и навсегда. Он сгинет, а на земле над его прахом будет светить солнце и плескаться звездное море, греметь грозы и мести снежные метели.

— Зачем, сволочь, я тебе понадобился? Зачем?! — прохрипел он.

— Не знаю... Да и не нужен ты мне пока. Потом, может быть...— вяло проговорил Валентик.

— Когда потом? Что потом? — вскрикнул Федор.

— Не знаю, не знаю,— еще протянул дважды Валентик и вздохнул. И продолжал так же тихо и раздумчиво, будто не замечал теперь возбужденного состояния Федора: — Советские войска снова приближаются. Под Харьковом тоже черт-те что творится. Да и вообще, судя по всему... Даже этот подонок, этот Лахновский, считает, что Сталинград — это только цветочки... Заметался, как крыса.

Валентик неожиданно дернулся, в одну секунду преобразился и, схватив Федора за плечи, остервенело затряс его.

— Ты понимаешь?! Понимаешь?! Видел, как мечутся крысы в огне?! Ну, нет... Я не замечусь. Я буду драться до последнего! До последнего вздоха! Как свирепый пес! Как дикий зверь!

В утреннем полумраке глаза Валентика горели действительно каким-то звериным, зеленоватым огнем.

— Отцепись... ты! — прокричал Федор ему в лицо, стараясь сбросить его руки со своих плеч.— Не Лахновский, а ты... полные штаны уже наклал.

Когда Федор оттолкнул от себя Валентика, тот опять же мгновенно успокоился, прежним голосом проговорил:

— Я — нет. Но такие люди, как ты, Федор Силантьевич, скоро мне понадобятся... Ну, пойдем, что ли, снова посты проверим.

Говоря это, он устало, по-стариковски, приподнялся. И в это время где-то на южной стороне Шестокова серое утреннее небо прочертили две зеленые ракеты. Валентик резко крутанулся, будто его ударило током, и замер: вслед за зелеными ракетами взвилась одна красная, тишину глухо прострочила далекая длинная автоматная очередь, затем вперебой застучали короткие. На вышке, устроенной на крыше казармы, заглушая стрельбу, второй раз за сегодняшнюю ночь взвыла сирена, из подвала выскочил пулей Лахновский в расстегнутом почему-то сюртуке, без своего картуза, на мгновение остановился как вкопанный. Из-за казармы начали выбегать солдаты. Командиры двух оставшихся в Шестокове взводов — Кривопятко и Поляков — вытянулись перед Лахновским, но тот молчал, точно лишился языка. Валентик тоже бросился к Лахновскому, а Федор продолжал сидеть, прислонившись спиной к стене, будто суматоха его не касалась. Кривопятко и Поляков, оба из уголовников, неразлучные «кореши», освобожденные из какой-то тюрьмы, считались особо надежными людьми, потому Лахновский берег их, в дело пускал в последнюю очередь или в особо важных случаях.

Наконец сирена реветь перестала. На площади перед казармой, залитой теперь синим предутренним сумраком, опять появились долговязый Майснер и неповоротливый Кугель. «И для вас ночка ныне выпала!» — злорадно усмехнулся Федор. Мелькнул выскочивший из подвала Садовский, исчез в толпе.

И вдруг Федор с удивлением отметил — никаких автоматных очередей не было слышно. Но едва подумал об этом, где-то за спиной, казалось, сразу же за казармой, воздух вспороли беспорядочные выстрелы. «Ага, это уже с севера. Значит, с двух сторон партизаны ударили»,— отметил он.

Лахновский наконец очнулся от столбняка, отдал какие-то приказания. Люди, сгрудившиеся в беспорядке на площади, прижимая к животам автоматы, побежали в разные стороны, площадь быстро пустела. Исчезли и Кугель, и Майснер, и Валентик. Перед казармой остались лишь Лахновский да несколько человек из его, Федора, взвода охраны, отдыхавшие до заступления на посты.

— Где ваш командир? Где лейтенант Савельев? — дергая головой, кричал на них Лахновский.

— Я здесь,— подал голос Федор.

— Ты здесь?! — обернулся Лахновский, ринулся к нему. В это время воздух сотрясли совсем уже недалекие гранатные разрывы. Лахновский на мгновение остановился, глянул почему-то не вправо, где за домами на окраине шел бой, а на небо. Затем кивнул на открытую дверь пустой казармы: — За мной, живо!

Федор, знаком приказав своим подчиненным оставаться на месте, шагнул вслед за Лахновским.

В пустой казарме, как всегда, пахло чем-то едким и вонючим. Федор никогда не мог определить — чем. Видимо, это был смешанный запах табачного дыма, водки, грязи и человеческого пота. Лахновский сел за длинный засаленный дощатый стол, за которым солдаты его «армии» пьянствовали, играли в кости и карты, положил на стол худые, высохшие ладони. Пальцы его, похожие на скрюченные и засохшие фасолевые стручки, дрожали, и он убрал руки со стола. А затем и вообще встал резко, торопливо. Лахновский был смят, раздавлен охватившим его страхом и уже никак не мог скрыть этого.

— Вот так, Федор... э-э, Силантьевич,— заговорил он и, чтобы как-то унять волнение, полез за табакеркой. Тяжелая серебряная коробочка не раскрывалась, он, охваченный великим отчаянием, швырнул вдруг ее куда-то под деревянные нары, заваленные вонючим тряпьем.— К черту! Слушай меня, как на духу... Партизаны нас перехитрили, я это сейчас понял окончательно... Почти всех солдат выманили туда,— он боднул головой в светлеющее все больше окно. — Дорогу назад заткнули, как пробкой. И какой-то частью своих сил ударили на Шестоково. С двух сторон. Может, с третьей ударят. Они знают, сколько у нас солдат. Метальников, Подкорытов... и черт его знает, кто еще у них тут. Все знают! Все рассчитали. Это конец, Савельев...

Лахновский подергал головой, сел на табурет, поставил трость между ног, сложил на нее ладони, стал слушать автоматные очереди и гранатные разрывы, которые доносились все отчетливее. В такой позе Федор видел Лахновского часто.

— Нет, кажется, с двух сторон они ударили — с севера и с юга... Но это не важно... Все равно через несколько минут они будут здесь. Они ворвутся в село, а мы тут одни...— проговорил Лахновский. И как-то странно спросил: — Хочешь погибнуть?

Спросил — будто рюмку водки предложил.

— Зачем?.. — пошевелил Федор бледными и сухими губами.

— Вот-вот, это я давно заметил... хоть и хорохорился ты одно время. Когда с Леокадией тебя застал, помнишь? Что, думаю, такое с Федором? Это меня и остановило.

— Смерти каждый боится,— сказал Федор протестующе, чтобы в чем-то оправдать себя.

— Ладно. Время зря теряем,— вскочил Лахновский.— Пошли к речке, на запад. В случае чего твои ребята прикроют, задержат их. А ты меня береги. Убережешь, вырвемся — не оставлю тебя в беде. Со мной не пропадешь, Савельев... А без меня... А я что-нибудь придумаю. Документы какие, если хочешь,— и обратно к своим.

Лахновский говорил торопливо, проглатывая слова. Руки его дрожали, губы тоже дрожали, с губ летели в лицо Федору мелкие капельки слюны, он брезгливо морщился, но понимал отчетливо все то, что говорил Лахновский, ясно сознавая, что говорит он ложь. Он, Федор, пропадет теперь хоть с Лахновским, хоть без него. Кроме того, Лахновский, конечно, обманет, но выбирать ему не из чего, он давно уже пропал, собственно. И все-таки в каком-то крае сознания жила упрямо надежда на что-то, не понятно даже и на что. И он прервал его грубо, раздраженно:

— Ладно... Все мне ясно. Каждая секунда дорога! Пошли.

Лахновский покорно повернулся, шагнул из помещения.

Федор вытащил из внутреннего кармана фляжку, сделал несколько жадных глотков. Фляжку аккуратно завинтил, водворил на место.

Затем подошел к стене, снял с гвоздя один из автоматов, сунул за ремень несколько патронных рожков.

И только после этого двинулся к светлому уже дверному проему.

* * *

Утро разгорелось росное и парное.

Грозивший ночью дождь так и не пошел, начавшийся было ветерок утих, вместе с проблесками нового дня откуда-то накатился не по-утреннему теплый воздух, листья и травы вспотели, на низких местах, в лощинах, закурились туманы, задымила речушка, обтекавшая Шестоково с запада. Речушка была тихая и мелкая, в самых глубоких местах по колено, но она безмолвно текла в этих краях много веков и за долгую свою жизнь промыла широкое и глубокое русло. По длинным отлогим склонам ее берегов росли древние редкие сосны, земля под ними поросла густым разнотравьем. Трава, уныло думал Федор, до войны, конечно, выкашивалась шестоковскими мужиками, а теперь второй вон или третий год стоит некошеная, пропадает зря. И вообще эта речонка чем-то напоминала ему Громотушку, хотя не была похожа на нее ни нравом, ни обликом,— сердце больно защемило, еще более стал ему противен Лахновский, торопливо хромающий впереди. Полы его сюртука от росы намокли, отяжелели, он по-бабьи задрал их, держа в кулаке, а другой рукой на ходу часто тыкал в землю тростью. Сапоги были облеплены травяными метелками, всяким мусором, грудь его с хрипом вздымалась, по дряблым, разопревшим щекам ручьями тек пот.

Они торопливо уходили вдоль этой речушки, метрах в трехстах нырявшей в темный зёв леса,— впереди Лахновский, за ним Федор, а за тем кучей двигались полторы дюжины солдат из взвода охраны. Справа и слева, где-то совсем недалеко, влажный воздух пропарывали автоматные очереди. Лахновский из стороны в сторону испуганно мотал распаренным лицом и хрипел: «А, черт... Проклятье!» — и, все ниже припадая на раненую ногу, старался идти быстрее.

Партизан они увидели неожиданно слева от себя, за речушкой. Вынырнув из леса, те, стреляя на ходу, бежали к ним по отлогому косогору. Было партизан, кажется, немного, всего несколько человек, но кто мог сказать, сколько их еще в лесу!

— Савельев... слева! Не видишь? — прохрипел Лахновский не останавливаясь.

— Безбаев, Кикин, Стручков! Вот ты и ты! — ткнул Федор дулом немецкого автомата еще в двоих.— Остановить партизан! Не пускать за речку!

— Слушаемся! — сказал толстый, краснолицый Безбаев, не то калмык, не то узбек, злой и безжалостный человек, добровольно сдавшийся в плен в первый же день войны где-то в Белоруссии.— Айда все за мной!

Разбрызгивая воду, эти пятеро кинулись через речушку на противоположный берег, причем один из них, едва достигнув его, был убит. Оглянувшись, Федор увидел, как его солдат, уже, видимо, мертвый, столбом постоял на травянистом берегу, повалился назад, в реку, и с сильным всплеском упал в нее спиной. «Счастливчик»,— мелькнуло у него в мозгу, губы изломила больная усмешка. И в это мгновение он опять услыхал:

— Федор! Савельев, черт...

Лахновский, широко разевая рот и жадно втягивая черной дырой воздух, тыкал рукой вправо и чуть вперед. Там по склону косогора тоже росли редкие деревья, между ними, перебегая от ствола к стволу и отстреливаясь, мелькали какие-то люди. Но это были не партизаны,— огрызаясь автоматными очередями, какая-то группа шестоковского гарнизона пятилась к речушке. Партизан там еще не было видно.

— Савельев, надо помочь им, надо помочь! — прохрипел Лахновский.— Займите же оборону. И быстрее, черт возьми...

Федор понял, что значит это «и быстрее, черт возьми...». Партизаны, наступавшие справа, могли отрезать их от густого леса впереди, который все еще был метрах в двухстах. Лахновский, теряя от быстрой ходьбы последние силы, хотел во что бы то ни стало остановить партизан, во всяком случае, задержать их, чтобы успеть проскочить к лесу.

— Харченко! Возьми с собой четыре человека! — И Федор мотнул автоматом в сторону.— Давай, живо!

Харченко, молчаливый и старательный мужик, не спеша выбрал себе четырех человек, перекрестился и трусцой побежал вперед, забирая вправо, навстречу все

усиливающемуся автоматному огню. Очереди хлестали слева, где ранее посланные Савельевым пытались задержать наседающих партизан, трещали справа, куда побежал во главе небольшой группы Харченко, свистели над головами Савельева и Лахновского, никого пока не задев.

— Сколько же... сколько же с нами осталось? — вырвалось из черного рта Лахновского. Говоря это, он чуть повернулся на ходу к Федору.

— Сколько? Считай. Восемь... Со мной да с тобой десять человек.

— Ага, скорей... Силантьич. Сил нет, кончаются...— Он дышал, как загнанная лошадь.— Если упаду, не бросай, прикажи этим подсобить мне! Они молодые... Нам только бы до леса! До леса...

Говоря это, Лахновский, за ним Савельев и восемь человек из его взвода обогнули невысокий курганчик, густо поросший кустами. И здесь, справа от себя, увидели несколько человек, скатывающихся по косогору к берегу. Они отстреливались короткими очередями, группами по два-три человека сбегали немного вниз, падали в траву, стреляли, прикрывая от наседающих партизан следующих двух-трех своих солдат. Несколько человек лежало уже на самом берегу, остервенело стреляя куда-то вверх.

— Да сколько... сколько же их там, проклятых!— проскулил тоскливо и обреченно Лахновский, прибавляя ходу.

В это время сверху к лежащим на берегу скатился еще один, бросил разъяренный взгляд на Лахновского, упал в траву, начал стрелять из автомата. Лахновский, узнав Валентика, невольно остановился, скорее, может, затем, чтобы передохнуть. И задал тот же вопрос:

— Сколько... сколько их?

— Неизвестно.— Валентик приподнялся, лицо его было грязным и потным, рукава немецкого, как у Федора, мундира были засучены, оголенные руки тоже мокрые, в грязных потеках, на ремне болтались две длинные немецкие гранаты.— Неизвестно...

Потом он, не остерегаясь пуль, разогнулся в полный рост, закричал на людей, сопровождавших Лахновского:

— А вы что? Туристы? Не видите...— Он кивнул в сторону отступающих.— Савельев, приказывай своим. Или отдай их мне!

— Не ори, прикажу,— сказал Федор, не спеша огляделся, увидел сбегающего с косогора Харченко.— Я тебе, сколько мог, послал на помощь. А этим когда надо, тогда и прикажу.

Кругом стоял беспрерывный автоматный треск, голосов было почти не слышно. Валентик выдохнул прямо в лицо Лахновскому:

— Шкуру спасаешь, господин штандартенфюрер? Сволочь...

— Послушайте... Не сметь! — взвизгнул Лахновский, дернув из земли по привычке трость.

— А я вырву твою шпагу вот,— нешуточно прохрипел Валентик.— Шашлыки я тоже умею нанизывать.

— Господи, зачем... так? — крутя головой, после каждого слова глотая воздух, проговорил Лахновский.— Берите всех! Пусть прикроют... И отступают все туда, к лесу. Организованно. Иначе всем... Командуйте.

— Вы полковник,— едко усмехнулся Валентик, ладонью размазывая грязь по лицу,— вы и командуйте.

— Ах, бросьте! — отмахнулся Лахновский.— Савельев!

И, ни на что больше не обращая внимания, прикрываясь росшими вдоль берега кустарниками, побежал к лесу.

Лахновский бежал, мелко семеня ногами, опять шумно, с хрипом, дыша. Федор шагал крупно, совсем не торопясь, но поспевая за Лахновским. Они шли теперь по берегу речушки вдвоем. Сзади что-то кричал, командуя, Валентик, трещали автоматные очереди. Стрельба шла то на убыль, то поднималась вспухнувшей волной. Но Федору все это было по-прежнему безразлично. Все, что происходило только что в Шестокове, а потом здесь, в пойме этой небольшой речушки, его словно не касалось. Увидев впервые на левом берегу замелькавших меж деревьев партизан, Федор не испугался и даже не удивился этому. И потом, поглядывая то влево, то вправо, откуда тоже появились партизаны и погнали к реке Валентика с кучкой солдат «армии» Лахновского, он был спокоен, как-то не восприни-

мал всерьез, что идет смертельный бой, все думал и думал почему-то, что высокую, давно не кошенную траву по берегам речушки и нынче никто не выкосит, сейчас ее истопчут, всю перепутают. А жалко, хорошая трава.

Сзади стрельба и крики не отдалялись, ползли следом за ним и Лахновским. Значит, Валентик, огрызаясь, отступал со своими солдатами к лесу «организованно», как просил Лахновский. Но и это Федору было безразлично. Вот и темная стена деревьев почти рядом, видимо, они все-таки выскользнут теперь живыми и невредимыми из лап смерти. А зачем? Зачем? Что впереди-то?

Автомат, из которого Федор сегодня не сделал ни единого выстрела, тяжело болтался на шее. Савельев снял его, накинул ремень на плечо. Равнодушно прислушиваясь к очередям за спиной, достал опять фляжку со спиртом, глотнул на ходу. Пряча ее в карман, подумал: «Валентик этот что за тип такой? Про Алейникова Якова знает... И про меня, сволочь... Значит, не врет про Яшку...»

И в этот момент из леса навстречу им затрещали выстрелы, почему-то одиночные.

— Проклятье! — воскликнул Лахновский, схватился за плечо, пошел этим плечом вперед все быстрее и быстрее, пригибаясь при этом все ниже, и наконец, взмахнув тростью, упал в траву, застонал: — Я ранен! Савельев, я ранен...

Федор, сдернув с плеча автомат, тоже упал. Меж густых деревьев впереди совсем близко мелькнуло две или три фигуры. Федор полоснул по ним.

— Я ранен, помоги мне...

— Не скули! — это проговорил уже Валентик, подбежавший сзади и ткнувшийся на землю между Федором и Лахновским.— Кажется, крышка!

Теперь стрельба шла со всех сторон, и не одиночными — очередями. Федор тоже стрелял неизвестно куда — просто в ту сторону, где впервые увидел людей за деревьями. Стрелял и Валентик, по-собачьи оскалив зубы. Потом приподнял голову, покрутил ею, осматриваясь.

— Савельев... Там, слева, овражек вроде какой-то. Давай за мной. Может быть, еще повезет... Только бы до леса добраться!

— А если я не хочу?

— Ну, пропадай,— усмехнулся Валентик.— Ты видишь, они со всех сторон. Сейчас сомнут!

И он, плотно, как змея, прижимаясь к земле, пополз в сторону. Федор, помедлив немного, пополз следом.

— А я? А я?! — захрипел Лахновский и, царапая одной рукой землю, тоже попытался ползти.— Савельев, не бросай меня. Расстреляю, подлеца!

Эта угроза была здесь смешной, но Федор подождал, пока Лахновский доскребся до него. Потом подхватил его под мышки и, упираясь носками сапог в мягкую, затравеневшую землю, пополз дальше, волоча стонущего Лахновского. Левое плечо его было окровавлено, но не сильно, кровь уже перестала течь.

Овражек был недалеко. Федор и Лахновский кулями свалились в него. И уже на дне Лахновский, закусив от боли иссохшие свои губы, простонал:

— Нельзя было осторожнее?

Там, на поляне перед лесом, яростно шел бой, кажется, приближаясь сюда, к овражку.

— Теряем время! — прохрипел Валентик, поджидавший их уже здесь.— Пошли, быстро!

— Одну минуту... Ужасная боль! — умоляюще попросил Лахновский, держась за раненое плечо. Старческое лицо его действительно было искажено от страданий, вдоль морщин катились крупные капли пота.— Сейчас она должна пройти. Одну минуту...

— Это слишком долго, господин штандартенфюрер,— сквозь зубы выдавил Валентик.— А у меня есть мгновенное средство.

Говоря это, Валентик лязгнул затвором автомата, направил его в сторону Лахновского. У того мгновенно вспучились глаза, отвалилась челюсть. Забыв про боль, он, опираясь на здоровую руку, мотнулся, стремительно пополз задом к отвесной стене овражка. Прижавшись к ней спиной, обрел наконец речь, закричал, выставляя вперед свою трость, которую он все-таки не выронил, когда Федор волок его в овраг и которой словно хотел теперь прикрыться:

— Вы... что?! Капитан... Савельев, он меня убьет! Савельев!

Валентик, опять оскалив зубы, как недавно, нажал на спуск, с какой-то яростью прошил короткой очередью хилую грудь Лахновского. Глаза его, по-прежнему широко открытые, вздернулись кверху, в небо, трость выпала из руки. А еще через секунду его тело с куском земли, отставшей от края овражка, упало на его дно.

Так кончил свой жизненный путь «командующий шестоковской армией», в прошлом следователь Томской городской жандармерии, затем троцкист и германский шпион Арнольд Михайлович Лахновский.

Все произошло в несколько секунд, Федор не успел Валентику помешать, да, кажется, и не хотел мешать, несмотря на умоляющий вопль Лахновского. Теперь же он спросил:

— Зачем ты это сделал?

— На всякий случай.— И Валентик с усмешкой кивнул наверх.— Живьем попался бы если... А это ни к чему. Слишком много знал. Да и вообще... бесполезен теперь. Пошли!

Овражек был молодой еще и неглубокий, метра в полтора. Валентик и Федор, скрючившись, побежали в ту сторону, где в утреннем, все более светлеющем небе торчали верхушки сосен. Буквально с каждым шагом овражек все более мелел, а вскоре кончился, всего в нескольких десятках метров от спасительного леса. Выскочив из него, Валентик и Федор, как звери, огляделись и увидели картину для себя мало утешительную. По всей опушке торчали черные, старые пни, за каждым почти укрывались партизаны, поливая огнем залегших в траве, на голом месте, солдат шестоковского гарнизона. Те заняли круговую оборону, потому что сзади напирала та группа партизан, которая выгнала самого Валентика с его людьми к речке.

Видя, что овражек предательски вывел их в самый центр пекла, Валентик лишь глухо простонал и, опять пригнувшись, хотя это теперь было бесполезно, кинулся вправо, где лес был ближе всего.

— Товарищ майор! Валентик! Валентик!! — прорезался сквозь автоматную трескотню пронзительно-истошный женский голос, и Федор, бежавший следом за Валентиком, подумал: «Он же не майор, а капитан». Но в следующую секунду сообразил, что это кричат не Валентику, а кому-то другому, крутнул головой в ту сторону, откуда, как ему показалось, донесся голос. И действительно, увидел девчонку лет восемнадцати — двадцати. Она была в штанах, голова туго замотана платком. Стоя на коленях возле пня и поставив на него локоть, она раз за разом стреляла из черного пистолета в Валентика. «Ах ты сучка!» — почему-то именно на эту девчонку взъярился Федор, остановился, приподнял автомат и дал по ней очередь. Он видел, как от пня полетели щепки и пошла пыль — пень был гнилой,— видел, как из рук девчонки вылетел пистолет, сама она опрокинулась на бок, покатилась в сторону, но тут же вскочила на четвереньки, затем во весь рост побежала куда-то... «Надо же, в пистолет попал, а в нее нет!» — с удивлением отметил Федор, чувствуя одновременно облегчение оттого, что не убил девчонку.

Пока он стрелял в нее, а потом наблюдал, как она упала, вскочила и побежала, прошли всего какие-то секунды. Но за эти мгновения Валентик почти достиг леса, он, по-прежнему пригнувшись, бежал к нему крупными скачками, по-волчьи, а сбоку палил в него короткими очередями, вскидывая автомат на ходу, какой-то партизан в расстегнутом пиджаке, в армейской пилотке и после каждой очереди кричал:

— Стой! Стой! Стой, сволочь! Не уйдешь! Теперь все равно не уйдешь!

Голос, искаженный яростью, все равно был знакомым, страшно знакомым, но Федор не узнавал его, а лица на бегу разглядеть не мог. Он только заметил на этом человеке синие офицерские брюки и сапоги и, догнав Валентика, подумал, что это и есть тот майор, которому только что кричала девчонка, и даже не удивился, откуда среди местных партизан офицер Красной Армии, не было для этого времени. Федор преодолел пространство, отделяющее его от Валентика, быстро, ни одна из сотен пуль, свистевших вокруг, не задела его. Зато этот майор, опять полоснув из автомата, достал-таки Валентика, пуля вскользь задела его шею, из нее струей брызнула кровь.

— А-а, черт! — простонал Валентик, схватившись за шею. Кровь потекла у него между пальцев.— Стреляй же, идиот!

Это Валентик приказывал ему, Федору. И он, прячась за деревом, послушно начал поливать огнем пространство перед собой, не видя даже, есть ли перед ним партизаны. «Идиот... правильно, идиот!» — как пулями, прошивало ему голову.

Партизаны перед ними, видимо, были, потому что Валентик (Федор видел его краем глаза) отстегнул от ремня окровавленными пальцами обе гранаты, чуть помедлил и бросил их одну за другой. Взрывы раздались громкие, земли и пыли поднялось в воздух много. Стрельба на какое-то мгновение заглохла, и Федор расслышал, как та девчонка, у которой он выбил пистолет, прокричала:

— Товарищ майор! Шестоково, кажется, горит!

— Вижу, Олька! — донесся знакомый голос майора.— Ах, черт, надо скорее туда... Логунов! Живьем их взять, предателей! Ты, Королева, со мной, не отставай. Логунов, ты понял? По возможности живьем!

— Ну, это еще как получится,— прохрипел Валентик.

Он и Федор не стали ждать, пока рассеется пыль от гранатных разрывов, оттолкнулись от деревьев, за которыми укрывались от осколков, и, путаясь в крепкой лесной траве ногами, побежали меж деревьев.

— Это Королева привела их в Шестоково...

— Кого их? — спросил на бегу Федор.

— Ты что, совсем мозги пропил? Ни по голосу, никак не узнал? Это же Алейников в меня стрелял... Я ж тебе говорил — здесь он, недалеко. А сюда девчонка эта его, значит, привела. Ух, не знал я, что она его разведчица!

Савельев, будто наткнувшись на одно из деревьев, остановился посредине небольшой прогалины. «Алейников... Действительно, его же голос!»

Сердце Федора часто и гулко стучало, но не от быстрого бега, не от усталости. «Его! Его, его...»

Валентик, пробежав еще несколько шагов, остановился.

— Ты что?! — повернулся он к нему. Кровь из его шеи все еще сочилась, стекая на правое, вздернутое кверху плечо.— Ты что? Сдаться хочешь?!

Где-то неподалеку потрескивали редкие теперь выстрелы. Там, на опушке, добивали, кажется, последних подчиненных Федора и Валентика. Но это не имело теперь для Федора никакого значения. Никакого значения не имели ни окровавленные шея и плечо Валентика, ни его голос. А вот слова имели. Слова имели: «Алейников... Алейников!»

— Нет, мне нельзя сдаваться...— сказал он, потрясенный...

* * *

...Но потрясение, которое испытал Федор Силантьевич Савельев при имени Алейникова, было сегодня не последним. Буквально через несколько минут ему предстояло еще одно, самое тяжелое и страшное, которым и закончится на сорок восьмом году существования его жизнь здесь, в лесу, под старинным русским городом Орлом,— жизнь нелегкая, путаная, не нужная ни ему самому, ни жене его Анне, ни детям, ни земле, на которой он родился. «А пока еще по жилам его текла теплая, как у всех людей, кровь, он стоял, не обращая внимания на затихающие неподалеку выстрелы, на свирепо и нетерпеливо дышащего Валентика, на всходящее где-то за деревьями древнее и вечно молодое, щедрое солнце.

— Мне нельзя сдаваться,— тупо повторил Федор.— Потому что я... идиот, как ты сказал... Да я и без тебя это знаю, без тебя...

Он не договорил. Утренний, пронизанный первыми лучами солнца воздух громко и безжалостно распорола злая автоматная очередь. Федор поднял глаза, увидел, как трясется автомат в руках Валентика. Отстреливаясь от кого-то длинными очередями, он пятился мимо деревьев в синюю лесную глубь. Савельев поглядел, куда он стрелял, увидел меж стволов мелькающих партизан. «А-а, это тот, Логунов какой-то. Который хочет... которому Алейников приказал нас... меня — живьем!»

— А-а-а! — заорал Федор уже во весь голос, вздернул автомат и остервенело начал поливать огнем приближающихся к нему партизан. Много было их или мало, он не знал и не думал об этом, он видел только их меж деревьев и на поляне. В голову ему хлестала, опьяняя, жгучая и едкая струя.— Живьем, сволочи? Живьем?! А-а-а...

Несколько человек, двоих или троих выскочивших на прогалину, Федор срезал сразу, остальные отскочили за деревья. Это распалило его еще больше. Мгновенно сменив опустевший патронный рожок и заметив все же в это время, что Валентик, отстреливаясь, уходит в лес все дальше, он, топчась, как зверь, на полусогнутых ногах, опять начал хлестать очередями. В него тоже стреляли, кажется, но не попадали.

— И не попадете! Стрелки, мать вашу...— орал он, пятясь все же к деревьям.— Живьем захотели? Не возьмете!

Кончился и этот рожок. Федор выдернул из-за ремня следующий. И в это время очередь ударила ему по ногам. Федор даже видел того, чья это была очередь. Пока он вырывал из автомата пустой рожок и выдергивал из-за ремня свежий, из травы поднялся не очень высокий сутулый человек в дождевике, прицелился из тупорылого автомата в него и полоснул. Сильной боли он не почувствовал, но обе ноги сразу будто переломились, как прутики, Федор упал на колени и застонал еще яростнее. То ли от этой злости, то ли от сознания, что его все же подстрелили, глаза ему застлал белый плотный туман. Но все же сквозь эту белую пелену он увидел, что выпустивший по нему автоматную очередь человек, нисколько не остерегаясь, во весь рост стал приближаться к нему.

— Счас ты согнешься! Счас...— прохрипел Федор. Левой рукой он держал теперь в нужном положении автомат, а правой вставил в него рожок.

Затем происходило странное и непонятное для Федора. Он, стоя на коленях, палил и палил в этого партизана, только в этого, все крича: «Живьем не возьмете, сволочи! Не возьмете!» — а тот приближался и приближался в тумане, как призрак. Федор бил почти в упор, с каких-то десяти — пятнадцати метров, промахнуться было невозможно. А человек шел и шел на него из тумана, невредимый, словно заговоренный... И наконец в полной тишине, которую не нарушали трещавшие где-то выстрелы, голосом брата Ивана сказал:

— Почему же, Федор? Возьмем.

Да, этот человек, этот партизан в дождевике был Ванька. Федор узнал брата на несколько мгновений раньше, чем раздался его голос. Он шел, приближаясь, сквозь белую муть все отчетливее обрисовывались его черты — нос, усы, подбородок... Оружие в руках Федора захлебнулось было. Федор вздрогнул, но сказал себе: «Не может быть! Откуда ему...» И продолжал строчить еще какое-то время, пока ладонь, сжимавшая рукоятку, не вспотела горячим, обжигающим потом, а палец не соскользнул с удобного в немецком автомате спускового крючка.

— Ты?! Ты... Ванька?!

Это Федор произнес спустя значительное время после того, как Иван, стоя уже вплотную к нему, сказал: «Почему же, Федор? Возьмем». Потерявший дар речи Федор немо теперь молчал, язык его словно примерз, прикипел к зубам, да и все внутри стало вмиг окаменелым, нечувствительным, лишь работал слух да в порядке было зрение: Федор видел, как мимо пробежало несколько партизан, а один из них нагнулся, подобрал валявшийся на траве его автомат, выдернул из его кобуры парабеллум, быстро и ловко проверил, нет ли у него еще какого оружия, распорядился, убегая дальше: «Сдашь его Алейникову!»

— Я вот... Федор,— виновато ответил брату Иван.

* * *

— И ты меня пристрелишь... Убьешь?

— Да. Я это сделаю,— сказал Иван, младший брат его, кивнул на распластанные неподалеку в траве, мягкой и зеленой, трупы партизан.— Ты же... И не только этих. Ты много убивал, а?

— Это было,— сказал Федор, стер рукавом обильно проступающий пот со лба и с грязных щек.— Убивал я...

Несильный ветерок дул с той стороны, куда, отстреливаясь, скрылся Валентик, а за ним партизаны, раздувал мягкие волосы Ивана. Он сидел на земле под деревом, к самому лицу подтянув колени, склонив на них голову. А напротив него, под другой сосной, прижавшись к ней спиной и вытянув простреленные, беспомощные ноги, сидел Федор. Иван сам подтащил его сюда и усадил. Тогда еще справа и слева, где-то далеко и с каждой минутой все дальше, потрескивали ав-

томатные очереди, а затем все заглохло. Это неведомое Ивану Шестоково было конечно, взято, он в этом нисколько не сомневался, Алейников, наверное, давно вычистил все столы и сейфы «Абверrруппы», ради чего он и пришел сюда, ради чего погибли вот эти лежащие в траве молодые парни и мужчины и еще, конечно, многие, вот так же лежащие сейчас где-то. Свершилось страшное и обычное на войне дело. И еще будет долго совершаться, долго будут падать на землю здоровые и сильные люди и никогда с нее уже не поднимутся, не вернутся в свои села и города, а их все равно будут ждать и ждать, как ждут его, Ивана, там, в Михайловке, жена Агата, сын Володька и дочь Дашутка, как ждут Панкрат Назаров, Кружилин и все, кто его знает и помнит. Но когда люди падают от вражеских пуль, это одно, а если их скосил из немецкого автомата русский, это совсем другое. Но это вот чудовищное и невероятное случилось на его глазах, он сам это видел, к тому же сделал это его родной брат, и потому, встав во весь рост, он пошел на Федора, уверенный, что уж в него-то Федька стрелять не посмеет. Но тот, стоя на коленях, палил очередями в него, пули с горячим визгом свистели вокруг и вспарывали землю под ногами. А Иван все шел, думая в те секунды даже не о Федоре и не о возможной смерти от его руки, а о том, что идет он вот так под пулями своих же не впервые, это было не раз. Более того — это продолжалось всю его жизнь. И сейчас, сидя под деревом напротив брата, которого должен убить, он мучительно думал, что и такое, кажется, было когда-то с ним, но когда и где, вспомнить не мог. Может, потому, что где-то в темной и далекой глубине сознания все жила, беспрерывно всплывала и всплывала тревожная мысль — долго он сидеть так с Федором не может, ведь Олька Королева привела их к немцам в тыл, кругом тут враги. Немцы, фашистские солдаты, которым служил его родной брат Федька!

— Как же... как ты у них оказался? У немцев? — не поднимая головы, спросил Иван чужим, рвущимся голосом.

— А ты... как тогда в бандитах, в отряде Кафтанова, очутился? — попробовал окрыситься Федор.

— Тогда? Это было совсем другое. Этого в двух словах не объяснить.

— Вот...— усмехнулся Федор, глядя на лежавший в траве у ног Ивана короткоствольный советский автомат.— И мне не объяснить.

— Вре-ешь!

Федор, опираясь сильными руками в землю, еще плотнее прижался спиной к дереву, отвернул голову и стал глядеть тоскливо в синюю глубину леса, над которым поднималось утреннее солнце. И там, где-то в этой синей глубине, рваными лоскутами замелькали отрывки какой-то неясной, дальней, а главное — будто посторонней и чужой жизни, хотя это был он, он, Федор...

...Вот он, тогда молодой и сильный, остервенело хлещет плетью раскосматившуюся Лушку Кашкарову, которая пытается на четвереньках уползти из комнаты. А рядом, наблюдая, хрипит Кафтанов...

...Вот сидит он с Кафтановым за столом, и тот, постукивая в ладонь черенком плетки, говорит глуховато, поблескивая влажными, в красных прожилках, глазами:

«А вырастешь ты, должно быть, хорошей сволочью. И чем-то, должно быть, этим самым, ты мне глянешься пока...»

...Отец, Силантий, в белой, застиранной рубахе сидит на берегу озера, говорит негромко:

«Вот что, сынок, скажу тебе... Остерегайся ты его слов. А то говорят люди: обрадовался крохе, да ковригу потерял...»

...Антон, нежданно объявившийся на заимке в глухую ночь, говорит, поддерживая замотанную тряпкой руку:

«Опусти ружье... Пристрелишь еще родного брата».

«Чего-о? Какого брата?» — удивленно переспросил Федор.

...Кафтанов, чуть захмелевший, сидит за столом на заимке, говорит хрипловато и насмешливо:

«Дурьи вы башки... Да разве мне не сообщил бы Федька, кабы его братец-каторжник тут объявился. Какой ему интерес его скрывать? А где интерес — это Федор, чую я, с малолетства понимать начинает... А, Федька?»

«*Сказал бы. Чего мне*».

«*Ну, тогда и говори... Не крути глазами-то!* — закричал вдруг Кафтанов, схватил его обеими руками за горло, стал безжалостно душить.— ...*Кого перехитрить хочешь?! Говори, где твой брат-каторжник?!*»

«*Убери лапы, гад такой!*»

«*Что-о?!*» — удивился Кафтанов, чуть ослабил пальцы. Федор рванулся. Жесткие пальцы Кафтанова до крови разодрали кожу на шее.

«*Поросятник!*» — вгорячах прокричал Федор.

Кафтанов свирепо нагнул голову, громко засопел, сдернул со стены плеть. Федор сиганул с крыльца, метнулся стрелой за конюшню, оттуда — в лес...

Федор перестал глядеть в сторону, невольно потрогал ладонью шею, будто она все еще саднила от кафтановских ногтей, шире расстегнул воротник немецкого мундирчика, кисло усмехнулся. Да, все это было... Вот так и произошло все с Кафтановым, дико и нелепо. А впрочем, что — все равно революция, Советская эта власть. «*Не любишь ты ее, эту Советскую власть!*» — кричали ему в лицо когда-то вот он, Иван, сидящий сейчас напротив, а потом Анна, жена. Что же, правильно, не любил. Правильно, жалел, что она пришла! Правильно, не принимал ее! Никогда не принимал!!

Федор задохнулся. И теперь он обеими руками схватился за воротник, рванул его. С треском отскочила пуговица. Треск был не сильный, но в воспаленном мозгу он прозвучал как выстрел, напугал его, под черепом заколотилось: «Уже выстрелил Ванька? Уже...»

Он дернулся, вскинул голову. Иван сидел на прежнем месте, в прежней позе.

Подрагивающей рукой Федор опять обтер мокрое лицо. Вынул немецкую вонючую сигарету, немецкую зажигалку, прикурил, пряча огонь в ладонях. Прикуривая, думал: последняя...

Горький сигаретный дым будто успокоил его, мысли потекли ровные, не волнуя теперь, вызывая лишь глубоко внутри все ту же едкую усмешку. Да, не любил Советскую власть. И всех, кто за нее боролся, кто принял эту власть, не любил. Жил как-то — куда же денешься? Троих детей наплодил, чужих ему и не нужных. И Анна, мать этих детей, единственная дочь Кафтанова, была ему не нужна после смерти ее отца. К тому же, сучка, порченой оказалась. Партизанка! Так и не призналась, кто и когда ее заломил. Да черт с ней. Единственная душа на свете, чем-то ему близкая,— это Анфиска. Чем — и не понятно. Может, тем, что больно уж сладко стонала, стерва, когда под себя подминал ее. Где-то она сейчас, как живет там... в том мире, куда уж нет ему пути? Нет — и не надо! Жаль только, что Анфиска там осталась, в той жизни, которую он ненавидел. «Вре-ешь?» Ну, правильно, объяснить не трудно, может быть, почему он у немцев оказался. И все-таки не просто. Ненавидя ту жизнь, жил бы в ней и дальше, наверное, так же после войны, если бы остался жив. Он неглуп, нутром чуял, что немцам русских не одолеть, рано или поздно их сомнут и выпрут прочь. И никогда никому не одолеть. Но тут этот страшный ров под городом Пятигорском... Когда немцы стали срывать с него, как и с других пленных, одежду, прикладами автоматов и карабинов толкать к яме, впервые в мозгу Федора прорезалось: одолеют или нет, а его ведь больше не будет! Не будет!

А затем, чувствуя черный мрак небытия, который еще секунда — и навалится на него, сомнет навсегда, стал думать совершенно противоположное: «Нет, одолеют! Вон какая силища! Но это и хорошо, коли одолеют! И в той жизни можно будет найти место. Земля большая, тайга густая, и как еще можно пожить! Кафтанов бы, Михаил Лукич, одобрил». И он под ударами прикладов закричал истошно: «Я хочу вам служить! Я хочу вам служить! Честно... честно служить!»

Все это можно было бы объяснить Ваньке, но что он из этого поймет? Да и зачем? И Федор, чувствуя, как пальцы жжет искуренная уже сигарета, проговорил другое:

— А я сегодня всю ночь... Всю ночь лезли вы мне в голову, проклятые. Анна, Семка, ты... Будто чуял, что ты рядом тут где-то.

— Я — здесь,— усмехнулся Иван.— А Семки, сына твоего, нет. И не будет уже.

— Убили, что ли? — спросил Федор без всякого интереса, плюнул по привычке на сигаретный окурок и отбросил его в сторону.

— Наверное. Или в плен угнали.

— Хорошо,— скривил засохшие губы Федор.— Пусть твой выродок похлебает.

При этих словах Иван, побелев от гнева, задыхаясь от горького удушья, схватил трясущейся рукой автомат, вскочил, рванул к себе рукоятку затвора, простонал:

— Ах ты... Ты-ы!

— Да я смерти не боюсь,— проговорил Федор спокойно, с прежней кривой усмешкой.— Стреляй.

— И выс...— Иван вовсе задохнулся, конец слова проглотил.— Потому что... не имеешь ты права по этой земле ходить. И никогда не имел! Ты ее... ты ей чужой, как твои друзья фашисты. Ты ее обгадил... обгадил!

— И ты тоже. Вспомни! — опять нагло проговорил Федор, понимая, что это больно хлещет Ивана.

— Я? Не-ет! Я ее обижал... но то по глупости. За то я рассчитался... И обиды на нее и на людей не затаил... не ношу в себе. И люди это поняли. А тебе напоследок вот что скажу... Ты, сволота, знаешь, что Семка родной тебе сын. Не знаешь только, Анну кто испохабил тогда. Все думаешь, что я... Так скажу тебе, сволочь: отец это ее родной... Михаил Лукич Кафтанов. За то, что душа у нее человечья оказалась. Что с партизанами она ушла тогда. Он, как зверь обезумевший, и растоптал ей душу...

Федор все это слушал внешне спокойно, лишь усталые, измученные глаза его начали поблескивать все сильнее и ярче, будто в них разгорелась наконец ненависть к Кафтанову, о гибели которого он всю жизнь сожалел. И сказал тихо и раздумчиво:

— Тело — это что? Это для людей привычно. А вот когда душу, это... правильно.

Иван никак не мог понять смысла его слов, автомат, направленный в сторону брата, был тяжелый, будто в сто раз тяжелее обычного, он вывалился из рук. Сердце Ивана билось толчками, с острой болью.

Когда Федор умолк, Иван сказал:

— Ну, говори дальше...

— Скажу,— кивнул тот.— Почему я у немцев, спрашиваешь? А потому вот... это я сейчас понял до конца. Ежели бы у меня была такая дочь, а я был бы на месте Кафтанова Михаила Лукича... Я бы ее, выродка, точно так же... так же!

В мозгу у Ивана что-то с немыслимой болью вспухло и разорвалось. Закрыв глаза, он нажал на спусковой крючок, автомат задергался, сильно и больно заколотил прикладом в живот. Иван, не видя, но каким-то чутьем чуя, что первыми же пулями изрешетил грудь и голову Федора, все прижимал и прижимал спусковой крючок, пока диск не кончился и автомат не перестал реветь.

Так и не открывая глаз, боясь глянуть на дело рук своих, Иван уронил оружие, как палку, дулом вниз, левой рукой нащупал ствол сосны, затем прислонился к нему плечом, постоял несколько мгновений и стал сползать вниз, на землю, будто не он брата, а его самого сейчас расстреляли намертво...

* * *

С закрытыми глазами, он лежал в неудобной позе под деревом еще долго, даже и неизвестно сколько, пока сквозь остановившееся сознание не прорезался голос Алейникова:

— Савельев?! Живой? Ранен, что ли?

Иван с трудом разлепил веки, увидел Якова. На плече висел у него немецкий автомат, сам он стоял над трупом Федора и зачем-то переворачивал его сапогом со спины на живот. По краю поляны гуськом шли партизаны, некоторые несли какие-то портфели, сумки, связки бумаг и даже чемоданы. «Ага, это все... документы той самой фашистской разведгруппы»,— подумал Иван.

— Я приказал живьем! — проговорил Алейников, строго глядя теперь на Ивана.

— По возможности, ты сказал,— ответил Савельев вялым, неприятным для самого себя голосом и кивнул на убитых партизан: — Это он их, Федор.

— Ты не оправдывайся,— уже не так сердито произнес Алейников.

— А что мне оправдываться перед тобой? Может, мне перед собой надо, а?

Партизаны все шли гуськом, не обращая на них внимания, не поворачивая даже головы, шли молчаливые и усталые, как косари или пахари после целого дня тяжелой работы. Лишь Олька Королева на ходу глянула на Алейникова и Ивана, тоже прошла.

Четверо партизан пронесли на носилках какого-то человека, укрытого немецкой шинелью. Очевидно, Подкорытова, шестоковского старосту.

— Нет, и перед собой не надо. А живьем бы его, подлеца, хорошо,— промолвил Алейников.

— А того, другого-то, взяли?

— Ушел,— сказал Алейников хмуро.— Опять ушел, сволочь.

— Этих бы всех похоронить. Да и Федора...

— Некогда. С минуты на минуту могут немцы нагрянуть. Пошли. Вставай.

Ни слова больше не прибавив, Алейников повернулся и зашагал, тоже сгорбившийся и усталый. Иван поднялся и побрел за ним, вскинув на спину автомат. И Федор, и те убитые на поляне трое партизан, Лахновский в овраге, трупы своих и врагов, распластанные в траве вдоль русла небольшой речушки и вокруг Шестокова, остались лежать под синим и тихим теперь летним небом непохороненными.

И это тоже было страшное и обычное на войне дело.

* * *

Камень был тяжелый, килограммов на двенадцать, острые края, когда Василий Кружилин попытался оторвать его с земли и взвалить на плечо, больно врезались в ладони, каменная глыба выскользнула, тяжко упала возле ног.

— Взять! — коротко приказал Назаров.

Василий нагнулся, опять обхватил закровеневшими ладонями камень. Но на этот раз он не смог его даже сдвинуть с места — в руке, искусанной собаками еще в Ламсдорфе, силы совсем не было. В начале рабочего дня он еще мог этой рукой что-то делать, потом она немела, переставала слушаться, и Валентин Губарев, когда показывались капо Айзель, кто-нибудь из бригадиров или эсэсовцев, пытался как-то отвлечь их внимание от Василия или загородить его, чтобы те не увидели беспомощного состояния Кружилина. Если бы они это увидели, никто не мог знать, чем бы все кончилось. Любой из них в соответствии со своим настроением мог определить Василию любое наказание за плохую работу: выпороть на козле, подвесить за вывернутые руки часа на три-четыре на столбе, заниматься «спортивными упражнениями» — приседать или бегать до полного изнеможения,— собственноручно дубинкой избить до полусмерти или до смерти. Постоянно пьяный гауптшарфюрер Хинкельман мог еще раз заставить влезть на дерево и раскачиваться на ветвях до потери сознания. Гомосексуалист Айзель, бывший уголовник и убийца, за такую провинность мог погнать его на цепь постов охраны, проходившую от каменоломни всего метрах в двухстах, и Василий был бы неминуемо убит «при попытке к бегству». Наконец, любой эсэсовец мог просто вытащить пистолет и пристрелить его без всяких слов и объяснений...

Бухенвальдскую каменоломню заключенные называли «костомолкой», служащие лагеря — особой рабочей командой, а на самом деле это была лагерная штрафная рота, куда отправляли заключенных, от которых надо было почему-либо побыстрее избавиться.

Наступала ночь, собственно, давно уже наступила, участок каменоломни, где бригада Назарова с самого рассвета дробила камень и загружала щебнем повозки, был тускло освещен небольшой электрической лампочкой, болтавшейся на столбе, а кругом стоял мрак. С горы Эттерсберг стекал прохладный ночной воздух, немного освежая узников. Все они, человек четыреста, стояли молча уже в колонне, у каждого на плечах было по тяжелому камню. Уже вторую неделю, уходя в бараки, заключенные должны были, по приказу Айзеля, брать с собой по камню. «Чтобы не украли ночью,— объяснил он,— каменоломня ночью не охраняет-

ся». Возле барака камни аккуратно складывали у стенки, а на рассвете, отправляясь на работу, заключенные снова разбирали их и тащили обратно.

Рабочие каменоломни находились на «советском рационе». В день им давали по три неполных котелка супа из брюквы — без соли, без мяса, без картошки — и по половине хлебной пайки. «Советским» он назывался потому, что Главное административно-хозяйственное управление СС, Отдел Д — концентрационные лагеря, еще осенью 1941 года, перед прибытием первых партий советских военнопленных в Бухенвальд, отдало приказ о том, что в течение шести месяцев со дня прибытия они не должны получать никакой еды, кроме этой, без всяких добавок. Паек был настолько скуден, что люди умирали от истощения ежедневно сотнями, и через некоторое время их переводили «на обычное питание», хотя оно мало чем отличалось от определенного Отделом Д. А для рабочих каменоломни такой рацион был установлен раз и навсегда.

Слабый ветерок доносил в каменоломню пресноватый запах дубовых и буковых лесов Тюрингии, тот запах, который, как уверял Губарев, очень любил Фридрих Шиллер, этот запах якобы вызывал у него всегда творческое вдохновение, здесь, дыша этим запахом, великий поэт Германии создавал свои бессмертные произведения, под буками Эттерсберга он около ста пятидесяти лет назад закончил свою драму «Мария Стюарт». А эти несколько сот обреченных людей, стоящих под тусклым фонарем, запаха лесов Тюрингии не любили, они, изможденные, смертельно измученные за длинный каторжный день, просто его не чувствовали, да и вообще ничего не ощущали, кроме вечной усталости и голода. Каждый из них скорей хотел в свой вонючий барак, чтобы, сложив камни у стенки, доплестись до пищеблока, получить свою миску брюквенной похлебки, выпить ее, затем кое-как дождаться вечерней переклички на плацу и уж потом упасть на вшивые нары и провалиться в сон, как в могилу. Но прежде надо было добраться от каменоломни до барака, а это не каждому удавалось без избиения. Почти всякий вечер кто-нибудь не мог вынести тяжести камня, ронял его. Тогда следовавший сбоку колонны Айзель, не останавливая команду, принимался остервенело избивать несчастного. Он обычно сперва валил его ударом тяжелого кулака наземь, затем пинал, топтал ногами, рыча, как зверь. Все знали, что, истязая людей, Айзель получал половое удовлетворение.

Люди в полосатых одеждах с особым знаком штрафной роты — с красным треугольником и красным кружком под ним, нашитыми на куртки и брюки,—молча и терпеливо ждали, когда этот молодой русский парень, кажется, бывший товарищ недавно назначенного бригадиром Назарова, поднимет свой камень. Если не поднимет, значит, его очередь быть сегодня жертвой Айзеля. Вот он уже показался из дощатой будки, где отдыхал и пьянствовал в течение рабочего дня.

Назаров, в такой же полосатой куртке, как и все, с таким же знаком, но с плетью в руке и с черной повязкой на левом рукаве, торопливо оглянулся на вышедшего из будки Айзеля и еще раз крикнул:

— Взять, говорю, живо! Бери, ну же!

Однако Василий уж оставил попытки поднять глыбу, стал выпрямляться, пошатываясь. Тогда Назаров, еще раз глянув на приближающегося капо, быстро нагнулся сам, схватил камень и положил его на плечо Кружилину. Тот опять пошатнулся, но устоял.

— Спасибо, господин бригадир,— пошевелил Василий засохшими губами.— Благодетель ты... Не забуду.

— Держи. Марш в колонну! — И Назаров толкнул его в строй.

То, что сделал Назаров, было небезопасно. Айзель, начальник команды, был хозяином жизни и смерти любого из этих людей в полосатых одеждах, в том числе и Назарова. Но то ли он был сильнее обычного пьян, то ли просто в этот момент отвернулся— он ничего не заметил. И, подойдя, только спросил равнодушно:

— Готовы?

— Так точно, господин капо. Ждем вас...

— Давай.

— Ша-агом арш! — тотчас крикнул Назаров.

Колонна качнулась и двинулась.

* * *

Василий в этот вечер не выронил камня и не видел, не слышал, чтобы кто-нибудь другой выронил, он брел где-то в середине колонны, не чувствуя почему-то на плече тяжести. Да и вообще не чувствовал плеча, всей левой половины тела. Придя к бараку, он не имел сил аккуратно положить груз к стене, камень с грохотом упал на землю. Но, к счастью, Айзеля поблизости не было, а стоявший рядом заключенный чех сказал Назарову по-русски с сильным акцентом:

— Ваш друг очень плох. Завтрашний день он не выдержит.

— Молчать! — прикрикнул негромко Назаров.— Все вы здесь друзья!

— Но завтрашний день будет для него последним! — не унимался чех.— Это же очевидно.

— Не ваше дело! Быстро помыть котелки.

Василий, слушая это, только усмехался. Он стоял, прислонившись спиной к стене барака, тер правой рукой бесчувственное левое плечо и с неприкрытой ненавистью глядел на бывшего и вот на теперешнего своего начальника. Тот чувствовал его взгляд, но не оборачивался к Василию, стоял и наблюдал, как заключенные складывают камни. Наконец все же не выдержал, глянул на Кружилина.

— Спасай вас... Живо за котелком! Увидит Айзель, не понимаешь, что ли?

Василий опять усмехнулся, кивнул на чеха:

— А ты не верь ему. Я здоров. И я все выдержу. Запомни, капитан, я — выдержу!

Он говорил тихо, никто его не слышал, кроме Назарова. Лишь новоиспеченный бригадир явственно разобрал все слова, чувствовал всю желчь и всю угрозу, заключенную в них, худые его губы, начавшие уже розоветь, нервно дернулись.

— Выдержишь... Тут будь хоть из железа...— проговорил Назаров еще тише, чем Василий, и, если бы кто услышал его голос, кроме Кружилина, все равно бы не понял, угрожает или в чем-то оправдывается бывший капитан Красной Армии.

— А я еще крепче, чем из железа,— упрямо повторил Василий.— Я хочу жить и выживу. А ты — нет. Ты не выживешь все равно, иуда...

И, не обращая больше внимания на стоящего истуканом Назарова, не видя, как он сжимает судорожно свою плеть, пошел, поплелся в барак.

Никакого недомогания Василий в этот вечер действительно не чувствовал. Он вместе с другими сходил за баландой из брюквы. И когда выпил ее, почувствовал даже сытость. И смертельная усталость будто прошла. На плацу он стоял не шатаясь, только небывало хотелось спать. А когда добрался до нар, сонливость неожиданно исчезла. Едва он закрыл глаза, перед ним возникли вдруг счастливые глаза Лельки Станиславской, его Лельки, с которой он познакомился когда-то в городском парке Перемышля. Когда это было? Давно-давно, может, сто, может, двести лет назад. И все это время она никогда не являлась ему, он не думал о ней, забыл совсем, будто ее и не было на свете. Но ведь она была, она любила его когда-то, и он ее любил, они договорились пожениться, как только он выслужит свой срок и демобилизуется из армии. «Но это долго еще, боже мой, как это долго!» Василий явственно припомнил вдруг, что эти слова она произнесла, лежа в траве, среди полевых белых ромашек. Когда же это было все-таки? Она лежала, и Василий лежал возле нее на спине, смотрел в синее бесконечное небо, где плавали небольшие, редкие облака. И он, Василий, еще подумал: интересно, отражаются они в Лелькиных глазах или нет? Он даже приподнялся и посмотрел ей в глаза. Да, посмотрел...

Весь барак, придя с переклички, сразу погрузился в короткий, тяжкий сон, заключенные храпели, некоторые ворочались, не просыпаясь, в разных углах постанывали, иногда то тот, то другой заключенный дико вскрикивал или что-то испуганно, торопливо бормотал, тоже не просыпаясь. Василий знал, что это людям снятся их сны, такие же кошмарные и тяжкие, как явь. Он подумал: да не снится ли и ему все это про Лельку? Он приподнялся, огляделся. Нет, он не спит. Вон рядом лежит Валька Губарев, ученый человек, здесь превращенный в такую же скотину, как все. Валька открыл глаза, спросил:

— Чего ты?

— Так я, Валь.

— Как себя чувствуешь?
— Хорошо.
— Ты попробуй уснуть. А там поглядим,— сказал Губарев.
На эти его последние слова Василий совсем не обратил внимания, тут же забыл их, потому что снова думал о Лельке, пытался вспомнить: отражались ли тогда в ее глазах белые облака? Но не мог. Зато вспомнил, когда все это было. Было это два года назад с небольшим, весной, в мае сорок первого. В тот день капитан Назаров отпустил его в увольнение на целый день. До обеда они с Лелькой бродили по Перемышлю, она была почему-то задумчива и рассеянна. Потом перекусили в маленькой закусочной, выпили горького кофе, и Лелька захотела в лес. И там, в лесу, где-то недалеко от Сана, на глухой поляне, густо заросшей ромашками, Лелька, ранее строгая и неприступная, вдруг отдалась ему спокойно и просто, спросив только, будто не знала этого раньше: «Ты очень любишь меня?» — «Лелька!» — укоризненно воскликнул он. И тогда она еще сказала: «Я полячка. Ты увидишь, какими верными и добрыми женами бывают полячки. А жить поедем в твою Сибирь. Ладно?» — «Ладно».
После этого она долго еще лежала молча в ромашках, такая же чистая и красивая, как эти бесхитростные цветы. А сейчас — где она? Где?
В глотке у Василия встал какой-то ком, и он начал задыхаться. Хватая ртом воздух, он опять поднялся, скрипнув нарами. Тотчас приподнялся и Губарев, все еще не спавший или разбуженный вскриком.
— Извини,— проговорил Василий, продохнув ком в горле.— Вот... не спится.
Василий лег, стал смотреть в темноту. Губарев протянул во тьме руку, пощупал ему лоб.
— Да ты что? Здоров, говорю.
— Ага,— откликнулся Губарев.
Потом Василий, помолчав, спросил вдруг:
— Валь, а здесь... ромашки растут?
— Какие ромашки?
— Какие? Обыкновенные.
— Вероятно. А впрочем, не знаю. Не знаю, Вася. С чего это вдруг ты?
— Я... Лельку вспомнил. Девушка у меня была.
— А-а,— промолвил Губарев, вздохнул. Минут через пять он опять вздохнул.— Да, точно не могу сказать. Многое я знаю о Тюрингии, вообще о Германии, а вот этого...
— Расскажи,— неожиданно попросил Василий.— Или стихи почитай. Ты давно уже не читал...
— Давно,— промолвил Губарев с горечью.— И сейчас не хочется. И рассказывать... Иногда и не верится, будто шла здесь какая-то иная жизнь, полная высокого благородства и великого смысла. Будто давний сон... или волшебная сказка, слышанная давно-давно...
Валя Губарев был сейчас, как и все они, похож на скелет, обтянутый кожей. Василий познакомился с ним впервые в концлагере Галле, когда вернулся из карцера после третьего неудачного побега. Он вечером притащился в барак полуживой, уткнулся в рваное тряпье и так пролежал всю ночь без движения. Утром Назаров, отказавшийся в этот раз бежать, сказал Василию: «Я говорил — бесполезно», а этот Губарев, появившийся в бараке за время его отсутствия, спавший на соседних нарах, протянул ему небольшой кусок эрзац-хлеба и сказал: «На, поешь».
Затем между Назаровым и Губаревым произошел такой разговор:
— Я, Назаров, приметил — ты в хороших отношениях со старостой блока.
— Не знал, что ты такой наблюдательный,— отозвался Назаров.
— Твой земляк несколько дней не сможет работать. Поговори со старостой... Дневальным, что ли, пусть его назначит на время.
— Не осмелится,— опять сказал Назаров.— Блокфюрер-то понимает — какой он дневальный?
— А ты все ж поговори... Эсэсовец этот тоже вроде не окончательная скотина.
По существующим правилам староста блока, назначаемый из числа старых заключенных, мог в свою очередь назначать себе в помощь нескольких дневаль-

ных, которые не привлекались к работе в командах, имели право оставаться в бараке в рабочее время.

Слушая этот разговор, Василий думал, что поговорить со старостой Назаров не решится, не осмелится. Но капитан все же поговорил, Василий около недели отлеживался в бараке. Это помогло немного окрепнуть и, возможно, вообще спасло ему жизнь. Уже после всего в течение нескольких месяцев Василий еле таскал ноги, шатался, как пьяный, а что могло произойти, если бы сразу после карцера его выгнали на работу? Ведь с такими заключенными разговор короткий.

Сейчас, пока Кружилин размышлял обо всем этом, Губарев сидел и молчал, думал о чем-то. Длинный барак с двумя рядами трехэтажных нар был освещен всего двумя слабенькими лампочками. Василий и Губарев лежали на нижнем этаже, свет сюда почти совсем не доставал, во мраке поблескивали только белки глаз Губарева.

Вздохнув, Валентин заговорил негромко и грустно:

— Веймар, Веймар... Тут сочиняли свою музыку Иоганн Себастьян Бах и Ференц Лист, здесь искали покоя и Шиллер, и Кристоф Мартин Виланд, и Готфрид Гердер... Великие имена. Гёте любил говорить, что здесь, на горе Эттерсберг, чувствуешь себя большим и свободным, чувствуешь себя таким, каким, собственно, нужно быть всегда... Это я почти дословно вспомнил его слова.

— Большим и свободным...— повторил Василий.

— Да. И, словно в насмешку, фашисты построили здесь этот лагерь. В этом святом месте...

Неожиданно Василий вполголоса начал декламировать:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Проговорив это, часто задышал.

— Помнишь, ты читал эти стихи Гёте в переводе Лермонтова? И это он будто в точку... про нас будто. Скоро отдохнем!

Губарев долго молчал. И наконец тоже прерывающимся голосом заговорил:

— Да... А есть еще перевод Валерия Брюсова этого стихотворения. Этот текст перевода считают наиболее близким к подлиннику. Вот:

На всех вершинах —
Покой;
В листве, в долинах
Ни одной
Не дрогнет черты;
Птицы спят в молчании бора.
Подожди только: скоро
Уснешь и ты.

Опять оба долго молчали, не в силах ничего говорить.

— Сохранились рассказы, что Гёте, уже будучи глубоким стариком, через пятьдесят лет, снова побывал на горе Эттерсберг, в том домике, где написал когда-то это стихотворение. И со слезами на глазах он произнес якобы последние его две строчки. Это было за полгода до его смерти...

Губарев умолк на полуслове и лег — скрипнула входная дверь. Василий тоже торопливо натянул на себя лохмотья лагерной шинели, отвернулся к стене, закрыл глаза. В такое время в барак могли войти только эсэсовцы с какой-либо проверкой, обыском или начальство из заключенных. В любом случае надо было лежать, надо было, как положено в это время, спать и лишь по команде вскакивать не мешкая, строиться в проходе барака, а там делать, что прикажут.

На этот раз никакой команды не последовало, только из-за своей загородки вышел староста блока — согнутый крючком старик Климкер, немец, сидевший в Бухенвальде что-то с самого тридцать седьмого года, со времени основания лагеря. Посажен он был сюда, как говорили, за то, что прирезал какую-то свою сожи-

тельницу, богатую старуху, сговорившись предварительно с ее сестрой, тоже старухой и тоже богатой. Это было похоже на правду, потому что Климкер часто получал роскошные передачи, что позволялось людям не просто состоятельным, а богатым.

— Не спите, господин Айзель? — проговорил староста, зевая.— А я, знаете, устал чертовски.

— Не угостишь ли чем, Климкер, нас с Назаровым? — пьяно прогундосил капо.— По стаканчику опрокинем — да тоже спать.

— Кое-что осталось, кажется. Не много...

— А капитану Назарову много не требуется, хе-хе... Он там, в своей паршивой армии... хе-хе... пить не научился. Там не позволяли. А, господин капитан?

— Да, в Красной Армии пить не принято,— донесся голос Назарова.

— Не принято... Ну, здесь ты наверстаешь. Здесь ты научишься.

— Так точно, господин капо,— усмехнулся Назаров.

Василий явственно различил усмешку в его голосе.

— И чем больше будешь пить, тем крепче плеть в руке станешь держать... Пока стесняешься ею пользоваться.

— Так точно...

— Научишься. Это уж закон. А не научишься — отберем...

Переговариваясь так, они скрылись в загородке старосты, захлопнули за собой дощатую дверь.

Говорили они, особенно Айзель, перемешивая русские и немецкие слова, и Василию с Губаревым все было понятно.

— К-капита-ан! — сквозь зубы выдавил Губарев.— А говорил: «Из-за вас же решил унизительную должность принять». Покажет он еще нам...

Василий на это никак не отозвался.

Скользкая деревянная стена, лицом к которой лежал Кружилин, пахла плесенью, запах этот давно, кажется всю жизнь, сопровождал Василия, он к нему притерпелся, но сейчас от него мутило, голову распирало изнутри чем-то острым. Да, капитан, думал он. Его капитан, которого он на плечах нес из-под Перемышля, которого выходил еще там, в польском городке Жешуве. Там, в тесной камере номер одиннадцать, их продержали что-то около двух недель. Эти две недели Василий исполнял обязанности старосты камеры, которые заключались лишь в том, что он составил списки узников да следил за честным распределением пищи. Плеть, которую вручил ему унтерштурмфюрер Карл Грюндель, валялась в углу.

За это время капитан Назаров немного оправился, стал вставать и передвигаться с палкой по камере. На правах старосты Василий попросил у Грюнделя разрешения пользоваться Назарову каким-либо костылем, и эсэсовец, находясь в хорошем настроении, сказал:

— О-о, пожалуйста! Я прикажу, чтобы принесли... Приятно даже, что у нас есть офицер Красной Армии с костылем. Это прекрасно. Скоро мы всем переломаем ноги. Немецкая армия успешно продвигается в глубь России, мы покорили уже обширные территории. Пожалуйста...

К сожалению, это было правдой. В камеру поступали новые пленные, рассказывали, что знали, о ходе военных действий. Один лейтенант с простреленной грудью, которого втолкнули на другой день после посещения камеры Грюнделем, обвел всех лихорадочным взглядом, сорвал с головы фуражку, швырнул ее об пол, закричал: «Ничего, братва! Перемышль опять давно наш!» В камере все вскочили, загалдели... Пленный рассказал, что на другой же день после нападения фашистов Перемышль отбили. «И в другие города не пустили немчуру, это же ясно!» Три или четыре дня в камере царило оживление, но где-то в начале июля другой полуживой лейтенант, командир дота, умирая на руках Паровозникова, сообщил, что 29 июня немцы снова взяли Перемышль, 30 июня наши оставили Львов и Броды...

— Львов?! Врешь ты! — воскликнул Василий.

— Тетка на базаре врет! — усмехнулся умирающий лейтенант.— А я... Наш дот был севернее Перемышля, на берегу Сана. Нас они только вчера... сволочи... Обложили дот взрывчаткой и рванули. Иначе мы бы умерли там, а не сдались.

Лейтенант этот скончался, с ненавистью глядя куда-то в пространство.

Разрешая Назарову пользоваться костылем, Грюндель заметил лежащую в углу плеть, кивнул на нее:

— Пользовались?

— Да... что же? Они и так слушаются.

Грюндель нахмурился, о чем-то подумал. И сказал жестко:

— Ну, я посмотрю... Посмотрю, как послушается этот капитан вас.— И немец кивнул на Назарова.— Первый раз он будет чистить вам сапоги, господин староста, лично при мне. Выздоравливайте, капитан.

Но больше Грюндель, этот эсэсовец с безукоризненным русским выговором, в камере не появлялся. Вместо него явился однажды грузный человек в маленьких очках, черной форме и широченной повязкой на рукаве, где была изображена большая свастика.

— Кто это составлял? — негромко спросил он через переводчика и затряс какими-то листками. Василий сразу узнал свои списки.

— Я, господин...

— А кто вы?

— Я... Мне приказали... Я назначен старостой камеры.

— А что значит эти буквы после фамилии и воинских званий заключенных? Вот: «б. п., б. п.»

— Это значит — беспартийный.

Так посоветовал сделать Паровозников. Да и сам Василий ясно помнил кровавые события в лагере под Перемышлем, когда Грюндель потребовал в первую очередь выйти из строя «комиссарам и коммунистам».

— Превосходно,— протянул человек с повязкой, снял перчатки и несколько раз хлестанул ими Василия по лицу. Удары были не больные, вроде бы шутейные. Лишь стекла его маленьких очков зловеще блеснули.

На другой день из камеры куда-то увели группу командиров. Пригнали их обратно через несколько часов, избитых, окровавленных. Герки Кузнецова среди них не было.

— Он... он плюнул этому гестаповцу в лицо. Ему тут же размозжили прикладом голову,— сообщил некоторое время спустя майор Паровозников. И, помолчав, добавил: — Этого делать не следует, если тебя вызовут.

— Я ничего им не скажу, Никита Гаврилович. Да я и не знаю, кто из вас коммунист, а кто нет. И знал бы... Лучше пусть убьют. Поверьте! — торопливо прошептал Василий.

— Да я верю,— просто сказал майор.— Верю, Вася.

Но вызывать на допросы больше никого не стали. Еще через день их всех подняли пинками чуть свет — какой-то немецкий офицер при этом наступил на валяющуюся на полу плеть, отшвырнул ее ногой в сторону (с тем и кончились обязанности старосты Василия),— вывели из камеры и куда-то погнали. Как потом оказалось, на вокзал, где сразу же плетьми и прикладами заставили войти в глухие, но чистые, новые вагоны, еще пахнущие краской. Это были самые лучшие вагоны, в каких за последние два года перевозили Василия. Целый день их куда-то везли, вагон то останавливался, то снова трогался. Пищи никакой не давали. Привезли их в Краков, загнали в кирпичное здание с большими и толстыми железными воротами, где держали еще полмесяца. Василий чувствовал себя в общем крепко, частенько отдавал Назарову то свою порцию хлеба, объясняя, что у него от предыдущего дня осталось, то миску щей. Да и кормили в Кракове прилично, иногда давали даже кусок колбасы или сыра. Назаров совсем поправился, бросил палку.

— Ну, спасибо, Кружилин, тебе за все,— сказал он.— Останемся живы — никогда не забуду.

— Чего там, товарищ капитан...— Василий даже смутился.— Бежать надо, товарищ капитан. Краков не так уж далеко от нашей границы. А то еще куда переведут...

— Да. Непременно,— твердо сказал тот.— Осмотримся вот. Без меня ничего не предпринимай.

— Слушаюсь, товарищ капитан! — И нетерпеливо добавил: — Хорошо бы группой. Вы, я, Никита Гаврилович. Еще с кем-то поговорить... Многие согласятся.

— Предоставь мне это, говорю. Здесь, кажется, тюрьма. Из-за каменных стен не очень-то убежишь. Но, может быть, на работы какие-нибудь водить станут...

Назаров и Василий еще не знали, что их ждет, и, несмотря на все пережитое уже, и отдаленно не представляли себе режима немецких концлагерей, но догадывались — уж чем-чем, а работой их не обделят.

Но в Кракове так и просидели полмесяца в каменном сарае, даже на прогулку их ни разу не выводили.

— Курорт,— усмехнулся Василий.— Я даже поправился вроде.

— Погоди... Не покажется ли когда-нибудь Краков и в самом деле курортом? — проговорил Паровозников.

Он как в воду глядел. На следующий день с утра за стенами кирпичного здания началась какая-то суета, крики, послышался рев автомобильных моторов. Спустя некоторое время распахнулись железные ворота, перед ними стояли наготове три или четыре длинных зеленых автофургона с раскрытыми уже задними дверями, от фургонов к воротам тянулись шеренги немецких автоматчиков, образуя несколько узких коридоров. В здание вбежали эсэсовцы и, ничего не объясняя, прикладами погнали заключенных наружу, а там по этим живым коридорам — в машины.

Когда распахнулись ворота и вбежали эсэсовцы, Паровозников, поднимаясь с цементного пола, застланного соломой, проговорил:

— Кажется, кончился курорт...

Это было последнее, что услышал Василий от Паровозникова. Оказавшийся рядом немец что-то закричал, ударил его прикладом в плечо. И больше Василий майора не слышал и не видел до самой встречи уже здесь, в Бухенвальде. И Назаров тоже.

В тот раз, когда немец ударом приклада толкнул Паровозникова, Назаров торопливо проговорил:

— Что бы ни случилось, Кружилин, будем вместе. Надо быть вместе! Не бросай меня.

— Да вы что, товарищ капитан! — обиделся даже Василий.

Выбежали они из здания плечо в плечо, в давке Василий отталкивал кого-то, чтобы не отстать от капитана, в фургон заскочил первым, подал руку Назарову, помог ему взобраться...

Они все еще были в армейских гимнастерках, превратившихся в грязные лохмотья. И только в Ченстохове, куда их привезли в первых числах августа, обрядили в полосатые куртки и брюки. Сапоги, правда, оставили, но обрезали голенища.

Все это произошло в дощатой, осклизлой бане, где их предварительно остригли наголо. На куртках и брюках были пришиты белые полоски с номерами. Назаров и Кружилин в очереди за лагерным одеянием стояли друг за другом. Назарову достался номер 3980, Василию — 3981. Немец, выдававший одежду, на ломаном русском языке спрашивал фамилию и воинское звание, записывал все это в толстую книгу, напротив жирно проставлял номера, обозначенные на выданной одежде.

Когда дошла очередь до Василия, он назвал свое воинское звание — рядовой. Немец, щупленький, высохший, по виду из низших чинов (поверх обмундирования на нем был белый халат), приподнял голову, пошевелил короткими желтыми усами.

— Мы, немцы, не любим ложь. Мы любим точность. Нехорошо. Все вы есть офицеры...

— А я рядовой. Солдат,— упрямо сказал Василий.

Вдоль шеренги голых людей, стоявших в очереди за одеждой, молча прогуливался какой-то офицер. В заложенных назад руках у него болталась плеть. Услышав разговор, он шагнул к стойке, где шла раздача одежды, спросил резко:

— Was sagt er? Was ist los? [1]

Немец в халате вскочил, вытянулся.

---

[1] Что он говорит? В чем дело?

— Er sagt, er sei ein Soldat [1].

Плеть дважды свистнула, Василий не успел даже вскрикнуть. Он лишь дважды вздрогнул, схватился невольно за плечо и повернулся к офицеру. Тот, складывая вдвое плеть, проговорил, зло оглядывая Василия:

— Verlogene Sau! Tragen Sie ein, er ist Leutnant [2].

Так Василий был сразу произведен в командиры Красной Армии.

...Сон не брал Кружилина, он повернулся на жестких нарах, поглядел в дальний конец барака. Щели дощатой перегородки Климкера светились, оттуда шел приглушенный говор, но слов разобрать было нельзя.

Переворачиваясь, Василий ощутил горячую, саднящую боль в груди, будто там что-то оторвалось и кровоточит. Еще он почувствовал, что голова его стала неимоверно тяжелой, как тот камень, который он сегодня нес. «Ничего... Уснуть, правда, надо, а то к утру не пройдет, и проклятый Айзель, если к утру перепьется окончательно...»

По телу Василия прошел озноб, едва он представил, что произойдет, если он не сможет подняться, а капо Айзель утром будет пьяный. Такое бывало не раз, Айзель плетью поднимал больного, заставляя ползти его в каменоломню, на работу, до тех пор, пока не захлестывал на этом страшном пути насмерть. Сколько же он, Василий, испытал и перенес таких ударов... Жутко подумать. И Назаров испытал. Но теперь Назарова не бьют, теперь у него у самого в руках плеть, теперь он сам бьет. Водку теперь пьет с Айзелем. Как же это так все произошло? Или там, в Ченстохове, когда их обрядили в эти полосатые одежды, был другой человек?

— Ну вот... ну вот, теперь мы, Вася, окончательно... Не люди мы больше! — проговорил Назаров, когда они, выйдя там из бани, оглядели друг друга.

Непривычно и невесело было смотреть друг на друга. У Василия к тому же под полосатой одеждой на плече и груди огнем горели кроваво-синие рубцы, набухая, казалось, все больше,— офицер тот ударил всего дважды, но профессионально.

— Бежать, бежать, товарищ капитан! — прошептал Василий.

— Да, Вася, ты прав, прав. Они могут нас черт знает куда отправить. А это пока Польша. Не так далеко Краков, а там Жешув. Это уже почти граница. А там совсем рядом Перемышль, Янов, Яворов. Места знакомые...

Побег они совершили где-то в двадцатых числах августа, когда их стали водить на станцию разгружать вагоны с углем. Черные от угольной пыли, они вскочили на платформу, груженную какими-то ящиками. Им удалось вскочить незаметно, когда состав двинулся.

— Только бы выбраться из города, Вася,— шептал Назаров.— Где-нибудь в лесу надо на ходу спрыгнуть. Будем пробираться в сторону Вислы, может, у кого одежду крестьянскую выпросим, продуктов. Поляки добрые люди.

— Добрые. Вот Лелька мне говорила... Обязательно встретим таких, товарищ капитан.

До Вислы они не добрались и добрых людей не встретили. Встретили, случайно наткнулись они в лесу на двух людей — мужчину и женщину. Они лежали в траве, как он, Василий, когда-то с Лелькой. Женщина увидела их первой, испуганно вскрикнула, мужчина, как потом оказалось, польский полицай, тотчас вскочил, что-то заорал, выстрелил... Потом он, стреляя, гнался за ними до тех пор, пока не выгнал на чистую поляну. А с противоположного конца на поляну высыпала дюжина немцев с собаками...

И вот здесь, на этой же поляне, Василий и Назаров впервые узнали, как могут бить немцы. Все, что случалось до этого — зуботычины, удары плетьми и прикладами,— казалось дружескими шутками.

Когда они потеряли сознание, их забросили, как мешки с углем, в кузов грузовика и привезли обратно в Ченстохов.

К счастью, им не поломали ни рук, ни ног, недели через две они немного оправились, и тот же Назаров сказал: «Ладно, сволочи... Еще посмотрим. Еще сентябрь, и пока не наступила зима, Вася...»

---

[1] Он говорит, что он солдат.

[2] Лживая свинья! Запиши — он лейтенант.

Он звал его тогда еще Васей... Но из Ченстохова им совершить второй побег не удалось: неожиданно большую партию заключенных, в том числе их с Назаровым, погрузили в машины и привезли в Ламсдорф.

— А ведь это уже Германия, Василий,— невесело сказал Назаров, когда стало известным их местонахождение.— Ничего, поглядим. Рядом, кажется, Чехословакия.

— А какая нам разница?

— Ну, какая... Чехи все-таки не немцы.

Из Ламсдорфа они ушли в конце сентября. Их каждый день водили на рытье каких-то траншей и укладку труб, туда же привозили обед. Обедали в загородке из колючей проволоки. В дальнем конце загородки было отхожее место — дощатая будка. Вечером угоняли в лагерь.

Небо в те дни хмурилось, хотя дождей еще не было, деревья стояли желтыми. Ненастье наступило, а с прокладкой труб, видимо, запаздывали, и заключенных решили на ночь в лагерь не отправлять, так как переходы отнимали порядочное время. Загородку заставили устелить хворостом, и спальня была готова. На ночь всем выдавали по тяжелому жирному одеялу. За проволокой всю ночь ходили охранники, но без собак.

Лучшей возможности для побега ожидать было нечего. Рассовав по карманам сэкономленные куски засохшего хлеба, они однажды ночью поодиночке отправились в туалет. Василий еще несколько дней назад приметил в задней стенке будки плохо прибитую доску и теперь, когда подошел Назаров, легко сорвал ее с гвоздя и отодвинул в сторону. Колючая проволока шла от будки метрах в пяти, это пространство заросло высоким бурьяном. Выскользнув по одному из туалета, они полежали в засохшей уже траве, наблюдая за маячившими во мраке двумя охранниками. Они стояли неподалеку от будки, курили, о чем-то переговариваясь. Но Василий и Назаров знали — сейчас уйдут. Вокруг отхожего места стояла непродыхаемая вонь, немцы долго тут задерживаться не любили. И действительно, через минуту они медленно разошлись в разные стороны. Кружилин пополз вперед, припасенным заранее куском железа стал торопливо рыть землю под нижней проволокой, которая к тому же и натянута была наспех, не очень туго. К счастью, и земля была мягкой.

Да, все складывалось как нельзя удачно, они легко выбрались наружу, никто их не заметил, две ночи они пробирались вдоль какой-то речушки, затем негустым лесом, полем. Днем лежали где-нибудь в зарослях, отсыпались. Назаров считал, что они уже в Чехословакии.

— А граница? — спросил Василий.— Мы ее уже прошли? Ведь должна быть граница.

— Да какая у них тут сейчас граница,— сказал Назаров.— И в Германии немцы, и в Чехословакии немцы. Все германское.

За это время они съели весь хлеб, обоих страшно мучил голод. К тому же надо было как-то узнать, где все-таки они, куда идут. «Не может быть, чтобы мы не встретили здесь порядочного человека. Не может, Вася!» — убежденно говорил Максим Назаров. Ввалившиеся глаза его при этом лихорадочно блестели.

До этого они далеко обходили села и деревушки, а людей ночами не встречали. Теперь решили днем залечь где-нибудь возле дороги и, когда будет мимо проходить или проезжать кто-то из «подходящих» местных жителей, обратиться к нему за помощью.

Такого «подходящего» они сквозь кустарник увидели буквально через полчаса, как залегли у дороги. Было еще сумрачно, утро только-только пробивалось сквозь плотные, тяжелые тучи, завалившие небо. Где-то за поворотом дороги раздался стук колес по мягкой дороге, показалась двуколка, запряженная коротконогим конем, в повозке сидел человек в старой, помятой шляпе, в пестром пледе, накинутом на плечи. Человек был давно не брит, седая щетина на дряблых, обвислых щеках топорщилась во все стороны, во рту у него торчала потухшая, кажется, трубка.

— Местный крестьянин,— сказал Назаров и ткнул Кружилина в бок.— Давай, Вася.

Назаров остался лежать в кустах, а Василий вышел на дорогу. Увидев его, человек в повозке уронил изо рта трубку, поймал ее, привстал было, словно

хотел выскочить из повозки, но передумал, опустился, натянул вожжи. Только покрепче взял в руки кнут, явно показывая, что у него имеется этот предмет.

— Здравствуй, отец. Ты не бойся,— сказал Василий, останавливаясь метрах в трех от повозки и всем своим видом показывая, что нападать не собирается.

— Ich verstehe nicht,— проговорил старик и тут же закивал головой.— Guten Morgen! Guten Morgen! [1]

— Вы немец, а не чех разве? — упавшим голосом спросил Василий.— Где мы находимся?

— Ich verstehe nicht,— повторил старик.

Из зарослей вышел Назаров. Старик в повозке покосился на него, но теперь не испугался или пытался показать, что не испугался — маленькие, тусклые уже от времени глаза его все же подрагивали.

— Ist das die Tschechoslowakei? [2]

— Nein, Deutschland. Deutschland,— повторил он, показывая кнутом вправо.— Da ist Breslau.— Затем повернулся в противоположную сторону: — Da ist Prag [3].

Все было ясно — они спутали направление и шли совсем в противоположную сторону. И Василий, и Назаров несколько секунд стояли, растерянные.

Старик немец поглядел по сторонам, потом спросил:

— Seid ihr russische Kriegsgefangene? [4]

— Да, мы русские,— ответил Василий.— Не дашь ли чего поесть, отец? Эссен?

— Ja, ja,— кивнул старик, торопливо стал развязывать какую-то корзину. Он вынул оттуда большую квадратную буханку настоящего хлеба, протянул.

Василий шагнул к повозке, взял. Руки у него при этом затряслись, от голодных спазм в желудке возникла резь, а в глазах неизвестно от чего навернулись слезы. Немец заметил их, нахмурился, опять полез в корзину, вынул оттуда небольшой кусок сыра и луковицы.

— Nehmen Sie. Ich habe sonst nichts [5].

— Спасибо. Данке,— сказал Василий.

— Ja, ja... Auf Wiedersehen [6],— торопливо проговорил старик, дернул вожжами.

Назаров и Василий, оба в грязных лагерных шинелях, из-под которых выглядывали полосатые брюки, стояли на дороге, провожали глазами двуколку. Немец остановил вдруг лошадей, пошарил на дне повозки, выбросил что-то на дорогу и взмахнул плетью.

Это оказались крестьянские залатанные штаны. Подобрав, Назаров медленно натянул их поверх лагерных, торопливо проговорил:

— Я говорил — встретим добрых людей. И еще встретим, переоденемся потихоньку. Давай немножко поедим.

— Черт его знает, что за старик,— сказал Василий.— А если он сейчас солдат сюда приведет?

— Не-ет. Зачем бы тогда штаны кинул? Нет...

Они присели у какого-то ручья, той же железкой, которой рыли подкоп под проволокой, отрезали по кусочку хлеба и сыра, поели.

— Ну что ж, Василий. Бреславль, Бреславль... В ту сторону теперь и пойдем, опять к Польше. От Бреславля Польша уже недалеко... Чует мое сердце — выберемся.

На всякий случай они все же отошли от ручья и от дороги на порядочное расстояние, в глухом каком-то овраге легли спать. И, уже лежа, Максим Назаров проговорил вдруг:

---

[1] Не понимаю. Доброе утро! Доброе утро!
[2] Это Чехословакия?
[3] Нет, Германия. Германия. Там Бреславль. Там Прага.
[4] Вы русские военнопленные?
[5] Возьмите. Больше ничего нет.
[6] Да, да... До свидания.

— Ты знаешь, Вася, если нас... будут ловить, я живьем не дамся. Под пулю лучше. Я не могу переносить побоев, не могу...

И вот тогда-то впервые шевельнулась у Василия неприязнь к Назарову. Точнее — какое-то беспокойство и досада. Но он ничего не сказал ему тогда, подумал лишь, что в штанах, которые бросил им на дорогу старик немец, Назарову теперь теплее, и это хорошо, как-никак он недавно лишь оправился от ранения и, конечно, намного слабее сейчас его, Василия.

...За загородкой Климкера послышались громкие пьяные голоса, грохот падающего стула. Потом Василий увидел, что дверь загородки распахнулась, оттуда вышел сперва Айзель, затем Назаров. Выйдя, Назаров не удержался на ногах, его мотнуло к Айзелю, тот чертыхнулся, толкнул Назарова от себя прочь, к вышедшему из загородки Климкеру. Староста блока подхватил его, иначе Назаров грохнулся бы на пол.

Айзель захохотал.

— Слаб ты еще, как эти... ангелы.— Айзель хлестнул плетью по ближайшим нарам, но никого, кажется, не задел, во всяком случае, никто не проснулся.— А тебе сила нужна. Ешь больше.

— Спасибо, господин... господа,— пьяно промямлил Назаров.

Все втроем ушли из блока, оставив дверь в загородку старосты открытой. Но Климкер тут же вернулся, захлопнул за собой дверь, потушил в каморке свет.

Да, продолжал думать Василий, капитан Назаров тогда сказал правду — побоев он боялся, переносить их не мог. Через несколько дней, а вернее сказать — ночей они подошли к железнодорожной насыпи. И едва намерились перейти ее, как раздалось зловещее: «Хальт!» Возле насыпи был, оказывается, скрытый пост, который они не заметили.

Били их жестоко там, возле насыпи, били по дороге, били в каком-то лагере, где собирали пойманных беглецов. Едва теряли сознание — обливали водой и снова били.

Когда и Василий, и Назаров готовы были отдать богу душу, их отправили снова в Ламсдорф.

С этого-то момента и начал Назаров меняться. В лагере их снова били за побег, они отсидели по месяцу в карцере, но и это все вынесли, раны от плетей стали потихоньку зарастать, синяки и кровоподтеки рассасываться. Но капитан Назаров делался все более молчаливым, угрюмым, начал уединяться. Зимой сорок первого — сорок второго они строили из кирпича какие-то воинские казармы, Назаров старался работать где-нибудь в одиночку и почему-то на виду у немцев.

Когда его, Василия, в Ламсдорфе изодрали собаки, Назаров ничего не сказал, единого слова не проронил даже, лишь на глазах выступили слезы. Василий думал, что это слезы сочувствия, долго так думал. А после, уже тут, в Бухенвальде, понял — нет, эти слезы выступили у него тогда просто от страха перед той болью, которую снова мог ведь испытать и он. И этот же страх, когда их перевели в следующий лагерь в Галле, заставил его отказаться от нового побега. «Мы в самом центре Германии. Разве выберешься... Если хочешь, иди один. Но не советую...» Такое что-то он говорил, отворачивая глаза. Мучили его, видно, еще остатки совести.

Да, с тех пор, после избиений в Ламсдорфе, он начал меняться, с грустью думал Василий, ожидая почему-то, что Климкер сейчас проснется, зажжет свет у себя, снова засветятся ненавистные щели его каморки. Эти светящиеся щели в последнее время раздражали его. «Хотя... почему с тех пор? — больно стукнуло вдруг в голову Василия.— Не с тех, раньше! «Если нас... будут ловить, я живьем не дамся. Под пулю лучше!» Но ведь ничего такого не сделал, чтоб под пулю. Едва это раздалось: «Хальт!» — торопливо вскинул руки. И даже намного раньше признания, что не может переносить побоев! Это признание вырваться ни с того ни с сего, так вот неожиданно не могло. Намного раньше!»

Василия вдруг затошнило. Так затошнило, что сознание помутилось, и последнее, что мелькнуло в мозгу,— сейчас вырвет, вывернет всего наружу, наизнанку. И это смерть, конец, завтра утром его труп за ноги поволокут из барака по проходу, мимо будки Климкера, где только что пьянствовал Назаров...

* * *

Очнулся Василий в какой-то небольшой комнате, где стояло еще несколько железных кроватей, но пустых. В небольшое окно лился желтый свет,— значит, был уже день. Потом почувствовал, что пахнет карболкой,— значит, он находился в больничном бараке.

Голова была наполнена сплошной болью, в нее словно кто-то колотил методично деревянными молотками. И опять подташнивало.

Василий прикрыл глаза и, равнодушный уже ко всему, старался забыться.

Неизвестно, сколько он так лежал. Открыл глаза, когда скрипнула дверь.

Вошел Никита Гаврилович Паровозников, майор медицинской службы Красной Армии, с которым Василий встретился впервые в камере номер одиннадцать в Жешуве, разъединился в Кракове и снова встретился здесь, в Бухенвальде, в день прибытия и с тех пор не видел.

— Ну, здравствуй, Вася Кружилин,— сказал Паровозников. На нем был серовато-белый халат, в котором работали все врачи-заключенные.

— Здравствуйте! — Он попытался приподняться.

— Лежи, лежи... Как себя чувствуешь?

— Ничего. В голову сильно бьет. Больно.

— Понятно, что больно.

Паровозников открыл жестяную коробку, вынул оттуда шприц.

— Давай руку.

— Как я здесь оказался?

— Губарев с одним товарищем тебя принесли. Ночью.

— А-а, Валя... Но заключенных штрафной роты запрещено лечить.

— Запрещено. Ничего.

— Вас же... В лучшем случае вас на козле выпорют. А Вальку, если узнают...

— Ничего,— опять сказал Паровозников.— Тебе нельзя говорить. Лежи спокойно. Поесть скоро принесут. Боли в голове должны пройти.

Сделав укол, Паровозников ушел. То ли от укола, то ли просто от добрых слов Паровозникова Василию стало легче, и он вспомнил, как он впервые встретился с ним здесь. Это был ужасный день, когда их выгрузили на станции Веймар и погнали сюда, в Бухенвальд. Теперь заключенных привозят сюда в вагонах, но в апреле железнодорожная ветка Веймар — Бухенвальд только строилась, движение открылось в конце июня. Их гнали долго, потом колонна долго стояла перед воротами, на которых были написаны странные слова, поразившие Василия: «Oder es recht oder nicht — es ist mein Vaterland» [1]. Теперь он знает, что с противоположной стороны ворот начертаны другие слова из таких же черных железных букв: «Jedem das Seine» [2],— слова наглые, циничные, издевательские... Еще издали Василий увидел трубу крематория и подумал, что, если их, пропустив через ворота, погонят направо, к трубе, это могут быть их последние шаги по земле. Направо их и погнали. «Кажись, все, Вася!» — хрипло прокричал даже Губарев.

Но это, к счастью или несчастью — кто знает! — было не все. На полдороге к крематорию их повернули налево, загнали в колючий проволочный загон перед каким-то дощатым зданием.

Пока они бежали по лагерю, эсэсовцы, выстроившиеся редкой цепочкой вдоль всего пути, хлестали их дубинками и прикладами. Чтобы избежать ударов, каждый старался забиться в середину колонны. Некоторые, обессилев или споткнувшись, падали. Бегущие сзади топтали их. Этих отставших, затоптанных самими заключенными, в кровь исхлестанных потом эсэсовцами втаскивали в загон, ставили в колонны, снова раздавая удары и зуботычины.

А потом все стояли безмолвно в течение, наверное, двух или трех часов под начавшимся опять дождем.

— Stehen bleiben! — рявкнул какой-то эсэсовец в чине оберштурмфюрера.— Ausweiskontrolle! Es dauert nicht lange [3].

---

[1] Право оно или нет — это мое отечество.

[2] Каждому свое.

[3] Стоять смирно! Идет проверка ваших документов! Это быстро.

И они стояли на отекших, до костей истертых деревянными башмаками ногах, промокшие и промерзшие насквозь. Капитан Назаров как уставился в землю потухшими глазами, так и не отрывал их, пока из скрипучих дверей здания не вышел тот же обер-лейтенант с каким-то заключенным в полосатой одежде. На левой стороне его куртки, там, где сердце, был пришит зеленый треугольник, а в руках плеть.

В ту минуту ни Василий, ни кто-либо другой не удивились, что какой-то заключенный идет рядом с эсэсовским офицером. Раз в руках плеть, значит, староста или капо. В ту минуту они просто не знали, что это и есть зловещий Айзель, одно имя которого приводило всех в ужас.

Эсэсовец прошелся не спеша вдоль колонны, остановился и заговорил по-русски негромко:

— Вы прибыли в Бухенвальд. Это не санаторий, и это до вас, я надеюсь, дошло. А кто не понял, тому здесь это попытаются втолковать. Здесь каждый получит свое. Это трудовой лагерь. С помощью труда мы сделаем из вас высококвалифицированных рабочих, а кто не захочет или не сможет приобрести трудовые навыки, тот подохнет. Только не думайте, что подохнуть здесь так легко и просто...

Василий все это выслушал привычно. Впервые он услышал такие примерно слова еще в Жешуве, от Грюнделя. А потом слышал, как и все другие заключенные, в каждом лагере.

— Сейчас вас постригут, вы помоетесь в бане, пройдете дезинфекцию, получите новую, бухенвальдскую форму, и вас распределят по рабочим командам...

— Вася... товарищ капитан, давайте как-нибудь вместе, если удастся,— прошептал Губарев.— В одну команду. Я даже попрошу их...

Вспомнив это, Василий усмехнулся. Славный и благородный Валька! Он действительно попросил. Но если бы он знал в тот час, куда напросился! Как же это было? Сперва им приказали тут же, под дождем, донага раздеться. И в лагерной-то одежде на заключенных, наверное, страшно было смотреть со стороны — сами-то они к этому привыкли. А если теперь кто глянул бы, упал бы в обморок: в загоне стояли скелеты, чуть-чуть обтянутые синей от холода кожей. Мертвецы, толпой поднявшиеся из могил.

Он, Василий, и Назаров, скованные цепью, раздеться не могли, оба медлили, не зная, как им поступить.

Первым их в толпе раздетых людей заметил тот заключенный с зеленым треугольником на груди, подошел, плетью поднял подбородок Василия, затем Назарова, говоря при этом на ломаном русском языке:

— Как я рад... не представляете. Вас первых зачисляю в мою команду. У меня хорошо, очень хорошо. Не пожалеете.

И тут Назаров, впервые оторвав взгляд от земли, неожиданно произнес:

— И вы не пожалеете, господин...

— О-о! — воскликнул человек с зеленым треугольником.— Айзель моя фамилия. А ваша?

— Назаров, господин Айзель. Бывший капитан Красной Армии. Мы будем стараться.

Василий слушал — и не верил, что это говорит Назаров. Капитан... бывший, как он сказал, капитан Максим Панкратьевич Назаров, его земляк. Не верил, кажется, и Губарев. Уже раздетый, он стоял и ошалело глядел на Назарова, держа еще в руках свою одежду.

— Что рот раскрыл? — стеганул его ледяным голосом Айзель.— Фамилия? Воинское звание?

— Губарев. Старший лейтенант... Если возможно, я хотел бы... тоже в вашу команду.

— Похвально,— усмехнулся Айзель.— Это возможно, здесь все возможно.— И повернулся к Василию: — Ты кто?

— Лейтенант Кружилин,— ответил Василий. Так он значился теперь во всех арестантских документах.

— Бывший лейтенант.

— Почему же? — упрямо проговорил Василий, хотя понимал, что делать этого не следует.— Самый настоящий.

Айзель выслушал это, качнул квадратной головой.

— Люблю непокорных. Сколько побегов?

— Три,— сказал Василий. Скрывать было нечего, все значилось в документах.

— У тебя? — спросил Айзель у Назарова.

— Два. Но больше этого не будет. Я понял... что это безрассудно.

Однако Айзель, не слушая его, ткнул плетью в Губарева:

— А у тебя, старший лейтенант?

— Ни одного.

Дождь все накрапывал, мочил голых людей. Часть заключенных наконец-то увели куда-то через широкие дощатые двери в торце здания. Остальные, чтобы хоть немножко согреться, сбились в кучу, терлись друг о друга, и Василию казалось, что он слышит, как гремят их кости.

Айзель еще раз осмотрел всех троих, усмехнулся черным, тоже каким-то квадратным ртом и сказал Валентину непонятные слова:

— Одну возможность для побега я тебе здесь устрою.

Затем Айзель отвел Назарова и Василия в угол загородки, где с них сняли цепи. Стоя в очереди перед широкими дверями, ведущими, кажется, в баню, стараясь не прикасаться к голому и холодному телу Назарова, Василий сказал, впервые назвав Назарова на «ты»:

— Зря я тебя спас там... под Перемышлем. И в Жешуве.

Назаров сильнее задышал при этих словах, выдавил из себя с хрипотой:

— За это я в расчете с тобой. В Галле, после побега твоего, вспомни, как дело было...

Говорил Назаров, не поднимая взгляда. Вздохнул и добавил:

— Я слабовольным оказался. Нет больше сил. Хотя я подлец и знаю, что это мне не поможет...

— Да, не поможет! Не поможет! — воскликнул Василий и закашлялся.

Валентин стоял уныло рядом, ничего не говорил.

Скоро передние двинулись, они все трое зашли в баню. Вернее, это был предбанник. Здесь в кучах грязных, состриженных с голов заключенных волос стояло несколько табуретов, парикмахеры в засаленных черных халатах орудовали скрипучими машинками. Они ловко состригали лохмы волос с правой части головы, потом с левой, а в середине оставляли хохолок, который аккуратно подравнивали ножницами.

Василий встал с табурета, глянул на остриженных таким же образом Назарова, Губарева. И беззвучно заплакал. Губарев понял эти слезы, тихо сказал:

— Черт с ними, Вася... Не это же самое страшное.

И все-таки в бане, с наслаждением плескаясь из жестяного таза горячей водой, Василий не мог смотреть на людей с хохолками, от ненависти и обиды в горле стоял комок. И он сказал здесь же Губареву:

— Да, не это... Но где же предел унижения человека?

От Губарева, как от него самого, как от всех, резко пахло креозотом. Во многих лагерях заключенные по прибытии проходили дезинфекцию, все части тела, где росли волосы, смазывались от вшей этим креозотом или какой-то другой вонючей жидкостью. А здесь перед тем, как пустить в баню, их завели в помещение, где был небольшой бассейн с черной жижей. Четверо каких-то людей в мокрых подштанниках дико орали, угрожая плетьми: «Шнель, шнель! Дезинфекция! С головой, только не глотать!»— и загоняли людей в бассейн. Тех, кто окунуться в него не решался, безжалостно сталкивали силой. Столкнули и Василия, он от растерянности как-то глотнул, даже не глотнул, а просто набрал в рот этой жижи, там все взялось огнем, огонь ударил в голову, ноги будто сломались, он снова стал погружаться на дно. Губарев толкнул его из этой страшной ванны, помог выбраться, привел сюда, в баню.

Но и здесь такие же люди в мокрых подштанниках орали: «Шнель, шнель... к врачу! Медицинский осмотр». На мытье после дезинфекции отпускалось не больше пятнадцати минут.

Медосмотр происходил в соседнем, тоже сколоченном из досок здании. Голые люди, сразу по нескольку человек, заходили в большую комнату, где врачи или санитары задавали узникам три-четыре вопроса, иногда щупали пульс и прикла-

дывали стетоскоп к груди, что-то помечали в бумажках и отправляли прочь, в другую дверь.

— Бывший лагерный номер? Фамилия? — спросил у Василия человек в халате, отдаленно напоминающем больничный, и приготовился записывать. При первом же звуке голоса Василий вздрогнул, узнав его.— На что жалуетесь?

— Никита Гаврилович...

Человек в халате спокойно поднял лицо.

— Погодите... Боже мой! Кажется, Василий Кружилин?

— Я,— сказал Василий, довольный, что даже в таком виде майор-медик Никита Гаврилович Паровозников узнал его.

Он, Паровозников, тоже был худ, глаза ввалившиеся, усталые. Как и все заключенные, он был острижен под машинку, и посередине головы у него, наверное, топорщился такой же хохолок, но его скрывала серовато-грязная шапочка.

— Вы, значит, теперь здесь, Никита Гаврилович?

— Тихо! — Паровозников покосился на сидящего в углу за огромным столом немца в белоснежном халате, из-под которого виден был мундир. В комнате стоял говор, шлепали по дощатому полу голыми ногами заключенные.— Давай я тебя послушаю. Немецкому врачу ни к чему знать, что мы знакомы...

Он взял стетоскоп, принялся выслушивать Василия.

— Ваш транспорт из Галле... Есть ли кто в этом транспорте из наших... знакомых? Говори тихо.

— Никого... Только мы двое. Я да Назаров, капитан, помните?

— Как же.

— И Валя Губарев с нами, хороший человек. Вон у того долговязого врача стоит.

Но Паровозников даже не посмотрел в ту сторону, куда кивнул Василий. Лишь сказал:

— Привет от меня передавай капитану Назарову.

Василий хотел сказать, что капитан Назаров дерьмом человечьим оказался, но вместо этого спросил:

— Почему... стригут здесь так, Никита Гаврилович?

— Такая мода в Бухенвальде. Ничего, привыкнешь. Здесь еще не то увидишь.

— Да я навидался.

Осматривая его глубокие рубцы на спине, на плечах, на ягодицах, Паровозников лишь пошевеливал бровями.

— Это чувствуется...

Немец в халате встал из-за своего стола, поскрипывая до блеска начищенными сапогами, прошел в дальний угол комнаты.

— Не трясись, идиот! — прикрикнул Паровозников, когда немец проходил мимо.— Прости... Бегал, значит?

— Трижды. Все неудачно. И отсюда... вот отлежусь.

— Не советую...

— Ну, это мое дело.

Они говорили полушепотом, быстро, отрывисто. Весь этот разговор занял у них не более двух минут.

Немец, скрипя сапогами, опять прошел мимо, дошел до своего стола, повернул назад. Он просто разминал, видимо, ноги. Проходя мимо Паровозникова и Василия, покосился на них, но ничего не сказал.

— Ладно, Василий, об этом мы еще поговорим. Время истекло, на врачебный прием положено три минуты... Я запишу тебе... некоторые болезни, попытаюсь кое с кем поговорить, чтобы вас троих зачислили в одну команду, где полегче. Хотя тут в любой сущий ад.

— Нас уже зачислил к себе какой-то Айзель.

При этих словах Паровозников, склонившийся было над своим столиком, резко обернулся.

— Что-о?! — воскликнул он, бледнея. И тут же бросил испуганный взгляд на немца в халате. Тот, к счастью, находился в дальнем конце комнаты. — Боже!

— А что? — спросил Василий.— Я говорю, всего навидался, хуже уж нигде не будет.

— Да, да...— как-то задавленно, беспомощно прошептал Паровозников.— Иди, Вася, в эту дверь. Прощай...

Тогда он, Василий, еще не знал, почему Паровозников произнес это таким голосом, отчего побледнел.

В какой-то клетушке им выдали куртки, брюки, берет, деревянные башмаки. Одежда была такой же полосатой, как везде. Лишь на куртках и брюках были нашиты красные треугольники с красным же кружочком под острым нижним концом. Что это означает, объяснил Айзель, выстроивший их вдоль колючей проволоки.

— Слушать внимательно, ангелочки... Каждый из вас должен гордиться, что носит теперь такую нашивку. Это знак нашей команды. Мы будем трудиться в каменоломне. Эта работа требует больших умственных способностей — ведь придется долбить камень, дробить его, грузить в вагонетки, возить на стройки. Машин и лошадей нет. Но тут неподалеку.

Айзель говорил это добрым, даже ласковым голосом. Говоря, постукивал сложенной плетью в ладонь левой руки.

Оглядев заключенных бесцветными глазами, в которых проблескивало что-то наподобие улыбки, он продолжал:

— Лагерь этот дерьмо, дисциплины и порядка в нем нет. Дисциплина и порядок только в моей команде. А чтобы вы, ангелочки, не испортились, мы исключили всякую возможность общения с другими заключенными. Жить мы будем в отдельном бараке, умирать или в нем же, или в каменоломне, или по дороге из нее в барак. В мою команду отбираются только здоровые люди. Но самый крепкий обычно больше трех месяцев у меня не выдерживает.

Айзель этот еще что-то говорил, но Василий голоса его больше не слышал. Перед ним стояло побледневшее лицо Паровозникова, узнавшего, что они — Василий, Губарев и Назаров — уже зачислены в команду Айзеля, под черепом стало холодеть, холодеть, пока все там не онемело окончательно...

* * *

— Айзель говорил — больше трех месяцев в каменоломне никто не выдерживает. А я вот и Валька Губарев... уже пошел четвертый месяц. Четвертый!

— Успокойся,— сказал Паровозников.

Была глухая ночь, они сидели в небольшой комнатушке, где Паровозников принимал днем больных заключенных. На его рабочем столике, пропахшем, как все вокруг, карболкой, стояло два стакана крепкого чая, на щербатой тарелке лежали кусочки сахару, несколько ломтей белого хлеба, а на другой — настоящее сливочное масло.

— Ешь, Василий. Тебе надо силенки подкопить.

— Откуда же... такие продукты?

— Из офицерской столовой... Не думай только, что всегда я так питаюсь. В основном подкармливаю вот таких, как ты. Повару одному там стыдную болезнь подлечиваю. Скрывает от своих, подлец... Ну, иногда он из благодарности проявляет щедрость.

— Погодите, Никита Гаврилович... Если откроется, что у повара эта болезнь, а вы... знали и даже... Это же смертельно!

— Что же мне, в Назарова превратиться? — сухо спросил Паровозников.— А смертельно... Тут везде смертельно.

— Никита Гаврилович, товарищ майор! — воскликнул Василий и, не в силах сдержать хлынувшие слезы, по-мальчишески уткнулся в его острые, жесткие колени худой головой. Длинная, тощая шея его вытянулась, Паровозников погладил ее рукой.

— Ну, сынок, ничего...

— У меня такое чувство — нигде на всем свете будто не осталось добрых людей.

— Зачем? Есть. И тут их немало.

— Не-ет,— отрицательно мотнул головой Василий, разгибаясь.— Где ж они? Вы только...

— Есть, есть. Вот кто-то же тебя из штрафного барака принес сюда.

— Валька же.

— Ну, не один Валька. Что он один мог сделать? Тебе-то можно сказать — в лагере действуют подпольные коммунистические организации.

— Да вы что?! Как же это?

— Действуют, Вася. Существует антифашистское Сопротивление. Ваша штрафная рота отрезана от лагеря. Но и туда мы сумели проникнуть. Валентин Губарев оказался настоящим человеком.

— Валентин! — Василий поднялся.— А я... Мне вы не верите, значит?

— Спокойно, Кружилин,— строго проговорил Паровозников.— Спокойно.

В комнате горела электрическая лампочка, но, чтобы наружу свет не проникал, единственное окошко было плотно, в несколько слоев, занавешено больничными одеялами. Паровозников встал, подошел к окну, подправил одеяла, хотя в этом не было надобности. И в третий раз проговорил:

— Спокойно, Вася. Не все так просто, как тебе все же кажется... А тем более в вашей каменоломне. Малейшая неосторожность — и гибель многих людей... Не тебя мы опасались, а Назарова, твоего землячка. Расскажи-ка лучше о нем. Как это он докатился?

— Как? «Боюсь, объяснял, побоев». Сволота. Я его задушу вот этими руками!

— Остынь. Концлагеря горячих не любят. Накопи сперва сил в руках. А этого-то и невозможно тут. Рассказывай.

— Что тут говорить? Да и противно...

* * *

В первые же дни заключенные, прибывшие из Галле, поняли, что такое бухенвальдская каменоломня, что Айзель, когда держал перед ними речь, нисколько красок не сгустил. Рабочих поднимали на рассвете. После переклички, едва позволив проглотить то, что называлось завтраком, узников заставляли разобрать «спортивные», как их называли здесь, камни, принесенные вчерашним вечером из каменоломни, и гнали на работу. Двенадцать часов с одним всего получасовым перерывом заключенные долбили камень, дробили его кувалдами. Осколки летели в разные стороны, кровенили руки, грудь, лицо, впивались в глаза — защитить их было нечем, никаких защитных очков не полагалось, при ударе узники просто поплотнее смыкали веки. Тех, у кого пораненный глаз вытекал, Айзель или командофюрер Хинкельман обычно переводили в так называемую «гужевую колонну», объявляя при этом примерно следующее: «Вы пострадали из-за своего усердия и заслуживаете поощрения и прекрасного питания. Там вы отдохнете».

Кормили в «гужевой колонне» действительно лучше, давали даже иногда по тонкому ломтю колбасы или сыра в день, целый литр жидкой похлебки. Но перевод туда был уже приговором к смерти. Груженная камнем или щебнем вагонетка весила около двадцати центнеров, ее надо было втаскивать по крутому полукилометровому уклону наверх. В каждую вагонетку впрягалось человек около тридцати. И часто обессиленные люди не могли ее удержать, вагонетка катилась вниз, раздавливая «гужевиков». Уцелевшие могли сами себе выбрать любое из двух наказаний: порка на козле — пятьдесят палочных ударов по обнаженным ягодицам — или «побег» — выбраться из каменоломни и во весь рост пойти на цепь охранных постов. И то, и другое наказание кончалось одинаково. Но люди обычно выбирали второе — разрывную пулю в голову. Охранники стреляли только по головам, смерть наступала мгновенно.

На цепь охранных постов гоняли не только «гужевиков». Любого заключенного, от которого по каким-то соображениям, известным лишь Айзелю и Хинкельману, надо было побыстрее избавиться, они пускали «в оборот». Обреченного заставляли голыми руками грузить в вагонетки щебень, ходить по каменоломне только босиком или только на четвереньках, пить собственную мочу. Этого последнего истязания почти никто не мог выполнить, и Айзель великодушно заменял его другим — предлагал пить воду с накрошенным туда табаком. Мучая до безумия несчастного, он постоянно давал один и тот же совет: «Беги из этого ада, парень. Я предоставлю тебе возможность бежать. Одну-единственную возможность». И заключенный, чтобы прекратить свои мучения, рано или поздно бежал на цепь охранников, давая себя застрелить «при попытке к бегству».

Впрочем, стреляли заключенных и конвоиры каменоломни. Любой из них мог подойти к любому рабочему, сорвать с него шапку, отбросить ее на несколько метров в сторону и приказать принести обратно. В тот момент, когда узник шел за шапкой, и раздавалась короткая автоматная очередь. За убийство заключенного «при попытке к бегству» эсэсовские конвоиры получали отпуск или премию.

Капо Айзель, любой бригадир, любой эсэсовец мог столкнуть заключенного с уступа каменоломни вниз. Мог просто захлестать плетью...

Все это мог, разумеется, и командофюрер Хинкельман. Но он не любил убивать людей сам. Его любимым развлечением было загонять человека на дерево. «Ты обезьяна,— объяснял он,— покачайся на ветвях».

Если человек раскачивался на дереве недостаточно сильно, Хинкельман вытаскивал пистолет и целился, грозя выстрелить... Несчастный раскачивался до тех пор, пока не обессилевал и не срывался вниз, разбиваясь большей частью насмерть.

Василий, когда однажды Хинкельман загнал его на дерево, тоже сорвался в конце концов вниз, но не разбился, не поломал даже ни руки, ни ноги. Он только сильно разбил плечо, вскочил на ноги, невольно потер ушибленное место. «Больно?» — спросил Хинкельман, кое-как владевший русским языком. «Никак нет, господин командофюрер, не больно,— ответил со злостью Василий, сознательно выговорив последнее слово с таким же акцентом.— Чешется немного». «О-о, шешет, да, да»,— промычал пьяный Хинкельман, о чем-то размышляя.

Василий ответил зло и дерзко, будучи уверенным, что теперь-то уж ему терять нечего. Упавших с дерева Хинкельман обычно отправлял в похожее на конюшню здание, где «обезьяну» убивали выстрелом в затылок. Об этом знали все рабочие штрафной роты, Айзель всем это не раз объяснял с удовольствием, сожалея, что сам он не имеет права отправлять людей в это здание и ему приходится «изобретать другие способы». Но эсэсовец в тот день был, видимо, действительно в хорошем настроении. Час назад, проходя по каменоломне, он услышал смех Василия и, пораженный, остановился. «Вы... есть смеетесь? — спросил он, широко раскрыв пьяные глаза. Василий, вытянувшись, ничего не отвечал.— У меня тоже есть хороший настроений... Пошли». И потом, поразвлекавшись, отвел Василия обратно в каменоломню, сказал Айзелю: «Он есть образец для этот скот. Он есть смеется и улыбайся. «Спортивный» камень давайт ему побольше. Для пример этот скот».

А рассмеялся Василий час назад вовсе не весело. Максим Назаров, кажется, с самого того дня, когда заверил Айзеля, что тот не пожалеет, если возьмет их в свою команду, не проронил ни одного слова. Он молчал, и Василий с Губаревым молчали. Вместе ходили на работы, вместе терпели все немыслимые мучения, вместе, рядом, спали, и все это молча, даже словом не перемолвившись с ним. Стена отчуждения становилась между ними все толще, все глуше. А в тот день, нагружая камнем вагонетку, Василий, видя, что Назаров изнемогает, зло и мстительно усмехнулся:

— А вы, Максим Панкратьевич, постарайтесь работать... как Айзелю обещали. А то он разочаруется в вас.

Ни бригадира, ни охранников поблизости не было. Назаров и вовсе прекратил работу, отвернулся и некоторое время постоял так, опершись на лопату. А потом сказал негромко и ядовито:

— Я — ладно. Кто же знал, что это за команда... Меня, как и тебя, зачислили в нее за побеги. А Губарев вот сам напросился.

— Он думал, что вместе с порядочными людьми будет,— ответил Василий,— а ты сукой оказался. Но Айзель так и не оценил твоего сучьего нутра. Лишь «спортивный» камень выделил тебе поувесистей, чем другим.

— Вася...— жалобно, просяще повернулся к нему Назаров.

Василий в ответ зло только хохотнул. Этот хохот и услышал проходящий мимо Хинкельман...

...Приведя Василия обратно в каменоломню и отдав Айзелю насчет него распоряжение, Хинкельман ушел. Айзель злорадно оглядел Кружилина, бросил Назарову:

— Отдай ему свой «спортивный» камень.

В тот день было жарко, солнце палило немилосердно, капо, вытерев грязным платком с квадратного лица обильный пот, скрылся в дощатой будке. А Назаров, помедлив, проговорил с нескрываемым теперь вызовом:

— Не оценил нутра, так оценит еще, кажется...

Василий после всего пережитого ответить Назарову ничего не мог, прислонился к накаленной солнцем вагонетке и стоял, отдыхая...

Так они жили, если это возможно назвать жизнью, неделю за неделей, месяц за месяцем. Во время получасового перерыва ни есть, ни пить не полагалось, поздно вечером, взвалив на плечи «спортивные» камни, тащились в казарму, на ночь проваливались в забытье, а каждое утро ад начинался сначала...

Айзель действительно ничем не выделял Назарова ни до того случая с Василием, ни после. «Спортивный» камень Назарова таскал теперь Василий, но и новый камень, выделенный Назарову Айзелем, был не легче. Указывая на этот камень, Айзель даже спросил с ухмылкой: «Не слишком ли он велик, господин капитан?» — «Ничего»,— ответил Назаров.

В Бухенвальде наказание заключенных — порка на козле плетьми или бамбуковыми палками, подвешивание на столбе — производилось обычно на плацу во время общих перекличек. Экзекуции такого рода рабочих штрафной роты совершались прямо в каменоломне. Для этого туда приглашался зловещий Мартин Зоммер, палач Бухенвальда, начальник лагерного карцера. Невысокого роста, круглоглазый и молчаливый, он и дело свое делал молча, несуетливо и гордился тем, что несколькими особыми ударами плетью, не разрывая кожи, расплющивал, разбивал человеку печенку. Больше тридцати его молчаливых ударов по обнаженным ягодицам никто не выдерживал. Согласно инструкции, разработанной Отделом Д Главного административно-хозяйственного управления СС, любому провинившемуся узнику можно было назначать до пятидесяти палочных ударов. Но, учитывая способности Зоммера, заключенных Бухенвальда, как правило, наказывали двадцатью пятью ударами. Но и это количество для большинства было смертельным. Лишь провинившимся рабочим каменоломни неизменно назначали пятьдесят.

Порка происходила во время дневного перерыва или после окончания работы. Всех выстраивали кругом козла — невысокого деревянного стола, обреченный ложился на него животом, спустив предварительно штаны, голова и ноги зажимались специальными зажимами, и Зоммер приступал к делу. После первого десятка ударов ягодицы заключенного превращались в кровавые лохмотья, а вскоре Зоммер обычно отбрасывал палку. Он безошибочно угадывал, когда узник испускал последний вздох, оставшиеся удары наносить было бессмысленно, Зоммер не любил делать бесполезную работу.

Во время подобных экзекуций Назаров старался на козел не смотреть, стоял, опустив голову, от свиста палки или плети, от криков и стонов узника у него холодели внутренности, похудевшие, одрябшие щеки становились черными и твердыми, как тот камень, который они долбили.

Недели две назад всю штрафную роту, как бывало много раз, выстроили вокруг козла, явился для своего дела Мартин Зоммер. Длинный летний день подходил к концу, окна трехэтажных кирпичных казарм для эсэсовских охранников, видневшиеся из каменоломни, медно горели от заходящего солнца.

Окна эти еще не потухли, когда Зоммер дело свое сделал и, вспотевший, отбросил палку в сторону. Наказывали какого-то молодого парня за то, что ночью он вышел из барака помочиться, что строжайше запрещалось. Парень выдержал сорок два удара, чего никогда еще здесь не бывало.

— Поразительно! — сказал Зоммер, отдуваясь.— Никто никогда еще столько моих ударов не выдерживал. Этот русский был словно из железа.

Труп меж тем поволокли в крематорий.

— Рано или поздно все там будете,— кивнул Айзель на квадратную трубу, из которой день и ночь шел зловещий дым. И повернулся к заключенным: — Этот сопляк... В запасе у него было еще восемь ударов. При необходимости господин Зоммер добавил бы. Он же... хе-хе... мог сбиться со счета. Вы хотите устоять против великой германской армии? Стадо овец никогда не одолеет даже одного волка!

Кончив эту короткую и эмоциональную политическую речь, Айзель сплюнул в сторону, прошелся вдоль колонны, начал тыкать пальцем в заключенных:

— Ты, ты...— Айзель хотел было ткнуть в Назарова, но передумал почему-то, ткнул в его соседа: — И ты, рыжий... Выйти из строя!

Трое заключенных сделали вперед по четыре шага.

— Шагом марш... в сорок шестой блок!

Колонна узников молчала. По ней словно прошел электрический разряд, окончательно убив в каждом и без того еле теплившуюся жизнь. В блоке № 46, зловещая молва о котором ходила по всему Бухенвальду, производились медицинские эксперименты над людьми.

— Боже мой... боже мой...— прошептал одеревеневшими губами Назаров.

Василий, стоявший сзади него, понял это бормотание, чуть наклонился, безжалостно шепнул ему в ухо:

— Не сожалей. В следующий раз Айзель и в тебя ткнет, не обойдет...

И как бы в подтверждение этих слов, капо произнес:

— Очнитесь, скоты. Согласно инструкции, из штрафной команды всегда будет поставляться в блок номер сорок шесть человеческий материал. Пора привыкнуть к мысли, что каждый из вас может в любое время стать кроликом... Я говорю это открыто, потому что живым отсюда никто из вас не уйдет. Кроме тех, конечно, кто сделает Германии кое-какие услуги. Но те и сами будут молчать... Номер 42315, четыре шага вперед!

Назаров не сразу сообразил, что это его номер. А когда наконец до него дошло, он покачнулся, но с места не стронулся. И только после повторного приказания, волоча ноги, поплелся из колонны. Левая колодка при этом с ноги слетела, но он этого не почувствовал. Айзель крикнул:

— Эй, кто там, подайте ему колодку... А впрочем, не надо. Ни в том, ни в другом случае она ему уже не понадобится.

Измученные длинным до бесконечности каторжным днем, узники все стояли молча. Им не в диковинку были все эти истязания и издевательства Айзеля, который мог сейчас с заключенным 42315, как и с любым из них, сделать все что угодно. Мог исхлестать плетью, мог приказать идти на цепь охранников. Мог просто поднять камень и размозжить им голову — в этом случае в крематорий поволокли бы еще один труп. И заключенные, лишенные возможности помешать этому, просто стояли и ждали, чтобы это поскорее чем-нибудь кончилось и их отвели в барак. Каждый понимал — слова Айзеля, что колодки этому узнику больше не понадобятся, означали окончательный и жуткий приговор.

Лишь у Василия да, пожалуй, у Губарева в уставшем мозгу тупо ворочалось — приговор, но жуткий ли? Боясь выдать себя каким-либо движением, они стояли неподалеку друг от друга, смотрели на сытого, медлительного капо и на покорно опустившего перед ним худые плечи Назарова, на которых болталась грязная, измятая полосатая лагерная куртка. Губарев смотрел с каким-то удивленным испугом, Василий — с презрительным, даже злым выражением лица, исподлобья.

Айзель меж тем медлил, принялся не спеша ходить перед беспомощным и покорным узником, оглядывая его со всех сторон, чему-то усмехаясь. Затем грубо ткнул плетью в подбородок Назарова, приподнимая ему голову, прошипел зловеще:

— Н-ну-с... Я заметил, вы, господин Назаров, во время наказаний провинившихся отворачиваете глаза. Не нравится?

— Я... не могу,— еле слышно произнес Назаров.— Не могу видеть и слышать...

— Я это понял,— сказал Айзель.— Я вас понимаю. Я все вижу. Я не забыл также ваших слов тогда, в санитарном блоке, в день прибытия вашего транспорта. Вы говорили, кажется, что я не пожалею, если возьму вас в свою команду?

— Да, я это говорил,— еще тише произнес Назаров.

— Что? Громче! Громче, скотина! — И Айзель вытянул Назарова плетью.— Повтори, чтоб все слышали!

— Я это... говорил,— отчетливо произнес Назаров, вытягиваясь.

— Вот так,— остался довольным Айзель, сложил плеть.— И я не жалею, господин Назаров. Вы хорошо работаете. А тем скотом, который был прикован к вам цепью, я недоволен. И тем, который напросился ко мне в команду... И они оба это чувствуют.

Василий и Губарев поняли, что капо говорит о них. И оба сознавали, что если это еще не приговор, то вскоре он последует.

— Из всех русских свиней вы здесь единственный не потеряли человеческого облика,— сказал Айзель Назарову.— И я обязан отметить это и поощрить вас...

Все эти слова ничего еще не значили. Более того — они могли иметь совсем противоположный смысл. Айзель под видом поощрения мог, например, заставить съесть большой круг жирной колбасы, что для голодного человека было смертельным, или придумать что-нибудь другое с тем же исходом.

Но, сказав все это, капо опять принялся не спеша ходить перед Назаровым, оглядывая его со всех сторон и при этом странно усмехаясь: толстые губы его дергались, а на лице никакой улыбки не было.

Колонна теперь, кажется, не дышала.

— Я назначаю вас бригадиром, Назаров. Марш в контору переодеваться!

Айзель показал плетью на дощатое помещение. Назаров помедлил, помедлил... повернулся и побрел в будку. Капо сунул плеть под мышку, не спеша пошел следом, покачивая жирными плечами.

Колонна продолжала стоять, недвижимая, ожидая развязки.

Назаров. сгорбив спину, доплелся до будки, ни разу не оглянувшись. Айзель вошел туда вслед за ним, захлопнул за собой дверь.

Через некоторое время дверь открылась, первым показался капо, а за ним Назаров. Он был в той же полосатой одежде, лишь на плечи была накинута старая куртка из грубой материи, а на ногах старые сапоги. В этом и заключалось все переодевание. Да в правой руке он неумело еще держал плеть, точно такую же, как у Айзеля...

* * *

— Вот так оно случилось,— сказал Василий, закончив невеселый рассказ, изложив его коротко, только самую суть. Да подробностей Паровозникову и не требовалось.— Подлец!

— Не надо, Василий, так... с такой злостью, — проговорил Паровозников.

Кружилин тяжко задышал от гнева.

— Вы... оправдываете эту... мразь?!

— Сядь! — Паровозников покосился на занавешенное окно, снизил голос: — Я его не оправдываю. Какое ему оправдание! Но быт и нравы Бухенвальда ты сам давно знаешь. Особенно там у вас, в каменоломне. Об этом надо всегда помнить... и обо всем судить всегда спокойно, без эмоций. И осуждать без эмоций. Я врач, я тут давно... И я знаю — тут еще не такое бывает. Ох, Василий, что тут бывает!

— Я бы лучше... Пусть лучше смерть!

— Люди-то, Вася, разные.— Голос Паровозникова был теперь негромким и мягким.— Ты бы — да, я это знаю. Другие смерти боятся. И этот ад выдержать не могут. Мы это должны понимать. Чтобы как-то помочь самым стойким и сильным вынести этот ад, выжить. Только это не так часто, не всегда удается.— И тут голос Паровозникова дрогнул.— Губарев... я должен тебе сказать...

Бледнея, Василий начал подниматься. Он находился в лазарете уже вторую неделю, начал ощущать, как крепнут у него руки и ноги, но сейчас сил не хватило даже, чтобы встать во весь рост, он мешком плюхнулся обратно на стул.

— Что? Что?!

— Нет больше Вали Губарева. Айзель погнал его вчера на пост охранников...

В голове Василия больно загудело. Словно откуда-то издалека донеслись слова Паровозникова:

— И это известие надо воспринять спокойно. Спасти его было невозможно. И так же спокойно делать то, что нужно... и что можно.

Паровозников мог рассказать Василию кое-какие подробности и причины скорой гибели Валентина. Айзель каким-то образом догадался или подозревал, что Кружилин, номер 42316, исчез с помощью Губарева. Куда и как исчез — не знал, но, будучи неглупым по этой части, понимая, что, если эсэсовское начальство о таком случае узнает, его авторитету прибавления не будет, большого шума поднимать не стал. Он попытался навести справки о поступивших в ту ночь в лазарет. Об этом сказал один из санитаров, верный и преданный человек. А ничего не узнав, взялся за Губарева...

Но, видя состояние Василия — тот сидел окаменевший, стеклянными глаза-

ми смотрел куда-то мимо,— говорить обо всем этом Никита Гаврилович ничего не стал.

— Свое обещание он выполнил,— прошептал Василий.— Он ему пообещал: «Одну возможность для побега я устрою...» И вот — выполнил.

И вдруг остывшие глаза Василия начали быстро наполняться слезами. Он как-то всем телом вздрогнул, будто враз сбросил с себя оцепенение, ударился головой об стол, раз, другой, закричал:

— Почему?! Почему? Почему-у?!

Паровозников торопливо схватил его за плечи, сильно тряхнул.

— Успокойся! Слышишь? Я приказываю!

— Хорошо...— всхлипывая, сказал Василий.

— Себя... и других погубишь!

— Я это понимаю теперь — надо спокойнее...— по-мальчишески вытирая рукавом слезы, сказал Василий.— Но ответьте, объясните... я давно заметил это: почему во всех лагерях, повсюду, самое зверское обращение с нами? Самые страшные пытки — нам! Самые страшные издевательства — нам...

— Потому, что мы русские, Вася, советские,— сказал Паровозников спокойно. И, отойдя от Василия, молча постояв у стола, прибавил: — А все советское ассоциируется у них со словом, с понятием — русский. Они, фашисты... да и не только одни фашисты, хотят нас истребить поголовно. За то, что мы осмелились жить и живем по человеческим законам. И показываем в этом пример другим. За революцию семнадцатого года. Они не могут справиться с ней. Они рассчитывают уничтожить ее и память о ней на земле, если уничтожат нас физически всех до последнего...

— Там, в Жешуве, конопатый эсэсовец обещал не всех, — с горечью усмехнулся Василий.— Помните?

— Правильно. А остальных превратить в рабов. Я помню. Причем в рабов бессловесных и покорных. Они рассчитывают остальных стерилизовать, чтобы не было потомства. Потушить мозг, чтобы и проблеска сознания не возникало...

— И это... такое возможно?! — едва пошевелил губами Василий.

— Если ты имеешь в виду медицинскую сторону — возможно. Я врач, я это знаю. Они делают давно различные чудовищные опыты над людьми. И здесь, в Бухенвальде, и в других лагерях.

— Я имею другое...— Горло Василия перехватывала судорога.

— Нет, Вася. Чудовищным этим планам сбыться не суждено. Они прольют море крови и уничтожат миллионы людей. Не только русских. Но с разумом человеческим им не справиться, не одолеть его. Жизнь им не остановить. Живое вечно стремится к жизни. В борьбе с ней они погибнут сами. И только бесконечное проклятье будет витать над их тенями. А жертвы их приобретут вечное бессмертие.

Паровозников говорил это, сидя теперь, рассматривая свои длинные, сильные пальцы.

— Вот Губарев Валентин, скажем,— продолжал Никита Гаврилович тем же ровным и спокойным голосом. — Физически они его уничтожили. А духовно? Ведь он с самого начала отчетливо сознавал, что, отправляя тебя вот сюда, к нам, обрекает себя на смерть.

— Он это... знал?! — прошептал Василий.

— Конечно. Не за Назарова же браться Айзелю после твоего исчезновения... Знал. Но пошел на это. И ты, если останешься жив, не забывай этого никогда...

Василий, потрясенный, молчал.

— Он это знал,— повторил Паровозников.— Но им никогда не понять, почему он пошел на это, что его заставило на такое решиться. Им не понять природу нашей психики и характера, не понять нашу духовную природу. Вот почему их людоедские планы обречены на провал, а сами они все мертвецы. Живые пока мертвецы.

Никита Гаврилович умолк и молчал довольно долго, сидел недвижимо. Затем вздохнул, откинулся устало на спинку стула.

— Ладно, Василий, довольно об этом... Подумаем, что дальше нам делать.

— А дальше что? — ответил Кружилин невесело.— Они прольют море крови, уничтожат миллионы людей. Я вот, как и Валька Губарев, буду в числе этих миллионов. Назаров — не будет.

— Возможно, и так,— чуть прихмурился Паровозников, будто недовольный унылым голосом Кружилина.— Если возвратишься в каменоломню, Назаров, как я понимаю, попытается от тебя побыстрее избавиться. Твое присутствие рядом будет ему с каждым днем невыносимее.

— Пока он даже... даже послабления кой-какие мне и Вальке делал.

— Да, это пока,— вполголоса повторил Паровозников.— Пока это он просто от неловкости... Да что я говорю о Назарове? Айзель тебя из списка своей команды исключил, конечно. «При попытке к бегству», «При попытке покушения» — здесь много различных формулировок. Вернешься — он это все организует задним числом...— Голос Паровозникова окреп.— Значит, так, Василий. И слушай меня не перебивая. Я мог бы выписать тебя отсюда под другим номером, вместо любого умершего у нас заключенного, и направить с помощью друзей в какую-нибудь другую команду. Но в лагере находиться тебе опасно. Это смертельно. Если случайно увидит и опознает тот же Айзель? Или Хинкельман? Значит, есть только единственный выход — отправить тебя с транспортом в какую-либо внешнюю команду Бухенвальда. Их вокруг Веймара сотни полторы. Подкормлю вот тебя еще немного тут, попрошу кое-кого подобрать более или менее спокойную команду. Хотя, конечно, везде... Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Неужели... Неужели это возможно? — спросил Василий вместо ответа, стараясь сдержать опять проступающие слезы.— Чтобы отсюда, из этого ада, хоть куда...

— Видишь ли, Вася, если делать дела спокойно, без эмоций, то кое-что иногда нам удается,— негромко ответил Никита Гаврилович Паровозников.

* * *

Смерть валила людей на фронте каждый день и ночь, каждый час, минуту и секунду. Она валила их без разбору — пожилых и молодых, солдат и командиров, мужчин и женщин, взмахивала косой широко и безжалостно, и это было понятно — война.

Умирали люди и в тылу. Кто в свой положенный срок, отшагав по земле его полностью. А кто и без срока, в силу болезней и недугов, которые, может, и не пришли бы столь рано, не будь этой или прошлых войн, будь бы жизнь на земле вообще поспокойней, поуютней, поласковей, или в силу других обстоятельств, вызванных той же войной, тем же суровым временем. И это тоже было понятно.

Понятно, но от этого не было легче. В любом месте, в любое время смерть есть смерть. Это порог, за которым уже ничего нет,— там бесконечная пустота и вечный мрак.

Так думал Поликарп Матвеевич Кружилин, шагая за гробом Елизаветы Никандровны Савельевой, умершей неожиданно, прямо в библиотеке, где она проработала всего несколько недель.

Хоронили ее в сквере Павших борцов революции, в одной могиле с мужем, с Антоном Савельевым,— так распорядился он, Кружилин. Когда раскопали могилу, гроб Антона был еще новым, свежим, даже красная материя, которой он был обтянут, не сгнила, лишь кое-где порвалась под грузом земли.

Глядя, как снова зарывают могилу, Поликарп Матвеевич вспоминал, что несколько дней назад, когда сын ее Юрий наконец-то уезжал на фронт, Елизавета Никандровна была весела и полна радости, она так и говорила, уронив седую голову сыну на грудь: «Я так рада, Юрочка, что ты отправляешься на фронт, так рада!» Любому ее слова показались бы кощунственными, но Кружилин, знавший историю ее отношения к сыну, чувствовал в душе облегчение. И сам Юрий, кажется, тоже чувствовал облегчение, он тоже говорил: «И я, мамочка, рад. За меня не волнуйся, все будет хорошо... Ты береги себя, береги. Я вернусь, и мы с тобой прекрасно будем жить...» Говорил и все нетерпеливо высматривал кого-то в толпе. Кружилин ломал голову: «Кого же?» — и нахмурился, когда показалась секретарша Нечаева Наталья Миронова и Юрий прямо весь расцвел. «Это еще что такое?!» — подумал он с досадой и удивлением. Однако Наташа попрощалась с Юрием сдержанно, и это Кружилина успокоило.

Хоронили Елизавету Никандровну скромно, в присутствии небольшого количества людей,— жила она тихо и незаметно, никто ее в Шантаре почти не знал.

Вокруг могилы в безмолвии стояли Нечаев, Савчук, Хохлов, Наташа, шустрый мужичок Малыгин, который полгода назад вернулся по ранению с фронта и опять занял свою хлопотливую должность заведующего райкомхозом. Сейчас он и руководил похоронами. Пекло солнце, все были одеты легко, лишь на директоре завода был толстый суконный пиджак, однако, несмотря на это, он поеживался, его, кажется, знобило. Глядя на его острые плечи, на сутулую, выгнувшуюся горбом спину, Кружилин уныло думал, что Федор Федорович долго не протянет и каждый день, каждый час надо быть готовым к самому худшему.

«Быть готовым к худшему...» Поликарп Матвеевич невесело усмехнулся внутренне — это легко сказать, произнести словами. А каково постоянно жить в таком состоянии? А он, Поликарп Матвеевич, жил, жил давно, неизвестно даже, сколько лет, кажется — всегда, другого какого-то времени будто и не было. Ежедневно, если не ежечасно, в районе что-нибудь из этого худшего случалось, ему звонили или сообщали другим способом, и он обязан был принимать какие-то меры. Каждое утро, отрывая от подушки тяжелую голову (если ему вообще удавалось в ту ночь поспать), он прежде всего с тревогой думал: «Ну, что сегодня?» И пока умывался, проглатывал скудный завтрак, все находился в ожидании неприятных известий. А потом дела закручивали его, и все уже шло само собой, все случавшееся не казалось неожиданным, было вроде бы в порядке вещей.

На похороны Елизаветы Никандровны пришла и жена Полипова, чему Кружилин несколько удивился. Со времени отъезда мужа в армию она работала заведующей районной библиотекой. Когда Кружилин после разговора с женой Антона позвонил в библиотеку и попросил принять Елизавету Никандровну на работу, Полипова резко и торопливо ответила: «Нет!» — «То есть как это нет?! Почему нет? — сурово спросил Кружилин, которого рассердила эта торопливость.— Ну, что вы там молчите?» А Полипова действительно молчала, лишь часто и шумно дышала в трубку. Потом так же резко произнесла: «Ну, хорошо...»

Три дня назад эта же Полина Сергеевна Полипова сообщила ему о смерти Елизаветы Никандровны. «Она умерла! Боже мой, она же умерла! Я говорила, я не хотела...» — беспорядочно кричала она в трубку. «Кто, кто умер?!» — роняя стул, вскочил он, хотя уже понял, о ком идет речь. «Савельева ваша... Прямо здесь, в библиотеке! Боже мой, скорее приезжайте...»

И вот она пришла на похороны, стояла возле Малыгина, с которым, кажется, и в самом деле сожительствовала (на это еще весной приходила жаловаться в райисполком жена Малыгина, но сам Малыгин и Полипова это категорически отрицали), тревожно и испуганно как-то глядела на опускаемый в могилу гроб. «Я говорила... Я не хотела... Савельева ваша...» — навязчиво торчали в голове Поликарпа Матвеевича недавние слова этой женщины. Было ясно, что они вырвались у нее помимо воли, под воздействием случившегося. Но что они означали, что за ними крылось? Почему Елизавета Никандровна захотела работать именно в библиотеке? Не потому ли, что она... надеялась там добыть какие-то доказательства бывшей провокаторской деятельности Полипова Петра Петровича, в которой была уверена? Ведь эта Полина Сергеевна, жена Полипова, как недавно говорил Субботин, дочь какого-то бывшего матерого контрреволюционера. Елизавета Никандровна клятвенно убеждала, что добудет их, докажет, кто выдавал всегда царской охранке ее мужа, ее Антона,— и вот...

Все это мешалось и путалось в голове, думать об этом и не хотелось бы, да само собой думалось. Жизнь такова, что темное прошлое не всегда исчезает бесследно во мраке годов, большей частью всплывает неожиданно и почему-то всегда жалит в самое уязвимое место.

Об этом же думал Поликарп Матвеевич, молчаливо шагая с похорон и еще о сотнях больших и малых дел — как идет вывозка с Громотухи древесины, которую недавно, без всяких, к счастью, потерь, приплавил Филат Филатыч, почему объявившийся отец Наташи так и не позвонил ни разу ей сам, не написал ни одного письма, что же будет с районом при нынешнем неурожае, чем нынешней зимой кормить колхозный скот — травы, считай, выгорели начисто,— как побыстрее, без потерь собрать картошку, которая тоже выйдет, кажется, скудной, думал о хилом здоровье Нечаева, Назарова...

Не думал он лишь о себе. На свое здоровье он не жаловался, хотя уставал теперь за рабочий день смертельно, в постель валился без памяти, часто жена укла-

дывала его силой отдохнуть и среди дня, и он, сопротивляясь, чувствовал, что это надо. Вот и теперь, шагая от сквера Павших борцов революции, он покачивался от усталости, голова была как чугунная. И потому, подойдя уже к райкому, он свернул от его крыльца к воротам своего дома.

— Похоронили? — спросила негромко жена.

— Да... Я прилягу, Тося. На полчаса.

— Ложись. А я борщ пока заправлю.

Жена его да и сам он давно примирились с мыслью, что единственный сын их погиб, примирились потому, что ничего другого не оставалось. Они о нем, чтобы не расстраивать друг друга, никогда не говорили, но каждый думал о Васе про себя, и оба сохли и чернели, особенно она, превратившаяся почти в живой скелет.

Лежа на диване спиной к стене, Поликарп Матвеевич и сейчас подумал о сыне, вспомнил его голос и смех и, чтобы отогнать это мучительное состояние, быстро поднялся.

— Ты же хотел полчаса?

— Хватит. Готов твой борщ?

— Садись.

Хлебая из тарелки, он все думал теперь о Полиповой, в голове опять зазвучали ее слова: «Я говорила... Я не хотела... Савельева ваша...» Что же она «не хотела»? Как понять это ее слово?

Он поглядел на часы — до конца рабочего дня оставалось еще порядочно времени.

Подойдя к телефону, попросил соединить его с библиотекой и, когда там сняли трубку, сказал ровным голосом:

— Полина Сергеевна, будьте добры, зайдите ко мне в четыре часа.

* * *

Она пришла ровно в четыре, порог кабинета переступила смело, с каким-то вызовом. В красивых, холодноватых глазах ее не было теперь ни тревоги, ни тем более испуга, был только этот неприязненный холодок, и больше ничего.

— Садитесь,— сказал Кружилин.

Она опустила в истертое кожаное кресло свое полное и крепкое тело, обтянутое светлым платьем, закрыла старой легкой косынкой, которую принесла в руке, обнаженные толстые коленки и сразу проговорила:

— Если вы насчет Малыгина, то я скажу... Хохлову тогда не сказала, а вам отвечу: да, я с ним живу.

— Нет, я не насчет Малыгина...— усмехнулся Кружилин.— От Петра Петровича какие известия? Он все еще в Узбекистане?

— Нет. Он сейчас уже на фронте.

— Вот как!

— Разве это удивительно?

— Нет, конечно... Я хотел спросить у вас кое-что о Елизавете Никандровне...

Она вскинула ресницы, губы ее, дрогнув, сложились в скобочку и тут же расправились. И по ее движениям Кружилин догадался: она ждала именно этого вопроса.

— Спрашивайте.

В голосе ее Кружилину почудилось что-то нехорошее, какая-то глубоко запрятанная насмешка. Он внимательно и сурово поглядел на Полипову. В выражении лица ее ничего не изменилось, в глазах стоял тот же холодок.

— Расскажите еще раз, как... как это произошло?

— Как? — Голос ее дрогнул.— Она сидела за столом, просматривала формуляры... В библиотеке никого не было. У нас вообще мало читателей. Кому читать? Только школьники. Потом вскрикнула, застонала... Она поднялась и тут же повалилась на пол... И я сразу кинулась звонить вам.

— Вы сказали — на пол... Но когда мы с Хохловым вошли, она лежала на диване.

— Ах, боже мой! — Голос ее теперь наполнился злой иронией. И она это не проговорила, а почти прокричала: — Вы что, следователь? Вы меня... в чем-то

подозреваете? Ну да, на диване. Когда она стала падать, я подхватила ее, успела еще отвести к дивану. И там она скончалась. Я в это время звонила уже вам. Вам!

— Нет, я вас ни в чем не подозреваю,— сказал Кружилин, помолчал, тупо глядя в настольное стекло.— И все-таки... странно вы говорите. «В это время...» Но вы же, Полина Сергеевна, по телефону определенно сказали: «Она умерла!» Уже... значит... А вы говорите — в это время, когда она умирала, вы только звонили. Странно.

— Странно, да? Странно? — дернулась она в кресле, потом вскочила, грудь ее начала толчками трястись.— Значит, я... я это ее убила, понятно? Убила, зарезала! То есть не-ет! Не ножом... У нас железная палка есть, сторожиха ею дверь закладывает. Я ее этой палкой... Ее осматривали врачи, пусть они скажут.

В глазах Полиповой металось темное пламя, она была близка к истерике.

— Успокойтесь! — повысил голос Кружилин.— Что вы, как...— Он хотел сказать «как баба», но сдержался, подумав, что баба она и есть.— Никто вас в этом, в таком... не собирается обвинять. Елизавета Никандровна скончалась от острого сердечного приступа.

— Тогда я при чем? Что вы надо мной издеваетесь? За Малыгина спрашивайте, ваше право. Да и то... кто вам его дал? Это мое... наше с ним дело. Мне, в конце концов, и сорока еще нет. С Малыгиным у нас по-серьезному все, может... Я при чем тогда? И вы можете умереть от такого приступа, и я... Любой. При чем?

Она говорила это, задыхаясь, по лицу ее шли красные пятна.

«Да при том, что приступ такой у нее, у Елизаветы Никандровны, можно было легко вызвать»,— думал Кружилин, остро ощущая, как поднимается в нем волна гнева и ненависти к этой красивой и сытой женщине. Он теперь был уверен, что она и вызвала каким-то способом у жены Антона этот приступ, во всяком случае, была причастна к этому. Но как это докажешь? А если даже и докажешь, если сама она в этом признается даже, что толку, что это даст? К ответу за смерть Елизаветы Никандровны эту женщину не привлечешь, хотя она и виновата, вероятнее всего, в этом. Жизнь, жизнь, в каких тайных и темных глубинах она только не течет, в каких крайностях и сложностях не проявляется? Живя, люди любят и ненавидят по различным причинам друг друга, и это имеет в конечном счете прямое отношение к их жизни и к их смерти. Любят за характер, за свойство души, за мировоззрение и миропонимание. И ненавидят, порой смертельно, за это же. В мире извечно существуют огонь и вода, жар и холод, свет и тьма, добро и зло. И куда ни повернись, какой случай ни возьми, увидишь только это, если присмотришься внимательно.

— При чем вы тут... или ни при чем, это вам лучше знать, — сдерживая себя, сказал Кружилин Полиповой.— Пусть будет это на вашей совести. Идите...

Но она как стояла, так и стояла, будто не слышала его слов.

— Совести? — спросила она вдруг тихо, глухо, губы ее дернулись.— А что вы знаете... что можете знать о моей совести? Что это вообще такое?!

Губы ее дергались все сильнее и сильнее, одновременно в глазах все яростнее разгорался черный огонь. Потом она упала обратно в кресло, затряслась, забилась в истерике.

Кружилин встал, налил из графина, стоящего на тумбочке, стакан воды.

— Успокойтесь...

— Уйдите! Уйдите! — кричала она сквозь косынку, которую прижимала к лицу, и мотала головой. Кричала так, будто он был в кабинете посторонний.

* * *

Кружилин в своих предположениях относительно неожиданной смерти жены Антона был прав. Когда Елизавета Никандровна впервые появилась в библиотеке, Полипова встретила ее молчаливо и неприязненно, потом с усмешкой сказала:

— Садитесь на абонемент. Работа простая — принимать от читателей и выдавать им книги.

И Елизавета Никандровна принимала и выдавала, с заведующей библиотекой никогда не здоровалась и не разговаривала. Молча приходила утром, хмурая, и молча уходила вечером.

Полипова на это лишь усмехалась, затем усмехаться перестала, тоже начала

хмуриться. Иногда, отвернувшись к окну, о чем-то подолгу думала, глядя, как ветер треплет за стеклом листья деревьев. Теперь Елизавета Никандровна, изредка взглядывая на нее, усмехалась.

— В конце концов, это пытка! — не выдержала Полина Сергеевна.— Что вы все молчите, как...

— Я могу и разговаривать,— ответила Савельева.— Но только на одну тему. О том, как ваш муж, Полипов Петр Петрович, выдавал царской охранке моего мужа.

— Что-о?! — поднялась со своего стула Полипова, вытянулась.

— Он был провокатор. Я это отлично знаю. И вы тоже. И я хочу, чтобы вы подтвердили это письменно.

— Вы сумасшедшая! — изменившимся голосом воскликнула Полипова.

— Других доказательств нету,— продолжала Елизавета Никандровна.— Но вы-то знаете... И вы все это опишете. Не сейчас, так завтра. Не завтра, так через неделю. Через месяц, год, пять лет! А я буду ждать! Терпеливо ждать...

— Сумасшедшая! Сумасшедшая!..

Елизавета Никандровна пожала плечами и опять продолжала молчать. И таким образом шли неделя за неделей.

Пытка эта была обоюдная, и неизвестно еще, для кого тяжелее. Дома Елизавета Никандровна сваливалась иногда замертво, пила сердечные капли, но никому, в том числе и сыну Юрию, который собирался к отъезду на фронт, старалась этого не показывать.

Она его проводила, и пытка эта стала для нее еще страшнее. Но получить доказательства провокаторской деятельности Полипова от его жены все-таки надеялась, была уверена, что та не выдержит. Заведующая библиотекой даже как-то спáла с тела, при виде ее менялась в лице, по щекам начинали ходить нервные пятна. Елизавета Никандровна лишь усмехалась безжалостно. Но, увлекшись, не рассчитала своих сил...

Первой нарушила молчание Полипова. Это случилось дня через три после того, как Елизавета Никандровна проводила Юрия на фронт. Все эти дни она вспоминала, как он уезжал, как прощался с ней, и иногда тихонько плакала.

— Вот вы меня подозреваете... устроили мне чудовищную пытку. А я, хотя у меня никогда не было детей, понимаю вас и сочувствую,— сказала Полипова.

— Я не подозреваю, я твердо уверена, что ваш муж был провокатор,— тотчас ответила Савельева.— Берите бумагу и описывайте все...

И тут Полина Сергеевна не выдержала. Все нервы ее враз оборвались, будто по ним ударили острым ножом. Откинув стул, она щукой метнулась к Савельевой, закричала, захрипела, не помня себя от ярости:

— Да, да, да, был! Был, понятно?! Он всегда выдавал этого твоего... и других! Он давил вас, как мог! Он мстил вам за вашу революцию... Он был бы богатым человеком, а такие, как ваш муж, все отняли! И у него, и у меня! Он мог бы сделать и еще больше, но он трус, он подонок! Он всего боялся и боится... И все же уничтожал людей — и тогда, и после, здесь, в Шантаре! И вашего мужа он бросал в тюрьмы. Он тогда выжил, да... Но, попадись он ему под ноги после революции, он бы его все равно растоптал! Ну, довольна? Письменно написать? Не дождетесь... А слушать слушай! Слушай и знай! Знай...

Пока она кричала, Елизавета Никандровна, поднявшись, с ужасом глядела в обезображенное гневом и ненавистью лицо Полиповой, пятилась от нее в глубь комнаты, к противоположной стенке, где стоял матерчатый диван. Пятилась и чувствовала, как чем-то сдавливает, сплющивает ее сердце. Боль эта, тупая и безжалостная, была непривычной, незнакомой даже для нее, испытавшей всякие сердечные боли. Дойдя до дивана, она почувствовала, что сердце останавливается, что это конец, и из последних сил прохрипела:

— Не надо! Замолчите же...

И рухнула, боком упала на диван, уже мертвая.

Полипова, увидев это, умолкла, постояла, горячая и растрепанная, молча наблюдая, как тускнеют, мертвенным светом наливаются глаза Елизаветы Никандровны. И, чувствуя, как подламываются ее собственные ноги, боясь тоже рухнуть где-нибудь рядом, шагнула к телефону звонить Кружилину, в кабинете которого сейчас кричала, мотая головой: «Уйдите! Уйдите!»

* * *

...Кружилин поставил стакан с водой на стол, от стука стекла о стекло она сильно вздрогнула и очнулась, немного пришла в себя. Во всяком случае, рыдать стала тише.

— Успокойтесь же,— еще раз попросил Кружилин.— Иначе мне врача придется вызвать.

— Не надо никакого врача,— сказала она негромко, вытирая скомканной косынкой слезы.— А насчет совести я вам сама скажу. У меня ее... если иметь ваше понимание... никогда не было.

Кружилин, прихмурив брови, усмехнулся.

— Это я, что ж, понимаю... Ваша девичья фамилия Свиридова?

Теперь она вскинула брови, крутые и черные,— она их, видимо, красила. Но спросила спокойно:

— Вы и это знаете?

— Узнал не так давно. А если бы знал раньше, Елизавете Никандровне не разрешил бы работать в библиотеке... с вами.

Она еще повсхлипывала и перестала совсем. Скорбно поджав губы, сидела и думала о чем-то. Потом произнесла:

— Это было бы правильно.

Кружилин лишь пристально глядел на нее.

— Я ведь понимаю, зачем вы меня вызвали. Но скажу вам только следующее: разговор о совести ни к чему не приведет. Одному человеку в совести другого разобраться трудно.

— Не всегда,— усмехнулся Кружилин.

Но она на это не обратила внимания, продолжала:

— Так что вы живите со своей совестью. А мне оставьте мою. Разрешите мне уйти?

— Я же вам сказал — идите.

Несмотря на это, она продолжала сидеть, опять прикрыла косынкой толстые колени.

— В смерти жены Савельева я не виновата...

— Я в ней не обвинял вас.

— Ну, я не дурочка, все понимаю,— возразила она. — Но это ваше дело. Я никогда не хотела ее смерти. Что мне она? — И повторила: — Но прислали вы ко мне ее напрасно.

— Она сама попросила.

— Я это поняла. Не надо было.

Только здесь она встала, опять вытерла уже сухие глаза. Но уходить все медлила и, постояв, усмехнулась.

— Совесть... Вот я вам скажу, а вы думайте что хотите. Я баба грязная и распутная. Я до Полипова со многими жила, без разбору. И сейчас с Малыгиным... Может, я за него замуж выйду, не знаю...

— Даже... так? — невольно произнес Кружилин.

— Я же говорила: может, это серьезно... А может, нет. Но с Полиповым я жить, если он и вернется, не буду. И писем ему больше писать не буду.

— Освободите меня от этих ваших... Знать мне ваши планы ни к чему.

— Неправда,— заявила вдруг Полипова.— Вам интересно, почему не буду. И я скажу...— Она замолкла, соображая, что, собственно, сказать-то. Вспомнила слова, которые недавно бросила о своем муже в мучительно искаженное лицо Савельевой, подумала, что все их повторять Кружилину не надо и нельзя.— Я зна-аю, что вы думаете о Полипове. Это тоже ваше дело. Я лишь скажу одно — он тоже мерзкий человек, как и я, но, в отличие от меня, он тряпка... трус и подонок. Но когда надо, он растопчет любого, не пожалеет. Чтобы самому жить... О-о, на фронте он не погибнет, уцелеет,— усмехнулась она.— Я это знаю. Вот и все, что я о нем хочу вам сказать. А больше ни слова не дождетесь, как бы ни хотели.

— Я, повторяю, ничего не хочу. И все это я о нем знаю. Даже больше, чем вы.

— Ну, не больше, положим...— опять упрямо возразила она, раздражая теперь его.

— Идите же! — чуть не грубо сказал Кружилин.

— Да, да... Так что с совестью моей вот так. Она у меня тоже не простая... И не приглашайте больше меня ни на какие беседы. Не приду.

Круто повернувшись, она ушла. Кружилин ожидал, что она с грохотом хлопнет дверью, но Полипова прикрыла ее за собой мягко.

Она ушла, а на душе у Поликарпа Матвеевича стало скверно. Собственно говоря, она же его отхлестала. Но дело даже не в этом, не надо было вообще приглашать ее для этого разговора. Что он дал, что мог дать любой разговор с ней?

Но, подумав немного, Поликарп Матвеевич пришел к иному выводу: нет, этот разговор что-то ему дал. Что? Полипова эта, кажется, не такая уж простая... Но, собственно, всякий человек не прост. Кажется, с ней что-то происходит. «С Малыгиным у нас по-серьезному все, может... С Полиповым я жить не буду...» Н-да, снова подумал Кружилин, обрушилось на планету невообразимое бедствие, полыхает на ней самая страшная в истории человечества война, пожирает все живое и неживое, даже камни и железо, а люди все равно живут своей непростой и нелегкой жизнью — плачут и смеются, любят и ненавидят, рождаются и умирают. Ничто не останавливается в этой извечной машине, запущенной неизвестно когда, в мрачных глубинах минувших веков...

* * *

Солнце било в широкие и высокие окна приемной первого секретаря Новосибирского обкома партии, пронизывало даже легкие матерчатые занавески, которыми до половины были задернуты окна, яркими желтыми полосами растекалось по паркетному полу от стены до стены. Иван Михайлович Субботин, войдя в приемную, невольно прижмурился.

— Сколько у вас тут сегодня света! — весело сказал он секретарше, немолодой опрятной женщине, сидящей за столом, уставленным телефонами.

У стола секретарши сидела еще одна женщина, врач областной поликлиники, которую Иван Михайлович хорошо знал, у ног ее стоял медицинский баульчик. Проходя к двери кабинета, Субботин поздоровался с ней, спросил:

— Заболел кто у нас?

— Нет. Я... прививки пришла делать.

— От вас не отвертишься,— улыбнулся Субботин и с тем открыл тяжелую дубовую дверь.

Первый секретарь, дымя папиросой, расхаживал по кабинету вдоль длинного стола для заседаний и, когда вошел Субботин, находился к нему спиной. Он обернулся живо, как-то торопливо, немедленно раздавил папиросу в пепельнице и произнес:

— Добрый день, Иван Михайлович. Садись,— указал он на крайний стул у этого длинного стола.

Что-то в его поведении Субботина насторожило, но хорошего настроения не испортило. Он, ответив на приветствие, сел и, не привыкший первым задавать вопросы начальству, стал ждать. А тот, усевшись напротив, смотрел куда-то в сторону, нахмурив брови. Тут уж Субботин обеспокоился, подумав, что первый собирается за какое-то упущение выговаривать ему.

— В Шантару когда едешь? — спросил первый.

— Сегодня во второй половине дня. Как договорились с тобой вчера... Пленум райкома у них через три дня, но я хочу по полям поездить, еще раз все посмотреть.

— Да, да... Значит, рожь у Назарова там выдержала засуху?

Обо всем этом, в том числе и о «ржи Назарова», они долго говорили вчера вечером, Субботину было теперь странно, что первый, никогда не имевший привычки возвращаться к тому, что раз уже было обговорено и решено, снова заводит об этом речь, и какое-то тревожное предчувствие кольнуло ему в сердце.

— Более или менее выдержала.

— По всему видать, Шантарский район по хлебу будет снова первым.

— Кажется, так... Я полагаю, надо бы нам в конце концов представить к правительственным наградам группу работников района. Ты смотри, сколько они там строительного леса заготовили! Кружилин докладывал — до последнего бревна все сплавили по реке, сейчас пилят на доски, строят полным ходом жилье для рабочих завода. В общем успешно они решают эту проблему, самую для них трудную.

— Да, попытаемся давай,— сказал первый секретарь. — И обязательно Назарова. И погляди, кого там еще из его колхоза. Пусть райком кандидатуры представит.

— Неурожай все же. Как... чем мотивировать? — помолчав, спросил Субботин.

— Мотивировать... Слово-то какое! А так и обозначим в представлении: за получение высоких урожаев ржи в условиях засухи... А там, в Москве, пусть поправляют, как хотят.

— Хорошо. Вот за это... за это народ нам спасибо скажет.

— Нам,— поморщился первый секретарь.— Мы должны нашему народу спасибо говорить.

Он поднялся, отошел к окну. Отодвинув в сторону занавеску, стал молча смотреть на улицу. Субботин остался сидеть. Его давно беспокоила неотвязная мысль: первый секретарь говорит одно, а думает, кажется, все время о чем-то другом. О чем же? Что это все значит?

— Не знаем мы... Я по крайней мере не знал еще, как за эти два трудных и страшных года узнал, наш народ,— проговорил он от окна.— Ему не только спасибо — в ножки надо кланяться. Низко-низко... И поклонимся публично, перед всем миром, Иван Михайлович, придет час. Я это знаю... Назарову этому, Нечаеву, Кружилину — всем. А ты говоришь: чем мотивировать? Кстати, как там Нечаев?

— Как? Умирает медленно. Это всем ясно. И он сам знает.

— Да, удивительно, — тихо проговорил первый секретарь обкома.— А что унесет с собой в могилу? Ничего, кроме сознания честно исполненного человеческого долга перед людьми, перед землей, по которой ходил. А это немало, Иван Михайлович. И ему, я полагаю, легко умирать...

Странные слова, отметил Субботин, произнес секретарь обкома. А мысль, заложенная в них, не странная, не кощунственная. Вот как бывает. И спросил:

— Что там, в Наркомате, по поводу будущего директора завода думают? Кружилин беспокоится... Утвердят Хохлова? Ты хотел поговорить с наркомом.

— Я говорил, Иван Михайлович. Миронов какой-то вроде будет назначен. Генерал из Наркомата. Из репрессированных в тридцать седьмом. Сейчас полностью оправдан. Сам почему-то попросился на этот завод, как объяснил нарком. Почему сам? Ты не знаешь?

— Не имею понятия.

— Да, да... Ну ладно, Иван Михайлович.— Говоря это, первый секретарь обкома медленно отвернулся от окна, так же медленно двинулся к своему рабочему столу. Но, подойдя к нему, не сел, а лишь взял со стола какое-то письмо с приколотым к нему конвертом, с трудом поднял тяжелую голову.— Иван Михайлович, я должен... обязан, к сожалению, сообщить это тебе. Ты мужественный человек... Твой сын Павел...

Первый секретарь обкома это говорил, а все вещи, находящиеся в кабинете,— мебель, портреты на стене, занавески на окнах и сами окна — потускнели вдруг, качнулись и поплыли, поплыли... И сам первый секретарь обкома как-то странно наклонился и, не падая окончательно, метнулся к нему. В уши ударило еще раз глухо и больно:

— Иван Михайлович! Иван...

...Он очнулся на диване. Рядом на стуле, взятом от стола для заседаний, сидела та самая женщина-врач, которую Иван Михайлович видел в приемной,— теперь она была в белом халате. Первый секретарь обкома стоял возле нее.

Очнулся Иван Михайлович оттого, что услышал запах какого-то лекарства. В голове стучало. И в груди, там, где сердце, стояла тупая, тяжкая боль.

Он приподнялся, спустил ноги на пол.

— Пашка, средний сын... Последний,— мучительно проглотив тяжелую, с острыми краями пробку, торчавшую в горле, проговорил он.— Сперва крайних выбило, теперь в середку... Теперь я совсем один.

— Теряем сыновей, Иван. Теряем дочерей...— проговорил первый секретарь обкома, присаживаясь рядом на диван.— Не ты один теряешь. Всем тяжко...

— Да, это так.— Субботин, судорожно вздохнув, поглядел мутными глазами на врача, на первого секретаря.— Спасибо вам...

— Поезжай домой, Иван Михайлович. Отдохни, успокойся, если можешь... Вот Зинаида Даниловна побудет с тобой.

— Нет... Я пойду к себе в кабинет. Что же... надо работать. Надо работать.

— В Шантару ехать я тебе запрещаю. На пленум кого-нибудь другого пошлем.

— Нет, я сам поеду,— упрямо мотнул он белой головой.

...Когда Иван Михайлович Субботин снова шел через приемную, солнечные полосы, бившие из окон и растекавшиеся по паркетному полу, были черными, и он спотыкался об них.

* * *

Было второе августа, день стоял безветренный, теплый, небо чистое и высокое.

На берегу Громотухи оживленно, как на воскресном базаре. Галдели и кричали люди, на разные голоса звенели и хрипели пилы, скрипела прибрежная галька, по которой на лошадях таскали из воды мокрые, тяжелые бревна. Их распиливали тут же вручную на доски, на брусья, соорудив для этого высокие козлы, складывали в штабеля, а оттуда грузили на автомашины и подводы, увозили.

На не расчаленных еще плотах купались ребятишки, с хохотом и визгом прыгали в воду, подымая тучи брызг. Старухи и женщины подбирали древесную кору и щепки, всякие обрубки и опилки, связывали в вязанки или нагружали ими ручные тележки и увозили к себе домой — на топливо.

Над рекой по всему берегу стоял густой и холодный запах коры и сосновых опилок.

— Хорошо, а! — воскликнул Субботин, оглядывая всю эту трудовую суматоху.— Весело.

— Оно весело, пока с тучки не навесило,— сказал Филат Филатыч. Он стоял рядом, простоволосый, прижимая к груди замызганный старинный картуз.

Кружилин только что познакомил Субботина с ним, сказав:

— Вот он, Филат Филатыч, и приплавил нам лес с верховьев Громотухи.

— Спасибо, Филат Филатыч,— повернулся к нему Субботин, с любопытством оглядел.— Я знаю, что ты великого уменья в этом деле.

— Откуда ж, барин? — сорвав свой головной убор, спросил, посверкивая узкими глазками, неугомонный старик.

— Это какой же я тебе барин?! — изумился Субботин.

— А кто ж ты таков? Из самого Миколаевска, слыхал. Глядишь вон как строго. Ух! Откудова я тебе, грешный, известный-то?

— И что грешен ты, знаю! Жену ты сильно обижал. Так?

— Ну... было,— растерялся старик.— Да ты кто ж таков?

— Барин я, ты ж определил... А жена у тебя славная была. А ты дурачок-лесовичок.

С этими словами Субботин отвернулся и, наморщившись, сунул ладонь под полувоенный френч, стал растирать защемившее опять сердце. А старик так и остался стоять, прижав к груди своей картуз.

Пощипав, сердце отпустило, Иван Михайлович снова улыбнулся и произнес это «весело», на которое откликнулся Филат Филатыч, все еще с удивлением оглядывая Субботина.

— Откуда ж сегодня дождю быть? — спросил Филата Филатыча Кружилин.— На небе ни тучки.

— А будет. Седни Ильин день. А на Илью до обеда лето, говорится, а после обеда осень.

— Да вон же какая жарынь стоит!

— А поглядим,— усмехнулся опять старик.— Не дождик, так гром постучит, это уж обязательно. Илья сатане места не да-аст!

— Ну-ну, интересно,— повернулся к старику Субботин.— Почему ж не даст?

— Осерчал.

— За что же?

— Так дело как у них было? — Старик наконец картуз свой бросил на голову, полез за кисетом.— Сатане шубу надо было сильно к спеху сшить. Холода, значит, должны скоро подступить, а он без шубы еще. Сел он под сосну с утра, принялся

за дело, да не поспел к вечеру. А ночью, известно, темно. Ну, в тую ночь Илья-то и гремел, оповещал, что лето кончается. Как молния блеснет, сатана и продернет иголку с ниткой в шубу. А там опять темно, ждать опять надо, ни иголки, ни шва не видать. Ну, леший терпел-терпел да заворчал: «Што ж ты, Илюха, не часто светишь, обессилел, что ли, козел облезлый?» Илья-то на это и осерчал, ка-ак пустил в черта громовую стрелу. Да он, черт, на то и черт, увернулся. Сосну расщепало, а черт убёг со своей шубой. Ну, с тех пор и гоняется Илья за ним, не дает нигде присесть. Где сатана лишь притулился, а тот стрелу туда пущает...

— Интересная сказка,— проговорил Субботин.— Я даже такое где-то и слышал...

— Вам все сказочки, эх! — обиделся старик.— Я лесовик, умом невелик, да знаю — испокон веков зажин ржи у нас тут на Семенов день делали. Это по-нынешнему третьего августа, завтрева. А вы только, слыхал, послезавтрева этот, как ваше собрание там называется? Послезавтрева собираетесь речи говорить: как, мол, нам хлеб молотить. А что речи? Надоть жатву начинать. А то ныноче...

— А мы, Филат Филатыч, уже целую неделю рожь убираем,— сказал Кружилин.

— Н-но? — похлопал глазами старик.

— А что нам этого Семенова дня ждать? Как созрела, так и начали.

— А это правильно: чего ждать? — тут же согласился старик. И все-таки ввернул свое: — По нонешнему урожаю, конечно. А так — на Семенов день надо, как люди всегда делали.

Шагая от реки, Субботин опять морщился, держал руку на сердце. Кружилин давно заметил это, спросил:

— Иван Михайлович, тебе... нехорошо?

— Нет, нет. Сейчас вот перекушу чего, и по полям поедем. К Назарову напоследок хочу заглянуть. Кстати, первый секретарь обкома сказал, чтоб его и других, кого считаешь нужным, к наградам представить.

Субботин говорил, тяжко дыша, на лбу его проступили капли пота.

— Пойдем ко мне пообедаем.

— Перед отъездом еще на завод заглянем... А занятный этот Филат Филатыч. Ишь как он — «барин»! Ты давно его знаешь?

— С гражданской. Даже еще раньше.

— Так ты не забудешь — к наградам?

— Разве такое забывают?

— А после пленума, Поликарп, мы с тобой кое-куда сходим. К этой самой Акулине Тарасовне, бывшей жене Филата Филатыча. Передавал ты ей от меня поклон?

— А как же. Разыскал я ее...

— Спасибо. Вот и еще раз хочу зайти к ней, попрощаться...— И, видя, что Кружилин что-то хочет сказать, торопливо добавил: — Ну ладно, ладно, иди по своим делам, а я — к себе. Не провожай дальше! Через час-полтора я приду в райком.

Повернул в переулок и пошел. Кружилин, заподозрив неладное, шел за ним в отдалении. Но Субботин шагал твердо, ноги ставил крепко, худая спина его покачивалась в такт шагам. Не обернувшись ни разу, он скрылся за дверью крохотной, в четыре комнатушки, шантарской гостиницы, которая именовалась исстари «Заезжий дом колхозника».

* * *

Не пришлось больше Ивану Михайловичу Субботину поездить по полям, сходить к Акулине Тарасовне Козодоевой, напрасно ждали его Нечаев и Савчук на заводе, не увидел он больше Назарова. Последний раз подышал он в этот день чистым речным воздухом, напоенным запахом солнца и свежей сосны, последний раз глядел на сверкающую воду, на купающихся ребятишек, на чистое голубое небо.

Он еще нашел в себе силы так же твердо пройти по узкому коридорчику заезжего дома. Но, зайдя в свою комнатку, где всегда останавливался при наездах в Шантару, обессиленно прислонился к стене. Постояв, он кое-как доплелся до тумбочки, налил в стакан воды, накапал туда валерьянки. Выпив это, упал на кровать

и стал жадно заглатывать воздух. Пот со лба и щек скатывался крупными горошинами. В груди была сплошная боль, которая застилала сознание.

Через некоторое время его чуть отпустило. Он, видя, как шатаются, колеблются стены, поднялся, шагнул к двери, толкнул ее и, держась за косяк, чтобы не вывалиться в коридорчик, позвал:

— Маруся, милая...

Маруся, тощая, угрюмая женщина в мужском пиджаке, которая была директором, сторожем и уборщицей этой гостиницы, тотчас выглянула из своей каморки, где у нее хранились веники, ведра, тряпки для мытья полов и где она жила сама.

— Будь доброй, Маруся... Тут у вас живет такая старушка Козодоева... Ты, может, знаешь?

— Ну? Это бабушка Акулина, что ли?

— Она мне нужна очень... Позови ее, пожалуйста, если не трудно. Сходи, Маруся...

Женщина немного удивилась такой просьбе секретаря обкома, но, не страдая любопытством, лишь сказала:

— Счас.

— А после, как позовешь ее, в райком зайди. Кружилину скажи, чтоб пришел.

— Ладно.

Никто не знал, что Иван Михайлович, бывая в Шантаре, выбирал иногда вечерок и захаживал к одинокой старухе, она тогда ставила самовар, они сидели, пили чай, вспоминали далекое прошлое и рассказывали друг другу о своей жизни. Иван Михайлович предложил ей однажды какую-то помощь, но та наотрез отказалась: «Еще чего! Не позорь меня, ради бога, избушка у меня есть, с огородишка то да сё на базар таскаю... Да много ли мне теперь надо? Не-ет, Ванюшка... А так — заходи по-стариковски, это мне в радость...» А теперь вот дойти до нее не мог, позвал к себе.

Он ждал ее, лежа на спине, глядя в потолок, ощущая, как при каждом ударе сердца в нем что-то больно обрывается, какая-то ниточка. И когда она вошла, легкая, сухонькая, он повернул к ней голову, улыбнулся.

— Здравствуй, здравствуй. Вот... позвал тебя попрощаться.

— Господь с тобой! Захворал, что ли?

— Да нет, умираю просто.

— Будет молоть-то! — проговорила старуха, присаживаясь на стул, но, поняв, что он сказал это не шутки ради, тут же поднялась тревожно.— Фершала надо ж! Ты чего?!

— Не надо... Сядь-ка,— попросил он тихонько.— Все, никакой врач, ничто уже не поможет. Отбегал, отмаялся я на земле родимой... С тобой вот напоследок хочу побыть. Все.

И старая Акулина Тарасовна, глядя на его иссохшее, еще живое, но уже обострившееся лицо, с которого отхлынула уже кровь, поняла, что это действительно все, что не надо бежать ни за какой помощью, не надо суетиться. В прежние времена в такие минуты звали священника, теперь попов нет, да он и безбожник, он позвал ее потому, что легче, видимо, ему умирать при ней.

— Ванюшка! — выдохнула только она шепотом и, невесомая, опустилась на стул возле кровати, беззвучно заплакала.

— Это зря ты. Зачем? Теперь плачь не плачь...

В комнатушке некоторое время постояла тишина, нарушаемая лишь негромким и частым дыханием Субботина.

Потом дыхание его успокоилось, он повернул голову и стал глядеть не мигая на Акулину Тарасовну. На бескровном лице его проступило что-то живое, в глазах засветилась теплота. Она в синей широкой юбке и пестренькой ситцевой кофточке сидела перед ним, сложив на коленях маленькие, сухие руки. Он дотронулся до них потной ладонью, погладил.

— Что ты? — чуть смутилась она.

— А ты знаешь, я эти руки твои помню. Как ты прикасалась ими, когда перевязывала меня... там, в тайге. Сколько времени-то прошло с тех пор!

— Сколько? Четыре десятка годков уж.

— Четыре... Не наткнись ты на меня там, не прожил бы я их. Спасла ты меня.

— Я ли тебя, ты ли меня...— сказала старая женщина.— Тебя медведь изодрал, и меня лихоманка била. Да от голода свет уж мерк в глазах.

— Да, я помню того медведя... Шатун был, не приметил я его издали, наткнулся. Он и пошел на меня. Я ведь не помню, как я его... Откуда силы взялись!

Он еще помолчал, все глядя на Акулину Тарасовну. И, не отводя глаз, проговорил вдруг:

— А я, Акулина, когда нам пришлось растеряться тогда в тайге... все думал потом: однако, ребенок у тебя будет?

— От... вспомнил опять! — воскликнула она и торопливо отмахнулась рукой от его слов, тут же опустила глаза, затем принялась без нужды разглаживать юбку на коленях.— Это... не промеж нас и было.

— Как же не промеж?..

...Это случилось промеж них по самой ранней весне, когда и снег еще не набрякнул влагой, лишь немного осел меж деревьев, обнажая корявые стволы, которые оттаивали под теплыми лучами солнца и к полдню начинали обычно испускать живой запах. Случилось естественно и просто, как просто наступает утро в определенный природой срок.

Субботин давно окреп, Акулина выходила его. Выздоровев, он расширил земляную нору, сделал что-то наподобие землянки с глиняной печкой и с дверью, сплетенной из еловых веток, даже с оконцем, вставив в дверь нетолстую ледяную пластину. Света она почти не пропускала — так, мерцало днем тусклое пятно, все равно надо было сидеть днем с жировым фитильком.

Проверив однажды проволочные петли на зайцев, перемерзнув в тайге, они растопили в своей норе печку, пожевали надоевший им пресной зайчатины. Акулина легла в свой угол, на подстилку из еловых веток, укрылась рваной тужуркой.

— Продрогла, что ль? — спросил он, хотя это было понятно и без того.

— А ты, никак, погреть меня хочешь? — блеснула она в полумраке глазами из-под тужурки.

— А что ж... Ты же меня грела.

Да, когда он валялся беспомощный и его колотило в ознобе, она, и сама-то не совсем выздоровевшая, грела его, как могла, своим телом, плотно прижимала к себе то спиной, то животом, совала его холодные ладони к себе под мышки, со всех сторон подтыкала под него эту тужурку — единственное, чем они вдвоем могли укрыться. Когда потихоньку сознание его начало проясняться и он пробовал иногда чуть отодвинуться от ее теплой груди или плеча, она говорила шепотом, будто кто их мог услышать:

— Не балуй. Ты не мужик, а я не баба счас. Выздоровеешь, бог даст, тогда стыдиться будем.

Окрепнув, они оба не особенно и стыдились друг друга, но спали в разных углах, и ни она, ни он даже и одной попытки не сделали в нарушение этого принципа — «ты не мужик, а я не баба». Ни одной до того вечера. Но мертвым мертвое, а живым все-таки живое, пришла минута, и задал Иван ей этот ненужный вопрос, который она мгновенно поняла. И, еще раз блеснув из-под рваной, прожженной у таежных костров тужурки, просто сказала:

— Ладно, иди уж...

И потом она, забывшись в извечной бабьей радости, лишь шептала исступленно в его бородатое, пахнущее смоляным дымом лицо: «Ванюшка, сердешный...»

— Как же не промеж? — еще раз сказал Иван Михайлович, такой же немощный сейчас, как в те дни, когда поломал его медведь-шатун, но с той разницей, что никакое тепло, никакой уход и забота теперь его не поднимут больше на ноги.

— Не было, Ванюшка, ребеночка...

— А я после, как убежал от кержаков, на третью, что ли, ночь, я пришел в ту канаву, где тебя оставил. И на четвертую, и на пятую приходил. Искал все тебя...

— Да я, Ванюшка, другой же ночью ушла. Я думала... Я ж рассказывала все тебе не раз.

— А потом я тебя все ждал в Новониколаевске. Придешь ты, думаю, поженимся мы. Да не дождался.

— Оно вишь как вышло-то, Ваня,— произнесла старуха виноватым голосом.— Филат-то Филатыч, говорила я, меня и поженил. Не дошла.

Он кивнул. Они обо всем этом говорили много и подолгу раньше, и теперь Иван Михайлович в последний раз вспоминал из их прошлого самое сокровенное, что всегда, видимо, жило в его душе и что сейчас облегчало его последние минуты.

— Перед смертью, Акуля, я тебе хочу свое спасибо сказать. За все. За доброту твою. За руки твои. За все, что промеж нас было... За этим и позвал.

Старуха беспомощно и тоскливо, как щенок, заскулила, повалилась вперед, на кровать, ткнулась лицом в грудь Субботина, худенькая спина ее, обтянутая пестрой кофточкой, мелко затряслась...

Так и застал их Кружилин, вбежавший торопливо в комнатушку.

— Что?! Иван Михайлович?! — вскричал он тревожно.

Субботин только рукой махнул, а старуха, приподняв мокрое лицо, попросила:

— Ты не тревожь его. Отходит он.

— Что-о?! — Кружилин сделался белым как мел.— Вы... с ума сошли!

Слова эти означали непонятно что. Может быть, несогласие с тем, что сказала эта старуха, возмущение, что возле Субботина нет врача. Он метнулся обратно к двери, закричал без памяти:

— Эй, кто там? Мария? В больницу скорее! Врачей! Пусть немедленно сюда бегут все, кто там есть! Кто там есть...

По коридору послышался топот, а Кружилин качнулся к Субботину, упал перед кроватью на колени.

— Ну, что, что?!

— Ни одного врача не надо, а ты — всех,— проговорил Субботин негромко.— А мы вот с Акулиной Тарасовной тут... вспоминаем. После пленума я к ней хотел... Да вот саму ее попросил сюда... Ты уж пригляди за ней, Поликарп.

Кружилин схватил Субботина за сухую руку, начал бессмысленно повторять:

— Иван Михайлович... Иван Михайлович...

— Ну что «Иван Михайлович»? Возьми себя в руки, Поликарп.— Лоб Субботина был мокрый, Акулина Тарасовна мягким платком обтерла его.— И послушай, что я скажу... Ты сядь, чего на коленях?

— Я слушаю, слушаю,— покорно произнес Кружилин, поднялся, взял стул. Беря его, глянул в окно — где там врач?! Хотя и понимал, что врачу еще поспеть не время.

— Умираю я спокойно, Поликарп,— проговорил Субботин.— Все, что мог, на что я был способен, я сделал на земле. Сыновей я вырастил неплохих... Жаль немного, что не от нее вот,— показал он глазами на Акулину Тарасовну.— Но я свою жену и любил, и уважал... Я тебе о ней рассказывал. Ты понимаешь?

— Да, да,— сказал Кружилин, чтобы успокоить Субботина.

Неожиданно донесся издалека приглушенный раскат грома, Субботин расслышал его, шевельнул в сторону окошка головой:

— Это что, а? Гроза?

— Далеко это, за Звенигорой где-то.

— Значит, там сатана... со своей шубой-то присел,— трудно проговорил Субботин.— Филат-то Филатыч прав все же оказался. Насчет дождя-то сегодня.

— Дождя пока нет. Может, и не будет.

При упоминании Филата Филатыча в глазах старухи, обтиравшей лоб и бескровные щеки Субботина, мелькнул вопрос.

— Сегодня я случайно увидел его. Интересный старичок... Интересный,— сказал он ей.

Затем прикрыл глаза и, хрипло дыша, лежал так, пока не вбежала, задыхаясь, врач. Она на ходу кивком головы попросила отойти от кровати секретаря райкома и старую Акулину, схватила руку Субботина, нащупала пульс, одновременно пальцами раздвинула ему веки, поглядела в глаза. Потом торопливо раскрыла свою сумку, выхватила коробку со шприцами.

— Руку ему обнажите. Живо!

Пока Кружилин расстегивал рукав, врач набирала в шприц лекарство. Сделав укол, она устало, еле слышно, вздохнула.

— Ну, что, что?! — спросил Кружилин, как несколько минут назад у самого Субботина, хотя все было ясно и без пояснений.— А где главный врач?

— Он на заводе.

— Что, Нечаеву плохо?!

— Приступ начался прямо в цехе. Мы вам в райком звонили...

— Спасибо, доктор,— открыл в это время глаза Субботин. И вдруг усмехнулся — последней в своей жизни улыбкой, тихой и слабенькой.— Что бы мы в жизни делали без докторов?

Врач на это ничего не ответила. Она опять держала его за кисть руки, считала пульс.

— Я тебе что-то хотел сказать, Поликарп? — спросил Субботин.— Да, вот что... Мы вот с ней вспоминали,— он показал глазами на Акулину Тарасовну, стоявшую у стенки.— Тогда, давно... Медведь-шатун меня в тайге ломал — страшная, жуткая сила! И вот сейчас мне кажется, что всю жизнь... всю жизнь меня какая-то подобная сила крутила, одолеть старалась. А я не давался. Я пытался сам ее одолеть. Иногда это мне удавалось, как в тайге тогда... Иногда нет. Но я изо всех сил, какие были, сопротивлялся... В этом, наверное, и смысл жизни человеческой, а? Как думаешь?

— Да, в этом. В чем же еще-то? — сказал Кружилин.

— Потому нам и народ верит, Поликарп. Он верит, что мы, коммунисты, всегда... Что мы...

Он на полуслове судорожно вздохнул, затем, глядя в потолок, начал дышать часто-часто. Но постепенно дыхание его успокаивалось, становилось все ровнее и тише, тише, пока не прекратилось совсем. Врач, державшая его руку, медленно стала класть ее ему на грудь. И во всем этом не было ничего страшного, Кружилин еще какие-то секунды будто не понимал, что это все, что это конец. А потом вскричал не своим голосом:

— Иван Михайлович!

Старая Акулина Тарасовна легонько отодвинула его в сторону, мягко попросила:

— Не кричи. Грех.

Наклонилась над умершим, прикоснулась старческими губами к его губам, сухим и теплым еще, и закрыла ему глаза.

...Не видя дороги, с трудом соображая, что надо немедленно сообщить о кончине Ивана Михайловича Субботина в обком, Кружилин вышел на улицу. Грозы никакой не было, небо сияло голубой чистотой, лишь над Звенигорой качались небольшие тучки, не то наплывая оттуда, не то уходя за острые каменные утесы...

Здесь, на улице, к нему подошла женщина-врач, сказала опять:

— Приступ у Нечаева начался прямо в цехе. Мы еще успели донести его до заводского медпункта.

— Что, и Нечаев?!

— Да, Федор Федорович двадцать минут назад скончался.

* * *

Пленум райкома партии, назначенный на четвертое августа, не состоялся. Не состоялся он и в последующие дни, заполненные похоронами директора завода, отправкой в Новосибирск тела Субботина Ивана Михайловича... Все это невеселое дело происходило как бы под салют артиллерийской канонады в Москве, первый салют, которым страна праздновала небывалую еще за всю войну свою победу над гитлеровской армией под старинными русскими городами Орлом и Белгородом.

Лишь десятого августа руководители и активисты Шантарского района собрались в Доме культуры, в не очень высоком и в не очень просторном зале, чисто вымытом и вычищенном. И Кружилин, за эти дни похудевший и постаревший, предложил почтить минутой молчания память умерших товарищей.

Минута эта длилась долго. Затем, когда люди бесшумно сели, он сказал:

— Коммунисты умирают, а живым — продолжать их дело. Разрешите начать работу пленума районного комитета партии...

* * *

Конец лета, осень и зима 1943 года были для Поликарпа Матвеевича Кружилина самым тяжелым временем за всю войну. Первые военные месяцы, прибытие и размещение эвакуированных, тот невообразимый кошмар с восстановлением завода — все это казалось теперь пустяками в сравнении с тем, что надвигалось на район, уже, собственно, давно надвинулось. Имя этому было голод. А нынешней весной появилась к тому же таинственная болезнь. Сначала у людей принималось чуть побаливать горло, поднималась температура. Затем глотка, язык, вся полость рта покрывались желтым налетом, боли возрастали, в глотке появлялись нарывы и язвы, больные начинали задыхаться и в конце концов теряли сознание. Многие, так и не придя в себя, умирали в судорогах.

— Заболевание начинается как типичная ангина,— сообщил на бюро райкома, где слушался вопрос «О состоянии медицинского обслуживания населения», главный врач Шантарской больницы Самсонов. Скрюченный временем старик из эвакуированных, он был хорошим специалистом.— Но потом происходит нечто для меня непонятное... То есть я подозреваю, что нарывы в горле, вскрываясь, выделяют сильные токсические вещества, которые, видимо, и поражают весь организм. Происходит сепсис, то есть общее инфекционное заболевание организма, которое и приводит к летальному исходу, то есть к смерти. Но причины, причины возникновения этого заболевания мне непонятны пока. Однако...

— Что? — спросил Кружилин, когда тот неуверенно замолчал.— Говорите.

— Мои наблюдения случайны и научной ценности, скорее всего, не представляют. Но я счел долгом сообщить о них в облздравотдел. Мало ли, знаете... Так вот, посещая больных, я видел у некоторых белый хлеб. Настоящий белый пшеничный хлеб. Мы по карточкам выдаем белый хлеб?

— У нас и черного нет,— сказал угрюмо Кружилин.— Карточки почти не отовариваются.

— Вот видите... Я выяснил — все умершие от этой болезни употребляли этот хлеб. А откуда он? Люди нынче весной собирали по полям случайно оставшиеся на земле прошлогодние колосья...

— Да, мы разрешили это нынешней весной,— сказал Кружилин.

— И мой высыхающий мозг начала сверлить мысль: не набирает ли зерно, перезимовавшее на земле под снегом, каких-то токсинов, не становится ли оно ядовитым?

Старый доктор был прав, зерно, перезимовавшее на земле под снегом, становилось ядовитым, оно и вызывало то заболевание, которое было названо септической ангиной. Когда это стало известным, по радио и в районной газете немедленно было объявлено о зловещих свойствах зерна, вышелушенного из таких колосьев, и о том, что такое зерно меняется на доброкачественное килограмм за килограмм. На дверях всех учреждений, на всех заборах были расклеены соответствующие листовки и плакаты, и уже в конце июля новых заболеваний зловещей болезнью не наблюдалось. Зато по всему почти району начал падать скот, разразилась жестокая эпидемия ящура. Проклятый вирус не щадил ни коров, ни овец, ни коз, и каждый вечер на выгоне за селом, куда шантарские бабы и ребятишки выходили встречать возвращающееся стадо, возникал женский плач и рев. Это означало, что их коровы или козы, утром еще здоровые, теперь шли, пуская до земли клейкую слюну, что семья, скорее всего, лишится теперь единственной кормилицы.

За какие-то две недели ополовинилось и без того скудное поголовье скота в колхозах и совхозах. Бороться с эпидемией было почти невозможно, противоящурной сыворотки в районе практически не было, из области прислали немного, каплю из необходимого моря...

Случилась эта беда вскоре после смерти Субботина и Нечаева. Кружилин, дни и ночи проводивший в хозяйствах района и лично следивший за организацией карантинов, захоронением павших животных, дезинфекцией скотных дворов и пастбищ, насквозь пропах карболкой, усох еще больше, почернел, как чугунная доска, к вечеру его шатало, будто пьяного.

— Загулял ты, парень, аж нога об ногу заплетается,— так и сказал Назаров, когда Кружилин каким-то вечером оказался в Михайловке.

Они сидели на куче плах, сложенных у стенки амбара, перед ними был ток с тремя длинными соломенными навесами. Два навеса были пустынны, под третьим шла работа — стучали веялки, под навес въезжали брички-бестарки с зерном, женщины и ребятишки деревянными лопатами и совками разгружали их, провеянный хлеб насыпали в тачки и по настилу из досок возили в амбар. Солнце еще было довольно высоко, оно обливало каменные громады, взгорье за током и соломенные крыши навесов жидкой медью, которая струями стекала по столбам и, казалось, мелкими каплями прокапывала сквозь крышу вниз, капли при этом застывали, накапливались на земле кучами.

— Гуляю вот. На Руси горе всегда водкой заливали...— усмехнулся Кружилин.— Урожай сгорел, теперь без скота остались.

— Оно где тонко, там и рвется всегда,— невесело отозвался Назаров.— Это закон известный, что ж...

— Что ж дальше-то будет, Панкрат?

Кружилин спросил это не потому, что не знал, что будет дальше. Ему надо было облегчить неимоверную тяжесть в душе, выплеснуть ее, как ведро жидкого свинца, оттягивающее руки, плечи. Ни перед кем другим он этого бы не сделал, а перед Панкратом можно было, для этого он сюда и завернул, хотя знал, что в общем-то это самообман. Но ему просто захотелось посидеть с ним рядом, помолчать просто, хотя опять же знал, что молчания никакого не получится.

— Голод, что ж дальше... Почище, чем в тридцать третьем.

Кружилин вздохнул тяжко, посмотрел на несжатую хлебную полосу за током. Ток находился на краю Михайловки, сразу же, метрах, может, в ста, и начиналась эта небольшая хлебная полоса. Кружилин вспомнил, что из года в год Назаров сеял тут рожь и ничего больше, скашивал полосу эту всегда позже других.

— Субботин перед смертью сказал: «Всю жизнь меня будто медведь-шатун ломал, будто крутила какая-то дикая и безжалостная сила, а я пытался ей не поддаться, одолеть...» Последние слова это его были.

— Хороший был человек, вечное ему царство небесное,— негромко откликнулся Назаров.— Он всегда в глубь народа глядел.

Под навесом по-прежнему стучали веялки, слышался говорок, раздавались крики, иногда вспыхивал женский смех. Подъезжали и отъезжали брички, гремя колесами, звенело зерно, насыпаемое железными плицами в тачки. Работа шла там безостановочная, веселая и нетрудная, какой и всегда бывала, как давным-давно приметил Кружилин, на любом хлебном току. Хмарь или ясная погода стоит, тепло или холодно — на току работа всегда людям в радость, и, чем больше этой работы, тем веселее, тем легче она идет.

— А дикая сила — что ж, ее хватило на наш век, да и сынам нашим еще хватит,— помолчав, заговорил опять старый председатель.— Но тут что главное понимать? Эвон речка Громотуха наша... Невелика царица, а разойдется, бывает,— только держись, да сумей еще. И крутит, и волной бьет, пеной шипит да в глаза хлещет... Не зря и Громотуха. Но это сверху. А в глубине потихоньку течет и течет неостановимо, куда надо. Ветер хлещет, назад волну гонит, а она вперед течет...

За такими вот словами, хотя это и не было каким-то откровением для него, Кружилин и приехал к Назарову.

— Да-а,— произнес он.— А нахлебаться нынче нахлебаемся.

— Это уж досыта,— подтвердил Панкрат.— Одна радость — немца под Орлом расколотили. Алейников не пишет боле?

— Нет, ничего не получал.

Все время, пока они сидели и разговаривали, чей-то пестрый теленок щипал жесткую, давно пересохшую травку неподалеку от не сжатой еще хлебной полоски, потихоньку приближаясь к ней. Теперь он, раздвинув мордой колосья, вошел туда.

— Потравит же,— указал на теленка Кружилин.

— Эй, Агата! Савельева! Ослепла, что ль? Отгони своего телка от хлеба, язви тебя! — закричал Назаров сердито, не вставая с места.

— Ах он, проклятый! — вскричала и Агата, бросила плицу, кинулась к полосе.

— Распустили скотину. Мало я с вас шкуру за это спускал! — пригрозил председатель сразу всем работницам на току.

— Скосил бы ты ее скорее, эту полоску,— сказал Кружилин.— Пока совсем не потравили.

— Да мы смотрим. Сожнем на днях. Да что эта полоска... По весне обещал твоему Хохлову шестьсот центнеров сверх плана. Да вот и плана нынче не дадим. Народ, конечно, не виноват, а приедет Хохлов, все едино в глаза ему стыдно глянуть.

— Не приедет.

— Что, и он?! — привстал было тревожно Назаров.

— Да нет. На завод я его отпустил все же. Без директора пока завод. Хохлов пока там...

— А на месте его кто ж будет?

— Малыгин.

— Этот... шаромыжник?! — возмущенно воскликнул Назаров.

— А где я другого, не «шаромыжника», возьму? — повысил голос и Кружилин.— Так я кроил и этак... Мужик все же, фронтовик, ранен был... Может, поумнел на фронте. Поглядим... Не председателем его, а и. о., то есть исполняющим обязанности.

Агата, стегая своего телка и что-то визгливо покрикивая, загнала его в деревенскую улицу, возвратилась на ток. К ней шагнула, будто выговаривая за телка, Анна Савельева, тоже работавшая сейчас здесь, потому что вторую бригаду Назаров ликвидировал, работы там никакой не было, на ток возить нечего, а скотные дворы опустели — уцелевших от ящура коров отогнали в карантинные загоны, устроенные в тайге, павших увезли на скотомогильник, всю территорию бригады залили карболкой. Хмурая, повязанная по-старушечьи платком, Анна глянула на Кружилина, в самом деле сказала какие-то слова Агате, та стала будто в чем-то оправдываться, и обе они отошли за веялку.

Еще в июле, сразу же после того как приезжал Кружилин во вторую бригаду с письмом Алейникова об Иване и Семене, опять исчез Андрейка. Он опять убежал на фронт, сообщив об этом в записке, прилепленной к бочке, в которой он возил воду. Убежал он, видно, с вечера, бумажку утром увидела повариха Антонина, пришедшая к бочке за водой, выронила ведро, отодрала записку, с криком побежала к Анне. Но та, глянув в бумажку, в которой, помимо короткой информации, что он, Андрейка, «еще раз пошел на фронт, где Семка», было прибавлено: «Лучше не поднимай, мам, шуму, теперь все равно нас с Витькой никому не поймать»,— будто вняла этим словам и обрезала Тоньку:

— Ну и что шумишь-то? Замолчь.

— Так... ребенок! Погибнет...

Анна записку эту аккуратно сложила вчетверо, зажала в кулаке, отвернулась чуть в сторону и долго глядела молча куда-то за Звенигору. А Тонька, ошарашенная, ждала.

Потом Анна вот таким старушечьим манером завязала потуже платок, вздохнула:

— Значит, это ему сильно надо... Ты, Антонина, молчи. Раз я прошу, ты и молчи...

Повариха и молчала. Анна сказала всем, что сынишка ее уехал на несколько дней в Шантару. Никто и не беспокоился об нем, пока сама же Анна не сообщила о его убёге Назарову.

— Да ты в уме ли?! — вскричал он свирепо.— Где его теперь искать?

Анна на это лишь повторила прежнее:

— Значит, ему это надо было, Панкрат.

...Анна ушла за веялку, и Агата за ней, а Кружилин, проводив их взглядом, спросил:

— Так этот беглец больше и не подал о себе вестей?

— Нет. Как в воду, стервец, канул. Федор, муж, вестей сразу не подавал — ладно... Семка давно молчит что-то. Теперь этот страмец... Прям на виду чернеет баба, углем берется. Все мертвей и мертвей молчит...

— Ладно,— произнес Кружилин обычное, что говорят, когда надо переменить тяжелый, неприятный разговор.— Будем надеяться, все отыщутся... У тебя

сколько в колхозе шантарских ребятишек? Отпускай их давай. В школу скоро. Где они счас-то?

— На карантинах. Коровенок мы по пять-шесть штук разделили по загонам, чтоб в случае чего не на всех зараза расползлась. Детишки за ними ходят, молодцы. До холодов ящур не уймется, это уж известно. Что же, надо отпускать...

— Над ребятами все тот, Володька Савельев, верховодит?

— Он.

Кружилин поднялся, пошел к ходку. Назаров, покашливая, ковылял следом, сгорбив плечи, опустив низко руки.

Подтягивая чересседельник, Кружилин спросил:

— Я кандидатуры к наградам просил представить...

— А я тебе и ответил — Володьку вот этого, мать его, Агату. Ну, Анну́ еще. А можешь Тоньку-повариху али деда Евсея. Да любого другого. У нас все герои одинаковые... Ты что, всерьез думаешь это... представлять? Ишо бы в другое время, если...

— Просят из области же.

— Ну. попросят да под ноги бросят.

— И все-таки ты список в райком представь. Официально,— сказал Кружилин.

* * *

Анна чернела, сердце ее материнское почуяло, что с Семеном что-то случилось. Не было для этого причин, кажется, вон какие известия привез не так давно Кружилин о Семке с Иваном. Анна взяла на другой день у Агаты измятый газетный клочок с напечатанными их портретами и заметкой, долго вглядывалась в черты сына. Какой-то незнакомый он был на этой плохонькой газетной фотографии, наверное, потому, что в военной форме она его никогда не видела. Поглядев, сказала:

— Наталье надо бы отдать. Ты ж все ж таки взрослая.

«Взрослая» Агата сперва отрицательно мотнула головой. Затем, подумав, взяла ножницы, отрезала изображение Ивана, остальное вместе с заметкой протянула Анне.

Тогда, в июле, еще надеялись, что пшеница кое-где выдюжит, готовились к жатве, обихаживали ток, косили на лугах жухлые, низкорослые травы, сметывали в невысокие стога, ремонтировали коровник к зиме — дел, словом, в бригаде было по горло. И все же Анна поздним вечером однажды побежала в Шантару, где-то уже за полночь стукнулась в домишко бабки Акулины, протянула сонной Наташе газетный обрывок:

— Вот!

— Ой?! — воскликнула та испуганно.— Что? Что?

— Дурочка, ты погляди сперва.

Наташа торопливо бегала глазами по строчкам, ничего сначала не понимая, а когда до нее дошло, она снова воскликнула:

— Ой! Да это же... Боже мой, мама! Бабушка! Да посмотрите же — ведь Семен, Семен!

И ткнулась в грудь Анны, радостно заплакала.

В бригаду Анна вернулась на рассвете, все ощущая на груди теплую и тяжелую голову жены своего сына, слыша ровное дыхание его грудной дочери, которая спала в кроватке.

Легкое чувство не покидало ее все утро. А где-то во второй половине дня неизвестно почему и откуда явились и забеспокоили ее тревожные мысли: «Чего это я радуюсь-то? Не к добру... Там вон какие, по радио говорят, бои хлещут...»

Женское сердце вещун, а материнское тем более. Тревога эта пришла к Анне, нахлынула, захлестнула ее тотчас, даже в те минуты, когда Семен по вздрагивающей от взрывов земле, сквозь фонтаны земли и огня гнал свою горящую самоходку к высоте 162,4, где была окружена батарея Ружейникова, когда он, подчиняясь приказу командира самоходки Магомедова, вывалился мешком наружу. Через горы, леса и реки, через необозримое пространство, через тысячи и тысячи километров почуяло материнское сердце, что к сыну ее пришла беда. И в тот момент когда в пятнадцати — двадцати шагах от Семена, там, где горела покинутая им самоходка, рвануло небо и землю, Семен упал и в ушах его зазвенело, засвербило, будто

туда забилось по комару, Анна, почувствовав нестерпимую боль в сердце, схватилась за грудь и осела на землю.

— Теть Ань! Те-еть Ань?! — испуганно вскричала Тонька-повариха.— Ты чего?

— Не знаю... Почудилось, будто с Семой что...

— Ну вот еще! Чего там с ним? Ничего!

— Не-ет,— мотнула она головой,— это я... почувствовала.

Да, она это почувствовала безошибочно, хотя не было для того никаких причин, кажется, и никто не объяснит такой особенности материнского сердца.

Она с того дня ни с кем о сыне больше не говорила, чернела все больше, сделалась какой-то безучастной к делам. Когда она прочла оставленную на бочке с водой Андрейкину записку, у нее лишь плотнее сдвинулись брови и она произнесла эти свои слова, поразившие сперва повариху, а потом Назарова. Вскоре разразилась эпидемия ящура, ее это будто не очень и обеспокоило, она равнодушно смотрела, как с коровьих морд течет слюна, спокойно распоряжалась павших животных отвозить на скотомогильник. Когда Назаров временно закрыл вторую бригаду, где она бригадирила, вместе с другими уехала в Михайловку и умолкла совсем. По указанию председателя она стала работать на току, но теперь по целым неделям от нее никто не слышал ни слова. Даже со своим средним сыном Димкой, которого видела иногда, не разговаривала, лишь однажды попросила:

— Хоть ты, сынок, не оставляй меня.

— Да о чем ты? Я и не собираюсь, как Андрейка, паразит... Может, его все же поймают где, а, мам?

— Может,— кивнула Анна, прижала к себе выгоревшую на солнце голову сына, долго держала так.— Что делаете сейчас?

— Председатель велел за скотом ходить. В нашем загоне двенадцать коров.

— Ага, ходите. Видишь, сынок, горе какое у людей. Хлеб сгорел, на скотину мор. Ты запомни это.

— Да разве ж такое забудется? В нашей группе Ганка, Майка с Лидкой, еще трое ребят. Коровы все у нас пока вроде здоровые.

— Надо их сберечь, а то колхозу совсем горе.

— Да мы понимаем, мама... Ты что такая невеселая? Заболела, может?

— Нет. Иди, сынок. Ступай.

Разговор этот весь слышала Агата и, когда Димка ушел, сказала:

— Вбила ты себе в голову, Анна... Ну что зазря сохнуть? Слава богу, что они вместе с Ваней. Он его сберегет... Вот увидишь, напишут скоро оба.

— Нету же писем.

— Да идут уже, в дороге где-то. Получим, я чувствую,— убежденно сказала Агата.

Предчувствие ее обмануло лишь наполовину, от Семена ничего не было, а письмо от Ивана пришло недели через полторы после этого разговора. Но как о нем сказать Анне Савельевой, Агата не знала. Нет, там не было страшного известия о Семене. О нем Иван вообще не упоминал ни словом. Но это-то и было непонятно и странно. В любом письме Иван хоть что-то сообщал о племяннике — воюют, мол, с ним по-прежнему. Значит, жив и здоров он. А тут — ни звука. Но не это было даже самым странным,— может, думала Агата, забыл просто Иван или не успел написать ничего о Семене, там и времени-то для писем иногда не хватает. Поразили Агату следующие слова из письма, нацарапанные торопливо, неровными буквами: «Анне передай, что как Федор был подлецом, так и остался, даже не подлецом, а и сказать этого в письме не могу кем, и мужа у нее нету, а почему — я вернусь когда и расскажу все, как на духу». Почему Иван вдруг заговорил в письме о старшем своем брате? Встретил, что ли, где его там, на войне? Али от солдат чего слыхал? Что значит «мужа у нее нету»? Убили, что ли, его, погиб? Коли б так, Иван, наверное, так и написал бы. «...Мужа у нее нету, а почему — я вернусь когда и расскажу все, как на духу». Как это понимать?

Все полторы недели Агата мучилась, как на огне, несколько раз на дню вчитывалась в эти строчки, но понять ничего по-прежнему не могла, носила письмо с собой, но Анне показать не решалась. И вот, глянув зачем-то сперва на сидящих у амбара председателя с Кружилиным, Анна сама сказала неожиданно:

— Давай письмо.

— Какое? — вздрогнула Агата.

— Не вижу, что ли? Не крути. Дай сюда. Вон в кармане кофточки-то! — И пошла за веялку.

И Агата невольно шагнула за ней.

Еще на ходу она вынула письмо из кармана, зажимая его в кулаке, неприятным от торопливости голосом произнесла:

— Тут, Анна, ничего такого про Семена. Ничего — живой он, значит.

Анна молча развернула измятый, замусоленный треугольник. Письмо она, держа его обеими руками, читала долго, очень долго. Кружилин уехал, простучали его дрожки. Где-то на другом конце тока с возчиками зерна ругался Назаров. Потом шаги его стали приближаться. А Савельева Анна все смотрела в листок, вырванный из обычной школьной тетради, пришедший сюда из-за тысяч верст, с фронта.

— Ну, чего? Письмо, что ли? — спросил Назаров.

— Ага. От Вани,— сказала Агата.

— Живые-здоровые они там с Семкой?

— Ага...

— Ну, слава богу. Поклон им отпиши.

Назаров отошел, затихли его шаги. Анна все не отрывалась от листка.

Наконец руки ее дрогнули, она подняла на Агату твердое, как камень, бескровное лицо.

— Я... я ничего не могла понять про Федора,— промолвила Агата.

— А тебе и не надо,— неживыми губами проговорила Анна. Голос ее тоже был неживой и мертвый.— Это только мне дано одной...

* * *

После того дня, как уехал добровольцем на фронт Николай Инютин, что-то произошло с Лидой, дочерью учительницы Берты Яковлевны. Долговязый Колька будто увез с собой ее вечную желчь и все колючие слова, которые она постоянно рассыпала вокруг, и, лишенная этого, она сразу же сделалась растерянной и беспомощной, притихла. Да и все мальчишки и девчонки, работающие в колхозе, в чем-то изменились, словно в один день сделались намного старше, как-то реже затевались нехитрые ребячьи забавы по вечерам, совсем прекратились ссоры, которые раньше иногда бывали. Инютина провожали все — так распорядился председатель колхоза Назаров; узнав, что ученик их школы уезжает на фронт, освободил всех от работы на целый день и выругал деда Евсея Галаншина и Володьку Савельева, которые не хотели было давать подвод на станцию.

— Запрягай, сказано, четыре подводы! — повысил он голос.— Соображалка работать перестала? Свезешь мне ребятишек, обратно привезешь... Савельев Володька! Комиссаром при деде будешь.

— Да ладно,— нехотя буркнул Савельев.— Только и так кони измаянные.

— Без разговоров у меня! Деятели!

Николай Инютин прямо ошалел, когда они все высыпали гурьбой на перрон и, галдя наперебой, как воробьи, окружили его. В поношенном, выгоревшем на солнце, великоватом в плечах, видимо отцовском, пиджаке, он стоял возле заплаканной матери и молчаливой сестры Верки, был тоже хмур и бледен, сперва даже не мог и сообразить, зачем это они все явились сюда. А когда понял, губы его задергались, глаза заблестели, и, крутясь меж них, он бессвязно говорил:

— Это ж надо, а? Спасибо, что ж... Ведь такая даль из колхоза. Мам, Верка... Видите? Ну, прямо я... не предполагал.

Он это говорил и тер пальцем свой горбатый нос.

Позже других он увидел Ганку, стоявшую чуть в стороне, длинными руками разгреб всех, будто колосья в поле, шагнул к ней.

— И ты... пришла?

— Ага...— кивнула она.— Мы все приехали тебя проводить. Димка вот. Лида...

Губы у Николая опять дрогнули, он стоял перед ней, опустив тяжело длинные руки.

— П-понятно. Я так рад, что все... А Лидка где?

— Я здесь, Коля,— произнесла девушка негромко, смахнув слезу.

Он повернулся к ней, стоял какое-то время молча, спина его тоскливо горбилась. Он как-то странно оглядел ее всю, ощупал черными и грустными глазами ее загорелые под солнцем лицо, шею, крупную грудь. И опять, чуть заикнувшись, проговорил:

— П-понятно. Зачем плачешь?

— Я не плачу. Я думала, ты будешь в красноармейской форме. Почему не выдали?

— Выдадут. Нас сперва в Новосибирск. Там и выдадут, сказали. Счас вот поезд подойдет.

Потом Николай замолчал, и все примолкли. И в этой тишине он вдруг произнес отчетливо:

— Ты красивая, Лид. Я тебе буду писать, ладно?

Большие глаза ее совсем переполнились слезами, она, постояв еще столбом, всхлипнула, мотнула головой, повернулась и, рыдая на ходу, побежала прочь. Ганка и несколько девчонок с криком: «Лида, Лида!» — бросились за ней, Николай смотрел на все это с грустью, все потирая горбатый нос, а перед ним вертелся Андрейка и попискивал, как птенец:

— Дядь Коля, дядь Коля... До свидания. Хорошо б и мне твой фронтовой адрес узнать. Да я боюсь, что не успею...

В суматохе тогда никто не обратил внимания на слова Андрейки, на то, что он впервые назвал его дядей.

Поезд действительно скоро пришел. Лида не появлялась до самого его отхода. Николай, высунувшись из опущенного окна дощатого пассажирского вагона, хватал на прощанье протянутые ему руки и, отвечая на крики провожающих, все искал Лиду глазами, но ее не было. Она выскочила из-за угла станции, когда скрипучий поезд уж тронулся, и, отбежав от здания на несколько шагов, остановилась, стала махать ему косынкой. И Николай махал ей рукой, не обращая теперь ни на кого больше внимания, даже на сестру и мать, махал до тех пор, пока состав не скрылся за поворотом.

Так Инютин Николай, вечно выдумывающий необычные вещи парнишка, который недавно еще пытался скрестить кроля с зайчихой и выпускал на уроках то воробья, то крысу, уехал воевать. С тех пор прошло уже несколько недель, снова сбежал на фронт Андрейка, в михайловском колхозе, в Шантарском районе, на фронте и во всей стране произошло множество разных событий, и радостных и горестных,— а Николай Инютин все не писал Лиде, как обещал, но она верила, что он напишет, и в ожидании этого жила своей тихой теперь и замкнутой жизнью.

Эпидемия в михайловском колхозе началась со второй бригады. Назаров немедленно рассредоточил по лесным карантинам весь скот, а ребятам, собрав их в риге, сказал:

— Теперь и вовсе обстановка фронтовая в колхозе. Не спасем скот — гибель колхозу. Помогайте, детки, просьба такая от правления. На прополке вы хорошо подмогли, теперь здесь давайте.

Назаров и Владимир Савельев назначили Димку «начальником карантина № 1» неподалеку от Михайловки, велели сделать загородку из жердей, куда отделили двенадцать коров. Выпускать их из загона было нельзя, каждый день ребята тяжелыми косами соскребали по глухим таежным углам перезревшую уже траву, девчонки сгребали ее, потом на бричке везли к карантину и сваливали в загон.

Жесткую, как проволока, траву косить было тяжело, но ребята этому научились. Не умели они лишь отбивать косы — это делал Володька Савельев, а то и сам председатель. Каждый день кто-нибудь из них обязательно наведывался в карантин узнать, как дела, не потекли ли у какой коровенки слюни.

Вечером приезжали две доярки с флягами, оставались тут до утра в старой, изодранной палатке, а ребята шли на ночлег в Михайловку. Утром, еще до восхода солнца, они возвращались, а доярки со своими флягами уезжали.

Так они и жили день за днем. Работа была не такой трудной, как на прополке, не изнуряла теперь жара, но все равно все уставали и изматывались, шуток и вообще разговоров было мало.

В один из последних вечеров августа, когда приехали доярки, Димка спутал выделенную их карантину лошадь и пустил пастись на ночь. Лида с остальными уже отправилась в Михайловку, Ганка еще плескалась в лесном ключе, отмывая пыль с лица и рук и явно поджидая его.

— Чего ты с ними не пошла? — спросил он, вешая на сук только что снятую с лошади уздечку.

— Да я... Чего тебе одному идти?

— А я не в Михайловку сейчас пойду.

— А куда ж?

— Да так... Может, туда, на развилку, схожу, откуда тот каменный великан виден.

— А зачем?

— Погляжу на него.

— Да зачем тебе снова на него глядеть?

Димка пожал плечами:

— Не знаю.

Он повернулся и пошел. Она тихонько двинулась за ним следом.

К Димке она относилась теперь не так, как прежде. Что произошло с ней за это лето, особенно после того случая на прополке, когда приезжал в бригаду секретарь райкома партии, она не знала, не понимала, но чувствовала — что-то произошло. Мир был полон теперь еще большей сложности и непонятности. Оно вроде все и понятно — ну, уехал добровольцем на фронт Николай Инютин, у которого были, оказывается, какие-то чувства к ней, он приходил даже к ней из Шантары прощаться... Он сильно обиделся на нее, и вот потом чем-то поразила его Лидка, он обещал писать ей, и хорошо, если напишет. Лидка тайно плачет, никто этого не видел, а она знает. Придет письмо — и Лидка перестанет плакать... На фронт убежал Андрейка... Он, Димка, помрачнел, когда узнал, и в сердцах сказал: «Ну, дуралей! Раздавят где-нибудь, как мышонка».— «Ты еще не вздумай, как он... Мать же тогда совсем одна останется»,— зачем-то сказала она, Ганка. «Отвяжись ты со своими советами! Я что, вовсе болван, что ли?» — ответил он ей резко и грубо, но она не обиделась, считая, что на ее необдуманные слова он так и должен был ответить... Погорел весь почти хлеб в колхозе, кроме ржи, которую они пололи, погорели все почти травы, сена колхоз заготовил совсем мало... На фронте разбили немцев под Орлом и вроде погнали их, два дня назад взяли Харьков, скоро, наверное, и Винницу освободят. А тут, в колхозе, тяжело, теперь вот еще скот болеет и дохнет, а зимой, все говорят, будет еще тяжелее... Да, все это само по себе понятно, но за этим за всем что-то есть огромное и непонятное, какой-то другой смысл, большой и важный, который пока не открывается. Но хоть и не открывается, а она уже ко всем событиям и явлениям относится не так легко и беспечно, как прежде. Вот и Димка... Она думала, что он просто молчаливый и угрюмый от природы, а это, вдруг открылось ей, не так. Он просто живет в каком-то своем мире, куда никого не пускает. Все о чем-то думает, все о чем-то размышляет. Она, Ганка, не раз замечала — смотрит он на что-нибудь, на облака, к примеру, и в глазах его... непонятно и что. Не то радость, не то тоска, будто он и не на земле в это время. А раз она видела, как он разглядывал хлебный колосок. Это был обыкновенный ржаной колос, сухой и щуплый. Димка рассматривал его со всех сторон, то поднося совсем близко к глазам, то отставляя. «Чего ты в нем такое увидел?» — спросила она. Он вздрогнул, выронил колосок, но тут же поднял. «Чего пугаешь?» — «Я не пугаю, я только спросила».— «Спросила...— промолвил он как-то со вздохом, устало, вышелушил зерна на ладонь, опять долго рассматривал.— Вот ты думала когда, что это такое?» — «Ну, хлеб, хлебные зернышки, чего же тут непонятного?» — «Многое,— ответил он и совсем по-взрослому добавил, окончательно поразив ее: — В сущности, из-за этих зернышек все войны на Земле получались. И раньше какие были, и вот эта, что сейчас идет».

В тот недавний вечер, когда он показал ей каменного великана, она сказала: «Димка! Ведь я тебя совсем не знаю, оказывается!» И это было правдой, с каждым днем она убеждалась в этом все больше и больше...

* * *

До развилки дорог, где росла старая корявая сосна, они дошли молча, уже в сумерках. Димка постоял, прислонившись плечом к сосне, глядя на Звенигору. Каменный великан был на месте, он безмолвно смотрел в темнеющее небо. Будто успокоившись, что тот никуда не делся, Димка опустился на землю. Она тоже села.

— От Семки-то все письма нету и нету,— негромко сказал он некоторое время спустя.

— Придет еще, Дим.

Он чуть приметно, сдерживая себя, вздохнул. И опять долго молчал.

— Пошли в деревню, Дима. Уже ночь. А то Володька зашипит: «Шляетесь, скажет, черт вас знает где, полуночники...»

В Михайловке ребята спали в просторном и теплом амбаре, и Владимир Савельев по-прежнему был их главным начальником, он строго следил, чтоб к ночи все собирались из карантинов, и, хотя дом его был рядом, спал тоже в амбаре.

— Ты никогда не думала, что мы умрем? — неожиданно спросил Димка.

— Да ты... ты что?! — воскликнула она громко, испуганно. Схватила его за плечо и тряхнула, будто прося опомниться.— Ди-им?!

Он осторожно снял с плеча ее руку, но не отпустил, держал и держал в своих горячих ладонях, затвердевших за лето от стеблей осота и сурепки, которых пришлось выдергать на хлебных полях невообразимое количество, от тяжелых, будто каменных, черенков кос и вил. Ганка попробовала было отнять руку, но он держал ее крепко, и она лишь дышала все сильнее и громче.

— А я вот все думаю: родится человек, ходит по земле, что-то делает, а потом... потом его не становится на земле, он исчезает без следа. А тут все так же деревья растут, листьями шумят. И все так же он, этот каменный великан, смотрит в небо. Днем смотрит, ночью смотрит. В лицо ему то снег сыплет, то дождь мочит. А он все глядит куда-то, все глядит...

— Ты ненормальный!

— Это правда,— вздохнул Димка, отпустил ее руку.— А что мне делать?

От такого вопроса она растерялась.

— Я... не знаю, Дима,— сказала она еле слышно.— Тебе что, тяжело?

— Да нет. Обидно только, что люди умирают.

— От природы ж так, Дима,— попробовала она в чем-то возразить, в чем-то поддержать его, хотя чувствовала, что делает это неумело.— Все живет, а потом умирает. Не только люди. Деревья вот, леса, реки даже... По географии мы учили — сколько на Земле высохших русел...

— А надо, чтоб не было смерти на земле. Не было! — упрямо сказал он.

— Ну, так же не бывает! — воскликнула девушка, чуть не плача, быстро поднялась на ноги. Но, молча постояв, опять опустилась рядом с ним.—А говоришь ты хорошо, Дима...

Он улыбнулся в темноте, она этого не видела, но почувствовала. Ей захотелось вдруг положить голову ему на плечо и так посидеть молча, но она не решилась. Не решилась, но знала, что когда-то так и будет, на душе у нее стало легко и светло.

— А вот сейчас, в этот миг, о чем ты думаешь?—спросила она.—Только честно.

— Сейчас? А я не думаю сейчас. Я вот смотрю на его каменное лицо, и в голове у меня... слова просто.

— Какие слова?

— Да вот... «На горе высокой, длинной богатырь лежит былинный...»

— Это как? — ничего не поняла она.

— Что — как?

— Это ж... стих, что ли? — Она даже привстáла перед ним на коленях.

— А я почем знаю,— сказал он, опустив голову. Голос его был грубоват.— Никакой это не стих. Так...

Вечерняя мгла медленно и неостановимо растекалась по всей поверхности земли, сумерки становились все гуще, деревья темнели и темнели.

— Ты... стихи, что ли, умеешь складывать?! —спросила Ганка еле слышно, задыхаясь.

— Ничего не умею,— мотнул он головой. — Выдумала тоже! Пошли домой.— Он поднялся и пошел, но через несколько шагов остановился.— Привязалась, а теперь еще выдумала...

Но он сказал ей неправду. Он умел, как она выразилась, «складывать» стихи. Слова как-то сами собой появлялись у него в голове, укладывались в строчки, и строчки эти легко рифмовались. Он обнаружил эту особенность в себе давно, но стеснялся или даже боялся ее, никому о ней не говорил, а втайне на случайных клочках бумаги записывал различные строчки и четверостишия.

Однажды вечером, когда работали еще на прополке, он долго не мог заснуть, лежал и слушал, как где-то поблизости кричат перепела. Он осторожно поднялся, вышел из риги, постоял у стенки. День был, как всегда, жаркий, а теперь на землю упала прохлада, в той стороне, где были приречные луга, поднимался белесый туман, над Звенигорой вспыхивали, прокалывая мутное небо, первые звезды. «Спать пора, спать пора...»— все уговаривали кого-то перепела, потом где-то в кустах, недалеко от риги, ухнула сова, и перепелки сразу умолкли. Пахло остывающей сосновой смолой. Димке почему-то было грустновато, он присел на травянистую землю у стенки риги, ожидая чего-то, еще каких-то звуков умирающего дня. Но теперь было тихо, и ему вдруг захотелось описать стихами эту тишину, этот вечер, в голове завертелась первая строчка: «Холодный вечерний воздух... Холодный вечерний воздух...» Он нащупал в кармане огрызок карандаша, который все время носил с собой, достал старое Семкино письмо и в полутьме, быстро, без всяких помарок и исправлений, набросал на краю листка, где было свободное место:

Стылый вечерний воздух
Густо пропах смолой.
Солнце, рассыпав звезды,
Спряталось за горой.
«Спать!» — перепелка запела.
Ухнула глухо сова.
И от росы побелела
На луговинах трава...[1]

Написал это — и поразился: ведь у него получались, кажется, стихи, настоящие стихи! Первое слово «холодный» как-то само собой заменилось на «стылый», и он почувствовал, что это лучше и правильнее, воздух действительно был не холодный, он, нагретый за день, потихоньку остывал, становился стылым.

Теперь у него есть старый, обтрепанный блокнот, куда он записывает всякие пришедшие на ум слова и строчки; об этом блокноте никто не знает, и он ни за что никому о нем не скажет, даже Ганке, бесшумно шагающей сбоку. И зря он ей сегодня сказал о тех строчках, которые звенели весь вечер у него в голове...

Когда они подходили уже к Михайловке, Ганка неожиданно тронула его за руку.

— Дим! Звенигора высокая, но ведь не длинная. Про нее как-то и нельзя сказать, что она длинная, а?

— Ну... это, наверно, правильно. Слово другое надо поискать. Я найду...

Он проговорил это и остановился, посмотрел на нее хмуро и недоброжелательно.

— Что? — спросила она виновато.

— Ты... Я прошу — никому ничего не говори про это. Понимаешь?

Она поняла, о чем он просит и почему просит. И серьезно ответила:

— Ладно, Дима.

* * *

К Ноябрьским праздникам, когда лег первый белый снежок, всем стало известно, что директором Шантарского завода назначен генерал Миронов

---

[1] Здесь и далее стихи написаны Владимиром Фирсовым.

Александр Викторович, отец Наташи, приезда его в Шантару ждали со дня на день.

Со времени смерти Нечаева обязанности директора исполнял Хохлов, за три месяца с работой освоился великолепно. Впрочем, «освоился» — это даже не то слово, нечего ему было осваиваться, различные заводские службы, сложное и громоздкое производство было для него как вода для рыбы, и, попав в эту стихию, он почувствовал в себе необыкновенный прилив энергии, помолодел даже и возбужденно заявил Кружилину:

— Спасибо, Поликарп Матвеевич! Ну просто, знаете, великое спасибо! Вернув на завод, вы меня возродили заново из пепла, как говорится... Надеюсь, вы понимаете, что я не о должности говорю? Слишком уж ответственная работа, знаете, не для меня, я не рожден для этого. Работая в райисполкоме, я старался, но сознавал всегда, что был вам плохим помощником. И здесь я буду стараться, пока не назначат нового директора...

Хохлов не рисовался, он говорил искренне, Кружилин это знал, но все равно слова Хохлова были ему неприятны, и он прервал тогда его раздраженно:

— Да что ты, как баба, ей-богу! «Не рожден», «Не для меня»... Как будто кто-то специально рождается для руководящей работы! Так вот и определяется кем-то: ты — для такой работы, ты — для сякой... Да?

— Но, Поликарп Матвеевич...— захлопал глазами Хохлов.— Я же, так сказать, иносказательно...

— А я не иносказательно, а прямо говорю. Какую работу, исходя из наших способностей, партия нам поручит, такую мы и обязаны делать, отдавая ей все силы. И в райисполкоме ты был хорошим помощником. И здесь... Ты знаешь мнение райкома и обкома. Мы рекомендовали тебя, куда положено, в этой должности утвердить. И кончим разговор.

— Ну, извините, извините,— пробормотал Хохлов.

И вот, несмотря на мнение райкома и обкома партии, директором завода назначен Миронов. Кружилин теперь сожалел о тех резких словах. Теперь получалось, что по способностям Иван Иванович как бы не дорос до такой должности, это его, конечно, обидит.

Но как же, с радостью пришлось отметить для себя Кружилину, мало он все-таки знал этого человека! Когда вместе с Савчуком и исполняющим обязанности председателя райисполкома Малыгиным он пришел в кабинет к Хохлову и сообщил о состоявшемся назначении Миронова, Иван Иванович по привычке несколько раз хлопнул от неожиданности глазами, и тут же они у него засветились тем светлым и ясным светом, который никому и никогда не удавалось еще вызвать искусственно. Он сорвался с места, кинулся к дверям, крича:

— Наташа, Наташа! Боже мой, иди сюда скорее!

— Да, слушаю, Иван Иванович,— сказала она, войдя.

— Твой отец назначен к нам. Директором!

Наташа стояла молча, лишь брови ее чуть дрогнули, будто прихмурились. И выражение лица стало прежним.

— Почему же ты не радуешься? Твой отец же... Ты не понимаешь?

— Нет, я поняла, спасибо,— сказала она негромко и вышла, плотно прикрыв за собою двери.

И вот от такого поведения Наташи, от этого ее спокойствия, с каким она встретила известие о назначении ее отца директором завода, Хохлову стало как-то неловко, он смущенно вымолвил, неуклюже возвращаясь к столу:

— Удивительно... Совсем не обрадовалась.

— Может быть, она раньше нас знала уже об этом?—произнес Кружилин.— Отец ей написал или позвонил.

— Нет, он ей не написал, знаете, ни одного письма. И ни разу не позвонил. И она ему не звонила. Во всяком случае, с тех пор, как я сюда вернулся. Она бы мне сказала, или я бы почувствовал... С ней что-то происходит. Но спросить, понимаете... К тому же у нее муж пропал без вести.

— Не с ней только, а между ними обоими что-то непонятное,— проговорил Савчук.— Все-таки странно такое поведение ее отца.

* * *

Такое поведение генерала Миронова было странным прежде всего для его дочери.

После первого телефонного разговора весной он обещал ей написать или позвонить, но не звонил и не писал, не ответил ни на одно из писем, в которых Наташа подробно рассказала всю их с матерью жизнь после его ареста в тридцать седьмом, все, что произошло с ней после начала войны. Она отправляла письма, и они уходили словно в пустоту. Не выдержав, она еще раз попросила Федора Федоровича Нечаева вызвать Наркомат. Разговор был такой же короткий и странный, как и первый. Отец глухим, прокуренным голосом сообщил, что письма ее все получил, с горечью узнал в подробностях, что им пришлось пережить и как погибла мать, спросил еще, как здоровье директора завода, и опять пообещал позвонить или написать и снова не сделал ни того, ни другого. И Наташа перестала ему писать и звонить.

Теперь вот, узнав, что отец назначен директором их завода, она и в самом деле нисколько не обрадовалась, чуть лишь удивилась, но тут же обо всем словно и забыла. Какая ей разница теперь, будет директором Хохлов или ее отец, во втором случае она просто уйдет из приемной куда-нибудь на другую работу — и все. Какая ей разница теперь, где работать? Теперь все изменилось, день смешался с ночью, потому что «сержант Савельев Семен Федорович во время боев в районе населенного пункта Жерехово пропал без вести», как ей лаконично сообщили на один из ее истошных запросов в воинскую часть, номер которой он проставлял на треугольниках с фронта. «Пропал без вести... пропал без вести,— день и ночь долбило у нее в голове.— Но не погиб же! Так бы и написали, как пишут другим. Где же он? Что с ним?! Сема, Сема, отзовись, напиши... Ты жив, ты не можешь погибнуть и оставить меня и дочку твою одних, я жду, жду, жду!»

Она ждала, а письма от него больше не приходили. Перестали приходить они и к Анне Михайловне, его матери, которая жила теперь в колхозе. Летом и осенью, оставив дочку на бабушку Акулину, Наташа несколько раз ездила в колхоз, надеясь, что у Анны Михайловны есть какие-нибудь сведения о сыне или есть они у Агаты — ведь ее муж и Семен воевали вместе, в одном танке. Но писем не было. Иван Силантьевич в редких теперь, как жаловалась его жена, весточках почему-то не упоминал даже о Семене...

После получения письма из воинской части у Наташи пропало молоко, кормящую мать в Шантаре найти было невозможно. Бабка Акулина все это будто предусмотрела, месяца два назад еще заставила Наташу давать Леночке соску из жеваного хлеба.

— Да вы что? — возразила было Наташа.— Это ж... и негигиенично.

— Ну, гигиенично там али нет, не знаю,— заворчала старуха.— А пользительно будет ребенку, это уж поверь. Хлебный-то сок да со слюной материнской — он на пользу дитю. В деревне этак испокон веков делали. Зато какие парни да девки вырастали! Молоко-то у тебя жиденькое, есть-то, почитай, нечего. Давай, девка, вот нажуй в тряпочку. Слюной и зверюха всякая дитё свое зализывает, ведь известно.

В чем-то бабка ее убедила, Наташа разжевала кусочек хлеба, завернула в чистую тряпочку. Но дочь сначала соску изо рта вытолкнула.

— Ишь ты, какая глупая еще! — опять проворчала старуха ласково.— Ну, разберись, разберись. Да и коровьего молочка скоро дадим. Нечего мать-то тянуть, хватит, большая уж, пожалеть ее надо, мать-то.

Дочь быстро от груди отвыкла, с удовольствием сосала хлебную жвачку, коровье молоко из пузырька, на который была натянута резиновая соска. Молоко каждое утро приносил бывший муж Акулины Филат Филатыч Козодоев.

Впервые Наташа увидела этого юркого, узкоглазого старика, когда он пригнал плоты с верховьев Громотухи, она специально ходила на берег речки поглядеть на него. А недели через две он неожиданно появился в избушке Акулины, пришел под вечер, веселенький, пьяненький, и, сдернув порыжелую от времени и солнца кепчонку, с порога проговорил, как пропел:

— Здравствуй, Акулинушка, прежняя кручинушка...

Старуха выпрямилась у стола, сложила под грудью руки.

— Нашла на тебя кручина — день пожила да вывелась.

— Верно,— усмехнулся старик.— От кручины вошь заводится. А я эту насекомую не люблю. Проведать тя пришел. Не прогоняй, я счас и сам уйду.

С этими словами он шагнул на середину комнаты, вынул из кармана бутылку с мутной жидкостью, поставил на стол. Наташа подумала, что это самогон, нахмурилась, отвернулась к кроватке, куда укладывала дочь.

— Ишь какая строгая твоя фатерщица! — усмехнулся старик. И, оглядывая потолок, стены, хиленькие окошки прицениваюшимся глазом, еще раз усмехнулся.— И на берегу так же глазищами всего общарапала, птаха-деваха... А я вот взял да сам пришел — гляди, какой я интересный. А? Что молчишь? Отвечай.

— Чего пристал к девке? — оборвала его старуха, взяла, к удивлению Наташи, бутылку со стола, спрятала в шкафчик.— Отправляйся! Лушке Кашкарихе повети починил, я видела.

— Ага,— кивнул старик.— Повети починить немудрено. Да человека невозможно, вот что жалко. Сама-то Лушка иструхла насквозь, никакой починщик ее уж к жизни не воротит. А бывалоча — ох, гнулась доска, да не ломалась.

— А ты и жалеешь...

— Человека, Акулинка, завсегда жалко.

— Где живешь-то? У ней, что ли, у Кашкарихи?

— Нет. У другой тут бывшей зазнобушки покуда.— И старик снова пьяненько усмехнулся.— Она и раньше не так строга была.

— Ступай, нам ребенка надо укладывать, не видишь?

— Ага, пошел... В тайгу вот надо, а Кружилин просит: подсоби, мол, лес-то поэкономней раскроить, а то наши не досок, а дров напилят. Ну, покуда останусь, тожеть жалко...

Старик ушел, а Наташа, разогнувшись от кроватки, спросила:

— Зачем вы самогон у него взяли?

— Какой самогон? От суставов это. Он знает, что я маюсь. А эти всякие снадобья он ловко делает. Иногда вот приносит.

— Добрый какой...

— А что ж, он и добрый,— сухо проговорила Акулина, обиженная на Наташу за ее насмешливый тон,— ни одну из бывших своих зазнобушек не забывает. Одной повети исправит, другой забор починит... Он — такой, Филат.

— Да я бы на вашем месте на порог его не пустила!

— Охо-хо, доченька! — вздохнула старая женщина. — Говорится: коли на порог людей не пускать, так и самому лучше за него не ступать. А за своим порогом весь век не проживешь. Жизнь вокруг своя идет, и, хошь не хошь, она тебя приспособит...

Эти бесхитростные слова приоткрыли Наташе еще какой-то кусочек сложного и непонятного человеческого бытия. Она уже не удивилась, что через неделю после своего посещения Филат Филатыч привез на лохматой лошаденке кучу досок, горбылей, всяких обрезков, начал действительно чинить покосившийся забор вокруг их избушки, заколотил щели в дровяном сарайчике, лазал по крыше, отдирал там прогнившие от сырости тесины, заменял их новыми. Делал он все это без всякого спроса, по своему усмотрению и разумению, утром молча появлялся, вечером так же молча, не попрощавшись, уходил. С бабкой Акулиной он, может, когда и говорил о чем, но этого Наташа не слышала и не видела.

Теперь вот Филат Филатыч носил каждое утро молоко для Леночки. Наташа хотела как-то дать за него деньги, но старик, повертев было в руках мятые бумажки, вдруг усмехнулся.

— Деньги вещь сурьезная. За нее и глупость купить можно.

И положил деньги на стол.

— Вы... извините,— испуганно проговорила Наташа, не очень поняв смысл слов старика, но встревожившись, что он теперь перестанет молоко носить.

— А ты, деваха-птаха, летай повыше, да гляди пониже... Это полезней будет.

Праздничный день седьмого ноября Наташа просидела дома, никуда не выходила, слушала по радио торжественные песни и марши, сообщения Советского информбюро. Там, на войне, на которой потерялся Семен, события происходили большие и радостные. Немцев полностью окружили в Крыму, наши войска перешли Днепр, еще позавчера ворвались в Киев, а вчера полностью освободили его.

Потом диктор долго читал доклад Председателя Государственного Комитета Обороны на заседании Московского Совета депутатов трудящихся, посвященный 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, в котором излагалась программа послевоенного устройства мира. Умом Наташа понимала, что надо радоваться, а в сердце была неизбывная, нескончаемая тоска: где Семен, что с ним?

Восьмого числа, то есть завтра, в Шантару приезжает ее отец. Но ей было безразлично, приедет он завтра, через месяц или вообще не приедет. Хохлов Иван Иванович еще вчера спросил, поедет ли она встречать отца одна или вместе с ними. «Ни одна, ни вместе».— ответила она ему. «Но... так же нельзя, Наташенька!»— воскликнул Иван Иванович, добрый и славный человек, воскликнул умоляюще, и ей стало его жалко. «Хорошо,— уступила она.— Но я... одна пойду». — «Но это далеко же пешком. Давай вместе в автобусе поедем».— «Нет, я одна!» — «Ну, хорошо, хорошо»,— сказал он поспешно.

Слушая теперь вот доклад Сталина, она думала, что идти ей встречать отца все-таки незачем, в их отношениях произошло что-то непонятное, и не по ее вине. И вообще непонятно, зачем он приезжает, ее отец, зачем этот доклад по радио, зачем ей тот послевоенный мир, зачем теперь она сама...

С этими мыслями она и уснула поздней уже ночью.

Однако утром прохватилась чуть свет, сбросила одеяло, закричала:

— Бабуся! Чего же вы лежите? Отец же приезжает!

Старушка, будто ждала этого возгласа, немедленно сорвалась с кровати.

— И правильно, дочушка! Отец же, грех не встретить. Счас я, мигом, чайку тебе...

Затем Наташа, не видя дороги, бежала на станцию. Был еще над землей тяжелый утренний сумрак. Он рассасывался медленно, снег под ногами был еще грязно-серый, он, разрезая тишину, пронзительно хрустел, подгонял ее. «Не успею... Опоздаю!» — мелькало в голове.

На перрон она влетела в тот момент, когда отец выходил из вагона. Здесь было светло, перрон освещался электрическими лампочками на столбах, да и утренний сумрак почти растаял. Наташа сразу узнала отца. Он катастрофически постарел, щеки одрябли, глаза, раньше строгие и жесткие, которых Наташа всегда побаивалась, были теперь злыми, усталыми, тусклыми. Это она рассмотрела уже в те секунды, когда, вскрикнув что было силы: «Па-апка!»— бежала к нему по перрону. От этого крика люди, окружившие отца, расступились, отец повернулся на ее голос, глядел, как она бежит к нему.

Подбежав, она ткнулась головой в его белый дубленый полушубок, зарыдала:

— Папка! Папка!..

— Здравствуй, дочь! Здравствуй, Наташа! — сказал он четыре слова тем прокуренным голосом, который она слышала дважды по телефону, и стал молча гладить ее по трясущимся плечам.

Он так гладил ее с минуту или полторы, ничего больше не говоря. А затем она почувствовала, как он легонько пытается отстранить ее от себя, оторвала заплаканное лицо от его груди.

— Теперь мы с тобой поговорим обо всем... обо всем,— сказал он, отступил на полшага назад, чуть тряхнул за плечи, как бы прося стоять теперь самостоятельно.

Затем повернулся к встречающим:

— Здравствуйте, товарищи!

Он по очереди жал всем руки, слушал, как встречающие называли себя, плечи его, обтянутые белым полушубком, горбатились. «А когда-то были прямыми и широкими»,— отметила Наташа, вытирая варежкой мокрые щеки. И почувствовала снова прежнюю тоску, почувствовала, как рождается в ней странная мысль, что это вовсе и не ее отец, это кто-то другой, отдаленно на него похожий.

* * *

Перестали приходить письма от Семена Савельева, но еще раньше прекратились они от Кирьяна Инютина, шли-шли — и как отрезало, наступила зима,

и по-прежнему ничего — ни известий от него, ни похоронки. Писал, хотя и не часто, сын Николай. Он был еще не на фронте, обучался в какой-то школе, в какой — не объяснял, лишь делал намеки, что скоро будет падать немцам на голову с неба «и откручивать им головы, как ржавые гайки с болтов».

— В десантные войска попал наш Колька,— догадалась Вера.— С самолетов будут их забрасывать немцам в тыл.

— Господи! — вздыхала Анфиса.— В тыл... Не мог куда полегче угодить!

— Война ж, его не спрашивали. А тем более раз доброволец... Сам залез в пекло, Аникей говорит.

Анфиса упрямо, как Наташа Миронова, ждала писем от мужа, в душе ее тяжелой и острой глыбой ворочался страх — дождется скорей похоронной. Да и Колька вот — как с ним будет? Она сделалась тихой, маленькой и легкой, как старуха, и каждый день, когда приближалось время прохода почтальонши по улице, поглядывала в окно, примечала ее еще издали, с колотящимся сердцем следила, как она приближается со своей тощей брезентовой сумкой на боку. Сумка тощая, да много ли надо места, чтобы уместиться там ее жизни или ее смерти. А почтальонша, молчаливая старая баба в ватнике, подпоясанном для теплоты широким ремнем, заходя то в один дом, то в другой, все приближалась, приближалась. Вот она миновала дом Савельевых — она вообще в него давно не заходила,— вот подошла к ее калитке. Свернет или нет к дощатым воротцам, свернет или нет?!

Почтальонша, хмуро взглянув на их небольшие окошки, иногда на ходу начинала рыться в сумке. И сердце ее останавливалось — что достанет?! Если треугольник, значит, ничего, от Николая это, скорее всего, а может, наконец-то и от Кирьяна! И если квадратный, казенный конверт, то...

Но чаще почтальонша ничего не доставала, проходила мимо.

Ночами Анфиса почти не спала, долго и тоскливо слушала, как похрапывает на полу возле стенки Вера. И перед тем как забыться на короткое время, всякий раз тяжко и беззвучно плакала.

— Да будет тебе изводиться!— сказала однажды утром ей дочь.— Глаза каждое утро рассолоделые, сгниют скоро. Противно прямо.

— Вера?!— От обиды голос Анфисы осел, был еле слышен.— Он же... отец твой!

— Да что толку ныть-то? Хоть отец, хоть брат-сват... Поможет это, что ли?

— З-замолчь! — взвизгнула Анфиса и, страшная от бессонной ночи, шагнула к дочери, сжав кулаки.

— Во-он что? — усмехнулась Вера едко.— А жили-то вы с ним вроде как...

Анфиса захрипела дико, по-звериному, еще секунду — и она обрушила бы на дочь свои кулаки. Но та быстро отступила назад, в глубь комнаты, и отвернулась, не обращая больше внимания на мать.

Анфиса несколько дней не разговаривала с Верой, а потом сказала ей с ненавистью:

— Сучка ты. Росла-росла — и выросла. Правильно отец говорил...

Вера на это лишь усмехнулась.

— Живешь, что ль, с Аникеем-то этим, с Елизаровым? Жену он прогнал, я слыхала.

— Нужен он мне, мешок с навозом,— ответила она ровным и спокойным голосом, нисколько не смутившись от такого вопроса матери.

— Чего ты якшаешься с ним?

— Он на желдороге теперь работает, меня обещал туда устроить. В столовую или в буфет.

— И — все?

— А что еще?!

Прошли и Ноябрьские праздники, с которыми Анфису поздравил сын, открывшись ей в качествах, которых она в нем и не подозревала или как-то не задумывалась о них. Письмо пришло как раз накануне праздника. Николай после поздравлений писал в нем: «...разве фашистам поганым понять, мама, какой у нас народ, за какую жизнь он поднялся драться двадцать шесть лет назад? За что знамена свои насквозь кровью пропитал? Если бы они это понимали, они бы поняли, что нас им сроду не одолеть, и не сунулись бы. Да разве я отдам им нашу

Звенигору, свою речку Громотуху и маленькую Громотушку? Пущай выкусят! Я всегда любил глядеть, как из-за утесов Звенигоры всходит солнце и как оно потом садится, садится и плачет ровно, как будто ему неохота уходить с земли. И покуда я живой, я не позволю, чтоб на такую красоту глядела фашистская немчура, я лучше сдохну, но перед этим загрызу, как зверь, хоть одного немца. И никто им не позволит... А об тебе, мам, я скучаю... А батька наш чего, не подал вестей? Передай поклон Лидке, квартирантке нашей, хотя я ей тоже написал...»

Анфиса, прочитав это письмо, разрыдалась от нахлынувших чувств. Ее ли это Колька, неряшливый, хулиганистый и даже, как она считала, придурковатый?! Не он ли изводил в школе учителей, совсем недавно выпускал на уроках всяких крыс!

Письмо это Анфиса дочери не показала, боясь, что Верка фыркнет, что-нибудь скажет такое, чем оскорбит не ее даже, а Коленьку...

«Коленьку»... Даже в мыслях она никогда так не называла сына, и теперь, когда его имя так промелькнуло в сознании, она опять заплакала, но уже не радостно, а тяжело и тоскливо, казня себя безжалостно и жестоко.

После праздника начались бураны и метели, зима заворачивала все круче. Лидка и Майка из школы прибегали красные, как помидоры, долго хлопали руками о горячие бока печки.

Где-то в середине ноября Анфиса в положенное время стояла у окна, глядела на улицу, ожидая появления почтальонши. И когда та появилась, у Анфисы привычно заволновалось сердце. Подойдя к калитке, почтальонша достала треугольник. «Слава богу...— отхлынула у Анфисы в груди горячая волна, оставив свой теплый след.— От Коленьки, должно. Мне или Лидке?»

Письмо было не Лиде, а ей. Оно было не казенное. И не от сына Николая. И не от мужа. И не с фронта. Оно было от какой-то неведомой ей Глафиры Дементьевны Пучкиной, из Новосибирска. «...И хоть муж твой без обеих ног, да ведь живой,— шевеля побелевшими губами, читала Анфиса, руки ее дрожали, и она боялась, что порвет тетрадный листок.— Начальник госпиталя Андрей Петрович выхлопотал ему место в доме инвалидов, а Кирьян, муж твой, оттуда сбежал и теперь вот ездит по поездам, поет жалостливые песни, ему подают, а он все пропивает потом. Да как же это при живой жене-то, страм же один. Иногда он, пьяный, приезжает к нам на своей каталке, а так валяется неизвестно где, а ведь зима, околеет от холода. Я не знаю, какая ты там, Кирьян, муж твой, говорит, что большая ты стерва, так он говорит, и писать тебе ничего не велел, адресу не давал, да я у пьяного его выпытала. И вот не вытерпела, обписываю тебе все как есть, бабье же у тебя сердце, может, чего шевельнется в нем... Шевельнется, так приезжай, может, как найдем его или к нам он когда заявится. А то возьмет да уедет куда с поездом в другие края, чего ему, их много теперь таких, обездоленных войной, они везде ездют, ищи тогда его, ни с какой собакой не найдешь...»

У Анфисы, как только она начала читать, подломились ноги. Она, не видя куда, опустилась и, дочитав недлинное это письмо, встать не могла. Она бессмысленно обвела глазами комнату, не видела ни вещей, ни окон, вместо окон были какие-то расплывшиеся белесые пятна, которые к тому же качались и дрожали, как большие солнечные блики.

— Наконец-то... Кирьян! — простонала она, срываясь с места.

Судорожно сжимая в кулаке письмо, она бросилась к вешалке, стала заматывать платком голову, натягивать старый ватник, все повторяя и повторяя:

— Наконец-то! Кирьян... Кирьян!

Она, незастегнутая, выскочила на мороз, в холод, побежала в библиотеку. И ворвалась туда еще более обезумевшая, растерянная, закричав с порога:

— Мне надо ехать! Мне надо ехать! Отпустите меня...

— Что с вами, Анфиса? — спросила заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова.— Успокойтесь. Как это ехать? Куда?

— В Новосибирск! Кирьян... вот! — Она ткнула ей письмо.

Полине Сергеевне что-то нездоровилось в последнее время, она мерзла и жаловалась на головные боли. Анфиса с вечера затапливала обычно обе печи в библиотеке, топила их почти всю ночь, а сама, пока печи топятся, мыла полы, протирала стеллажи. Весь день в библиотеке, несмотря на то что двери часто открывались, впуская и выпуская посетителей, было тепло, но заведующая все равно си-

дела в толстом свитере, с шерстяной шалью на плечах. Эта шаль и сейчас была на ней, она поправила ее, осмотрела с обеих сторон письмо, затем усадила Анфису на диван, дала ей попить из стакана и только после этого начала читать.

— Боже мой!— воскликнула она, дочитав, опуская руку с письмом на колени.

— Ага,— радостно откликнулась Анфиса, поняв ее возглас.— Это ничего, что без ног. Главное, что живой. Ведь такое счастье! Отпустите!

— Да ведь это не просто сейчас — поехать куда. Это долго оформлять надо, насколько я знаю. Чтобы купить билет, надо сначала пропуск на проезд, кажется, получить в милиции.

— А вы помогите, помогите! Ведь он... Тут написано, может...

Полипова немножко помолчала, кутаясь в шаль.

— Конечно, Анфиса, я попытаюсь... Я сегодня же попрошу Малыгина. А деньги у вас есть на дорогу?

— Ой, да неужели не найду!

Всего этого Анфиса в деталях не помнила. Она очнулась лишь в тесном, туго набитом людьми вагоне. Поезд куда-то шел, в руках у нее был тощий узелок, собранный, кажется, квартиранткой Бертой Яковлевной. Ну да, это она, припомнила Анфиса, что-то ей завязала на дорогу. А заведующая библиотекой Полина Сергеевна Полипова, жена бывшего районного начальника, сама ходила с ней в милицию, потом на станцию покупать билет. Молчаливая она все какая-то, холодная и равнодушная, как казалось всегда Анфисе, а гляди-ка, добрая, вон как отозвалась! Верка болтала с издевкой — с Малыгиным, мол, живет, который работает теперь на месте ее мужа. Ну что же, то ее дело, главное, что добрая, помогла, и теперь вот она, Анфиса, скоро приедет в Новосибирск. Только бы Кирьян куда не уехал с тех мест, только бы не скрылся...

* * *

Кирьян никуда не скрылся, никуда не успел уехать, Анфиса нашла его на станции Инская, расположенной под самым городом.

— Там, в Инской, его надо день и ночь поджидать, там у таких... вагонных попрошаек сборное место,— сказала дочка той старухи Глафиры Дементьевны, которая написала Анфисе письмо.— Поездят и туда возвращаются. Видно, бражку да и водку там где-то достают, спят где-то. Я так думаю — притон кто-то держит там. Айда, я уж тебе подсоблю в розыске, ладно.

— Спасибо, Надюшка! — сквозь слезы воскликнула Анфиса.

Станция Инская — большой поселок, дома в нем почти все деревянные, одноэтажные, почерневшие от времени и от морозов, вокзальчик небольшой, каменный, похожий на длинный сарай, с грязным и вонючим каким-то буфетом. На липких столах с утра до вечера хлебали выдаваемые по карточкам жиденькие борщи железнодорожники — стрелочники, слесаря, кондукторы, путевые рабочие. Часто за этими же столами сидели люди из тех, кого Надежда назвала «вагонными попрошайками»; их можно было сразу отличить — у кого не было руки, у кого ноги, шинели и тужурки на них рваные, мятые, грязные, и главное — они всегда были пьяными.

Поездов через Инскую проходило много, над станцией день и ночь стоял паровозный дым, угольная сажа сверху сыпалась круглосуточно, снег здесь никогда не был белым.

Никакого притона Анфиса и Надежда здесь не нашли, хотя, может, он и в самом деле существовал. Кирьян среди пьянчужек в буфете не появлялся.

Анфиса, за эти несколько дней почерневшая и похудевшая до костей, буквально день и ночь бродила по станции, заглядывала во всякую дырку, встречала каждый пассажирский поезд и, пока он стоял, пробегала все вагоны, обшаривала глазами все полки, тамбуры, заглядывала даже в туалеты, расспрашивала проводников, милиционеров, кондукторов, станционных рабочих о безногом человеке на дощатой каталке, но все бесполезно.

— А много их счас всяких, на катках, на костылях, — отвечали обычно ей.— Разве мы знаем, какой твой.

— Не найдем...— всхлипывала Анфиса.— Господи...

— Не ной ты! — в конце концов сказала ей Надежда, молодая и красивая женщина, у которой муж погиб еще в сорок первом.— Тебя качает, давай уж по очереди, что ли, тут дежурить. Ступай к нам домой, выспись хоть, а завтра я поеду.

— Ты что?! — повернулась Анфиса к ней, как к врагу.— Сама отправляйся! Ой, прости ты меня, Надюшка... Ты поезжай, измаялась со мной, а я... мне нельзя.

— Ну ладно. А утром я приеду.

Ночи Анфиса проводила на жестком, давно не крашенном деревянном диванчике в зале ожидания, но никогда почти не ложилась на него, а сидела и безотрывно смотрела на топку чугунной круглой печки, так, с открытыми глазами, и дремала, прохватываясь от шума каждого прибывающего поезда. И станционная милиция, и дежурные по вокзалу, и уборщица помещения ее давно знали, не тревожили. Уборщица, седовласая мужиковатая женщина, раза два говорила:

— Ну, хоть айда ко мне поспи, я тута рядом живу. Появится какой безногий, вон милиция или дежурный его задержат и сразу известят.

— Нет, нет! — упрямо твердила Анфиса.— Они сменятся или еще что, а он и промелькнет...

— Тьфу ты, окаянная! — ругнулась женщина.— Рухнешь тут, да и сама окочуришься. Ты ж ненормальная уже.

— Нет,— отвечала и на это Анфиса.

Однажды утром мороз особенно трещал. Анфиса, всю ночь просидевшая на своем диванчике в забытьи, глядела, как мечется за круглыми дырками печной дверцы огонь. Было это уже через неделю после начала поисков. Хлопнула дверь, и вошла Надежда, вернувшаяся из города. Она ничего не спросила, потому что и так все было ясно, вынула из сумки замотанную в тряпки миску, ложку и кусок черного хлеба.

— Поешь. Каша овсяная с конопляным маслом...

Анфиса тупо поглядела на Надежду, почувствовала пресный запах горячей каши, судорожно проглотила голодную слюну, взяла ложку, зачерпнула и понесла ко рту. В это время раздался стук приближающегося поезда. Она бросила ложку вместе с кашей, мгновенно вскочила, кинулась на перрон, окутанный морозным туманом, сквозь который еле пробивались первые солнечные лучи.

Подошел поезд. Повалили из него люди. У Анфисы теперь была своя система — она не металась, как раньше, вдоль поезда, а стояла у первого вагона, пронизывала взглядом весь состав вдаль, следя, не появится ли из какого вагона человек на каталке. Он не появился, от состава шли прочь последние пассажиры, сошедшие на этой станции. Анфиса, как всегда, хотела проверить теперь каждый вагон. Но едва взялась за деревянный поручень, чтобы подняться в тамбур, как из третьего от нее вагона вышла какая-то женщина с квадратной доской под мышкой. «Каталка!»— обожгло Анфису, сердце у нее бешено заколотилось.

Из вагона наземь спрыгнули еще двое мужчин, стали помогать третьему снимать на землю какого-то человека.

«Он! Безногий... Кирьян, кто ж еще?!» — молотило у нее в мозгу, но крикнуть она ничего не могла, голос пропал, и те немногие силы, какие оставались еще у нее, исчезли. Она не соскочила с подножки, а сползла с нее по поручню, прислонилась, чтоб не упасть, плечом к заиндевевшей стенке вагона. Стояла так и смотрела, как женщина и трое мужчин суетятся вокруг безногого человека, усаживают его на каталку. В голову ее от заиндевевшего вагона хлестал жар, голова вся наполнялась обжигающей болью. Она по-прежнему не различала, Кирьян там, тот одноногий, или не Кирьян, но была уверена, что это он, никто другой это быть не мог. И, оттолкнувшись от вагона, дико, на всю станцию закричала:

— Кирья-я-ан!

Подбегая потом к нему, она уже видела, что это он. На крик ее он повернул обросшее, грязное, давно не мытое лицо, толстые, заскорузлые губы его перекосились, в глубоко запавших глазах плескался, все более разгораясь, смертельный испуг, будто к нему не жена приближалась, а смерть.

— Родимый!! — выдохнула она и рухнула перед ним, тычась головой в грязные, стылые доски перрона, в то место, где у него должны быть колени.

— Анфис... Анфис! — пробормотал он хрипло и пьяно. И, забыв свои деревянные колодки, которыми при передвижении отталкивался от земли, голыми руками уперся в осклизлые доски, подкатился к ней вплотную, взял в ладони ее растрепанную голову.

— Я тебя нашла... я тебя все равно нашла! — глотая целыми горстями слезы, хрипела она.

И у него глубокие и худые глазницы были, казалось, до краев переполнены слезами. Он большими и трясущимися ладонями гладил голову жены, будто мял и мял ее, и все повторял одно и то же без конца:

— Анфис... Анфис... Анфис...

Надежда, дочь старой госпитальной санитарки, стоя немного в стороне, смахивала со щек слезы. Безмолвно смотрели на эту человеческую трагедию военных лет женщина и трое мужчин, помогавших Кирьяну сойти на землю, проводницы и пассажиры из близстоящих вагонов, случайно проходившие мимо люди. У каждого из них в это тяжкое время были свои заботы, свои дела, а может быть, как у Надежды, и свое горе горькое, но они, забыв о нем, стояли и смотрели, потрясенные.

* * *

В том тяжком сорок третьем, как полутора годами раньше или позже, горе горькое ходило по нашей земле широкими шагами, сеяло свои черные семена обильно и щедро. Не первой была трагедия Кирьяна и Анфисы и не последней та, которая случилась в селе Михайловке тринадцатого декабря, в понедельник, ранним морозным утром, когда не взошло еще солнце.

В это утро Агата поднялась далеко затемно, растопила печь, вскипятила чугунок воды, бросила туда несколько чуть очищенных, лишь бы только соскоблить грязь, картофелин, горсть просяной муки и крохотный кусочек сала. Когда похлебка сварилась, она осторожно приподняла с сына лоскутное одеяло.

— Сынок...

Володька прохватился сразу, привычно поглядел на глухо замороженные, от тусклого света лампы белесые, как бельма, окошки, потом на тикающие ходики, сказал:

— Что поздно разбудила? До восхода надо бы уж разок обернуться.

— Шестой час всего. Давай завтракай. Версты две туда, не боле, до полдня два раза успеем, а там лошаденки отдохнут, да еще раз съездим.

В этих двух километрах от Михайловки, неподалеку от заколоченного стана бывшей второй бригады, между двумя березовыми колками, стоял небольшой стожок сена, последний из тех немногих стожков, которые удалось поставить на сожженных солнцем сенокосах. Луга и лесные опушки выскребли по травинке, кормов заготовили всего ничего, а порядочное количество скота от свирепого ящура уберечь все же удалось. Тянется пока еще декабрь, а коровенок кормить уже почти нечем, есть еще немного соломенной трухи да вот этот стожок. И по всей округе свирепствовала бескормица, поползли слухи о воровстве сена, и Назаров повелел этот стог вывезти от греха к ферме, отрядив на то Агату с сыном и двух лошадей.

Поплескавшись из рукомойника над тазом, Володька, прежде чем сесть к столу, взял школьную сумку Дашутки, сшитую Агатой из мешковины, достал тетрадку, полистал сосредоточенно, покосился на спящую в углу под старым тулупом восьмилетнюю свою сестренку, сдержанно, по-взрослому, улыбнулся, уронил одобрительно:

— Пострелуха. Ни одной двойки нету. Все четверки да пятерки.

Дашутка, раскинув по подушке тощие косички, спала, как все дети на заре, глубоко и сладко, ее не могли разбудить ни голоса, ни громкие шаги, ни хлопанье дверей, и Володька понимал это, но говорил тихо, к столу прошел осторожно и неслышно.

Единственный кусочек сала Агата положила в чашку сына, тот, склонившись над ней, хлебал сиротское варево не спеша и молча, все время отгребая этот кусочек в сторону. Выхлебав, он отложил ложку, а сероватый пластик сала остался на дне чашки, белея там.

— Ты чего, сынок? — кивнула Агата на этот кусочек.— Съешь.

— Не, то Дашутке. Ей учиться.

Агата ничего больше не стала говорить, опустила глаза в свою чашку, чтобы сын не увидел в них проступившей мокроты. Она давно стеснялась его как старшего в их семье.

Через несколько минут они были на конюшне, запрягли лошадей в розвальни. Агата подошла к стоявшему рядом коровнику, из-под закрытых ворот которого пробивалась узкая блеклая полоска света от фонаря.

— Антонина, ты, что ль? — крикнула Агата, приоткрыв ворота.— Выйди на час.

«На час» — означало на немного, на минуту, так говорили в Михайловке, и в Шантаре, и везде вокруг. Антонина зимой не кашеварила, некому и нечего было варить, она, как и все колхозники, жила зимой в Михайловке, работала на скотном дворе.

— Ну, чего? — сказала она, выйдя с лопатой в руках, которой сгребала в коровнике навоз.— Здорово ночевали, тетя Агата.

— Здравствуй, Тоня. Мы вот поехали, ты разбуди Дашутку в школу.

— А, ладно,— сказала Антонина, поглядела на маячившего во мраке возле саней Володьку.— Я сбегаю разбужу.

Когда они выехали за деревню, ночь стояла еще плотная, на черном небе безмолвно горели звезды, тоже, как деревья и кусты, будто заиндевевшие и будто именно с них на землю осыпалась сверкающая изморозь.

Было холодно и глухо в этот ранний час, непроницаемая тишина стояла над Михайловкой, над Звенигорой, над заваленными снегом полями и перелесками.

Агата и сын ее находились в первых санях, она сидела на голом дощатом днище, поджав под себя ноги, и держала в руках вожжи, Владимир лежал рядом, укрытый старым тулупом. Вторая лошаденка привычно бежала следом.

— Ты подремал бы, сынок. Пока-а еще доедем...— произнесла Агата, поглядев на сына.

Володька не откликнулся на это, а через некоторое время сказал:

— А что, мам, хорошо бы Дашутка-то в ученые люди вышла? Вон как учится. В агрономы бы, а то в ветеринары, еще лучше.

— Да... это хорошо бы,— негромко ответила Агата срывающимся голосом.

— Батяня приедет — мы ее доучим.

— Приедет, сынок, дай-то бог.

— Доктора, мам, сейчас знаешь какие! Они его вылечат.

— Дай-то бог,— еще раз сказала Агата.

После того письма, что Агата показала Анне на току, Иван прислал еще два-три, а затем письма прекратились, не было их всю вторую половину сентября, весь октябрь и ноябрь. Сердце Агаты все леденело, а когда выпал снег, и вовсе остановилось, будто его снегом этим засыпало и заморозило. «Вот и Ванюшка! Вот и Ванюшка...» — гвоздем долбила ей в мозг одна и та же страшная мысль, она стала чернеть и коробиться, как береста на огне. Лишь в самом конце ноября наконец-то пришла от него весть, пришел привычный треугольник. Агата, не читая письма еще, заревела на всю Михайловку от радости. А потом еще раз заревела от испуга, не сразу и сообразив, что самое страшное уже позади. Письмо было написано непривычно корявыми строчками. Иван сообщал, что в середине сентября он под городом Брянском, когда из него выбивали немцев, был «немного поранен в правую руку, осколком срезало на ней чуток пальцев, пришить чужие теперь нельзя, придется без них теперь махать рукой...».

— Про Семена... есть что?! — влетела в дом Анна, узнав о письме.

— Про Семена? Не-ет,— ответила Агата, думая о своем. И завыла, всхлипывая: — Без них теперь махать... Господи, не так же все! Не только пальцы! Тяжельше он поранен... Вот и строчки кривые, карандаш не может держать!

— Ну что орешь-то? — осадила ее Анна.— Живой же. Приедет скоро... Вот — «вскорости комиссуют». Ты радуйся, дура, а она орать...

Да, Иван писал, что «вскорости комиссуют меня, значит, не гожусь теперь для войны, подлечут вот еще маленько в госпитале, вылечат окончательно то есть, не позже нового года, сказали мне, и выпишут, приеду я к вам, родные мои...».

О Семене же — ни слова, будто никогда он вместе с ним не воевал, никогда не знал, нигде не встречал этого человека, племянника своего.

О Семене он написал несколько строк наконец в следующем письме, полученном два дня назад. Строки были скупые и непонятные и оттого еще более страшные. «Там Анна изводится, понятно, что я об Семене молчу. А что писать-то? Потерялся он от меня во время одного боя. Где он, я счас не знаю. Приеду, так расскажу, как это получилось так. Ты Анну успокой, мертвым я Семку не видел, значит, он может быть живым вполне...»

Когда Агата дала Анне это письмо, та прочла строчки о сыне своем молча, молча же встала и побрела к двери.

— Ты б, Анна, сама написала Ивану... Опиши, мол, подробно, что и как,— посоветовала Агата, не зная, что сказать ей другого.— Вот адрес этого госпиталя, где Иван...

— Да что писать?— откликнулась Анна от дверей с нездоровой усмешкой.— И так все ясно...

Обо всем этом невесело вспоминала Агата, слушая, как повизгивает разрезаемый полозьями мерзлый снег. Думала об Иване своем: «Да неужто вернется, сердешный?.. Скорей бы!» И сквозь жившую во всем ее теле радость ожидания просачивалась откуда-то тревога: «А вдруг да приключится чего, и опять... Судьба-то у него такая — в любой момент возьмет да опять завернет?!»

От этой новой возможной несправедливости к Ивану, которую Агата привычно уже никак не могла исключить, сердце ее ныло и обливалось тупой болью.

Все так же было темно, приближались к березовым перелескам, меж которых стоял стожок. Снегу здесь намело немного, Агата это знала, дорогу к стожку торить почти и не надо, радовалась она. Разве проехать туда со шляха разок да обратно — и все. А коли так, может, хватит времени до обеда не раз, а два съездить за сеном, в четыре воза они укладут половину стожка, а после обеда вывезут и остальное.

И вдруг она, вместо того чтобы свернуть с дороги к стожку, остановила лошадь, выскочила из розвальней с криком:

— Сыно-ок!

— Что? — вскочил и Володька.

— Дорога-то к стожку... гляди!

Да, санный след к стогу был уже кем-то проложен, видно было, что туда ездили уже не раз и вывозили оттуда сено,— снег был усыпан сенной трухой, темная лента по белой земле уходила во мрак, пропадала меж перелесками.

— Наше сено... своровали! — задохнулась Агата.— Седни ночью... Господи!

Она заскочила в розвальни, стегнула лошаденку, погнала ее меж перелесков по чьему-то санному следу. Володька кинулся ко второй подводе, заспешил следом.

Издали они еще увидели, что стожок наполовину разворочен, возле него чернело два навьюченных воза, а третий какие-то люди торопливо накладывали.

— Паразиты-ы! — издали еще закричала Агата пронзительно, нахлестывая лошаденку.— Ворюги проклятые!

— Мама! Мама-а! — орал сзади Владимир испуганно.— Не лезь к имя. Не лезь.

Он был мальчишка годами, но, взрослый умом, он понимал, чем в это тяжкое время бескормицы может кончиться такая вот встреча с ночными ворами колхозного сена. Он остановил было лошадь, но, видя, что мать все погоняет свою с криком, тоже дернул вожжами.

Услышав крик, маячившие возле стога люди прекратили свою работу, заметались было, потом замерли. Их было трое, один, как рассмотрела Агата, подъехав почти вплотную, бородатый и широкоплечий, двое других щуплые, один выше, другой ниже, тоже волосатые и немолодые. От всех шел пар, все были мокрыми. Чтоб легче было работать, они сбросили полушубки, которые валялись черными лохмотьями на снегу.

— Вы что удумали, паразиты?!— бросилась на них Агата, выхватив из саней вилы.— Кто такие? Запорю-ю!

— Мам! — крикнул Володька, остановил возле нее лошадь.

— Скачи в деревню, сынок, за людями!

— До людей далеко,— зловеще усмехнулся бородатый.

— Кто такие, спрашиваю?!— кричала Агата, держа вилы наперевес.— Постой, да я тебя припоминаю, бородатый дьявол! Не климовский ли ты спекулянт? Все в Шантаре молоком да маслом торгуешь?.. Во-он кто! Скачи, сынок!

Но скакать в деревню надо Володе было раньше, едва они увидели воров. В горячке, однако, ни Агата, ни Володька этого не сообразили. И признаваться, что она узнала бородатого, не следовало. В этом случае, может, все бы и обошлось. Свалили бы похитители наложенное уже сено, обрубили, чтоб не вздумали гнаться, оглобли у их саней и скрылись. Теперь же дело приняло совсем другой оборот, этим троим, если останутся в живых свидетели, грозила многолетняя тюрьма. И потому один из тех, что помоложе и повыше, едва Володька стал заворачивать лошадь, метнулся к нему, в два-три прыжка достиг саней, схватил мальчишку за шиворот и выбросил из розвальней в снег, прохрипев:

— Щенок!

— Не тронь его, пес! — дико вскричала Агата, повернувшись к сыну, и в это время низкорослый, у которого в руках тоже были вилы, взмахнул ими, ударил Агату по голове. Она застонала и, качнувшись, упала. Шагнув к ней ближе, низкорослый глянул на бородатого. Тот лишь кивнул головой и огладил бороду, будто сгребая с нее ледяные сосульки. Низкорослый медленно поднял вилы и с хрипом опустил их, вонзая Агате в грудь.

— Ма-ама! — смертельным криком закричал Володька.

Крик еще плавал в черном морозном воздухе, когда бородатый, опять нервно огладив бороду, кивнул высокому:

— А этот щенок — твой уж, сынка... Чтоб поровну вам обоим.

* * *

Поликарп Матвеевич Кружилин приехал в Михайловку на восходе солнца. Медно-красное, большое, оно поднималось над землей тяжело и медленно, лучи его заиграли на белых снегах, каждый кристалл снега, пронзенный насквозь, засветился и запел будто о вечной и нескончаемой жизни на земле.

Приехал он сюда, к Панкрату Назарову, просто так, без дела. Может, оно и было, да его не легко объяснить, если бы это потребовалось кому-то. По району гуляла бескормица, каждые сутки десятками падал уцелевший осенью от ящура скот. Люди голодали, и хоть не умирали голодной смертью, но случись, это никого бы не удивило. Тяжело было Кружилину, ответственному одинаково за жизнь людей, за сохранность скота, за подготовку к будущему весеннему севу, за все прочие дела, великие и малые, и он приехал к старому своему другу поглядеть, как же он-то переживает тяжелое это время, что он думает о нем, и, может, чему-то поучиться у старого председателя, набраться хоть немного новых сил.

Он приехал поучиться и набраться сил, а старый Панкрат сразу же и огорошил его:

— Слава те богу, скоро сброшу с себя это председательское ярмо.

— Это... как же? — опешил Кружилин.

— Иван Савельев скоро приезжает. Вот его в председатели и выберем. Пущай он дальше похлебает. А у меня сил уж нет, иссяк.

— Ловко это ты.

— Возражать, что ли, будешь?

— Буду,— помолчав, сказал Кружилин.

— Ну, и зря,— мрачно огрызнулся Назаров.

Они сидели за столом после завтрака, жена его, Екатерина Ефимовна, молча убирала со стола нехитрую посуду. Кружилин курил, а Назаров, сегодня не кашляя, просто сидел, задумчивый, поглядывал время от времени в окно, из которого виден был скотный двор. Поднявшееся уже немного солнце обливало худенькие постройки, сине отсвечивали заваленные снегом толстые соломенные, еще не скормленные скоту, крыши коровника и конюшни. Падежа животных у Назарова пока не было.

— Якорь их, что они там копаются? Приехать уж раз должны,— проговорил Назаров, подошел к окну, глянул куда-то в сторону, за коровник.

— Кто?

— Да Савельевых, Агатку с сыном, послал сено возить. Стожок сенца у нас еще на худой день сберегся. Последний.

— Пока еще не самые худые дни, считаешь?

— А что считать? Демид — он прямо глядит, а Фóка всегда заглядывает сбока,— усмехнулся Назаров.— Кабы в январе весна уж начиналась...

Этими немногими и обыкновенными словами Назаров безжалостно обнажил то суровое и тяжкое, что переносил народ и что еще предстояло перенести. Это было ясно всем и ему, Кружилину, в первую очередь, и сейчас он понял, что приехал сюда, собственно, затем, чтобы лишний раз не в одиночку, а вместе с другом почувствовать тяжесть сегодняшних дней и еще более суровых грядущих, а такое всегда придавало ему новые силы.

— Немец снова, значит, на Киев прет? — неожиданно спросил Назаров, все глядя в окно.

— На Киев,— коротко откликнулся Кружилин, думая еще о своем.

— Да-а... Никогда я не был в этом Киеве,— заговорил почему-то Назаров.— Вот по истории учат детишек, в Киеве Русь зачиналась, а?

— Да... там,— сказал Кружилин, не понимая, зачем Назаров заговорил об этом.

— Так, может, немцы и вдолбили себе — там зачалась, там и кончится? Потому так и лезут в какой раз на этот город...

Такая мысль самому Кружилину никогда в голову не приходила, и он поразился тому, что сказал Назаров: ведь вполне могла эта бредовая идея гвоздем сидеть в башке какого-нибудь фашистского идеолога или теоретика! Вполне. Они, немцы, любят всякие символы. И он сказал:

— Может быть...

— Только Русь-то сейчас — она вон какая! — продолжал Назаров.— И тут, у нас, Русь, в соседнем с нами Казахстане, в Грузии, в Армении... Во всех республиках в смысле, а?

— В этом смысле — да.

— В Громотуху вон Громотушка впадает, другие многие речки да ручейки вливаются. Потому она и не мелеет... И в тебе она, и во мне Русь. В украинцах, татарах, во всех... Разве ж все это может кончиться? Это бы им понять, людоедам.

— Если бы это Гитлер понимал, он бы никогда против Советского Союза войну не начал.

— Конечно. Дурак он, если подумать...— И Назаров вздохнул, будто сожалея, что Гитлер дурак.— Сколь горя только людям причинил, реки человеческой крови выпустил... Кирьян Инютин, я слыхал, вернулся?

— Да. Без обеих ног. Под пах отрезали. Заходил я к ним. Анфиса от радости прямо онемела и никак не отойдет. Не знает, куда его и посадить.

— Ты гляди-ка! — удивился Назаров.— Вот и пойми их, баб!

— Да. Но радость радостью, а ведь и жить им как-то надо. Может, ты, Панкрат, их в колхоз к себе возьмешь? Тут Кирьян скорее к чему-то приспособится.

— Возьму,— сразу же проговорил Назаров.— Чего ж, не дадим пропасть. Шорничать будет у нас, к примеру, научим, не хитрое дело. Али еще чего. Это ты верно, тут ему лучше будет.

С этими словами Назаров наконец отошел от окна, сел на прежнее место. Немного помолчав, вернулся к прежнему:

— И в этом Кирьяне Русь, и в Савельеве Иване... Зря, зря ты будешь возражать, чтоб его в председатели. Добрый и славный он мужик. После гражданки он свое отсидел правильно, и это он понимает, не обижается. Остальное зазря хлебал.

— Рано об этом говорить сейчас, Панкрат Григорьич.

— Ну, пущай рано, я не возражаю,— согласился Назаров.— А на будущее все ж таки поимей... Я от Ивана тоже письмо получил. Правую руку ему отрезали.

— Руку?! — воскликнул Кружилин с болью.

— До локтя...— И усмехнулся горько.— Инютину обои ноги под пах, а ему руку только — повезло... Агатка, жинка его, еще не знает. «Ты,— просит он в письме,— подготовь ее как-нибудь, ей-то я покуда про пальцы только сообщил, не пишу покуда всего, жалею...» Он жалеет ее, а я, значит, должен... И как это я ее должен подготовить?

Кружилин, выкурив самокрутку, раздавил окурок в металлическом эмалированном блюдце, которое Екатерина Ефимовна оставила на столе вместо пепельницы. Сама она ушла, в доме никого, кроме них, теперь не было. Назаров поглядел, как давит Кружилин окурок, и вдруг усмехнулся:

— А што там награды-то наши? Ты списки требовал. Когда придут?

— Понимаешь, Григорьич... такое дело тут, не вышло ничего с наградами у нас пока. Не поняли нас там...

Старый председатель еще раз усмехнулся, хотел спросить: «Где это там?» — но не успел, потому что на крыльце загремело, хлопнула в сенцах дверь, затем отмахнулась и дверь в комнату, через порог переступила, перевалилась жена Назарова, дикая и страшная, ухватилась, чтоб не упасть, за угол печки:

— Панкра-ат!

Назаров и Кружилин оба враз вскочили.

— Агату... Агату-то! Сено воровали... Вилами запороли! И мальчонку...

— Ты что-о?! Ты что?! — взревел Панкрат, подскочил к жене, затряс ее.— Кто сказал? Где-е?

— Там... на улице.

Назаров отбросил в сторону жену, будто она, ненужная теперь, стояла у него на пути, схватил с гвоздя шапку, полушубок. Кружилин тоже бросился к вешалке.

Первое, что они увидели и услышали, когда выскочили на крыльцо,— по заснеженной улице с воем и криком бежали куда-то полураздетые бабы. Кружилин и Назаров молча кинулись туда же.

Через минуту они были у скотных дворов. Там стояла, окруженная толпой, подвода. Назаров и Кружилин растолкали баб и стариков, увидели жуткую картину. В розвальнях, мучительно оскалив зубы, лежала окровавленная Агата, один ее глаз, мертвый, безжизненный, был приоткрыт, он с ненавистью смотрел куда-то мимо людей; сын ее Володька сидел рядом, свесив низко голову, старенький, рваный кожушок на нем был тоже окровавленный. А возле розвальней коленями в снегу стояла Тонька, умоляюще повторяла без конца, глотая слезы:

— Володенька?! Володя! Очнись ты... Володенька! Володя?! Очнись ты...

* * *

Хоронили Агату, как и положено по русскому обычаю, через два дня на третий. Володька, сын ее, лежал в это время в Шантарской больнице, и при нем безотлучно почти находилась Антонина.

...Тот из сыновей бородатого, что был повыше, оказался слабонервнее низкорослого. Подчиняясь словам отца, он, качнув вилами, пошел на Володьку. Завизжав пронзительно, Володька задом пополз от него по снегу, не в силах оторвать глаз от приближающихся стальных отполированных рожек, на которых играли холодные звездные блики. Одной рукой он все загораживался от приближающейся смерти и все повизгивал: «Дяденька... дяденька...»

Рука-то, может, и спасла. Скользнув по кости, раскаленные рожки вильнули не к сердцу, а левее, насквозь пропороли плечо.

— Ишшо для верности,— прохрипел бородатый, голос его Володька еще разобрал. И еще расслышал, как стоящий над ним человек коротко выдохнул:

— Ага...

Второй раз он ударил лежащего Володьку, как и низкорослый Агату, со всего размаха, но бил, колотясь от нервной дрожи, с закрытыми глазами — не мог уже глядеть на свою жертву — и потому промахнулся, рожки вил задели только лишь кожу на правом боку и с хрустом вонзились в снег и еще глубже, в мерзлую землю.

— Сваливай, живо... И дёру, покуда не развиднелось. Не до сена теперь,— отрывисто дыша, скомандовал бородатый.

Но этого Володька уже не слышал...

Очнулся он от яркого света, бившего в глаза, и оттого, что внутри у него будто угли были насыпаны, прожигали все тело насквозь. Он понимал, что уже утро, понимал, что в лицо ему бьет солнце, вспомнил все, что произошло. В голове были муть и угарная горечь, вставать не хотелось, с закрытыми глазами лежать было легче. Но он понимал также, что если будет так вот лежать, то скоро замерзнет. Пере-

силивая себя, встал... Каким-то образом нашел еще в себе силы подтащить мать к саням и перевалить ее в них. Он не знал, живая она или мертвая. Он только знал, что ее надо везти в деревню.

Он забрался в розвальни сам, потянул за вожжину. Лошадь привычно двинулась, на месте почти развернула сани, потрусила в деревню привычной дорогой. Вторая подвода осталась на месте.

На похороны Агаты приехать посчитал своим долгом Кружилин. И посчитал своим долгом сказать несколько слов перед тем, как опустят в могилу гроб с ее телом. Стоя над могилой в толпе воющих баб, он, сжимая в руках шапку, медленно ронял слова:

— ...Простая ты была женщина, Агата, была хорошей женой и хорошей матерью, хорошей колхозницей. Но такими простыми и держится наша земля. Недавно председатель ваш Панкрат Григорьич говорил мне: в Громотуху вон Громотушка впадает, другие речки да ручейки вливаются, потому и не мелеет Громотуха... Никогда, дорогие мои женщины, не обмелеет жизнь и духом не оскудеет земля наша, потому что живут на ней вот такие простые люди, как Агата Савельева...

А Панкрат Назаров под усилившийся рев баб лишь произнес:

— Ну что ж, Агата... Ивану твоему руку отрезали, не всю, до локтя. Он просил сообщить тебе об этом, подготовить тебя. Вот, я сообщаю... Спи спокойно, ты натрудилась досыта. А об детях не беспокойся, они будут с нами, не обидим...

Из баб лишь Анна не выла и не плакала, она, замотанная в собственной вязки платок из козьего пуха, стояла над могилой бесчувственная, полумертвыми глазами смотрела в темную яму, выдолбленную в мерзлой земле, одной рукой прижимала к себе Ганку, пришедшую сегодня утром в Михайловку вместе с Димкой на похороны матери их «полольного бригадира». «Мы должны ее похоронить, Дим! — сказала она еще вчера, когда возвращались из больницы. Они ходили к Володе, но к нему их не допустили.— Володя не может, так мы...» — «Ага, отпросимся у Берты и пойдем с утра на лыжах»,— кивнул он.

Анна прижимала к себе девушку, Димка стоял рядом, тоже с непокрытой головой, как Кружилин и Назаров, крепко сжатые губы его подрагивали.

Когда начали зарывать могилу и мерзлые комья земли гулко, как камни, застучали о гроб, Анна другой рукой прижала к себе и сына.

Опоздав к похоронам на час, прибежала пешком из Шантары Тонька.

— Уже... погребли?!

И она заплакала тяжело, по-бабьи.

А выплакавшись и никому больше ничего не говоря, принялась переносить свои небогатые пожитки в избенку Савельевых.

— Ты чего это? — спросил Панкрат, проходя мимо.

— А буду теперь здесь жить. Заместо матери им, Володе и Дашутке, или еще как... Варить, стирать им кто-то должен?

— Ага, ну да,— согласился, покашливая, Панкрат.— Володька чего там?

— Слава богу, вроде. Поправится, доктора обещают.

...Широкими шагами ходило в тяжком сорок третьем, как полутора годами раньше или позже, горе горькое по нашей земле, обильно и щедро сеяло черные свои семена. Не первой была трагедия Кирьяна и Анфисы и не последней эта вот, которая случилась в крохотной деревушке Михайловке. И если бы боль в одном человеческом сердце не отзывалась в другом, щедро и бескорыстно отдавая ближнему тепло свое и всю свою живую и горячую кровь, жить в это время на земле было бы, вероятно, невозможно...

* * *

Жить было бы невозможно, если бы сердце не обладало способностью радоваться искрящемуся под солнцем снегу и обмытой летним дождем листве, песне соловья на восходе и шелесту поспевающих хлебов, высокому синему небу и человеческим голосам под ним; если бы оно не обладало способностью очищаться со временем от страданий и тоски, не обладало вечной способностью волноваться и вечной потребностью любить...

Обо всем этом, кроме почему-то последнего, Ганке всю дорогу от Михайловки до Шантары толковал Димка, объяснял он это ей сбивчиво, не глядя на нее, бес-

прерывно останавливаясь, расстегивая и снова затягивая ремешки на самодельных креплениях лыж, хотя в этом не было надобности. А Ганка, замотанная в платок из козьего пуха (Анна час назад сама надела его ей на голову, а концы завязала на спине), шла молча, попеременно отталкиваясь палками, смотрела на кончики своих лыж, не останавливалась.

— Гань... Ганя! — в конце концов не вытерпел Димка.— У тебя вроде лыжина расхлябалась. Дай я перевяжу.

Она остановилась так же молча. Димка бросил свои палки, опустился у ее ног. Ганка была в старых валенках, коротком ватнике, в теплых, плотно обтягивающих ноги шерстяных, трикотажных брюках. Перевязывая ремешки ее лыж, хотя в этом тоже не было надобности, Димка, краснея, невольно косил глаз на ее коленку и смертельно боялся, что она заметит это, сердце его гулко колотилось.

Она ничего не заметила, молча пошла дальше и так же молча свернула на заснеженную, с осени еще заброшенную дорогу, ведущую во вторую бригаду, где они жили летом, работая на прополке.

Они шли по этой дороге рядом, оставляя на ровном белом снегу два лыжных следа.

Димка догадывался, куда она свернула. И действительно, подойдя к старой сосне, под которой она нашла его тогда, душным июльским вечером, девушка остановилась, воткнула лыжные палки в снег и стала смотреть на Звенигору. Каменный великан, которого показал ей тогда Димка, безмолвно лежал на своем обычном месте, он все так же глядел в небо, лишь его «волосы», спускающиеся куда-то в Громотуху, присыпаны сейчас были снегом, они словно поседели.

Ганка смотрела, глаза ее потихоньку наполнялись слезами, и, когда наполнились, она прошептала:

— Это у него от горя...

Димка помолчал и сказал:

— Ага, он все знает... А тех троих в тюрьму забрали, судить будут.

Вышли они из Михайловки во второй половине дня, сразу после похорон Агаты, солнце тогда прошло только половину короткого теперь дневного пути, а сейчас оно было уже где-то за Звенигорой, за ее каменными громадами, и еще дальше, за Шантарой, неяркие лучи его с той стороны освещали утесы, а с этой отвесные скалы были темными, под ними рождалась уже ночь.

Девушка оторвала взгляд от необычного каменного изваяния, сотворенного природой, опустила голову, с ресниц ее скапнули в снег две теплые слезинки. Она будто лишь и ждала, пока они скапнут, выдернула свои палки из снега и пошла...

На увал, откуда открылась недалекая Шантара, они вышли уже на закате. Вышли и остановились. Большое село, на окраине которого густо дымили заводские трубы, тонуло в снегах и в морозном вечернем тумане, клубами поднимающемся с крохотной, но никогда не замерзающей Громотушки. И в эти густые дымы и туманы опускалось непомерно большое и, казалось, остывающее, истратившее за холодный зимний день весь свой свет и все тепло бледно-желтое солнце.

Глядя на это солнце, Ганка и спросила:

— Дим... Жить было бы еще ну просто невозможно, если бы сердце еще... любить не могло? А, Дим?

— Это конечно... так это,— откликнулся он еле внятно.

Девушка глядела на заходящее солнце, а Димка — на выворачивающуюся слева из-под Звенигоры широкую ленту заснеженной Громотухи. Вывернувшись из-под скал, река тут сразу раздваивалась, обтекая большой остров, заросший тальником и черемухой. Напротив этого острова, вспомнил Димка, они и рыбачили в тот день, когда началась война,— Семен, Николай Инютин, Андрейка и он, Димка. Потом появилась Вера Инютина, и Семен ушел с ней на остров... Весной тут, в зарослях черемухи, ошалело поют соловьи. «А потом замолкнут и начинают, наверное, росу клевать,— родилась как-то сама собой у него неожиданная мысль, необычно взволновав его.— Ну да, чтоб горло промыть росой...»

— О чем ты думаешь, Дим? — опять спросила Ганка, как когда-то.—Только честно!

— О том, как соловьи... росу клюют. Чтобы петь дальше.

— Это как же?! — Девушка повернулась к нему, широко раскрыв глаза, промытые там, у сосны, влагой, скапавшей в снег.

— Не знаю, — ответил он.— Но я слышу — соловьи росу клюют...

Она все смотрела на него изумленно, дышала морозным воздухом все чаще. Потом воскликнула: «Ди-им!» — плечи ее качнулись, и она горячей головой ткнулась ему в грудь.

Тяжелое солнце все ниже опускалось за Шантару, за густые дымы и туманы, чтобы завтра подняться над землей снова...

Эпилог

«Я СЛЫШУ — СОЛОВЬИ РОСУ КЛЮЮТ...»

1



ето 1947 года началось в Шантаре молодыми грозами, во все небо, от края до края, полыхали веселые молнии, обливая молчаливые камни Звенигоры желто-синим светом, теплые ливни щедро поили древнюю землю, ее луга и пашни, леса и степи. А когда ливни утихали, небо распахивалось до бесконечности, плавали в нем вольные птицы, днем звенели жаворонки, а ночью хлестали звездные волны.

Над теплыми очагами живущих и над холодными могилами мертвых продолжалась жизнь, вечная и нескончаемая.

Война отошла в прошлое, кончилась она, казалось, давным-давно, а жуткие последствия ее встречались на каждом шагу. Не поднялись еще из пепла деревни, из руин города, по этим деревням и городам ходили на костылях инвалиды, почти в каждом доме висели, окаймленные человеческой печалью, фотографии тех, кого война, захватив страшным своим водоворотом, унесла навсегда, кто никогда уже не увидит ни родных, ни близких, не почувствует буйных гроз, не услышит птичьего пенья.

День сегодняшний никогда не похож на день вчерашний. Жизнь шла, и все менялось в ней...

К сорок седьмому году, так или иначе, одни вернулись в Шантару или Михайловку, обозначились или были известны кому-то судьбы других.

Иван Савельев из госпиталя вернулся в январе сорок четвертого, не зная о трагической гибели Агаты. А когда узнал, побледнел, казалось, насквозь, качнулся и упал бы, не поддержи его Панкрат.

После, окаменевший и бесчувственный, он стоял и стоял над заснеженной могилой верной и безответной жены своей, которая в самые лихие времена была его единственной радостью и духовной опорой.

Он стоял в расстегнутой шинели, прижимая к себе детей — здоровой рукой Дашу, а другой, наполовину обрубленной, Владимира, и полупустой рукав его заламывало несильным ветерком. На груди у него покачивалось несколько медалей, горел эмалью под холодным низким солнцем орден Ленина.

Год он прожил молчаливо, замкнуто, не замечая, казалось, никого, даже хлопотавшую по дому Антонину, только все белел, белел волосами, пока голова не стала белой как снег.

А в феврале сорок пятого Панкрат, покашливая, сказал ему:

— Мертвым, Иван, лежать, а живым покуда ответ держать. Бери колхоз с меня...

— Это как?! — не понял сперва Иван.— Да я ж и беспартийный.

— Мало ли председателей беспартийных! Народ тебя выберет. А с Поликарпом я обтолковал.

— Погоди... И ты ж не мертвый покуда.

— Ага. Ноги не скрючил, да и разогнуть не могу. Обессилелся я, как древний мерин. Война покуда была, скрипел, да вез. Счас вон кончается она, и силушка иссякла, всё! И легкие все искашлял, вконец сгнили.

— Попробовал бы ты все же пулю ту проклятую вынуть. Надо, Панкрат, в больницу...

— А-а...— отмахнулся Назаров.— В общем, запрягайся в колхоз.

Ивана в председатели выбрали единогласно. Назаров вместо умершего по весне, сразу после победы, Галаншина Евсея стал заведовать конюшней.

Осенью сорок шестого Володька, сын Ивана, объявил отцу, что хочет жениться. Было ему тогда уже семнадцать, он вымахал почти до двух метров ростом, длинные руки, привыкшие ко всякой колхозной работе, носил тяжело, голова, крупная, с лохмами грубых волос, сидела на короткой шее как-то очень плотно и упрямо.

— На ком же? — спросил отец.

— Как на ком? На Антонине. С весны я, бать, живу с ней...

Той весной по берегам Громотухи и на ее островах особенно яростно цвела черемуха, и однажды Тонька отправилась к речке наломать букет. Заканчивалась посевная, Антонина, как обычно, кашеварила на полевом стане, а под вечер как-то, накормила колхозников, в том числе и Владимира, и пошла. Володька заметил это, помедлил, двинулся, озираясь, как вор, следом.

Он отыскал ее в одурманивающих мозг зарослях, и, когда раздвинул ветки, она обернулась на их шелест, испуганно воскликнула, роняя охапку наломанной черемухи:

— Ой!

— Тонь...

— Ой, Володенька...— прошептала она, обессиленная враз.

Он подошел к ней, дотронулся до плеча, она, вздрогнув, качнулась, ноги у обоих подогнулись. Уже лежа на рассыпанной ею черемухе, он принялся неумело и жадно целовать ее, торопливо расстегнул кофточку, обжег руки об ее тело...

— А я ждала, Володенька! Я столь годов ждала, когда ты вырастешь...— шептала она, покорная и благодарная.

Она ждала, но все время, сколько жила в их доме, добровольно взяв на себя обязанности Агаты, ни словом, ни единым жестом не показала ему этого,— наоборот, все больше сторонилась его, а с приездом Ивана вообще перебралась в свой старый домишко, к Савельевым приходила лишь убрать, сварить, постирать... И вот теперь призналась в своих мыслях откровенно и просто, а Володька ей ответил:

— А я знал это, Тонь... Я понимал...

Лишь эта цветущая черемуха слышала их шепот и была свидетелем самого сокровенного и самого великого таинства в жизни людей.

— Осенью, Тонь, поженимся,— сказал он ей потом.— Подзаработаем трудодней на свадьбу...

Она мочила слезами рубцы от страшных вил на его плече и левой руке, целовала их и говорила по-детски:

— Я на семь годков старше тебя, но это ведь ничего, а? Ничего же, Володя?

— Да это что, это ничего.

— А я тебе доброй женой буду. Как собака, верной до гроба. Завидовать тебе будут!

— Да я знаю... знаю,— шептал он.

Сообщению сына Иван не удивился. По осени сделали нешумную свадьбу. И нынешним летом Антонина ходила уже с большим животом и всем говорила, что, если родится дочка, она назовет ее Агатой в честь матери своего мужа...

* * *

А у Анфисы и Кирьяна, к изумлению многих, родился ребенок, мальчишка, еще в конце сорок четвертого, примерно через полгода, как они переехали в Михайловку. Когда она еще ходила им, бабы у колодца нахально любопытствовали:

— Да как же он тебе, Анфис, заладил? Без ног-то...

— А ноги в этом деле не главное,— смущаясь, как девчонка, отговаривалась она.— Бесстыдницы!

— А может, не он это? В этом деле ты охулку-то на руку никогда не клала.

— Не-ет,— улыбаясь чему-то, качала головой Анфиса. Улыбалась, будто хотела сказать: глупые вы, чего бы в жизни понимали...

Инютин Кирьян шорничал целыми днями — починял колхозные хомуты, шил уздечки и всякую сбрую. Потом научился ловко приколачивать подметки, набойки, латать всякую обувь, летнюю и зимнюю. С утра до ночи в дом Инютиных забегали люди, приносили разные разности, чем жил колхоз, и Кирьян забывал о своем увечье. По жарко натопленной избе ползал такой же лобастый, как сам Кирьян, сынишка, ласкаясь, верещал, как птенец. Анфиса, уходя на работу, всегда говорила с улыбкой: «Оставайтесь, мужики»; возвращаясь, она приносила улыбку эту обратно, такую же чистую, нигде не растраченную. А может, она и не уносила ее вовсе, потому что Кирьян постоянно чувствовал ее на себе и ночами, прижимаясь к теплому и большому телу жены, шептал не однажды:

— Я всегда знал, Анфис, что ты такая...

— Дура же я была! Ну прям несусветная,— отвечала она, и в груди у нее что-то колотилось и вздрагивало.

Верка жила в Шантаре, работала буфетчицей на железнодорожном вокзале и путалась, по слухам, со станционным милиционером Аникеем Елизаровым. К родителям, как они перебрались в Михайловку, ни разу не приезжала. Николай еще служил в армии, в мае сорок пятого, за три дня до победы, он был ранен в грудь под Дрезденом, из госпиталя написал родителям, как всегда в своем стиле: «...от же, сволочи, угостили напоследок, ну прям до злости обидно. Да ничего, мам и батяня, я их накрошил, за каждую твою ногу не меньше, как по полсотни уложил, пущай отдохнут».

Судя по наградам, Колька не хвастался, в Михайловку и Лидке он слал карточки, на которых был изображен сперва с одной медалью, потом с другой, с третьей. В середине сорок четвертого на гимнастерке его поблескивал уже рядом с медалями орден Славы, к концу этого же года появился второй, такой же, а перед самым ранением был награжден орденом Красного Знамени. В письмах он писал о чем угодно, а фотографии слал без всяких комментариев: глядите, мол, они сами обо всем говорят, как и погоны,— Николай к концу войны стал старшиной.

Анфиса каждую карточку помещала в общую застекленную большую раму, висевшую на стене на самом видном месте.

Шорничал и сапожничал Инютин год с небольшим. А по осени сорок пятого завернул в их уютную, тщательно обихоженную избенку Иван, новый председатель колхоза, принес бутылку водки, поставил ее, поздоровавшись, на стол. Не понимая, что к чему, Кирьян кивнул Анфисе, та крутнулась в сени, оттуда в погребушку, принесла малосольной капусты, огурцов, быстро зажарила глазунью.

— Ну что ж, Кирьян Демьяныч? По одной-другой осилим?

— Да что ж,— сказал он,— это не грех, ежели за дело.

— За дело, Кирьян.

— За дело мы всегда смело... как в песне поется.

Инютин быстро подкатил к столу. Левой рукой оперся о его кромку, а правой об табуретку и легко забросил на соседнюю свое тело.

— Ловко это ты,— невольно произнес Иван.

— А что ж... Анфиса сперва меня все, как ребенка, за стол сажала, в кровать носила. Да что ж я, думаю, позор такой, сам к бабе не могу теперь забраться. Ну, и приловчился. Руки у меня сильные стали...

— Вот за Анфису твою первую и выпьем. За сердце твое золотое, Анфиса.

— Ой!

— Не «ой», а выпьем,— как-то сурово поддержал Кирьян.— Это ты правильно, Ваня.

Выпили, захрустели капустой.

— Хороша,— сказал Иван, кивая на тарелку.

— Капустка завсегда хорошая закуска,— кивнул Кирьян.— И поставить не стыдно, и съедят — не жалко. Так что за дело-то?

— Колхозный бухгалтер нам скоро потребуется, Кирьян. У нас работает старик из эвакуированных. Домой засобирался.

— Ну? — не понял Кирьян.— Я слыхал...

— Я выговорил, чтоб он остался, пока не подучит тебя.

— Да ты... что?! — воскликнул Кирьян, даже задохнувшись.— Из меня это получится... как из одного предмета тяж.

— А хитрое дело, что ли? Хватит в хомутах ковыряться. С полгодика пригля-

дишься, а там... Контору новую строим, в ней же тебе и жилье будет. Две-то комнаты хватит?

В ту ночь Кирьян совсем не спал, а под утро заплакал скупыми и тяжелыми слезами.

— Ну что ты, что?! — прижала его к себе Анфиса. Затем начала гладить по плечам.— Радоваться ж надо.

— А я и радуюсь. Людям да белому свету радуюсь, Анфис...

Теперь Кирьян Инютин работает бухгалтером и состоит членом правления колхоза. Первого сына они назвали Шуркой, а второго, родившегося под самый сорок седьмой год,— Иннокентием, Кешей. Забеременев, Анфиса заикнулась было, что тяжко, мол, второго еще поднимать будет, но Кирьян, оглядев жену теплыми глазами, сказал:

— Да какие наши возрасты еще, Анфис! До полвека мне еще три года, а тебе пять целых. Вырастим!

* * *

А вот Анна Савельева ни людям, ни свету белому не радовалась, жила одиноко и отчужденно в той же половине дома, где жили они с Федором в давние времена, утром молчком приходила на птичник, которым заведовала, вечером молчком уходила. А дома и вовсе говорить было не с кем, она лишь глядела на карточки трех своих сыновей, тоже в застекленной раме висевшие на стенке, и судорожно вздыхала.

Андрейка объявился зимой сорок пятого, прислав письмо в огромном и красивом конверте аж из самой Москвы. Дрожащими руками вскрыла она этот конверт прямо при почтальоне же, беспрестанно повторяя: «Нашелся... Господи, неужели нашелся?!» Андрейка писал, что просит прощения за побег, что его и Витьку Кашкарова снова несколько раз ловили по дороге на фронт, но они сказывались бездомными сиротами, их определяли в детдома, они оттуда снова убегали и летом сорок четвертого добрались-таки до фронта. «...И это хорошо, что успели, а то ведь скоро война через границу перешла, и нам бы туда не пробраться ни за что». Добрались и заявили, что хотят быть «сынами полка», их все равно хотели отправить в тыл, «да тут началась, мам, наступательная операция с целью освобождения Белоруссии...».

— Операция... подумай — с целью освобождения! — обливаясь слезами, воскликнула в этом месте Анна.

— Ну, а дале, дале он как? — нетерпеливо спросила почтальонша.

Дальше Андрейка писал, что их артиллерийский полк дрался под Минском, они с Витькой «в грязь лицом тоже не ударили, и хоть ни медалей, ни ордена нам не вышло, а благодарностей от командования по нескольку штук у каждого — у Витьки, мам, две и у меня тоже две. Но за границу нас с полком все равно не пустили, откомандировали в Суворовское училище, а в какое, я пока не скажу. Ты напишешь мне, по письму они узнают, что у меня есть родители, да еще отчислят. А уж попозже, как проучусь маленько, все сообщу и карточку свою тебе пришлю...».

Он прислал потом не одну карточку, в сорок шестом летом сам приехал в отпуск — в настоящей военной форме, с погонами, на которых поблескивали два перекрещенных пушечных ствола. Вся Михайловка высыпала смотреть на него. Он держался чуть смущенно, но солидно, по-взрослому, и только за ужином прорвалось у него прежнее, детское:

— Ганка, значит, в Винницу свою уехала?

— Еще весной сорок четвертого, сынок. Как Винницу ихнюю освободили, так они все и уехали.

— Ага. Жалко,— вздохнул он, оглядывая себя в старое, пожелтевшее зеркало.

Осенью он уехал в училище, в Москву, а Димка — в Томск, где он учился на втором уже курсе университета.

Они оба приезжали к ней и нынешним летом, а вот Семен...

О старшем сыне Иван по возвращении, отойдя немного от жуткого своего горя, рассказал ей все, как было на самом деле, не утаив ничего. Анна, чтоб не закри-

чать во время его рассказа, намертво закусила губы и, лишь когда он кончил, шевельнула тоже онемевшим языком:

— Где ж он? Убитый? В плен угнали?

— Не знаю, Анна...

Она долго стояла столбом, омертвелая и бесчувственная, глядела выгоревшими глазами за окно, ничего там не видя.

Иван, чувствуя, что надо сказать заодно и другое, еще более страшное, ибо еще раз такого разговора она может и не выдержать, а сейчас, по омертвелому, все пройдет немного легче, произнес:

— А Федора твоего я убил, Анна.

Она вздрогнула, как лошадь, которую хлестанули, не жалея, тяжелым, мокрым кнутом. Держась за угол печки, у которой стояла, она, черная как уголь, медленно повернулась к нему.

— Брата своего, значит...— добавил Иван.— У немцев он служил.

— Ка-ак? — прокричала она беззвучно почти, одними глазами.— Говори... все!

И он рассказал ей все о Федоре, тоже без утайки...

* * *

Зимой же сорок пятого, в самом конце года, в Шантару вернулся Петр Петрович Полипов. Какой-то исхудалый, вылинявший, в чине подполковника, он прямо с чемоданом пришел в райком, к Кружилину.

— Вот, дела свои семейные заехал решить...

Жена давно написала ему еще на фронт, что живет с другим мужчиной. «Что поделаешь, Петенька, я его полюбила, и не так, как тебя когда-то, последним всплеском, но по-настоящему, я от него беременна. От тебя не получалось, а от него у меня ребенок будет, и, значит, надо нам с ним оформляться». Далее просила выслать ей согласие на развод.

— Не выслал я ей ничего. Вот, сам приехал,— проговорил он, поведав обо всем Кружилину.

— Как ты воевал-то хоть, расскажи.

— Чего ж там. С редакцией по фронтам двигался...— Он усмехнулся.— Вроде и безопасно, а чуть не погиб. В войсках часто приходилось бывать, руку вот пересекло однажды. В сорок четвертом было, осенью, уже возле границы Восточной Пруссии. Едва-едва от гангрены не загорелась. Ничего, пронесло, рука вот немного покоробилась.— Он шевельнул левой рукой, действительно чуть скрюченной.— Хотели комиссовать, «к тому же, говорят, на шестой десяток вам пошагало», я попросил в армии оставить, пошли навстречу... А кто он, ее сожитель?

— Малыгин, бывший заведующий райкомхозом. Сейчас председателем исполкома работает.

— По всем статьям заместил,— усмехнулся Полипов.

— Дочь у них полуторагодовалая. С прежней своей женой он развелся.

— И такого человека ты держишь... на такой должности?

— Работать-то надо кому-то, Петр Петрович.

— Работать...— Он встал, прошелся по кабинету, в котором ходил когда-то хозяином, потрогал зачем-то занавеску на окне.— Субботин, слышал я, умер?

— Скончался,— ответил Поликарп Матвеевич, вспомнил свою поездку в Новосибирск летом сорок третьего, как они шли потом с Субботиным по унылому Новосибирску и как Иван Михайлович говорил ему дома: «Я давно не доверяю Полипову. Я сделал все, чтоб из обкома его убрать... Я бы вообще не доверил ему какой бы то ни было руководящей должности... А коль от тебя, Поликарп Матвеевич, зависеть будет судьба Полипова, ты этот наш разговор вспомни. «Кадры решают все». Какие будут стоять у руководства люди, так и наши дела пойдут...» Судьба Полипова от него пока не зависела, но вот он уже при одном виде этого человека вспомнил слова друга своего и старого большевика-подпольщика.

А Полипов меж тем все прохаживался по кабинету, на гимнастерке его поблескивало два ордена — Красной Звезды и Красного Знамени.

— Работать... Ну что ж, поработаем и мы теперь. Уже на мирном поприще. Силенки покуда остались кое-какие.

Он походил так по кабинету и уехал из Шантары, не повидав даже, кажется, бывшей своей жены. А где-то через месяц раздался звонок из обкома партии, которого Кружилин внутренне с беспокойством ожидал:

— Поликарп Матвеевич, есть мнение — доверить Петру Петровичу Полипову прежнюю работу. Там у тебя Малыгин не очень справляется, сам говорил.

— Говорил. Но против Полипова я возражаю.

— Почему? Фронтовик, ранен, орденоносец. Зарекомендовал себя со всех сторон. У него с Субботиным трения были, но теперь...

— Я категорически возражаю!

— Ну, хорошо, чего мы по телефону? Приезжайте, выскажете здесь свои возражения. Может быть, мы найдем их убедительными, что же...

Кладя трубку, Кружилин уже знал — не найдут. Потому что объяснить внутреннюю суть этого человека словами невозможно. Чтобы понять его и убедиться не просто в его никчемности, а во вредности, надо съесть с ним не один пуд соли, как съел Субботин, как съел он, Кружилин. А люди в обкоме сейчас новые, весь почти секретарский состав в последние послевоенные годы сменился...

И не нашли. В феврале сорок шестого на сессии райсовета Полипов был снова избран председателем исполкома, а Малыгин стал работать директором Шантарского маслозавода.

— Не ожидал, Поликарп Матвеевич, что ты столь энергично будешь в области возражать против меня,— сказал Полипов Кружилину уже после сессии.— Неужели ты не понимал, что это бесполезно... в сложившейся теперь ситуации?

— Понимал.

— Зачем же на рожон лез?

— Вот что, Петр Петрович!..— воскликнул Кружилин, начиная горячиться. Но, пересилив свое возмущение, успокоился.— Я считаю себя честным коммунистом и перестал бы уважать сам себя, если бы не высказал там все, что думаю о тебе.

— Да кого в наше время интересует, честен ты или не честен! — нагло произнес Полипов.

— Вот даже как?!

— Так,— отрезал Полипов с откровенно издевательской усмешкой.— И, как ты видишь и понимаешь, никакого капитала ты на этом не приобрел. Наоборот...

Да, наоборот, Поликарп Матвеевич это осознавал. Как мгновенно меняется иногда обстановка! Какие-то недели прошли со времени возвращения в Шантару этого человека — и вот он уже хозяин положения. «Кого в наше время интересует, честен ты или не честен!» Это ж он сознательно провоцирует, вот, мол, я каков на самом деле фрукт, ступай и объясни это в обкоме или где хочешь. А кому и что теперь объяснишь? Его же и обвинят в склоке, в необъективности к «фронтовику и орденоносцу», который «зарекомендовал себя со всех сторон».

А «фронтовик и орденоносец», глядя в окно, тихим и ровным, «примиренческим», как внутренне отметил Кружилин, голосом заговорил:

— Насколько я помню, Поликарп Матвеевич, ты не на много, на год или два, старше меня. Но я буду всегда относиться к тебе как к старшему по возрасту, но и ты...

Кружилин не верил ни в искренность его голоса, ни в искренность его слов. И прервал его:

— Я ко всем, кто меня моложе и кто старше, отношусь как коммунист прежде всего.

Полипов от окна повернул к нему тяжелую голову, секунду-другую поглядел молча и усмехнулся.

— Плохо ты кончишь, Поликарп Матвеевич.

— А мне кажется, это ты кончишь плохо, Полипов.

На этом они и прекратили тогда, в хмурый январский вечер сорок шестого года, свой разговор, разошлись еще более непримиримыми. Теперь, понимал Кружилин, от Полипова надо было ожидать всего, любого подвоха и коварства, он не простит малейшего промаха, немедленно воспользуется им, чего, собственно, он и не скрывал. Не знал лишь тогда Поликарп Матвеевич, не мог предположить даже, что ударит Полипов со стороны нежданной, негаданной. И не думал, никоим образом не мог подумать и представить, с какой стороны придет ему помощь. Не ему конкретно, а тому делу, которому отдал он всю свою жизнь...

* * *

Буквально через час после этого тяжкого разговора с Полиповым он был на время забыт, как исчез, провалился куда-то сам Петр Петрович, вся Шантара, все дела на свете — большие и малые, важные и неважные.

Кружилин, ужиная, в молчании перебирал детали этого разговора, когда стукнул кто-то в дверь и на вопрос жены, кто же там, из-за двери донесся равнодушный женский голос:

— Телеграмма.

«Откуда это еще?» — хмуро думал Поликарп Матвеевич, вскрывая поданную женой телеграмму. Вскрыл, развернул листок, одна-единственная строчка запрыгала, а потом расплылась перед глазами: «Папа мама я возвращаюсь день приезда поезд сообщу дополнительно Василий». Ничего еще толком и не понимая, чувствуя только, что сердце останавливается, он покачнулся.

— Что?! — шагнула к нему жена.

Ее голос немедленно привел его в себя, он, задыхаясь, шепотом почти, произнес:

— Тосенька, спокойно... Спокойно, милая... Нашелся, возвращается Васька наш... сын!

И она не поняла сперва, о чем это он говорит. А когда смысл этих слов, страшных содержащейся в них радостью, дошел до нее, она в какие-то мгновения сделалась, как стенка, белой и не покачнулась уже, а столбом повалилась навзничь.

— То-ося! — вскричал он, подхватил ее и понес, бесчувственную, на кровать, а затем кинулся к шкафчику за валерьянкой...

...В Шантаре Василий был через неделю. Худой — кожа да кости, с глубоко и, кажется, навсегда провалившимися на желтом лице глазами, еще и не живыми пока, он заканчивал жуткий рассказ свой, когда вошел без стука Полипов, воскликнул радостно:

— С возвращением! И с великой радостью всех вас... и всех нас! Поздравляю. Все хорошо, что хорошо кончается.

— Садись, Петр Петрович,— сказал Кружилин, пододвигая к столу стул. Глаза у Поликарпа Матвеевича были распухшими и влажными, и слез своих он не стеснялся.— Садись и послушай... Да разве нам тяжело здесь было! Рассказывай, сынок, если не устал.

— Да все уж, папа, и рассказал почти... Восстание в Заксенхаузене поднять нам так и не удалось. Рядом Берлин, всего каких-то тридцать километров, вызовут, опасались, войска, что мы против них с несколькими своими гранатами и карабинами? А наши войска еще далековато,— негромко стал говорить Василий, глядя на желтые полосы солнца, которые вламывались через окно.— Но мы все — и русские, и англичане, и поляки, и чехи — все были начеку. Как-никак лагерь было приказано уничтожить, это было всем известно, если эсэсовцы начнут, тут уж... И в конце апреля, числа двадцать первого, кажется, ворвались задолго до рассвета охранники в наш блок, начали поднимать людей прикладами. Вот, думаю, и началось, сейчас будет сигнал на восстание, и хоть несколько штук фашистов, да подорву своей гранатой, спрятанной у меня в стенке. Вынул ее оттуда незаметно, спрятал в лохмотья, выбежал на плац... Там строились колонны узников, сигнала нам, нашей группе, никто не подавал. Генерал Зотов, руководитель русского подполья в лагере, тоже стоит в колонне, гляжу. Ну, погнали нас куда-то. Одеяла с собой приказали взять. Куда гонят, мы не знали, но раз с одеялами, думаем, не в газовые камеры, значит, не на уничтожение. А может, думаю, это маскировка...

— Боже мой, боже мой! — воскликнула мать.— Сынок!

— Ну что ты, мама? — тронул ее Василий за плечо.— Теперь-то что?

— Да ты, Петр Петрович, на его тело погляди! — воскликнула она.— На нем же места ровного нету, все изорвано плетьми да палками, все в рубцах, руку собаки изглодали... А на спине номер выжгли! Как на лошади.

— Ладно, мам...— Василий шевельнул плечом.— Мы и были лошадьми, только работу делали более тяжкую. Не у одного меня номер, у многих...— Он взглянул на Полипова и пояснил только ему: — Из Заксенхаузена, куда я попал в сорок четвертом, заключенных в разные места на работы гоняли. А чтоб узников нашего лагеря от других отличать, нам выжигали номера на спине. Был такой эсэ-

совец в лагере — Густав Зорге. Даже сами нацисты звали его «железный Густав». Бил так, что кожа лопалась и кости ломались. Он и придумал так заключенных метить.

— Ужасно! — промолвил Полипов.

Василий на это лишь усмехнулся. Потом сказал:

— Густава этого мы потом живьем схватили, нашим передали. Это было уж под местечком Штейнфельд, неподалеку от городка Шверин, первого мая. Сюда нас зачем-то пригнали. А как гнали все эти девять дней! Сколько убили по дороге! Кто лишь споткнется — смерть... Ну, под Штейнфельдом этим леса, тут мы колонну женщин-заключенных встретили из Равенсбрюка. Был у них такой лагерь для женщин. Не послушались уж окриков конвойных, рассыпались по лесу, стали обниматься. Самые крепкие мужики завыли, глядя на этих женщин, стон и плач над лесом поднялся. Охрана орет, стреляет в воздух — стройся, мол,— а из леса никто не выходит. Эсэсовцы же сами в лес боятся... Неподалеку, слышно давно уж, канонада наших пушек гремит. Для нас это музыка, а для них... Утром первого мая и разнесся слух, что эсэсовцы строятся и собираются покинуть лагерь, на Шверин хотят идти. «Не упускать палачей!» — раздалось по лагерю. И знаешь, папа... Ну, смешно прямо и мерзко как-то. Едва мы, еле живые от мук, подползли к опушке и дали по ним один залп, они брызнули во все стороны, как жирные мыши. Ей-богу, как мыши, мундиры на немцах мышиного цвета были. И оружие даже побросали. Мы похватали их автоматы — да за ними. Наша группа штук двадцать пять эсэсовцев живьем захватила, среди них этого «железного Густава». Железный...— опять усмехнулся Василий.— Веду его, а у него между ног мокро... прости, мама.

— Ужасно,— еще раз вымолвил Полипов и поежился, будто ему было холодно.

— Привел я его в лес, а там уж танк стоит наш. Со звездой! Из башни наполовину танкист виден, говорит что-то. Подойдя, я разобрал, что война заканчивается, в Берлине последние бои идут. Об этом танкист говорил...

Когда Полипов, посидев, выпив стопку водки, поздравив Василия еще раз с возвращением, ушел, мать снова начала плакать, проговорила с укором:

— Первого мая, а сейчас январь. Где ж ты это-то время был, чего молчал? Пытка бы наша с отцом насколько раньше кончилась бы!

— Кончилась...— невесело вздохнул Василий.— А потом опять могла начаться. Освободили нас, да опять... уже свои.

— Как?!

— А так... Немало было и таких, как Максим Назаров, про которого я рассказывал. Надо ж было с каждым из нас разобраться. А это не так уж и просто. А сколько будут разбираться, откуда мне было знать? Да что, если вдруг не разберутся, как все было, чему-то не поверят? Зачем же вам...

— Сынок, сынок! — стонала она.

Обнимая мать, поглаживая ее плечо, Василий говорил отцу:

— Пока с нами разбирались, встречал я многих и из Бухенвальда. От них узнал, что Никита Гаврилович Паровозников во время восстания в лагере погиб. Тот самый Айзель из каменоломни в упор его прошил из автомата... И Назаров Максим, говорили мне, вместе с Айзелем, как пес, по лагерю с автоматом бегал, полосовал заключенных... Потом, рассказывали мне, вроде захватили их обоих живьем, нашим войскам передали.

— В какого подлеца превратился! — глухо сказал Кружилин.

— Не знаю, пап, кто как будет смотреть теперь на меня... А ты поверь — ни одним словом, ни одним поступком я не виноват перед людьми, перед тобой с мамой. Ничем я там не посрамил свою страну. Я лучше бы тысячу раз сдох...

— Я верю, сынок,— тем же голосом тяжко произнес Кружилин.

Когда этим вечером укладывались спать, Поликарп Матвеевич попросил:

— О Максиме Назарове, сынок, не надо пока никому... Отец его, Панкрат, и так сильно плох.

— Все равно же, рано или поздно...

— Пусть лучше поздно. Он в больницу наконец засобирался — пулю колчаковскую из легкого вырезать. Пусть сперва съездит и вырежет, а то передумает еще...

— Ладно,— сказал Василий.

* * *

А Юрий Савельев, сын Антона и Лизы, приехал в Шантару несколько дней назад, удивив, как и Андрейка в свое время, всех — на его командирской гимнастерке поблескивала, отражая щедрые апрельские лучи, звездочка Героя Советского Союза.

— Юрий... Антонович! — ахнул восхищенно и Кружилин, когда он снял в его кабинете плащ.

— Вот, сразу, и Антонович,— смутился Юрий.

— А кто ж еще? Старший лейтенант, герой! Ну, рассказывай, что и как...

— Долго это. Воевал все время в Первом Украинском. Под Сандомиром, когда Вислу форсировали, был тяжко ранен. В госпиталь уже пришло известие, что правительство меня... Потом опять воевал, был и под Берлином, хотя брать его не пришлось. Зато освобождал Прагу. Народ наш победу в тот день праздновал, а мы еще дрались. А десятого мая был опять ранен, на этот раз легко... Вот и все, если коротко.

— Мать бы с отцом на тебя поглядели!

— Да, расстраивал я их, бывало... Пусть лежат спокойно.

И Наташа, когда он с букетом купленных на базаре цветов пришел к ней в домишко бабки Акулины, точно так же воскликнула, изумленная:

— Юрий!

Она метнулась к нему, повисла на шее, принялась беспорядочно целовать, отчего у него бешено заколотилось сердце. Когда он уезжал на фронт, она, хоть он и не надеялся, пришла на вокзал его проводить. И хоть она была сдержанна, держалась отчужденно, на прощанье сказала: «Потеряться на войне не смей, слышишь?.. Возвращайся». Он постоянно помнил ее слова, вот он и вернулся, и она, обрадованная, кинулась к нему, принялась целовать...

Но в следующую минуту он понял, что надеяться ему не на что. Разглядывая его сквозь слезы, погладив вздрагивающей ладонью его Звезду, она произнесла:

— Я верю, Юрий,— вот так однажды распахнется дверь и войдет Семен. Я жду...

Потом они пили чай, бабка Акулина, нисколько не изменившаяся за его отсутствие, разливала им его в чашки, и Юрий, слушая, как бушует за окном скоротечная летняя гроза, говорил, что он остался бы, наверное, в армии навсегда, если бы не ранения, а сейчас пойдет учиться в какой-нибудь технический вуз, ему уже тридцать шестой год — критический возраст, после которого в институт не примут.

— А дочка где? Жива, здорова?

— В детском садике она. Такая дивчина растет!

— Я, признаться, удивлен, Наташа, что ты все тут живешь, а не с отцом,— сказал он, прощаясь.

— Да понимаешь, Юра, мне тут лучше... У нас с ним... некоторые расхождения. Сидел он несправедливо, но эти годы сломили его, слабым он оказался. Я так гордилась им, а он... Всех он сейчас боится и ненавидит. И, по-моему, самого себя даже...

— Мне Кружилин немного говорил...

— Ну вот. Я и работаю сейчас не на заводе, ушла. Я теперь начальник даже — заведующая библиотекой. Там... мама твоя работала.

— Я знаю,— сказал он. И она не поняла, что он знает — или что она заведующая, или что мать его там работала.

...Так или иначе, но к лету сорок седьмого вернулись в Шантару или Михайловку одни, обозначились или были ведомы кому-то судьбы других. Манька Огородникова, например, еще в войну вернулась из заключения, отсидев срок за укрывательство ворованного, быстро продала свой домишко и уехала в город, сказав Верке: «Пока в Новосибирск, а потом еще куда-нибудь, чтобы проклятый Макар не нашел». И кто знает, зря, может быть, уехала. Буквально следом, через пару недель где-то, объявился в Шантаре Макар Кафтанов. Был он какой-то непривычно молчаливый, сильно постаревший. Пожив дня три у Кашкарихи, приемной

своей матери, отправился в Михайловку, и там у них с Анной произошел такой разговор: «Мучаешь все землю».— «Живу...» — «Где околачивался все это время?» — «Воевал... В сорок пятом ранен был».— «Теперь снова воровством занимаешься?» «Нет... Отворовался».— «Зачем сюда приехал?» — «Не знаю. Так... Думал, Мария Огородникова тут. А ее нету... И с тобой попрощаться. Не поминай лихом...» Он не спросил Анну, сестру свою, ни о муже ее, ни о сыне, ушел из Михайловки, на другой день уехал из Шантары неизвестно куда — и с концом... Аркадий Молчанов, получивший срок в связи с «делом» Ивана Савельева, был выпущен задолго до войны, жил где-то на Алтае, всю войну провоевал, не получив ни одной царапины, демобилизован был в числе первых и вернулся на прежнее жительство в Михайловку... И лишь о Семене Савельеве да Якове Алейникове к лету сорок седьмого никто и ничего не знал. Иван был последним, кто видел того и другого в сорок третьем, а с тех пор прошло ни много ни мало — целых четыре года. Четырежды опадала листва с деревьев, столько же раз засыпали землю холодные снега, и они навсегда, кажется, замели и стерли с земного шара их следы...

2

Прошло еще десять лет.

День сегодняшний никогда не похож на день минувший, да прошлое из жизни не вычеркнешь. Одни любят вспоминать свое прошлое, другие не любят, но оно живет в каждом до последних дней его и, так или иначе, определяет слова и поступки людей, их любовь и ненависть и в конечном счете смерть или бессмертие...

В 1957 году Поликарпу Матвеевичу Кружилину исполнилось шестьдесят семь. Постаревший и одинокий (жена скончалась три года назад, сын Василий работал в Шантаре редактором районной газеты), он жил в Михайловке теперь и еще трудился — был у Ивана Савельева в колхозе «Красный партизан» секретарем партийной организации. Раньше колхоз назывался «Красный колос», но Петр Петрович Полипов, в конце пятидесятого снова ставший первым секретарем райкома партии, вдруг поморщился однажды:

— «Красный колос»... Патриархальщина какая-то. Разве бывают красные колосья? Желтые там, золотистые... Черные бывают, если головней заражены. Давайте переименуем в «Красный партизан».

— А что, разве бывают еще и белые партизаны? Или там зеленые? — усмехнулся Кружилин.

Полипов внимательно, прищурив глаза, поглядел на Кружилина, сожалеюще покачал головой, будто говоря: «А ведь бывший секретарь райкома!» Кружилин был уверен, что Полипов так и подумал, но это Поликарпа Матвеевича мало волновало, и он еще раз усмехнулся...

Кружилин возвращался домой с полей. Позднее лето кончалось, жали рожь. Подходила местами и пшеница, серо-зеленые массивы ее с каждым днем бурели и скоро зазвенят спелым звоном. Ну, думал Поликарп Матвеевич, покачиваясь в ходке, пускай теперь и зазвенят, рожь почти выкошена, озимые досеваются, они с Иваном Савельевым и горсти зерна не дадут просыпаться на землю, все уж подготовлено у них для жатвы и пшеницы. Добрый, добрый вышел из Ивана Савельева председатель колхоза, умный и знающий хлебороб. Весь район его ценит, в области уважают, и даже Полипов вынужден считаться с ним. Вот тебе и Ванька Савельев, бывший белобандит и враг народа. Достойно заменил он Панкрата Назарова, доживающего, кажется, последние свои деньки на земле.

Операцию на легких в Новосибирске ему сделали успешно, проклятую вражескую пулю, которую он столько лет носил в себе, вынули и отдали ему на память. После операции он, несмотря на преклонный возраст, быстро окреп, исчез многолетний кашель. «Ну, теперь я заново родился, Поликарп,— сказал ему Назаров.— Сто лет теперь проживу. Дурак был, что тебя не послушался и не лег раньше в больницу». И сто не сто, а пожил бы напоследок, да вскоре получил письмо от сына своего Максима из тюрьмы. «В сорок пятом, отец, осудили меня,— писал Максим,— сволочью и мразью оказался я, Васька Кружилин выдержал в плену, а я нет. Погиб, кажется, где-то Васька, а теперь я завидую ему...» Но Василий был в Шантаре. Панкрат Назаров явился к нему и потребовал все рассказать начисто... После этого уже будто не прежняя маломерная пуля, а килограммовый

снарядный осколок начал крутиться в груди Панкрата, все там разворачивая. Прожил Панкрат жизнь славную и честную, а потому нелегкую. Но теперь от небывалой боли все сильнее скрючивался. К тому же в прошлом году таким выродкам, как Максим, вышла амнистия («До чего гуманное все же у нас государство!» — усмехнулся невесело Кружилин), и Максим Назаров, жалкий и обмызганный, заявился недавно в Михайловку. «На радость отцу,— вздохнул угрюмо Кружилин.— Пожалел бы, подлец... Уж этого старик не выдержит».

Поликарп Матвеевич Кружилин, поглядывая на молчаливые, сияющие под летним солнцем вершины Звенигоры, ехал по земле, на которой прошла вся его жизнь. Вся эта земля, тысячу раз изъезженная и исхоженная вдоль и поперек, была под его взором далеко окрест. Там вон, на берегу Громотухи, хороводился он когда-то с девками, а чуть левее брод, по которому он переправлял потом партизан, уходя от наседающих карателей полковника Зубова. Переправились и укрылись в этой Звенигоре, за что отец Ивана, старый Силантий, поплатился жизнью, был рассвирепевшим полковником повешен. Яшка Алейников («Где ж он сейчас, жив ли?»; Иван рассказывал, что расстался с ним в сентябре сорок третьего, уже после ранения: Алейников приходил в медсанбат попрощаться с ним и, уходя, пошутил: «Не провалюсь в землю, Иван Силантьевич, так встретимся в Шантаре после победы»; «Но, видно, провалился,— вздохнул Кружилин.— Жив был бы — объявился бы как-то...»), отчаянный и забубенный тогда Яшка, вывел их из каменного мешка, под покровом ночи навалились они на заимку в Огневских ключах, рассчитались с Зубовым, ушли в тайгу... Там, за горой, Шантара, где хозяйничает сейчас Полипов. Шестьдесят пять лет уже ему, а еще крепкий и свежий, словно не стареет, а молодеет с каждым годом этот человек, и не будет ему износу, шустро и без устали носится он по району. Выступая на разного рода районных и областных совещаниях и собраниях, с трибуны обычно не сходит, а легко и проворно сбегает — смотрите, мол, каков я еще молодец,— при высоком начальстве обычно пошучивает, что он не самый старый, а самый молодой в области секретарь сельского райкома партии. Эти его шуточки воспринимаются обычно с улыбкой, и — увы! — возраст его даже ставится, кажется, ему в заслугу.

...Вся земля окрест была перед мысленным взором Кружилина, и люди все, живущие на ней, были перед ним как на ладони. Он знал всех и в Шантаре, и в Михайловке, и в других местах, знал, чем они живут и о чем думают, чему радуются и о чем грустят... Анна вот Савельева все тоскует о старшем сыне, о котором до сих пор ни слуху ни духу, как об Алейникове. О Федоре, муже своем, думать она перестала, вычеркнула из памяти и забыла. «Он кончил тем, с чего и начал,— сказала она как-то ему.— Он воевал в партизанах, а в мечтах-то на месте брата своего Ивана был, рядом с отцом моим. Поняла это я до войны еще, Иван это мне объяснил, дуре, да поздно... » А гордится молчаливо Анна средним своим сыном, Дмитрием, и младшим, Андреем. Недавно еще сопливый Андрейка стал теперь офицером, уже старший лейтенант, а из среднего, Дмитрия, и вовсе получилось необыкновенное — поэт, стихи пишет и книжки печатает, надо же! Он, Кружилин, читал его книжки — хорошие стихи, понятные, с любовью к земле и людям. А сколько ж ему лет-то? Ну да, кажется, уже около тридцати... В Москве самой живет, это хорошо. Оттуда, из Москвы, многое виднее. Только что-то у него там в личной жизни не ладится, жаловалась Анна. Ганка, девчушка из эвакуированных, что у них в войну жила, вышла за кого-то другого, что ли. Ничего, и это у него образуется как-то... И у Николая вот Инютина, сына Кирьяна и Анфисы, пока не сложилась семейная жизнь. Ну, этот не унывает. Он служил в армии после войны еще долго, был демобилизован только в начале пятидесятого, пришел к нему в райком, такой же долговязый, как в детстве, поводил из стороны в сторону крючковатым носом, поздоровался и сказал: «Может, на работу куда бы меня, Поликарп Матвеевич? Я в роте своей комсоргом был...» — «Так чего ж, давай в райком комсомола».— «А что же... там комсомолок много».— «Это в каком же смысле?» — спросил Кружилин. «В смысле — жену, может, найду. Лидка, зараза, ждать меня не стала, уехала в свою Одессу. Это все мать ее, мне Верка говорила: чего, мол, ждать его будешь, старшина он и вечно старшиной будет, не подняться ему выше, а тебе, мол, за офицера замуж надо... Да еще кроля с зайчихой скрестить пытался... Дался им этот кроль!» Кружилин посмеялся тогда, направил его в райком комсомола, где он работает теперь уже заведующим отделом, но все не нашел себе жену, на-

езжает лишь пока частенько в Михайловку, к Дашутке Савельевой вроде, дочери Ивана. Той уже двадцать два, она окончила Новосибирскую школу медсестер, работает в недавно открытом в Михайловке медпункте. Красивая и постоянно задумчивая, она всегда оживляется, как приезжает Инютин. Значит, дело пойдет у них на лад, и хорошо это, славный он парень, Николай, он, Кружилин, на месте Полипова давно рекомендовал бы его секретарем райкома комсомола, а то и в райком партии взял бы... Отучился и давно работает инженером на Шантарском заводе сельхозмашиностроения (уже больше десяти лет, как завод перешел на прежнюю продукцию) Юрий Савельев. Из института он привез жену, маленькую, словно игрушечную, женщину, кажется, украинку, которая ему уже родила сына и дочь. Хороший из Юрия Савельева получается специалист, и директор завода Хохлов Иван Иванович, назначенный вместо умершего несколько лет назад Миронова, собирается назначить его заместителем главного инженера...

Миронов Александр Викторович... Вспомнив его, Кружилин вздохнул. Максим Назаров, не выдержав жестоких испытаний, выпавших на его судьбу, сломался. Сломался, хотя несколько по-другому, и Миронов, этот бывший подпольщик и генерал, член партии с девятьсот десятого, прошедший царские каторги... Что ж, бывает иногда и так, вся в кипучих водоворотах, быстротекущая под вечным солнцем жизнь эта, не любя и не жалея слабых, изнашивает до поры и сильных...

Приняв завод, Миронов работал молчком, в райком никогда без настойчивых вызовов не приходил, никогда не звонил. А когда все-таки приглашался на особо важное заседание, сидел где-нибудь в дальнем углу как посторонний, никогда на этих заседаниях не выступал. Кружилин не знал, что и думать.

— Папа... папочка, что с тобой? Ты меня никогда не замечаешь... Я тебе будто чужая! — воскликнула однажды Наташа.

Тогда только что кончилось собрание районного партактива, люди расходились, отец и дочь стояли в стороне у окна, и Кружилин случайно услышал их разговор.

— Умом я понимаю... ты моя дочь,— ответил негромко Миронов и мучительно поморщился.— Но я никого не хочу видеть... Даже тебя... Прости. Мне легче одному.

— Ты болен, папа...— всхлипнула Наташа.

— Не-ет! — протянул он вдруг насмешливо и упрямо, вскинул голову и пошел прочь, оставив плачущую дочь. Даже не столько странной, сколько страшной была эта сцена, и Кружилин не знал, как ему помочь.

Вскоре после этого случая он вызвал Миронова к себе в кабинет и напрямик предложил поехать полечиться.

— От чего? — спросил Миронов раздраженно. Но через несколько секунд тоскливо опустил голову, тихо заговорил: — Да, иногда мне кажется, что я болен... И дочь мне говорила... Собственно, это началось давно. Я стал всего бояться — громкого шума, автомобильных гудков, самих людей... Мне казалось, если я уеду из Москвы куда-нибудь в глушь,— это пройдет. И я сам попросился сюда, где моя дочь... на этот завод. Но это не проходит, не проходит... Простите, я пойду на завод, меня ждут дела.

Умер он неожиданно, в ясное сентябрьское утро, за завтраком. С вечера он пригласил к себе дочь и сказал:

— Отныне ты будешь жить со мной. А то говоришь... и Кружилин считает, что я болен. Нет, я здоров, я докажу вам это... Ты ночуешь у меня, а утром я скажу, чтобы перевезли твои вещи... Я так решил.

Больше он ей не сказал ни слова, молчал и утром, будто сожалея о своем решении. Наташа налила ему чаю, он потянулся за сахаром, но уронил его, не донеся до чашки, вскрикнул и упал грудью на стол.

Сердце его, изношенное нелегкой жизнью, изнуренное затем лагерями и тяжкими раздумьями о гулявшей на земле несправедливости, остановилось.

...Лошадь тащилась медленно, Кружилин, погруженный в раздумья, не торопил ее. Торопиться ему вообще теперь было некуда, жизнь его подходила к закату, и он все чаще думал — плохо ли, хорошо ли прожил он ее, но по крайней мере честно. В чем-то он, бывало, видимо, и ошибался, чего-то не понимал иногда, его поправляли и ему объясняли — тот же Субботин Иван Михайлович делал

зто неисчислимое количество раз. Этот человек прожил жизнь самоотверженную, отдал людям всю энергию своего сердца и умер, не оставив после себя никого — похоронную на последнего сына нашли у него, уже мертвого, в кармане. «Это же чудовищно, если вдуматься,— сказал Полипов по этому поводу зимой пятидесятого, когда Кружилин передавал ему дела и когда речь почему-то зашла у них о Субботине.— Жил-жил человек, была у него жена, были три сына — и вот никого из них на земле. Точно чудовищная мельница размолола и прах бесследно рассеяла...» Сначала он, Кружилин, никак на это не отозвался, а Полипов не унимался: «И всех нас, в сущности, ждет это же. Работаем, сгораем... А не напрасно ли? Омар Хайям, кажется, писал: «Сгораем в пепел, прах, а где, скажите, дым?» Помнишь эти стихи?» И тут он, Кружилин, не выдержал: «Этих стихов не читал. И про всех не знаю, а про Ивана Михайловича тебе скажу так... Если считать, что его жизнь прошла напрасно, значит, напрасно и бензин сгорает в моторе, двигая машину вперед...» Полипов лишь поднял на него свои холодные глаза, усмехнулся: «Мудр ты стал...»

Мудр не мудр, подумал тогда и стал думать сейчас, подъезжая к Михайловке, Поликарп Матвеевич Кружилин, но с годами кое-что научился понимать, разбираться в вопросах больших и малых, простых и довольно сложных, приобретая все большую способность точно оценивать и понимать ту или иную сложившуюся обстановку и ситуацию. И тогда, передавая дела, понимал, что Полипов фактически сместил его, очистил себе место, воспользовавшись тем, что сын его Василий всю войну находился в плену. Нет, Петр Петрович здесь не проявлял нервозности или торопливости, работал на должности председателя райисполкома в общем нормально, без срывов, с пониманием будто относился к нелегкой судьбе Василия и к положению в связи с этим самого Кружилина — как бы там ни было, а сын первого секретаря райкома был в плену. Василий работал в автохозяйстве Шантарского завода, сперва шофером на грузовике, потом автомехаником. Как-то он напечатал в районной газете небольшую статью о лучших шоферах завода, и Полипов воскликнул: «Талант же у твоего сына, Поликарп Матвеевич! Ты гляди, как он просто и интересно пишет. В этом очерке мысли есть, чего не хватает нашей газете... Это я тебе как бывший газетчик говорю!» Кружилин лишь пожал плечами. «Нет, Поликарп Матвеевич, ты недооцениваешь... Талант вещь редкая, на дороге не валяется. Я подскажу редактору, пусть он его почаще как автора привлекает, а там поглядим...» И действительно, Василий часто начал печататься в газете, а потом перешел туда на работу обыкновенным, рядовым литсотрудником. «Редактором будет, вырастет! — с энтузиазмом сказал Полипов.— Вот посмотришь...»

Все это было в начале пятидесятого, а летом Поликарпа Матвеевича вызвали в Новосибирск, секретарь обкома, Афанасий Дмитриевич Филимонов, работающий на месте Субботина, поинтересовался о том о сем, спросил, как здоровье.

— Не жалуюсь пока.

— А сын как, Василий?

— Нормально. В районной газете сейчас работает. В партию собирается вступать.

— Да, это Полипов его выдвинул, я знаю. Он тут с восторгом о твоем сыне всегда говорит. Мы не возражали, что же возражать?.. Таланты действительно надо поддерживать. И что он готовится стать коммунистом, великолепно...— Секретарь обкома глянул в какую-то бумагу.— Вот, готовим документы для награждения большой группы работников сельского хозяйства. В том числе и тебя, и бывшего председателя одного из ваших колхозов Назарова... по твоей рекомендации.

— И Назарова?! Наконец-то! — усмехнулся Кружилин.

— Ты погоди пока радоваться,— хмуро сказал секретарь.— Полипов возражает. Сын Назарова осужден за измену...

— При чем здесь сам-то Панкрат Григорьевич?

— Ни при чем... Мы-то понимаем — он ни при чем. Да если бы нас всегда и во всем понимали! Хотя бы вот в связи и с твоим сыном...

— Ясно,— усмехнулся Кружилин.

— Относительно твоего награждения, Поликарп Матвеевич, тоже были возражения.

— Полипова?..

— Но я отстоял,— не ответил Филимонов на его вопрос.— И это последнее, что я смог для тебя сделать. Это последнее... Тебе, к сожалению, исполнилось шестьдесят. Придется идти на пенсию, Поликарп Матвеевич.

Филимонов чем-то напоминал Субботина, прошлого хозяина этого кабинета, был человеком честным, порядочным и прямым. Именно ему Кружилин высказал когда-то все свои возражения против назначения Полипова председателем райисполкома. Он выслушал все терпеливо и внимательно, сказал прямо:

— Извини, не могу с тобой согласиться, Поликарп Матвеевич.

Так же прямо он сказал и здесь, и Поликарп Матвеевич, внутренне давно ожидая такого, не расстроился и, помолчав, первым нарушил тишину в кабинете:

— Зачем же последнее? Я еще могу где-нибудь и поработать. Ну, скажем, секретарем парторганизации где-нибудь в колхозе или совхозе. Я же михайловский, вот туда, в бывший колхоз Панкрата Назарова, и пошел бы. Поддержи, если что...

— Дорогой ты мой Поликарп Матвеевич! — Филимонов вышел из-за стола, взял поднявшегося ему навстречу Кружилина за плечи.— Вот за это тебе большущее спасибо!

Да, он, Кружилин, не расстроился тогда — как-никак, а все же шестьдесят стукнуло, срок известный,— но, прощаясь с Филимоновым, задал все время вертевшийся в голове вопрос:

— Полипов, понятно, будет первым?

— К сожалению, я не поверил твоим возражениям когда-то. А теперь так уж сложилось,— ответил Филимонов.— Ловок очень, в струе идет всегда.

— Ему же скоро тоже на пенсию,— усмехнулся Кружилин.

— Скоро, да срок не подошел еще. Но лично меня это и успокаивает, что скоро...

Крохотная деревушка Михайловка, всегда будто закрытая от остального мира высокой Звенигорой и, несмотря на это, всегда пугливая какая-то, готовая, казалось, при малейшей опасности нырнуть в сырую темноту таежных дебрей, за послевоенные двенадцать лет значительно расстроилась, крайние избы с длинными лентами огородов выдвинулись далеко в открытую степь, смело глядели на каждого подъезжающего широко распахнутыми окнами. За эти годы было поставлено в Михайловке немало хозяйственных и других построек — несколько вместительных амбаров, конюшня, новая, просторная школа, медпункт, двухэтажное здание клуба с большим зрительным залом, хорошей библиотекой. Такого клуба в ином районном центре нет, а у них есть, не пожалел Иван Савельев для него денег, хотя их было в колхозе не густо, неутомимо ходил по кабинетам различных районных учреждений, выбивая денежные кредиты на новостройки да фонды на стройматериалы. Был он непоседлив и неутомим, однако немногословен, выскажет свою просьбу и ждет решения, ждет упрямо, до конца, если надо, придет еще и еще. Бывали случаи, тот же Полипов, выведенный из терпения его молчаливой назойливостью, трясущейся покалеченной на фронте рукой хватал трубку, кричал какому-нибудь районному начальнику: «Слушай! Дай ты Савельеву, что он просит! Только чтоб не видел я больше его в своем кабинете!» На что Иван неизменно и спокойно замечал: «Чего ты кричишь-то? Надо будет — все равно приду...»

Он, Иван, никогда, кажется, и не был суетливым и очень уж речистым, но, постояв на могиле жены по возвращении с фронта, замкнулся вовсе, защемило у него все внутри и до сих пор не отпускало. Об Агате, да вообще о чем-нибудь своем, личном, никогда ни с кем не говорил, колхозными делами занимался, если смотреть со стороны, будто нехотя. Но Кружилин-то знал: отними у него теперь это дело — он завянет быстро, как огуречный или помидорный куст без полива, на виду засохнет. И боялся, как бы Полипов не отнял. «И если что,— думал Кружилин,— весь район на его защиту подниму, всю область. Хорошо, что успели Ивана в партию принять».

В партию Кружилин, предчувствуя конец своего секретарства, посоветовал Ивану Савельеву вступить в конце сорок девятого.

— Не пора ли, Иван Силантьевич, подумать об этом? — спросил он его однажды.

Долго-долго безмолвствовал тогда Иван. Потом выдавил из себя:

— Моя анкета-то...

— Ну, анкета — одно, а душа человечья и дела его — другое... Я объясню, где надо, если придется...

— Спасибо,— отвернувшись, произнес шепотом Иван. Протез на руке, показалось Кружилину, висел в тот момент у него как-то особенно сиротливо и беспомощно.

Объясняться Кружилину по поводу вступления Савельева в партию нигде не пришлось. Лишь Полипов спросил было негромко:

— А белобандитство его не насторожит кое-кого?

— Не насторожило же, когда ему орден Ленина вручали на фронте и другие награды,— сказал на это Кружилин.— А как работает в колхозе, видишь сам.

— Ну да,— согласился и Полипов и, против ожидания, никак и нигде больше об этом не говорил.

Когда встал вопрос о работе Кружилина секретарем парторганизации колхоза, Иван, помолчав, взвесив за эти короткие мгновения все — положение его, Поликарпа Кружилина, и свое, всю сложившуюся ситуацию, спросил лишь:

— А тебе, Поликарп, не шибко это будет... неловко? Ты прости, что я это спрашиваю. Сам понимаешь...

— Не шибко, Иван Силантьевич,— проговорил невесело Кружилин. Что говорить, не легко ему было тогда ответить на такой вопрос.— Люди должны до конца людям служить.

— Добре. Тогда давай помогать друг дружке...

Так сказал тогда Иван Савельев, и ничего больше не добавил, и никогда после не возвращался к этой теме. Прошло немного времени — и Поликарп будто век работал в михайловском колхозе, рядом с Иваном. Они понимали друг друга с полуслова, несли вместе нелегкую ношу, которая называется колхоз, и, «помогая друг дружке», защищая, если надо, один другого, сделали его передовым в районе, к не очень большому, кажется, удовольствию Полипова.

И вот сейчас председателю передового колхоза в районе Ивану Савельеву особенно требовалась его, Кружилина, помощь, требовалась защита. И защищать его надо было сейчас не от Полипова даже, а, увы, от редактора районной газеты Василия Кружилина, собственного сына...

* * *

Редактором районной газеты Василий Кружилин стал около года назад. Случилось это совершенно неожиданно. Он работал и работал литературным сотрудником, правил письма читателей, ездил по колхозам и совхозам, писал корреспонденции и очерки о сельских людях, работа ему нравилась, и он ни о чем другом не помышлял. И вдруг его пригласили неожиданно в обком партии.

— Редактор вашей газеты нынче, как вы знаете, поступает в Высшую партийную школу. Полипов, секретарь Шантарского райкома партии, рекомендует на должность редактора газеты вас. Как вы на это сами смотрите, Василий Поликарпович?

— Я?! — удивился Василий.— Да разве я смогу?

— А чего же... Ваши материалы в газете мы читали, знаем. На первых порах Петр Петрович Полипов обещал лично помочь. А он человек слова и дела... Подумайте, посоветуйтесь с отцом. Как он там, старичок, трудится?

Василия неприятно резануло это слово «старичок».

— Ничего, работает...

Отец, когда Василий с ним посоветовался, сказал:

— Дело хорошее. И ответственное. И если эту ответственность не просто чувствовать, а осознавать умом, то что ж...

Буквально через неделю после его утверждения в этой новой должности в редакцию позвонил Полипов и сказал:

— Зайди-ка. Мы тут структуру посевных площадей на будущий год рассматриваем. Есть материал про одного закоснелого приверженца чистых паров. Сам напишешь. Лично.

По всей стране шла кампания за увеличение посевных площадей, и с этой целью предлагалось до минимума сокращать повсюду чистые пары, земля под которыми, естественно, целый год пустовала.

У Полипова сидели несколько работников райисполкома, которых Василий хорошо знал, а также бывший директор Шантарского маслозавода Малыгин, работающий теперь директором совхоза «Первомайский», и председатель колхоза «Красный партизан» Иван Силантьевич Савельев. Малыгин в тщательно отглаженном, как и у секретаря райкома, синем костюме, в отличных летних туфлях. Савельев в старенькой, побелевшей на плечах гимнастерке, подпоясанной ремнем, в растоптанных валенках.

— Значит, с тобой, Малыгин, договорились? — спрашивал Полипов.— Не подведешь?

— Зачем же... Когда совхоз «Первомайский» подводил райком партии?— даже с обидой проговорил Малыгин.

— Гляди, в сводке чистых паров тебя не показываем,— предупредил секретарь райкома, прохаживаясь по кабинету.— Сводка в область идет. И если обнаружится, что оставишь хоть один гектар...

— Да за кого вы, Петр Петрович, меня принимаете? — снова обиделся Малыгин.— Мы директивы понимаем... Не подведу, сказал.

Василий знал, что этот Малыгин был женат на бывшей жене Полипова, у них росла дочь. Отношения секретаря райкома с Малыгиным были нормальными. Полипов никогда не обижал его, наоборот, всегда ценил и при первом удобном случае отмечал и хвалил. Такая объективность Кружилину нравилась, и он не понимал, почему отец к Полипову относится сдержанно. «В душе-то, видимо, обидно все-таки немного, что попросили уйти на пенсию»,— думал он иногда об отце.

— Добро...— Полипов вздохнул, но не с облегчением, а, наоборот, тяжело и устало. Прошел к своему столу и сел.— Ну, а ты, Савельев?

— Чего я? — помедлив, мрачно переспросил тот.

— Сколько «Красному партизану» гектаров под парами запланировать? — терпеливо спросил Полипов. Видно было, что спрашивает он об этом уже не в первый раз.

— Мы давно запланировали — тысячу четыреста.

— В прошлом году было тысяча двести,— напомнил секретарь, постукивая карандашом.

— Надо же расти...

Полипов бросил карандаш, резко встал, уперся кулаками в настольное стекло, точно хотел раздавить его. В глазах его метнулись молнии. Но Савельев спокойно проговорил, опережая секретаря:

— Право планировать предоставлено теперь нам самим. Вот мы и запланировали.

— Видал? — почти крикнул Полипов, глядя на Кружилина. И вновь обрушился на Савельева: — Ты не забываешь, где находишься? У вас этого права никто не отбирает. Но и у нас... у райкома никто не отобрал права контролировать...

— Правильно. И контролируйте,— сказал Савельев.

— Сейчас вся партия, вся страна борется за то, чтобы лучше использовать колхозные земли, чтобы не пустовало ни одного гектара...

— И это верно. Хозяйствовать надо умело.

— А у тебя бесплодно целый год полторы тысячи гектаров лежит.

— Под рожь готовим. Как будто не знаете,— все так же спокойно ответил Савельев, погладив усы.

Полипов снова вышел из-за стола, нервно прошелся по кабинету, потом остановился перед Савельевым.

— Слушай, Иван Силантьевич... Ты понимаешь, что в области идет борьба за ликвидацию чистых паров?

— Что ж, хорошее дело. А мы не будем их ликвидировать.

— А скажи, кормить страну мы будем? — недобро усмехнулся Полипов.

Савельев опять погладил усы.

— Обязаны.

— А чем мы ее будем кормить? Рабочих заводов и фабрик? Жителей наших городов?.. Парами?

— Хлебом, мясом, молоком...— начал перечислять Савельев.

Но секретарь райкома прервал его:

— И это председатель передового колхоза в районе! Слышишь, редактор? — Полипов сел на свое место, зажал голову руками.

— Где уж нам до передовиков, — уронил Савельев, бросив взгляд на Малыгина.

— Ну, одного из передовых, примерных... Что же тогда другие, глядя на тебя? — И, не поднимая головы, закончил, словно выбившись из сил: — Ладно, иди, Савельев. И остальные тоже свободны. Кружилин, останься.

Когда все вышли, секретарь райкома поднял голову.

— Вот так, Василий Поликарпович... Раскатай этого Савельева в ближайшем же номере. Поставь в пример Малыгина. Этот звезд с неба не хватает, но против стрежня никогда не прет.

И Василий раскатал.

Председатель «Красного партизана» к статье отнесся безразлично. Василий несколько раз видел его в Шантаре в конце прошлой зимы и весной, но Иван Савельев ни словом, ни жестом не показал, что обижен. И отец ничего не сказал ему по поводу статьи, будто и не читал ее.

Нынешней весной, разъезжая по району, Василий заглянул и в Михайловку. Савельева в деревне не было, в конторе сидел один отец, согнувшись над какими-то бумагами.

— А-а, сынок, здравствуй. Редковато отца навещаешь.

— Все дела, папа...

— Дела — это хорошо. Не может человек без дел.

Поговорили о том о сем. На осторожный вопрос о статье отец, помолчав, отозвался нехотя:

— Иван Силантьевич то ли еще переживал...

— Но почему, папа, ваша партийная организация не реагировала на выступление газеты?

— Зачем же? Реагировали.

— Паров-то как запланировали тысячу четыреста гектаров, так и оставили.

— А как же... Или ты хочешь, чтобы мы под корень сами себя срубили? Все наше хозяйство только на животноводстве да на озимой ржи стоит. Пшеничка на наших землях не шибко растет. Год уродит — два погодит. А рожь дает постоянный и устойчивый урожай. Только сеять ее надо по чистому пару. И не позже первого сентября. Вот и думай... А газета что? Газета не шутка. То есть шутить нельзя в газете-то...

Василий сидел тогда перед отцом как оглушенный.

— Но погоди... Это что же, вся область себя под корень рубит? Ведь всюду чистые пары ликвидируются...

— Вся не вся, а добрая треть колхозов и совхозов пострадает, если... если председатели и директора в них такие же исполнительные, как Малыгин.

— Не понимаю...

Отец глядел на него холодно, с открытой теперь неприязнью.

— Крестьянское дело, сын, не простое. Область наша большая, целое государство. Южная часть увлажненная. Там можно и поджать при надобности чистые пары, хотя совсем ликвидировать их вряд ли следует. В центральных районах тоже влаги хватает. На востоке уже посуше. А мы на самом севере приткнулись, у нас совсем сухо. Потому и плохо растет пшеничка тут...— Отец сделал паузу и добавил с невеселой иронией: — Разве вот у нашего соседа Малыгина вырастет.

Василий немножко помолчал и сказал:

— Ну, хорошо... Но Полипов-то сельское хозяйство знает. Он ведь старый партийный работник.

— Именно что старый. С Полиповым дело особое. В области сокращают пары — разве он будет в стороне? Ему тоже свое место в сводке нужно, как...— Отец на секунду-другую запнулся, ища дальнейших слов.— Как губернатору в церкви.

От такого сравнения Василий даже растерялся. А отец продолжал:

— Трудные наши земли, Василий. Климат еще труднее. Если бы не такие хозяева, как Савельев, давно наголодались. Таких людей беречь надо, а ты его статьей по голове. Так недолго и намертво свалить, если бить раз за разом.

— Но почему же, папа, ты мне сразу всего этого... не объяснил?

— Сразу? А ты сразу-то понял бы? Ты, кажется, Полипову в рот смотришь, веришь ему во всем.

— Да, папа,— сказал честно Василий.— Мне казалось... да и кажется...

— Ну вот,— усмехнулся отец.— Что же тебе объяснять было? Ты сам убедись в его неправоте. Сам понюхай жизни, чтоб понять ее.

* * *

«Сам понюхай жизни...», «Статьей по голове...». Слова-то какие! Но это были слова отца, которому он не мог не верить и который зря бы говорить их не стал. Они гудели в голове у Василия всю нынешнюю весну и все лето. А он-то до весны думал, что статья хорошая, правильная, принципиальная. И, подъезжая сегодня к Михайловке, вспомнил, что именно так — «правильное, принципиальное выступление!» — сказал Полипов после выхода того номера газеты. Сказал и добавил еще: «Не ошибся я в тебе. Нащупываешь самый стрежень в работе, Василий Поликарпович».

Что же, Кружилину это было слышать приятно. Беседуя с ним перед заступлением на редакторский пост, секретарь райкома говорил, расхаживая по кабинету: «Газетная работа не маменькин пуховичок. Как и всякая партийная работа. Главное в ней — чувствовать политический стрежень. Идти прямо по нему... Ну, добро. Будут какие трудности, сомнения, приходи ко мне запросто. Общими усилиями поможем, поправим, когда надо, по-товарищески... Не обижаешься, что я на «ты» с тобой сразу? Ну и добро. И тебя прошу без всякого выканья. Люблю простоту в отношениях». Полипов крепко пожал на прощанье руку, проводил до дверей. «Присматривайся к стилю и сути работы райкома. Окрепнешь, покажешь себя на деле — обязательно изберем членом бюро».

И вот теперь отец: «Статьей по голове...», «Намертво свалить...».

Подъехав к конторе, Василий Кружилин еще в окно увидел, что председатель колхоза и отец там. Он обнялся с отцом, поздоровался с Савельевым, сказал:

— Видел я, вы эти злополучные тысячу четыреста гектаров рожью уже засеяли.

— Для кого злополучные, а для нас...— начал было Савельев хмуро, но Василий перебил его:

— Иван Силантьевич! У меня достанет мужества публично извиниться перед тобой и перед всеми колхозниками, если статья действительно неправильная. Извиниться прямо в газете. Но давайте говорить спокойнее...

— Ну... давайте,— усмехнулся Иван. Встал из-за стола, прошел в противоположный конец небольшого своего кабинета, сел на деревянный скрипучий диванчик.— Давай.

— Что ж, все беды в сельском хозяйстве от сводок этих проистекают, в которых многим... таким, как Полипов, свое место нужно?

Савельев с минуту не отвечал, разглядывал зачем-то свой протез.

— Да нет, конечно,— проговорил он задумчиво.— Сводки, учеты всякие — как же без них? Просто не научились мы покуда хозяйствовать как следует на земле, вот что... Почему не научились, не знаю. Не той грамоты я, чтоб все объяснить. А за колхоз свой могу сказать. Попросту, извини уж, если не все гладко будет... Живет колхоз, правда, получше других, да разве так мы жили бы, кабы дали свободу действовать? Эх! Да вот не дают!.. Земля-кормилица, она не оскудеет, черпай и черпай, только умеючи! А мы не умеем.

— Что значит не умеем? И что значит не дают?

— А то и значит — не дают, потому что не умеем,— нахмурился Иван.

— Погоди, я объясню тебе попроще,— сказал отец.— За эти тысячу четыреста гектаров Ивану Силантьевичу набили уже шишек. И ты тут постарался, сынок. И еще набьют. Но он чистые пары сохранил, хоть, может, и не столько, сколько надо бы. Малыгин же искоренит их совсем, разорит совхоз, зато два-три года в передовиках походит. Как же — враг чистых паров, борец за передовую агротехнику! Да еще, не дай бог, дождички ударят!

— При чем тут дождички?

— А при том. Места у нас засушливые,— и председатель показал зачем-то за окно,— но ты сам знаешь, что раз в пять-шесть лет разверзаются хляби небесные. Как найдет этот год, целую зиму снег валит и валит, точно из прорвы, а летом дожди хлещут. Случись нынче такое — все газеты закричат: вон сколько влаги, правильно вопрос о чистых парах ставится, молодцы Малыгины, позор Савельевым! А что дальше? Это, во-первых, не влага, а вода. А во-вторых, следующее пятилетие как закон засушливое. Ржи не посеем — что, извиняюсь, жрать будем? Так вот, спрашиваю: умеем или не умеем хозяйствовать?

Василий промолчал.

— Или вот еще пример. Сейчас вовсю Рязанская область гремит — за год чуть не вчетверо увеличили там животноводство, государству мяса сдают три годовых плана. Так?

Поликарп Кружилин поднял голову, поглядел на сына исподлобья, спросил:

— Чего же ты молчишь? Так или не так?

Василий только пожал плечами. По совести, он недоверчиво относился к газетной шумихе, поднятой вокруг Рязанской области, но сказать об этом не решился.

— А как вы сами относитесь к планам и достижениям рязанцев? — глупо спросил он.

Что вопрос глупый, Василий почувствовал сразу же. Он еще не договорил, а отец уже печально качнул головой. Отвернувшись, глухо сказал, назвав его по имени и отчеству:

— Нет, Василий Поликарпович, не хватит, кажется, у тебя мужества извиниться перед ним, да еще в газете... Пойдем, что ли, ко мне домой, чайку попьем.

Василий безмолвно сидел перед ними, перед своим отцом и председателем колхоза, как не ответивший простенького урока школьник перед учителями. Он не знал, как выйти из неловкого положения, в которое попал из-за своего вопроса.

— Видите ли...

Но Савельев пожалел его и заговорил сам.

— Видишь ли,— повторил он его слова,— к ихним планам мы, в конкретности я, относимся и так и сяк... Я там не был, тамошних условий и положения не знаю. Может быть, надо им в ноги кланяться, если... если научились так хозяйствовать. Но ведь погляди, что получается... Наша область тоже нынче взяла два годовых плана по мясу. План разверстали по районам, районы — по колхозам и совхозам. И теперь нас заставляют сдать три годовых плана. Три! «У нас, говорят, животноводство сильное, кому, как не «Красному партизану», пример показать!» Ты понимаешь, Василий Поликарпович, что это значит? Где у нас такие возможности? За область опять же не знаю, а нам тот план — гроб с крышкой. Коров, что ли, вырубать? — Голос Савельева все креп, наливаясь злостью.— Можно, конечно, и коров. Можно весь молодняк на мясокомбинат отправить. Таким-то образом можно пять планов выполнить в один год, можно и шесть. А потом по миру идти? Это как, умеем или не умеем хозяйствовать?

— Насколько я знаю, вы не соглашаетесь пока даже и на два плана,— сказал Василий.

— Он не соглашается, а ему выговор! — резко проговорил отец.— Станет еще сопротивляться — Полипов пригрозит партбилет отнять. Бывали такие случаи, сам знаешь.

— Вот и выходит, что не дают воли, не дают развернуться,— сказал Савельев ровным, немного усталым голосом.— Не знаю, сколько с нас мяса нынче возьмут. Ежели в самом деле три годовых плана, на шесть лет вперед животноводство наше обескровят. А за эти шесть лет мы бы не шесть, а около десятка нынешних планов дали государству, ежели бы все нормально, по-хозяйски шло. А так на этих трех и засохнем. Вот и считай... Умеешь считать?

— Но, папа... Иван Силантьевич! Вот бы Полипову и предложить так посчитать.

— А думаешь, не было предложено? — обернулся отец.

— Ну и что?

— Эх-х! — Савельев махнул рукой.— Во всех этих мыслях у меня, может, не все правильно. Но ведь я попросту рассуждаю. Работал я год, получил на трудодни столько-то. С месячишко-то я как бы мог погулять-попировать — сам себе

купец, да и только. Но ведь я помню: целый год впереди, его тоже надо мне жить с семьей. А Полипов — он навроде вот такого купца!

Василий пожал плечами.

— Смелые ты все-таки, Иван Силантьевич, выводы выводишь.

Савельев устало вздохнул, вытер широкой ладонью лоб.

— Ладно... Поживем — увидим.

— Но мы с Иваном не выложим ему на стол все наше животноводство,— добавил отец.— Пусть хоть... Да ладно, хватит. Ночевать у меня будешь?

* * *

Этой теплой сентябрьской ночью, когда Василий Кружилин ночевал у отца в Михайловке, из охотничьего ружья застрелился Максим Назаров. Выстрел грянул на рассвете, переполошив сонных еще деревенских петухов и кур, эхо его раскатилось по утихшей с вечера деревне, подняло людей. Застрелился он в дощатом пустом сеннике, куда отец и сын ушли еще с вечера. Максим, бывший бригадир штрафной роты Бухенвальда, сначала снял сапог с правой ноги, помотал ею, сбрасывая портянку, ружье поставил на землю, склонился над ним, конец ствола сунул в рот, пальцем ноги прижал спусковой крючок. Сильный заряд разнес ему весь череп. Максим, уже мертвый, еще постоял какое-то время, скрючившись над ружьем, затем повалился в сторону, под ноги отцу, сидевшему возле стенки, у широкого проема, через который наметывали сюда сено. Сын упал, а отец не пошевелился даже, как сидел так и сидел, в тусклом свете занимавшегося утра глаза его были холодными и неживыми.

Они, глаза старого Панкрата, неживыми и холодными были и при свете ясного дня, стали такими давно, они помертвели с тех пор, как он узнал, что произошло с единственным его сыном. Получив от Максима письмо из тюрьмы, Назаров тут же запряг мерина и погнал его в Шантару.

— Ну, ты мне тут плел про Максима — растерялись, мол, в каком-то бою... А это? — И он показал Василию письмо.— Рассказывай все! Всю страшную правду!

Делать Василию было нечего.

Вернувшись домой, Назаров долго столбом стоял среди комнаты, будто что вспоминая. Затем, волоча ноги, прошел в угол, где висела крохотная иконка, висела просто так, по обычаю, как висят во многих деревенских домах, где давнымдавно нет никаких верующих. Панкрат долго смотрел на эту потемневшую иконку, на которой Георгий Победоносец непомерно длинным и тонким копьем поражал змия, поднял руку и медленно перекрестился...

На кровати, заходясь в рыданиях, лежала старая жена Панкрата Екатерина Ефимовна. Он шагнул к ней, сел на кровать, положил руку на дергающееся плечо жены.

— Ничего, мать... Сколь отмерено, поживем еще на родимой землице. Будем жить и ждать...

— Господи! Да чего же теперь ждать?! — воскликнула она.

— А не объявится ли он, христопродавец. В глаза его гляну, а тогда уж и помирать буду...

Он, говоря это, смотрел на жену, но не видел ее...

Так он, Панкрат Григорьевич Назаров, и прожил эти годы, никого не видя будто. Нет, он людей не сторонился, был всегда среди них, работал. Сперва заведовал конюшней, после — колхозными кладовыми.

Во время уборок хозяйствовал на токах, а когда силы стали совсем уходить, попросился у Ивана Савельева дневным сторожем на колхозные огороды. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, его плотно сомкнутые обычно губы не трогала даже тень улыбки, он забыл, что это такое, и при встречах с людьми, при любом разговоре с кем бы то ни было в замерзших его глазах никогда ничего не отражалось.

Лишь неделю назад, когда объявился Максим, в глазах его на секунду взметнулся живой огонек и тут же растаял.

Был поздний вечер. Максим, видимо, специально выбрал такое время, чтобы проскользнуть к родительскому дому незамеченным, во мраке.

— Отец! — воскликнул он, войдя в дом, и упал к его ногам. Был Максим тощ, давно не брит, одет в старенький ватник и растоптанные сапоги, в руках у него была грязная, как у странника, котомка. Когда он упал к его ногам, котомка эта откатилась на середину избы.

— Дождался я тебя, сынок,— проговорил Назаров, глядя в заросший затылок сына.— Ну, встань, я тебе в глаза погляжу. Затылок-то вижу.

Максим поднялся. Глянул в отцовские мертвые глаза, сделал несколько шагов назад.

— А Васька Кружилин вернулся,— проговорил Панкрат.

— Васька?! — простонал Максим.— Да откуда же?! Сбежал все-таки, сумел?

— А спроси у него. Редактором газеты в Шантаре работает.

Отец сидел на низенькой кровати, за его спиной на стенке, закрытой самодельным ковриком, висело охотничье ружье.

Максим некоторое время постоял, окаменевший, увидел свою котомку, поднял ее, положил на стул.

— Ну что ж, отец,— вздохнул он.— А я вот не смог вынести, отец... В аду, наверное, легче. За то отсидел, тюрьмой искупил. По амнистии вышел вот. Ну, как вы тут? Мать где?

— На том свете, сынок, всегда, видно, легче, чем на земле. Туда она и перебралась. Узнала об тебе и, как свечка, стаяла. Который год как... А я вот тебя дожидался.

Максим сел за стол, поставил на него локти, зажал ладонями голову, сидел так долго-долго, погруженный в тяжкую думу. Отец его не тревожил, а когда тот пошевелился, сказал:

— А ты еще подумай, сынок.

— Отец! Неужели... не будет мне прощения?

— А это надо у людей спросить, как они.— И Назаров кивнул за окно.— Ступай и спроси. Простите ли, мол, что над людями я изгалялся, что в своих стрелял?

Пятеро суток Максим Назаров выйти на улицу не решался, жили они молчком. Панкрат утром рано уходил на работу, оставляя ружье на своем месте, поздно вечером возвращался и ложился спать. К его приходу Максим готовил какую-нибудь еду, но отец никогда к ней не притрагивался. На шестые сутки Максим не выдержал, вышел на улицу, спросил у какой-то женщины, где находится контора, зашагал к ней.

Встречные люди, которых он не узнавал, останавливались и долго провожали его взглядом,— и взрослые останавливались, и дети. Смотрели на него из-за плетней и огорож, припадали к окнам, выбегали из домов. Все, оказывается, знали, что он вернулся, весть, что он идет по улице, мгновенно разнеслась по Михайловке. И вот глядели на него кто как — удивленно, изумленно, брезгливо, а некоторые, больше старухи, и с жалостью. Но эти жалостливые взгляды почему-то обжигали его сильней всего.

И в конторе, едва он туда зашел, все побросали работу, уставились на него.

— Председателя бы мне...

— Да вон, у себя покуда,— сказал кто-то.

Иван Савельев, известный с детства, превратился почти в старика, был незнакомым и чужим. Он поднял от стола голову и протянул:

— А-а... Ну, слушаю.

В кабинет на коляске вкатился безногий, и Максим догадался, что это Кирьян Инютин. У стола председателя он быстро сполз со своей каталки, поставил ее ребром, одной рукой оперся об нее, а другой за угол стола и ловко забросил обрубок своего тела на стоящий у стола табурет, каталку прислонил к табуретке же.

Иван Савельев не поздоровался, и Кирьян Инютин тоже, это Максим Назаров отметил, оба они теперь смотрели на него и ждали, что он скажет. Мимо конторы проходили какие-то люди и бросали в окна кабинета такие же взгляды, как на улице.

— Ну, так что скажешь? — опять спросил Савельев сухо. Без злости, без усмешки, просто сухо.

Усмехнулся тяжко и горько сам Максим.

— Не знаю. Обо мне вы все... надо полагать, знаете...
— Наслышаны.
— И как мне дальше... существовать?
Кирьян Инютин из сумки, висящей у него на шее, достал какие-то бумаги, уткнулся в них и произнес, будто прочитал написанное там:
— Уезжай-ка ты, Максим Панкратьевич, подальше куда от нас, потому что как ты здесь существовать будешь?
— Да, это верно...
Максим повернулся и вышел, побрел из деревни.
До вечера он сидел на берегу Громотухи. Теплая еще по-летнему, она плескалась равнодушно у ног, катила вдаль, к молчаливым скалам Звенигоры, свои вечные волны. В детстве он не раз купался здесь, река была веселой, вся в солнечных искрах, а теперь, хотя день стоял погожий, светлые блики почему-то не играли.
Он сидел и сидел, то роняя голову на колени, то приподнимая ее тяжело. Несильный ветер раздувал его грязные волосы — отец помыться ему не предложил, и сам он как-то не решился самовольно топить баню.
Когда стемнело, он опять тайком, как вор, прошел по Михайловке.
Отец был дома. Как и шесть дней назад, он сидел на низенькой кровати, смотрел перед собой пустым взглядом, за его спиной висело охотничье ружье.
— Поговорил... с председателем,— усмехнулся Максим.— Что и делать, не знаю. «Уезжай ты»,— говорит.
— Не-ет, нельзя,— вымолвил вдруг Назаров.— Куда уедешь?..
— Верно, некуда,— тоскливо сказал Максим.
Они еще помолчали, может, час, а может, и больше. За окном раздались какие-то голоса, Максим встрепенулся даже: неужели к ним кто-то идет? Неделя уже, как он здесь, и за все время никто даже из любопытства не зашел сюда, в этот дом.
— Не бойся... Это Васька Кружилин с отцом идут домой.
Максим невольно дернулся и вскочил.
— Ага,— кивнул Панкрат.— Василий приехал из Шантары ввечеру уж, об чем-то говорил в конторе с председателем и отцом допоздна, а счас спать пошли. Может, ты у Васьки-то еще и спросишь, что тебе делать? Сходи.
— Отец... перестань! — взмолился Максим, задышал тяжко и часто, по лбу и вискам у него проступали капли холодного пота.— Я знаю, это ружье... для меня висит!
— Для тебя,— спокойно подтвердил Панкрат.— Я давно для тебя его повесил, как все узнал. Заряд хороший заложил.
— Я все это понял... Чутьем.
— А какое тут чутье надобно? — усмехнулся Панкрат.
— Но я... н-не могу! — Голос Максима рвался, пот еще обильнее покатился по грязным щекам.— Н-не могу...
— Щ-щенок! — вскричал теперь Панкрат, быстро поднялся, сорвал со стенки ружье.— Щенок ты... вонючий!
— Отец! Оте-ец! — Загораживаясь от него рукой, Максим попятился к дверям. Панкрат Назаров, держа ружье вниз прикладом, опираясь на него, как на костыль, наступал на сына.— Отец! Не могу... Я лучше уйду! С концом, бесследно...
— Бесследно... И уйдешь! Уйде-ешь! Марш в сенник! Поганить дом не хочу! В нем мы прожили с матерью. Тут обмывали ее... Куда-а пятишься? Там сенник, забыл?
Он загнал его в сенник, и там, в темноте, Максим упал на землю, обхватил ноги отца, завыл уже действительно, как щенок.
— Прости! Хоть ты прости... Я сын твой, сын...
— Вста-ань, ты...
Максим, повизгивая, поднялся, мокрый и горячий. Не было еще и полуночи, глаза его в лунном свете, лившемся в открытую дверь, блестели жалко и просяще.
— Бери ружье! — безжалостно проговорил Панкрат Назаров.— Дуло в рот. Пальцем ноги спуск нашаришь... Скинь сапог!

Максим, как в комнате, начал пятиться, пока не уперся спиной в дощатую стенку. И там, хотя лунный свет не доставал до него, глаза его так же блестели.

— Ну?!

Этот возглас отца будто подкосил его, он упал, начал извиваться в пустом сеннике, со стоном выкрикивая все то же:

— Не могу, не могу, не могу-у...

Но постепенно он затих. Панкрат ждал этого терпеливо и, когда сын умолк, подошел к нему, положил под руку ему ружье, сказал негромко и ровно:

— Давай... Или себя, или меня. Дверь открытая, сынок, а обоим вместе нам отсюда не выйти. А я вот сяду тут и подожду. Тяжко мне на ногах-то стоять...

...Выстрел прогремел только на рассвете.

* * *

По русскому обычаю, покойников хоронят не раньше, чем через два дня на третий. Панкрат зарыл сына в этот же день. Именно зарыл, он так и сказал сбежавшимся на выстрел:

— К полдню зарыть надо...— Обвел собравшихся колхозников своим тусклым взглядом, остановил его на Владимире Савельеве.— Ты, Володьша, попроси кого еще, да выкопайте ямку где-нибудь. На погосте не надо, нечего поганить... Где-нибудь в сторонке, в волчьем овраге вон...

— Ладно,— сказал Владимир. Рядом стояла его жена Антонина, брюхатая уже в четвертый раз. Зажав рот, чтобы не закричать, глядела дико на маленькое, скрюченное тело, валявшееся на земляном полу сенника, а другой рукой держалась за плечо мужа.

Среди других сбежавшихся в сенник Назарова были и Анна, и Анфиса, и сам председатель колхоза Иван Савельев. Никто ничего не говорил, стояли все суровые и молчаливые. Позже других подошли Кружилин с сыном, перед Василием люди расступились, пропуская его к трупу. Василий глянул, губы его тронула странная какая-то усмешка, руку, искусанную в Ламсдорфе овчарками, он засунул глубоко в карман. Потом он среди общей тишины произнес негромко:

— На воротах немецкого концлагеря, где мы сидели с ним, было написано: «Каждому свое». Железными буквами...

Он проговорил это, и опять установилось гнетущее всех безмолвие, пока не всхлипнула вдруг Анна. Она тут же придушила этот свой всхлип платком, нагнула голову, пошла, побежала из сенника. Перед ней тоже расступились, как перед Василием, по этому проходу за Анной кинулась Анфиса, догнала ее уже за подворьем Назарова, пошла рядом, говоря:

— Чего ты, Анна? Будет... Пущай... Каждому свое, это всегда так. Черт с ним, с собакой.

Говоря так, успокаивая неумело Анну, никакого имени Анфиса не назвала.

Когда взошло солнце, Панкрат Назаров начал из неоструганных досок сколачивать гроб. Стук его молотка разносился по всей деревне.

— Обмыть, что ли, хоть,— сказала сердобольная Дашутка, дочь Ивана, которой отец приказал быть безотлучно при Панкрате.

— Обойдется,— сказал Назаров угрюмо.

С помощью объявившегося к обеду в Михайловке Николая Инютина он положил в гроб сына, бросил туда же ватник, в котором он пришел к нему, и его котомку, намертво заколотил гвоздями крышку. С помощью Николая же поставил гроб на телегу и повез.

Перед тем как сколачивать гроб, он попросил всех, кроме Даши и Николая Инютина, со двора уйти, а теперь и их, чтобы они не вздумали идти за гробом, отправил прочь. Он проявлял строгость до конца, все это понимали, никто его не осуждал. И потому улица, когда Панкрат вез по ней гроб, была нелюдимой и пустынной, навстречу не попалось ни одного человека.

Возле готовой могилы сидел Владимир Савельев и курил. Затем подошли Николай с Дашей. Они вчетвером сняли гроб, опустили его в могилу. Инютин и Савельев принялись ее зарывать, а Даша и сам Назаров молча стояли и глядели на это.

Когда все было кончено, Назаров велел отвести лошадь на конюшню, всем уйти, а его оставить здесь одного.

— Чего вам здесь, Панкрат Григорьевич? — сказала Даша.— Идемте...

— Ступайте, сказал! — окрысился Панкрат.— Чего меня сторожить? Сторожи не сторожи — помру. Пузырьки твои... вон, в сумке-то, не вижу, что ль... не помогут уж.

Проговорив это, он подождал, пока Владимир Савельев не тронул лошадь, опустился на землю.

— Дядя Панкрат! — умоляюще попросила Даша.— Встаньте, земля холодная. Нельзя вам.

— Нельзя,— проговорил Панкрат, и в голосе его не было уже ни злости, ни упрямства.— А вы женитесь, ребятки, а? Вон Володька-то, а? Молоток, опять бабу забрюхатил. Пущай люди рождаются...

Слова его были неожиданны здесь, в этом месте и в это время.

— Да что вы, дядя Панкрат...— сказала Даша, покраснев.

— Ничего... Да отойдите вы хоть в сторонку. Он все же... сыном мне был. Посижу с ним. Вы не мешайте. Недолго я...

Подчиняясь ему, Николай и Даша отошли за кустарник, росший по оврагу. День разгорался светлый и теплый. Николай снял пиджак, бросил на землю, и они сели на него.

Николаю шел тридцать первый год, а она была юная, потому слова Назарова смутили Дашу, румянец еще горел на ее полных щеках, делая ее еще моложе. Друг на друга они не смотрели.

— Даш,— неожиданно проговорил Николай,— и правда, давай поженимся.

— Ты... что? — приглушенно вскрикнула она, отшатнулась было, но он удержал ее за руку. Румянец ее заполыхал еще гуще, она испуганно и торопливо глянула на видневшуюся сквозь кусты сгорбленную спину Назарова, пытаясь высвободить подрагивающую руку. Но он ее не отпускал, она покорилась этому, опустила глаза в землю.

— Я и приехал, Даша, чтоб спросить это. У тебя и у отца... А тут...

Он все держал ее за руку. Она с трудом подняла на него глаза, такие же черные, как у матери, и так же обещавшие верность и преданность в любых испытаниях.

— Ох, Коля, Коля...— выдохнула она и ткнулась горячим лицом ему в колени.

* * *

Нелегкий разговор накануне смерти Максима Назарова с председателем колхоза и с отцом много дал Василию Кружилину, заставил о многом думать, размышлять, сопоставлять, по-другому взглянуть на председателя «Красного партизана», да и на отца. И как-то, уже глубокой осенью, он зашел в кабинет Полипова и сказал:

— Петр Петрович, я хотел насчет статьи о Савельеве поговорить. Помнишь, по поводу паров?

— Ну-ну, — глуховато промолвил Полипов и чуть заметно пошевелил бровями.— Как они там, после самоубийства этого... мерзавца?

Известие о самоубийстве Максима Назарова Полипов встретил несколько странно, как показалось Василию. Когда он, вернувшись из Михайловки, стал рассказывать подробности, Полипов будто долго не мог понять, о чем идет речь, хотя отец буквально через несколько минут после выстрела сообщил об этом в райком. Потом на лице его проявилась какая-то кисло-жалкая усмешка, губы выгнулись скобкой вниз, уши загорелись. «Ужасно, ужасно... Подумать только, что бывает...» — проговорил он сипло, отворачиваясь. Но когда вновь повернулся к Василию, на лице не было этой кислой усмешки, оно было жестким, холодным, и он проговорил пустым, без всяких эмоций, голосом непонятное: «Впрочем, что удивляться? Сам Назаров сюрпризы постоянно подносил, и вот сын... Твой отец лишь очень ценил его». «Кого?» — не понял тогда Василий, но Полипов ничего объяснять больше не стал.

— Как они там, не знаю,— ответил сейчас Василий.— Живут, чего же...

— Ну, так что ты насчет этой статьи?

— Я вот беседовал недавно с Иваном Савельевым. И с секретарем парторганизации колхоза.— Отца он по фамилии не назвал.— И мне показалось, что их доводы...

— Так, ясно! — перебил Полипов.— Их «доводы»,— секретарь райкома по-особому, враждебно, произнес это слово,— я знаю.

Полипов по привычке вышел из-за стола, прошелся по кабинету. И вдруг неожиданно:

— Ну, а доводы партии?

Василий Кружилин сразу не нашелся, что ответить. Да Полипов ему и не дал отвечать.

— По-твоему, правы Савельев с твоим отцом, а не мы... не райком партии? Как же так, Василий Поликарпович? Ты вроде производил на меня впечатление более... более зрелого человека. И вот те на... Ты, кажется, совсем зеленый.— Полипов развел руками, вздохнул.

И хотя это: «Вот те на... Ты, кажется, совсем зеленый» — было произнесено мягким, даже участливым тоном, Кружилину стало не по себе. Полипов заметил это.

— Ну, чего скис?

— Ты что же, привык себе работников выбирать, как арбузы на рынке?

— То есть? — не понял Полипов.

— Тогда надо было постучать пальцем об мой лоб. Опытный арбузник, говорят, сразу определяет зрелость.

— Послушай!..— начал багроветь Полипов.

— Я никогда и нигде не утверждал и не буду утверждать, что я «зрелый». Особенно сейчас. Сельское хозяйство знаю пока плохо. Когда писал статью о Савельеве, казалось, что я прав. А сейчас возникли сомнения. Вот и пришел посоветоваться. Ты сам просил когда-то...

— Я тебе и разъясняю: партия...

— При чем тут партия?

— Что́?! Что?! — Полипов замер на две-три секунды, словно бы окаменел в недоумении.

— Тут конкретный производственный вопрос, который можно с пользой решить только в том случае, если учесть все местные условия. Этого, кстати, и партия настойчиво добивается.

— Та-ак,— сказал Полипов и прочно уселся за свой стол.— А мы, значит, не учитываем эти местные условия?

— Мне кажется, не учитываем.

Полипов сидел неподвижно.

Зазвонил телефон. Он звонил долго, но Полипов так и не взял трубку.

— Та-ак,— снова произнес наконец он.— Не очень-то... как бы тебе сказать, чтобы снова не обиделся... Не очень гладко начинаешь свою редакторскую деятельность.

— При чем здесь, Петр Петрович, гладко, не гладко?

— Нет уж, ты подожди, не перебивай! — И Полипов негромко прихлопнул по столу ладонью.— Учись слушать старших товарищей. И по возрасту, и по партийному опыту. А то мы с тобой вообще ни о чем не договоримся. Вот что я скажу тебе, Василий Поликарпович. Ты не только сельское хозяйство, но и партийную работу плохо знаешь. И как я сейчас убедился, недостаточно отчетливо понимаешь линию партии в сельском хозяйстве. Именно — недостаточно отчетливо! — повысил голос Полипов.— Пусть тебя никакие формулировки не коробят. Мы тут дело делаем, нам некогда выбирать мягкие выражения. И ты не красная девица...

Опять зазвонил телефон. Полипов раздраженно приподнял трубку и бросил ее на рычаг.

— А в этом конкретном вопросе главный стрежень в чем? Вот посмотришь, не сладко будет жить Савельеву с Кружилиным. А Малыгина будем поддерживать. Я, область — все. А ты прислушивайся, приглядывайся, что будет происходить. И размышляй, делай выводы. Словом, учись.

— Насчет Савельева и Малыгина мне уже предсказывали. Только разъяснили все несколько с другой стороны.

— Что разъяснили?

— А почему оно так произойдет с ними.

— Туманно выражаешься,— пожал плечами Полипов, так и не поняв, а скорее всего сделав вид, что не понял, о чем говорит редактор газеты.— Ну, все, Василий Поликарпович. И мой дружеский совет тебе, только пойми его правильно: не высказывай опрометчиво своих мнений, пока не изучишь сути дела, не поймешь самой сердцевины.

— Это как понять?

Полипов глянул на левую, покалеченную руку Василия, в которой он держал папиросу, на обрубок безымянного пальца, на две трети откушенного немецкой овчаркой, и тут же, мгновенно, отвел глаза.

— Я и говорю — правильно только пойми. Ты ведь свою жизнь, по сути дела, лишь начинаешь. До этого она у тебя была... Ужасно подумать, какой она у тебя была.

* * *

Тяжелое, гнетущее чувство осталось у Василия Кружилина после этого разговора с Полиповым. «Да что же это за человек? — раздумывал он.— И еще, кажется, пугает: ты свою жизнь только начинаешь, а до этого она была у тебя ужасной... Это что же он, на годы немецкого плена, что ли, намекает? Ну, здесь ты, Петр Петрович, не на того напал! Я и охранников с их собаками, эсэсовцев не боялся, смерти своей никогда не страшился, а здесь ты хочешь меня запугать? Дурак ты в таком случае, а не лечишься...»

А жизнь меж тем шла, и шла она в Шантарском районе именно так, как предсказывали ему отец с Иваном Силантьевичем Савельевым, да и сам Полипов. Отца и Савельева за чистые пары, которых они на будущий год оставили достаточно, разносили в пух и прах на всех пленумах, сессиях и всяких районных совещаниях, директора же совхоза «Первомайский» ставили в пример. На всю область прогремел Малыгин и за обязательство дать два с половиной годовых плана по мясу, в областной газете был даже напечатан его портрет. Иван Савельев же и отец, как ни ломал их Полипов, не обещали даже полутора.

— Что запланировано, то дадим государству,— говорил Савельев одно и то же. Это же повторил и на бюро райкома, куда его и Кружилина в конце концов вызвал Полипов.— План и так у нас немалый. С чего же я увеличу его вдвое? Денег, чтоб на стороне коров да овец покупать, у нас нету. За что покупать-то? Ну, одну овечку я куплю на свои, Кружилин — другую. Это запиши, если надо.

— Издеваешься, значит, еще?! — не выдержал Полипов. И зловеще заговорил: — Ну, глядите, деятели! Этак доиграетесь... Предлагаю Савельеву объявить выговор. Кружилин тоже заслуживает самого строгого наказания, но... как-то неудобно. Ты же, Поликарп Матвеевич, бывший секретарь райкома! На моем месте сидел вот. Не ожидал от тебя...

Полипов произнес это и посмотрел в сторону Василия. Как редактор, он присутствовал на многих заседаниях бюро райкома. Иногда его приглашал сам Полипов: «Приходи, полезно поприсутствовать». «Приходи, полезно поучиться сути партийной работы»,— переводил его слова Василий.

Члены бюро покорно и единогласно проголосовали за предложение Полипова.

«Эти главный стрежень видят»,— с горечью подумал Василий.

Выходя из райкома, он слышал, как отец проговорил, нехорошо усмехаясь:

— Вроде новый метод в партийном руководстве — разделяй и властвуй.

«Пожалуй, верно»,—подумал Василий.

А весной следующего, 1958 года произошел такой случай.

Иван Савельев решил еще потеснить немного пшеницу и побольше посеять кукурузы на силос. В колхозе выделили для этого хорошее поле, отлично прогреваемое солнцем, обильно удобрили почву. И хотя с некоторых пор посевы кукурузы поощрялись даже в Сибири, Полипов категорически воспретил самовольничать.

Напрасно Савельев и секретарь парторганизации, специально приехав в Шантару, доказывали, что в колхозе большое животноводство, что у них из года в год не хватает кормов, что колхозы сами давно имеют право на планирование, что

недавний Пленум ЦК указал на пересмотр структуры посевных площадей как на один из важнейших резервов, что пшеница в их хозяйстве самая малоурожайная культура... Все эти доводы разбились, как стеклянная бутылка о каменную стену, об один-единственный аргумент Полипова:

— «Красный партизан» не последнее зерновое хозяйство района. У нас большой план продажи хлеба государству. Так вы что же, хотите район зарезать?

— Район мы, Петр Петрович, не собираемся резать,— уже, наверное, в пятый раз повторял Савельев.— Но учтите наше положение: у нас огромное животноводство, к тому же кукурузу сейчас рекомендуют...

Полипов негромко хлопнул ладонью по столу. И Василий, случайно присутствовавший при этом разговоре, увидел, как Савельев сник.

Что ж, Василий уже знал, что значит такой хлопок.

А Полипов, качнув коротко стриженной головой с крутым, без единой морщинки лбом, проговорил, по своему обыкновению тихонько барабаня пальцами по зеленому сукну стола:

— Простите, пожалуйста...— Затем улыбка с его лица исчезла, оно стало ровным, как доска, непроницаемым. На нем так и не проступило ни одной властной черты. В голосе тоже не было слышно металла, хотя Полипов продолжал: — Но спекулировать партийными решениями мы никому не позволим. Мы не меньше вас разбираемся в этих решениях, не меньше понимаем роль кукурузы. Но мы видим и понимаем еще общую и дальновидную стратегию партии по развитию и укреплению сельского хозяйства, по созданию изобилия продуктов питания для народа. И ты, Поликарп Матвеевич, уж должен бы понимать это и объяснить своему председателю... Вы тайгу в прошлом году начали корчевать — отлично! Поддерживаю. Сейте на этой земле кукурузу. А существующие площади под пшеницей не позволим сокращать. Вы и так поклонники ржи.

И здесь-то не выдержал отец:

— Кукурузу мы на том поле посеем — и все!

Полипов секунду-другую смотрел на него, поднял глаза на Савельева.

— Да, будем сеять,— ответил председатель на этот безмолвный вопрос.— Не можем мы иначе...

— Вот как? — сухо уронил Полипов и повернулся к Василию: — Видал?! — И снова отцу: — Мы не простим такого... такой партизанщины, даже тебе, Поликарп Матвеевич. А товарищу Савельеву это грозит...

— Чем это мне грозит, интересно?! — воскликнул Савельев, вставая. — Чем грозит? Ничем мне это не грозит. Мне ни чинов, ни портфелей не надо. Вырос на земле, умру на земле, как Панкрат Назаров...

Панкрат Григорьевич скончался недели через две после самоубийства сына. За эти две недели он никому не сказал и полслова, в деревне почти не жил, целыми днями или сидел возле пригреваемой солнцем соломенной стены балагана на колхозном огороде, с которого убирали последние овощи, или, опираясь на костыль, ходил вокруг деревни молчаливо и неслышно. Иногда он где-нибудь останавливался, недвижимо стоял и час, и другой, то глядя в землю, себе под ноги, то бросая взгляды окрест. Постояв, опять двигался, уходил иногда далеко, под самую Звенигору.

Иван Савельев строго-настрого приказал дочери и врачу медпункта по-прежнему не упускать Назарова из виду, а колхозным ребятишкам попеременно следовать за ним, куда бы тот ни пошел. Школьники установили за ним дежурство. И однажды младший из детей Инютиных, десятилетний Кешка, пулей влетел в деревню:

— Скорее! Дядь Панкрат помирает! Там, под Звенигорой... Шурка там с ним наш.

Когда Иван Савельев и Поликарп Кружилин подлетели на ходке, которым правил Кешка, к Панкрату, тот был уже мертв. Он лежал на лугу близ Громотухи, лицом вниз, лежал, раскинув руки, точно хотел обнять всю землю. Возле него сидел брат Кешки, уже тринадцатилетний Александр. Он и рассказал о последних минутах жизни Назарова: «Шел он и шел, а мы следом... Он нас всегда видел и не оборачивался никогда. Гляжу, он припал к земле. Я Кешку мигом за вами, а сам к нему. «Дядя Панкрат!» — кричу. А он меня не видит уж и не слышит. Бормочет чего-то...» — «Что он бормотал? — спросил Иван.— Все до слова скажи!» —

«Да я не разобрал всего-то... И не понять было. Разное он... «Прости, говорит, меня, матушка...» Какая, думаю, матушка? Потом догадался — про землю это он так. «Может, говорит, и мало чего я сделал для тебя, да сколько сил было...»

— Ну, Назарова вы тут не к месту вспоминаете,— усмехнулся Полипов.— Жил на земле он... Все мы на земле живем.

— Нет, к месту! — не вытерпел Кружилин. И заговорил дальше, волнуясь: — Все на земле, да иные на чужой будто. А это была его, Панкрата Григорьевича Назарова, земля, на которой он родился, жил... Страдал и радовался, ненавидел и любил... Жил он здесь! А людям и дальше на ней жить. Жить и умереть так же, как он, на ней, потому что никакой другой земли для людей нет и не будет! И не нужно, чтобы другая была...

Полипов все это выслушал внешне терпеливо.

И когда Кружилин умолк и в кабинете установилась полная тишина, проговорил:

— Ну и прекрасно. Философия эта и эти твои эмоции понятны. Но какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?

— А самое прямое. На том поле кукурузу на силос мы и посеем! А если ты, Петр Петрович, не понимаешь, какая тут связь, помочь ничем не могу.

— Семена уже приготовлены,— сказал Савельев,— поле давно поспело, завтра же начнем.

— Что же...— спокойно проговорил Полипов, бросил взгляд на настенные часы. Было без четверти двенадцать.— Пока не наступило завтра, мы поговорим об этом сегодня на бюро. И вообще, еще разок о всех ваших делах поговорим. Бюро начинается в два часа. Прошу не опаздывать. А сейчас можете сходить в районную столовую пообедать...

Василий заметил, что, говоря это, Полипов неловко бросал взгляд с предмета на предмет, избегая смотреть на председателя с парторгом.

К двум часам Савельев и отец снова были в райкоме. Бюро уже началось.

— Петр Петрович по срочному делу выехал в один из колхозов,— сообщила в приемной секретарша.— Бюро ведет второй секретарь. Петр Петрович извинялся и просил вас подождать. Он скоро приедет. Как только вернется, сейчас же ваш вопрос.

Полипов появился в райкоме, когда стемнело.

— Земля у вас действительно поспела,— сказал он, проходя в кабинет через приемную.— Специально крюк сделал, чтоб посмотреть.

— Чем это все попахивает? — с тревогой произнес Савельев, когда закрылась дверь за Полиповым.

И вдруг из кабинета, переговариваясь, вышли члены бюро. Ничего не понимая, Савельев поднялся и прошел к Полипову. Следом за ним вошел Кружилин.

Секретарь райкома звонил в гостиницу по телефону:

— Ага, два места... Самых лучших. Зачем отдельных, можно вместе. Добро.— Положил трубку и развел руками.— Взбунтовались члены бюро, не до света же, говорят, заседать. Решили продолжить завтра в десять утра. Ничего не поделаешь, коллегиальность. Да и действительно, кончать надо с заседательской суетней... В общем, простите, Иван Силантьевич и Поликарп Матвеевич, а завтра сразу в десять потолкуем с вами. С гостиницей я для вас договорился... за счет райкома. Отдыхайте.

Однако и на следующее утро бюро почему-то не собралось. Сказали, соберется в два часа дня. А днем Полипов объявил, с треском застегивая замки своего портфеля:

— К сожалению... впрочем, для вас это к счастью... меня и второго секретаря вызывают в обком партии. И заметьте — совещание по вопросам наметившихся тенденций к сокращению зерновых площадей в области. Этак, братцы мои, без хлебушка останемся. Так что не вздумайте там мудрить. Вопрос стоит острее, чем вы думаете. Легко надвое разрезаться... На время сева к вам уполномоченным вот товарища редактора назначили. Смотрите, под постоянным контролем газеты находитесь. Выезжай-ка, Василий Поликарпович, в колхоз сегодня же...

Уполномоченным Василия в «Красный партизан» действительно назначили еще несколько дней назад. И он вместе с председателем и отцом выехал в колхоз.

Ехали почти молча. Только Савельев всю дорогу плевался:

— «По вопросам тенденций... Надвое разрезаться...»
А отец всю дорогу угрюмо молчал.
Когда подъезжали к Михайловке, Савельев и отец, словно по команде, выскочили вдруг из машины и побежали к полю, по которому вдоль и поперек ползали двухрядные сеялки.
— Эт-то еще что такое?! Кто разрешил пшеницу сеять?! — закричал Савельев сеяльщикам, размахивая протезом.— Прекратить сейчас же...
— Можно и прекратить,— сказал сеяльщик и грубо выругался.— Да ведь кончаем уже. Вчера полдня сеяли, всю ночь да сегодня, считай, целый день.
— Кто разрешил, спрашиваю? Ведь мы это поле под кукурузу оставили!
— Кто же, кроме бригадира? Только не разрешил, а заставил. Вон он, спрашивайте.
На дрожках подъехал бригадир, щупленький, болезненный мужичок, вступивший в колхоз уже после войны. Несмотря на теплынь, он был в шапке-ушанке, одно ухо которой торчало вверх.
— Ну? — произнес Савельев, когда бригадир натянул поводья. Усы председателя вздрагивали.— Самовольничаешь?!
— А тут не знаешь, кого слушать, — угрюмо произнес бригадир.— Тот грозит, другой грозит...
— Я не угрожаю, я спрашиваю: что ты наделал?! Ты понимаешь?
— Чего мне понимать... Тут вчера сам Полипов был. Приказал: «Сей пшеницу». И не уехал, пока не начали сеять.
Это сообщение сразило Савельева. Он сел прямо на пахоту возле ног своего парторга.
— Да и подумать если: чего тебе, Иван, на рога лезть? Со здоровья и так последний рубль разменял вроде...— Бригадир, тяжело шаркая ногами, подошел к председателю и тоже сел на землю.
— Так вот чем это попахивает,— уронил отец.— Без кормов-то, хочешь не хочешь, сговорчивее будем насчет увеличенных планов мясосдачи. Не мытьем, так катаньем!
— Не городи-ка чего не следует,— тихонько попросил председатель. И Василий понял: Савельев сказал это лишь для него — как-никак, а он уполномоченный райкома партии.
Потом все несколько минут безмолвно дымили папиросами. Было в этом молчании что-то тягостное, гнетущее.
— Что же посоветуете, Иван Силантьевич, папа? — осторожно спросил Василий.— Может быть, статью написать в областную газету обо всем этом? Или в центральную?
Василий понимал, что статью писать бесполезно: ее не напечатают. Но все же спросил, чтобы облегчить как-то состояние всех.
Савельев медленно, с трудом приподнял голову, повернул мятое, усталое лицо к Василию:
— Не надо.
Теплый весенний ветерок гулял над полем, ворошил молодые листья берез, растущих по краю полосы. Черные, тяжелые, словно камни, галки прыгали за сеялками, надеясь, как при пахоте, поживиться жирными червями.
— Ну, так что, уполномоченный? — вздохнул Савельев, по привычке затаптывая каблуком окурок в землю.— Какие твои будут указания насчет... сева? Куда какую сеялку послать в первую очередь? Всех или не всех колхозников посылать в поле? Темпы сева как, увеличивать будем? К какому сроку отсеяться нам?
— Не надо, Иван Силантьевич. Я же не ребенок. Вы работайте, а я... поучусь в общем сельскому хозяйству.
Отец поднял на него глаза и опустил, ничего не сказав, а Савельев Иван произнес:
— Что же, спасибо, Василий.— Уперся единственной рукой в землю, поднялся.— Но ведь с тебя спросят: что делал, на что мобилизовывал нас, грешных? Сами-то мы, самостоятельно, никогда не мобилизуемся.
— Слово-то какое! Казенное слово-то,— вставил бригадир.
— Спросят — ответим: на успешное завершение сева. Скажу, что личным примером заражал и вдохновлял. Так что поставь меня на какую-нибудь сеялку. Или

пошли семена подвозить.

На другой день отец позвонил в райком. Полипов еще не вернулся из области. Но через два дня он соединился с ним и сказал:

— Вот что, Петр Петрович... Темна душа твоя... Но такой подлости я даже от тебя не ожидал... Ничего, от меня это можешь выслушать... Что? Нет, не боюсь... И этого не боюсь... Чего боюсь? Только одного — своей совести. И тебе советую бояться своей.

И положил трубку.

* * *

Этой весной, через тринадцать лет после окончания войны, когда шел пятнадцатый год Лене, дочери пропавшего без вести Семена Савельева, обнаружился вдруг неясный и далекий его след, затертый уже, казалось, временем навсегда.

Случилось это в теплый майский день, сирень еще не цвела, а соловьи, как положено, давно захлебывались песнями. В этот день, в воскресенье, часов в одиннадцать утра, в крохотной избенке Акулины Козодоевой открылась дверь, нагибая голову, чтобы не стукнуться о притолоку, вошел мужчина лет пятидесяти, рослый, хотя в плечах не очень широкий, одетый чисто, в шляпе и галстуке.

— Здравствуйте,— сказал он. Зеленоватыми глазами, в которых была не то задумчивость, не то усталость, пришелец окинул комнату, по очереди оглядел трех ее обитательниц, остановил взгляд на Наташе и добавил: — Извините, что побеспокоил...

Это был Петр Зубов, сын бывшего полковника царской армии, затем уголовник, а с конца сорок второго года боец штрафной роты, которой командовал капитан Кошкин.

Немало зим и весен прошло с того дня, когда Наташа в первый и последний раз видела этого человека в доме Маньки Огородниковой,— шестнадцать зим и шестнадцать весен, шла семнадцатая. Наташа его не узнавала. Да он с той далекой зимней ночи совершенно изменился, глаза выцвели, раньше лицо было чистым и гладким, а теперь на лбу и щеках пролегли глубокие морщины, и теперь он носил небольшие, аккуратно подстриженные, обсыпанные густой изморозью усы.

Зато бабка Акулина, окончательно высушенная временем, но по-прежнему живая и неугомонная, едва замолк его голос, сказала нараспев:

— Здорово живе-ешь, Петро Викентьевич.

Он резко повернулся на ее голос всем телом, прижмурил глаза, затем широко раскрыл их.

— Вы... меня знаете?!

— А чего ж...— усмехнулась старуха дряблыми губами.— Бог дал вот за страдания мои мно-ого сроку. Я и батюшку твоего знавала. И дедушку. Ты-то его не знаешь, дедушку своего, после него уж народился, а я знавала... Крепостные мы были у него, мои родители-то, на Ярославщине жили...

Зубов так и сел. Шатнулся к табуретке, которая стояла неподалеку, и осел. А старуха сказала Наташе:

— Петро Зубов это, доченька, сын Викентия. У того Викентия братец еще был Евгений, за которого я на каторгу-то угодила.

Наташа вскрикнула, зажала вскрик ладонью.

Старуха молчаливо стояла возле кровати.

Зубов, оглушенный, ничего не понимая все-таки, вертел головой.

Ничего не понимала и Лена, невысокая, тоненькая еще и хрупкая, светловолосая и светлоглазая — в отца. Она, когда вошел этот человек, готовилась к экзамену по истории, который должен быть завтра, в понедельник, а теперь, держа в руках учебник, стояла у окошка, пронизанная сильным весенним солнцем, льющимся в комнату. Она не понимала и не осознавала, что эта самая история, которую она уже не первый год изучает по учебникам, присутствует здесь, в этой маленькой их комнатушке, в живых лицах, что бабушка Акулина Тарасовна, этот незнакомый человек, ее мать, да и она сама, обыкновенные и мало кому известные люди, тоже участники истории, которую она учит, не легкой и не простой истории человечества, живущего на планете Земля.

— На какой, простите, каторге? — спросил Зубов, когда прошел первый шок.— При чем тут брат моего отца? Из далеких рассказов отца я что-то припоминаю... был у него, кажется, брат, который то ли умер в юности еще, то ли погиб... Расскажите, если знаете что.

— А что ж, и расскажу,— проговорила старая Акулина.— Зачем мне с собой это уносить? Пущай ты будешь знать, на пользу, может, тебе, Петро Викентьич... Сам-то чего и как объявился тут?

Зубов помедлил, оглядел Наташу, потом Лену, спросил у Наташи, не отвечая на вопрос старухи:

— Вы помните ту ночь в доме какой-то Огородниковой Марии во время войны? Когда нас всех арестовала милиция?

— Да...— выдохнула она.— Это было ужасно.

— И я помню,— усмехнулся он.

— Вы сказали мне странные слова тогда: «Никогда, девочка, не становись на колени. Если человек сделал это, он уже не человек...»

— Разве? — проговорил он, задумался.— Да, кажется.

— Чего вы хотите?

Зубов и на ее вопрос не ответил, а спросил опять не сразу:

— Это... дочь Семена Савельева и ваша?

— Да...

— Очень похожа на отца.

И здесь только Наташа поняла, что этот человек принес какие-то известия о ее муже. От давно потерянной и, наперекор всему, мгновенно возникшей надежды она задохнулась, вся кровь в ней остановилась, и, побледнев, она прошептала:

— Вы... что-то знаете о Семене?

— Я думал, он здесь.

Надежда, не успев родиться, тут же умерла, как умирает, испаряется моментально капля воды, случайно пролитая на пыльную, иссушенную зноем землю.

— Его нет...

— Я вижу...

— Вы... встречались с ним где-то?

— Да. В сорок третьем это произошло, в июле, кажется.

— А в июне от него пришло последнее письмо. И больше не было. Рассказывайте. Где, как вы встретились?

— В колонне военнопленных, которую немцы гнали через село Жерехово...

* * *

На другой день Зубов Петр Викентьевич вместе с Наташей был в Михайловке, сидел за столом в доме Анны Савельевой и не торопясь снова, как вчера, рассказывал:

— ...Встретились мы с ним в колонне военнопленных, которую гнали немцы через село Жерехово. Неподалеку от города Орла оно находится. Под этим селом есть крутой холм. Возле холма шел страшный бой, в направлении на эту высоту и наступала из болот наша штрафная рота, а на холме, окруженном немцами, и находился ваш сын, Анна Михайловна, как он мне потом говорил.

— Так... Там мы были,— сказал Иван Савельев, сидящий за столом рядом с Кружилиным.— Я им все это рассказывал. Я так и думал, что Семена они в плен угнали. Я его искал после боя того и нигде не нашел.

— В плен,— кивнул Зубов.— И меня под этой высотой взяли. Семен контужен был, все крутил головой. И спина у него была осколком разворочена, порядочный лоскут тела вырвало, но позвоночник, к счастью, не задело.

— Да,— опять подтвердил Иван,— еще в самоходке его контузило, потом на высоте добавило. Мы его в блиндаж положили, думали — там безопаснее, а туда снаряд... А после, когда немцы высоту захватили, он без сознания уж был. Я все рассказывал тебе, Анна...

Она дважды, по очереди, приложила к глазам смятый в комок платочек. Несколько лет ей не хватало до шестидесяти, но давно она превратилась

в старуху, раздавливающее известие о муже и страшная, непонятная судьба старшего сына сломили ее, потушили блеск в глазах, стерли навсегда ее былую красоту, все живое в ее облике.

На столе остывали чашки с чаем, нетронутой стояла бутылка водки. Анна поставила ее, никого не спрашивая, но никто не сорвал даже белую нашлепку с нее.

— И я, когда меня взяли, был с расколотой головой,— продолжал Зубов.— Какой-то немец так ударил прикладом по голове, что свет потух. Очнулся я, в себя пришел уже в колонне этой. Огляделся — и сразу увидел сбоку Семена, узнал. Я видел его до этого всего один раз, здесь, в Михайловке, и то мельком... Вот Наталья Александровна знает когда.

Все поглядели на нее, и она утвердительно кивнула.

— Но он мне запомнился тогда чем-то. Открытое такое лицо... В колонне этой и пока везли нас до Данцига потом я ничего ему не говорил. Ухаживал молча за ним. У меня от удара немецким прикладом под черепом все гудело и гудело. У Семена с головой было хуже, его тошнило постоянно и часто рвало. И спина заживала медленно, долго гноилась, полечить было нечем. Я ходил за ним, как мог, и он, представьте, тоже узнал меня. Когда ему стало получше, он вдруг спросил в упор: «Ты-то, бандюга, каким образом тут оказался?» Это было уже в Мариенбурге. Есть такой городишко близ Данцига, там был концлагерь, нас туда и перегнали вскоре. Но там мы тоже были недолго почему-то. Вскоре нас перевезли в пересыльный лагерь, который назывался «Хаммерштейн № 315». Там было собрано несколько тысяч человек пленных, их куда-то отправляли морем небольшими партиями. На рассвете и наш барак однажды подняли, загнали на проржавевшие баржи. Баржи три или четыре было. Немцы называли это «транспорт «Гинденбург». Высадили в Финляндии, на пустынном берегу... Затем много недель нас гнали по болотам, по тундре на север Финляндии, пока не пришли в концлагерь неподалеку от города Рованиеми...

Наташа сидела безмолвная и будто бесчувственная. Ей, как и всем здесь сидящим, тоже пришлось перенести немало: когда-то юная и свежая, она отцвела быстро, кожа на лице поблекла, в глазах давно поселилась тоска, и она казалась намного старше своих тридцати трех лет.

— Вы расскажите, как вы шли! — сухим голосом потребовала она.— Расскажите все, что вчера мне рассказывали!

— Как шли? — Зубов зябко пожал плечами.— Все сейчас жутко вспоминать, и это тоже. Еще в Хаммерштейне выдали нам старые немецкие шинели и тонкие, протертые до дыр суконные одеяла. Так и шли, в этих шинелях, накинув поверх одеяла,— холодно в тундре было ночами. На ногах ботинки на деревянных подошвах. От мокроты подошвы быстро раскисли, расползлись на волокна — многие шли босиком, разбивая в кровь ноги. Резали шинели и одеяла на куски, обертывали ими ноги. Но эти портянки через час-другой тоже превращались в лохмотья, старое, изношенное сукно быстро расползалось, как вата. Спали прямо на мокрой земле. Заболевших или выбившихся из сил охранники тут же пристреливали. Могил не копали — не надо было копать, всегда поблизости было какое-нибудь болото. Оттаскивали туда труп и бросали в трясину. А кормили... Ну, почти не кормили. Галеты какие-то давали, растворишь кубик в горячей воде —вот и вся пища на день, а то и на два... Мы с Семеном держались друг друга и, в общем, выдюжили. Не знаю я как... В Рованиеми было уже полегче, спали хотя бы на сухом. Там мы были вместе, в одном бараке жили несколько месяцев. А осенью сорок четвертого нас разъединили. Я остался в этой болотной каторге, а Семена куда-то угнали с большой группой пленных. Куда? Там в любых случаях никто и никогда ничего не объяснял, спросить было не у кого. Ходили слухи, что через финскую границу их погнали, в Норвегию... Прощаться с назначенными в транспорт не разрешали, остающимся запрещалось выходить из блоков. В нарушителей стреляли без предупреждения. Я нашел лишь возможность крикнуть Семену через решетку окна: «До свидания!» Он оглянулся и ответил: «Прощай, брат...» Так я видел его в последний раз... Когда в конце сорок четвертого советские войска прорвали фронт в Заполярье и подошли к Рованиеми, Семена там уже не было...

Когда он умолк, Анна Михайловна всхлипнула:

— Наташенька! Что выпало-то ему на судьбу! Что перенести довелось!

* * *

Ночевал Зубов в одинокой квартире Поликарпа Кружилина. Иван приглашал к себе, но Зубов сказал ему:

— Спасибо, Иван Силантьевич, я еще поживу, наверное, тут и у тебя побываю. А сегодня вот с Поликарпом Матвеевичем хочу поговорить.

Но в доме Кружилина никакого особого разговора у них не получилось. Зубов был хмур, утомлен своими рассказами о Семене. Видя это, Кружилин разобрал кровать, себе постелил на диване.

— Так и живете? — спросил Зубов, оглядывая простенькую комнату.

— Так и живу,— ответил он.— Местные старушки меня опекают. Кто приберет, кто сготовит. Анна Савельева часто заходит.

Уже лежа в кровати, Зубов усмехнулся:

— Удивительно, если вдуматься.

— Что удивительно?

— Вот вы меня, сына царского полковника, который гонялся за вашим партизанским отрядом, на кровать уложили, а сами, командир того отряда, на диване...

— Когда это все было-то? Сейчас вы мой гость.

Зубов помолчал и проговорил:

— Вы знаете, конечно, что этот Иван Савельев жизнь мне, тогда мальчишке, спас?

— Знаю. Он был в банде Кафтанова, Иван.

— А теперь председатель колхоза.

— Да, и неплохой. Уважаемый в районе человек.

Еще помолчал Зубов, думая о чем-то.

— Жизнь — это какая-то чудовищная бездна... Ну ладно, давайте спать.

На другое утро Зубов был так же задумчив и хмур. Они выпили чаю, который Кружилин вскипятил на электрической плитке. И, заканчивая завтрак, Зубов попросил:

— Вы не могли бы меня свозить на место последнего боя с отцом? Огневские ключи это место, кажется, зовется.

— Ну что ж, поехали...

По дороге, пошевеливая вожжами, Кружилин говорил:

— Там, если помните, была заимка местного богатея Кафтанова, потом атамана банды, которая присоединилась к вашему отцу, прибывшему со своим полком разгромить наш отряд. Мы укрылись в горах, дорогу туда нам показал отец Ивана, старик Савельев. Полковник Зубов распорядился его за это повесить... Когда мы выбрались из каменного мешка, в котором нас сторожили каратели, мы, прежде чем уйти в тайгу, решили напасть на заимку, где ваш отец отдыхал...

— Да, тут уж, как говорится, кто кого, борьба классов. Так мне популярно объяснял однажды на фронте ваш Яков Николаевич Алейников.

— Вы... и с ним встречались там?!

— Было однажды. Я вам все, что знаю о нем и о командире Кошкине, расскажу еще... А об Алейникове так ничего и не слышно до сих пор?

— Нет,— коротко сказал Кружилин.

— Жалко, если погиб... Да, я помню, как тогда бой начался. Нас разбудили выстрелы, дом, в котором мы спали, загорелся...

— Загорелся. И дотла сгорел. Долгое время на берегу озера лишь обгорелые головешки валялись. Головни долго не гниют. Панкрат Назаров, бывший тут председателем до Ивана Савельева, все хотел построить там новое здание и открыть в нем для колхозников дом отдыха. Но для этого не было возможностей, а потом война. Иван Савельев тоже хочет это сделать. Но возможностей особых и сейчас нет, пока поставили на берегу озера сруб только...

— А будут эти возможности? — спросил Зубов, обернувшись.

— Обязательно.

Больше они до самых Огневских ключей не разговаривали.

Когда приехали на место, Зубов молчаливо походил вдоль озера, обошел длинный сосновый сруб под шиферной крышей, присел на кучу бревен, лежащих возле стенки.

— Вы знаете, что я помню еще, Поликарп Матвеевич? Как отец погиб здесь.— Он показал на новый сруб.— Сперва отец с Алейниковым рубился, достал того по лицу концом шашки. Еще мгновение — и он бы зарубил Алейникова. Но в отца начал палить из нагана Федор Савельев, брат, как я потом узнал, Ивана. Отец упал, кажется, но стал подниматься. Тогда Федор тот подскочил и ударил его шашкой...

Кружилин выслушал это молча, ничего не сказав. Ветерок шевелил небольшую волну на озере, и оба они долго смотрели, как бегут и бегут невысокие водяные круглые валики.

— Мне жена Семена говорила, что Федор Савельев погиб на войне.

Кружилин внимательно поглядел на Зубова и произнес:

— Он не погиб, его Иван застрелил, брат его родной.

— Как?! — воскликнул Зубов, вставая.

— Федор этот у немцев служил.

— Ка-ак?! — опять произнес Зубов, снова осел на бревна. На этот раз он сидел долго, опустив голову. Кружилин постоял рядом, потом тоже сел.

Ветерок все гнал и гнал по озеру волны, с негромким плеском они разбивались о песчаный берег.

— Нет, жизнь — это бездна,— повторил Зубов вчерашнее.

Но он еще не знал, за что старая Акулина Тарасовна попала на каторгу, она не успела ему еще этого рассказать.

* * *

На обратном пути в Михайловку Зубов был так же молчалив, а Кружилин не тревожил его, понимая, что делать этого нельзя, что в эти минуты продолжается в нем работа, начавшаяся, видимо, давно.

Наконец сам Зубов произнес:

— Вы не поймете, Поликарп Матвеевич, что со мной творилось, когда в пересыльном лагере, уже советском, мне во всем поверили и сказали, что я свободен... К тому времени Финляндия вышла из войны, немцам было не до нас, они просто нас бросили. Охрана, эсэсовцы погрузились на машины и уехали. Так случилось — неожиданно и просто. Финны передали нас советским войскам. С каждым из нас, конечно, разбирались довольно долго потом.

— Я представляю. Мне сын рассказывал...

— Что?

— Он тоже был в плену. Всю войну.

— Вы шутите?

— Почему же? Вы сами говорите, что жизнь бездна.

День стоял веселый, теплый и несильный ветер качал ветви деревьев и кустарников, молодая листва, перекипая под солнцем, шумела древними, как сама земля, звуками.

— Это хорошо, что вам и моему сыну поверили. Но так, к сожалению, не всегда бывает,— произнес Кружилин, подумал о чем-то, горько усмехнулся.— Живет и здравствует, может быть, где-то чекист по фамилии Тищенко. В середине тридцатых меня судьба сводила с ним. И до сих пор, я как вспомню о нем, вздрагиваю. Этот бы вам с моим сыном никогда не поверил... А ведь, в сущности, человеку немного и надо — поверить ему.

— Да, Поликарп Матвеевич! А я рассказал им тоже все честно. Все! И кто я такой, и что за свои... художества был приговорен к высшей мере... Дело мое вел пожилой и усталый какой-то офицер, он спросил меня: «Ну, и зачем вам такая жизнь?» — «Да, говорю, не нужна такая, а другой мне не положено».— «Кем это не положено? — спрашивает офицер.— Кто это чужой жизнью распоряжается?» — «А вот такие, как вы»,— отвечаю. «Ну и дурак же ты, братец,— усмехнулся он.— Жизнью своей всегда распоряжается сам человек. Только сам. Истина эта, Зубов, самая простая, проще не бывает. Но, к сожалению, этой-то простейшей истины люди иногда не понимают».

— Простейшей...— повторил, как эхо, Кружилин.— За постижение людьми этой простейшей истины и ведет свою нелегкую и гигантскую работу партия коммунистов.

Зубов бросил взгляд на Кружилина, секунду-другую смотрел на него, медленно отвернулся.

Затем долго наблюдал, как проплывают мимо их ходка все так же искрящиеся солнечной листвой кустарники, слушал глухой перестук колес по мягкой, затравеневшей дороге.

— Мне еще предстоит рассказать матери Семена в подробностях, как мы жили с ним в немецких лагерях. Она это потребовала...

— Значит, ей это необходимо знать. Расскажи.

— Я удивлялся этому мальчишке, Поликарп Матвеевич... Откуда он брал физические и душевные силы?! Я прошел огни и воды и медные трубы, все испытал... В советских тюрьмах и лагерях не мед, конечно, что говорить. Но, боже мой, они мне показались санаториями по сравнению с фашистскими! И там даже я не выдержал было, хотел на проволоку под током броситься. И знаете, что мне Семен однажды сказал? «Слюнтяй ты,— усмехнулся он,— и размазня кислая... Ну и бросайся! А я, коли уж придется умирать, еще хоть одного фашиста как-нибудь изловчусь с собой утащить...»

— Вот об этом и расскажи Анне,— повторил Кружилин.

— Да, обязательно, — кивнул Зубов, задумался, уронил ни с того ни с сего печальную усмешку.— Долго я, дурак, мучился: а что такое родина, какая она может быть для меня? И только там, в фашистских лагерях, я понял это все. И Семен этот, и другие помогли мне в том... Понял я наконец, что такое русская земля и ее люди...

Кружилин помолчал и спросил:

— А где после освобождения-то жил?

— По разным городам... Работал, трудовая книжка у меня в порядке. И знаете, где работал? Я магазины до войны чистил ловко, по магазинной части меня и потянуло. Начал с грузчика, был потом и продавцом и даже заведовал секцией в одном гастрономе. Я женат, жена у меня добрая, славная, тоже из торговых работников. Сын у меня растет. В общем, все вроде бы хорошо. Но все что-то точило меня, точило... И все яснее я понимал — хочется мне сюда, в Сибирь, съездить, где отец погиб... Только не думайте, что сожалею я о нем. Алейников тогда, на фронте, хлестанул меня: памятью об отце изнываешь, не простишь за него, мол... Нет, Поликарп Матвеевич, не изнывал и тогда уже. А после войны — тем более. Тут что-то другое... Все до конца понять хочется...

— Хотите здесь остаться? — спросил Кружилин.— Я поговорю с директором Шантарского завода Хохловым, им, я слышал, работники в отдел рабочего снабжения нужны. Или в магазин, у них при заводе большой продовольственный магазин.

На это предложение Зубов никак не отозвался, опять наблюдал, как играют молодые листья облитых солнцем кустарников. Затем поднял голову, стал безотрывно глядеть на островерхие утесы Звенигоры, плывущие под облаками. Казалось, что облака стоят на месте, а каменные вершины, чуть-чуть не доставая их синеватых днищ, едва-едва их не распарывая, куда-то безостановочно двигаются и двигаются.

— А ведь верно,— неожиданно проговорил Зубов.— Именно за постижение людьми, каждым человеком этой вроде бы простой истины, простого вопроса — как и зачем жизнь свою прожить — и идет на земле такая борьба.

— Да, — отозвался Кружилин, мгновенно понявший, о чем говорит Зубов.— И поэтому дело, за которое мы боремся, бессмертно.

* * *

Василий Кружилин пробыл в «Красном партизане» до конца посевной. Работал на сеялке, подвозил семена, по вечерам беседовал с колхозниками о житье-бытье. Сперва разговоры шли вокруг общих тем, носили абстрактный характер. Говорили вроде обо всем и в то же время ни о чем. Василий понимал: сокровенное, наболевшее колхозники не спешили высказывать, приглядывались к нему. «Черт возьми, в этом мы, кажется, добились успехов,— с горечью думал он,— научили людей остерегаться всяких начальников, представителей из района. Как же так можно руководить?»

Но одного колхозника как-то прорвало.

— А вдруг да уродит нынче пшеница на этой полосе! — сказал Василий, кивая на массив, предназначенный было под кукурузу.— Тогда окажется, что секретарь райкома был прав.

— Да что ты нам этой пшеницей вашей тычешь? — зло заговорил приземистый, давно не бритый, пожилой, лет под шестьдесят уже, мужик по имени Аркадий Молчанов, которого все звали просто Аркашка Молчун. Звали его так не из-за фамилии, а потому, что он был тихий, незаметный, никогда не ввязывался в разговоры. Василий не помнил случая, чтобы Молчанов вставил хоть слово во время общих бесед. Он сидел себе где-нибудь в сторонке, одну за другой вертел толстые самокрутки такими же толстыми пальцами и пускал дым между колен. Иногда его что-то, видимо, заинтересовывало, задевало, он поднимал голову, с прищуром оглядывал разговаривавших. Потом скоблил пальцами заросшую крепкими волосами скулу, ухмылялся про себя и принимал прежнюю позу.

Тем более неожиданным показался его возглас. В широко поставленных глазах его, во всей коренастой фигуре, в голосе и особенно в этой «пышенице» в сочетании со словом «ваша» было что-то обиженно-злое, нехорошее. Василий слышал, что он когда-то несправедливо был посажен, и подумал, что вследствие этого, наверное, такой молчаливый и злой.

Возле полевого вагончика, где сидели колхозники, установилось безмолвие. И в этой тишине Молчанов еще дважды произнес:

— Чего тычешь? Чего тычешь?

— Я не тычу, Аркадий Михайлович, я просто говорю,— сказал Кружилин.

— Ты говоришь... Тогда и я скажу,— чуть помягче, но все равно со злостью продолжал Молчанов.— Вот все говорят: испортился колхозник, работать не хочет, этим, как его... собственником стал. Все на своем огороде торчит да за своей скотиной ходит. Будто, мол, колхоз не его. Ежели косит, скажем, колхозник сено для своей коровы, так пластается до полного выдоха, потом все до клочка подберет и увезет. А на общественных коров так себе робит, с перекуром. И потом — осталась где копна в кустах, черт с ней, не полезет, пусть пропадает. Не свое, мол. А зимой скот дохнет от бескормицы...

— Что ж, бывают ведь такие случаи,— проговорил Василий.— Не лазают.

— А кто виноват? Я, что ли? — хрипло спросил Молчанов.

Такого поворота в рассуждениях колхозника Кружилин никак не ожидал.

— Не понимаю...— начал было Василий, но Молчанов перебил его насмешливо:

— Где уж тебе!

— Зря ты так, Аркадий Михайлович.

— Ничего не зря. За этой копешкой и я, брат, лишний раз в неловкое-то место не полезу. И ты не полез бы, коль поробил бы с наше на дядю. А то — пышеница-пышеница...

— Как это понять — на дядю? И при чем все же здесь пшеница?

— А при том! Посеяли бы тут кукурузу — так это для себя. А пышеничку — для дяди. Да ежели она еще уродит. Вот и думай...

Молчанов встал и пошел. Понемногу, как-то безмолвно, разошлись и остальные. А Кружилин остался думать.

Таких вечеров и ночей для дум у него было более чем достаточно.

Несколько раз в колхозе появлялся Полипов. «Для дяди...» — каждый раз вспоминал слова Молчанова Кружилин. Встречаясь с уполномоченным, секретарь райкома хмурился, говорил почти всегда одно и то же:

— Плохо, плохо, Василий Поликарпович. Личный пример — это хорошо. А сроки уходят. Многие уже отсеялись, а вы... Нажимайте.

Однажды Полипов приехал раздраженным сильнее обычного.

— Почему ночные смены не во всех бригадах организованы? Во второй сеют круглосуточно, а в третьей почему ночами не работают? Что вы тут? Опять «сырые» настроения? Слышишь, Иван Силантьевич?

— Слышу,— ответил председатель колхоза.— Тут мы действительно того... закрутились. Организуем.

— Вот так. Учи вас. Значит, нынче же выделить ночных сеяльщиков. Кружилин, ты проконтролируй,— сказал на прощанье Полипов таким тоном, будто рядом не было председателя колхоза.

Василий же знал, что в третьей бригаде сеять можно далеко еще не везде. Большинство полей в этой бригаде находилось в низменных местах, земля там лежала еще сырая и холодная.

— Хорошо, проконтролирую,— пообещал Кружилин. Когда же Полипов уехал, сказал Савельеву: — Делай, Иван Силантьевич, как знаешь.

— А чего тут знать? Спелой земли в третьей бригаде почти нет, а во второй триста гектаров пересыхает. Половину техники из третьей во вторую надо перегонять.

— Вот и перегоняй.

Отсеялся «Красный партизан» позже других хозяйств района, но Василий Кружилин был доволен: все Иван Савельев сделал по-хозяйски, семена легли в теплую землю.

— А я думал, к июлю не закончите сев,— сказал Полипов, когда Кружилин появился в райкоме.

— Сводку подпортили? — как можно равнодушнее спросил Василий.

— Вон как! И ты туда же! — воскликнул Полипов.— Это модно сейчас стало — за сводки стыдить районных руководителей. А пора бы сообразить — не в сводках дело. В лучших агротехнических сроках. А вы с Савельевым... и с твоим отцом их упустили.

— Не думаю.

— Так думай, черт возьми! Пора уж привыкать к этому. Вот посмотришь — урожай у Савельева нынче будет с гулькин хрен.

— Посмотрим.

На том и расстались с Полиповым.

* * *

Урожай в «Красном партизане» выдался в самом деле в тот год незавидный. Но в других хозяйствах — и у тех, которые окончили сев раньше, и у тех, которые позже,— было совсем плохо.

«Действительно, надо беречь таких хозяев, как Савельев, а мы...» — в течение лета часто раздумывал Василий Кружилин, вспоминая слова своего отца.

— Куда уполномоченным на уборку поедешь? — спросил Полипов осенью у Василия.— К отцу и своему любимому Савельеву, конечно?

Кружилин хотел напомнить о том разговоре, который состоялся весной, хотел сказать, что все-таки именно Савельев посеял в лучшие агротехнические сроки, а потому и урожай в «Красном партизане» выше, чем у других. Но поглядел на секретаря райкома — и пожалел его. Полипов за летние месяцы осунулся, похудел, глаза ввалились. Шея и скулы его почернели от солнца, губы загрубели, заскорузли от степных ветров. Он целое лето мотался изо дня в день по полям района, не ходил даже в отпуск. Как будто все это могло каким-то чудодейственным образом повлиять на урожай в тот засушливый год.

Еще Кружилин хотел сказать, что уполномоченные, кажется, вообще не нужны в колхозах. Но представил, как на это среагирует Полипов: «Ты понимаешь, что говоришь?! Ты понимаешь, какой нынче год?!» — и произнес:

— Что ж, можно и в «Красный партизан».

В тот же день Василий выехал в колхоз.

В Михайловке давно научились собирать весь урожай, до зерна. И хоть урожай был не бог весть какой, Савельев одним из первых в районе выполнил план продажи хлеба государству, продал немного даже сверх плана и засыпал порядочное количество фуража.

О фураже председатель беспокоился, как говорят, неустанно и неусыпно. Он не раз заставлял перемолачивать то одну, то другую скирду соломы, перевеивать целые вороха мякины, в которых, по его расчетам, должно было остаться сколько-то зерна.

Из-под сортировок и прочих очистительных машин распорядился тщательно заметать отходы — и все в амбары, в амбары.

Василий понимал тревогу и беспокойство Савельева. В колхозе большое животноводство, а из-за засухи сенокосы вышли чахлыми, скудными. Хорошо уроди-

ла кукуруза, но ее было посеяно маловато. Только теперь Кружилину стало до конца понятно, что наделал Полипов, заставив весной засеять пшеницей подготовленный для кукурузы массив. И вообще, ему стало многое понятней после того, как он, считай, все лето провел в колхозе.

Уборка в районе подходила к концу.

Сумеречным и промозглым октябрьским днем Поликарп Кружилин, председатель Савельев и Василий сидели в конторе и подсчитывали, сколько зерна засыпано на фураж. И хотя потребности хозяйства далеко не были обеспечены, цифра получилась все же порядочная.

— Да, считаем.— И Савельев сбросил с конторских счетов костяшки.— А пересчитывать, чуется мне, опять будет Полипов. На сколько там районная сводка хлебозаготовок?

— На семьдесят процентов пока,— усмехнулся Поликарп Матвеевич.

— Во-во... зловещая для нас цифирь. Да неужели это никогда не кончится? Сколько же можно рубить сук, на котором сидим?

В последующие две недели Савельев пропадал в тайге, наблюдая за раскорчевкой. На это дело была брошена вся освободившаяся техника.

— Не приезжали из района? — каждый вечер спрашивал он, возвращаясь из тайги.

— Бог миловал,— отвечал Поликарп Матвеевич.

В воздухе холодало с каждым днем.

Но когда уже почти всем стало казаться, что из района никто не приедет, у конторы ранним утром остановился райкомовский газик.

— Та-ак...— Савельев тяжело присел на подоконник.— Как по нотам все идет...

Полипов зашел в кабинет, шумный, разгоряченный, будто бежал всю дорогу за собственной машиной.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, партизаны! — заговорил он весело.— Корчуете, значит, тайгу-матушку? Как же, читал, читал в нашей районке. Частенько, частенько о ваших геройствах газетка пишет. Вот что значит иметь редактора собственным корреспондентом. Так здравствуйте, что ли?

Василий и его отец поздоровались, а председатель вместо приветствия спросил, глядя в окно:

— За фуражом нашим приехал?

Полипов не спеша повернулся к нему.

— А ершистый же ты, брат. Люблю таких. Нет, не за фуражом. За тобой, Иван Силантьевич.

Савельев поднял вопросительно голову.

— Именно, Иван Силантьевич. Специально за тобой приехал. Давненько не был ты в районе.

— Особых дел не было, вот и не ездил.

— Да ты, вижу, все сердишься. Нехорошо... Ну, свои люди — сочтемся. Давай собирайся.

— Что там стряслось такое?

— Из обкома прибыл товарищ. Предупредил: возможно, подъедет сам секретарь. В двенадцать совещание. Собираем всех председателей.

— И всех председателей колхозов оповещает лично секретарь райкома? — подал голос Поликарп Кружилин.

Полипов, однако, улыбнулся.

— Да хватит шпынять меня, Поликарп Матвеевич. Прямо яд у тебя в голосе. Заехал, ну, не буду врать, не случайно. Я тут в соседнем колхозе ночку провел, надо было кое-что к совещанию посмотреть. Ну, думаю, заверну и в «Красный партизан», а то Савельев забыл дорогу в район, заблудится еще.

— Собирают по вопросам хлебозаготовок? — спросил Савельев.

Полипов на этот раз притушил свою улыбку.

— Откровенно говоря, по хлебозаготовкам. Положение серьезное, область недодала государству около двенадцати миллионов пудов хлеба. Это не шутки. Но тебе, Иван Силантьевич, беспокоиться нечего, ты сверх плана нынче много продал. Потрясем крепенько отстающих. Но быть ты должен. «Красный партизан» у области не на последнем счету. Поехали.

Василий опять заметил, что, говоря все это, Полипов как-то неловко бросал взгляд с предмета на предмет, избегая смотреть на председателя с парторгом.

Заметил это и Савельев.

— Все ясно,— вздохнул он, поднимаясь.— Парторга и уполномоченного с собой брать? Они ведь тоже все наши ресурсы назубок знают.

— Не надо.— Полипов сказал это и поглядел на Василия.

— Конечно! — не сдержался тот.— А то я опрометчиво выскажу свое мнение, не изучив сути дела, не поняв самой сердцевины.

Ни отец, ни Савельев не поняли, о чем говорит Василий. Зато Полипов понял. Он чуть склонил голову, будто раздумывая, что сказать, и произнес жестко:

— Именно этого и боюсь. Выскажешь — и долго жалеть потом будешь. А так еще спасибо мне потом скажешь. И ты, Поликарп Матвеевич, тоже.

* * *

Вернулся из района Иван Савельев на следующее утро, со злостью швырнул в угол плеть. Вызвал бригадиров, кладовщиков. Ни на кого не глядя, бросил:

— Поднимать всех шоферов. Грузить фуражное зерно.

Никто не тронулся с места, никто не проронил ни слова.

— Чего стоите?! — раздраженно закричал вдруг Савельев.— Слышали же! Все, до зерна, вывезти на заготпункт...

Первым молча вышел из конторы Поликарп Кружилин, парторг.

Потом Савельев и Василий стояли у окна, слушали, как ревут грузовики, выезжая с полными кузовами из деревни.

— А парторги и уполномоченные из других колхозов были на совещании? — спросил Василий.

— Хорошо еще, что семенное зерно удалось отстоять... Что? Парторги? Были. И кое-кто из так называемых уполномоченных. Но это к лучшему, что вы с Поликарпом Матвеевичем не были. Все равно бы не помогли ничем.

Так колхоз «Красный партизан», как, впрочем, и другие хозяйства Шантарского района, снова остался без фуража.

А после Ноябрьских праздников, когда наступили первые холода, Полипов опять взялся за Ивана Савельева и Поликарпа Кружилина, опять требовал с них три годовых плана по мясу. Прошлогодняя история повторялась в точности.

— Не можем мы дать этих трех планов,— уже устало отбивались Кружилин и Савельев, которых чуть не ежедневно вызывали то в райком, то в райисполком.— Понимаете, не можем. Нет у нас скота.

— Выбраковывайте всех малопродуктивных животных,— говорили им в районе.

— Уже выбраковали все, что можно. И даже сверх того.

Наконец Полипов прибег к самой крайности:

— Слушайте! Вы коммунисты или нет?! Вам нужны или не нужны партбилеты? Ты, Савельев, кажется, не так давно его и носишь?

— А вот тут не пугайте! — почти закричал Савельев.— На что намекаешь? Что когда-то в банде Кафтанова был? За то получил свое — отсидел... Сколько раз пугать этим можно? Он ведь, партбилет, красный, кровью омытый. В том числе и моей.— И он тряхнул своим протезом.

— Не к лицу вроде так-то, Петр Петрович, секретарю райкома,— спокойно проговорил Поликарп Кружилин.

Полипов и сам понял, что хватил лишку. Но, чтобы выпутаться как-то из положения и спасти свой авторитет, уронил, не глядя ни на Кружилина, ни на Савельева:

— Ладно. Соберем на той неделе бюро и поставим на этом точку. Прошу быть без опоздания. К двум часам. В пятницу. А пока за вашу антигосударственную практику в мясозаготовках... да, да, а вы как думали? Именно за антигосударственную... разделаем вас на весь район. Под орех!

Но когда Полипов дал такое задание Василию Кружилину, тот наотрез отказался:

— Не буду. Ни под орех, ни под дуб.

Разговор происходил по телефону, в трубке что-то булькнуло,— видимо, Полипов от неожиданности проглотил слюну.

— То есть как не будешь?! — прохрипело в трубке.— Из родственных соображений, что ли?

— Несправедливо это. Я уже раз бил Савельева статьей по голове. До сих пор этот номер газеты жжет мне руки. Но тогда я кое-что не понимал.

— Теперь, значит, понимаешь?

— Стараюсь, во всяком случае, понять.

— То-то, вижу, расшаркиваешься перед Савельевым этим.

Вскоре после разговора с отцом Василий напечатал большую статью о безупречной организации работ на вспашке паров в колхозе «Красный партизан». Отец при встрече сказал, улыбаясь: «Гляди-ка... А я был уверен, что тебе не хватит смелости извиниться перед Иваном... Прости, сынок». Сам Иван Савельев, как и после первой статьи, ничего не сказал, только крепче обычного пожал руку. И потом Василий время от времени помещал положительные статьи в газете о «Красном партизане». Это Полипову явно не нравилось, хотя секретарь райкома ничего о них не говорил и лишь минувшей осенью, приехав в «Красный партизан» за Савельевым, весело и будто дружески подковырнул: «Частенько, частенько о ваших геройствах газетка пишет». Было ясно, кому и с каким смыслом адресуются эти слова. И вот теперь снова: «Вижу, расшаркиваешься перед Савельевым». Что ж, все становится еще более ясным, отчетливым, определенным.

— Я не расшаркиваюсь, Петр Петрович,— как можно спокойнее проговорил Василий, хотя внутри у него все кипело.— Я просто знаю, что такой план не под силу «Красному партизану».

— Ну-ну, хорошо,— многозначительно произнес Полипов.— В следующую пятницу прошу и тебя быть на бюро. В два часа. Попробуем разъяснить тебе, что ты знаешь, а чего еще не знаешь...

...И вот наступила пятница.

Странное это было бюро.

Во-первых, Поликарпа Кружилина, Ивана Савельева и Василия около часа держали в коридоре перед кабинетом Полипова. Там, за дверями, первый секретарь райкома совещался о чем-то с членами бюро. Иногда сквозь обитую черным дерматином дверь доносились приглушенные голоса. И хоть слов разобрать было нельзя, все трое догадывались, что совещание протекает довольно бурно.

Во-вторых, когда Поликарпа Кружилина, Ивана Савельева и Василия пригласили в кабинет, им не дали сказать и слова. Просто Полипов встал и начал ровным, не предвещавшим ничего хорошего голосом:

— Мы тут посоветовались в бюро и решили: дебатов разводить не будем. Потому что бесполезно. Позиции и настроения руководителей колхоза «Красный партизан» мы отлично знаем. Поэтому просто подведем итоги. Каковы же они, эти итоги? Вот, пожалуйста... Чистые пары товарищ Савельев сокращать не захотел, в зерновом балансе страны он вроде не заинтересован. Нынешняя весенняя история, когда потребовалось мое личное вмешательство в размещение посевов пшеницы в колхозе «Красный партизан», всем известна. Как и в прошлом году, председатель колхоза и парторг встречают прямо в штыки пересмотренный районными организациями план продажи мяса государству. Кажется, пахнет определенной, так сказать, линией... А наша уважаемая районная газета и ее редактор товарищ Кружилин взяли эту порочную линию под защиту. Это тем более печально. Такие действия редактора можно квалифицировать как политическую несостоятельность...

Иван Савельев был все в той же старенькой гимнастерке, в которой Василий видел его в первый раз. И, как в тот раз, он лишь часто оглаживал усы.

Отец сидел не шевелясь, положив на колени свои большие руки, словно собирался фотографироваться.

— Мы тут долго говорили сейчас обо всем этом,— продолжал Полипов.— Членам бюро не хотелось бы думать, что это сознательная линия.— Помолчал и выразительно подчеркнул еще раз: — Не хотелось бы! Товарищи, видимо, просто заблуждаются, недооценивают важности наших задач... И товарищ Кружилин, наш молодой редактор, заблуждается. Мы не думаем, что он пошел на поводу у Савельева и своего отца, так сказать, из родственных побуждений, просто

многое еще недопонимает. И наш долг, долг старших товарищей, объяснить это ему, помочь понять ему свои ошибки...

Секретарь райкома говорил еще минут десять. Кончил тем, что всех, мол, надо бы строго наказать. Но поскольку у Савельева выговор уже есть, можно в отношении его ограничиться на этот раз строгим предупреждением, зато парторгу теперь уж записать выговор, и полновесный. И пусть оба хорошо подумают, чем все это может кончиться. А редактору, хотя он заслуживает строгого наказания, просто поставить на вид...

Кончив речь, Полипов тут же закрыл бюро.

— Так и не дашь мне ничего сказать? — спросил Поликарп Кружилин.— Не в свое оправдание, а просто еще раз хотел бы высказать членам бюро свое мнение о тебе...

— Мнение твое обо мне всем известно, Поликарп Матвеевич. И бюро уже закрыто. До свидания, а ты, Василий Поликарпович, останься. С тобой я хочу еще поговорить. Ну, что ты стоишь, Поликарп Матвеевич? Всё с тобой.

Кружилин, поглядев на сына, повернулся и вместе с другими вышел, сгорбив спину. Пока люди выходили, Полипов приводил в порядок бумаги на своем столе. Потом спросил как ни в чем не бывало у Василия:

— Как думаешь, не напрасно мы так мягко с Савельевым? Может, стоило ему еще один выговорок? Для симметрии?

— А ловко ты это моего отца при мне, его сыне,— усмехнулся Василий.— С ним, значит, все?

— Василий Поликарпович! Партийная работа не игра в бирюльки. Приходится иногда жестко поступать.

— Ну да, ну да,— оглядывая с каким-то любопытством Полипова, вяло произнес Василий.— Партийная работа... Выговорок для симметрии...

— Ничего, хватит ему одного. Теперь покладистее оба будут. Все равно скот зимой кормить будет нечем.

Василий все смотрел, смотрел на Полипова.

— Ты чего это? — не выдержал наконец тот.

— Ничего, Петр Петрович. Думаю вот, что отец-то мой, с которым «всё», был прав.

— В чем? — насторожился Полипов.

— Да он еще весной догадался, чем попахивает вся эта история с кукурузным полем.

— Чем попахивает? Какая еще история?

— Отец предсказывал, что, если будет трудно с кормами, ты будешь еще настойчивее трясти из них увеличенный план мясопоставок.

— Вот как! — Полипов усмехнулся.— Действительно, догадливый.— И прибавил холодно: — Еще что он тебе предсказывал?

— Кажется, больше ничего. Вот только однажды у меня разговор был любопытный с одним колхозником. Есть там, в «Красном партизане», такой неприметный мужичок Аркадий Молчанов. Он так рассуждает: на своем личном хозяйстве многие колхозники все силы кладут, а на общественных работах — так себе, с перекуром да дремотцой, по принципу: хоть пень колотить, лишь бы день проводить. «И я, говорит, иной раз так же норовлю».

— Лодырь он, этот твой мужичок.

— Во-во! Я ему примерно так и сказал. Он тогда мне прямо в лоб: «А кто виноват? Я, что ли?»

— Час от часу любопытнее становится,— скривил губы Полипов.— Значит, он лодырь, а кто-то виноват? И что ты ему ответил?

— Ничего не ответил. Не знал тогда, что и как ему можно ответить. А вот сейчас ответил бы: виноват ты, Петр Петрович. Виноваты такие, как ты...

Полипов как-то странно повел вбок головой, одновременно пожимая плечами. Потом сильно забарабанил пальцами по столу, но, словно опомнившись, прервал этот стук и опять переложил с места на место свои бумаги.

— А с тобой занятно говорить, Кружилин. Очень занятно и даже весело. Выходит, я виноват?

— Выходит,— подтвердил Василий.— Сколько их, таких мужичков, как Молчанов, наплодили по всей стране? И как?

— Ну-ну, любопытно! Как же мы их наплодили? Объясни, пожалуйста.

— Очень просто. Сколько можно колхозников бить по рукам? Р-раз — весь фураж выгребают, что ни осень, заставляют коров вырубать. Тебе слава: как же, умеет Полипов дело поставить, вон сколько зерна и мяса каждый год дает район государству. А этому Молчанову приходится дыры в колхозе латать... А оно доходу ему дает все меньше да меньше... Вот так год, другой, третий — и ему в самом деле ничего не остается, как пень колотить, чтобы приберечь силы для работы на собственном огородишке. Тебе подавай только славу, а что из-за твоей славы многие колхозы района начинают приходить в упадок, это тебе нипочем. Так государство и «богатеет».

— Все высказал? — спросил Полипов, когда Кружилин умолк.

— Можно и еще.

— Да нет уж, дорогой, хватит. Слушал я тебя терпеливо. Но хватит. Ну что же, много ты нагородил тут чепухи. Вот начнем хотя бы с государства, которое «богатеет»... Знаешь литературных классиков, хвалю. Ишь ведь как ты... с каким подтекстом. А оно, государство, какой бы подтекст у тебя ни был, действительно богатеет. Весь мир удивляется нашим экономическим успехам. Наши рабочие и колхозники, рядовые советские люди, совершают чудеса. Но что до этого таким идейно незрелым и... сомнительным людям, как твой Молчанов, который, кажется, в свое время сидел по политическому делу! Ему лишь бы опорочить наш образ жизни... Запомни, Кружилин, подобные разговоры о нас, коммунистах, ведутся уже полвека. Судят о нас и так и сяк... Особенно там, за рубежом. Но страшнее свои, доморощенные демагоги. Они заметили какой-нибудь отдельный недостаток в нашей работе — и пожалуйста, готов вывод: не умеем хозяйствовать, наплодили лодырей. Но нам-то с тобой надо не только недостатки видеть, надо понимать историю, видеть все перспективно...

— А вы... перспективно видите? — спросил Кружилин, невольно перейдя на «вы». Полипов откинулся на спинку стула.— Вы-то историю понимаете?

Тогда Полипов медленно начал подниматься из-за стола.

— Что-о?!

— Вы сами-то глубоко ли плаваете? Вы-то, Петр Петрович, идейно созрели, несмотря на ваш возраст?

В пальцах Полипова хрустнул карандаш. Этот негромкий звук как бы вернул Василия Кружилина к действительности. Он даже удивленно поглядел вокруг — нет, в кабинете они были одни.

— Мальчишка! — крикнул Полипов и швырнул в корзину для бумаг обломки карандаша.

Василий тяжело сел, а секретарь райкома прошел к окну и стал смотреть, как сыплется и сыплется на землю тяжелый, крупный снег.

Наконец он вернулся на свое место и сказал:

— Зрелый я или... ты волен иметь по сему поводу какое угодно мнение. А вот мне сейчас стало ясно: зря мы простили только что твое это... индивидуальное оппозиционерство.

— Чего-чего? — приподнял голову Кружилин.— Это что-то новое в марксистско-ленинской теории?

— Не паясничай! — повысил голос Полипов.— Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Ведь только слепой не видит, что твоя газета взяла Савельева под защиту.

— Это газета райкома партии...

— Но у райкома-то, кажется, несколько иное отношение к Савельеву в связи... с некоторыми важнейшими вопросами сельскохозяйственной политики. И практики.

— Я бы уточнил — у секретаря райкома. Ну, допустим, у райкома. А если отношение это неправильное?

— Что-о? — опять уперся было руками в стол Полипов, собираясь встать. Но не встал. Стул заскрипел под ним, грозя развалиться.— Во-он как! И что же ты намереваешься делать? Вербовать себе сторонников? Давай вербуй. Выступай в открытую против линии райкома. И вообще против линии...

Сказать «против линии партии» Полипов все же не осмелился.

— Что буду делать, пока не знаю. Но можешь быть уверен, Петр Петрович, молчать не буду.

Василий Кружилин, сын старого большевика Поликарпа Матвеевича Кружилина, встал, усмехнулся.

— И еще можешь быть уверен в одном: опрометчиво, до тех пор, пока не изучу сути дела, самой его сердцевины, высказываться не стану. Только уж наверняка. Я помню твой дружеский совет. Спасибо за него.

— Так-с,— ледяным голосом произнес Полипов.— А рога не сломаешь?

— Это что, угроза?

— Ну, зачем же! Еще один дружеский совет.

— Как сказал еще один классик литературы: за два совета я вам благодарен вдвое.

— Хорошо, ступай...

Когда Василий был уже у дверей, Полипов будто с сожалением произнес:

— Эх, Кружилин, Кружилин! А я-то хотел спросить сегодня, как ты насчет того, чтобы нынче в члены бюро райкома тебя... Что ж, думал, предупредим на сегодняшнем бюро обо всех его завихрениях, посмотрим, как он отнесется к нашим дружеским советам, да и...

— Теперь, выходит, не спросишь?

— Не знаю, не знаю...— протянул Полипов и, словно в недоумении, развел руками.

* * *

«Сломал рога» Василий Кружилин очень просто. К весне его вызвали в сектор печати обкома партии и предложили редактировать газету другого, более крупного района. Он сразу понял, в чем тут дело.

— Это что, повышение или как? — спросил Кружилин.— Полиповская протекция?

— Будем надеяться, что такой протекции из нового района вам не будет,— ответили ему.— Секретарь райкома там парень молодой, но толковый. Сейчас обком повсюду укрепляет районные партийные кадры.

— А может, на учебу разрешили бы мне, а? Ведь годы уходят... Когда-то мечтал поступить в автодорожный институт. Потом — на факультет журналистики. А сейчас появилось желание — сельскохозяйственный.

— Жалко вас отпускать,— откровенно сказали ему.— Хороших газетчиков у нас не хватает. Но в сельскохозяйственном ведь заочное отделение есть...

3

Жизнь человеческая как недолговечный костер. Вспыхнет он, отгорит, отполыхает, освещая вокруг себя большой или малый кусочек вечного и беспредельного пространства, рано или поздно огонь обессилеет, увянет окончательно, дрова превратятся в золу. Потом и прах этот развеется по земле, зарастет кострище травой, и эту траву будет волновать тот же ветер, который раздувал когда-то огонь...

Еще четыре раза падал на землю снег, засыпал летние холодные кострища и четыре раза по весне таял, оставляя после себя по косогорам, по степным увалам сибирские подснежники, самые ранние цветы. Белые, синие, желтые, как цыплята, и так же, как цыплята, покрытые шелковым пушком, бесхитростные цветы эти ослепительно горели под весенним солнцем, и, если их было в одном месте много, казалось всегда, что снег там еще не стаял.

Димка, Дмитрий Савельев, любил эти цветы. Но он любил не рвать их, а просто смотреть, как они растут, качаясь на холодном еще ветру, как проживают недолгий свой век, изо дня в день поворачивая вслед за солнцем свой венчик из пяти широких лепестков. И всю весну с палкой в руках, в крепких крестьянских сапогах он ходил по степи, по увалам и косогорам, иногда садился где-нибудь на припеке, курил, размышляя о чем-то, поглядывая на молчаливые скалы Звенп-

горы, на угрюмо еще чернеющую кромку тайги. В тайгу эту, хотя и там расцветали подснежники, он не ходил. Там они были не степные, а лесные. И, кроме того, ему нужен был, видимо, только простор.

Он приехал в Михайловку из Москвы еще зимой, когда лежали метровые снега.

— Поживу я у тебя, мама, немного. А может, и до осени.

— Да насовсем оставайся! — взмолилась Анна.— И председатель колхоза Поликарп Кружилин вон говорит: «Пусть остается. Дом вам поставим. Пусть живет и ничего не делает, только стихи свои пишет».

— Нет, совсем я не могу... А бывший председатель, мой дядя Иван, где сейчас?

— Да он теперь директором совхоза «Степной».

Дмитрию уже шел тридцать четвертый, он был еще не женат.

Когда он пожил несколько дней, мать осторожно спросила, вздохнув:

— Все по ней, по Ганке этой, маешься?

— Все по ней, по Галине,— ответил он.

— Да сколько ж можно, сынок? Она тебе даже не пишет. Вон девчат каких сколько наросло...

— Это для других, мама. А мне она нужна. И она вернется,— сказал он уверенно.

Анна лишь вздохнула еще раз.

Да, Ганка-Галина не писала давно, много-много лет. Они расстались еще весной сорок четвертого, вскоре после того, как освободили от немцев Винницу. Весенний день тот был солнечным, так же, как нынче, цвели подснежники, и Громотуха, на берегу которой они прощались, была вся, до самого горизонта, в цветочных бликах.

Там они и поцеловались — в первый и последний раз.

— Дим,— сказала она ему потом, смущенная,— а второй раз ты меня поцелуешь, когда к нам на Украину приедешь.

— Это когда... сад зацветет?

— Когда сад,— кивнула она.— А может, раньше... Это как получится. А пока переписываться будем. Часто-часто...

«Часто-часто» они переписывались не один год, а потом, когда Дмитрий заканчивал уже Томский университет, а она — Харьковский и когда выросли и расцвели, наверное, уже те сады, которые Ганка обещала насадить, письма от нее стали приходить реже, а потом и вовсе перестали. Он слал ей свои, а она молчала, он тратил всю стипендию на телеграммы, а в ответ ни звука. И наконец она откликнулась: «Дима, Дима, прокляни меня, если сможешь... Я встретила одного парня...»

Письмо было длинное, со слезами, с бесконечным и жестоким самобичеванием. Но все это можно было бы и не писать, главное было сказано всего в четырех словах.

И слова эти чуть не стоили ему диплома, но он взял себя в руки, послал ей недлинную телеграмму: «А для меня в мире другой все-таки не будет» — и с удвоенной силой принялся за подготовку к государственным экзаменам.

Телеграмм он ей больше не слал, а писал, не часто и не редко, письма. Такие вот:

Мне кажется,
Что свет сошелся клином,
Что нет других,
Что в мире ты одна.
Не потому ли
В крике журавлином
Мне слышится
Не осень, а весна?
Но всюду осень...
Каждый легкий шорох
Листвы —
Ее роняет клен —
Стал для меня неимоверно дорог,
Наверно,
Потому, что я влюблен.
Наверно, потому

И легкий ветер,
И золотого утра седина
Мне говорят,
Что ты одна на свете,
Моя неуходящая весна.

Письма эти он слал без подписи, но она знала, от кого они. Обратно они не возвращались, значит, она их получала. Получала, но не отвечала. А он снова ей писал:

Петушиный крик все тише,
Бабье лето позади.
Третий день стучат по крыше
Равнодушные дожди.
Третий день по всем дорогам
Не спеша ручьи бегут.
Третий день пастух не трогал
Звонкий рог и хлесткий кнут.
Третий день в избе-читальне
Книги, игры — нарасхват.
Третий день путем недальним
Едет киноаппарат.
В небе пасмурном, бездонном
Ветер носится, трубя.
Жду напрасно почтальона —
Нету писем от тебя.

Окольными путями Дмитрий узнал, что она вышла замуж и после окончания университета стала работать учительницей в Виннице, в одной из средних школ. И он начал писать ей туда, в школу:

По тебе тоскует все на свете:
Молодой черемуховый ветер,
Птицы,
Солнце,
Травы,
Зеленя.
Как ты там без них
И без меня?

Приходи в цветенье разнотравий,
В мир,
Что без тебя осиротел.
Радоваться жизни я не вправе,
Как того бы искренне хотел.

Без тебя —
В душе тоска без края:
В поле коростели не кричат,
Рыба на озерах не играет,
Соловьи беспомощно молчат.
Приходи!
И солнце наших весен
От чужого глаза сбереги.
Я, как лодка,
Что стоит без весел
У чужого берега реки.

Писем таких за последние десять—двенадцать лет он написал ей великое множество. Они не возвращались обратно, и ни разу ничем она не дала ему знать, что получать их ей неприятно, чтобы он со своими стихами оставил ее в покое.

Его постоянно обуревало желание поехать в эту Винницу, которая была, как ему казалось, где-то невообразимо далеко, за семью морями, поглядеть на Ганку хотя бы издали, самому оставаясь незамеченным. И однажды от такого искушения не устоял, поехал втайне от всех и будто даже от самого себя.

Он разыскал школу, где она работала, выбрал в школьном скверике, в самом его углу, скамейку, откуда была видна входная дверь. Держа наготове газету, чтобы в случае чего ею закрыться, стал ждать конца уроков и ее выхода.

Она вышла в компании трех или четырех молодых женщин, видимо тоже учительниц, и он, забыв про свою газету, словно прикипел к скамейке, недвижимый.

Это была она, Ганка, и не она! Она стала взрослее и... еще красивее. Он издали увидел ее глаза, глубине и таинственности которых всегда поражался, и почувствовал, как сердце его лопается от боли...

Ганка о чем-то перемолвилась с женщинами, рассмеялась и пошла. А Дмитрий все сидел и сидел на скамейке, не ощущая времени, не понимая уже, где и зачем сидит. Перед ним стояла ее улыбка, он видел блеск ее глаз, в ушах звучал ее смех...

В Москву он возвращался полностью опустошенный и словно чем-то пристыженный. И больше своему мучительному искушению никогда не поддавался.

Нынче он приехал в Михайловку, когда лежали еще глубокие снега, теперь они стаяли, цвела земля подснежниками, обливало ее щедро весеннее солнце, и по-весеннему весело и заполошно кричали птицы — одни вили уже свои гнезда, другие собирались *их* устраивать,— а на душе у Дмитрия, как всегда в такие дни, было грустновато и пусто. Но ему хорошо работалось, в пустой будто бы душе рождались мысли, слова и строчки, они превращались в стихотворения, которые, он знал, будут лучшими в его будущей книге.

Днями он бродил по полям, разговаривал с председателем колхоза семидесятидвухлетним Кружилиным, который на память знал чуть ли не все его стихи, с безногим бухгалтером Инютиным, с колхозниками. Дмитрий знал здесь всех, и его все знали. А ночами писал, писал, спать ложился только под утро...

* * *

Анна Михайловна Савельева вот уже много лет изумлялась тому, что получилось из среднего сына. Поэт, стихи пишет, песни всякие, их вон даже по радио иногда поют,— да с чего это?! Откуда это у него?! И где он слова-то отыскивает такие? Ну, обыкновенные вроде слова, а так уложены в строчки, что хватает за душу.

Особенно нравилась ей вот эта его песня:

Тихо яблоня цвела
Над дорогою.
Я под солнышком росла
Недотрогою.
Мимо плыли журавли,
Журавли мои.
И ребята мимо шли
Нелюбимые.

Но любовь моя жила
Где-то около.
Я любимого ждала
Синеокого.
Я ждала в своем саду
Чудо-радугу,
Что окрасит высоту,
Да ненадолго.

Может, счастье ждет меня,
Все надеюсь я.
Ах ты, долюшка моя,
Доля девичья!
Ты у всех у нас одна,
Доля вечная,
Что, как платье, нам дана,
Подвенечное.

Анна плакала, когда слушала по радио эту песню, и думала, что он, Димка, написал все это о ней, о ее нескладной и горемычной судьбе. Нет, он никогда не расспрашивал никаких подробностей о ее жизни, о ее далеких-далеких теперь отношениях с Федором, с Иваном. «Но ведь написал, написал, что моя любовь жила около, я любимого синеокого всегда ждала. Это же он, Иван... Глаза у него не синие, а серые, но это он. И ждала... Сама о том не думала, а было так. Но пришел другой, все растоптал, раздавил своими безжалостными сапожищами всю молодость и всю жизнь, которая снова уж не начнется, не повторится. Вот какая до-

люшка моя... О том и предупреждал когда-то давным-давно этот... изверг (отца своего Анна даже в мыслях никогда не могла назвать отцом). Установят, мол, предупреждал он, эту новую жизнь, которую ты человеческой называешь, за которую ты со своими партизанами бьешься, а тебя в эту жизнь и не пустят, рано или поздно припомнят, чья ты дочь...»

Но эти горькие раздумья были обычно недолгими. Никто и никогда не припоминал, думала она потом, чья она дочь. Жизнь была тяжкая и не сладкая, это верно, да не потому, что она дочь бывшего богатея Кафтанова, а потому, что встретилось на пути это исчадие ада — Федор. Из одного гнезда, а разные птенцы. Коршуном оказался. А ей орлом представлялся. Господи, какие девки в молодости глупые все! Но как ни тяжкой судьба ее оказалась, а ведь не выбросил ее никто из этой новой жизни, даже Федором никто не попрекает. Нет, и жизнь она прожила не напрасно и не бесплодно, и сыновей вырастила, каких надо. Старший, Семен, дрался с фашистами без страха, медалью и орденом Ленина награжден, награды эти переслали Наталье, жене его. Погиб Семушка где-то, сложил голову за землю свою. Он сложил, а младший, Андрей,— офицер Советской Армии, уже старший лейтенант, теперь стоит на ее защите. А сын средний, Дмитрий, рассказывает людям, какая она красивая и привольная, земля эта, за которую пали где-то Семен и многие-многие тысячи таких, как он, молодых и веселых, вошедших бы сейчас в самую силу, нарожавших детей.

Да ведь она, Анна, счастливая, счастливая!

И она брала книжки сына, которых накопилось у нее уже с полдюжины, перелистывала их, останавливала свой взгляд на строчках и четверостишиях, особенно ее чем-то поразивших.

Анна знала, что среднему ее сыну живется не так-то уж и легко там, в Москве, что в газетах и журналах его частенько поругивают за какую-то однозначность, монотонность, патриархальщину в его стихах, за серость и какой-то «квасной патриотизм». Где эта серость и однозначность, она не понимала, почему добрые, идущие от самого сердца слова сына о родной земле называют «квасным патриотизмом», уразуметь не могла. «Стихи — дело не простое,— думала с грустью иногда она.— Может, я в них ничего и не понимаю, а пишут про Димку, про то, что он сочиняет, люди умные, им виднее...»

Об этом самом «квасном патриотизме» очень сердито писали в одной газете, когда Дмитрий напечатал такое стихотворение:

Какой неведомый покой
Мне душу опечалит
И в край неведомо какой
Печаль моя отчалит?

И вновь я обрету
До слез
Родную с детства волю
У желтой заводи берез,
Что задремала в поле.

Печаль последнего шмеля,
Прощальный крик гусиный
Всем существом поймет земля,
В печали обессилев.

Меня,
Частицу той земли,
Что Русью величают,
Легко заденут журавли
Крылом своей печали.

И я, как в позабытый сон,
Стремясь поспеть за клином,
Легко уйду за горизонт,
Что журавли раздвинут.

Мне будет грустно и легко,
Песчинки слов роняя,
Лететь куда-то далеко,
На вожака равняясь.

Но вдруг пойму я,
Неспроста
Под сердцем боль почуя,
Что бесконечна высота
И даль,
Куда лечу я.
Что я могу
Родную речь
Забыть, усвоив птичью,
Могу без визы пересечь
Любое пограничье.

Куда я — там?
Зачем я — там?
Без Родины — куда я?
Все ниже, ниже
Высота,
Все выше, выше
Стая.

И вот земля,
Моя земля,
Родная,
Под ногами.
Шумят осины, шевеля
Костров осенних пламя.

И я гляжу в родную даль
Легко
И виновато...
И больше не зовет печаль
За горизонт покатый.

— Чего же хочет этот критик? — спросил Кружилин, придя к ним с газетой, где была напечатана ругательная статья.— Ведь так можно всякий талант убить.

— Ну, положим...— возразил Дмитрий.— Настоящий талант никогда и никому еще убить не удавалось. Можно убить поэта, но талант его — никогда.

Кружилин долгое время молчал, перечитывал какие-то строчки из статьи, снова молчал.

— Да...— шевельнулся он наконец, кивнул на газету: — Такие вот критики, видимо, много тебе неприятностей доставляют.

— Бывает,— согласился Дмитрий с усмешкой.— Но я к занятиям таких критиков отношусь равнодушно, Поликарп Матвеевич. Еще Маркс говорил, что только из спокойствия могут возникнуть великие и прекрасные дела, оно — та почва, на которой только и произрастают зрелые плоды.

— Зрелые? — поднял голову Кружилин.

Дмитрий усмехнулся.

— Мои стихи, может, и несовершенны, я не спорю. Но они честные, в них есть настоящая, истинная художественная искорка. Недавно я прочитал у французского композитора Берлиоза слова, которые меня поразили. Истинный художник, говорил Берлиоз, не должен рассчитывать на скорое признание, потому что слишком много вокруг него удобных для славы посредственностей... Увы, Поликарп Матвеевич, что-то подобное нередко происходит и у нас, в нашей литературе. И здесь подобные критики делают свое дело.

— Вот оно как! — невольно вырвалось у Кружилина.

— Да чему вы удивляетесь?! Вы лучше меня знаете, что борьба идет и будет всегда идти во всех сферах человеческого бытия. Поскольку жизнь, как совершенно точно определяет марксистско-ленинская наука, есть единство и борьба противоположностей.

В середине апреля, как обычно, вскрылась Громотуха, и Дмитрий весь день смотрел на ледоход, на освободившиеся от ледяных оков могучие воды, которые легко и свободно несли на себе большие обломки крепкого зимнего панциря, уносили их вдаль, за Звенигору. Вернулся поздно, поужинал.

— Ты ложись, мама, а я поработаю немного,— сказал Дмитрий как всегда.

Она легла, а он всю ночь сидел на кухоньке, писал, шелестел исписанными листами, часто рвал их и бросал под стол. Утром Анна всегда выгребала их оттуда.

Выгребла она их и на рассвете шестнадцатого апреля, когда запылала весело печь, бережно взяла с кухонного стола один из двух листков, исписанных мелким почерком сына, стала их рассматривать. За ночь он написал целых два стихотворения.

Одним из них было очередное письмо к Галине. Дмитрий писал в нем:

Ты знаешь, дорогвя,
Каждый вечер,
Пока еще не выпала роса,
Мне солнце опускается на плечи
И в путь зовет —
За дальние леса.
Я знаю,
Что за дальними лесами,
За синими морями, далеко,
Есть женщины с нездешними глазами,
Но мне
С тобою рядом быть легко.
Известно мне,
Что за морями где-то
Есть в райских кущах чудо-города,
В них много блеска и чужого светв,
Но я туда не рвался никогда.
Моя душа — в душе березы белой,
Ее заморским светом не согреть.
И память,
Что Россией звболела,
Не вытравить из сердца, не стереть,
Я болен этой памятью навеки.
А солнцу что!
Ему-то все равно,
Чьи океаны,
Чьи моря и реки...
Великое, оно на всех одно...
Что значу я
В сравнении с великим
Светилом всех народов и веков,
Когда мне дорог запах повилики,
И дым костра,
И тени от стогов,
Когда молчат покинуто березы,
Как будто слыша стуки топора.
В такие ночи вызревают грозы.
Ты спи, родная, спвть давно пора...
А я не сплю,
А я бреду бессонно
По некогда исхоженной тропе
На грани тени и на грани солнца,
Принадлежа России
И тебе.

Прочитав это, Анна смахнула слезу и подумала не о той маленькой Ганке, которая появилась в их доме в первые месяцы войны, и не о той, которая уехала с матерью, Марьей Фирсовной, перед самой победой, а о какой-то незнакомой, злой и бессердечной женщине, которая так мучает ее сына. Та, Ганка, не смогла бы выдержать, у нее было доброе сердце, она приехала бы давно. А эта... Ну, и эта приедет! — вдруг что-то переместилось, изменилось в Анне. Он, Димка, правильно говорит — она приедет, не сможет она ни с кем жить, кроме ее сына, бросит того, своего...

Она думала об этом без всякой жалости к тому, с кем жила Галина, бывшая Ганка, думала даже с ненавистью, и ей в голову не приходила даже мысль, хорошо или плохо, что она так думает. Она была мать, и в данную минуту для нее ничего на свете не существовало, кроме счастья и покоя ее сына.

Другое стихотворение, написанное Дмитрием за прошедшую ночь, ее потрясло:

Представь себе:
Отныне солнца нет.
Застыли родники, пожухли травы,
А ты — живешь
И не имеешь прввa

Поверить,
Что отныне солнца нет.

Не веришь ты,
Но видишь —
Солнца нет.
Как страшно знать,
Что нет на этом свете
И той звезды,
Что в горький час осветит
Твою дорогу радостей и бед.

Да, солнца нет!
Темно в твоих очах.
И сердце начинает гулко биться,
И, ветром опахнув,
Ночная птица
Скользит неслышно около плеча.

Ни молнии. Ни радуги. Ни зги.
Лишь вороны с проворным криком вьются,
Да суетно
Во мраке раздаются
Недобрых дел жестокие шаги.

Вся грязь и ложь повылезли наверх.
Над вечной правдой вызрела неправда.
Ты спрашиваешь:
— Что же будет завтра? —
И слышишь той неправды жуткий смех.

Ты убедился
В том, что солнца нет?
Но есть надежда,
Убедившись в этом,
Вернуть земле хотя б частицу света,
Что дал тебе когда-то солнца свет.

Ну, где она?
Похоже, растерял.
Растратил свет
Еще при свете солнца.
И там, где было яркое оконце,
Зияет черной пустоты провал.

Но все ли растеряли искры свет,
Что сердцем,
Словно кремнем, высекают?
Не все!
Ты видишь — искры возникают,
Им нет числа,
Как и названья нет.

Фантазия...
Но ты, мой друг, пойми,
Что солнце
Лишь до той поры пребудет,

Покамест на земле
Он дорог людям —
Тот свет,
Который сделал их людьми.

И ты огонь души своей не тронь
До той поры,
Пока не пригодится...

И возникают
Предо мною лица
Людей,
Что не растратили огонь.

Анна долго сидела, оглушенная, уронив на колени руки с зажатым в них листком, исписанным мелким почерком сына. Мысль этого стихотворения она поня-

ла сразу, сидела и думала, чью жизнь имел в виду сын, когда писал все это,— свою, ее, Поликарпа Кружилина, дяди своего Ивана, отца своего, о котором никогда не говорил, который был вычеркнут из памяти раз и навсегда, словно бы его и не было, не существовало никогда? Каждая строчка стихотворения, когда она его читала, рождала в ее сознании те или иные яркие картины из прошлого, что она переживала сама, чему была свидетелем... Или он имел в виду жизнь сразу всех, кого знал, с кем приходилось и приходится жить на этой земле? Наверное, так. Конечно, так это! Как уж там у других было, она, Анна, не знает, но для нее и представлять нечего, солнца для нее часто не было. «Как страшно знать, что нет на этом свете и той звезды, что в горький час осветит твою дорогу радостей и бед...» И в глазах темно бывало, и недобрые шаги во мраке она слышала, и нередко она думала, что над правдой взяла верх неправда... И сын, ее Димка, который спит сейчас безмятежно и крепко, все это знает. Но он знает и другое — каждое доброе сердце искру высекает, а таким добрым людям числа нет. Это опять же и сам Димка, и покойный Панкрат Назаров, и Кружилин, и Семен, ее сын, и его брат, и его дядя Иван... И сколько, сколько еще живых и мертвых, которые когда-то жили и высекали для других искры света. Какой бы жуткий смех неправды ни раздавался на земле, он захлебывался рано или поздно в бессильной злобе своей, потому что нет числа тем людям, которые огонь в душе не растратили, не растеряли...

Так сидела Анна и думала, пока не стукнул кто-то в окошко. Она обернулась, в рассветном полумраке различила колхозную почтальоншу.

— Письмо тебе от сына, из Ленинграда,— сказала та, через открытую форточку передала конверт.

Письмо поначалу было обычным — Андрей сообщал о домашних делах, что сын и дочь, которыми он обзавелся к тридцати годам, здоровы, что служба идет у него нормально. А затем шли строчки, которые заставили Анну вскрикнуть:

— Дима, сынок! Проснись!

«Мама,— писал Андрей,— по-моему, мы с женой напали на след нашего Семена. Рая лечила одного норвежского туриста по имени Сигвард Эстенген, который приехал к нам в Ленинград из норвежского города Бреннёсунн и у него случился приступ острого аппендицита. Рая делала ему операцию и спросила, отчего у него все тело в рубцах? Это, говорит, от немецких плетей. Оказалось, что он сидел в концлагере возле финского города Рованиеми. А там, как рассказывал вам всем и мне в прошлом году, когда я приезжал к вам, Петр Викентьевич Зубов, сидел же наш Семен! Когда норвежец выздоровел, мы пригласили его к себе домой, показали фотографию Семена. Да, говорит, вроде бы он похож на одного человека, который был в этом лагере Рованиеми и которого вместе с Эстенгеном немцы угнали в сорок четвертом году в Норвегию, но точно утверждать не может, потому что лет-то сколько прошло, да и вид лагерников был понятно какой. Потом этот человек, по рассказам Эстенгена, организовал побег заключенных, участвовал в движении норвежского Сопротивления, был в каком-то небольшом партизанском отряде. Вот как, мама, и в Норвегии были партизаны! Но звали его, как говорит Эстенген, не Семен, а «русский Савелий». Он, к сожалению, погиб, близ города Бреннёсунн есть его могила. Мама, мне почему-то кажется, что это наш Семен, наш Семка! Норвежцы могли его и так звать. Что я предлагаю, мама? В июне у меня будет отпуск. Давайте поедем в Норвегию! Ты, я, жена Семена Наташа, Димка. Эстенген говорит, что жив еще один человек из норвежского партизанского отряда, в котором был «русский Савелий». Мы разыщем их, поговорим с ними. Надо захватить с собой все фотографии Семена, какие у всех у нас есть, ту газетную вырезку с его портретом... Где сейчас Димка, в Москве или там у вас? По весне он всегда ведь в Михайловку приезжает. Обговорите там все и сообщите мне, я постараюсь быстро оформить поездку в Норвегию на четырех человек, мне помогут в этом. Рая в связи с какими-то очень ответственными операциями с нами поехать не сможет, к сожалению, но на обратном пути мы ее захватим и махнем все вместе в нашу Михайловку, в гости к тебе, мама... Жду от тебя сообщения по этому вопросу. Если это наш Семен, будем хоть знать, где его могила...»

— Димушка, сынок! — сорвалась с места Анна, на ходу вытерла опять проступившие слезы.— Да проснись, проснись, вставай же!

* * *

Семен или не Семен лежит под строгим невысоким обелиском, стоящим у подножия отлогого плоскогорья близ города Бреннёсунн?

На темно-сером гладком камне строгими буквами было лишь высечено: «Russeren Saveli»[1]. И чуть пониже еще одна строчка: «Norge takker deg» [2].

Андрей Савельев, не очень высокий, широкоплечий, в гражданской одежде разительно похожий на Семена, Дмитрий, Наташа, Анна и норвежец Эстенген долго стояли перед этим камнем, все молчаливые и угрюмые. Отсюда видно было море и остров Ульвинген — длинный, черный, совершенно почти голый, на острове различались коробки небольших домиков, тоже черных, с красными двускатными крышами.

С моря дул влажный и теплый ветер, овевал этот невысокий обелиск, шевелил жесткую ярко-зеленую траву под ним и пестревшие в ней крохотные цветы, похожие на ромашки. Цветы эти никто не сажал, они выросли сами, и траву никто не сеял, не было никакого могильного холмика, просто стоял на земле камень — и все, и за ним вздымалось к низкому северному небу длинное плоскогорье, поросшее такой же травой. Анна смотрела на этот камень сухими глазами, в плотно сжатых губах ее была немая старческая тоска. Наташа держала ее под руку — то ли поддерживая на всякий случай Анну Михайловну, то ли опираясь на нее. Она постарела, Наташа, как-никак, а годы подходили к сорока, но сейчас на щеках от волнения ярко горел румянец, глаза блестели, она помолодела будто за недолгую дорогу от Ленинграда до Норвегии наполовину и теперь останется такой уж навсегда. И лишь плечи, хотя и не обмякшие еще по-старушечьи, как у Анны, словно говорили — нет, не останется. Ее плечи постоянно были под невидимым грузом, в эти минуты груз стал еще тяжелее.

— Таких могил в Норвегии много, они разбросаны по всей нашей стране,— негромко проговорил Эстенген. Это был улыбчивый и добрый человек лет под шестьдесят, ходивший с костылем, он хорошо говорил по-русски.— Есть у нас люди, которые хотели бы могилы советских людей уничтожить... чтобы их не было. Норвежский народ этого не позволит. Эти могилы должны нашим детям напоминать о совместной борьбе с фашизмом.

К могиле «русского Савелия» они отправились в тот же час, как сошли в Бреннёсунне с парохода, где их встретил Эстенген. А вечером сидели в его небольшом домике, сложенном из тесаного камня, жена Эстенгена с непривычным и красивым именем Ингрид поставила на стол большое блюдо с рыбой, тарелку с коричневатым козьим сыром, который был сладким на вкус, масло, тоненько нарезала белую булку, налила всем в крохотные чашечки кофе, а сам Эстенген между тем рассказывал:

— С вашим сыном, Анна Михайловна, я познакомился еще в Рованиеми, на заготовке торфа...

— Вы уверены, что это он, Семен? — в который раз уже спрашивала Анна.— Посмотрите еще!

И в который раз старый норвежец брал из ее рук фотографии Семена, долго и внимательно рассматривал. Их было не много, фотографий. На них он был еще мальчишкой, лишь две небольшие фотокарточки были сделаны в сорок втором году. Один раз он сфотографировался для каких-то военкоматских документов, Анна перед отъездом выпросила в Шантарском военкомате эту крохотную фотографию, в Ленинграде уже сделала с нее увеличенную копию. А другой — перед отъездом на фронт, вместе с Наташей. Будто зная, что расстаются они навсегда, она уговорила тогда его сняться на память. На этой карточке Семен был в распахнутой рубашке, рядом с Наташей он сидел скованный, но лицо его пропечатано было хорошо, эта карточка являлась основной. Портрет, напечатанный когда-то в дивизионной газете, тоже был неясный бумажный клочок. К тому же сильно истерт.

— Я думаю, это был он,— говорил Эстенген раздумчиво.— Он был худ до невозможности, как и все мы, на щеках грязная щетина... Но глаза... Я уверен, что это он... Торф этот мы копали до самой отправки в Норвегию. Можете пред-

---

[1] Русский Савелий.

[2] Норвегия благодарит вас.

ставить, какие мы были тогда, если с утра до вечера ходили по колено в холодной болотной жиже. Какого-нибудь душа, а тем более бани нам не полагалось. От холода руки и ноги у людей неожиданно скрючивало — таких немедленно расстреливали, потому что работать они уже не могли. Мы с Савелием выдержали. Да, да, его еще в финском лагере называли «русским Савелием». Мы с ним выдержали, только я до конца жизни не вылечу свой ревматизм...

— А Зубова, Петра Зубова вы не знаете? — спрашивала Наташа.— У Семена в этом финском лагере был товарищ по фамилии Зубов. Они всегда были вместе...

— Не знаю, — качал головой норвежец.— Товарищ... Товарищи были там у каждого, но мы это скрывали... Немцы не любили, чтобы заключенные становились товарищами. Они немедленно принимали, понимаете, меры... разные. И товарищи навсегда разлучались. Савелий... или Семен был молчалив, но, по-моему, у них была в лагере своя подпольная русская секция, и они готовили побег или восстание, и Савелий в этом активно участвовал. У нас была своя, норвежская, руководители секций как-то были между собой связаны. Но руководителей секций мало кто знал, это было опасно. Однако восстание готовилось, это все знали...

— Да, и Зубов говорил же, мама, что готовилось,— сказал Дмитрий.— Когда наши фронт в Заполярье прорвали, особенно активно началась подготовка.

— Верно, так,— кивнул Эстенген.— И немцы об этом догадывались. Чтобы нарушить эту подготовку, все связи оборвать, они осенью сорок четвертого стали часто переводить большие группы заключенных из лагеря в лагерь. А нас, нашу группу, в которой оказались мы с Савелием, погнали в Норвегию. Разумеется, вначале мы не знали, куда нас ведут. Шли много дней, под ногами была такая же грязь, как в болотах. Знали только, что на север идем, кругом тундра. Я идти уже почти не мог, ноги не слушались, я боялся все, что их сведет судорогой. И тогда бы... Автоматчики с собаками всегда шагали рядом... Но последние несколько дней меня почти тащил на себе Савелий. Он спас мне жизнь таким образом... И однажды под вечер все мы увидели пограничный столб. На одной стороне столба надпись: «Суоми», на другой — «Норге». Сердце мое забилось, в ногах сил прибавилось... Это было где-то в середине октября. Савелий мне сказал...

— Почему вы все его Савелием называете? — спросил Андрей.

— Да, да, Семен... Но так его никто не называл.

— Что же он, Семен, сказал вам? — Андрей сделал на имени ударение.

— Он сказал: «Держись, Сигвард, ты на своей родине. Если все норвежцы такие славные люди, как ты, мы здесь не пропадем». Он так и сказал: «Если такие славные, как ты...»

— Я слышал, что даже ваш тогдашний король призывал к борьбе с фашистами,— опять проговорил Андрей.— Правда это?

— Да, да,—встрепенулся Эстенген, — король Хокон... Он жил тогда в Лондоне.

— При опасности короли первыми покидают свою страну,— усмехнулся Дмитрий.

— Это так,— кивнул Эстенген.— Я человек рабочий, рыбак. Я не монархист, как вы понимаете. Но скажу вам — Хокона простой народ уважает за то, что он сказал: «Долг каждого норвежца — оказывать советским союзникам самую большую поддержку».

— Союзникам, а не самим русским, выходит,— буркнул Дмитрий.

— А тем не менее слова короля норвежцы поняли как надо,— возразил Эстенген.— Никаких союзных войск в Норвегии не было. Лишь было немало советских пленных, многие из которых, как потом Семен, сумели бежать. Норвежцы укрывали их. Я не помню случая, чтобы норвежец, если он не квислинговец, выдавал беглецов.

— Ну, фашисты везде фашисты, хоть германские, хоть норвежские,— проговорил Дмитрий.

— Это так,— опять кивнул Эстенген.— И король, конечно, есть король. И все-таки эта речь короля по лондонскому радио в конце октября сорок четвертого года очень помогла нам в борьбе с оккупантами. Хокон говорил тогда, что в национальной борьбе норвежские коммунисты стояли в первых рядах боевых сил народа против угнетателей и против тех, кто не стремится к развитию Норвегии на ос-

нове конституции... И что путь демократической Норвегии — честное сотрудничество всех патриотических сил, в том числе и коммунистов.

— А он сам, случайно, не вступил в компартию, король ваш? — опять бросил Дмитрий.

— Перестань,— сказал Андрей.— Тут все ясно же. В Норвегии были могущественные силы, которые поддерживали Гитлера. Король боялся, что эти силы и придут к власти после войны, поэтому и заигрывал с народом.

— И это так,— в третий раз согласился Эстенген. — Но тогда эта речь, возможно, спасла жизнь Семену и мне.

— Да? — спросил Дмитрий все-таки насмешливо.

— Да.— Эстенген мягко улыбнулся, прося Дмитрия этой улыбкой успокоиться и быть благоразумным.— По Норвегии мы шли еще много дней. В конце октября нас пригнали в город Харстад. Ночью под проливным дождем погрузили в трюмы каких-то барж, стоящих в Анс-фьорде, куда-то повезли. Мы были голодны, немцы несколько дней нас уже не кормили. Но в трюме мы обнаружили большой ящик копченой рыбы. Понимаете, настоящей рыбы, которую мы не видели целую вечность. Не немцы же это туда поставили! И там же, в ящике,— нелегальную листовку норвежских подпольщиков с выдержками из этой речи короля Хокона. Я перевел ее Семену. Он ничего не сказал по поводу этой листовки, но... Баржи были старые, никому не нужные. Мы думали, что нас отвезут в открытое море и вместе с баржами пустят ко дну. Поднялась паника, и лишь Савелий...

— Семен,— поправил Андрей.

— Да, Семен... Он вышел на середину трюма и закричал, требуя перевести его слова всем. В барже были и норвежцы, как я, и финны, и голландцы, и поляки. И много других. Он потребовал спокойствия. «Если бы фашисты хотели нас уничтожить,— говорил он,— они бы сделали это еще в болотах тундры. Но не сделали,— значит, мы им зачем-то нужны...» Логика в его словах успокоила всех. «Слушаться меня!» — потребовал он... Да-да, он, понимаете, он, оказывается, раньше других понял значение этой речи короля. Он спросил меня на другой день с улыбкой: «Норвежцы, Сигвард, слушаются своего короля?» — «Иногда...» — пошутил я. «Понятно,— сказал он.— Самое время теперь бежать, едва представится хоть малейшая возможность».

— И когда... она представилась? — спросила Наташа нетерпеливо.

— Дня через три, кажется,— подумав, ответил Эстенген.— Во время всего пути нас не кормили, рыбу мы, понятно, давно всю съели. Давно мы уже стояли где-то, сверху, по палубе баржи, слышны были шаги охранников. Судя по этим шагам, их было всего двое. «Где мы стоим, определить! — потребовал Семен.— В Норвегии или нет?» Трюм был глухой, без иллюминаторов, он освещался двумя керосиновыми фонарями. Но это было в начале пути, потом керосин кончился, мы плыли в темноте. Мы стучали снизу в крепкий люк, требуя еды и света,—нам никто не отвечал. Лишь один раз шаги сверху приблизились, люк отмахнулся, охранник полоснул вниз из автомата, и люк тут же захлопнулся. По счастью, никто не был убит... Да, Семен потребовал определить, где мы стоим... Его слушались уже беспрекословно, а как это сделать? И все же сумели... Я забыл сказать, что в ящике с рыбой лежал большой и крепкий нож, предусмотрительно оставленный там кем-то. Этим ножом мы просверлили небольшое отверстие в ржавой металлической стенке баржи, со спичечную головку всего. Я приник глазом к отверстию, вижу, что Норвегия,— огни во фьорде отражаются. Этого было достаточно. А стояли мы, оказывается, вот здесь, возле Бреннёсунна.— Эстенген показал за окно.— Я не мог этого определить, потому что до войны жил не здесь, а в Тронхейме. Я после войны поселился здесь...

— И как же вы... потом? — спросила Наташа, принимая от молчаливой жены Эстенгена новую чашку кофе взамен прежней, остывшей, но нетронутой.

— Семен... это был бесстрашный человек. Он всем объяснил, что ночью надо потребовать воды у охранников, для чего всем кричать, стучать в железные борта деревянными колодками. Вода у нас в бочке действительно кончилась. «Уж воду-то они должны дать,— сказал он. — А если вздумают опять утихомирить из автомата, переждать стрельбу и опять кричать и стучать. И так без конца. В конце концов они вынуждены будут дать воды. В этот момент важно как-то завладеть лю-

ком, ведь охранников всего двое. А там — в воду и к берегу вплавь. А дальше уж кому как повезет...»

— И что же? — спросил нетерпеливо теперь Дмитрий.

— Так все и получилось.— Эстенген отхлебнул из своей, тоже остывшей чашки.— Сначала Семен, постучав в люк, вежливо попросил воды. Немцы оставили это без внимания. Он попросил еще — тот же результат. Тогда мы подняли невообразимый шум, немцы, не открывая люка, ударили из автоматов, мы слышали, как стучат пули о железную палубу. Это они попросили нас замолчать. Мы умолкли. Немцы загремели ведром... Через некоторое время открылся люк, немец, не выпуская автомата, стал подавать сверху ведро с водой. Но Семен, беря будто бы ведро, схватил немца за руку и дернул вниз, а сам мгновенно очутился на палубе уже с немецким автоматом. Когда немец падал, он вырвал у него оружие.

— А другой... охранник?! — воскликнула Наташа испуганно.

— О-о! — улыбнулся норвежец.— Вы не знаете своего мужа. Что для него один охранник, если он уже был на свободе и в руках у него оружие. Он его убил.

— Убил...

— Да, я это видел... Я выскочил вторым. У того, у другого немца глаза вылезли из орбит, когда он увидел, что вместо своего товарища на палубе уже пленный. Немец попятился, стреляя в Семена, который бежал по длинной пустой палубе к рубке и тоже стрелял. Они стреляли друг в друга... И немец упал наконец. «Живо за борт!» — закричал Семен, снова подбегая к люку. Оттуда бесконечной цепочкой появлялись пленные, бежали к борту и прыгали в холодную воду. Берег был совсем близко, но там уже выла сирена и по фьорду шарили прожекторы. Потом от берега понесся к нашей барже катер с немцами. «Савелий! — крикнул я.— Пора и нам в воду!» Мы с ним прыгнули... Сначала плыли вместе, а потом...

Эстенген торопливо стал глотать свой кофе. На этот раз никто не проявлял нетерпения, в комнатке с белыми обоями стояла тишина.

— Вы представьте картину,— негромко проговорил Эстенген, допив кофе.— Черная ночь, на черной воде мечутся полосы прожекторов. Между ними с ревом крутится небольшой катер, и с обоих бортов немцы хлещут из автоматов по плывущим к берегу людям! Многие не доплыли... «Ныряй!» — каждый раз кричал Семен, когда катер приближался к нам. Это было последнее его слово, которое я слышал. В какой-то момент мы потеряли друг друга из виду. И уже навсегда. Навсегда...

Эстенген потом долго глядел на свою пустую чашку.

— Когда я, окоченевший, добрался до берега, меня укрыл в сарае портовый рабочий, отец Ингрид.

Жена Эстенгена, услышав свое имя, что-то сказала по-норвежски и закивала, улыбаясь.

— А Семена — Гюри Кнютсен, дочка старого рыбака. Кнютсены жили тогда на самой окраине Бреннёсунна, там, в камнях, Гюри и нашла его, увела в свой дом. Он в воде был ранен, оказывается, в голову и плечо. Она жила одна, отца ее замучили в концлагере на острове Ульвинген за то, что сын его Харальд был антифашистом и партизаном. Когда Семен немного окреп, Гюри отвела его в горы, к брату. Это все мне стало известно уже после войны. Но еще в феврале сорок пятого я узнал, что Семен жив. Здесь, в Бреннёсунне, той зимой был взорван кинотеатр, в котором погибло много немецких фашистов и наших квислинговцев. По городу было расклеено объявление, что сделал это «русский бежавший бандит по имени Савелий», за голову его немцы назначили награду в пятнадцать тысяч марок.

— Погодите! — сказал Андрей.— В этом объявлении был его портрет?

— Нет, портрета не было. Только, помню, приметы немцы указывали — рост средний, глаза серые, волосы светлые.

— Это он, он! — воскликнула Наташа, схватила Анну Михайловну за руку. Но та, все время молчавшая, как камень, и на этот раз ничего не ответила, лишь качнула головой не то утвердительно, не то отрицательно.

— Этого объявления, или листовки, у вас нет?

— Нет,— сказал Эстенген.— Там было еще написано, что этот русский Савелий... извините... обросший, как обезьяна. Так было написано... Может быть, у

Харальда Кнютсена есть? Гюри умерла после войны, а он жив. Он живет сейчас в Тронхейме, мы к нему поедем, тут не очень далеко. Он был свидетелем, как погиб «русский Савелий»... или Семен.

* * *

Анна, как только все они сели на теплоход в Ленинграде, умолкла, весь путь до Осло не проронила почти ни слова, часто стояла одна на палубе, кутаясь от ветра в шерстяной платок, смотрела на белесые балтийские волны, о чем-то бесконечно думала. Сыновья и Наташа старались ее не беспокоить, но из виду не упускали.

Почти не разжимала губ она и в Норвегии. Ее не поразил ни живописный Осло-фьорд со снующими, как челноки, разноцветными маленькими суденышками, меж которых, словно расталкивая их, проплывали не торопясь огромными ледяными глыбами многопалубные теплоходы, ни сам Осло — шумный, пестрый, многолюдный. Равнодушно потом смотрела она, как за окном крохотного вагонного купе на двоих мелькают вывески с нерусскими буквами, белые — металлические — и красные — черепичные — крыши домов и домишек, большие лодки с полосатыми тентами на каких-то озерах. Лишь когда поезд, вырвавшись из города, врезался в лесной массив, она удивленно вскрикнула:

— Гляди-ка, Наташа,— березки!

Поезд шел долинами, по сторонам которых полого вздымались плоскогорья — знаменитые норвежские фельды, то совершенно голые, то поросшие всяким разнодеревьем: иногда к самой железной дороге подступали густые и мрачные, как в самой Сибири, еловые и сосновые леса. Но Анну это больше не волновало, она опять была задумчивой и одинокой какой-то.

До самого Бреннёсунна железная дорога не доходила, они высадились в Намсусе, небольшом и мрачном городке, сели в прокопченный и вертлявый на воде теплоходик, на котором и доплыли часа за три до Бреннёсунна. И сказочно красивые в это время года норвежские заливы-фьорды, которым даже за этот короткий отрезок пути не было числа, не произвели на нее никакого впечатления. Мрачно смотрел на эти заливы, на врезающиеся далеко в море высокие горные уступы и Дмитрий. Да и Наташа тоже. Лишь один Андрей весь путь простоял на крохотной палубе с широко открытыми от восторга глазами и перед самым Бреннёсунном сказал:

— Волшебство какое-то! Я все это и сам хотел посмотреть, и вам показать, а вы...

— Разве за этим мы едем сюда, сынок?

— Не за этим, мама,— смутился Андрей.— Но за эту красоту наш Семка жизнь отдал.

— Он отдал ее за свою Родину! — зло проговорил Дмитрий.— Понятно тебе?

— Понятно. Я же говорю в условном смысле...

— А я — в конкретном. Не люблю условностей.

— Дима, Андрюша! — попросила Наташа.— Не ссорьтесь.

— А мы не ссоримся,— ответил Дмитрий. И с какой-то угрозой кому-то пообещал: — Я стихи об этом напишу. Конкретные. О том чувстве, которое было здесь у Семена и у таких, как он.

В Тронхейм потом они ехали тоже морем, вдоль побережья. Харальд Кнютсен, предупрежденный Эстенгеном, встретил их в порту. Он оказался человеком тоже сердечным. Но русского языка почти не знал, если не считать отдельных слов, которым он, по его сообщению, научился от «русского Савелия». Эстенген был превосходным переводчиком.

Когда Анна подала Кнютсену фотографии Семена, он прямо весь вспыхнул.

— О да! Это он, наш «русский Савелий»! — Потом обмякнул, виновато опустил и без того покатые плечи.— Очень, очень похож...

— Похож или точно он? — спросила Наташа.

— Вы знаете, сначала мне показалось... Но с уверенностью я не могу сказать. Он, «русский Савелий», пришел к нам в горы небритый, моя сестра Гюри его привела. Он был сильно ранен. Раны у него еще болели. У нас была партизанская группа в семь человек всего. Он был восьмым. Он был странным, все время почти

молчал. Мы думали — потому, что ранен. Но когда раны зажили, он продолжал молчать. И не брился почему-то, лишь немного подрезал бороду ножницами.

— Может быть, он вам... или вам, Сигвард, рассказывал что-либо о своей прежней жизни? — спросила Наташа.

— Нет,— сказали оба норвежца.

А Сигвард Эстенген добавил:

— Однажды он, кажется, сказал мне, что родом из Сибири. Да, это он сказал, а больше ничего.

— У вас не сохранилось листовки, в которой фашисты назначили цену за его голову? — спросил Андрей у Кнютсена.

— Нет, к сожалению.

— Расскажите все, что вы о нем помните. Все, все! — попросила Наташа.

— Я же говорю — он в основном сидел и молчал.

— Как же так — сидел и молчал? Вы же партизанами были.

— О-о! — протянул Кнютсен.— Я читал, читал о русских партизанах. Но у нас было не так. Все не так. Крупных отрядов у нас не было, у нас были небольшие группки, по шесть — двенадцать человек. Мы укрывались в горах. Мы не воевали, как русские партизаны, не сбрасывали с рельсов поездов. Мы нападали иногда на маленькие немецкие гарнизоны, это было. На автомашины. Если военнопленные где-либо работали, а охраны было мало, мы пытались отбить пленных. Но концлагеря были в основном на островах. Понимаете? И мы, партизаны, выпускали подпольные газеты и листовки, чтобы информировать население о положении на фронтах. Для нашей группы это была основная задача. Мы имели у себя в горах батарейный радиоприемник и небольшую типографию. Когда мы слушали радиоприемник и записывали сообщения, составляли листовки, Савелий сидел и молчал. Целыми днями так. А потом брал гранаты или взрывчатку, если это у нас было, вставал на лыжи и уходил.

— Зачем же вы его пускали?! — вскрикнула Наташа.

— Он не слушался.

— Да вы же командир!

— Но он был русским... Мы не могли его заставить остаться. Он возвращался через несколько дней, и мы не знали, откуда, он ничего не объяснял.

— Хороши партизаны! — усмехнулся Дмитрий.

— Да, у нас так было,— виновато сказал Кнютсен.— И мы по радио лишь потом узнавали, куда и зачем он ходил и что сделал... Немцы сообщали, что бандит по имени «русский Савелий» взорвал кинотеатр в Бреннёсунне или поджег теплоход с немцами в порту, испортил несколько паровозов в депо Тронхейма. Оказывается, он всегда посылал потом по почте в немецкую комендатуру письмо: «Сделал это русский Савелий. Я еще доберусь и до тебя, свинья Требовен...»

— Требовен — это рейхскомиссар оккупированных областей Норвегии,— пояснил Эстенген.— Савелий-Семен всегда делал такую приписку... Зачем он вообще посылал эти письма немцам, я не знаю. Не надо было этого делать, наверное.

— Да, но он это делал...

— Как погиб... он? — задала Анна вопрос, который никто задавать не решался. Она в Норвегии ни разу ни у кого и ничего не спрашивала, задала только этот один-единственный вопрос.

— Это случилось в начале марта сорок пятого на том месте, где стоит ему памятник. Мы возвращались из Бреннёсунна и попали в засаду. В город мы ходили за батареями для своего приемника и за продуктами. Была ночь, мела пурга, нас было четверо. Немцы нас окружили неожиданно. Мы отстреливались, пока были патроны. Во время перестрелки двое наших товарищей были убиты, остались мы с ним только. И патронов нет... Одна граната лишь осталась у Савелия. Противотанковая. Он взял ее у бреннёсуннских подпольщиков для какой-то своей новой диверсии... И он мне сказал: «Я сейчас отвлеку их, а ты, Харальд, прикинься пока убитым, а потом иди к товарищам в отряд. Отомстите потом за меня...» Я не понял, как он собирается их отвлечь. А он закричал: «Schießen Sei nicht! Ich bin Russe, ich heiße Sawjeli. Ich ergebe mich» [1]. Эти слова произвели магическое действие,

[1] Не стреляйте! Я — русский Савелий. Я сдаюсь.

немцы стрелять перестали. А Савелий повторил: «Ich bin allein. Ich ergebe mich» [1]. Он встал, поднял руки, пошел сквозь пургу. Я до сих пор вижу, как он идет с поднятыми руками, а вокруг него крутятся тучи снега... Он шел будто окутанный дымом, на спине у него был парусиновый мешок...

— И что же... дальше? — с трудом выговорил Андрей.

— А дальше... когда немцы окружили его... раздался чудовищный взрыв.

Едва он это произнес, послышался стон Наташи, короткий и мучительный. Он затих, и в квартире Кнютсена установилась долгая тишина.

— Так это было... В начале марта, во время сильной пурги,— нарушил Кнютсен наконец безмолвие.— Взрыв был настолько сильным, что я думаю... у Савелия была еще какая-то взрывчатка в мешке. Пламя чуть до меня не достало... Что же мне было делать? Я воспользовался тем взрывом, отполз в темноте за камень, а потом побежал сквозь ветер и снег. Немцев там в живых почти не осталось, они не видели, как я уполз и побежал... Вот так произошло это. Пурга дула еще дня три или четыре. Немцы хоронить своих погибших солдат не стали, да и мы своих не смогли — все замело снегом. Мы похоронили их уже весной, когда трупы вытаяли. Это уже в конце апреля было. В Бреннёсунне еще тогда немцы были, но война шла к концу, немцы собирались из Норвегии уходить, родственники тех двух наших погибших товарищей привезли их в город в открытую, похоронили на городском кладбище, фашисты этому воспрепятствовать не осмелились. А Савелия мы похоронили именно там, где он погиб.

— Что же... от него осталось? — опять спросил Андрей.

— Да почти ничего, — неопределенно проговорил Кнютсен. Помолчал, вздохнул и еще раз промолвил, будто уточняя: — Совсем почти ничего... А через год поставили на могиле тот скромный каменный памятник...

* * *

На другое утро Анна, поглядев в узкое окошко отеля на матово-синий залив, на поднимающиеся с водной поверхности лоскутья тумана, на черные и как будто мокрые каменистые кручи, уходящие далеко в море, проговорила, обращаясь почему-то к Дмитрию:

— Поедем отсюда, сынок. Мне здесь тяжело.

Из Тронхейма до Осло снова ехали в скрипучем и тесном вагончике, в Осло пересели на теплоход. Теплоход был советский; ступив на палубу, Анна обессиленно вздохнула и посветлела лицом:

— Вот уже будто и дома...

Когда подплывали к Ленинграду, она неожиданно спросила у Дмитрия:

— Ты стихи хотел, сынок, какие-то написать?

— Я их написал, мама,— ответил Дмитрий.

— Ну, почитай.

Они все вчетвером стояли на палубе, теплоход шел по Финскому заливу, уже замедляя ход, впереди виднелись очертания города, медленно поднимавшегося, казалось, прямо из воды.

— Стихотворение называется «Чувство Родины»,— сказал Дмитрий, глянув на Андрея.

— Это те, конкретные? — спросил тот.

— Те самые,— подтвердил Дмитрий и негромко начал читать:

Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои...
Вырастают рощи над могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи.

Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!
Все проходит.
Остается Родина —
То, что не изменит никогда.

[1] Я остался один. Я сдаюсь.

С ней живут,
Любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь.
Над грозою торжествует радуга,
А над смертью
Торжествует жизнь.

Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Все стареет.
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.

Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звездного крыла.
А взгляни —
Все то же небо синее
И за Волгой так же даль светла.

Те же травы к солнцу поднимаются,
Так же розов неотцветший сад,
Так же любят, и с любовью маются,
И страдают, как века назад.

И еще не мало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.

Медленно
История листается...
Все пройдет,
А Родина останется.

Он читал негромко, не спеша и почти без всякого выражения, делая иногда еле заметные акценты лишь на отдельных словах. Но именно такая манера чтения подчеркивала огромный глубинный смысл стихотворения, взволнованность самого Дмитрия. У Наташи заблестели глаза. Андрей думал о чем-то, опустив голову. А потом поднял ее, произнес почти шепотом:

— Молодец ты у нас, Димка.

Анна, глядя на приближающийся город, лишь кивнула, то ли соглашаясь со словами младшего сына, то ли одобряя новое стихотворение сына среднего.

* * *

Конец июня и начало июля в маленьком домишке Анны Савельевой было тесно и весело от голосов. Тут жили Андрей с женой, Димка, Наташа с дочерью Леной, которая закончила второй курс Новосибирского педагогического института и приехала на каникулы. Женщины спали в доме, Андрей с Дмитрием — в старом прохладном сарае, стоящем в огороде. Днем все уходили на Громотуху купаться или ловить рыбу, лазали на Звенигору, добывая в ее ущельях огромные охапки горных цветов.

Однажды женщины потребовали показать им зловещее змеиное ущелье, о котором знал каждый житель Михайловки да и Шантары.

— Да вы что?! — испугалась Анна.— Покусают же гадюки!

— Да их там, может быть, и нету теперь,— сказала Лена,—перевелись.

— Не перевелись, доченька. Гады на земле никогда не переводятся...

После долгих разговоров и споров решили все же идти.

— Ничего, мам, глубоко мы в ущелье это не будем забираться,— успокоил Андрей мать.— А женщины наши пусть испытают некоторое волнение в крови.

— А по пути я покажу всем еще кое-что интересное,— пообещал Дмитрий.— Не беспокойся, мам, мы же не дети, все будет нормально...

Гигантское каменное лицо, смотрящее в небо, произвело на всех, особенно на Лену, огромное впечатление. Небольшая ростом, быстрая в движениях, она возле старой сосны будто сама окаменела, в глазах ее, опушенных густыми ресницами, застыло удивление и какой-то немой крик.

— Дядя Дима! Он же... думает! Он, ей-богу, думает о чем-то! — прошептала она наконец.

— Думает,— кивнул Дмитрий.

— Он грустный... Он грустит, наверное, о всех, кто жил на этой земле. И кого уже нет,— промолвила Раиса, жена Андрея.

— Да, да! О них! — воскликнула Лена.— Он думает о них давно. И думать будет вечно.

— Я тут просиживал в детстве часами,— проговорил Дмитрий.— Мне иногда кажется — он помог мне в чем-то самом главном в жизни.

— Он помог вам, дядь Дима, стать поэтом! — восторженно и утвердительно сказала Лена.

— Не знаю. Но возможно,— улыбнулся Дмитрий.— Во всяком случае, он всегда заставлял меня думать о твоем отце, Лена, а о моем брате... О чем-то большом и важном для меня заставлял думать.

— Это же чудо! Ну просто чудо природы! — никак не могла прийти в себя девушка.

— Пойдемте смотреть другое чудо...

Звенигору объезжали с юга и севера, с юга объезд был неудобный и тесный, скалы нависали почти над самой Громотухой. В самом узком месте здесь и находилась между двумя огромными камнями неширокая щель, которая вела в змеиное ущелье — небольшой и неглубокий распадок в горе, отлого поднимавшейся вверх. На дорожном каменистом полотне здесь летом всегда валялись две-три раздавленные колесами автомашин гадюки, выползавшие, видимо, к воде. И сейчас, еще издали, все увидели две плоские серебристые ленты, лежавшие в пыли поперек дороги.

— Ой! — воскликнула Лена, останавливаясь.

Все были обуты в сапоги, в руках у каждого палка. Андрей шевельнул своей палкой засохшую змеиную шкуру.

— Мразь какая, а тоже что-то хотела... Напиться, что ли, она хотела из речки?

— Не знаю. Змеи, по-моему, не пьют,— ответил Дмитрий,— но влага зачем-то им нужна. Я видел, как однажды змея выползла отсюда, сползла к речке, поплавала немного, снова выползла вот на эту плоскую плиту. День был жаркий, камень горячий, змея до вечера лежала тут, грелась и смотрела на меня...

— На вас?

— Да, Лена. Я вот на том камне сидел, а она на этом,— показал Дмитрий палкой.— И мне казалось, что она все время пристально смотрит на меня. Потом она медленно уползла в ущелье...

— Я... боюсь туда,— проговорила девушка, зябко пожав плечами.

— Да, пожалуй, и не надо, не к чему,— сказала жена Андрея.— Наташенька, не надо туда.

Наташа кивнула, соглашаясь. Но Лена тут же добавила:

— Боюсь, но пойду. Бабушка мне говорила, что дядя моего отца, Антон Силантьевич Савельев, здесь укрывался от жандармов, когда с каторги бежал... И мне интересно.

— Здесь? — повернулась к Андрею жена.

— Да,— ответил он.

— Тогда посмотрим все-таки. Осторожненько.

— Давайте,— чуть улыбнулся Дмитрий.— Я тут бывал, поэтому буду проводником. Идите за мной и слушайтесь меня.

Внимательно глядя под ноги, он двинулся между скал, за ним остальные. Через несколько шагов открылся весь распадок, щедро залитый солнцем, буйно заросший никогда и никем не тревоженной растительностью. Высокие, в рост человека почти, травы, с сочной листвой деревья — боярышник, калина, черемуха... Сразу справа начинались заросли малины, огромные красные ягоды аж пригибали ветви.

— Ой! Давайте попробуем! — невольно воскликнула Лена.

— Не сметь!— вскрикнул немедленно Дмитрий.— Станьте все вот здесь, возле меня.

Когда все подошли к нему, он сказал:

— Где-то здесь и укрывался дядя Антон. Где — я не знаю.

Некоторое время все оглядывали ущелье, по виду ничем не отличавшееся от других подобных горных распадков, разве лишь травы да деревья погуще.

— И все-таки здесь теперь, может, не так уж много гадюк? — проговорила Лена.

— Да? Ну, тогда смотри...— сказал Дмитрий.— Никому с места не сходить!

Он, обходя кусты, двинулся в сторону малинника, внимательно, как и прежде, глядя под ноги. Буквально через несколько шагов взмахнул палкой, раза три-четыре ударил по земле, раздавил что-то каблуком. Затем поддел палкой длинную, еще извивающуюся плеть.

— Вот... Сейчас еще...

— Дмитрий, хватит! — воскликнул Андрей.

Закричали и другие, требуя вернуться. Дмитрий долго просить себя не заставил.

— Тут их, тварей этих, на каждом шагу... Клубками вьются. Давайте обратно. И след в след за мной как раньше.

Когда вышли из ущелья на дорогу, Наташа облегченно вздохнула:

— Уф! Я слышала, но все-таки не верила, что такое бывает на земле...

* * *

В доме Анны было тесно и весело от голосов, от говора и смеха, и она, вернувшаяся из Норвегии молчаливой и подавленной, потихоньку отходила, улыбка все чаще трогала ее иссохшие давно губы.

Еще в поезде Ленинград — Новосибирск Андрей, стоя в коридоре, сказал брату:

— Наверное, зря я всполошил всех на эту поездку. Что мы узнали? Ничего. И неизвестно, кто лежит под тем камнем. Маме все это, видишь, очень тяжело.

— Да, ей не легко,— кивнул, глядя в окно, Дмитрий.— И неизвестно...

— Слишком уж разительна перемена в поведении этого «русского Савелия» после того, как он оказался в норвежской партизанской группе,— проговорил Андрей.— Разве он похож на того, который организовал побег военнопленных с немецкой баржи? Тот, я поверил было, наш Семка... Тот, оказавшись у партизан, встряхнул бы их от спячки в своих горах, наладил бы связь с другими группами, они начали бы активные действия. А этот диверсант-одиночка какой-то. Но больше сидел, молчал...

— Да, это конечно,— произнес Дмитрий раздумчиво.— Но это, такая перемена в нем, могло быть и следствием ранения. И мало ли еще почему... И я, знаешь, думаю, что это все-таки наш Семен. И Наташа верит, и мать.

— Да?

— Я в Ленинграде еще слышал, как мама и Наташа, обнявшись, плакали в твоей квартире. «Это он, он, Семушка наш с тобой!» — говорила ей мать.

— А она?

— «Конечно...— говорит.— Я так рада, что хоть его следы отыскались...»

— Ну что ж, если так, то... очень хорошо,— сказал Андрей.

Анна отходила, становилась прежней, а дни летели, как птицы, скоро Андрею с женой надо было уезжать.

— Как мне хорошо, детки, с вами,— сказала она однажды утром, накануне их отъезда, обняв Раису и Наташу.— Сейчас и я, как Димушка, тоже будто слышу, как соловьи росу клюют.

— Как... росу клюют? — спросил Андрей, удивленный.

— Стихотворение у него про это есть.

— Почитай.

— После. Вечером, может быть, на прощанье. А теперь идемте, солнце высоко поднялось.

В этот день в Михайловку по заготовительным делам для орсовской столовой Шантарского завода приехал Петр Викентьевич Зубов, с утра обговорил эти свои дела с Кружилиным, и теперь он зашел поздороваться с Анной и с Наташей.

— Куда это молодежь собирается? — спросил он, улыбаясь.

Вопрос этот вызвал небольшую заминку. Потом Дмитрий прямо сказал:

— Мы хотим сходить еще раз к Звенигоре, к той зеленой котловине, куда партизан загнали каратели под командованием вашего отца.

— Вот как!

— Да. Поликарп Матвеевич обещал нам показать то место, где партизаны спустились на веревках со скал, напали на сторожевой отряд карателей, перебили их и вывели партизан из каменного мешка.

— Понятно,— усмехнулся Зубов.— То-то Кружилин, старый хитрец, быстренько выпроводил меня сейчас из конторы. Тороплюсь, говорит. А меня с собой возьмете?

— Да что же... Если вам интересно.

Через час они были у края пропасти, за которой начиналась совсем теперь порушившаяся горная тропа, ведущая в зеленую котловину.

У края пропасти стоял, опираясь на костыль, Кружилин, а неподалеку его ходок. Он чуть виновато взглянул на подошедшего со всеми Зубова, начал рассказывать:

— Вот тут мы и перебрались через пропасть. Сюда нас старый Силантий привел, ваш дед,— повернулся он к Андрею и Дмитрию.— За это и был повешен...

Андрей и Дмитрий это знали, и другие тоже. Но все поглядели на Зубова, а тот, прищурив глаза и перекатывая желваки на скулах, смотрел куда-то через пропасть.

— Сейчас по этой тропе уже никому туда не пройти,— видите, каменные карнизы и уступы во многих местах разрушились, обвалились. А тогда мы прошли. Несколько лошадей только в пропасть сорвалось... Это место, где мы стоим, все кровью залито. Правда, белогвардейской, тут нас полуэскадрон карателей сторожил, а потом, когда по скалам спустились, мы напали на них, всех перебили. Но ведь это все равно была человеческая кровь.

Все посмотрели себе под ноги, на каменную осыпь. Камни как камни, темносерые, разной величины, нагретые солнцем. И Кружилин, старый и седой, был старик как старик. Трудно было предположить и представить, что он когда-то держал в руках ружье или шашку, в кого-то стрелял и рубил безжалостно шашкой, что здесь, в этом глухом и тихом месте, умирали люди, на эти горячие камни лилась красная человеческая кровь. Лена так и сказала:

— Не могу я этого представить... Этого не было.

— Это было, дочка,— сказал Кружилин.— Ну, пойдемте, покажу, где мы на веревках партизан спустили.

Через несколько минут они все стояли у голых отвесных скал и, задрав головы, оглядывали их.

— Ужасно, такая высотища! — опять проговорила Лена, самая молодая и самая эмоциональная из всех.

— Был у нас такой разведчик — Яков Алейников,— проговорил Кружилин.— Он этой высоты не испугался. Мы его первым спустили сверху однажды ночью.

— Человек никогда не должен бояться высоты — ни ночью, ни днем,— произнес вдруг угрюмо Дмитрий.

* * *

От Звенигоры Кружилин и Зубов ехали вместе. Остальные пошли искупаться на прощанье в Громотухе, а они сели и поехали молча, и лишь минут через десять Кружилин сказал:

— Утром я не пригласил тебя сюда. Я помню, там, на Огневских ключах, тебе было не очень легко и приятно. И я подумал...

— Да, ты меня пожалел, я понимаю,— проговорил Зубов.— Но видите ли, Поликарп Матвеевич... Я вам отвечу стихами. Не Дмитрия Савельева. Недавно мне попались на глаза стихи армянского поэта Ованеса Туманяна. Вот эти:

В сей мир, где тьмы людей перебывало,
Приходит вновь и вновь людей немало,
Чтоб опытом столетий пренебречь
И путь неверный начинать сначала.

Проговорив это, Зубов немного помолчал и сказал с горечью:

— Я один из таких людей... Был одним из таких. Но это, к счастью, уже в прошлом. Как здоровье, Поликарп Матвеевич?

— Какое теперь здоровье! — грустно промолвил Кружилин, кивнул на лежащий в ходке костыль.— С подпоркой хожу вот давно. Весной попросил от работы меня освободить. Тяжело стало. Сын нынче институт окончил, женился наконец в городе. Агрономом он теперь. Вот с ними и буду жить где-нибудь.

Поликарп Матвеевич Кружилин был совершенно сед, плечи его похудели и сгорбились, руки, когда он держал в них что-нибудь, тряслись.

— Ну, а как ты живешь? — спросил он у Зубова.

— Нормально. Работаю, жена тоже. Сын учится... Я взял к себе Акулину Тарасовну Козодоеву, старушку эту, которая брата моего отца вилами запорола... Я вам рассказывал за что. Помните?

— Как же, помню...

— Ей уже под девяносто где-то. Бодренькая еще, бегает. Но слабеть зрением начала. И мы решили с женой, что наш долг о ней... позаботиться. Еле уговорил Наталью Александровну уступить нам старушку.

— У нее муж когда-то был, Филат Филатьич... Забавный старик. Слышал о нем?

— Не только слышал, не раз беседовал с ним о моем отце. Знавал он его, оказывается, тоже.

— Да, кажется. Давно я не видел старика. Жив еще?

— Скончался, Поликарп Матвеевич.

После этих слов Кружилин долго молчал. Дорога шла между двух хлебных полос. Поликарп Матвеевич сидел в ходке угрюмый, тусклыми глазами, в которых ничего, кроме старческой тоски, не было, глядел, как под несильным ветром качаются зеленые еще, тяжелые, квадратные колосья, уплывают назад, а навстречу движутся все новые и новые. Казалось, два гигантских зеленых колеса, два жернова медленно вращаются навстречу друг другу, едва не прикасаясь. Казалось еще, что не лошадь, гладкая и сильная, тащит ходок, а сама собой приближается зеленая стена тайги справа, а Звенигора, оставшаяся сзади, сама собой уплывает все дальше, что это тоже какие-то огромные гигантские жернова, не останавливающиеся ни на мгновение, работающие вечно.

— Может, потому и говорят: все перемелется — мука будет,— произнес он.

— Да, к сожалению,— откликнулся Зубов, подумавший, что Поликарп Матвеевич говорит о бренности человеческого существования, о кратковременности пребывания человека на земле.

Но Кружилин имел в виду не это.

— Опыт столетий — это и есть та самая мука, из которой люди испекут хлеб истины. И все меньше и меньше в этот мир будет приходить людей, чтоб этим опытом пренебречь и неверный путь сначала начать. Все меньше, а потом и вовсе таких не будет.

— Да, это конечно,— сказал Зубов.— Недешево только опыт этот достается людям.

— Недешево,— откликнулся Кружилин.— Как еще недешево!

* * *

Вечером был прощальный ужин, на который Анна пригласила и Кружилина, и Зубова, и Кирьяна Инютина с Анфисой. Кирьян тоже разменял уже недавно седьмой десяток, но по-прежнему работал в колхозе бухгалтером. Передвигаться на своей каталке по грунтовой дороге ему было тяжело, поэтому Анфиса привезла мужа на телеге. Андрей и Дмитрий сняли его и с незлобивыми шутками и смехом внесли в дом.

— Только стишки твои, Дмитрий, и явился я послушать,— сказал Кирьян.— А так тяжело уж мне по гостям. И людям-то возиться со мной...

— Вани... Ивана, жалко, нету,— несколько раз проговорила Анна, рассаживая гостей.— Зачем это люди из родной деревни уезжают?

— Иван ровесник мне,— сказал Кирьян.— И тебе, Анна. На пенсию, наверное, вот-вот уйдет. Тогда и вернется.

— Не вот-вот...— подал голос Кружилин.— Видел его недавно в Шантаре. «Ничего, говорит, сила в ногах есть, побегаю еще по полям...»

— Стихи мне твои, Дмитрий, про войну больше нравятся,— опять сказал Кирьян.— Прям за душу берут, просветляют что-то слезой там. Новенькие есть какие?

— Если поискать, может, и найдутся.

— Читай давай.

— Для стихов, дядя Кирьян, как и для выпивки, созреть надо.

— Хе! На это дело я в любой момент зрелый. Правда, теперь больше чекушки не могу...

Анна всех рассадила, чуть ли не всем сама положила на тарелки закуску и села между женой Андрея Раисой, маленькой женщиной с тихим голосом, которую Анна любила за несуетливость, за какой-то уютный, домашний характер, и Дмитрием.

— Дядя Поликарп, ты самый среди нас старший,— проговорил Андрей,— скажи первое слово.

— Что же сказать вам, дети? — Кружилин, помогая себе костылём, поднялся. Сегодня вот Дмитрий, когда стояли мы возле Звенигоры, говорил, что человек никогда не должен бояться высоты, ни ночью, ни днем. Это хорошо сказано и правильно. Только что такое высота? У каждого ведь она своя. Она не измеряется метрами или должностями, положением в обществе, она измеряется качествами человеческой души, нравственной сутью человека, его отношением к людям и к жизни, способностью каждого из нас увидеть в людях самое человеческое, а в жизни — самое справедливое и потому прекрасное... Способностью услышать, как тот же Дмитрий говорит, как соловьи росу клюют. Поэтому давайте, друзья, выпьем за этот слух, который не так-то просто дается. За эту высоту, на которой не так-то уж легко и просто держаться...

— Это верно, не просто! — вскрикнул вдруг Кирьян, по сути дела скомкав тост, и первый выпил.

Были потом и еще тосты — за Анну, за ее сыновей и невесток, за внучку Лену, было шумно и весело, и лишь Кирьян Инютин пьяно хмурился, а потом опять сказал свое:

— Не просто... не все могут. В самую суть ты, Поликарп. Колька мой — смог. Теперь вот в райкоме партии работает. А Верка — не смогла. Только и смогла... Что она смогла, Анфис?

— Помолчи, Кирьян,— попросила Анфиса.

— Не-ет, Поликарп — он правду говорит. В самую точку. Высматривала она в жизни, высматривала чего-то, как коршун добычу. А ее самою Аникей Елизаров схватил.

— Да пусть живут, тебе-то что? — опять промолвила Анфиса.

— Да теперь чего, пущай,— обмяк и он. Но упрямо проговорил свое: — Автомобиль купили, ездит на нем, принцесса. А не смогла... Димка, ты прочитаешь или нет свои стихи? А то норму свою я уже выпил, чекушку опростал... Про войну мне, а, Дим?

Попросили и другие, Лена даже нетерпеливо захлопала в ладоши.

— Про войну...— Дмитрий встал.— Я на войне не был, по возрасту не успел. А Семен, наш брат, не вернулся с нее, сгорел в ее ненасытной пасти. Мы только что съездили в Норвегию, попытались найти его следы хотя бы... Там, в Норвегии, да и вообще, когда я бываю за границей... Редко, но бываю там. И там я особо остро чувствую, какая она, война, была с фашизмом, что пришлось нашей земле и нашему народу перенести. С фашизмом дрались все народы нашей страны, многие народы мира. И об этой битве с проклятой чумой я задумал написать поэму. И посвятить ее погибшему брату. Поэма будет состоять из монологов людей различных национальностей... Я вам прочту монолог русского человека, бывшего в войну мальчишкой и попавшего под оккупацию. Я попытался представить себя на его месте...

Проговорив это в полной тишине, Дмитрий замолчал.

— Ну? — нетерпеливо подтолкнул его Кирьян.

И, будто подчиняясь этому возгласу, Дмитрий начал:

Лишь глаза закрою...
В русском поле —
Под Смоленском, Псковом и Орлом —
Факелы отчаянья и боли
Обдают сжигающим теплом.

Пар идет от стонущих деревьев.
Облака обожжены вдали.
Огненным снопом
Моя деревня
Медленно уходит от земли.
От земли,
Где в неземном тумане,
На кроваво-пепельных снегах,
Словно в бронзе,
Замерли славяне.
Дети,
Дети плачут на руках.

Жарко.
Жарко.
Нестерпимо жарко,
Как в бреду или в кошмарном сне.
Жарко.
Шерсть дымится на овчарках,
Жадно псы хватают пастью снег.

Плачут дети.
Женщины рыдают.
Лишь молчат угрюмо старики
И на снег неслышно оседают,
Крупные раскинув кулаки.

Сквозь огонь нечеловечьей злобы
Легонький доносится мотив.
Оседают снежные сугробы,
Человечью тяжесть ощутив.
Вот и все... И мир загробный тесен...
Там уже не плачут,
Не кричат...

Пули,
Как напев тирольских песен,
До сих пор
В ушах моих звучат.
До сих пор черны мои деревья.
И хотя прошло немало лет,
Нет моих ровесников в деревне,
Нет ровесниц.
И деревни нет.

Я стою один над снежным полем,
Уцелевший чудом в том огне.
Я давно неизлечимо болен.
Памятью
О прóклятой войне...

Время, время!
Как летишь ты быстро,
Словно ливень с вечной высоты.
В Мюнхене
Иль в Гамбурге
Нацисты
Носят, как при Гитлере, кресты.
Говорят о будущих сраженьях
И давно не прячут от людей —
На крестах — пожаров отраженья,
Кровь невинных женщин и детей.

Для убийц все так же
Солнце светит,
Так же речка в тростниках шуршит.
У детей убийц
Родятся дети...

...Ну, а детям мир принадлежит.
Мир — с его тропинками лесными,
С тишиной и песней соловья,
С облаками белыми сквозными,
С синью незабудок у ручья.
Им принадлежат огни заката
С ветерком, что мирно прошуршал...

...Так моим ровесникам когда-то
Этот светлый мир принадлежал!
Им принадлежали
Океаны
Луговых и перелесных трав...
Спят они в могилах безымянных,
Мир цветов и радуг не познав.

Сколько их,
Убитых по программе
Ненависти к Родине моей,—
Девочек,
Не ставших матерями,
Не родивших миру сыновей.
Пепелища поросли лесами...
Под Смоленском, Псковом и Орлом
Мальчики,
Не ставшие отцами,
Четверть века спят могильным сном.

Их могилы не всегда укажут,
Потому-то сердцу тяжело.
Никакая перепись не скажет,
Сколько русских нынче быть могло!

Лишь глаза закрою
В русском поле —
Под Смоленском, Псковом и Орлом
Факелы отчаянья и боли
Обдадут сжигающим теплом.

Тает снег в печальном редколесье.
И хотя леса мои молчат,
Пули, как напев тирольских песен,
До сих пор в моих ушах звучат.

Пока Дмитрий это читал, стояла мертвая тишина, всхлипнула лишь один раз Лена, а следом за ней Кирьян — безногий, совсем поседевший, как и Кружилин, старик. И когда Дмитрий замолчал, стояла все та же тишина, все так же всхлипывали Кирьян и Лена, а вслух сказать никто ничего не решался.

Жена Андрея во все глаза смотрела на Дмитрия, будто никогда раньше его не видела. Зубов сидел, опустив голову, Кружилин глядел куда-то в окно...

И в продолжавшейся тишине, чтобы уничтожить ее, Дмитрий голосом чуть торжественным, но больше веселым заговорил нараспев:

В моей крови
Гудит набат веков,
Набат побед и горьких потрясений!
И знаю я — до смерти далеко —
И вновь зову веселье в час весенний...
Бывает так, что белый свет не мил.
Но вот
В полях последний снег растаял.
И я окно распахиваю в мир
И календарь весны моей листаю.
В тот календарь,
Что весь пропах листвой,
Характер вписан строчкой голубою.
В характере моем —
И озорство,
И выдержка солдата перед боем...
Я слышу —
Соловьи росу клюют.
И солнце поднимается все выше...

Дмитрий оборвал чтение на этих словах «все выше», стал наливать из бутылки.

— Ну, дальше?! — перестав всхлипывать, спросила дочка Наташи и Семена.

— А дальше я, Леночка, еще не написал.

— Как не написал?! — Она шагнула к нему, своему дяде, положила руки на плечи, заглянула в глаза.— Ты что это говоришь? Ты какое имеешь право не написать дальше?

И только теперь за столом зашевелились, заговорили.

— Ты когда, когда их допишешь, эти стихи?

— Не знаю, Лена.— Он осторожно снял ее руки со своих плеч.— Я это стихотворение пишу всю жизнь. И оно никак не дописывается.

— Ты...— Девушка зачем-то поглядела на свою мать, на бабушку.— Ты его пишешь для нее, для Галины из Винницы?

Теперь Дмитрий оглядел всех, усмехнулся.

— Не знаю. Может быть, для нее, может быть, нет... Мне просто хочется передать в нем ощущение полноты, беспредельности и нескончаемости жизни...

Анна и Наташа, слушая их разговор, улыбались. Поликарп Матвеевич Кружилин, тоже наблюдая за Дмитрием и Леной, сказал вполголоса Зубову:

— Федор Савельев пренебрег тем опытом столетий, о котором армянский поэт говорил. Но брат ему этого не простил. Старший сын, Семен, поступил бы со своим отцом так же. И два младших сына — ни Дмитрий, ни Андрей — не простили. В этом — суть нелегкой истории человечества...

* * *

Василий Кружилин мягко спрыгнул на гравий, поставил чемоданчик, положил на него плащ и закурил. Поезд тотчас же вздрогнул, заскрипел, и зеленые, до блеска отмытые дождем вагоны поплыли мимо. С вагонов еще капало.

Там, откуда только что вынырнул пассажирский состав, по-прежнему бушевала гроза, тяжело клубились иссиня-черные тучи. А здесь небо было чистым, земля совершенно суха, и лишь запыленная крыша деревянного блокпоста чуть испятнана упавшими сверху редкими каплями.

— Значит, обманул дождичек-то? — спросил зачем-то Василий у молоденькой девушки в форменном платье, стоявшей неподалеку с желтым, обернутым вокруг древка флажком.

Девушка не отвечала до тех пор, пока не миновал последний вагон. Затем опустила флажок и сказала:

— А когда он здесь у нас по-честному-то шел?

И направилась в блокпост.

Поезд скрылся за невысокими пропыленными тополями, посаженными вдоль линии, лязг железа затих. Теперь слышно было лишь, как погромыхивает уходящая за горизонт гроза.

Василий взял плащ, поднял чемоданчик и зашагал по мягкому проселку вслед за поездом.

Солнце палило невыносимо. Трава по бокам дороги давно высохла, почернела, в ней дружно трещали кузнечики.

Из любопытства Василий сделал шаг в сторону. Трава тотчас захрустела под ногами, как сухари, из-под сапог взметнулись облачка пыли, и кузнечики брызнули во все стороны.

Скоро проселок повернул в сторону от железнодорожной линии, побежал среди лугов. Сладко запахло разомлевшими травами, перегретой землей.

Кузнечиков теперь не было слышно, и ничего не было слышно, кроме одинокой песни жаворонка.

Василий поднял голову, поглядел в бездонную голубизну неба, стараясь отыскать там певучую птичку. Но ничего не увидел, кроме высоты, необъятного простора да плавающего в этом просторе косматого солнца, которое тотчас же ударило его по глазам — и тогда на небе мгновенно проступили миллионы черных точек. Точки быстро увеличивались, превращались в круги, в бесформенные пятна. И все небо затянулось сплошной чернотой.

А жаворонок все же был где-то там, в вышине. Он, кажется, поднимался все выше и выше, стараясь унести ввысь свою песню. Но, видимо устав, умолк, вдруг птичья песня будто беззвучно упала вниз.

«И правильно,— подумал Кружилин, продолжая шагать по проселку.— Зачем уносить песню в пустое, безжизненное небо? Кто ее там будет слушать? Кто ей обрадуется? И само небо-то хорошо и красиво только здесь, над землей, где живут люди. А выше оно черное и холодное.— Подумал и смутился: — Что это я? Мысли какие-то... как у девчонки».

Василий только что окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, в чемоданчике у него лежал только что полученный диплом агронома. Год он проучился заочно, работая одновременно редактором газеты соседнего с Шантарским района, а потом перевелся на стационар.

Учеба в институте, что и говорить, ему далась нелегко. То, что его сокурсники — молоденькие девчонки и пареньки — усваивали шутя, ему приходилось иногда прямо-таки вдалбливать себе в голову. Над ним, случалось, посмеивались и подшучивали, но он, не обижаясь, корпел и корпел над книгами.

Как бы там ни было, институт он окончил не хуже других.

При распределении выпускников Василия хотели направить агрономом в одно из сельских производственных управлений, но он, решив, что управление никуда от него не уйдет, зашел в обком партии и попросился в совхоз или колхоз.

— В любое хозяйство пойду,— сказал он.— Но с особым энтузиазмом пошел бы в шантарский колхоз «Красный партизан». В последнее время там председателем мой отец...

— В «Красный партизан»...— медленно проговорил заведующий сельхозотделом обкома партии.— А ведь это будет правильнее. Вам намного интереснее, хозяйство это вы знаете... До учебы в институте, я помню, уполномоченным там не раз бывали?

— Не раз,— усмехнулся Василий.— Из года в год там держал меня Полипов, бывший секретарь Шантарского райкома партии.

— Да, да... А что, Василий Поликарпович, если несколько по-иному сделать? Если не агрономом, а... председателем колхоза мы тебя порекомендуем туда? Поликарп Матвеевич просит освободить его. И мы понимаем — были бы еще силы у него, не попросил бы. Да вы, конечно, это и сами знаете... Как, а? Мы поговорим с Шантарским райкомом партии, я думаю, райком не будет возражать.

Василий был человеком взрослым, предложению этому он не удивился и ответил просто, без всяких оговорок:

— Если обком и райком партии доверят и колхозники меня примут, я приложу все силы, чтобы такое доверие оправдать.

— Значит, договорились. Поликарп Матвеевич... я думаю, будет рад этому. Передайте ему лично от меня поклон и привет. Мы готовим... Об этом вроде и не положено говорить, да ведь как у нас бывает? Мы не говорим, а все равно всем известно. Мы готовим представление Поликарпа Матвеевича к Герою Социалистического Труда. По совокупности, как говорится, за всю его деятельность... С Москвой это согласовано, и, я думаю, к Ноябрьским праздникам указ появится. Что это вы так горько улыбаетесь?

— Видите ли... поздновато иногда к людям их заслуженные награды приходят.

— Такова жизнь,— усмехнулся и заведующий сельхозотделом.— Иногда награды поздновато приходят, иногда и другое, нечто противоположное... От Полипова Петра Петровича вот мы смогли освободиться лишь в позапрошлом году.

— Где же он сейчас?

— Год он работал в совхозе «Степной» секретарем партбюро.

— Это у Ивана Савельева?!

— Да, в его совхозе. Савельев отличный хозяйственник, прекрасный человек, честный коммунист. «Хорошо, говорит, пусть работает у нас, но предупреждаю: люди у нас прямые, и через год они откровенно выскажут свое мнение о Полипове. Если он что-то поймет в жизни, будет к делу относиться как положено, наши коммунисты его поддержат. А нет — забаллотируют на очередных выборах парткома».

— И что же?

— Прошлой осенью забаллотировали. Даже в партком не избрали. Он сюда, в обком, с жалобой. На кого бы, вы думали?

— На Савельева, я думаю.

— Именно, на директора совхоза. И на одного из секретарей райкома партии — Инютина. Настроили, мол, коммунистов против. Но мы-то знаем, что это не так. Что же с ним делать? На пенсию жить не хочет: «Я, говорит, коммунист с дореволюционным стажем!» И по анкете оно так... И силы, толкует нам, несмотря на возраст, еще имеются. Выбирай, решили мы, любое другое хозяйство, мы еще раз тебя поддержим. И он выбрал. Что, думаете? Совхоз «Первомайский». Там директором Малыгин, что женат на бывшей жене Полипова.

— Интересно...

— Да. «Удобно вам это будет?» — спрашиваем. «Малыгин,— отвечает,— человек порядочный и государственный, а для коммунистов главное порученное партией дело, а не личные отношения и бытовые противоречия».

— Бытовые противоречия?

— Так он выразился.

— Малыгин, я помню, слишком исполнительный был, в рот Полипову все время глядел.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но видите ли, Василий Поликарпович... Малыгин не скажу, что из передовых директоров. Но... жизнь идет, чему-то учит тех, кто хочет или может научиться. Медленно, но учит она и Малыгина. Мы этому радуемся. В общем, позвонил я в Шантару, попросил райком порекомендовать коммунистам «Первомайского» избрать Полипова секретарем парткома. Да, кажется, и там у него не клеится...

Перебирая в памяти весь этот разговор в обкоме партии, Василий Кружилин шел по луговой тропинке. Вспомнил и сегодняшний утренний разговор с Николаем Инютиным в Шантарском райкоме партии.

— Хо! — воскликнул восторженно Николай Кирьянович, которого, несмотря на его тридцать пять или тридцать шесть лет, по имени-отчеству называли лишь в официальной обстановке. А так — просто Николай, а то и того проще — Коля.— Да это ж так здорово, что ты на этот колхоз. Это мой любимый колхоз!

— У тебя не должно быть любимчиков,— сказал Василий.

— Это-то так,— вздохнул Николай,— да ведь у каждого человека есть крупные недостатки.

И он смущенно потер свой горбатый нос.

— Но я с ними борюсь. И жена моя, Дарья Ивановна, все мои недостатки постоянно угнетает, как полевые сорняки. Ну ладно, Вась, значит, так... Ты когда в колхоз поедешь?

— Да я думаю — в день собрания и приеду.

— Ты что, ты что, Василий Поликарпович?! — Инютин сделал круглые глаза.— Не-ет, это будет непорядок. Человек ты для михайловцев не с ветру, это понятно. За годы редакторства со всеми перезнакомился, на каникулах в Михайловку каждый год к отцу приезжал. Это так, тебя знают... Но являться в колхоз гостем — одно, хозяином — другое. Являться туда за несколько часов до избрания председателем — это... это нечестно. И неловко. Так я говорю?

— Пожалуй, что так.

— Именно. Поэтому поезжай сегодня же. Пусть колхозники обо всем узнают заранее, пусть не спеша обсудят и решат. А за пару дней до собрания я туда приеду... Ничего, Вась, все будет хорошо! Дать тебе машину?

— Спасибо. Я сойду на первом полустанке, а там пешком.

— Далеко ж...

— А я хочу пройтись, как помещик, по будущим своим владениям.

— Помещик! — Инютин весело расхохотался.— Ну, давай, помещик... Чем больше будешь ты о людях заботиться, чем больше зерна, мяса, молока и разного прочего давать государству, тем сильнее народ тебя поддерживать будет. Это ж здорово — быть таким помещиком, а?!

— Здорово,— согласился Василий с улыбкой, и это радостное чувство, вызванное утренним разговором с Инютиным, все жило в нем.

Василий знал хорошо эти места, шагал то дорогой, то напрямик, через луга и пастбища, огибая перелески, то едва приметными тропинками. Он шагал нес-

колько часов, иногда присаживался не столько отдохнуть, сколько посидеть и подумать о чем-то. О семье, оставшейся пока в Новосибирске,— он женился на последнем курсе, и к осени у него должен появиться сын или дочь. Устроится вот со всеми делами, съездит за женой — пусть она родит ребенка здесь. О своем отце, которым он всегда гордился, который прожил нелегкую, но честную и полезную для людей жизнь. О себе, о том, что и ему свою жизнь надо прожить не хуже, что ему предстоит наверстать многое упущенное из-за кошмарных лет фашистской неволи.

Женился он не на Лельке Станиславской, на другой. Где она, Лелька, та красивая и пылкая полячка, о которой он часто вспоминал в фашистских лагерях, о которой много думал и после войны? Жива ли? А если жива, где и как ее найти? Перемышль, в котором она жила до войны, отошел к Польше. Там она осталась или переехала в какой-то город Советского Союза? Незамужняя еще или давно вышла замуж?

Сперва он хотел съездить в Польшу, чтобы как-то попытаться найти ее следы и все выяснить. Но сделать это было не так-то просто в его положении. А потом постепенно — такова жизнь! — черты ее стали в памяти тускнеть, он вспоминал ее все реже... Война и все то, что она принесла с собой, разлучили и разъединили их навсегда.

По-прежнему пели и пели над ним жаворонки.

Когда до центральной усадьбы «Красного партизана» оставалось километра три, впереди на дороге показался человек на велосипеде. Когда тот поравнялся, Василий посторонился, чтобы дать дорогу. Но велосипедист неожиданно затормозил и слез с машины.

— Кружилин?! Василий... Вот встреча! Не узнаешь, что ли?

Узнать Петра Петровича Полипова, бывшего секретаря райкома партии, было действительно нелегко: на Василия Кружилина смотрел глубоко ввалившимися глазами усталый, сгорбившийся, давно не бритый старик. Измятый, потертый пиджак, выгоревшая на солнце фуражка, стоптанные, запыленные сапоги...

— Многие теперь не узнают Полипова,— с горькой усмешкой промолвил бывший секретарь райкома.

И Кружилину стало неприятно, хотя он и не мог определить отчего.

— Зачем так...— сказал он.— Я очень рад. Здравствуй, Петр Петрович.

— Здравствуй,— сказал и Полипов, но нехотя, видимо уже жалея, что остановился.

И действительно, ни тому, ни другому говорить было, в общем, не о чем. Оба понимали это и неловко топтались друг против друга.

— Ну как...— У Кружилина чуть не вырвалось далее: «...живешь, Петр Петрович?» Однако в самую последнюю секунду мелькнуло: ведь Полипов по-своему истолкует такой вопрос. И потому, невольно запнувшись, Кружилин закончил:— ...Как жизнь идет в ваших краях? Что нового?

Но даже и в таком, измененном виде вопрос Кружилина не понравился Полипову.

— Чего ей, жизни? Идет, как и в ваших,— промолвил он.

Полипов особенно-то не выделял последние слова — «как и в ваших»,— но все равно Кружилин обратил на них внимание, и опять ему стало неприятно. Вероятно, потому, что при этих словах по губам Полипова пробежала кисловатая усмешка. Впрочем, он тут же ее согнал и спросил:

— Ты, кажется, отучился? Как же, пользовался слухом... Не пойму только, отчего журналистике-то изменил?

— Пока вроде бы отучился, Петр Петрович! Теперь снова сюда, на работу, в свой район.— Кружилин достал папиросы.— Да присядем, что ли. Возьми вот плащ.

— Ничего, я привык без подстилки,— сказал Полипов, опускаясь на обочину.

Кружилину показалось, что сухие, запыленные губы Полипова и на этот раз скривило усмешкой. И, взглянув на него, даже ощутил недоумение — усмешки не было.

Он присел на свой чемоданчик и спросил, чтобы что-то спросить:

— Куда же ты путь держишь, Петр Петрович?

— Держу? Да, кажется, прочь из района держу! — вдруг со злостью выкрикнул Полипов.

— Как это — прочь? Выгоняет, что ли, тебя кто?

Полипов странно поглядел на Кружилина, точно заподозрив его в каком-то обмане, и Василий понял наконец, отчего ему были неприятны усмешки Полипова. Сейчас, без усмешки, эта подозрительность проступала особенно отчетливо. Выходило, он маскировал ее усмешками.

— На этот раз пока не успели из совхоза выгнать. В совхозе «Первомайский» я сейчас. Секретарем парткома. Но — сам ухожу.

— Почему?

— Э-э...— только махнул рукой Полипов.

Некоторое время оба сидели молча. Дым от папиросы Кружилина долго висел над ними в теплом воздухе, рассасывался нехотя.

Летняя гроза в этот день все ходила и ходила где-то неподалеку, за горизонтом, оттуда временами доносились редкие и невнятные раскаты грома, обессиленные расстоянием.

Полипов сидел на краю дороги, неуклюже сгорбившись, уперев локти в колени широко расставленных ног. Время от времени он мотал головой, точно хотел клюнуть свои колени, и сплевывал на землю.

«Полно, да уж Полипов ли это?» — подумал Кружилин, невольно сравнивая его с тем Полиповым, которого когда-то знал. Тот, прежний Полипов, одетый всегда, что называется, с иголочки, всегда чисто выбритый, подтянутый, тот рассеивал вокруг себя властность и одним своим появлением внушал окружающим почтительность. Был он человеком грузным, и, когда прохаживался по кабинету в райкоме, под ним прогибались и поскрипывали половицы. Василий почему-то всегда обращал на это внимание. Ему казалось, что и сам Полипов тоже с удовольствием прислушивается к этому скрипу.

Если что осталось сейчас в Полипове от прежнего облика, то это незастегнутый, широко распахнутый ворот рубахи. И, будучи секретарем райкома, он редко носил галстуки, как бы подчеркивая этой деталью в безупречной одежде свою простоту и демократичность.

Жара палила и палила. Чудилось, где-то там, в луговых глубинах, была раскаленная банная каменка невероятных размеров, и на нее кто-то лил и лил целые речки воды. Пар растекался во все стороны, доставал до проселка, окатывал Кружилина с Полиповым тяжелыми горячими волнами.

— Не сработаемся с Малыгиным. Потому и решил уйти от него,— сказал Полипов.

— На чистых парах, что ли, не сошлись? Я слышал, Малыгин завел их тоже, понял, что нельзя без них...

— Злой ты, оказывается,— с желчью произнес Полипов.— Злопамятный. Почему это большинство людей злопамятны?

— Ты думаешь, большинство?

На этот вопрос Полипов не ответил.

— Не знаю, Петр Петрович, злопамятный я или нет,— продолжал Кружилин,— но твои не столь уж давние рассуждения о доморощенных демагогах, об идейно незрелых людях, которые не видят, что наши колхозники и рабочие творят чудеса, и только кричат, что мы не умеем хозяйствовать, я, видно, никогда не забуду.

Полипов потрогал велосипедное колесо, проверяя, хорошо ли оно накачано.

— Да, конечно, мы с тобой не очень дружно жили,— сказал он.— Особенно после этого разговора. Но слова что! Главное не слова, а дела. Признайся, зло на меня ты держишь не за эти слова, а за то, что я потребовал убрать тебя из района? Нет, что ли?

И в голосе Полипова явственно прозвучали даже торжествующие нотки.

А Кружилин глядел, глядел на него во все глаза, все более удивляясь. Да, собственно, так оно и было. Полипов, истинный, настоящий, как ему показалось, Полипов только сейчас, после своего последнего вопроса, предстал вдруг перед ним во всей наготе. «Да ведь он же, несмотря на свой возраст, непроходимо глуп! — думал Кружилин.— Как я раньше этого не замечал?»

— Ну, так что ты молчишь? Отвечай,— тем же голосом произнес Полипов.

«И как другие не замечали? — продолжал невесело размышлять Василий.— Хотя почему не замечали? С секретарей райкома партии убрали. Из совхоза «Степного», от Савельева, тоже. А от Малыгина теперь сам бежит. Даже от Малыгина!»

Кружилину стало как-то легче, свободнее, несмотря на то что Полипов опять скривил губы.

— Ах, Полипов, Полипов! — невольно произнес он.

Губы Полипова дрогнули, он быстро провел по ним рукой и словно стер свою усмешку.

— Ну что Полипов? Что Полипов?! — дважды воскликнул он. Голос его сухо потрескивал, и было заметно, что он сдерживается, боясь сорваться. Кружилин не без интереса следил, справится ли Полипов с собой.— Ну, слушай, на чем я не сошелся с Малыгиным. На кукурузе. Ее, как ты знаешь, рекомендуют сеять квадратно-гнездовым способом. А Малыгин посеял нынче узкорядным...

— И правильно сделал,— сказал Василий.— В здешних местах только так и надо сеять кукурузу на силос. Только при этом способе посева на наших землях получается самый высокий урожай!

— А я не понимаю, что ли?! — выкрикнул Полипов.— Да, если посеять кукурузу узкорядно, урожай будет выше. Да, иногда хлеб выгоднее косить напрямую, чем раздельно убирать. Понимаю, не дурак. А что делать? Сверху-то требуют кукурузу сеять только квадратами, а хлеб убирать раздельным способом — сперва в валки его укладывать, а потом подбирать и обмолачивать. Меня ведь не уговаривают, а требуют. Да, требуют в безоговорочном порядке. Обеспечить линию партии в вопросах сельскохозяйственной практики — и точка! Обеспечить посев такого-то количества зерновых культур! Обеспечить в таких-то размерах хлебозаготовки! И приходилось выгребать семенное зерно и фураж в колхозах, приходилось... Вот и та история с кукурузным полем в «Красном партизане»... Ты эту историю помнишь, конечно. Твой отец выпалил мне тогда по телефону: не ожидал, дескать, такой подлости от тебя, Петр Петрович. Что ж, я даже могу и согласиться. Подлость не подлость, а... неприятно, в общем. Но приходилось и на это идти. Все так делали... или примерно так.

Полипов, глядя куда-то вбок, несколько секунд тяжело дышал. Затем, чуть успокоившись, достал носовой платок и вытер потные лицо и шею.

— Вот так, уважаемый Василий Поликарпович,— сказал он, пряча платок.— А Малыгин, этот недоносок... мной же выкормлен! И сзади, и спереди, и с боков я подпирал его, чтоб не упал... А теперь он мне, видишь ли, популярно вздумал объяснить, что я заскорузлый и отсталый человек, что такие методы руководства людьми и сельским хозяйством давно, дескать, осуждены партией. Мне, коммунисту с дореволюционным стажем!

Василий Кружилин безмолвно сидел напротив Полипова.

— Так что же ты молчишь, Василий Поликарпович?

— Да... Не враз и сообразишь, что ответить... на такое откровение,— произнес Кружилин.

— Верно. Сложна она, жизнь-то.

И в голосе Полипова снова прозвучал какой-то торжествующе-снисходительный оттенок.

— Сложна, Петр Петрович. И в конце концов тебе придется ответить самому себе на один-два вопроса.

— Ответим. Хоть на десять. И хоть сейчас,— проговорил Полипов. Однако в голосе его уже не было и намека на торжествующие нотки. Он снова полез за платком, хотя теперь в этом не было надобности.

Василий усмехнулся, и это отчего-то подхлестнуло Полипова.

— Давай эти самые вопросы! Если наконец сообразил кое-что...

— Зачем уж с такой, мягко говоря, иронией? А вопросы? Ну что ж. Это верно, коммунист ты с дореволюционным стажем. Но вот ты не задумывался пока, отчего оно так происходит... Ты уверен, что правильно руководил людьми в сельском хозяйстве. Ты отстаиваешь одно, отстаиваешь другое. То прогрессивный метод уборки, то передовой прием агротехники. Ты, по твоим словам, всегда борешься за линию партии в этих вопросах, всегда проводишь ее неуклонно. А тебя отовсюду... освобождают. Люди же, перед которыми ты «отстаиваешь», против которых «борешься», идут себе да идут вперед и дальше. Обо всех я не буду говорить,

возьмем для примера двоих хотя бы — Савельева Ивана и Малыгина. Савельев — директор крупнейшего в области совхоза, у Малыгина совхоз поменьше, но, судя по всему, умнеет человек, набирает силу. Недавно я был в обкоме партии, о Малыгине зашел разговор... Хорошо там говорят о нем, ценят и поддерживают. Не за красивые глаза, видимо. И уж не за то, наверное, что Малыгин этот идет против партийной линии в сельском хозяйстве. Почему же оно так?

Полипов выслушал все это молча и внешне спокойно. Он только опять отвернулся от Кружилина и с какой-то тоской глядел в ту сторону, где все еще ходила и ходила летняя гроза, куда уплыли черные, тяжелые тучи, завалившие недавно весь горизонт.

Кружилин терпеливо ждал. И, чувствуя, что, чем дальше, тем невыносимее будет его молчание, Полипов дернул щекой, хрипло выдавил из себя:

— Так... Валяй уж дальше.

Кружилин покачал головой и поднялся с чемоданчика.

— Тяжело, стало быть, отвечать?

— А я уж на все вопросы сразу.

— Вряд ли сумеешь сразу-то, если на один не можешь... или не хочешь. Почему вот от Малыгина уходишь?

— Я объяснял.

— Непонятно ты объяснял. А может быть, даже нечестно.

— То есть как нечестно?

— Видишь ли... Да, я помню, как отец мой тебе тогда насчет подлости говорил. Я в то время, если ты не забыл, находился в колхозе в роли никому не нужного уполномоченного. Словом, слышал ваш телефонный разговор. Я стоял рядом с ним. Отец тебе еще и насчет совести говорил. Помнишь, он советовал тебе бояться ее? Так вот, думаю, не проснулась ли она наконец в тебе? Не она ли погнала тебя из совхоза?

Полипов рывком оторвал свое тело от земли, вскочил. Губы и щеки его тряслись, все лицо было искажено. Он сжал кулаки и сделал шаг к Василию Кружилину, сыну Поликарпа Матвеевича Кружилина. Но тут же опомнился, отступил назад, сунул руки в карманы пиджака.

— Мальчишка! — выкрикнул он, как когда-то в своем секретарском кабинете.

* * *

Сам того не ведая, попал Василий Кружилин в самое больное место Полипова. Тот никогда не знал и никогда не понимал, что это такое, человеческая совесть, но, когда ему о ней говорили, он зеленел, весь начинялся злостью, а под старость стал взрываться прямо порохом, как и сейчас произошло.

И не только совести — многого не понимал Петр Петрович Полипов. Например, что ему говорил тогда в Шестокове этот выходец из загробного мира Лахновский, о каких таких силах, могущих якобы подмять под себя весь мир, толковал ему и почему отпустил его подобру-поздорову; почему ушла от него, Полипова, жена; почему в конце концов ему осторожно стали намекать, не желает ли, мол, он отправиться на покой.

— Спасибо за заботу, товарищи! — с улыбками отговаривался он.— Я чувствую, что есть еще силы. На здоровье не жалуюсь...

— Человек, Петр Петрович, всегда переоценивает свои силы,— мягко говорили ему.— И закон предусматривает, что в шестьдесят лет...

— Он предусматривает, но ничего не определяет категорически.

Наконец ему прямо сказали, что пора уходить. Он, теперь растерянный, изо всех сил пытался как-то удержаться на поверхности:

— Товарищи! Дорогие товарищи! Да мало ли секретарей райкомов в моем возрасте... Может быть, в другой район? Я в Шантаре действительно засиделся...

— И в нашей области, и повсюду в стране идет омоложение руководящих партийных кадров.

С трудом он добился, чтобы его порекомендовали хотя бы секретарем парторганизации колхоза или совхоза...

Потом он не понимал, почему через год коммунисты совхоза «Степной» не избрали его даже в партком. Не понимал, почему нынче весной директор другого совхоза, Малыгин, со злостью сказал ему:

— Не годами ты одряхлел, Петр Петрович, а умом. Кто сейчас так руководит людьми? Никого никогда не выслушаешь, кричишь на них...

— Это ты мне?! — аж задохнулся Полипов.— Мне, который тебя... вот с этой руки выкормил?

— Ты выкормил! — еще злее заговорил Малыгин, часто хворающий после фронтовых ранений человек. Невысокий ростом, с лицом, глубоко испаханным морщинами, он стоял среди только что засеянного кукурузой поля упрямо и крепко, и Полипову даже показалось, что, если толкнуть его, он даже не покачнется.— Не так выкармливают, если в это слово порядочный смысл вложить. Птицы вон выкармливают своих птенцов, а потом летать учат. Так Кружилин делал, хлестал, когда надо, когда за дело... Уму-разуму людей учил. А ты — не уму, а дурости и глупости!

— Спасибо,— желчно произнес Полипов.— Ладно, поглядим. Это поле ты засеял узкорядно. Поглядим, какие шишки на тебя за это повалятся.

— Ну и что ж? Зато с силосом будем. Будет чем зимой скот кормить.

— Значит, ты за отсталую агротехнику?

— Нет, я за передовую. Это ты за отсталую...

Так они поговорили нынешним теплым весенним днем да и поехали с поля в деревню. Ехали молча. И уже возле самой усадьбы Полипов спросил:

— По всему видать, не приживусь я и у вас? Осенью, на отчетно-выборном, не изберете меня в партком?

— Это дело коммунистов,— сухо ответил Малыгин.

— Коммунисты тебе, директору, в рот смотрят.

— Напрасно так думаешь,— усмехнулся Малыгин.— У каждого своя голова на плечах.

— Ну, а ты-то? Ты... «за» или «против» меня будешь голосовать? Честно только.

— А что же не честно? Я — против.

Так они перемолвились перед самой деревней. И когда подъехали к конюшне, Полипов уронил смешок:

— Все понятно. Ты с моей бывшей женой живешь. И тебе неловко, что я рядом.

— А вот тут ты и вовсе дурак,— сказал Малыгин и пошел прочь, велев конюху распрячь коня.

Еще прошлой осенью, когда Полипов вместе с Николаем Инютиным впервые приехал в совхоз, Малыгин спросил:

— Мне, Петр Петрович, известно — сам ты попросился в наш совхоз. Я не возражаю, но ответь: почему в наш?

— Да я же тебя сколько знаю?! Мы с тобой сработаемся.

— Я, говорю, не возражаю... Но прости, Петр Петрович... удобно тебе будет? Я женат на Полине Сергеевне.

— Этот вопрос возникал в обкоме партии и у нас...— проговорил Николай Инютин.

— Возникал,— кивнул Полипов.— И я отвечу так, как отвечал в обкоме и в райкоме, дословно. Вот что я отвечал: «Малыгин человек порядочный и государственный, а для коммунистов главное — порученное партией дело, а не личные отношения и бытовые противоречия». Так я отвечал... А личные отношения — что ж, нормальные, по-моему. Разве ты что почувствовал против себя, когда я был секретарем райкома?

— Да нет... ничего,— сказал Малыгин.

— Ну вот! А Полина Сергеевна... Сколько лет-то прошло? Два десятка лет с того дня, как я на фронт ушел, как мы расстались! Целая жизнь, и мы давно чужие...

Да, они были чужими и при встречах лишь здоровались. Только один раз Полипов немного поговорил с бывшей своей женой. Случилось это нынче в апреле, когда стаял снег, но земля была еще холодна. Полипов ехал в поле, а жена Малыгина возвращалась откуда-то в плетеном коробке и, поравнявшись, как всегда лишь кивнула головой. Но Полипов натянул вожжи.

— Полина Сергеевна! Можно на минуточку?

Она остановила мерина, он слез с ходка, подошел к ней.

— Еще раз здравствуй. Откуда ты?

— В Шантару ездила. Дочери деньги перевела, она в Москве учится, как ты знаешь... Еще кое-какие свои старушечьи дела сделала.

Да, ей тоже уже подходило под шестьдесят, кожа на лице, на шее у нее давно одрябла, вокруг глаз густая сетка морщин. Но глаза глядели на мир весело, не устало.

— Так что тебе? — спросила она, видя, что Полипов молчит.

— Видишь вот, как судьба меня под конец... в грязь вмесила? Не удивилась, что я тут, в этой дыре, оказался?

Она оглядела его, вздохнула, но ничего не ответила.

— Вспоминаешь... или хоть как-то думаешь обо мне иногда?

— Нет,— ответила она.

— Спасибо за откровенность.— В голосе его была обида.— Все-таки и со мной ты прожила немало.

— Немало... А вспомнить нечего. Я жить когда начала? Когда Малыгина встретила. Вот тогда и начала жить.

— Физически, что ли? — усмехнулся он.

В глазах у Полины Сергеевны вздрогнули злые точки.

— И физически тоже! — проговорила она резко.— Сошлась я с ним сперва от тоски по мужчине. А когда забеременела... От тебя не могла — ты бесплодный. Когда это случилось... и матерью потом стала, мир для меня открылся. Совсем другой. И Малыгин сам открылся... Он мягкий и добрый человек.

— Ну да... А я злой,— сказал он, глядя в землю, переступив с ноги на ногу.— Детей пугают такими.

— Ты? — насмешливо переспросила она.— Ты — хуже... Ну, не делай такие невинные глаза. Ты человек страшный. Никто ведь не знает, какой ты... А я знаю. Одна на всей земле. Лахновский знал, да теперь нет его, конечно, в живых. Елизавета Никандровна, жена Антона Савельева, знала...

Полипов поднял на нее сразу посеревшее, сделавшееся каменным лицо.

— Да, она догадывалась и была уверена, что это ты выдавал царской охранке ее мужа. Она работала в библиотеке перед смертью... Она и работать стала там, чтобы заставить меня признаться, чтоб я подтвердила, что это ты его выдавал... И я подтвердила!

— Ты-ы?! — простонал он, шагнув ближе, схватил дрожавшими руками вожжи, будто намереваясь вырвать их у нее.

— Убери руки! — строго произнесла она.— Что, испугался? Да, я в горячке ей это в лицо бросила... подтвердила все! Но она этого не перенесла, тут же и скончалась... Так что я виновна, выходит, в ее смерти.

Полипов сделал шаг назад, опять поглядел на грязную, не просохшую еще дорогу.

— И сильно каешься в том? — спросил он теперь негромко.

— Вроде бы я виновна... А на самом-то деле — ты, ты! — воскликнула она вместо ответа на его вопрос.— И в ее смерти ты виновен!

Крик ее, взлетев под холодное небо, где-то замолк там, потерялся.

— Не кричи, пожалуйста,— попросил он, уже успокоенный окончательно.— Не будем уточнять меру вины друг друга... скажем, за Кошкина там, за Баулина, Засухина. Ты все подталкивала меня, чтоб посадить их.

Бывшая жена Полипова слушала, презрительно изогнув высохшие губы. И когда он умолк, разомкнула их:

— Вот что, милый... Моя доля вины пусть со мной и останется. А свою ты возьми уж себе. Моя совесть пусть меня и мучает. А твоя пусть с тобой живет! — Она подобрала вожжи, но прежде, чем тронуть лошадь, добавила с усмешкой: — Хотя что я говорю! Тебе ж неведомо, что это за штука совесть. Вот у камня ее нет, у бревна нет. И у тебя также... Несчастный!

* * *

Вот почему вспыхнул, как порох, Петр Петрович Полипов, когда Василий напомнил ему слова отца своего о совести. Он топтался на пожухлой траве, не вынимая рук из карманов. Он держал их там, как палки, оттягивая карманы пиджака вниз, едва не продирая их.

— Да, да, мальчишка! — еще раз воскликнул он.— Ты с какого года в партии?

— С пятьдесят первого,— ответил Василий Кружилин.— Но что это меняет?

— А я... со времен организации РСДРП! С тех времен, когда только возникла в подполье Российская социал-демократическая рабочая партия. Во времена первой русской революции я уже в царских тюрьмах сидел. Тебя еще на свете не было, а я уже по тюрьмам насиделся! И потом... все время в борьбе, все время в огне! Как порох-то пахнет, ты разве только в газетных полосах нюхал. А я пол-Отечественной... с сорок третьего на фронте! Ранение имею... Две награды боевые! Не много, но я их заслужил. А сколько я товарищей боевых потерял!

Да, ранение Петр Петрович Полипов имел, это он сказал правду. Правду он сказал и про награды, и про потерю боевых товарищей... Не сказал лишь и никогда никому не скажет, как он там, на фронте, встретился и распрощался с Лахновским Арнольдом Михайловичем, тоже с товарищем своим по давним делам. Тогда, в июле сорок третьего, кривоплечий Алексей Валентик обратно перевел его за линию фронта, на советскую сторону, сказал на прощанье: «Весь фронт в движении. Ступай, дурак, в какую-нибудь часть, позвони оттуда в свою редакцию: жив, мол, материалы собираю для статьи, скоро вернусь... С каким бы удовольствием я тебя пришлепнул, идиота, да Лахновский, старый пень, не велел». Полипов так и сделал, на другой день объявился в редакции как ни в чем не бывало... Не сказал обо всем этом Петр Петрович Полипов, а Василий Кружилин этого, естественно, не знал. И никто другой не знал. И, будучи в том уверенным, во весь голос кричал Полипов:

— Так какое ты имеешь право говорить о моей совести?! Этого я и отцу твоему никогда не прощу, а тебе... проведшему всю войну в плену...

Василий побледнел, медленно поднялся, сжав кулаки. Но Полипов этого не испугался, стоял и ждал с улыбочкой. «Что за дьявольщина? — мелькнуло у Василия.— Неужели это он на провокацию вызывает? Не хватало еще...»

По скулам у него прокатились желваки. Но он взял себя в руки, спокойно сказал:

— Что же, пороху столько, сколько ты, я, может, и не нюхал. Но я другого нанюхался... Фашистских плетей, фашистской неволи. И потому-то я чувствую, как и чем земля родимая пахнет, этот ветер, это небо! Тебе этих запахов, кажется, никогда не почувствовать, хоть ты и в царских тюрьмах сидел. Так что... не очень ловко в наступление ты перешел.

— В какое еще наступление?

— Ну, не прикидывайся. На вопросы мои сам напросился. А отвечать, видно, не готов еще.

Полипов нагнулся, поднял свой запыленный велосипед.

— Просто пропало желание отвечать.— Полипов поставил одну ногу на педаль велосипеда, собираясь сесть в седло, и добавил насмешливо: — Но чего тебе-то так уж сожалеть об этом? Тебе важно ведь, чтоб я самому себе ответил.

— Конечно, это важнее,— согласился Кружилин.— Да, видно, не скоро это произойдет...

— Тебе откуда знать, скоро или не скоро? — почему-то заинтересованно спросил Полипов и даже снял ногу с велосипедной педали.

Кружилин поднял плащ, перебросил его через руку.

— А оттуда... Сперва мне показалось, что совесть у тебя...

— Опять о моей совести?!

— А ты помолчи! — воскликнул Кружилин.— Да, показалось, что она у тебя шевелиться начала. Но я, кажется, ошибся.

Полипов, будто выполняя приказание Кружилина, теперь стоял и молчал.

— Ты, Петр Петрович, одного не можешь понять. Или не хочешь... Верх окончательно берут такие, как Иван Савельев, как Малыгин. Они тебя вытеснили отовсюду. Вот почему ты не в состоянии ответить на мои вопросы. А если в состоянии, но уходишь от них сознательно, то еще хуже.

Кружилин ожидал, что Полипов будет возражать, оправдываться. Но тот только спросил с холодной отчужденностью:

— А ты бы уж заодно и объяснил, не в состоянии или сознательно, раз... раз этакий у тебя... талант психолога.

— Этого объяснить пока не могу.

Стоя друг против друга, каждый теперь понимал, что лучше бы им скорей разойтись. Однако Кружилина задерживало любопытство: чем же кончится эта их случайная встреча?

Медлил и Полипов. Он отвернул глаза в сторону и потирал ладонью никелированный руль своего велосипеда. Потом решительно встряхнул машину, словно дернул лошадь за удила.

«Все равно не уедет,— подумал Кружилин.— Он все-таки понимает, что это будет походить на бегство, на позорное отступление. Не уйдет, не попытавшись как-то взять верх. Но интересно как?»

Кружилин решил ждать до конца и даже положил обратно на чемоданчик плащ, полез за папиросами.

Полипов отлично понял все мысли Кружилина. Понял и даже смерил его глазами с головы до ног с откровенно снисходительным превосходством.

Однако и Кружилин понял, что этот взгляд бывшего секретаря райкома на сей раз какой-то искусственный, показной.

— Значит, думаешь, что прижал меня в угол? — тихо спросил Полипов. Василий только пожал плечами.— И ждешь, как я из него... из этого положения выйду?

— Ну что ж. Это тоже интересно.

— Да... Но только мне выходить ниоткуда не надо. И никуда ты меня не загнал. Конечно, в последние годы судьба меня не балует, в этом ты прав. Пришлось... работу в райкоме, а потом и в совхозе «Степной» оставить...

— Осторожные, однако, формулировочки. Жалеешь, что ли, себя? А когда-то не выбирал выражений. Некогда, мол, выбирать, которые помягче, дело делаем...

— А ты не перебивай! — повысил голос Полипов.— Я твои вопросы выслушивал спокойно.

— Хорошо,— коротко сказал Кружилин.

— Ну вот... Только рано вы собрались хоронить Полипова. Жив еще Полипов. А формулировки... Я и сам понимаю — наломал дров порядочно, как уж тут ни формулируй. Партия поправит...

— Сколько же можно поправлять тебя? — не выдержал все-таки Кружилин.

— Во-он ты каков, оказывается! — уже сквозь зубы выдавил Полипов.— А ведь мы терпеливее относились к вам.

— Погоди, погоди... Кто это — мы? И к кому это — к вам?

— Ишь ты, как за слова хватаешься. К тебе вот, в частности. А мы — это старшее поколение.

Кружилин снова взял свой плащ.

— Ладно, Петр Петрович, кончим бесполезный разговор.

— Действительно,— согласился Полипов.— Только, повторяю, не торопитесь сбрасывать со счетов нас. Как бы ни работали, какие бы перегибы ни допускали, мы свято верили в дело партии, в великое дело...

— Слушай, Полипов, ты это всерьез проводишь разделение на «вас» и «нас»? — перебил его Кружилин и поглядел ему прямо в глаза.

— Какое... разделение?! — вспылил Полипов. И потому, что вспылил, Кружилин понял: на этот раз Полипов чуть растерялся.— Не хватайся, говорю, за слова.

— А нет разве? И коль уж делишь, то позволь спросить: вы, старшее поколение, верили в дело партии, а мы, пришедшие вам на смену, по-твоему, не верим?

— О-хо-хо! — вздохнул Полипов.— Вон какие далекие выводы, оказывается, можно сделать, зацепившись за одно слово. Вон как можно повернуть. Но, во-первых, никакого разделения я не провожу. Во-вторых, я просто хотел сказать, что мы, совершившие в семнадцатом году революцию, воздвигли еще Днепрогэс и Магнитку, неплохо справились с коллективизацией, с индустриализацией, построили, черт возьми, социализм. Ты что же, отрицать это будешь?

— Нет.

— Я считаю, что в этом есть доля и моего труда. А если так, почему же мы бросовые люди?

— Я тебе этого не говорил.

Полипов тупо уставился на Василия Кружилина, долго на него глядел, поч-

ти не мигая. Видимо, он и сам уже засомневался, говорил или не говорил Кружилин такие слова.

— Это ты сам придумал,— усмехнулся Василий.— И вот почему придумал, мне это понятно стало наконец. Не-ет, ты, оказывается, кое-что понимаешь. Ты чувствуешь, что новые времена наступили, что ты и тебе подобные полностью себя...

— А в самом деле, прекратим-ка мы этот спор,— не дал ему договорить Полипов и поглядел на часы.— Того и гляди, опоздаю.

— Куда торопишься так?

— В райцентр. Насчет того, что я из района хочу вон, это в горячке вырвалось. Годы и годы здесь прожил, сроднился. Живое-то рвать как?! Хочу самостоятельную работу попросить.

Кружилин двинул бровями.

— И что-нибудь дадут, я думаю. Попрошусь, скажем, в «Красный партизан», на место твоего отца. Он собирается на отдых. А у меня есть еще порох. И, если доверят, докажу, что кое на что способен еще... Ну, прощай.

И Полипов быстро вывел велосипед на середину дороги.

— Постой, постой! Ты это серьезно? — опомнившись, проговорил Кружилин.

— Почему же нет?

— Но ведь... ты за один год колхоз угробишь. Ты сразу же чистые пары ликвидируешь.

— Нет, зачем же... Я понимаю: на парах все хозяйство «Красного партизана» держится. Пусть мои парторги выговоры получают, а я буду только голову нагибать, как бык. Как отец твой. Как Савельев или Малыгин тот же.

— Та-ак! — воскликнул Василий и со злостью схватил с земли ни в чем не повинный чемоданчик.— Ничего ты, Полипов, не понял, оказывается, за эти годы... с тех пор, как тебе пришлось, по твоему выражению, работу в райкоме партии, а потом и в совхозе «Степной» оставить.

— Ишь ты! Твои слова, я сказал бы, тоже несколько ядовиты, но ведь не поверишь.

— А насчет «Красного партизана»... что ж, езжай, попробуй.

— И попробуем! Если не возражаешь,— насмешливо бросил Полипов. Но улыбка на его лице вдруг начала таять.

Полипов точно впервые заметил в руках у Василия Кружилина плащ, дорожный чемоданчик и смотрел и смотрел на них не отрываясь.

— Погоди, Кружилин. Это что же?..— Голос его изменился.— Ты же агроном теперь. Уж не тебя ли... в «Красный партизан»?

— Меня,— сказал Кружилин.— И тоже по просьбе. Правда, я просился агрономом, а мне предложили председателем.

— А-а... а почему? — промолвил Полипов, не замечая, что вопрос его повис в воздухе беспомощно и глупо.

— Почему мне доверили эту работу, не знаю,— сказал Василий.— А почему я попросился в колхоз... Это я могу тебе объяснить. Только издалека придется. Помнишь, ты распекал меня когда-то за статьи о колхозе «Красный партизан», о его председателе Иване Савельеве, обвиняя, что районная газета берет его под защиту, а я занимаюсь каким-то «индивидуальным оппозиционерством»?

Василий помолчал, ожидая ответа. Но Полипов, опустив голову, разглядывал носки запыленных сапог Кружилина.

— Я тогда действительно старался как-то помочь Савельеву и отцу в их борьбе против тебя... А ты не ухмыляйся, Петр Петрович. Именно в их борьбе против тебя! Я понимаю, что помощь эта была мизерная. Но как помочь лучше, я тогда не знал.

— Сейчас, получается, знаешь? — хрипло бросил Полипов.

— Знаю. И — можешь верить, можешь нет — я впервые догадался, какая помощь им больше всего нужна против таких вот, как ты, в тот момент, когда ты читал мне лекцию о доморощенных демагогах, об умении видеть перспективно. Правда, догадка тогда мелькнула смутно. Мне показалось, что лучше всего будет встать рядом с такими, как мой отец, как Иван Савельев, в одну упряжку и тянуть, насколько сил хватит... Потом все более прояснялась эта мысль. И я пошел в сельскохозяйственный.

Полипов рассматривал теперь носки своих сапог, точно сравнивая их с кружилинскими. Губы его были крепко сжаты. Василий заметил, что на виске у Полипова напряглась и проступила синеватая жилка.

— Ну что ж,— разжал он губы,— помощь, я думаю, могучая подоспела. И, главное, вовремя.

— Знаешь, Петр Петрович, меня ведь нисколько не трогают твои усмешки. Справлюсь ли с колхозом, я еще не знаю. Во всяком случае, буду работать честно.

— Я, что ли, не...— вскинул было голову Полипов, но тут наконец понял, что возражать собирается по привычке, что Василий Кружилин встретит его слова смехом, и только махнул рукой и склонился над велосипедом.

— Прощай, Петр Петрович,— сказал Кружилин.

Полипов не откликнулся, не пошевелился. Вся его согнутая фигура стала жалкой, тоскливой и каким-то странным образом выражала незаслуженную обиду.

Василий Кружилин повернулся и зашагал своей дорогой.

Шагалось ему легко. То ли оттого, что жара немного спала, то ли оттого, что тяжелый, неприятный разговор с Полиповым наконец кончился.

В высоком небе по-прежнему пели жаворонки. «Странно,— подумал Василий,— почему же они не пели во время встречи с Полиповым? Или я, разговаривая с ним, просто не обращал внимания на их звон?»

Василий сделал усилие, чтобы вспомнить, пели жаворонки, пока он сидел на чемоданчике, или нет.

Но вспомнить не мог.

Дорога взбежала на пригорок, и тотчас внизу, в лощине, показались крыши домов и хозяйственных построек «Красного партизана».

Взойдя на этот пригорок, Василий Кружилин оглянулся. Оглянулся просто так. Полипова увидеть он не рассчитывал, думая, что тот уже уехал. Но Полипов, оказывается, сидел на том же месте, где Василий его оставил. Он сидел, поставив локти на колени согнутых ног, обхватив ладонями опущенную к земле голову.

Рядом валялся его велосипед.

* * *

Где-то в августе, когда зажелтели верхушки берез, когда на уставшую от летнего зноя землю уже падали первые листья, отжившие недолгий век свой, в новой, недавно отстроенной шантарской гостинице поселились две женщины — одна лет примерно сорока, немного огрузневшая, с неестественно черными, видимо, крашеными волосами, другая совсем юная, хрупкая, с большими светлыми, радостно удивляющимися каждому пустяку глазами.

Устроившись в номере, приезжие попили чаю в гостиничном буфете, потом до вечера ходили по улицам Шантары, с любопытством рассматривали деревянные и невысокие кирпичные дома, подошли к проходной завода, который дымил высоченными красными трубами.

— Здесь он работал... отец? — спросила девушка.

— Да, Ирочка. Другого завода здесь нет. Он рассказывал, что этот завод был эвакуирован сюда в годы войны.

— А может быть, и сейчас тут работает?

— Может быть...

— Мамочка, я хочу... хоть на одну секундочку увидеть отца.

— Ирочка... Я устала, меня уже ноги не держат, идем в гостиницу. И — как увидишь? И вообще, зачем эта нелепая поездка сюда?

Это были Ольга Королева и ее дочь. Дочь ее и Семена Савельева. Но обе они не носили этих фамилий. Обе были Алейниковы.

После трагической гибели Якова Николаевича, происшедшей осенью сорок четвертого, Олька жила с дочерью несколько лет в Тернополе, а затем переехала в Харьков, стала работать на тракторном заводе рядовым бухгалтером.

Еще в Тернополе она сделала операцию. Молодой и улыбчивый армейский хирург удачно срезал безобразивший ее рубец на щеке, некоторое время на месте рубца была лишь красноватая полоска, но постепенно краснота исчезла, и теперь вдоль щеки, нисколько не портя выражения лица, пролегал лишь неглубокий и

незаметный почти шрамик. Волосы на сожженной кислотой голове тоже отросли, на местах бывших проплешин они были, правда, пореже, но Олька вполне обходилась без парика. Они только побелели, ее волосы, как снег, и потому она их красила.

Замуж Ольга Яковлевна не вышла, хотя находилось два или три человека, питавших к ней настоящие чувства. Не вышла не потому, что любила Семена. Нет, она его никогда не любила. То, что произошло один-единственный раз между ними, произошло под влиянием пережитого и сложившихся на ту минуту необычных и трудно объяснимых постороннему обстоятельств. От этого одного-единственного раза родилась Ирина, и Олька, Ольга Яковлевна, об этом не жалела, наоборот, она была за это благодарна Семену. Жизненные пути их так неожиданно, случайно пересеклись и разошлись навсегда, жив он или сгорел в пламени войны, она не знала, но думала иногда обо всем этом как-то равнодушно. Замуж она не вышла потому, что перед глазами, едва она задумывалась о будущей супружеской жизни, неизменно возникала распятая немцами на полу мать, она видела обращенные к ней ее глаза, обезумевшие и уже неживые, слышала ее ужасный последний крик: «Доченька, бросай!», в ушах возникал грохот взорвавшейся в комнате брошенной ею, Олькой, гранаты. Видела это, слышала это — и не могла преодолеть в себе неизменно возникавшего отвращения при одной мысли о физической близости с кем бы то ни было.

Таким вот образом повлияла на нее эта страшная трагедия, одна из многих тысяч и миллионов человеческих трагедий в то жуткое военное время.

В Харькове Ирина окончила десятилетку, окончила с золотой медалью, но, всегда упрямая и непонятная для матери, поступать в какой-либо институт или университет наотрез отказалась, заявив:

— Высшее образование я получу, мама. Я буду инженером по сельхозмашинам. Но буду учиться заочно. А сейчас пойду работать на ваш завод. Учеником токаря. Буду сперва токарем.

— Боже мой, почему... токарем?!

— Я так хочу.

— Ирочка! Ну хорошо, пусть заочно... Но почему ты хочешь стать... инженером по сельхозмашинам? Это же не очень... не очень как-то и подходит женщине.

— Ошибаешься, мама, великолепно подходит,— ответила упрямая дочь, и Ольга Яковлевна Алейникова поняла, что спорить с ней, как всегда, бесполезно.

Ирина теперь действительно учится в институте при заводе, работает токарем, является комсоргом цеха и в прошлом году еще записалась в заводскую секцию альпинистов.

— Ну хотя бы вид спорта могла выбрать для себя какой-нибудь иной! — сказала недовольно мать, помогая ей собираться на первые альпинистские сборы.— Не женское дело по горам лазить.

— А женское дело разведкой в тылу врага заниматься?

— Тогда была война, Ира.

— Сейчас войны нет... Но человек всегда с чем-нибудь воюет. Когда я стою на балконе, у меня голова кружится.

— Тем более я тебя не пущу!

— Мама! Ты же знаешь, я хорошая тебе дочь. Но здесь я не послушаюсь. Я хочу победить этот недостаток в себе и сделаю это. Зачем мне, чтобы голова кружилась?

Такая была она, Ирина, хрупкая светлоглазая девчонка. Она не хотела, чтобы у нее на высоте кружилась голова.

Весь мир она воспринимала удивленно и восторженно, на каждого человека смотрела так, будто хотела спросить: а откуда ты, что с тобой было в прошлом, зачем ты живешь сейчас и не знаешь ли, что с тобой станет в будущем?

Хотела, но не спрашивала, а у матери своей спросила давным-давно, будучи еще школьницей:

— Мама, а кто мой папа? Почему мы живем одни?

Задав эти два вопроса, она поглядела на мать глазами совсем не детскими. Во взгляде ее были и страх, и тоска, и предупреждение какое-то: правду, мол, только скажи, для меня очень важно знать эту правду, иначе я не знаю, зачем жить... И еще в ее глазах было ожидание какой-то радости.

— Ирочка, когда ты станешь немножко взрослей, я тебе все расскажу о твоем папе,— сказала Ольга, поняв, что здесь обманывать дочь нельзя, что правда нужна ей как воздух.— Он был хорошим, твой папа.

— Почему был? Он умер?

— Не знаю, Ирочка. Он был на фронте. Может быть, он погиб, а может быть, жив... Я тебе расскажу все о нем... и о своей жизни.

— Хорошо, мама. Я буду ждать.

Больше дочь ничего не спрашивала в течение многих лет, но Ольга чувствовала, что ее обещание рассказать об отце она не забыла и ждала этого.

И в день окончания десятилетки рассказала дочери все, не утаив даже самой маленькой подробности. Объяснила и то, почему она не вышла потом замуж.

Ирина выслушала все молча, затем, отвернувшись к окну, долго стояла неподвижно, глядя на шумную улицу, полную жизни.

— Ты меня... осуждаешь, Ира? — нарушила наконец молчание Ольга Яковлевна.

— Нет, мама.— Она обернулась.— Тысячу раз нет... Сколько же тебе пришлось пережить!

Потом они обе долго плакали, а под конец Ирина сказала:

— Я стала взрослее теперь на целую жизнь!

На том они закончили и никогда к этому не возвращались больше, жили так, будто никакого разговора и не было. А нынешней весной Ирина сказала:

— Я хотела бы, мама... увидеть своего отца. Поедем в эту Шантару, в Сибирь.

Ольга Яковлевна так и осела.

— Ты что?! Зачем мы будем ломать... ему и его семье жизнь?

— Я посмотрю на отца... хотя бы издали. Он и не узнает, не почувствует.

— Ира! Да, может быть, он там уже и не живет!

— А мы узнаем, где он живет. И туда поедем. Понимаешь, мама, очень мне это нужно!

Так они оказались в Шантаре.

* * *

На другой день Ольга Яковлевна проснулась и увидела, что кровать дочери пуста. Она не очень обеспокоилась, подумав, что Ирина вышла, видимо, погулять перед завтраком. Утро было ясным и веселым, окна гостиничного номера проламывали полосы солнечного света.

Прошло несколько минут — дочь не возвращалась. Ольга Яковлевна умылась, привела себя в порядок. Дочери все не было.

Ирина появилась через час. И прямо от порога проговорила:

— Мама! Я все узнала. Отца в живых... Он погиб.

Ольга Яковлевна, вставшая при появлении дочери, медленно опустилась на кровать.

— Я это чувствовала,— произнесла она негромко.— От кого ты это узнала? Как?

— А я просто в райком партии зашла и спросила.

— Сумасшедшая!

— Здесь живет его... жена, Наталья Александровна, и дочь, Елена. Моя сестра.

— Нет, ты положительно сошла с ума! — воскликнула Ольга Яковлевна.— И что... как ты о них... расспрашивала? Что говорила?

— Да успокойся, мама. Я же не сказала, что я дочь Семена Савельева. Я представилась своей фамилией. А там, в райкоме, симпатичный такой дядечка со мной говорил, по имени Николай Кирьянович Инютин. «Простите, говорит, какая Алейникова? Дочь Якова Николаевича Алейникова, что ли?» — «Нет, говорю, это моя мама его дочь. Приемная. А я ее дочь. А сам Яков Николаевич погиб в сорок четвертом на Буковине». Инютин этот долго не мог ничего понять... Он и сказал, что отец мой погиб. Кажется, в Норвегии, говорит.

— Как в Норвегии?! — вскричала Ольга Яковлевна.— Почему в Норвегии?

— Ах, мама, ну разве я знаю? Но это все мне и нужно узнать... Больше того — я говорила с его женой по телефону. И пригласила ее... и дочь ее к нам в номер.

— Ирина! — простонала мучительно Ольга Яковлевна.— Ты же... ты же обещала только посмотреть издали!

— Да, на отца... Но его нет в живых.

— Что же теперь будет?!

Ирина решительно шагнула к матери, положила ей на плечи ладони.

— Ну что будет! Ничего не будет... Я ей просто сказала, что ты жила тогда в прифронтовой полосе, в этой деревне Лукашевке, и случайно познакомилась с ее мужем на рытье окопов... Как оно и было на самом деле. И что поэтому можешь рассказать кое-что о том времени... и о Семене Федоровиче. Она хотела немедленно бежать к тебе. Но я попросила прийти вечером. Чтобы нам с тобой немного подготовиться... Все будет хорошо, мама, откуда они могут догадаться? Я сказала, что приехали мы сюда просто поглядеть, где жил твой приемный отец Яков Николаевич. Я соврала, что ты была замужем, а муж умер. Я же умная, мама, ты видишь, я все предусмотрела.

Ирина сняла руки с плеч матери, прошлась по номеру, задумчиво глядя себе под ноги, тряхнула короткой стрижкой.

— И, кажется, мать его, моего отца, будет... И брат. Инютин этот сказал, что надо и матери Семена Федоровича, и брату его о нашем приезде сообщить... Она живет, как я поняла, где-то в колхозе.

— О-о! И мать?

— А брат у него поэт, сказал Инютин. И я, кажется, читала даже где-то его стихи. Только и в голову не пришло как-то... Мало ли Савельевых на земле.

— Ну, а если... а если ты похожа на его дочь, на свою сестру? — совсем потеряв голос, проговорила Ольга Яковлевна.— Что тогда будет? Ты подумала?

— Что ты, мама! Я на тебя похожа,— сказала Ирина.— И вот что, мама. Ты ж бесстрашная у меня разведчица. В таких была переплетах, а тут... Возьми себя в руки!

* * *

В руки себя Ольга Яковлевна взяла, но весь этот день, а особенно вечер были для нее нелегкими.

Во-первых, встреча с женой и дочерью Семена состоялась не в гостинице, а в их квартире.

Когда наступил условленный час, в дверь номера раздался негромкий стук, Ольга Яковлевна вздрогнула и даже чуть побледнела.

— Мама! — предостерегающе прошептала Ирина.

Жена Семена, войдя, в упор оглядела Ольгу Яковлевну. Густые брови ее при этом начали подрагивать, а в черных усталых глазах блеснули слезы.

— Здравствуйте,— сказала она и, так же пристально оглядев Ирину, потянула к глазам платок.— Боже мой, боже мой! Пойдемте, пожалуйста, ко мне и там все расскажете, все-все... Нам ведь дорого, вы понимаете, все... даже самая маленькая подробность о нем.

«Чего она так смотрела на Ирину? — весь недолгий путь до квартиры жены Семена мучилась Ольга Яковлевна.— Похожа Ирина на ее дочь или нет?»

Во-вторых, в небольшой двухкомнатной квартирке Натальи Александровны кроме ее дочери Елены, матери Семена, Анны Михайловны, и его брата Дмитрия, о которых говорила Ирина, находился еще один человек — Иван Силантьевич Савельев.

О нем, о том, что родной дядя Семена Иван Силантьевич Савельев, который летом сорок третьего ходил вместе с группой Алейникова к немцам в тыл, в Шестоково, и которому Олька призналась, что беременна от Семена, она перед отъездом в Шантару как-то и не подумала. А он с протезом вместо правой руки, изношенный временем, с поредевшими и почти совсем белыми волосами — был вот он! Он сидел в углу комнаты в мягком кресле и при появлении их с Ириной быстро поднялся и некоторое время глядел то на нее, то на Ирину. Ольга Яковлевна стояла перед ним оцепеневшая.

— Не узнаешь? — спросил он негромко.

— Дядя... Иван! — прошептала она.— Иван Силантьевич...

— Здравствуй, Олька!

И оттого, что он назвал ее таким именем, горло у нее перехватило, какая-то сила подтолкнула ее к нему, она сделала два или три шага и, тяжело зарыдав, упала ему на грудь, все повторяя:

— Дядя Ваня... Иван Силантьевич!

— Ну-ну, Оленька... Что ты? Будет, не надо,— неумело говорил он вполголоса, одной рукой поддерживая ее.— Вот встретились когда! Нежданно-негаданно. А это... дочка твоя?

— Да... дядя Ваня! — умоляюще произнесла она.

— Ну-ну,— успокоил он ее.— Как звать?

— Ира... Ириной.

— Хорошо... Хорошее имя.

Все — Анна Михайловна, Наташа, Дмитрий, Лена — молча смотрели на Ивана и Ольгу Яковлевну, слушали их отрывочные слова, но не понимали, конечно, о чем они говорят. Лишь Ирина понимала, она стояла чуть сбоку от своей матери, оглядывала некоторое время находящихся в комнате, затем решительно шагнула к Лене, протянула ей сразу обе руки, проговорила, чуть волнуясь:

— Здравствуйте... Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина.

— Давайте. А меня — Лена,— сказала та.

— Я знаю... Мне сегодня в райкоме партии товарищ Инютин сказал... И про вас.— Ирина повернулась к Дмитрию.— Он сказал мне, что вы прославленный поэт.

— Это верно,— серьезно проговорил Дмитрий. И, чуть наклонившись к ней, прибавил с той же серьезностью: — Но знаете, в чем я вам признаюсь?

— В чем?

— По секрету только. А вы никому не говорите больше...

Ирина чуть двинула бровью, произнесла ожидающе:

— Ну ладно...

— Слава-то пришла, а денег нет.

Ирина громко, на всю комнату, расхохоталась, закричала:

— Мама, мама! Ты только послушай, что он говорит!

Она вскрикнула еще и затем, чтобы разрядить обстановку. Ее мать и этот человек с протезом, Иван Силантьевич, теперь молчали, а все другие пристально глядели на них, будто ожидая, когда они заговорят снова. И всем это ожидание было мучительно.

После ее возгласа все будто враз сбросили оцепенение, зашевелились, заговорили. Жена Семена, Наталья Александровна, стала хлопотать у накрытого для ужина стола, а Ольга Яковлевна подошла к матери Семена.

— Здравствуйте, Анна Михайловна...

— Здравствуй, дочка,— ответила та, поглядев ей прямо в глаза. Поглядела так, что Ольга Яковлевна опять смутилась и невольно произнесла:

— Я так рада...

— Чему? — спросила Анна.

— Семен много рассказывал тогда о вас... и о своей жене.

— Ну, а теперь ты о нем расскажи всем нам. Давайте к столу. Наташенька, рассаживай гостей.

...Потом Ольга Яковлевна негромко вспоминала, как она познакомилась с Семеном на рытье окопов неподалеку от станции Лукашевка под Курском, о встречах и разговорах с ним, добросовестно излагала все подробности, кроме, конечно, одной. Понимая, что Иван Силантьевич тоже рассказывал не раз о том времени, она постоянно обращалась к нему, прося уточнить день или какие-нибудь обстоятельства.

Он припоминал, уточнял, и ее рассказ получался еще более убедительным.

Рассказывая, Ольга Яковлевна то и дело поглядывала на свою дочь и на Елену, сидящих рядом. Нет, они совсем не походили друг на друга. Одна была чуть выше, другая ниже, волосы у Ирины темные, у Елены русые; у дочери Натальи Александровны было круглое лицо, брови густые и разметистые, губы тонкие, очерченные резко, нос с горбинкой, а у ее дочери нос прямой, губы припухлые, брови круто выгнутые, редковатые, а лицо удлиненное. Но глаза! У обеих были глаза одинакового цвета — светло-серые, с голубоватым отливом, как у Семена, их отца! И даже разрез глаз был одинаков, и Ольге Яковлевне казалось, что все —

и мать Семена, и его жена, и брат Дмитрий, и дядя его Иван — все смотрят на Лену с Ирой и все давно заметили, что глаза у них одинаковые...

Когда Ольга Яковлевна рассказала все, что могла рассказать, когда заканчивали они ужин, к дому подъехала машина, все услышали, как хлопнула дверца. Затем раздался негромкий стук костыля по бетонному полу за дверью. Наталья Александровна, не дожидаясь звонка или стука в дверь, пошла открывать.

— Ну-ка, ну-ка... Очень хочу я поглядеть на приемную дочку Якова Николаевича,— раздалось из коридора. Затем в комнату вошел грузный старик с широким открытым лбом.— Здравствуйте. Кружилин Поликарп Матвеевич, бывший секретарь здешнего райкома партии...

— Здравствуйте,— встала Ольга.— Отец очень часто говорил мне о вас...

— Да, не один год мы с ним вместе работали,— сказал Кружилин,— и всякое бывало между нами...

— Садитесь, Поликарп Матвеевич.— Наташа пододвинула к столу свободный стул.

— Спасибо, Наташенька... Значит, погиб Яков Николаевич?

— Да,— негромко ответила Ольга Яковлевна.

— Мы все так и считали. Иначе бы дал о себе знать, написал бы... Когда и как это случилось?

— Осенью сорок четвертого на Буковине. Есть там небольшой городок Вижница, а под ним горный хутор Базилин, неподалеку от румынской границы. Там он... там его...— Голос Ольги Яковлевны прервался.— Бандеровцы его, украинские националисты, казнили.

За столом установилось мертвое молчание. Оно стояло долго. Все глядели на Ольгу Яковлевну, а та, достав из сумочки платок, вытирала глаза.

— Как же это... казнили? — спросил наконец Кружилин.

— Они его, как бревно... пилой на козлах... распилили.

Вскрикнула дико Лена, вскочив. Побледнел Иван. Анна и Наташа были неподвижны, лицо каждой из них превратилось словно в камень. У Дмитрия Савельева перекосились брови, затем правая бровь начала мелко подрагивать. Он смотрел на Ольгу Яковлевну как-то исподлобья, враждебно, будто именно она была виновна в страшной гибели Алейникова, которого он немного помнил.

— Пилой...— прошептал Кружилин, дряблые, серые щеки его порозовели, к ним прихлынула кровь.— Расскажите.

— Не надо! — выдохнула Лена, схватилась за плечо Дмитрия, будто боялась упасть.

— Надо,— хрипло произнес тот.— Это, Лена, всем надо знать, как и за что умирали люди, какой ценой оплачено все, что нам оставлено...

— Это правильно,— кивнул Кружилин белой головой.— Рассказывайте.

— Это ужасно! Это ужасно! — дважды произнесла Ольга Яковлевна, всхлипывая.

— Успокойся, мамочка, и расскажи,— ровным голосом произнесла Ирина.— Все, что знаешь.

* * *

В конце сентября сорок четвертого на Северной Буковине, под горным хутором Базилин, приткнувшимся у скал неподалеку от перевала Шурден, снова сошлись пути Якова Николаевича Алейникова и бывшего его подчиненного Алексея Валентика...

В первой половине августа сорок третьего, вскоре после освобождения Орла, прифронтовая оперативная группа Алейникова была приказом руководства ликвидирована, сам он был назначен начальником новой специальной группы, полгода почти вылавливал в Орловских и Брянских лесах скрывавшихся там полицаев, предателей и всякого рода отребье, замаравшее себя сотрудничеством с оккупантами, а также оставленных фашистами в нашем тылу диверсантов. Засады и погони, перестрелка и самые настоящие бои с применением пулеметов и гранат являлись для Алейникова повседневным обычным делом, но ни одна пуля или осколок по-прежнему его не тронули, по-прежнему он был словно заговоренный.

Там же, в Орле, он удочерил Ольку, она поселилась в небольшом полуразрушенном при бомбежке домике, во дворе которого росла обгоревшая березка.

Перед этим у них состоялся такой разговор:
— Яков Николаевич? Зачем вам... чтобы я вашей дочерью стала?
— Видишь ли, Оля,— ответил он, помедлив,— жизнь моя не очень сложилась... Все один я, все один... Была у меня жена, взял я ее с ребенком. Но... мальчик утонул в реке, к несчастью. Я его очень любил. А жена от меня ушла... Жениться снова мне и поздновато будто, да и не хочу. И ты одна, Оля. Вдвоем нам будет хорошо.
— Так никого-никого у вас и нет из родных?
— Родители давно умерли. И единственный брат перед войной скончался во Владивостоке, а его жена — уже во время войны. Она была сердечница. У них осталось четверо детей.
— Вот их и возьмите после войны.
— Где они, неизвестно. Детей, как мне сообщили, в детский дом куда-то определили.
— Разыщете после войны.
— Конечно. Но это все мальчики. А я хочу, чтобы у меня была дочь.
— Яков Николаевич, да я же взрослая, скоро у меня у самой будет ребенок.
— Ка-ак?! — удивился он.
Тогда она все рассказала ему о Семене.
Он выслушал ее, ни разу не перебив, и проговорил:
— Значит, и дочь, и внук у меня будут сразу! Это же просто здорово!
— Почему внук? Может, внучка...
— Пускай внучка. Ах, Оленька, умница!
Умница она или нет, Олька тогда этого не знала и не думала об этом, но, прислушиваясь к зарождающейся в ней жизни, почему-то часто и беспричинно плакала.
С заданий Алейников возвращался усталый, пропахший гарью, как береза во дворе, но неизменно веселый и часто говорил:
— Кончится война, Оленька, отыщу я детей своего брата, и заживем! Буду я отцом большого семейства, о чем я всю жизнь мечтал.
В начале сорок четвертого его перевели в Харьков, где он занимался тем же делом, что и в Орле. Там Олька и родила Ирину. А в конце лета, как специалист по ликвидации антисоветского подполья, был направлен со специально сформированной группой в Черновицкую область, где особенно бесчинствовали банды оуновцев.
Начальник Черновицкого управления государственной безопасности подполковник Решетняк сам встретил его и Ольку с дочерью на руках. Скрывая удивление, спросил:
— Жена?
— Дочь,— коротко ответил Алейников.
Из вагона вышел неизменный спутник Алейникова во всех его делах Гриша Еременко, взял у Ольки девочку. Алейников пояснил:
— А это мой шофер. Мы давно вместе.
И хотя последняя фраза была не очень понятна, Решетняк переспрашивать ничего не стал.
Через час Яков сидел в его кабинете, и начальник управления, поблескивая изморозью на висках, рассказывал:
— С Советской Украиной Северная Буковина воссоединилась за год до войны. Всего за один год жизни при Советской власти многие, в сущности, еще и не разобрались, что к чему, а тут почти трехлетняя оккупация. Черновицы освобождены, как вы знаете, лишь нынче в конце марта. Какие благоприятные условия для разгула всякой антисоветчины! И фашистская разведка этим не могла не воспользоваться, сформировала на территории области несколько банд украинских националистов. Сколько их, мы даже на знаем. Они скрываются в горах и в лесах. Их правило — жестокий, беспощадный террор. «Здесь власть не Советов, а наша,— запугивают они население.— А наша власть самая жестокая». Любого, кого оуновцы заподозрят в сочувствии Советской власти, они беспощадно уничтожают, творят над ними жестокие изуверства. Если сочтут, что Советской власти сочувствует большинство жителей какой-нибудь деревни или хутора, уничтожают целиком поселение, всех поголовно убивают, женщин и девочек предварительно насилуют. И снова скрываются в горах. Особенно отличается банда некоего Кривого. Недавно эти

бандиты захватили трех наших чекистов, принародно жестоко казнили их. У всех, у мертвых уже, вырвали сердце... Так, мол, будет с каждым, кто примет и будет защищать Советскую власть.

— Все это я знаю,— поморщился Алейников.

— Да, знаете,— сказал Решетняк.— Но я говорю это, Яков Николаевич, затем, чтобы вы почувствовали, что обстановка здесь иная, чем, скажем, в Орле или Харькове, где вы работали. Здесь рядом граница, оттуда фашисты координируют деятельность всех банд, оттуда бандиты получают деньги, обмундирование и даже продукты питания. А главное — оружие и боеприпасы. И туда же в случае чего бандиты надеются уйти. Потому и наглеют до беспредельности. Вот...

Решетняк вынул из ящика стола крепкую намыленную бечевку с небольшим никелированным колечком на конце.

— Что это?

— Бандеровская удавка. Ловко они ею действуют. Накинут — и готов. Вскрикнуть не успеешь. Всем нашим чекистам такие разослал Кривой.

— И как? Боитесь?

— Лисових бояться — в лес не ходить, говорят у нас,— усмехнулся Решетняк.— Но наглость какая! И тебе пришлют, если узнают, с чем прибыл.

— Что ж, с банды этого Кривого и начнем,— сказал Алейников.— Что это за человек? Есть о нем какие-либо сведения?

— Какие сведения? — Решетняк, бросив удавку на стол, встал и пошел к стоящему в углу сейфу.— Скрывается банда где-то в горах, недалеко от Вижницы. Понарыли там схронов и живут в земле, как лисы. Потому местное население и зовет их лисови. В банде у него человек около ста. А сам Кривой... Во время войны тут в одном из сел Путильского района была фашистская разведывательно-диверсионная школа. Она называлась «Меструпп-24», готовила диверсантов из местных бандеровцев и всяких уголовников. Последнее время фактическим хозяином школы и был этот человек по кличке Кривой. Настоящей фамилии его мы не знаем. Но у нас есть его фотография.

Решетняк вынул из сейфа папку, взял из нее фотографию, протянул Алейникову со словами:

— Сам этот человек редко из гор выходит. Осторожный.

У Якова, едва он глянул на фотографию, брови поползли вверх, а шрам на левой щеке задергался.

— Что? Знаком? — спросил Решетняк.

— Та-ак! Вот где обозначился след иуды...— протянул Алейников. — По специальности, сволочь, работал. Одно плечо у него ниже другого, кособокий он, оттого, видимо, и кличка Кривой. Алексей Валентик это, бывший воронежский чекист. А потом — мой подчиненный.

— Как?! — удивился Решетняк.

Алейников, все подергивая от волнения шрамом, коротко рассказал о Валентике, о том, как упустил его в июле сорок третьего.

— Это стреляный волк,— закончил он. Пока рассказывал, мысли его уже четко и ясно работали в одном направлении, и слова, которые он произносил, этим мыслям не мешали.— Ну что ж, ну что ж... Тем более с него и начнем. Можете сообщить Валентику, что я сюда прибыл? Не сюда, собственно, а в Вижницы. Туда я сейчас и поеду со своей группой.

— Да это не трудно. У нас много бойцов добровольных вооруженных групп из местного населения для борьбы с бандитами. Ну, некоторые вступают в эти группы и по заданию бандитов. Всех таких мы знаем. Используем их как надо до поры...

— Всех знаете?

— Какие вопросы задаешь, Яков Николаевич! Стараемся, во всяком случае, всех узнать. Но, конечно, кто может поручиться... Один из таких в Вижницах и живет. По фамилии Савченко Михась.

— Прекрасно. Сегодня же надо как-то осторожно дать ему знать, кто я и зачем приехал. Специально, мол, Валентика поймать... Узнав о моем прибытии, Валентик неминуемо начнет охотиться за мной. Вот за этой-то охотой и будут наблюдать прибывшие со мной люди и чекисты из Вижницы. Надо как-то выманить банду из гор и уничтожить, а Валентика по возможности взять живьем. Но как?

Ладно, посмотрим, на месте будет виднее. Какими силами местных чекистов я могу располагать?

— Вы что же, хотите сыграть роль подсадной утки? — спросил Решетняк.

— Предложите другой план,— холодно сказал в ответ Алейников.— Или будем до конца войны сидеть и наблюдать, как бандиты расправляются с населением? Да он и после войны тогда отсюда не уберется... Ничего, перехитрим этого лисового.

* * *

Когда в бункер, вырытый под скалой в горах, неподалеку от перевала Шурден, явился со стийки, то есть с поста, связной и передал Валентику штафету, или, по-другому, грипс,— короткую записку, тот наклонился к аккумуляторной лампочке, не спеша прочитал донесение. В нем была всего одна фраза: «В Вижницу то ли с Черновцов, то ли с Харькова приехал майор безпеки Алейников Я., чтоб познакомить проводника с «катюшей».

«Катюша» по-бандеровски — виселица, «проводник» — командир отряда, а «майор безпеки» означало — майор государственной безопасности.

Заросший грязной щетиной Валентик усмехнулся, почесал под рубахой потную грудь, затем своими добродушными голубыми глазами поглядел на связного.

— От кого этот грипс?

— От Савченко Михася.

— А-а, это добрый хлопец,— протянул Валентик, скособочившись сильнее обычного, прошелся задумчиво по подземелью.— Покличь четового Игната да зсбиста Данильченко.

Связной ушел, а Валентик взял бритву, в блюдце развел мыльную пену и, присев к грубо сколоченному столу, начал соскребать со щек многодневную щетину. Когда явились командир взвода Игнат Данильченко и зсбист, то есть начальник службы безопасности оуновцев, оба рослые и угрюмые, Валентик кивнул на записку.

— Читайте.

Те, прочитав по очереди сообщение, не проронили ни слова.

Кончив бриться, Валентик ополоснул над ведром лицо, обтер его грязным полотенцем.

— Что скажете?

— Та ще скажемо? — промолвил Данильченко.— Михась человек наш, не брешет.

— Не брешет?!— прохрипел Валентик.— Это и я знаю, что не врет. А вот я спрашиваю: этот Савченко не на крючке у них?

— Не должно,— сказал другой оуновец.— Из бедняков, отец его за Советы на фронте погиб. Михась давно у них в добровольной дружине, в «ястребках» этих, в двух или трех облавах участвовал на наших.

— Да, так-то оно так,— спокойно проговорил Валентик. Еще походил по схрону, взял донесение, повертел бумажку, оглядывая ее со всех сторон, будто надеясь отыскать в ней еще что-то.— Ну, вот что... Проверить для начала, есть ли у этого майора шрам на левой щеке. Если есть, значит, мой это друг Яша. И желал бы я со своим другом свидеться. А как — это мы обмозгуем. Пьянствовать прекратить начисто! Опухли, сволочи, от пьянства!

— Это есть,— вздохнул взводный, по-оуновски четовой, Игнат.— Горилку добре потребляют люди... Я скажу.

— Завтра с утра кого увижу пьяным или дух почую, на ближайшей смереке вздерну. Всем и передай повеление. Тебе, Данильченко, задание — день и ночь следить за Алейниковым, докладывать мне о каждом его шаге. Если где рот разинет, хотя это вряд ли,— усмехнулся Валентик,— взять живьем! А так не трогать, живой он мне нужен. Докладай, а там видно будет. Все равно попадется в силок, как перепелка.

* * *

Михась Савченко, хитроватый парень из Вижницы, был под неослабным наблюдением чекистов с той минуты, как ему через третье лицо сообщили о цели при-

бытия некоего майора безпеки, Алейникова, из Харькова. Гриша Еременко, которого в Вижнице и окрестностях никто не знал, бесшумно двинулся за ним, когда тот отправился куда-то под вечер из Вижницы, проводил до самой оуновской стийки. Пока он разговаривал с дозорным, Григорий, затаившись, лежал в кустах. Обратно провожать Савченко он не стал, то было уже не к чему, всю ночь он так и пролежал на одном месте, не шелохнувшись. Из отрывочных разговоров дозорных он понял, что стоянка банды была расположена в какой-то горной смерековой, то есть еловой, роще близ горных хуторов Базилин и Менилино.

На другой день после обеда Яков Алейников на трофейном «опеле», за рулем которого сидел тот же Гриша, а на заднем сиденье трое чекистов, открыто приехал сперва в Базилин, а затем в Менилино, прошелся по улицам, пытаясь поговорить с жителями о бандеровцах. Хуторки были маленькие, жители, насмерть затравленные оуновцами, отвечали уклончиво. В каждом из селений Яков был недолго, буквально через полчаса со всеми своими спутниками уезжал, а на окраинах каждого хутора в зарослях орешника оставались переодетые в крестьянскую одежду ранее прибывшие туда чекисты.

Тем же вечером в Вижницы поступило от них сообщение — из обоих хуторов, едва Алейников там объявился, в горы отправилось по гонцу, чтобы сообщить Валентику о появлении чекистов, за обоими гонцами удалось проследить до самых оуновских дозоров. Неспешной ходьбы до этих дозоров по горам и лесу от Менилина час, от Базилина два с половиной. Ночью в оба хутора приходили люди от Валентика, человек по пять в каждый хутор, к рассвету ушли в горы.

— Очень хорошо,— потер руки Алейников.

В последующие дни он продолжал разъезжать таким же образом по селам и хуторам, расположенным неподалеку от первых двух и так же взятым под наблюдение чекистами заранее. И почти из каждого поселения поступало известие, что оттуда немедленно к бандеровцам отправлялись связные.

Постепенно обрисовалась общая картина. Всю округу Валентик держал в цепких руках, почти в каждом населенном пункте были у него свои люди, но большинство служили ему не из националистических побуждений, а под страхом смерти. Убрать Валентика означало освободить людей от этого страха. Но как убрать? Из поступающей информации было ясно, что сам он нигде не появляется, сидит безвылазно где-то в своем схроне, день и ночь охраняемом дозорами, расставленными по всем горным и лесным тропам. А время шло.

И Алейников решился. Он съездил в Черновицы, доложил в управлении свой план и получил «добро». В помощь его группе, вижницким чекистам и милиции, бойцам добровольной вооруженной группы из местного населения, давно готовым к предстоявшей операции, было придано небольшое подразделение из черновицких чекистов.

Олька, жившая с грудным ребенком в Черновицах, в гостинице, ничего не спрашивала у своего приемного отца о его делах. Она знала, какие это дела, и, прощаясь с ним при отъезде обратно в Вижницы, лишь прижалась горячим лицом к его груди и попросила:

— Папа... ты помни о нас и будь осторожен.

— Буду, дочка,— ответил он.

— Если бы не Ирочка, я бы не оставила тебя сейчас ни на минуту одного. Я была бы с тобой.

— Конечно... Ну конечно, ты же у меня такая, Оленька.

И это были последние слова, которые он сказал своей приемной дочери...

Вернувшись в Вижницу, Алейников приказал немедленно и бесшумно, чтобы ни одна живая душа не знала, арестовать Михася Савченко. На первых же минутах допроса тот, смертельно напуганный и сломленный, указал местонахождение бандеровских схронов и по требованию Алейникова начертил схему местности с обозначением известных ему постов.

— Да это не все. Всех я не знаю, поверьте! — взмолился Савченко.

— Верим,— сказал Алейников.— Да все нам без надобности.

— Только к ним не подберешься... Ну, никак. Там горное ущелье, оно узкое, а у них пулеметы, гранаты,— проговорил, вытирая мокрые губы, парень.

— То-то и оно, что пулеметы да гранаты,— вздохнул Алейников.

Силы, которыми он располагал, были явно недостаточны, чтобы справиться с бандой. Поэтому Яков решил применить ту же тактику, что при захвате и разгроме в прошлом году «Абвергруппы» в селе Шестоково — разбить банду по частям, с той лишь разницей, что нападать теперь будет не он, а на него. Он решил с небольшой группой чекистов выехать в хутор Менилино и ждать там нападения, которое, как он понимал, неминуемо последует, ибо Валентик не позволит себе упустить случая захватить или уничтожить его, Алейникова. И чтобы сделать это наверняка, бросит в Менилино немалое количество своих сил, но оставит достаточно людей и для обороны в случае чего схронов. А когда завяжется бой, в хутор должна подоспеть группа чекистов и бойцов добровольной вооруженной группы, заранее скрытно расположившаяся в окрестностях, обложить селение со всех сторон, чтоб не выпустить обратно в горы ни одного бандита. Другая группа чекистов и милиционеров должна в это время напасть на лагерь бандеровцев. А затем та группа, которая скорее справится со своей задачей, придет на помощь еще дерущейся.

Таковы были планы и расчеты, и Яков Алейников понимал: как всякие планы и расчеты, они могли и не оправдаться. Но он верил в свою удачу и в свою звезду.

* * *

Менилино, хутор домов в тридцать, стоял на берегу горной речушки, с юга поднимался за ним высоченный кряж, густо покрытый орешником да грабом, с севера обтекала его эта речушка, за ней было место холмистое и тоже глухое, почти непроходимое, заросшее кизилом, из которого местные жители делали длинные ручки своих знаменитых гуцульских топориков, красивых и безобидных на вид, но страшных в деле...

Хутор состоял всего из одной улицы, западный конец ее убегал в сторону Вижницы, а восточный, огибая горный кряж, вел в горы, к хутору Базилин.

Алейников и тринадцать человек с ним приехали в Менилино на двух машинах уже вечером, когда и горный кряж, и холмы за речушкой покрылись густой синью, речка весело и торопливо позванивала, стояла над хутором тишина, которая будто имела вековой настой. Здесь немцы не пожгли и не разрушили ни одного дома, но и новых давно тут не ставили, дома все были облупленными, неприветливыми.

Население — старики да женщины, несколько подростков,— как и в первый приезд Алейникова, встретило чекистов угрюмо, молчаливо; настороженно поглядывали на них, близко не подходя, спешили скрыться в домах.

— Эй, бабонька,— окликнул Алейников женщину, вышедшую с ведром к речке,— лисови давно не появлялись тут?

Женщина, не старая еще, но грязная и неопрятная, остановилась растерянно.

— Ни,— мотнула она головой. А потом кивнула: — Да...

— Что да? А что ни? Давно или нет? После того, как я приезжал, появлялись?

— Ни...

— Понятно,— усмехнулся он.— Боятся. А может быть, за кордон уползли? В Румынию. Не знаешь, не слыхала?

— Ни...

— Понятно. Где переночевать нам можно? Целый день мотаемся вот, устали.

— А в цей хате,— показала женщина ведром на пустой дом, стоящий в центре хутора.

Алейников и без того знал, что укроются они под видом ночевки в этом доме. Еще в первый приезд он разведал, что дом пустует с ранней весны, тут жил хуторской староста и сын его, полицай. Полицай ушел с немцами, а староста, злобный и бессердечный старик, виновный в смерти многих хуторян, был при подходе нашей армии в эти места связан жителями и выдан затем властям. Тех, кто это сделал, в живых уже нет, оуновцы, объявившись тут, среди бела дня изрубили их гуцульскими топорами прямо на улице.

Алейников не сомневался — короткий разговор этот с женщиной через час станет известным Валентику. Поверит или не поверит он, что чекисты, всего четырнадцать человек, включая двух шоферов,— давно их пересчитали, конечно,—

остались ночевать в хуторе? Или хитрый лисовий заподозрит подвох и засаду? Служба безопасности у него тоже работает, бандеровцы могут обнаружить и затаившихся в холмах за речушкой чекистов. И что же тогда? Осмелятся напасть или нет? И если осмелятся — какими силами, сколько людей оставят охранять свое логово и сколько бросят сюда? А если нет, как ему, Алейникову, действовать дальше, какие меры предпринять, чтобы ликвидировать банду?

Обо всем этом раздумывал Яков, лежа на лавке у стены. Дом был крепкий, каменный, обмазанный снаружи цементной штукатуркой, в окно светила ущербная луна, плывущая к верхушке кряжа, тоже видневшейся из окошка. Луна находилась даже чуть пониже горной вершины, и Алейникову казалось, она вот-вот врежется в горный массив и, маленькая по сравнению с ним, разобьется, как яйцо об стенку, осколки посыплются вниз, на хутор. Глядя на вершину этого буковинского кряжа, Яков вспомнил Звенигору и то, как над гранитными утесами прежде всего синело утрами небо, как вечером хлестали из-за камней потом лучи невидимого еще солнца и как, наконец, появлялось оно само, неизменно веселое и горячее, заливая щедрым светом и Шантару, и Громотуху, и все окрестности. Только здесь, на войне, он понял и остро ощутил, что каждое утро над Звенигорой происходило, разыгрывалось необыкновенное волшебство, но тогда ни сам он, ни жители Шантары, как ему казалось сейчас, этого не понимали и, занимаясь своими повседневными и скучными делами, красоты этой не замечали.

— Все хочу спросить у тебя, Гриша, отчего ты до войны-то не женился? — спросил Алейников у Еременко, молча курившего у противоположной стенки. Он сидел так, чтобы в случае чего пуля из окна не могла его достать, возле него, в углу, стоял ручной пулемет.— Тебе ведь скоро под тридцать.

— А дурень был,— ответил Григорий.— Погулять хотелось на воле. Все думал — успеется.

Он помолчал и промолвил, затирая ногой окурок:

— Вот война, книжек почти не читаем тут, а ума она прибавляет. Ох, дурной был! Вернусь с войны — сразу жинку подсмотрю...

— Да, ты еще успеешь детей вырастить.

В этой комнате находились еще два чекиста — лейтенант Стрижов и старшина Митяев, по национальности якут. Им обоим Алейников приказал пока спать. В соседней спали на полу еще трое. А шестеро остальных были вне дома, они вели наблюдение над погрузившимся вроде бы в сон хутором. Один лежал на соломенной крыше дома, за трубой, другой — на крыше стодолы (навеса для хозяйственного инвентаря). Стодола была просторной и длинной, одним концом почти достигала речки. Двое дозорных лежали в камнях возле дороги на западной окраине хутора, а еще двое затаились на восточной, в кизиловых кустарниках. Вроде бы весь небольшой хутор, все подходы к нему были под неослабным глазом чекистов, подобраться незамеченными оуновцы не могли.

Прошло уже часов пять с лишним, как чекисты приехали сюда, времени более чем достаточно, чтобы бандитам подойти к хутору. Но все было пока тихо.

— Есть-то оно есть, время, чтоб детишек вырастить, — проговорил негромко Еременко,— да особенно и тянуть нельзя. Люди — они растут медленно. Это убить человека легко и быстро. Раз — и нету. А вырасти ему... Яков Николаевич, а вы бы... взяли меня в зятья?

— Что? — не понял даже Алейников сперва.

— А что?

— Ты...— Яков поднялся.— Это ты... об Ольке?

— У вас одна ж дочь.

— У ней же ребенок!

— Да? — усмехнулся Григорий.— А я и не знал...

Алейников постоял две-три секунды и, будто теперь только до него дошло, удивленно присвистнул.

— Ты... и с Ольгой говорил об этом?!

— Нет. С вами вот только насмелился. С вами как-то проще, товарищ майор.

И в это время на дальнем конце стодолы резко щелкнул выстрел.

Звук его еще не замолк, казалось, а Алейников, вскричав: «Вот они!» — сорвал со стены автомат, побежал к выходу. Следом за ним с пулеметом ринулся Еременко.

Выскочив, они на мгновение увидели в лунном свете следующую картину: на дальнем конце стодолы, на самом краю крыши, стоял на одном колене чекист и беспрерывно стрелял в кучу бегущих от речки людей из пистолета. В него тоже палили из пистолетов и автоматов, но чекист стоял неуязвимым, а потом вдруг торопливо вскочил, вытянулся во весь рост и бревном рухнул вниз, прямо в кучу бегущих людей.

— Сволочи! — прохрипел Алейников, падая на затравеневшую землю двора рядом с Григорием, который каким-то чудом опередил его и, стоя, как только что погибший чекист, на одном колене, держа пулемет на весу, поливал бегущих к ним бандитов.— Они же вдоль речки незаметно подобрались! Ложись, ты что?!

Говоря это, Алейников тоже полоснул из автомата. Бандиты частью попáдали на открытом пространстве двора, частью растеклись по черному зеву стодолы. С освещенного луной двора их там не было видно, в темноте навеса они могли подбежать совсем близко. Сообразив это, Алейников крикнул:

— Митяев! Стрижов! Гранаты туда!

За спиной Алейникова в кого-то стреляли спавшие недавно в другой комнате чекисты, а потом слышно было, как они побежали через ворота на улицу, а тот, что был на крыше, закричал им:

— Товарищи, и слева, слева бегут! Ложи-ись, я гранатой их...

Что происходило там, за спиной, было уже понятно, но оглянуться некогда — бандиты во дворе поднялись. Гриша Еременко, лежавший теперь за пулеметом, и Алейников снова прижали их огнем к земле.

— Митяев, Стрижов, я что сказал? — яростно заорал Алейников, которому казалось, что с момента, когда он приказал забросать темное пространство стодолы гранатами, прошло немало времени. На самом же деле это было всего несколько секунд назад.

Вокруг него и Еременко щелкали пули, долбили, как крупный, тяжелый град, землю, вколачивались в нее. Но Алейников не обращал на пули никакого внимания, точно это и в самом деле был лишь безобидный град, сыпавшийся с неба.

Гранатные разрывы под навесом и где-то на улице, за домом, ухнули одновременно. И сквозь их грохот чекист с крыши дома прокричал:

— Товарищ майор! Они нас окружили! Справа и слева... И от речки еще... много!

Прокричал и захлебнулся, покатился по гладкой соломенной крыше, тяжелым мешком упал на землю.

Алейников и без этого понимал, что они окружены. И понимал, как это произошло. Лаптем Валентика не накроешь, он сообразил, что чекисты возьмут под наблюдение все возможные подходы к хутору, и провел или приказал провести своих людей речкой. Бурливая, она к тому же заглушала все звуки. Часть бандитов выбралась на берег, не доходя до дома, в котором он, Алейников, укрылся со своими людьми, огородами вышла на единственную улицу хутора. Часть ринулась во двор, поравнявшись с домом. Остальные миновали его и тоже огородами, спускавшимися к речке, выбежали на улицу, когда уже начался бой. И таким образом дом был окружен.

От мысли, что он не учел единственную возможность незаметно подобраться к дому и стремительно окружить его и что этим его единственным просчетом воспользовался Валентик, Алейников в бессильной ярости застонал.

— А что наши-то там, в холмах, ушами хлопают? — прокричал он, обращаясь будто к Григорию, а в действительности к самому себе.— Как они-то не увидели, прошлепали?!

— Не з-знаю... Что т-те-перь! — почему-то заикаясь, прохрипел Григорий и заколотил из пулемета.

Это опять с ревом поднялись бандиты. Их было больше, чем прежде. Они метались под огнем Еременко и Алейникова по двору и под навесом, соломенная крыша стодолы занялась, видимо, от гранатных разрывов, разгоралась все ярче, в полутьме навеса мелькнул, перебегая куда-то и стреляя на бегу из автомата, якут Митяев, потом взмахнул обеими руками и упал поперек длинной деревянной колоды.

За спиной, на улице, судя по треску выстрелов справа и слева от дома, чекисты сдерживали наседающих бандеровцев. Сдержат или нет, было неизвестно, а

здесь, во дворе, их не сдержать, это было уже ясно. Бандитов слишком много, а их осталось лишь трое — он, Алейников, Еременко да Стрижов.

— Отходим, Григорий! — прохрипел Яков.— Стрижов! Давай на улицу! Еременко, ты слышишь?!

— С-слы-шу,— с трудом выдавил Григорий, оторвав от земли голову. Алейников до этого на него не смотрел, а тут глянул — вся левая сторона лица Григория и плечо были залиты кровью. Кровь струйкой сочилась из раны в голове, чуть повыше виска. В отсвете горящего навеса она казалась густой и черной.— Я с-слы-шу...

И он уронил голову, ткнулся ею в пожухлую траву, тоже залитую его кровью.

— Григорий! — Алейников, не обращая теперь внимания на залегших совсем неподалеку бандитов, по которым стрелял один лишь Стрижов, схватил Еременко за плечи, приподнял, яростно затряс.— Гриша-а?! Гриша!

Голова его моталась тяжело, глаза были открытыми и мертвыми.

Воспользовавшись этими мгновениями, оуновцы поднялись снова. Яков увидел, как сбоку и чуть впереди от него лейтенант Стрижов, пятясь от наседавших бандеровцев, валит их из автомата. «А кажется, Валентик ведь половину своей банды сюда двинул, дурак,— мелькнуло у Алейникова. И мысль эта была радостной, успокаивающей.— А сейчас все наши подоспеют, с секунды на секунду. Конец банде... Слышат же бой. Долго что-то лишь они...»

Это так казалось ему, что бой идет долго. На самом деле с момента нападения бандеровцев едва ли прошло три-четыре минуты.

«Ах, Гриша, Гриша...» — вздохнул он и, теряя самые драгоценные секунды, которые, может быть, и стоили ему жизни, осторожно и не спеша, будто боялся сделать верному своему шоферу и другу больно, положил его на землю. И пока клал, бандеровцы оказались совсем рядом. Он это видел и понимал. Положив Григория, схватил свой автомат, разгибаясь во весь рост, вкруговую полоснул по бандитам. Они сыпанули от него веером в разные углы.

— А-а-а! — закричал он дико, страшно вращая белками глаз и пятясь к воротам.— За Григория в-вам! Стрижов, на улицу!

Но Стрижов лежал уже посреди двора лицом вниз, судорожно царапая пальцами землю.

Увидев это, Яков еще яростнее нажал на автоматный спуск. Но оружие молчало. Менять опустевший магазин на свежий не было времени, а рядом с мертвым Григорием лежал его пулемет. Алейников мгновенно кинул автомат себе на шею, нагнулся, схватил ручной пулемет и в это время услышал:

— Це ж Олейник сам! Живьем взять велено!

— Взя-ать?! — заорал Алейников в бешенстве.— Велено?!

И он вкруговую снова резанул по врагам. Но и пулемет, подергавшись в его руках несколько секунд, умолк — кончился диск и в пулемете. И в ту же секунду словно бревном ударило по ногам. Боли он не почувствовал, но, как подрубленный, упал на колени, упал, понимая, что будет сейчас схвачен. Стоя на коленях, он левой рукой мгновенно сбросил с шеи бесполезный теперь автомат, вставить в который запасной рожок по-прежнему не было времени, а правой выхватил пистолет.

— Взять?! Взять?! Взять?! — вскрикивал он, ощеривая зубы, и с каждым вскриком стрелял по бегущим к нему теперь во весь рост бандитам, отчетливо и ясно краем сознания, оставленным будто про запас, безошибочно определял расстояние до врагов и количество оставшихся в пистолете патронов. Последний для себя, а остальные надо успеть использовать!

— Успеть, успеть...— отсчитал он еще два выстрела. И, видя, что бандиты совсем рядом, поднес пистолет к виску. Но донести не успел, собственную пулю опередила вражеская, в голове у него взорвался огненно-оранжевый сноп...

Теряя сознание, Алейников чувствовал и понимал, что ему связывают за спиной руки. Затем поволокли куда-то по земле. И он понял — на улицу. Там была какая-то суматоха и слышались нечастые выстрелы. «Еще как-то держатся мои хлопцы,— мелькнуло у Якова.— Где же остальные-то наши, черти?» И едва подумал об этом, услышал тревожный вскрик:

— Четово-ой! Из-за речки безпеки прут! Засада-а! И по дороге! С обоих концо-ов!

«Ага!» — подумал Алейников, из последних сил удерживая сознание и стараясь услышать звуки возобновившегося беэжалостного боя. И расслышал — во дворе дома и где-то на обоих концах улицы захлопали все чаще выстрелы, стала нарастать волна звуков из автоматных очередей и человеческого рева. Волна эта вроде и не усиливалась, но, Яков чувствовал, приближалась. «А раз приближается, значит, усиливается. Это просто мозг у меня тухнет,— подумал Яков.— Сейчас отобьют меня, отобьют... если оии, сволочи, не пристрелят. Теперь надо мертвым притвориться, пущай считают, и тогда, может...»

Но притворяться ему было нечего. Сознание у него быстро потухало само собой, лишь в каких-то немногих клетках мозга еще еле теплилось, и эта последняя, слабенькая жизненная энергия со смертью и небытием мириться не хотела и даже в этих безысходных обстоятельствах цеплялась за невозможное, работала в одном направлении — нельзя ли и теперь обмануть смерть?!

Что ж, человек рожден для жизни, и он никогда не хочет умирать...

— Алейника этого в горы, быстро! Проводник велел — живого или мертвого. Вот ты и ты, волоките его!— осиплым голосом распорядился кто-то, двое оуновцев схватили Якова под мышки и поволокли через огород к заросшей буком и орешником горе.

Но этого Яков Алейников уже не услышал и не почувствовал.

* * *

Очнулся он на другой день, лежа возле какого-то забора из прутьев. Открыл глаза, посмотрел в белесое небо, где плавало нежаркое уже солнце. Голова и половина лица его были в засохшей крови. Он чуть повернул голову, увидел горные хребтины, залитые голубым туманом.

Сознание его прояснилось, он вспомнил почти все, что произошло в Менилине. Не мог лишь сообразить, когда это было — вчера, позавчера, неделю назад — и где он — у бандитов или у своих.

Шевельнулся — связанные за спиной, онемевшие руки обожгло, будто их сунули в кипяток.

«Понятно»,— усмехнулся он про себя.

Он лежал на каком-то подворье, возле козел для распиловки бревен. Под навесом стояло несколько оседланных лошадей, а у крыльца — длинный стол, за ним, спиной к нему, сидели человек пять или шесть, пьяно бубнили. Затем один из них обернулся, вылез из-за стола, пошел к Якову.

Подойдя, он наклонился над ним. Лицо было землистым, опухшим, давно не бритым, на распахнутой груди синела зловещая наколка — трезубец, эмблема бандеровцев. Но Алейников посмотрел на нее равнодушно и теперь усмехнулся вслух:

— Понятно...

— Не-ет, друже... Ничего тебе пока не понятно,— блеснул прокуренными зубами оуновец. Обернулся к столу, крикнул: — Проводник! Он очухался.

— Очень хорошо,— донесся от стола спокойный голос.— Привязывайте. И гоните народ на улицу.

Алейников не понял, что это означает «привязывайте». Но что жить ему осталось считанные минуты, это понял. Голос принадлежал Валентику, Яков этот голос узнал сразу.

Сознание близкой смерти его не испугало. Он только подумал: «Олька, Олька... Зря я взял сюда Гришу, зря...» Но спустя секунду думал уже о другом: удался ли до конца его замысел, уничтожили банду или нет?

Двое бандеровцев, подойдя, молча схватили его за плечи и за ноги. Перебитые пулями ноги почему-то были бесчувственными, и боли в голове он не почувствовал, а связанные за спиной руки снова обдало огнем. Якова, как бревно, положили на козлы лицом вверх и стали прикручивать.

«Понятно,— в третий раз усмехнулся он, прикрыв глаза.— Хотят запороть принародно плетьми. Забить насмерть. Для устрашения других...— И сделал уверенно вывод: — Значит, разбили банду. Уничтожили».

Даже зная о немыслимых изуверствах бандеровцев, он не догадывался, не мог предположить, какая страшная казнь его ждет.

— Здравствуй, Яков Николаевич,— раздалось над ним.

Он открыл глаза. Возле него в потертой гуцульской куртке стоял Валентик, опустив, как всегда, одно плечо ниже другого.

— А-а, ходишь еще по земле? — проговорил Алейников в ответ.

— А ты свое отходил уже.

— Да, это мне ясно.

Голос Алейникова был ровен и спокоен, последнюю фразу он произнес так, будто всего-навсего высказал свое мнение по какому-то пустяковому делу. Кривые плечи Валентика пошевелились, и в глазах проступило удивление.

— Страшной смертью умрешь, Яков Николаевич. Мы тебя пилой распилим. Как бревно, на несколько частей.

Алейников, привязанный к козлам, лежал недвижимо, не пошевелил даже головой. Он лежал и смотрел вверх, на прозрачное осеннее небо, в котором не было ни одного облачка. Лишь на бледных от потери крови, похудевших щеках да на морщинистом лбу проступила крупная испарина.

— Ну, вспотел все-таки? — насмешливо спросил Валентик.

Яков чуть повернул голову, посмотрел ему прямо в лицо, сказал:

— Конечно, не думал я, что так... придется...

Он закрыл глаза и долго молчал. А Валентик стоял рядом и терпеливо ждал: не скажет ли Алейников еще чего? Но не дождался, заговорил сам так же насмешливо поначалу:

— Герой ты, чего тут обсуждать. Перехитрил меня. Выманил мой отряд из гор. Собой пожертвовал, а отряд мой перебил... Герой, за это и казним тебя принародно. Чтоб знали, что мы живые и снова соберем армию для освобождения от большевизма многострадальной Украины. И вечно мы... и наши идеи будут жить. А ты подохнешь. Мы всех, кто против нас, жестоко уничтожим! Жестоко и безжалостно!

Под конец этой речи голос Валентика налился тяжкой, свинцовой злобой, горло его сдавливало, и слова ему трудно было выталкивать.

Алейников все лежал с закрытыми глазами.

— Но скажу тебе прямо, Алейников,— передохнув и чуть успокоившись, заговорил Валентик,— могу я тебя и помиловать. Но при одном условии — если ты перейдешь к нам. Жизнь, в конце концов, у тебя, как у каждого, одна. Так что уж решай сам за свою жизнь.

Яков, еще помедлив, разомкнул ресницы, опять долго смотрел вверх, в беспредельное небо.

— Ну? — спросил Валентик.— Раны у тебя пустяковые. А лекари у нас добрые.

— Отряд? Идеи? — пошевелил Алейников сухими губами, взглянул на Валентика.— Банда у тебя была, а не отряд. А ваши идеи...

За забором, на улице, уже слышалась суматоха, голоса — туда сгоняли народ.

— Вы пытаетесь запугать людей,— Алейников еле заметно кивнул в сторону ворот,— с помощью страха и ужаса вдолбить людям хотите свои идеи. И сами понимаете, что это бесполезно, ничего вам не удастся...

— Это твой ответ, значит?

— Я всю жизнь боролся против таких, как ты, Валентик. И уничтожал их немало.

— Слышал я от Лахновского — и своих неплохо давил,— едко произнес Валентик.

— Что ж, случалось и такое. По ошибке.

— Легко как! Ошибался, а теперь осознал...

— Не легко,— возразил Алейников.— Тяжелее это, чем твою казнь принять... И понял я наконец-то многое.

— Что ж именно? — все так же насмешливо спросил Валентик.

— Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная... Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не обычная и не общая... Словно прозрел я и увидел —

борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началась в открытую, врукопашную... Началась война не простая. Не просто очередная война. Не просто одна фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросили в бой... обрушили на нас всю свою мощь... И ты, Валентик, один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы... Но рано или поздно всей вашей силе... всем вам придет конец... Придет конец!

Валентик слушал все это, казалось, с интересом, он то почесывал потную грудь под грязной рубахой, то прекращал свое занятие, глядел на Алейникова, привязанного к козлам, исподлобья, холодно и зловеще, но все равно ожидающе.

— Ну, так...— шевельнул он недавно выбритыми, а теперь снова заросшими жестким волосом губами.— Что ж еще ты понял?

— Что еще? — переспросил Алейников.— Вот еще что... Сложное время было у нас после революции. Нелегко было наладить новую жизнь. И такие, как ты, Валентик, все сделали для того, чтобы такие, как я, ошибались...

Алейников, устав от разговора, вздохнул и опять закрыл глаза.

Валентик стоял недвижимо, будто осмысливая последние слова Алейникова. Затем зябко повел плечами, раздраженно поглядел в сторону забора, за которым усиливались голоса, слышались ругань и женский плач. Люди знали, на какое зрелище их сгоняют, кто-то из его подчиненных, конечно, не утерпел, давно проговорился. Валентик представил себе, как женщины хватают детишек и прячутся в темные углы, а их там разыскивают, вытаскивают и гонят на площадь посреди хутора. Представил — и скривился, в груди его стала копиться ярость. Но сам чувствовал — ярость эта прибавляется и прибавляется в груди не столько от криков и плача за забором, сколько от последних слов Алейникова.

— Больше ничего не скажешь, Алейников? — выдавил он сквозь зубы.— Торопись, последние минуты живешь.

И услышал в ответ:

— Ошибки были у меня, Валентик. Были... Но больше я не повторил бы их никогда. Не зря говорят: если б заново на свет народиться, знал бы, как состариться.

Яков Алейников, оказывается, думал не о казни. Он думал о своем...

* * *

— ...На другое утро один из тех бандеровцев, что в Менилине были, явился в Черновицы, прямо к Решетняку. «Садите, говорит, в тюрьму, я больше не могу...» Он и рассказал, как... что было там. После и я ездила в Менилино это, со многими говорила, которых на хуторскую площадь согнали в тот день...— изменившимся, постаревшим голосом закончила Ольга Яковлевна и умолкла.

Потрясенные ее рассказом, все сидели недвижимо, у каждого будто давно остановилась и давно остыла вся кровь в жилах.

— Вот, значит, как погиб Яков Николаевич,— среди мертвого молчания хрипло произнес Кружилин.

И эти слова были самыми страшными будто из всех, которые произнесла здесь дочь Алейникова, они больно ударили каждого, словно рассекли до костей живое мясо. Но все помолчали, лишь Елена, дочь Наташи, мучительно застонала и бросилась вон из комнаты. Наталья Александровна повернула ей вслед голову, а Ирина встала и сказала:

— Не беспокойтесь, я сейчас приведу ее.

И, ступая осторожно и бесшумно, пошла к дверям, так же осторожно, без стука, прикрыла их за собой.

Дмитрий во время всего рассказа сидел сгорбившись, смотрел в пол. Когда дверь за Ириной прикрылась, он медленно, с трудом разогнулся.

— Жутко и представить... Это уже за пределами человеческого.

— Многое, что делается на земле, за пределами,— отозвался Кружилин.— Мы сквозь годы идем, как сквозь плети. Но идем, потому что знаем, куда и во имя чего.

— Сквозь годы, как сквозь плети...— глухо повторил Дмитрий.— Я напишу об этом горькие... и тяжкие, может быть, стихи.

— Пиши. Обязательно. Люди постоянно должны помнить о том, что многое — за пределами. Только не надо, Дмитрий, чтобы твои стихи были горькими или тяжкими. Пусть они будут просто тревожными,— сказал Кружилин.

Иван Силантьевич Савельев, окаменело сидевший с краю стола, ничего не сказал.

* * *

Ирина и Ольга Яковлевна прожили в Шантаре еще недели полторы, побывали и в Михайловке. Кружилин возил их, как Зубова, на Огневские ключи, к Звенигоре, показал брод через Громотуху, по которому переходил когда-то его партизанский отряд. Ольга Яковлевна была молчаливой и задумчивой, а Ирина слушала рассказы бывшего командира партизанского отряда восторженно, то и дело вскрикивая:

— Подумать только, как все это было!

Последнюю ночь гости ночевали в доме Анны Савельевой. Ольга Яковлевна пыталась было отказаться от этого приглашения под предлогом необходимости отъезда домой, но Ирина решительно сказала:

— Мама, на один день задержимся еще. Я хочу... стихи Дмитрия послушать.

Анна со всем радушием угощала их, Дмитрий читал много стихов, Ирина громко одобряла их, оба они много разговаривали и смеялись. Ольга Яковлевна снова и снова рассказывала о Семене. Но, рассказывая, она постоянно со страхом думала: а что, если Анна догадалась, кто такая Ирина, для чего они сюда приехали?! И каждую секунду ждала вопроса, который будет катастрофой, ибо, как бы она ни ответила на него, все будет ясно...

Но вопроса такого не последовало.

На другой день гости уезжали. Провожали их на станции снова все — и Кружилин, и Наташа с Леной, и Анна, и Дмитрий. Из своего совхоза приехал даже Иван Савельев.

— Иван Силантьевич! — будто больше всех обрадовалась ему Ирина.— Спасибо, что вы приехали! И вообще, всем спасибо! Мне это очень... ну просто очень нужно было. Мне теперь будет легче жить.

Эти ее восторженные слова все восприняли с доброй улыбкой, и Наташа улыбнулась, и Анна.

Потом Ирина, высунувшись из окна, махала всем до тех пор, пока поезд не скрылся за станционными постройками.

— Хорошая какая девчушка,— произнес Иван, когда все шли к оставленным на привокзальной площади подводам.— Не ходит по земле, будто летает над ней.

— Хорошая,— согласилась и Анна. Они с Иваном чуть приотстали от других. Потом Анна вообще остановилась.— Все, что она говорила о Семене, правда. Я с твоими рассказами сравнивала.

— Ну вот,— кивнул Иван.

Анна сделала несколько шагов и снова приостановилась, поглядела в ту сторону, куда скрылся поезд. И вдруг сказала:

— Только у нее... и Леночки одинаковые глаза.

Иван чуть шевельнул поседевшими, как и волосы, бровями.

— Мало ли людей на земле с одинаковыми глазами...

Анна все смотрела и смотрела в ту сторону, куда ушел поезд, точно ожидая, что он вернется.

Потом произнесла вполголоса:

— Да это-то так...

И они пошли дальше.

* * *

Горькие, тяжелые или тревожные, как рекомендовал Кружилин, стихи у Дмитрия не писались. И никакие не писались, он проводил ночи без сна, сидел за столом, выводил на бумаге строчки, затем рвал листы и обрывки бросал под стол. Брал новый лист, записывал возникшее в голове другое четверостишие:

Лихорадит древнюю планету,
Много бед и много слез на ней.
Я обязан рассказать об этом
В суматохе проходящих дней...

И снова рвал.

На земле стояла сухая и желтая осень, вечера были теплыми, Дмитрий сидел с открытой форточкой, до него доносились звуки постепенно затихающей деревни. Когда умолкало все — и скрип затворяемых где-то ворот, и глухой стук запоздалых дрожек, и последние голоса, долго еще слышалось далекое треньканье балалайки или звуки гармошки, временами беззаботный девичий смех. Затем умолкали, прекращались и эти звуки, прошедший день со всеми своими делами и заботами, радостями и горестями, отшумев, навсегда проваливался в черную ночь, в небытие, проваливался, казалось Дмитрию, все глубже и глубже. Над всей землей стояла теперь одна черная тишина, и ничего больше, и стоять она, чудилось, будет вечно.

Но вдруг эту тишину, всегда неожиданно, прорывал петушиный крик. Первому петуху откликался другой, третий, десятый. Древний, как сама земля, петушиный перезвон предупреждал людей о приближении рассвета и нового светлого дня.

Запустив пальцы в волосы, Дмитрий Савельев слушал петушиные песни и угрюмо думал: почему это он обязан рассказывать о всех бедах и всех слезах на планете? По какому праву он берет на себя эту обязанность? И отвечал себе: по праву поэта, по праву художника... Как Кружилин тогда, в доме Натальи Александровны, говорил? Люди постоянно должны помнить: многое из того, что делается на земле,— за пределами человеческого. Вот тот же Алейников. Ужасная судьба... А внучка его не ходит по земле, а будто летает над ней. Он, Дмитрий, слышал эти слова дяди Ивана, а потом они с матерью отстали. Ради того, чтобы она летала, и принял Алейников такую смерть. Это так... Об этом художник тоже должен всем рассказать. Чтобы таким, как эта Ирина, как дочка Семена, чтобы тем парнишкам и девчонкам, беззаботно смеющимся где-то в ночной тиши, не сломали крыльев. Это не только его право. Это его долг.

Без всякой связи будто с его размышлениями складывались сами собой в голове строчки:

...Значит, вновь со мной
На этом свете
Вдовьи слезы
И сиротский плач.
Все — мое...
И бродит по планете
Прошлых лет и будущих
Палач.

Я иду сквозь годы,
Как сквозь плети,
В седине,
Как в пепле и золе...

Но это все не то, не то, мучительно думал он. А если то, не найден пока тот единственно возможный и необходимый для этого стихотворения художественный ряд, тот самый ключ, который повернешь — и войдешь в свой стих, как в свой дом, в свою комнату, где все знакомо и все необходимо. А потом туда будут входить и входить другие люди, и каждый будет поражаться этой красотой и гармонией, очищаться высокими мыслями, заложенными в произведении.

Но ключа не было, и снова обрывки бумаги летели под стол. Утром, как всегда, Анна привычно выгребала их оттуда.

Однажды на скомканном обрывке бумаги она прочла:

...Ты прости,
Что я тебя придумал,
Ты меня, пожалуйста, прости...
Ни весной, ни осенью угрюмой,
Видно, не найти к тебе пути...

Анна вздохнула, разгладила бумажный обрывок и зачем-то положила в карман фартука.

А когда Дмитрий в тот день молчаливо, как всегда, заканчивал завтрак, она, желая как-то облегчить сыну его многолетнюю боль и в то же время боясь причинить еще бо́льшую, негромко сказала:

— Сынок... А может, ты ее и вправду придумал?

Дмитрий понял, о чем она говорит. Он отвернулся к окну, долго глядел на облитые желтым пламенем березы, росшие вдоль улицы. Он хотел вроде и что-то сказать, но так и не сказал. Вместо этого он резко поднялся и чуть побледнел.

— Что? — тревожно спросила мать.

— Не знаю. Почтальон...

Анна глянула в окно, увидела идущую по двору почтальоншу с сумкой. Сумка, как обычно, висела у нее за спиной, а в руке она держала конверт.

— От Андрюшеньки с Раей,— сказала Анна спокойно и уверенно, потому что больше ни от кого писем не получала. Сказала и вышла навстречу почтальонше. И через какие-то секунды оттуда, из-за дверей, закричала испуганно и торопливо: — Сыно-ок! Дима-а!

И тут же, отмахнув дверь, появилась в комнате, растерянная и смятенная. Дмитрий стоял на том же месте, недвижимый.

— Сынок...— И протянула ему конверт.— От нее. Из Винницы...

С места он двинуться не мог, ноги его словно приросли к полу. В лице его не было теперь ни кровинки.

Пошатываясь, Анна прошла по комнате. Она шла к нему, но Дмитрий смотрел не на мать, а только на конверт, который мать несла в руках.

Она молча протянула ему конверт. Но вместо того чтобы взять его, он сделал шаг назад.

Анна положила письмо на стол. Затем качнулась к сыну, припала к его груди и зарыдала, как от неизбывного горя. Дмитрий одной рукой поддерживал мать, а другой поглаживал ее по плечу.

Конверт голубым пятном выделялся на столе и резал Дмитрию глаза.

Успокоившись, Анна проговорила:

— Только сейчас, сынок, я поняла твою любовь... Только сейчас вот... до конца. И какой ты сам! Ну, читай.

— Не могу, мама,— проговорил он еле слышно.

— Дурачок... Это хорошее письмо, я материнским чутьем чувствую. Иначе бы зачем она его стала писать? Через столько-то лет?! Зачем?

— Вот потому и страшно.

Они еще помолчали. А потом она сказала:

— Тогда я сама.

Она хотела взять письмо, протянула к нему руку.

— Мама! — вскричал он умоляюще, опередил ее, схватил конверт.— Не надо...

Конверт жег ему пальцы, они подрагивали, и сам он весь был возбужден, в глазах лихорадочное смятение...

— Не надо,— повторил он, шагнул к вешалке, сорвал пиджак, надел его, письмо положил во внутренний карман, взял стоящую в углу свою походную палку и торопливо вышел из дома.

Небо над землей было распахнуто во всю ширь, теплый осенний день, о наступлении которого люди были извещены еще во мраке древними птицами, только разгорался. Выйдя на крыльцо, Дмитрий оглядел все небо, от края до края, и будто впервые изумился его беспредельности. И он ощутил в себе желание идти и идти куда-то в эту беспредельность и нести туда свое необыкновенное чувство... Дмитрий шагнул со ступенек и пошел.

Пройдя всю улицу до конца, зашагал полем к Звенигоре. Поглядывая на ее острые гранитные утесы, он почему-то подумал, что испокон веков они бороздят и бороздят пространство над землей. Земля вращается, и они бороздят... И он, Дмитрий, частица этой земли, вращается вместе с ней. И те девчата, что беспечно хохотали прошедшей ночью за околицей. И петухи, возвестившие приближение рассвета, и те малые птахи — соловьи, которые клюют росу, чтобы промыть горло для своих песен... Эти случайно возникшие мысли заставили его остановиться. Он вдруг подумал: как же это он не может дописать то стихотворение о беспредельности жизни

и никогда не преходящей человеческой радости?! То стихотворение, которое так нравится Лене, дочери его погибшего во имя всего этого брата... Это же до удивления легко и просто! Как там, на чем обрывается?

Дмитрий отчетливо вспомнил:

В моей крови
Гудит набат веков,
Набат побед и горьких потрясений!
И знаю я — до смерти далеко.
И вновь зову веселье в час весенний...
Бывает так, что белый свет не мил.
Но вот в полях последний снег растаял,
И я окно распахиваю в мир
И календарь моей весны листаю.
В тот календарь,
Что весь пропах листвой,
Характер вписан строчкой голубою,
В характере моем —
И озорство,
И выдержка солдата перед боем...
Я слышу —
Соловьи росу клюют,
И солнце поднимается все выше...

Дальше не рождалось ни одной строчки, ни одного слова. «А ведь они должны быть такими...»

И Дмитрий без всякого усилия, будто слова и строчки он знал давным-давно и лишь забыл на время, а теперь вспомнил вдруг, мысленно произнес:

...За сотни верст
Я в это утро слышу:
Опять на взгорье петухи поют.
За сотни верст...
Идут девчата вновь
Встречать зарю, что встанет над деревней.
О, как у них течет по жилам кровь!
Точь-в-точь как сок по молодым деревьям.
Идет весна!
И, душу веселя,
Зеркальными
Играет лемехами.
И весело
Вращается земля —
С девчатами,
С ручьями,
С петухами!

У Дмитрия были и карандаш, и блокнот, но он ничего не стал записывать, зная, что раз пришедшие в голову слова и строки никогда не забудутся. Он только подумал, с каким-то радостным удивлением отмечая про себя: «Осень вот, а я о весне! Хотел написать горькие, тяжелые или тревожные стихи, а получились радостные и веселые!»

Он подумал так, не понимая еще, что причиной этому пришедшее сегодня письмо. Что в нем? Он боялся об этом думать. Боялся, но верил, что в нем его счастье и смысл всей его дальнейшей жизни. «Я материнским чутьем чувствую...» — то и дело всплывали у него в голове недавние слова матери. А чутье матери не обманывает.

Дмитрий постоял и пошел дальше.

Он шел и шел бесконечными желтыми перелесками, шурша сухими опавшими листьями.

Куда шел — не думал, это ему было безразлично, главное — идти и идти...

От желтых берез было светло на земле, и она, окрашенная этим светом, летела среди звезд куда-то во тьму, в вечность.

ТЕНЬ И СВЕТ

О творчестве Анатолия ИВАНОВА

Я сам видел, как пустели улицы Москвы во время показа по телевидению очередной серии одного из экранизированных романов Анатолия Иванова, как спешили люди от метро домой, боясь опоздать на захватывающее зрелище. Видел и очереди за книгами писателя. Романы он пишет многостраничные. Такой книги хватит иному человеку на месяц внимательного чтения. Миллионы часов уделяют в совокупности зрители и читатели произведениям Анатолия Иванова. Уже одна эта грандиозная цифра делает творчество писателя явлением социальным. Место, которое занимает он в процессе духовной жизни, в формировании взглядов наших современников, позволяет назвать Анатолия Иванова в числе наших крупнейших писателей...

Рассказы, повести «Жизнь на грешной земле», «Вражда», «Печаль полей», «Повесть о несбывшейся любви», романы «Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» написаны за последние двадцать пять лет, и каждое произведение становилось событием для читателей, вновь и вновь жаждавших встречи с сильными характерами, вовлеченными в стремительные и трагические события, которыми так обильна наша эпоха. Анатолию Иванову чужда камерность. Всякий раз он стремится выйти на самую широкую аудиторию, и ему это удается. Он достигает этого динамичностью повествования, ясностью мотивировок поступков своих героев, стройностью сюжетных построений, трагедийной напряженностью действия...

Иногда соотносят произведения Анатолия Иванова с «Тихим Доном», с шолоховским «свирепым реализмом». Называются чисто внешние совпадения. Однако есть разница, и существенная. У Шолохова его эпопея начинается с подробного рассказа об укладе казачьей жизни. Ломка этого уклада и вызывает глубокий раскол, проходящий даже через семьи, поднимается брат на брата. Шолохов настолько историчен, действие «Тихого Дона» настолько привязано к историческим событиям и реалиям, что порой оно воспринимается как хроника, как документальное повествование. А для Анатолия Иванова история — это лишь фон, на котором кипят человеческие страсти, вяжется интрига, разветвленная, сложная, очень протяженная.

Показателен в этом отношении, например, роман «Тени исчезают в полдень», начинающийся с проявления «ндрава» сельского богатея Меньшикова и с купеческого разгула уральского промышленника Клычкова, который приучает свою дочь Серафиму упиваться властью денег. Но время действия романа — иное, оно указано точно, с первых строк, следующих за прологом: «Было самое начало июня 1960 года...»

Анатолий Иванов протягивает в своих романах «свирепую проверку человека на прочность» через всю историю Советской власти, вплоть до наших дней. Яков Алейников в его «Вечном зове» является как бы воплощением этого «гуманизма непривычного масштаба», карающей рукой в том процессе, который характеризуется поговоркой «лес рубят — щепки летят», когда вместе с виноватыми могут пострадать и правые. Голос совести в нем заглушен ощущением правоты вообще и дисциплинированностью. «Тут уж кто кого, борьба классов»,— упрямо твердит он. Но если сперва создается впечатление, что «шантарский энкеведешник» — нерассуждающий механизм, то во второй части «Вечного зова», действие которой происходит во время Великой Отечественной войны, мы слышим признание этого «мающегося» человека:

« — А как, чем объяснить все же мою вину? Моей кровожадностью, что ли? Может, я ненормальный, может, я испытывал животное удовлетворение, когда

тебя или Засухина арестовывал? И других... Не понимал я чего-то — было. Но я и сейчас не понимаю многого. Как такое вообще могло происходить? Как?!»

И все. Больше никаких рефлексий, никаких рассусоливаний. Там, где писателю девятнадцатого века не хватило бы и сотни страниц на то, чтобы герой «вслушался» в себя, здесь отведено несколько строк. И что самое интересное — правда в этой краткости есть.

Каждый литератор пишет о том, что знает лучше всего, а некоторые о том, о чем писать легче всего. Кто виноват, что плеяда так называемых «деревенщиков» поразительно талантлива? Нам бы и хотелось почитать о самих себе, но из-за отставания подлинной литературы о жизни современного города и его обитателей мы обращаемся к уже выглядящей экзотично жизни деревни двадцатилетней и более чем двадцатилетней давности, к жизни на берегах сибирских рек, почти фантастической для многих.

Я уже упоминал, что действие романа «Тени исчезают в полдень» начинается в 1960 году. Положительный герой Захар Большаков так выражает свое и, судя по всему, авторское кредо:

« — Я так мир понимаю. Мироедов мы придавили намертво. А те из них, которые сумели уволочь переломанные ноги, забились в самые темные и узкие щели и уж не осмелились оттуда выползти. Большинство из них подохло там без воздуха от тесноты да собственной обиды. А может, кто й по сей день жив. Живет, как сверчок, да исходит гнилым скрипом в иссохший кулачок. Все ждет — не наступит ли его время, все надеется...»

Мысль совершенно верная, но она не сулит драматического развития романа, и потому почти вся она отсекается, и остается самый последний ее кусочек, из которого все и вырастает... Пистимея Морозова (это купеческая дочка Серафима Клычкова) почти пятьдесят лет «все надеется». С помощью религиозной секты, действия которой направляются из-за океана, она растлевает души людей, старается удержать возле себя дочь Варвару и в конце концов совершает на старости лет такие ужасающие преступления, которые не под силу и закоренелому уголовнику.

Сам Анатолий Иванов сказал в одном из интервью по поводу романа: «Мне хотелось проследить, как трансформируется классовый враг в условиях современного социалистического общества. Религиозная же среда — это та среда, в которой, как мне кажется, моим отрицательным героям было легче скрыться и удобнее всего действовать. Разумеется, сами они не верят в бога... Я убежден, что Пистимея в романе как раз такая, какой была задумана, то есть неверующая. Ее даже нельзя отнести к сомневающимся. С ранней юности ей ясно, что бога нет. Революция разрушает ее мечты, лишает баснословного состояния. Воля, ум, все помыслы Серафимы теперь направлены на одно — схоронить ненавистную ей народную власть, а если сокрушить не удастся, то, по крайней мере, мстить, сеять зло среди тех, кто эту власть поддерживает». И еще: «Для Пистимеи легче уничтожить свою дочь Варвару, чем пустить в новую жизнь».

В современном мире идет непрекращающаяся идеологическая борьба. Наши противники ведут все более сложную и тонкую борьбу против светлых идей и нередко находят агентов вроде Пистимеи. И не всегда эта борьба связана с убийствами, отравлениями. И не всегда она тянется с дореволюционных времен... Меня всегда настораживали проявления бесхозяйственности и головотяпства, которые на руку врагам...

Приведу один пример. Во время войны, перед уходом в армию, мне пришлось много работать на полях и в садах, собирать урожаи кукурузы, картофеля, яблок, абрикосов (дело было на Кавказе), получая десятую часть собранных сельскохозяйственных продуктов и кормя беспомощную больную мать и маленьких сестер. Кругом жили тяжко, но не голодали. Хозяйствование во время войны было гибкое. Лет десять назад я побывал в тех же садах, где работал в юности, и увидел толстый ковер из осыпавшихся и гниющих, растекающихся в вонючую жижу абрикосов. Мне сказали, что для уборки нет рабочих рук. Тогда я вспомнил военный опыт и сказал, что за десятую часть нашлись бы в городе люди, школьники, пенсионеры... Но мне возразили, что в присланном сверху положении есть пункт, строжайше запрещающий подобную практику во избежание злоупотреблений. Я подумал, что чиновник, вставивший этот пунктик, нанес стране миллиардные убытки, перегноил урожаи, заставил покупать то же абрикосовое варенье за рубежом...

Я думаю о том же чиновнике и теперь, когда читаю роман Анатолия Иванова «Вечный зов» и прослеживаю судьбу одного из отрицательных героев — Петра Полипова, которого автор выводит тоже из дореволюционного времени, из неразоблаченных предателей. Полипов — член партии, руководитель районного масштаба, во время войны становится редактором армейской газеты и попадает в плен. С ним беседует бывший служащий царской охранки, а во время войны полковник СС Лахновский, зоологически ненавидящий Советскую власть. Рассуждения Лахновского, право же, стоят того, чтобы их привести: «Во-первых, непобедимых идей нет. Идеи, всякие там теории, разные политические учения рождаются, на какое-то время признаются той или иной группой людей... а потом стареют и умирают... И законов никаких вечных у людей нет, кроме одного — жить да жрать. Вот и все. А чтоб добиться этого, ради этого, умные люди сочиняют всякие там идеи, приспосабливают их для себя, чтоб достичь этой цели, одурачивают ими эти самые массы — глупую и жадную толпу двуногих зверей, чтобы заставить их работать на себя. А, не так?»

У таких рассуждений, естественно, есть продолжение:

«...Потому я здесь, с немцами оказался. А ты, братец, приспособился к новым временам и порядкам. Ты спрашиваешь, верю ли я в бога. А сам ты веришь в коммунистические идеи? Не веришь! Ты просто приспособился к ним, стал делать вид, что веришь в них, борешься за них. Потому что именно это в новые времена только и могло дать тебе самый большой... и, насколько можно, самый жирный кусок. А, не так?»

Лахновский отпускает Полипова, напутствуя: «А ты живи, Петр Петрович. И своей жизнью, своей работой разрушай привлекательность коммунистических идей. Как и раньше...»

Лахновский предвидит поражение немцев, предвидит он и будущую борьбу. Но кого с кем? Ради чего? «Российские правители были безмозглые дураки»,— говорит он. Значит, не ради реставрации царизма. «...После смерти Ленина мы принялись строить... закладывать основы... необходимого нам государства и общества».

«А кто это — мы?» — спрашивает Полипов. «Вы называете нас до сих пор троцкистами»,— отвечает Лахновский. «Наших людей еще мно-ого в России. А за ее пределами еще больше. Ты даже не представляешь, какие есть силы, какая мощь... Только действовать теперь будем не спеша. С дальним и верным прицелом».

Лахновский раскрывает перед Полиповым целую программу действий после войны, на случай, если она будет проиграна Гитлером. Программа такова: вербовать всех — и «ретивых сверхреволюционеров», и «карьеристов и шкурников», разлагать коммунистическую идеологию. «Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах...» Троцкисты собирались делать то же самое, но иным путем, прикрываясь революционными фразами.

«Мы будем браться за людей с детства, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее!» — говорит Лахновский. «Общими усилиями будут низведены все ваши исторические авторитеты, все ваши национальные философы, писатели, художники, все духовные идолы, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся,— так учил, так это умел делать Троцкий. Льва Толстого он, например, задолго до революции называл в своих статьях замшелой каменной глыбой. Знаешь?»

« — Не читал...— отвечает Полипов.— Да мне это и безразлично».

« — Вот-вот! — оживляется Лахновский.— И когда таких, кому безразлично, будет много,— дело сделается быстро».

Поразглагольствовав еще о том, как будет разыгрываться «грандиозная по своему масштабу трагедия, о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном необратимом угасании его самосознания», Лахновский напутствует Полипова в последний раз:

« — Живи как можно дольше, Петр Петрович. А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас...»

Я считаю этот диалог одним из важнейших в романе «Вечный зов», потому что с помощью такого саморазоблачения врагов автор воздействует на читателя чрез-

вычайно сильно, побуждает к отпору, уменьшает число безразличных.

Во второй книге романа «Вечный зов» Анатолий Иванов многое увидел иными глазами, по-иному повернул судьбы героев. В романе стало просторнее, больше стало политического воздуха, шире горизонты, глубже интересы героев. Как писал в предисловии к этой книге Вячеслав Горбачев, «символично, что среди действующих лиц... появляется Поэт!» В поле зрения писателя наконец попадает гигантский массив русской культуры...

Первая книга романа «Вечный зов» была удостоена в 1971 году Государственной премии РСФСР имени М. Горького. И если до сих пор получалось как-то так, что разговор велся в основном об отрицательных персонажах его романа, то теперь не только равновесия ради, но и по справедливости следовало бы уточнить распределение тени и света в произведениях Анатолия Иванова. Но, с другой стороны, это значило бы пересказывать широко известные произведения, перечислять громадное их население, взвешивать на весах поступки, преступления и добрые дела, что критики наши делали уже с достаточной полнотой.

«Вечный зов» — роман многоплановый, сложный. Чего стоит одна линия братьев Савельевых — Антона, Ивана и Федора. Творческий метод Анатолия Иванова — показывать все в действии. Но эта динамичность нисколько не заслоняет глубины авторских раздумий. Часто он вкладывает их в уста героя. Так секретарь райкома Кружилин говорит Федору Савельеву:

« — Человек, к счастью, наделен разумом... Потому он и называется человеком. И рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками — это его заставляет делать властный извечный зов к жизни, извечное стремление найти свое человеческое место».

Клеймя низкие чувства и низкие натуры, Анатолий Иванов противопоставляет им людей, исполненных душевной красоты, высокого нравственного чувства. Он и отрицательным персонажам нередко дает возможность проявить себя неожиданно с хорошей стороны, веря в возрождение человека.

...Народ строит свою жизнь, идет дальше по пути правды и мужества. И то ощущение силы, которое исходит от героев писателя, является залогом беспочвенности бредовых мечтаний врагов. В остальном же нельзя не согласиться с критиком, который говорил: «...о чем бы еще ни написал Анатолий Иванов, к каким бы событиям ни обратился, он, писатель-коммунист, писатель-гражданин, несомненно, останется верным главному принципу своего взгляда на жизнь: революция наша была выстрадана всей историей народа и рождена борьбой его за землю, за волю, за счастье на родной земле. Вне этого постижения смысла нашего мира не может быть художника социалистического реализма».

Дмитрий ЖУКОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Иванов А. С.

И20 Вечный зов: Роман в двух книгах. — М.: Воениздат, 1986. — 847 с.

В пер.: 6 р.

Это масштабное, многоплановое произведение, охватывающее огромные исторические события: 1905 год и Октябрьскую революцию, первую мировую и гражданскую войны, Великую Отечественную войну и восстановление народного хозяйства страны после разгрома фашистских захватчиков. В трудных судьбах героев находит выражение живая связь времен, от отцов к детям передается эстафета борьбы за справедливость.

Автор — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии.

И $\frac{4702010200-084}{068(02)-86}$ без объявл.

ББК 84Р7
Р2

Анатолий Степанович Иванов

*

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Роман в двух книгах

*

Редактор *А. П. Рогова*
Художник *Н. В. Зотова*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *Н. Я. Богданова*
Корректоры *И. М. Козлова и И. Г. Новожилова*

*

ИБ № 2408
Сдано в набор 30.11.82. Подписано в печать 20.11.84.
Формат 70×108/16. Бумага тип. № 1. Гарн. обыкн. нов.
Печать высокая. Печ. л. 53,0. Усл. печ. л. 74,2. Усл. кр.-отт. 74,2
Уч.-изд. л. 90,41. Тираж 150 000 экз. Изд. № 4/9361. Зак. 642
Цена 6 р.

*

Воениздат, 103160, Москва, К-160.
Ордена Трудового Красного Знамени Московская типография № 2 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129301. Москва, пр. Мира, 105.